

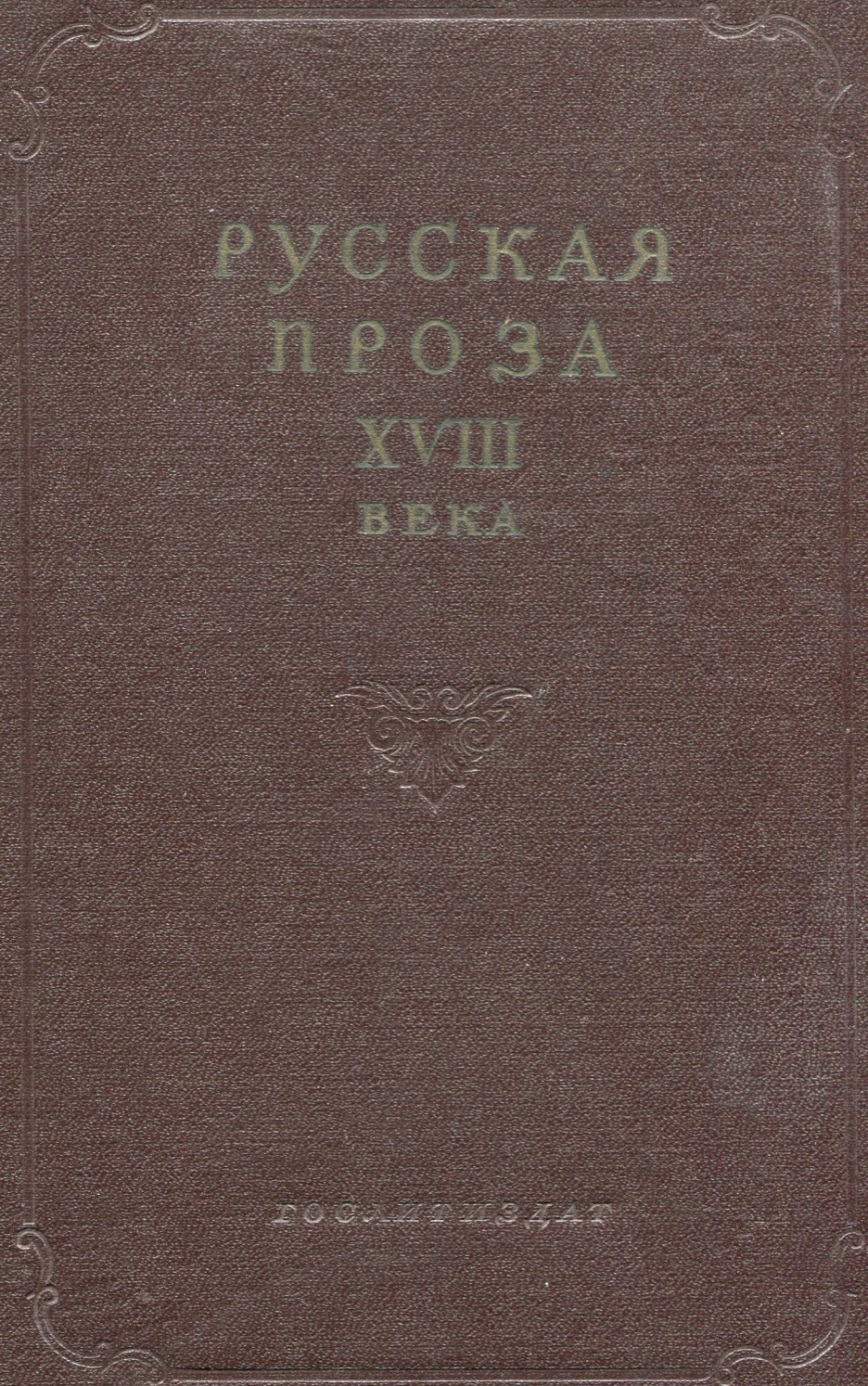



РУССКАЯ
ПРОЗА
XVIII
ВЕКА






2



РУССКАЯ
ПРОЗА
XVIII
ВЕКА



ГОСЛИТИЗДАТ

РУССКАЯ ПРОЗА

XVIII

ВЕКА

ТОМ ВТОРОЙ



→ ————— ◆ ————— ◆ ————— ←
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ◆ 1950 ◆ ЛЕНИНГРАД

*Подготовка текстов
и примечания
А. В. Запорова
и Г. П. Макогоненко*

А. Н. РАДИЩЕВ

1749 – 1802



А. Н. РАДИЩЕВ

1

Крестьянская война 1773—1775 гг., возглавленная Пугачевым, это мощное движение русского народа за свою свободу было тем университетом, в котором окончательно сложилось и сформировалось мировоззрение Радищева. Это событие делит литературную деятельность Радищева на два неравных периода.

В первый период, длившийся всего два года (1771—1773), Радищев выступает с двумя небольшими произведениями. Политическое сочинение Радищева, написанное в форме «Примечания» — жанра, характерного для русских просветителей, — и помещенное в переведенной им книге французского коммуниста-утописта писателя Мабли «Размышления о греческой истории», было посвящено острейшей политической проблеме. Первая же фраза этого примечания: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние» — говорила об антимоноархических настроениях 24-летнего писателя. Этим примечанием Радищев определял сущность екатерининского правления и в то же время выступал против определения самодержавия, данного в «Энциклопедии» Дидро, определения, популяризовавшегося Екатериной в России. В «Энциклопедии» самодержавие определялось как форма правления, создаваемая «для приобретения под таким покровительством истинного благополучия и надежного пользования своей вольностью».

Следующей работой, написанной в первой половине 1773 г., был «Дневник одной недели». Первое художественное произведение Радищева было посвящено психологическому раскрытию душевных переживаний «уединенной личности». Произведение, написанное в традиционной манере сентиментализма, с его вниманием к чувствам человека, живущего лишь своими переживаниями и не интересующегося социальной и политической жизнью окружающих его людей, не удовлетворило, видимо, Радищева, особенно в год крестьянского восстания, и он отказался от его публикации при своей жизни.

Второй период деятельности Радищева — с начала 80-х годов до конца жизни. Все написанное Радищевым после пугачевского восстания есть политическое, философское и художественное осмысление великой войны русского народа против помещичье-самодержавного государства.

В свете идейного содержания народной публицистики с особой отчетливостью проступает все своеобразие творчества первого русского революционера Радищева. Космополитствующие литературоведы на протяжении многих

десятилетий тщились доказать западное происхождение революционности Радищева. Идеологи французского третьего сословия, корифеи Просвещения — Гельвеций и Руссо, Дидро и Рейналь, — объявлялись учителями русского «прорицателя вольности». Серьезная проверка исторических фактов показала клеветнический характер этих утверждений и, главное, всю их фальшь и вздорность.

Прежде всего обращают на себя внимание такие факты: в период своего активного знакомства с учениями французских просветителей (Лейпциг) Радищев не является революционером. Его произведения 70-х годов, сразу после приезда в Россию — примечание к слову «Самодержавство» и «Дневник одной недели» — произведения радикальные, несущие на себе следы плодотворного изучения передовой западно-европейской философии, но не революционные. Революционером Радищев становится в России, становится именно *после* крестьянской войны 1773—1775 гг. Произведения 80-х годов: «Письмо к другу, жителюствующему в Тобольске» (1782), ода «Вольность» (1783), «Житие Ф. В. Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву» (1785—1789) — это действительно подлинно революционные произведения.

Далее, именно в пору расцвета своей творческой деятельности Радищев начинает активно и категорически пересматривать общественно-политические воззрения французского Просвещения. Так, Радищев выступает против политической теории просветителей (просвещенный абсолютизм), показав, какой вред она наносит освободительному движению народа, разоружая его. Радищев покажет умозрительность и метафизичность социологических воззрений Монтескье и Руссо. Он раскроет буржуазную ограниченность философии «уединенного» человека Руссо. Он единственный в XVIII веке станет развивать идею народной революции, провозгласит новую, подлинно демократическую философию человека-деятеля, революционера.

Возникает вопрос — чем объясняется это выступление Радищева против корифеев освободительной философии? Ведь нет никакого сомнения, что и Гельвеций, и Дидро, и Гольбах, и, тем более, Руссо выступали революционно, что они идеологически подготовляли революцию 1789 г., что их сочинения вооружали французский народ на борьбу с ненавистным феодализмом. Но учитывая этот объективно революционный характер выступлений французских просветителей, не должно в то же время забывать, что они, в силу исторически сложившихся обстоятельств, бессознательно развивали *буржуазную* идеологию. Их философия свободного человека была не только антифеодальной, но и буржуазной, — факт, который у нас часто забывается. Эта буржуазность порождала ограниченность их политической и философской мысли, ограниченность их «царства разума», которое, как мы знаем, «было не больше, как идеализированное царство буржуазии».¹

Эта буржуазная ограниченность порождала, по крайней мере, два важных качества политической и философско-эстетической теории французских просветителей. Первое: глашатаи революционных идей сами были сторонниками мирных путей общественного преобразования. Руссо и Дидро не звали

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 357.

к революции. Они боялись ее. Но читатель Руссо и Дидро делал выводы сам и шел штурмовать Бастилию. Это очень верно подметил Плеханов: «Не должно впадать в преувеличения и воображать, будто французские просветители сознательно подготавливали революционную бурю, разразившуюся в конце XVIII века». «Некоторые тогдашние проповедники новых идей замечали, что народ терпит терпение и может, пожалуй, восстать против своих притеснителей (Вольтер, Руссо и другие). Но, не будучи сторонниками революционного способа действий, они пугались приближавшегося взрыва, а не приветствовали его. Они от всей души предпочли бы мирную реформу насильственной революции. Это *мирное* настроение проповедников *революционных* идей ярко отразилось как в литературе, так и в искусстве. Буржуазная драма, в образах выражавшая стремления третьего сословия, совсем не знает босвых мотивов».¹

Эта особенность идейной позиции идеологов буржуазных революций предопределяла возможность взаимно противоположных выводов: из революционной идеологии можно было сделать революционные выводы, из предпочтения мирных путей — вытекала возможность упования на мирный исход исторического развития. Первый вывод сделал французский народ, второй — в частности, русская императрица Екатерина II и дворянская интеллигенция России, перепугавшаяся крестьянской войны. Действительно, Екатерина со дня воцарения, как мы знаем, использовала политическую теорию энциклопедистов в целях укрепления своей самодержавной власти. Вольтер, Дидро, Даламбер оказались обманутыми русской императрицей и, действуя в соответствии со своими упованиями на просвещенный абсолютизм, стали воздвигать Екатерине «алтарь», как просвещенной монархии, нанося тем самым огромный вред русскому общественному движению. Руссо и европейские сентименталисты (Юнг, Стерн, Геснер) послужили основанием для идеологического перевооружения дворянства. Этому способствовала вторая особенность философско-эстетической концепции французского Просвещения, вытекавшая из ее буржуазной ограниченности.

В основании этой второй особенности лежала философия человека сентиментализма, которая по всему своему духу была индивидуалистической, антиобщественной философией. Провозгласив внесловную ценность личности, Руссо и Дидро, а за ними вся школа европейского сентиментализма разрушали идеологический догмат феодализма. Но, как уже заметил Плеханов, человек сентиментализма, противопоставляя имущественному богатству богатство индивидуализма и внутреннего мира, богатству кармана — богатство чувства, был лишен боевого духа. Герой европейского сентиментализма не протестант, он беглец из реального мира. В жестокой феодальной действительности он жертва, он ничто, он нуль, а не человек. Но в своем уединении он велик, ибо, как утверждал Руссо, «человек велик своим чувством». Поэтому герой сентиментализма не просто свободный человек и духовно богатая личность, но это еще *частный* человек, бегущий из враждебного ему мира, не желающий бороться за свою действительную свободу в обществе, пребывающий в своем уединении и наслаждающийся своим неповторимым «я». Этот

¹ Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXII, стр. 21.

индивидуализм французского сентиментализма являлся прогрессивным в эпоху борьбы с феодализмом. Но в этом индивидуализме, в этом равнодушии к судьбе других людей, в сосредоточении всего внимания на себе и полном отсутствии боевого духа уже отчетливо проступает эгоизм, который расцветет пышным цветом сразу после революции. И то, что должно было проявиться во Франции после революции, уже существовало в те же годы как неопровержимое явление в английском обществе и в английском сентиментализме. Прежде всего должно назвать творчество Стерна — его «Сентиментальное путешествие» и «Тристрам Шенди». Несомненно, Стерн шел в первых рядах этого антиобщественного буржуазного искусства. Герои Стерна, и Тристрам Шенди прежде всего, это воинствующие эгоисты. Они не просто равнодушны к окружающему их миру и к людям, страдающим от социальной несправедливости, — но равнодушны жестоко. Самовлюбленность Тристрама Шенди, занятого собой и только собой, его принципиальная отрешенность от всего того, что за стенами его дома и что находится вне субъективных впечатлений, антидемократичны. Именно эти-то черты европейского сентиментализма и позволили русскому дворянству заимствовать и перенять его философию. Развивая лишь слабые стороны этого идеологического движения, лишь то, что ограничивало его революционность, русское дворянство превращало в конкретных исторических русских условиях (эпоха реакции после поражения крестьянской войны 1773—1775 гг.) сентиментализм в оружие борьбы с передовой демократической и революционной идеологией. Этим и объясняется развитие и становление в России во второй половине 70-х и в 80-х годах на базе масонства, вывезенного с Запада перепугавшимся дворянством, литературного направления — сентиментализма. Именно в эти годы шла работа по идейному перевооружению дворянства от идеологии классицизма к идеологии сентиментализма. Херасков, Муравьев, Кутузов, Петров, Львов, в некоторой мере Капнист — первые представители русского дворянского сентиментализма. В 90-е годы сентиментализм станет господствующим направлением в дворянской литературе. Во главе целой школы станет Карамзин, выученик Хераскова и Муравьева. Мнение Добролюбова, что характерной чертой Карамзина является «самодовольное спокойствие человека, но думающего о счастье других», — точно передает консервативность, а порой и открыто реакционное лицо этого направления. Карамзинизм — это откровенная защита дворянских прав и привилегий, проповедь сохранения существующих сословно-крепостнических отношений, то есть откровенно дворянская идеология, только развитая в новых исторических условиях, когда историей был поставлен на очередь вопрос о неизбежной гибели феодального режима. Новая дворянская литература сентиментализма, отражавшая кризис крепостнической системы, была воинствующей в своей проповеди пассивности, бессмысленности всяких попыток изменить существующие несправедливые отношения рабства. Противопоставляя мораль политике, утверждая в качестве единственной цели человеческой жизни нравственное очищение и самосовершенствование, воспитывая пренебрежение к окружающей действительности, сосредоточивая все внимание на «жизни сердца», этот дворянский сентиментализм в самом своем начале сложился как течение антидемократи-

ческое, антиобщественное, антинародное. «Убеждение в том, что прогресс общественной нравственности предполагает усовершенствование общественного строя, располагает людей к общественным реформам. Наоборот, вера в то, что добродетель состоит в чистоте сердца и зависит от «святости религии», делает их равнодушными к подобным реформам. Консерваторы всегда упирали на «чистоту сердца». ¹ И тысячу раз был прав Белинский, утверждавший, что сентиментализм в России связан прежде всего с именем Карамзина, который не изобрел его, а только «привил» русской литературе, позаимствовав его на Западе, где он зародился и «преобладал в литературе и нравах». ²

Первым против складывавшегося русского сентиментализма как идеологии дворянства выступил Радищев. Именно этими русскими условиями и объясняется та страстность, с которой Радищев обрушивался на политические воззрения французских просветителей, на их философию человека, на сентиментализм Руссо. Радищев отлично понял тщетность надежд на мирный путь. Проповедуя революционные идеи, он сам приветствовал революцию и звал народ на сражение за свободу. Он не боялся народа и его революционной энергии, а видел в ней единственное спасение.

2

XVIII век — век бурного наступления капитализма, век разрушения феодализма и упрочения господства буржуазной идеологии. Две буржуазные революции произошли за период последнего тридцатилетия — американская и французская. Это были крупные события века. Крепостные крестьяне, эти «пролетарии феодализма», проявили величайшую творческую энергию и в самоотверженной битве уничтожили феодальный режим. Но, как учит марксизм-ленинизм, крестьяне одни победить не могут. Одни они способны лишь на стихийные, неорганизованные, всегда обреченные, разрозненные восстания. Крестьяне, — учит товарищ Сталин, — могут победить в борьбе против крепостнических порядков только под руководством и в союзе с другим общественным классом. Такими историческими классами, которые могут возглавить их борьбу и привести к победе, являются или буржуазия, или пролетариат. Особенностью всех буржуазных революций Запада является тот факт, что там антифеодальная, антикрепостническая борьба крестьянства была возглавлена буржуазией. И. Сталин пишет: «Буржуазные революции Запада (Англия, Франция, Германия, Австрия) пошли, как известно, по другому пути. Там гегемония в революции принадлежала не пролетариату, который не представлял и не мог представлять по своей слабости самостоятельную политическую силу, а либеральной буржуазии. Там освобождение от крепостнических порядков получило крестьянство не из рук пролетариата, который был малочислен и неорганизован, а из рук буржуазии. Там крестьянство

¹ Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXII, стр. 253.

² В. Белинский. Сочинения, т. XI, стр. 212.

шло против старых порядков вместе с либеральной буржуазией. Там крестьянство представляло резерв буржуазии. Там революция привела, ввиду этого, к громадному усилению политического веса буржуазии». ¹

Последнее обстоятельство крайне важно в понимании идеологических вопросов эпохи 80-х годов XVIII столетия. С 1776 по 1783 год происходила американская революция. Это была первая в XVIII веке буржуазная революция, и она привела к громадному усилению политического веса буржуазии, к широкому распространению буржуазной идеологии. Характерно в этом отношении небывалое распространение в Европе, буквальное наводнение Европы в 80-е годы сочинениями американских буржуазных идеологов и, в частности, моральными сочинениями Франклина.

Через шесть лет победит вторая в XVIII веке буржуазная революция — во Франции. Эта победа еще больше усилит политический вес и господство буржуазной идеологии. Действительно, в 70—90-е годы мы и наблюдаем факт вторжения, в частности, в Россию этой идеологии.

Перед русским передовым общественным движением, боровшимся за самостоятельную самобытную русскую культуру, встала с особой остротой задача ограждения русского просвещения и литературы от индивидуалистической, антиобщественной в своей основе, антидемократической буржуазной идеологии. Антибуржуазность — одна из характерных черт русской передовой литературы XIX века — складывалась именно в 80-е годы XVIII века.

Возможность возраставшей из десятилетия в десятилетие антибуржуазности русской литературы определилась, несомненно, социальными обстоятельствами, особым характером сложившейся в России борьбы с феодализмом. Ее вели, как известно, многие десятилетия русские крепостные. Вели долгие годы одни, без поддержки и помощи буржуазии, которая выступала в России как союзник самодержавия. Рабочего класса, как единственного класса, способного привести крестьянство к полной и действительной свободе, в России ни в XVIII, ни на протяжении ряда десятилетий XIX века не было. «Когда было крепостное право, — вся масса крестьян боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и поддерживало царское правительство. Крестьяне не могли объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темной, у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели и как могли. Крестьяне не боялись зверских преследований правительства, не боялись экзекуций и пуль...» ²

Несомненно, тот исторический факт, что русское крестьянство не было в своей борьбе с феодализмом резервом буржуазии, тот факт, что в России отсутствовала революционная буржуазия, и определил возможность развития антибуржуазных тенденций в русской литературе.

Решительный пересмотр теорий буржуазных идеологов и практики буржуазных революций начал Радищев — первый русский революционер.

¹ И. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 126.

² В. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 6, стр. 384.

И его величие определяется, между прочим, и тем, что пачал он этот пересмотр и создание иной — антибуржуазной философии человека, иной — антибуржуазной эстетики, иной — подлинно демократической политической теории народной революции в момент, когда французская буржуазия была революционной, когда она вела борьбу с феодализмом, выставляя свои интересы за интересы всеобщие.

Характеризуя исторический процесс сложения «передовой мысли в России», Ленин писал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданного, дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы». ¹

Определение Лениным обстоятельств, при которых Россия «выстрадала» марксизм, носит конкретно исторический характер. Именно поэтому Ленину точно указывает начальную дату — 40-е годы XIX века. Однако несомненно, что именно здесь Лениным определены и общие закономерности развития передовой русской общественной мысли. Вот почему в свете этих ленинских замечаний нам станет понятным процесс и путь рождения русской революционной мысли, впервые выраженной в сочинениях Радищева. Первый русский революционер внимательно следил за «последним словом» Европы и Америки. Именно поэтому Радищев после крестьянской войны, возглавленной Пугачевым, обращает свое внимание на борьбу американского народа против «разбойников-англичан». Связь между вооруженными выступлениями народа на обоих материках против рабства и деспотической власти — была несомненна. Революция заставила задуматься над коренными вопросами политического и социального бытия государств и народов. Свообразием России было то, что она оказалась способной отнестись не созерцательно к важнейшим событиям мировой истории, но — более того — в лице Радищева отнестись творчески.

По словам Белинского, именно в XVIII веке, в самом его начале, в петровскую эпоху, Россия вышла в число тех государств, вместе с которыми стала «держатъ судьбы мира на весах своего могущества». Решающее значение в создании этого положения имела великая война с Карлом XII — очередным претендентом на роль властелина мира. «Россия громами Полтавской битвы возвестила миру... о своем вступлении на поприще всемирно-исторического существования». ²

Последующие десятилетия еще более упрочили это положение России в системе государств мира, — ни одно крупное событие века, как бы далеко

¹ В. Ленин. Сочинения, изд. 3, т. XXV, стр. 175.

² В. Белинский. Сочинения, т. X, стр. 143.

географически от России ни отстояло место его свершения, не проходило теперь вне прямого или косвенного участия России, вне влияния русской политики. Это, в свою очередь, не могло не определить особенности развития русской культуры. Пора слепого перенимания, пора некритического освоения идейных ценностей, созданных человечеством, свойственного дворянской культуре петровско-елизаветинского времени, каула в вечность. С середины века, а особенно в последнюю треть его русские демократические деятели, взявшие на себя функцию руководства делом просвещения, относились к мировой культуре по-хозяйски. Знакомясь с идейным богатством прошлого и настоящего передовых стран Европы, они умели воздавать должное достигнутым результатам и отвергать и осуждать резко и категорично то, что могло нанести вред русскому освободительному движению, делу борьбы с самодержавно-крепостническим государством.

Больше того, в новую эпоху русские идеологи, и прежде всего Радищев, уже начинали выступать с самостоятельным теоретическим обобщением исторического опыта народов мира. Это явление первостепенной идеологической важности в истории русской общественной мысли, многое объясняющее в русской культуре XIX века, определилось как раз в 70-е и 80-е годы XVIII столетия. Безвозвратно кончилась та пора, когда исторический опыт других народов, и прежде всего опыт общественно-политической освободительной борьбы, приходил в Россию уже в опосредствованном виде, то есть в виде готовых политических, социологических и философских учений. Наступала новая эра — русский народ оказался способным выдвинуть мыслителя такого масштаба, как Радищев, который самостоятельно и, как правило, хронологически, раньше или одновременно, изучал, осмыслил и теоретически формулировал этот опыт. Формулировалась же и обобщалась революционная борьба народов мира всегда и неизменно с позиций практических потребностей русского освободительного движения, с высот достижений и опыта русского исторического процесса. Так русская демократическая культура, русская революционная мысль приобретали всемирно-историческое значение.

Что же помогло Радищеву в его историческом подвиге? Народная публицистика дает ответ: революционный подъем восставших крепостных, сражавшихся стихийно, неорганизованно, под царистским лозунгом, вне политического осознания своей борьбы, но сражавшихся мужественно и благородно, как умели и могли, не боясь зверских преследований правительства, экзекуций и пуль.

Связь идей Радищева с чаяниями и надеждами восставших крестьян несомненна. В основании политических воззрений Радищева лежит его теория народной революции. Но развивая свою теорию революции, Радищев неоднократно говорит при этом о мщении. Революционер-републиканец, он вкладывает в это слово особый смысл. Мщением он называет крестьянское восстание под руководством Пугачева. Мщением именуется будущая русская революция, в честь которой он пишет оду «Вольность». Этим словом Радищев стремился подчеркнуть справедливое, исторически законное право угнетенных народных масс силой оружия вернуть отнятую у них свободу. Манифесты Пугачева свидетельствуют: Радищев не изобрел, не придумал это

слово, а нашёл его в борьбе восставшего народа и, найдя, перенял его и ввел в свою теорию. Тем самым мы сталкиваемся с фактом демократизма Радищева, с его желанием выразить свою теорию словами и понятиями, заключавшими в себе опыт и отношение народа к угнетателю. Проповедуя революцию, призывая русских крепостных «избить дворянское племя», возвести самодержца на плаху, он говорит языком, понятным широким массам народа. Книгу его они, конечно, не могли прочесть, это Радищев знал отлично. Но слово мщение сходило со страниц книги, оно являлось лозунгом, ясной программой действия, вдохновлявшей на великое и правое дело. Итак, мы видим, что в политической теории Радищев выступает против просветителей и их теории просвещенного абсолютизма, опираясь при этом на революционный опыт русского народа, накапливавшийся в его беспрестанных восстаниях против дворян-помещиков.

Другим важнейшим моментом просветительской идеологии является философия свободного человека. Радищев выступил против частного, уединенного и антиобщественного человека, прямо и открыто опираясь при этом на народную публицистику. Именно там мы находим сложившийся идеал демократического человека как «народного защитника». Именно в манифестах Пугачева мы встречаем формулу «истинный сын отечества» как точное определение этого народного идеала человеческой личности. Истинный сын отечества, как раскрыли манифесты, это тот, кто сбрасывает с себя путы рабства, кто в вооруженной борьбе обретает волю, кто является мстителем. Этот народный идеал оказывается близким радищевской философии человека-борца, «прорицателя волюности» и революционера, утверждающего свою личность в деятельности на благо отечества, прежде всего в революционной деятельности за освобождение народа. Больше того, Радищев вводит в свою философию формулу «сын отечества». В 1789 г. он пишет даже специальное сочинение «Беседа о том, что есть сын отечества», которое всеми своими корнями уходит в народную публицистику. Там же развивается Радищевым теория «умного сострадания», утверждающая справедливость и гуманность истребления дворянского племени мучителей. Эта теория — основа радищевского гуманизма — есть первая попытка философского осмысления опыта освободительного движения угнетенных.

Впервые Радищев выдвигает революционное понимание «истинного величия человека» в 1782 г. в своем произведении «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске». «И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносясь сам и вознося отечество свое, утверждая волюность частную». Радищев точно формулирует свою меру ценности личности, свое определение патриотизма: деятельность, направленная на утверждение «волюности частной», борьба за освобождение крестьян от рабства, за свободу сограждан. Это и есть наивысшее патриотическое служение, более всего «возносящее» отечество, а равно «возносящее» человека к наивысшему самораскрытию своей индивидуальности, своего духовного богатства. Так в произведениях Радищева осуществляется соединение патриотизма и революционности. Это поднимало его творчество на новую ступень. Такое понимание патриотизма вооружало рускую литературу.

После «Письма к другу», начиная с оды «Вольность», героем новых произведений станет патриот-гражданин, или, как его назовет сам Радищев, «прорицатель вольности», утверждающий свое человеческое достоинство в политической борьбе против русского «самодержавства» и крепостничества. В оде «Вольность» этим человеком оказывается сам Радищев.

Здесь Радищевым впервые изложена идея народной революции как единственного пути к свободе. Ода представляет собой произведение выдающегося философского и политического содержания. Богатство ее идей передано через самого Радищева — человека, вставшего на путь революционной деятельности.

«Житие Ф. В. Ушакова» — осмысление прошлого жизненного опыта, сделанное с позиций уже сложившегося революционера. Именно поэтому и в данном случае книга оказалась направленной против идей воспитания Руссо.

Как ни положительна была объективная роль теории Руссо о воспитании в условиях феодального общества, она в своем существе — теория буржуазная, индивидуалистическая и потому антиобщественная. Именно это и установило против нее Радищева — революционера по убеждениям.

Руссо — враг общественного воспитания. «Общественное воспитание не существует более и не может существовать, потому что там, где нет более отечества, не может быть и граждан. Эти два слова — отечество и гражданин — должны быть выброшены из современных языков. Я знаю причину этого, но не хочу говорить». ¹ В этих словах определена вся позиция Руссо, позиция протестанта и гневного отрицателя сословного государства, и в то же время позиция буржуазного индивидуалиста, который не желает бороться за превращение своей родной Франции в отечество, не дорожит именем гражданина Франции, создает в теории систему воспитания индивидуалиста, равнодушного к окружающему его миру и страданиям угнетенных людей, предпочитает в жизни именоваться гражданином Женевы.

Роман «Эмиль» и написан «гражданином Женевь», предлагающим утопическую идею воспитания человека, воспитания, которое сводится к ограждению естественной «доброй» природы личности, врожденных ее достоинств, от влияния общества. Отсюда — главная догма этой системы: «Образуй с самого начала ограду вокруг души твоего ребенка». Воспитание в полной изоляции от окружающей среды, от общества позволяет привить воспитаннику явные индивидуалистические идеалы. «Человек, — учит Руссо, — существует весь для себя». ² «Высшее наслаждение состоит в довольстве самим собою». ³

Опровержением этой индивидуалистической, антиобщественной и буржуазной в своем существе системы и была повесть «Житие Ф. В. Ушакова».

Руссо стремится найти своему Робинзону — Эмилю — «свое поле в свой хутор» ⁴ в недрах несправедливого сословно-феодального общества. Ненавидя это государство, он не хочет биться за свое французское отечество и довольствуется хутором. Поэтому-то, считая воспитание гражданина невозможным,

¹ Ж.-Ж. Руссо. Эмиль или о воспитании. СПб., 1913, стр. 15.

² Там же, стр. 12.

³ Там же, стр. 14.

⁴ Там же, стр. 274.

он воспитывает только человека. Радищев со всей решительностью и категоричностью отвергает тезис о невозможности воспитания человека и гражданина. Он не хуже Руссо знает, что в реальной действительности государство и отечество не совпадают, что они враждебны друг другу. Но ему чужды пассивность и смирение перед этим объективным фактом истории, ему ненавистен отказ от отечества и подмена его «хутором». Радищев знает — человек может изменить действительное положение вещей. Если у него отняли отечество, он может его завоевать, вернуть его себе в борьбе с феодально-самодержавным государством. Больше того, он знает, что только в борьбе за отечество каждая личность станет гражданином, а гражданин воспитает в себе человека. Это было открытием Радищева. Оно вооружало общественное движение, открывало перспективы, помогало людям порывать с пессимизмом Руссо.

Руссо ограждает своего героя от социальной среды, искусственно изолирует от общества. Радищев показывает, что в воспитании русских студентов наибольшее значение имели обстоятельства их жизни под началом «самодержавного» майора Бокума. Руссо объявляет: «Буду воспитывать доброго человека». Радищев, создавая образ Ушакова, утверждал: вот воспитанный обстоятельствами жизни «добрый гражданин». Он ополчается против Эмилиева смирения: «Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений... Не доводи его токмо до крайности». Доведенный до крайности человек восстает на притеснителя. Именно в этом «отражении оскорбления» проявляется «естественное положение человека». «От сего рождается мщение».

Так было найдено главное — воспитывать надо ненависть к угнетателям, мщение, как форму проявления общественно-политической активности человека.

В «Житии Ф. В. Ушакова» впервые были сформулированы самобытно русские основы эстетики героического. Чем ближе человек к жизни, — утверждал Радищев, — чем непосредственнее он будет связан с ней, чем трезвее будет взгляд его на истинный смысл происходящих событий, на ужасы крепостнического и самодержавного правления, тем энергичнее будет в нем расти «иступление», протест, мщение, желание изменить эту враждебную человеку жизнь, перестроить ее «на правлах, народным правлениям приличных».

3

Пушкин сказал о «Путешествии из Петербурга в Москву», что это «сатирическое воззвание к возмущению». Нельзя точнее определить существо и особенность сатиры Радищева — она звала на протест, на восстание, «на возмущение». В своей книге Радищев стремился к документальности — этим он приуготовил русский реализм. Сила радищевского обличения в достоверности. Каждой строкой Радищев срывал покровы с действительности, показывая впервые в литературе *преступность* крепостничества, хладнокровную жестокость помещиков-дворян, бесчеловечность отношения помещика к крестьянам. Именно поэтому радищевское «Путешествие» обнаруживало лживость всей дворянской литературы, всей дворянской идеологии, утверждавшей

необходимость крепостничества, объявившей институт крепостничества основой процветания России и — даже! — источником благополучия самих крестьян.

Радищев показал в «Путешествии», что нечеловеческие, преступные крепостнические отношения держатся только силой власти, силой созданного специально для этого самодержавного государства. Отсюда обличение самодержавия — первый в мире показ его антинародности. Вот почему своеобразием сатиры Радищева было такое критическое изображение крепостническо-самодержавной действительности, которое *отрицало* эту действительность, вызвало к возмущению. Не отдельные недостатки, не частные неурядицы обличал Радищев, а крепостнический строй в целом, и потому не реформ, а революции требовал он в своей книге. Вот почему «Путешествие», воспитывавшая ненависть к мучителям, вдохновенно призывая «возвести царя на плаху» и уничтожить, «взбить» без сожаления «племя дворян», было набатом, звавшим к мщению, к революционному обновлению отечества.

«Путешествие из Петербурга в Москву» — книга, посвященная вопросам будущей русской революции. Вот почему ее героями стали: народ — движущая сила этой революции, и передовой дворянин, порывающий со своим классом, получающий благословение от крепостных крестьян и становящийся в ряды «прорицателей вольности», делателей революции.

Книга должна была «отнять завесу с очей» тех, кто «взирал непрямо на окружающие его предметы», должна была открыть истину, раскрыть заблуждение, научить понимать «истинное блаженство». Именно эта надежда и вдохновила Радищева. «Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей; кто в шествии моем меня подкрепит, — не сугубый ли плод произойдет от подъятого мною труда?»

Возникает естественный вопрос — к кому же в первую очередь обращался Радищев со своей книгой, кто должен был «подкрепить» Радищева в его «шествии»? Сам дворянин, Радищев, став на путь революции, стремился «научить прямо взирать» на социально-политическую жизнь самодержавно-крепостнической России, обратить внимание на коренной вопрос русской жизни — крепостничество, увлечь собственным мужественным примером на путь революции передовое, оппозиционно настроенное к политическому режиму Екатерины, дворянство. Исторические обстоятельства России ц^ь представляли других возможностей.

Ленин неоднократно обращал внимание на эту особенность истории русской общественности — выдвижение из рядов дворянства деятелей, порывавших со своекорыстной практикой класса, к которому они принадлежали. «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснородных Маниловых. «И между ними — писал Герцен — развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие созна-

тельно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раблепия». ¹

Радищев и стремился всей своей деятельностью, и своим «Путешествием» прежде всего, «разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества», угнетения и «раблепия». Вот отчего главным героем книги становится дворянин, научающийся «прямо взирать» на окружающие его предметы, дворянин, уязвленный страданием человечества, который может «сострадать» бедствиям крепостного крестьянства, дворянин, который понял свои либеральные заблуждения, порвал со своим классом, отряхнул с себя гнусный груз предрассудков и отважно решился идти вслед Радищеву.

Общественно-политический замысел «Путешествия из Петербурга в Москву» определил его высокие художественные особенности. Книга, написанная с целью умножить число людей, «прямо взирающих» на действительность, с целью воспитания героя, имеет сюжет, цементирующий весь вводимый в повествование идейный материал. Поэтому радищевское «Путешествие» не распадается на отдельные куски, главы и эпизоды, как это обычно происходит в традиционном жанре сентиментальных путешествий, подчиненных субъективистским, индивидуалистическим задачам их авторов. Единство замысла у Радищева цементирует все богатство впечатлений путешественника, отражающих богатства реального мира. Едним сюжетом «Путешествия» является история человека, познавшего свои политические заблуждения, открывшего правду жизни, новые идеалы и «правила», ради которых стоило жить и бороться, история идейного и морального обновления путешественника, «мощно воздействующего чувственностью».

Путешественник как бы переживает три этапа. В первых главах открываются ему «частные неурядица», он понимает, что прежние его убеждения о благоденствующей под управлением Екатерины России есть плод глубоких заблуждений. В главе «Новгород» он уже вынужден признать, что «прежняя система пошла к чорту». Далее следует второй этап. Путешественник, убедившись, что Россия бедствует, что в ней процветают «неурядица», злоупотребления властью, нечеловеческий гнет рабства, страстно ищет путей к изменению положения, к уничтожению «неурядица».

И ему представляется, что единственный путь — путь реформ сверху. Разделяя иллюзию многих дворянских деятелей эпохи о просвещенном характере екатерининского «самодержавства», он полагает, что если открыть «правду» монарху, — все будет немедленно исправлено. Главы «Спаская Полесь», «Крестьяны», «Хотилы», «Выдропуск» посвящены показу краха этой иллюзии.

Опыт путешествия, крепостническая действительность, обнаженно представленная перед глазами героя, встречи с жертвами самодержавия («Чудово», «Зайцово» и др.) убеждают героя книги в несостоятельности этих надежд. Так начался третий и последний этап идейно-морального обновления героя — формирование революционно-демократических убеждений. Путешественник

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 18, стр. 9.

убеждается, что ни монархия, какой бы «просвещенной» она ни была, ни «великие отчинники» не могут принести народу свободу. Свободу народ может добыть только сам, восстав против угнетателей, вынуждаемый к этому «тяжестью порабощения» («Медное», «Городня», «Тверь»).

В революционном воспитании путешественника огромное значение имеет встреча с автором оды «Вольность», то есть самим Радищевым. Путешественник жадно слушал «прорицание о будущем жребии отечества». Отдельные мысли, наблюдения, выводы — следствие собственного опыта путешествия — под влиянием стихов этого «прорицателя вольности» складываются в систему революционных убеждений. Он начинает чувствовать себя мстителем. Именно таким он и приезжает на станцию Городня.

Начиная с Городни, путешественник общается только с крестьянами, находится только в их среде, мужественно ищет средств и путей к установлению связей с ними на началах взаимного уважения и доверия. Так в книгу входит народ, русский крепостной крестьянин, становясь ее героем, занимая центральное место в повествовании.

Именно в этих главах путешественник, принявший теорию революции «новомодного стихотворца», автора оды «Вольность», выступает союзником и единомышленником Радищева. Поэтому вопрос о народе как той политической силе, которой предстоит обновить Россию, как социальной базе для «мстителей» и «прорицателей вольности» равно важен и для путешественника и для Радищева. Вот почему Радищев изобразил народ в своем «Путешествии» так, как он еще никогда не изображался ни в русской, ни в мировой литературе.

До Радищева в русской литературе наиболее смелое и исторически верное изображение крепостных мы встречаем у Новикова в его журнале «Труть» (1769 г.), особенно в «Крестьянских отписках».

Именно новиковские очерки о крестьянстве служили для Радищева отправной точкой. Но крепостничеству и самодержавию Радищев дает не моральную, как это делал Новиков, а политическую характеристику. Больше того, в книге он открывает путь изменения существующего несправедливого социального строя. Путь этот — революция. Эта позиция и определила новую природу радищевской эстетики, новое содержание как индивидуального образа крестьянина, так и обобщительного образа русского народа.

Восстание угнетенных есть, по Радищеву, высший акт народного творчества. С этих политических позиций и подходит Радищев к фольклору. Герцен отлично понял это, сказав, что в песне Радищев нашел «ключ к тайнам народа». Такое отношение к фольклору и позволило Радищеву решить свою центральную задачу писателя-революционера — изобразить народ, сделать русских крепостных героев своей книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Тем самым Радищев совершил новаторский переворот в эстетике. Возможность этого переворота определялась революционным мировоззрением Радищева. Поэзия угнетенных легла в основание его новой эстетики. Открытие Радищева состояло в том, что, изображая русских крепостных крестьян, людей, отягощенных рабством, низведенных крепостничеством на положение рабов и невольников, он героизировал их, видя в каждом современном ему мужике ту дремлющую до случая в народе силу, которая сделает его истинным

сыном отечества, патриотом, деятелем революции. Сила, обаяние, нравственная красота русских крепостных радищевского «Путешествия» именно в том и состоят, что мы чувствуем в каждом из них будущего деятеля, освободителя России. Через индивидуальный облик каждого просвечивает его потенциальная судьба свободного человека. Именно поэтому Радищев и мог писать о русском народе, что ему предстоит решить судьбу русского государства.

Создавая образ русского народа, Радищев многократно подчеркивал при этом прямую связь своей эстетики с русской песней. Уже в главе «София» Радищев указывает: песня, обнажая «образование души народа», раскрывает его характер. И здесь важно подчеркнуть, что для Радищева народ не абстрактная категория, — перед его умственным взором стояли русские крестьяне, его соотечественники, «пленники в отечестве своем». Отсюда и эта первая в русской литературе картина — русская ямщицкая песня на фоне русской природы, русской бескрайней равнины: «Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную». Далее следует замечательное наблюдение о политическом значении поэзии народа: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа». Высказав это свое наблюдение над русской песней, Радищев тут же делает свое первое принципиальное заключение о главных и общих чертах характера русского народа: «Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начнет спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагрённый кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской».

Этот вывод из песни и ляжет в основание эстетического изображения крестьян: сегодня они отягощены рабством, темпы, забиты, но изменятся обстоятельства (как это было в эпоху крестьянского восстания, возглавленного Пугачевым), и эти новые обстоятельства станут случаем «на развержение великих дарований».

Так в ряде глав изображается судьба русского народа, страдающего в неполничестве. Особая бедственность положения угнетенных заключалась в распродаже крепостных и в рекрутчине. И обе главы: «Медное» и «Городня», рассказывающие об этих будничных бедствиях крепостного народа, начинаются с песен. В «Медном» водят печальный «хоровод молодые бабы и девки», поющие «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла». Эта песня открывает рассказ «о варварском обычае» продажи крепостных с молотка, а распродажа помогает читателю понять, почему в русских песнях «заключено нечто, скорбь душевную означающее». Этим «нечто» было рабство. Но эта же песня, свидетельствуя о духовном богатстве народа и передавая его в поэтической форме, давала основание для великого оптимистического вывода, который путешественник делает после наблюдения очередного преступного акта власти — продажи на аукционе семьи крепостного врозницу: «А все те, кто бы мор

свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения».

В «Городне» ужас рекрутчины как подлишого народного бедствия прямо раскрыт через причитания, через народный плач. Радищев-писатель сознательно, нарочно отступает, предоставляя слово самому народу, запечатлевшему в скорбных словах свое проклятие поработителем. Здесь мы видим в мощном действии принцип политического понимания фольклора. И опять же эти причитания, передающие ужас и безмерную бедственность судьбы крепостного, являются в то же время неоценимым доказательством живого творческого и духовно богатого начала в народе, которое, в свою очередь, есть прямое и непосредственное свидетельство потенциальной революционной энергии народа, жаждущей своего исхода, чтобы уничтожить ненавистный антинародный строй крепостничества и самодержавия. Прямо из поэзии народа, передающей дух вольнолюбия и непримиримой ненависти к помещикам-мучителям, из политического понимания их существа вытекает решительный вывод путешественника — его призыв к революции: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашуе обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор пропницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие».

Последнее признание чрезвычайно важно — на крыльях песни народа мчалась мечта Радищева наветречу будущему, вдохновляя на подвиг, на преодоление великих мучений, ожидающих его как первого «прорицателя вольности». И эта мечта была не безумной фантазией — ее реальность, ее свершение, ее исторически неудержимое исполнение в будущем покоились на самом твердом основании — историческом опыте народа, его неукротимом вольнолюбии, его беспрестанной, неослабеваемой борьбе с дворянами, его твердом характере. А этот характер, так полно и поэтично раскрывшийся в фольклоре, был отлично понят Радищевым: «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ России... О народ, к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе будут на списание всего того, что сделать может блаженство общественное!» Именно эта тема была раскрыта в поэме (неоконченной) «Песни, петье на состязаниях». Песня запечатлела историческое прошлое русского народа и передала живую веру в его светлое будущее. Один из героев поэмы, певец, пришедший на состязание, исполняет песню-повесть о героическом сопротивлении русских захватчикам норманнам. Эта песня заканчивается пророческими словами о будущей победе русского народа над своими тиранами и поработителями. «О парод, народ преславный! Твои поздние потомки превзойдут тебя во славе своим мужеством изыщным, мужеством богоподобным, удивленьем всей вселенной; все преграды, все оплоты сокрушат рукою сильной, победят — природу даже, — и пред их могущим взором, пред лицом их, озаренным славою побед огромных, лиц падут цари и царства». Нет никакого сомнения, что эти слова и эти

мысли прямо перекликаются с мечтой радищевского путешественника, высказанной в главе «Городня».

Наконец Радищев разработал вопрос и о той огромной общественной роли поэзии народа, какую она играет в идейном развитии тех лучших дворян, которые порывают со своим классом, вставая на путь борьбы с крепостным правом. Эта тема развита в главе «Клин». Там путешественник, разрывая с дворянством, вставая на путь мщения, на опасный в условиях самодержавного государства путь борьбы за вольность народа, страстно стремится получить благословение тех, за свободу которых он решил отдать свою жизнь. Многократные его попытки сблизиться с крепостными терпят неудачи. Глубокая пропасть отделила дворян от угнетенного народа. Вековое мучительство вызвало у крепостных неугасимую и справедливую ненависть к своим господам. Это понимали Радищев и путешественник, — они по рождению принадлежали к дворянам, к племени мучителей, и потому должны были расплачиваться за все злодеяния, сделанные собратьями по классу. Но эта страшная далекость от народа тяготила Радищева-революционера. Вот почему он заставляет вновь и вновь своего героя искать путей сближения с крестьянами. На станции Клин, наконец, свершается заветное желание путешественника. Он получает благословение народа, он оказывается способным сблизиться в какой-то мере с ним. Что же обеспечило успех? Песня. Слепой певец исполняет «народную песню», толпа крестьян окружила певца. «Неискусный хотя напев» нищего покорял слушателей, покорял правдой, искренностью и «нежностью изречения». Это искусство народа так отличалось от холодного, лицемерного, «пресмыкающегося искусства» дворян, оно проникло «в сердца слушателей», в сердца, открытые чувству скорби, сострадания, мести. Оно окрыляло и просветляло души людей, томившихся в рабстве. Все собравшиеся, не стыдясь, переживают с волнением песню старика. Среди крестьян стоял и путешественник-дворянин. И он оказался покоренным этим искусством. «Сколь сладко неязвительное чувство скорби! Сколько сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием... О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее». Так поэзия народа открыла дорогу к нему для лучших из дворян, порывавших со своим классом. Так Радищевым была введена в литературу великая и неумирающая тема — песня, открывающая пути постижения национального духа народа, его характера, его идеала, его великой судьбы. Впервые в «Путешествии из Петербурга в Москву» эта тема нашла свое воплощение в картинах и образах неповторимо русских, родных и волнующих сердце всякого любящего свою родину. Эту песню Радищев подслушал на бесконечных русских дорогах, на необозримых равнинах, подслушал от ямщиков, певших ее под звон колокольчиков, что неумолчно звенели под дугой мчавшихся троек. Так определилась в русской литературе тема народности в поэтическом образе песни, дороги, птицы-тройки, гениально раскрытая в стихах Пушкина и Лермонтова, в «Мертвых душах» Гоголя.

Именно с этих пор была заложена традиция через песню вводить в литературу народ, в устном творчестве «находить ключ к тайнам народа»,

через его поэзию раскрывать истинно демократическую идеологию и утверждать жизнь и труд народа, его историческую деятельность и духовное богатство, его нравственную красоту и отважный патриотизм в качестве положительного идеала.

Пушкин закрепил и бесконечно углубил радищевское политическое понимание народного творчества. Оттого именно он обращался прежде всего к поэзии борьбы угнетенных. Особо характерен в этом отношении его интерес к манифестам Пугачева и к песням о Разине. Ознакомившись с «возмутительными воззваниями Пугачева», Пушкин записал, что они «есть удивительный образец народного красноречия». Далее Пушкин отметил их популярность, их доходчивость, их подлинную народность, их враждебность основам дворянской культуры. Другой вождь крестьянского восстания — Степан Разин — был открыт Пушкиным в песне. Он привлек его пристальное внимание, став для него самым поэтическим лицом в русской истории. На основе изучения народных песен он сам пишет гениальные стихи «Песни о Стеньке Разине». В этих стихах поэт, исходя из творческого опыта народа, из основ народной идеологии, так, как она выразилась в поэзии его борьбы, создает облик бунтаря и мстителя, обаятельный образ человека, передает мощную и притягательную силу вооруженной борьбы угнетенных.

На долю Радищева выпала историческая задача идейно осмыслить колоссальный опыт русского народа в его неустанной многовековой борьбе за свою свободу. Это было исполнено в книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Его мятежная книга поэтому не только замечательный памятник личного мужества и героизма. Это — документ, засвидетельствовавший оформление в России самостоятельного передового философского и политического мировоззрения. Так в произведениях Радищева явилась в России воинствующая революционная идеология, отстаивающая права угнетенных трудовых масс, антибуржуазная в своем существе.

Радищев мечтал о славном «жребии своего отечества», о революции, которая, уничтожив рабство и самодержавие, создаст республику тружеников. Зная, что в его эпоху «не приспе еще година, не свершились судьбы», он всей своей мужественной деятельностью првготовлял приход дня революции, «избраннейшего из дней». И мы из нашего коммунистического сегодня с благодарностью чтим память того, кто с глубокой верой в великое предназначение русского народа мог писать о своем желании революции, что «не мечта сие, но взор проникает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую», кто мудро и прозорливо «зрел» «сквозь целое столетие».

Дневник одной недели

Суббота

Уехали они, уехали друзья души моей в одиннадцать часов поутру... Я вслед за отдаляющею каретою устремлял падающие против воли моей к земле взоры. Быстро вертящиеся колеса тащили меня своим вихрем вслед за собою, — для чего, для чего я с ними не поехал?..

По обыкновению моему, пошел я к отправлению моей должности. В суете и заботе, не помышляя о себе самом, я пребыл в забвении, и отсутствие друзей моих мне было нечувствительно. Второй уже час; я возвращаюсь домой; сердце бьется от радости: облобызаю возлюбленных. Двери отворяются, — никто навстречу ко мне не выходит. О возлюбленные мои! вы меня оставили. Везде пусто — усладительная тишина! вожделенное уединение! у вас я некогда искал убежища; в печали и унынии вы были сопутники, когда разум преследовать тщился истине; вы мне теперь несносны!

Не мог я быть один, побежал стремглав из дома и, скитаясь долго по городу без всякого намерения, наконец возвратился домой в поту и усталости. Я поспешно лег в постелю и — о блаженная бесчувственность! едва сон сомкнул мои очи, — друзья мои предстались моим взорам, и, хотя спящ, я счастлив был во всю ночь: ибо беседовал с вами.

Воскресение

Утро прошло в обыкновенной суете.

Я еду со двора, еду в дом, где обыкновенно бываю с друзьями моими. Но — и тут я один. Грусть моя, преследуя меня безотлучно, отнимала у меня даже нужное приветствие благопристойности, делала меня почти глухим и немым. С тягостию, несказанною себе самому и тем, с коими беседовал, препроводил я время обеда; спешу домой. Домой? Ты паки один будешь, — пускай один, но сердце мое не пусто, и я живу не одною жизнью, живу в душе друзей моих, живу стократно.

Мысль сия меня ободрила, и я возвращался домой с веселым духом.

Но я один, — блаженство мое, воспоминание друзей моих было мгновенно, блаженство мое было мечта. Друзей моих нет со мною, где они? Почто отъехали? Конечно, жар дружбы их и любви столь мал был, что могли меня оставить! Несчастный! что ты произрек? Страхись! Се глагол грома, се смерть благоденствия твоего, се смерть твоей надежды! Я убоился сам себя — и пошел искать мгновенного хотя спокойствия вне моего существа.

Понедельник

День ото дня беспокойствие мое усугубляется. На одном часе сто родится предприятий в голове, сто желаний в сердце, и все исчезают мгновенно. Ужели человек толико раб своей чувствительности, что и разум его едва сверкает, когда она сильно востревожится? О гордое насекомое! дотронись до себя и познай, что ты и рассуждать можешь для того только, что чувствуешь, что разум твой начало свое имеет в твоих пальцах и твоей наготы. Гордись своим рассудком, но прежде воспрями, чтобы острие тебя не язвило и сладость тебе не была приятна.

Но где искать мне утоления хотя мгновенного моей скорби? Где? Рассудок вещает: в тебе самом. Нет, нет, тут-то я и нахожу пагубу, тут скорбь, тут ад; пойдем. Стопы мои становятся тише, шествие плавнее, — войдем в сад, общее гульбище, — беги, беги, несчастный, все скорбь твою на челе твоём узрят. Пускай; но какая в том польза? Они соболезнавать с тобою не будут. Те, коих сердца сочувствуют твоему, от тебя отсутственны. Пойдем мимо.

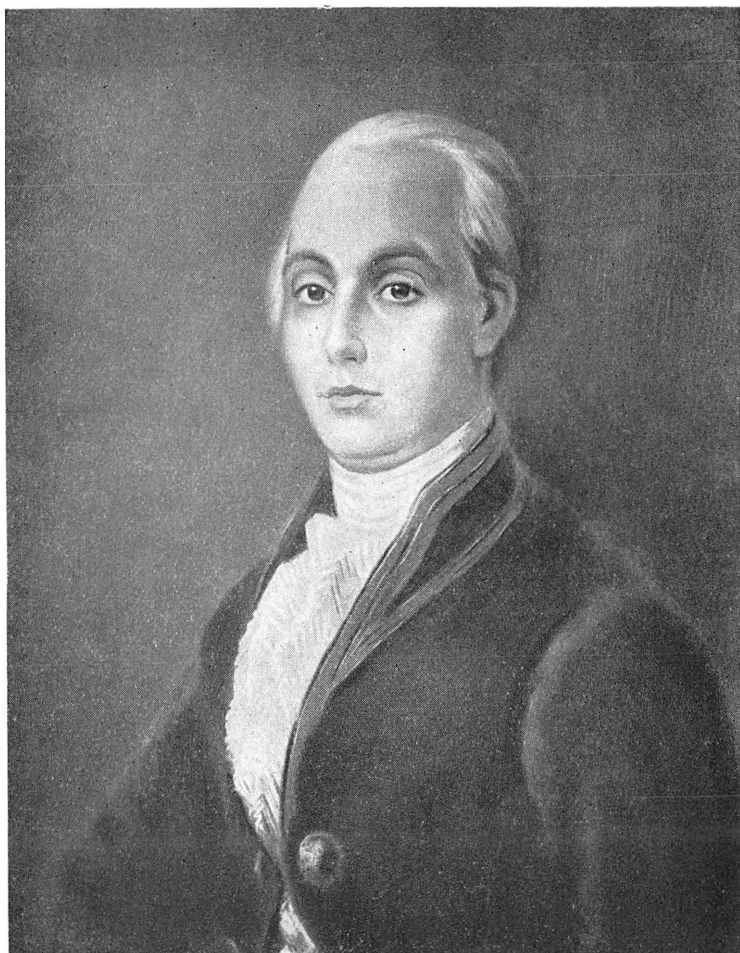
Собрание карет — позорище, играют Беверлея, — войдем. Проплием слезы над несчастным. Может быть, моя скорбь умалится. Зачем я здесь?.. Но представление привлекло мое внимание и прервало нить моих мыслей.

Беверлей в темнице — о! koliko тяжко быть обмануту теми, в которых полагаем всю надежду! — он пьет яд — что тебе до того? Но он сам причина своему бедствию, — кто же поручится мне, что и я сам себе злодей не буду? ¹ Исчислил ли кто, сколько в мире западней? Измерил ли кто пропасти хитрости и пронырства?.. Он умирает... но он бы мог быть счастлив; о! беги, беги. По счастью моему запутавшиеся лошади среди улицы принудили меня оставить тропину, по которой я шел, разбили мои мысли. Возвратился домой; жаркий день, утомив меня до чрезвычайности, произвел во мне крепкий сон.

Вторник

Спал я очень долго, — здоровье мое почти расстроилось. Насилу мог встать с постели, — лег опять, — заснул, спал почти до

¹ Сие сбылося чрез несколько лет.



А. П. РАДИЦЫ

половины дня, — пробудился, едва голову мог приподнять, — должность требует моего выезда, — невозможно, но от одного зависит успех или неудача в делопроизводстве, зависит благосостояние или вред твоих сограждан, — напрасно. Я в такой почти был бесчувственности, что если бы мне пришли возвестить, что комната, в которой я лежал, скоро возгорится, то я бы не шевельнулся. Пора обедать, — нечаянный приехал гость. Присутствие его меня выводило почти из терпения. Он просидел у меня вплоть до вечера... и, подивитесь, скука разогнала несколько мою грусть, — сбылася со мною сей день пословица русская: выбивать клин клином.

Среда

Волнение в крови моей уменьшилось, — я целое утро просидел дома. Был весел, читал, — какая нечаянная перемена! что тому причиною? О возлюбленные мои! я читал живое изображение того, что ежечасно, ежемгновенно происходит, когда вы со мною. О мечта, о очарование! почто ты не продолжительна? Зовут обедать — мне обедать? С кем? одному! — нет — оставь меня чувствовать всю тяжесть разлуки — оставь меня. Я хочу поститься. Я им принесу в жертву... почто ты лжешь сам себе? Нет никакого в том достоинства. Желудок твой ослабел с твоими силами и пищи не требует, — пойдем, — едва в целый день мог я совершить столько пути, сколько в другое время совершаю в один час, — возвратимся, — я лежу в постеле, — бьет полночь. О успокоитель сокрушений человеческих! где ты? Почто я казняюся? Почто лишен тебя? Едва заснул на рассвете.

Четверток

Благая мысль, — исполним ее, — зашел в лавочку, купил два апельсина и крендель, — пойдем: куда, несчастный? В Волкову деревню.

На месте сем, где царствует вечное молчание, где разум затей больше не имеет, ни душа желаний, поучимся заранее взирать на скончание дней наших равнодушно, — я сел на надгробном камне, вынул свой запасный обед и ел с совершенным души спокойствием; приучим заранее зрение наше к тленности и разрушению, воззрим на смерть, — нечаянный хлад объемлет мои члены, взоры тупеют. Се конец страданию, — готов... мне умирать? Да не ты ли хотел приучать себя заблаговременно к кончине? Не ты ли сие мгновение хотел ознакомиться?.. мне умирать? Мне, когда тысячи побуждений существуют, чтобы желать жизни!.. Друзья мои! вы, можете быть, уже возвратились, вы меня ждете; вы сетуете о моем отсутствии, — и мне желать смерти? Нет, обманчивое чувство, ты

лжешь, я жить хочу, я счастлив. Спешу домой, — бегу, — но нет никого, никто меня не ждет. Лучше бы я там остался, там бы проводил ночь...

Пятница

Велел себя возить, — обедал безо вкуса.

Ничто не помогает, — уныние, беспокойствие, скорбь, о, как близко отчаяние! но на что толико грустить? еще два дни, — и они, они будут со мною, — два дни, — о ты, что можешь разлуку с друзьями души моей исчислить временем, о ты, злодей, варвар, змий лютой! Прочь толикое хладнокровие, — во мне сердце чувствует, а ты рассуждаешь.

Едва я уснул... О возлюбленные мои! я вас вижу, — вы все со мною, сомневаться мне в том не должно, прижмите меня к своему сердцу, почувствуйте, как мое бьется, — но что! вы меня отталкиваете! вы удаляетесь, отворачивая взоры ваши! о пагуба, о гибель! се смерть жизни, се смерть души. Куда идете, куда спешите? или не узнаете меня, меня, друга вашего? друга... Пойдите... мучители удалились, — пробудился. Вон беги, удайся, — се разверста пропасть, — они, они меня в нее ввергают, — оставили, — оставь их, будь мужествен. Кого? друзей моих? Оставить? Несчастный! они в твоей душе.

Суббота

Утро прекрасное, — кажется, природа обновилась, — все твари веселее, — да, веселье возрождается в душе моей. Возлюбленные мои возвратятся завтра — завтра! год целый. Изготовим для них обед, — тут они сядут. Я сяду с ними, о веселие! о надежда! — но их еще здесь нет. Завтра будут они, завтра сердце мое не одно будет биться, — а если не возвратятся — вся кровь остановляется, — какое сомнение! Прочь, прочь, я счастлив быть хочу, я хочу быть блажен, о нетерпение! о, колико солнце путь свой лениво совершает, — ускорим его шествие, осмеем его завистливость, уснем, — я лег в постелю до заката, заснул, — и пробудился.

Воскресение

До восхождения солнца, — о вожделенный день, о день блаженный! скончалось заранее мое терзание. Настал приятный час. Друзья мои! сегодня, сегодня я вас облобызаю.

Пообедал я немного, — ускорим свидание наше, — ускорим, — о, если им толико же скучно, как мне? О, если бы они могли иметь отзвон моего терзания в душах своих, колико приятно будет для

них зреть меня несколько часов прежде, — поедем им навстречу, — чем скорее поеду, тем скорее их увижу; в сей льстящей надежде не видал я, как доехал до почтового стана.

Девятый час — они еще не едут, может быть, какое препятствие, — подождем. Никто не едет. Чьим верить словам возможно, когда возлюбленные мои мне данного слова не сдержали? Кому верить на свете? Все миновалось, ниспал обаятельный покров утех и веселий; оставлен. Кем? Друзьями моими, друзьями души моей! Жестокие, ужели толико лет сряду приветствие ваше, ласка, дружба, любовь были обман? Что изрек? несчастный! А если какая непреборимая причина положила на сей день препятствие свиданию вашему? Какое хуление! страшись, чтобы не исполнилось! о горесть! о разлука! почто, почто я с ними расстался? Если они меня забыли, забыли друга своего, — о смерть! приди, вожденная, — как можно человеку быть одному, быть пустынноку в природе!

Но они не едут, — оставим их, — пускай приезжают, когда хотят! приму сие равнодушно, за холодность их заплачу холодностью, за отсутствие отсутствием, — возвратимся в город; — несчастный, ты будешь один; — пускай один; — но кто за мною едет вослед? Они — нет, их окаменелые сердца чувствительность потеряли; забыли они свое обещание сегодня возвратиться; забыли, что я им поеду во сретение; забыли меня. Пускай забывают; я их забуду...

Понедельник

Их нет, и я один! кого нет? Друзей... друзей моих? Нет друзей на свете более, коли они друзьями моими быть не захотели; чего их ждать? Уедем в другой город — пускай они меня ждут; но сегодня поздно, — исполним завтра.

Вторник

Простите, вероломные, простите, бесчувственные, — простите... Куда едешь, несчастный? Где может быть блаженство, если в своем доме его не обретаешь? Но я оставлен, — но я один, один — один!..

Карета остановилась, — выходят, — о радость! О блаженство! друзья мои возлюбленные!.. Они!.. Они!..



**Письмо к другу,
жительствующему в Тобольске
по долгу звания своего**

Санктпетербуре 8 августа 1782-го года

Вчера происходило здесь с великолепием посвящение монумента, Петру Первому в честь воздвигнутого, то есть открытие его статуи, работы г. Фальконета. Любезный друг, побеседуем о сем в отсутствии. Пребывая в отдаленном отечества нашего краю, отлученный от твоих ближних, среди людей, не известных тебе ни со стороны качеств разума и сердца, не нашел еще, может быть, в краткое время твоего пребывания не токмо друга, но ниже приятеля, с коим бы ты мог сетовать во дни печали и скорби и радоваться в часы веселия и утех: ибо печаль и скорбь исчисляются днями и годами, веселие часами, утех же мгновением. Ты охотно, думаю, употребишь час хотя единый отдохновения твоего на беседование с делившим некогда с тобою горесть и радовавшимся о твоей радости, с кем ты юношеские провел дни свои.

Вокруг места, где сооружался сокровенно чрез 15ть лет образ изваянный императора Петра, воздвигнута была рисованная на полотне заслона, а хоромина, бывшая над ним, неприметно сломана, и место вокруг все очищено.

В день, назначенный для торжества, во втором уже часу пополудни, толпы народа стекались к тому месту, где зреть желали лице обновителя своего и просветителя. Полк гвардии Преображенский и Семеновский, бывшие некогда сотоварищи опасностей Петровых и его побед, также и другие полки гвардии, тут бывшие под предводительством начальников своих, окружили места позорища, артиллерия, кирасирский Новотроицкий полк и Киевский пехотный заняли места на близлежащих улицах. Все было готово, тысячи зрителей на сделанных для того возвышениях и толпа народа, рассеянного по всем близлежащим местам и кровлям, ожидали с нетерпением зрети образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. Истинно бо есть и непреложно: достоинство заслуги и добродетель привлекают ненависть нередко и самих тех, кои причины не имеют их ненавидеть; когда

же вина и предлог ненависти исчезает, то и она не отрицает им должного, и слава Великого Мужа утверждается по смерти. Сооружившая монумент славы Петра императрица Екатерина, сев на суда у летнего своего дома, прибыла к пристани, вышед на берег, шествовала на уютованное при Сенате ей место, между строя воев своих. Едва вступить она успела на оное, как бывшая вокруг статуи заслона, помалу и неприметно как, опустилася. И се явился паки взорам нашим седящ на коне борзом в древней отцов своих одежде Муж, основание града сего положивший и первый, который на невских и финских водах воздвиг российский флаг, доселе не существовавший. Явился он взорам любезных чад своих сто лет спустя, когда впервые трепещущая его рука, младенцу ему сушу, приняла скипетр обширных России, пределы коея он расширил столь славно.

Благословенно да будет явление твое, речет преемница престола его и дел и преклоняет главу. Все следуют ее примеру. И се слезы радости орошают ланиты. О Петр! Когда громкие дела твои возбуждали удивление и почтение к тебе, из тысячи удивлившихся великости твоего духа и разума был ли хотя один, кто от чистоты сердца тебя возносил. Половина была ласкателей, кои во внутренности своей тебя ненавидели и дела твои порицали, другие, объемлемые ужасом беспредельно самодержавных власти, раболепно пред блеском твоея славы опускали зеницы своих очей. Тогда был ты жив, царь, всесилен. Но днесь, когда ты ни казнить, ни миловать не можешь, когда ты бездыханен, когда ты меньше силен, нежели последний из твоих воинов, шестьдесят лет по смерти, хвалы твои суть истинны, благодарность не лестна. Но колико крат более признание наше было живее и тебя достойнее, когда бы оно не следовало примеру твоея преемницы, достойному хотя примеру, но примеру того, кто смерть и жизнь миллионов себе подобных в руке своей имеет. Признание наше было бы свободнее, и чин откровения изваянного твоего образа превратился бы в чин благодарственного молебствия, каковое в радости своей народ воссылает к предвечному отцу.

Из тысячи бывших тут зрителей известных было три человека, кои Петра I видели. Но не приметно было, ощутили ли они при явлении его образа то благоговение, которое ощущаем, увидев Мужа славна, нам известного. — Действие продолжалось. Пушечная пальба со стоящих на реке судов, с крепости и адмиралтейства и троекратный беглый огонь возвещали отсутственным явлением образа, приведшего силы пространная России в действие. Стоявшие в строю полки ударили поход, отдавая честь, и с преклонными знаменами шли мимо подавшего им первый пример слепого повиновения воишской подчиненности, показывая учредителю своему плоды его трудов, при продолжающейся военных судов пальбе, которые сардамскому плотнику в честь украсились много-

численными флагами. Сей день ознаменован прощением разных преступников и медалию, сделанною в честь обвинителя России.

Статуя представляет мощного всадника на коне борзом, стремящемся на гору крутую, коея вершины он уже достиг, раздавив змею, в пути лежащую и жалом своим быстрое ристание коня и всадника остановить покусившуюся. Узда простая, звериная кожа вместо седла, подпругою придерживаемая, суть вся конская сбруя. Всадник без стремян, в полукафтаны, кушаком препоясан, облеченный багряницею, имеющ главу, лаврами венчанную, и десницу простертую. Из сего довольно можешь усмотреть мысли изваятеля. Если б ты здесь был, любезный друг, если бы ты сам видел сей образ, ты, зная и правила искусства, ты, упражняясь сам в искусстве, сему обратном, ты лучше бы мог судить о нем. Но позволь отгадать мне мысли творца образа Петрова. Крутизна горы суть препятствия, кои Петр имел, производя в действие свои намерения; змея, в пути лежащая, коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, который он преобразовать вознамерился; глава, лаврами венчанная, победитель бо был прежде нежели законодатель; вид мужественный и мощный и крепость преобразователя; простертая рука покровительствующая, как ее называет Дидеро, и взор веселый суть внутреннее уверение достигшия цели, и рука простертая являет, что крепкий муж, преодолев все стремлению его противившиеся пороки, покров свой дает всем, чадами его называющимся. Вот, любезный друг, слабое изображение того, что, зирая на образ Петров, я чувствую. Прости, буде я ошибаюсь в моих суждениях о искусстве, коего правила мне мало известны. Надпись сделана на камне самая простая: *Петру Первому, Екатерина Вторая, Лета 1782го.*

Петр по общему признанию наречен великим, а Сенатом — отцом отечества. Но за что он может великим назваться. Александр, разоритель полусвета, назван великим; Констаптин, омывшийся в крови сыновней, назван великим; Карл, первый возобновитель Римския империи, назван великим; Лев, папа римский, покровитель наук и художеств, назван великим; Козма Медигис, герцог Тосканский, назван великим; Генрих, добрый Генрих IV, король французский, назван великим; Людвиг XIV, тщеславный и кичливый Людвиг, король французский, назван великим; Фридрих II, король прусский, еще при жизни своей назван великим. Все сии владетели, о множестве других не упоминал, коих ласкательство великими называет, получили сие название для того, что иступили из числа людей обыкновенных услугами к отечеству, хотя великие имели пороки. Частный человек гораздо скорее может получить название великого, отличаяся какой-либо добродетелию или качеством, но правителю народов мало для приобретения сего

лестного названия иметь добродетели или качества частных людей. Предметы, над коими разум и дух его обращается, суть многочисленны. Посредственный царь исполнением одной из должностей своего сана был бы, может быть, великий муж в частном положении; но он будет худой государь, если для одной пренебрежет многие добродетели. И так вопреки женеvскому гражданину познаем в Петре мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно.

И хотя бы Петр не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что дал первое стремление столь обширной громаде, которая, яко первоначальное вещество, была без действия. — Да не уничижуся в мысли твоей, любезный друг, превознося хвалами столь властного самодержавца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому льстят не можно! И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносясь сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную; но если имеем примеры, что цари оставляли сан свой, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытости своего сана, то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сядя на престоле.¹



¹ Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли.

Житие
Федора Васильевича Ушакова
С приобщением некоторых его сочинений

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЖИТИЕ Ф. В. УШАКОВА

Алексею Михайловичу Кутузову

Не без удовольствия, думаю, любезнейший мой друг, вспоминаешь иногда о днях юности своея; о времени, когда все страсти, пробуждаясь в первый раз, производили в новой душе не стройное хотя волнение, но дни блаженнейшие всея жизни соделовали. Беззаботный дух и разум неопытностью не претили в веселии распространяться чувствам, чуждым скорбного еще нервов содрогания. Да и самая печаль, грусть и отчаяние скользили, так сказать, на юном сердце, не проникая начальную его твердость, когда нередко наиплачевнейший день скончался веселия исступлением. Отвлеки мысленно невинную часто порочность из деяний юности, найдешь, что после первых восторгов веселия подобных в жизни свей не чувствовал. Первое веселие назвать можно вершиною блаженства, и потому только, что оно первое; последующее уже есть повторение, и нечаянности приятность его не живит. Не с удовольствием ли, мой друг, повторю я, вспомняешь о времени возрождения нашей дружбы, о блаженном сем союзе душ, составляющем ныне мое утешение во дни скорби и надеяние мое для дней успокоения. Не возрадуешься ли, если узришь паки подавшего некогда нам пример мужества, узришь учителя моего по крайней мере в твердости. Вспомняи, о мой друг! Федора Васильевича, сгораема внутренним огнем, кончину свою слышавшего из уст нелестивого своего врача и к тебе, мой друг, к тебе прибегающего на скончание своего мучения... Вспомняи сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пиющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподавал им учение, какого во всем житии своем не возмог.

Таковые размышления побудили меня описать житие сотоварища нашего Федора Васильевича Ушакова. Я ищу в том собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверзти последние излучины моего сердца. Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего.

Первые годы жизни Федора Васильевича мало мне известны; и хотя бы охотно и с удовольствием их я начертал, находя в первых детских и отроческих деяниях начальное образование души его, находя в пятилетнем Ушакове семена твердости, душу его возвышавшей в возмужалых летах: но лучше признаюсь в неведении моем, нежели поставлю что-либо гадательное вместо истины, и единственного да не отыму побуждения ко чтению сего повествования во истине.

Но не гадательным предположением назвать можно, если скажу, что воспитанием своим в сухопутном кадетском корпусе положил он основательное образование прекрасная своей души. Ибо в душе своей более предуспеть мог, нежели в разуме, скончав жизнь свою тогда, когда юношескою крепостию мозга представления, воображения и мысли, проницая друг друга, первые полагают украшения верховного нашего члена — главы; когда разум, хотя собрав посредством чувств много понятий, не имел еще довольного времени устроить их в порядок, дабы и последнее возбуждало первое, переходя все между стоящее.

Успехи Федора Васильевича в науках побудили тогда тайного советника Теплова взять его к себе в должность секретаря, с чином титулярного советника. По издании Рижского торгового устава, при составлении которого он много трудился, получил он чин коллежского асессора. Люди, ослепляющиеся внешностию и чтущие в человеке чин, а не человека, завидуя ему и преуказуя его возвышение, обучались уже его почитать заранее: но сколь не равных с ними он сам о себе был мыслей, доказал то самым делом.

Императрица Екатерина, между многими учреждениями на пользу государства, восхотела, чтобы между людьми, в делах судебных или судопроизводных обращающимися, было некоторое число судей, имеющих понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы оное сообразовали с деяниями граждан на суде. На сей конец определила послать в Лейпцигский университет двенадцать юношей для обучения юриспруденции и другим к оной относящимся наукам. Будучи извещен о сем благом намерении императрицы, Федор Васильевич прибегнул просьбою к начальнику своему, да участвует в приобретении знаний, сотовариществуя юношам, избранным для отправления в Лейпцигский университет.

Узнав о его предприятии, многие из его друзей увещевали его, да останется при своем месте и да не предпочтет неверную стезю

к почестям, ученость, покровительству своего начальника и да не подроет тем основания своего возвышения. В делах житейских, говорили они ему, все зависит от расчета и уловки. Кто в них следует единому рассудку и добродетели, тот не брежет о себе. Благо-разумие, а иногда один расторопный поступок и далее возводят стязжающего почестей, нежели все добродетели и дарования совокупно. Положим, что государь истинное достоинство только награждает и пристрастен не бывает николи; но если бы возможно было ему хотя одному быть беспристрастному в своем государстве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут; ибо если он возможен чужд быть родству, приязни, дружбе, любви, хотя потому, что равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного. Сверх же того, он малого токмо числа отечеству или ему служащих сам по себе знает истинные заслуги, о всех других судит по слуху, награждает того, кого назначают вельможи, казнит нередко того, кто им не нравится. Из нескольких миллионов ему подвластных едва единое сто служат ему; все другие (источая кровавые слезы, признаться в том должно), все другие служат вельможам. Доказательства для сего не нужны. Скажу только одно: посмотри на поступающих в чины; кто чин, или место, или награждение какого бы рода ни было получит, обязанным себя, да и справедливо, почитает благодарить за то вельможей. Одного благодарит за то, что его рекомендовал государю, другого за то, что не был ему противен, третьего, чтобы вперед не говорил о нем худо. Государь нередко бывает в сем случае не что иное, как корабль, направляемый тем ветром, который других превозмогает. Итак, оставь пустую мысль и тщетное намерение быть известным государю, в низком состоянии следуй начатому пути и предугеешь.

Положим, что ты пребыванием своим в училище приобретешь знания превосходнейшие, что достоин будешь управлять не токмо важным отделением, но достоин будешь венца; неужели думаешь, что тебя государь поставит на первую по себе степень? Тщетная мечта юного воображения! По возвращении твоём имя твое будет забыто. Вместо того что ты известен ныне чрез твоего начальника, о тебе тогда и не вспомнят, ибо не удостоит тебя государь, может быть, воззрения отвлеченный от того или правления заботою, или надменностию сана своего, или завистию вельможей, которые, осаждая непрестанно престол царский, претят проникнуть до него достоинству. А если истекает на него награждение, то уделяют его всегда в виде милости, а не должным за заслуги воздаянием. Ты поместишься в число таких людей, кои не токмо не равны будут тебе в познаниях, но и душевными качествами иногда ниже скотов почестся могут; гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен. Окрест себя узришь нередко согбенные разумы и души и самую мерзость. Возненавиден будешь ими; поженут тебя, да оставишь ристание им свободно. А если тогда начальник твой

будет таковых же качеств, как и раболепствующие ему, берегись, гибель твоя неизбежна.

Таковыми ужасными представлениями друзья Федора Васильевича старались отвратить его от его предприятия. Начальник его, хотя другими доводами, то же имел намерение: но все старания их были тщетны. Полагаясь твердо на правосудие своего государя и алкая науки, Федор Васильевич пребыл непоколебим в своем намерении и учения ради сложил с себя мужественный возраст, что степень почестей ему уже дано в обществе, стал неопытный юноша, или паче дитя, преклонялся в управление наставнику, управляв уже собою несколько лет в разных жизни обращениях.

Описывая житие столь близкого сердцу моему человека, как то был Федор Васильевич, я не скрою, однакоже, и того, чего разум его не мог еще в нем исправить и к чему обращение в большом свете приучило юные его чувства. Сие-то предвременное познание большого общества, где с дядькою казаться уже стыдно, навлекло ему болезнь в летах крепости и смерть безвременную.

Вышед из кадетского корпуса, Федор Васильевич стал управлять сам собою. Семнадцатилетний юноша, наперсник вельможи, коего тогдашний доступ до государя всем был известен, не мог он обойтись без искушения, и сии были различного рода. Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцем до дела их касается; и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят. Таковые же ласкательства, угождения и бог весть что употреблено было от просителей на снисkanie благоволения Федора Васильевича. Богач сулил злато, но не успевал, и долженствовал возвращаться с негодованием. Но если благорасположенная душа его отметала мздоимство, не могла она отметать всегда вида приязни. Трудившись во весь день, охотно ездил он по вечерам в собрания малые и большие, на балы, маскарады, ужины, где нередко просиживал за карточною игрою до полуночи, а иногда гораздо позже. Возвращаясь домой, нередко вместо возобновления сил благотворным сном принужден бывал приниматься паки за работу, и светило дневное, восходя на освещение блаженства и несчастья, заставляло его согбенного над трудом, не вкушавшего еще сладости успокоения.

В числе множественных просителей бывали иногда женщины, женщины молодые, которые в жару доводов о справедливой или неправильной их просьбе забывали иногда, чем были должны целомудрию, а иные, помня леты того, к кому шли на прошение, умыш-

ленно употребляли чары красоты своея на приобретение благосклонности Федора Васильевича. Такого рода приключение он сам рассказывал. Се повесть его:

Пробыв гораздо за полночь в веселой беседе с людьми, обыкновенно друзьями называющимися, приехав домой, работал он до пятого часа утра и, утомившись веселием и работою, заснул крепко. Беззаботливая юность не беспокоилась еще колючим тернием опытности, и мечты сна его столь же были исполнены веселия, как и бдение. Ему снилось, что лежал в объятиях прекрасная жены, упоенный сладострастием, столь державно над юными чувствами властвующим, и среди прелестных сея мечты отлетел сон от очей его. Но что же представилось просиявшему его взору? Стократ любезнее виденной им во сне зрел он отроковицу почти, сидящую подле одра его, тщательно отгоняющую крылатых насекомых с лица его и распростертым опахалом умеряющую зной солнца, проникшего уже лучом своим в его спальню. Лето было, и час уже десятый. Не вдруг поверил он, что проснулся. Зря его пробудившегося и устремляя взоры пламенного желания, с улыбкою страсти и гласом Сирены:

— Извините меня, государь мой, — сказала просительница, — что я прервала ваш сон и лишила вас, может быть, приятных мечты возлюбленной. — И пронизала вещающая жарким своим взором всю его внутренность. Если бы я писал любовную повесть, колико обильная предлежала бы начертанию жатва. Чувственность была в Федоре Васильевиче при начале своего возникновения, просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в предстательстве Федора Васильевича, увидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и успела.

О, если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я паки имел не более двадцати лет! Мой друг, жалея, если хочеш, о моей слабости: но се истина.

Сими и сим подобными случаями подсек Федор Васильевич корень своего здоровья и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных услаждений.

Как со времени начатия нашего путешествия повествование о Федоре Васильевиче сопряжено с повествованием об общем нашем пребывании в Лейпциге: то не удивляйся, мой друг, если оно коснется вообще положения, в котором мы находились, и если найдешь здесь некоторые черты расположения твоих мыслей в тогдашнее время. Ибо забыть того нельзя, колико единомыслие между нами царствовало.

В продолжение нашего пути Федор Васильевич навлек на себя ненависть Путеводителя нашего, и самое то качество, которое ему приобрело нашу приверженность, самое то было причиною, что Божу его возненавидел. Твердость мыслей и вольное оных из-

речение были в нем противны, и с первого раза, когда они в нем явны стали, начал Путеводитель наш помышлять, как бы погубить его. Но дивиться не должно, что противоречие в подчиненном, справедливое хотя противоречие, или, лучше сказать, единое напоминание справедливости, произвело здесь со стороны сильного негодование и прещение. Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно. Пример самовластия государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихотей, побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуясь уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется, что противоречие власти начальника¹ есть оскорбление верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящих отечество граждан заключающая в темнищу и предающая их смерти; теснящая дух и разум и на месте величия водворяющая робость, рабство и замешательство, под личиною устройства и покоя! Да сие иначе и быть не может по сродному человеку стремлению к самовластию, и Гельвецево о сем мнение ежечасно подтверждается.

Привлекши на себя ненависть Путеводителя нашего, Федор Васильевич не возмущился сею мыслию, ибо что вешал ему, то была истина. Бокум рачил более о своей прибыли, нежели о вверенных ему. Федор Васильевич имел более опытности, нежели другие его сотоварищи; довольные причины для приведения корыстолюбца на злобу.

Первый случай к несогласию нашему с нашим Путеводителем и первая причина его злобствования против Федора Васильевича было само в себе малозначущее происшествие, но великое имело действие на расположение наше к начальнику нашему. Мы все воспитаны были по русскому обряду и в привычке хотя не сладко есть, но до насыщения. Обыкли мы обедать и ужинать. После великопеленного обеда в день нашего выезда ужин наш был гораздо тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями резанном. Такое кушанье, для немецких желудков весьма обыкновенное, встревожило русские, привыкшие более ко штям и пирогам. И если захочешь без предубеждения внять вине нашего неудовольствия, к несчастию нашему потом обратившегося, то найдешь корень оного в первом нашем ужине. Покажется иному смешно, иному

¹ С вероятностью корень сего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских законоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе отечеству с военного состояния и, привыкнув давать подчиненным своим приказы, на которые возражения не терпит воинское повиновение, вступают в гражданскую службу с приобретенными в военной мыслиями. Им кажется везде строй; кричит в суде на караул и определение нередко подписывает палкою.

низко, иному нелепо, что благовоспитанные юноши могли начальника своего возненавидеть за такую малость: по самого умереннейшего человека заставь поговорить неделю, то нетерпение в нем скоро будет приметно. Если сладость наскучить может, кольми паче голод. Худая по большей части пища и великая неопрятность в приуготовлении оной произвели в нас справедливое негодование. Федор Васильевич взялся изъяснить оное пред нашим начальником. Умеренное его представление принято почти с презрением, а особливо женою Бокума, которую можно было почитать истинным нашим гофмейстером. Сие произвело словопрение, и кончилось тем, что Федор Васильевич возненавижен стал обоими супругами.

Но не знал наш Путеводитель, что худо всегда отвергать справедливое подчиненных требование и что высшая власть сокрушалась иногда от безвременной упругости и безрассудной строгости.

Мы стали отважнее в наших поступках, дерзновеннее в требованиях и от повторяемых оскорблений стали наконец презирать его власть. Если бы желание учения не останавливало нас в поступках наших и не умеряло нашего негодования, то Бокум на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить до крайности. Во всех сих зыблениях боязни и отваги младшие предводительствуемы были старшими. Из сих первый был Федор Васильевич. Но если его кто почтет или сварливым, или злобным, или пронрливим, или коварным, или вспылчивым, тот, конечно, ошибется. Единое негодование на неправду бунтовало в его душе и зыбь свою сообщало нашим, немощным еще тогда самим собою воздыматься на опровержение неправды. Таковыми происшествиями уготовлялися мы к одной из знаменитейших, по моему мнению, эпох нашей жизни. Я говорю о содержании нашем в Лейпциге под стражею.

Ничто, сказывают, толико не сопрягает людей, как несчастье. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера толико нас сделали единомысленными, что, исключая некоторых из нас, могли бы мы поистине один за другого жертвовать всем на свете. Да сие иначе быть не может; ибо дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна. Краткое пребывание наше в Митаве, возрение неизвестных нам доселе нравов, обрядов, языка загладило в душе Федора Васильевича угрызение печали. Ежедневные оскорбления начинали было производить в нем раскаяние о предприятom путешествии, но новые предметы отвлекли душу его от горестных мыслей и соделали ее на некоторое время к оскорблениям бесчувственною. Но если новые предметы удобны были загладить в душе Федора Васильевича изрытие печали, то не имел он, однакоже, довольно опытности, так сказать, в учении, дабы из путешествия своего извлечь всю возможную пользу. Примечания достойно: человек, достигнув возмужалых лет, когда начинает испытывать

силы разума, устремляемый бодростию душевных сил, обращает пронизательность свою всегда на вещи, вне зримой окружи лежащие, возносится на крыльях воображения за пределы естественности и нередко теряется в неосязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождяющую. Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику; с другой же стороны, все, чувствовать начинающие, придерживаются правил, народным правлениям приличных. Итак, Федор Васильевич мысли свои обращал более к умственным предметам и не знал еще, какую полезность извлечь можно из путешествия.

Между людьми, получившими воспитание разного рода, понятия о священных вещах должны были быть и были разные. Если бы возможно было определить, какое каждый из нас имел тогда понятие о боге и о должном ему почитании, то бы описание сие показалося взятым из какого-либо путешествия, в коем описывается исповедание веры неизвестных народов. Иной почитал бога не иначе как палача, орудием кары вооруженного, и боялся думать о нем, столь застрашен был силою его прещения. Другому казался он вскруженным толпою младенцев, азбучный учитель, которого дразнить ни во что вменяется, ибо уловкою какою-нибудь можно избегнуть его розги и скоро с ним опять поладить. Иной думал, что не токмо дразнить его можно, но делать все ему на смех и вопреки его велениям. Все мы, однакоже, воспитаны были в греческом исповедании, и для сохранения нас в православии отправлен с нами был монах, которому в должность предписано было наставлять нас в христианском законе, отправлять для нас службу церковную и быть нашим духовником.

Отец Павел был в своем роде человек полуученый, знал по латыне, по гречески и несколько по еврейски. В семинарии прошел все нижние и вышние философские и богословские классы и был учителем риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними авторами преподанного, если знал он, что есть метафора, антитезис и прочие риторические фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец Павел. Добродушие было первое в нем качество, другими же он не отличался и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставление в священном законе. Судить можно из следующего.

Исправление наше (ибо при первом нашем свидании он почел нас богоотступниками, хотя ручаться можно, что ни один из нас в то время ниже повести не читывал о афеистах), исправление наше начал он тем, что заставил нас при утренних и вечерних на молитве собрания петь. Если вспомнишь, мой друг, сколь нестройный, несогласный и шумный у нас был всегда концерт, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянул очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной чресчур кудряво, и наконец устроенное

на приучение ко благоговению превратилось постепенно в шутку и посмеялище.

Отец Павел, если припомнишь, гораздо был смешлив, и если случалось ему во время богослужения видеть что-либо смешное, то, забыв важность своего действия, начинал смеяться, как то случилось ему в Лейпциге, увидев одного из нас, а именно к.[нязя] Т.[рубецкого], поющего па крылосе искривив лицо для высокого напева. Для сей-то причины он отправлял богослужение большею частию зажмурившись.

В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. Отец Павел, опасаясь увидеть что-либо пред глазами, могущее подвигнуть его на смех, зажмурился начиная пение. Сим М.[ихаил] У.[шаков], человек шутливый и проказливый, захотел воспользоваться, дабы рассмешить нашего отца Павла.

Икона, пред коей совершался наш молитвенный напев, стояла вверху довольно просторного стола, на котором раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. Пред столом стоял отец Павел зажмурившись. М. У.[шаков], взяв легонько одну из перчаток, на столе лежавших, и согнув персты ее образом смешного кукиша, положил оную возвышенно прямо пред поющего нашего духовника. При делании поясных поклонов растворил зажмурившийся глаза свои, и первое представилась ему сложенная перчатка. Не мог он воздержаться, захотал громко, и мы все за ним.

Отец Павел, не привыкнув еще к нашим проказам, обретал в них более, нежели простые и юношеские шутки. Оборотясь, наименовал он нас богоотступниками, непотребными и другими в приложении юношества смешными названиями; сделавшего же вину смеха называл, неграмматикально может быть, мошенником, да и того хуже. При первых уже словах М. У.[шаков], будучи весьма вспыльчив, восколебался, и столь же смешным деянием, как сей неприличными словами, представили нам позорище, какого ни на каком феатре за рубль купить не можно. М. У.[шаков], схватив висящую на стене шагу и привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу; показывая ему ефес с темляком, говорил ему, немного заикаясь от природы:

— Забыл разве, батюшка, что я кирасирский офицер.

В таком вкусе было продолжение сего действия, которое для нас кончилось смехом, для М. У.[шакова] мнимою победою, а для отца Павла отъитием с негодованием в свою комнату.

Сие и подобные сему происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти, так, как шутки над нашим гофмейстером некоторого проезжавшего российского гвардии офицера, о чем я скажу после, возбудили к нему в нас совершенное пренебрежение.

Еще о красноречии отца Павла: следуя, не ведаю, данному предписанию или по собственному своему побуждению, он каждое

воскресение по совершении литургии становился пред царскими дверьми за налоем и преподавал нам толкование о чтенном того дня евангелии. Вследствие сего обряда в некакой праздник, во благовещение, если хорошо помню, он объяснить нам старался, что в священном писании разумеется под ангелом божим.

— Ангел есть слуга господень, которого он посылал для посылок; он то же, что у государя курьер, как то г. Гуляев.

Тогда был в Лейпциге приехавший из Петербурга с некоторыми приказаниями курьер кабинета и был с нами присутствен на литургии. При изречении сего забыли мы должное к церкви благоговение, забыли ангела, видели действительного куриера, и все захотали громко. Отец Павел засмеялся за нами вслед, зажмурил глаза, потом заплакал и сказал:

— Аминь.

Приехав в Лейпциг, забыл Федор Васильевич все обиды и притеснения своего начальника и вдался учению с наивеличайшим рвением, но как не окоренел еще в трудолюбии сего рода, то на время от одного отвлечен был случившимся с нами неприятным происшествием, которое для всех нас было деятельною наукою нравственности во многих отношениях.

Если иные в повествовании сем найдут что-либо пристрастное, не буду тронут тем, ведая, что они ошибаются; но ты, мой друг, будучи содействователь всего, обрящешь в нем истину.

Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и подобно правителям народов возмнил, что он не для нас с нами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притеснители частные и общие, по частию человечества, не разумеют и, простирая повсеместную тяготу, предел оныя, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглюю. Не ведают мучители, и даждь господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что составляющее несносную печаль сему другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и в оборот то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания, во сте других родит отчаяние и исступление. Пребуди благое неведение всецело, пребуди нерушимо до скончания века, в тебе почила сохранность страждущего общества. Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего.

Первое, чем Бокум по приезде в Лейпциг начал правление свое, было сокращение издержек относительно нас, елико то возможно было. Но не воображай, чтобы домостроительство было тому причиною; что он отчислял от нашего содержания, то удвоил во своем и принужден был лишать нас даже нужнейших вещей на содержание наше. О сем те, кои из нас были постарее, и в числе оных первый был Федор Васильевич, делали ему весьма кроткие представления, гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент дельвал французскому королю. Но как таковые представления были частные, как то бывают и парламентские, а не от всех, то Бокум отвергал их толико же самовластно, как и король французский, говоря своему народу: «в том состоит наше удовольствие».

Наскучив представлениями, Бокум захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти. Придравшись к маловажному проступку к.[нязя] Т.[рубецкого], он посадил его под стражу, отлучив его от обхождения с нами, и приставил у дверей комнаты, в которую он был посажен, часового с полным оружием, выпросив нарочно для того трех человек солдат. Не довольствуясь таковым наглым поступком, он грозил посаженному под стражу и нам за ним, если не уйдемся, то, по данной ему власти, он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или ударами обнаженного тесака по спине. Сие произвело в нас противное действие тому, которое он ожидал. Ведали мы, что власти таковой ему дано не было, и всякому известно было, что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя все изветы лютости прежних, хотя поистине душесильных времен. Негодование в нас возросло до испугления; но мы не забыли еще умеренности, и хотя скопом и заговором, но для ребят довольно правильно и благопристойно, пришли все просить его об отпущении вины к.[нязя] Т.[рубецкого] и об освобождении его из-под стражи. Вместо того, чтобы воспользоваться кротким расположением душ наших и привлечь к себе нашу признательность отпущением вины сотоварища нашего в уважение нашей просьбы, он ее нагло отвергнул и выслал нас с презрением. Сие уязвило сердца наши глубоко, и мы не столько помышлять начали о нашем учении, как о способах освободиться от толико несносного ига.

Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятия и все, что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях; тут отважность была похваляема, а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая.

Бокум оного не удалял. Причина нашего неудовольствия была недостаток иногда в нужных для нашего содержания вещах, то

есть в пище, одежде и прочем. Вторая зима по приезде нашем в Лейпциг была жесточее обыкновенных, и с худыми предосторожностями холод чувствительнее для нас был, нежели в самой России при тридцати градусах, стужи.

Домостроительство Бокума простиралось и на дрова, и мы более в сем случае терпели недостатка, нежели в чем другом. Хотя запрещено было, как то нам сказывали, присылать к нам деньги из домов наших, но мы, неизвестны будучи о сем запрещении и охотны, особливо на случай нужды, преступить сие повеление, имели при отъезде нашем из России по несколько собственных денег. Кто их имел, не только удовлетворял необходимым своим нуждам, но снабжал и товарищей своих. Словом, во все продолжение нашего пребывания кто имел свои деньги, тот употреблял их не токмо на необходимые нужды, как то на дрова, одежду, пищу, но даже и на учение, на покупку книг; не утаю и того, что деньги, нами из домов получаемые, послужили к нашему в любострастии невоздержанию, но не они к возрождению оного в нас были причиною или случаем. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были оного корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается.

Один из нашего общества, Н.[асакин], не получал из дому своего ни копейки и для того претерпевал более других нужду. В помянутую зиму не в силах более терпеть холода ради болезненного расположения тела решился сделать гофмейстеру представление. Бокума он нашел играющего на бильярде с неким из его единомысленцев и главным подстрекателем¹ его надменности. Н.[асакин] объявил ему о своем недостатке, прося дать приказание истопить его горницу. За день сего Бокум посадил под стражу к.[нязя] Т.[рубецкого], который был комнатный товарищ Н.[асакина]. На отказ, сделанный Бокумом, Н.[асакин] сделал возражение, а Бокум, не хотя оного слушать, а особливо при напоминателе о его власти, оставив свою игру, начал пришедшего толкать неучтиво; а как сей тому противился и, к нему обернувшись, говорил, что требование его о сем справедливо, то Бокум и паче того раздраженный ударил Н.[асакина] по щеке. Сей мнимый отчасти знак бесчестия столь сильно обезоружил Н.[асакина], что он, не сказав более начальнику нашему ни слова, поклонился и вышел вон.

Отрада несчастному есть убежище на лоне дружбы, беседование о скорби своей. И возвестил нам обиженный о происшедшем с ним.

¹ Сказывали, что сей молодец, за деньги достав себе звание министра при каком-то дворе, должность свою отправлял с похвалою. Сие оправдывает мнение тех, кои думают, чтоб быть употреблену с похвалою в делах министерских, надобен ум, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство выситься и низиться по обстоятельствам могут сделать отличного министра, но доброго гражданина николи.

Презрение к начальнику нашему было первое душ наших движение: но скоро к тому присовокупилось и негодование. Всяк боялся такой же участи; иной мечтал уже следствие своего отчаяния в таком случае, другой, изумленный предварительно таковою мыслию, находился в нерешимости, что должно будет ему сделать, если на него падет жребий, равный с Н.[асакиным]. Но все единогласно положили, что Бокум, сделав поступок, противный не только добрым нравам, но и благопристойности, долженствовал сделать Н.[асакину] удовлетворение за обиду. В общежитии, говорил нам Федор Васильевич, если таковой случай произойдет, то оный не иначе заглажен быть может, как кровию. Сие говорил он из опытов и подкреплял примерами, но ни он, ни мы не понимали еще всей гнусности поединков в благоустроенном обществе и, вождаемые примерами, судили, что настоял бы и теперь к оному случай, если бы дело должно было иметь с посторонним человеком, а не с начальником нашим.

Мы в то время начали только слушать преподавания права естественного и, не объяв еще всю оною связь, остановились при первых движениях, производимых в человеке оскорблением. Не имея в шестии своем ни малейшия преграды, человек в естественном положении, при совершении оскорбления влекомый чувствованием сохранности своей, пробуждается на отражение оскорбления. От сего рождается мщение, или древний закон, *око за око*; закон, ощущаемый человеком всечасно, но загражденный и умеряемый законом гражданским. Несовершенное еще расположение мыслей представило уму нашему в естественном нас положении в отношении нашего начальника, и мы заключили, что Н.[асакин] долженствовал возратить Бокуму полученную им пощечину.

Заключительный и общий наш приговор был таков, что Н.[асакин] должен идти к Бокуму и в присутствии нашем требовать от него в обиде своей удовлетворения. Если же он не восхочет того исполнить, то надлежит ему пощечину Бокуму возратить. Долго Н.[асакин] размышлял, колебался, не мог решиться на сей поступок: но мы приговор наш подкрепили тем, что если он сего не исполнит, то лишен будет нашей приязни и обхождения с нами. Ничто столь сильного и столь скорого не могло произвести действия в душе оскорбленной Н.[асакина], как наша угроза. Если бы приговор наш был в противную сторону, то он, да и всякий из нас и кто бы то ни было в равном токмо с нами положении, терпеливо бы принял еще десять пощечин, нежели бы захотел притти в презрение у своих сотоварищей.

Собравшись и условившись, каким образом долженствовал Н.[асакин] требовать от Бокума удовольствия в обиде, ему сделанной, мы пошли к нему, исключая к.[нязя] Т.[рубцекого], который сидел под стражею.

В комнате, где бывала обыкновенная наша трапеза, дожидались мы его, послав его известить, что мы желаем его видеть. Едва он вошел в комнату, как началось действие, которое при первом шаге нашего жития могло бы превратным жребием свергнуть нас в совершенную гибель. Столь юность без советов дружества сама себе губительна! но провидение блело над нами, ибо превратности в сердце нашем не зрело; и для того щит его носится всегда над неопытностью и блюдет ее в самой пропасти.

Вследствие сделанного между нами положения Н.[асакин], подступив к Бокуму, просил от него удовлетворения в обиде. Приятнее, может быть, будет читателю, приятнее тебе, мой любезный друг, если я употреблю здесь самые почти те слова, которые в то время были изречены; они были кратки, как и действие было мгновенно.

Н.[асакин]. Вы меня обидели, и теперь пришел я требовать от вас удовольствия.

Б.[окум]. За какую обиду и какое удовольствие?

Н. Вы мне дали пощечину.

Б. Неправда, извольте итти вон.

Н. А если не так, то вот она, и другая.

Сие говоря, ударил Н.[асакин] Бокума и повторил удар.

Опасаясь дальнейшего следствия, Бокум вышел из горницы. Писарь Бокумов, бывший тогда с ним, вообразив себе, что Н.[асакин] хочет господина его заколоть, ибо имел при себе шпагу, оторвал у него ее с бедра, за что он был наказан только тем, что М. У.[шаков] снял с него парик. Но причина, для коей Н.[асакин] имел при себе шпагу, была иная; он был в гостях и пришед не имел времени раздеться и на сражение пришел со шляпою и шпагою; но Бокум в обвинении своем не пропустил сего обстоятельства и сказал, что мы, а паче Н.[асакин] покушались на его жизнь, и сей вынул уже шпагу из ножен до половины, но он нас как ребят разогнал и раскидал. И так в самой клевете не забывал он хвастовства и никогда не признался, что Н.[асакин] возвратил пощечину с лихвою.

Но если бы вздумали располагать великость вины по оружию, которое кто имел, то никого не надлежало обвинить более других, как меня. Ибо у меня были в то время карманные пистолеты, заряженные с дробью, которые я, купив за день пред сим происшествием, зарядил и хотел итти испытать оных действие в определенном к тому месте, но по счастью меня тогда не обыскали. Из сего глупая юности происшествия могло бы произойти, признаюся охотно, что-либо слезное и несмешное, если бы Бокум имел кого-либо при себе опречь старого своего писаря и если бы, вождаем мыслию, что мы умыслили убить его, стал бы на нас наступать. В жару испуга чего не могло бы случиться, но к счастью М. У.[шаков] двери запер, и на крик старого писаря никто войти не мог.

По совершении нашего приступа мы, почитая его правильным поступком, заявили о нем университетскому ректору. Возвратясь от него, души наши покойны не были. Мы чувствовали наш проступок, но чувствовали и тягость нашего положения, и на весах правосудия мы осуждены бы быть не могли. Но всякий судия есть человек, нередко вождается внешностью.

Я ныне еще трепещу, вспоминая о намерении нашем при сем происшествии. Мы рассуждали, что наш поступок, конечно, не одобряют, что Бокум расцветит его тусклыми красками клеветы, что если посадил под стражу за маловажный проступок, может сделать над нами еще более, и мы возвращены будем в Россию для наказания, а более того на посмеяние; и для того многие из нас намерение положили оставить тайно Лейпциг, пробраться в Голландию или Англию, а оттуда, сыскав случай, ехать в Ост-Индию или Америку. Таковы могли быть следствия безрассудной строгости начальника и неопытной юности. Но Бокум предварил умышляемому нами побегу, и не прошло получаса, как он, испросив от тамошнего военного начальника солдат вооруженных, посадил нас под стражу каждого в своей комнате.

В сем тягчительном для нас положении мы прибегнули к российскому в Дрездене министру, описав ему случившееся во всей подробности: но письмо наше до него не дошло, как то мы после того узнали, ибо Бокум тамошнему правительству сказал ложно, что ему велено было все наши письма останавливать и не прежде отправлять в Россию, как он уведомлен будет о их содержании. Таким образом ни министр нашего двора в Дрездене, ни в Петербурге не могли быть известны о истинном нашем положении, сколько мы о том ни писали. Когда же нашелся человек нас довольно любящий, из сожаления единственно и на своем иждивении отправившийся в Россию для извещения кого должно о происшедшем с нами, то о всем было от министра нашего по представлениям Бокума предварено и жалобе нашей не внято.

Но я могу тебе наскучить, мой любезный друг, рассказывая о том, что тебе столь же известно, как мне; и для того заключу повествование о сем неприятном тогда для нас происшествии, но, поистине сказать, преподавшем нам много нравоучения деятельно. Намерение мое было показать только то, сколь много ошибаются начальники в употреблении своей власти и коликий вред причиняют безвременною и безрассудною строгостию. Если бы мы исполнили наше намерение и ушли бы из Лейпцига, вообрази, колико горести навлекли бы мы нашим родителям, друзьям, да и всем сердцам, юность возлюбляющим. Если бы государство изгнанием добровольным десяти граждан ничего, казалось, не потеряло, но отечество потеряло бы, конечно, искренно любящих его сынов. Буде кто захочет на сие доказательства, то не дам никакого; но тебе только, мой друг, вспомяну о возвращении нашем в Россию.

Вспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, вспомни о восторге нашем, когда мы узрели между, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто бесстрастный ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги; но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такого и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого. Признаюсь, и ты, мой любезный друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило. О вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликократно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности. Единожды смилив его, нередко навеки соделаете калекою.

Под стражею содержимы были мы как государственные преступники или отчаянные убийцы. Не токмо отобраны были у нас шпаги, но рапиры, ножи, ножницы, перочинные ножички, и когда приносили нам кушанье, то оно было нарезано кусками, ибо не было при оном ни ножей, ни вилок. Окончины были заколочены, оставлено токмо одно малое отверстие на возобновление воздуха, часовой сидел у нас в передспальной комнате и мог видѣть нас лежащих на постеле, ибо дверь в спальную нашу была зызнута.

Невзирая на все предосторожности, чтобы воспретить нам между собою сообщение и чтобы мы не могли известить министра нашего о нашем положении, ибо сие и была причина строгого нашего содержания под стражею, мы написали письмо и подписали его все своеручно. Никого к нам не допускали, сидели мы по двое вместе, и потому странно покажется, что все могли подписать письмо. Способ мы к тому употребили особый, и да знают удруचितели, что нередко строгость их бывает осмеяна в самом том, в чем они усугубляют оную.

Дом, в котором мы жительствовавали, был в два жилья и имел четыре отделения вверху и четыре внизу, в каждом отделении было по две комнаты, и мы жили по двое вместе. Шестеро из нас жили вверху и четверо внизу, прочие комнаты занимали учителя наши. Письмо написано было Федором Васильевичем. Привязав его на длинную нитку, выпускали его за окно; способный ветер приносил его к отверстию другого окна, в которое оно было приемлемо, и по подписании тем же способом доставляли его в другую комнату; таким образом мы умели на пользу нашу употребить самые силы естества. На почту относимы письма наши были одним из наших учителей, который из единого человеколюбия жертвовал всем своим тогдашним счастьем и отправился в Россию для нашего защипения, взяв от нас на дорогу одни карманные часы, в чем состояло все тогдашнее наше богатство: но в предприятии своем не успел, как то я сказал уже прежде. Великодушный муж! никто

из нас не мог тебе за то воздать достойно, но ты живешь и пребудешь всегда в наших сердцах.

Не довольствуясь тем, что посадил нас под стражу, Бокум испросил от совета университетского, чтобы над нами произвели суд. К допросам возили нас скрытым образом, и судопроизводство было похоже на то, какое бывало в инквизициях или в тайной канцелярии, исключая телесные наказания. Решение сего суда было, что ты и я, Я.[нов] и Р.[убановский] были освобождены, а прочие, между которыми был Федор Васильевич, остались еще под стражею, но скоро были освобождены по повелению нашего министра. Конец сему полусмешному и полуплачевному делу был тот, что министр, приехав в Лейпциг, нас с Бокумом помирил, и с того времени жили мы с ним почти как ему неподвластные; он рачил о своем кармане, а мы жили на воле и не видали его месяца по два.

Случилось во время нашего пребывания в Лейпциге проезжать чрез оный генерал-поручику и бывшему потом сенатором Н. Е. М.[уравьеву] с супругою своею. Сотовариществовал ему в путешествии шурин его, гвардии офицер, человек молодой, любящий шутку безвредную, и охотно смеялся насчет глупцов. Совершенно такового нашел он в нашем гофмейстере. Он, пользуясь пристрастием его к хвастовству, вывел его, по пословице, на свежую воду. До того времени не ведали мы, что гофмейстер наш за похвалу себе вмнял прослыть богатырем, и если ему не было случая на подвиги, с Бовою равные, то были удалства другого рода, достойные помещения в Дон Кишотовых странствованиях.

Помянутый гвардии офицер, подстрекая самолюбие Бокума, довел его до того, что он для доказательства своих телесных сил выпивал по его приказаниям одним разом по несколько бутылок воды или пива, давал себя толкать многим лакеям вдруг, упираясь против их усилия совлещи его с места, а сим приказано было не жалеть своих толчков, дивясь о своем против его малосилии; но сего не довольно было. Он его заставил ворочать всякие тяжести, подымать стулья, столы, платя ему за то не умеряя и не скрывая своего смеха: «Ну, Бокум!»

Примечания достойно, до коликкой степени слабость сия в человеке возрасти может, и нередко она в общежитии бывает разными нечаянными случаями поддерживаема и возвышаема. Бокум доведен был до того, что согласился вытерпливать удары довольно сильного электрического орудия. Сперва удары электрической силы были умеренны, и, дабы его убедить самого в превосходстве его сил, удары производимы были над многими вдруг. Все по предварительному условию будто от жестокости удара падали на землю, он один оставался непоколебим, торжествуя въявь над падающими. Уверив таким образом его самого в превосходстве его сил, удары электрического орудия становились сильнее, он выдерживал их, не показывая, сколь они для него были болезненны;

сила ударов столь наконец была велика, что едва его с ног не сшибала.

Таковые подвиги производились ежедневно во все время пребывания сказанных путешественников в Лейпциге. Мы были непрестанные оных зрители, и презрение наше к Бокуму с того времени стало совершенное.

Отправление российских морских сил в Архипелаг, в последнюю войну между Россиею и Турциею, доставило нам в Лейпциге случай видеть многих наших соотчичей, проезжавших из России в Италию и оттуда в Россию. Некто (имя его утаю, дабы не произвести в лице его краски стыда или бледности раскаяния), некто в проезд свой чрез Лейпциг оказывал отличное уважение Федору Васильевичу и снискать хотел его дружбу. Последствие показало, сколь мало она была искренна и продолжалася не более, как пребывание в Лейпциге сего мечтанного покровителя учености. Ни одного дня не проходило, скажу охотно, ни одного почти часа во дни, чтоб Федор Васильевич не был с Ф... вместе, упражняясь с ним в рассуждениях, большею частию метафизических. Он делал ему уверения, что извлечет его из руки отягощения, обещая ему мощное свое покровительство. Вняв лестному гласу дружбы, Федор Васильевич отверз ему свое сердце. Луч надежды, казалось, обновился в нем; но скоро сбылася с ним французская пословица: *отсутствующие всегда виноваты*. Едва сказанный покровитель уехал из Лейпцига, как забыл Федора Васильевича и деланные ему обещания, да и столь совершенно, что на все письма его не отвечивал ему ни слова. Или ему низко было вступать в переписку с неравным ему состоянием, или благодарить надлежит за то наукам, что среди обиталища их различие состояний нечувствительно и взоров природного равенства не тягчит, и для того в Лейпциге Ф... обходился с Федором Васильевичем как с равным себе. И истине равен он был тебе, мразная душа, силами разума, но далеко превышал тебя добротою сердца.

Сие происшествие оставило на душе Федора Васильевича некую мрачность, которая пребыла с ним до кончины его; посеяло в душе его справедливую недоверчивость к обещаниям, наипаче знатных, и понудило его вдаться еще более учению, от коего единственные ожидал он себе отрады, в чем он и не ошибался. Ибо желание науки хотя не навсегда, но паки развеяло темноту грусти, и истина светом своим награждала ему за его скорбь.

Признаться надлежит, что Ф... присутствием своим в Лейпциге и обхождением с нами возбудил как в Федоре Васильевиче, так и во всех нас великое желание к чтению, дав нам случай узнать книгу Гельвецею («О разуме»). Ф... толикое пристрастие имел к сему сочинению, что почитал его выше всех других, да других, может быть, и не знал. По его совету Федор Васильевич и мы за ним читали сию книгу, читали со вниманием и в оной мыслить науча-

лися. Лестна всякому сочинителю похвала иногда и невежды, но Гельвеций, конечно, равнодушно не принял, узнав, что целое общество юношей в его сочинении мыслить¹ училось. В сем отношении сочинение его немалую может всегда приносить пользу.

Предоставленный сам себе и полагая единственное упование на правосудие государя своего, восчувствовал Федор Васильевич к предстателям мерзение. Он устремил все силы свои и помышления на снискание науки, и в том было единственное его почти упражнение. Сие упорное прилежание к учению ускорило, может быть, его кончину. За год пред смертию приключилась ему болезнь, которая была, можно сказать, преддверием другой, введшей его во гроб. Употребляя действительные и мощные лекарства, он не покидал, вопреки совету своего врача, упражняться денно-ночно в чтении и в сие время начал писать о книге Гельвецевой письма, коих найдены после него только касающиеся до начала первой книги сочинения «О разуме». Упорным своим к учению прилежанием он остановил в крови своей смертоносной болезни жало, которое следующей весною, воссвирепствовав снова, отверзло ему врата смерти.

Сие пишу я для собственного моего удовольствия, пишу для друга моего, и для того мало нужды мне, если кто наскучит чтением сего, не нашед в повествовании моем ни одного происшествия, достойного памятника и ради мерзости своея или излщности ради равно блистающего. Ибо равно имениты для нас Нерон и Марк Аврелий, Калигула и Тит, Аристид и Шемьяка, Картуш, Александр, Катилина и Стенька Разин; все славны, все живут на памяти потомства и не возмущаются тем, что о них мыслят. Не тревожился бы и всяк любящий человечество, если бы добрая или худая слава по смерти во что-либо вменялась; но по несчастию всех, имеяй власть в руках мало рачит о том, что о нем скажут, живу ему сузгу, и не помышляет нимало о том, что скажут о нем по смерти. Он ищет токмо ободрения своего самолюбия и стяжания своей пользы. Не тревожился Юлий Кесарь о том, что прослывет государственным татем, когда похищал общественную казну, не тревожился Ла, что прослывет общественным злодеем, вводя во Францию мнимое богатство, которое, существовав одно мгновение, повергло часть государства в нищету; не тревожился Лудвиг XIV в величании своем, оставит ли потомство ему титло великого, которое в живых ему прилагало ласкательство; не боятся правители народов прослыть грабителями, налагая на сограждан своих отяготительные подати, ни прослыть убийцами своей собратии и разбойниками

¹ Г. Грим в бытность свою в Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали Гельвецеву книгу «О разуме», по возвращении своем в Париж сказывал о сем Гельвецию.

в отношении тех, которых неприятелями имсуют, вчиная войну и предавая смерти тысячи воинов.

Сказав сие, может быть, некстати, я возвращусь к умершему нашему другу и постараюсь отыскать в его деяниях то, что привлекательно быть может не для ищущих блестящих подвигов в повествованиях и с равным вкусом читающих Квинта Курция и Серванта, но для тех, коих души отверсты на любление юности.

Нам предписано было учиться всем частям философии и правам, присовокупя к оным учение нужных языков, но Федор Васильевич думал, что не излишнее для него будет иметь понятие и о других частях учености, и для того имел он в разных частях учителей, платя им за преподавание их собственные свои деньги. При сих способах для приобретения разных знаний он надежнейшим всегда почитал прилежное чтение книг.

Сие располагал он всегда соответственно тому, что преподаваемо нам было в коллегиях. ¹ И так, когда по общему школьному обыкновению начали нас учить прежде всего логике, то Федор Васильевич читал Арново искусство мыслить и основания философии С'Гравезанда и, соображая их мнения со мнениями своего учителя, старался отыскать истину в среде различия оных.

Между разными упражнениями, к приобретению знаний относящимися, Федор Васильевич отменно прилежал к латинскому языку. Сверх обыкновенных лекций имел он особые. Солнце, восходя на освещение трудов земнородных, нередко заставало его беседующего с римлянами. Наиболее всего привлекала его в латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители царей упругость своя души изъявили в своем речении. Не льстец Августов и не лизорук Меценатов прельщали его, но Цицерон, гремящий против Катилины, и колкий сатирик, не щадящий Нерона. Если бы смерть тебя не восхитила из среды друзей твоих, ты, конечно, о бодрствена душа, прилепился бы к языку сих гордых островян, кои некогда, прельщенные наихитрейшим из властителей, царю своему жизнь отъяти покусилися судебным порядком; кои для утверждения благосостояния общественного изгнали наследного своего царя, избрав на управление постороннего; кои при наивеличайшей развратности нравов, возмеряя вся на весах корысти, и ныне нередко за величайшую честь себе вменяют противоборствовать державной власти и опую побеждать законно.

Между разными науками, коих основания алчная Федора Васильевича душа пожрать, так сказать, хотела вдруг, отменно прилепился он к мафиматике. Сходствуя с расположением его разума, точность сей науки услаждала его рассудок. С какою

¹ В немецких университетах коллегиею называют собрание слушателей при преподавании какой-либо науки.

Тадностию он проходил все части сей в началах своих столь отвратительныя, так сказать, пауки, но столь общепользительныя в ее употреблении! Свойственно душе Федора Васильевича было мыслить, что огромнейшие в мире телеса, наиотдаленнейшие от нашего обиталища, коих единое наше зрение, сие наивысшейшее и великолепнейшее из чувств наших, может постигать при вспоможениях, человеком изобретенных, что сии малейшие точки во зрении, необъятные в действительности громады, повинуются в течении своем исчислению. И как не возгордиться человеку во бренности своей, подчиняя власти своей звук, свет, гром, молнию, лучи солнечныя двигая тяжести необъятныя, досягая дальнейших пределов вселенныя, постигая и предузнавая будущее. Таковыя размышления побудили некогда сказать Архимеда: если бы возможно было иметь вне земли опору неподвижную, то бы он землю превратил в ее течении. Дай мне вещество и движение, и мир созиждут, вещал Декарт. Таковыя размышления составили все системы о мире, все правдоподобия о нем и все нелепости.

За счастье почесть можно, если удостоишься в течение жития своего беседовати с мужем, в мире прославившимся; удовольствием почитаем, если видим и отличившегося злодея, но отличным счастьем почесть должно, если сопричастен будешь беседе добродетелию славимого. Таковым счастьем пользовались мы хотя недолгое время в Лейпциге, наслаждаяся преподаваниями в словесных науках известного Геллерта. Ты не позабыл, мой друг, что Федор Васильевич из всех нас был любезнейший Геллертов ученик и что удостоился в сочинениях своих поправляем быть сим славным мужем. Малое знание тогда немецкого языка лишило нас пользоваться его наставлениями самым действием; ибо хотя мы слушателями были сего преподаваний, но недостаток в знании немецкого языка препятствовал нам равняться с Федором Васильевичем.

Вращаяся всечасно между разными предметами разумения человеческого, невозможно было, чтобы в учении разум Федора Васильевича пребыл всегда, так сказать, страдательным, упражняясь только в исследовании мнений чуждых. Но в сем-то и состоит различие обыкновенных умов от изящных. Одни приемлют все, что до них доходит, и трудятся над чуждым изданием, другие, укрепив природныя силы своя учением, устрашаются от проложенных стезей и вдаются в неизвестныя и непроложенныя. Дейтельность есть знаменующая их отличность, и в них-то сродное человеку беспокойствие становится явно. Беспокойствие, производшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоудно до пределов даже невозможного и непонятного, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, не щающее ни дружбы, ни любви, терпящее хладнокровно скорбь и кощину, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану, бога.

Федор Васильевич, упражняясь в размышлениях о вещах, видел возрождающиеся в разуме его мысли, отличные новостию своею от обретаемых им на пути учености, и для того не мог оставаться в бездействии. Скоро подан был ему случай испытать свои силы в изображении связию своих мыслей. Ежегодно бывал нам экзамен, или испытание о приобретениях наших в учении. Сколь много все таковые испытания имеют смешного и цели, для коей они уставлены, недосызающего, всяк, ведающий о них до пряма, признается. Нередко тот, кто более всех знает, почитается невеждою и ленивым, хотя трудится наиприлежнейше и с успехом. Но тем экзамены полезны, что возбуждают тщеславие и устремляют учащегося отличиться пред сотоварищами своими; но дабы и в сем случае не возбуждать тщеславия безуспешно, то нужно, чтобы таковые испытания не были редки, дабы возникшая страсть в обыкновенных душах не угасала. Для назначенных же перстом всевечным к бессмертию в посторонних подстреканиях любочестия нужды нет. Они сами в себе довольно имеют ко стяжению славы побуждения, и хотя оные не бескорыстны, по умовенны всегда в благом источнике.

По простетви трех лет обязаны мы были к паступившему для нас времени на испытание показать наши успехи в учении, представя письменно связь мыслей о какой-либо материи. Федор Васильевич избрал для сего наиважнейшие предметы, до человека касающиеся в гражданском его отношении.

Человек, живущий в обществе под сению законов для своего спокойствия, зрит мгновенно силу общую, дондесь ему покровительствовавшую, возникающую на его погубление. Друзья его до сего дня, сограждане его возлюбленные, становятся его враги, преследуют ему, и рука сильного подавляет слабого, томит его в оковах и темнице, отдает его на поругание и на смерть. Что может оправдать таковое свирепство? Сие-то намерен показать Федор Васильевич в сочинении своем, разыскав следующие задачи:

1. На чем основано право наказания?
2. Кому оно принадлежит?
3. Смертная казнь нужна и полезна ли в государстве?

Цель, для коей он писал сие, не позволяла ему распространиться; но все, что можно сказать в оправдание несчастного права казни, и все, что может ее представить вероятно справедливою, того Федор Васильевич не проронил. Связь его мыслей есть следующая.

Показав, что человек, ощущая себя слабым на удовлетворение своих недостатков в единственном положении, следуя чувствительному своему сложению, для сохранности своей вступает в общество. Дабы общество направляемо было всегда ко благому концу, условием изъявительным или предполагаемым поставляется

власть, могущая сие производить и отвращать зло, которое бы могло причинено быть обществу. Лице, власть сию имеющее, именуют государем в единственном и соборном лице. Следственно, тот, кто долг имеет пецися о благе общества, имеет право не дозволять и препятствовать вредить ему; следственно, что тот, кто поставляет власть для своего блага, согласуется повиноваться и ее прещению, когда деяния его от благой цели устраняются. Показав, что при определении наказаний иной цели иметь не можно, как исправление преступника или действие примера для воздержания от будущего преступления, Федор Васильевич доказывает ясными доводами, что смертная казнь в обществе не токмо не нужна, но и бесполезна. Сие пыпе почти общеприемлемое правило утверждает он примером России. Я не намерен преследовать Федору Васильевичу в рассуждениях его. Изображая их здесь, могу или отъять силу его доводов, или только оные распространить без нужды. Тому и другому предварить можно, читая его сочинение, которое ясностию мыслей, краткостию слога и твердостию доводов заставит всякого потужить о безвременной кончине сочинителя на двадцати третьем году его возраста.

Опричь малого сочинения о любви и писем о Гельвециевой книге «О разуме», ничего более не найдено в бумагах Федора Васильевича. Выписки из многих книг, хотя без связи, доказывают, что он предполагал свое чтение со вниманием. Кто может определить, что с ним потеряло общество? определить могу я, что потерял друга; но если судьба позавидовала тогда моему блаженству, наградила она меня с избытком, дав мне, мой друг, тебя.

Последнее время жития своего среди терзания болезни и грусти, от нее рождающейся, Федор Васильевич не забыл учения, и разве истощение сил отвлекало его от упражнения в науке. Наконец наступило время, когда почувствовал он совершенное сил своих изнеможение. За неделю еще пред кончиною своею ходил он с нами на гулянье и наслаждался еще беседою любящих его, но силы его, ослабев, принудили лечь в постелю. Надежда, сие утешительное чувство в человеке, не покидала его; но за три дни до кончины своя почувствовал он во внутренности своей болезнь несказанную, конечное разрушение тела его предвещающую. Не хотел он пребыть в неведении, призвав своего врача, на искусство коего он справедливо во всем полагался, просил его прилежно, да объявит ему истину, есть ли еще возможность дать ему облегчение, и да не льстит ему напрасною надеждою исцеления, буде само естество положило уже тому преграду.

— Не мни, — вещал зрящий кончину своего шествия томным хотя гласом, но мужественно, — не мни, что, возвещая мне смерть, востревожишь меня безременно или дух мой приведешь в трепет. Умереть нам должно; днем ранее или днем позже, какая соразмерность с вечностию!

Долго человеколюбивый врач колебался в мыслях своих, открыт ли ему грозную тайну, ведая, что утешение страждущего есть надежда и что она не покидает человека до последнего издыхания. Но видя упорное желание в больном ведать истину о своей болезни и понимая его нетрепетность, возвестил ему, что силы его не более одних суток противиться возмогут свирепости болезни, что завтра он жизни не будет уже причастен.

Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек, коему возвещают, что умереть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть во сретение. Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И поистине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разрушение свое. Но страсть, действовавшая в умирающем без болезни, пред кончиною его живет в нем до последних минуты и крепит дух. Нередко таковой зрит и за предел гроба и чает возродиться. Когда же в человеке истощением сил телесных истощаются и душевные, сколь трудно укрепить дух противу страха кончины, а тем паче тому, кто, нисходя во гроб, за оным ничего не видит. Сравни умирающего на лобном месте или отъемлющего у себя жизнь насильственно с умирающим нетрепетно по долговременной болезни на одре своем и скажи, кто мужественнее был, испуская дух бодрственно?

Услыша приговор свой из уст врача, Федор Васильевич не востревожился нимало, но, взяв руку его:

— Нелицемерный твой ответ, — сказал он ему, — почитаю истинным знаком твоя дружбы. Прости в последний раз и оставь меня.

Удостоверенный в близкой кончине своей, Федор Васильевич велел нас всех позвать к себе, да последнюю совершит с нами беседу.

— Друзья мои, — вещал он нам, стоящим около его постели, — час приспел, да расстанемся; простите, но простите навеки.

Рыдающих обლობызал и, не хотев более о сем грустити, выслал всех вон.

Осмнадцать лет уже совершилося, как мы лишилися Федора Васильевича, но, мой друг, сколь скоро вспомню о нем, то последнее его с нами свидание столь живо существует в моем воображении, что то же и днесь чувствую, что чувствовал тогда. Сердце мое толико уязвлено было тогда скорбию, что впоследствии ни иступление радости и утех, ни величайшая печаль потеряннем возлюбленной супруги не истребило чувствование прежняя печали.

Спустя несколько времени он призвал меня к себе и вручил мне все свои бумаги.

— Употреби их, — говорил он мне, — как тебе захочется. Прости теперь в последний раз; помни, что я тебя любил, помни,

что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным, и что должно быть твердо в мыслях, дабы умирать бестрепетно.

Слезы и рыдание были ему в ответ, но слова его громко раздались в моей душе и незагладимую чертою ознаменовались на памяти. Поживут они все целы, доколе дыхание в груди моей не исчезнет и не охладет в жилах кровь. Дажь небо, да мысль присутственна мне будет в преддверии гроба и да возмогу важное сынам моим оставить наследие, последнее завещание умирающего вождя моя юности, и живого да оставлю им в вожди друга любезнейшего, друга моего сердца, тебя.

Что после сего последовало, тебе, мой друг, более известно, нежели кому другому. Ты последние часы был при нем безотлучен, ты был свидетелем последнего вздымания его груди. Скажи, мой друг, почто и я тут не был. Или слабость моего здоровья, или нетвердость духа, или какая другая причина отлучила меня от умирающего и воспретила мне видеть последние черты его жизни и прехождение ее во смерть. Но ко всем сим причинам совокупно было и недозволение на то умирающего. Или столь мал был жар дружбы в сердце моем, что я не преступил его веления. О мой друг! в минуты благоденствия, когда разум ничем не упрекает сердцу, мысль сия тягчит меня, и я мал становлюся перед собою.

Предвещание врача начало совершаться. Доселе нечувствительным покатом состав жизни спускался ко смерти, но вдруг она повлекла его веселую рукою. За несколько часов пред кончиною Федор Васильевич почувствовал во внутренности своей болезнь несносную, возвещающую ему отшествие жизни. Доселе уста его не испускали жалобного стона, но, скорбь одолев сопротивлением, страждущий вскричал содрогающимся гласом. Знаки антонова огня, внутренность его объявшего, начинали казаться на поверхности тела; в окрестностях желудка видны были черные пятна. Терзаемый паче всякого истязания, суеверием или мучительством на казнь невинности избретаемого, прибегнул Федор Васильевич к тебе, мой друг, да скончаешь его болезнь, болезнь, а не жизнь скончати называю, ибо врата кончины ему уже были отверсты. Тебя, мой друг, просил он, да будешь его при издыхании благодетель и дашь ему яду, да скоро пресечется его терзание. Ты сего не исполнил, и я был в приговоре, да не исполнится требование умирающего. Но почто толика в нас была робость? Или боялися мы почестся убийцами? Напрасно; не есть убийца, избавляя страждущего от конечного бедствия или скорби. Друг наш долженствовал умереть, и час врачом был ему назначен по нежким признакам, то не все ли равно было для нас, что болящий скончает жизнь свою мгновенно, или продлится она в нем на час еще един; но то не равно, что продолжится в терзании несносном. Мы потерять его были уже осуждены. Скажет некто, что врач мог ошибиться. Согласен; но болящий не ошибался в мучении своем

и прав был, желая скончания оного, а мы не правы, дав оному продолжиться.

Мой друг, ты укоснил дать помощь Федору Васильевичу, но не избавился вперед, может быть, от требования такого же рода. Если еще услышишь глас стнящего твоего друга, если гибель ему предстоять будет необходимая и воззову к тебе на спасение мое, не медли, о любезнейший мой; ты жизнь несносную скончаешь и дашь отраду жизнию гнушаемуса и ее возненавидевшему.

Наконец естественным склонением к разрушению пресеклась жизнь Федора Васильевича. Он был, и его не стало. Из миллионов единый исторгнутый не приметен в обращении миров. Хотя не можно о нем сказать во всем пространстве, как некогда Тацит говорил о Агриколе и Даламбер о Монтескью:

— Конец жизни его для нас был скорбен, для отечества печален, чуждым и даже неизвестным не без прискорбня.

Но то скажу справедливо, что всяк, кто знал Федора Васильевича, жалел о безвременной его кончине; тот, кто провидит в темноту будущего и уразумет, что бы он мог быть в обществе, тот чрез многие веки потужит о нем; друзья его о нем восплакали; а ты, если можешь днесь внимать гласу стнящего, приникни, о возлюбленный, к душе моей, ты в пей увидишь себя живого.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЗМЫШЛЕНИИ

1. О ПРАВЕ НАКАЗАНИЯ И О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

2. О ЛЮБИ

3. ПИСЬМЫ О ПЕРВОЙ КНИГЕ ГЕЛЬВЕЦНЕВА СОЧИНЕНИЯ «О РАЗУМЕ»

РАЗЫСКАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ

1. На чем основывается право наказания?
2. Кому оное право принадлежит?
3. Смертная казнь нужна ли и полезна ли в государстве, то есть в обществе людей, законами управляемом?

Прежде разыскания сих вопросов надлежит определить смысл понятия о *наказании*. Я под оным разумею *зло, соделываемое начальником преступнику закона*. Дав таковое изъяснение, мне надлежит, кажется, рассмотреть человека, каков он произведен природою, не коснувшись общества, дабы яснее определить, на чем основывается право наказания. Сие-то я и намерен разыскать столь кратко, сколько то возможно по существу самой вещи и по намерению сего сочинения.

Если мы вообразим первенственное состояние человека, состояние равенства и независимости, то узрим его самовластным судиею своих определений. Если мы рассмотрим его существо, то найдем его одаренного понятием (то есть свойством составлять идеи и оные сравнивать) и физическою, или телесною, чувствительностию. Понятие делает его удобным ко блаженству, то есть определять хотение свое сходственно со своим благосостоянием; телесная чувствительность повещает ему о его надобностях и показывает ему способы удобнейшие к удовлетворению оным. Любовь самого себя или своего благосостояния есть основание всех человеческих деяний. Сие чувство, природою в нас впечатленное, есть всеобщее и для того не требовало бы доводов, но случается, что наипростейшие и яснейшие истины подвергаются иногда сомнениям. Для того я дам оному доказательство, на самом существе нашего понятия основанное.

Всякое понятием одаренное существо имеет чувство о своем существовании, ибо кто чувствует, тот не может быть бесчувствен. Следственно, он может предпочесть состояние пребывания другому состоянию пребывания, то есть почитать одно счастливее другого; но предпочитать одно состояние другому есть то же, что определять свое хотение и избирать состояние пребывания, счастливейшим почитаемое, — суть одинаковые вещи. Из сего следует, что все права и должности человека из сего проистекают начала и все оному без изъятия суть подчиненны. Оттуда право защищать себя или отвращая обиду, или награждая ущерб, или предупреждая своего злодея, если случится быть в грозящей опасности или уверенному о злодейском намерении своего противника. Ибо имеющий право к цели имеет неотменно право к способам позволительным; итак, старание о своей сохранности, будучи средством необходимым для пребывания во благосостоянии, есть право нераздельное от человека. Доселе понятие о наказании исчезло для того, что оное предполагает начальника, истребляет понятия естественныя свободы, а потому и равенства. Но сие состояние независимости и равенства, столь прекрасное в воображении, не могло продлиться вследствие несовершенства человека. Слабость младенчества, немощь старости, природная склонность человека к самовластию, непрестанная боязнь, да не подвергнется насилиям могущественнейших, словом, препятствия, сохранности каждого в естественном состоянии вредящие, превзошед своим сопротивлением силы, употребляемые каждым для пребывания в сем состоянии, люди принуждены стали применить внешнее состояние их жития. Но как они не могли произвести новых сил, а совокупить и соединить токмо имевшие, то надлежало установить общество, где каждый подвергался верховному вождению государя и менял свою природную свободу, силами каждого ограниченную, на свободу гражданскую, в житии по законам

состоящую. Рассмотрим теперь человека в сем новом положении и начнем объяснением существа государств.

Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своей сохранности соединенными силами, подчиненное власти, в нем находящейся; но как все люди от природы суть свободны и никто не имеет права у них отнять сея свободы, следовательно, учреждение обществ предполагает всегда действительное или безмолвное согласие. О сем иные сомневаются, почитая народ собранием единственников. Но оно представляет нравственную особу, общим понятием и хотением одаренную и для того права и обязанности иметь могущую; следовательно, можно ей сделать обиду.

Общество, так сложенное, долженствовало помышлять о таком средстве, которое бы положило всем оного членам необходимость направлять все их деяния сходственно с общим благом; для того-то люди, пременяя образ своего бытия, не пременяют своей природы, и злодеяния, принудившие их составить общество, не истребились бы, беспорядок остался бы и разрушение государства последовало бы непременно. Но как скорбь и отвращение от зла и притяжательность веселия суть равно всеобщие, то ясно следует, что наидействительнейшее средство подчинить частное хотение хотению всеобщему и принудить граждан поступать только сходственно с намерениями законоположника есть учреждение награждений и наказаний. Я пред сим доказал, что общество не может быть разве действительным или безмолвным согласием всех единственников. А как установление наказаний есть средство необходимое для содержания порядка и для направления деяний каждого сходственно с общим благом, то ясно, что начало права наказаний основывается на их согласии, ибо кто желает цели, тот желает и средства.

Некто возразить может: определяя волю свою к цели блаженства, возможно ли, чтоб человек условился на предосудительное своему благосостоянию? Ответствую: 1) вступая в общество, никто не мнит о себе, что будет нарушитель закона, а тем общественный злодей; но каждый, обязуясь жить по законам, никто из оных не исключен, и сие никому не предосудительно. 2) Всяк властен вдать опасности не токмо несколько своих прав, но и самую жизнь для сохранения оной. В таком деянии человека выбор стремится к цели своей выгоды, ибо меняет он зло действительное и настоящее на зло будущее, от коего он легко уклониться может. Си рассуждения влекут заключения, что человек, обязуясь терпеть зло, начальником его ему соделываемое за преступление закона, ничего не терпит, но паче выигрывает; следственно, действие сие, стремящееся единственно к его сохранности, есть законно и твердо.

Положив основание праву наказания, я могу приступить к решению второго моего вопроса, то есть кому принадлежит право

наказания. А понеже сия задача есть дальнее токмо следствие первой, то довольно будет, если утвержу оную одним простым доводом, не входя в дальнейшее рассмотрение.

Состав каждого правления требует государя, или вождя, который бывает нераздельною или соборною особою, одаренною верховною властью для направления всех единственных волей и сил к общественному благу. А как сохранность народа и содержание доброго порядка суть первые предметы его попечения, чего без учреждения наказаний и награждений приобрести не можно, то ясно следует, что право наказания принадлежит единому токмо государю, право, которое он может вручить нижним властям. Но они суть токмо исполнители вышния воли государя, законами определенной и пересуду не подверженной.

Я приступлю теперь к последней задаче. Вопроса: смертное наказание полезно ли и нужно ли в обществе? Для решения сего надлежит рассмотреть цель наказания вообще.

Цель законодателя при учреждении наказаний есть сохранность граждан, утверждение законного владения их имений, предотвращение природныя склонности человека присвоить все, что может взять невозмездно, наконец, приведение к должностям уклонившихся от оных. Отсюда истекает примерное наказание, стремящееся к отвращению от беззаконных и злых дел всех ведающих о болезнях, злодеянии претерпеваемых. Иные отмечают исправление, которое не что иное есть, как средство к приведению преступника в самого себя истязанием, средство к произведению в душе истинного раскаяния и отвращения от злых дел. Другие мнят быти возмездием, состоящему в соделании зла за зло. Сомневаюсь, чтоб те были правы, а докажу, что сия, конечно, ошибаются.

Представим себе государство нравственною особою, а граждан оною ее членами. То можно ли подумать, что человек, раздробивши себе ногу, восхотел бы воздать зло за зло и преломить себе другую. Положение государства есть сему подобно. Все действия государства должны стремиться к благосостоянию оною; а награждать злом за зло есть то же, что невозвратное зло себе соделать. Желать себе зла противно существу общества, и таковое действие предполагает безумие, но безумие права не составляет. Следовательно, таковое действие не есть законно, ни полезно, а потому и невозможно; да и полагающие возмездие, кажется, похожи на последователей системы *беспристрастной свободы*, которые, утверждая, что *хотение есть хотение* и что *хочу, для того что хочу*, приемлют, очевидно, действие без причины.

Отмечающие исправление основываются на невозможности судить об оном и определить время, когда преступник придет в себя. Суд, говорят они, объемлет внешние токмо действия;

никто не судит о намерении, и законодатель не может пешихся о исправлении.

Дабы ответствовать с точностию на сие заключение, надлежит сперва разыскать, может ли человек исправиться? Для сего рассмотрим его в себе самом и впросим природу. Человек рождается ни добр, ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, небытие коих доказано с очевидностию. Следственно, злодеяния не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся, а опыты нас удостоверяют, что многие люди повиновались несчастному соитию странных приключений. Если же человек случайно бывает преступником, то всяк может исправиться. Если он повинуется предметам, его окружающим, и если соитие внешних причин приводит его в заблуждение, то ясно, что, отъемля причину, другие воспоследствуют действия. Сверх же того, дабы доказать, что исправление невозможно, надлежало бы определить силу злобы, потребной в преступнике для соделания действия, запрещенного законами. А как может оное быть? Творец действия иногда не ведает сам побуждений, его влекущих, то есть что он не ясно видит соитие обстоятельств, побудивших его к действию. Если же невозможно положить явного предела исправлению, если же, напротив того, очевидно, что человек может исправиться и что люди разнятся токмо в количестве, то не справедливо ли будет в сем случае клониться к большей вероятности. Сие-то я и намерен рассмотреть, восходя от действия ко причинам.

Представим себе человека, на несколько степеней страсть имеющего и совсем к добродетели равнодушного: добродетелию я называю навык действий, полезных общественному благу. Таковой человек столь же непременно впадает в злодеяние, как брошенный камень падает на землю. Решить должно, можно ли сего человека исправить? Злодеяние в человеке рождается от притяжания веселия и от глупая надежды безвозмездия, от чего должно воздерживать его болезнию. Злодей, уличенный в своем злодеянии, осуждается на потеряние своей свободы. Утрата невозвратимая, все превосходящая, а паче для человека просвещенного. Вринутый в глубокую темницу и в снесь скуке, отчаяние объемлет его душу; за оным следует ярость на свое непроворство. Ибо трудно неистовству признаться виновным, но немощь соделати зло превращает, так сказать, естество его хотения, равно как невозможность удовлетворить желанию оное истребляет. Дошсд до сего степени, он себя рассматривает; а рассуждение человека о известных обстоятельствах всегда бывает справедливо, если разум его не ослеплен страстию. Здесь все его страсти утихли или настоящим страданием, или воображением отсутствия всех веселий. Он познает свое злодеяние. И можно ли, чтоб он его не познал? Если человек наикрепчайший колеблется, если Катон, если Брут,

сии строгие стоики, возмogli подвигнуться и пременили намерение, то какой смертный не пременится? К тому ж мы охотно последуем в рассуждениях другим людям, дабы избавиться трудности исследования, угождая природному человеку недействию или повинуясь обществeнному рассуждению. Тако преступник, зря себя покрыта бесчестием и срамотою, у всех в презрении, един среди всех и преданный себе самому, прибегает к раскаянию, яко к единой несчастных отраде, которая поистине сильнее, нежели думают.

Но преступник, скажут мне, может затвердеть во злодеянии, он может даже нечувствителен быть к болезни, которую ощущает. Сие невразумительно; но раскаяние, кое неизбежно, производит непременно отвращение к действиям, приведшим в раскаяние, а телесная болезнь делает оные ужасными. Несчастный, чрез долгое время навыкший с ужасом взирать на прошедшие свои дела, отвращается от злодейства, а впечатление сие, всегда и непрерывно пребывающее, столь привычно ему станет, что от единых мысли злодеяния вострепещет. Если все люди имеют свойство соединять и одинаковыми предметами одинаковые мысли и воображать нераздельными идеи, кои они в одно имели время, так что одна не может возбудиться без другой; если привычка другая есть природа, коли не первая, как то думает Гельвеций, и если чувствование скорби сильнее по себе оставляет впечатление, нежели чувствование, мысленным воображением познаваемое, то я могу утверждать, что в человеке степени порока пременяются в десять лет во столько же степеней добродетели. Дабы смертная казнь производила свое действие, нужно, чтобы преступления были всечасны, ибо каждое примерное наказание предполагает вновь сделанное преступление; желать сего есть то же, что хотеть, чтоб самая та же вещь была сама по себе купно и другая вещь в одно время, следовательно, желать противоречия.

Но, скажет некто, если телесные болезни, смерти предшествующие, сильнее всего в человеке действуют, то надлежит прибегнуть к изысканным казням? Признаюсь, что они весьма чувствительно и сильно действуют; но и то известно, что они преходящие токмо доставляют выгоды, и сие-то, думаю, доказывает их бесполезность. Какое зверство, какой ужасный вымысел в казнях при Калигуле, Нероне, Диоклитиане! какое, напротив того, наблюдение в сохранении жизни граждан во время республики. Различие в сии времена во нравах относится всегда к похвале народного правления. Сие и доказывает, что не жестокость казни удерживает преступника или предварает преступление, но мудрое законоположение и соединение общей корысти с частными корыстями, поелику то возможно. Свирепость наказаний показывает всегда народное повреждение и причиняет избежание казни, а надежда укрыться от оных умалет ее действие и воспрещает

жертвовать злодейским, но настоящим веселием. Владычество привычки есть всеобщее над человеком, и яко веселие исчезает продолжением, тако поражение теряет свою силу частым повторением. Избраннейшая казнь теряет свое действие и становится наконец бесплодною; как же соразмерить наказание преступлению? В телесном и нравственном мире все имеет свои пределы, естество человеческое имеет также свой предел во зле и благе; то ясно, что, полагая изысканные казни, надлежит на чем-нибудь остановиться. Тут будет несоразмерность наказания с преступлением; будет сие неправоудно, а потому сумасбродно.

Понеже ясно, что смертная казнь никогда долговременного не производит впечатления и, поражая сильно и мгновенно души, бывает тем и недействительною; понеже жестокость казни становится вредною неперменного ради следствия своя бесполезности, то я могу заключить, что смертное наказание не может быть ни полезно, ни нужно в государстве.

Положив сие начальное правило и устремляя внимательное око на сложение государств и на обряд уголовных дел, я покажу два опасных следствия смертных казни. Образ всякого правления влечет за собою неравенство имений. Монархическое тем и существует, аристократическое оно отвергнуть не может, в демократическом хотя бы надлежало быть равенству имений, но, судя с точностию, не может быть истинной демократии, и сие правление, приличествуя токмо весьма малым и бедным государствам, не может и по мнению г. Руссо сделать народа счастливым, по склонности своей к возмущениям. Опыты всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оных производит с одной стороны нищету, а с другой роскошь; сего ради могу я сделать положение, что в двадцати миллионах жителей найдется по самой крайней мере двести в крайнее убожество поверженных: едва возмогут они добыти дневную пищу, и жизнь непременно будет им в отягождение. Они восхотят оной лишиться; закон им доставит сие благодеяние, которого удостоится они злодействами; и се уже двести преступников, укрепленных мгновением казни и надеждою нескольких годов услаждения.

Второе следствие, ужаснее первого, истекает из обряда уголовных дел. Люди определяют наиважнейшие действия своей жизни по нравственной ясности; следственно, и знаки, преступление утверждающие, на оной же должны основываться; но и по мнению самого творца книги о *преступлениях и наказаниях* нравственная ясность не что иное есть, как наивеличайшая вероятность; а как нет вероятности, коея бы противоположность не была возможна, то заключаю, что со всеми осторожностями в осуждении преступления можно ошибиться и осудить невинного и что бывают случаи, коих истина едва чрез долгое течение времени отвергает-

ся. Ибо какой человек почтется преступити не могущим? Невежество судии введет его в погрешность, сребролюбие повредит его правоту, отеческая нежность, любовь сыновняя, предстательство вельмож, долговременное дружество и многие малые сим подобные причины не возмогут ли его обольстить и не преступит ли он власти своей на судилище?

Рассмотрим свидетельство. Хотя и говорят, что вера ко свидетелю возрастает по мере умаления его корысти, но можно ли назначить предел, где корысть исчезает? может ли кто проникнуть в тайные излучины сердца человеческого? Или нет уже более душ низких и подлых, всегда личиною прикрытых и тем наименование честных людей приобретающих, прельщенных или обоязненных и того ради на ложное свидетельство готовых? Из сего заключаю, что приговор, на свидетельстве основанный, подвержен заблуждению. Признаюсь, что таковые случаи суть редки, но единая их возможность приведет в ужас сердце праведное и от вопля невинного в бедствии содрогатися обыкшее; а если бывают случаи, в коих можно предположить, что невинность разве чрез долгое течение времени открывается, и если опыты доказывают, что часто невинные сопреступниками вменялися и казнены смертию, то благоразумно и праведно иметь готовое всегда средство скончавати мучение невинных жертвы, а смертная казнь не есть средство таковое.

Си причины, царствование императрицы Елисаветы Петровны и опыты всех времен доказующие, како смертное наказание не послужило к удобрению человека, побуждают меня заключить, что установление сей казни совсем в государстве бесполезно, да и казнить смертию для примера надлежит только того, кого без опасности сохранить невозможно. Я тем более подвизаюся на сие рассуждение, что известно, что люди располагают свои деяния по повторяемому действию зол, им известных, а не по действию зол, им неведомых.

Сим образом исправленный и высшим правосудием освобожденный чувствует преисполненна себя благодарностию; но живо чувствующий благоденствие старается явить признание о нем; всяк хочет быть почитаем и скорбит, зря себя в презрении. Итак, желание почтения и скорбь презрения произведут в преступнике стремление ознаменитися, да будет общественного почтения достоин, да воздаст, так сказать, за худые свои дела и да погрузятся они в вечное забвение. Таково Греции воины, избавившиися смерти бегством, храброму мужу всегда постыдным, но срамом и стыдом покрытые, бывали всегда в последующее время наименитейшие; следственно, бывает предел довольно известный, где виновный почестся может обратившимся к должности своей, то не достойно ли о сем настрожайше исследовать? Сердце мудрого законодателя не источит ли кровь, наказуя невинного.

Ибо наказание исправившегося преступника есть заклятие невинных жертвы.

Я не намерен распространять силу сего заключения на убийцов. Жребий нарушителю договора и общественному злодею есть смерть гражданина. Ибо несть свято, несть ненарушимо паче жизни гражданина. Я думаю, однакоже, что по оному заключению могу судить о воровствах и о других меньших преступлениях, назначая токмо некоторые пределы, да не войду в скучные подробности. Если бедность, столь всегда близко преступления, ввела человека в заблуждение; если стремление страстей юности, всегда буйственной, но всегда гибкой, винуло его в преступление, то не побудит ли сие мыслить благосклонно о преступнике? Следовательно, кажется, не можно с основанием исключить исправление из намерений законодателя.

Мы видели, что предметы установления наказаний суть или средства воспретить преступнику впредь вредить обществу, или пример для других, да отвратятся от соделания подобных злодеяний, или, наконец, исправление. Дабы решить теперь, полезно ли и нужно ли в государстве учреждение смертных казни, рассмотрим каждый из сих предметов особо.

1. Я уже показал, что исправление неотменно входит в расположение законодателя, понеже совершенное разрушение вещи истребляет понятие о исправлении; ибо, отъемляя жизнь у преступника, разрушает его бытие, его истребляет; то заключаю, что в сем случае смертная казнь предосудительна.

2. Предварить, чтобы преступник впредь не вредил обществу, для сего надлежит сделать его только немощным. Темница для сего избыточна. Следует, что в сем случае смертная казнь не нужна.

3. Наказание для примера отвратить от подобных преступлений согражданина виновного; для сего надлежит изыскать наказание, которое бы сильнее, действительнее и продолжительнее душу поражало. Обыкновенно думают, что законная смерть оставляет по себе впечатление наисильнейшее, или действительнейшее, или долговременнее пребывающее. О сем я сомневаюсь, и вот тому вина.

Смерти всегда предшествует болезнь, жизни сопутствуют всегда какие-нибудь веселия. К жизни мы, следовательно, прилепляемся ради страха болезней и вожделения веселий. Чем жизнь блаженнее, тем страшнее оную оставить. Оттуда ужас в смертный час в довольствии живущих. Напротив того, чем жизнь несчастнее, тем меньше жалеют лишиться оной. Оттуда нечувствительность нищего в ожидании последнего часа. А если любление бытия основано на страхе болезни и вожделении веселия, то следует, что желание быть счастливым сильнее в нас, нежели желание быть. Следует, что пренебрежение жизни есть

заключение исчисления, доказующего нам самим, что лучше не быть, нежели быть несчастным. Сей довод не есть воображение умозрительства, но токмо обществование происшествий, на опытах людей мудрых и людей мало просвещенных основанное, что и доказывает оного общечеловечность. Не с охотою ли Катон отъял у себя жизнь из любви к отечеству? Сцевола, влекомый корыстию общего блага, не подвергался ли не токмо смерти, но и острейшей мучке? Не терпел ли Регул наижесточайших мучений, да исполнит свое обязательство? Я не могу сравнить с сими великими людьми сих злодеев, сих извергов природы, суеверием упоенных и обагривших руки свои в крови царей своих, и толико же безумных убийцов. Сие доказательство, довольно, кажется, заключительное, утверждает, что смертная казнь не с наибольшею действительностию поражает разумы и что впечатления ее не наисильнейшие суть; по крайней мере они не во всех равны бывают, а потому, не будучи наисильнейшие, да и всегда мгновенные, не могут, конечно, быть действительными.

Но положим, что оные впечатления суть наисильнейшие, как то они суть в самом деле во всех не имеющих великих страстей ни к добру, ни ко злу, коих число, конечно, в каждом государстве велико, то утверждаю, что тем самым они и вредны: ибо чем поражение сильнее, тем кратче оно бывает. Правда, что оно объемлет все наши душевные силы, но они подобны изящной музыке; ее действие мгновенно нас восхищает, мгновенно и исчезает. Тогда престаёт соображение, и человек в совершенное погружается забвение. Смертная казнь удивляет, но не исправляет; она укрепляет, но не трогает; но впечатление медленное и продолжительное оставляет человеку полную власть над собою. Он соображает, сравнивает; следовательно, сие впечатление по существу своему есть действительнее и тем полезнее. А если продолжительное впечатление глубокие в сердце человеческого оставляет черты, то долженствует следовать, что оно действует на человека сильнее. В таковых обстоятельствах был Александр Великий в рассуждении Филота, единого из первейших своих полководцев, ближайшего своего друга и сына Парменионова, великим войском тогда предводительствовавшего; таков же был случай Генриха IV в рассуждении Бирона. Обличенные оба в оскорблении величества (то есть в наивеличайшем преступлении, ибо великость оного измеряется всегда вредом государству, от того происходящим), но оба могущественны, не можно было, по мнению моему, их сохранить без опасности. Сие может быть единое изъятие, а изъятие правила точность оного докажет. Присовокупим к сему: дабы наказание было справедливо, надлежит оному иметь токмо достаточную силу для отвращения людей от злодеяний. Но какой человек восхочет променять потеряние совершенное и невозвратное своей свободы на злодеяние, какие бы он ни ожидал от него выгоды. Из сего

следует, что действие наказания вечных неволи достаточно для отвращения от преступления наотважнейшую душу.

Я не войду в раздробление преимущества такого положения, ибо оно всякому благоразумному читателю представится очевидно, потому что нет злодея, кой бы к чему-либо не был пригоден, что самой природе совместно. Если соделаешь зло обществу, возмездится за оное злом, то есть принужденною работою, сверх же того ясно, что вечная неволя тем и предпочтительна, что действия ее, в глазах народа всегда обретающиеся, суть поразительнее и долговременнее. Теперь рассмотрим, вечная неволя не жесточее ли самья смерти? Конечно, жесточее в глазах общества, но не для терпящегося. Общество судит по своей чувствительности о сердце, привычкою закоренелом, а несчастный утешается отсутствием болезней злее тех, кои он ощущает; раскаяние приходит к нему на помощь, и труды его облегчаются упражнением. А как чувствительность в человеке возрастает по мере крепости его рассудка, нежности телосложения или перемены его состояния, то я заключаю, чем человек будет просвещеннее, тем положение сие будет для него несноснее; чем более он мог жить в довольствии, тем более сие состояние его скорбять будет. Тем более заслуживает он облегчения, ибо хотя злодей он, но человек. Сего требует правосудие; ибо наказание долженствует всегда быть соразмерно преступлению. А как весьма редко, чтобы одинаковые предметы одинаковые на разных людей имели действия, к тому же ясно, что человек с разумом или человек, сладострастное житие имевший, гораздо наказание живее восчувствует, нежели невежда или телосильный и крепкий, к нужде и нищете привыкший, то заключаю, если таковые люди за одинаковые преступления одинаково накажутся, один наказан будет жесточее другого, и казнь вине не будет соразмерна.

О ЛЮБВИ

Любовь есть чувство, природою в нас впечатленное, которое один пол имеет к другому. Все одушевленные твари чувствуют приятность, горячность, силу и ярость оныя. Но различное сложение тела, следовательно, больше или меньше раздражительности в нервах, различное соитие обстоятельств, воображение воспламеняющих, словом, различное соитие внешних предметов, на нас действующих, долженствует неотменно производить различное чувствование. Рассматривая любовь при ее источнике, увидим, что сие чувствование равно сродно ленивому ослу и разъяренному льву; португальцу, крепкими напитками и пряным зельем воспаленному, и лопарю, утомленному холодом и трудами.

•

Сие чувство, следовательно, есть необходимое, для того что оно в нашем природном сложении имеет свое начало. Любовь все употребляет средства, к удовлетворению ее служащие, преображает еленей в тигров, умножается от предстоящих препятствий, удовлетворению ее претящих, умаляется, превзошед препоны. Федер справедливо примечает, что любовь в естественном состоянии человека ужасна не была для того, что взаимная похоть ее скоро укрощала, но по восстановлении обществ она должна была сделаться ужасною, как то она и есть. Самолюбие, со всем себя в сравнение ставящее и себе всегда преимущество дающее, должно было неотменно озлоблять самолюбие другого. Оно рождало зависть, а зависть ненависть, и так умножались все наши страсти. Они столь много произвели божественных дел и столько зла сотворили, что их вообще ни хвалить, ни охудать не надлежит. Нравовучители, противу страстей восстающие, рассуждают о человеках вообще по человеку, в их воображении сотворенному, или, углубясь в отдаленнейшую метафизику, доказывают весьма велегласными словами, что все несходствующее с совершеннейшею совершенностию (которую не объясняют) и с существенным порядком вещей, которого не знают, есть противудобродетель, порок и зло; итак, мы постараемся отступить от понятия отделенного и будем наблюдать действительные отношения. Назовем добродетелию то, что удовольствие и благосостояние всех (а как сие невозможно), по крайней мере многих людей содействует, и рассмотрим, полезна ли любовь или вредна?

Человек есть хамелеон, принимающий на себя цвет предметов, его окружающих; живущий с мусульманами — мусульманин, с куклами — кукла общества, в коем мы обращаемся. Общезнание вселяет в нас род своих мыслей и побуждает нас то называть добрым, что оно добрым почитает. Мы усвоим по малу страсти, в обществе господствующие; наипаче мы склонны к восприятию того, что нас прельщает, а все, что нам веселие доставляет или обещает, прельщает нас столь действительно, что объемлет все наши душевные силы. Всяк довольно, хотя и не весьма ясно понимает, что мы благосклонность других людей приобретаем сходствием наших мыслей и деяннем с их мыслями и действием, а сие подтверждается опытами. Из того очевидно следует, что двое влюбленных единого составляют человека, единую имеют волю и одинаковые поступки, ибо привычка преобразует природу. Случай, имеющий в общежитии свое начало, восхотел, чтобы мужчины были, что женщины суть, на коих они свои взоры обращают, а не женщины то, что суть мужчины.

Итак, любовь в обществе, не на телесных токмо и чувственных основывающаяся чувствованиях, но тысячию чувствованиями

производимая, любовь сия, зависящая от предрассуждений, от обыкновений и от состояния, не имеет в себе ничего непозволительного и ничего наказания достойного. Она становится добродетелию или пороком, располагаясь по воспитанию женщин, тот или другой вид приемлющему. У греков, у коих мать слезы проливала, когда сын ее без лавр возвращался, где дева прославившемуся сердце свое дарила, и везде, где благоразумный законоположник женщин определил вперять в сердца юношей ревность к добродетельным и отвращение от порочных поступков, заслуживают они уважение, почтение и любовь; но в нашем веке, где красота, *которая ужаснее стилиш, ее родившей*, воспитывается в играх и забавах, где вся разума ее округа внешним ограничивается блеском, где свобода в убранстве, где прелесть поступи и несколько наизусть выученных модных слов заступают место мыслей и изгоняют природное чувствование, где она принуждена ежечасно притворяться и сокрывать свои невиннейшие склонности, где она злословна, для того что неведуща, честолюбива, для того что не имеет должного к себе почтения, и коварна, для того что живет всегда в принуждении и беспрестанно безделицами упражняется, где она неограниченно обожателями своими управлять желает, достойна ли она, чтобы быть ее жертвою, в угождение ей наполнять голову свою замысловатыми безделицами, оставить любовь истины, дабы ей понравиться, посвятить ей время свое, коего потеря всегда невозвратна? В наблюдении бесчисленного множества вещей, кои по рассмотрении найдем безделицами, но трудными безделицами, может ли кто без внутреннего отвращения видеть старого, впрочем заслуженного и испытанного министра, который от чрезмерной нежности невинного осудил на смерть, дабы пощадить злодея, отца своея обладательницы. Кто не возропшет на него! кто столь сильно объят любовью, что разум его никогда не в состоянии покойно наблюдать вещи, а сердце всегда в движении, и кто своими приобретенными знаниями мог бы свету быть полезен? Но кто может противиться сим голубым глазам, сему томящемуся и восхитительному взору, сему пронидательному и привлекающему гласу? Кто может облобызывать белую сию и нежную руку, на коей поцелуй впечатлевается, и не потерять своего сердца? Кто может видеть сию непринужденную походку, сию величественную осанку, воровские глазки и, что всего больше, слышать и видеть добродетельные предупреждения и не восхититься и не воспалиться? Тот, кто в младости к тому приутовлен, кто старается познать истинное определение человека, кто украшает разум свой полезными и приятными знаниями, кто питается противными сим страстями, кто величайшее услужение находит в том, чтоб быть отечеству полезным и быть известным свету.

*ПИСЬМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДО ПЕРВОЙ КНИГИ
ГЕЛЬВЕЦИЕВА СОЧИНЕНИЯ «О РАЗУМЕ»*

П И С Ь М О 4

Милостивый мой государь.

Я намерен с вами беседовать о вещи весьма важной и многим трудностям подверженной; ласкаю себя, что вы мне на сие дадите дозволение, ведая довольно, что глубочайшие размышления не токмо вам не наскучат, но возбудят разве ваше любопытство. Вещь сия есть важная, ибо непосредственно касается до человека; трудная, ибо познание сердца человеческого и побуждений к действию и не действию весьма запутано. Сие превзойдет, может быть, мои силы; но самое сие побуждает меня прибегнуть к вашему просвещению, которое, по счастью моему, я узнал и почитаю. Я ищу наставления, следовательно, я сомневаюсь. Но как нерешительность для разума, истину возлюбляющего, есть несноснейшее состояние, то и прошу я вашей помощи. Но не отважно ли сие? И поистине сей мой поступок, от чрезмерного желанія познаний происходящий, был бы непростителен, если бы я менее уверен был в милости вашей ко мне; если бы вы во время пребывания вашего в Лейпциге не удостоили меня дружеского обхождения и если бы вы мне не дали полезного для меня дозволения прибегать к вам во всем, что до меня касаться может. Я осмеливаюсь почитать себя воспитанником вашим, ибо все нас наставляющие или дающие нам способы к наставлению по справедливости истинными родителями почитаться могут. Но сие есть наималейшее из одолжений ваших. Вы извлекли душу мою из бездействия и уныния, в коих она погрязла, и, по несчастию, не без причины. Вы возвратили ей всю ее деятельность, отъемля причину, ее угнетавшую. Вы вселили в меня неутомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение непреоборимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении их творцов, и мерзение к путанице высокопарных и звонких слов, коими прежде сего я отягощал память мою. Но сколь велика долженствует быть, наконец, моя признательность за то, что от вас познал я удивления достойного сочинителя, коего книгу вы благоволили прочесть со мною? После того я три раза читал ее со всевозможным вниманием и для того только воздерживаюсь хвалить его, что я уверен совершенно, что хвалить такого мужа, как есть сей, должен только тот, кто сам заслужил уже похвалу.

Скажу только то, что, удивляясь его пронизательности, ясности и изящности его слога, нередко сожалею о его краткости. Из него-то почерпну содержание сих писем, которые заключать будут сокращение сочинения «О разуме» или, по крайней мере,

оного первая и третья книги. Но исполнение сего предприятия весьма трудное, требует напряжения разума и довольно времени; да и тем паче, что не всегда я с автором одного мнения, по крайней мере в помянутых двух книгах. Для объяснения моих сомнений в великие нужно войти подробности; и я за нужное почел прежде всего предложить вам со всевозможною краткостью стезю, которую он шествовал во утверждении своих основательных мнений и во извлечении следствий. Цель моя была двояка при сем маловажном труде. Первая, чтобы тот, кто читал сию книгу и о ней уже размышлял, мог бы себе посредством сея выписки мгновенно представить всю цепь мыслей сочинителя; вторая, чтобы начинающий, имея сию выписку пред собою, не был бы от главного предмета отвлекаем окольными и прекрасными побочными разглагольствованиями сочинителя и не проронил нить умствования его, запутавшись во множестве деяний, им приводимых, где по действию заключается о причине. Вы можете судить, достигнул ли я моего предмета; мне же должно ожидать вашего суждения с почтением пребывания чрез всю жизнь мою наичувствительнейшею благодарностию

есмы и проч.

П И С Ь М О 2

Сочинитель рассматривает разум яко способность мыслить, которая посему и долженствует быть качеством какого-либо существа, духовного или вещественного, ибо другие роды нам неизвестны. Сия задача, не решенная до сего времени, не может иметь о себе доказательства; тем паче, что сочинитель, полагая все действия нашего разума в чувствовании, сие равно с тем и с другим предположением согласуется. Но сие-то и требует, мне кажется, доказательства. Почитая душу вещественную, рассмотрим, может ли она чувствовать. Я прежде всего замечу, что *вещество* и *тело* суть два слова равного значения, ибо сказать можно, что всякое вещество есть тело и всякое тело есть вещество. А понеже пространство, заключающее в себе понятие неразделимости, непроницательности, производящая, что два тела не могут в одно время занимать одного места, бездеятельность, качество тел, посредством которого они тщатся пребывать в настоящем положении и следствие непрременное самой их непроницательности, суть три свойства тел необходимые; понеже тело заключает в себе понятие общее и поелику то, что прилагаем роду, прилагаем всем единственностям, к нему принадлежащим, то следует, что все единственности, поелику суть тела, заключают в себе вышесказанные три качества. Следует, если бы начало чувствующее было

телесно, то было бы протяженно и делимо. Следует, чтобы понимать можно было треть и четверть чувствования, что противоречит опытам.

В теле замечаем мы только движение, что не иное есть, как перемена места, быстротечность и направление. Но равное ли видим в нашей душе? И для того-то в каждом ударе чувств две вещи различать надлежит: телесную, или ударение в мозге; духовную, или понятие, в душе от того рождающееся. Кто захочет о сем сделать на самом себе примечание, познает оное непременно. Когда разум напряженно рассматривает некоторые предметы и рассуждает о понятиях, оными производимых, то он не замечает нимало о ударе некоторых предметов на орудие слуха, хотя равное бывает их действие с теми, кои производят звук, и хотя орудие здраво. Причина же тому есть, что душа оному не внимает. Но сочинитель думает, что откровение таковой силы, какова, например, сила притяжения, не долженствует ли побуждать мыслить, что тела имеют еще некоторые свойства неизвестные, как то свойство чувствовать. В первом моем письме я намерен разыскать сие выражение

есмы и проч.

П И С Ъ М О 3

Все согласуются, что есть во всех телах небесных всеобщая тяжественность; что качество сие, очевидное в магните притяжением железа и стали и по мнению утвердителей тяжественности свойственное всякому телу, осязательно становится только в весьма больших телах, в малых же совсем неощутительно. Истинная же причина, оную производящая, нам неизвестна, и философы доселе в оном несогласны. Одни утверждают с вероятностью, что некое тонкое и невидимое вещество действует на тела и их одного к другому устремляет, и они называются *устремителями*. Другие говорят, что есть в телах сила скрытая и сокровенная, между ими притяжательность производящая. Оные приписывают утверждать на всемогуществе божием и называются *притяжателями*. Но если бы притяжательность была действие всемогущества божия непосредственное, в существе тел неутвержденное, то можно бы сказать столь же справедливо, что бог тела движет непосредственно, что и было бы непрестанное чудо.

Если мы вообразим два тела без движения и среди их совершенную пустоту, то нелепо будет утверждать, что они могут сблизиться или притянуть одно другое, ибо тела вследствие своей

существенности тщатся пребывать в настоящем положении. Не можно приступить к противному мнению для того, что понимать неудобно причины, для чего тело недвижимое будет двигаться в ту, а не в другую сторону; еще же неудобопонятнее, что движущееся тело престаёт двигаться или изменяет направление или скорость. Итак, если достоверно, что всякое тело по существу своему сохраняет свое положение и что перемена в оном происходит токмо вследствие его непроницаемости, то ясно, что тяжественность, то есть сила, тело к центру направляющая, хотя нам неизвестная, не есть свойство в телах присносущное. Да и по мнению тех, которые притяжательность почитают силою, в веществе вкорененную, сила сия не в теле, над коим действует. Следует, поелику известны нам силы только двух родов, силы телесные, из непроницаемости тел простирающиеся, и силы духовные, существующие токмо в животных, то притяжательность должна принадлежать к третьему роду сил, но ни к телесным, ни к духовным. Но дабы утверждать сие, то надлежит непрекословно доказать бытие сих сил и что сила притяжения не происходит из тонкого вещества, тело окружающего. Если бы единожды возможно было, чтобы два тела притягивать могли друг друга и расстояние между ними не было бы наполнено тончайшим веществом, то существование притяжательности была бы неоспорима. Но как сие невозможно, то можно в том сомневаться или совсем отрицать.

Если же довольную имеем причину отметить силу притяжательную, то с лучшим основанием отрицать можем в вещественности свойство чувствовать. Но если верно, что вещественность чувствовать может, где найдем мы чувствующую соединенность или неразделимость? Присвоим ли оную каждой вещества частице или соборным телам? Или присвоим сию соединенность жидкостям и твердостям в сложных и в началах? Говорят: в природе нет опречь единственности; но каковы они? Единственностью ли назовем камень или сложением единственностей? Чувствительное ли он вещество или содержит столько оных, сколько в нем песчинок? Если каждая начальная порошинка (атом) есть вещество чувственное, то как вообразить сие тесное сообщение, от которого один чувствует себя в другом, и столь совершенно, что оба суть один? Части чувствующие суть протяженны, но существо чувственное неразделимо, одно, всецело или же ничто. Сии непреоборимые трудности с предыдущими причинами совокупно утверждают меня во мнении, что, познав вещественность протяженною и разделимою, надлежит удостовериться, что она чувствовать не может, ибо, утверждая противное, станешь присвоять одному существу свойства, одно другое включающие

есмы и проч.

П И С Ь М О 4

Сочинитель полагает быть в человеке двум силам страдательным, которых он признает производящими наш разум причинами. Первая — свойство принимать ударения внешних предметов, и сия есть телесная чувствительность. Другая — свойство хранить сделанное на чувствах ударение, называется память. Память, по мнению сочинителя, есть не что иное, как единое от орудий телесной чувствительности, и чувствование продолженное, но ослабевшее. То, что в нас чувствует, говорит он, то непременно и воспоминает. Се доказательство его.

Когда я воспоминаю образ дуба, тогда внутренние мои органы находятся почти точно в таком же положении, в каком они были, когда дуб сей представлялся моему зрению. Таковое положение органов производит чувствование. Следовательно, воспоминать есть чувствовать. Сие заключение для меня не кажется убедительным, и здесь доказательство основано на том, что в задаче. Положим, что, вспоминая образ дуба, внутренние мои органы в равном положении находятся с тем, в каком они были видя сей дуб; однакоже сим вопросом не удовлетворится для чего и как, и довод недостаточен; ибо ясно, что здесь не заключает сочинитель одинаковых действий на одинаковые причины, ибо действия суть равны. Когда дуб находился пред моими глазами, тогда внутренние мои органы, посылаемые лучами, исходящими от дуба, образ его начертавали в глубине моего глаза на нервной сети, совокупляющейся с зрящим (оптическим) нервом, который есть продолжение мозга, и чрез него зыбление доходило до мозга, где душа извлекала понятие. Но удаленный внешнего предмета, что действует на мои органы? И если бы при воспоминании внутренние мои органы были в таковом же положении, как при ударе предметов на чувства, то, не имея ничего пред глазами, я видел бы солнце. Следственно, понятие напоминовенное совершенно разнится от понятия, возбуждаемого предстоящим предметом. Изъяснение памяти, что она есть чувствование продолженное, но ослабшее, для меня неудовлетворительно. Ибо или чувствование продолжается безостановочно, или когда-либо останавливается и возобновляется. Если бы бывало первое, то бы понятия нам были присутственны непрестанно, чего, однакоже, нет; ибо тщетно иногда стараемся возобновить иные понятия, которые мы имели прежде; иногда же совсем их позабываем, но обыкновенно забываем их наполовину. Если бы ударение терялося совсем, как то случается, как бы вещьественность могла воспоминать, что было на нее ударение в то время, когда оно на нее бывает вновь? Говоря, что память не что иное есть, как чувствование продолженное, но ослабшее, всё присвоим чувствительности, но чувствительность производится движением нервов. Сие движение может умножить-

ся и уменьшиться по мере ударения сильного или слабого всех частей предмета; следовало бы, что когда вспоминаю о солнце, то же бы было, что я вижу луну, коея свет 200 000 раз слабее света солнечного. Но видеть луну теперь и вспоминать только о солнце суть две совсем разные вещи. А потому ясно, что понятия чувственные представляются нам посредством чувств; воспоминанные же производим мы сами по образу понятий чувственных, поелику мы об оных вспоминаем. Понимаю я довольно ясно, что понятия, памятию произведенные, суть таковы же, как и настоящие: но сие относится к душе. Что же касается до тела, то всякое настоящее памятию сопряжено с некоторым движением в мозгу, чего не бывает с произведенным памятию.

Признаться надлежит, что истинный источник памяти от нас скрыт совершенно. Ведаем мы, что и тело в оном участвует; но и то верно, что возобновление понятий есть собственное действие души.

Письмо сие окончу я различием, сделанным в воспоминании. Оно двояко. 1) Сила сохранять на несколько времени понятие настоящее. Локк сие называет *рассмотрение*. 2) Сила возобновлять и оживлять в разуме понятия, которые, родясь в оном, исчезли и из одного совсем удалились. Сие собственно назвать можно памятию

есмы и проч.

П И С Ъ М О 5

Сочинитель, разыскивая прилежно действия разума человеческого, ограничивает их на способность замечать сходствия и различия, приличность и разнообразность предметов между собою. Слова всех языков, которые почесть можно собранием всех мыслей человеческих, подтверждают сию истину, для того что они представляют нам одни токмо образы внешних предметов, отношений их одного к другому и отношение их к нам. Разум человеческий превыше познания сих отношений не возносится и черты сея не преступает. Но и суждение не что иное есть, как самое сие усмотрение или изъяснение оного; то и следует, что все действия разума суть токмо суждения. Но и судить есть не что иное, как усматривать сходство и разность, принадлежность и неприличность наших чувствований и понятий. Следственно, поелику сила сия не что иное есть, как телесная чувствительность, то и судить есть чувствовать; следственно, все действия разума суть чувствования.

Рассуждение сие нахожу я весьма заключительным. Все предложения в оном ясны и основаны на истине и опытах, одно исключая, то есть, что способность сравнивать понятия наши и чувство-

вания есть телесная чувствительность. Сие требует рассмотрения, и поелику оно есть главное его предложение, то позвольте мне оное раздробить.

Я за доказанное приемлю, что все действия нашего разума состоят в способности усматривать сходствия и несходствия, принадлежности и разнообразия в предметах. Теперь доказать должно, что для сея способности нужна только телесная чувствительность.

Нет ни малого в том сомнения относительно познания различий между предметами. Получив два чувствования или два понятия, не могу не чувствовать, что то, что чувствую в одном, в другом того не чувствую; или, сказать яснее, что одно ударение иначе душу возбуждает, нежели другое. Чувствуя сие, чувствую их различие. Следует, что для усмотрения различия между предметами нужно токмо чувствовать. Но можно ли то же сказать о их сходствии? Определим, что значит сие слово. Что назовем сходствие одного предмета с другим? Сходствие существенное или случайное бывает, когда части, один предмет составляющие, равнородны или равнообразны другому; или когда части одного предмета суть во всем одинаковы с частями другого предмета. Если сие верно, то для познания сего нужна одна чувствительность телесная. Ибо, имея два чувствования, разуму присутственные, усматриваю непременно, как они ударяют на мои чувства, одинаким ли образом или разнообразно; следует, оное усмотреть есть чувствовать.

Принадлежностью называем, когда один предмет к другому пристоев, приятен, полезен или нужен или когда таковым нам кажется (в дальнейшее изъяснение сих названий я не вхожу, дабы вместо объяснения их не затмить). Но опыты доказывают, что разные чувствования разнообразно на душу действуют. Иные рассматривает она с удовольствием, на другие взирает с отвращением; и посредством того же опыта мы можем определить принадлежность или разность между предметами. Я из того заключаю, что судить есть то же, что чувствовать.

Для изъяснения сего рассуждения я постараюся отдалить все возражения, которые против него сделать можно.

1. Если душа есть существо страдательное, то или каждый предмет она чувствовать будет раздельно, или будет чувствовать целый предмет, хотя сложный. Но не имея силы их сблизить, она сравнения между ими сделать не может, не может о них судить. Что значит весь сей вздор? Каждый предмет будет она чувствовать особенно, то есть что одно чувствование не будет другое или что одно чувствование не существует в другом, равно как одно тело не может занимать одного места с другим в одно время. Весь предмет будет чувствуем, то есть оба чувствования присутственны будут разуму. Следует, что душа не будет иметь силы их

сравнить и что не может судить о их смежности. Но из сказанного мною можно заключить совсем противное и сказать: следовательно, не будет ей нужды их сближать, следовательно, она будет судить об отношениях двух чувствований или иметь их присутственными разуму, то есть будет их чувствовать; но то и другое равно, как то доказано прежде. Но говоря, что душа не имеет силы сближать чувствования одного с другим, если разумеем, что душа не властна устремлять или отвращать своего внимания, продолжать или окончать своего размышления, тогда задача становится важнее и касается до следующей: свободны ли мы или нет? О сем я с вами в особом письме беседовать буду.

2. Понятия уравнительные, больший, меньший; понятия числительные, один, два; понятия отвлеченные, добродетель, красота, конечно, не суть чувствования, хотя разум производит их тогда, когда я чувствую. Дабы удостовериться о слабости сего рассуждения, войдем в некоторые подробности. Что может быть простее понятия, что отношение не что иное есть, как чувствование или изречение чувствования, произведенного во мне рассмотрением двух предметов. Я сооружаю понятие великого; но оно не само по себе, а уравнительное; следственно, кто имеет понятие великого, тот исмишуемо имеет понятие малого. Следует, если имею понятие о большой палке и о малой вдруг, то такое нужно сравнение, дабы чувствовать, что большая палка больше маленькой. Но как получил я понятие о большем и малом? Получив два разные ударения и примечая или чувствуя, что один предмет имеет больше частей, нежели другой, я назвал один большим, а другой малым, хотя бы назвал их иначе, вещь в самом деле не переменялась бы. Но как составляем мы численные понятия? Замечая различия чувствований. Например, цветок ударяет на орудие моего обоняния, я чувствую сие ударение и сохраняю его посредством памяти. Другой цветок производит равное ударение; я и оно чувствую. Но сохранив прежнее ударение, теперь чувствую не токмо ударение настоящее, но чувствую также, что чувствовал подобное. Чувствовать, что было во мне подобное чувствование, есть то же, что иметь понятие о двух чувствованиях; и так далее. Разум следует той же стезе при составлении общих понятий. Ибо очевидно, если ударение разных предметов на мои чувства одинаково, то невозможно мне не чувствовать, что чувствование мое при возрении какого-либо предмета есть подобное тому, которое имел видя другой предмет. Но изображение сего чувствования есть составление понятия общего или отвлеченного, которое существовать будет токмо в моей голове и которое, однакоже, чувствовал я в самом деле.

3. Если бы в употреблении наших чувств мы были токмо страдательны, то не было бы между нами никакого сообщения, не можно было мне знать, что тело, которое я осязаю, и тело, кото-

рое вижу, есть то же. Или мы ничего вне себя чувствовать не будем, или будем чувствовать всегда пять существ отделенно, коих единственности нам приметить невозможно. Возражение сие весьма сильно, в том признаюсь. Но приняв, что в употреблении наших чувств мы действующие (хотя сие мне кажется нелепым, ибо не быть в употреблении чувств страдательным есть то же, чтобы быть властну не чувствовать того, что чувствую), легче ли можем понять сообщение между чувств и как душа замечает единственность понятия. Представь себе слепого, узнавшего опытами, каким образом шар и угольник ударяют на его осязание. Слепой сей, получив зрение, не возможет, конечно, посредством одного различить шар от угольника; ибо если чувства его ударяемы, например, шаром известным образом, не следует из того, чтобы и глаза его ударяемы были равномерно. Следственно, опыты нас тому учат, следственно, рассуждение, следственно, и сие есть чувствовать. Хотя совершенного уверения о единственности вещи в нас нет, но для чего тому удивляться, если доводам идеалистов мы опричь брани ничего противопоставить не можем.

4. Наконец последнее возражение есть сие: если бы суждение об отношениях было простое чувствование и происходило бы единственно от предмета, то суждения мои никогда не были бы ложны, ибо то не ложно, что когда чувствую, то чувствую. Но на сие буду ответствовать в следующем письме, следуя стезям сочинителя, который доказывает, что все наши заблуждения от наших страстей и от неведения происходят. И если сие последнее возражение достаточно будет опровергнуто, то излишнее будет, да и нелепо утверждать, что сила суждений не есть свойство чувствовать

есмы и проч.

Примечание. Сочинения Федора Васильевича суть токмо в переводе. Первое и последнее из оных писал он на французском языке, прочее же на немецком.



Путешествие из Петербурга в Москву

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514

А. М. К.

Л ю б е з н е й ш е м у д р у г у .

Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодетствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей; кто в шествии моем меня подкрепит, — не сугубый ли плод произойдет от поднятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь — и имя твое да озарит сие начало.

ВЫЕЗД

Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик по обыкновению своему поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно: но блажен тот, кто расстаться может не улыбаясь; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося прости; но вспомни о возвращении твоём, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицом солнца. Блажен возрыдавший, надейся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зеркалах воображения.

Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моя, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелени; не было тут источника на прохлаждение, не было древесных сени на умерение зноя. Един, оставлен, среди природы пустынный! Вострепал.

— Несчастный, — возопил я, — где ты? где девалось все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятно? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? — По счастью моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит дом в три жилья.

— Что такое? — спрашивал я у повозчика моего.

— Почтовый двор.

— Да где мы?

— В Софии, — и между тем выпрягал лошадей.

СОФИЯ

Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости:

— Барин-батюшка, на водку! — Сбор сей хотя не законный, но охотно всякий его платит, дабы не ехать по указу. Двадцать копеек послужили мне в пользу. Кто ездил на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, генеральский, может быть, исключая, будет

накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.

Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо.

— Кого чорт давит? Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни. — Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо.

— Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей, — и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился.

Если лошади все в разгоне, — размышлял я, — то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне... Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в одной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо крепче. Казалось мне, что я к тому имел право, нашел, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал:

— Кто приехал? не... — но опомнившись, увидя меня, сказал мне: — видно, молодец, ты обык так обходишься с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора. — Со гневом г. комиссар лег спать в постелю. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались; но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запретить мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвевел на дворе колокольчик. Я пребыл добрый гражданин. Итак, двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости.

Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской.

Извозчик мой пост. Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? — Отче всеблагий, неужели отворишь взоры свои от скончающегося бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.

ТОСНА

Посхавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковую ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимую... Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой — кто он был? — узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа:

— Милостивый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю не редкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение.

— Милостивый государь! — продолжал он, указывая на свои бумаги, — все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженные памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило

многие честные княжеские и царские роды наравне с новгородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титула и древнее дворянство, так сказать, затаптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных папих востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титул маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь! труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев.

— В Москве завернулся я в компанию молодых господчиков и предложил им мой труд, дабы благосклонностию их возвратить хотя истраченную бумагу и чернила; но вместо благоприящества попал в посмеяние и, с горя оставив столичный сей град, вдалься пути до Питера, где, известно, гораздо больше просвещения.

Сказав сие, поклонился мне об руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением. Я понял его мысль, вынул из кошелька... и, дав ему, советовал, что, приехав в Петербург, он продал бы бумагу свою на вес разносчикам для обертки; ибо мнимое маркизство скружить может многим голову, и он причиною будет возрождению истребленного в России зла — хвастовства древния породы.

ЛЮБАНИ

Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах. — Летом. Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяясь душевно от земли, казалось мне, что удары кибиточные были для меня легче. Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. В нескольких шагах от дороги увидел я пахущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. Пахущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостью.

•

— Бог в помощь, — сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. — Бог в помощь, — повторил я.

— Спасибо, барин, — говорил мне пахарь, отряхая сошник и переноса соху на новую борозду.

— Ты, конечно, раскольник, что папешь по воскресеньям?

— Нет, барин, я прямым крестом крещусь, — сказал он, показывая мне сложенные три перста. — А бог милостив, с году умирать не велит, когда есть силы и семья.

— Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?

— В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог, — крестясь, — чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господина молят.

— У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?

— Три сына и три дочки. Первьивьскому-то десятый годок.

— Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?

— Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.

— Так ли ты работаешь на господина своего?

— Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянишь на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господина берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимой не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?

— Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают.

— Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. — Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила.

— Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение.

Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распространяться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал.

— Ты во гневе твоём, — говорил я сам себе, — устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному — сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетью, ни батожем (о умеренный человек!) — и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не успел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!

— А кто тебе дал власть над ним?

— Закон.

— Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!.. — Слезы потекли из глаз моих; и в таком положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.

ЧУДОВО

Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и чрез несколько минут вошел в избу приятель мой Ч... Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило

человека нраву крутого, как то был мой приятель, удалиться из Петербурга, и вот что он мне рассказал.

— Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я препроводил праздники столь весело, сколько в шуму и чаду веселиться можно. Но желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштадт и на Систербек, где, сказывали мне, в последнее время сделаны великие перемены. В Кронштадте прожил я два дни с великим удовольствием, насыщаясь зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштадтской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштадту плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения; словом, второй день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух благорастворенный вливал в чувства особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благодать природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую 12-ти весельную шлюпку и отправился на С...

— Версты с четыре плыли мы благополучно. Шум весел единозвучностию своею возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспрядало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое воображение преселяло уже меня в прелестные луга Пафоса и Амафонта. Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разгнал мой сон, и отягченным взорам моим представлялися сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремилась к нам на главу и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов. Я рад был и сему зрелищу; соглядал величественные черты природы и не в чванство скажу: что других устрашать начинало, то меня веселило. Восклидал изредка, как Вернет: ах, как хорошо! Но ветер, усиливаясь постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывистый ветер, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шественного движения. Следуя поневоле направлению ветра, мы носились наудачу. Тогда и берега начали бояться; тогда и то, что бы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа завистливою нам на сей час казалась, и мы на нее негодовали тепер за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа громовым треском. Но надежда, преследуя человека до крайности, нас укрепляла, и мы, елико нам возможно было, ободряли друг друга.

— Носимое валами, внезапно судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведения нашего судна с мели, как то мы думали, мы не приметили, что ветр между тем почти совсем утих. Небо помалу очистилось от затмевавших синеву его облаков. Но восходящая заря вместо того, чтоб принести нам отраду, явила нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погрязла между двух больших камней и что не было никаких сил для ее избавления оттуда невредимо.

— Вообрази, мой друг, наше положение; все, что я ни скажу, все слабо будет в отношении моего чувства. Да и если б я мог достаточные дать черты каждому души моей движению, то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснились тогда. Судно наше стояло на середине гряды каменной, замыкающей залив, до С... простирающийся. Мы находились от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон и угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас преходить начинает и отверзается вечность, ниспадают тогда все степени, мнением между человеков воздвигнутые. Человек тогда становится просто человек: так, видя приближающуюся кончину, забыли все мы, кто был какого состояния, и помышляли о спасении нашем, отливая воду, как кому споручно было. Но какая была в том польза? Колико воды союзными нашими силами было исчерпаемо, толико во мгновение паки накоплялося. К крайнему сердце наших сокрушению ни вдали, ни вблизи не видно было мимоидущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, явсь взорам нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равных с нами участи.

— Наконец судна нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий обыкший, вздравший поневоле, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую Турецкую войну в Архипелаге, решился или нас спасти, спасая сам, или погибнуть в сем благом намерении: ибо стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он, вышед из судна и перебираясь с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем чистосердечнейшими нашими молитвами. Сначала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя воду, где она была мелка, переплывая ее, где она глубже становилась. Мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаясь почасту и садясь на камень для отдохновения. Казалось нам, что он находилс иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сие побудило одного из его товарищей ему преследовать, дабы подать ему

помощь, если он увидит его изнемогающа в достижении берега, или достигнуть оного, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремились вослед то за тем, то за другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец последний из сих подражателей Моисея в прохождении, без чуда, морския пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду.

— Сокровенные доселе внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода между тем в судне умножалася, и труд наш, возраста в отливании оной, утомлял силы наши приметно. Человек ярого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкия души и чувствовавший долго, может быть, тягость удручительная неволи рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, вспоминая дом свой, детей и жену, сидел яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питались его трудами.

— Каково было моей души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился богу. Наконец начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло, и мы стояли все в воде по колено. Нередко помышляли мы вытти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного из наших спутников на камне уже несколько часов и сккрытие другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположного берега, в расстоянии от нас каком то было, точно определить не могу, два пятна черные на воде, которые, казалось, двигались. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалось, помалу увеличивалось; наконец, приближаясь, представило ясно взорам нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находились среди отчаяния, во сто крат надежду превосходящего. Как в темной храмине, свету совсем неприступной, вдруг отверзается дверь и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет оный, распростираясь по всей храмине до дальнейших ее пределов, — тако, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души. Отчаяние превратилось в восторг, горесть в восклицание, и опасно было, чтобы радостные телодвижения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаяся в сердца, возбудила паки мысли о различии состояний, в опасности уснувшие. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укротил излишнее радование, во вред обратиться могущее.

— По несколькоком времени увидели мы две большие рыбацьи лодки, к нам приближающиеся, и, при настижении их до нас, увидели в одной из них нашего спасителя, который, прошед каменную

грядю до берега, сыскал сии лодки для нашего извлечения из явной гибели. Мы, не мешкав ни мало, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших судах к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, который на оном около семи часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилось совсем. Плывучи к берегу среди радости и восторга спасения, Павел, — так звали спасшего нас спутника, — рассказал нам следующее:

«— Я, оставя вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание вас спасти дало мне силы чрезвычайные; но сажень за сто до берега силы мои стали ослабевать, и я начал отчаяваться в вашем спасении и моей жизни. Но полежав с полчаса на камени, вспрынув с новою бодростию и не отдыхая более, дополз, так сказать, до берега. Тут я растянулся на траве и, отдохнув минут десять, встал и побежал вдоль берега к С... что имел мочи. И хотя с немалым истощением сил, но вспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом С... никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был седьмой час. В передней комнате нашел я тамошней команды сержанта. Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил Г..., который тогда еще почивал. Г. сержант мне сказал: «Друг мой, я не смею». — «Как, ты не смеешь? Когда двадцать человек тонут, ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду...»

«— Г. сержант, взяв меня за плечо не очень учтиво, вытолкнул за дверь. С досады чуть я не лопнул. Но, помня более о вашей опасности, нежели о моей обиде и о жестокосердии начальника сего подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, езда по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых, я и не ошибся в моей надежде. Нашел сии две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна; вы все спасены. Если бы вы утонули, то и я бы бросился за вами в воду».

— Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышед из судна, я пал на колени, возвел руки на небо.

— Отче всеильный, — возопил я: — тебе угодно, да живем; ты нас водил на испытание, да будет воля твоя. — Се слабое, мой друг, изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу, я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду? Не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую; час бьет; я мертв; движение, жизнь, чувство, мысль — все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба,

не почувствуешь ли корчущий мраз, лиющийся в твоих жилах и одновременно жизнь пресекающий. О мой друг! — Но я удалился от моего повествования.

— Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, чтоб в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалось такое бесчеловечие! Я вспомню о заключенных агличанах в темнице бенгальского субаба.¹

— Воздохнул я во глубине души. Между тем дошли мы до С... Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и претерпевшим на воде даст хотя успокоение. С сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить своих слов. Увидев его, сказал: «Государь мой! Известили ли вас, что за несколько часов пред сим двадцать человек находились в опасности потерять живот свой на воде и требовали вашей помощи?» Он мне отвечал с наивеличайшею холодностию, куря табак: «Мне о том сказали недавно, а тогда я спал». Тут я задрожал в ярости человечества: «Ты бы велел себя будить молотком по голове, буде крепко спишь, когда люди тонут и требуют от тебя помощи». Отгадай, мой друг, какой его был ответ. Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал: «Не моя то должность». Я вышел из терпения: «Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек; и ты носишь знаки отличности, ты начальствуешь над другим!..» Окончатель не мог моя речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады. Сто делал расположений, как отместить сему зверскому начальнику не за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминанием многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным, или злым человеком; смирился.

¹ Агличане приняли в свое покровительство ушедшего к ним в Калкуту чиновника бенгальского, подвергнувшего себя казни своим мздоимством. Справедливо раздраженный субаб, собрав войско, приступил к городу и оный взял. Агличских военнопленных велел свергнуть в тесную темницу, в коей они в полсутки издохли. Осталось от них только двадцать три человека. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестит владельцу о их положении. Вошь их и стенание возвещало о том народу, о них соболезнующему; но никто не хотел возвестить о том властителю. Почивает он — ответствовано умирающим агличанам; и ни один человек в Бенгале не мнил, что для спасения жизни ста пятидесяти несчастных должно отъяти сон мучителя на мгновение.

Но что ж такое мучитель? Или паче, что ж такое народ, обыкший к игу мучительства? Благоговение ль или боязнь тягчит его согбенна? Если боязнь, то мучитель ужаснее богов, к коим человек воссылает или молитву, или жалобу во время ночи или в часы дневные. Если благоговение, то возможно человека возбудить на почитание соделателей его бедствий; чудо, возможное единому суеверию. Чему более удивляться, зверству ли спящего набаба или подлости не смеющего его разбудить? — Реналь. История о Индиях, том II.

— Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великою радостью, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробыли у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день, нашед большую шлюпку, доехали мы до Ораниенбаума благополучно. В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. — Но в должности ему не предписано вас спасать, — сказал некто. — Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе.

— Нет, мой друг, — говорил мой повествователь, вскочив со стула, — заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости. — Сел в кибитку и скакал.

СПАССКАЯ ПОЛЕСТЬ

Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез:

— Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями. — И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно.

Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку; как вдруг дождь пошел. — Беда невелика, — размышлял я: — закроюсь ценювкой и буду сух. — Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. С погодою не сладишь; по пословице: тише едешь, дале будешь — вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно. Но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была непуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шопот. Два голоса различить я мог, которые между собой разговаривали.

— Ну, муж, Расскажи-тка, — говорил женский голос.

— Слушай, жена. Жил-был...

— И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить? — сказала жена вполголоса, зевая ото сна. — Поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей разбойник.

— Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет.

— В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и чикчераш явился пред его высокопревосходительство.

«— Поспешай, мой друг, — вещает ему унизанный орденами, — поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской.

«— Кому прикажете?

«— Прочти адрес.

«— Его... его...

«— Не так читаешь.

«— Государю моему гос...

«— Врешь... господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С.-Петербурге в Большой Морской.

«— Знаю, ваше высокопревосходительство.

«— Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и нимало не медли; я тебе скажу спасибо не одно».

— И ну-ну-ну, ну-ну-ну; по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор.

«— Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затаейник, из-за тысячи верст шлет за какую дрянью. Только барин добрый. Рад ему служить. Вот устерсы, теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся». — Бочку взвалили в кибитку; поворота оглобли, курьер уже опять скачет; успел лишь зайти в кабак и выпить два кружка сивухи.

— Тинь-тинь... Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери.

«— Привез, ваше высокопревосходительство.

«— Очень к стати; (оборотятся к предстоящим:) право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомянуть не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоиваю его к повышению чином».

— В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному в С.-П. с паинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы... Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет. — По представлению господина генерала и проч. *приказали*: быть сержанту Н. Н. прапорщиком.

— Вот, жена, — говорил мужской голос, — как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добropорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш г. казначей; уже другой раз по его представлению меня отсылают в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица.

— И... полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? за то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься.

— Потихе, Кузминична, потихе; неравно кто подслушает. — Оба голоса умолкли, и я опять заснул.

Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою, которые до света отправились в Новгород.

Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лице. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением:

— Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту.

Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли.

Я находился от него не далее как в пяти саженьях. Он, подошед ко мне и не снимая шляпы, сказал:

— Милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного. — Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое.

— Я вижу, — сказал он мне, — что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалось. — Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, не медля ни мало, вынул из кошелька...

— Не осудите, — сказал, — более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше. — Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным; я и не ошибся.

— Я вижу, — сказал он мне, — что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снисkanie собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей.

Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание — и мы едем.

— Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим, или так казалось; ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почестей; стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие толикое имело удовлетворение, равно и душа наслаждалась истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах наконец получил я в жену ту, которую желал. Взаимная наша горячность, услаждающая и чувства и душу, все представляла нам в ясном виде. Не зрели мы облачного дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство, определила судьба, да рушится одним мгновением.

— У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренно меня не любил, начал говорить с сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было.

«— Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено».

— Вам покажется мудрено, — говорил сопутник мой, обращая ко мне свое слово, — чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Неосновательность моя причиною была, что я

доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен, и, по свидетельству будто его книг, сделался, повидимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я, сделав выправки, сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было, или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был поручкою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время как я сделался в откупу поручкою, имения за мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на имение мое в гражданскую палату. Странная вещь — запрещать продавать то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление; ибо были люди, которых удовольствие помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что по крайней мере надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажей, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок лишить чинов и требуют теперь, — говорил повествователь, — хозяина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела. — Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. — Жена моя, едва сие услышала, обняв меня, вскричала: «Нет, мой друг, и я с тобою». Более выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончился.

— Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возвещающие. Но сколь ни жестоки они были, воображение, что я буду под стражей, столь ее тревожило, что она только и твердила: и я пойду с тобою. Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением младенца не успокоились, но, усилившись гораздо, сделали ей горячку.

— Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдание, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной незримый плод нашей горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика.

— Вообрази, вообрази, — говорил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы, — вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалась навсегда.

— Навсегда! — вскричал он диким голосом. — Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу; я уже нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд.

— Извините мое исступление, я думаю, что я лишусь скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуту, когда любезная моя со мною расставалась, то я все позабываю, и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, прибежав ко мне:

«— Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу».

— Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощью своих людей, вынес и положил в кибитку; но вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но, нашед уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по словнице — куда глаза глядят.

Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производились жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так назвать всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования) отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховных власти. Ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. — Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправоудие судивших и невинность страждущего. — Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют

от меня верующего письма. — Какое имею право? — Страждущее человечество. Человек, лишенный имени, чести, лишенный половины своей жизни, в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения. И на сие надобно верующее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин? — Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верующее письмо. — О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестясь во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денно-ночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не проснулся долго.

Возмущенные соки мыслию стремились, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил.

Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле.

Место моего восседания было из чистого золота и хитро исколденными драгими разного цвета камнями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалася венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из серебра изваянном, на коем изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого золота и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью *Закон милосердия*; в другой книга же с надписью *Закон совести*. Держава, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудю младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлых стали искованная, облежала вокруг всего седалища при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.

Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящи,

стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилось бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смияние распростерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озиранье являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самыя кончины мучительные. Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулись ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частью, улегчась, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира и частью, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательный свой покров, улетает на крылех мгновенности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствования, — тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталось косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать:

— Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки. — Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листьям дерев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил:

— Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе.

Другой восклицал:

— Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие.

Женщины с нежностью вещали:

— Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельные кончины.

Иной с важным видом возглашал:

— Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание.

Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло:

— Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.

Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавались в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображались, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалась над обыкновенным зрением кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалась степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилось с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я итти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной.

— Государь, — отвечивал он мне, — слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращаясь, приносяй дань царей сильных.

Учредителю плавания я рек:

— Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе.

— Исполню, государь. — И полетел на исполнение, яко ветер, определенный надувать ветрила корабельные.

— Возвести до дальнейших пределов моя область, — рек я хранителю законов, — се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в дома свои, яко заблудшие от истинного пути.

— Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестити радость скорбящим отцам по чадах их, супругам по супругам их.

— Да воздвигнутся, — рек я первому зодчию, — великолепнейшие здания для убежища мусс, да украсятся подражаниями природы разнообразными; и да будут они ненарушими, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются.

— О премудрый, — отвечал он мне, — егда велениям твоего гласа стихии повиновались и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют.

— Да отверзется ныне, — рек я, — рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику.

— О всецелый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля.

При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облеглая твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Глава ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами.

— Кто сия? — вопрошал я близ стоящего меня.

— Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоя главы.

— Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Приидите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, примите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние.

Тогда, состав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих; отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благоденствиях моих долю.

По сем продолжал я мое слово:

— Пойдем, столпы моея державы, опоры моея власти, пойдем усладиться по труде. Достойно бо, да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достойно царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству, — рек я к учредителю веселий. — Мы тебе последуем.

— Постой, — вещала мне странница от своего места, — постой и подойди ко мне. Я — врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очисти зрение твое. Какие бельма! — сказала она с восклицанием.

Некая невидимая сила нудила меня итти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насиллие.

— На обоих глазах бельма, — сказала странница, — а ты столь решительно судил о всем. — Потом коснулася моих глаз и сняла с них толстую плену, подобну роговому раствору. — Ты видишь, — сказала она мне, — что ты был слеп и слеп все-совершенно. Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представляются днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отмстит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзей. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз явлюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая денно-ночно стоглазно, воспрещает мне вход в оные. Если когда проникну сию сплоченную толпу, то, подняв бич гонения, все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо, да паки не удалюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемая, покрывает твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один взоры твои досязатъ будут. Все в веселом являться тебе будет виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обудут на лествь отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над головой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда, осажденная кознями ласкательства, душа твоя взылкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блудись и не дерзай его казнити,

яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившись возможен он паче и паче глаголати нельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва один в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыплялася неюго власти, се кольцо дарю тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледельца лишатся жизни у тощего без здравья пищи соща матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, возри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.

Изрекшия странницы лице казалось веселым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на нее вливаю в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касались. Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделись мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлися того скареднее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почиталися хуже скота. Не радели ни о их здравии, ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялася на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужных и безвременных строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подолом раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему

даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.

Корабли мои, назначенные да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылах ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоялся негою и любовью в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плаванья уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы израждалися из кисти новых сих путешествователей. Уже при блеске ночных светильников начерталось величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже золотые дски уготовлялися на одежду столь важного сочинения. О Кук! почто ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? Почто скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сий корабль, то, в веселиях начав путешествие и в веселиях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте (и в моем государстве), толико же бы прославился; ибо ты бы почтен был твоим государем.

Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилася, отпущение казни и прощение преступников едва видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращая не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалось торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того, чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердным, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом.

— Удержи свое милосердие, — вещали тысячи гласов, — не возвещай нам его великолепным словом, если не хочешь его исполнить. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестию ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем.

В созидании городов видел я одно расточение государственныя казны, нередку омытой кровью и слезами моих подданных. В движении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялося и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутреннее и внешнее без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали веку готфов и вандалов. В жилище, для мусс уготованном, не зрел я ликущихся благотворно струев Касталии и Ипокрены; едва пресмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, не о красоте оного помышляли, но как приобре-

тут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои.

Но паче всего уязвило душу мою изливание моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одяние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливались на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва, едва досязали слабые источники моя щедроты застенчивого достоинства и стыдливый заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты.

Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостью духа, на снисkanie почестей, вожделенной смертных мечты; но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во уверении, что почести мирские суть пепл и дым. Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалась на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, — возревел я яростию гнева.

— Недостойные преступники, злодеи! вешайте, почто во зло употребили доверенность господя вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничижения. Прииди, — вешал я старцу, коего созерцал в крае обширных моя области, кроющегося под заросшею мхом хижиною, — прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму.

Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моя обязанности, познал, откуда проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоясь служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

ПОДБЕРЕЗЬЕ

Насилу очнуться я мог от богатырского сна, в котором я столько сгрезил. Голова моя была свинцовой тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у пьяниц, которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать пути и трястися на деревянных дрогах (пружин у кибитки моей не было). Я вынул домашний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреда во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда ездило в запасе, но, по пословице: на всякого мудреца довольно простоты — против бреда я себя не предостерег, и от того голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана.

Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли. Как чашек пять выпью, говаривала она, так и свет вижу, а без того умерла бы в три дни.

Я взялся за нянюшкино лекарство, но, не привыкнув пить вдруг по пяти чашек, попотчевал излишне для меня сваренным молодым человеком, который сидел на одной со мной лавке, но в другом углу у окна.

— Благодарю усердно, — сказал он, взяв чашку с кофеем.

Приветливый вид, взгляд неробкий, вежливая осанка, казалось, некстати были к длинному полукафтанию и к примазанным квасом волосам. Извини меня, читатель, в моем заключении, я родился и вырос в столице, и если кто не кудряв и не напудрен, того я ни во что не чту. Если и ты деревенщина и волос не пудришь, то не осуди, буде я на тебя не взгляну и пройду мимо.

Слово за слово я с новым моим знакомцем поладил. Узнал, что он был из новгородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться с дядею, который был секретарем в губернском штате. Но главное его намерение было, чтоб сыскать случай для приобретения науки.

— Сколь великий недостаток еще у нас в пособиях просвещения, — говорил он мне. — Одно сведение латинского языка не может удовлетворить разума, алчущего науки. Виргилия, Горация, Тита Ливия, даже Тацита почти знаю наизусть, но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай по счастью моему узнать, то почитаю училище наше принадлежащим к прошедшим столетиям. Классические авторы нам все известны, но

мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь делает приятными, что вечность для них уготовало. Нас учат философии, проходим мы логику, метафизику, ифику, богословие, но, по словам Кутейкина в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять. Чему удивиться: Аристотель и схоластика доныне царствуют в семинариях. Я по счастью моему знаком стал в доме одного из губернских членов в Новгороде, имел случай приобрести в оном малое знание во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, с нынешним временем! Какое пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверстые, но преподаются на языке народном!

— Но для чего, — прервав, он свою речь продолжал, — для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавались науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение.

— Боже мой! — продолжал он с восклицанием, — если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций, Монтескью, Блекстон!

— Ты читал Блекстона?

— Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо бы было заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцев, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. Как не потужить, — повторил он, — что у нас нет училищ, где бы науки преподавались на языке народном.

Вошедший почталион помешал продолжению нашей беседы. Я успел семинаристу сказать, что скоро желание его исполнится, что уже есть повеление о учреждении новых университетов, где науки будут преподаваться по его желанию.

— Пора, государь мой, пора...

Между тем как я платил почталиону прогонные деньги, семинарист вышел вон. Выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял упавшее и не отдал ему. Не обличи меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким условием я и тебе сообщу, что я подтибрил. Когда же прочтешь, то знаю, что кражи моей наружу не выведешь; ибо не тот один вор, кто крал, но и тот, кто принимал, — так писано в законе русском. Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо. — Читай, что мой семинарист говорит:

«Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел, изрек только то, что зрел. Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных, или нравственных, с веществами телесными, или естественными; что причина всех перемен, превращений, превратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно, как и оно, кругообразных и коловращающихся...»

На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга... Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюсь тебе, как отду духовному, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в пыфири или египетские пероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям. Когда умру, будет время довольно на неосязательность, и душенька моя набродится досыта.

Оглянись назад, кажется, еще время то за плечами близко, в которое царствовало суеверие и весь его причет: невежество, рабство, инквизиция и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал против суеверия до безголосицы; давно ли Фридрих неутолимый его был враг не токмо словом своим и деяниями, но, что для него страшнее, державным своим примером. Но в мире сем все приходит на прежнюю степень, ибо все в разрушении свое имеет начало. Животное, прозябаемое, рождается, растет, дабы произвести себе подобных, потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются во грады, основывают царства, мужают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места пребывания их не видно; даже имена их погибнут. Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалось в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалось суеверию; в иступлении шло стезею, народам обыкновенною; воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всесильный из царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие; истина нашла любителей, поправа огромный оплот предрассуждений, но не долго пребыла в сей стезе. Вольность мыслей вдалась необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе

мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию. Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл; когда задачею любомудрия почиталось и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душ.

Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезный бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний шествие разума человеческого, когда, сотрясший мглу предубеждений, он начал преследовать истину до выпренности ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет: ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранит хотя некоторых от пагубных стези и заградит полет невежества; блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель.

Счастливыми назваться мы можем: ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумных твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но пары, в грязи омерзения почившие, уже воздымаются и predeterminedляются объяти зрения круг. Блаженны, если не узрим нового Магомета; час заблуждения еще отдалится. Внемли, когда в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация и восстает муж твердый и предприимчивый на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях.

На лестнице, по которой разум человеческий нисходить долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбку соделаем добро, блаженны наречемся.

Бродя из умствования в умствование, о возлюбленные, блюдитесь, да не вступите на путь следующих исследований.

Вещал Акиба: вошел по стезе Равви Йозуа в сокровенное место, я познал тройственное. Познал 1-е: не на восток и не на запад, но на север и юг обращатися довлеет. Познал 2-е: не на ногах стоящему, но восседая надлежит испражняться. Познал 3-е: не десницею, но шуйцею отирать надлежит задняя. На сие возразил Бен Газас: дотоле обесстудил еси чело свое на учителя, да извергающего присматривал! Ответствовал он: сии суть таинства закона; и нужно было, да сотворю сотворенное и их познаю.

Смотри Белев словарь, статью Акиба.

НОВГОРОД

Гордитесь, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечно; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом непререваемым. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. — Где пышная Троя, где Карфага? — Едва ли видно место, где гордо они стояли. — Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя. Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О! гордость, о! надменность человеческая, возри на сие и познай, колико ты ползуша!

В таковых размышлениях подъезжал я к Новугороду, смотря на множество монастырей, вокруг одного лежащих.

Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся, заключались в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новгородская простиралась на север даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новагорода — служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.

На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новгородских. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое он имел право присвоить Новгород? То ли, что первые великие князья российскийские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Руси? Или что новгородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действитель-

ность? Много было писано о праве народов; нередко имеют на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и апелляции на оное нет. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. Нужда, желание безопасности и сохранности создают царства; разрушают их несогласие, ухищрение и сила.

Что ж есть право народное? — Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии.

— Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права?

— Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвоает. Если бы что тому воспретить захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое.

— Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, — кто из двух большее к приобретению имеет право?

— Ответ: тот, кто кусок возьмет.

— Вопрос: кто же возьмет кусок?

— Ответ: кто сильнее.

— Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права народного?

— Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом.

— Вопрос: что есть право гражданское?

— Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить.

ИЗ ЛЕТОПИСИ НОВОГОРОДСКОЙ

Новгородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение.

Новгородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмью печатями.

Новгородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение.

Новгород в 1420 году начал бить свою монету.

Новгород стоял в Ганзейском союзе.

В Новгороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждений о вещах общественных.

Царь Иван письмо и колокол у новгородцев отнял.

Потом. В 1500 году — в 1600 году — в 1700 году — году — году Новгород стоял на прежнем месте.

Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на то, что под ногами, то скоро споткнусь и упаду в грязь... размышлял я. Как ни тужи, а Новагорода по прежнему не населишь. Что бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу.

— Ба! ба! ба! добро пожаловать, откуда бог принес, — говорит мне приятель мой Карп Дементьич, прежде сего купец третьей гильдии, а ныне именитый гражданин. — По пословице, счастливый к обеду. Милости просим садиться.

— Да что за пир у тебя?

— Благодетель мой, я женил вчера парня своего.

Благодетель твой, подумал я, не без причины он меня так величает. Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп Дементьич в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятый капитал мне весь подарили. Карп Дементьич человек признательный.

— Невестка, водки нечаянному гостю.

— Я водки не пью.

— Да хотя прикушай. Здоровья молодых... — и сели ужинать.

По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементьич свою молодую невестку.

...Прервем речь, читатель. Дай мне карандаш и листочек бумажки. Я тебе во удовольствие нарисую всю честную компанию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушке, хотя бы ты на Алеутских островах бобров ловил. Если точных не спишу портретов, то доволен буду их силуэтами. Лаватер и по ним учит узнавать, кто умен и кто глуп.

Карп Дементьич — седая борода, в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой.

Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга. В шестьдесят лет бела как снег и красна как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом; ренского не пьет, перед обедом полчарочки при гостях да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяйину на счете показывает... По приказанию Аксиньи Парфентьевны куплено годового запаса 3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян листовых... Приказчики мужнины — Аксиньины камердинеры.

Алексей Карпович, сосед мой застольный. Ни уса, ни бороды, а нос уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхав голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит, как сам себя; на пятнадцатом году матери дал оплеуху.

Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. В компании сидит потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни; — а у кого догадка есть, тот знает за что.

Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно, видно, мне снимать силуэты. Твоя правда; другого не будет, как нос да нос, губы да губы. Я и того не понимаю, как ты на силуэте белилы и румяна распознаешь.

— Карп Дементыч, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не едешь, льну не привозишь, ни сахару, ни кофе, ни красок не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток.

— От него-то было я и разорился. Но насилиу бог спас. Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил здесь дом. На следующий год был льну неурожай, и я не мог поставить, что законтраковал. Вот отчего я торговать перестал.

— Помню, Карп Дементыч, что за тридцать тысяч рублей, забраных вперед, ты тысячу пуд льну прислал должникам на раздел.

— Ей, больше не можно было, поверь моей совести.

— Конечно, и на заморские товары был в том году неурожай. Ты забрал тысяч на двадцать... Да, помню; на них пришла головная боль.

— Подлинно, благодетель, у меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут займодавцы мои на меня жаловаться? Я им отдал все мое имение.

— По три копейки на рубль.

— Никак нет-ста, по пятнадцати.

— А женин дом?

— Как мне до него коснуться; он не мой.

— Скажи же, чем ты торгуешь?

— Ничем, ей, ничем. С тех пор, как я пришел в несостояние, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч.

— На будущее, конечно, законтракует на пятьдесят, возьмет половину денег вперед и молодой жене построит дом...

Алексей Карпович только что улыбается.

— Старинный шутник, благодетель мой. Полно молоть пустилки; возьмемся за дело.

— Я не пью, ты знаешь.

— Да хоть прикушай.

Прикушай, прикушай, — я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть, и под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но, по счастью, век за столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я был трезв.

Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышление. Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением; почитал счастливым новых времен изобретением для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народам на ум не приходило. Но отчего же, буде нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, ужели бы торговля исчезла? Не заимодавец ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пецися долженствует, о заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах человечества заслуживает уважения, заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того что не знал, кому доверил, или должник в оковах и в темнице. С одной стороны — легковерность, с другой — почти воровство. Тот поверил, надеясь на строгое законоположение, а сей... А если бы взыскание по векселям не было столь строгое? Не было бы места легковерию, не было бы, может быть, плутовства в вексельных делах...

Я начал опять думать, прежняя система пошла к черту, и я лег спать с пустою головою.

БРОННИЦЫ

Между тем как в кибитке моей лошадей переменяли, я захотел посетить высокую гору, близ Бронниц находящуюся, на которой, сказывают, в древние времена, до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившийся тогда издаваемыми в оном пророчаниями, для слышания коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте славного древнего капища построена малая церковь.

Восходя на гору, я вообразил себя преселенного в древность и пришедшего, да познаю от державного божества грядущее и обрящу спокойствие моей нерешимости. Божественный ужас объемлет мои члены, грудь моя начинает воздыматься, взоры мои тупеют, и свет в них меркнет. Мне слышится глас, грому подобный, вещаяй:

— Безумный! почто желаешь познати тайну, которую я сокрыл от смертных непроницаемым покровом неизвестности? Почто, о дерзновенный! познати жаждешь то, что едина мысль предвечная постигать может? Ведай, что неизвестность будущего соразмерна брэнности твоего сложения. Ведай, что предузнанное блаженство теряет свою сладость долговременным ожиданием, что прелестность настоящего веселия, нашед утомленные силы, немощна произвести в душе столь приятного дрожания, какое веселие получает от нечаянности. Ведай, что предузнанная гибель отнимает безвременно спокойствие, отравляет утеху, ими же наслаждался бы, если бы скончания их не предузнал. Чего ищешь, чадо безрассудное? Премудрость моя все нужное насадила в разуме твоём и сердце. Вопросы их во дни печали и обрящешь утешителей. Вопросы их во дни радости и найдешь обуздателей наглого счастья. Возвратись в дом свой, возвратись к семье своей; успокой востребованные мысли; вниди во внутренность свою, там обрящешь мое божество, там услышишь мое вещание. — И треск сильного удара, гремящего во власти Перуна, раздался в долинах далеко.

Я опомнился. Достиг вершины горы и, узрев церковь, возвел я руки на небо.

— Господи, — возопил я, — се храм твой, се храм, вещают, истинного, единого бога. На месте сем, на месте твоего ныне пребывания, повествуют, стоял храм заблуждения. Но не могу поверить, о всесильный! чтобы человек мольбу сердца своего воссылал ко другому какому-либо существу, а не к тебе. Мощная десница твоя, невидимо всюду простертая, и самого отрицателя всемогущия воли твоя нудит признавати природы строителя и содержателя. Если смертный в заблуждении своем странными, непристойными и зверскими нарицает тебя именованиями, почитание его, однакоже, стремится к тебе, предвечному, и он трепещет пред твоим могуществом. Егова, Юпитер, Брама; бог Авраама, бог Моисей, бог Конфуция, бог Зороастра, бог Сократа, бог Марка Аврелия, бог христиан, о бог мой! ты един повсюду. Если в заблуждении своем смертные, казалось, не тебя чтили единого, но боготворили они твои несравненные силы, твои неуподобляемые дела. Могущество твое, везде и во всем ощущаемое, было везде и во всем поклоняемо. Безбожник, тебя отрицающий, признавая природы закон непременный, тебе же приносит тем хвалу, хваля тебя паче нашего песнопения. Ибо, проникнутый до глубины своею изящностию твоего творения, ему предстоит трепетен. Ты ищешь, отец всещедрый, искреннего сердца и души непорочной; они открыты везде на твое пришествие. Сиди, господи, и воцарися в них.

И пребыл я несколько мгновений отриновен окрестных мне предметов, ниспед во внутренность мою глубоко. Возвед потом очи мои, обратив взоры на близ стоящие селения:

— Се хижины уничтожения, — вещал я, — на месте, где некогда град великий гордые возносил свои стены. Ни малейшего даже признака оных не осталось. Рассудок претит имети веру и самой повести: столь жаждущ он убедительных и чувственных доводов. И все, что зрим, пройдет; все рушится, все будет прах. Но некий тайный глас вещает мне, пребудет нечто вовеки живо.

С течением времен все звезды помрачатся,
померкнет солнца блеск; природа, обветшав
лет дряхлостью, падет.

Но ты во юности бессмертной процветешь,
незыблемый среди сражения стихиев,
развалин вещества, миров всех разрушенья.¹

ЗАЙЦОВО

В Зайцове на почтовом дворе нашел я давнышнего моего приятеля г. Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества. Редко мы бывали в одном городе; но беседы наши, хотя не часты, были, однакоже, откровенны. Г. Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастью его, и в статской службе не избегнул того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Дознавшие его столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотел он на себя принять сего звания, но, помыслив несколько, сказал он мне:

— Мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетворение любезнейшей склонности моей души! какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипстр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы и да не узрит их оплошная слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеянии да не вменится николи. О мой друг! исполнением моей должности источу слезы родителей о чадах, воздыхания супругов; но слезы сии будут слезы обновления во благо; но иссякнут слезы страждущей невинности и простодушия. Колико мысль сия меня восхищает. Пойдем, ускорим отъезд мой. Может быть, скорое прибытие мое там нужно. Замедля, могу быть убийцею, не предупреждая заключения или обвинения прощением или разрешением от уз.

С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке.

¹ Смерть Катонова, трагедия Еддесонова, дейс. V, явлен. 1.

— Я думал, мой друг, — говорил мне г. Крестьянкин, — что услаждающую рассудок и обильную найду жатву в исполнении моей должности. Но вместо того нашел я в оной желчь и терние. Теперь, наскучив оною, не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю. В короткое время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел; а я прослыл копотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчить жребия несчастных, впадающих в преступление нередко поневоле. До вступления моего в статскую службу приобрел я лестное для меня название человеколюбивого начальника. Теперь самое то же качество, коим сердце мое толико гордилось, теперь почитают послаблением или непозволительною поноворкою. Видел я решения мои осмеянными в том самом, что их изящными делало; видел их оставляемыми без действия. С презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена или дабы наказать мнимые преступления лишением имения, чести, жизни начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на незаконное очищение злодейства или обвинение невинности, преклонял к тому моих сочленов, и нередко я видел благие мои расположения исчезающими, яко дым в пространстве воздуха. Они же, во мзду своего гнусного послушания, получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы, сколь их прельщали своим блеском. Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности названного преступником меня побуждало на мягкосердие, я прибегал к закону, дабы искати в нем подпору моей нерешимости; но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имела не в самом законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у меня слезы. Я видел (да и может ли быть иначе), что закон судит о деяниях не касаясь причин, оные производивших. И последний случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу. Ибо, не возмогши спасти виновных, мощною судьбы рукою в преступление вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Не возмогши облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестокосердия.

— В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камерлакеем, потом мундшенком; какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворной службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания. Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в герольдию, для определения по его чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место, где родился, то есть в нашу губернию, лет шесть тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко

основание имеет в тщеславии. Человек низкого состояния, добившийся в знатность, или бедняк, приобретший богатство, сотрясши всю стыдливости застенчивость, последний и слабейший корень добродетели, предпочитает место своего рождения на распростертые своей пышности и гордыни. Там скоро ассessor нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалою своею семьею. Если бы у нас родился Гогард, то бы обильное нашел поле на карикатуры в семействе г. ассессора. Но я худой живописец; или если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека с Лаватеровою пронизательностью, то бы и тогда картина ассessorовой семьи была примечания достойна. Не имея сих свойств, заставляю вещать их деяния, кои всегда истинные суть черты душевного образования.

— Г. ассessor, произошед из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие вскружило ему голову. Не один он жаловаться может, что употребление власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, крестьян почитал скотами, данными ему (едва не думал ли он, что власть его над ними от бога истекает), да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Из сего судить можешь, как он обходился с крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке, он их посадил на пашню; отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, какую сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день, а иным давал из милости мясину. Если который казался ему ленив, то сек розгами, плетью, батожем или кошками, смотря по мере лености; за действительные преступления, как то кражу не у него, но у посторонних, не говорил ни слова. Казалось, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона или Запорожской сечи. Случилось, что мужики его для пропитания на дороге ограбили проезжего, другого потом убили. Он их в суд за то не отдал, но скрыл их у себя, объявля правительству, что они бежали; говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут кнутом и сошлют в работу за злодеяние. Если кто из крестьян что-нибудь украл у него, того он сек как за леность или за дерзкий или остроумный ответ, но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений; но сего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было один мальчик, купленный им в Москве, парикмахер дочернин да повариха старуха. Кучера

у них не было, ни лошадей; развезжал всегда на пахотных лошадях. Плетями или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих изувечили.

— Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступкам. Я заметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость. Сие самое и случилось с асессором. Случай к тому подал неистовый и беспутный или, лучше сказать, зверский поступок одного из его сыновей.

— В деревне его была крестьянская девка недурна собою, сговоренная за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась среднему сыну асессора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в любовь; но крестьянка верно пребывала в данном жениху ее обещании, что хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно было быть свадьбе. Отец жениха, по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные два пуда меду к своему господину. Сию-то последнюю минуту дворянин и хотел употребить на удовлетворение своей страсти. Взял с собой обоих своих братьев и, вызвав невесту чрез постороннего мальчика на двор, потащил ее в клеть, зажав ей рот. Не будучи в силах кричать, она сопротивлялась всеми силами зверскому намерению своего молодого господина. Наконец, превозможная всеми тремя, принуждена была уступить силе; и уже сие скверное чудовище начинал исполнением умышленное, как жених, возвратившись из господского дома, вошел на двор и, увидя одного из господчиков у клетки, усумнился о их злом намерении. Кликнув отца своего к себе на помощь, он быстрее молнии полетел ко клетю. Какое зрелище представилося ему. При его приближении затворилась клеть; но совокупные силы двух братьев немощны были удержать стремления разъяренного жениха. Он схватил близлежащий кол и, вскоча в клеть, ударил вдоль спины хищника своей невесты. Они было хотели его схватить, но, видя отца женихова, бегущего с колом же на помощь, оставили свою добычу, выскочили из клетки и побежали. Но жених, догнав одного из них, ударил его колом по голове и ее проломил.

— Сии злодеи, желая отместить свою обиду, пошли прямо к отцу и сказали ему, что, ходя по деревне, они встретились с невестою, с ней пошутили; что, увидя, жених ее начал их бить, будучи вспомогателем своим отцом. В доказательство показывали проломленную у одного из братьев голову. Раздраженный до внутрен-

ности сердца болезнию своего рождения, отец воскипел гневом ярости. Немедля велел привести пред себя всех трех злодеев, — так он называл жениха, невесту и отца женихова. Представшим им пред него первый вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну. Жених в сделанном не отперся, рассказав все происшествие.

«— Как ты дерзнул, — говорил старый ассессор, — поднять руку на твоего господина? А хотя бы он с твоею невестою и ночь переспал накануне твоея свадьбы, то ты ему за то должен быть благодарен. Ты на ней не женишься; она у меня останется в доме, а вы будете наказаны».

— По такому решению жениха велел он сечь кошками милосердо, отдав его в волю своих сыновей. Побои вытерпел он мужественно; перобким духом смотрел, как начали над отцом его то же производить истязание. Но не мог вытерпеть, как он увидел, что невесту господские дети хотели вести в дом. Наказание происходило на дворе. В одно мгновение выхватил он ее из рук, ее похищающих, и освобожденные побежали оба со двора. Сие видя, барские сыновья перестали сечь старика и побежали за ними в погоню. Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, ассессор, подбегав сам, начал их бранить и первого, кто встретился, ударил своею тростию столь сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после призналися.

— В самое то время случилось ехать тут исправнику той округи с командою. Он был частно очевидным свидетелем сему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных было половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено очень ясно, и виновные во всем признавалися, в оправдание свое приводя только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо оной к торговой казни и вечной работе.

— Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причиною ли оногo сам убитый ассессор? Если в арифметике из двух данных чисел третье следует неперекословно, то и в сем происшествии следствие было необхо-

димо. Невинность убийц, для меня по крайней мере, была математическая ясность. Если, идущу мне, нападёт на меня злодей и, вознесши над головою моею кинжал, восхочет меня им прознить, — убийцею ли я почтуся, если я предупреджу его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну? Если нынешнего века скосырь, привлёкший должное на себя презрение, восхочет оное на мне отомстить и, встретясь со мною в уединенном месте, вынув шпагу, сделает на меня нападение, да лишит меня жизни или, по крайней мере, да уязвит меня, — виновен ли я буду, если, извлеки мой меч на защищение мое, я избавлю общество от тревожащего спокойствие его члена? Можно ли почесть деяние оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навеки?

— Исполнен таковыми мыслями, можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела. С обыкновенною откровенностью сообщил я мои мысли моим сочленам. Все возопили против меня единым гласом. Мягкосердие и человеколюбие почитали они виновным защищением злодеяний; называли меня поощрителем убийства; называли меня сообщником убийцов. По их мнению, при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохранность. Может ли дворянин, говорили они, отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы невинными признаваемы будут, то повинование прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет и бесплодным порастет злаком; поселяне, не имея над собою власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разьидутся. Города почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделие скончат свое прилежание и рачительность, торговля иссякнет в источнике своем, богатство уступит место скаредной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхати в отдаленности от целого; тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится; тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину. Сию достойную адския кисти картину тщилися мои сотоварищи предлагать взорам всех, до кого слух о сем деле доходил.

«— Председателю нашему, — вещали они, — сродно защищать убийство крестьян. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сохою. Всегда новостатейные сии дворянчики странные имеют понятия о природном над крестьянами дворянском праве.

Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы, дабы тем уравнивать с нами свое происхождение».

— Такими-то словами мнили сотоварищи мои оскорбить меня и ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. Говорили, что я принял мзду от жены убитого асессора, да не лишится она крестьян своих отсылкою их в работу, и что сия-то истинная была причина странным и вредным моим мнениям, право всего дворянства вообще оскорбляющим. Несмысленные думали, что посмеяние их меня уязвит, что клевета поругает, что лживое представление доброго намерения от одного меня отвлечет! Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что петрепетен всегда предстоящему собственному моему суду, что ланиты мои не рдели багровым рюмлянцем совести.

— Мздоимство мое основали они на том, что асессорша за мужнину смерть мстить не желала, а, сопровождаема своею корыстию и следуя правилам своего мужа, желала крестьян избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковою просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убийство ее мужа я с ней был согласен; но разнствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их накажет; а я уверял ее, что, оправдывая убийцов ее мужа, не надлежало их подвергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями, как то их называли несвойственно.

— Скоро *наместник* известен стал о моем по сему делу мнении, известен, что я старался преклонить сотоварищей моих на мои мысли и что они начинали колебаться в своих рассуждениях, к чему, однакоже, не твердость и убедительность моих доводов способствовали, но деньги асессорши. Будучи сам воспитан в правилах неоспоримой над крестьянами власти, с моими рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных причин. Посылает он за моими сочленами, увещевает их, представляет гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества, что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположения; обещает награждение исполняющим закон, претя мщением неповинующимся оному; и скоро сих слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я, увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавшей. Сродно хвильм, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию.

— Наместник наш, превратив мнения моих сотоварищей, вознамерился и ласкал себя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня позвать, ибо я не хаживал

никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностию, лесть нужными, а мудрец мерзительными и человечеству поносными. Он избрал нарочно день торжественный, когда у него много людей было в собрании; избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеясь, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души, или слабость мыслей. Против того и другого устремил он свое слово. Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность, ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство. Надменности его ответствовал я равнодушием и спокойствием, власти непоколебимостию, доводам доводами и долго говорил хладнокровно. Но наконец содрогшееся сердце разлило свое избыточество. Чем больше видел я угождения в предстоящих, тем порывистее становился мой язык. Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я наконец сие:

— Человек рождается в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобного, словом, становится гражданином. Какия же ради вины обуздывает он свои хотения? почто поставляет над собою власть? почто, беспределен в исполнении своей воли, послушания чертою оную ограничивает? Для своей пользы, скажет рассудок; для своей пользы, скажет внутреннее чувствование; для своей пользы, скажет мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхощет его лишить пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщениа ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сложения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов присовокуплял поругание, когда на казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию, — тогда закон, стрегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, не отъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют. Сердце

мое их оправдает, опираясь на доводах рассудка, и смерть асессора, хотя насильственная, есть правильна. Да не возмнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине довода к осуждению на казнь убийцов в злобе дух испутившего асессора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родитесь ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему, если закон гражданский его не накажет. Он замечен будет чертою мерзения в своих согражданах, и всяк, имей довольно сил, да отмстит на нем обиду, им соделанную.

— Умолк. Наместник не говорил мне ни слова; изредка подымал на меня поникшие взоры, где господствовала ярость бессилия и мести злоба. Все молчали в ожидании, что, оскорбитель всех прав, я взят буду под стражу. Изредка из уст раболепия слышалось журчание негодования. Все отвращали от меня свои очи. Казалось, что близстоящих меня объял ужас. Неприметно удалились они, как от зараженного смертоносною язвою. Наскучив зрелищем толикого смещения гордыни с нижайшею подлостью, я удалился из сего собрания льстецов.

— Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями. — Сказав сие, мы расстались и поехали всяк в свою сторону.

Сей день путешествие мое было неудачно; лошади были худы, выпрягались поминутно; наконец, спускаясь с небольшой горы, ось у кибитки переломилась, и я далее ехать не мог. Пешком ходить мне в привычку. Взяв посошок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя, не похожа на гулянье в Летнем саду или в Баба, скоро она меня утомила, и я принужден был сесть.

Между тем как я, сидя на камне, чертил на песке фигуры кой-какие, нередко кривобокие и кривоугольные, думал я и то и се, скачет мимо меня коляска. Сидящий в ней, увидев меня, велел остановиться, — и я в нем узнал моего знакомого.

— Что ты делаешь? — сказал он мне.

— Думу думаю. Времени довольно мне на размышление; ось переломилась. Что нового?

— Старая дрянь. Погода по ветру, то слякоть, то ведро. А!.. Вот новенькое, Дурындин женился.

— Неправда. Ему уже лет с восемьдесят.

— Точно так. Да вот к тебе письмо... Читай на досуге; а мне нужно поспешать. Прости, — и расстались.

Письмо было от моего приятеля. Охотник до всяких новостей, он обещал меня в отсутствии снабжать оными и сдержал слово. Между тем к кибитке моей подделали новую ось, которая, по счастью, была в запасе. Едучи, я читал:

Петербургу

Любезный мой!

На сих днях совершился здесь брак между 78-летним молодым и 62-летней молодкою. Причину толь престарелому спарению отгадать тебе трудненько, если оной не скажу. Распусти уши, мой друг, и услышишь. Госпожа Ш... — витязь в своем роде не последний, 62 лет, вдова с 25-летнего своего возраста. Была замужем за купцом, неудачно торговавшим; лицом смазлива; оставшись после мужа бедною сиротою и ведаю о жестокосердии собратий своего мужа, не захотела прибегнуть к прошению надменной милостыни, но за благо рассудила кормиться своими трудами. Доколе красота юности водилась на ее лице, во всегдашней была работе и щедрую получала от охотников плату. Но сколь скоро заметила, что красота ее начинала увядать и любовные заботы уступили место скучливому одиночеству, то взялась она за ум и, не находя больше покупателей на обветшалые свои прелести, начала торговать чужими, которые, если не всегда имели достоинство красоты, имели хотя достоинство новости. Сим способом нажив себе несколько тысяч, она с честью изъясалась из презрительного общества сводень и начала в рост отдавать деньги, своим и чужим бесстыдством нажитые. По времени забыто прежнее ее ремесло; и бывшая сводня стала нужная в обществе мотов тварь. Прожив покойно до 62 лет, нелегкое надоумило ее собраться замуж. Все ее знакомые тому дивятся. Приятельница ее ближняя Н... приехала к ней.

— Слух носится, душа моя, — говорит она поседелой невесте, — что ты собралась замуж. Мне кажется, солгано. Какой-нибудь насмешник выдумал сию басню.

Ш. Правда совершенная. Завтра стговор, приезжай пировать с нами.

Н. Ты с ума сошла. Неужели старая кровь разыгралась; неужели какой молокосос подбил к тебе под крылышко?

Ш. Ах, матка моя! нехстати ты меня наравне с молодыми считаешь ветреницами. Я мужа беру по себе...

Н. Да то я знаю, что придет по тебе. Но вспомни, что уже нас любить нельзя и не для чего, разве для денег.

Ш. Я такого не возьму, который бы мне мог изменить. Жених мой меня старше 16 годами.

Н. Ты шутишь!

Ш. По чести правда; барон Дурындин.

Н. Нельзя етому статься.

Ш. Приезжай завтра ввечеру; ты увидишь, что лгать не люблю.

Н. А хотя и так, ведь он не на тебе женится, но на твоих деньгах.

Ш. А кто ему их даст? Я в первую ночь так не обезумею, чтобы ему отдать все мое имение; уже то время давно прошло. Табакерочка золотая, пряжки серебряные и другая дрянь, оставшаяся у меня в закладе, которой с рук нельзя сбыть. Вот весь барыш любезного моего женишка. А если он неугомонно спит, то стоню с постели.

Н. Ему хоть табакерочка перепадет, а тебе в нем что проку?

Ш. Как, матка? Сверх того, что в нынешние времена не худо иметь хороший чин, что меня называть будут: ваше высокородие, а кто поглупее — ваше превосходительство; но будет-таки кто-нибудь, с кем в долгие зимние вечера можно хоть поиграть в бирюльки. А ныне сиди, сиди, все одна; да и того удовольствия не имею, когда чхну, чтоб кто говорил: здравствуй. А как муж будет свой, то какой бы насморк ни был, все слышать буду: здравствуй, мой свет, здравствуй, моя душенька...

Н. Прости, матушка.

Ш. Завтра сговор, а через неделю свадьба.

Н. (Уходит.)

Ш. (Чхаает.) Небось, не воротится. То ли дело, как муж свой будет!

Не дивись, мой друг! на свете все колесом вертится. Сегодня умное, завтра глупое в моде. Надеюсь, что и ты много увидишь дурындиных. Если не женитьбою всегда они отличаются, то другим чем-либо. А без дурындиных свет не простоял бы трех дней.

КРЕСТЬЦЫ

В Крестьяцах был я свидетелем расставания у отца с детьми, которое меня тем чувствительнее тронуло, что я сам отец и скоро, может быть, с детьми расставаться буду. Несчастный предрассудок дворянского звания велит им итти в службу. Одно название сие приводит всю кровь в необычайное движение! Тысячу против одного держать можно, что изо ста дворянчиков, вступающих в службу, 98 становятся повесами, а два под старость, или, правильнее сказать, два в дряхлые их, хотя нестарые лета становятся добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают имение и проч... Смотри иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу или, другими словами, что птичка вылетит из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала

нравы; но для того, чтобы со зрелыми нравами надлежало начинать службу.

Иной скажет: а кто таких молокососов толкает в шею? — Кто? Пример общий. Штаб-офицер семнадцати лет; полковник двадцатилетний; генерал двадцатилетний; камергер, сенатор, наместник, начальник войск. И какому отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве, были в знатных чинах, за которыми идут вслед богатство, честь и разум. Смотри на сына моего, представляется мне: он начал служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями. Выучился чистенько наряжаться, играть в карты, картами доставать прокормление, говорить обо всем, ничего не мысля, таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом фортуна, вертясь на курей ножке, приглубила его; и сынок мой, не брея еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что умнее всех на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника?

Скажи по истине, отец чадолюбивый, скажи, о истинный гражданин! не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой, знатный боярин, презирает заслуги и достоинства, для того что их участь пресмыкаться в стезе чинов, пронырства гнушаяся? Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезный с приятно улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев.

Крестичкий дворянин, казалось мне, был лет пятидесяти. Редкие седины едва пробивались сквозь светлорусые власы главы его. Правильные черты лица его знаменовали души его спокойствие, страстям неприступное. Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его ямками, в женщинах столь прельщающими; взоры его, когда я вошел в ту комнату, где он сидел, были устремлены на двух его сыновей. Очи его, очи благорастворенного рассудка, казались подернуты легкою пленю печали; но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно. Пред ним стояли два юноши, возраста почти равного, единым годом во времени рождения, но не в шестии разума и сердца они разнствовали между собою. Ибо горячность родителя ускоряла во младшем развержение ума, а любовь братня умеряла успех в науках во старшем. Понятия о вещах были в них равные, правила жизни знали они равно, но остроту разума и движения сердца природа в них насадила различно. В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки, являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятиях. Взоры младшего были остры, черты лица шатки и непостоянны. Но плавное движение оных необманчивый был знак благих советов отчих. На отца своего взирали они с несвойственною им робостию, от горести предстоя-

щей разлуки происходящую, а не от чувствования над собою власти или начальства. Редкие капли слез точились из их очей.

— Друзья мои, — сказал отец, — сегодня мы расстанемся, — и, обняв их, прижал возрыдавших к перси своей. Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей неподвижен, как отец, обратив ко мне:

— Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем мне перед светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю обычая. Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение, да приобретут опытности, да познают человека из его деяний и, наскучив гремлением мирского жития, да оставят его с радостью; но да имут отишие в гонении и хлеб насущный в скудости. А для сего-то остаюся я на ниве моей. Не даждь, владыко всещедрый, не даждь им скитатися за милостынею вельмож и обретати в них утешителя! Да будет соболезнуй о них их сердце; да будет им творить благодетелью их рассудок.

— Воссядите и внемлите моему слову, еже пребывати во внуренности душ ваших долженствует. Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. С неизреченным услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души вашей зыбление совет мой во святая ея, да восколеблется она при моем воспоминании и да буду отсутствен оградю вам от зол и печалей.

— Прияв вас даже от чрева материя в объятия мои, не восхотел николи, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях, до вас касающихся. Никогда наемная рачительница не касалася телеси вашего и никогда наемный наставник не коснулся вашего сердца и разума. Неусыпное око моея горячности бдело над вами денно-ночно, да не приблизится вас оскорбление; и блажен нарицаюся, доведши вас до разлучения со мною. Но не воображайте себе, чтобы я хотел исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственные корысти побуждением, предприемлемое на вашу пользу имело всегда в виду собственное мое услаждение. Итак, измените из мыслей ваших, что вы есте под властью моею. Вы мне ничем не обязаны. Не в рассудке, а меньше еще в законе хочу искати твердости союза нашего. Он оснуется на вашем сердце. Горе вам, если его в забвении оставите! Образ мой, преследуя нарушителю союза нашея дружбы, поженет его в сокровенности его и устроит ему казнь несносную, дондеже не возвратится к союзу. Еще вещаю вам, вы мне ничем не должны. Воззрите на меня, яко на странника и пришельца, и если сердце ваше ко мне ощутит некую нежную склонность, то поживем в дружбе, в сем наивеличайшем на земли благоденствии. Если же оно без ощущения пребудет — да забвени будем друг друга, яко же нам не родитися. Даждь, всещедрый, сего да не узрю, отошед в недра

твоя сие предваряя! Не должны вы мне ни за вскармливание, ни за наставление, а меньше всего за рождение.

— За рождение? — Участники были ли вы в нем? Вопрошаемы были ли, да рождени будете? На пользу ли вашу родитися имели или во вред? Известен ли отец и мать, рождая сына своего, блажен будет в житии или злополучен? Кто скажет, что, вступая в супружество, помышлял о наследии и потомках; а если имел сие намерение, то блаженства ли их ради произвести их желал или же на сохранение своего имени? Как желать добра тому, кого не знаю, и что сие? Добром назваться может ли желание неопределенное, помаваемое неизвестностию?

— Побуждение к супружеству покажет и вину рождения. Прельщенный душевно паче добротой матери вашей, нежели лепотою лица, я употребил способ верный на взаимную горячность, любовь искреннюю. Я получил мать вашу себе в супруги. Но какое было побуждение нашей любви? Взаимное услаждение; услаждение плоти и духа. Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию; рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз, союз сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим; подкрепляется он привычкою, ощущением своея власти, отражением похвал сыновних к отцу.

— Мать ваша равного со мною была мнения о ничтожности должностей ваших, от рождения проистекающих. Не гордилася она пред вами, что носила вас во чреве своем, не требовала признательности, питая вас своею кровию; не хотела почтения за болезни рождения, ни за скуку вскармливания сосцами своими. Она тщилася благою вам дать душу, яко же и сама имела, и в ней хотела насадить дружбу, но не обязанность, не должность или рабское повиновение. Не допустил ее рок зрети плодов ее насаждений. Она нас оставила с твердостью хотя духа, но кончины еще не желала, зря ваше младенчество и мою горячность. Уподобляясь ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведаете, что любезнейшая моя с вами беседа есть беседовати о родшей вас. Тогда, мнится, душа ее беседует с нами, тогда становится она нам присутственна, тогда в нас она является, тогда она еще жива. — И отирал вещающий капли задержанных в душе слез.

— Сколь мало обязаны вы мне за рождение, толико же обязаны и за вскармливание. Когда я угощаю пришельца, когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу, — их ли ради сие делаю? Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таким же побуждением производят вскармливание детей. Родившись в свет, вы стали граждана общества, в коем живете. Мой был долг вас вскормить; ибо если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца. Если я рачительнее был

в воскормлении вашем, нежели бывают многие, то следовал чувствованию моего сердца. Власть моя, да пекуся о воскормлении вашем или небрегу о нем; да сохранию дни ваши или расточителем в них буду; оставляю вас живых или дам умереть завершенно — есть ясное доказательство, что вы мне не обязаны в том, что живы. Если бы умерли от моего о вас небрежения, как то многие умирают, мщение закона меня бы не преследовало.

— Но, скажут, обязаны вы мне за учение и наставление. Не моей ли я в том искал пользы, да благи будете. Похвалы, воздаваемые доброму вашему поведению, рассудку, знаниям, искусству вашему, распростираясь на вас, отражаются на меня, яко лучи солнечны от зеркала. Хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если бы вы вдали пороку, чужды были учения, тупы в рассуждениях, злобны, подлы, чувствительности не имея? Не только сострадатель был бы я в вашем косвенном хождении, но жертва, может быть, вашего неистовства. Но ныне спокоен остаюсь, отлучая вас от себя; разум прям, сердце ваше крепко, и я живу в нем. О друзья мои, сыны моего сердца! родив вас, многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не должны; я ищу вашей дружбы и любви; если вы мне ее дадите, блажен отыду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навеки, ибо поживу на памяти вашей.

— Но если я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказать ныне вам вину, почто вас так, а не иначе воспитывал и для чего сему, а не другому вас научил; и для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте вину всех моих над вами деяний.

— Со младенчества вашего принуждения вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали, однакоже, николи ее направления. Деяния ваши были предузнаты и предваряемы; не хотел я, чтобы робость или послушание повиновения малейшею чертою ознаменовала на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, не терпящ велекия безрассудного, кроток к совету дружества. Но если, младенцам вам сущим, находил я, что уклонились от пути, мною назначенного, устремляемы случайным ударением, тогда останавливал я ваше шествие, или, лучше сказать, неприметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты прорывающий, искусною рукою обращается в свои берега.

— Робкая нежность не присутствовала во мне, когда, казалось, не рачил об охранении вас от неприязненности стихий и погоды. Желал лучше, чтобы на мгновение тело ваше оскорбилось проходящею болью, нежели дебели пребудете в возрасте совершенном. И для того почасту ходили вы босы, непокровенную имея главу; в пыли, в грязи возлежали на отдохновение на скамьи или на камени. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и пития. Труды наши лучшая была приправа в обеде нашем.

Вспомните, с каким удовольствием обедали мы в деревне нам неизвестной, не нашед дороги к дому. Сколь вкусен нам казался тогда хлеб ржаной и квас деревенский!

— Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете казистого восшествия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода велит; что одеваетесь не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою природы, а не чесателя. Не ропщите, если будете небрежены в собраниях, а особливо от женщин, для того что не умеете хвалить их красоту; но вспомните, что вы бегаєте быстро, что плаваете не утомляясь, что подымаете тяжести без натуги, что умеете водить соху, вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом; умеете ездить верхом, стрелять. Не опечальтесь, что вы скакать не умеете как скомоорохи. Ведайте, что лучшее плясание ничего не представляет величественного; и если некогда тронуты будете зрением одного, то любострастие будет тому корень, все же другое оному постороннее. Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, изображать черты царя природы, человека. В живописи найдете вы истинное услаждение не токмо чувств, но и разума. Я вас научил музыке, дабы дрожащая струна согласно вашим нервам возбуждала дремлющее сердце; ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не сделает вас наглыми; ибо вы твердый имеете дух и обиду не сочтете, если осел вас улягнет или свинья смрадным до вас коснется рылом. Не бойтесь сказать никому, что вы корову доить умеете, что шти и кашу сварите или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении трудности.

— Во младенчестве и отрочестве не отягощал я рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чуждыми, не отягощал памяти вашей излишними предметами. Но, предложил вам пути к познаниям, с тех пор, как начали разума своего ощущати силы, сами шествуете к отверстой вам стезе. Познания ваши тем основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как сорока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующи, не предлагал я вам понятия о всевышнем существе и еще менее об откровении. Ибо то, что бы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы в вас предрассудок и рассуждению бы мешало. Когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих к познанию бога; уверен во внутренности сердца моего, что всещедрому отцу приятнее зрети две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорение. Предложил я

вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержение одного сказано многими. Ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчью, и с радостью видел, что восприяли вы сосуд утешения неробко.

— Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего попечение мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в вас непринужденно и поту на лице не производило. Английский язык, а потом латинский старался я вам известнее сделать других. Ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным.

— Но если рассудку вашему предоставляя я направлять стопы ваши в стезях науки, тем бдительнее тщился быть во нравственности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев продолжительный, мщение производящий. Мщение!.. душа ваша мерзит его. Вы из природного сего чувствительныя твари движения оставили только оберегательность своего сложения, поправ желание возвращать уязвления.

— Ныне настало то время, что чувства ваши, дошед до совершенства возбуждения, но не до совершенства еще понятия о возбуждаемом, начинают тревожиться всякою внешностию и опасную производить зыбь во внутренности вашей. Ныне достигли времени, в которое, как то говорят, рассудок становится определителем делания и неделания; а лучше сказать, когда чувства, доселе одержимые плавностию младенчества, начинают ощущать дрожание или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать начинают его воскрая, ища стезю свойственным для них стремлениям. Я сохранил вас неприступными доселе превратным чувств потрясениям, но не сокрыл от вас неведения покровом пагубных следствий соращения от пути умеренности в чувственном услаждении. Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыщения, и возгнушались; свидетели были страшного волнения страстей, превысивших берега своего естественного течения, познали гибельные их опустошения и ужаснулись. Опытность моя, носяся над вами, яко новый Егид, охраняла вас от неправильных уязвлений. Ныне будете сами себе вожди, и хотя советы мои будут всегда светильником ваших начинаний, ибо сердце и душа ваша мне отверсты; но яко свет, отдаляясь от предмета, менее его освещает, тако и вы, отринувши моего присутствия, слабое ощутите согрение моя дружбы. И для того преподам вам правила единожития и общежития, дабы по усмирении страстей не возгнушались деяний, во оных свершенных, и не познали, что есть раскаяние.

— Правила единожития, елико то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности. Не забы-

вайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Упражнение оных умеренное укрепит их не истощая и послужит ко здравью вашему и долгой жизни. И для того упражняйтесь в искусствах, художествах и ремеслах вам известных. Совершенствование в оных иногда может быть нужно. Неизвестно нам грядущее. Если неприятное счастье отымет у вас все, что оно вам дало, — богаты пребудете во умеренности желаний, кормясь делом рук ваших. Но если во дни блаженства все небрежете, поздно о том думать во дни печали. Нега, излечение и неумеренное чувств услаждение губят и тело и дух. Ибо, изнураяя тело невоздержностью, изнуряет и крепость духа. Употребление же сил укрепит тело, а с ним и дух. Если почувствуешь отвращение к яствам и болезнь постучится у дверей, воспрями тогда от одра твоего, на нем же лелеешь чувства твои, приведи уснувшие члены твои в действие упражнением и почувствуешь мгновенное сил обновление; удержи себя от пищи, нужной во здравии, и глад сделает пищу твою сладкою, огорчавшую от сытости. Помните всегда, что на утоление глада нужен только кусок хлеба и ковш воды. Если благодетельное лишение внешних чувствований, сон, удалится от твоего возглавия и не возможешь возобновить сил разумных и телесных, — беги из чертогов твоих и, утомив члены до усталости, возляги на одре твоём и почишь во здравие.

— Будьте опрятны в одежде вашей; тело содержите в чистоте; ибо чистота служит ко здравью, а неопрятность и смрадность тела нередко отвзвращает неприметную стезю к гнусным порокам. Но не будьте и в сем неумеренны. Не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упавшего; вымываете руки, ноги и тело, но просветите сердце. Ходите в хижиньки уничижения; утешайте томящегося нищетою; вкусите его брашна, и сердце ваше усладится, дав отраду скорбящему.

— Ныне достигли вы, повторю, того страшного времени и часа, когда страсти пробуждаться начинают, но рассудок слаб еще на их обуздание. Ибо чаша рассудка без опытности на весах воли воздымется; а чаша страстей опустится мгновенно долу. Итак, к равновесию не иначе приблизиться можно, как трудолюбием. Трудитесь телом; страсти ваши не столь сильное будут иметь волнение; трудитесь сердцем, упражняясь в мягкосердии, чувствительности, соблезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся ко благому концу. Трудитесь разумом, упражняясь в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий; и разум управлять будет вашею волею и страстями. Но не возмните в восторге рассудка, что можете сокрушить корени страстей, что нужно быть совсем бесстрастну. Корень страстей благ и основан на нашей чувствительности самую природою. Когда чувства наши, внешние и внутренние, ослабевают и притупляются, тогда ослабевают и страсти. Они благоу в человеке произ-

водят тревогу, без нее же уснул бы он в бездействии. Совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, не возможаяй ни благого, ни злого. Не достоинство есть воздержатися от худых помыслов, не могши их сотворить. Безрукий не может уязвить никого, но не может подать помощи утопающему, ни удержати на бреге падающего в пучину моря.

— Итак, умеренность во страсти есть благо; шествие во стезе средюю есть надежно. Чрезвычайность во страсти есть гибель; бесстрастие есть нравственная смерть. Яко же шественик, отдаляяся среды стези, вдается опасности ввергнутися в тот или другой ров, таково бывает шествия во нравственности. Но буде страсти ваши опытностию, рассудком и сердцем направлены к концу благому, скинь с них бразды томного благоразумия, не сокращай их полета; мета их будет всегда величие; на нем едином остановиться они умеют.

— Но если я вас побуждаю не быть бесстрастными, паче всего потребно в юности вашей умеренность любовных страсти. Она природою насаждена в сердце нашем ко блаженству нашему. И так в возрождении своем никогда ошибиться не может, но в своем предмете и неумеренности. И так блюдитесь, да не ошибетесь в предмете любви вашей и да не почтете взаимною горячностью оныя образ. С благим же предметом любви неумеренность страсти сея будет вам неизвестна. Говоря о любви, естественно бы было говорить и о супружестве, о сем священном союзе общества, коего правила не природою в сердце начертала, но святость коего из начального общества положения проистекает. Разуму вашему, едва шествие свое начинающему, сие бы было непонятно, а сердцу вашему, не испытавшему самолюбивую в обществе страсть любви, повесть о сем была бы вам неощутительна, а потому и бесполезна. Если желаете о супружестве иметь понятие, вспомните о родшей вас. Представьте меня с нею и с вами, возобновите слуху вашему глаголы наши и взаимные лобызания и приложите картину сию к сердцу вашему. Тогда почувствуете в нем приятное некое содрогание. Что оно есть? Познаете со временем; а днесь довольны будьте оною ощущением.

— Приступим ныне вкратце к правилам общежития. Предписать их не можно с точностию, ибо располагаются они часто по обстоятельствам мгновения. Но, дабы колико возможно менее ошибаться, при всяком начинании спросите ваше сердце; оно есть благо и николи обмануть вас не может. Что вещает оно, то и творите. Следуя сердцу в юности, не ошибетесь, если сердце имеете благое. Но следовати возмнивый рассудку, не имея на браде власов, опытных вовецающих, есть безумец.

— Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону,

если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противоположности.

— Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть препинаемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданского и священного, столь святых в обществе вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не держай николи нарушения ее прикрывати робостию благоразумия. Благоденствен без нее будешь во внешности, но блажен николи.

— Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Коварный афинский сенат, подавая чашу с отравою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелию.

— Не держай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение одного повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов.

— Но если бы закон или государь или бы какая-либо на земли власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной непоколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием слабость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушишь ее уважения ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою добродетелию; и так порок воцарится в сердце твоём и исказит черты непорочности в душе и на лице твоём.

— Добродетели суть или частные, или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соблезнование, и корень всегда их благ. Побуждения к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит останавливаться в исполнении их. Предлог,

над ним же вращаются, придает им важности. В спасшем Курции отечество свое от пагубоносной язвы никто не зрит ни тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизнью, но ироя. Если же побуждения наши к общественным добродетелям начало свое имеют в человеколюбивой твердости души, тогда блеск их будет гораздо больший. Упражняйтесь всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных.

— Еще преподам вам некоторые исполнительные правила жизни. Старайтесь паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединении взоры свои во внутрь себя, не токмо не могли бы вы раскаяваться о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением.

— Следуя сему правилу, удаляйтесь, елико то возможно, даже вида раболепствования. Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ; обычай скаредный, ничего не значущий, показующий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицио, то есть снискание или обхождение; а оттуда и любочестие названо амбицио, ибо посещениями именитых людей юноши снискивали себе путь к чинам и достоинствам. То же делается и ныне. Но если у римлян обычай сей введен был для того, чтобы молодые люди обхождением с испытанными научались, то сомневаюсь, чтобы цель в обычае сем всегда непорочно сохранилась. В наши же времена, посещая знатных господ, учения целию своею никто не имеет, но снискание их благоприятства. Итак, да не преступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы презренной и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя хотя с негодованием, но от нее отличит.

— Если случится, что смерть пресечет дни мои прежде, нежели в благом пути отвердете, и, юны еще, восхитят вас страсти из стези рассудка, — то не отчаивайтесь, соглядая иногда превратное ваше шествие. В заблуждении вашем, в забвении самих себя, возлюбите добро. Распутное житие, безмерное любочестие, наглость и все пороки юности оставляют надежду исправления, ибо скользят по поверхности сердца, его не уязвляя. Я лучше желаю, чтобы во молодых летах ваших вы были распутны, расточительны, наглы, нежели сребролюбивы или же чрезмерно бережливы, щеголеваты, занимаясь более убранством, нежели чем другим. Систематическое, так сказать, расположение в щегольстве означает всегда сжатый рассудок. Если повествуют, что Юлий Кесарь был щеголь; но щегольство его имело цель. Страсть к женщинам в юности его была к сему побуждением. Но он из щеголя облекся бы мгновенно

во смраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желаний.

— Во младом человеке не токмо щегольство преходящее простительно, но и всякое почти дурачество. Если же наикраснейшими деяниями жизни прикрывать будете коварство, ложь, вероломство, сребролюбие, гордость, любомщение, зверство, — то хотя ослепите современников ваших блеском ясной наружности, хотя не найдете никого столь любящего вас, да представит вам зеркало истины, не мните, однакоже, затмить взоры прозорливости. Проникнет она светозарную ризу коварства, и добродетель черноту души вашей обнажит. Возненавидит ее сердце твое, и яко чувственница увядать станет прикосновением твоим, но мгновенно, но стрелы ее издалека язвить тебя станут и терзать.

— Простите, возлюбленные мои, простите, друзья души моей; днесь при сопутном ветре отчалите от берега чуждья опытности ладью вашу; стремитесь по валам жития человеческого, да научитесь управляти сами собою. Блажени, не претерпев крушения, если достигнете пристанища, его же жаждем. Будьте счастливы во плавании вашем. Се искренное мое желание. Естественные силы мои, истощав движением и жизнью, изнемогут и угаснут; оставлю вас навеки; но се мое вам завещание. Если ненавистное счастье истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, — тогда вспомни, что ты человек, вспомняи величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. Умри.

— В наследие вам оставляю слово умирающего Катона. — Но если во добродетели умерети возможешь, умей умереть и в пороке и будь, так сказать, добродетелен в самом зле. Если, забыв мои наставления, поспешать будешь на злые дела, обыкшая душа добродетели востревожится; явлюся тебе в мечте. Воспрями от ложка твоего, преследуй душевно моему видению. Если тогда источится слеза из очей твоих, то усни паки; пробудись на исправление. Но если среди злых твоих начинаний, вспомяная обо мне, душа твоя не зыбнется и око пребудет сухо... Се сталь, се отравя. Избавь меня скорби; избавь землю поносныя тяжести. Будь мой еще сын. Умри на добродетель.

Вещавшу сие старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его; взоры его испускали лучи надежного радования, черты лица сияли сверхъестественным веществом. Он облобызал детей своих и, проводив их до повозки, пребыл тверд до последнего расставания. Но едва звон почтового колокольчика возвестил ему, что они начали от него удаляться, упругая сия душа смягчилась. Слезы проникли сквозь очей его, грудь его воздымалася: он руки свои простирал вслед за отъезжающими; казалось, будто желает остановить стремление коней. Юноши, узрев издали род-

шего их в такой печали, возрыдали столь громко, что ветер доносил жалостный их стон до слуха нашего. Они простирали также руки к отцу своему; и казалось, будто его к себе звали. Не мог старец снести сего зрелища; силы его ослабели, и он упал в мои объятия. Между тем пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров наших; пришед в себя, старец стал на колени и возвел руки и взоры на небо.

— Господи, — возопил он, — молю тебя, да укрепишь их в стезях добродетели, молю, блажени да будут. Веси, николи не утруждал тебя, отец всещедрый, бесполезною молитвою. Уверен в душе моей, яко благ еси и правосуден. Любезнейшее тебе в нас есть добродетель; деяния чистого сердца суть наилучшая для тебя жертва... Отлучил я ныне от себя сынов моих... Господи, да будет на них воля твоя. — Смущен, но тверд в надеянии своем отъехал он в свое жилище.

Слово крестницкого дворянина не выходило у меня из головы. Доказательства его о ничтожестве власти родителей над детьми казались мне неоспоримы. Но если в благоустроенном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев и неопытность — совершенство, то нет, кажется, нужды власть родительскую делать беспредельною. Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствах сердца основан, то он, конечно, нетверд; и будет нетверд, вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один невольник в прибавок ко многим другим, или змия за пазухой... Отец обязан сына воскормить и научить и должен наказан быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие; а сын должности свои да обрящет в своем сердце. Если он ничего не ощущает, то виновен отец, почто ничего не насадил. Сын же вправе требовать от отца вспомоществования, доколе пребывает немощен и малолетен; но в совершеннолети естественная сия и природная связь рушится. Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда сам начнет находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда сии возмужают. Се есть закон природы. Если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урод. Ребенок любит своего отца, мать или наставника, доколе любление его не обратится к другому предмету. Да не оскорбится сим сердце твое, отец чадолюбивый; естество того требует. Единое в том тебе утешение да будет, вспоминая, что и сын сына твоего возлюбит отца до совершенного только возраста. Тогда же от тебя зависеть будет обратить его горячность к тебе. Если ты в том успеешь, блажен и почтения достоин. В таких размышлениях доехал я до почтового стана.

Я Ж Е Л Б И Ц Ы

Сей день определен мне был судьбою на испытание. Я отец, имею нежное сердце к моим детям. Для того то слово крестидного дворянина меня столь тронуло. Но потрясши меня до внутренности, изливало некое усладительное чувство надежды, что блаженство наше в отношении детей наших зависит много от нас самих. Но в Яжелбицах определено мне было быть зрителем позорища, которое глубокий корень печали оставило в душе моей, и нет надежды на его истребление. О юность! услыши мою повесть; познай свое заблуждение; воздержись от произвольных гибели и пресеки путь к будущему раскаянию.

Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль терзающего на себе волосы человека понудил меня остановиться. Приблизясь, увидел я, что там совершалось погребение. Надлежало уже гроб опускать в могилу, но тот, которого я издали зрел терзающего на себе волосы, повергся на гроб и, ухватясь за оный весьма крепко, не позволял оный опускать в землю. С великим трудом отвлекли его от гроба и, опустя оный в могилу, зарыли ее поспешно. Тут страждущий вещал к предстоящим:

— Почто вы меня его лишили, почто меня с ним не погребли живого и не скончали моей скорби и раскаяния. Ведайте, ведайте, что я есмь убийца возлюбленного моего сына, его же мертва предали земле. Не дивитесь сему. Я не прекратил жизни его ни мечом, ни отравою. Нет, я более сего сделал. Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную. Я есмь убийца, каких много, но есмь убийца лютейший других. Убийца сына моего до рождения его. Я, я один прекратил дни его, иалияв томный яд в начало его. Он воспретил укрепиться силам тела его. Во все время жития своего не наслаждался он здравием ни дня единого; и томящегося в силах своих разверстие яда пресекло течение жизни. Никто, никто меня не накажет за мое злодеяние! — Отчаяние ознаменовалось на лице его, и бездыханна почти отнесли его с сего места.

Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел. Каза-лося мне, я слышал мое осуждение. Воспоманул дни распутныя моя юности. Привел на память все случаи, когда востревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовных утех истинным предметом горячности. Воспоманул, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испускала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалась! Привяв отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но даем ее в наследие нашему потомству. О друзья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, колико согреших пред вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить

вам о болезни, иногда вами ощущаемой. Возненавидите, может быть, меня и в ненависти вашей будете справедливы. Кто уверит вас и меня, что вы не носите в крови вашей сокровенного жала, определенного, да скончает дни ваши безвременно. Прияв сей смрадный яд в тело мое в совершенном возрасте, затверделость моих членов противилась его распространению и борется с его смертоносностью. Но вы, прияв его от рождения вашего, нося его в себе как нужную часть сложения, — как воспротивитесь разрушительному его сожжению? Все ваши болезни суть следствия сея отравы. О возлюбленные мои! плачьте о заблуждении моего юношества, призовите на помощь врачебное искусство и, если можете, не ненавидьте меня.

Но теперь отверзается очам моим все пространство сего любо-страстного злодеяния. Согрешил предо мною, навлекши себе безвременную старость и дряхлость в юношеских еще летах. Согрешил пред вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне в казнь, согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаясь в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил непорочные ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровеннее. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь; она же не остерегалась отравителя своего в горячности своей к нему. Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей мною отравы... О возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!

Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиною, разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан. Публичные женщины находят защитников и в некоторых государствах состоят под покровительством начальства. Если бы, говорят некоторые, запрещено было наемное удовлетворение любовных страсти, то бы нередко были чувствуемы сильные в обществе потрясения. Увозы, насилия, убийство нередко бы источник свой имели в любовной страсти. Могли бы они потрясти и самые основания обществ. — И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите, скаредные учителя, вы есте наемники мучительства; оно, проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы. Бойтся оно даже посторонния тревоги. Желало бы, чтоб везде одинако с ним мыслили, дабы надежно лелеяться в величестве и утопать в любострастии... Я не удивляюся глаголам вашим. Сродно рабам желати всех зреть в оковах. Одинаковая участь облегчает их жребий, а превосходство чье-либо тягчит их разум и дух.

ВАЛДАИ

Новый сей городок, говорят, населен при царе Алексее Михайловиче взятыми в плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних.

Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разуряченных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сея в города произведенных деревни со нравами других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были и первые его жители.

Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пробывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожжаемой Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествии время. Бывало, говорят, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его имением. Не ведаю, правда ли сие, но то правда, что наглость валдайских девок сократилася. И хотя они не откажутся и ныне удовлетворить желаниям путешественника, но прежней наглости в них не видно.

Валдайское озеро, над которым построен сей город, достопамятно останется в повествованиях жертвовавшего монаха жизнью своею ради своей любовницы. В полуторе версте от города, среди озера, на острове находится Иверский монастырь, славным Никоном патриархом построенный. Один из монахов сего монастыря, посещая Валдаи, влюбился в дочь одного валдайского жителя. Скоро любовь их стала взаимною, скоро стремились они к совершению ее. Единожды насладившись ее веселием, не в силах они были противиться ее стремлению. Но состояние их полагало оному преграду. Любовнику нельзя было отлучаться часто из монастыря своего; любовнице нельзя было посещать кельи своего любовника. Но горячность их все преодолела; из любострастного монаха она сделала неустрашимого мужа и дала ему силы почти чрезвычайные. Сей новый Леандр, дабы наслаждаться весе-

лием ежедневно в объятиях своей любовницы, едва ночь покрывала черным покровом все зримое, выходил тихо из своей кельи и, совлекая свои ризы, преплывал озеро до противустоящего берега, где восприемлем был в объятия своей любезной. Баня и в ней утехы любовные для него были готовы; и он забывал в них опасность и трудность преплывания и боязнь, если бы отлучка его стала известна. За несколько часов до рассвета возвращался он в свою келью. Тако препроводил он долгое время в сих опасных преплывтиях, награждая веселием ночным скуку дневного заключения. Но судьба положила конец его любовным подвигам. В одну из ночей, когда сей неустрашимый любовник отправился чрез валы на зрение своей любезной, внезапно восстал ветер, ему противный, будущу ему на среде пути его. Все силы его немощны были на преодоление разъяренных вод. Тщетно он утомлялся, напрягая свои мышцы; тщетно возвышал глас свой, да услышан будет в опасности. Видя невозможность достигнуть берега, вознамерился он возвратиться к монастырю своему, дабы, имея попутный ветер, тем легче оного достигнуть. Но едва обратил он шествие свое, как валы, осилив его утомленные мышцы, затопили его в пучине. На утро тело его найдено на отдаленном берегу. Если бы я писал поэму на сие, то бы читателю моему представил любовницу его в отчаянии. Но сие было бы здесь излишнее. Всяк знает, что любовнице, хотя на первое мгновение, скорбно узнать о кончине любезного. Не ведаю и того, бросилась ли сия новая Геро в озеро или же в следующую ночь паки топила баню для путешественника. Любовная летопись гласит, что валдайские красавицы от любви не умирали... разве в больнице.

Нравы валдайские переселились и в близлежащий почтовый стан, Зимногорье. Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего представлят взорам разрумяненные девки с баранками. Но как молодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстаюсь с мазаными валдайскими и зимногорскими сиренами.

ЕДРОВО

Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла более нежели из тридцати женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ноги босые, локти наруже, платье заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровые на щеках начертанное. Приятности, заглубившие хотя от зноя и холода, но прелестны без покрова хитрости; красота

юности в полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный; а от него виден становился ряд зубов белее чистойшей слоновой кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Станьте, с которою из них вы хотите, рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, ваше, может быть, положит в них начало... болезни... боюсь сказать какой; хотя не покраснеете, но рассердитесь. Разве я говорю неправду? Муж одной из вас таскается по всем скверным девкам; получив болезнь, пьет, ест и спит с тобою же; другая же сама изволит иметь годовых, месячных, недельных или, чего боже спаси, ежедневных любовников. Познакомясь сегодня и совершив свое желание, завтра его не знает; да и того иногда не знает, что уже она одним его поцелуем заразилась. А ты, голубушка моя, пятнадцатилетняя девушка, ты еще непорочна, может быть; но на лбу твоём я вижу, что кровь твоя вся отравлена. Блаженной памяти твой батюшка из докторских рук не выхаживал; а государыня матушка твоя, направляя тебя на свой благочестивый путь, нашла уже тебе женишка, заслуженного старика генерала, и спешит тебя выдать замуж для того только, чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому. А за стариком-то жить нехудо, своя воля; только бы быть замужем, дети все его. Ревнив он будет, тем лучше: более удовольствия в украденных утехах; с первой ночи приучить его можно не следовать глупой старой моде с женою спать вместе.

И не заметил, как вы, мои любезные городские сватьяшки, тетушки, сестрицы, племянницы и проч., меня долго задержали. Вы, право, того не стоите. У вас на щеках румяна, на сердце румяна, на совести румяна, на искренности... сажа. Все равно румяна или сажа. Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам. Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в городах слыхом не слыхано и видом не видано... Посмотрите, как все члены у моих красавиц круглы, рослы, не искривлены, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в пять вершков, а может быть, и в шесть. Ну, любезная моя племянница, с трехвершковой твоею ножкою стань с ними рядом, и бегите взапуски; кто скорее достигнет высокой березы, по конец луга стоящей? а... а... это не твое дело. А ты, сестрица моя голубушка, с трехчетвертным своим станом в охвате, ты изволишь издеваться, что у сельской моей русалки брюшко на воле выросло. Постой, моя голубушка, посмеюсь и я над тобою. Ты уж десятый месяц замужем, и уж трехчетвертной твой стан изуродовался. А как то дойдет до родов, започнешь другим голосом. Но дай бог, чтобы обошлось все смехом. Дорогой мой зятюшка ходит повеся нос.

Уже все твои шнуrowанья бросил в огонь. Кости из всех твоих платьев повытаскал, но уже поздно. Сросшихся твоих накриво составов тем не спрямит. Плачь, мой любезный зять, плачь. Мать наша, следуя плачевной и смертию разрешающихся от бремени жен ознаменованной моде, уготовала за многие лета тебе печаль, а дочери своей болезнь, детям твоим слабое телосложение. Она теперь возносит над главою ее смертоносное острие; и если оно не коснется дней твоея супруги, благодари случай; а если веришь, что провидение божие о том заботилось, то благодари и его, коли хочешь. Но я еще с городскими боярыньками. Вот что привычка делает; отвязаться от них не хочется. И, право, с вами бы не расстался, если бы мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили. Теперь прощайте.

Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерялся итти за нею вслед, как одна девка, по виду лет двадцати, а, конечно, не более семнадцати, положила мокрое свое платье на коромысло, пошла одною со мной дорогою. Поровнявшись с ней, начал я с нею разговор.

— Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать, не знаю?

— Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить.

— К чему такая суровость, Аннушка, душа моя? я тебе худого не желаю.

— Спасибо, спасибо; часто мы видим таких щелкунов, как ты; пожалуй, проходи своею дорогою.

— Анютушка, я, право, не таков, как я тебе кажуся, и не таков, как те, о которых ты говоришь. Те, думаю, так не начинают разговора с деревенскими девками, а всегда поцелуем; но я хотя бы тебя поцеловал, то, конечно бы, так, как сестру мою родную.

— Не подъезжай, пожалуй; рассказы таковые я слыхала; а коли ты худого не мыслишь, чего же ты от меня хочешь?

— Душа моя Аннушка, я хотел знать, есть ли у тебя отец и мать, как ты живешь, богато ли или убого, весело ли, есть ли у тебя жених?

— А на что это тебе, барин? Отроду в первый раз такие слышу речи.

— Из сего судить можешь, Анюта, что я не негодяй, не хочу тебя обругать или обесчестить. Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности; а более люблю сельских женщин или крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворныя любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно...

Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. Да и так быть должно; ибо кто не знает, с какою наглостию дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорби-

тельные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. В бывшее пугачевское возмущение, когда все служители вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нелжива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина? Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отцу в дочери. Каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто не повели вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти образ мыслей его переменял и дал жизненным его сокам другое течение. Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того всхочет...

— Если, барин, ты не шутишь, — сказала мне Анюта, — то вот что я тебе скажу; у меня отца нет, он умер уже года с два, есть матушка да маленькая сестра. Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого скота и птиц довольно; но нет в дому работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; но я не захотела. Что мне в таком ребенке; я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось итти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется. Да знаешь ли для чего? — говорила Анюта, потупя глаза.

— Скажи, душа моя Анютушка, не стыдись; все слова в устах невинности непорочны.

— Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделки. Муж ее любит, а она его столько любит, что на десятом месяце после венчанья родила ему сына. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему: агу, агу, он и засмеется. Мне-то до слез всякий день; мне бы уж хотелось самой иметь такого же паренька...

Я не мог тут вытерпеть и, обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего сердца.

— Смотри, барин, какой ты обманщик, ты уж играешь со мною. Поди, сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту, — сказала

Анюта, заплакав. — Кабы батюшка жив был и это видел, то бы, даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею.

— Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка, не оскорбляйся, поцелуй мой не осквернит твоей непорочности. Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был исторгнут восхищением глубоко тронутая души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен я хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятие непорочности ни во что вменяют. Если бы я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, то клянусь тебе богом, чтобы не дерзнул на него.

— Рассуди сам, барин, как не осердиться за поцелуй, когда все они уж посулены другому. Они заранее все уж отданы, и я в них не властна.

— Ты меня восхищаешь. Ты уже любить умеешь. Ты нашла сердцу своему другое, ему соответствующее. Ты будешь блаженна. Ничто не развратит союза вашего. Не будешь ты окружена соглядателями, в сети пагубы уловить тебя стрегущими. Не будет слух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим гласом, на нарушение его к тебе верности призывающим. Но почто же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастьем в объятиях твоего милого друга?

— Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят ста рублей. А матушка меня не отдает; я у ней одна работница.

— Да любит ли он тебя?

— Как же не так. Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе смотрим на паренька моей подруги... Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет; но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в работу и не воротится, покуда не выработает ста рублей для своего выкупа.

— Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его; он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет.

— Ах, барин, не страшай меня, — сказала Анюта, почти заплакав.

— А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме. Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума; кто что видит, тот то и делает.

— Да как же быть? Так мне и век за ним не бывать замужем. Ему пора уже жениться; по чужим он не гуляет; меня не отдадут к нему в дом; то высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя... — Сие говорила она, проливая горькие слезы.

— Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи меня к своей матери.

— Да вот наш двор, — сказала она, остановясь. — Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает. А хотя она меня и не бьет, но одно ее слово мне тяжелее всяких побоев.

— Нет, моя Анюта, я пойду с тобою... — и, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед:

— Постой, барин, постой. — Но я ей не внимал. В избе я нашел Анютину мать, которая квашню месила; подле нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то, что надобно для отвлечения препятствия в сем деле.

— Спасибо, барин, — сказала старуха, — в этом теперь уж нет нужды. Ванюха теперь пришед сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. И у нас в воскресенье будет свадьба.

— Пускай же посуленное от меня будет Анюте в приданое.

— И на том спасибо. Приданого бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают. — Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому; но он мне сказал:

— У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу. — Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке.

Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями. Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благомысленных ста рублей, которые в соразмерности состояний должны ступить быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши пять, десять, пятнадцать тысяч или более; если же госпоже полковнице, майорше, советнице или генеральше (в соразмерности моего посула едровской ямщичихе), у которой дочка лицом недурна, или только что непорочна, и того уже довольно, знатный боярин, седмидесятой, или, чего боже сохрани, седмьдесят второй пробы, посулит пять, десять, пятнадцать тысяч, или глухо знатное приданое, или сыщет чиновного жепиха, или выпросит в почетные девицы, то я вас вопрошаю, городские матушки, не ёкнет ли у вас сердечко? не захочется ли видеть дочку в позлащенной карете, в бриллиантах, едущую четвернею, если она ходит пешком, или едущую цугом, вместо двух заморенных кляч, которые ее таскают? Я согласен в том с вами, чтобы вы обряд

и благочиние сохранили и не так легко сдались, как феатральные девки. Нет, мои голубушки, я вам даю срок на месяц или на два, но не более. А если доле заставите вздыхать первостатейного бесплодно, то он, будучи занят делами государственными, вас оставит, дабы не терять с вами драгоценнейшего времени, которое он лучше употребить может на пользу общественную. — Тысяча голосов на меня подымаются; ругают меня всякими мерзкими названиями: мошенник, плут, кан... бес... и пр. и пр. Голубушки мои, успокойтесь, я вашей чести не поношу. Ужели все таковы? Поглядитесь в сие зеркало; кто из вас себя в нем узнает, та брани меня без всякого милосердия. Жалобницы и на ту я не подам, суда по форме говорить с ней не стану.

Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал лет 15 тому назад. Твоя откровенная невинность, любо-страстному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить во стезях целомудрия. Для чего первый мой в жизни поцелуй не был тот, который я на щеке твоей прилепил в душевном восхищении. Отражение твоея жизненности проникнуло бы во глубину моего сердца, и я бы избегнул скаредностей, житие мое исполнивших. Я бы удалился от смрадных наемниц любострастия, почтил бы ложе супружества, не нарушил бы союза родства моею плотскою несытостью; девственность была бы для меня святая святых, и ее коснуться не дерзнул бы. О моя Анютушка! сиди всегда у околицы и давай наставления твоею незастенчивою невинностию. Уверен, что обратишь на путь добродетели начинающего с оного совращатися и укрепить в нем к совращению наклонного. Не встревожься, если закоренелый в развратности, поседевший в объятиях бесстыдства мимо тебя пройдет и тебя презрит; не тщишься воспретить его шествию услаждением твоего разговора. Сердце его уже камень; душа его покрылася алмазною корою. Не может благодетельное жало невинныя добродетели положить на нем глубокие черты. Конец ее скользнет по поверхности гладко затверделого порока. Блюди, да о нее острие твое не притупится. Но не пропусти юношу, опасными лепоты прелестями обложенного; улови его в твои сети. Он горд, надменен, порывист, нагл, дерзновенен, обидящ, уязвляющ кажется. Но сердце его уступит твоему впечатлению и отвернется на восприятие твоего благотворного примера. — Анюта, я с тобой не могу расстаться, хотя уже вижу двадцатый столп от тебя.

Но что такое за обыкновение, о котором мне Анюта сказывала? Ее хотели отдать за десятилетнего ребенка. Кто мог такой союз дозволить? Почто не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикого злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском — соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак благословить, или какой судия может его вписать в свой дневник? Где нет соразмерности

в летах, там и брака быть не может. Сие запрещают правила естественности, яко вещь бесполезную для человека, сие запрещать долженствовал бы закон гражданский, яко вредное для общества. Муж и жена в обществе суть два гражданина, делающие договор, в законе утвержденный, которым обещаются прежде всего на взаимное чувств услаждение (да не дерзнет здесь никто опспорить первейшего закона сожития и основания брачного союза, начало любви непорочнейшия и твердый камень основания супружного согласия), обещаются жить вместе, общее иметь стяжание, возвращать плоды своея горячности и, дабы жить мирно, друг друга не уязвлять. При неравенстве лет можно ли сохранить условие сего соглашения? Если муж десяти лет, а жена двадцати пяти, как то бывает часто во крестьянстве; или если муж пятидесяти, а жена пятнадцати или двадцати лет, как то бывает во дворянстве, — может ли быть взаимное чувств услаждение? Скажите вы мне, мужья старички, но скажите по совести, стоите ли вы названия мужа? Вы можете только возжечь огонь любовный, не в состоянии его потушить.

Неравенством лет нарушается единый из первейших законов природы; то может ли положительный закон быть тверд, если основания не имеет в естественности? Скажем яснее: он и не существует. — Возвращать плоды взаимной горячности. — Но может ли тут быть взаимность, где с одной стороны пламя, а с другой нечувствительность? Может ли быть тут плод, если насажденное древо лишается благодетельного дождя и питающия росы? А если плод когда и будет, но будет он тощ, невзрачен и скорому подвержен тлению.

Не уязвлять друг друга. — Се правило предвечное, верное; буде счастливою в супругах симпатиею чувства их равномерно услаждаются, то союз брачный будет благополучен; малые домашние волнения скоро утихают при нашествии веселия. И когда мраз старости подернет чувственное веселие непроницаемою корою, тогда напоминание прежних утех успокоит брюзгливую древность лет. — Одно условие брачного договора может и в неравенстве быть исполняемо: жить вместе. Но будет ли в том взаимность? Один будет начальник самовластный, имел в руках силу, другой будет слабый подданнык и раб совершенный, веление господя своего исполнять только могущий. — Вот, Анюта, благие мысли, тобою мне внушенные. Прости, любезная моя Анютушка, поучения твои вечно пребудут в сердце моем впечатленны, и сыны сынов моих наследят в них.

Хотилковский ям был уже в виду, а я еще размышлял о едровской девке и в восторге души моей воскликнул громко: о Анюта! Анюта! — Дорога была негладка, лошади шли шагом; повозчик мой вслушался в мою речь, оглянувшись на меня:

— Видно, барин, — говорил он мне, улыбаясь и поправляя шляпу, — что ты на Анютку нашу призарился. Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла... Всем взяла... На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! всех за пояс заткнет, хоть бы кого... А как пойдет в поле жать... загляденье. Ну... брат Ванька счастлив.

— Иван брат тебе?

— Брат двоюродный. Да ведь и парень! Трое вдруг молодцов стали около Анютки свататься; но Иван всех отбойрил. Они и тем и сем, но не тут-то. А Ванюха тотчас и подцепил... (Мы уже въезжали в околицу...) То-то, барин! Всяк пляшет, да не как скоморох. — И к почтовому двору подъехал.

— Всяк пляшет, да не как скоморох, — твердил я, вылезая из кибитки... — Всяк пляшет, да не как скоморох, — повторил я, наклоняясь и, подняв, развертывая...

ХОТИЛОВ

ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Доведя постепенно любезное отечество наше до цветущего состояния, в котором оно ныне находится; видя науки, художества и рукоделия, возведенные до высочайших совершенства степени, до коей человеку достигнута дозволяется; видя в областях наших, что разум человеческий, вольно распростирая свое крылие, беспрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию и надежным ныне стал стражею общественных законоположений, — под державным его покровом свободно и сердце наше, в молитвах, ко всевышнему творцу воссылаемых, с неизреченным радованием сказать может, что отечество наше есть приятное божеству обиталище; ибо сложение его не на предрассудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот отца всех. Известны нам вражды, столь часто людей разделявшие за их исповедание, неизвестно нам в оном и принуждение. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единого имея отца, бога.

Светильник науки, носяся над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений. Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий. Умеренность в наказаниях, заставляя почитать законы верховных власти яко веления нежных родителей к своим чадам, предупреждает даже и бесхитростные злодеяния. Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений не дозволяет возродиться семейным распрям. Межа, отделяющая гражданина в его владении от другого, глубока и всеми зрима и всеми

свято почитаема. Оскорбления частные между нами редки и дружелюбно примиряются. Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да будем граждане миролюбивые, но прежде всего да будем человеки.

Наслаждаяся внутреннею тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверский обычай поработать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, протерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленях земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили его нерушимо даже до сего дня.

Известно вам из деяний отцов ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинным подвижаемы человеколюбием, дознав естественную связь общественного союза, старались положить предел стоглавному сему злу. Но державные их подвиги утцетилися известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашем чиновосостоянием, но ныне обветшалым и в презрение впавшим дворянством наследственным. Державные предки наши среди могущества сил скипетра своего немощны были на разрушение оков гражданския неволи. Не токмо они не могли исполнити своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиновосостояния подвигнуты стали на противные рассудку их и сердцу правила. Отцы наши зрели губителей сих, со слезами, может быть, сердечными, сожимающих узы и отягчающих оковы наиболееших в обществе сочленов. Земледельцы и доднесь между нами рабы; мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. О возлюбленные наши сограждане! о истинные сыны отечества! воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше. Служители божества предвечного, подвизаемые ко благу общества и ко блаженству человека, единомыслием с нами изъясняли вам в поучениях своих во имя всецедрого бога, ими проповедуемого, колико мудрости его и любви противно властвовать над ближним своим самопроизвольно. Старались они доводами, в природе и сердце нашем почерпнутыми, доказать вам жестокость вашу, неправду и грех. Еще глас их торжественно во храмах живого бога вопиет громко: опомнитесь, заблудшие, смягчитесь, жестокосердые; разрушьте оковы братии вашей, отверзите

темницу неволи и дайте подобным вам вкусить сладости общежития, к нему же всецелым уготованы, яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются, одинаковые с вами у них члены и чувства, и право в употреблении оных должно быть одинаково.

Но если служители божества представили взорам вашим неправоту порабощения в отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред оной в обществе и неправильность оного в отношении гражданина. Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия изыскивать или поновлять доводы о существенном человеков, а потому и граждан равенстве. Возросшему под покровом свободы, исполненному чувствами благородства, а не предрассуждениями, доказательства о первенственном равенстве суть движения его сердца обыкновенные. Но се несчастье смертного на земли: заблуждаты среди света и не зрети того, что прямо взорам его предстоит.

В училищах, юным вам сущим, преподали вам основания права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человеков, мысленно вне общества, приравнявших одинаковое от природы сложение и потому имеющих одинаковые права, следовательно, равных во всем между собою и единые другим не подвластных. Право гражданское показало вам человеков, променявших беспредельную свободу на мирное оныя употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правило деяниям своим, то все равны от чрева материя в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следовательно, и тут один другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон; ибо он для всех один. Но какое было побуждение вступати в общество и полагати произвольные пределы деяниям? Рассудок скажет: собственное благо; сердце скажет: собственное благо; нерастленный закон гражданский скажет: собственное благо. Мы в обществе живем, уже многие степени усовершенствования протекшем, и потому запомывали мы начальное оного положение. Но взрзите на все новые народы и на все общества естества, если так сказать можно. Во-первых, порабощение есть преступление; во-вторых, един злодей или неприятель испытует тягость неволи. Соблюдая сии понятия, познаем мы, колико удалилися мы от цели общественной, колико отстоим еще вершины блаженства общественного далеко. Все сказанное нами вам есть обычно, и правила таковые иссосали вы со млеком матерним. Един предрассудок мгновения, единая корысть (да не уязвитесь нашими изречениями), единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующим нас уподобляет.

Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашей тощеты, насытител нашого глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распорядити ни тем, что обрабатывает, ни тем, что произ-

водит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю. Кто жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать сможет; не тот ли, кто силы и желание к тому имеет достаточные? Младенцу или старцу, расслабленному, немощному и нерадивому удел будет бесполезен. Она пребудет в запустении, и ветер класов на ней не взвеет. Если она бесполезна делателю ее, то бесполезна и обществу; ибо избытка своего делатель обществу не отдаст, не имея нужного. Следственно, в начале общества тот, кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право, и обрабатывающий ее пользуется ею исключительно. Но колико удалились мы от первоначального общественного положения относительно владения. У нас тот, кто естественное имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чуждую, зрит пропитание свое зависящее от власти другого! Просвещенным вашим разумам истины сии не могут быть непонятны, но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы, сказали уже мы, предрассуждением и корыстию. Неужели сердца ваши, любовь человечества полные, предпочтут корысть чувствованиям, сердце улаждающим? Но какая в том корысть ваша? Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частью в законе мертвы, назваться блаженным? Можно ли называть блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии.

Мы постараемся опровергнуть теперь сии зверские властителей правила, яко же их опровергали некогда предшественники наши деяниями своими неуспешно.

Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно кажется, когда нивы в нем не пустают и во градах гордые воздымаются здания. Блаженно называют его, когда далеко простирает власть оружия своего и властвует оно вне себя не токмо силою своею, но и словом своим над мнением других. Но все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, проходящими, частными и мысленными.

Воззрим на предлежащую взорам нашим долину. Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их. Единое веление, единое руки мановение начальника движет весь стан, и движет его стройно. Но можем ли назвать воинов блаженными? Превращенные точностю воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движения воля, толико живым веществам свойственная. Они знают только веление начальника, мыслят, что он хочет, и стремятся, куда направляет. Толико

всесилен жезл над могущественнейшею силою государства. Соккупны возмогут вся, но разделены и на едине пасутся, яко скоты, амо же пастырь пожелает. Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. Сто невольников, пригвожденных ко скамьям корабля, веслами двигаемого в пути своем, живут в тишине и устройстве; но загляни в их сердце и душу. Терзание, скорбь, отчаяние. Желали бы они нередко променять жизнь на кощину; но и ту им оспорируют. Конец страдания их есть блаженство; а блаженство неволе не сродно, и потому они живы. И так да не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством и для сих только причин да не почтем оное блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны.

Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. Запустелые нивы сего обновленного сильными природы потрясениями полукружия почувствовали соху, недра их раздирающую. Злак, на тучных лугах выроставший и иссыхавший бесплодно, почувствовал былие свое острием косы подсекаемо. Валяются на горах гордые деревья, издревле вершины их осенявшие. Леса бесплодные и горные дебри претворяются в нивы плодоносные и покрываются стовидными произращениями, единой Америке свойственными или удачно в оную преселенными. Тучные луга потапываются многочисленным скотом, на яству и работу человеком определяемым. Везде видна строящая рука делателя, везде кажется вид благосостояния и внешний знак устройства. Но кто же столь мощною рукою нудит скупую, ленивую природу давать плоды свои в толиком обилии? Заклав индийцев единовременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины, учителя кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладкровное убийство порабощения приобретением невольников куплею. Си-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенагала, отринутые своих домов и семейств, преселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающей. И мы страну опустошения назовем блаженною для того, что поля ее не поросли тернием и нивы их обилуют произращениями разнovidными. Назовем блаженною страну, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова. О, дабы опустети паки обильным сим странам! дабы терние и волчеп, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения! Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас: «премени имя, повесть о тебе вещает».

Мы дивимся и ныне еще огромности египетских зданий. Неуподобительные пирамиды чрез долгое время доказывать будут смелое в созидании египтян зодчество. Но для чего сии столь нелепые кучи камней были уготованы? На погребение надменных фараонов. Кичливые сии властители, жадая бессмертия, и по кончине хотели отличествовати внешностию своею от народа своего. И так огромность зданий, бесполезных обществу, суть явные доказательства его порабощения. В остатках погибших градов, где общее блаженство некогда водворялось, обрящем развалины училищ, больниц, гостиниц, водоводов, позорищ и тому подобных зданий; во градах же, где известнее было я, а не мы, находим остатки великолепных царских чертогов, пространных конюшен, жилища зверей. Сравните то и другое; выбор наш не будет затруднителен.

Но что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремящее, надутость и истощение. Я такую славу применю к шарам, в 18-м столетии изобретенным: из шелковой ткани сложенные, наполняются они мгновенно горючим воздухом и взлетают с быстротою звука до выспренных пределов эфира. Но то, что их составляло силу, исходит из среды тончайшими скважинами непрерывно; тяжесть, горé вращавшаяся, приемлет естественный путь падения долу; и то, что месяцы целые сооружалось со трудом, тщанием и иждивением, едва часов несколько может веселить взоры зрителей.

Но вопросы, чего жаждет завоеватель; чего он ищет, опустошая страны населенные или покоряя пустыни своей державе? Ответ получим мы от яростнейшего из всех, от Александра, Великим названного; но велик поистине не в делах своих, но в силах душевных и разорениях. «О афиняне! — вещал он, — колико стоит мне быть хвалиму вами». Несмысленный, воззри на шествие твое. Крутой вихрь твоего полета, преносся чрез твою область, затаскивает в вертение свое жителей ее и, влача силу государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь, тебя услаждающего. Если приобрел пустыню, то она соделается могилою для твоих сограждан, в коей они сокрыватися будут; населяя новую пустыню, превратишь страну обильную в бесплодную. Какая же прибыль, что из пустыни соделал селитьбы, если другие населения тем сделал пустыми? Если же приобрел населенную страну, то исчисли убийства твои и ужаснися. Искоренить долженствуешь ты все сердца, тебя в громоносности твоей возненавидевшие; не мни убо, что любить можно, его же бояться нудятся. По истреблении мужественных граждан останутся и будут подвластные тебе робкие души, рабства иго восприяти готовые; но и в них ненависть к подавляющей твоей победе укоренится глубоко. Плод твоего завоевания будет, — не лести себе, — убийство

и ненависть. Мучитель пребудешь на памяти потомков; казниться будешь, ведая, что мерзят тебя новые рабы твои и от тебя кончины твоея просят.

Но, нисходя к ближайшим о состоянии земледельцев понятиям, колико вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастений и народа, вредно примером своим и опасно в беспокойствии своем. Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстию, предприимлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальнюю, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно подвигаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледельцев в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод она им не принадлежит. И для того обрабатывают ее лениво; и не радуют о том, не запустеет ли среди делания. Сравни сию ниву с данною надменным владельцем на тощее прокормление делателю. Не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания. Жестокость времени он одолевает бодрственно; часы, на упокоение определенные, проводит в трудах; во дни, на веселие определенные, оного чуждается. Зане рачит о себе, работает для себя, делает про себя. И так нива его даст ему плод сугубый; и так все плоды трудов земледельцев мертвеют или паче не возрождаются, они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы делание нив было рачительно, если бы было свободно.

Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своей цели земные произведения толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения. Тако нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан, им же определены были природою избытки ее. Но сим ли одним препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и одежд присовокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбления надменности и уязвления силы, даже в любезнейших человека чувствованиях; тогда со ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше. Легко всяк усмотрит, что одна опустошает случайно, мгновенно; другая губит долго-временно и всегда; одна, когда преидет полет ее, скончаеавает свое свирепство; другая там только начнется, где сия кончится, и прмениться не может, разве опасным всегда потрясением всея внутренности.

Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой

робость. Тут никакой не можно быть связи, разве насиллие. И сие, собираясь в малую среду, властнодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но поборники неволи, власть и острие в руках имеющие, сами ключимые во узах, наияростнейшие оныя бывают проповедники. Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать своего страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любить свою пагубу. Мне мнится в них зрети змию, совершившую падение первого человека. — Примеры властвования суть заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, иссоающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнули, может быть, на действия самовластия, и хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого стремились, но поступок наш державный полезности своею оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения.

Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможно. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстро. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горю постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блудитесь.

Но если ужас гибели и опасность потрясения стяжаний подвигнуть может слабого из вас, неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в поправлении нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства и

не восстановим природное всех равенство? Ведая сердце ваших расположение, приятнее им убедиться доводами, в человеческом сердце почерпнутыми, нежели в исчислениях корыстолюбивого благоразумия, а менее еще в опасности. Идите, возлюбленные мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о преме их жребия. Вещайте с ощущением сердечным: подвигнутые на жалость вашей участи, соболезнуя о подобных нам, дознав ваше равенство с нами и убежденные общею пользою, пришли мы, да лобзаем братию нашу. Оставили мы гордое различие, нас толико времени от вас отделявшее, забыли мы существовавшее между нами неравенство, восторжествуем ныне о победе нашей, и сей день, в он же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитейший в летописях наших. Забудьте наше прежнее злодейство на вас, и да возлюбим друг друга искренне.

Се будет глагол ваш; се слышится он уже во внутренности сердце ваших. Не медлите, возлюбленные мои. Время летит; дни наши преходят в недействии. Да не скончаем жизни нашея, возмем только мысль благую и не возмогли ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего и с презрением о нас да не скажет: они были.

Вот что я прочел в замаранной грязию бумаге, которую поднял я перед почтовою избою, вылезая из кибитки моей.

Вошед в избу, я спрашивал, кто были проезжие незадолго передо мною.

— Последний из проезжающих, — говорил мне почталион, — был человек лет пятидесяти; едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю. — Я попросил почталиона, чтобы он дал мне сии бумаги посмотреть, и, развернув их, узнал, что найденная мною к ним же принадлежала. Уговорил я его, чтобы он бумаги сии отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому не почел я их приобретение кражею. Он их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу.

Между тем как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположения человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что друг мой поражен был несоразмерностью гражданских чиновостояний. Целая связка бумаг и начертаний законоположений относилась к уничтожению рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточна в силах своих на претворение мнений мгновенно, начертал путь повременным законоположениям к постепенному освобождению

земледельцев в России. Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего, и запрещается поселян и всех, по деревням в ревизии написанных, брать в дома. Буде помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводные деньги. Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обрабатываемый, должны они иметь собственностью; ибо платят сами подушную подать. Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его оно да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму быть ему равными, то есть в расправах, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда. — Исчезни варварское обыкновение, разрушья власть тигров! — вещает нам законодатель... За сим следует совершенное уничтожение рабства.

Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была нектати нынешним временам и оным несоразмерна, всяк сам может вообразить. Но теперь дуга коренной лошади звенит уже в колокольчик и зовет меня к отъезду; и для того я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте, чтобы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи, быть иноходцем или скакуном? — нежели заниматься тем, что не существует.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧОК

Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее благодеяниях и сделать реку рукодельною, дабы все концы единыя области в вящее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства. Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываются будут ужи, змеи и жабы, — любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне строили большие дороги, водоводы, коих прочности и ныне по справедливости удивляются; но о водяных сообщениях, каковыя есть в Европе, они не имели понятия.

Дороги, каковые у римлян бывали, наши не будут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки не скоро заровняются.

Немало увеселительным было для меня зрелищем вышневолоцкий канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными и приуготовляющимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледельца; тут явен был во всем своем блеске мощный побудитель человеческих денний — корыстолюбие. Но если при первом взгляде разум мой усладился видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло мое радование. Ибо вспомнил, что в России многие земледельцы не для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России доказывает отягченный жребий ее жителей. Удовольствие мое пременилось в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгие ее произращения, как то сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся еще от пота, слез и крови, их омывших при их возделании.

— Вообрази себе, — говорил мне некогда мой друг, — что кофе, налитый в твоей чашке, и сахар, распущенный в оном, лишали покоя тебе подобного человека, что они были причиною превосходящих его силы трудов, причиною его слез, стонаний, казни и поругания; дерзай, жестокосердый, усладить гортань твою. — Вид прегрешения, сопутствовавший сему изречению, поколебнул меня до внутренности. Рука моя задрожала, и кофе пролился.

А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах или на дружеском пиру или наедине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенный на ваше насыщение, остановитесь и помыслите. Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки? Не потом ли, не слезами ли и стеганием утучнялися нивы, на которых оный возрос? Блаженны, если кусок хлеба, вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною называемой, или по крайней мере на ниве, оброк помещику своему платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежавшего в житнице дворянской. На нем почил скорбь и отчаяние; на нем знаменовалось проклятие всевышнего, егда во гневе своем рек: проклята земля в делах своих. Блюдитесь, да не отравлены будете вождеделенною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней возлегает. Отрините ее от уст ваших; поститесь, се истинное и полезное может быть пощение.

Повествование о некотором помещике докажет, что человек корысти ради своей забывает человечество в подобных ему и что за примером жестокосердия не имеем нужды ходить в дальние

страны, ни чудес искать за тридевять земель; в нашем царстве они в очю совершаются.

Некто, не нашед в службе, как то по просторечию называют, счастья или не желая оного в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял к сохе, но вознамерился наидействительнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая оные к обработыванию земли. Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своим орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудю, устремляющимся на бою грудю, а в единственности ничего не значущим. Для достижения своей цели он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян пировали вместе на господском дворе, употребляя, для соблюдения желудка, в мясоедпустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на святой неделе.

Таковым урядникам производилася также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таких узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда брал себе, платя за них цену по своей воле.

При таком заведении не удивительно, что земледелие в деревне г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам четверть; когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам десят и более. В недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и поступая с сими равно, как и с первыми, год от году умножал свое имение, усугубляя число стенищих на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец.

Варвар! не достоин ты носить имя гражданина. Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с волон, определенным тяжкую вздирати борозду? Или блаженство граждан

в том почитаем, чтоб полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты? чтобы один благословлял правительство, а не тысячи? Богатство сего кровопийца ему не принадлежит. Оно нажито грабежом и заслуживает строгого в законе наказания. И суть люди, которые, взирая на утучненные нивы сего палача, ставят его в пример усовершенствования в земледелии. И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена попечителей о благе общем. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственного богатства почитаете, прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалось его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы не заразиться его примером.

ВЫДРОПУСК

Здесь я опять принялся за бумаги моего друга. В руки мне попало начертание положения о уничтожении придворных чинов.

ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство постепенно паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства. Полезно государству в начале своим личными своими заслугами, ослабело оно в подвигах своих наследственностью, и, сладкий при насаждении, его корень произнес наконец плод горький. На месте мужества водворилася надменность и самолюбие, на месте благородства души и щедроты посеялись раболепие и самонедоверие, истинные скряги на великое. Жительствова среди столь тесных душ и подвизаемые на малости ласкательством наследственных достоинств и заслуг, многие государи возмнили, что они суть боги и вся, его же коснутся, блаженно сотворят и пресветло. Тако и быть долженствует в деяниях наших, но токмо на пользу общую. В таковой дремоте величия власти возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежедневно предстоя взорам их, заимствуют их светозарности; что блеск царский, преломляясь, так сказать, в сих новых отсветках, многочисленнее является и с сильнейшим отражением. На таковой блуждения мысли воздвигли цари придворных истуканов, кои, истинные феатральные божки, повинуются свистку или трещетке. Пройдем степени придворных чинов и с улыбкою сожаления отворотим взоры наши от кичащихся служением своим; но возрыдаем,

видя их предпочитаемых заслуге. Дворецкий мой, конюший и даже конюх и кучер, повар, крайчий, птицелов с подчиненными ему охотниками, горничные мои прислужники, тот, кто меня бреет, тот, кто чешет волосы главы моея, тот, кто пыль и грязь отирает с обуви моея, о многих других не упоминая, равняются или председательствуют служащим отечеству силами своими душевными и телесными, не щадя ради отечества ни здоровья своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства. Какая вам в том польза, что в доме моем господствуют чистота и опрятность? Сытее ли вы накормитесь, буде кушанье мое лучше вашего приготовлено и в сосудах моих лиется вино изо всех концов вселенныя? Укроетесь ли в шествии вашем от неприязненности погоды, буде колесница моя позлащенна и кони мои тучны? Лучший ли даст нива вам плод, луга ваши больше ли позеленеют, буде потопчутся на ловитве зверей в мое увеселение? Вы улыбнетесь с чувствованием жалости. Но нередкий в справедливом негодовании своем скажет нам: тот, кто рачит о устройстве твоих чертогов, тот, кто их нагревает, тот, кто огненную пряность полуденных растений сочетает с хладною вязкостью северных туков для услаждения расслабленного твоего желудка и оцепенелого твоего вкуса; тот, кто воспеяет в сосуде твоём сладкий сок аффриканского винограда; тот, кто умащает окружие твоей колесницы, кормит и напоет коней твоих; тот, кто во имя твое кровавую битву ведет со зверями дубравными и птицами небесными; все сии тунейдцы, все сии лелеятели, как и многие другие, твоя надменности, высятся надо мною; над источившим потоки кровей на ратном поле, над потерявшим нужнейшие члены тела моего, защищая грады твои и чертоги, в них же сокрытая твоя робость завесою величавости мужеством казалася; над провождающим дни веселий, юности и утех во сбережении малейшия полушки, да облегчится, елико то возможно, общее бремя налогов; над не рачившим о имении своем, трудяся денно-ночно в снискании средств к достижению блаженств общественных; над попирающим родство, приязнь, союз сердца и крови, вещая правду на суде во имя твое, да возлюблен будеши. Волсы белеют в подвигах наших, силы истощеваются в подъемлемых нами трудах, и при воскраии гроба едва возмогаем удостоиться твоего благоволения; а сии упитанные тельцы сосцами нежности и пороков, сии незаконные сыны отечества наследят в стяжании нашем.

Тако и более еще по справедливости возглаголют от вас многие. Что дадим мы, владыки сил, в ответ? Прикроем бесчувствием уничижение наше, и видится воспаленна ярость в очах наших на вещающих сие. Таковы бывають нередко ответы наши вещаниям истины. И никто да не дивится сему, когда наилучший между нами дерзает таковая; он живет с ласкателями, беседует с ласкателями, спит в лести, хождает в лести. И лесь и ласкательство соделают его глуха, слепа и неосязательна.

Но да не падет на нас таковая укоризна. С младенчества нашего возненавидев ласкательство, мы соблюли сердце наше от ядовитой его сладости даже до сего дня; и ныне новый опыт в любви нашей к вам и преданности явен да будет. Мы уничтожаем ныне сравнение царедворского служения с военным и гражданским. Истребися на памяти обыкновение, во стыд наш только лет существовавшее. Истинные заслуги и достоинства, рачение о пользе общей да получают награду в трудах своих и едины да отличаются.

Сложив с сердца нашего столь несносное бремя, долговременно нас теснившее, мы явим вам наши побуждения на уничтожение толь оскорбительных для заслуги и достоинства чинов. Вещают вам, и предки наши тех же были мыслей, что царский престол, коего сила во мнении граждан коренится, отличествовать долженствует внешним блеском, дабы мнение о его величестве было всегда всецело и ненарушимо. Оттуда пышная внешность властителей народов, оттуда стадо рабов, их окружающих. Согласиться всяк должен, что тесные умы и малые души внешность поражать может. Но чем народ просвещеннее, то есть чем более особенников в просвещении, тем внешность менее действовать может. Нума мог грубых еще римлян уверить, что нимфа Егерия наставляла его в его законоположениях. Слабые перуанцы охотно верили Манко Капаку, что он сын солнца и что закон его с небеси истекает. Магомт мог прельстить скитающихся аравитян своими бреднями. Все они употребляли внешность, даже Моисей принял скрыжали заповедей на горе среди блеску молнии. Но ныне, буде кто прельстити восхощет, не блистательная нужна ему внешность, но внешность доводов, если так сказать можно, внешность убеждений. Кто бы восхотел ныне послание свое утвердить свыше, тот употребит более наружность полезности, и тою все тронутся. Мы же, устремляя все силы наши на пользу всех и каждого, почто нам блеск внешности? не полезностию ли наших постановлений, ко благу государства текущею, облистает наше лице? Всяк, взирающий на нас, узрит наше благомыслие, узрит в подвиге нашем свою пользу и того ради нам поклонится, не яко во ужасе шествующему, но сидящему во благодати. Если бы древние персы управлялися всегда щедротою, не бы возмечтали быти Ариману, или ненавистному началу зла. Но если пышная внешность нам бесполезна, колико вредны в государстве быть могут ее оберегатели. Единственною должностию во служении своем имея угождение нам, колико изыскательны будут они во всем том, что нам нравится может. Желание наше будет предупреждено; но не токмо желанию не допустят возродиться в нас, но даже и мысли, зане готово уже ей удовлетворение. Воззрите со ужасом на действие таковых угождений. Наитвердейшая душа во правилах своих позыбнется, приклонит ухо ласкательному сладкопению, уснет. И се сладостные чары обыдут разум и сердце. Горесть и обида чуждые едва

*

покажутся нам преходящими недугами; скорбети о них почтем или неприличным, или же противным и воспретим даже жаловаться о них. Язвительнейшие скорби и раны и самая смерть покажутся нам необходимыми действиями течения вещей и, являясь нам позади непрозрачных завесы, едва возмогут ли в нас произвести то мгновенное движение, какое производят в нас феатральные представления. Зане стрела болезни и жало зла не в нас дрожит вонзенное.

Се слабая картина всех пагубных следствий пышного царей действия. Не блаженны ли мы, если возмogli укрыться от возмущения благонамерений наших? Не блаженны ли, если и заразе примера положили преграду? Надежны в благосердии нашем, надежны не в разврате со вне, надежны во умеренности наших желаний, возблагоденствуем снова и будем примером позднешему потомству, како власть со свободою сочетать должно на взаимную пользу.

ТОРЖОК

Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволения не нужно; ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в ценсуре; и вот его о том размышления.

— Типографии у нас всем иметь дозволено, и время то прошло, в которое боялися поступаться оным дозволением частным людям; и для того, что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления. Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетные, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бываю везде следствия обыкновенной ценсуры, и чем она строже, тем следствия ее пагубнее. Послушаем Гердера.

«Наилучший способ поощрять доброе есть неприпятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки: он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая десять ценсур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка

святой инквизиции; часто изуродованный сеченный батожем, с кляпом во рту узник, а раб всегда... В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна; не может того правительство, менее еще его цензор, в клубке ли он или с темляком. В царстве истины он не судия, но ответчик, как и сочинитель. Исправление может только совершиться просвещением; без главы и мозга не шевельнется ни рука, ни нога... Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и страстися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя; тем более благоволит оно в свободе мыслей и в свободе писаний, а от нее под конец прибыль, конечно, будет истине. Губители бывают подозрительны; тайные злодеи робки. Явный муж, творяй правду и твердый в правилах своих, допустит о себе глагол всякий. Хождает он во дни и на пользу себе строит клевету своих злодеев. Откупы в помышлениях вредны... Правитель государства да будет беспристрастен во мнениях, дабы мог объяти мнения всех и оные в государстве своем дозволять, просвещать и наклонять к общему добру: оттого истинно великие государи столь редки».

— Правительство, дознав полезность книгопечатания, оно дозволило всем; но, паче еще дознав, что запрещение в мыслях утщетит благое намерение вольности книгопечатания, поручило цензору, или присмотр за изданиями, управе благочиния. Долг же ее в отношении сего может быть только тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений. Но и сия цензура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума; запретит полезное изобретение, новую мысль и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее: лукавым богом. Мундирный цензор, исполненный духа благоговения, сие выражение почернил, говоря: «неприлично божество называть лукавым». Кто чего не разумет, тот в то да не мешается. Если хочешь благорастворенного воздуха, удали от себя коптильню; если хочешь света, удали затмение; если хочешь, чтобы дитя не было застенчиво, то выгони лозу из училища. В доме, где плети и батожье в моде, там служители пьяницы, воры и того еще хуже.¹

¹ Такого же роду цензор не дозволял, сказывают, печатать те сочинения, где упоминалось о боге, говоря: я с ним дела никакого не имею. Если в каком-либо сочинении порочили народные нравы того или другого государства, он недозволенным сие почитал, говоря: Россия имеет тракт дружбы с ним. Если упоминалось где о князе или графе, того не дозволял он печатать, говоря: сие есть личность, ибо у нас есть князья и графы между знатыми особами.

— Пускай печатают все, кому что на ум ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд по форме. Я говорю не смехом. Слова не всегда суть деяния, размышления же не преступления. Се правила Наказа о новом уложении. Но брань на словах и в печати всегда брань. В законе никого бранить не велено, и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажет правду, бранью ли то почитать, того в законе нет. Какой вред может быть, если книги в печати будут без клейма полицейского? Не токмо не может быть вреда, но польза; польза от первого до последнего, от малого до великого, от царя до последнего гражданина.

— Обыкновенные правила цензуры суть: почеркивать, марать, не позволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонавию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Если безумец в мечтании своем не токмо в сердце, но громким гласом речет: «несть бога», в устах всех безумных раздастся громкое и поспешное эхо: «несть бога, несть бога». Но что ж из того? Эхо — звук; ударит в воздух, позабнет его и исчезнет. На разуме редко оставит черту, и то слабую; на сердце же никогда. Бог всегда пребудет бог, ощущаем и неверующим в него. Но если думаешь, что хулением всевышний оскорбится, — урядник ли благочиния может быть за него истец? Всесильный звонящему в трещетку или биющему в набат доверия не даст. Возгнушается метатель грома и молнии, ему же все стихии повинуются, возгнушается колеблющий сердца из-за пределов вселенныя дать мстити за себя и самому царю, мечтающему быти его на земли преемником. Кто ж может быть судиею в обиде отца предвечного? — Тот его обижает, кто, мнит, возможет судити о его обиде. Тот даст ответ пред ним.

— Отступники откровенной религии более доселе в России делали вреда, нежели непризнаватели бытия божия, афеисты. Таковых у нас мало; ибо мало у нас еще думают о метафизике. Афеист заблуждает в метафизике, а раскольник в трех пальцах. Раскольниками называем мы всех россиян, отступающих в чем-либо от общего учения греческия церкви. Их в России много, и для того служение им дозволяется. Но для чего не позволять всякому заблуждению быть явному? Явнее оно будет, скорее сокрушится. Гонения делали мучеников; жестокость была подпорою самого христианского закона. Действия расколов суть иногда вредны. Воспрети их. Проповедуются они примером. Уничтожь пример. От печатной книги раскольник не бросится в огонь, но от ухищренного примера. Запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю; всяк увидит, что глупо и что умно. Что запрещено, того и хочется. Мы все Евины дети.

— Но, запрещая вольное книгопечатание, робкие правительства не богохуления боятся, но боятся сами иметь порицателей. Кто в часы безумия не щадит бога, тот в часы памяти и рассудка не пощадит незаконной власти. Не бояйся громов всеисильного смеется виселище. Для того-то вольность мысли правительствам страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и незыбку руку к истукану власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит бранные его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору, сила возвратится к источнику, истукан падет. Но если власть не на тумане мнений восседает, если престол ее на искренности и истинной любви общего блага возник, — не утвердится ли паче, когда основание его будет явно; не возлюбится ли любящий искренно? Взаимность есть чувствование природы, и стремление сие почило в естестве. Прочному и твердому зданию довольно его собственного основания; в опорах и контрфорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно от ветхости, тогда только побочные тверди ему нужны. Правительство да будет истинно, вожди его нелицемерны; тогда все плевелы, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на извергателя их; а истина пребудет всегда чиста и беловидна. Кто возмущает словом (да назовем так в удобность власти все твердые размышления, на истине основанные, власти противные), есть такой же безумец, как и хулу глаголяй на бога. Буде власть шестует стезею, ей назначенной, то не возмутится от пустого звука клеветы, яко же господь сил не тревожится хулением. Но горе ей, если в жадности своей ломит правду. Тогда и едина мысль твердости ее тревожит, глагол истины ее сокрушит, деяние мужества ее развее.

— Личность, но язвительная личность, есть обида. Личность в истине столь же позволительна, как и самая истина. Если ослепленный судия судит в неправду и защитник невинности издаст в свет его коварный приговор, если он покажет его ухищрение и неправду, то будет сие личность, но дозволенная; если он его назовет судиею наемным, ложным, глупым — есть личность, но дозволить можно. Если же называть его станет именованиями смрадными и бранными словами поносить, как то на рынках употребительно, то сие есть личность, но язвительная и недозволенная. Но не правительства дело вступаться за судию, хотя бы он поносился и в правом деле. Не судия да будет в том истец, но оскорбленное лице. Судия же пред светом и пред поставившим его судиею да оправдится едиными делами.¹ Тако долженствует судить

¹ Г. Дикинсон, имевший участие в бывшей в Америке перемене и тем прославившийся, будучи после в Пенсильвании президентом, не возгнушался сражаться с наступающими на него. Изданы были против него наихлосточайшие листы. Первейший градоначальник области нисшел в ристалище, издал в печать свое защищение, оправдался, опроверг доводы своих противников

о личности. Она наказания достойна, но в печатании более пользы устроит, а преда мало. Когда все будет в порядке, когда решения всегда будут в законе, когда закон основан будет на истине и заклеплется удручение, тогда разве, тогда личность может сделать разврат. Скажем нечто о благонаравии и сколько слова ему вредят.

— Сочинения любовственные, наполненные похотливыми начертаниями, дышущие развратом, коего все листы и строки стрекательною наготою зияют, вредны для юношей и незрелых чувств. Распламеняя воспаленное воображение, тревожа спящие чувства и возбуждая покоящееся сердце, безвременную наводят возмужалость, обманывая юные чувства в твердости их и заготовляя им дряхлость. Таковые сочинения могут быть вредны; но не они разврату корень. Если, читая их, юноши пристрастятся к крайнему услаждению любовной страсти, то не могли бы того произвести в действие, не бы были торгующие своею красотою. В России таковых сочинений в печати еще нет, а на каждой улице в обеих столицах видим раскрашенных любовниц. Действие более развратит, нежели слово, и пример паче всего. Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торгога наддателю, тысячу юношей заразят язвою и все будущее потомство тысячи сея; но книга не давала еще болезни. И так цензура да останется на торговых девок, до произведений же развратного хотя разума ей дела нет.

— Заключу сим: цензура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обертки. Равно как ободрение феатральному сочинению дает публика, а не директор феатра, так и выпускаемому в мир сочинению цензор ни славы не даст, ни бесславия. Завеса поднялась, взоры всех устремились к действию; нравится — плещут; не нравится — стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждения общего, оно тысячу найдет цензоров. Настрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут веки. Но если мы признали бесполезность цензуры или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную пользу вольности печатания.

— Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, истина не затмится. Не дерзнут правители народов удалиться от стези правды и убоятся; ибо пути их, злость и ухищрение обнажатся. Вострепещет судия, подписы-

и их устыдил. Се пример для последования, как мстить должно, когда кто кого обвиняет пред светом печатным сочинением. Если кто свирепствует против печатных строки, тот заставляет мыслить, что печатанное истинно, а мстящий таков, как о нем напечатано.

вая несправедливый приговор, и его раздерет. Устыдится власть имеющий употреблять ее на удовлетворение только своих прихотей. Тайный грабеж назовется грабежом, прикрытое убийство — убийством. Убоятся все злые строгого взора истины. Спокойствие будет действительное, ибо заквасу в нем не будет. Ныне поверхность только гладка, но ил, на дне лежащий, мутится и тмит прозрачность вод.

Прощаясь со мною, порицатель цензуры дал мне небольшую тетрадку. Если, читатель, ты нескучлив, то читай, что перед тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к цензурному комитету, то загни лист и скажи мимо.

КРАТКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЦЕНСУРЫ

Если мы скажем и утвердим ясными доводами, что цензура с инквизициею принадлежат к одному корню; что учредители инквизиции изобрели цензуру, то есть рассмотрение приказное книг до издания их в свет, то мы хотя ничего не скажем нового, но из мрака протекших времен извлечем, вдобавок многим другим, ясное доказательство, что священнослужители были всегда изобретатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, что они подстригали ему крылья, да не обратит полет свой к величию и свободе.

Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие. Народ афинский, священнослужителями возбужденный, писания Протагоры запретил, велел все списки оных собрать и сжечь. Не он ли в безумии своем предал смерти, на неизгладимое вовеки себе поношение, вочеловеченную истину — Сократа? В Риме находим мы больше примеров такового свирепствования. Тит Ливий повествует, что найденные во гробе Нумы писания были сожжены повелением сената. В разные времена случалось, что книги гадательные велено было относить к претору. Светоний повествует, что Кесарь Август таковых книг велел сжечь до двух тысяч. Еще пример несообразности человеческого разума! Неужели, запрещая суеверные писания, владельцы сии думали, что суеверие истребится? Каждому в особенности своей воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токмо мгновенное грызущей скорби, оставляли явные и государственные гадания авгуров и аруспициев. Но если бы во дни просвещения возмнили книги, учащие гаданию или суеверие проповедующие, запрещать или жечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гонения на суеверие? чтоб истина искала на поражение заблуждения опоры власти и меча, когда вид ее один есть наижесточайший бич на заблуждение?

Но Кесарь Август не на гадания одни простер свои гонения, он велел сжечь книги Тита Лабиния. «Злодеи его, — говорит Сенека ритор, — изобрели для него сие нового рода наказание. Неслыханное дело и необычайное — казнь извлекать из учения. Но по счастью государства сие разумное свирепствование изобретено после Цицерона. Что быть бы могло, если бы троенаачальники за благо положили осудить разум Цицерона?» Но мучитель скоро отмстил за Лабиния тому, кто исходатайствовал сожжение его сочинений. При жизни своей видел он, что и его сочинения преданы были огню.¹ «Не злому какому примеру тут следовано, — говорит Сенека, — его собственному». ² Дажь небо, чтобы зло всегда обращалось на изобретателя его и чтобы воздвигший гонение на мысль зрел всегда свои осмеянными, в поругании и на истребление осужденными! Если мщенье когда-либо извинительно быть может, то разве сие.

Во времена народного правления в Риме гонения такого рода обращались только на суеверие, но при императорах простерлось оно на все твердые мысли. Кремуций Корд в истории своей назвал Кассия, дерзнувшего осмеять мучительство Августово на Лабиниевы сочинения, последним римлянином. Римский сенат, ползая пред Тиверием, велел во угодение ему Кремуциеву книгу сжечь. Но многие с оной остались списки. «Тем паче, — говорит Тацит, — смеяться можно над попечением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминание следующего поколения. Хотя власть бешенствует на казнь рассудка, но свирепствованием своим себе устроила стыд и посрамление, им славу».

Не избавились сожжения книги иудейские при Антиохе Епифане, царе Сирском. Равной с ними подвержены были участи сочинения христиан. Император Диоклитиан книги священного писания велел предать сожжению. Но христианский закон, одержав победу над мучительством, покорил самих мучителей, и ныне остается во свидетельство неложное, что гонения на мысли и мнения не токмо не в силах оные истребить, но укоренят их и распространят. Арнобий справедливо восстает противу такого гонения и мучительства. «Иные вещают, — говорит он, — полезно для государства, чтобы сенат истребить велел писания, в доказательство христианского исповедания служащие, которые важность опровергают древния религии. Но запрещать писания и обнародованное хотеть истребить не есть защищать богов, но бояться истины сви-

¹ Сочинения Ария Монтана, издавшего в Нидерландах первый реестр запрещенным книгам, вмещены были в тот же реестр.

² Кассий Север, друг Лабиния, видя писания его в огне, сказал: «теперь меня сжечь надлежит: ибо я их наизусть знаю». Сие подало случай при Августе к закоположению о поносительных сочинениях, которое по природному человеку обезьянству принято в Англии и в других государствах.

детельствованія». Но по распространении христианского исповедания священнослужители одного толико же стали злобны против писаний, которые были им противны и не в пользу. Недавно порицали строгость сию в язычниках, недавно почитали ее знаком недоверения к тому, что защищали, но скоро сами ополчились всемогуществом. Греческие императоры, занимаясь более церковными прениями, нежели делами государственными, а потому управляемые священниками, воздвигли гонение на всех тех, кто деяния и учения Иисусовы понимал с ними различно. Таковое гонение распростерлося и на произведение рассудка и разума. Уже мучитель Константин, Великим названный, следуя решению Никейского собора, предавшему Ариево учение проклятию, запретил его книги, осудил их на сожжение, а того, кто оные книги иметь будет, — на смерть. Император Феодосий II проклятые книги Нестория велел все собрать и предать огню. На Халкидонском соборе то же положено о писаниях Евтихия. В Пандектах Юстиниановых сохранены некоторые таковые решения. Несмысленные! не ведали, что, истребляя превратное или глупое истолкование христианского учения и запрещая разуму трудиться в исследовании каких-либо мнений, они останавливали его шествие; у истины отнимали сильную опору: различие мнений, прения и невозбранное мыслей своих изречение. Кто может за то поручиться, что Несторий, Арий, Евтихий и другие еретики быть бы могли предшественниками Лутера, и если бы вселенские соборы не были созваны, что бы Декарт родиться мог десять столетий прежде? Какой шаг вспять сделан ко тьме и невежеству!

По разрушении Римския империи монахи в Европе были хранители учености и науки. Но никто у них не оспаривал свободы писать, что они желали. В 768 году Амвросий Оперт, монах бенедиктинский, посылая толкование свое на Апокалипсис к папе Стефану III и прося дозволения о продолжении своего труда и о издании его в свет, говорит, что он первый из писателей просит такового дозволения. «Но да не исчезнет, — продолжает он, — свобода в писании для того, что уничтожение поклонилось непринужденно». Собор Санский в 1140 году осудил мнения Абельардовы, а папа сочинения его велел сжечь.

Но ни в Греции, ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы избран был судия мысли, чтобы кто дерзнул сказать: у меня просите дозволения, если уста ваши отверзать хотите на велеречие; у нас клеймится разум, науки и просвещение, и все, что без нашего клейма явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Таковое постыдное изобретение представлено было христианскому свяществу, и ценсура была современна инквизиции.

Нередко, проходя историю, находим разум суеверию, изобретения наиболее современные грубейшему невежеству. В то время как боязливое недоверие к вещи утверждаемой побу-

дило монахов учредить цензуру и мысль истреблять в ее рождении, в то самое время дерзал Колумб в неизвестность морей на искание Америки; Кеплер предузнавал бытие притяжательной в природе силы, Ньютоном доказанной; в то же время родился начертавший в пространстве путь небесным телесам Коперник. Но к вящему сожалению о жребии человеческого умствования скажем, что мысль великая рождала иногда невежество. Книгопечатание родило цензуру; разум философский в XVIII столетии произвел иллюминатов.

В 1479 году находим древнейшее доселе известное дозволение на печатание книги. На конце книги под заглавием: «Знай сам себя», печатанной в 1480 году, присоединено следующее: «мы, Морфей Жирардо, божиим милосердием патриарх венецианский, первенствующий в Далматии, по прочтении вышеписанных господ, свидетельствующих о вышеписанном творении, и по таковому же оного заключению и присоединенному доверению также свидетельствуем, что книга сия православна и богобоязлива». Древнейший монумент цензуры, но не древнейший безумия!

Древнейшее о цензуре узаконение, доселе известное, находим в 1486 году, изданное в самом том городе, где изобретено книгопечатание. Предузнавали монашеские правления, что оно будет орудием сокрушения их власти, что оно ускорит развержение общего рассудка и могущество, на мнении, а не на пользе общей основанное, в книгопечатании обрящет свою кончину. Да позволяй нам здесь присовокупить памятник, ныне еще существующий на пагубу мысли и на посрамление просвещения.

Указ о неиздании книг греческих, латинских и пр. на народном языке без предварительного ученых удостоения 1486 года.¹

«Бертольд, божиею милостию святыя Маинцкия епархии архиепископ, в Германии архиканцлер и курфирст. Хотя для приобретения человеческого учения чрез божественное печатания искусство возможно с изобилием и свободнее получать книги, до разных наук касающиеся, но до сведения нашего дошло, что некоторые люди, побуждаемые суетныя славы или богатства желанием, искусство сие употребляют во зло и данное для научения в житии человеческом обращают на пагубу и злоречие.

«Мы видели книги, до священных должностей и обрядов исповедания нашего касающиеся, переведенные с латинского на немецкий язык и неблагопристойно для святого закона в руках простого народа обращающиеся; что ж сказать наконец о предписаниях святых правил и законоположений; хотя они людьми искусными в законоучении, людьми мудрейшими и красноречивейшими писаны разумно и тщательно, но наука сама по себе толико затруднительна,

¹ Кодекс дипломатический, изданный Гуденом. Том IV.

что красноречивейшего и ученейшего человека едва на оную достаточно целая жизнь.

«Некоторые глупые, дерзновенные и невежды попускаются переводить на общий язык таковые книги. Многие ученые люди, читая переводы сии, признаются, что ради великой несвойственности и худого употребления слов они непонятнее подлинников. Что же скажем о сочинениях, до других наук касающихся, в которые часто вмешивают ложное, надписывают ложными названиями и тем паче славнейшим писателям приписывают свои вымыслы, чем более находится покушников.

«Да вещают таковые переводчики, если возлюбляют истину, с каким бы намерением то ни делали, с добрым или худым, до того нет нужды; да вещают, немецкий язык удобен ли к предложению на оный того, что греческие и латинские изящные писатели о вышних размышлениях христианского исповедания и о науках писали точнее и разумнее? Признаться надлежит, скудости ради своей, язык наш на сказанное недостаточен весьма, и нужно для того, чтобы они неизвестные имена вещам в мозгу своем сооружали; или если употребят древние, то испортят истинный смысл, чего наипаче опасаемся в писаниях священных в рассуждении их важности. Ибо грубым и неученым людям и женскому полу, в руки которых попадутся книги священные, кто покажет истинный смысл? Рассмотрим святого евангелия строки или послания апостола Павла, всяк разумный признается, что много в них прибавлений и исправлений писцовых.

«Сказанное нами довольно известно. Что же помыслим о том, что в писателях кафолическия церкви находится зависящее от строжайшего рассмотрения? Многое в пример поставить можем, но для сего намерения довольно уже нами сказанного.

«Понеже начало сего искусства в славном нашем граде Маинце, скажем истинным словом, божественно явилось и ныне в оном исправленно и обогащено пребывает, то справедливо, чтобы мы в защиту нашу приняли важность сего искусства. Ибо должность наша есть сохранять святыя писания в нерастленной непорочности. Скавав таким образом о заблуждениях и о продерзствиях людей наглых и злодеев, желая, елико нам возможно, пособием господним, о котором дело здесь, предупредить и наложить узду всем и каждому, церковным и светским нашей области подданным и вне пределов оныя торгующим, какого бы они звания и состояния ни были, — сим каждому повелеваем, чтобы никакое сочинение, в какой бы науке, художестве или знании ни было, с греческого, латинского или другого языка переводимо не было на немецкий язык или уже переведенное, с переменою токмо заглавия или чего другого, не было раздаваемо или продаваемо явно или скрытно, прямо или посторонним образом, если до печатания или после печати до издания в свет не будет иметь отверстого дозволения

на печатание или издание в свет от любезных нам светлейших и благородных докторов и магистров университетских, а именно: во граде нашем Маинце от Иоганна Бертрама де Наумбурха в касающемся до богословия, от Александра Дидриха в законоучении, от Феодорика де Мешедя во врачебной науке, от Андрея Елера во словесности, избранных для сего в городе нашем Ерфурте докторов и магистров. В городе же Франкфурте, если таковые на продажу изданные книги не будут просмотрены и утверждены почтенным и нам любезным одним богословия магистром и одним или двумя докторами и лиценциатами, которые от думы оного города на годовом жалованье содержимы быть имеют.

«Если кто сие наше попечительное постановление презрит или против такового нашего указа подаст совет, помощь или благоприятство своим лицом или посторонним, — тем самым подвергает себя осуждению на проклятие, да сверх того лишен быть имеет тех книг и заплатит сто золотых гульденов пени в казну нашу. И сего решения никто без особого повеления да нарушить не дерзает. Дано в замке С. Мартына, во граде нашем Маинце, с приложением печати нашей. Месяца Январия, в четвертый день 1486 года».

Его же о предыдущем, каким образом отправлять цензуру.

«Лета 1486 Бертольд и пр. Почтеннейшим учнейшим и любезнейшим нам во Христе И. Бертраму богословия, А. Дидриху законоучения, Ф. де Мешедя врачевания докторам и А. Елеру словесности магистру здравие и к нижеписанному прилежание.

«Известившись о соблазнах и подлогах, от некоторых в науках переводчиков и книгопечатников происшедших, и желая оным предварить и заградить путь по возможности, повелеваем, да никто в епархии и области нашей не дерзает переводить книги на немецкий язык, печатать или печатные раздавать, доколе таковые сочинения или книги в городе нашем Маинце не будут рассмотрены вами и касательно до самой вещи, доколе не будут в переводе и для продажи вами утверждены, согласно с вышеобъявленным указом.

«Надеяся твердо на ваше благоразумие и осторожность, мы вам поручаем: когда назначаемые к переводу, печатанию или продаже сочинения или книги к вам принесены будут, то вы рассмотрите их содержание, и если нелегко можно дать им истинный смысл или могут возродить заблуждения и соблазны или оскорбить целомудрие, то оные отвергните; те, которые вы отпустите свободными, имеете вы подписать своеручно, а именно на конце двое от вас, дабы тем виднее было, что те книги вами просмотрены и утверждены. Богу нашему и государству любезную и полезную должность отправляйте. Дан в замке С. Мартына. 10 Январия 1486 года».

Рассматривая сие новое по тогдашнему времени законоположение, находим, что оно клонилось более на запрещение, чтобы мало было книг печатано на немецком языке или, другими словами, чтобы народ пребывал всегда в невежестве. На сочинения, на латин-

ском языке писанные, цензура, кажется, не распространялася. Ибо те, которые были сведущи в языке латинском, казалось, были уже ограждены от заблуждения, ему неприступны, и что читали, понимали ясно и некриво.¹ И так священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещенны, чтобы народ науку почитал божественного происхождения, превыше его понятия и не смел бы оныя коснуться. И так изобретенное на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенное недоверяющею властью ко своему могуществу, изобретенное на продолжение невежества и мрака, ныне во дни наук и любомудрия, когда разум отряс несродные ему пути суеверия, когда истина блистает столично паче и паче, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительств стремятся на истребление заблуждений и на отверствие беспреткновенных путей рассудку к истине, постыдное монашеское изобретение трепещущей власти принято ныне повсеместно, укоренено и благо приемлется преградою блуждению. Неистовые! осмотритесь, вы стяжаете превратностию дать истине опору, вы заблуждением хотите просвещать народы. Блюдитесь убо, да не возродится тьма. Какая вам польза, что властвовать будете над невеждами, тем паче загрубелыми, что не от недостатка пособий к просвещению невежды пребыли в невежестве природы или паче в естественной простоте, но, сделав уже шаг к просвещению, остановлены в шестви и обращены вспять, во тьму гонимы? Какая в том вам польза боротися самим с собою и исторгать шуйцею, что десницею насадили? Воззрите на веселящееся о сем священство. Вы заранее уже ему служите. Прострите тьму и почувствуйте на себе оковы, — если не всегда оковы священного суеверия, то суеверия политического, не столь хотя смешного, но столь же пагубного.

По счастью, однакоже, общества, что не изгнали из областей ваших книгопечатание. Яко древо, во всегдашней весне насажденное, не теряет своей зелены, тако орудия книгопечатания оставлены могут быть в действии, но не разрушены.

Папы, уразумев опасность их власти, от свободы печатания родиться могущей, не укоснили законоположить о цензуре, и сие положение прияло силу общего закона на бывшем вскоре потом соборе в Риме. Священный Тиверий, папа Александр VI, первый из пап законоположил о цензуре в 1507 году. Сам согбенный под всеми злодеяниями, не устыдился пещися о непорочности исповедания христианского. Но власть когда краснела! Буллу свою начинает он жалобю на дьявола, который куколь сеет во пшенице, и говорит: «Узнав, что посредством сказанного искусства многие книги и сочинения, в разных частях света, наипаче в Кельне,

¹ Сравнить с ним можно дозволение иметь книги иностранцы всякого рода и запрещение таковых же на языке народном.

Маинце, Триере, Магдебурге напечатанные, содержат в себе разные заблуждения, учения пагубные, христианскому закону враждебные, и ныне еще в некоторых местах печатаются, желая без отлагательства предварить сей ненавистной язвы, всем и каждому сказанного искусства печатникам и к ним принадлежащим и всем, кто в печатном деле обращается в помянутых областях, под наказанием проклятия и денежных пени, определяемой и взыскиваемой почтенными братьями нашими, кельнским, маинцким, триерским и магдебургским архиепископами или их наместниками в областях их, в пользу апостольской камеры, апостольскою властью наистрожайше запрещаем, чтобы не дерзали книг, сочинений или писаний печатать или отдавать в печать без доклада вышесказанным архиепископам или наместникам и без их особенного и точного безденежно испрошенного дозволения; их же совесть обременяем, да прежде, нежели дадут таковое дозволение, назначенное к печатанию прилежно рассмотрят или чрез ученых и православных велят рассмотреть и да прилежно пекутся, чтобы не было печатано противного вере православной, безбожное и соблазн производящего». А дабы прежние книги не соделали более несчастий, то велено было рассмотреть все о книгах реестры и все печатные книги, а которые что-либо содержали противное кафолическому исповеданию, те сжечь.

О! вы, цензуру учреждающие, вспомните, что можете сравниться с папою Александром VI, и устыдитесь.

В 1515 году Латеранский собор о цензуре положил, чтобы никакая книга не была печатана без утверждения священства.

Из предыдущего видели мы, что цензура изобретена священством и ему была единственно присвоена. Сопровождаемая проклятием и денежным взысканием, справедливо в тогдaшнее время казаться могла ужасною нарушителю изданных о ней законоположений. Но опровержение Лутером власти папской, отделение разных исповеданий от римския церкви, прения различных властей в продолжение тридесятилетней войны произвели много книг, которые явились в свет без обыкновенного клейма цензуры. Везде, однакоже, духовенство присвоило себе право производить цензуру над изданиями; и когда в 1650 году учреждена была во Франции цензура гражданская, то богословский факультет Парижского университета новому установлению противуречил, ссылаясь, что двести лет он пользовался сим правом.

Скоро по введении¹ книгопечатания в Англии учреждена цензура. Звездная палата, не меньше ужасная в свое время в Анг-

¹ Виллиам Какстон, лондонский купец, завел в Англии книгопечатницу при Эдуарде IV в 1474 году. Первая книга, печатанная на английском языке, была «Рассуждение о шашечной игре», переведенное с французского языка. Вторая — «Собрание речений и слов философов», переведенное лордом Риверсом.

лии, как в Испании инквизиция или в России Тайная канцелярия, определила число печатников и печатных станков; учредила освобождателя, без дозволения которого ничего печатать не смели. Жестокости ее против писавших о правительстве несчетны, и история ее оными наполнена. Итак, если в Англии суеверие духовное не в силах было наложить на разум тяжкую узду ценсуры, возложена она суеверием политическим. Но то и другое пеклися, да власть будет всецела, да очи просвещения покрыты всегда пребудут туманом обаяния и да насилие царствует на счет рассудка.

Со смертью графа Страфорда рушилась Звездная палата; но ни уничтожение сего, ни судебная казнь Карла I не могли утвердить в Англии вольности книгопечатания. Долгий парламент возобновил прежние положения, против ее сделанные. При Карле II и при Якове I они паки возобновлены. Даже по совершении премены в 1692 году узаконение сие подтверждено, но на два только года. Скончавшись в 1694 году, вольность печатания утверждена в Англии совершенно, и цензура, зевнув в последний раз, издохла.¹

Американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями, вольность гражданскую утверждающими. Пенсильванская область в основательном своем законоположении, в главе 1, в предложительном объявлении жителей пенсильванских, в 12 статье говорит: «Народ имеет право говорить, писать и обнародовать свои мнения; следовательно, свобода печатания никогда не долженствует быть затрудняема». В главе 2 о образе правления, в отделении 35: «Печатание да будет свободно для всех, кто хочет исследовать положения законодательного собрания или другой отрасли правления». В проекте о образе правления в Пенсильванском государстве, напечатанном, дабы жители оногo могли сообщать свои примечания, в 1776 году в июле, отделение 35: «Свобода печатания отверста да будет всем, желающим исследовать законодательное правительство, и общее собрание да не коснется оныя никаким положением. Никакой книгопечатник да не потребуетя к суду за то, что издал в свет примечания, ценения, наблюдения о поступках общего собрания, о разных частях правления, о делах общих или о поведении служащих, поколику оное касается до исполнения их должностей». Делаварское государство в объявлении изяснительном прав в 23 статье говорит: «Свобода печатания да сохраняема будет ненарушимо». Мариландское государство в 38 статье теми же словами объясняется. Виргинское в 14 статье говорит сими словами: «Свобода печатания есть наивеличайшая защита свободы государственной».

¹ В Дании вольное книгопечатание было мгновенно. Стихи Вольтеровы на сей случай к датскому королю во свидетельство остались, что похвалою даже мудрому законоположению спешить не надлежит.

Книгопечатание до перемены 1789 года, во Франции последовавшей, нигде толико стесняемо не было, как в сем государстве. Стоглазый Арг, сторучный Бриарей, парижская полиция свирепствовала против писаний и писателей. В Бастильских темницах томились несчастные, дерзнувшие оуждать хищность министров и их распутство. Если бы язык французский не был толико употребителен в Европе, не был бы всеобщим, то Франция, стена под бичом цензуры, не достигла бы до того величия в мыслях, какое явили многие ее писатели. Но общее употребление французского языка побудило завести в Голландии, Англии, Швейцарии и Немецкой земле книгопечатницы, и все, что явиться не дерзало во Франции, свободно обнародовано было в других местах. Тако сила, кичая своими мышцами, осмеяна была и не ужасна; тако свирепства пенящиеся челюсти праздно оставались, и слово твердое ускользало от них непоглощено.

Но дивись несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, — да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступаая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей.

Размножение книгопечатниц в Немецкой земле, сокрывая от власти орудия оных, отъемлет у нее возможность свирепствовать против рассудка и просвещения. Малые немецкие правления хотя вольности книгопечатания стараются положить преграду, но безуспешно. Векерлин хотя мстящею властью посажен был под стражу, но «Седое Чудовище» осталось у всех в руках. Покойный Фридрих II, король прусский, в землях своих печатание сделал почти свободным не каким-либо законоположением, но дозволением токмо и образом своих мыслей. Чему дивиться, что он не уничтожил цензуры; он был самодержец, коего любезнейшая страсть была всесилие. Но воздержись от смеха. — Он узнал, что указы, им изданные, некто намерен был, собрав, напечатать. Он и к оным приставил двух ценсоров или, правильнее сказать, браковщиков. О властвование! о всесилие! ты мышцам своим не доверяешь. Ты боишься собственного своего обвинения, боишься, чтобы язык твой тебя не посрамил, чтобы рука твоя тебя не заушила! — Но какое добро сии насильствованные ценсоры произвести могли? Не добро, но вред. Скрыли они от глаз потомства нелепое какое-либо законоположение, которое на суд будущей власть оставить стыдилась, которое, оставшись явным, было бы, может быть, уздою

власти, да не дерзает на уродливое. Император Иосиф II рушил отчасти преграду просвещения, которая в Австрийских наследных владениях в царствование Марии Терезии тяготила рассудок; но не мог он стрясти с себя бремени предрассуждений и предлинное издал о цензуре наставление. Если должно его хвалить за то, что не возбранял опочивать свои решения, находить в поведении его недостатки и таковые порицания издавать в печати; но похулим его за то, что на свободе в изъяснении мыслей он оставил узду. Сколь легко употребить можно оную во зло!..¹ Чему дивиться? скажем и теперь, как прежде: он был царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?

В России... Что в России с цензурою происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя цензуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.

МЕДНОЕ

«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой люли, люли, люли»... Хоровод молодых баб и девок; пляшут; подойдем поближе, — говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля. Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О мой друг! где бы ты ни был, внемли и суди.

Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. Публикуется: «Сего... дня пополуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №..., и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желющие могут осмотреть заблаговременно».

На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где она производится, стоят неподвижны на продажу осужденные.

Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом

¹ В новейших известиях читаем, что наследник Иосифа II намерен возобновить цензурную комиссию, предместником его уничтоженную.

господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию он раненого своего господина унес на плечах из строя. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностью своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером.

Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своей ничего у господ своих не утратила, ничем не покровствовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим правдушеством.

Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели своей природной матери. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не радела. Кормилица и нянька его были его воспитанницы. Они с ним расстаются, как с сыном.

Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков. Зверь лютый, чудовище, изверг! Посмотри на нее, посмотри на румяные ее ланиты, на слезы, лиющиеся из ее прелестных очей. Не ты ли, не возмогишь прельщением и обещаниями уловить ее невинности, ни устрашить ее непоколебимости угрозами и казнию, наконец употребил обман, обвенчав ее за спутника твоих мерзостей, и в виде его наслаждался веселием, которого она делить с тобой гнушалась. Она узнала обман твой. Венчанный с нею не коснулся более ее ложа, и ты, лишен став твоея утехы, употребил насилие. Четыре злодея, исполнители твоея воли, держа руки ее и ноги... но сего не окончаем. На челе ее скорбь, в глазах отчаяние. Она держит младенца, плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного.

Младенец... Твой сын, варвар, твоя кровь. Иль думаешь, что где не было обряда церковного, тут нет и обязанности? Иль думаешь, что данное по приказанию твоему благословение наемным извещателем слова божия сочетание их утвердило, иль думаешь, что насильственное венчание во храме божием может назваться союзом? Всесильный мерзит принуждением, он услаждается желаниями сердечными. Они одни непорочны. О! колико между нами прелюбодейств и растлений совершается во имя отца радостей и утешителя скорбей, при его свидетелях, недостойных своего сана.

Детина лет в 25, венчанный ее муж, спутник и наперник своего господина. Зверство и мщение в его глазах. Раскаивается о своих

к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно... Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь, все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонился и будешь раб духом, как и состоянием. А если бы восхотел противиться, умрешь в оковах томною смертию. Судии между вами нет. Не захочет мучитель твой сам тебя наказывать. Он будет твой обвинитель. Отдаст тебя градскому правосудию. — Правосудие! — где обвиняемый не имеет почти власти оправдаться. — Пройдем мимо других несчастных, выведенных на торжище.

Едва ужасоносный молот испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою участь, — слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания. Наитвердейшие были тронуты. Окаменелые сердца! почто бесплодное соболезнование? О квакеры! если бы мы имели вашу душу, мы бы сложились и, купив сих несчастных, даровали бы им свободу. Жив многие лета в объятиях один другого, несчастные сии к поносной продаже восчувствуют тоску разлуки. Но если закон, иль, лучше сказать, обычай варварский, ибо в законе того не писано, дозволяет толикое человечеству посмеяние, какое право имеет продавать сего младенца? Он незаконно-рожденный. Закон его освобождает. Пойдите, я буду доноситель; я избавлю его. Если бы с ним мог спасти и других! О счастье! почто ты так обидело меня в твоём разделе? Днесь жажду вкусити прелестного твоего взора, впервые ощущать начинаю страсть к богатству. — Сердце мое столь было стеснено, что, выскочив из среды собрания и отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг.

— Что тебе сделалось? ты плачешь!

— Возвратись, — сказал я ему: — не будь свидетелем срамного позорища. Ты проклинал некогда обычай варварский в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества; возвратись, — повторил я, — не будь свидетелем нашего затмения и да не возвестиши стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними о наших нравах.

— Не могу сему я верить, — сказал мне мой друг: — невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение.

— Не дивись, — сказал я ему, — установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения.

ТВЕРЬ

— Стихотворство у нас, — говорил товарищ мой трактирного обеда, — в разных смыслах как оно приемлется, далеко еще отстоит величия. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень.

— Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию случилось, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такые, какими писали сии оба знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов преложил Иова или псалмопевца дактилями, или если бы Сумароков «Семиру» или «Дмитрия» написал хорейми, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами опрочь ямбов, и более бы славы в осмилетнем своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпосеи стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Virгилия надет ломоносовским покроем; но желал бы я, чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, — ексаметрах. — и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением.

— Но не одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неумолимый воевик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Телемахидою». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выруют из поросшей мхом забвения могилы, в «Телемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.

— Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию. Слышав долгое время единогласное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении. Чувства наши, как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, по произволению. Сверх же того в стихотворении, так, как и во всех

вещах, может господствовать мода, и если она хотя несколько имеет в себе естественного, то принята будет без прекословия. Но все модное мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Вергилий, Мильтон, Расин, Вольтер, Шекспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.

— Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах, российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль или анапест, всяк знает, если немного кто разумеет правила стихосложения. Но то бы было не излишнее, если бы я мог дать примеры в разных родах достаточные. Но силы мои и разумение коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское стихотворство, да и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, если бы перевод «Генриады» не был в ямбах, а ямбы некраесловные хуже прозы.

Все вышесказанное изрек пирный мой товарищ одним духом и с толикою поворотливостию языка, что я не успел ничего ему сказать на возражение, хотя много кой-чего имел на защищение ямбов и всех тех, которые ими писали.

— Я и сам, — продолжал он, — заразительному последовал примеру и сочинял стихи ямбами, но то были оды. Вот остаток одной из них, все прочие сгорели в огне; да и оставшуюся та же ожидает участь, как и сестра ее постигшая. В Москве не хотели ее напечатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах неясен и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов не свойствен нашей земле. Я еду теперь в Петербург просить о издании ее в свет, ласкаясь, яко нежный отец своего дитяти, что ради последней причины, для коей ее в Москве печатать не хотели, снисходительно воззрят на первую. Если вам не в тягость будет прочесть некоторые строфы, — сказал он мне, подавая бумагу. Я ее развернул и читал следующее: Вольность... Ода. . — За одно название отказали мне издание сих стихов. Но я очень помню что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: «вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам». Следственно, о вольности у нас говорить вместе.

1

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел;
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.

Исполни сердце твоим жаром,
 В нем сильных мышц твоих ударом
 Во свет рабства тьму претвори,
 Да Брут и Телль еще проснутся,
 Седяй во власти, да смянутся
 От гласа твоего цари.

Сию строфу обвинили для двух причин: за стих «во свет рабства тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв, «бства тьму претв.», — на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на итальянском... Согласен... хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия... Но вот другой: «да смянутся от гласа твоего цари». Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла; следовательно... Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы. Позвольте, чтобы я вашим был чтецом.

2

Я в свет изшел, и ты со мною...

Сию строфу пройдем мимо. Вот ее содержание: человек во всем от рождения свободен...

3

Но что ж претит моей свободе?
 Желаньям зрю везде предел;
 Возникла обща власть в пароде,
 Соборный всех властей удел.
 Ей общество во всем послушно,
 Повсюду с ней единодушно.
 Для пользы общей нет препон.
 Во власти всех своей зрю долю,
 Свою творю, творя всех волю:
 Вот что есть в обществе закон.

4

В середине злачныя долины,
 Среди тягченных жатвой нив,
 Где нежны процветают крины,
 Средь мирных под сеньми олив,

Паросска мрамора белее,
 Яснейша дня лучей светлее
 Стоит прозрачный всюду храм.
 Там жертва лжива не курится,
 Там надпись пламенная зрится:
 «Конец невинности бедам».

5

Оливной ветвию венчанно,
 На твердом камени седяй,
 Безжалостно и хладнокравно
 Глухое божество

и пр.; изображается закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие.

6

Возводит строгие зеницы,
 Льет радость, трепет вокруг себя;
 Равно на все взирает лица,
 Ни ненавядя, ни любя.
 Он лести чужд, лицеприятства,
 Породы, знатности, богатства,
 Гнушаясь жертвенныя тли;
 Родства не знает, ни приязни,
 Равно делит и мзду и казни;
 Он образ божий на земли.

7

И се чудовище ужасно,
 Как гидра, сто имея глав,
 Умильно и в слезах всечасно,
 Но полны челюсти отрав.
 Земные власти попирает,
 Главою неба досязает,
 «Его отчизна там», — гласит.
 Призраки, тьму повсюду сеет,
 Обманывать и льстить умеет
 И слепо верить всем велит.

8

Покрывши разум темнотою
 И всюду вея ползкий яд...

Изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущее его в ярем порабощения и заблуждения, во броню его облекшее:

Бояться истины велел...

Власть называет оное изветом божества; рассудок — обманом.

9

Возрیم мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства...

В мире и тишине суеверие священное и политическое, подкрепляя друг друга,

Союзно общество гнетут.
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стертъ стремится;
«На пользу общую», — рекут.

10

Покоя рабского под сенью
Плодов злых не возрастет;
Где все ума претит стремленью,
Великость там не прозябет.

И все злые следствия рабства, как то: беспечность, леность, коварство, голод и пр.

11

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.
Живот и смерть в руке имея:
«По воле, — рек, — щажу злодея,
«Я властью могу дарить;
«Где я смеюсь, там все смеется;
«Нахмурюсь грозно, все смятется.
«Живешь тогда, велю коль жить».

12

И мы внимаем хладнокровно...

как алчный змий, ругаяся всем, отравляет дни веселия и утех. Но хотя вокруг твоего престола все стоят преклонше колена, трепещи, се мститель грядет, прорицая вольность...

13

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает,
Над гордою главою паря.
Ликуйте, склепанны народы;
Се право мщенье природы
На плаху возвело царя.

14

И ноши се завесу лживой
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ воссел:
«Преступник власти, мною данной!
«Вещай, злодей, мною венчанный,
«Против меня восстать как смел?»

15

«Тебя облек я во порфиру
«Равенство в обществе блюсти,
«Вдовицу призирать и сиру,
«От бед невинность чтоб спасти,
«Отцом ей быть чадолюбивым;
«Но мстителем непримиримым
«Пороку, лже и клевете;
«Заслуги честью награждати,
«Устройством зло предупреждати,
«Хранити нравы в чистоте,

16

«Покрыл я море кораблями...

Дал способ к приобретению богатств и благоденствий. Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве и тебя бы благословлял...

17

«Своих кровей я без пощады
 «Гремящую воздвигнул рать;
 «Я медны изваял громады,
 «Злодеев внешних чтоб карать.
 «Тебе велел повиноваться,
 «С тобою к славе устремляться.
 «Для пользы всех мне можно все.
 «Земные недра раздираю,
 «Металл блестящий извлекаю
 «На украшение твое.

18

«Но ты, забыв мне клятву данну,
 «Забыв, что я избрал тебя
 «Себе в утеху быть венчанну,
 «Возмнил, что ты господь, не я;
 «Мечом мой расторг уставы,
 «Безгласными поверг все правы,
 «Стыдиться истине велел,
 «Расчистил мерзостям дорогу,
 «Взывать стал не ко мне, но к богу,
 «А мной гнушаться восхотел.

19

«Кровавым потом доставая
 «Плод, кой я в пищу насадил,
 «С тобою крохи разделяя,
 «Своей натуги не щадил;
 «Тебе сокровищей всех мало!
 «На что ж, скажи, их не достало,
 «Что рубище с меня сорвал?
 «Дарить любимца, полна лести!
 «Жену, чуждающуюся чести!
 «Иль злато богом ты признал?

20

«В отличность знак изобретенный
 «Ты начал наглости дарить;
 «В злодея меч мой изощренный
 «Ты стал невинности сулить;
 «Сгруженные полки в защиту
 «На брань ведешь ли знамениту
 «За человечество карать?
 «В кровавых борешься долинах,
 «Дабы, упившись в Афинах:
 «Ирой! — зевав, могли сказать.

21

«Злодей, злодеев всех лютейший...

Ты все совокупил злодеяния и жало свое в меня устремил...

«Умри! умри же ты стократ», —

Народ вещал...

22

Великий муж, коварства полный,
 Ханжа, и льстец, и святотать!
 Един ты в свет столь благотворный
 Пример великий мог подать.
 Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
 Что, власть в руке своей имея,
 Ты твердь свободы сокрушил.
 Но научил ты в род и роды,
 Как могут мстить себя народы:
 Ты Карла на суде казнил...

23

И се глас вольности раздается во все концы...

На вече весь течет народ;
 Престол чугунный разрушает,
 Самсон как древле сотрясает
 Исполненный коварств чертог.
 Законом строит твердь природы.
 Велик, велик ты, дух свободы,
 Зиждителен, как сам есть бог!

24

В следующих одиннадцати строфах заключается описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...

34

Но страсти, изощряя злобу...

превращают спокойствие граждан в пагубу...

Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,

и все следствия безмерного желания властвовать...

35. 36. 37

Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий. Гражданская брань. Марий, Сулла, Август...

Тревожну вольность усыпил.
Чугунный скиптр обвил цветами...

Следствие того — порабощение...

38. 39

Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...

40

На что сему дивиться? и человек родится на то, чтобы умереть...

Следующие 8 строф содержат пророчания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее. Но время еще не пришло. Когда же оно наступит, тогда

Встрещат заклепы тяжкой ночи.

Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность...

49

Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом, двинется... И власть

приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложение, тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье.
О день, избраннейший всех дней!

50

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества.

Мрачная твердь позыбнулась, и вольность воссияла.

— Вот и конец, — сказал мне новомодный стихотворец.

Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на Пегаса, когда он с норовом.

ГОРОДНЯ

Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пением слух мой был ударям, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.

Подошел к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлись отправляемые на отдачу рекруты.

В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила:

— Любезное мое дитяtko, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травой, мохом — наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Да все то не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле? Кто придет вспомануть меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той.

Подле старухи стояла девка уже взрослая. Она также вопила:

— Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют мне подружки мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя бы бесчеловечные наши старосты, хоть дали бы нам

обвенчаться; хотя бы ты, мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помиловал и дал бы мне паренька на утешение.

Парень им говорил:

— Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце. Зовет нас государь на службу. На меня пал жеребей. Воля божия. Кому не умирать, тот жив будет. Авось либо я с полком к вам приду. Авось либо дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку. — Рекрута сего отдавали из экономического селения.

Совсем другого рода слова внял слух мой в близстоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет тридцати, посредственного роста, стоящего бодро и весело на окрест стоящих взирающего.

— Услышал господь молитву мою, — вещал он. — Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не буду!

Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем он отвечал:

— Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было итти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, преплыв на другой берег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертью, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим именованием, нередко хуже скотов, но, к несчастью их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян?

И поистине не ожидал я сказанного от одетого в смурый кафтан со бритым лбом. Но желая удовлетворить моему любопытству, я просил егс, чтобы он уведомил меня, как, будучи толь низкого состояния, он достиг понятий, недостающих нередко в людях, несвойственно называемых благородными.

— Если вы не поскучаете слышать моей повести, то я вам скажу, что я родился в рабстве; сын дядьки моего бывшего господина. Сколь восхищаюсь я, что не назовут уже меня Ванькою, ни поносительным именованием, ни позыва не сделают свистом.

Старый мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участию своих рабов, хотел за долговременные заслуги отца моего отличить и меня, дав мне воспитание наравне с своим сыном. Различия между нами почти не было, разве только то, что он на кафтане носил сукно моего потоне. Чему учили молодого боярина, тому учили и меня; наставления нам во всем были одинаковы, и без хвастовства скажу, что во многом я лучше успел своего молодого господина.

«— Ванюша, — говорил мне старый барин, — счастье твое зависит совсем от тебя. Ты более к учености и нравственности имеешь побуждений, нежели сын мой. Он по мне будет богат и нужды не узнает, а ты с рождения с нею познакомился. Итак, старайся быть достоин моего о тебе попечения».

— На семнадцатом году возраста молодого моего барина отправлен был он и я в чужие края с надзирателем, коему предписано было меня почитать спутником, а не слугою. Отправляя меня, старый мой барин сказал мне:

«— Надеюсь, что ты возвратишься к утешению моему и своих родителей. Раб ты в пределах сего государства, но вне оных ты свободен. Возвратясь же в оное, уз, рождением твоим на тебя наложенных, ты не обрящешь».

— Мы отсутственны были пять лет и возвращались в Россию: молодой мой барин в радости видеть своего родителя, а я, признаюсь, ласкаясь пользоваться сделанным мне обещанием. Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества. И поистине предчувствие его было не ложно. В Риге молодой мой господин получил известие о смерти своего отца. Он был оною тронут, я приведен в отчаяние. Ибо все мои старания приобрести дружбу и доверенность молодого моего барина всегда были тщетны. Он не только меня не любил, из зависти, может быть, тесным душам свойственной, но ненавидел.

— Приметив мое смятение, известием о смерти его отца произведенное, он мне сказал, что сделанное мне обещание не позабудет, если я того буду достоин. В первый раз он осмелился мне сие сказать, ибо, получив свободу смертью своего отца, он в Риге же отпустил своего надзирателя, заплатив ему за труды его щедро. Справедливость надлежит отдать бывшему моему господину, что он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают.

— Чрез неделю после нашего в Москву приезда бывший мой господин влюбился в изрядную лицом девицу, но которая с красотою телесною соединяла скарднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в надменности своего происхождения, отличностью почитала только внешность, знатность, богатство. Чрез два месяца она стала супруга моего барина и моя повелительница. До того времени я не чувствовал перемены в моем состоянии, жил

в доме господина моего как его сотоварищ. Хотя он мне ничего не приказывал, но я предупреждал его иногда желанья, чувствуя его власть и мою участь. Едва молодая госпожа переступила порог дому, в котором она определялася начальствовать, как я почувствовал тягость моего жребия. Первый вечер по свадьбе и следующий день, в который я ей представлен был супругом ее как его сотоварищ, она занята была обыкновенными заботами нового супружества; но ввечеру, когда при довольно многолюдном собрании пришли все к столу и сели за первый ужин у новобрачных и я, по обыкновению моему, сел на моем месте на нижнем конце, то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу: если он хочет, чтоб она сидела за столом с гостями, то бы холопей за оный не сажал. Он, взглянув на меня и движим уже ею, прислал ко мне сказать, чтобы я из-за стола вышел и ужинал бы в своей горнице. Вообразите, колико чувствительно мне было сие уничижение. Я, скрыв, однакоже, истступающие из глаз моих слезы, удалился. На другой день не смел я показаться. Не наведываясь обо мне, принесли мне обед мой и ужин. То же было и в следующие дни. Чрез неделю после свадьбы в один день после обеда новая госпожа, осматривая дом и распределяя всем служителям должности и жилище, зашла в мои комнаты. Они для меня уготованы были старым моим барином. Меня не было дома. Не повторю того, что она говорила, будучи в оных, мне в посмеяние, но, возвратясь домой, мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже, с холостыми официантами, где моя постель, сундук с платьем и бельем уже поставлены; все прочее она оставила в прежних моих комнатах, в коих поместила своих девок.

— Что в душе моей происходило, слыша сие, удобнее чувствовать, если кто может, нежели описать. Но дабы не занимать вас излишним, может быть, повествованием, госпожа моя, вступив в управление дома и не находя во мне способности к услуге, поверстала меня в лакеи и надела на меня ливрею. Малейшее мнение упущение сея должности влекло за собою пощечины, батожек, кошки. О государь мой, лучше бы мне не родиться! Колико крат негодовал я на умершего моего благодетеля, что дал мне душу на чувствование. Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что емь человек, всем другим равный. Давно бы, давно бы избавил себя ненавистной мне жизни, если бы не удерживало прещение вышнего над всеми судии. Я определил себя сносить жребий мой терпеливо. И сносил не токмо уязвления телесные, но и те, коими она уязвляла мою душу. Но едва не преступил я своего обета и не отъял у себя томные остатки плачевного жития при случившемся новом души уязвлении.

— Племянник моей барыни, молодец осмнадцати лет, сержант гвардии, воспитанный во вкусе московских щегольков, влюбился в горничную девку своей тетушки и, скоро овладев опытною ее

горячностью, сделал ее матерью. Сколь он ни решителен был в своих любовных делах, но при сем происшествии несколько смутился. Ибо тетушка его, узнав о сем, запретила вход к себе своей горничной, а племянника побранила слегка. По обыкновению милосердых господ, она намерилась наказать ту, которую жаловала прежде, выдав ее за конюха замуж. Но как все они были уже женаты, а беременной для славы дома надобен был муж, то хуже меня из всех служителей не нашла. И о сем госпожа моя в присутствии своего супруга мне возвестила яко отменную мне милость. Не мог я более терпеть поругания.

«— Бесчеловечная женщина! во власти твоей состоит меня мучить и уязвлять мое тело; говорите вы, что законы дают вам над нами сие право. Я и сему мало верю; но то твердо знаю, что вступать в брак никто принужден быть не может». — Слова мои произвели в ней зверское молчание. Обратясь потом к супругу ее:

«— Неблагодарный сын человеколюбивого родителя, забыл ты его завещание, забыл и свое изречение; но не доводи до отчаяния души, твоя благороднейшей, страшись!»

— Более сказать я не мог, ибо по повелению госпожи моей отведен был на конюшню и сечен нещадно кошками. На другой день едва я мог встать от побоев с постели; и паки приведен был пред госпожу мою.

«— Я тебе прощу, — говорила она, — твою вчерашнюю дерзость; женись на моей Маврушке, она тебя просит, и я, любя ее в самом ее преступлении, хочу это для нее сделать».

«— Мой ответ, — сказал я ей, — вы слышали вчера, другого не имею. Присовокуплю только то, что просить на вас буду начальство в принуждении меня к тому, к чему не имеете права».

«— Ну, так пора в солдаты», — вскричала яростно моя госпожа... — Потерявший путешественник в страшной пустыне свою стезю меньше обрадуется, сыскав опять оную, нежели обрадован был я, услышав сии слова; «в солдаты», — повторила она, и на другой день то было исполнено.

— Несмысленная! она думала, что так, как и поселянам, поступление в солдаты есть наказание. Мне было то отрада, и как скоро мне vybrили лоб, то я почувствовал, что я переродился. Силы мои обновилися. Разум и дух паки начали действовать. О! надежда, сладостное несчастному чувство, пребуди во мне! — Слеза тяжкая, но не слеза горести и отчаяния истушила из очей его.

Я прижал его к сердцу моему. Лице его новым озарилось веселием.

— Не все еще исчезло; ты вооружаешь душу мою, — вещал он мне, — против скорби, дав чувствовать мне, что бедствие мое не бесконечно...

От сего несчастного я подошел к толпе, среди которой увидел трех скованных человек крепчайшими железамн. Удивления достойно, — сказал я сам себе, взирая на сих узников: — теперь унылы, томны, робки, не токмо не желают быть воинами, но нужна даже величайшая жестокость, дабы вместиť их в сие состояние; но обыкнув в сем тяжком во исполнении звании, становятся бодрн, предприимчивн, гнушаяся даже прежнего своего состояния. Я спросил у одного близстоящего, который по одежде своей приказным служителем быть казался:

— Конечно, бояся их побегу, заключили их в толь тяжкие оковы?

— Вы отгадали. Они принадлежали одному помещику, которому зандобилися деньги на новую карету, и для получения оной он продал их для отдачи в рекруты казенным крестьянам.

Я. Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.

О н. Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты. Их везут теперь с отпускными для приписания в нашу волость.

Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются как скоты! О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слогe! Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того посмеяние священного имени вольности. О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скорс бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор пронизает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие. — С негодованием отошел я от толпы.

Но склепанные узники теперь вольны. Если бы хотя немного имели твердости, утщетили бы удручительные помыслы своих тиранов... Возвратимся...

— Друзья мои, — сказал я пленникам в отечестве своем: — ведаете ли вы, что если вы сами не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может?

— Перестань, барин, шутить над горькими людьми. И без твоей шутки больно было расставаться одному с дряхлым отцом, другому с малолетними сестрами, третьему с молодою женою. Мы знаем, что господин нас продал для отдачи в рекруты за тысячу рублей.

— Если вы до сего времени не ведали, то ведайте, что в рекруты продавать людей запрещается; что крестьяне людей покупать не могут; что вам от барина дана отпускная и что вас покупщики ваши хотят приписать в свою волость будто по вашей воле.

— О, если так, барин, то спасибо тебе; когда нас поставят в меру, то все скажем, что мы в солдаты не хотим и что мы вольные люди.

— Прибавьте к тому, что вас продал ваш господин не в указное время и что отдают вас насильным образом.¹

Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах сих несчастных. Вспрынув от своего места и бодро потрясая свои оковы, казалось, что испытывают свои силы, как бы их свергнуть. Но разговор сей ввел было меня в великие хлопоты: отдатчики рекрутские, вразумев моей речи, воспаленные гневом, прискочив ко мне, говорили:

— Барин, не в свое мешаешься дело, отойди, пока сух, — и сопротивляющегося начали меня толкать столь сильно, что я с поспешностию принужден был удалиться от сея толпы.

Подходя к почтовому двору, нашел я еще собрание поселян, окружающих человека в разодранном сертуке, несколько, казалось, пьяного, кривляющегося на предстоящих, которые, глядя на него, хохотали до слез.

— Что тут за чудо? — спросил я у одного мальчика, — чему вы смеетесь?

— А вот рекрут иноземец, по-русски не умеет пикнуть. — Из редких слов, им изреченных, узнал я, что он был француз. Любопытство мое паче возбудилось; и желал узнать, как иностранец мог отдаваем быть в рекруты крестьянами? Я спросил его на сродном ему языке:

— Мой друг, какими судьбами ты здесь находишься?

Ф р а н ц у з. Судьбе так захотелось; где хорошо, тут и жить должно.

Я. Да как ты попался в рекруты?

Ф р а н ц у з. Я люблю воинскую жизнь, мне она уже известна, я сам захотел.

Я. Но как то случилось, что тебя отдают из деревни в рекруты? Из деревень берут в солдаты обыкновенно одних крестьян, и русских; а ты, я вижу, не мужик и не русский.

Ф р а н ц у з. А вот как. Я в Париже с ребячества учился перукумахерству. Выехал в Россию с одним господином. Чесал ему волосы в Петербурге целый год. Ему мне заплатить было нечем. Я, оставив его, не нашед места, чуть не умер с голоду. По счастью мог попасть в матрозы на корабль, идущий под россий-

¹ Во время рекрутского набора запрещается в продаже крестьян совершать купчие.

ским флагом. Прежде отправления в море приведен я к присяге как российский подданный и отправился в Любек. На море часто корабельщик бил меня линьком за то, что был ленив. По неосторожности моей упал с вантов на палубу и выломил себе три пальца, что меня навсегда сделало неспособным управлять гребнем. Приехав в Любек, попался прусским наборщикам и служил в разных полках. Нередко за леность и пьянство бит был палками. Заколов, будучи пьяный, своего товарища, ушел из Мемеля, где я находился в гарнизоне. Вспомнил, что я обязан в России присягою; и яко верный сын отечества отправился в Ригу с двумя талерами в кармане. Дорогою питался милостынею. В Риге счастье и искусство мое мне послужили; выиграл в шинке рублей с двадцать и, купив себе за десять изрядный кафтан, отправился лакеем с казанским купцом в Казань. Но, проезжая Москву, встретился на улице с двумя моими земляками, которые советовали мне оставить хозяйство и искать в Москве учительского места. Я им сказал, что худо читать умею. Но они мне отвечали: «ты говоришь по-французски, то и того довольно». Хозяин мой не видал, как я на улице от него удалился, он продолжал путь свой, а я остался в Москве. Скоро мне земляки мои нашли учительское место за сто пятьдесят рублей, пуд сахару, пуд кафе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга и карета. Но жить надлежало в деревне. Тем лучше. Там целый год не знали, что я писать не умею. Но какой-то сват того господина, у которого я жил, открыл ему мою тайну, и меня свезли в Москву обратно. Не нашед другого подобного сему дурака, не могли отправлять мое ремесло с изломанными пальцами и боясь умереть с голоду, я продал себя за двести рублей. Меня записали в крестьяне и отдадут в рекруты. Надеюсь, — говорил он важным видом, — что сколь скоро будет война, то дослужуся до генеральского чина; а не будет войны, то набью карман (коли можно) и, увенчан лаврами, отъеду на покой в мое отечество.

Пожал я плечами не один раз, слушав сего бродягу, и с уязвленным сердцем лег в кибитку, отправился в путь.

ЗАВИДОВО

Лошади уже были впряжены в кибитку, и я приготовлялся к отъезду, как вдруг сделался на улице великий шум. Люди начали бегать из края в край по деревне. На улице видел я воина в граподерской шапке, гордо расхаживающего и, держа поднятую плеть, кричащего:

— Лошадей скорее; где староста? его превосходительство будет здесь чрез минуту; подай мне старосту... — Сняв шляпу за сто шагов, староста бежал во всю прыть на сделанный ему позыв,

— Лошадей скорее!

— Тотчас, батюшка; пожалуйте подорожную.

— На. Да скорее же, а то я тебя... — говорил он, подняв плеть над головою дрожащего старосты. Недоконченная сия речь столь же была выражения исполнена, как у Виргилия в «Енеиде» речь Еола к ветрам: «Я вас!»... и, сокращенный видом плети властолюбительного гранодера, староста столь же живо ощущал мощь десницы грозящего воина, как бунтующие ветры ощущали над собою власть сильной Еоловой остроги. Возвращая новому Полкану подорожную, староста говорил:

— Его превосходительству с честною его фамилией потребно пятьдесят лошадей, а у нас только тридцать налицо, другие в разгоне.

— Роди, старый чорт. А не будет лошадей, то тебя изуродую.

— Да где же их взять, коли взять негде?

— Разговорился еще... А вот лошади у меня будут... — и, схвата старика за бороду, начал его бить по плечам плетью нещадно. — Полно ли с тебя? Да вот три свежие, — говорил строгий судья ямского стана, указывая на впряженных в мою повозку. — Выпряги их для нас.

— Коли барин-та их отдаст.

— Как бы он не отдал! У меня и ему то же достанется. Да кто он таков?

— Невестя какой-то... — как он меня величал, того не знаю.

Между тем я, вышед на улицу, воспретил храброму предтече его превосходительства исполнить его намерение и, выпрягая из повозки моей лошадей, меня заставить ночевать в почтовой избе.

Спор мой с гвардейским полканом прерван был приездом его превосходительства. Еще издали слышен был крик повозчиков и топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение копыт и зрению уже неприметное обращение колес подымающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон Кишот, конечно, нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное облако под знатною его превосходительства особою, вдруг остановясь, разверзлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным.

От приезде моего на почтовый стан до того времени, как лошади вновь впряжены были в мою повозку, прошло по крайней мере целый час. Но повозки его превосходительства запряжены были не более как в четверть часа... и поскакали они на крылех ветра. А мои клячи хотя лучше казались тех, кои удостоились везти превосходительную особу, но, не бояся гранодерского кнута, бежали посредственно рысью.

Блаженны в единовластных правлениях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угождают их желаниям, и, дабы им в путе-

шествии зевая не наскучилось, скажут они, не жалея ни ног, ни легкого, и нередко от натуги околевают. Блаженны, повторю я, имеющие внешность, к благоговению всех влекущую. Кто ведает из трепещущих от плети, им грозящей, что тот, во имя коего ему грозят, безгласным в придворной грамматике называется; что ему ни А..., ни О... во всю жизнь свою сказать не удалось;¹ что он одолжен, и сказать стыдно кому, своим возвышением; что в душе своей он скареднейшее есть существо; что обман, вероломство, предательство, блуд, отравление, татвство, грабеж, убивство не больше ему стоят, как выпить стакан воды; что ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от гнева или пощечины; что он друг всякого придворного истопника и раб едва-едва при дворе нечто значущего. Но властелин и презирающ не ведающих его низкости и ползущества. Знатность без истинного достоинства подобна колдунам в наших деревнях. Все крестьяне их почитают и боятся, думая, что они чрезвычайные повелители. Над ними сии обманщики властвуют по своей воле. А сколь скоро в толпу, их боготворящую, завернется мало кто, грубейшего невежества отчуждившийся, то обман их обнаруживается, и таковых дальновидцов они не терпят в том месте, где они творят чудеса. Равно берегись и тот, кто посмеет обнаружить колдовство вельмож.

Но где мне гнаться за его превосходительством! Он поднял пыль столбом, которая по пролете его исчезла, и я, приехав в Клин, нашел даже память его погибшую с шумом.

КЛИН

— «Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиям князь...» — Поющий сию народную песнь, называемую «Алексеем божиим человеком», был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, взмкнутые очи, вид спокойствия, в лице его аримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, по нежностию изречения сопровождаемый, проникал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели возвращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты

¹ См. рукописную «Придворную грамматику» Фоп-Визина.

властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид воспринял важности. О! природа, — возопил я паки...

Сколь сладко неизвительное чувство скорби! Колико сердце оно обновляет и оно чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоящие давали старику как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краяхи хлеба довольно равнодушно, но всегда сопровождаая благодарность свою поклоном, крестясь и говоря к подающему: «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалось мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъежает терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изреци обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, — вещал я сам себе, — подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соблезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краешку хлеба певшему старцу!

— Не пятак ли? — сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово.

— Нет, дедушка, рублевик, — сказал близстоящий его мальчик.

— Почто такая милостыня? — сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалось, мысленно вообразити себе то, что в горсти его лежало. — Почто она не могущему ею пользоваться? Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолил бы хотя на одни сутки вопль алчущих итенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку немного прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми

его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора. — О истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну.

— Возьми его назад, мне, право, он не надобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей в силе своей пушечным ядром. О! вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество! — Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.

— Прими свой праздничный пирог, дедушка, — говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. С каким восторгом он принял его обеими руками!

— Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять; он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господу; за ним никогда ничто не пропадает.

— Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок, — сказал я ему, — и одно мое отвергнешь подавание? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца.

— Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию, — говорил старец; — не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло — платчишка не было, чем повязать шеи, — бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старинького у тебя платка? Когда

у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминание нищего. — Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Возвращаясь чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев перед смертью, на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.

П Е Ш К И

Сколь мне ни хотелось поспешать в окончании моего путешествия, но, по пословице, голод — не свой брат — принудил меня зайти в избу и, доколе не доберуся опять до рагу, фрикасе, паштетов и прочего французского кушанья, на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мною ехала в запасе. Пообедав сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники (не говорю о генералах) в дальних походах, я, по похвальному общему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофию и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников.

Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка подошла ко мне маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушанья.

— Почему боярское? — сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара, — неужели и ты его употреблять не можешь?

— Потому и боярское, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы.

— Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать?

— Не все; но все господа дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? — Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несеянной муки. — Да и то слава богу при нынешних неурожаях. У многих соседей наших и того хуже. Что ж вам, бояре, в том прибыли, что вы едите сахар, а мы голодны? Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть, потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит. — И начала сажать хлебы в печь.

Сия укоризна, произнесенная не гневом или негодованием, но глубоким ощущением душевныя скорби, исполнила сердце

мое грустию. Я обоарел в первый раз внимательно всю утварь крестьянския избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. — Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на укус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. — Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. — Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередку у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны — почти всесилие; с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме...

Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли не сотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, — но пред судиею, не ведающим лицепрятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего. Но не ласкайся безвозмездием. Неусыпный сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О! если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу... О! если бы человек, входя по часту во внутренность свою, исповедал

бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громopodobным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния; редки бы тогда стали губительствы, опустошения... и пр. и пр. и пр.

ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ

Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в радость претвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненавидят и властью господина своего влекутся на казнь, к олтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истинного блаженства, творца вселенныя. И служитель его примет исторгнутую властью клятву и утвердит брак! И сие назовется союзом божественным! И богохуление сие останется на пример другим! И неустройство сие в законе останется ненаказанным!.. Почто удивляться сему? Благословляет брак наемник; градодержатель, для охранения закона определенный, — дворянин. Тот и другой имеют в сем свою пользу. Первый ради получения мзды; другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного премуущества управлять себе подобным самовластно. — О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и вночат моих...

Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнасский судья, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы. Сколь опыты его были удачны, коли хочешь, суди сам; а мне скажи на ушко, каково тебе покажется. Если, читая, тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессонницы.

СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ

Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей. ¹ Солнце лице свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувствительна. ² Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут должно существовать быть конец всех блестящих подвигов; на

¹ Озерки.

² Июль.

месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалось, совместно быть кичение, тщеславие и надменность? Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческие гордыни, но знаки желания его жить вечно. Но се ли вечность, которая человек толково жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово русского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихи, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обширных России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово русское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, оставаясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. — Нет, не холодный камень сей повествует, что ты жил на славу имени русского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен.

Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Прииди беседовать со мною о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю русского слова. Пускай другие, раблепствуя власти, превозносят хвалю силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу.

Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах... Рожденный от человека, который не мог дать ему воспитания, дабы посредством одного понятие его изострилось и украсилось полезными и приятными знаниями; определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленная области не далее их ремесла простирается; сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда, — разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, ни глас его той сладости, которую он имел от обхождения чистых мусс. От воспитания в родительском доме он приял мало важное, но ключ учения: знание читать и писать, а от природы — любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клопочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав (нет преткновения) к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем.

Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях протекшего наук источника до низжайших степеней общества. Чуждый руководства, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобрести на месте рождения своего, не могла усладить жаждающего духа, но паче возжгла в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей.

Подстрекаем науки алчною, Ломоносов оставляет родительский дом; течет в престольный град, приходит в обитель иноческих мусс и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию.

Преддверие учености есть познание языков; но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим камнем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы путешественника — покойныя гладости на отдохновение, ни зеленеющего убежища утомленному тут нет. Тако учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха утомляется, и язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет свое крылие; единая память бдит и острится и все излучины и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно, восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии трудности, коликократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь образований. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами тоя области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвоаем их понятия; и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетаваем и приводим в единую связь.

Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима. И се наградилося его постоянство. Яко слепец, от чрева матерня света не зревший, когда искусною глазврачевателя рукою воссияет для него величество дневного светила, — быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он живет обычных всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение латинского и греческого языков, пожирал красоты

древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъяслять чувства свои, давать тело мысли и душу бездыханному.

Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явились в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе неведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гонящегося за видом учения везде, где казалось быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основанно положил к изящности своего слога, какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство русского слова.

Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любознания. Логика научила его рассуждать; математика верные делать заключения и убеждаться единою очевидностью; метафизика преподавала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; физика и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ее таинства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие.

Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновном торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены деньги. Злато и серебро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преобразены стали в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только, поистине тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение, земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оныя в неведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живой нисходил в могилу и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в ночи свою пищу. Тако человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своей жизни на

половину, питаюсь ядовитым дыханием паров, из земли исходящих. Но как и самая отравка, став иногда привычкою, бывает необходимою человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своей смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности.

Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, чрез которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не могут николи. Исполнил первый шаг; — что делаешь? — вопиет ему рассудок. — Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своей собратии? Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желает ли списать вящее искусство извлекати серебро и золото? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысячи в животе сущие погребаются.

Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождались. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносною силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не перемения своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рождающийся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод и что воды, переселяясь из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряясь из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огонь, проникнув в недра земные и встретив противоборствующую себе влагу, ярьась, мучила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тщилось своим противо-

действием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, вспомнил алчбу и бедствие человек и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности.

Упражняясь в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи преложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец. Беседуя с Горацием, Вергилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. Итак он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышущие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг.

Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах, языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая однакоже, что обычной первый всегда подает в сочетании слов пример, и речения, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но не довольствуясь преподавать правила русского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще яко благороднейшем по разуму даровании, данном человеку для сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его грамматики: Слово представляет мысли; орудие слова есть голос; голос изменяется образованием или выговором; различное изменение голоса изображает различие мыслей; итак, слово есть изображение наших мыслей посредством образования голоса чрез органы, на то устроенные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изобра-

жения называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои опричь образовательного различия голоса различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речения, или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется *имя*; изображение деяния — *глагол*. Для изображения же сношения вещей между собою и для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени; оттуда и глаголы расположены по временам, для изображения деяния, в какое время оно происходит. Наконец Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи.

Предпослав такое философическое рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила российского слова. И могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум водим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великий муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о российском слове суть многообразны; и ты считаешься в малоприятительном сем своем труде яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоей риторики, а та и другая — руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых Гелликона, показав им путь к красноречию, начертывая правила риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из поднятого труда совершить одну только половину.

Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народных. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самая смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения — в их чувствах, сила доводов — в их остроумии. Удивляясь толико отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила

остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему воображению, исправившемуся беседою с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный в сем предприят труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся вслед славы, словесными науками стяжаемой.

Но если тщетный его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, — Ломоносов надежнейшие любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, почти не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.

Прияв от природы право нецененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народных толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделовают, — тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразными отверзал общему уму стези на познания. Повлекши его за собою вослед, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая на Олимпийских играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего вослед псалмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниею и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, что есть разум человеческий? — Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет.

Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательных твоя души ко благодея-

ниям. Но позавидует не могущий вослед тебе итти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной оградой градов и сел, царств и царей утешения; позавидует бесчисленным красотам твоего слова; и если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалося еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. Но возри: в пространном ристалище, коего конца око не досягает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всеильному нельзя отнять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души и как сии действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание. Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность; или какое между безвещественностей есть прикосновение. Что оно существует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова.

Но если действие стихов Ломоносова могло размашистый сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. Цветы, собранные им в Афинах и в Риме и столь удачно в словах его пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? он же, пресытившись обильным велеречием похвальных твоих слов, возремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитаяся в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного от витийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было, однакоже, всеобщее. Если не было ему последователя в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилось. Сравни то, что писано до Ломоносова, и то, что писано после его, — действие его прозы будет всем внятно.

Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славились. Правда, они были; но слог их не был

слог российский. Они писали, как можно было писать до нашего времени татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его поучаясь, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние всех, на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты, призванный на торжественное благодарение богу браней, богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницею его, да придет зрети плода своего насаждения: *«Востани, Петр, востани»*; когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде око, когда казалось всем, что, приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою вышею одаренный, тогда бы и я вещал к Ломоносову: зри, зри и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить... В Платоне душа Платона, и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце.

Чуждый раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом всезидущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и если бы всеильный восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лице наше будет от него отвращено.

Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого деесписателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном; не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера, зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, по шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не согладал он ниже грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники.

Ужели поставим его близ удостоившегося паилестнейшия надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истиною, дерзающею на силу: *«Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей»*. За то ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел.

Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внят-

ным. И хотя мы не находим в творениях его, до естественных науки касающихся, изящного учителя естественности, найдем, однакоже, учителя в слове и всегда достойный пример на полюдание.

Итак, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только, распложая неистовое слово, вождаемся иступлением и пристратием. Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский не достоин разве напоминения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всеисилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда пронизателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей? Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенной существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемогущая, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса, крутящиеся горè, образовались. Первый мах в творении всеисилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно.

Но, любезный читатель, я с тобою закалякался... Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. — Ямщик, погоняй.

Москва! Москва!!!..



Беседа о том, что есть сын отечества

— Не все рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. — Поудержись, чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге.

— Вступи и виждь! Кому не известно, что имя сына отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту или другому бессловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлеченным от божественных и естественных гражданским, или общежительным.

— Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына отечества?

— Он не человек, по что? он ниже скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчастнейших, кои коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равные с лошадью воздаяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, обьяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца;

не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, впрочем, обременены тяжестью своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои не что иное, как мертвые тела, погребенные одно против другого; работают необходимое для человека из страха; им ничего, кроме смерти, не желательно и коим наималейшее желание наказано и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что они достойного человечества сделали? какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? какое добро, какую пользу принесло государству сие великое число рук?

— Не о сих здесь слово; они не суть члены государства, они не человеки, когда суть не что иное, как движимые мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот!

— Человек, человек потребен для ношения имени сына отечества! Но где он? где сей, украшенный достойно сим величественным именем?

— Не в объятиях ли неги и любострастия? Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? Не зарытый ли в скверно-прибыточестве, зависти, зловождедении, вражде и раздоре со всеми, даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют и к одному и тому же устремляются? или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пьянства? Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все дома для бессмысленнейшего пустоглаголения, для обольщения целомудрия, для заражения благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем сажи, щеки коробками белил и сурика или, лучше сказать, живописною политрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего тела его происходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний, — словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки: он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко — он щеголь.

— Не сей ли есть сын отечества? — или тот, поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми одному ему известными средствами

раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные? потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын отечества?

— Или тот, простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие упылую и томную их жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который восхищается радостью, ежели открывается ему случай к новому приобретению, пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие не поколеблет его сердца; все сие для него не значит ничего, — он умножает свое имя, а сего и довольно. — И так не сему ли принадлежит имя сына отечества?

— Или не тот ли, сидящий за исполненным произведениями всех четырех стихий столом, коего услаждению вкуса и брюха жертвуют несколько человек, отъятых от служения отечеству, дабы по пресыщении мог он быть перевален в постель и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какие он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюстями своими? И так, конечно, сей или же который-нибудь из вышесказанных четырех (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдем)? Смесь сих четырех везде видна, но еще не виден сын отечества, ежели он не в числе сих!

— Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человека, не согласен наименовать вычисленных людей сынами отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе и приговорят исключить таковых из числа сынов отечества, поелику нет человека, сколько бы он ни был порочен и ослеплен собою, что бы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.

— Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя унижаема, поносима, поработаема насилем, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит *честь*, без которой он как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сия есть истинная честь, ибо ложная вместо избавления покоряет всему вышесказанному и никогда не успокоит сердца человеческого.

— Всякому врождено чувствование истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предубеждений к тихому ее, чести то есть, свету. Нет ни одного из смертных толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению *чести*. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонского, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже род смертных так, что одна, и притом гораздо большая часть оных должна непременно быть в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать, что есть *честь*? а другая в господственном, потому, что не многие имеют благородные и величественные чувствования.

— Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие нимало не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя и, следовательно, к люблению истинной славы и *чести*. Причиною тому или род провождаемой жизни, обстоятельства, или в конх быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечнаго.

— Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежели б вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания и при которых истинный друг человечества содрогается.

— Что бы такое представляла тогда природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком рождается она пламенная любовь к снисканию *чести* и похвалы у других. Сие происходит из врожденного человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувствование толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других

благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя.

— И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к *чести* и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других есть величайшее и надежнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувствование, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? Какое есть средство к избавлению от страха пасть навеки под ужаснейшим бременем оных? ежели отъять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему существу не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа ради взаимной помощи и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всем заглушении сего внутреннего гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя.

— Кто посеял в человеке чувствование сие искать прибежища? — Врожденное чувствование зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами и к заботе нравиться им? — Поистине не что иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратии своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства.

— Рассматривающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! И се начало того побуждения к люблению *чести*, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостью при воззрении его, похвалами, восклицаниями. Се предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын отечества есть одно и то же; следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом *честолюбив*.

— Сим да начинает украшать он величественное наименование сына отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою

совесть, возлюбити ближних; ибо единою любовью приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благо-разумие и честность, не заботясь нимало о воздаянии, почести, превозношении и славе, которая есть сопутница или паче тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемую не вечерним солнцем правды; ибо те, которые гоняются за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.

— Истинный человек есть истинный исполнитель всех преду-ставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скром-ность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благо-говением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустрой-ство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении отечеству; служа оному, он знает, что он содействует здравосному обращению, так сказать, крови государственного тела. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонравия и тем отнять у оте-чества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оного; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовью к целости и спокойствию своих соотчичей; ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и наставле-ния, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; если же она нужна для отечества, то сохраняет ее для всемерного соблю-дения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту и ослабить благо-намеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствована-ния соотчественников своих. Словом, он *благонравен!* Вот другой верный знак сына отечества!

— Третий же и, как кажется, последний отличительнейший знак сына отечества, когда он *благороден*. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенен истинно мудрым любо-честием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинувась законам и блюстителям оных, предержавшим властям, как всего себя, так и все, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчичей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может

не трепетать от нежной радости при едином имени отечества и который не иначе чувствует при том воспоминании (которое в нем непрестанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оного: верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце и которой в ее тишине и удовольствии ничто в свете уподобиться не может. Ибо истинное *благородство* есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честью, которая не инде находится, как в непрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам естества и народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына отечества!

— Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сии качества сына отечества и хотя всяк сроден иметь оные, но не могут, однакож, не быть нечисты, смешаны, темны, запутаны без надлежащего воспитания и просвещения науками и знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустройством. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. Почему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви отечества, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви к наукам и художествам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, обучающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры или зодчества.

— Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания и на сих правилах основанного введен богомудрыми монархами, и просвещенная Европа с изумлением видит успехи оного, восходящие к предположенной цели исполинскими шагами!

Н. М. КАРАМЗИН

1766 - 1826



После памятных событий 1773—1775 гг. русское дворянство, испуганное восстанием народа, оставило игру в либерализм и еще теснее сплотилось вокруг трона. Была уничтожена Запорожская Сечь, казачье самоуправление заменено «гражданским правительством». Указом 1775 г. было введено «Учреждение для управления губерний», по которому Россия получала новое административное деление, усиливался политический надзор, укреплялась дворянская диктатура во всех инстанциях государственной власти. Права дворянства были подтверждены и расширены особой «Жалованной грамотой дворянству», изданной в 1785 г. Положение крепостных крестьян ухудшилось, они подвергались жесточайшей эксплуатации, и на бедственное их состояние указал Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», открыто призывавший к социальной революции в России.

Часть дворянского общества — наиболее осторожная, нужно сказать, потому что Простаковы и Скотинины не задумывались о последствиях безудержного помещичьего произвола, — пытается опереться на религию, заполняет ряды масонских организаций. Учение масонов было реакционным, так как оно уведило от политической борьбы за переустройство социального строя в мистический мир.

В Москве в 1780-е годы возникает крупное масонское объединение. Его силами и средствами воспользовался Н. И. Новиков, развернувший на базе Дружеского ученого общества свою широкую издательскую деятельность, имевшую огромное просветительное значение.

Молодой Карамзин был близок к московским масонам, в их кругу складывалось его мировоззрение, хотя мистические искания «братьев» остались ему чужды. Карамзину в известной мере ближе идеи дворянских просветителей — Фонвизина, Новикова в пору издания им сатирических журналов, их враждебность деспотизму, ненависть к варварству и невежеству дворянского класса, сочувствие угнетенному крепостному крестьянству. Карамзин не хотел быть — и не был — рядовым «службой престола», он не вступал в официальную службу и стремился сохранить личную независимость, подчас обращаясь к царю со своими записками, в которых пытался давать советы самодержцу.

При всем этом дворянский либерализм Карамзина был весьма ограничен. Консервативный, сословно ограниченный дворянский писатель, он был уверен в том, что в России необходимы и крепостничество и самодержавие.

Консервативность мировоззрения Карамзина не вызывает сомнения, и намеченное им направление ведет только в сторону Жуковского, но не замечать Карамзина, не соотносить с ним своих творческих исканий для литераторов конца XVIII — начала XIX века было невозможно. Карамзин воплотил в своем творчестве достижения русского дворянского сентиментализма в смысле внимания к личности, к миру ее чувств и мыслей, к пейзажу и природе в целом. Счастливые находки Карамзина-литератора были разменены на гроши его неудачными эпигонами и подражателями, в изобилии расплодившимися сразу же после опубликования «Бедной Лизы».

Между тем Белинский призывал заслуги писателя, считал, что «Карамзиным началась новая эпоха русской литературы».

Во второй статье о Пушкине он указал, что Карамзин «первый на Руси заметил мертвый язык книги живым языком общества» и способствовал увеличению числа читателей книг. «До Карамзина нечего было читать по-русски, потому что все немногое, написанное до него, несмотря на свои хорошие стороны, было ужасно тяжело и торжественно и годилось для одних «ученых», а не для общества. Карамзин умел приохотить русскую публику к чтению русских книг».

Сентиментализм в русской литературе начал развиваться с 1760-х годов. При всей художественной слабости прозы Федора Эмина «Письма Эрнеста и Доравры» указывали на сентиментальное направление. В этом русле и развивалось, например, творчество сына упомянутого писателя, Николая Эмина, в 80-х годах выступившего с несколькими произведениями. Вышедшая в 1786 г. книга Николая Эмина «Роза, полусправедливая и оригинальная повесть» посвящена борьбе двух соперников за руку красавицы графини Розы. Ей симпатичен Милон, но жестокие родители заставляют дочь выйти замуж за князя Ветрогона. Безутешный Милон пытается застрелиться, ему помешали. Роза принимает Милона у себя в доме, Ветрогон изгоняет его, Милон бросается в реку и симулирует собственную гибель. Благополучно выбравшись из пучины, он поступает садовником к Ветрогону, встречается с Розой, они счастливы. Ветрогон вновь нарушает эту идиллию, происходит поединок, в результате которого Милон тяжело ранен. Роза не выносит этого известия и умирает с горя; узнав об этом, ускоряет свою смерть и Милон. Поняв жестокость своих поступков, Ветрогон умирает.

В таком же сентиментальном духе написана и вторая повесть Николая Эмина «Игра судьбы», напечатанная в 1789 г. Но конфликт ее еще более умилителен. Старик граф, узнав о любви своей молоденькой жены Плевны к юному Всемилу, находит в себе достаточно чувств, чтобы не препятствовать молодым людям, предложив при этом свою сердечную любовь и дружбу.

Повести Николая Эмина лишены психологизма, автора не занимают переживания действующих лиц, гораздо старательнее он следит за развитием сюжета и нравоучительной стороны своих повестей. Писатель связан в большой степени традициями авантюрного романа и не совершает каких-либо литературных открытий.

Появлению «Бедной Лизы» предшествовала и другая близкая к ней по направлению повесть — «Российская Памела или история Марии, добродетельной поселянки» П. Ю. Львова (1789 г.). Дочь однодворца Мария выходит замуж за дворянина Виктора, который затем бросает ее, повинувшись настояниям златной родни, но через несколько лет возвращается к ней и обретает полное семейное счастье.

Одна из ведущих мыслей «Бедной Лизы» — мысль о том, что и крестьянки любить умеют, — встречается уже в этом произведении. Характеризуя свою повесть, Львов говорит: «Я для того назвал ее российскою Памелою, что есть и у нас столь нежные сердца в низком состоянии». Для дворянских литераторов это было несомненной новостью, однако социальная смелость их весьма ограничена. Героини «низкого состояния» — в худшем случае дочери однодворцев, и брак дворянина с ними не представляет ничего предосудительного.

Карамзин идет дальше и делает свою Лизу крестьянкой. Связь дворянина Эраста с Лизой кончается для нее трагически. Но Карамзину известно и другое решение этого вопроса. Ему принадлежит перевод повести Мармонтеля «Так должно быть», рассказывающей о том, что молодой богатый дворянин женился на служанке деревенского священника, поссорившись вследствие этого со светом и выйдя в отставку с военной службы. Дворянин сделал это, чтобы охранить честь крестьянской девушки, на которую ему пришлось по воле обстоятельств бросить тень. Подлинные факты русской жизни выглядели несомненно более трагично, и судьба Лизы была типичной судьбой многих крепостных девушек.

Успех «Бедной Лизы» был поистине неслыханным. Окрестности Симонова монастыря в Москве, описанные Карамзиным, стали излюбленным местом прогулок чувствительных читателей. Судьба Лизы заставляла проливать слезы, — незамысловатая история гибели девушки, доверившей свое сердце красивому, но ничтожному человеку, была близка и понятна многим. Тезис Карамзина «и крестьянки любить умеют» обращал внимание дворянских читателей на то, что подвластные им крестьяне хотя и рабы, но люди. Напоминание это, данное к тому же в столь художественно выразительной форме, было далеко не лишним, и гуманный идеал произведения имел свою ценность. Принципиально иначе ставил вопрос Радищев — разоблачая дворянский деспотизм, он считал, что только крестьянское сердце способно к истинному чувству, лишенному корыстных расчетов, не испорченному предрассудками дворянской среды. До такой постановки темы Карамзин, разумеется, подняться не мог.

Однако осуждение ветреного дворянина проведено в повести достаточно сильно. В самом деле, счастливая и простая жизнь, которой наслаждалась Лиза, несмотря на то, что проводила ее в трудах и заботах, нарушается появлением Эраста. Коварный соблазнитель оболгуил чистую девушку, обманул ее, попытался отделаться подачкой — и погубил навсегда. Сравнение нравственных качеств дворянина и крестьян было явно в пользу последних. Карамзин правдиво показал, что в поступках Эраста не было ничего исключительного, злодейского. Это не Ветрогон, Злорад или Змеяд, каких любили выводить писатели всего несколькими годами ранее, подчиняя характер героя какой-либо одной ведущей черте. Эраст — недурной от природы человек, он

по-своему добр и великодушен, честен и благожелателен, он только испорчен своей средой и воспитанием; Эраст — обыкновенный дворянин, каких весьма много было в стране, и поведение его не представляет ничего исключительного. В сущности, он и не обещал Лизе ничего, кроме своей любви. На сомнение Лизы, возьмет ли он ее замуж, потому что она крестьянка, Эраст отвечал: «Ты обижашь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, психическая душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу». Эраст не дал ровно никаких формальных обещаний, и ответ его показывает, как полно представлял себе Карамзин характер своего героя, как верно рисовал его поступки в разнообразных положениях.

Появившаяся в 1794 г. повесть Карамзина «Остров Борнгольм» говорит о новых чертах его творчества. Рассказ о загадочной женщине, томящейся в заключении на острове Борнгольм под охраной благородного старца, о молодом человеке, вынужденном страдать в разлуке с ней на берегах Англии, заинтересовывает читателя своей таинственной атмосферой. Дикая северная природа, старый замок с его тайной, загадка отношений героев между собой, причина, по которой законы осуждают их любовь, приподнятый язык — все стороны повести говорят о том, что в ней Карамзин отдал щедрую дань романтизму. Первым в русской прозе он разработал подлинно романтический сюжет, продолжив затем свои опыты в рассказе «Сьерра-Морена». Таким образом и здесь Карамзину удалось показать направление, видя по которому следующее поколение писателей создаст замечательные образцы романтической прозы.

2

Произведем, открывшим новую страницу в истории русской прозы, были, без сомнения, «Письма русского путешественника» Карамзина. Произведение это было написано после поездки писателя за границу, продолжавшейся 16 месяцев, с мая 1789 по сентябрь 1790 г.

Карамзин отправился путешествовать, будучи подготовленным к тому, чтобы наблюдать и оценивать. Он много читал, был заочно знаком с людьми, которых ему предстояло встретить, и о каждом из них мог сказать свое мнение. Его собственные литературные занятия развили в нем строгий вкус, он знал, что, с его точки зрения, нужно принимать и что следует отвергнуть в интересах русской культуры и литературы. Отчетом о поездке Карамзина за границу явились «Письма русского путешественника», две первые части которых были опубликованы в «Московском журнале» 1791—1792 гг.

Каково происхождение «Писем русского путешественника»? Можно ли считать, что они представляют собою подлинные письма автора, которые он посылая друзьям из-за границы во время путешествия? Внимательное исследование, проведенное В. В. Сиповским, убеждает в ошибочности этого предположения. Сохранившиеся письма друзей Карамзина говорят о том, что они не имели от него известий по году и более и что существующий текст «Писем» вовсе не возник из этой дружеской переписки. Да при занятости Карамзина во время путешествия, при его непрерывных экскурсиях и переездах он по-

просто не успел бы столь подробно отчитываться о виденном и пережитом в письмах друзьям. Повидимому, все, что он мог делать, это вести записную книжку (не раз фигурирующую в тексте «Писем»), куда заносились порядок маршрутов и непосредственные впечатления. Обработка же текста велась в спокойной тишине рабочего кабинета, когда под рукой автора в изобилии находились необходимые справочные пособия.

Следует, таким образом, считать, что в основе «Писем русского путешественника» лежит записная книжка Карамзина, в которую вносились путевые впечатления, наброски сцен, мысли и переживания автора, причем в первые месяцы более систематично и подробно, чем в последующие. Позднее, при обработке текста для печати, Карамзин справлялся с литературными пособиями и уточнял свои впечатления по описаниям других путешественников, дополняя их историческими анекдотами и сведениями, почерпнутыми из различных книг, ссылки на которые рассыпаны в тексте. О прямых заимствованиях из источников говорить не приходится, Карамзин везде был оригинален и уточнял лишь отдельные детали, всегда на первом плане имея свое личное, авторское отношение к вещам и событиям.

Пресловутый вопрос о «литературных влияниях» на «Письма русского путешественника» имеет большую историю. Буржуазные исследователи внимательно изучали все книги, мало-мальски соотносящиеся с темой и жанром карамзинского труда, начиная с «Сентиментального путешествия» Стерна и кончая справочниками и путеводителями по отдельным странам и памятным местам. Но даже при таком пристрастном отношении к автору эти литературоведы смогли только бездоказательно подозревать Карамзина в «заимствованиях». Сличение же текстов убеждает в отсутствии следов литературного заимствования, ибо нет ничего мудреного в том, что описание, например, Рейнского водопада неизбежно связано с рассказом о реке, низвергающейся с шумом и ревом, о мирадах брызг, посздаках на лодках и др.

Несомненно, Карамзин знал литературу, посвященную местам, по которым он путешествовал, и труд его имел бы значительно меньшую ценность, если бы он игнорировал все, написанное его предшественниками. Однако он лишь читывал эту литературу, иногда сходилась с авторами в оценке явления, чаще противореча им и отсюда не пытаясь заменить свое самостоятельное творчество переписыванием отдельных пассажей из чужих сочинений. «Некоторые из наших писцов, или писателей, или переводчиков, — или как кому угодно будет назвать их, — писал Карамзин в 1791 г., — поступают непростительнейшим образом. Даря публику разными пьесами, не сказывают они, что сии пьесы переведены с иностранных языков... Самая гражданская честность обязывает нас не присваивать себе ничего чужого: ни делами, ни словами, ни молчанием». И у нас нет никаких поводов сомневаться в искренности этого убеждения Карамзина.

Карамзин работал над текстом «Писем» непрерывно, от издания к изданию. Так, готовя издание 1797 г., он внес до 950 поправок в текст «Писем», опубликованный в «Московском журнале», заменяя слова, обороты, целые предложения, делая перестановки, выпуски и добавления. Любопытно, что Карамзин усиливает недоброжелательное отношение к французской революции,

заменяя слово «народ» словом «чернь», «уличный шум» — «шумом пьяных бунтовщиков» и т. д. При перепечатке «Писем» в Собрании сочинений 1803 г. Карамзин внес свыше 700 поправок, причем в 200 случаях он восстанавливал целиком или с изменениями текст первой редакции 1791—1792 гг. Главным образом переделки касались писем из Германии и Швейцарии — вероятно потому, что в них больше всего непосредственных записей и оценок. Письма о Франции и Англии, составление которых происходило, вероятно, в Москве, почти не носят следов исправления автора.

3

С большим вниманием следит Карамзин-путешественник за различными проявлениями общественной жизни. Он встречается с представителями западно-европейской науки и литературы, беседует с крестьянами и ремесленниками, посещает видных граждан Женевы, бывает в парижских салонах, присутствует на праздниках, смотрит спектакли — и всюду извлекает материал для наблюдения, везде заносит в свою записную книжку новые факты и мысли. Молодой человек далеко не склонен обольщаться всем виденным — он достаточно подготовлен для критического восприятия Европы и судит о ней с известной строгостью и беспристрастием. Он видит, как мелка и ограничена мораль среднего англичанина, как глупы и чванливы немецкие офицеры, как плохо организована германская администрация, и многое другое.

Тупая ограниченность немецкой военщины сразу же бросилась в глаза Карамзину. Уже в Кенигсберге отмечает он скудость интересов прусских офицеров, их пошлые шутки за обеденным столом. В письме из Мариенбурга Карамзин рассказывает о своем разговоре с прусским офицером, который жаждал скорее «драться», потому что «солдаты наши пролежали бока; нам нужна экзерциция, экзерциция». Нетрудно распознать в этом нетерпеливом убийце, требующем новых «упражнений», предка коричневых варваров, заливших мир потоками крови. Такими они и были всегда, наглые и трусливые, самодовольные и глупые прусские военачальники, чье ничтожество было окончательно разоблачено в годы Великой Отечественной войны Советского Союза с германским фашизмом.

Уважение к русскому оружию было внушено немецким благоразумным людям с давних пор. Женщина, севшая в коляску путешественника перед Мариенбургом, узнав, что сосед ее — русский, не могла удержаться от восклицания: «Ах, злодеи! вы губите нашего бедного короля!» Трактирщик в Керлине пуще всего боится русских казаков — «ничто не уйдет от их пика» — и пугается, когда немецкие офицеры представляют ему Карамзина под именем русского казака.

Карамзин отмечает грубость немецких почтальонов, корыстолюбие трактирщиков, попрошайничество детей в Швейцарии, причем в последнем видит начало «опасной нравственной болезни, от которой рано или поздно умирает свобода в республиках». Прожив несколько месяцев в Женеве, он мог убедиться в скудости умственных интересов так называемого «общества», подивиться мещанской ограниченности женевского света и «часто досадовал на женеvцев

и несколько раз хотел описать характер их самыми несветлыми красками». При ближайшем знакомстве швейцарская республика оказалась только «прекрасною игрушкою на земном шаре», как иронически определил Карамзин.

«Англичанин царствует в парламенте и на бирже», — замечает Карамзин, рассказывая о своем посещении этих учреждений. Ему удалось присутствовать на выборах в парламент двух новых членов от Вестминстера. Богатые сторонники двух кандидатов бесплатно угощали избирателей; третий кандидат, не имевший влиятельной поддержки, с сожалением говорил о том, что «истинная английская свобода у нас давно уже не в моде», а озорной мальчишка, забравшись на галерею, где происходили выборы, кричал: «Здравствуй, Фокс! провались сквозь землю, Гуд!», а через минуту: «Здравствуй, Гуд! провались сквозь землю, Фокс!» На него не обращали внимания, но, в сущности, он верно передавал настроение избирателей, бедных ремесленников, заранее знавших, что их личные мнения не смогут повлиять на результат выборов и что между Фоксом и Гудом никакой для них разницы нет.

Побывав на заседании парламента, Карамзин сразу разобрался в механизме этого учреждения. Члены его могут ораторствовать и даже «всячески бранить друг друга, только не именуя, а, например, так: «почтенный господин, который говорил передо мною, есть глупец» и проч. Из 558 членов парламента «налицо не бывает никогда и трехсот. Едва ли 50 человек говорят когда-нибудь; все прочие немые; иные, может быть, и глухи... Умные министры правят; умная публика смотрит и судит».

Отмечая отличные мостовые и освещение Лондона, Карамзин без большого энтузиазма говорит об его обитателях. Лица англичан он делит на три сорта: «на угрюмые, добродушные и зверские. Клянусь вам, что нигде не случалось мне видеть столько последних, как здесь... Десяти Лафатеров недостало бы для описания всех дурных качеств, ими изображаемых».

Презрение англичан к другим народам и их обычаям хорошо иллюстрирует сценка, изображенная Карамзиным в письме из Женевы. «Дерзкий британец» скакал на лошади по аллее, рискуя передавить гуляющих жевевцев, но был схвачен солдатами и препровожден в караульную. Навестившая его соотечественница заплакала, и англичанин заявил караульному офицеру: «Вся ваша республика не стоит слезы ее!» Случай чрезвычайно характерный, и при всей своей доброжелательности к людям Карамзин не мог не записать его. Позднее, в Англии, он поймет причины такого поведения англичан: «Вообще английский народ считает нас, чужеземцев, какими-то несовершенными, жалкими людьми».

В первые дни Карамзин составил себе очень выгодное для Англии впечатление. Еще в Москве он «воображал Англию самую приятнейшею для сердца моего землею». Но погостив в стране, он изменил свои взгляды. Последнее письмо из Лондона содержит развернутую оценку английского характера, и даже похвалы расудительности и честности англичан звучат в нем упреком. Англичане «в нравственном смысле растут как дикие дубы по воле судьбы», и «жить здесь для удовольствий общежития есть искать цветов на песчаной долине». Без сожаления Карамзин расставался с Англией, садясь на корабль и торопясь в Россию.

Карамзин не раз с любовью вспоминал за границей о родине. Приехав в Швейцарию, красотами которой он так восторгался, Карамзин записал: «Для того чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать». Далее приводится текст песни, якобы доносившейся из окон соседнего дома:

«Отечество мое! любовьию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твояе готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном...»

Разговор с англичанкой, отказавшейся отвечать Карамзину по-французски, заставляет его с горечью воскликнуть: «А в нашем так называемом *хорошем обществе* без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право, не хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражений для своих мыслей». Карамзин с гордостью сознавал себя за границей русским человеком, и положительные явления, встретившиеся ему во время путешествия, вызывали в нем желание видеть их у себя на родине.

Посещая парижские театры, Карамзин внимательно следит за спектаклями и выносит о них тонкие и глубокомысленные суждения. Его не удовлетворяет классическая трагедия. Французские поэты не имеют себе равных «в искусстве писать», но им не хватает «изобретения, жара и глубокого чувства Натуры», — а именно в этом для Карамзина заключается важнейшее достоинство драмы. На сцене проливаются потоки красноречия, но нет действия, нет обстоятельности, в которых мог бы проявиться характер. Актерам остается только декламировать, и лучшие из них делают это превосходно.

Карамзин обращает внимание на несоответствующие костюмы русских людей в одной из пьес, где преображенские солдаты и офицеры были одеты в крестьянское платье; он требует соответствия одежды народу и эпохе.

Путешественника поражает неосведомленность иностранцев касательно России. Ему приходится разъяснять заграничным знакомцам, что в России есть своя литература, что говорят там не на немецком, а на русском языке, что в Петербурге не ездят зимой на оленях и т. д.

Если бы 23-летний молодой человек, воспитанный в своем дворянском кругу в безусловном убеждении о превосходстве всего иностранного, сумел до конца осознать некультурность и невежество столпов европейского общества относительно России, — в его письмах появилось бы много горьких и иронических страниц. Но Карамзин не смог преодолеть установившегося отношения к заграничным авторитетам и ограничился только рассказом о забавных представлениях иностранцев о русской жизни.

Впрочем, иногда Карамзин умеет достаточно критически относиться к своим новым знакомым. Когда он, например, задает Лафатеру вопрос: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего», то, сообщая об этом в письме, спешит разъяснить: «Вы, конечно, не подумаете, чтобы я в самом деле надеялся сведать от Лафатера цель бытия нашего; мне хотелось только узнать, что он может о том сказать». Прослушав воскресную проповедь Лафатера, кото-

рыми тот славился, Карамзин указывает, что сочиняется она в течение часа, и «если он говорит все такие проповеди, какую я ныне слышал, то их сочинять нетрудно... Одни восклицания, одна декламация, и более ничего! Признаюсь, что я ожидал чего-нибудь лучшего».

Гуманистически настроенный Карамзин испытывает гнетущее чувство, оставшись в одиночестве в монастырском коридоре, представившемся ему «мрачным жилищем Фанатизма». «Воображение мое представило мне сие чудовище во всей его гнусности... — говорит Карамзин. — Я затрепетал, и холодный ужас разлился по моим жилам» (письмо из Эрфурта). Таким образом, отношение автора к религиозному фанатизму совершенно недвусмысленно. Не склонен был Карамзин интересоваться и религиозными реликвиями — в Майнце он отказался рассматривать «кишки св. Бонифация», заявляя, что для него они не имеют «никакой прелести». Посетив больницу в Ливоне, он не упускает случая заметить, что хотя «час обеда еще не пришел, но некоторые из почтенных духовников наполняли свои желудки мясом и пирогами».

Многие страницы «Писем» окрашены подлинным юмором. Карамзин, вообще не склонный дурно отзываться о людях, не без злости определяет выражением «хорош гусь!» самодовольного немца, расхваливавшего город Роттердам, где он «сделался человеком». Чрезвычайно смешон «смотр берлинских граждан», вышедших с оружием в руках встретить короля с его знатной гостью. Краткие выразительные портретные зарисовки немецких офицеров, английских обывателей, швейцарских бюргеров удались Карамзину. Читатель видит, что взгляду «сентиментального путешественника» доступна пошлость европейской жизни и что он способен от души смеяться над нею. Кстати, эта склонность к юмору заметно отличает Карамзина от западно-европейских авторов, в сентиментальном духе описывавших свои путешествия.

Отношение Карамзина к событиям французской буржуазной революции было отрицательное. В представителях французского народа он видит «пьяных бунтовщиков», «нищих и празднотлюбцев», не желающих работать «с эпохи так называемой французской свободы». «Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями», — меланхолично замечает Карамзин, рассматривая город.

Дело в том, что Карамзин — враг всяких насильственных потрясений, он считает, что «каждый бунтовщик готовит себе эшафот». Сознав, что дворянство Франции не может противостоять восставшему народу, Карамзин рекомендует надеяться на волю провидения.

Имея представление о социальном устройстве, Карамзин не желает искать его причин и предпочитает просто наблюдать за происходящим вокруг. Так, в Париже Карамзин посещает придворную церковь и с интересом разглядывает короля. Он далек от мысли увидеть в Людовике XVI тирана, доставившего столько мучений народу. Он видит в короле прежде всего «человека», читает на его лице «спокойствие, кротость и добродушие» и уверен, что «никакое злое намерение не рождалось в душе его». В Марии-Антуанетте он рассмотрел ее «необыкновенную душу», наследник показался ему «ангелом красоты и певичности».

Тенденциозность такого освещения — очевидна, и восклицание, заключающее письмо: «Народ любит еще кровь царскую!», звучало скорее самовнушением автора, чем трезвой констатацией факта, потому что в Париже Карамзин вполне мог убедиться в ненависти, которую питали представители народа к королю и его приближенным. Однако дворянские убеждения Карамзина продиктовали ему именно эту оценку виденного.

В пустом полуразрушенном замке Мадрит под Парижем Карамзин встретил старую женщину. Она похоронила дочь и с тех пор жила милостыней. Выслушав ее печальный рассказ и глядя на заходящее солнце, автор думал о том, сколько великолепия в физическом мире и сколько бедствий в нравственном. «Всегда, везде томится бедный страдалец, — отмечает Карамзин, но чем же помочь ему? Помощи на земле быть не может: «Темная ночь, сокрой его! Шумящая буря, унеси его... туда, туда, где добрые не тоскуют; где волны океана, океана вечности, прохлаждают истлевшее сердце!..» Это все, что мог предложить Карамзин бедной старушке и ей подобным...

И все-таки Карамзин пытался осмыслить историческое значение французских событий 1789 г. и оценить их. В опубликованной им во Франции в 1797 г. статье о русской литературе он привел цитату из «Писем русского путешественника», которую не включил в русский текст: «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества. Начинается новая эпоха; я вижу это, а Руссо это предвидел... События следуют друг за другом, как волны в бурном море; а думают, что революция уже кончена. Нет! Нет! Мы увидим еще поразительные вещи; крайнее возбуждение умов предсказывает это». На русском языке Карамзин не решился высказать эти мысли.

Следует напомнить, что более или менее развернутый отзыв Карамзина о французской революции (апрельское письмо 1790 г.) появился только в издании «Писем» 1801 г. Текст «Московского журнала» 1791—1792 гг. заканчивался известием о приезде автора в Париж, в тексте первой книжки «Аглаи» говорилось о поездке по Франции и прибытии в Лондон, во второй книжке были напечатаны отдельные письма о Франции. Можно предположить таким образом, что Карамзин своевременно не смог или не захотел печатно высказать свои непосредственные впечатления о революционном Париже.

5

«Письма русского путешественника» сыграли значительную роль в жизни русского общества и в развитии русской словесности. По словам Белинского, «Письма», в которых Карамзин «так живо и увлекательно рассказал о своем знакомстве с Европою, легко и приятно познакомили с этой Европой русского общество. В этом отношении «Письма русского путешественника» — произведение великое, несмотря на всю поверхностность и всю мелкость их содержания: ибо великое не всегда только то, что само по себе действительно велико, но иногда и то, что достигает великой цели каким бы то ни было путем и средством. Можно сказать с уверенностью, что именно своей легкости и поверхностности обязаны «Письма русского путешественника» своим

великим влиянием на современную им публику: эта публика не была еще готова для интересов более важных и более глубоких» (Собр. соч., М., 1948, т. III, стр. 207).

Новая, сентиментальная проза характерна своим вниманием к героям незнатным и небогатым, интересным по своим переживаниям и любовным неудачам. В основе сюжета повестей этого рода лежала обычно история двух любящих сердец, которым мешали соединиться различные препятствия: воля родителей, опасный соперник и реже всего — социальное неравенство. Впрочем, этот мотив достаточно остро звучит в одной из наиболее значительных сентиментальных повестей конца века, в повести А. Клушина «Несчастный М—в».

Новым для читателя явилось открытие природы как источника эстетических наслаждений. Если в русской поэзии природу впервые увидел Державин, сумевший оценить богатство ее красок и звуков, то в прозе — и притом с гораздо большей глубиной и тонкостью — это сделал Карамзин. Он испытывает чувство полнейшего слияния с Природой, с Нагурой — с большой буквы, как пишет он всегда эти слова. Природа зовет его «к новому счастью», и «когда сердце мое отвергается впечатлениям красот Природы, — чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного». По поводу одного из виденных им пейзажей Карамзин, потеряв обычное красноречие, смог только написать: «Любезная Природа! и более ни слова!»

То, что совсем не играло роли в прозе 60—80-х годов, — личность автора, — ныне выдвигается на одно из первых мест. Автор постоянно участвует в рассказе своим отношением к событиям, а иногда выступает и с прямой речью. Это значительно расширило возможности воздействия на читателя и явилось новым этапом в развитии русской прозы. Манера авторских отступлений, частых обращений к читателю, примечаний и выводов, столь удачно применяемая Карамзиным, находит многочисленных подражателей. Кроме того, в прозу начинают вкрапливаться стихи («Остров Борнгольм»), и общий строй ее получает более гармонизированный, ритмический характер, проза становится поэтичной.

Карамзин прокладывает дорогу психологическому анализу в русской литературе и делает это с большим успехом по сравнению со своими предшественниками. Естественно, что первым этапом на этом пути для автора явилось изучение собственной личности. Сентиментальный путешественник обращается к тайникам своего сердца, следит за своими впечатлениями, мыслями и передает их читателю в качестве беглого дневника, истории одной души, лучше всего известной автору. В дальнейшем возникают и более сложные задачи.

В повести «Рыцарь нашего времени», носящей в значительной степени автобиографический характер, Карамзин с большим мастерством проследживает развитие ребенка, изображает превращение мальчика в подростка. Верность психологических наблюдений объясняется прежде всего тем, что Карамзин анализировал воспоминания своего детства и не побоялся представить их на суд читающей публике. Очерк «Чувствительный и холодный. Два характера» представляет собой уже прямую попытку изобразить две различные человеческие натуры, не стремясь, правда, определить, почему каждая из

них стала именно такою. Тут мы имеем дело с выходом в объективный мир, не ограниченный только рамками личности автора, мы наблюдаем становление различных характеров и их поведение в окружающей среде.

То, что Карамзин сознательно ставил перед собой задачу изучения других людей с целью постичь их природу и особенности, показывают многие страницы в «Письмах русского путешественника». Он долго приглядывается к Лафатеру, о котором имел впечатление по личной переписке, и не горюится выносить свое суждение о нем. При первом визите к Лафатеру Карамзин мог сказать «единственно то, что он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину». Внешний портрет при дальнейшем знакомстве с Лафатером уточняется, понемногу раскрываются черты характера, склонности и недостатки изучаемого объекта, о чем Карамзин регулярно сообщает в своих «Письмах».

Так же внимательно наблюдает он за Виландом, Вейсе, Бонветом и всеми своими собеседниками, причем обращает внимание и на окружающую их обстановку, на их отношения с членами семьи и посторонними людьми, желая дать наиболее верную и точную характеристику интересующих его лиц. Накопление отдельных черточек, штрихов и наблюдений приводит к созданию целых портретов, благодаря которым читатели знакомятся с людьми, встреченными Карамзиным во время его путешествия.

Карамзин тщательно отделяет фразы, стремится к мерной, звучной и гладкой речи. Складывается с легкой руки Карамзина и его последователей особый словарь, состоящий из легких, стройных и благозвучных выражений, пригодных для ушей самой скромной дворянской девицы «Пичужечка» — это приятно, «шарень» — отвратительно, потому что семантика слова влечет за собою неприятные ассоциации, заставляет вспоминать пьющего квас «дебелого мужика». Язык сентиментальной прозы в значительной степени условен, придуман, строится на образцах благовоспитанной светской речи и весьма далек от языка народного.

Все же Карамзину удается создать свой язык, проникнутый определенным настроением, выражающий авторские эмоции. Он сблизил литературную речь с разговорным языком дворянского общества, перестроив синтаксис, избавившись от старославянских выражений, введя большое количество неологизмов, хотя для этого прибегал к переводу некоторых слов с французского языка. С Карамзиным появляются в нашем языке слова «промышленность», «общественность», «человечность», «повсеместный», «общепользный», «достижимый», «вкус» (в смысле литературного, эстетического), выражения типа «трепетали о жизни милых своих», «убивать время» и т. д. Но несмотря на успешные языковые искания Карамзина, он стоял настолько далеко от живой народной речи, что реформа его имела хоть и положительное, но ограниченное значение. Неправильность этого пути развития попял Пушкин, который смело пользовался богатствами народной речи и явился поэтому родоначальником нового русского литературного языка.

Бедная Лиза

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра; великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце; когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густозеленые, цветущие луга; а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбацких лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению деревьев, поют простые унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалье, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с Природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные

картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена свои перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих; ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна своего, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, — видит и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, — там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В сей хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, — которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и все сие продавала в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неумоимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу своему, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

— Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком: теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань

только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки.

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало; но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою.

— На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю.

Прошло года два после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой хорошо одетый человек приятного вида встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и покраснелась.

— Ты продаешь их, девушка? — спросил он с улыбкою.

— Продаю, — отвечала она.

— А что тебе надобно?

— Пять копеек.

— Это слишком дешево. Вот тебе рубль.

Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека — еще более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля.

— Для чего же?

— Мне не надобно лишнего.

— Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня.

Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела итти; но незнакомец остановил ее за руку:

— Куда же ты пойдешь, девушка?

— Домой.

— А где дом твой?

Лиза сказала, где она живет; сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось.

— Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...

— Ах нет, матушка! я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос.

— Однакож, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти.

У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы; но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер; надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку.

— Никто не владеет вами! — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, прядла и тихим голосом пела жалобные песни; но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

— Что с тобой сделалось? — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.

— Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела.

— Кого?

— Того господина, который купил у меня цветы.

Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего.

— Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал, нет ли у тебя свежего молока?

Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей, — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб, — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил, — и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч., и проч. Он слушал ее со вниманием; но глаза его были — нужно ли сказывать, где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором.

— Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом

ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам.

Тут в глазах Лизиних блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правую рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого дурного намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. — Становилось темно, и молодой человек хотел уже итти.

— Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин? — спросила старуха.

— Меня зовут Эрастом, — отвечал он.

— Эрастом, — сказала тихонько Лиза. — Эрастом! — Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его.

Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей:

— Ах, Лиза! как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!

Все Лизино сердце затрепетало.

— Матушка! матушка! как этому стать? Он барин; а между крестьянами... — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии; имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои проводжали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Настушила ночь, — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна; но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли

на зеленом покрове Натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились; птички вспорхнули и запели; цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной, но теперь ты задумчива, и общая радость Природы чужда твоему сердцу. Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала:

«Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: здравствуй, любезный пастушок! куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих; и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей. Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечта!»

Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближний холм.

Вдруг Лиза услышала шум весел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе, и — мечта ее отчасти исполнилась, ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку...* А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... ах! он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящего!

— Милая Лиза! — сказал Эраст, — милая Лиза! я люблю тебя! — и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось немного места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу; *люби меня!* и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться.

— Ах, Эраст, — сказала она: — всегда ли ты будешь любить меня?

— Всегда, милая Лиза, всегда! — отвечал он.

— И ты можешь мне дать в этом клятву?

— Могу, любезная Лиза, могу!

— Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?

— Нельзя, нельзя, милая Лиза!

— Как я счастлива! и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!

— Ах нет, Лиза! ей не надобно ничего сказывать.

— Для чего же?

— Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое.

— Нельзя статься.

— Однакож прошу тебя не говорить ей об этом ни слова.

— Хорошо; надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее.

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижинки, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. *Он меня любит!* — думала она и восхищалась сею мыслию.

— Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась: — ах, матушка! какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали; никогда солнце так светло не сияло; никогда цветы так приятно не пахли!

Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю Натуру.

— Ах, Лиза! — говорила она, — как все хорошо у господина бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни; не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали.

А Лиза думала: *ах! я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!*

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижинки) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископан-

ный. Там часто тихая луна сквозь зеленые ветви посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались, — но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако; чисты и непорочны были их объятия.

— Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: *я люблю тебя, друг мой!* когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами: ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме — Эраста. Чудно! чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно; теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скупчен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен.

Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою (думал он): не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» — Безрассудный молодой человек! знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее.

— Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра; а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого.

Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости: о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею.

— Ах! мы никогда не могли друг на друга наглядеться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!

Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены; но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невестела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели.

— Лиза, Лиза! что с тобою сделалось?

— Ах, Эраст! я — плакала!

— О чем? что такое?

— Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла.

— И ты соглашаешься?

— Жестокый! можешь ли об этом спрашивать? Да мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия; что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!

Эраст целовал Лизу; говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете; что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю.

— Однакож тебе нельзя быть моим мужем! — сказала Лиза с тихим вздохом.

— Почему же?

— Я крестьянка.

— Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу.

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! — Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная, отчего — не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их.

— Ах! я боюсь, — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю; что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? вздыхаешь?.. боже мой! что такое? — Между тем блеснула молния, и грянул гром. Лиза вся задрожала. — Эраст, Эраст! — сказала она, — мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!

Грозно шумела буря; дождь лился из черных облаков — казалось, что Натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. — Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним.

— Ах, Эраст! уверь меня, что мы будем попрежнему счастливы!

— Будем, Лиза, будем! — отвечал он.

— Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся.

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее любви исполненными взорами — одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог — а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде восплялял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему:

— Прежде бывал ты веселее; прежде бывали мы покойнее и счастливее; и прежде я не так боялась потерять любовь твою!

Иногда, прощаясь с нею, он говорил ей:

— Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться; мне встретилось важное дело, — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видела его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей:

— Любезная Лиза! мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война; я в службе; полк мой идет в поход.

Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее; говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала; потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила:

— Тебе нельзя остаться?

— Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества.

— Ах! когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить.

— Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза.

— Я умру, как скоро тебя не будет на свете.

— Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу.

— Дай бог! дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведо-

млял меня обо всем, что с тобою случится; а я писала бы к тебе — о слезах своих!

— Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала.

— Жестокий человек! ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое.

— Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся.

— Буду, буду думать об ней! Ах! если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав:

— Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне.

Старушка осыпала его благословениями.

— Дай господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авься-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мысли. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! мне бы очень хотелось дожить до этого!

Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: *прости, Лиза?*.. Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях своих бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся Натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее и наконец скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности Натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она, — для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить,

с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! я лечу к тебе!» — Уже хотела она бежать за Эрастом; но мысль: *у меня есть мать!* остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. — С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — золотой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. *Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! как все переменится!* — от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках ее освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. — Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была итти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретила ее великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. *Ах!* — закричала Лиза и бросилась к нему; но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже итти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя — в Лизиных объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взяв ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей:

— Лиза! обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их (он положил ей деньги в карман) — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой.

Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге:

— Проводи эту девушку со двора.

Сердце мое обливается кровию в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. *Ах!* для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был в армии; но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. *Он, он выгнал меня? Он любит другую? я погибла!* — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощью сей доброй женщины — благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить (конечно думала Лиза), нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется. Горе мне!» — Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — потом осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из кармана десять имперялов и, подавая ей, сказала:

— Любезная Анюта, любезная подружка! отнеси эти деньги к матушке — они не краденые, — скажи ей, что Лиза против нее виновата; что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку — к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — бог будет ее помощником, — поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, — скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я... — Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее; побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу; но она была уже мертвая.

Таким образом окончила жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. — Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: *там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!*

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. — Теперь, может быть, они уже примирились!

Чувствительный и холодный

Два характера

Дух системы заставлял разумных людей утверждать многие странности и даже нелепости: так, некоторые писали и доказывали, что наши природные способности и свойства одинаковы; что обстоятельства и случаи воспитания не только образуют или развивают, но и дают характер человеку, вместе с особенным умом и талантами; что Александр в других обстоятельствах мог быть миролюбивым брамином, Эвклид автором чувствительных романов, Аттила нежным пастушком, а Петр Великий — обыкновенным человеком! Если бы надобно было опровергать явную ложь, то мы представили бы здесь множество хорошо воспитанных, множество ученых людей, которые имеют все, кроме — чувства и разума. Нет! одна Природа творит и дает: воспитание только образует. Одна Природа сеет: искусство или наставление только поливает семя, чтобы оно лучше и совершеннее распустилось. Как ум, так и характер людей есть дело ее: отец, учитель, обстоятельства могут помогать его дальнейшим развитиям, но не более. — Привязывает ли Натура умственные способности и нравственные свойства к некоторым особенным формам или действиям физического состава, мы не знаем: это ее тайна. Система Лафатера и доктора Галя кажется нам по сие время одною игрою воображения. Сам почтенный и благоразумный Кабанис, изъясняя свойством твердых частей и жидкостей счастье и несчастье жизни — нрав, страсти, печаль и веселье, не берется измерить и развесить по-аптекарьски, сколько чего надобно для произведения гения, математика, философа, стихотворца, злодея или добродетельного мужа.

Как бы то ни было, мы видим в свете людей ученых и чувствительных, умных и холодных *от колыбели до гроба*, согласно с русскою пословицею; и нравственное свойство их так независимо от воли, что все убеждения рассудка, все твердые намерения переменитья нравом остаются без действия. Лафонтен сказал:

Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.

Гони Природу в дверь: она влетит в окно!

Правда, что сию неволю знают одни чувствительные; холодные всегда довольны собою и не желают перемениться. Одно такое замечание не доказывает ли, что выгода и счастье на стороне последних? Первые, без сомнения, живее наслаждаются; но как в жизни более горестей, нежели удовольствий, то слабее чувствовать те и другие есть выигрыш. *Боги не дают, а продают нам удовольствие*, — сказал греческий трагик: *и слишком дорого, можно примолвить*, так что мы с покупкою остаемся в глупцах. Но чувствительный есть природный мот: он видит свое разорение, борется с собою и все покупает.

Однакож, любя справедливость, заметим и свойственные ему преимущества. Равнодушные люди бывают во всем благоразумнее, живут смиреннее в свете, менее делают бед и реже расстраивают гармонию общества; но одни чувствительные приносят великие жертвы добродетели, удивляют свет великими делами, для которых, по словам Монтаня, нужен всегда *небольшой примес безрассудности*, un peu de folie; они-то блистают талантами воображения и творческого ума: поэзия и красноречие есть дарование их. Холодные люди могут быть только математиками, географами, натуралистами, антиквариями и — если угодно — философами!..

Мы имели случай узнать историю двух человек, которая представляет в лицах сии два характера.

Эраст и Леонид учились в одном пансионе и рано сделались друзьями. Первый мог назваться красавцем; второй обращал на себя внимание людей отменно ученым лицом. В первом с самого младенчества обнаруживалась редкая чувствительность; второй, казалось, родился благоразумным. Эраст удивлял своим понятием, Леонид прилежанием. Казалось, что первый не учится, а только вспоминает старое; второй же никогда не забывает того, что узнавал однажды. Первый, от излишней надежности на себя откладывая всякое дело до последней минуты, иногда не выучивал урока; второй знал его всегда заблаговременно, все еще твердил и не верил своей памяти. Эраст делал иногда маленькие проказы, ссорился с товарищами и нередко заслуживал наказания; но все его любили. Леонид вел себя тихо, примерно и не оскорблял никого, но его только хвалили. Одного считали искренним, добродушным: таков он был в самом деле. Другого подозревали в хитрости и даже в лукавстве: но он был только осторожен. — Их взаимная дружба казалась чудною: столь были они не сходны характерами! Но сия дружба основывалась на самом различии свойств. Эраст имел нужду в благоразумии, Леонид в живости мыслей, которая для его души имела *прелесть удивительного*. Чувствительность одного требовала сообщения; равнодушные и холодность другого искали занятия. Когда сердце и воображение пылают в человеке, он любит говорить; когда душа без действия, он слушает с удовольствием. Эраст еще в детстве пленялся рома-

нами, поэзией, а в истории более всего любил чрезвычайности, примеры героизма и великодушия. Леонид не понимал, как можно заниматься небылицами, то есть романами! Стихотворство казалось ему трудной и бесполезною игрою ума, а стихотворцы людьми, которые хотя притяно бегать в кандалах. Он читал историю с великою прилежностью, но единственно для того, чтобы знать ее, не для внутреннего наслаждения, но как вокабулы или грамматику. Мудрено ли, что мнения друзей о героях ее были несогласны? Эраст превозносил до небес великодушные и храбрость Александра; Леонид называл его отважным безумцем. Первый говорил: «Он победил вселенную!» Второй ответствовал: «Не зная, для чего!» Эраст обожал Катона, добродетельного самоубийцу. Леонид считал его помешанным гордецом. Эраст восхищался бурными временами греческой и римской свободы; Леонид думал, что свобода есть зло, когда она не дает людям жить спокойно. Эраст верил в историю всему чрезвычайному; Леонид сомневался во всем, что не было согласно с обыкновенным порядком вещей. Один спрашивался с воображением пылким, а другой с флегматическим своим характером.

Как мнения, так и поступки наших друзей были различны. Однажды дом, где они учились и жили, загорелся ночью: Эраст вскочил с постели не одетый, разбудил Леонида и других пансионеров, тушил огонь, спасал драгоценные вещи своего профессора и не думал о собственных. Дом сгорел, и Эраст, обнимая друга, сказал с великодушным чувством:

— Я всего лишился; но в общих бедствиях хорошо забывать себя...

— Очень дурно, — отвечал Леонид с хладнокровием. — Человек создан думать сперва о себе, а там о других; иначе нельзя стоять свету. Хорошо, что мне удалось поправить твою безрассудность: я спас и сундуки и книги наши.

Так Леонид мыслил и поступал на шестнадцатом году жизни. — В другой раз они шли по берегу реки: в глазах их мальчик упал с мосту. Эраст ахнул и бросился в воду. Леонид хотел удержать его, но не успел; однакож не потерял головы, даже не закричал, а только изо всей силы пустился бежать к рыбакам, которые вдали расправляли сети, — бросил им рубль и велел спасти Эраста, который уже тонул. Рыбаки через пять минут вытащили его вместе с мальчиком. Леонид бранил своего друга: называл глупцом, безумным; однакож плакал... Редкая чувствительность холодных людей бывает тем заметнее и трогательнее. Эраст целовал его и восклицал:

— Я жертвовал собою для спасения человека, обязан жизнью другу и вижу слезы его: какое счастье!

Они в одно время оставили пансион и вместе отправились в армию. Эраст твердил: «Надобно искать славы!» Леонид говорил:

«Долг велит служить дворянину...» Первый бросался в опасности, другой шел, куда посылали его. Первый от излишней запальчивости скоро попался в плен к неприятелю; другой заслужил имя хладнокровного, благоразумного офицера и крест Георгия при конце войны. Мир освободил Эраста... Как искренно радовался он возвышению друга, который далеко опередил его в чинах воинских! Ни малейшая тень зависти не омрачила его доброго, чистого сердца. — Оба вместе перешли они в гражданскую службу. Леонид занял место совсем не блестящее и трудное; Эраст вступил в канцелярию знатнейшего вельможи, надеясь своими талантами заслужить его внимание и скоро играть великую роль в государстве. Но для успехов честолюбия нужны гибкость, постоянство, холодность, терпение: Эраст же не имел ни которого из сих необходимых свойств. Он писал хорошо; но вручая бумагу министру, гордым взором не просил снисходительного одобрения, а требовал справедливой хвалы; не боялся досадить ему: боялся только перед ним унижаться.

— Пусть он знает, — говорил Эраст Леониду, — что я служу государству, а не ему, и соглашаюсь на время трудиться в неизвестности, чтобы стать некогда на ту степень, которая достойна благородного честолюбия и на которой дела мои будут славны в отечестве!..

— Любезный друг! — отвечал Леонид: — никакие таланты не возвысят человека в государстве без угождения людям; если не хочешь служить им, то они не дадут тебе способа служить и самому отечеству. Не презирай нижних ступеней лестницы: они ведут к верхней. Искусный честолюбец только изредка взглядывает на отдаленную цель свою, но беспрестанно смотрит себе под ноги, чтобы итти к ней верно и не обступиться...

Сей медленный, благоразумный ход не мог нравиться пылкому Эрасту. Иногда он работал с удивительным прилежанием; иногда, утомленный делами, искал отдохновения в светских рассеяниях. Но сей опасный, мнимый отдых мало-помалу превратился для него в главное дело жизни. Эраст был молод, прекрасен, умен и богат: сколько прав наслаждаться светом! Женщины ласкали его, мужчины ему завидовали; сколько приятностей для сердца и самолюбия! Он сократил вечера для работы, чтобы продлить их для удовольствий общества, находя, что одобрительная улыбка министра не так любезна, как нежная улыбка прелестных женщин. К чести его скажем, что он, забывая должность, стыдился внутренно своей неисправности; однакож не хотел сносить ни малейших выговоров и всякий раз отвечал на них требованием отставки. Министр его был человек добрый и рассудительный, но человек: он вышел из терпения — и Эраст сделался наконец свободным, то есть праздным.

— Поздравь меня с любезною вольностью! — сказал он Леониду, всбжав в кабинет к нему. — Мне запретили быть полезным государству: никто не запретит мне быть счастливым.

Леонид пожал плечами и с холодным видом отвечал другу:

— Жалею о тебе! Человеку в двадцать пять лет не позволено жить для одного удовольствия.

Разумеется, что Эраст, взяв отставку, тем ревностнее служил грациям. Он был истинно чувствителен: следственно, хотел еще более любить, нежели нравиться. Скоро очарование нежной страсти представило ему свет в одном предмете и жизнь в одном чувстве... Блаженный любовник, забыв вселенную, вспомнил только о друге и летел к нему говорить о своем счастье. — Снисходительный Леонид оставлял приказные бумаги и слушал его; но часто, облокотясь на камин, дремал среди самых живых описаний нового Сен-Прё, который иногда в жару сердечного красноречия не видел того; иногда же, пораженный усыпительным действием своих, как ему казалось, чрезмерно любопытных рассказов, говорил с жалким видом:

— Ты дремлешь!..

— Мой друг! — отвечал Леонид: — вы, любовники, имеее обыкновение твердить сто раз одно; а всякие ненужные повторения склоняют меня к дремоте.

Леонид держался Бюффоновой системы, и нравственная любовь казалась ему дурною выдумкою ума человеческого. Эраст называл его грубым, бесчувственным, камнем и другими подобными ласковыми именами. Леонид не сердился, но стоял в том, что благоразумному человеку надобно в жизни заниматься делом, а не игрушками разгоряченного воображения. — Споры друзей продолжались — и не решились; но Эраст оставлял иногда обожаемую красавицу, чтобы ехать к Леониду и доказывать ему неописанное счастье, каким любовник наслаждается в присутствии любовницы! Хладнокровный философ наш улыбался...

Он находил и другие случаи торжествовать над своим противником. Давно уже сравнивают любовь с розою, которая пленяет обоняние и глаза, но колет руку; к несчастью, терние долговечнее цвета!.. Эраст, наслаждаясь восторгами, испытывал и неудовольствия: иногда сам скучал, иногда им скучали; иногда страдал от своей верности, иногда мучился от непостоянства любовниц. Надобно заметить, что и самые блестящие молодые люди по большей части входят в связи с женщинами ветренными, которые избавляют их от трудного искания: мудрено ли, что любовь и непостоянство имеют почти одно значение в свете? Эраст со слезами бросался иногда в объятия к верному другу, чтобы жаловаться ему на милых обманщиц. Леонид в таких случаях поступал великодушно: утешал его и не думал смеяться над бедным страдальцем. Но искренний Эраст сам любил обвинять себя, проклинал заблу-

ждения страстей, писал едкие сатиры на кокеток и сперва читал их только другу — а через несколько дней женщинам — а через несколько дней бросал в огонь, снова пленяясь каким-нибудь ангелом: ибо всякая томная прелестница, которая брала на себя труд уверить его в любви своей, обыкновенно казалась ему существом небесным, и Леонид снова должен был засыпать, слушая красноречивые описания милых ее свойств и чувствительности. — Одним словом, Эраст или блаженствовал, или терзался; или, в отсутствии живых чувств, томился несносною скукою. Леонид не знал счастья, но не искал его и был доволен мирным спокойствием души, ясной и кроткой. Первый умом обожал свободу, но сердцем зависел всегда от других людей; второй соглашал волю свою с порядком вещей и не знал тягости принуждения. Эраст *иногда* завидовал равнодушию Леонидову; Леонид *всегда* жалел о пылком Эрасте.

Сей последний уехал наконец из П. — следом за одною красавицею, — оставив Леонида больного; дорогою беспокоился, считал себя преступником в дружбе, хотел десять раз воротиться, но между тем въехал уже в М—у, — откуда через несколько дней известил друга о своей женитьбе... «Уверенный, — писал он, — многими опытами, что все нежные связи, основанные только на удовольствии, не могут быть надежны и, разрываясь, оставляют в сердце горесть о минувшем заблуждении, я прибегнул к союзу, освященному мнением и законом! Вечность его пленяет душу мою, утомленную непостоянством». — Эраст заклинал друга спешить к нему в объятия и быть свидетелем его истинного счастья. Леонид скоро явился в М... Обрадованный Эраст бросился к нему навстречу, говоря:

— Теперь вижу опыт нежной дружбы твоей!..

— Я отпросился в отпуск, — сказал Леонид равнодушно, — чтобы ехать в свою деревню. Мне через М—у дорога...

И в самом деле уехал через два дни.

Эраст и самому себе и другим казался счастливым. Нина, супруга его, была прекрасна и мила. Он наслаждался вместе и любовию и покоем; но скоро заметил в себе какое-то чудное расположение к меланхолии: задумывался, унывал и рад был, когда мог плакать. Мысль, что судьба его навсегда решилась, — что ему уже нечего желать в свете, а должно только бояться потери, — удивительным образом тревожила его душу. Мы никогда не изъясним сего чувства холодным людям: оно покажется им безумием, но делает самых счастливых несчастными. Воображение, которому навеки занятое сердце не позволяет уже искать таинственного блаженства за отдаленным горизонтом, как будто бы скучает своим бездействием и рождает печальные фантомы вокруг нас.

В сем расположении Леонид нашел Эраста, возвратясь из деревни в М—у, и дал слово прожить с ним несколько времени. Нина

желала показаться ему любезною: мудро ли? Эраст так неумеренно хвалил его! и друзья мужей, как известно, имеют великие права на ласку жен. Леонид, всегда равнодушный и спокойный, был тем занимательнее в обществе: сердце никогда не мешало уму его искать на досуге приятных идей для разговора. К тому же мы заметили, что холодные люди иногда более чувствительных нравятся женщинам. Последние с излишнею скоростию и без всякой *экономии* обнаруживают себя; а первые долее скрываются за щитом равнодушия и возбуждают любопытство, которое сильно действует на женское воображение. Хочется видеть в пылкой деятельности сердце флегматическое; хочется оживить статую... Но без дальнейших изъяснений скажем, что Леонид вдруг — уехал в П., не простившись ни с хозяином, ни с хозяйкою.

Эраст изумился и спешил к жене своей... Нина обливалась слезами, писала и хотела скрыть от него бумагу. Он вырвал письмо из рук ее... Бедный муж, но друг счастливый!.. Открылось, что Нина обожала Леонида, но что он не хотел изменить дружбе и для того удалился. Безрассудная в письме своем к нему заклинала его возвратиться, а в противном случае грозила отравить себя ядом... Эраст оцепенел от ужаса... Виновная супруга лежала у ног его без памяти... Видя смертную бледность ее, он забыл все и старался только привести ее в чувство... Нина открыла томные глаза свои. Не знаю, что она говорила Эрасту; но Эраст через несколько минут, прижав ее к своему сердцу, громко воскликнул:

— Такое ангельское раскаяние милее самой непорочности; все забываю, и мы будем счастливы!..

В тот же день он написал к Леониду: «О друг верный и бесценный! поступок твой затмевает добродетель Сципионову; но смею думать, что в подобных обстоятельствах я сделал бы то же!» Леонид в ответе своем изъяснил сожаление о *домашней* его *неприятности* и сказал между прочим: «Женщины любезны и слабы, как дети: надобно многое спускать им; но какой благоразумный человек пожертвует старинным другом минутной их прихоти?»

Сердца нежные всегда готовы прощать великодушно и радуются мыслию, что они приобретают тем новые права на любовь виновного; но раскаяние души слабой не надолго укрепляет ее в добродетельных чувствах: оно, как трепетание музыкальной струны, постепенно утихает, и душа входит опять в то расположение, которое довело ее до порока. Легче удержаться от первой, нежели от второй вины, — и бедный Эраст развелся с женою, ибо не все его знакомые, подобно Леониду, спасались бегством от прелестей Нины.

Мы видим несчастных мужей в свете и почти *привыкли* к ним; но если они чувствительны, то можем ли искренно не сожалеть об них? Мы любим плакать со вдовцом горестным: он счастлив в сравнении с мужем, который должен ненавидеть или презирать

супругу... Эраст в отчаянии своем жаловался на судьбу, а еще более на женщин.

— Я любил вас пламенно и нежно, — говорил он, — умел быть постоянным для самых ветренниц; умел быть честным в самых не нравственных связях; видел, как забываете ваши должности, но помнил свои — и в награду за то, был несколько раз оставленным любовником, сделался наконец обманутым мужем!

Эраст недели две плакал, недели две скитался один по окрестностям города, а там, желая чем-нибудь заняться, вздумал быть — автором.

Чувствительное сердце есть богатый источник идей: ежели разум и вкус помогают ему, то успех несомнителен, и знаменитость ожидает писателя. Эраст жил уединенно, но скоро обратил на себя общее внимание; умные произносили его имя с почтением, а добрые с любовью: ибо он родился нежным другом человечества и в творениях своих изображал душу, страстную ко благу людей. Призрак, называемый славою, явился ему в лучезарном сиянии и воспламенил его ревностью бессмертия. «О слава! — думал он в восторге сердца: — я искал тебя некогда в дыму сражений и на поле кровопролития: ныне, в тихом кабинете, вижу блестящий образ твой перед собою и посвящаю тебе остаток моей жизни. Я не умел быть счастливым, но могу быть предметом удивления; венки миртовые вянут с юностию: венок лавровый зеленеет и на гробе!..» Бедный Эраст! ты променял одну мечту на другую. Слава благоворна для света, а не для тех, которые приобретают ее... Скоро зашипили ехидны зависти, и добродушный автор нажил себе неприятелей. Сии чудные люди, которых он не знал в лицо, бледнели и страдали от его авторских успехов; сочиняли гнусные, ядовитые пасквили и готовы были растерзать человека, который не оскорбил их ни делом, ни мыслию. Напрасно Эраст вызывал завистников своих писать лучше его: они умели только изливать яд и желчь, а не блистать талантом. Эраст имел слабость огорчаться их ненавистию и писал к своему другу: «Узнав ветренность женщин, вижу теперь зlobу мужчин. Первые извиняются хотя удовольствием; вторые делают зло без всякой для себя выгоды». — «Всего вернее (отвечал ему Леонид) итти в свете большою дорогою и запастись такими деньгами, которые везде принимаются. Служба есть у нас вернейший путь к уважению (которого сродно искать людям в гражданском соединении), а чины ходячая монета; положим, что слава драгоценнее: но многие ли знают ее клеймо и высокую пробу? Это не монета, а медаль: один знаток возьмет ее вместо денег. К тому же дарования ума всегда оспариваются, и причина ясна: души малые, но самолюбивые, каких довольно в свете, хотят возвеличиться унижением великих. Но дело сделано, и ты стоишь на пути славы: имей же твердость презирать усилие зависти, которая есть необходимое условие громкого имени! Не только презирай,

но и радуйся ей: ибо она доказывает, что ты уже славен». Письмо Леонидово заключалось сими словами: «Я через месяц женюсь, чтобы избавить себя от хозяйственных забот. Женщина нужна для порядка в доме».

Эраст забыл свои авторские неудовольствия, чтобы спешить в П. к свадьбе друга... Они уже давно не видались. Леонид, несмотря на прилежность делового человека, пвел здоровьем; ибо всякая диететика начинается предписанием: *будь спокоен духом!* Эраст, некогда прекрасный молодой человек, высох, как скелет; ибо *огненные страсти*, по словам одного англичанина, *суть курьеры жизни: с ними недолго ехать до кладбища*. Любовь и слава питают душу, а не тело. Леонид, несмотря на свою холодность, с прискорбием заметил Эрастову бледность... Он не обманул друга и в самом деле женился только *для порядка в доме*, заблаговременно объявив невесте условия: «1) ездить в гости однажды в неделю; 2) принимать гостей однажды в неделю; 3) входить к нему в кабинет однажды в сутки, и то на пять минут». Она, исполняя волю отца, на все согласилась и строго наблюдала предписания мужа, тем охотнее, что меланхолик Эраст жил в их доме, любил сидеть с нею у камина и читать ей французские романы. Иногда они плакали вместе, как дети, и скоро души их свыклись удивительным образом. Первые движения симпатии требуют откровенности: сердце в таком случае имеет всю догадку проницательного разума и знает, что искренность действует сильнее самых красноречивых уверений в дружбе. Каллиста сведала подробности Эрастовой жизни, неизвестные и мужу ее, — не чудно: она слухала Эраста с живейшим удовольствием, а Леонид с холодностию. Платя доверенностью за доверенность, Каллиста жаловалась ему на равнодушие Леонидово и сказала однажды:

— Я хотела бы узнать безрассудную Нину, чтобы иметь понятие о женщине, которая не умела быть с вами счастливою!..

Но она уже и без слов объяснилась с Эрастом. Тронутая чувствительность имеет язык свой, которому все другие уступают в выразительности; и если глаза служат вообще зеркалом души, то чего не скажет ими женщина страстная? Всякая минута, всякое движение Каллисты доказывало, что Эрасту надлежало — удалиться! Он хотел себя обманывать, но не мог; ужасался быть любимым, но не переставал быть любезным; хотел навеки расстаться, но с утра до вечера видел Каллисту. Что ж делал между тем благо-разумный Леонид? занимался приказными делами. Однакож холодные люди не слепы — и бедному Эрасту в одно утро объявили, что он хозяин в Леонидовом доме!.. То есть флегматик наш без дальних сборов посадил жену в карету и благополучно уехал с нею из П., написав следующую записку к другу: «Ты вечно будешь ребенком; а Каллиста женщина. Знаю тебя и хочу спасти от упреков совести. Мне поручили кончить важное государственное дело

за тысячу верст отсюда. Верный друг твой до гроба...» Читатели могут пощадить Эраста: угрызения совести довольно наказали его. Для нежного сердца все возможные бедствия ничто в сравнении с теми случаями, где оно должно упрекать себя. «Безрассудный! — думал он: — я прельстил жену друга, который не хотел воспользоваться слабостью моей жены! Вот награда за его добродетель! О стыд! я смел не удивляться ей и думал, что сам могу поступить так же...» К чести Эраста скажем, что он не досадовал на Леонида за разлуку свою с Каллистой.

Судьба послала ему утешение. Он сведал, что тесть Леонидов имел важное судное дело и по всем вероятностям должен был лишиться своего имени. Эраст тайно дал на себя вексель его сопернику в большой сумме, с условием, чтобы он прекратил тяжбу миром. Сия великодушная жертва тем более ему нравилась, что и Леонид и Каллиста были вместе ее предметом: он не хотел любить, но позволял себе жалеть о слабой женщине, которая *для него* забыла должность свою!

Эраст искал рассеяния в путешествии, пленительном в те годы, когда свет еще нов для сердца; когда мы в очарованиях надежды только готовимся жить, действовать умом и наслаждаться чувствительностию; когда, одним словом, хотим запастись приятными воспоминаниями для будущего и средствами правиться людям. Но душа, изнуренная страстями, — душа, которая вкусила всю сладость и горечь жизни, — может ли еще быть любопытною? Что остается ей знать, когда она узнала опытом восторги и муки любви, прельстив злостью и внутреннюю пустоту ее? — Эраст не имел *удовольствия завидовать* людям, ибо сердце его не хотело уже верить счастью. Смотря на великолепные палаты, он мыслил: «Здесь плачут так же, как и в хижине», — вступая в храмы наук, говорил себе: «Здесь учат всему, кроме того, как найти благополучие в жизни», — смотря на молодого красавца, счастливого нежными улыбками прелестниц, думал: «Ты оплачешь свои победы». Эраст воображал, что сердце его наконец ожесточилось: так мыслят всегда люди чувствительные, натерпевшись довольно горя; но слушая музыку нежную, он забывался, и грудь его орошалась слезами; видя бедного, хотел помогать ему и, встречая глазами взор какой-нибудь миловидной незнакомки, тайно от ума своего искал в нем ласкового приветствия. Эраст иногда писал и внутренне утешался мыслию, что зависть и вражда умирают с автором и что творения его найдут в потомстве одну справедливость и признательность; следственно, он все еще обманывал себя воображением: разве холодные души не удивляют нас жаром своим, когда они терзают память бедного Жан-Жака? Злословие есть наследственный грех людей: живые и мертвые равно бывают его предметом.

Эраст возвратился в отечество, чтобы не оставить костей своих в чужой земле: ибо здоровье его было в худом состоянии. Он

пылал нетерпением видеть друга, но помнил вину свою и боялся его взоров. Леонид, уже знатный человек в государстве, обрадовался ему искренно и представил молодую красавицу, вторую жену свою. Каллисты не было уже на свете: супруг ее, еще не скинув траура, помолвил на другой и *ровно* через год обвенчался. Эраст не смел плакать в присутствии Леонида, но огорчился душевно: Каллиста была последним предметом его нежных слабостей!.. Друг обходился с ним ласково, но не предлагал ему жить в доме своем!

Эраст думал посвятить остаток жизни тихому уединению и литературе; но, к несчастию, ему отдали медальон с волосами Каллисты и письмо, которое она писала к нему за шесть дней до кончины своей. Он узнал, что Каллиста любила его страстно, нежно и постоянно; узнал, что сия любовь, противная добродетели, сократила самую жизнь ее. Бедный Эраст!.. Меланхолия его обратилась в отчаяние. Ах! лучше сто раз быть обманутым неверными любимицами, нежели уморить одну верную!.. В иступлении горести он всякий день ходил обливать слезами гроб Каллисты и терзать себя упреками; однакож бывали минуты, в которые Эраст тайно наслаждался мыслию, что его хотя один раз в жизни любили пламенно!..

Он скоро занемог, но успел еще отдать половину своего имени Нине, сведав, что она терпит нужду. Сия женщина, наказанная судьбою за неверность и тронутая великодушием супруга, оскорбленною ею, спешила упасть к ногам его. Эраст умер на ее руках, с любовию произнося имя Каллисты и Нины: *душа его примирилась с жезницами, но не с судьбою!*.. Леонид не ездил к больному, ибо медики объявили его болезнь заразительною; он не был и на погребении, говоря: «Бездушный труп уже не есть друг мой!..» Два человека погребли его и с искреннею горестию оплакали: Нина и добродушный камердинер Эрастов...

Леонид дожил до глубокой старости, наслаждаясь знатностию, богатством, здоровьем и спокойствием. Государь и государство уважали его заслуги, разум, трудолюбие и честность; но никто, кроме Эраста, не имел к нему истинной привязанности. Он делал много добра, но без всякого внутреннего удовольствия, а единственно для своей безопасности; не уважал людей, но берегя их; не искал удовольствий, но избегал огорчений; *не-страдание* казалось ему наслаждением, а равнодушие талисманом мудрости. Если бы мы верили прехождению душ, то надлежало бы заключить, что душа его настрадалась уже в каком-нибудь первобытном состоянии и хотела единственно отдыхать в образе Леонида. Он лишился супруги и детей; но, воображая, что горесть бесполезна, старался забыть их. — Любимою его мыслию было, что здесь все для человека, а человек только для самого себя. При конце жизни Леонид согласился бы снова начать ее, но не желал того: ибо стыдился желать невозможного. Он умер без надежды и страха, как обыкновенно засыпал каждый вечер.

Остров Борнгольм

Друзья! Прошло красное лето; золотая осень побледнела; зелень увяла; деревья стоят без плодов и без листьев; туманное небо волнуется, как мрачное море; зимний пух сыплется на холодную землю — простимся с Природою до радостного весеннего свидания; укроемся от вьюг и метелей — укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас; мы знаем лекарство от скуки. Друзья! дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окна белым снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу; видел много чудного, слышал много удивительного; многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случалось со мною. Слушайте — я повествую — повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях; время посвятить страннический жезл твой сыну Майну; ¹ время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», — сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами; уже слышали мы шум его волнения — но вдруг переменился ветер, и корабль наш в ожидании благоприятнейшего времени должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным Природою и трудолюбием, — местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву под столетним вязом близ морского берега и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые

¹ Во времена древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслися к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которые есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел — молодого человека, худого, бледного, томного, — более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором; чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слышал ничего. «Несчастный молодой человек! — думал я, — ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив».

Он вздохнул; поднял глаза к небу — опустил их опять на волны морские — отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор N. N.):

Законь осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю, — любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокое сердца!

Священная Природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
 Но нас не поражал,
 Когда мы наслаждались
 В объятиях любви. —

О Борнгольм, милый Борнгольм!
 К тебе душа моя
 Стремится беспрестанно;
 Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
 Навек я удален
 Родительскою клятвой
 От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила!
 Живешь в тоске своей?
 Или в волнах шумящих
 Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
 Любезнейшая тешь!
 Я сам в волнах шумящих
 С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему; но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развеивает наши парусы и что нам не должно терять времени. — Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами — смотрел на синее море.

Волны ценились под рулем корабля нашего; берег гревзендский скрылся в отдалении; северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта — наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы утраченные необозримостию моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. — Друзья мои! чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка*, как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти*; но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. Nil mortali- bus arduum est — *нет для смертных невозможного*, думал я с Го- рацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн, ¹ едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу; море, освещаемое златыми его лучами, шумело; корабль летел на всех парусах по грядам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развевались белые, голубые и розовые флаги; а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

— Где мы? — спросил я у капитана.

— Плавание наше благополучно, — сказал он, — мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место, опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь.

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» — повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. «Они заключают в себе тайну сердца его, — думал я: — но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной Натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ холодной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неопisanного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны — и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва, едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбацьи хижины, решил я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матрозами. Он говорил об опасности, о подводных камнях; но вида непереклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование, с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

¹ В самом деле пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на холодной стихии, под шумом валов морских, и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас сквозь распадающуюся кремнистую гору к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на просторную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы насладиться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе; розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок.

— Мы туда не ходим, — говорил он, — и бог знает, что там делается!

Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина; вдали шумело море; последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка — ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня итти назад к хижинам; но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос — спрашивали:

— Кто там?

— Чужеземец, — сказал я, — приведенный любопытством на сей остров; и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи.

Ответа не было; но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост: с шумом отворились ворота — высокий человек в длинном черном платье встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад: но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами; мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою,

висела лампада и едва, едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня пронизательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо — в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с некоторою печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим приятным голосом:

— Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! я не знаю тебя; но ты человек — в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям — мой дом, мой объятия тебе отверсты.

Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но кладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым — хотелось улыбкою вселить в меня доверенность и приятные чувства дружелюбия; но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

— Ты должен, молодой человек, — сказал он, — ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении; давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на алтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?

— Свет наук, — отвечал я, — распространяется более и более; но еще струится на земле кровь человеческая — лиются слезы несчастных — хвалят имя добродетели и спорят о существовании ее.

Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он:

— Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших; но мы во мраке идолопоклонства приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах сла-

вили вы великого творца вселенной; но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия.

Старец говорил со мною об истории северных народов, о проществе древности и новых времен; говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы — и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шипаками. В углу под золотым балдахином стояла высокая кровать, украшенная резьбою и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку; но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула — звук страшно раздался в пустых стенах — и все утихло. Я лег на постелю — смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, — думал о своем хозяине, о первых словах его: *здесь обитает вечная горесть* — мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем, — мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. — Наконец образ печального гревзсидского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей; что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плователи при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! умри за сие пагубное любопытство!» — Уже мечи застучали надо мною, уже тысячи ударов сыпались на грудь мою — но вдруг все скрылось — я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке; железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которого описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постеле. Сновидение исчезло; но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице — сошел в сад.

Ночь была ясная; свет полной луны осребрил темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрепанных ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой открытая равнина и маленькии рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов, и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей — и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все тайнства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова; но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма: человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой Nature. Я вошел — почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкою железную дверь: она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее — тут за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду; а в углу на соломенной постеле лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми перешлелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва, едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить темную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, — то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! кого не трогает вид несчастного? Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, — вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, — мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась — взглянула на решетку — увидела меня — изумилась — подняла голову — встала — приблизилась — потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, — снова устремила их на меня, хотела говорить и — не начинала.

— Если чувствительность странника, — сказал я через несколько минут молчания, — рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь; если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность: требуй его помощи!

Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение.

Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом:

— Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда — чужеземец! я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызая руку, которая меня наказывает.

— Но сердце твое невинно? — сказал я, — оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?

— Сердце мое, — отвечала она, — могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!

Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила:

— Ради бога оставь меня!.. Если он сам послал тебя — тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, — скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь; что сердце мое высохло от горести; что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение; что я умру его нежною, несчастною...

Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое; через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостью:

— Ты, может быть, знаешь мою историю; но если не знаешь, то не спрашивай меня — ради бога не спрашивай!.. Чужеземец, прости!

Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей; но взор мой еще встретился с ее взором — и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился — ждал вопроса; но он после глубокого вдоха умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря адела на небе; птички пробудились; ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. «Боже мой! — думал я. — Боже мой! как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства Натуры! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно, — творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, — и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благости; и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе; и здесь нежные зефиры дышат ароматами; и здесь зеленые ковры

расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека; и здесь поют птички — поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого; и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной Природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но — бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения; роса утренняя не окропляет ее томного сердца; ветерок не освежает истлевшей груди; лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее; тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! почто даровал ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» — Силы мои ослабели, и глаза закрылись под ветвями высокого дуба на мягкой зелени. Сон мой продолжался около двух часов.

— Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру, — вот что услышал я, проснувшись, — открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старик взглянул на меня с некоторою суровостию; встал, пожал мою руку — и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости; но вдруг остановился и, устремив на меня пропитательный, огненный взор, спросил твердым голосом:

— Ты видел ее?

— Видел, — отвечал я, — видел, не узнав, кто она и за что страдает в темнице.

— Узнаешь, — сказал он, — узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излило всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца; старца, который любил добродетель, который чтит святые законы его?

Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю — историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца — тайну страшную!

Матрозы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою — наконец я взглянул на небо — и ветер свеял в море слезу мою.



Сиерра-Морена

В цветущей Андалузии, там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена, ¹ — там увидел я Прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор.

Эльвира любила юного Алонза; Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее; но корабль, на котором плыл он из Майорки (где жил отец его), погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь ее была в опасности... Наконец отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами.

Я смешал слезы мои с ее слезами. Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной! — Я в первый раз поцеловал тогда руку ее.

Эльвира говорила мне о своем незабвенном Алонзе; описывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, свое блаженство; потом отчаяние, тоску, горесть и, наконец, — утешение, отраду, находимую сердцем ее в милом дружестве. Тут взор Эльвири блистал светлсе; розы на лице ее оживлялись и пылали; рука ее с горячностью пожимала мою руку.

Увы! в груди моей свирепствовало пламя любви: сердце мое стирало от чувств своих; кровь кипела — и мне надлежало таить страсть свою!

Я таил оную; таил долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя: ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонза; клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва! Она заграждала уста мои.

¹ То есть Черная гора.

Мы были неразлучны; гуляли вместе на злчных берегах величественного Гвадалквивира; сидели над журчащими его водами подле горестного Алонзова памятника в тишине и безмолвии; одни сердца наши говорили. Взор Эльвири, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вдоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в пространстве воздуха. Жар дружеских моих объятий возбуждал иногда трепет в нежной Эльвириной груди — быстрый огонь разливался по лицу прекрасной — я чувствовал скорое биение пульса ее — чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить... но слова на устах замирали. — Я мучился и наслаждался.

Часто темная ночь застигала нас в отдаленном уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утесов Сиерры-Морены, в ее глубоких расселинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух; багряные молнии вились на черном небе, или бледная луна над седьми облаками восходила. — Эльвира любила ужасы Натуры: они возвличивали, восхищали, питали ее душу.

Я был с нею!.. и радовался сгущению ночных мраков. Они сближали сердца наши; они скрывали Эльвиру от всей Природы — и я тем живее, тем *нераздельнее* наслаждался ее присутствием.

Ах! можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? — Бурное стремление яростных вод разрывает все оплоты, и каменные горы распадаются от силы огненного вещества, в их недрах заключенного.

Сила чувств моих все преодолела, и долго таимая страсть излилась в нежном признании!

Я стоял на коленях, и слезы мои текли рекою. Эльвира бледнела — и снова уподоблялась розе. Знаки страха, сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице ее!..

Она подала мне руку с умильным взором.

— Жестокий! — сказала Эльвира, но сладкий голос ее смягчил всю жестокость сего упрека, — жестокий! ты недоволен кроткими чувствами дружбы; ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный!.. Пусть же громы небесные поразят клятвопреступницу!.. Я люблю тебя!..

Огненные поцелуи мои запечатали уста ее.

Боже мой!.. Сия минута была счастливейшею моей жизни!

Эльвира пошла к Алонзову памятнику, стала перед ним на колени и, обнимая белую урну, сказала трогательным голосом:

— Тень любезного Алонза! простишь ли свою Эльвиру?.. Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не престану; образ твой сохранится в моем сердце; всякий день буду украшать цветами твой памятник; слезы мои будут всегда мешаться с утреннею и вечернею росой на сем хладном мраморе! — Но я клялась еще

не любить никого, кроме тебя... и люблю!.. Увы! я надеялась на сердце свое и поздно увидела опасность. Оно тосковало — было одно в просторном мире — искало утешения — дружба явилась ему в венце невинности и добродетели... Ах!.. любезная тень! простишь ли свою Эльвиру?

Любовь моя была красноречива: я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах ее.

Эльвира назначила день для нашего вечного соединения, предалась нежным чувствам своим, и я наслаждался небом! — Но гром собирался над нами... Рука моя трепещет!

Все радовалось в Эльвирином замке; все готовилось к брачному торжеству. Ее родственники любили меня — Андалузия должна была быть вторым моим отечеством!

Уже розы и лилии на алтаре благоухали, и я приблизился к оному с прелестною Эльвирою, с восторгом в душе, с сладким трепетом в сердце; уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением — как вдруг явился незнакомец в черной одежде, с бледным лицом, с мрачным видом; кинжал блистал в руке его.

— Вероломная! — сказал он Эльвире. — Ты клялась быть вечно моею и забыла свою клятву! Я клялся любить тебя до гроба: умираю... и люблю!..

Уже кровь лилась из его сердца; он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма.

Эльвира, как громом пораженная, в испуге воскликнула:

— Алонзо! Алонзо!.. — и лишилась памяти.

Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих.

Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был Алонзо. Корабль, на котором он плыл из Майорки, погиб; но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжелой неволи. Через год он получил свободу — летел к предмету любви своей — услышал о замужестве Эльвирином и решился наказать ее... своею смертью.

Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя — но пламя любви навек угасло в очах и сердце ее.

— Небо страшно наказало клятвopеступницу, — сказала мне Эльвира: — я убийца Алонзова! Кровь его палит меня. Удались от несчастной! Земля расступилась между нами, и тщетно будешь простирать ко мне руки свои! Бездна разделила нас навеки. Можешь только взорами своими растравлять неизлечимую рану моего сердца. Удались от несчастной!

Моя горесть, мое отчаяние не могли тронуть ее. — Эльвира погребла несчастного Алонза на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его, и заключилась в строжайшем из женских монастырей. Увы! она не хотела проститься со мною!.. не хотела,

чтобы я в последний раз обнял ее со всею горячностью любви и видел в глазах ее хотя одно сожаление о моей участи!

Я был в иступлении — искал в себе чувствительного сердца; но сердце подобно камню лежало в груди моей; искал слез и не находил их — мертвое, страшное уединение окружало меня.

День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни отдохновения; скитался по тем местам, где бывал вместе — с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, впечатления души ее... но хлад и тьма везде меня встречали!

Иногда приближался я к уединенным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира: там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: «для тебя уже нет Эльвиры!»

Наконец я удалился от Сиерры-Морены — оставил Андалузию, Гишпанию, Европу — видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной, — и там, опершись на развалины, внимал глубокой красноречивой тишине, царствующей в сем запустении и одними громами прерываемой. Там в объятиях меланхолии сердце мое размягчилось — там слеза моя оросила сухое тление — там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: «Что есть жизнь человеческая? что бытие наше? Один миг, и все исчезнет! Улыбка счастья и слезы бедствия покроются единою горстью черной земли!» — Сии мысли чудесным образом успокоили мою душу.

Я возвратился в Европу и был некоторое время игрищем злобы людей, некогда мною любимых; хотел еще видеть Андалузию, Сиерру-Морену и узнал, что Эльвира преселилась уже в обители небесные; пролил слезы на ее могиле и обтер их навеки.

Хладный мир! я тебя оставил! — Безумные существа, человеками именуемые! я вас оставил! Свирепствуйте в лютых своих иступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга! Сердце мое для вас мертво, и судьба ваша его не трогает.

Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным; где величественная Натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему *эфмерного* бытия — живу в уединении и внимаю бурям.

Тихая ночь — вечный покой — святое безмолвие! к вам, к вам простираю мои объятия!



Письма русского путешественника

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тверь, 18 мая 1789.

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! кто знает, чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, — на окно, под которым сживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставляло меня восходящее солнце, — на готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, — одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их и взял опять к себе, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всего любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! — Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милый Петрв. провожал меня до заставы. Там обнялись мы

с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: *прости!* Колокольчик зазвенел, лошади помчались, и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые? Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса, и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, *выплакать сердце свое*. Там-то все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде... но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. — Простите! Дай бог вам множество утешений! Помните друга, но без всякого горестного чувства!

С.-Петербург, 26 мая 1789.

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу.

В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д., нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек ¹ открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчастлив!..

— Состояние мое совсем твоему противоположно, — сказал он со вздохом: — главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание.

Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести.

— Но не думай, мой друг, — сказал я ему, — чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретаю одно, лишаясь другого и жалею.

Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить вексели. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однакож вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в Адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому

¹ Его уже нет в здешнем свете.

что он дан из Московского, а не из Петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха — я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную — и лошади готовы. И так простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

Рига, 31 мая 1789.

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в *Hôtel de Pétersbourg*. Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще итти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга *на перекладных* и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось; кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги.

— Спрячь ее в карман! — сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренно проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, — которое настроивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает — и в самый тот миг, как сердце мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик лет тринадцати и с милюю, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки:

— У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам — вот наш дом — батюшка и матушка приказали вас просить к себе.

— Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр.

— К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйте.

Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей — разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово.

— Нет, еще стойте! — сказали мне — и хозяйка принесла на блюде три хлеба.

— Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его.

— Бог с вами! — примолвил хозяин, пожав мне руку: — бог с вами!

Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. — Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера.¹ Простился со всюю любезною семьею, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкою добрых людей!

Курляндская корчма, 1 июня 1789.

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены, и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет; то есть за одни сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово, и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею — он к вам поехал, милые! — Начинало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближа-

¹ Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру мое письмо — он был доволец — я еще больше!

лись к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! Вот первый иностранный город, думал я, — и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога Курляндского, немалый дом, впрочем по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

...Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурысь. Нам попались немецкие извозчики из Либав и Пруссии. Странные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и всящие на них гремушки производят несносный для ушей шум.

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме. Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постель для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкою зеленою травою и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один московский вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на восходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный; что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа: боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не беспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище

на Чистых прудах. — Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два немца, которые в особливой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги?

— Нет, — отвечали они.

— А когда так, государи мои, — сказал я, — то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе.

Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии и скопил там много полезных знаний.

— Кто хочет узнать свет, — говорил он, — тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, что в Роттердаме я сделался человеком!

«Хорош гусь!» — думал я — и пожелал им доброго вечера.

Кенигсберг, июня 19, 1789.

Вчера в семь часов утра приехал я сюда, любезные друзья мои, и стал вместе с своим сопутником в трактире у Шенка.

Кенигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов в Европе, будучи в окружности около пятнадцати верст. Некогда был он в числе славных *ганзейских* городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река Прегель, на которой он лежит, хотя не шире 150 или 160 футов, однакож так глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается около 4000, а жителей 40 000 — как мало по величине города! Но теперь он кажется многолюдным, потому что множество людей собралось сюда на ярманку, которая начнется с завтрашнего дня. Я видел довольно хороших домов, но не видал таких огромных, как в Москве или в Петербурге, хотя вообще Кенигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы.

Здешний гарнизон так многочислен, что везде попадаются в глаза мундиры. Не скажу, чтобы прусские солдаты были одеты лучше наших; а особливо не нравятся мне их двугольные шляпы. Что принадлежит до офицеров, то они очень опрятны, а жалованья получают, выключая капитанов, малым чем более наших. Я слышал, будто в прусской службе нет таких молодых офицеров, как у нас; однакож видел здесь по крайней мере десять пятнадцатилет-

них. Мундиры синие, голубые и зеленые с красными, белыми и оранжевыми отворотами.

Вчера обедал я за общим столом, где было старых майоров, толстых капитанов, осанистых поручиков, безбородых подпоручиков и прапорщиков человек с тридцать. Содержанием громких разговоров был прошедший смотр. Офицерские шутки также со всех сторон сыпались. Например: «Что за причина, г. Ритмейстер, что у вас ныне и днем окна закрыты? Конечно, вы не письмом занимаетесь? ха! ха! ха!» — «То-то, фон Кребс! Все знает, что у меня делается!» — и проч. и проч. Однакож они учтивы. Лишь только наша француженка показалась, все встали и за обедом служили ей с великим усердием. — Как бы то ни было, только в другой раз рассудил я за благо обедать один в своей комнате, растворив окна в сад, откуда лились в мой немецкий суп ароматические испарения сочной зелени.

Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Малебранша и Лейбница, и Юма и Боннета, — Канта, которого иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der aller zermalmende Kant*, то есть *все сокрушающий Кант*. Я не имел к нему писем; но смелость города берет — и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были:

— Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъяснить мое почтение Канту.

Он тотчас попросил меня сесть, говоря:

— Я писал такое, что не может нравиться всем; немногие любят метафизические тонкости.

С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которые, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти; но это у него, как немцы говорят, *дело постороннее*. Потом я, не без скачка, обратил разговор на природу и нравственность человека; и вот что мог удержать в памяти из его рассуждений:

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще иметь хотим. Дай человеку все, чего желает; но он в ту же минуту почувствует, что это *все* не есть *все*. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я утешаюсь тем, что мне уже шестьдесят лет и что скоро придет конец жизни моей: ибо надеюсь вступить в другую, лучшую. Помышляя о тех услаждениях,

которые имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия; но представляя себе те случаи, где действовал сообразно с *законом нравственным*, начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о *нравственном законе*: назовем его совестью, чувством добра и зла — но он *есть*. Я солгал; никто не знает лжи моей, но мне стыдно. — Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни, но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей. Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, *глазами увидели ее*? Если бы она нам очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынешнею жизнью и были в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы утешения сказать себе в горестях здешней жизни: *авось там будет лучше!* — По говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч., предполагаем уже бытие всевечного творческого разума, все для чего-нибудь и все благотворящего. Что? Как?.. Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобитное». — Почтенный муж! прости, если в сих строках обезобразил я мысли твои!

Он знает Лафатера и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, — говорит он: — но, имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит магнетизму и пр.». — Коснулись до его неприятелей. «Вы их узнаете, — сказал он, — и увидите, что они все добрые люди».

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: «*Kritik der practischen Vernunft*» и «*Metaphysik der Sitten*»¹ — и сию записку буду хранить как священный памятник.

Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; потом мы с ним расстались.

Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около трех часов. — Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов не много. Все просто, кроме... его метафизики.

Маринбург, 21 июня, ночью.

Прусская так называемая почтовая коляска совсем не похожа на коляску. Она есть не что иное, как длинная покрытая фура с двумя лавками, без ремней и без рессор. Я выбрал себе место на передней лавке. У меня было двое товарищей, капитан и подпоручик, которые сели назади на чемоданах. Я думал, что мое место выгоднее; но последствие доказало, что выбор их был лучше

¹ «Критика практического разума» и «Метафизика нравов» (ред.).

моего. Слуга капитанский и так называемый ширмейстер, или проводник, сели к нам же в коляску на другой лавке. Печальные мысли, которыми голова моя наполнилась при готическом виде нашего экипажа, скоро рассеялись. В городе видел я везде приятную картину праздника — везде веселящихся людей; офицеры мои были весьма учтивы, и разговор, начавшийся между нами, довольно занимал меня. Мы говорили о турецкой и шведской войне, и капитан от доброго сердца хвалил храбрость наших солдат, которые, по его мнению, *едва ли* хуже прусских. Он рассказывал анекдоты последней войны, которые все относились к чести прусских воинов. Ему крайне хотелось, чтобы королю мир наскучил.

— Пора снова драться, — говорил он, — солдаты наши пролежали бока; нам нужна экзерциция, экзерциция!

Миролюбивое мое сердце оскорбилось. Я вооружился против войны всем своим красноречием, описывая ужасы ее: стон, вопль несчастных жертв, кровавою рекою на тот свет уносимых; опустошение земель, тоску отцов и матерей, жен и детей, друзей и сродников; сиротство муз, которые скрываются во мрак, подобно как в бурное время бедные малиновки и синички по кустам прячутся, и пр. Немилостивый мой капитан смеялся и кричал:

— Нам нужна экзерциция, экзерциция!

Наконец я приметил, что взялся за работу Данаид; замолчал и обратил все свое внимание на приятные окрестности дороги. Постиллион наш не жалел лошадей; и таким образом неприметно доехали мы до перемены, где только что имели время отужинать на скорую руку.

Ночь была приятна. Я несколько раз засыпал, но ненадолго, и почувствовал выгоду, которую имели мои товарищи. Они могли лежать на чемоданах, а мне надлежало дремать сидя. На рассвете приехали мы на другую станцию. Чтобы сколько-нибудь ободриться после беспокойной ночи, выпили мы с капитаном чашек по пяти кофе — что в самом деле меня оживило.

Места пошли совсем неприятные, а дорога худая. Гейлигенбейль, маленький городок в семи милях от Кенигсберга, приводит на мысль времена язычества. Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих веков, — дуб, священный для древних обитателей сей земли. Под мрачною его тению обожали они идола Курхо, приносили ему жертвы и славили его в диких своих имнах. Вечное мерцание сего естественного храма и шум листьев наполнял сердца ужасом, в который жрецы язычества облакали богопочитание. Так друиды в густоте лесов скрывали свою религию; так глас греческих оракулов исходил из глубины мрака! — Немецкие рыцари в третьемнадесять веке, покоров мечом Пруссию, разрушили алтари язычества и на их развалинах воздвигнули храм христианства. Гордый дуб, почтенный старец в царстве растений, претыкание бурь

и вихрей, пал под сокрушительною рукою победителей, уничтожавших все памятники идолопоклонства: жертва невинная! — Суеверное предание говорит, что долгое время не могли срубить дуба; что все топоры отскакивали от толстой коры его, как от жесткого алмаза; но что наконец сыскался один топор, который разрушил очарование, отделив дерево от корня; и что в память победительной секиры назвали сие место Heiligenbeil, то есть *секира святых*. Ныне эта *секира святых* славится каким-то отменным пивом и белым хлебом.

Браунсберг, где мы обедали и в третий раз переменили лошадей, есть довольно многолюдный городок.

— Здесь жил и умер Коперник, — сказал мне капитан, когда мы проезжали через одно маленькое местечко.

— Итак, это Фрауенберг?

— Точно.

Как же досадно было мне, что я не мог видеть тех комнат, в которых жил сей славный математик и астроном и где он по своим наблюдениям и вычислениям определил движение земли вокруг ее оси и солнца — земли, которая, по мнению его предшественников, стояла неподвижно в центре планет и которую после Тихо-де-Браге хотел было опять остановить, но тщетно! — И таким образом Пифагоровы идеи, над которыми смеялись греки, верившие своим чувствам более, нежели философу, воскресли в системе Николая Коперника! — Сей астроном был счастливее Галилея: суеверие — хотя он жил еще под его скипетром — не заставило его клятвенно отрицаться от учения истины. Коперник умер спокойно в своем мирном жилище, но Тихо-де-Браге должен был оставить свой философский замок и отечество. Науки подобно религии имели своих страдальцев.

Перед вечером приехали мы в Эльбинг, небольшой, но торговый город и весьма изрядно выстроенный, где стоят два или три полка. Почте надлежало тут пробить более часа. Мы пошли в трактир, где, кроме хозяина и гостей, все было довольно чисто. Выхав из Кенигсберга, еще не видал я порядочно одетого человека. Двое играли в бильярд: один в зеленом кафтане, диком камзоле и в салном парике, человек лет за сорок, а другой молодой человек в пестром кургузом фраке; первый играл очень худо и сердился; а другой хотел над ним шутить, смеялся во все горло при каждом его промахе, поглядывал на нас и в зеркало и оправлял беспрестанно свой толстый запачканный галстук. Карикатура за карикатурою приходила в трактир, и всякая карикатура требовала пива и трубки. Мне было очень скучно. К тому же я чувствовал сильное волнение в крови от кофе и от тряского движения почтовой коляски.

Вышедши садиться, нашли мы у коляски молодого офицера и старую женщину, которые рекомендовались в нашу благосклонность и объявили, что они едут с нами. Таким образом стало нам

гораздо теснее. Офицеры мои рады были новому товарищу, с которым могли они говорить о прошедшем смотре. Женщина, родом из шведской Померании, услышав, что я русский, подняла руки к небу и закричала: «Ах, злодеи! вы губите нашего бедного короля!» Офицеры смеялись; и я смеялся, хотя не совсем от доброго сердца.

Между тем прекрасный вечер настроил душу мою к приятным впечатлениям. На обеих сторонах дороги расстилались богатые луга; воздух был свеж и чист; многочисленные стада блеянием и ревом своим праздновали захождение солнца. Крестьянки доили коров, вдыхая в себя целебный пар молока, которое составляет богатство всех тамошних деревень. Жители принадлежат, если не ошибаюсь, к секте перекрестителей, *Wiedertäufer*. Хвалят их нравы, миролюбие и честность. Рука их не подымается на ближнего. Кровь человеческая, говорят они, вопиет на небо. — Тишина наступившей ночи сомкнула глаза мои.

Теперь мы в Мариенбурге, где я имел время написать к вам столько страниц. Сей город достоин примечания только тем, что древний его замок был некогда столицею великих мастеров немецкого ордена. — От старой женщины, моей неприятельницы, мы здесь освободились; но место ее займет высокий офицер, который теперь сидит подле меня, дожидаясь отправления почты. — Рассветало. Простите! Из Данцига надеюсь еще что-нибудь приписать.

Данциг, 22 июня 1789.

Проехав через предместье Данцига, остановились мы в прусском местечке Штоценберге, лежащем на высокой горе сего имени. Данциг у нас под ногами как на блюдечке, так что можно считать кровли. Сей прекрасно выстроенный город, море, гавань, корабли в пристани и другие, рассеянные по волнующемуся необозримому пространству вод, — все сие вместе образует такую картину, любезнейшие друзья мои, какой я еще не видывал в жизни своей и на которую смотрел два часа в безмолвии, в глубокой тишине, в сладостном забвении самого себя.

Но блеск сего города померк с некоторого времени. Торговля, любящая свободу, более и более сжимается и упадает от теснящей руки сильного. Подобно как монахи строжайшего ордена, встретясь друг с другом в унылой мрачности своих жилищ, вместо всякого приветствия умирающим голосом произносят: *помни смерть!* — так жители сего города в глубоком унынии вызывают друг ко другу: *Данциг! Данциг! где твоя слава?* — Король прусский наложил чрезмерную пошлину на все товары, отправляемые отсюда в море, от которого Данциг лежит верстах в пяти или шести.

Шотландцы, которые присылают сюда сельди свои, пользовались в Данциге всеми правами гражданства, для того что некогда

шотландец Доглас оказал городу важную услугу. Те из жителей, с которыми я говорил, не могли мне сказать, в чем именно состояла услуга Догласова. Такой знак благодарности делает честь сему городу.

Я не знал, что почта пробудет здесь так долго; а то бы успел осмотреть в Данциге некоторые примечания достойные вещи. Теперь уже поздно: хотят впрягать лошадей. Более всего хотелось бы мне видеть славную Эйхелеву картину в главной лютеранской церкви, представляющую страшный суд. Король французский — не знаю, который — давал за нее 100 000 гульденов. — Хотелось бы мне видеть и профессора Тренделенбурга, чтобы поблагодарить его за греческую грамматику, им сочиненную, которою я пользовался и впредь надеюсь пользоваться.¹ — Огромнейшее здание в городе есть ратуша. Вообще все дома в пять этажей. Отменная чистота стекол украшает вид их.

Данциг имеет собственные деньги, которые, однакож, вне города не ходят; и в самом городе прусские предпочитают.

На запад от Данцига возвышаются три песчаные горы, которых верхи гораздо выше городских башен; одна из сих гор есть Штоценберг. В случае осады неприятельские батареи могут отсюда разрушить город. На горе Гагелсберге был некогда разбойничий замок; эхо ужаса его далеко отзывалось в окрестностях. Там показывают могилу русских, убитых в 1734 году, когда граф Миних штурмовал город. Осажденные знали, с которой стороны будет приступ; почему гарнизон и жители обратили туда все силы свои и дрались как отчаянные. Известно, что город держал сторону Станислава Лещинского против Августа III, за которого вступилась Россия. Наконец Данциг покорился.

Товарищи мои, офицеры, хотели осмотреть городские укрепления, но часовые не пустили их и грозили выстрелом. Они посмеялись над излишнею строгостию и возвратились назад. Солдаты по большей части старые и одеты неопрятно. Магистрат поручает комендантское место обыкновенно какому-нибудь иностранному генералу с большим жалованьем.

Штолпе, 24 июня.

Путешественники говорят всегда с великим неудовольствием о грубости прусских постиллионов. Нынешний король издал указ, по которому все почтмейстеры обязаны иметь более уважения к проезжим и не держать никого долее часа на переменах, а постиллионам запрещается все самовольные остановки на дороге. Начальство сих последних было несносно. У всякой корчмы они оста-

¹ Автор начинал тогда учиться греческому языку; но после не имел уже времени думать об нем.

навливались пить пиво, и несчастные путешественники должны были терпеть или выманывать их деньгами. Указ имел хорошие следствия; однакож не во всей точности исполняется. Например, не доезжая за милю до Штолпе, мы принуждены были с час дожидаться постиллионов, которые спокойно пили и ели в корчме, несмотря на позывы с нашей стороны. Приехав в город, все мои товарищи грудью приступили к почтмейстеру и требовали, чтобы он наказал их.

— Выговором? — спросил почтмейстер.

— Палкою, — отвечали офицеры.

— Я не имею права бить их.

— Вздор! Вздор! — сказал капитан, — или я сам со всеми управлюсь!

Тут он страшным образом стукнул в пол своею тростью.

— Насилие! Насилие! — закричал почтмейстер: — хотят драться, бить меня!

Капитан вдруг переменял тон и сказал тихо:

— Я не хочу драться, а в Берлине поговорю о вас с министром.

Сказал и вышел вон, а за ним и все. Постиллионы, как будто бы ничего не зная, пришли к нам просить на вино. Их выгнали — дверь затворилась и опять потихоньку стала открываться — все туда оборотили глаза и увидели почтмейстерову голову.

— Что вам угодно? — спросил капитан суровым голосом.

Тут почтмейстер всунул к нам в горницу все свое туловище, начал шаркать и кланяться капитану, и называть его господином капитаном, и опять господином капитаном, и уверять его, что он имеет к нему почтение, и знает майора его полку, и знает его фамилию, и знает, что он прав, и отдает ему в полную власть тех постиллионов, которые повезут нас из Штолпе, и проч., и проч. Капитан смягчился, улыбался и отвечал на все: «Хорошо, хорошо, господин почтмейстер». Мы с магистером также улыбались, а офицеры говорили тихонько: «Дурак! Трус!»

Теперь не могу вам сказать ничего примечания достойного, кроме того, что в местечке Лупове, где мы обедали, есть прекрасные форели и прекрасный бишоф. Итак, если вы, друзья мои, будете когда в Лупове, то вспомните, что друг ваш там обедал, — вспомните и велите подать себе форелей и бишофу...

Штаргард, 26 июня.

О Штаргарде, куда мы приехали ужинать, могу вам сказать единственно то, что он есть изрядный город и что здешняя церковь Марии считается высочайшею в Германии.

Мы проехали через Кеслин и Керлин, два маленькие городка. В первом брссается в глаза большое четверугольное место со

статуею Фридриха-Вильгельма. «Ты достоин сей почести!» — думал я, читая надпись. Не знаю, кого справедливее можно назвать *великим*, отца или сына, хотя последнего все без разбора *величают*. Здесь должно смотреть только на дела их, полезные для государства, — не на ученость, не на остроту слова, не на авторство. Кто привлек в свое государство множество чужестранцев? Кто обогатил его мануфактурами, фабриками, искусствами? Кто населил Пруссию? Кто всегда отходил от войны? Кто отказывался от всех излишностей для того, чтобы его подданные не терпели недостатка в нужном? Фридрих-Вильгельм! — Но Кеслин будет для меня памятен не только по его монументу: там милостивая трактирщица угостила нас хорошим обедом! Неблагодарен путешественник, забывающий такие обеды, таких добрых, ласковых трактирщиц! По крайней мере я не забуду тебя, милостивая немка! Вспомнив статую Фридриха-Вильгельма, вспомню и любезное твое угощение, приятные взоры, приятные слова твои!..

— Что, будет ли у нас война, господа офицеры? — спросил у моих товарищей старик, трактирщик в Керлине.

— Не думаю, — отвечал капитан.

— Дай бог, чтобы и не было! — сказал трактирщик. — Я боюсь не австрийских гусаров, а русских казаков. О! что это за люди!

— А почему ты их знаешь? — спросил капитан.

— Почему? Разве они не были в Керлине? Ничто не уйдет от их пика. К тому же у них такие страшные лица, что меня по коже подирает, когда вообразу их!

— Да вот русский казак, — сказал капитан, указав на меня.

— Русский казак! — закричал трактирщик и ударился затылком в стену. Мы все засмеялись, а трактирщик заохал.

— За эту шутку вы заплатите мне дороже, господа! — сказал он, взяв кофейник из рук служанки.

Я видел один из древних разбойничьих замков. Он лежит на возвышении и обведен со всех сторон широкими рвами, которые прежде были наполнены водою. Тут в высоком тереме сидели мать и дочь за пальцами и поглядывали в окно, когда муж и отец, как голодный лев, рыскал по лесам и полям, ища добычи. «Едет! Едет!» — кричали они, и мосты гремели и опускались — гремели и опять подымались — и грабитель был безопасен в объятиях своей жены и дочери. Тут раскладывались похищенные богатства, и женщины от радости ахали. Тут несчастные путешественники, которые в тот день попались в руки злодею, заключались в подземную темницу в двадцать семь сажен глубиною, где густой воздух спирался и тяготил дыхание и где гром цепей был им первым приветствием.

Иногда бедный отец прибегал к сим широким рвам и, смотря на сии острые башни, восклицал:

— Отдайте мне сына и возьмите все, что имею! Несчастливая мать день и ночь крушится; печальная невеста всякий час слезами обливается. Отдайте матери сына и невесте жениха!

«Стой, воображение!» — сказал я сам себе и — заплатил два гроша сухой старухе и уродливому мальчику, которые показывали мне замок. Он издавна стоит пустой и начинает уже разваливаться.

Теперь накрывают нам стол. Ужин будет прощальный. Все мои товарищи, кроме капитана, едут отсюда в Штеттин, куда мне не дорога. Вероятно, что нам уже никогда не видать друг друга. Правда, что эта мысль для меня не очень горестна. Я не поблагодарил бы судьбы, если бы она велела мне всегда жить с такими людьми. С ними можно говорить только о смотрах, маршах и тому подобном. Самый язык их странен. Не зная по-французски, употребляют они в разговоре множество французских слов, произнося их по-своему. Например: *Da ist eine Precipice — ich habe eine Ture gemacht — ich schanschire es*,¹ и проч.

К нам пристал еще молодой человек, почтмейстерский сын, который едет учиться в университет. Слыша, что офицеры в шутку называли меня доктором, вздумал он показать мне свою ученость и спросил, как, *по моему мнению*, можно перевести на немецкий латинское слово *ratio*? Потом начал говорить о *духе языков* и проч. Надобно знать, что магистер уже от нас отстал; а то бы он не дал ему много говорить. Офицеры не полюбили сего ученого почтмейстерского сына и старались его дурачить. Приехав сюда, вынул он из кармана превеликие шпоры и положил на стол. Офицеры, находя странным, что человек, едущий учиться в университет, вместо книг везет в кармане такую вещь, стали смеяться. Француз подскочил с лорнетом и начал рассматривать шпоры с великим вниманием. Смех умножился.

— Что вы находите в них? — спросил капитан.

— Знакомые черты, — с важностию отвечал француз: — кажется, как будто бы я видал их прежде; однакож нет — я видел только их изображение на эстампах в «Дон-Кихоте»!

Тут офицеры во все горло захохотали, а студент осердился. Насмеявшись досыта, капитан сказал мне:

— Если когда-нибудь издадите вы журнал своего путешествия, то прошу вас не забыть шпор.

— Не забудьте шпор! — закричали все офицеры.

— Ваше желание исполню, — отвечал я.

Надобно сказать нечто о прусских допросах. Во всяком городке и местечке останавливают проезжих при въезде и выезде и спрашивают, кто, откуда и куда едет? Иные в шутку сказываются смешными и разными именами, то есть при въезде одним, а при выезде другим: из чего выходят чудные донесения начальникам. Иной

¹ Здесь пропасть — я совершил прогулку — я это заменяю (*ред.*).

называется Луцифером, другой Мамоном; третий в город въедет Авраамом, а выедет Исааком. Я не хотел шутить, и для того офицеры просили меня в таких случаях притворяться спящим, чтобы им за меня отвечать. Иногда был я какой-нибудь Баракоменевеверус и ехал от горы Араратской; иногда Аристид, выгнанный из Афин; иногда Альцибиад, едущий в Персию; иногда доктор Панглос, и проч. и проч.

Кушанье поставили. Простите!

Берлин, 30 июня 1789.

Вчера приехал я в Берлин, друзья мои; а ныне, к великому своему удовольствию, получил от вас письмо, которого ждал с таким нетерпением. Известие, что вы остались здоровы, меня утешило, успокоило. Но начто вы иногда грустите? Этого не было в уговоре. А если вы и впредь будете так немилостивы к себе и к другу своему, который за несколько тысяч верст берет участие даже в минутной вашей неприятности: то он, в отмщение вам, сам будет грустить с утра до вечера.

Последнее письмо отправил я к вам из Штаргарда. Мы выехали оттуда в полночь. Кроме капитана, было у меня двое новых товарищей: офицер, едущий в империю для набора рекрут, и купец штаргардский. Я сел в коляске назади на своем чемодане; мог протянуть ноги, мог прилечь на подушку; спина моя распрямилась, и движение крови стало ровнее; тряская коляска казалась мне усыпительною колыбелью — и я, почитая себя блаженнейшим человеком в свете, заснул крепким сном и спал до первой перемены, где разбудили меня пить кофе.

Не доезжая за десять миль до Берлина, капитан нас оставил. Мы прощались друг с другом как приятели, и я дал ему слово сыскать его в Кенигсберге, когда поеду обратно через сей город.

— Ведь нам еще надобно хоть один раз в жизни видеться, — сказал он, пожимая руку мою, — заезжайте ко мне и расскажите, что увидите в свете.

— Хорошо, хорошо, г. капитан! Будьте между тем здоровы! — И так мы расстались.

В последнюю ночь нашего путешествия, приближаясь к Берлину, начинал я думать, что там делать буду и кого увижу. Ночью всякие мечты воображения бывают живее, и я так ясно представил себе любезного А.,¹ идущего ко мне навстречу с трубкою и кричащего: «Кого вижу? брат Рамзей в Берлине?» — что руки мои протянулись обнять его; но вместо моего дражайшего приятеля,

¹ Алексея Михайловича Кутузова, добродушного и любезного человека, который через несколько лет после того умер в Берлине, быв жертвою несчастных обстоятельств.

который в сию минуту был от меня так далеко, чуть не обнял я мокрой женщины, сидевшей с нами в коляске. «Но как зашла к вам мокрая женщина?» Вот как. Солнце село, пошел дождь, и вечер превратился в глубокую ночь. Вдруг коляска наша остановилась; ширмейстер, сидевший с нами, выглянул и начал с кем-то бормотать; потом, оборотившись к нам, сказал:

— Господа! позволите ли сесть в коляску одной честной женщине и доехать с нами до первого местечка, куда она идет с своим мужем? Дождь промочил ее насквозь, и она боится занемочь.

— А хороша ли она? — спросил офицер, едущий в империю.

— Теперь темно, — отвечал ширмейстер.

— Пускай ее садится, — сказал офицер.

Я то же сказал, и купец то же. Женщина взлезла к нам в коляску и была подлинно очень мокра, так что мы пятились от нее как можно далее, боясь воды, которая текла с нее ручьями. Офицер вступил с нею в разговор и узнал от нее, что она жена портного мастера, очень любит своего мужа и с ним никогда не расстается; что они ужинали в гостях у своего дяди, зажиточного купца, который торгует заморскими товарами, и пошли домой пешком, для того чтобы насладиться приятностями вечера, никак не ожидая дождя; что она взяла у дяди книжку «Жизнь барона Тренка», в которой описываются самые чудные приключения, и все справедливые; что дочь дяди их, которой минуло уже девятнадцать лет, однажды не спала целую ночь, читая эту книгу, а на другую ночь увидела во сне Тренка в цепях и так закричала, что отец пришел к ней со свечою посмотреть, что с нею сделалось, — и проч. и проч. Вот все дело!

Но если я не найду его в Берлине! — пришло мне вдруг на мысль — и в самую ту минуту встретилась нам коляска. Насилу мог я удержаться, чтобы не закричать: «Стойте!» Это верно он, думал я, это верно он! Прости! Приезжай благополучно в наше отечество к своим друзьям! Ты увидишь моих любезных; увидишь и не скажешь им ничего обо мне! — Между тем мы приехали на станцию. Я тотчас пошел к почтмейстеру спросить, кто проехал в коляске. «Русский — купец из Риги», — отвечал он. Тут я готов был вспрыгнуть от радости, что это был не наш А.

В некотором расстоянии от Берлина начинается прекрасная аллея из каштановых деревьев, и дорога становится лучше и веселее. О виде Берлина пельзя было мне судить, потому что беспрепятственный дождь мешал видеть далеко вперед. У ворот мы остановились. Сержант вышел из караульни нас допрашивать: «Кто вы? Откуда едете? Зачем приехали в Берлин? Где будете жить? Долго ли здесь пробудете? Куда поедете из Берлина?» Судите о любопытстве здешнего правительства! — Наконец мы въехали в улицу прекрасного Берлина, где я надеялся отдохнуть в объятиях сер-

дечной приязни, рассказывать русскому о России и другу о друзьях, говорить о наших веселых московских вечерах и философских спорах!.. Но судьба смеялась надо мною!

Коляска наша остановилась у почтового дома. Там прежде всего спросил я у секретаря, где живет А.? И что же? С хладнокровием, совсем противным моему нетерпению, отвечал он:

— Его уже здесь нет!

— Его здесь нет?

— Нет, сударь, — повторил он и начал перебирать письма.

— Где же он?

— Во Франкфурте-на-Майне. Пойдите к своему священнику; там лучше все узнаете.

Я бросился на стул и готов был заплакать. Секретарь взглянул на меня с улыбкою.

— Вы думали его здесь найти? — спросил он.

— Думал, государь мой, думал! — и с сими словами я хотел идти вон.

— Пойдите, — сказал секретарь, — надобно осмотреть ваш чемодан.

То есть надобно было взять с меня несколько грошей. — Вообразите друга вашего, идущего в самых горестных размышлениях по берлинским улицам вслед за инвалидом, который нес чемодан мой! Ни огромные дома, ни многолюдство, ни стук карет не могли вывести меня из меланхолической задумчивости. Я сам себе казался жалким сиротою, бедным, несчастным, и единственно оттого, что А. не хотел меня дожидаться в Берлине!

— Жаль, жаль, государь мой, — сказал мне г. Блум, трактирщик «Английского короля» в Братской улице, — жаль, что у меня нет теперь для вас места. В доме моем заняты все комнаты. Вы, думаю, знаете, что к нашему королю пожаловала гостья, его сестрица. В Берлине будут праздники, и многие господа приехали сюда на это время. Поверите ли, что я ныне отказал уже десяти человекам?

— И так, г. Блум...

— Вы из России приехали?

— Из России. И так...

— У вас все войною занимают?

— Да, г. Блум, у нас война. И так мне остается...

— Послушайте: теперь только опросталась у меня одна комната, и вы можете занять ее. Что же у вас с турками делается?

— Прикажете мне указать комнату; а после, если угодно...

— Очень хорошо! очень хорошо! Пойдемте, пойдемте!

Он привел меня в маленькую горенку с одним окном.

— Не правда ли, что она очень хороша и очень уютна?

— Я доволен, г. Блум.

Тут пришел ко мне фельдшер, парикмахер. Г. Блум от меня не выходил, беспрестанно говорил и наконец мне же вздумал рассказывать, что у нас в России делается.

— Послушайте, г. Блум, — сказал я: — это все писано к вам от первого числа апреля по старому или по новому стилю.

— Как, государь мой!

— Как вам угодно, — отвечал я — взял трость и пошел со двора.

Человек рожден к общежитию и дружбе — сию истину живо чувствовало мое сердце, когда я шел к Д., желая найти в нем хотя часть любезных свойств нашего А., желая полюбить его и говорить с ним со всею дружескою искренностию, свойственною моему сердцу! — Благодарю судьбу! Я нашел, чего желал, — нашел в Д. любезного, добродушного, искреннего человека. Он любит свое отечество, и я люблю его; он любит А., и я люблю его; он сроден к откровенности, и я тоже: и так долго ли было нам познакомиться? Мы проговорили с ним до вечера, и он захотел еще про водить меня.

Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы наполнены всякою нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у берлинцев обоняния? — Д. повел меня через славную Липовую улицу, которая в самом деле прекрасна. В середине посажены аллеи для пешех, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут или испарения лип истребляют нечистоту в воздухе — только в сей улице не чувствовал я никакого неприятного запаха. Дома не так высоки, как некоторые в Петербурге, но очень красивы. В аллеях, которые простираются в длину шагов на тысячу или более, прогуливалось много людей.

Лишь только я в своей комнате расположился пить чай, пожаловал ко мне г. Блум с бумажкою в руках.

— Вам надобно на это отвечать, — сказал он.

Я увидел на бумаге те вопросы, которые делали мне при въезде в город, с прибавлением одного: «в какие ворота вы въехали?» Они напечатаны, и мне надлежало под каждым писать ответ. Боже мой! какая осторожность! Разве Берлин в осаде? — Г. Блум объявил мне с важным видом, что завтра берлинская публика узнает через газеты о моем приезде!

Ныне поутру ходил я с Д. осматривать город. Его по справедливости можно назвать прекрасным; улицы и дома очень хороши. К украшению города служат также большие площади: Вильгельмова, Жандармская, Денгофская и пр. На первой стоят четыре большие мраморные статуи славных прусских генералов: Шверина, Кейта, Винтерфельда и Зейдлица. Шверин держит в руке

знамя, с которым он в жарком сражении под Прагою бросился на неприятеля, закричав своему полку: «Дети! За мной!» Тут умер он смертью героя, и король сожалел о сем искусном и храбром генерале более, нежели о потере двадцати тысяч воинов. — Фридрих, приняв Кейта в свою службу, сказал: «Я много выиграл». Фридрих знал людей, и Кейт оказал ему важные услуги. — Говорят, что граф Петр Александрович Румянцев похож на Винтерфельда. Я не имел счастья видеть нашего Задунайского героя и потому не мог искать сего сходства в хладном мраморе, изображающем Винтерфельда. — Зейдлиц был любимец королевский, пылкий, отважный воин. Отдавая справедливость его достоинствам, осуждают в нем некоторые слабости и говорят, что они были причиною безвременной смерти его. Он умер не на поле чести, а на одре мучительной болезни. Король тужил о нем, как о своем любимце. — Таким образом Фридрих хотел во мраморе предать векам память своих полководцев. Юный воин, смотря на их изображения, чувствует желание подражать героям и жить в памяти потомства. Я сам люблю рассматривать памятники славных людей и представлять себе дела их. — На так называемом Длинном мосту через реку Шпрее стоит из меди вылитый монумент Фридриха-Вильгельма Великого. Когда русские войска пришли сюда, то некоторые из солдат в забаву рубили его тесаками. Мне показывали сии знаки, которые возбуждают в берлинцах неприятное воспоминание.

Мы прошли в Королевскую библиотеку. Она огромна — и вот все, что могу сказать о ней! Более всего занимало меня богатое анатомическое сочинение с изображениями всех частей человеческого тела. Покойный король заплатил за него 700 галеров. Есть довольно восточных рукописей, на которые я только взглянул. Показывали мне еще Лютеров немецкий манускрипт; но я почти совсем не мог разобрать его, не читав никогда рукописей того века. — Книги давать на дом запрещено; однакож известный человек, задоблив деньгами помощника библиотечарского, может иметь некоторые. Таким образом Д. взял для меня Николаево описание Берлина, которое хотелось мне просмотреть. Библиотекою управляет ныне г. доктор Бистер, который и живет в сем большом доме.

За столом у господина Блума сидело человек тридцать: офицеров, купцов и важных саксонских баронов, приехавших в Берлин на праздники. Теперь все готовится к встрече штатгальтерши, которая послезавтра будет сюда из Потсдама вместе с королем. Об этом только и говорят; да о разбойниках, которые близ Ораниенбурга разбили почту. — Ввечеру Д. вожил меня в зверинец. Он простирается от Берлина до Шарлоттенбурга и состоит из разных аллей: одни идут во всю длину его, другие поперек, иные вкось и перепутываются: славное гульбище! Долго искал я того места, о котором некогда наш А. писал ко мне следующее: «Я нашел

в зверинце длинную аллею, состоящую из древних сосн; мрачность и непременяющаяся зелень деревьев производят в душе некоторое священное благоговение. Не забуду я одного утра, когда, гуляя в зверинце один и предавшись стремлению своего воображения, которое, как известно тебе, склонно к пасмурным представлениям, вступил я нечаянно в сию аллею. До того места освещало меня лучезарное солнце; но вдруг исчез весь свет. Я поднял глаза и увидел перед собою сей путь мрачности. Только вдали при выходе виден был свет. Я остановился и долго глядел. Наконец одна мысль пробудила меня... Не есть ли, — думал я, — не есть ли тьма сия изображение твоего состояния, когда ты, разлучившись с телом, вступишь в неизвестный тебе путь? Мысль сия так во мне усилилась, что я уже представил себя облегченного от земного бремени, идущего к оному вдали светящемуся свету, и... с того времени всякий раз, когда бываю в зверинце, захожу туда и часто поминаю тебя». Любезный меланхолик! я сам думал о тебе, вступая в сию аллею, и стоял, может быть, точно на том месте, где ты обо мне думал. Может быть, ты опять здесь стоять будешь, но я буду далеко, далеко от тебя!

В зверинце много кофейных домов. Мы заходили в один из них, чтобы утолить жажду белым пивом, которое мне очень полюбилось. — Сад принца Фердинанда, в который мы прошли из зверинца, отворен для всех порядочно одетых людей. Я не взял бы тысячи таких садов за зверинец. Тут прогуливался сам принц и с угрюмым видом отплатил нам поклон. — Бьет час.

Июля 2.

В 10 часов ночи. Давно уже не был я так приятно растроган, как ныне в театре. Представляли драму: «Ненависть к людям и раскаяние», сочиненную господином Коцебу, ревельским жителем. Автор осмелился вывести на сцену неверную жену, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, несчастлива, — и я плакал, как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй!.. Коцебу знает сердце. Жаль только, что он в одно время заставляет зрителей и плакать и смеяться! Жаль, что не имеет вкуса или не хочет его слушаться! Последняя сцена в пьесе несравненна. — Г. Флек играет ролю мужа с таким чувством, что каждое слово его доходит до сердца. По крайней мере я еще не видывал такого актера. В нем соединены великие природные дарования с великим искусством. Гж. Унцельман представляет жену очень трогательно. В игре ее обнаруживается какая-то нежная томность, которая делает ее любезною для зрителя. — Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такою живостию предста-

влиют в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или французские румяны, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести; но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо или так, чтобы меня тронуть. — Вышедши из театра, обтер я на крыльце последнюю сладкую слезу. Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к счастливейшим вечерам моей жизни? И пусть теперь доказывают мне, что изящные искусства не имеют влияния на счастье наше! Нет, я буду всегда благословлять их действие, пока сердце будет биться в груди моей — пока будет оно чувствительно!

Июля 4.

Вчера в шесть часов утра поехали мы с Д. верхом в Потсдам. Ничего нет скучнее этой дороги: везде глубокий песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается. Но вид Потсдама, а особливо Сан-Суси очень хорош. Мы остановились в трактире, не доезжая до городских ворот, и, заказав обед, пошли в город. У ворот записали наши имена; однакож в рассуждении допросов ныне нет уже такой строгости, как прежде. Покойный король, живучи в Потсдаме, хотел знать обо всех приезжих. — На парадном месте против дворца, которое украшено римскими колоннадами, училась гвардия: прекрасные люди, прекрасные мундиры! Вид дворца со стороны сада очень хорош. Город вообще прекрасно выстроен; в большой так называемой Римской улице много великолепных домов, строенных отчасти по образцу крупнейших римских палат и на собственные деньги покойного короля: он дарил их, кому хотел. Теперь сии огромные здания пусты или занимаются солдатами. Жителей очень мало: причиною то, что нынешний король совсем оставил сей город, предпочитая ему Шарлоттенбург. Не для того ли противен ему Потсдам, что он, будучи принцем, имел там много неудовольствий и досад? Вообразите, что целый дом в два этажа можно нанять там за пятьдесят рублей в год; да и то нанимать некому. На дверях больших домов висят солдатские сумы, камзолы и проч. Коротко сказать, Потсдам кажется таким городом, из которого жители удалились, слыша о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защиты. Не можете вообразить, как печален сей вид пустоты!

В Потсдаме есть русская церковь под надзиранием старого русского солдата, который живет там со времен царствования императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлый старик сидел на больших креслах и, слыша, что мы русские, протянул к нам руки и дрожащим голосом сказал: «Слава богу! Слава богу!»

Он хотел сперва говорить с нами по-русски; но мы с трудом могли разуместь друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово; а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-русски.

— Видно, что у нас на Руси язык очень переменился, — сказал он, — или я, может быть, забываю его.

— И то и другое правда, — отвечали мы.

— Пойдемте в церковь божью, — сказал он, — и помолимся вместе, хотя ныне и нет праздника.

Старик насилу мог передвигать ноги. Сердце мое наполнилось благоговением, когда отворилась дверь в церковь, где столько времени царствует глубокое молчание, едва перерываемое слабыми вздохами и тихим голосом молящегося старца, который по воскресеньям приходит туда читать святейшую из книг, приготовляющую его к блаженной вечности. В церкви все чисто. Церковная утварь и книги хранятся в сундуке. От времени до времени старик перебирает их с молитвою.

— Часто от всего сердца, — сказал он, — сокрушаюсь я о том, что по смерти моей, которая от меня, конечно, уже недалеко, некому будет смотреть за церковью.

С полчаса пробыли мы в сем священном месте; простились с почтенным стариком и пожелали ему — тихой смерти.

После обеда были мы в Сан-Суси. Сей увеселительный замок лежит на горе, откуда можно видеть город со всеми окрестностями: что составляет весьма приятную картину. Здесь жил не король, а философ Фридрих — не стоический и не циник, — но философ, любивший удовольствия и находивший их в изящных искусствах и науках. Он хотел соединить здесь простоту с великолепием. Дом низок и мал; но, взглянув на него, всякий назовет его прекрасным. Внутри комнаты отделаны со вкусом и богато. В круглой мраморной зале надобно удивляться колоннам, живописи и прекрасно набранному полу. Комната, где король беседовал с мертвами и живыми философами, убрана вся кедровым деревом. С горы, срытой уступами (которые один другой закрывают, так, что, взглянув снизу вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору), сошли мы в приятный сад, украшенный мраморными фигурами и группами. Здесь гулял Фридрих с своими Вольтерами и Даланбертами. Где ты теперь? думал я. Сажень земли вместила прах твой. Любезные места твои, для украшения которых призывал ты лучших художников, теперь осиротели и пусты. — Из сада прошли мы в парк, где встречается глазам японский домик на левой стороне главной аллеи; а далее, перешедши через каменный мост, видишь на обеих сторонах прекрасные храмики. Мы прошли к новому дворцу, построенному покойным королем со всею царскою пышностию. Внутренность еще великолепнее внешности; и дивясь богатству, дивишься и вкусу, который виден в уборе

комнат. Более шести миллионов талеров стоил королю сей дворец. — Правда, я был тут не в таком расположении, в каком надобно рассматривать пышные произведения искусств. Кровь моя волновалась, голова болела, и я насилу мог ходить. Оставив дворец, поехали мы назад в город, чтобы отдохнуть несколько в том трактире, где обедали.

День склонялся к вечеру, и надобно было думать о возвращении. Вода с вином освежила меня, и мы поехали назад в Берлин по Шарлоттенбургской дороге. Мне хотелось видеть сей городок. Товарищ мой тут не ежал; но все уверяли нас, что нам нельзя сбиться с дороги. Чем далее ехали мы, тем хуже мне становилось. Раз шесть сходил я с лошади и отдыхал на траве. Ночь застала нас в большом лесу. Наконец я так ослабел, что не мог ни ехать, ни идти пешком и как полумертвый лежал под деревом с закрытыми глазами. В лесу царствовала глубокая тишина. Товарищ мой стоял подле меня, держа обеих лошадей, и горевал, не зная, как мне помочь. Одним словом, нас можно было в эту минуту изобразить на одном из тех эстампов, которыми украшаются модные романы! Д. вздумал было искать поблизости какого-нибудь селения, нанять телегу и везти меня в Берлин; но как же было остаться мне одному ночью в лесу и в такой слабости? Пруссия не Аркадия, и наш век не золотой: меня могли ограбить, а со мною было все мое богатство. Наконец через час я встал и, пожав руку у моего любезного товарища, сказал ему, что мне лучше. С версту прошли мы пешком и сели на лошадей. Смертельная жажда томила меня, и за стакан воды отдал бы я половину своих червонцев. Шарлоттенбург был от нас еще не близко. Несколько раз надеялись мы видеть его, подъезжали и видели — лес и мрак. Наконец приехали в город; и с жадностию, какой еще никогда в жизни своей не чувствовал, лил я в себя холодную воду. До Берлина оставалась одна миля. Мне хотелось как-нибудь добраться до места, и мы въехали в аллею зверинца. Луна взошла над нами; ясный свет ее разливался по зелени листьев; тихий и чистый воздух упитан был благоуханными испарениями лип. И я мог жаловаться в сии минуты — тогда, как мать Природа дышала ароматами вокруг меня? Эта ночь оставила во мне какие-то романические, приятные впечатления. — Городские ворота были уже затворены; однакож нас впустили.

Ныне поутру встал я совершенно здоров, оделся и поехал к господину М. Он повез меня к Формею, секретарю Берлинской академии, который принял нас ласково. Сей старик все еще бодр и весел. Он читал нам письмо, полученное им из П. от своего родственника, который всякую неделю пишет к нему, и не щадя бумаги.

— Не поверите, с каким удовольствием я все это читаю! — сказал он.

Г. Формей был знаком с Вольтером и рассказывал нам некоторые анекдоты касательно до его пребывания в Берлине. —

В следующий четверг будет собрание в Берлинской академии, в которое угодно было господину Формею пригласить меня. Мы поехали к зятю его, господину М., профессору, содержателю большого пансиона и также члену академии. Он показывал нам минеральный кабинет и библиотеку сестры покойного короля, состоящую из французских, английских, итальянских и немецких книг — философов, историков и поэтов. — После обеда я был у графа Н.: об нем ни слова! Говорят, что он встарину имел имя остроумного человека в свете. Австрийский посол князь Р., бывший у него в гостях, казался мне ласковее хозяина.

Я поехал в оперу. Оперный дом велик и очень хорош. Тут видел я всю королевскую фамилию и штатгальтершу с дочерью. Играли оперу «Медею», в которой пела Тоди. Я слышал эту славную певицу еще в Москве и скажу — может быть, к стыду своему, — что ее пение мало трогает мое сердце. Для меня неприятно видеть напряжение, с которым она поет. Впрочем, будучи только любителем музыки, не могу ценить искусства ее. Что принадлежит до декораций, то они были великолепны.

Июля 5.

Ныне был я у старика Рамлера, немецкого Горация. Самый почтенный немец!

— Ваши сочинения, — сказал я ему, — почитаются у нас классическими.

Ему приятно было слышать, что и в России читают его стихи и знают их цену. Рамлер напитался духом древних, а особливо латинских поэтов. В одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей и язык вдохновения. Только иногда присвоивает он себе и чужие восторги и заимствует огонь у Горация или других древних поэтов — правда, всегда искусным образом. Теперь он уже прожил век поэзии. В новых его пиесах надобно удивляться круглости, чистоте и гармонии, то есть искусству его в механизме стихотворства; но в них нет уже пиитического жара, который всегда с летами проходит. Кажется, что он сам это чувствует и потому ныне мало сочиняет. Главное его упражнение с некоторого времени состоит в переводах римских поэтов, в которых почти всегда соблюдает меру оригинала. Сии пиесы, печатаемые в «Берлинском журнале», могут служить примером в искусстве переводить.

— Теперь, — сказал он мне, — принялся я за Марциала. Только немногие из его эпиграмм были до сего времени известны на немецком языке. Сам Лессинг перевел некоторые, не упоминая Марциалова имени.

Еще при жизни Геснеровой начал он перекладывать в стихи его идиллии.

«Я подражаю Сократу», — писал он к автору, своему другу, — который в старости своей перелагал в стихи Езоповы басни.

Искусные критики недовольны трудом его. Легкость и простота Геснерова языка, говорят они, пропадает в экзаметрах. К тому же в идиллиях швейцарского Теокрита есть какая-то гармония, которая не уступает гармонии стихов. Но Рамлер думает, и мне сказал, что Геснеровы идиллии были единственно потому несовершенны, что автор писал их не экзаметрами. — Стихи свои, еще в рукописи, читает он одной приятельнице, которая, не будучи ученою, имеет природное нежное *чувство изящного*.

— Иногда, — сказал он мне, — я спорю с нею, когда она находит что-нибудь противное в моих сочинениях. «Говорите, что хотите, — отвечает она: — я не могу опровергать вас, но остаюсь при своем чувстве». Наконец, подумав хорошенько, нахожу, что она права, и виню ее перед нею.

Мне пришла на мысль Аспазия, которой афинские певцы отдавали на суд свои творения; ушам ее верили они более, нежели своим, — и я думаю, что женщины вообще могут чувствовать некоторые красоты поэзии живее мужчин. — Рамлер восстает против греческих митологических имен, которые граф Штолберг, Фос и другие удерживали в своих переводах.

— Мы уже привыкли к латинским, — говорит он, — на что переучивать нас без всякой нужды?

Он очень любит театр, и все, что я слышал от него об искусстве представления, мне очень понравилось. Славный Экгоф утверждал, что актеру не надобно чувствовать для того, чтобы хорошо играть; если не ошибаюсь, то и Энгель в своей «Мимике» то же говорит: но Рамлер думает противное, и, кажется, справедливее их. В разговоре о лейпцигских ученых упомянул я о Вейсе.

— Вейсе лучший друг мой, — сказал он и указал мне на стене портрет его.

Наконец я простился с ним, и он на память подарил мне оду, сочиненную им нынешнему королю, или, лучше сказать, кантат, выбранный из псалмов. — Рамлер высок, худоцав, долгонос; говорит отборно и протяжно.

Ныне представляли «Дон-Карлоса», Шиллерову трагедию. Несчастливая любовь принца к его мачехе Елисавете, которая прежде была его невестою, есть содержание сей трагедии. Характер короля Филиппа II, о котором история говорит столько худого и доброго; который для истребления ереси проливал кровь человеческую, но услышав о погибели флота своего, рассеянного ветром и разбитого англичанами, равнодушно сказал: «Я послал его против англичан, а не против ветров: буди воля божия!» — и сие несчастье перенес с твердостью героя, — сей характер изображен с великим искусством. Благородный и пылкий в страстях своих Дон-Карлос трогает зрителя до глубины сердца. Велико-

душный маркиз Поза, друг принцев, пробуждающий в нем ревность к добродетели и к героическим делам, которую усыпила несчастная страсть, представлен автором в пример истинно великого мужа. Есть трогательные и ужасные сцены. — Короля играл Флек, и я еще более уверился в том, что он великий актер. Маттауш, молодой человек, представлявший Дон-Карлоса, довольно хорошо выражал живость и пылкость принцева характера. К тому же он очень недурен собою. Что принадлежит до роли маркиза Позы, то Унцельман играл ее как-то очень бездушно. Ему гораздо свойственнее представлять в «Ненависти к людям» старого генерала, который от скуки бьет мух, нежели важного маркиза Позу. Ролю королевы играла очень слабо какая-то молодая актриса. Гж. Унцельман трогательно представляла молодую принцессу, влюбленную в принца. — Сия трагедия есть одна из лучших немецких драматических пьес и вообще прекрасна. Автор пишет в Шекспировом духе. Есть только слишком фигурные выражения (так, как и у самого Шекспира), которые хотя и показывают остроумие автора, однакож в драме не у места.

Берлин, июля 6.

— Веди меня к Морицу, — сказал я ныне поутру наемному своему лакею.

— А кто этот Мориц?

— Кто? Филипп Мориц, автор, философ, педагог, психолог.

— Пойдите, пойдите! Вы мне много насказали; надобно поискать его в календаре под каким-нибудь одним именем. Итак (вынув из кармана книгу), итак, он философ, говорите вы? Посмотрим.

Простодушие сего доброго человека, который с важностию переворачивал листы в своем всезакрывающем календаре и непременно хотел найти в нем роспись философов, заставило меня смеяться.

— Посмотри его лучше между профессорами, — сказал я, — пока еще число любителей мудрости неизвестно в Берлине.

— Карл Филипп Мориц, живет в...

— Пойдем же к нему.

Я имел великое почтение к Морицу, прочитав его «Anton Reiser», весьма любопытную психологическую книгу, в которой описывает он собственные свои приключения, мысли и чувства и развитие душевных своих способностей. «Confessions» de J.-J. Rousseau, Stillings «Jugendgeschichte» и «Anton Reiser»¹ предпочитаю я всем систематическим психологиям в свете.

¹ «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, «История юности» Штиллинга и «Антон Рейзер» (ред.).

Человеку с живым чувством и с любопытным духом трудно ужитья на одном месте; неограниченная деятельность души его требует всегда новых предметов, новой пищи. Таким образом Мориц, накопив от профессорского дохода своего несколько лудиров, ездил в Англию, а потом в Италию собирать новые идеи и новые чувства. Подробное и, можно сказать, оригинальное описание первого путешествия его, которое издал он под титулом «Reisen eines Deutschen in England»,¹ читал я с великим удовольствием. О путешествии его по Италии, откуда он недавно возвратился, немецкая публика еще ничего не знает.

Я представлял себе Морица — не знаю, почему — стариком; но как же удивился, нашедши в нем еще молодого человека лет в тридцать с румяным и свежим лицом!

— Вы еще так молоды, — сказал я, — а успели уже написать столько прекрасного!

Он улыбнулся. — Я пробыл у него час, в который мы перепробовали довольно разных материй.

— Ничего нет приятнее, как путешествовать, — говорит Мориц. — Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца. Кто хочет видеть просвещенный народ, который посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения в жизни, тому надобно ехать в Англию; кто хочет иметь надлежащее понятие о древних, тот должен видеть Италию.

Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей литературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась ему довольно приятною.

— Может быть, придет такое время, — сказал он, — в которое мы будем учиться и русскому языку; но для этого надобно вам написать что-нибудь превосходное.

Тут невольный вздох вылетел у меня из сердца. Всем новым языкам предпочитает он немецкий, говоря, что ни в котором из них нет столько *значительных* слов, как в сем последнем. Надобно сказать, что Мориц есть один из первых знатоков немецкого языка и что, может быть, никто еще не разбирал его так философически, как он. Весьма любопытны небольшие его пиесы «Über die Sprache in psychologischer Rücksicht»,² которые сообщает он в своем «Психологическом Магази́не».

— Нам должно всегда *соединенными силами* искать истины, — говорит он: — она укрывается от *уединенного* искателя, и *утомленному* философу часто призрак истины кажется истинною.

Мориц в споре с Кампе, славным немецким педагогом, который в «Ведомостях» разбил его за то, что он вышел из

¹ «Путешествие немца по Англии» (ред.).

² «О языке с точки зрения психологии» (ред.).

связи с ним и не захотел более печатать своих сочинений в его типографии.

— Я хотел отвечать ему в таком же тоне, — сказал Мориц, — и написал было уже листа два; однакож одумался, бросил в огонь написанное и хладнокровно предложил публике свое оправдание.

«Странные вы люди! — думал я: — вам нельзя ужиться в мире. Нет почти ни одного известного автора в Германии, который бы с кем-нибудь не имел публичной ссоры; и публика читает с удовольствием бранные их сочинения!» — Adieu, г. профессор!

Я хотел было видеть Энгеля, сочинителя «Светского философа» и «Мимики»; но, к сожалению, не застал его дома. После обеда был на фарфоровой фабрике, которая по чистоте и твердости фарфора есть одна из первых в Европе. Мне показывали множество прекрасных вещей, в которых надобно удивляться искусству рук человеческих.

В театре представляли ныне Шредерову «Familiengemähld»¹ — пиесу, которая не сделала во мне никакого приятного впечатления, может быть оттого, что ее худо играли, — и оперу «Два охотника». В последней ролю девки молочницы играла та актриса, которая в «Дон-Карлосе» представляла королеву: какое превращение! Однакож девку молочницу играет она лучше, нежели королеву.

Берлин, июля 7.

Нравственность здешних жителей прославлена отчасти с худой стороны. Г. Ц. называет Берлин Содомом и Гомором; однакож Берлин еще не провалился, и небесный гнев не обращает его в пепел. В самом деле, г. Ц., писав сие, забыл, что во всех семьях бывают уроды и что по сим уродам нельзя заключать о всей семье. Мудрено и людям считаться между собою в добродетелях или пороках, а городам еще мудренее. — Одним словом, если бы г. лейб-медик и кавалер был непристрастен; если бы *некоторые* люди в Берлине не зацепили его за живое, то бы он, конечно, не заговорил таким нефилософским, для космополита и филантропа оскорбительным языком.

Говорят, что в Берлине много распутных женщин; но если бы правительство не терпело их, то оказалось бы, может быть, более распутства в семействах — или надлежало бы выслать из Берлина тысячи солдат, множество холостых праздных людей, которые, конечно, не по Руссовой системе воспитаны и которые по своему состоянию не могут жениться.

¹ «Смейная картина» (ред.).

Мне сказывали, что однажды ввечеру в зверинце возвращенные берлинские вакханты как фурии бросились на одного несчастного Орфея, который уединенно гулял в темноте аллеи; отняли у него деньги, часы и сорвали бы с него самое платье, если бы подошедшие люди не принудили их разбежаться. Но когда бы рассказали мне и тысячу таких анекдотов, то я все не предал бы анафеме такого прекрасного города, как Берлин.

В похвалу берлинских граждан говорят, что они трудолюбивы и что самые богатые и знатные люди не расточают денег на суетную роскошь и соблюдают строгую экономию в столе, платье, экипаже и проч. Я видел старика Ф., едущего верхом на такой лошади, на которой бы, может быть, и я постыдился ехать по городу, и в таком кафтане, который шит, конечно, в первой половине текущего столетия. Нынешний король живет пышнее своего предшественника; однакож окружающие его держатся по большей части старины. — В публичных собраниях бывает много хорошо одетых молодых людей; в уборе дам виден вкус.

За две мили от Дрездена, 10 июля 1789.

Итак, ваш друг уже в Саксонии! — Осьмого числа отправил я к вам свой пакет из Берлина и думал еще пробыть там по крайней мере неделю; но *l'homme propose, Dieu dispose*.¹ В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал, куда деваться. Бродил по городу, нахлучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни; но грусть в сердце моем не утихала. Прошел в зверинец, переходил из аллеи в аллею, но мне все было грустно. Что же делать? спросил я сам у себя, остановясь в конце длинной липовой аллеи, приподняв шляпу и взглянув на солнце, которое в тихом великолепии сияло на западе. Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его — сказал: *поедем далее!* и тростью своею провел на песке длинную змейку, подобную той, которую в «Тристраме Шанди» начертил капрал Трим (vol. VI, chap. XXIV), говоря о приятностях свободы. Чувства наши были, конечно, сходны. Так, добродушный Трим! *nothing can be so sweet as liberty*,² думал я, возвращаясь скорыми шагами в город; и кто еще не заперт в клетку — кто может, подобно птичкам небесным, быть здесь и там, и там и здесь — тот может еще наслаждаться бытием своим, и может быть счастлив, и должен быть счастлив.

Итак, не дожидаясь торжественного собрания Берлинской академии, решился я на другой день ехать. Мне надлежало бы еще побывать у гр. К., которая звала меня к себе через господи-

¹ Человек предполагает, а бог располагает (*ред.*).

² То есть ничего не может быть приятнее свободы.

на М.; однакож и это не могло меня остановить. — Вечер провел я очень приятно с любезным Д., а на другой день поутру, уклад свой чемодан и расплатясь с господином Блумом, отправился в Саксонию — на ординарной почте, в открытой коляске, с двумя студентами и одним молодым лейпцигским кушцом.

С другой перемены поехал я на так называемой экстренной почте. В проклятой немецкой фуре так растрясло меня, что и теперь чувствую боль в груди. Сверх того, остался у меня на щеке рубец, и я должен еще благодарить судьбу, что глаза мои целы. Надобно знать, что дорога к саксонским границам идет по большей части лесом; а как почтовая коляска открыта и очень высока, то сидящие в ней беспрестанно должны нагибаться, чтобы не удариться головою об дерево. Ввечеру я задремал и схватил от какого-то ветвистого дерева такую пощечину, что у меня искры из глаз посыпались. Все это вместе заставило меня проститься с веселыми студентами.

Экстренная почта стоит почти вчетверо дороже ординарной. Мне дают пару лошадей с коляскою и берут с меня за милю по талеру (120 коп.).

Саксонские постиллионы отменны от прусских только цветом своих кафтанов (на последних синие с красным воротником, а на первых желтые с голубым); впрочем, они так же жалеют своих лошадей, так же любят пить в корчмах и так же грубы.

Дороги в Саксонии очень дурны, и от Берлина до сего места не встречалось глазам моим ни одного приятного вида; только земля здесь, кажется, лучше обработана, нежели в Бранденбурге. По крайней мере известно то, что саксонские земледельцы вообще гораздо богаче прусских.

Я должен описать вам одну встречу, которая оставила во мне приятные впечатления.

В местечке или в маленьком городке, где я ныне в полдень переменял лошадей, почтмейстер не отправлял меня очень долго. Я прохаживался по двору и думал — не знаю, о чем. Знаю только, что стук коляски, подъехавшей к крыльцу почтового дома, перервал нить моих мыслей. Я взшел на крыльцо и увидел молодую, прекрасную, нежную, белокурую женщину, — в маленькой черной шляпке, в амазонском зеленом платье, с белым платком в руках, — вышедшую из коляски с пожилым, горбатым, долгоносым мужчиною, которого изображение было бы не последнею пиесою между гогардскими карикатурами. Он подал ей руку, и когда они проходили мимо меня, я снял шляпу и поклонился красавице, — правда, не очень низко, для того чтобы ни на секунду не вынуть из глаз прелестей лица ее. Надобно думать, что взор мой стоил комплимента: на меня взглянули умильно и даже ласково! Почтмейстер встретил гостей в сенях, отвел им комнату и сам побежал за ключевою водою, в которой имела нужду

красавица для освежения своих прелестей. Дверь затворилась, и я остался один в сенях. Но разве эта дверь не отворится! вздумал я и тихонько отворил ее. Красавица стояла перед зеркалом и белым платком отирала пыль с белого лица своего; а сопутник ее сидел на креслах и зевал.

— Извините, — сказал я, — у меня здесь осталась книга.

Горбатый кавалер кивнул головою и указал мне книгу мою, которая лежала на столе. Красавица отвортилась от зеркала и взглянула на меня такими быстрыми пронизательными глазами, что я верно бы покраснелся, если бы у меня что-нибудь дурное было на мысли; но я с спокойствием невинности смотрел на ее прекрасные голубые глаза, на ее правильный греческий нос, на ее розовые губы и щеки и любовался прелестями ее так, как молодой ваятель любится Микель-Анджеловою статуею или живописец Рафаэлевою картиною. — Красавица села, а я стоял против нее и все еще не брал своей книги.

— День очень жарок, — сказала она приятным голосом, взглянув на своего сопутника и на меня. Он зевнул, а я повторил ее слова: «день очень жарок». Тут последовало молчание. Зная, что женщины в *решительных* случаях жизни никогда не говорят первого слова, я спросил наконец:

— Не в Дрезден ли вы едете, сударыня?

— Нет, — отвечала она: — мы едем в деревню к своему приятелю. А вы, конечно, сами в Дрезден едете?

— Так, сударыня: я надеюсь быть там завтра очень рано.

— Вы, конечно, иностранец, если смею спросить?

— Так, сударыня.

— Конечно англичанин? потому что англичане хорошо говорят по-немецки.

— Извините, сударыня: я москвитянин.

— Москвитянин? Ах, боже мой! Я еще отроду не видывала москвитян.

— А я видал, — сказал горбатый кавалер и начал снова зевать.

— Да скажите пожалуйста, как вы к нам заехали?

— Из любопытства, сударыня.

— Надобно, чтобы вы были очень любопытны. Ведь вы, конечно, оставили в отечестве своем много любезного?

— Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей.

Не знаю, до чего бы мы с нею договорились, если бы не пришел почтмейстер с водою и не сказал мне, что коляска моя готова. Я низко поклонился красавице, а она пожелала мне счастливого пути. — «И только?» — Что ж делать! Не хочу лгать.

Прекрасный лужок, прекрасная рощица, прекрасная женщина — одним словом, все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его. Образ милой саксонки остался

в моих мыслях к украшению картинной галереи моего воображения. — На сей последней перемене я решился ночевать. Теперь бьет 10 часов. В четыре меня разбудят.

Дрезден, 12 июля.

Утро было прекрасное; птички пели, и молодые олени играли на дороге. Тут вдруг открылся мне Дрезден, на большой долине, по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодородная долина составляют великолепный вид. С приятными чувствами въехал я в Дрезден, и при первом взгляде показался он мне огромное самого Берлина.

Я остановился в трактире на почтовом дворе и, одевшись, пошел к господину П., к которому было у меня письмо из Москвы. Он принял меня очень ласково и вызвался было доставить мне приятные знакомства в Дрездене; но как я пробуду здесь не более трех дней и, следовательно, не буду иметь времени пользоваться знакомствами, то мне оставалось только благодарить его за добрую волю. Мы пошли с ним ходить по городу.

Дрезден едва ли уступает Берлину в огромности домов; но только улицы здесь гораздо теснее. Жителей считается в Дрездене около 35 000: очень немного по обширности города и величине домов! Правда, что на улицах и немного людей встречается; и на редком доме не прибито объявления об отдаче внаем комнат. За две или за три порядочно убранные горницы платят здесь в месяц не более семи или восьми талеров. — В некоторых местах города видны еще следы опустошения, произведенного в Дрездене прусскими ядрами в 1760 году. — С час стоял я на мосту, соединяющем так называемый Новый город с Дрезденом, и не мог насытиться рассматриванием приятной картины, которую образуют обе части города и прекрасные берега Эльбы. — Сей мост длиною в 670 шагов считается лучшим в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пешеходов и места для отдохновения.

Господин П. хотел, чтобы я у него обедал. «Вы увидите мое семейство», — сказал он. Нас встретила женщина лет в сорок, почтенного вида, и молодая девушка лет в двадцать, не прекрасная, но милостивая и нежная. «Вот все мое семейство!» — сказал мне господин П., — и я поцеловал руку у той и другой. Обед был самый умеренный, однакож и не голодный. Хозяин и хозяйка расспрашивали меня о России, и вопросы их были так умны, что ответы не приводили меня в затруднение. Господин П. хотя и не есть ученый, однакож много читал; и за бутылкою старого рейнского вина, которую принесла нам сама хозяйка, говорил с великим жаром о творениях некоторых немецких поэтов. Милостивая Шарлотта по большей части молчала, но взоры и улыбки ее были

красноречивы. После обеда она играла на клавесине, хотя в немецком вкусе, однакож не без приятности. — От них пошел я в славную картинную галлерею, которая почитается одною из первых в Европе. Я был там три часа, но на многие картины не успел и глаз оборотить; не три часа, а несколько месяцев надобно на то, чтобы хорошенько осмотреть сию галлерею.

...Надобно было еще видеть так называемую *Зеленую кладовую* (das Grüne Gewölbe), или собрание драгоценных камней, которому в целом свете едва ли есть подобное; и чтобы взглянуть на этот блестящий кабинет саксонского курфюрста и после сказать: «Я видел редкость!» — надобно заплатить голландский червонец. Мне сказывали, что один знатный француз, смотря на камни, сказал курфюрсту: «Хорошо, очень хорошо; а что это стоит вашей светлости?»

После картинной галлереи и *Зеленой кладовой* третья примечания достойная вещь в Дрездене есть библиотека, и всякий путешественник, имеющий некоторое требование на ученость, считает за должность видеть ее, то есть взглянуть на ряды переплетенных книг и сказать: «Какая огромная библиотека!» — Между греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Эврипидовой трагедии, проданной в библиотеку бывшим московским профессором Маттеем; за сей манускрипт вместе с некоторыми другими взял он с курфюрста около 1500 талеров. Спрашивается, где г. Маттей достал сии рукописи?

Вечеру гулял я в саду, который называется *Zwinger Garten* и который хотя не велик, однакож приятен. Посланника нашего нет в Дрездене. Он поехал в Карлсбад.

Июль 12.

Ныне поутру вошел я в придворную католическую церковь во время обедни. Великолепие храма, громкое и приятное пение, сопровождаемое согласными звуками органа; благоговение молящихся, к небу воздегые руки священников — все сие вместе произвело во мне некоторый восхитительный трепет. Мне казалось, что я вступил в мир ангельский и слышу гласы блаженных духов, славословящих неизреченного. Ноги мои подогнулись; я стал на колени и молился от всего сердца.

Июль 12, в 10 часов вечера.

После обеда был я в гостях у нашего молодого священника, где познакомился еще с секретарем нашего министра; а оттуда пошел один гулять за город в так называемый *Большой сад*. Длинная аллея вывела меня на обширный зеленый луг. Тут на левой стороне представилась мне Эльба и цепь высоких холмов, покры-

тых леском, из-за которого выставляются кровли рассеянных домиков и шпицы башен. На правой стороне поля, обогащенные плодами; везде вокруг меня расстилались зеленые ковры, усеянные цветами. Вечернее солнце кроткими лучами своими освещало сию прекрасную картину. Я смотрел и наслаждался; смотрел, радовался и — даже плакал: что обыкновенно бывает, когда сердце моему очень, очень весело! — Вынул бумагу, карандаш; написал: *любезная Природа!* и более ни слова!! Но едва ли когда-нибудь чувствовал так живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда-нибудь в сердце своем был так добр и так благодарен против моего творца, как в сии минуты. Мне казалось, что слезы мои льются от живой любви к Самой Любви и что они должны смыть некоторые черные пятна в книге жизни моей.

А вы, цветущие берега Эльбы, зеленые леса и холмы! вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь в северное, отдаленное отечество мое, в часы уединения буду вспоминать прошедшее!

Мейсен, июля 13.

Я решился ныне поутру ехать в Лейпциг в публичной почтовой коляске (которая называется *желтою*, *gelbe Kutsche*, для того что обита желтым сукном). В десять часов надлежало нам отправиться. Отдав свой чемодан шафнеру (так называется в Саксонии проводник почты) и сказав ему, что буду дожидаться коляски на дороге, пошел я из Дрездена пешком в 9 часов утра. Наемный слуга согласился за несколько грошей быть моим проводителем.

Скорыми шагами вышел я из города; но вышедши, почти на каждом шагу останавливался и любовался прекрасною Натурою и плодами трудолюбия. Дорога идет вдоль по берегу Эльбы. На левой стороне за рекою видны горы, покрытые частым зеленым березником и ольхами; а на правой плодоносная равнина с полями и деревеньками, которую в отдалении ограничивают виноградные сады.

Как ясно было небо, так ясна была душа моя. Я видел везде благоденствие, счастье и мир. Птички, которые порхали и плавали по чистому воздуху над головою моею, изображали для меня веселье и беспечность. Они чувствуют бытие свое и наслаждаются им! Каждый поселянин, идущий по лугу, казался мне благополучным смертным, имеющим с избытком все то, что потребно человеку. Он здоров трудами, — думал я, — весел и счастлив в час отдохновения, будучи окружен мирным семейством, сидя подле верной своей жены и смотря на играющих детей. Все его желанья, все его надежды ограничиваются обширностию его полей; цветут поля, цветет душа его. — Молодая крестьянка

с посошком была для меня аркадскою пастушкой. Она спешит к своему пастуху, — думал я, — который ожидает ее под тению каштанового дерева, — там, на правой стороне, близ виноградных садов. Он чувствует электрическое потрясение в сердце, встает и видит любезную, которая издали грозит ему посошком своим. Как же бежит он навстречу к ней! Пастушка улыбается; идет скорее, скорее — и бросается в отверстие объятия милого своего пастуха. — Потом видел я их (разумеется, мысленно) сидящих друг подле друга в сени каштанового дерева. Они целовались, как нежные горлицы.

Я сел на дороге и дождался почтовой коляски. У меня было довольно товарищей; между прочими магистер, или деревенский проповедник, в рыжем парике и двое молодых студентов, лейпцигский и пражский, который сидел подле меня и тотчас вступил со мною в разговор — о чем, думаете вы? Непосредственно о Мендельзоновом «Федоне», о душе и теле.

— «Федон», — сказал он, — есть, может быть, самое *остроумнейшее* философическое сочинение; однакож все доказательства бессмертия нашего основывает автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых философов!

— Надобно искать его в сердце, — сказал я.

— О! государь мой! — возразил студент: — *сердечное* уверение не есть еще *философическое* уверение; оно не надежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные, необходимые истины. Сего-то уверения ищет метафизик в уединенных сених, во мраке ночи, при слабом свете лампы, забывая сон и отдохновение. — Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа *сама в себе*, то нам все бы открылось; но...

Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера и прочитал студенту следующее:

«Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, личность, душа — все сие существует единственно потому, что вне нас существует — по феноменам или явлениям, которые до нас касаются».

— Прекрасно! — сказал студент, — прекрасно! Но если думать он, что...

Тут коляска остановилась; шафнер отворил дверцы и сказал: — Госпожи и господа! извольте обедать.

Мы вошли в трактир, где уже накрыт был стол. Нам подали пивной суп с лимоном, часть жареной телятины, салат и масло, — за что взяли после с каждого копеек по сороку.

Дорога до самого Мейсена очень приятна. Земля везде наилучшим образом обработана. Виноградные сады, которые сперва видны были в отдалении, подходят ближе к Эльбе, и наконец только одна дорога отделяет их от реки. Тут стоят перпендикулярно огромные гранитные скалы. Некоторые из них — чего не делает трудолюбие! — покрыты землею и превращены в сады, в которых родится лучший саксонский виноград. — На другой стороне Эльбы представляются развалины разбойничьих замков. Там гнездятся ныне летучие мыши, свистят и воют ветры.

Один древний поэт сказал:

Est locus, Albiacis ubi Misna rigatur ab undis
Fertilis et viridi totus amoenus humo. ¹

В этом месте теперь я. — Мейсен лежит частию на горе, частию в долине. Окрестности прекрасны; только город сам по себе очень некрасив. Улицы не ровны и не прямы; дома все готические и показывают странный вкус прошедших веков. Главная церковь есть большое здание, почтенное своею древностию. Старый дворец возвышается на горе. Некогда воспитывались там герои от племени Виттекиндова (сего славного саксонского князя, который столь храбро защищал свободу своего отечества и которого Карл Великий победил не оружием, а великодушием своим). Ныне в сем дворце делают славный саксонский фарфор. Чтобы видеть фабрику, надобно выпросить билет у главного надзирателя.

Г. Маттей был несколько лет директором здешней школы; но недель за шесть перед сим оставил Мейсен и уехал в Виттенберг. Ему, конечно, везде дадут место. Он считается в Германии одним из лучших филологов.

Надобно садиться в коляску и проститься с пером до Лейпцига.

Лейпциг, июля 11.

Дорога от Мейсена идет сперва по берегу Эльбы. Река, кроткая и величественная в своем течении, журчит на правой стороне; а на левой возвышаются скалы, увенчанные зеленым кустарником, из-за которого в разных местах показываются седые мшистые камни.

Отъехав от Мейсена с полмили, вышли мы с прагским студентом из коляски, которая ехала очень тихо, и версты две шли пешком. После вопроса: женат ли я? — студент мой начал говорить о женщинах, и притом не в похвалу их.

— На гробе друга моего, — сказал он, — друга, который пошел в землю от несчастной любви к одной ветреной, легкомыс-

¹ Есть место, где Мисна орошается волнами Альбии, плодородное и привлекательное зеленой почвой (*ред.*).

ленной женщине, клялся я удалиться от этого опасного для нас пола и вечно быть холостым. Науки занимают всю мою душу — и, благодаря бога! могу быть счастливым сам собою.

— Тем лучше для вас, — сказал я.

Стали находить облака, и мы сели опять в коляску. Тут магистер шумел с лейпцигским студентом о теологических истинах. Сей последний предлагал разные сомнения. Магистер брался все решить; но, по мнению студента, не решил ничего. Это его очень сердило.

— Наконец я должен вспомнить, — сказал он, потирая рукою свой красный лоб, — что некоторые люди совсем не имеют чувства истины. Головы их можно уподобить бездонному сосуду, в который ничего влить нельзя; или железному шару, в который ничто проникнуть не может и от которого все отпрыгивает...

— И такие головы, — перервал студент, — часто бывают покрыты рыжими париками и торчат на кафедрах.

— Государь мой! — закричал магистер, поправив свой парик, — о ком вы говорите?

— О тех людях, о которых вы сами говорить начали, — спокойно отвечал студент.

— Лучше замолчать, — сказал магистер.

— Как вам угодно, — отвечал студент.

Между тем наступила ночь. Магистер снял с себя парик, положил его подле себя, надел на голову колпак и начал петь вечерние молитвы нестройным, диким голосом. Лейпцигский студент тотчас пристал к нему, и они, как добрые ослы, затащили такое *дуо*, что надобно было зажать уши. — К счастью, певцы скоро увялись; в коляске все замолкло, и я заснул.

На рассвете остановились мы переменять лошадей и когда стали выходить из коляски, чтобы идти в трактир пить кофе, магистер хватился своего парика, искал его подле себя и на земле и, не могши найти, поднял крик и вопль:

— Куда он девался? Как мне быть без него? Как я, бедный, покажусь в город?

Он приступил к шафнеру и требовал, чтобы парик его непременно был отыскан. Шафнер искал и не находил. Лейпцигский студент тирански смеялся над горестию бедного магистера и наконец, как будто бы сжалился над ним, советовал ему поискать у себя в карманах.

— Чего тут искать! — сказал он; однакож опустил руку в карман своего кафтана и — вытащил парик. Какая минута для живописца! Магистер от внезапной радости разинул рот, держал парик перед собою и не мог сказать ни одного слова.

— Вы ищете за милую того, что у вас под носом, — сказал ему шафнер с сердцем: но душа магистрова была в сию минуту так

полна, что ничто извне не могло войти в нее и шафнерова риторическая фигура проскочила если не мимо ушей его, то по крайней мере сквозь их, то есть (сообразно с Боннетовою гипотезою о происхождении идей) не тронув в его мозгу никакой новой или *девственной* фибры (*fibre vierge*). Конечно долее минуты продолжалось его безмолвное восхищение. Наконец он засмеялся и, надевая на себя парик, уверял нас, что он, магистер, не клал его в карман; а как парик зашел туда, о том ведает сатана и... Тут взглянул он на лейпцигского студента и замолчал.

Без всяких дальнейших приключений доехали мы до Лейпцига.

Здесь-то, милые друзья мои, желал я провести свою юность; сюда стремились мысли мои за несколько лет перед сим; здесь хотел я собрать нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце! — Но судьба не хотела исполнить моего желания.

Воображая, *как бы* я мог провести те лета, в которые, так сказать, образуется душа наша, и *как* я провел их, чувствую горечь в сердце и слезы в глазах. — Нельзя возвратить потерянного!

В 11 часов ночи. Я остановился в трактире у Мемеля против почтового двора. Комната у меня чиста и светла, а хозяин услужлив и говорлив до крайности. Между тем как я разбирал свой чемодан, рассказывал он мне о порядке, заведенном в его доме, — о своем бескорыстии, честности и проч.

— Все те, которые жили у меня, — говорил он, — были мною довольны. Я получаю, конечно, немного барыша, да зато идет обо мне добрая слава; зато у меня совесть чиста и покойна — а у кого покойна совесть, тот счастлив в здешней жизни, и ничего не боится, и ни от чего не бледнеет...

В самую сию секунду грянул гром, и г. Мемель испугался и побледнел.

— Что с вами сделалось? — спросил я.

— Ничего, — отвечал он, запинаясь, — ничего; только надобно затворить окно, чтобы не было сквозного ветру.

В нынешнее лето я еще не видал и не слышал такой грозы, какая была сегодня. В несколько минут покрылось небо тучами; заблестала молния, загредел гром, буря с градом зашумела, и — через полчаса все прошло; солнце снова осветило небо и землю, и трактирщик мой опять начал говорить о неустрашимости того, кто берет за все умеренную цену и, подобно ему, имеет чистую совесть.

За ужином познакомился я с г. фон Клейстом, который служил прусскому королю тайным советником, но по некоторым неприятным обстоятельствам должен был оставить Пруссию и который, выгнав из воображения своего все призраки льстящей надежды,

живет здесь в философическом спокойствии, наслаждаясь приятностию дружбы и обхождения с просвещеннейшими мужами. — Ночь провел я в коляске беспокойно. Теперь глаза мои смыкаются.

Июль 15.

Ныне познакомился я с г. Мелли, молодым женецем, к которому было у меня письмо из Петербурга от Ш., английского купца, и который, приняв меня учтиво, взял на себя продать здесь один из векселей моих, а другой, голландский, променять на французский. — От него зашел я в теологическую аудиторию; видел множество присутствующих, но мало слушающих. Дело шло о некоторых еврейских словах — это не мое дело — и я, постояв у дверей, ушел.

Потом бродил я несколько часов из улицы в улицу и вокруг города, занимаясь местными наблюдениями. Собственно так называемый город очень невелик, но с предместиями, где много садов, занимает уже довольно пространство. Местоположение Лейпцига не так живописно, как Дрездена: он лежит среди равнин, — но как сии равнины хорошо обработаны и, так сказать, *убраны* полями, садами, рошицами и деревеньками, то взор находит тут довольно разнообразия и не скоро утомляется. Окрестности дрезденские прекрасны, а лейпцигские милы. Первые можно уподобить такой женщине, о которой все при первом взгляде кричат: *какая красавица!* а последние такой, которая всем же нравится, но только *тихо*; которую все же хвалят, но только без восторга; о которой с кротким, приятным движением души говорят: *она милостива!*

Домы здесь так же высоки, как и в Дрездене, то есть по большей части в четыре этажа; что принадлежит до улиц, то они очень нешироки. Хорошо, что здесь по городу не ездят в каретах, и пешие не боятся быть раздавлены.

Я не видал еще в Германии такого многолюдного города, как Лейпциг. Торговля и университет привлекают сюда множество иностранцев.

После обеда был я у г. Бека, молодого, но весьма уважаемого по его знаниям и талантам профессора. Я отдал ему письмо к магистру Р., который у него жил, но которого здесь уже нет. Г. Бек рассказал мне, что Р. за несколько времени перед сим был вызван из Лейпцига одним деревенским дворянином, с тем чтобы быть проповедником в его деревне; но что, приехав туда, нашел он много препятствий со стороны духовных; что ему надлежало выдержать престрогий экзамен, на котором старались его разбить и запутать в словах; что он, вышедши наконец из себя, схватил шляпу, пожелал высокоученым своим испытателям поболее любви к ближнему, ушел и скрылся, неизвестно куда.

Профессор Бек есть тихий, скромный человек, осторожный в своих суждениях и говорящий с великою приятностию. От него узнал я о славе «Анахарсиса», сочинения аббата Бартеlemi. Лишь только он вышел в свет, все французские литераторы преклонили колена свои и признали, что древняя Греция, столь для нас любопытная, — Греция, которой удивляемся в ее развалинах и в малочисленных до нас дошедших памятниках ее славы, — никогда еще не была описана столь совершенно. Геттингенский профессор Гейне, один из первых знатоков греческой литературы и древностей, рецензировал «Анахарсиса» в геттингенских «Ученых ведомостях» и прославил его в Германии. Г. Бек с великим нетерпением ожидает своего экземпляра.

Никто из лейпцигских ученых так не славен, как доктор Платнер, эклектический философ, который ищет истины во всех системах, не привязываясь особенно ни к одной из них; который, например, в ином согласен с Кантом, в ином с Лейбницем или противоречит и тому и другому. Он умеет писать ясно, и кто хотя несколько знаком с логикою и метафизикою, тот легко может понимать его. «Афоризмы» его весьма уважаются, и человеку, хотящему пуститься в лабиринт философских систем, могут они служить Ариадниною нитью. Мне хотелось его видеть, и от г. Бека пошел я к нему. Он живет за городом в саду. В аллее встретила мне молодая жена его, Вейсева дочь, и сказала, что господин доктор дома. Минуты через две явился он сам — высокий сухощавый человек лет за сорок, с острыми глазами, с ученою миною и с величавою осанкою.

— Я уже слышал об вас от г. Клейста, — сказал он и ввел меня в свой кабинет. — Признаюсь вам, что я теперь занят, — продолжал он: — мне надобно писать письма; завтра в этот час прошу вас к себе, — и проч.

Я извинялся, что пришел не во время, и кланялся, подвигаясь к дверям.

— Какой или каким наукам вы особенно себя посвятили? — спросил он.

— *Изящным*, — отвечал я и покраснелся — знаю, отчего — может быть, и вы, друзья мои, знаете.

Вечеру я бродил по садам и по аллеям. Рихтеров сад велик и хорош. Девушка в белом корсете лет двенадцати подала мне при выходе букет цветов. Это мне очень полюбилось. Я изъявил ей свою благодарность двумя грошами!!

В Вендлеровом саду видел я Геллертов монумент, сделанный из белого мрамора профессором Эзером. Тут, смотря на сей памятник добродетельного мужа, дружбою сооруженный, вспомнил я то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку; когда, читая его «Инкле и Ярико», обливался я горькими слезами или, читая «Зеленого

осла», смеялся от всего сердца; когда профессор**, преподавая нам, маленьким своим ученикам, мораль по Геллертовым лекциям (*moralische Vorlesungen*), с жаром говаривал: «Друзья мои! будьте таковы, какими учит вас быть Геллерт, и вы будете счастливы!» Воспоминания растрогали мое сердце. История жизни моей представилась мне в картине: довольно тени! И что еще в будущем ожидает меня?

Я пошел из сада в церковь св. Иоанна, где поставлен Геллерту учениками и друзьями его иной памятник, представляющий Религию, которая из металла вылитый и лаврами увенчанный образ его подает Добродетели (прекрасная мысль!). Обе статуи сделаны из белого мрамора. Внизу имя его и следующая надпись, сочиненная другом его Гейне: «Сему учителю и примеру добродетели и религии посвятило сей памятник общество друзей его и современников, бывших свидетелями его достоинств». — Приятно, восхитительно для всякого чувствительного сердца видеть такие надписи и знать, что не лесть, а истина начертала их. Все знавшие покойного Геллерта единогласно называли его мужем добродетельным. Жизнь его была сильнейшим опровержением мнения тех людей, которые, находя порок во всяком уголке сердца человеческого, считают добродетель за одно пустое имя, — и тех, которые утверждают, что религия не делает людей лучшими. «Все, что есть во мне доброго, — говаривал покойник тысячу раз друзьям своим, — всем обязан я христианству». — Описание его жизни заключается сими словами: «Не верно то удивление и бессмертие, которого ожидать могут произведения творческого духа, ибо вкус народов переменяется со временем; но честь его нравственного характера нетленна и непреходяща, подобно Религии и Добродетели, которых век есть — вечность!»

Нет, г. Мемель, я не пойду ужинать. Сяду под окном, буду читать Вейсееву элегию на смерть Геллерта, Крамерову и Денисову оду; буду читать, чувствовать и — может быть, плакать. Нынешний вечер посвящу памяти добродетельного. Он здесь жил и учил добродетели!

Июля 16.

Ныне поутру слышал я эстетическую лекцию доктора Платнера.

Эстетика есть наука вкуса. Она трактует о чувственном познании вообще. Баумгартен первый предложил ее как особливую, отделенную от других науку, которая, — оставляя логике образование высших способностей души нашей, то есть разума и рассудка, — занимается исправлением чувств и всего чувственного, то есть воображения с его действиями. Одним словом, эстетика учит наслаждаться изящным.

Превеликая зала была наполнена слушателями, так что негде было упасть яблоку. Я должен был остановиться в дверях. Платнер говорил уже на кафедре. Все молчало и слушало. Никакой шорох не мешал голосу г. доктора распространяться по зале. Я был далеко от него, однакоже не проронил ни одного слова. Он говорил о великом духе, или о гении.

— Гений, — сказал он, — не может заниматься ничем, кроме важного и великого, — кроме Натуры и человека в целом. И так философия, в высочайшем смысле сего слова, есть его наука. Он может иногда заниматься и другими науками, но только всегда в отношении к сей; имеет *особливую* способность находить сокровенные сходства, аналогию, тайные согласия в вещах и часто видит связь там, где обыкновенный человек никакой не видит; и потому часто находит важным то, что обыкновенному человеку, которого взор простирается недалеко, кажется безделкою. Лейбниц, великий Лейбниц проехал всю Германию и Италию, рылся во всех архивах, в пыли и в гнили молью источенных бумаг, для того чтобы собрать материалы для истории — Брауншвейгского дому! Но проницательный Лейбниц видел связь сей истории с иными предметами, важными для человечества вообще. — Наконец во всех делах такого человека виден особливый дух ревности, который, так сказать, оживляет их и отличает от дел людей обыкновенных. Я вам поставлю в пример Франклина, не как ученого, но как политика. Видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берется он быть его ходатаем! С сей минуты перестает жить для себя и в общем благе забывает свое частное. С каким рвением видим его текущего к своей великой цели, которая есть благо человечества! — Сей же дух ревности оживляет и отличает сочинения великих гениев. Если бы можно было извлечь его, например, из Мендельзоновых философических писем или Иерузалимовой книги о религии, то в первых осталось бы одно схоластическое мудрование, а во второй обыкновенные догматы теологии; но одушевляемые сим огнем возвышают они душу читателя.

Платнер говорит так свободно, как бы в своем кабинете, и очень приятно. Все, сколько я мог видеть, слушали его с великим вниманием. Сказывают, что лейпцигские студенты никого из профессоров так не любят и не почитают, как его. — Когда он сошел с кафедры, то ему, как царю, дали просторную дорогу до самых дверей.

— Я никак не думал вас здесь увидеть, — сказал он мне, — а если бы знал, что вы сюда придете, то велел бы приготовить для вас место.

Он пригласил меня к себе после обеда и сказал, что хочет ужинать со мною в таком месте, где я увижу некоторых *интересных людей*.

Июля 16, в 2 часа пополудни.

Говорят, что в Лейпциге жить весело, — и я верю. Некоторые из здешних богатых купцов часто дают обеды, ужины, балы. Молодые щеголи из студентов являются с блеском в сих собраниях: играют в карты, танцуют, *куртизируют*. Сверх того, здесь есть особливые ученые общества, или клубы; там говорят об ученых или политических новостях, судят книги и проч. — Здесь есть и театр; только комедианты уезжают отсюда на целое лето в другие города и возвращаются уже осенью к так называемой Михайловой ярманке. — Для того, кто любит гулять, много вокруг Лейпцига приятных мест; а для того, кто любит услаждать вкус, есть здесь отменно вкусные жаворонки, славные пироги, славная спаржа и множество плодов, а особливо вишня, которая очень хороша и теперь так дешева, что за целое блюдо надобно заплатить не более десяти копеек. — В Саксонии вообще жить недорого. За стол без вина плачу здесь 30 коп., за комнату также 30 коп.; то же платил я и в Дрездене.

Почти на всякой улице найдете вы несколько книжных лавок, и все лейпцигские книгопродавцы богатеют, — что для меня удивительно. Правда, что здесь много ученых, имеющих нужду в книгах; но сии люди почти все или авторы, или переводчики, и, собирая библиотеки, платят они книгопродавцам не деньгами, а сочинениями или переводами. К тому же во всяком немецком городе есть публичные библиотеки, из которых можно брать для чтения всякие книги, платя за то безделку. — Книгопродавцы изо всей Германии съезжаются в Лейпциг на ярманки (которых бывает здесь три в год: одна начинается с первого января, другая с пасхи, а третья с Михайлова дня) и меняются между собою новыми книгами. Бесчестными почитаются из них те, которые перепечатаывают в своих типографиях чужие книги и делают через то подрыв тем, которые купили манускрипты у авторов. Германия, где книжная торговля есть едва ли не самая важнейшая, имеет нужду в особливом и строгом для сего законе. — Вы пожелаете, может быть, знать, как дорого платят книгопродавцы авторам за их сочинения? Смотря по сочинителю. Если он еще не известен публике с хорошей стороны, то едва ли дадут ему за лист и пять талеров; но когда он прославится, то книгопродавец предлагает ему десять, двадцать и более талеров за лист.

В 11 часов вечера. В назначенный час я пришел к Платнеру.

— Вы, конечно, поживете с нами, — сказал он, посадив меня.

— Несколько дней, — отвечал я.

— Только? А я думал, что вы приехали *пользоваться* Лейпцигом. Здешние ученые сочли бы за удовольствие способствовать вашим успехам в науках. Вы еще молоды и знаете немецкий язык. Вместо того чтобы **переезжать** из города в город, лучше вам

пожить в таком месте, как Лейпциг, где многие из ваших единоземцев искали просвещения, и, надеюсь, не тщетно.

— Я почел бы за особое счастье быть вашим учеником, г. доктор; но обстоятельства, обстоятельства...

— И так мне остается жалеть, если они не позволяют вам на сей раз остаться с нами.

Он помнит К., Р. и других русских, которые здесь учились.

— Все они были моими учениками, — сказал он: — только я был тогда еще не то, что теперь.

— По крайней мере ваши «Афоризмы» еще не были изданы...

И в самую ту минуту, как я, упомянув об «Афоризмах», хотел просить у него объяснения на некоторые места из них, пришли к нему с университетскими делами. Он отправляет должность ректора.

— У меня не много свободного времени, — сказал он, — однакож вы должны ныне со мною ужинать. В восемь часов велите себя проводить в трактир «Голубого ангела».

Я имел время погулять в Рихтеровом саду (где девушка в белом корсете опять вручила мне букет цветов) и в восемь часов пришел в трактир «Голубого ангела». Меня провели в большую комнату, где накрыт был стол на двадцать кувертов, но где еще никого не было. Через полчаса явился Платнер с ученою братиею. Он каждому представлял меня и сказывал мне имена их: но все они были мне неизвестны, кроме старого профессора Эзера и биргермейстера Миллера, издавшего Сульперову «Теорию изящных наук» с своими примечаниями. Сели за ужин — самый афинский; только что вино пили мы не из чаш, цветами оплетенных, а из простых саксонских рюмок. Все были веселы и говорливы; хотели, чтобы и я говорил, и спрашивали меня о нашей литературе. Они очень удивились, слыша от меня, что десять песней «Мессиады» переведены на русский язык.

— Я не думал бы, — сказал молодой профессор поэзии, — чтобы в вашем языке можно было найти выражения для Клопштоковых идей.

— Еще то скажу вам, — примолвил я, — что перевод верен и ясен.

В доказательство, что наш язык не противен ушам, читал я им русские стихи разных мер, и они чувствовали их *определенную* гармонию. Говоря о наших оригинальных произведениях, прежде всех наименовал я две эпические поэмы, «Россияду» и «Владимира», которые должны имя творца своего сделать незабвенным в истории российской поэзии. — Платнер играл за ужином первую роль, то есть он управлял разговором. Если вообще справедливо укоряют немецких ученых некоторою неловкостию в общении, то по крайней мере доктор Платнер (и, конечно, вместе со многими другими) должен быть исключен из сего числа. Он

самый светский человек: любит и умеет говорить; говорит смело, для того что знает свою цену. — Старик Эзер любезен по своему простосердечию. К нему имеют уважение; слушают его анекдоты и смеются, примечая, что он хочет смешить. Во время царствования императрицы Елисаветы Петровны сбирался он ехать в Россию, но раздумал. — Что принадлежит до биргермейстера Миллера, то он, кажется, очень важничает. — В десять часов встали, пожелали друг другу доброго вечера и разошлись. Шлатнер не позволил мне заплатить за ужин, что для меня не совсем приятно было. — Таким образом избранные лейпцигские ученые ужинают вместе один раз в неделю и проводят вечер в приятных разговорах.

Милые друзья мои! я вижу людей, достойных моего почтения, умных, знающих, ученых, славных, — но всё они далеки от моего сердца. Кто из них имеет во мне хотя малейшую нужду? Всякий занят своим делом, и никто не заботится о бедном страннике. Никто не хватится меня завтра, если нынешняя ночь на черных своих крыльях унесет мою душу из здешнего мира; ничей вздох не полетит вслед за мною, — и вы бы долго, долго не узнали о преселении вашего друга!

Июль 17.

В шестом часу вышел я за город с покойным и веселым духом; бросился на траву бальзамического луга, наслаждался утром — и был счастлив!

Солнце взшло высоко, и жар лучей его дал мне чувствовать, что полдень недалеко. Деревня, в которой живет Вейсе, была у меня в виду. Пожелав доброго утра молодой крестьянке, которая мне встретилась, я спросил у нее, где дом господина Вейсе?

— Там, на правой стороне большой дом с садом!

Вейсе, любимец драматической и лирической музыки — друг добродетели и всех добрых — друг детей, который учением и примером своим распространил в Германии правила хорошего воспитания, — Вейсе проводит лето в маленькой деревеньке верстах в двух от Лейцига, среди честных поселян и семейства своего. Я вошел в горницу и видел в окне, как любезный хозяин, маленький человечек в красном халате и в белой шляпе, спешил к дому по аллее, узнав от служанки, что какой-то москвитянин его дожидается. Он вошел в горницу в том же красном халате, но только уже не в белой шляпе, а в напудренном парике с кошельком. Я с примечанием смотрел на портрет твой, любезный Вейсе, и узнал бы тебя между тысячами! — Ему уже с лишком шестьдесят лет; но румяное и свежее лицо его не показывает ни пятидесяти — и во всякой черте лица сего видна добрая душа!

Он обошелся со мною ласково, сердечно, просто; жалел, что я пришел к нему, а не он ко мне, — и в такой жар; потчевал меня лимонадом и проч.

Я сказал ему, что разные пиесы из его «Друга детей» переведены на русский, и некоторые мною. В Германии многие писали и пишут для детей и для молодых людей; но никто не писал и не пишет лучше Вейсе. Он сам отец, и отец нежный, посвятивший себя воспитанию юных сердец. Со всех сторон осыпали его благодарностию, когда он издавал свои еженедельные листы: дети благодарили за удовольствие, а отцы за видимую пользу, которую сие чтение приносило их детям. — Он издает ныне «Переписку фамилии друга детей», приятную и полезную молодым людям.

Вейсе с великою скромностию говорит о своих сочинениях; однакож без всякого притворного смирения, которое для меня так же противно, как и самохвальство. — С каким чувством описывает семейственное свое счастье!

— Благодарю бога, — сказал он сквозь слезы, — благодарю бога! Он дал мне вкусить в здешней жизни самые чистейшие удовольствия; и я осмелился бы назвать свое счастье совершенным, если бы небесная благодать возвратила здоровье дочери моей, которая несколько лет больна и которой искусство врачей не помогает.

Одним словом, если я любил Вейсе как автора, то теперь, узнав его лично, еще более полюбил как человека.

У него есть рукописная история нашего театра, переведенная с русского. Г. Дмитревской, будучи в Лейпциге, сочинил ее; а некто из русских, которые учились тогда в здешнем университете, перевел на немецкий и подарил господину Вейсе, который хранит сию рукопись как редкость в своей библиотеке.

Наконец я с ним простился.

— Путешествуйте счастливо, — сказал он, — и наслаждайтесь всем, что может принести удовольствие чистому сердцу! Однакож я постараюсь еще увидиться с вами в Лейпциге.

— А вы наслаждайтесь ясным вечером своей жизни! — сказал я, вспомнив ла-Фонтенев стих: *sa fin* (то есть конец мудрого) *est le soir d'un beau jour*,¹ — и пошел от него, будучи совершенно доволен в своем сердце. Один взгляд на доброго есть счастье для того, в ком не загрубело чувство добра.

Возвратясь в Лейпциг, зашел я в книжную лавку и купил себе на дорогу Оссианова «Фингала» и «*Vicar of Wakefield*».²

В полночь. Нынешний вечер провел я очень приятно. В шесть часов пошли мы с г. Мелли в загородный сад. Там было множество людей: и студентов и филистров.³ Одни, сидя под тению де-

¹ Конец его это вечер прекрасного дня (*ред.*).

² «Векфильдский священник», роман Гольдсмита (*ред.*).

³ Так студенты называют граждан, и господину Аделунгу угодно почитать это слово за испорченное, вышедшее из латинского слова *balistarii*. Сим именем назывались городские солдаты и простые граждане.

рев, читали или держали перед собою книги, не удостоивая проходящих взора своего; другие, сидя в кругу, курили трубки и защищались от солнечных лучей густыми табачными облаками, которые извивались и клубились над их головами; иные в темных аллеях гуляли с дамами и — проч. Музыка гремела, и человек, ходя с тарелкою, собирал деньги для музыкантов; всякий давал, что хотел.

Г. Мелли удивил меня, начав говорить со мною по-русски.

— Я жил четыре года в Москве, — сказал он, — и хотя уже давно выехал из России, однакож не забыл еще вашего языка.

К нам присоединились гг. Шнейдер и Годи, путешествующие с княгинею Белосельскою, которая теперь в Лейпциге. Первого видал я в Москве, и мы обрадовались друг другу, как старинные знакомые. Г. Мелли угостил нас в трактире хорошим ужином. Мы пробыли тут до полуночи и вместе пошли назад в город. Ворота были заперты, и каждый из нас заплатил по несколько копеек за то, что их отворили. Таков закон в Лейпциге: или возвращайся в город ранее, или плати штраф.

Июль 19.

Ныне получил я вдруг два письма от А., которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель и хочет, чтобы я дождался его или в Мангейме, или в Стразбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания. Таким образом разрушилось то здание приятностей и удовольствий, которое основывал я на свидании с любезным другом! И таким образом во всем своем путешествии не увижу ни одного человека, близкого к моему сердцу! Эта мысль сделала меня печальным, и я пошел без цели бродить по городу и по окрестностям. Мне встретился г. Бр., молодой ученый, с которым я здесь познакомился. Оба вместе пошли мы в Розенталь, большой парк. Я вспомнил, что известный обманщик Шрепфер кончил тут жизнь свою пистолетным выстрелом. Кто не хотел бы знать его подлинной таинственной истории? Сей человек долгое время был слугою в одном кофейном доме в Лейпциге, и никто не примечал в нем ничего чрезвычайного. Вдруг он скрылся и через несколько лет опять явился в Лейпциг под именем барона Шрепфера, нанял себе большой дом и множество слуг; объявил себя мудрецом, повелевающим Натурою и духами, и в громкую трубу звал к себе всех легковверных людей, обещая им золотые горы. Со всех сторон стеклись к нему ученики. Иные подлинно хотели от него научиться тому, чему ни в каких университетах не учат; а другим более всего нравился его хороший стол. С почты приносили ему большие пакеты, надписанные на имя *барона Шрепфера*, а банкиры, получая вексели, давали ему большие суммы денег. С разитель-

ным красноречием говорил он о своих таинствах, будто бы в Италии ему сообщенных, и, разгорячив воображение слушателей, показывал им духов, тени умерших знакомых и проч. *Приди и виждь!* кричал он всем, которые сомневались, — приходили и видели тени и разные страхи, от которых у трусливых людей волосы дыбом становились. Надобно заметить, что круг ревностней его почитателей состоял не из ученых, то есть не из тех, которые привыкли рассуждать по логике (сих людей не мог он терпеть, как таких, которые верят разуму более, нежели глазам), а из дворян и купцов, совсем незнакомых с науками. Заметить надобно и то, что он только *показывал* чудеса, а никого в самом деле *не научал* делать их; и что он показывал их только у себя дома, в некоторых, особливо на то определенных комнатах. Г. Бр. рассказал мне следующий анекдот. Некто М. пришел к Шрепферу с своим приятелем, для того чтобы видеть его духопризывание. Он нашел у него множество гостей, которым беспрестанно подносили пушш. М. не хотел пить. Шрепфер приступал к нему, чтобы он выпил хоть один стакан; но М. отговорился. Потом ввели всех в большую залу, обитую черным сукном и в которой окна были затворены. Шрепфер поставил всех зрителей вместе, очертил их кругом и не велел никому трогаться с места. Шагах в трех от них на маленьком жертвеннике горел спирт, — чем единственно освещалась зала. Перед сим жертвенником Шрепфер, обнажив грудь свою и взяв в руку большой блестящий меч, бросился на колени и громко начал молиться с таким жаром, с таким рвением, что М., пришедший видеть обманщика и обман, почувствовал трепет и благоговение в своем сердце. Огонь блистал в глаз молящегося, и грудь его высоко поднималась. Ему надлежало призвать тень одного известного человека, недавно умершего. По окончании молитвы он начал призывание сими словами: «О ты, блаженный дух, преселившийся в бесплотный и смертным неизвестный мир! внемли гласу оставленных тобою друзей, желающих тебя видеть; внемли и, оставя на время новую свою обитель, явися очам их!» и проч. и проч. Зрители почувствовали электрическое потрясение в своих нервах, услышали удар, подобный громовому, и увидели над жертвенником легкий пар, который мало-помалу густел и наконец образовал человеческую фигуру; однакож М. не приметил в ней большого сходства с покойником. Образ носился над жертвенником, а Шрепфер, который сделался бледен как смерть, махал мечом вокруг головы своей. М. решился выйти из круга и приблизиться к Шрепферу; но сей, приметив его движение, вскочил, бросился на него и, устремив меч к его сердцу, закричал страшным голосом: «Ты умрешь, несчастный, если хотя один шаг вперед ступишь!» У М. подкосились ноги: так он испугался грозного голоса и блестящего меча его! Тень исчезла. Шрепфер от усталости растянулся на полу и велел выйти всем зрителям в другую

комнату, где подали им на блюдах свежие плоды. — Многие приходили к Шрепферу как в спектакль и хотя знали, что вся тайная мудрость его состояла в шарлатанстве, однакож с удовольствием смотрели на важные комедии, им играемые. Все это продолжалось несколько времени. Но вдруг Шрепфер задолжал в Лейпциге многим купцам, и притом таким, которые, не имея никакого желания видеть его духов, требовали немедленно платежа. Векселей к нему уже не присылали. Банкиры не давали ему ни гроша, и несчастный мудрец, доведенный до крайности, застрелился в Розентале. — По сие время неизвестно, откуда получал Шрепфер деньги и какую имел цель, выдавая себя за духопризывателя. По гипотезе ученых берлинцев, он был орудие тайных иезуитов (вместе с Кэлиостром, который в самом деле есть второй Шрепфер) — иезуитов, хотящих снова овладеть умами человеческими. Если это правда, — в чем, однакож, я очень, очень сомневаюсь, — то с дозволения господ тайных иезуитов можно сказать, что они напрасно льстятся ныне подчинить себе Европу посредством таких шарлатанов, — тогда, как законы разума всенародно возглашаются и просвещение более и более распространяется — просвещение, которого одна искра может осветить бездну заблуждений. — Вы скажете, может быть, что Шрепфер брал деньги с оболщенных им людей? Но точно не известен ни один человек, с которого бы он брал их.

Сию минуту получил я записку от Платнера, в которой изъявляет он свое желание, чтобы я когда-нибудь пожил в Лейпциге долее и подал ему случай *заслужить мою благодарность*. — Профессор Бек, который очень обязал меня своею ласкою, взял на себя искать гофмейстера для П. Он будет писать ко мне в Цирих. — Простите, любезные друзья!

Веймар, июля 20.

В путешествии своем от Лейпцига до Веймара не заметил я ничего, кроме прекрасной долины, на которой лежит город Наумбург, и маленькой деревеньки, где ребяташки набросали множество цветов к нам в коляску, — к нам, говорю, потому что я ехал до Буттельштета с одним молодым французом, который был чем-то в свите французского посланника в Дрездене. Разумеется, что ребяташки хотели денег; мы бросили несколько грошей, и они громко закричали нам: «спасибо!» — Француз, который не разумел ни одного слова по-немецки и которому я служил переводчиком, почти заплакал, когда нам пришлось расставаться. Впрочем, он был для меня совсем незанимателен.

На рассвете приехали мы в Буттельштет, где почтмейстер дал мне до Веймара маленькую колясочку. Я подарил постиллиону фарфоровую трубку, купленную мною на берлинской фабрике, а он из благодарности привез меня в Веймар довольно скоро.

Местоположение Веймара изрядно. Окрестные деревеньки с полями и рощицами составляют приятный вид. Город очень невелик, и кроме герцогского дворца не найдешь здесь ни одного огромного дома. — У городских ворот меня допрашивали; после чего предложил я караульному сержанту свои вопросы, а именно:

— Здесь ли Виланд? здесь ли Гердер? здесь ли Гете?

— Здесь, здесь, здесь, — отвечал он, — и я велел постиллиону везти себя в трактир «Слона».

Наемный слуга немедленно был отправлен мною к Виланду, спросить, дома ли он? *Нет, он во дворце.* — Дома ли Гердер? *Нет, он во дворце.* — Дома ли Гете? *Нет, он во дворце.*

— Во дворце! во дворце! — повторил я, передражнивая слугу, — взял трость и пошел в сад. Большой зеленый луг, обсаженный деревьями и называемый *звездю*, мне очень понравился; но еще более понравились мне дикие, мрачные берега стремительно текущего ручья, под шумом которого, сев на мшистом камне, прочитал я первую книгу «Фингала». — Люди, которые встречались мне в саду, глядели на меня с таким любопытством, с каким не смотрят на людей в больших городах, где на всяком шагу встречаются незнакомые лица.

Узнав, что Гердер наконец дома, пошел я к нему. *У него одна мысль*, сказал об нем какой-то немецкий автор, *и вся мысль есть целый мир*. Я читал его «Urkunde des menschlichen Geschlechts»,¹ читал, многого не понимал; но что понимал, то находил прекрасным. В каких картинах изображает он творение! Какое восточное величие! — Я читал его «Бога», одно из новейших сочинений, в котором он доказывает, что Спиноза был глубокомысленный философ и ревностный читатель божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный, и по сему поводу сообщает собственные свои мысли о божестве и творении, прекрасные, утешительные для человека мысли. Чтение сей маленькой книжки усладило несколько часов в моей жизни. Я выписал из нее многие места, которые мне отменно понравились. Пойдите — не найдю ли чего-нибудь в записной книжке своей?.. Нашел одно место, которое, может быть, и вам понравится, — и для того включу его в свое письмо. Автор говорит о смерти. «Взглянем на лилию в поле; она впивает в себя воздух, свет, все стихии — и соединяет их с существом своим, для того чтобы расти, накопить жизненного соку и расцвести; цветет, и потом исчезает. Всю силу, любовь и жизнь свою истощила она на то, чтобы сделаться матерью, оставить по себе образцы свои и размножить свое бытие. Теперь исчезло явление лилии; она истлела в неутомимом служении Натуры; готовилась к разрушению с начала жизни. Но что разрушилось в ней, кроме явления, которое не могло быть долее, которое, — достигнув до

¹ «Происхождение человеческого рода» (ред.).

высочайшей степени, заключавшей в себе вид и меру красоты ее, — назад обратилось? и не с тем, чтобы, лишась жизни, уступить место юнейшим живым явлениям, — сие было бы для нас весьма печальным символом, — нет! напротив того, она, как живая, со всею радостию бытия произвела бытие их и в зародыше любезного вида передала его вечноцветущему саду времени, в котором и сама цветет. Ибо лилия не погибла с сим явлением; сила корня ее существует; она вновь пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых дочерей бытия своего, которые стали ее подругами и сестрами. Итак, нет смерти в творении; или смерть есть не что иное, как *удаление того, что не может быть долее*, то есть *действие вечно юной, неутомимой силы*, которая по своему свойству не может ни минуты быть праздною или покоиться. По изящному закону Премудрости и Благости, все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты — стремится и всякую минуту превращается». — В сем сочинении все ясно и понятно и согласно. Тут не бурнопламенное воображение юноши кружится на высотах и сверкает во мраке, подобно ночному метеору, блестящему и в минуту исчезающему: но мысль мудрого мужа, разумом освещаемая, тихо несется на легких крыльях веющего зефира — несется ко храму вечной Истины и светлую струю свой путь означает. — Я читал еще его «Парамифии»,¹ нежные произведения цветущей фантазии, которые дышат греческим духом и прекрасны, как утренняя роза.

Он встретил меня еще в сенях и обошелся со мною так ласково, что я забыл в нем великого автора, а видел перед собою только любезного, приветливого человека. — Он расспрашивал меня о политическом состоянии России, но с отменною скромностию. Потом разговор обратился на литературу, и, слыша от меня, что я люблю немецких поэтов, спросил он, кого из них предпочитаю всем другим? Сей вопрос привел меня в затруднение.

— Клопштока, — отвечал я, запинаясь, — почитаю самым *выспренним* из певцов германских.

— И справедливо, — сказал Гердер, — только его читают менее, нежели других, и я знаю многих, которые в «Мессиаде» на десятой песни остановились, с тем чтоб уже никогда не принимать за эту славную поэму.

Он хвалил Виланда, а особливо Гете — и, велев маленькому своему сыну принести новое издание его сочинений, читал мне с живостию некоторые из его прекрасных мелких стихотворений. Особенно нравится ему маленькая пьеса под именем «*Meine Göttin*», которая так начинается:

¹ То есть *отдохновения*. Сим именем называют еще и нынешние греки свои забавные краткие повести.

Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis seyn?
Mit niemand streit' ich,
Aber ich geb' ihn
Der ewig beweglichen,
Immer neuen,
Seltsamsten Tochter Jovis,
Seinem Schooskinde,
Der Phantasie,¹ и проч.

— Это совершенно по-гречески, — сказал он, — и какой язык! какая чистота! какая легкость!

Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свой сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобнейшим языком; и потому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, какими обогатили ныне немцы свою литературу. Гомер у них Гомер: та же неискусственная, благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим баранам. — Гердер любезный человек, друзья мои. Я простился с ним до завтрашнего дня.

В церковь св. Якова надобно было зайти для того, чтобы видеть там на стене барельеф покойного профессора Музеуса, сочинителя «Физиогномического путешествия» и «Немецких народных сказок». Под барельефом стоит на книге урна с надписью: *Незабвенному Музеусу*. — Чувствительная Амалия!² потомство будет благодарить тебя за то, что ты умела чтить дарования.

21 июля.

Вчера два раза был я у Виланда, и два раза сказали мне, что его нет дома. Ныне пришел к нему в восемь часов утра и увидел его. Вообразите себе человека довольно высокого, тонкого, долголицего, рябоватого, белокурого, почти безволосого, у которого глаза были некогда серые, но от чтения стали красные, — таков Виланд.

1

МОЯ БОГИНЯ

Какую бессмертную
Я ценю первой всех?
Ни с кем не спорю,
Все же милей мне
Вечно подвижная,
Новая вечно
Дивная дочь Зевса,
Чадо любимое,
Фантазия, ты!

(Перевод С. В. Шервинского. — *Ред.*)

² Герцогиня Веймарская, мать владеющего герцога,

— Желание видеть вас привело меня в Веймар, — сказал я.

— Это не стоило труда! — отвечал он с холодным видом и с такою ужимкою, которой я совсем не ожидал от Виланда. Потом спросил он, как я, живучи в Москве, научился говорить по-немецки? Отвечая, что мне был случай говорить с немцами, и притом с такими, которые хорошо знают свой язык, упомянул я о П. Тут разговор обратился на сего несчастного человека, который некогда был ему очень знаком. Между тем мы все стояли: из чего и надлежало мне заключить, что он не намерен удерживать меня долго в своем кабинете.

— Конечно я пришел не во время? — спросил я.

— Нет, — отвечал он: — впрочем, поутру мы обыкновенно чем-нибудь занимаемся.

— И так позволите мне прийти в другое время; назначьте только час. Еще повторяю вам, что я приехал в Веймар единственно для того, чтобы вас видеть.

Виланд. Чего вы от меня хотите?

Я. Ваши сочинения заставили меня любить вас и возбудили во мне желание узнать автора лично. Я ничего не хочу от вас, кроме того, чтобы вы позволили мне видеть себя.

В. Вы приводите меня в замешательство. Сказать ли вам искренно?

Я. Скажите.

В. Я не люблю новых знакомств, а особливо с такими людьми, которые мне ни по чему не известны. Я вас не знаю.

Я. Правда; но чего вам опасаться?

В. Ныне в Германии вошло в моду путешествовать и описывать путешествия. Многие переезжают из города в город и стараются говорить с известными людьми только для того, чтобы после все слышанное от них напечатать. Что сказано было между четырех глаз, то выдается в публику. Я на себя не надежен; иногда могу быть *слишком* откровенен.

Я. Вспомните, что я не немец и не могу писать для немецкой публики. К тому же вы могли бы обязать меня словом честного человека.

В. Но какая польза нам знакомиться? Положим, что мы сойдемся образом мыслей и чувств: да наконец не надобно ли будет нам расстаться? Ведь вы здесь не будете жить?

Я. Для того, чтобы иметь удовольствие вас видеть, могу остаться в Веймаре дней десять и, расставшись с вами, радовался бы тому, что узнал Виланда — узнал, как отца среди семейства и как друга среди друзей.

В. Вы очень искренны. Теперь мне должно вас остерегаться, чтобы вы с этой стороны не заметили во мне чего-нибудь дурного.

Я. Вы шутите.

В. Нимало. Сверх того, мне бы совестно было, если бы вы точно для меня остались здесь жить. Может быть, в другом немецком городе, например в Готе, было бы вам веселее.

Я. Вы поэт, а я люблю поэзию: как бы приятно для меня было, если бы вы позволили мне хотя час провести с вами в разговоре о пленительных красотах ее?

В. Я не знаю, как мне говорить с вами. Может быть, вы учитель мой в поэзии.

Я. О! много чести. И так мне остается проститься с вами в первый и в последний раз.

В. (*посмотрев на меня и с улыбкою*). Я не физиогномист; однакож вид ваш заставляет меня иметь к вам некоторую доверенность. Мне нравится ваша искренность; и я вижу еще первого русского такого, как вы. Я видел вашего Ш., острого человека, напитанного духом этого старика (*указывая на бюст Вольтеров*). Обыкновенно ваши единосемцы стараются подражать французам; а вы...

Я. Благодарю.

В. Итак, если вам угодно провести со мною часа два-три, то приходите ко мне ныне после обеда в половине третьего.

Я. Вы хотите быть только снисходительны!

В. Хочу иметь удовольствие быть с вами, говорю я, и прошу вас не думать, чтобы вы одни на свете были искренны.

Я. Простите!

В. В третьем часу вас ожидаю.

Я. Буду. — Простите!

Вот вам подробное описание нашего разговора, который сперва зацепил заживо мое самолюбие. Окончание успокоило меня несколько; однакож я все еще в волнении пришел от Виланда к Гердеру и решился на другой день ехать из Веймара.

Гердер принял меня с такою же кроткою ласкою, как и вчера, — с такою же приветливою улыбкою и с таким же видом искренности.

Мы говорили об Италии, откуда он недавно возвратился и где остатки древнего искусства были достойным предметом его любопытства. Вдруг пришло мне на мысль: что если бы я из Швейцарии пробрался в Италию и взглянул на Медицейскую Венеру, Бельведерского Аполлона, Фарнезского Геркулеса, Олимпийского Юпитера — взглянул бы на величественные развалины древнего Рима и вздохнул бы о тленности всего подлунного? А сия мысль сделала то, что я на минуту совсем забылся.

Я признался Гердеру, обратив разговор на его сочинения, что «Die Urkunde des menschlichen Geschlechts» казалась мне по большей части непонятною.

— Эту книгу сочинял я в молодости, — отвечал он, — когда воображение мое было во всей своей бурной стремительности и когда оно еще не давало разуму отчета в путях своих.

— Дух ваш, — сказал я, прощаясь с ним, — известен мне по вашим творениям; но мне хотелось иметь ваш образ в душе моей, и для того я пришел к вам, — теперь видел вас и доволен.

Гердер невысокого роста, посредственной толщины и лицом очень не бел. Лоб и глаза его показывают необыкновенный ум (но я боюсь, чтобы вы, друзья мои, не почли меня каким-нибудь физиогномическим колдуном). Вид его важен и привлекателен; в мине его нет ничего принужденного, ничего такого, что бы показывало желание *казаться чем-нибудь*. Он говорит тихо и внятно; дает вес словам своим, но не излишний. Едва ли по разговору его можно подозревать в Гердере скромного любимца муз; но великий ученый и глубокомысленный метафизик скрыт в нем весьма искусно.

Приятно, милые друзья мои, видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; которого мы так часто себе воображали или вообразить старались. Теперь, мне кажется, я еще с большим удовольствием буду читать произведения Гердерова ума, вспоминая вид и голос автора.

В 9 часов вечера. Я пришел к Виланду в назначенное время. Маленькие прекрасные дети его окружили меня на крыльце.

— Батюшка вас дожидается, — сказал один.

— Подите к нему, — сказали двое вместе.

— Мы вас проводим, — сказал четвертый.

Я их всех перецеловал и пошел к их батюшке.

— Простите, — сказал, вошедши к нему, — простите, если давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы не сочтете наглостью того, что было действием энтузиазма, произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями.

— Вы не имеете нужды извиняться, — отвечал он: — я рад, что этот жар к поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает.

Тут сели мы на канапе. Начался разговор, который минута от минуты становился живее и для меня занимательнее. Говоря о любви своей к поэзии, сказал он:

— Если бы судьба определила мне жить на пустом острове, то я написал бы все то же и с таким же старанием выработывал бы свои произведения, думая, что музы слушают мои песни.

Он желал знать, пишу ли я? и не переведено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий? Я сыскал в записной своей книжке перевод «Печальной весны». Прочитав его, сказал он:

— Жалею, если вы часто бываете в таком расположении, какое здесь описано. Скажите, — потому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче, — скажите, что у вас в виду?

— Тихая жизнь, — отвечал я. — Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать неко-

торые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с Натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им.

— Кто любит муз и любим ими, — сказал Виланд, — тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя *приятное* дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым.

Разговор наш касался и до философов.

— Никто из систематиков, — сказал Виланд, — не умеет так *обольщать* своих читателей, как Боннет; а особливо таких читателей, которые имеют живое воображение. Он пишет ясно, приятно и заставляет любить себя и философию свою.

О Канте говорит Виланд с почтением, но кажется, не ломает головы над его метафизикою. Он показывал мне новое сочинение своего зятя, профессора Рейнгольда, под титулом «*Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens*»,¹ которое только что отпечатано и которое должно объяснить Кантову метафизику.

— Прочтите его, — сказал он мне, — если вы читаете книги такого рода.

— Ваш «Агатон» или «Оберон» для меня приятнее, — отвечал я: — однакож иногда из любопытства заглядываю и в область философии.

— А разве «Агатон» не есть философическая книга? — сказал он: — в нем решены самые важнейшие вопросы философии.

— Правда, — сказал я, — итак, прошу извинить меня.

С любезною искренностию открывал мне Виланд мысли свои о некоторых важнейших для человечества предметах. Он ничего не отвергает, но только полагает различие между чаянием и уверением. Его можно назвать скептиком, но только в хорошем значении сего слова.

Ему, казалось, приятно было слышать от меня, что некоторые из важнейших его сочинений переведены на русский.

— Но каков перевод? — спросил он.

— Не может нравиться тем, которые знают оригинал, — отвечал я.

— Такова моя участь, — сказал он: — и французские и английские переводчики меня обезобразили.

В шесть часов я встал. Он взял мою руку и сказал, что от всего сердца желает мне счастья в жизни.

— Вы видели меня таковым, каков я подлинно, — примолвил он. — Простите и хотя изредка уведомляйте меня о себе. Я всегда буду отвечать вам, где бы вы ни были. Простите!

¹ «Опыт новой теории возможности человеческих представлений» (ред.).

Тут мы обнялись. Мне казалось, что он был несколько тронут; а это самого меня тронуло. На крыльце мы в последний раз пожали друг у друга руку и расстались — может быть, навечно. Никогда, никогда не забуду Виланда! Если бы вы видели, друзья мои, с какою откровенностью, с каким жаром говорит сей почти шестидесятилетний человек и как все черты лица его оживляются в разговоре! Душа его еще не состарилась, и силы ее не истощились. «Клелия и Синибальд», последняя из его поэм, писана с такою же полнотою духа, как «Оберон», как «Музарнон» и проч. Кажется еще, что он в последних своих творениях ближе и ближе к совершенству подходит. Тридцать пять лет известен Виланд в Германии как автор. Самые первые его сочинения, например «Нравоучительные повести», «Симпатии» и проч., обратили на него внимание публики. Хотя строгая критика, которая тогда уже начиналась в Германии, и находила в них много недостатков; однакож отдавала автору справедливость в том, что он имеет изобретательную силу, богатое воображение и живое чувство. Но эпоха славы его началась с комических повестей, признанных в своем роде превосходными и на немецком языке тогда единственными. Удивлялись его остроте, вкусу, красоте языка, искусству в повествовании. Потом издавал он поэму за поэмою, и последняя всегда казалась лучшею. Давно уже Германия признала его одним из первых своих певцов; он покоится на лаврах своих, но не засыпает. Если французы оставили наконец свое старое худое мнение о немецкой литературе (которое некогда она в самом деле заслуживала, то есть тогда, как немцы прилежались только к сухой учености) — если знающие и справедливейшие из них соглашаются, что немцы не только во многом сравнялись с ними, но во многом и превзошли их: то, конечно, произвели это отчасти Виландовы сочинения, хотя и нехорошо на французский язык переведенные.

Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где живет Гете, видел я его, смотрящего в окно, — остановился и рассматривал его с минутою: важное греческое лицо! Ныне заходил к нему; но мне сказали, что он рано уехал в Ену. — В Веймаре есть еще и другие известные писатели: Бертух, Боде и проч. Бертух перевел с гишпанского «Дон-Кихота» и выдавал «Магазин гишпанской и португальской литературы», а Боде славится переводом Стернова «Путешествия» и «Тристрама Шанди». Герцогиня Амалия любила дарования. Она призвала к своему двору Виланда и поручила ему воспитание молодого герцога; она призвала Гете, когда он прославился своим «Вертером»; она же призвала и Гердера в начальники здешнего духовенства.

Простите, друзья мои! Ясная ночь вызывает меня из комнаты. Беру свой страннический посох — иду смотреть на засыпающую Природу и странствовать глазами по звездному небу.



Н. М. КАРАМЗИН

Веймар, июля 22.

Мне рассказывали здесь разные анекдоты о нашем Л. Он приехал сюда для Гете, друга своего, который вместе с ним учился в Стразбурге и был тогда уже при веймарском дворе. Его приняли очень хорошо, как человека с дарованиями; но скоро заметили в нем великие странности. Например однажды явился он на придворный бал в домине, в маске и в шляпе и в ту минуту, как все обратили на него глаза и ахнули от удивления, спокойно подошел к знатнейшей даме и звал ее танцевать с собою. Молодой герцог любил фарсы и рад был сему забавному явлению, которое доставило ему удовольствие смеяться от всего сердца; но чиновные господа и госпожи, составляющие веймарский двор, думали, что дерзостному Л. надлежало за то по крайней мере отрубить голову. — С самого своего приезда Л. объявил себя влюбленным во всех молодых хороших женщин и для каждой из них сочинял любовные песни. Молодая герцогиня печалилась тогда о кончине сестры своей: он написал ей на сей случай прекрасные стихи; но не преминул в них уподобить себя Иксиону, дерзнувшему влюбиться в Юпитерову супругу. — Однажды он встретился с герцогинею за городом и, вместо того чтобы поклониться ей, упал на колени, поднял вверх руки и таким образом дал ей мимо себя проехать. На другой день Л. всем знакомым разослал по бумажке, на которой нарисована была герцогиня и он сам, стоявший на коленях с поднятыми вверх руками. — Но ни поэзия, ни любовь не могли занять его совершенно. Он мог еще думать о реформе, которую, по его мнению, надлежало сделать в войске его светлости; и для того подавал герцогу разные планы, писанные на больших листах. — За всем тем его терпели в Веймаре, а дамы находили приятным. Но Гете наконец с ним поссорился и принудил его выехать из Веймара. Одна дама взяла его с собою в деревню, где несколько дней читал он ей Шекспира и потом отправился странствовать по белому свету.

Эрфурт, 22 июля.

В два часа приехал я сюда из Веймара, остановился в трактире (которого имени, право, не знаю); выпил чашку кофе, пошел на так называемую Петрову гору в Бенедиктинский монастырь и просил там первого встретившегося мне отца указать то место, где погребен граф Глейхен. Толстый отец (NB. монастырь очень богат) охриплым голосом сказал мне, чтобы я шел к отцу церковнику. Мне надлежало идти через длинные сени или коридор, где в печальном сумраке представились глазам моим распятия и лампы угасающие. Вожатый оставил меня в коридоре и пошел искать отца церковника. Трудно описать, что чувствовал я,

прохаживаясь один в глубокой тишине по сему темному коридору и смотря на лампы и на старые картины, на которых изображены были разные страшные сцены. Мне казалось, что я пришел в мрачное жилище Фанатизма. Воображение мое представило мне сие чудовище во всей его гнусности, с поднявшимися от ярости волосами, с клубящеюся у рта пеною, с пламенными, бешеными глазами и с кинжалом в руке, прямо на сердце мое устремленным. Я затрепетал, и холодный ужас разлился по моим жилам. Из глубины прошедших веков загремели в мой слух адские заклинания; но, к счастью, в самую сию минуту пришел мой вожатый, и фантомы моего воображения исчезли.

— Отец церковник, — сказал он, — вместе с другими отцами сидит за вечернею трапезою.

— Да не можешь ли ты сам показать мне гроб Глейхена? — спросил я.

— Могу, — отвечал он, — если вы только его хотите видеть.

Вошедши в церковь, поднял он две широкие скованные доски, и я увидел большой камень. — Выслушайте историю.

Когда святая ревность выгнать неверных из земли обетованной заразила всю Европу и благочестивые рыцари, крестом ознаменованные, устремились к востоку: тогда и Глейхен, имперский граф, оставил свое отечество и с верною дружиною направил путь свой к странам азиатским. Не буду описывать вам великих дел его мужества. Скажу только, что самые храбрейшие рыцари христианства удивлялись его подвигам. Но небесам угодно было искусить несчастием веру героя — граф Глейхен попался в плен к неверным и стал невольником знатного магометанца, который велел ему смотреть за своим садом. Граф, несчастный граф поливал цветы и стонал в тяжком рабстве. Но тщетны были бы все его стенания и все обеты, если бы прекрасная сарацинка, милая дочь господина его, не обратила взоров нежной любви на злосчастного героя. Часто в густых тенях вечера внимала она жалобным песням его; часто видела невольника молящегося со слезами и сама слезы проливала. Робкая стыдливость долгое время не допускала ее изъясниться и сказать ему, что она берет участие в его печали. Наконец искра воспылала — стыдливость исчезла — любовь не могла уже таиться в сердце и огненною рекою излилась из уст ее в душу изумленного графа. Ангельская невинность ее, цветущая красота и способ разорвать цепь неволи не дали ему вспомнить, что у него была супруга. Он клялся сарацинке вечно любить ее, если она согласится оставить своего отца, отечество и бежать с ним в страны христианские. Но она уже не помнила ни отца, ни отчества — граф был для нее все. Прекрасная летит, приносит ключ, отпирает дверь в поле — летит с своим возлюбленным, и тихая ночь, одев их мрачным своим покровом, благоприветствует их побегу. Счастливы достигают они до отчества графского. Под-

данные лобызают своего государя и отца, которого считали они погибшим, и с любопытством смотрят на его статную сопутницу, покрытую флером. При входе во дворец графиня бросается в его объятия.

— Ты опять меня видишь, любезная супруга! — говорит граф: — благодари ее (указывая на свою избавительницу) — она все для меня оставила. Ах! я клялся любить ее!

Граф хочет рукою закрыть текущие слезы свои. Сарацинка открывает свое лицо, бросается на колени перед графинею и, рыдая, говорит:

— Я теперь раба твоя!

— Ты сестра моя, — отвечает графиня, подымая и целуя сарацинку: — супруг мой будет твоим супругом; разделим сердце его.

Граф удивляется великодушию супруги — прижимает ее к своему сердцу — все обнимаются и клянутся любить друг друга до гроба. Небеса благословили сей тройственный союз, и сам папа подтвердил его. Мир и счастье обитали в графском доме, и верные супруги были погребены вместе — в Эрфурте, в церкви Бенедиктинского монастыря — и покрыты одним большим камнем, на котором рука усердного художника вырезала их изображения. Я видел сей большой камень и благословил память супругов.

Взглянув с Петровой горы на город и окрестности, пошел я в сиротский дом и видел там келью, в которой Мартин Лютер жил от 1505 до 1512 года. На стенах сей маленькой темной горницы написана его история. На столике лежит немецкая библия первого издания, которую употреблял сам Лютер и в которой все белые страницы исписаны его рукою. Можно ли, думал я, чтобы простой монах, живший во мраке этой кельи, сделал не только великую реформу в римской церкви, вопреки императору и папе, но и великую нравственную революцию в свете! — Вышедши из кельи, увидел я в коридоре множество странных картин. На одной изображен император, к которому смерть в виде скелета подходит и докладывает с низким поклоном, что ему пора сложить с себя земное величие и отправиться на тот свет. На другой представлена актриса, а позади ее смерть в царском одеянии, поднимающая кинжал с маскою. На третьей изображены содержатель типографии в штофном халате и в большом парике, помощник его и смерть, хотящая подкосить ноги первого; а внизу подписано, что и содержатели типографии умереть должны! и проч. и проч.

Гота, 23 июля, в полночь.

Я приехал сюда в одиннадцать часов утра и остановился в трактире «Жолокольчика». Сильная головная боль заставила меня пролежать весь день. Вечеру я встал, ходил по городу и видел

перед дворцом иллюминацию и фейерверк, которым готский герцог веселил маленького веймарского принца, приехавшего к нему в гости.

Франкфурт-на-Майне, июля 28.

Вчера, милые друзья мои, приехал я во Франкфурт. Дорога от Готы была для меня очень скучна. Почти на каждой станции надлежало мне ночевать (я ехал на ординарной почте) или по крайней мере стоять по нескольку часов. Дороги везде прескверные, так что надобно ехать все шагом, и даже самые улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с трудом проехать можно. Правда, я сидел в коляске очень просторно, то есть почти все один; но чрезмерно тихая езда и остановки были для меня несносны. К тому же почти ничего любопытного не встречалось глазам моим, и я сомневаюсь, чтобы сам Йорик нашел тут много занимательного для своего сердца.

Только дикие окрестности Эйзенаха произвели во мне некоторые приятные чувства, напомнив мне первобытную дикость всей Натуры. Еще заметил я замок Вартбург, который лежит на горе недалеко от Эйзенаха и в котором после Вормского сейма содержан был Мартин Лютер. Тут возвышаются два камня, в которых изображение находило нечто похожее на человеческие фигуры и о которых, по старому преданию, рассказывается следующая сказка.

Молодой монах влюбился в молодую монахиню. Тщетно сражался он с своею любовию; напрасно хотел умерщвлять плоть свою постом и трудами! Кровь его кипела и волновалась. Образ нежной монахини всегда присутствовал в душе его. Он хотел молиться; но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: *люблю! люблю! люблю!* Часто ходил он в тот монастырь, где заключена была прекрасная; часто, смотря на нее, лил пламенные слезы и видел огненный румянец на лице своей возлюбленной — видел симпатические слезы в глазах ее. Сердца их разумели друг друга, страшились своих чувств и — питали их. Наконец молодой монах трепещуще рукою вручил своей любезной следующее письмо: «Милая сестра! недалеко от монастырских ворот в правую сторону возвышается крутая гора. Я буду там при наступлении ночи. Или ты, прекрасная, будешь там же, или я свергнусь с высокого утеса и умру временною и вечною смертию». Сердце ее затрепетало. «Мне видеть его, — думает она, — мне видеть его за стеною монастырскою и быть с ним одною в тишине ночи? Но я должна спасти его от страшного греха самоубийства». — Она находит способ выйти ночью из монастыря — идет во мрак и страшится всякого шороха — всходит на гору и вдруг чувствует себя в объятиях своего страстного обожателя. Они забывают все, трепещут в восторге, — но вдруг кровь их хладеет, немеют члены,

сердца перестают биться, и небесный гнев превращает их в два камня.

— Вы видите их, — сказал постиллион, указывая на верх горы.

Из сей народной сказки сочинил Виланд прекрасную поэму под титулом: «Der Mönch und die Nonne».¹

Проезжая через маленькое местечко близ Гиршфельда, постиллион мой остановился у дверей одного дома. Я счел этот дом трактиром, вошел в него и первому человеку, который встретил меня с низким поклоном, велел принести бутылку воды и рейнвейна; сел на стул и не думал снимать своей шляпы. В комнате было еще человека три, которые с великою учтивостию начинали говорить со мною. Принесли рейнвейн. Я пил, хвалил вино и наконец спросил, что надобно заплатить за него?

— Ничего, — отвечали мне с поклоном: — вы не в трактире, а в гостях у честного мещанина, который очень рад тому, что вам полюбился его рейнвейн.

Вообразите мое удивление! Я схватил с себя шляпу и стал извиняться.

— Ничего! — сказал хозяин: — только прошу вас быть благодарным к моей дочери, которая поедет с вами в коляске.

— Буду почтителен и все, что вам угодно, — отвечал я.

Пришла дочь его, девушка лет в двадцать, изрядная собою, в зеленом суконном сертуке и в черной шляпе. Мы рекомендовались друг другу и сели в коляске рядом. Каролина (так называлась девушка) сказала мне, что она едет в деревню к своей тетке. Я не хотел беспокоить ее никакими дальнейшими вопросами, вынул из кармана своего «*Visar of Wakefield*» и начал читать. Сопутница моя стала зевать, жмуриться, дремать, и наконец голова ее упала ко мне на плечо. Я не смел тронуться, чтобы не разбудить ее; но вдруг нас так потряхнуло, что она отлетела от меня в другой угол коляски. Я предложил ей большую свою подушку. Она взяла ее, положила себе под голову и опять заснула. Между тем смерклося, и наступила ночь. Каролина спала крепким сном и не просыпалась до самого того места, где надлежало нам с нею расстаться. Что принадлежит до меня, то я вел себя так честно, как целомудренный рыцарь, боящийся одним нескромным взором оскорбить стыдливость вверенной ему невинности. Редки такие примеры в нынешнем свете, друзья мои, редки! Каролина по своей невинности не думала благодарить меня за мою воздержность и простилась со мною очень сухо. Бог с нею!

Нигде во всю дорогу не было мне так грустно, как в Гиршфельде. Я приехал туда в пять часов вечера и должен был пробыть там до полуночи. Город не представлял мне ничего любопытного, и я не знал, что делать. Читать не мог — писать также, хотя почт-

¹ «Монах и монахиня» (ред.).

мейстерша по моему требованию и принесла мне целую тетрадь бумаги. Сидя подгорюнившись, думал я о друзьях отдаленных, чувствовал сиротство свое и грустил.

Сюда приехал я ночью в дождь и остановился в трактире «Звезды», где отвели мне хорошую комнату.

Франкфурт, 29 июля.

Ненастье продолжается. Сажу в своей горнице под растворенным окном; и хотя косой дождь мочит меня и разливает дрожь по моей внутренности, однакож каменная русская грудь не боится простуды и питомец железного севера смеется над слабым усилением майнских бурь.

Но такой ли погоды ожидал я в здешнем кротком климате? Более и более удаляясь от севера, радовался я мыслию, что остаюсь за собою холод и сырость, все сердитое, жестокое и угрюмое в Натуре. Там, где течет Майн и Рейн, думал я, там небо чисто, дни красны и одни зефиры струят воздух; там цветущая Природа ликует в ярком свете лучей солнечных. Но — приезжаю и нахожу пасмурную осень среди лета. Только я намерен переупрямить погоду; и клянусь титанами и страшным Стиксом, что не выеду из Франкфурта, не дождавшись ясных дней.

Вчера был я только у Виллемера, богатого здешнего банкира. Мы говорили с ним о новых парижских происшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А. (который уехал отсюда недели за две перед сим) видеть в Париже такие сцены?

Не воображайте, чтобы мне скучно было сидеть в своей горнице. Публичная библиотека в трех шагах от трактира. Вчера я брал из нее «Фиеско», Шиллерову трагедию, и читал ее с великим удовольствием от первой страницы до последней. Едва ли не всего более тронул меня монолог Фиеска, когда он, уединясь в тихий час утра, размышляет, лучше ли ему остаться простым гражданином и за услуги, оказанные им отечеству, не требовать никакой награды, кроме любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами и присвоить себе верховную власть в республике. Я готов был упасть перед ним на колени и воскликнуть: *избери первое!* Какая сила в чувствах! Какая живопись в языке! Вообще «Фиеско» тронул меня более, нежели «Дон-Карлос», хотя сего последнего видел я на театре и хотя критика отдаст ему преимущество. — Ныне читал я также с великим удовольствием Ифландовы драмы, которые можно назвать прекрасными семейственными картинами и которые, верно, полюбились бы нашей публике, если бы искусный человек обработал их для русского театра.

В одном трактире со мною живет молодой доктор медицины, который вчера пришел ко мне пить чай и просидел у меня весь вечер. По его мнению, все зло в мире происходит от того, что люди не берегут своего желудка.

— Испорченный желудок, — сказал он, — бывает источником не только всех болезней, но и всех пороков, всех дурных навыков, всех злых дел. Отчего моралисты так мало исправляют людей? Оттого, что они считают их здоровыми и говорят с ними как со здоровыми, тогда как они больны — и когда бы, вместо всех словесных убеждений, надлежало им дать несколько приемов очистительного. Беспорядок душевный бывает всегда следствием телесного беспорядка. Когда в машине нашей находится все в совершенном равновесии; когда все сосуды действуют и отделяют исправно разные жидкости; одним словом, когда всякая часть отправляет ту должность, которую поручила ей Natura: тогда и душа бывает здорова; тогда человек рассуждает и действует хорошо; тогда бывает он мудр, и добродетелен, и весел, и счастлив.

— Итак, если бы у Калигулы не был испорчен желудок, то он не вздумал бы построить моста на Средиземном море? — спросил я.

— Без сомнения, — отвечал мой доктор: — и если бы лекарь его догадался дать ему несколько очистительных пилюль, то смешное предприятие было бы через час оставлено. Отчего в златом веке были люди и добры и счастливы? Конечно оттого, что они, питаясь только растениями и молоком, никогда не обременяли и не засоряли своего желудка. Наконец скажу вам, что если бы я был государем, то велел бы всех преступников вместо наказания отсылать в больницы и лечить до того, пока они сделались бы добрыми людьми и полезными гражданами. Со временем предложу публике свои мнения и доказательства, которые, может быть, сделают революцию в философии. Тогда вспомните, государь мой, что вы от меня слышали.

Я удивлялся логике господина доктора.

Июль 30.

Наконец франкфуртское небо перестало хмурить брови и прояснилось. Пользуясь хорошим временем, ходил я так много, что теперь чувствую боль в ногах.

Трактирщик мой водил меня по здешним садам. В одном из них встретились мы с хозяином, почтенным стариком и, как сказывают, очень богатым человеком. Узнав от моего вожатого, что я путешествующий иностранец, он взял меня за руку и сказал:

— Я сам покажу вам все то, что можно назвать изрядным в моем саду. Какова эта темная аллея?

— В жаркое время тут хорошо прохладиться, — отвечал я.

— А эта маленькая беседка под ветвями каштановых деревьев?

— Тут прекрасно сидеть ввечеру, когда луна покажется на небе и свет свой прольет сквозь развесистые ветви на эту бархатную зелень.

— А этот холмик?

— Ах! как бы я желал встретить тут восходящее солнце!

— А этот маленький лесок?

— Тут верно поют весною соловьи так спокойно и весело, как в самых диких местах Природы, нимало не подозревая, чтобы сюда заманивало их искусство.

— Что вы скажете об этом домике?

— Он построен на то, чтобы быть жилищем философа, любящего простоту, уединение и тишину.

— Теперь вам надобно согласиться выпить у меня чашку кофе.

Мы вошли в домик и сели на деревянных стульях вокруг маленького столика. Нам подали кофе. Я с судовольствием поблагодарил хозяина за его гостеприимство.

В ненастное время казалось мне, что Франкфурт пуст; а теперь кажется, что он очень многолюден, — оттого, что в дурную погоду сидели все дома, кроме тех, которым уже по крайней нужде надлежало корчиться под дождем и топтать ногами грязь на улицах; а теперь, обрадовавшись солнцу, все, как муравьи, ползут из своих нор.

По своей цветущей и обширной коммерции Франкфурт есть один из богатейших городов в Германии. Кроме некоторых дворянских фамилий, здесь поселившихся, всякий житель купец, то есть производит какой-нибудь торг. На всякой улице множество лавок, наполненных товарами. Везде знаки трудолюбия, *промышленности*,¹ изобилия. Ни один нищий не подходил ко мне на улице просить милостыни.

Только нельзя назвать Франкфурта хорошо выстроенным городом. Дома почти все старинные и расписаны разными красками, — что для глаз весьма странно.

Еще скажу то, что здесь в трактирах стол очень дешев. Мне приносят всегда пять хорошо приготовленных блюд и еще десерт на двух или трех тарелках, и за это плачу не более 50 коп. Вино также очень дешево. Бутылка молодого рейнвейна стоит 10 коп., а старого 40.

После обеда, когда солнце укротило жар лучей своих, вышел я за город. Сады, сельские домики, луга и винограды представились глазам моим. Сколько ландшафтов, достойных кисти Салватора Розы или Пуссеновой!

Уединенный домик с садиком недалеко от большой дороги прельстил меня, и я пошел к нему по узенькой тропинке. Два мальчика, игравшие на траве, бросились ко мне навстречу; но закричав: «Это не он! это не Каспар!» — побежали назад и скрылись в домик. Старое каштановое дерево призывало меня в свою тень — я сел под его ветвями. Минут через пять мальчики опять выбежали, а за ними вышла женщина лет в тридцать, приятная

¹ Это слово сделалось ныне обыкновенным: автор употребил его первый.

лицом, в белой кофточке и в соломенной шляпке. Она села на крыльце и смотрела с улыбкою на играющих мальчиков, с такою улыбкою, по которой легко было узнать, что она мать их. Они уговорились бегать взапуски; взявшись за руки, отошли от крыльца шагов тридцать, остановились, выставили вперед грудь и правую ногу и дожидались, чтобы мать подала им знак. Она махнула им платком, и они пустились, как из лука стрела. Большой опередил меньшего, прибежал к матери и, закричав: «Я первый!» — бросился целовать ее. Меньшой прибежал и также кинулся к ней на шею. Любезная картина семейственного счастья! Может быть, в городе она бы меньше меня тронула; но среди сельских красот сердце наше живет чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастья, влияющего благодетельным существом в сосуд жизни человеческой. — Прости, уединенный домик! Мир, тишина и покой да будут всегда наследственным добром твоих обитателей! А ты, ветвистое дерево! долго, долго еще принимай странников в тень свою, — и под кровом шумящих листьев твоих да веселятся они веселием невинности и добродетели!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Майнц, 2 августа.

Ныне в шесть часов вечера приехал я в Майнц в *дилижансе*, или в почтовой карете, в которой поеду до самого Стразбурга.

Какая гладкая дорога от Франкфурта до Майнца! Какие приятные виды! Какие прекрасные места! Приближаясь к Майнцу, увидел я на левой стороне величественный Рейн и тихий Майн, текущие почти рядом; а на правой виноградные сады, которых нельзя обнять глазами. Любезные друзья! как радостно билось мое сердце! Рейн, Рейн! наконец вижу тебя (думал я) — вижу и благословляю царя вод германских в гордом его течении!

Майнц лежит на западном берегу Рейна, где впадает в него Майн. В городе улицы узки, хороших домов мало, церквей, монастырей и монахов великое множество.

— Угодно ли вам видеть кишки св. Бонифация, которые хранятся в церкви св. Иоанна? — спросил у меня с важным видом наемный слуга.

— Нет, друг мой! — отвечал я: — хотя св. Бонифаций был добрый человек и обратил в христианство баварцев, однакож кишки его не имеют для меня никакой прелести. Поведи меня лучше за город.

Мы вышли с ним за городские ворота. Я сел на берегу Рейна и видел в его водах вечерний луч солнца и картину зеленых берегов.

Возвратясь в трактир, ужинал я за общим столом с путешественниками разных земель. Все пили рейнвейн как воду. Я потребовал у трактирщика бутылку гохгеймского вина, и притом самого старого, какое только есть у него в погребе. Надобно знать, что гохгеймское считается самым лучшим из всех рейнских вин.

— Вы, конечно, поблагодарите меня за этот нектар, — сказал мне услужливый трактирщик, ставя передо мною бутылку: — я получил его в наследство от моего отца, которого уже тридцать лет нет на свете.

В самом деле вино было очень хорошо и равно приятно для вкуса и обоняния. Мысль, что пью рейнвейн на берегу Рейна, веселила меня, как ребенка. Я наливал, пенил, любовался светлостью вина, потчевал сидевших подле меня и был доволен, как царь. Скоро бутылка опорожнилась. Трактирщик уверял меня, что у него есть еще прекрасное костгеймское вино, полученное им также в наследство от отца его, которого уже тридцать лет нет на свете.

— Верю, что оно делает честь памяти покойника, — сказал я, встал и пошел в свою комнату.

Мангейм, 3 августа.

Ныне рано поутру выехал я из Майнца в большой почтовой карете с пятью товарищами и по западному берегу Рейна, через Оппенгейм и Вормс, приехал в Мангейм в семь часов вечера.

Сию верхнюю часть Германии можно назвать земным раем. Дорога гладка, как стол, — везде прекрасные деревни — везде богатые виноградные сады — везде плодами обремененные деревья — груши, яблоки и грецкие орехи растут на дороге (зрелище, в восторг приводящее северного жителя, привыкшего видеть печальные сосны и потом орошаемые сады, где Аргусы с дубинами стоят на карауле!). И между сими-то щедрыми долинами мчится почтенный винородный Рейн, неся на волнистом хребте благословенные плоды своих берегов, плоды, веселящие сердце людей в странах отдаленных и не столь благодетельствованных Природою!

Но где бедствие не посещает от жен рожденных? Где небо грозными тучами не покрывается? Где слезы горести не лиются? Здесь лиются они, и я видел их — видел тоску поселян несчастных. Рейн и Неккер, наполнившись от дождей, яростно разлили воды свои и затопили сады, поля и самые деревни. Здесь неслась часть дамика, где обитали перед тем покой и довольствие, — тут бурная волна мчала запасы осторожного, но тщетно осторожного поселянина, — там плыла бедная блеющая овца. Мы должны были ехать по воде, которая в иных местах вливалась к нам в карету. Но самое сие наводнение возвышало великолепие вида, открывшегося нам

при въезде в длинную аллею, вёрсты за три до Мангейма, — аллею, которая, будучи облита водою, казалась мостом.

В Оппенгейме, курфальцском городе, мы завтракали и пили славное ниренштейнское вино, которое, однакож, показалось мне не так хорошо, как гохгеймское. — Против Оппенгейма, на другой стороне Рейна, стоит высокая пирамида, а на ней лев, держащий в правой лапе большой меч. Шведский король Густав Адольф поставил сей памятник в 1631 году, перешедши с своею армиею через Рейн, разбив гишпанцев и взяв Оппенгейм.

В Вормсе достойна примечания старинная ратуша, в которой император Карл V со всеми имперскими князьями судил Лютера в 1521 году. И ныне еще показывают там лавку, на которой лопнул стакан с ядом, для него приготовленным. Путешественники отрезают по кусочку от того места, где будто бы стояла сия отравка, и почти насквозь продолбили доску.

Мангейм есть прекрасный город. Улицы совершенно регулярны и перерезывают одна другую прямыми углами: что для глаз — по крайней мере при первом взоре — очень приятно. Ворота Рейнские, Неккерские и Гейдельбергские украшены барельефами, хорошо выработанными. В разных местах города есть площади, окруженные большими домами. Дворец курфюрста построен на том месте, где Неккер сливается с Рейном. Если бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель: так полюбился мне Мангейм!

Мангейм, августа 4.

В Академии скульптуры видел я собрание статуй и между ими самые вернейшие копии славных бельведерских антиков. Надобно удивляться древнему искусству, которое умело влагать душу в мрамор, и прекрасную душу. М. с восхищением говорил нам о Лаокооне: я видел эту группу, один из прекраснейших памятников греческого художества и, по мнению некоторых, произведение Фидиасова резца. Утверждают, что она подала Virgилию мысль к описанию несчастного Лаокоонова конца.¹ Смотря на нее, прочитал я несколько раз сие место в бессмертной «Энеиде», которая была у меня в руках:

«Другое, ужаснейшее происшествие вселяет трепет в сердца наши. Лаокоон, избранный по жребию в жрецы Нептуновы, торжественно принесил в жертву тучного быка — и вдру на поверхность тихих вод, от страны Тенедоса, являются... (страшное воспоминание!)... являются два ужасные змия и рядом плывут к берегу; кровавая глава и грудь их гордо возвышается над волнами;

¹ Лаокоон, брат Анхизов, не хотел допустить, чтобы трояне приняли в город *деревянную лошадь*, в которой скрывались греческие воины; боги, определившие погибель Трои, наказали его за сие сопротивление.

неизмеримый хребет их извивается в кругах бесчисленных; плывут, с шумом рассекают пенистую влагу и достигают берега. Пламя и кровь в очах их. Страшно шипят они, страшно зияют — и народ в ужасе спасается бегством. — Сии чудовища спешат к Лаокоону; бросаются сперва на двух юных сынов его и терзают несчастных. Лаокоон стремится с копием на помощь к ним: отец злополучный! Змии обвиваются вокруг его тела, вокруг шеи и шипят над его головою. Тщетно хочет он освободиться от чудовищ ужасных; руки старца бессильны. Покрытый их нечистым гноем, их ядом смертоносным, Лаокоон стонает — и вопль его до звезд возносится».

С какой живостию изображена физическая боль в лице терзаемого старца! Как сильно изображена в нем и горечь несчастного родителя, который видит погибель детей своих и не может спасти их! — Фидиас был поэт.

Стразбург, августа 6.

Через обширные зеленые равнины — где роскошная Природа в садах и в полях изливает весь тук своего плодородия и в пенящейся чаше подает смертному нектар вдохновения и сладкой радости — приехал я из Мангейма в Стразбург вчера в 7 часов вечера.

Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения. Все прочие животные, будучи привязаны к некоторым климатам, не могут выйти из пределов, начертанных им Natureю, и умирают, где родятся; но человек силою могущественной воли своей шагает из климата в климат — ищет везде наслаждений и находит их — везде бывает любимым гостем Природы, повсюду отверзающей для него новые источники удовольствия, — везде радуется бытием своим и благословляет свое человечество.

А мудрая связь общественности, по которой нахожу я во всякой земле всевозможные удобства жизни, как будто бы нарочно для меня придуманные; по которой жители всех стран предлагают мне плоды своих трудов, своей промышленности и призывают меня участвовать в своих забавах, в своих весельях...

Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, гипохондрик, чтобы исцелиться от своей гипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!

На границе наш постиллион остановился.

— Vous êtes déjà en France, messieurs, — сказал нам худо одетый человек, подошедши к нашей карете, — et je vous en félicite. ¹

¹ Вы уже во Франции, господа, и я вас поздравляю с этим (ред.).

Это был осмотрщик, который за свое поздравление хотел взять с нас по несколько французских копеек.

Везде в Эльзасе заметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы, бабы говорят о революции.

А в Стразбурге начинается новый бунт. Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и пр. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата и принудила его пить пиво из одной кружки с его кучером за здоровье нации. Прелат бледнел от страха и трепещущим голосом повторял:

— Mes amis, mes amis!

— Oui, nous sommes vos amis! ¹ — кричали солдаты: — *ней же с нами!*

Крик на улицах продолжается почти непрерывно. Но жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окном и смеются, смотря на неистовых. — Я был ныне в театре и, кроме веселости, ничего не заметил в зрителях. Молодые офицеры перебегали из ложи в ложу и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить шум пьяных бунтовщиков, который раза три приводил в замешательство актеров на сцене.

Между тем в самых окрестностях Стразбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя графом д'Артуа и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что король дает народу полную свободу до 15 августа и что до сего времени всякий может делать, что хочет. Сей слух заставил здешнего начальника обнародовать, что *одна адская злоба, достойная неслыханного наказания*, могла распустить такой слух.

Здешняя кафедральная церковь есть величественное готическое здание, и башня ее почитается за самую высочайшую пирамиду в Европе. Вошедши во внутренность сего огромного храма, в котором никогда ясного света не бывает, нельзя не почувствовать благоговения; но кто хочет питать в себе это священное чувство, тот не смотри на барельефы карнизов и колонн, где вы увидите престранные и смешные аллегорические фигуры. Например ослы, обезьяны и другие звери изображены в монашеской одежде разных орденов; иные с важностию идут в процессии, другие прыгают и пр. На одном барельефе представлен монах с монахиней в самом непристойном положении. — Богатые одежды священников и украшение алтарей показывают за диковинку. Одно серебряное распятие, подаренное церкви Людовиком XIV, стоит 60 000 талеров. — По круглой лестнице, состоящей из 725 ступеней, всхо-

¹ Мои друзья, мои друзья! — Да, мы ваши друзья! (Ред.)

дил я почти на самый верх башни, откуда без некоторого ужаса не мог смотреть вниз. Люди на улицах представлялись ползающими насекомыми, и целый город, казалось, можно было в минуту измерить аршином. Деревни вокруг Стразбурга едва были приметны; миль за десять и более синелись горы. Говорят, что в самую ясную погоду можно видеть и снежные верхи Альпийских гор; но я не видал их, сколько ни напрягал свое зрение. Часы сей башни по разному-образным своим движениям считались некогда чудом механики; но вероятно, что нынешние гордые художники не так думают. — Между колоколами, из которых самый большой весом в 204 центнера, показывали мне так называемый *серебряный* весом в 48 центнеров и сказывали, что в него благовестят только в Иванов день. Там же хранится большой охотничий рог, которым лет за 400 перед сим здешние жида хотели подать сигнал неприятелю для взятия Стразбурга. Заговор открылся; многие из жидов были сожжены, многие разорены, а другие выгнаны из города. В память счастливо разрушенного заговора трубят в этот рог всякую ночь два раза. — На стенах колокольни путешественники пишут свои имена, или стихи, или что кому вздумается. Я нашел и русские следующие надписи: *Мы здесь были и устали до смерти. — Высоко! — Здравствуй, брат земляк! — Какой же вид!*

В лютеранской церкви св. Томаса видел я мраморный монумент маршала, графа Саксонского, славное произведение резца Пигалева. Маршал с жезлом своим сходит по ступеням в могилу и с презрением смотрит на смерть, которая открывает гроб. На правой стороне два льва и орел в ужасе и смятении изображают соединенные армии, побежденные графом во Фландрии. На левой стороне представлена Франция в образе прекрасной женщины, которая, со всеми знаками живой горести, хочет одною рукою удержать его, а другою отталкивает смерть. Печальный гений жизни обращает к земле свой факел; и на сей же стороне развеваются победоносные знамена Франции. — Художник хотел, чтобы удивлялись его искусству: по мнению знатоков, он достиг своей цели. Я, не будучи знатоком, смотрел на фигуры — на ту, на другую, на третью — и был в своем сердце так холоден, как мрамор, из которого они сделаны. Смерть в образе скелета, одетого мантиею, была мне противна. Древние не так изображали ее, — и горе новым художникам, пугающим нас такими представлениями! На лице героя желал бы я видеть другое выражение. Мне хотелось бы, чтобы он имел более внимания к горестной Франции, нежели к гнусному скелету. Коротко сказать, Пигаль, по моему чувству, есть искусный художник, но худой поэт. — Под сим монументом в темном своде поставлен гроб, в котором лежит бальзамированное тело маршала; сердце заключено в сосуде, стоящем на гробе, а внутренность погребена в земле. Людовик XV по своей чувствительности или по чему иному не хотел исполнить послед-

него желания умирающего маршала, которое состояло в том, чтобы тело его было сожжено. «Qu'il ne reste rien de moi dans le monde, — сказал он, — que ma mémoire parmi mes amis!»¹

Здешний университет так же почти славен, как Лейпцигский и Геттингенский. Многие немцы и англичане приезжают сюда учиться. Только из стразбургских профессоров очень немногие известны в ученом свете как авторы. Их называют ленивыми в сравнении с другими. Может быть, они богаче других; а в Германии бедность делает многих авторами.

Наконец о городе скажу вам, что он многолюден; но что улицы тесны и нельзя похвалить архитектуры домов.

Головной убор женщины здесь весьма странен. Крепко счесанные и насаленные волосы связываются (то есть передние с задними) на середине головы; а наверху пришивается маленькая корона. Ничего не может быть безобразнее такого убора.

Что принадлежит до здешнего немецкого языка, то он очень испорчен. В лучших обществах говорят всегда по-французски.

Я надеялся здесь найти письмо от А., но не нашел. Когда-то от вас, мои любезные, получу письма! Живы ли вы? Здоровы ли вы? Что с вами делается? Спрашиваю, и никакой гений не шепчет мне на ухо ответа. Путешествовать приятно, но расставаться с друзьями больно...

П. П. Мне сказывали, что Лафатер за несколько дней перед сим был в Базеле для свидания с Неккером. Я познакомился здесь с одним магистром, очень любезным человеком, который водил меня в университет, в анатомический театр, в медицинский сад и который ныне за обедом и за ужином пил здоровье отечественных друзей моих. За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? «Положить руку на ефес, — говорили одни, — и быть в готовности защищать правую сторону». — «Взять абшид», — говорили другие. «Пить вино и над всем смеяться», — сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку.

Базель.

— Берегитесь, государи мои! — сказал нам в Стразбурге один офицер, когда я с другими путешественниками садился в дилижанс: — дорога не совсем безопасна; в Эльзасе много разбойников.

Мы посмотрели друг на друга.

— У кого немного денег, тот не боится разбойников, — сказал молодой женевец, который приехал со мною из Франкфурта.

¹ Пусть ничего не останется от меня в этом мире, кроме памяти (обо мне) среди моих друзей! (Ред.)

— У меня есть кортик и собака, — сказал молодой человек в красном камзоле, севший подле меня.

— Чего бояться! — сказали все мы; поехали, и приехали в Базель благополучно.

Эльзас есть прекрасная земля. Города и деревни, через которые мы проезжали, все хорошо выстроены. На той и на другой стороне дороги плодородные поля. Лотарингские горы с развалинами рыцарских и разбойничьих замков представляют для глаз нечто романическое и придают разнообразие виду обширных равнин, утомительных для зрения. Сии горы более и более удаляются и темнеют, так что наконец не можно видеть на них ничего, кроме мрака. С другой стороны, за Рейном, возвышаются черные хребты Шварцвальдских гор и в неизмеримом расстоянии ограничивают горизонт. Близ дороги изредка попадаются в глаза дерева и маленькие рощицы.

Французская почта гораздо скорее немецкой. Постиллион (в синем камзоле с красным воротником и в таких сапогах, которые были бы впору гиганту в водяной болезни) беспрестанно машет хлыстом и понуждает коней своих бежать рысью. На шести, девяти и двенадцати верстах переменяют лошадей, и на каждой станции надобно платить прогоны вперед, нашими деньгами копеек по двадцати за милю (lieue). Из Стразбурга выехали мы в шесть часов поутру, а в восемь часов вечера были уже за три версты от Базеля, то есть переехали в день 29 французских миль, или 87 верст. Тут надлежало нам ночевать, для того что ровно в восемь часов запираются в Базеле ворота, которых уже до утра ни для кого и ни для чего не отворяют.

С молодым человеком в красном камзоле успел я коротко познакомиться. Он сын придворного копенгагенского аптекаря Беккера, учился в Германии медицине и химии (последней у славного берлинского профессора Клапрота) и прошел большую часть Германии пешком, один с своею собакою и с кортиком на бедре, пересылая через почту чемодан свой из города в город. В Стразбурге заболела у него нога и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть все примечания достойнейшее в Швейцарии, а потом отправится во Францию и в Англию. Со всею нежностью дружбы любит он свою собаку и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, мили за две не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожелав нам счастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку с своим другом. — Здесь, в Базеле, остановились мы с ним в одном трактире под вывескою «Аиста».

И так я уже в Швейцарии, в стране живописной Nature, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и сво-

боднее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве.

Базель более всех городов в Швейцарии; но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травой. Рейн разделяет Базель на две части; и хотя сия река здесь не так широка, как в Майнце, однакож по быстрейшему своему течению и по светлости воды своей показалась мне гораздо приятнее. Только здесь она совершенно пуста; не видно на ней ни одного судна, ни одной лодочки. Не знаю, для чего базельцы не пользуются выгодами судоходства, производя довольно важный торг с немцами и отправляя в Германию полотна, ленты, шелковые материи и другие произведения своих мануфактур.

В так называемом Минстере, или главной базельской церкви, видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в средних веках. Монументы Эразма и супруги императора Рудольфа I были для меня примечательнее других. Первый считался в свое время ученым и остроумнейшим человеком в Европе: в доказательство чего может служить следующий, может быть уже известный вам анекдот: Эразм, приехав в Лондон, посетил Томаса Моруса, великого государственного канцлера, и, не сказав ему своего имени, вступил с ним в разговор о политике, религии и других предметах. Морус, будучи восхищен его разумом и красноречием, вскричал наконец с своего места и воскликнул: *ты Эразм или демон!* — Из сочинений его самое известнейшее есть «Похвала дурачеству», в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее над монашеским, не щадя и самого папы. Некоторые шутки, конечно, довольно остры; но многие грубы, сухи и натянуты — и вообще книга сия довольно скучна для тех, которые уже читали остроумные сочинения Вольтеров и Виландов осьмаго-надесять века. — Минстер стоит на высоком месте, обсаженном деревьями, откуда вид очень хорош...

В карете дорогою.

Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проникает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной Натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сно-

видение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу,¹ не возмущаемую тиранскими страстями! — Так, друзья мои! я думаю, что ужас смерти бывает следствием нашего уклонения от путей Природы. Думаю, и на сей раз уверен, что он не есть врожденное чувство нашего сердца. Ах! если бы теперь, в самую сию минуту надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно Природы с полным уверением, что она зовет меня к новому счастью; что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту натуры человеческой — когда сердце мое отверзается впечатлениям красот Природы, — чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного. Высочайшая благодать не была бы высочайшею благодатию, если бы она с которой-нибудь стороны не усладила для нас всех необходимостей, — и с сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться к ним устами нашими! — Прости мне, мудрое провидение, если я когда-нибудь, как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека! Теперь, погружаясь в чувство твоей благодати, лобызаю невидимую руку твою, меня ведущую!

Мы едем подле Рейна, с ужасным шумом и волнением стремящегося между тихих лугов и садов виноградных. Тут мальчики и маленькие девочки играют, рвут цветы и бросают ими друг в друга; там покойный селянин, насвистывая веселую песню, поправляет в саду своею сошки, увитые гибким виноградным стеблем, — смотрит на проезжих и ласковым мановением желает им доброго дня. — Высокие горы у нас перед глазами; но Альпы скрываются еще в лазури отдаления. Юра изгибает за нами хребет свой, отбрасывающий синюю тень на долины. — Нет, я не могу писать; красоты, меня окружающие, отвлекают глаза мои от бумаги.

Цюрих.

С отменным удовольствием подъезжал я к Цюриху; с отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо, на веселые окрестности, на светлое, зеркальное озеро и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству, которые после с диким величием излились в его «Германе»; где Бодмер собирал черты для картин своей Ноахиды и питался духом

¹ Читатель, может быть, вспомнит о стрелах Аполлоновых, которые кротко умерщвляли смертных. Греки в мифах своих предали нам памятники нежного своего чувства. Что может быть в самом деле нежнее сего вымысла, приписывающего разрушение наше действию вечно юного Аполлона, в котором древние воображали себе совершенство красоты и стройности?

времен патриарших; где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с музами и мечтали для потомства; где Фридрих Штолберг сквозь туман двадцати девяти веков видел в духе своем древнейшего из творцов греческих, певца богов и героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного и песнями своими восхищающего греческое юношество, — видел, внимал и в верном отзыве повторял песни его на языке тевтонов;¹ где наш Л. бродил с любовною своею грустию и всякий цветочек со вздохом посвящал веймарской своей богине.

Мы приехали сюда в 10 часов утра. В трактире под вывескою «Ворона» отвели нам большую светлую комнату. Обширное Цирихское озеро разливается у нас перед глазами, и почти под самыми нашими окнами вытекает из него река Лиммата, которой шумное и быстрое стремление приятным образом отличается от тихой зыби вод его; прямо против нас за озером стоят высокие горы в утес; далее в сторону видны Швицкие, Унтервальденские и другие высочайшие и снегом покрытые горы, составляющие для меня совершенно новое зрелище; и все это могу я видеть вдруг, сидя под окном в своей комнате. — Нам принесли кушанье. После обеда пойду — нужно ли сказывать, к кому?

В 9 часов вечера. Вошедши в сени, я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой высокий бледный человек, в котором мне нетрудно было узнать — Лафатера. Он ввел меня в свой кабинет и, услышав, что я тот москвитянин, который выманил у него несколько писем, поцеловался со мною — поздравил меня с приездом в Цирих — сделал мне два или три вопроса о моем путешествии — и сказал:

— Приходите ко мне в шесть часов; теперь я еще не кончил своего дела. Или останьтесь в моем кабинете, где можете читать и рассматривать, что вам угодно. Будьте здесь как дома.

Тут он показal мне в своем шкапе несколько фолиантов с надписью: *Физиогномический кабинет* — и ушел. Я постоял, подумал, сел и начал разбирать физиогномические рисунки. Между тем признаю вам, друзья мои, что сделанный мне прием оставил во мне не совсем приятные впечатления. Ужели я надеялся, что со мною обойдутся дружелюбнее и, услышав мое имя, окажут более ласкового удивления? Но на чем же основывалась такая надежда? Друзья мои! не требуйте от меня ответа, или вы приведете меня в краску. Улыбнитесь про себя насчет ветреного, безрассудного самолюбия человеческого и предайте забвению слабость вашего друга. — Лафатер раза три приходил опять в кабинет, запрещал мне вставать со стула, брал книгу или бумагу и опять уходил назад. Наконец вошел он с веселым видом, взял меня за руку и повел — в собрание цирихских ученых, к профессору Брейтингеру, где

¹ То есть немцев. — Штолберг перевел «Илиаду».

рекомендовал меня хозяину и гостям как своего приятеля. Небольшой человек с пронизательным взором, — у которого Лафатер пожал руку сильнее, нежели у других, — обратил на себя мое внимание. Это был Пфеннингер, издатель «Христианского Магазина» и Лафатеров друг. При первом взгляде показалось мне, что он очень похож на С. И. Г., и хотя, рассматривая лицо его по частям, увидел я, что глаза у него другие, лоб другой и все, все другое; однакож первое впечатление осталось, и мне никак не можно было разуверить себя в сем сходстве. Наконец я положил, что хотя и нет между ими сходства в наружной форме частей лица, однакож оно должно быть во внутренней структуре мускулов!! Вы знаете, друзья мои, что я еще и в Москве любил заниматься рассматриванием лиц человеческих, искать сходства там, где другие его не находили, и проч. и проч., а теперь, будучи обвеян воздухом того города, который можно назвать колыбелию новой физиогномики, метопоскопии, хиромантии, подоскопии, — теперь и вы бойтесь мне на глаза показаться! — Честные швейцары курили табак и пили чай, а Лафатер рассказывал им о свидании своем с Неккером. Послушаем, что он говорит об нем.

— Если бы хотел я вообразить совершенного министра, то представил бы себе Неккера. Лицо, голос и движения не изменяют у него сердцу. Вечное спокойствие есть его стихия. Однакож он не рожден великим, так, как Невтон, Вольтер и проч. Великость его есть приобретение; он сделал из себя все возможное.

Лафатер видел его в самый тот час, как он решился повиноваться воле короля и Национального собрания и, посвятив сердечный вздох спокойному пристанищу, ожидавшему его при подошве горы Юры, ¹ возвратиться в бурный Париж. — Я был слушателем в беседе цюрихских ученых и, к великому своему сожалению, не понимал всего, что говорено было; потому что здесь говорят самым нечистым немецким языком. Через час Лафатер взял шляпу, и я пошел с ним вместе. Он проводил меня до трактира и простился со мною до завтрашнего дня.

¹ Где он теперь провождает тихие дни свои; но может ли единообразная непрерывная праздная тишина быть счастьем для того, кто привык уже к деятельной жизни государственного человека? Сия жизнь при всех своих беспокойствах имеет в себе нечто весьма приятное, и Неккер при шуме горных ветров, потрясающих уединенное жилище его, томится в унынии и, помышляя о протекших часах, посвященных им благу французов, внутренне укоряет сей народ неблагодарностию и зывает с парем Леаром, или Ляром: «Blow winds, rage, blow! I tax not you, you elements, with unkindness; I called not you my children; I never gave you kingdom! (Шумите, свирепые ветры, шумите! я не жалуюсь на свирепость вашу, раздраженные стихии! вы не дети мои; вам не отдавал я царства!) Читая сие место в новой книге его, sur l'Administration de m. Necker, par lui-même [Об управлении г. Неккера, написанной им самим. *Ред.*], едва мог я от слез удержаться. Французы! вы кричали некогда: *да здравствует нация, король и Неккер!* а теперь кто из вас думает о Неккере?

Вы, конечно, не потребуете от меня, чтобы я в самый первый день личного моего знакомства с Лафатером описал вам душу и сердце его. На сей раз могу сказать единственно то, что он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его есть нечто учительское или повелительное, происшедшее, конечно, от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог *свободно* говорить с ним, первое потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее; а второе потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к цюрихскому выговору.

Пришедши в свою комнату, почувствовал я великую грусть; и чтобы не дать ей усилиться в моем сердце, сел писать к вам, любезные, милые друзья мои! Для того чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать; чтобы узнать всю любовь нашу к друзьям, надобно с ними расстаться.

Какая приятная тихая мелодия нежно потрясает нервы моего слуха! Я слышу пение; оно несется из окон соседнего дома. Это голос юноши — и вот слова песни:

«Отечество мое! любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоя готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

«Отечество мое! ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид Природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земные блага рекою полною лиются.

«Отечество мое! любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоя готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

«Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск искусства, когда Природа здесь сияет во всей своей красе — когда мы из груди ее прием блаженство и восторг?

«Отечество мое! любовью к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоя готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном».

Голос умолк; тишина ночи царствует в городе. Простите, друзья мои!

11 августа, в 10 часов вечера.

Пришедши в 11 часов к Лафатеру, нашел я у него в кабинете жену владетельного графа Штолберга, которая читала про себя какой-то манускрипт, между тем как хозяин (NB. в пестром свесем шлафроке) писал письма. Через полчаса комната его наполнилась гостями. Всякий чужестранец, приезжающий в Цюрих, считает

за должность быть у Лафатера. Сии посещения могли бы иному наскутить; но Лафатер сказал мне, что он любит видеть новых людей и что от всякого приезжего можно чему-нибудь научиться. Он повел нас к своей жене, где пробыли мы с час — поговорили о французской революции и разошлись. После обеда я опять пришел к нему и нашел его опять занятого делом. К тому же всякую четверть часа кто-нибудь входил к нему в кабинет или требовать совета, или просить милостыни. Всякому отвечал он без сердца и давал, что мог. Между тем я познакомился с живописцем Липсом, который недавно приехал из Италии и живет у него в доме. К нам пришел еще Пфеннингер, с которого Липс начал списывать портрет и с которым мы проговорили до самого вечера; а хозяин ушел от нас в четыре часа и не возвращался.

О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и, кроме публичных зданий, например ратуши и проч., не заметил я очень хороших или огромных домов; а многие улицы или переулки не будут ни в сажень шириною.

В здешнем арсенале показывают стрелу, которою славный Вильгельм Тель сшиб яблоко с головы своего сына и застрелил императорского губернатора Гейслера, — что было знаком к общему бунту. — В публичной цюрихской библиотеке между прочими манускриптами хранятся три латинские письма от шестнадцатилетней Анны Гре к реформатору Буллингеру, писанные собственною ее рукою и наполненные чувствами сердечного благочестия. Разные места, приведенные ею в сих письмах из еврейских и греческих книг, показывают, что она знала и тот и другой язык. Такая ученость в шестнадцатилетней девице могла бы и ныне удивить нас: что же тогда? Несчастная Гре! ты была украшением своего времени и скончала цветущую жизнь столь ужасным образом! Трон был тебе погибелью.

Августа 12.

Ныне рано поутру прислал за мною Лафатер, чтобы вместе с ним и с некоторыми из друзей его идти обедать к деревенскому священнику Т. Это путешествие утомило меня до крайности. Надобно было всходить по камням на высокую и крутую гору. Некоторые из наших спутников для облегчения своего скинули с себя кафтаны и шли в одних камзолах. На вершине горы мы остановились отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами, которые наградили меня за все претерпенное мною.

— Удивительно ли, — сказал мне г. Гес, указывая рукою на светлое озеро, на горы и плодоносные долины, — удивительно ли, что швейцары так привязаны к своему отечеству? Смотрите, сколько красот здесь рассеяно!

На узкой долине между гор в семи верстах от Цюриха лежит та маленькая деревенька, которая была целию нашего путешествия.

Там принял нас добродушный священник со всеми знаками дружеской любви. Вместе с ним вышли к нам навстречу жена его и две дочери, которые всякому живописцу могли бы служить образцом красоты и которые напомнили мне Томсоновы стихи:

As in the hollow breast of Apennine,
Beneath the shelter of encircling hills,
A myrtle rises, far from human eye,
And breathes its balmy fragrance o'er the wild:
So flourish'd blooming, and unseen by all,
The sweet Lavinia...¹

Сестры прелестницы! я хотел бы счастливою чертою пера изобразить красоту вашу, которую сама Натура возлелеяла; хотел бы сравнить белорумяные щеки ваши с чистым снегом высоких гор, когда восходящее солнце сыплет на него алые розы; хотел бы уподобить улыбку вашу улыбке весенней Природы, глаза ваши звездам вечерним — но скромность ваших взоров отнимает у меня смелость хвалить вас. — Никогда еще не видывал я двух женщин столь между собою сходных, как сии две красавицы. Кажется, что грации образовали их в одно время и по одной модели. Рост одинакий, лица одинакие; у обеих черные глаза и русые волосы, по плечам распущенные; на обеих и белые платья одинакого покроя.²

— Я привел к вам русского, — сказал Лафатер, — который знаком с вашею родственницею, девицею Т.

Хозяйка меня расспрашивала, а дочери слушали, наливая чай для гостей своих. Признаюсь, я выпил лишнюю чашку и выпил бы еще десять, если бы красавицы не перестали меня потчевать. — Между тем я обратил глаза свои на большой шкаф с книгами и нашел тут почти всех лучших древних и новых стихотворцев.

— Вы, конечно, любите поэзию? — спросил я у хозяина.

— Родясь в романической земле, — отвечал он, — как не любить поэзии?

Между тем мы отдохнули и пошли гулять по саду. Со всех сторон представлялись нам дикие виды гор, полагавших тесные пределы нашему зрению. — Если мне когда-нибудь наскучит свет; если сердце мое когда-нибудь умрет всем радостям общежития; если уже не будет для него ни одного сочувствующего сердца: то я удалюсь в эту пустыню, которую сама Натура оградила высокими стенами, неприступными для пороков, — и где все, все забыть можно, все, кроме бога и Натуры. — Возвратясь в комнату,

¹ Подобно как в лоне гор Апеннинских, под кровом холмов, восходит мирт, удаленный от глаз человеческих, и бальзамическое свое благовоние изливает в пустыне: так цвела в уединении любезная Лавиния.

² Одной из них нет уже на свете! Горы швейцарские! вы не защитили ее от безвременной, жестокой смерти!

нашли мы на столе кушанье. Обед был самый изобильный; говорили, шутили, смеялись. Лафатер, сидевший рядом со мною, сказал, потрепав меня по плечу:

— Думал ли я дни за три перед этим, что буду ныне обедать с моим московским приятелем?

После обеда началась игра — однакож не карточная, друзья мои! Все сели вокруг стола; всякий взял листочек бумаги и написал вопрос, какой ему на мысль пришел. Потом бумажки смешали и роздали. Всякий должен был отвечать на тот вопрос, который ему достался, и написать новый. Таким образом продолжались вопросы и ответы, пока на листочках не осталось белого места. Тут прочли вслух все написанное. Некоторые ответы были довольно остроумны; а Лафатеровы отличались от других, как луна от звезд. Сестры прелестницы отвечали всегда просто и хорошо. Вот вам нечто для примера:

В о п р о с: *Кто есть истинный благодетель?* **О т в е т:** *Тот, кто помогает ближнему в настоящей его нужде.* Сей ответ при всей своей простоте заключает в себе разительную истину. Давай всякому то, в чем он на сей раз имеет нужду; не читай правоучений тому человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба; не бросай рубля тому, кто утопает, а вытащи его из воды. — **В о п р о с:** *Нужна ли жизнь такого-то человека для совершения такого-то дела?* **О т в е т:** *Нужна, если он жив останется; не нужна, если он умрет.* — **В о п р о с:** *Что всего лучше в том месте, где мы теперь?* **О т в е т:** *Люди.* Потом из нескольких заданных слов, между которыми не было никакой связи, надлежало всякому сочинить что-нибудь связное. Тут выходило все смешное. — Желал бы я, чтобы мы переняли у немцев сии острящие разум игры, которые могут быть столь забавны в приятельских обществах. ¹

Наконец, поблагодарив хозяина за угощение, отправились мы назад в Цюрих. Добродушный священник с двумя своими Ореадами пошел нас провожать; красавицы очень устали, и я насилу мог упротить одну из них взять мою трость. На вершине горы мы с ними расстались и возвратились в город почти ночью. Я простился с Лафатером на два дни, потому что намерен завтра вместе с приятелем моим Б. итти пешком в Шафгаузен, до которого считается отсюда пять миль.

Элизау, августа 14.

Вчера в восемь часов утра пошли мы с Б. из Цюриха. Сперва шел я довольно бодро; но скоро силы мои начали истощаться — день был самый ясный — жар беспрестанно усиливался — и

¹ Желание автора исполнилось: некоторые из наших дам полюбили играть в *вопросы и ответы*.

наконец, прошедши мили две, я от слабости упал на траву подле дороги, к великой досаде моего Б., которому хотелось как можно скорее дойти до Рейнского водопада. Из трактира вынесли нам воды и вина, которое подкрепило силы мои; и мы через час опять пустились в путь. Однакож до Шафгаузена я еще раза три останавливался отдыхать. Наконец в семь часов вечера услышали мы шум Рейна, удвоили шаги свои, пришли на край высокого берега и увидели водопад. Не думаете ли вы, что мы при сем виде закричали, изумились, пришли в восторг и проч.? Нет, друзья мои! мы стояли очень тихо и смиренно, минут с пять не говорили ни слова и боялись взглянуть друг на друга. Наконец я осмелился спросить у моего товарища, что он думает о сем явлении?

— Я думаю, — отвечал Б., — что оно слишком — слишком возвеличено путешественниками.

— Мы одно думаем, — сказал я: — река, с пеною и с шумом ниспадающая с камней, конечно стоит того, чтобы взглянуть на нее; однакож где тот громозвучный, ужасный водопад, который вселяет трепет в сердце?

Таким образом мы поговорили друг с другом и, боясь, чтобы в Шафгаузене не заперли ворот, отложили до следующего дня посмотреть на водопад вблизи. Насилу мог я дотащиться до города: так ноги мои устали! Мы пришли прямо в трактир «Венца», где обыкновенно останавливаются путешественники и где — несмотря на то, что мы были пешеходцы и с головы до ног покрыты пылью, — приняли нас очень учтиво. Сей трактир почитается одним из лучших в Швейцарии и существует более двух веков. Монтань упоминает об нем, и притом с великою похвалою, в описании своего путешествия; а Монтань был в Шафгаузене в 1584 году. — После хорошего ужина бросился я на постелю и заснул мертвым сном. На другой день поутру, то есть сегодня, был я у кандидата Миллера, автора хорошо принятой книги под титулом «*Philosophische Aufsätze*»,¹ и у богатого купца Гауппа, к которым дал мне Лафатер рекомендательные письма. Оба они приняли меня очень ласково и оба удивлялись тому, что падение Рейна не сделало во мне сильного впечатления; но услышав, что мы видели его с горы, со стороны Цириха, перестали дивиться и уверяли меня, что я, конечно, перемену свое мнение, когда посмотрю на него с другой стороны и вблизи. — О городе не могу вам сказать ничего примечания достойного, друзья мои. Не буду описывать вам и славного деревянного моста, построенного не архитектором, но плотником; моста, который дрожит под ногами одного человека и по которому без всякой опасности ездят самые тяжелые кареты и фуры.

После обеда поехали мы в наемной коляске к водопаду, до которого от города будет около двух верст. Приехав туда, сошли

¹ «Философские статьи» (ред.).

с горы и сели в лодку. Стремление воды было очень быстро. Лодка наша страшно качалась; и чем ближе подъезжали мы к другому берегу, тем яростнее мчались волны. Один порыв ветра мог бы погрузить нас в кипящей быстрине. Пристав к берегу, с великим трудом взлезли мы на высокий утес, потом опять спустились ниже и вошли в галлерею, построенную, так сказать, в самом водопаде. Теперь, друзья мои, представьте себе большую реку, которая, преодолевая в течении своем все препоны, полагаемые ей огромными камнями, мчится с ужасною яростию и наконец, достигнув до высочайшей гранитной преграды и не находя себе пути под сею твердою стеною, с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в белую кипящую пену. Тончайшие брызги разнообразных волн, с беспримерною скоростью летящие одна за другою, мириадами поднимаются вверх и составляют млечные облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревуший концерт, оглушающий душу! Здесь живописец бросает кисть свою, и поэт не находит слов для описания сего ужасно-великого явления. Разве только в страшные дни древнего потопа, когда правосудный бог превратил земные пары во влажный гроб развратного человечества, водная стихия ярилась так, как она здесь ярится. Я готов был на коленах просить прощания у Рейна в том, что вчера говорил о падении его с таким неуважением. Долее часа были мы в сей галлерее; но это время показалось мне минутою. Переезжая опять через Рейн, увидели мы бесчисленные радуги, производимые солнечными лучами в водяной пыли: что составляет прекрасное, великолепное зрелище. После сильных движений, бывших в душе моей, мне нужно было отдохнуть. Я сел на цюрихском берегу и спокойно рассматривал картину водопада с его окрестностями. Каменная стена, с которой низвергается Рейн, вышиною будет около семидесяти пяти футов. В середине сего падения возвышаются две скалы, или два огромных камня, из которых один, несмотря на усилие волн, стремящихся сокрушить его, стоит непоколебим (подобно великому мужу, скажет стихотворец, непреклонному среди бедствий и щитом душевной твердости отражающему все удары злого рока); а другой камень едва держится на своем основании, будучи разрушаем водою. На противоположном крутом берегу представлялись мне старый замок Лауфен, церковь, хижины, виноградные сады и дерева: все сие вместе составляло весьма приятный ландшафт.

Наконец, отпустив коляску назад в Шафгаузен, наняли мы лодку и поплыли вниз по Рейну. Несколько раз обращались глаза мои на водопад; он скрылся — но шум его долго еще отзывался в моем слухе. — Лодочник почел за нужное сказать нам, что в Аме-

рике есть подобный водопад. Он не умел назвать его; но мы поняли, что он говорит о Ниагаре.

Эглизау.

Шумящие волны быстро несли нашу лодку между плодоносных берегов Рейна. День склонялся к вечеру. Я был так доволен, так весел; качание лодки приводило кровь мою в такое приятное волнение; солнце так великолепно сияло на нас сквозь зеленые решетки ветвистых деревьев, которые в разных местах увенчивают высокий берег; жаркое золото лучей его так прекрасно мешалось с чистым серебром рейнской пены, уединенные хижины так гордо возвышались среди виноградных садилов, которые составляют богатство мирных семейств, живущих в простоте Натуры, — ах, друзья мои! для чего не было вас со мною?

В Эглизау, маленьком городке на половине дороги от Шафгаузена к Цириху, вышли мы на берег, заплатив лодочнику новый французский талер, или два рубли. Хотя солнце уже садится, однакож мы не намерены здесь ночевать. Выпив в трактире чашек пять кофе, я чувствую в себе такую бодрость, что готов пуститься пешком на десять миль. Товарищ мой Б., который с кортиком и с собакою прошел всю Германию, совсем не знает усталости — всегда уходит вперед, оборачивается и смеется над моею дряхлостью. До Цириха остается нам перейти еще более двух миль. Завтра воскресенье, и Лафатер поутру в семь или в восемь часов будет говорить проповедь в церкви св. Петра; мне хочется прийти туда к сему времени. — Б. подаст мне посох и шляпу. Простите!

Корчма.

Лишь только вышли мы из Эглизау, солнце закатилось; серые облака покрыли небо; вечер становился час от часу темнее, и скоро наступила самая мрачная ночь. Нам надобно было итти лесом, в котором царствовала мертвая тишина. Мы останавливались и слушали — но ни один листочек на дереве не шевелился. Я громко произнес имя Сильвана: эхо повторило его, и опять все умолкло. Мне казалось, что я приближаюсь к святилищу уединенного бога лесов и вижу его вдали стоящего с кипарисною ветвиею. Сердце мое чувствовало вместе и страх и тихое неизъяснимое удовольствие. Таким образом шли мы около двух часов, не встретясь ни с одним человеком. Тут повеял сильный холодный ветер, и Б. признался мне, что он желал бы скорее дойти до какой-нибудь деревни или до трактира, где бы нам можно было ночевать. Я и сам желал того же: летний мой кафтан худо защищал меня от холодного ветра. Наконец мы пришли в маленькую деревеньку, где уже все спали; только в одном доме светился огонь, и сей дом был трактир. С видом удивления посмотрел на нас трактирщик, покачал головою

и, сказав: «В темную ночь бродить пешком неприлично таким господам!» — отворил нам дверь. Мы вошли в большую горницу, в которой не было ничего, кроме пяти или шести столов и дюжины деревянных стульев. Прежде всего заговорили мы об ужине.

— Тотчас все будет готово, — сказал трактирщик и принес нам сыру, масла, хлеба и бутылку кислого вина.

— Что же еще будет? — спросили мы.

— Ничего, — отвечал он.

Делать было нечего, и, пожав плечами, принялись мы за ужин. Потом хозяин проводил нас в спальню, то есть на чердак, в маленький чулан, где мы нашли постелю, очень не мягкую и не чистую; однакож усталость принудила нас искать на ней успокоения. Через два часа я проснулся, взял свечу, сошел вниз, в ту горницу, где мы ужинали, и сел написать к вам несколько строк, друзья мои! Между тем товарищ мой спит очень покойно. Однакож я намерен теперь разбудить его, чтобы, напившись кофе, идти в Цирих. Ветер утих, и небо прояснилось; скоро будет светать.

Цирих.

В половине девятого часа пришли мы в Цирих, в самое то время, когда весь народ шел из церкви; и таким образом в сие воскресенье не удалось мне слышать Лафатеровой проповеди. Все мужчины и женщины, которые мне встречались на улицах, были одеты по-праздничному: первые большею частию в темных кафтанах, а последние все без исключения в черном длинном платье из шерстяной материи; на головах у них были или чепчики, или покрывала. Праздничное платье цирихских сенаторов состоит в черном суконном кафтане с черной шелковою епанчою и с превеликим белым крагеном. В таком наряде приходят они обыкновенно в совет и в церковь по воскресеньям.

Ныне после обеда принял меня Лафатер очень ласково и наговорил мне довольно приятного. Ему хочется, чтобы я выдал на русском языке извлечение из его сочинений.

— Когда вы возвратитесь в Москву, — сказал он, — я буду пересылать к вам через почту рукописный оригинал. Вы можете собрать подписку и уверить публику, что в извлечении моем не будет ни одного необдуманного слова.

Что вы об этом скажете, друзья мои? Найдутся ли у нас читатели для такой книги? По крайней мере сомневаюсь, чтоб их нашлось много. Однакож я принял Лафатерова предложение, и мы ударили с ним по рукам. — От него ходил я на цирихское загородное гульбище, большой прекрасный луг на берегу реки Лимматы, осеняемый старыми, почтенными липами. Тут нашел я очень много людей, которые все кланялись мне как знакомому. Таков обычай

в Цирихе: всякий встречающийся на улице человек говорит вам: *добрый день* или *добрый вечер!* Учтивость хороша; однакож рука устанет снимать шляпу — и я решился наконец ходить по городу с открытою головою. В девятом часу возвратился я к Лафатеру и ужинал у него с некоторыми из его приятелей и со всем его семейством, кроме сына, который теперь в Лондоне. Большая Лафатерова дочь нехороша лицом, а меньшая очень приятна и резва; первой будет около двадцати, а последней около двенадцати лет. Хозяин наш был весел и говорлив; шутил, и шутил забавно. Между прочим зашла речь об одном из его известных неприятелей — я обратил на Лафатера все свое внимание — но он молчал, и на лице его не видно было никакой перемены. Едва ли справедливо будет требовать от него, чтобы он хвалил тех, которые бранят его так жестоко; довольно, если он не платит им такую же бранью. Пфеннингер сказывал мне, что Лафатер давно уже поставил себе за правило не читать тех сочинений, в которых об нем пишут; и таким образом ни хвала, ни хула до него не доходит. Я считаю это знаком редкой душевной твердости; и человек, который, поступая соответственно с своею совестью, не смотрит на то, что думают об нем другие люди, есть для меня великий человек. Между тем, друзья мои, желаю вам покойной ночи.

Ныне поутру пил я кофе у господина Т., отца известной вам девицы Т., и познакомился со всем его семейством, довольно многочисленным. Удивляюсь, как отец и мать могли отпустить дочь свою в такую отдаленную землю! Состояние их (сколько я видел и слышал) очень не бедно — да и много ли надобно для содержания одной дочери! К тому же швейцары так страстно любят свое отечество, что почитают за великое несчастье надолго оставлять его. — Вместе с господином Т. ходили мы смотреть ученья цирихской милиции. Почти все жители были зрителями сего спектакля, для них редкого. Тут случилось со мною нечто смешное и — неприятное. Г. профессор Брейтингер, с которым я еще не видался по возвращении своем из Шафгаузена, встретился мне в толпе народа, когда уже кончилось ученье, и после первого приветствия спросил, каково показалось мне *виденное* мною? Я подумал, что он говорит о падении Рейна; воображение мое тотчас представило мне эту величественную сцену — земля затряслась подо мною — все вокруг меня зашумело — и я с жаром сказал ему:

— Ах! кто может описать великолепие такого явления? Надобно только видеть и удивляться.

— Это были наши волонтеры, — отвечал мне профессор и с поклоном ушел от меня. Тут я почувствовал, что он спрашивал меня не о падении Рейна, а об ученьи цирихских солдат: каковым же показался ему ответ мой? Признаться, я досадовал и на себя

и на него и хотел было бежать за ним, чтобы вывести его из заблуждения, столь оскорбительного для моего самолюбия; но между тем он уже скрылся...

В Цюрихе есть так называемая *девичья школа* (Töchter-Schule), которая достойна внимания всех, приезжающих в сей город. В ней безденежно учатся 60 молодых девушек (от двенадцати до шестнадцати лет) читать, писать, арифметике, правилам нравственности и экономии: то есть приготавливаются быть хорошими хозяйками, супругами и матерями. Приятно видеть вместе столько молодых опрятно и чисто одетых красавиц, которые занимаются своим делом в тишине и с великою прилежностью под надзором благодетельных учительниц, обходящихся с ними кротко и ласково. Тут дочь богатейшего цюрихского гражданина сидит подле дочери бедного соседа своего и научается уважать достоинство, а не богатство. — Сия благодетельная школа учреждена в 1774 году г. профессором Устери, который, к общему сожалению своих сограждан, умер в начале нынешнего лета.

Может быть, ни в каком другом европейском городе не найдете вы, друзья мои, таких неиспорченных нравов и такого благочестия, как в Цюрихе. Здесь-то еще строго наблюдаются законы супружеской верности — и жена, которая осмелилась бы явно нарушить их, сделалась бы предметом общего презрения. Здесь мать почитает воспитание детей главным своим упражнением, а как и самые богатые из цюрихских жителей не держат более одной служанки, то всякая хозяйка находит для себя много дела в домашней жизни, не угнетается праздностию, матерью многих пороков, и редко ходит в гости. Театр, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины! вы здесь неизвестны. Иногда сходятся две, три, четыре приятельницы — разговаривают дружески — вместе работают или читают Геснера, Клопштока, Томсона и других писателей и поэтов, которые не приводят целомудрия в краску. Редко бывают они вместе с посторонними мужчинами, а при чужестранцах стыдятся говорить, думая, что цюрихский выговор противен их ушам. Все они одеваются просто, не думая о французских модах, и совсем не употребляют румян. — Мужчины отправляют поутру дела свои: купец идет в контору или в лавку, ученый садится читать или писать, художник берется за свою работу, и так далее. Вполдень обедают, а ввечеру прогуливаются или в приятельских беседах курят табак, пьют чай и кофе — купцы говорят о торговых, ученые об ученых делах и таким образом проводят время. Не знаю, продаются ли в Цюрихе карты; по крайней мере в них здесь никогда не играют и не знают сего прекрасного средства убивать время (простите мне этот галлицизм), средства, которое в других землях сделалось почти необходимым,

Мудрые цюрихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику. Мужчины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья, а женщины ни бриллиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги. В городе запрещено ездить в каретах, и потому здоровые ноги здесь гораздо более уважаются, нежели в других местах. Во внутренности домов не увидите вы никаких богатых уборов — все просто и хорошо. Хотя чужестранные вина сюда привозятся, однакож их позволено употреблять не иначе, как в лекарство. Только думаю, что сей закон не очень строго соблюдается. Например у Лафатера за столом пили мы малагу; но он взял ее, может быть, из аптеки по предписанию своего доктора Г.

Я слышал прежде, будто в Швейцарии жить дешево; теперь могу сказать, что это неправда и что здесь все гораздо дороже, нежели в Германии: например хлеб, мясо, дрова, платье, обувь и прочие необходимости. Причина сей дороговизны есть богатство швейцаров. Где богаты люди, там дешевы деньги; где дешевы деньги, там дороги вещи. Обед в трактире стоит здесь восемь гри-вен; то же самое платил я в Базеле и в Шафгаузене. Правда, что в швейцарских трактирах никогда не подают на стол менее семи или осьми хорошо приготовленных блюд и потом десерт на четырех или на пяти тарелках.

Я всякий день бываю у Лафатера, обедаю у него и хожу с ним по вечерам прогуливаться. Он, кажется, любит меня; ласкает и спрашивает иногда о подробностях жизни моей, дозволяя и мне предлагать ему разные вопросы, а особливо на письме. В пример переводу вам ответ его на один из моих вопросов. Вопрос: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно *достижимая*¹ для мудрых и слабоумных?» — Ответ: «Бытие есть цель бытия. — Чувство и радость бытия (*Daseynsfrohheit*) есть цель всего, чего мы искать можем. Мудрый и слабоумный ищут только средств наслаждаться бытием своим или чувствовать его — ищут того, через что они самих себя сильнее ощутить могут. — Всякое *чувство* и всякий *предмет*, постигаемый которым-нибудь из наших чувств, суть прибавления (*Beiträge*) нашего самочувствования (*Selbstgeföhles*); чем более самочувствования, тем более блаженства. — Как различны наши организации или образования, так же различны и наши потребности в *средствах* и *предметах*, которые новым образом дают нам чувствовать наше бытие, наши силы, нашу жизнь. — Мудрый отличается от слабоумного только средствами самочув-

¹ То есть до которой достигнуть можно. Я осмелился по аналогии употребить это слово.

ствования. Чем проще, вездесущнее, всенасладительнее, постоянное и благодетельнее есть средство или предмет, в котором или через который мы сильнее существуем, тем существеннее (existenter) мы сами, тем вернее и радостнее бытие наше — тем мы мудрее, свободнее, любящее (liebender), любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человеческое, божественное, с целью бытия нашего сообразнее. — Исследуйте точно, через что и в чем вы приятнее или тверже существуете? Что вам доставляет более наслаждения — разумеется такого, которое никогда не может причинить раскаяния — которое всегда с спокойствием и внутреннею свободою духа может и должно быть снова желаемо? Чем достойнее и существеннее избираемое вами средство, тем достойнее и существеннее вы сами; чем существеннее вы делаетесь, то есть чем сильнее, вернее и радостнее существование ваше, — тем более приближаетесь вы ко всеобщей и особой цели бытия вашего. Отношение (Anwendung) и исследование сего положения (отношение и исследование есть одно) покажет вам истину или (что опять все одно) всеотносимость оного. Цирих, в четверток ввечеру, 20 августа 1789. Иоанн Каспар Лафатер». Каков вам кажется сей ответ, друзья мои? Вы, конечно, не подумаете, чтобы я в самом деле надеялся сведать от Лафатера цель бытия нашего; мне хотелось только узнать, что он может о том сказать. Таким образом всякое утро прихожу к нему с каким-нибудь вопросом. Он прячет мою бумажку в карман и ввечеру отдает мне ответ, на ней же написанный, — оставляя у себя копию. Я уверен, что все это будет напечатано в ежемесячном его сочинении, которое с нового года должно выходить в Берлине, под титулом: «Ответы на вопросы моих приятелей». ¹

Лафатер намерен еще издавать, также с будущего года, «Библиотеку для друзей», где будут помещаемы такие шессы, которых он по каким-нибудь причинам не хочет сообщить публике. Только приятели его могут получать сию «Библиотеку»; и хотя она будет печатная, однакож они обязываются считать ее за манускрипт.

По сие время Лафатеровы сочинения составляют около пятидесяти томов; если он проживет еще лет двадцать, то это число может

¹ Я угадал, — и первая шесса, напечатанная в сем ежемесячном сочинении, есть ответ на мой вопрос о цели бытия. Берлинским рецензентам показалось забавно: die constante, solideste, sutenabelste Existenz — или Daseyn ist der Zweck des Daseyns [самое постоянное, надежное и терпимое существование, или: существование это цель существования. *Ред.*] и проч. «Г. К. (говорит рецензент во «Всеобщей немецкой библиотеке»), конечно, больше нашего знаком с игрою Лафатеровых мыслей; ему оставляем мы разуместь сие изъяснение цели бытия нашего». — Мне кажется, что мысли Лафатеровы (несмотря на насмешки остроумных берлинцев) и понятны и справедливы, и даже весьма обыкновенны; здесь можно назвать новыми только одни выражения. Но г. Аделунг, конечно, имеет причину жаловаться, что Лафатер не всегда думает о чистоте немецкого слога.

вдвое умножиться. За всем тем, по его словам, сочинение есть для него не работа, а отдых.

Сверх того, что Лафатер пишет для публики и для приятелей, ведет он журнал жизни своей, который есть тайна и для самых друзей его и который останется в наследство его сыну. Тут описывает он все свои важнейшие опыты, сокровенные связи с некоторыми людьми, свои надежды, радости и печали. — Вероятно, что в сих записках много любопытного, — и я почти уверен, что они со временем будут напечатаны — если не для меня и не для вас, то по крайней мере для детей ваших, друзья мои. Девятый-надесять век! сколько в тебе откроется такого, что теперь считается тайною!

Раза три был я у почтенного старика Тоблера и провел у него часов пять или шесть, весьма приятных. Он так много рассказывал мне о покойном Бодмере и швейцарском Теокрите!

— Геснер украсил весну жизни моей, — говорит он, — и во всех приятных сценах моей юности, о которых теперь с удовольствием воспоминаю, вижу его перед собою. Часто проводили мы вместе длинные зимние вечера в чтении поэтов, и почти всегда, когда я приходил к нему, встречал он меня с какою-нибудь приятною новостью, им сочиненною. Дом его был Академиею изящной литературы и искусства — Академиею, какой государи основать не могут.

Вы знаете, что Геснер посвятил своего «Дафниса» одной девице; но не знаете, может быть, что эта девица была дочь г. Гейдеггера, цюрихского сенатора, и что творец «Дафниса» скоро после того женился на ней и жил с нею всегда как любовник с любовницею. — По любви к человечеству прискорбно было мне слышать, что Геснер не мог терпеть Лафатера и, несмотря на все старания общих друзей их, никогда не хотел с ним помириться. Тем более чести Лафатеру, что он по смерти Геснеровой сочинил ему похвальные стихи!

С профессором Мейстером — братом того Мейстера, который написал на французском языке известную книгу *о естественном нравоучении* и который, будучи выгнан из Цюриха за одно смелое сочинение, живет теперь в Париже, — виделся я только один раз. Наружность его не очень привлекательна, однакож обхождение его весьма приятно. Он говорит почти так же хорошо, как пишет. Я с удовольствием читал некоторые из его сочинений («*Kleine Reisen*» и «*Characteristik Deutscher Dichter*»¹) и поблагодарил его за это удовольствие.

В нынешний вечер наслаждался я великолепным зрелищем. Около двух часов продолжалась ужасная гроза. Если бы вы видели, как пурпуровые и золотые молнии вились по хребтам гор

¹ «Маленькие путешествия» и «Характеристика немецких поэтов» (ред.).

при страшной канонаде неба! Казалось, что небесный громовержец хотел превратить в пепел сии гордые вышины: но они стояли, и рука его утомилась — громы умолкли, и тихая луна сквозь облака проглянула.

В Цирихском кантоне считается около 180 000 жителей, а в городе около 10 000; но только две тысячи имеют право гражданства, избирают судей, участвуют в правлении и производят торг; все прочие лишены сей выгоды. Из тридцати цехов, на которые разделены граждане, один называется главным, или дворянским, имея перед другими то преимущество, что из него выбирается в члены Верховного совета осмнадцать человек, — из прочих же только по двенадцати. Сему совету принадлежит законодательная власть; а гражданские и уголовные дела судит так называемый *Малый совет*, или Сенат (состоящий из 40 членов и двух бургомистров), для которого избирается особенно из каждого цеха по шести человек; они называются сенаторами и всякий год сменяются. Кому двадцать лет от роду, тот имеет уже голос в республике, то есть может избирать в судьи; в тридцать лет можно быть членом Верховного совета, а в тридцать пять сенатором, или членом Малого совета. Цирихский житель, имеющий право гражданства, так же гордится им, как царь своею короною. Уже более 150 лет никто не получал сего права; однакож его хотели дать Клопштоку, с тем условием, чтобы он навсегда остался в Цирихе.

В субботу вечером Лафатер затворяется в своем кабинете для сочинения проповеди — и через час бывает она готова. Правда, если он говорит все такие проповеди, какую я ныне слышал, то их сочинять нетрудно. *Спаситель снял с нас бремя грехов: и так будем благодарить его* — сии мысли, выраженные различным образом, составляли содержание всего поучения. Одни восклицания, одна декламация, и более ничего! Признаюсь, что я ожидал чего-нибудь лучшего. Вы скажете, что с народом так говорить надобно; но Лаврентий Стерн говорил с народом, говорил просто и трогал сердце — мое и ваше. Вид, с каким проповедует Лафатер, мне полюбился.

Цирихские проповедники являются на кафедрах в каких-то странных черных *шушунах*, с большими белыми и жестко накруженными крагенами. Обыкновенно же ходят они в черных или темных кафтанах. Лафатер носит на голове черную бархатную скуфейку — но только он один. Не для того ли почли его тайным католиком?

Когда в церкви поют псалмы, мужчины стоят без шляп; когда же начинается проповедь, все садятся, надевают шляпы, молчат и слушают...

Я познакомился на сих днях с двумя молодыми соотечественниками моего приятеля Б.: с графом М. и господином Баг. Сей

последний сочинил на датском языке две большие оперы, которые отменно полюбились копенгагенской публике, а наконец были причиною того, что автор лишился спокойствия и здоровья. Вы удивитесь; но тут нет ничего чудного. Зависть вооружила против него многих писателей; они вздумали уверять публику, что оперы господина Баг. ни к чему не годятся. Молодой автор защищался с жаром; но он был один в толпе неприятелей. В газетах, в журналах, в комедиях — одним словом, везде его бранили. Несколько месяцев он отбранивался; наконец почувствовал истощение сил своих, с больною грудью оставил место боя и уехал в Пирмонт к водам, откуда доктор прислал его в Швейцарию лечиться горным воздухом. Молодой граф М., учившийся в Геттингене, согласился вместе с ним путешествовать. Оба они познакомились с Лафатером и полюбились ему своею живостию. И тот и другой любит аханье и восклицания. Граф бьет себя по лбу и стучит ногами, а поэт Баг. складывает руки крестом и смотрит на небо, когда Лафатер говорит о чем-нибудь с жаром. Ныне или завтра уедут они в Луцерн; любезный мой приятель Б. едет с ними же.

Цюрих, 26 августа.

Наконец думаю ехать из Цюриха, прожив здесь 16 дней. Ныне в последний раз обедал я у Лафатера и в последний раз писал под его диктатурою (вы удивитесь; но учтивый Лафатер хотел уверить меня, будто я пишу по-немецки не худо). В последний раз ходил по берегу Лимматы — и шумное течение сей реки никогда не приводило меня в такую меланхолию, как ныне. Я сел на лавке под высокою липою, против самого того места, где скоро поставлен будет монумент Геснеру. Том его сочинений был у меня в кармане (как приятно читать здесь все его несравненные идиллии и поэмы, читать в тех местах, где он сочинял их!) — я вынул его, развернул, и следующие строки попались мне в глаза: «Потомство справедливо чтит урну с пеплом песнопевца, которого музы себе посвятили, да учит он смертных добродетели и невинности. Слава его, вечно юная, живет и тогда, когда трофеи завоевателя гниют во прахе и великолепный памятник недостойного владетеля среди пустыни зарастает диким терновым кустарником и седым мхом, на котором иногда отдыхает заблудший странник. Хотя, по закону Натуры, немногие могут достигнуть до сего величия, однакож похвально стремиться к оному. Уединенная прогулка моя и каждый уединенный час мой да будут посвящены сему стремлению!» Вообразите, друзья мои, с каким чувством я должен был читать сие в двух шагах от того места, где Натура и Поэзия в вечном безмолвии будут лить слезы на урну незабвенного Геснера! ¹ Не его

¹ На монументе Геснеровом изображены Поэзия и Натура в виде двух прекрасных женщин, плачущих над урною.

ли посвятили музы в учителя невинности и добродетели? Не его ли слава, вечно юная, жить будет и тогда, когда трофеи завоевателей истлеют во прахе? Предчувствием бессмертия наполнялось сердце его, когда он магическим пером своим писал сии строки.

Рука времени, все разрушающая, разрушит некогда и город, в котором жил песнопевец, и в течение столетий загладит развалины Цириха; но цветы Геснеровых творений не увянут до вечности, и благовоние их будет из века в век переливаться, услаждая всякое сердце.

Друзья мои! Писателям открыты многие пути ко славе, и бесчисленны венцы бессмертия; многих хвалит потомство — но всех ли с одинаковым жаром?

О вы, одаренные от Природы творческим духом! пишите, и ваше имя будет незабвенно; но если хотите заслужить любовь потомства, то пишите так, как писал Геснер, — да будет перо ваше посвящено добродетели и невинности!

Баден.

Ныне поутру выехал я из Цириха. Лафатер не хотел прощаться со мною навсегда, говоря, что я непременно должен в другой раз приехать на берег Лимматы. Он дал мне одиннадцать рекомендательных писем в разные города Швейцарии и уверил меня в непеременимости своего дружелюбного ко мне расположения. Старик Тоблер простился со мною до радостного свидания в полях вечности, которая есть любимый предмет утренних и вечерних его размышлений.

На каждой версте от Цириха до Бадена встречались мне коляски и кареты, из которых выглядывали английские, немецкие и французские лица. От июня до октября месяца Швейцария бывает наполнена путешественниками, которые приезжают сюда наслаждаться Природою.

Наконец видел я в Швейцарии нечто такое, что мне не полюбилось. Почти беспрестанно подбегали к коляске моей ребятишки и требовали подаяния. Не слушая отказа, бежали они за мною, кричали и разным образом дурачились: один становился вверх ногами, другой кривлялся, третий играл на дудке, четвертый прыгал на одной ноге, пятый надевал на себя бумажную шапку в аршин вышиною и проч. и проч. Не нужда заставляет их просить милостыни; им правится только сей легкий способ получать деньги. — Жаль, что отцы и матери не унимают их! Маленькие шалуны могут со временем сделаться большими — могут распространить в своем отечестве опасную нравственную болезнь, от которой рано или поздно умирает свобода в республиках. Тогда, любезные швейцары, не поможет вам бальзамический воздух гор и долин ваших — увянет красота нежной богини, и слезы ваши не оживят хладного трупа.

В Бадене остановился мой кучер кормить лошадей. Сей городок, стесненный со всех сторон высокими горами, находится под начальством Цирихского, Бернского и Гларисского кантонов и славен своими целебными теплицами, которые были известны римлянам под именем Гельветских вод (Aquaе Helveticae). От города будет до них не более 300 шагов, и я тотчас пошел туда. Два колодезя — самые ближайшие к главному источнику и потому самые действительнейшие — бывают всегда открыты для бедных. В них сидело при мне человек двадцать, опустясь в воду по горло; бледные и желтые лица их показывали, что они не для забавы пользуются водами. В трактирах, которых тут очень много, сделаны разные бани, где моются больные и здоровые, платя за то безделку. Вода сносно горяча и пахнет серою. Она проведена с другой стороны Лимматы (которая течет здесь между гор с ужасною быстротою), и труба идет под рекою. — Мне сказывали, что иногда бывает у вод до осьми сот приезжих.

Женщины носят здесь на головах предлинные рога, от чего все они кажутся похожими на сатиров. — В швейцарских городах (по крайней мере в тех, в которых я был) почти на всяком доме видите вы надписи, иногда отменно глупые и смешные. Например над домом одного баденского горшечника написано: «Dies Haus der liebe Gott behüt; hier ist Hafner Geschirr aufs Feuer, und glüht» (*Сей дом господь да сохрани! здесь глиняная посуда на огне горит*) — а над другим: «Behüt uns Herr füt Feuer und Brand, denn dies Haus wird zum geduldigen Schaaf genannt» (*Сохрани нас господь от пожара ночью порою: ибо сей дом называется терпеливою овцою*). Но что скажете вы о следующих двух надписях, замеченных одним немецким путешественником в Базеле и в Шафгаузене? Первая: «Ihr Menschen thut Buss, denn dies Haus heist zum Rindsfuss» (*О человек! покайтесь душою, ибо сей дом называется бычьею ногою*) — а вторая: «Auf Gott deine Hoffnung bau, denn dies Haus heist sur schwarzen Sau» (*На бога уповай ты мыслию своею, ибо сей дом называется черною свиньею*). Друзья мои! в вольной земле всякий волен дурачиться и писать, что ему угодно. Всякий желает оставлять по себе памятники — и сочинители сих надписей, конечно ничего более в жизнь свою не сочинявшие, хотели в рифмах своих наслаждаться бессмертием. Внук чит произведение дедушкина ума, и надпись из века в век переходит. — Поселяне швейцарские любят расписывать свои дома разными красками и фигурами; по большей части изображаются тут древние герои Швейцарии и славные их подвиги; иногда же гербы кантонов с сею надписью: «Als Demuth weint', und Hochmuth lacht', da ward der Schweizer-Bund gemacht» (то есть *когда смирение проливало слезы и гордость смеялась, тогда заключился союз швейцаров*).

Арау, в 8 часов вечера.

Я проехал ныне мимо развалин Габсбурга. Вы знаете, любезные друзья, что в сем замке жили некогда габсбургские графы, от которых произошел австрийский дом, — и потому легко можете угадать, с какими мыслями смотрел я на почтешные развалины древних башен, откуда храбрые Рудольфовы предки поражали врагов своих. — Тут живет ныне сторож, который в случае пожара дает сигнал окружным деревням, стреляя из ружья.

Места и дороги в Бернском кантоне лучше, нежели в Цирихском. Ничего не может быть прекраснее здешних лугов, обсаженных плодовитыми деревьями и пересекаемых многими ручейками, которые то соединяются, то опять на разные рукава разделяются и образуют водяной запутанный лабиринт. Там видны аллеи, самую Природою насажденные; здесь густые лесочки, прохладу странникам обещающие. — В деревнях находите вы порядок и чистоту. Все крестьянские дома покрыты соломою и разделяются обыкновенно на две половины: одна состоит из двух горниц и кухни, а другая из сенного магазина, житниц и хлевов. Не увидите вы здесь ничего гниющего, непочиненного; во всем соблюдена удобность, и все необходимое в изобилии и совершенстве. Сие, можно сказать, цветущее состояние швейцарских земледельцев происходит наиболее от того, что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов. Хотя между ими есть такие, которые имеют по пятидесяти тысяч рублей капитала, однакож все они одеваются очень просто и летом ходят обыкновенно в камзолах из толстого полотна; а в праздники надевают суконные кафтаны, по большей части синие или дикие. Женщины носят желтые соломенные шляпы, красные стамедные корсеты с крючками и юбки темного цвета; а волосы заплетают в косы. Шею свою покрывают белую косынкую, перевязывая ее черною бархатною лентою.

Я нанял кучера только до Арау, маленького изрядно выстроенного городка в Бернском кантоне. В ожидании базельского *дилижанса* (в котором хочу ехать доерна и которого ожидают сюда к девяти часам) велел я приготовить себе ужин.

Берн, 28 августа.

Ныне рано поутру приехал я в Берн и с трудом мог найти для себя комнату в трактире «Венца»: так много здесь приезжих! Одевшись, пошел я к молодому доктору Ренггеру, который по Лафатеровой рекомендации принял меня очень ласково; и как мне прежде всего хотелось побродить по городу, то он вызвался быть моим путеводителем.

Берн есть хотя старинный, однакож красивый город. Улицы прямы, широки и хорошо вымощены; а в середине проведены глубокие каналы, в которых с шумом течет вода, уносящая с собою всю печистоту из города и сверх того весьма полезная в случае пожара. Дома почти все одинакие: построены из белого камня, в три этажа и представляют глазам образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тению колоссальных палат. Всего более полюбились мне в Берне аркады под домами, столь удобные для пешеходцев, которые в сих покрытых галлеях никакого непастья не боятся.

Мы были в здешнем сиротском доме, где нашел я удивительную чистоту и порядок. В самом деле тут немного сирот, а более пансионеров, которые за небольшую сумму денег учатся и хорошо содержатся в сем доме. Оттуда пошли мы в публичную библиотеку. На прекрасном маленьком лужке между домов увидел я прикованного медведя, которому мимоходящие бросали хлеб и прочее, что он есть мог. Доктор Ренггер сказал мне, что в Берне всегда держат живого медведя, который есть герб сего кантона; что имя *Берн* произошло от немецкого слова *Бер* (то есть *медведь*); что герцог церингенский, начав строить этот город, поехал на ловлю и положил назвать его именем первого затравленного зверя; что он загравил медведя и потому назвал город *Бером*, имя, которое после превратилось в *Берн*. — В библиотеке видел я много хороших книг и несколько изрядных картин; но всего более занимал меня *рельеф*, представляющий часть Альпийских гор, и точно тех, на котором я дни через три быть надеюсь. Тут видны сии горы в подлинных своих фигурах, долины, озера, деревни, хижины и даже маленькие дорожки. Но *рельеф* генерала Пффифера, люцернского гражданина, должен быть еще гораздо превосходнее. Сей человек с удивительною неутсмирительною странствовал по горам, срисовывал их — снимал меры — и все сие представил потом в малом виде с величайшею точностию. Два раза был он захвачен горными жителями как шпион и наконец для безопасности своей мерил горы по ночам при лунном сиянии, скрываясь от людей и вода с собою двух коз, которых молоко составляло всю его пищу.

Из библиотеки прошел я на славную террасу, или гульбище подле кафедральной церкви, где под тению древних каштановых дерев в самый жаркий полдень можно наслаждаться прохладою и откуда видна цепь высочайших снежных гор, которые, будучи освещаемы солнцем, представляются в виде тонких красноватых облаков. Сия терраса, складенная человеческими руками, вышиною будет в шесть или семь сот футов. Внизу течет Ара и с великим шумом низвергается с высокой плотины. В стене, которою обведено это гульбище, нашел я на камне следующую надпись: «В честь всемогущества и чудесного божия провидения и в память

потомству положен сей камень на том месте, откуда г. Теобольд Вейнценфли, студент, 25 мая 1654 года упал с лошади и потом, быв 30 лет священником церкви в Керперсе, в глубокой старости блаженно скончался 25 ноября 1694 года. Хотя иному чудно покажется, что человек, упав с такой вышины, мог жив остаться; однакож это происшествие, по уверению бернских жителей, не подвержено никакому сомнению. Сказывают, что на студенте был тогда широкий плащ, который, захватив под себя много воздуха, удерживал его в падении и не дал ему сильно удариться об землю.

После обеда был я у проповедника Штапфера, самого добродушного швейцара, и ввечеру ходил с ним прогуливаться за город. Сидя в беседке на возвышенном месте, смотрели мы на горы, которых вершины пылали разноцветными огнями. Тут понял я Галлеров стих: «Und ein Gott ist's, der Berge Spitzen röthet mit Blitzen!» (*бог красит молниями венцы гор!*). Между тем Штапфер начал говорить со мною, и мне должно было на несколько минут отвлечь глаза свои от сего прекрасного зрелища. Когда же я опять взглянул на горы, увидел — вместо розовых и пурпуровых огней — ужасную бледность. Солнце закатилось. Я был поражен сею скорою переменою и готов был воскликнуть: *Так проходит слава мира сего! так увядает роза юности! так угасает светильник жизни!* Мне стало грустно — и мы тихими шагами возвратились в город.

Тун, в десять часов вечера.

В два часа пополудни выехал я изерна и в шесть часов приехал в городок Тун, лежащий на берегу большого озера. Дорогою видел я везде веселых поселян, собирающих плоды с богатых полей своих. Между ими заметил я много таких, у которых висели под бороною превеликие зобы.

Здесь остановился я в трактире «Фрейгофе»; заказав ужин, бродил по городу и входил на здешнюю высокую колокольню, откуда видны многие цепи гор и все обширное Тунское озеро.

Завтра разбудят меня в четыре часа. В это время отходит отсюда почтовая лодка, на которой переседу через озеро.

Тунское озеро, 5 часов утра.

Темнота почти мало-помалу исчезает. Горы открываются минутой от минуты яснее. Все дымится! Тонкие облака тумана носятся вокруг нашей лодки. Влага проникает сквозь мое платье, и сон смыкает глаза мои. Добродушный швейцар подает мне черный мешок, который должен служить мне вместо пуховой подушки. Величественная Натура! прости слабому! на несколько часов отворачивает он взор свой от твоего великолепия.

В семь часов. По обеим сторонам озера беспрерывно продолжают горы. В иных местах покрыты они виноградными садами, в других елями. Чистые ручьи ниспадают с камней. Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и — может быть — спокойствия. Вечная премудрость! какое разнообразие в твоём физическом и нравственном мире!

На северной стороне озера в пещере высокой горы, где журчит маленький ручеек, проводил дни свои св. Беатус, первый из христиан в Швейцарии. Гора сия донныне называется его именем.

На южном берегу возвышается старый замок Шпиц, который принадлежал некогда Бубенбергской фамилии, древнейшей и знатнейшей в Бернской республике. Многие из Бубенбергов оказали отечеству важные услуги и пролили кровь свою для славы его. Последними отраслями сего дому были Леонард и Амалия, прекраснейший юноша и прекрасная сестра его. Все благороднейшие фамилии в Берне искали их союза, и наконец, по нежной склонности сердца, Леонард женился на девице Эрлах, а сестра его вышла за брата ее. Бракосочетание их совершилось в одно время. Все праздновали день сей, в который два первые дома соединились тесным союзом родства; все радовались молодыми супругами, равно юными и равно прекрасными. Увеселения свадебного торжества были бесчисленны. После роскошного обеда поехали новобрачные и все гости прогуливаться в лодке по Тунскому озеру. Небо было ясно и чисто; легкий ветерок веянием своим прохладил радостных гребцов и лобызал юных красавиц, играя их волнами; мелкие волны пенились под лодкою и журчанием своим вливали томность в сердца супругов, которые с нежным трепетом друг ко другу прижимались и тщетно хотели скрыть во внутренности своей пламя любви, пылавшее на их румяных щеках. Уже приближался вечер, и плователи беспрестанно от берегов удалялись. Солнце село — и вдруг, как будто бы из глубины ада, заревела буря; озеро страшно взволновалось, и кормчий содрогнулся. Он хотел плыть к берегу, но берег во мраке скрывался от глаз его. Весла валились из рук обессилевших гребцов, и вал за валом грозил поглотить лодку. Вообразите себе состояние супругов! Сперва старались они ободрять гребцов и кормчего и сами помогали им; но видя, что все усилия их остаются тщетными и что гибель неизбежна, поручили судьбу свою богу, обтерли последнюю слезу о жизни, обнялись и дожидались смерти. Скоро громада волн обрушилась на лодку — и все потонули, все, кроме одного гребца, который счастливо доплыл до берега и принес весть о погибели несчастных. Таким образом пресекал древний род Бубенбергов, и замок их достался в наследство дому Эрлахов, который по сие время считается знатнейшим в Бернском кантоне. — С печальными мыслями рассматривал я сей замок; ветер веял от опустевших стен его.

Унтерзеен, в 10 часов. Пристав к берегу версты за две отсюда, шел я до Унтерзеена приятною долиною между лугов и огородов. Снежные горы кажутся здесь гораздо выше и ближе одна к другой; я не видал уже полей с хлебом, ни садов виноградных; крестьянские избы построены здесь обменным образом, и самые люди имеют в лицах своих что-то особенное. — Я нанял теперь проводника, которому известен путь по Альпийским горам, — и через полчаса пойду в деревню Лаутербруннен, до которой считается отсюда около десяти верст.

Лаутербруннен. Дорога от Унтерзеена до Лаутербруннена идет долиною между гор подле речки Литшины, которая течет с ужасною быстротою, с пеною и с шумом, падая с камня на камень. Я прошел мимо развалин замка Уншпуннена, за которым долина становится час от часу уже и наконец разделяется надвое: налево идет дорога в Гриндельвальд, а направо в Лаутербруннен. Скоро открылась мне сия последняя деревенька, состоящая из рассеянных по долине и по горе маленьких домиков.

Версты за две не доходя до Лаутербруннена, увидел я так называемый Штауббах, или ручей, свергающийся с вершины каменной горы в 900 футов вышиною. В сем отдалении кажется он неподвижным столбом млечной пены. Скорыми шагами приблизился я к этому феномену и рассматривал его со всех сторон. Вода прямо летит вниз, почти не дотрогиваясь до утеса горы, и, разбиваясь, так сказать, в воздушном пространстве, падает на землю в виде пыли или тончайшего серебряного дождя. Шагов на сто вокруг разносятся влажные брызги, которые в несколько минут промочили насквозь мое платье. — Потом ходил я к другому водопаду, называемому Триммербах, до которого будет отсюда около двух верст. Вода, прокопав огромную скалу, из внутренности ее с шумом падает и стремится в долину, где, мало-помалу утишая свою ярость, образует чистую речку. Вид рассевшейся горы и шумное падение Триммербаха составляют *дикую* красоту, пленяющую любителей Натуры. Около часа пробыл я на сем месте, сидя на возвышенном камне, — и наконец, в великой усталости, возвратился в Лаутербруннен, где теперь отдыхаю в трактире.

В восемь часов вечера. Светлый месяц взошел над долиною. Я сижу на мягкой мураве и смотрю, как свет его разливается по горам, осеребляет гранитные скалы, возвышает густую зелень сосн и блистает на вершине Юнгферы, одной из высочайших Альпийских гор, вечным льдом покрытой. Два снежные холма, девическим грудям подобные, составляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалось; самые бури не могут до них возноситься;

одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие царствует вокруг их — здесь конец земного творения! — Я смотрю, и не вижу выхода из сей узкой долины.

Пастушьи хижины на Альпийских горах, в 9 часов утра.

В четыре часа разбудил меня проводник мой. Я вооружился геркулесовскою палицею — пошел — с благоговением ступил первый шаг на Альпийскую гору и с бодростью начал взбираться на крутизны. Утро было холодно; но скоро почувствовал я жар и скинул с себя теплый сертук. Через четверть часа усталость подкосила ноги мои — и потом каждую минуту надлежало мне отдыхать. Кровь моя волновалась так сильно, что мне можно было слышать биение своего пульса. Я прошел мимо громады больших камней, которые за десять лет перед сим свалились с вершины горы и могли бы превратить в пыль целый город. Почти беспрестанно слышал я глухой шум, происходящий от катящегося с гор снега. Горе тому несчастному страннику, который встретится сим падающим снежным кучам! Смерть его неизбежна. — Более четырех часов шел я все в гору по узкой каменной дорожке, которая иногда совсем пропадала; наконец достиг до цели своих пламенных желаний и ступил на вершину горы, где вдруг произошла во мне удивительная перемена. Чувство усталости исчезло; силы мои возобновились; дыхание мое стало легко и свободно; необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления — тому, кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно свое всемогущество, свое величие, свою вечность!.. Друзья мои! я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения всевышнему!.. Язык мой не мог произнести ни одного слова; но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту.

Таким образом на самом себе испытал я справедливость того, что Руссо говорит о действии горного воздуха. Все земные печения, все заботы, все те мысли и чувства, которые унижают благородное существо человека, остаются в долине — и с сожалением смотрел я вниз на жителей Лаутербруннена, не завидуя им в том, что они в самую сию минуту увеселялись зрелищем серебряного Штауббаха, освещаемого солнечными лучами. Здесь смертный чувствует свое высокое определение, забывает земное свое отечество и делается гражданином вселенной; здесь, смотря на хребты каменных твердых, ледяными щелями скованных и осыпанных снегом, на котором столетия оставляют едва приметные следы, ¹

¹ Всякое лето тает на горах снег, и всякую зиму прибавляются на них новые снежные слои. Если бы можно было перечесть сии последние, то мы узнали бы тогда древность мира, или, по крайней мере, древность сих гор.

забывает он время и мыслью своею в вечность углубляется; здесь в благоговейном ужасе трепещет сердце его, когда он помышляет о той всемогущей руке, которая вознесла к небесам сии громады и повергнет их некогда в бездну морскую.

С бодростию и с удовольствием продолжал я путь свой по горе, называемой Велгенальпом, мимо вершин Юнгферы и Эйгера, которые возвышаются на хребте ее как на фундаменте. Тут нашел я несколько хижин, в которых пастухи живут только летом. Сии простодушные люди зазвали меня к себе в гости и принесли мне сливок, творогу и сыру. Хлеба у них нет; но проводник мой взял его с собою. Таким образом я обедал у них, сидя на бревне, — потому что в их хижинах нет ни столов, ни стульев. Две молодые веселые пастушки, смотря на меня, беспрестанно смеялись. Я говорил им, что простая и беспечная жизнь их мне весьма нравится и что я хочу остаться у них и вместе с ними доить коров. Они отвечали мне одним смехом. — Теперь лежу на хижине, на которую стоило мне только шагнуть, и пишу карандашом в своей дорожной книжке. Как в сию минуту низки передо мною все великаны земного шара! — Через полчаса пойду далее.

Гриндельвальд, 7 часов вечера.

Шедши от хижины около часа по отлогому скату — мимо стад, пасущихся на цветной благовонной зелени, — начали мы спускаться с горы. Гриндельвальд был уже виден. Долина, где лежит эта деревенька, состоящая из двух или трех сот рассеянных домиков, представляется глазам в самом приятном виде. В то же самое время увидел я и верхний *глетшер*, или *ледник*; а нижний открылся гораздо уже после, будучи заслоняем горою, с которой мы спускались. Сии ледники суть магнит, влекущий путешественников в Гриндельвальд. Я пошел к нижнему, который был ко мне ближе. Вообразите себе между двух гор огромные кучи льду, или множество высоких ледяных пирамид, в которых хотя и не видал я ничего подобного хрустальным волшебным замкам, отмеченным тут одним французским писателем, но которые в самом деле представляют для глаз нечто величественное. Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед; но могу сказать, что это сравнение прекрасно и справедливо и что сей путешественник или писатель имел пиитическое воображение. — Посмотрев на ледник с того места, где с страшным ревом вытекает из-под свода его мутная река Литшина, ворочая в волнах своих превеликие камни, решился я взойти выше. К несчастью, проводник мой не знал удобнейшего ко восходу места; но как мне не хотелось оставить своего намерения, то я прямо пошел вверх подле льду, по кучам маленьких камешков, которые рассыпались под моими

ногами, так что я беспрестанно спотыкался и полз, хватаясь руками за большие камни. Проводник мой кричал, что он предает меня судьбе моей; но я, смотря на него с презрением и не отвечая ему ни слова, взбирался выше и выше и храбро преодолевал все трудности. Наконец открылась мне почти вся ледяная долина, усеянная в разных местах весьма высокими пирамидами; но далее к Валлиским горам пирамиды уменьшаются и почти все исчезают. Тут отдыхал я около часа и лежал на камне, висящем над пропастью; спустился опять вниз и пришел в Гриндельвальд если не совсем без ног, то по крайней мере без башмаков. Хорошо, что я взял изерна в запас новую пару!

У прекрасной девушки купил я корзинку черной вишни, хотя мелкой, однакож отменно сладкой и вкусной, которая прохледила внутренний жар мой. Теперь, сидя в трактире за большим столом, дожидаясь ужина.

Гора Шейдек, 10 часов утра.

В пять часов утра пошел я из Гриндельвальда мимо верхнего ледника, который показался мне еще лучше нижнего, потому что цвет пирамид его гораздо чище и голубее. Более четырех часов взбирался я на гору Шейдек, и с такой же трудностью, как вчера на Венгенальп. Горные ласточки порхали надо мною и пели печальные свои песни; а вдаль слышно было блеяние стад. Цветы и травы курились ароматами вокруг меня и освежали увядающие силы мои. Я прошел мимо пирамидальной вершины Шрекгорна, высочайшей Альпийской горы, которая, по измерению г. Пфлиффера, вышиною будет в 2400 сажен; а теперь возвышается передо мною грозный Веттергорн, который часто привлекает к себе громоносные облака и препоясывается их молниями. За два часа перед сим скатились с венца его две лавины, или кучи снегу, размягченного солнцем. Сперва услышал я великий треск (который заставил меня вздрогнуть), — а потом увидел две снежные массы, валяющиеся с одного уступа горы на другой и наконец упавшие на землю с глухим шумом, подобным отдаленному грому, — причем на несколько сажен вверх поднялась спешная пыль.

На горе Шейдек нашел я пастухов, которые также потчевали меня твордгом, сыром и густыми ароматическими сливками. После такого легкого и здорового обеда сижу теперь на бугре горы и смотрю на скопище вечных снегов. Здесь вижу источник рек, орошающих наши долины; здесь запасная хранина Натуры, хранина, из которой она во время засухи черпает воду для освежения жаждущей земли. И если бы сии снега могли вдруг растопиться, то второй потоп поглотил бы все живущее в нашем мире.

Нельзя взирать без некоторого ужаса на сии концы земного творения, где нет никаких следов жизни, — нет ни дерев, ни

трав, — где меланхолическая пустота искони царствует. Иногда над дикими, мертвыми утесами является здесь величайшая из птиц, альпийский орел, которому бедные дикие козы служат пищею. Тщетно сии последние стараются спастись от него легкою ного своих, прыгая с одной высоты на другую! Лютый враг гонится повсюду за своею добычею и наконец пригоняет ее на край бездны, где несчастная не находит для себя никакого пути. Тут сильным ударом крыла сшибает он ее в пропасть, и бедная коза, несмотря на все свое искусство в прыгании, неизбежно погибает. Орел извлекает ее оттуда в острых когтях своих.

Но не одна птица сия умерщвляет безоружных коз: альпийские охотники еще для них страшнее. Презирая все опасности, с удивительным проворством взбираются они на крутизны; однакож многие погибают, падая в пропасти или утопая в море снегов. Страшные анекдоты об них рассказывают. Например один гриндельвальдский охотник, гонясь на Шрекгорне за козю, перебирался с камня на камень и вдруг на ужасной высоте поскользнулся. Уже бездна разверзла под ним зев свой — уже острые граниты готовы были растерзать несчастного — но он зацепился ногою за камень и повис над пропастью. Представьте себе весь ужас его положения! Никто из товарищей не мог помочь ему; никто не отважился лезть на вершину утеса. Долго висел он между небом и землею, между жизни и смерти; наконец удалось ему схватиться руками за камень, стать на ноги и спуститься вниз.

Долина Гасли.

Пробыв у пастухов два часа, пошел я далее, беспрестанно спускаясь с горы. Первый примечания достойный предмет, который встретился глазам моим на сем пути, был так называемый Розенлавиנגлетшер, самый прекраснейший из швейцарских ледников, состоящий из чистых сафирных пирамид, гордо возвышающих острые свои вершины. — Мрак древних высоких елей укрывал меня от жара солнечного; нигде не видал я следов человеческих: дичь и пустота представлялись везде глазам моим. С седых мшистых скал упали кипящие ручьи, и шум падения их раздавался по лесу. Но далее, спускаясь в долину, находил я прекрасные благовонные луга, каких лучше вообразить нельзя, — и, к удивлению моему, не видал на них пасущегося скота. Не можете вообразить, как приятен вид зелени после голых камней и снежных громад, утомивших мое зрение! На всяком лужке отдыхал я по несколько минут и если не руками, то по крайней мере глазами своими ласкал каждую травку вокруг себя. — Я пришел в маленькую горную деревеньку, которой жители ведут пастушью жизнь во всей простоте ее, не зная ничего, кроме скотоводства, и питаюсь одним молоком. Они делают большие сыры и через валлисцев

отправляют их в Италию. Сырые анбары построены из тонких бревен на высоких столбах или подпорах, для того чтобы воздух мог отвсюду проходить в них.

Жажда меня томил. Я остановился подле одной хижины на берегу чистого ручья и, видя молодого пастуха, у дверей сидящего, попросил у него стакана. Он нескоро понял меня; но поняв, тотчас бросился в свой домик и вынес чашку.

— Она чиста, — сказал он худым немецким языком, показывая мне дно ее; побежал к ручью, зачерпнул воды и опять вылил ее назад — посмотрел на меня и улыбнулся — зачерпнул в другой раз и опять вылил — взглянул на меня и засмеялся — почерпнул в третий раз и принес мне, говоря: — Пей, добрый человек, пей нашу воду!

Я взял чашку — и если бы не побоялся пролить воды, то, конечно, бы сбнял добродушного пастуха с таким чувством, с каким обнимает брат брата: столь любезен казался он мне в эту минуту! — Для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями! ¹ Я с радостью отказался бы от многих удобностей жизни (которыми обязаны мы просвещению дней наших), чтобы возвратиться в первобытное состояние человека. Всеми истинными удовольствиями — теми, в которых участвует сердце и которые нас подлинно счастливыми делают, — наслаждались люди и тогда, и еще более, нежели ныне, — более наслаждались они любовью (ибо тогда ничто не запрещало им говорить друг другу: *люблю тебя*, и дарам Природы не предпочитались дары слепого случая, не придающие человеку никакой существенной цены), — более наслаждались дружбою, более красотою Природы. Теперь жилище и одежда наша покойнее: но покойнее ли сердца? Ах, нет! тысячи забот, тысячи беспокойств, которых не знал человек в прежнем своем состоянии, терзают ныне внутренность нашу, и всякая приятность в жизни ведет за собою тьму неприятностей. — С сими мыслями пошел я от пастуха; несколько раз оборачивался назад и приметил, что он провожает меня взорами своими, в которых написано было желание: *поди и будь счастлив!* Бог видел, что и я от всего сердца желал ему счастья, — но он уже нашел его!

Сильный шум перервал нить моих размышлений.

— Что это значит? — спросил я у проводника моего, остановившись и слушая.

— Мы приближаемся к Рейхенбаху, — отвечал он, — славнейшему альпийскому водопаду.

Хотя путешествуя по швейцарским горам беспрестанно видят каскады, беспрестанно орошается их брызгами и наконец смотрит на них равнодушно; однакож мне очень хотелось видеть первый из альпийских водопадов. Отдаленный шум обещал мне

¹ Когда же?

нечто величественное: воображение мое стремилось к причине его; но тут вдруг открылось мне другое великолепие, которое заставило меня на время забыть Рейхенбах. Ах! для чего я не живописец! для чего не мог в ту же минуту изобразить на бумаге плодотворную, зеленую долину Гасли, которая в виде прекраснейшего цветущего сада представилась глазам моим между диких каменных, небеса подпирающих гор! Плодотворные лесочки и между ими маленькие деревянные домики, составляющие местечко Мейринген, — река Ара, стремящаяся вдоль по долине, — множество ручьев, ниспадающих с крутых утесов и с серебряною пеною текущих по бархатной мураве: все сие вместе образовало нечто романическое, пленительное — нечто такое, чего я отроду не видывал. Ах, друзья мои! не должно ли мне благодарить судьбу за все великое и прекрасное, виденное глазами моими в Швейцарии? Я благодарю ее — от всего сердца! — Наконец проводник напомнил мне Рейхенбах, и чтобы посмотреть на него вблизи, я должен был, невзирая на свою усталость, взойти опять на высокий пригорок и спуститься с него, но только уже не по камням, а по зеленой траве, увлажненной водяною пылью, летящею от каскада. Еще шагов за пятьдесят от падения облака сей пыли меня почти совсем ослепили. Однакож я подошел к самому кипящему водоему, или той яростно воды ископанной яме, в которую Рейхенбах падает с высоты своей с ужасным шумом, ревом, громом, срывая превеликие камни и целые деревья, им на пути встречаемые. Трудно представить себе ту ужасную быстроту, с которою волна за волною несетя в неизмеримую глубину сего водоема и опять вверх подымается, будучи отвержена его вечнокипящею пучиною и распространяя вокруг себя белые облака влажного дыму! Тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа!.. Рейн и Рейхенбах, великолепные явления, величественные чудеса Природы! в молчании удивляться будет вам всякий, имеющий чувство; но кто может изобразить вас кистию или словами? — Я почти совсем чувств лишился, будучи оглушен *гремящим громом* падения, и упал на землю. Моря водяных частиц лились на меня, и притом с такими порывами вихря (производимого в воздухе силою падающей воды), что, боясь смертельной простуды, я должен был через несколько минут удалиться от сего места. Всякий, взглянув на меня, подумал бы, что я вышел из реки; ни одной сухой нитки на мне не осталось, и вода текла с меня ручьями, подобно как с какой-нибудь Альпийской горы.

До Мейрингена оставалось мне не более трех верст, и дорога была уже не так трудна, как на сходе с вершины Шейдека; но сии три версты довели усталость мою до высочайшей степени, потому что жар в долинах бывает нестерпим. Лучи солнечные отпрыгивают от голых скал и, согревая воздух, производят духоту, весьма редко ветром прохладяемую. Женщины, встречавшиеся мне, смотрели

на меня с сожалением и говорили: «Как жарко, молодой путешественник!»

Местечко или деревня Мейринген состоит из маленьких деревянных домиков, рассеянных по долине в великом расстоянии один от другого; в альпийских селениях совсем нет каменного строения.

Обитатели долины Гасли живут в беспрестанном шуме, происходящем как от Рейхенбаха, так и от других каскадов. Иногда сии ручьи, будучи наполнены снежною водою, низвергаются в долину с такою яростию, что заливают дома поселения, сады и луга их. За несколько лет перед сим причинили они страшное опустошение и всю прекрасную долину покрыли песком и камнями; но жители не могли оставить милой своей родины, где предки их и они сами пользовались бесчисленными благодеяниями Природы, — скоро земля была очищена и снова покрылась цветами и зеленью.

Сколь прекрасна здесь Натура, столь прекрасны и люди, а особливо женщины, из которых редкая не красавица. Все они свежи, как горные розы, — и почти всякая могла бы представлять нежную Флору. Удивитесь ли вы, если я пробуду здесь несколько дней? Может быть, в целом свете нет другого Мейрингена. Но жаль, что здешние красавицы немного безобразят себя одеждою; например подвязывают юбку под самыми плечами, и кажется, будто они в мешках зашиты. — Здесь нашел я очень хороший трактир.

В 11 часов ночи. Вечер проведен мною приятно. Я гулял по долине, в рощицах, по лугам и, возвращаясь в деревню, нашел подле одного домика множество молодых мужчин и девушек, которые между собою играли, прыгали и резвились. Тут праздновали сговор. Мне нетрудно было узнать жениха с невестою: самая прекраснейшая чета, какую только вы себе вообразить можете! Румянец беспрестанно играл на их щеках; они хотели резвиться вместе с другими, но нежная томность, видимая во всех их движениях, отличала их от прочих пастухов и пастушек. Я подошел к жениху, взял его за руку и сказал ему:

— Ты счастлив, мой друг!

Невеста взглянула на меня, и с выразительною благодарностию за мое приветствие. Как нежно чувство в альпийских пастушках! как хорошо понимают они язык сердца! Пастух с улыбкою посмотрел на свою любезную — взоры их встретились. Тут странная мысль пришла в мою голову: мне захотелось оставить будущим супругам какой-нибудь памятник, который бы в течение благополучных дней любви их мог напоминать им, что один путешественник из отдаленнейшей страны Севера был при их сговоре и брал участие в радости невинных сердец. Подумав, я вынул из кармана медаль, не золотую, а медную; но у меня не было ничего более — медаль, на которой изображена голова греческого юноши и которую подарил мне приятель мой Б.

— Возьми ее, — сказал я невесте, — в знак моего доброжелательства.

Она с удивлением взглянула на медаль, на меня и на жениха своего и не знала, что делать.

— Родясь в такой земле, — продолжал я, — где обыкновенно дарят невест, прошу тебя принять от меня эту безделку, которую предлагаю тебе от доброго сердца.

— А в какой земле родились вы? — спросил старик, сидевший на бревне.

— В России.

— В России!.. Да, я слышал об этой земле от стариков наших. Да где бишь она?

— Далеко, мой друг, — там, за горами, прямо к северу.

— Точно, я это помню.

Между тем жених с невестою перешептывались; последняя взяла медаль, сказала: «Спасибо!» — и отдала первому, который повертел ее в руках и опять возвратил ей...

...Солнце село, пастухи и пастушки начали расходиться по домам. Я простился с женихом, с невестою — и если бы альпийские красавицы были не так стыдливы, то, может быть, пришло бы мне на мысль потребовать от нее... невинного поцелуя!

*Деревня Трахт, на берегу Брицского озера,
в 8 часов вечера.*

Вот конец моего пешеходства! Ноги у меня очень болят, и лицо мое от солнечного жара покраснело и почернело; впрочем, я в духе своем бодр и весел.

Дорога от Мейрингена до Трахта идет долиною и хотя очень приятна, однакож не могу сказать об ней ничего примечания достойного. Здесь нашел я шумный праздник. Все поселяне собрались на лугу, пьют и поют песни. Некоторые молодые люди борются; и когда один другого повалит, зрители кричат: «Браво!» Между тем я сижу под окном, посматриваю на веселящихся и на небо, которое начинает покрываться облаками. Хорошо, что я теперь не на горах! — Между тем трактирщица готовит мне для ужина блюдо рыбы, только что теперь в озере пойманной. Завтра поплыву на лодке в Унтерзеен, а оттуда назад в Тун.

Где вы, мои любезные? Как проводите время? Верно не так, как страствующий друг ваш, который на горах и в долинах об вас думает! — Будьте здоровы и благополучны!

Унтерзеен.

Сейчас пришел я в здешний трактир. Почтовая лодка, в которой плыл я из Трахта, пристала к берегу в двух верстах отсюда. Сильный дождь промочил меня насквозь; однакож, плывя по озеру,

я с удовольствием смотрел на горы, которые, будучи покрыты облаками, дымились, как Этны или Везувии. Теперь, в ожидании обеда, сушусь и приготавливаюсь опять к путешествию. Дождь все еще не перестал.

Туи, в 8 часов вечера.

Я благополучно доплыл до Туна, несмотря на сильное волнение озера. Валы играли нашеею лодкою, как шариком. Три женщины, бывшие со мною, беспрестанно кричали; одна из них упала в обморок, и мы с трудом могли привести ее в память. Что принадлежит до меня, то я нимало не боялся, а еще веселился волнами, которые разбивались о каменные берега. Наконец дождь перестал, и благодетельное солнце высушило мое платье. Приехав сюда, чувствовал я озноб; но выпив чашек пять хорошего чаю, стал опять совершенно здоров. — Завтра в четыре часа отправлюсь в Берн, где остались мои пожитки.

Берн, 10 сентября 1789.

Возвратясь с Альпийских гор, прожил я в Берне семь дней, и притом не скучно: то посещал своих знакомцев, которые обходились со мною очень дружелюбно; то прогуливался за городом — читал — писал. Третьего дни водил меня пастор Штапфер к господину Шпренгли, имеющему полное собрание швейцарских птиц, множество древних медалей и других редкостей. Сам он по жизни своей достоин примечания не менее своего кабинета. Домик у него прекрасный, за городом, на высоком месте, откуда видны окрестные селения и снежные горы. Ему теперь около семидесяти лет. В доме, кроме его самого, мы никого не видали; пожилая служанка отправляет должность приворотника. Комнаты прибраны со вкусом, и все отменно чисто. Сей старик богат — наслаждается Натурою, изобилием, спокойствием. За несколько лет перед сим он был беден и разбогател от наследства, полученного им печально после одного дальнего свойственника. — Учаясь орнитологии в молодых своих летах, покупал он разных птиц, анатомировал их и отдавал делать из них чучелы: вот основание того полного собрания, которое ныне привлекает к нему в дом почти всех путешественников и которого не отдаст он ни за пятьдесят тысяч рублей! — Ему очень знаком наш доктор Оз.

Вчера ходил я пешком в деревню Гиндельбанк, находящуюся в двух французских милях отсюда. В тамошней церкви сооружен монумент так называемой *прекрасной жене*. Думаю, что вы читали или слышали о сем памятнике, которого история достойна примечания. Господин Эрлах, знатный бернский гражданин и помещик деревни Гиндельбанк, призвал немецкого художника Наля и поручил ему сделать мраморный монумент отцу своему. Наль,

занимаясь сею работою, жил в доме у проповедника той деревни, г. Ланганса. Когда работа совершилась, пышный Эрлах вздумал прибегнуть к золоту, чтобы придать памятнику более великолепия. Наль говорил, что золото все испортит; но его не слушали, и гордый художник, сжав сердце, должен был повиноваться. В сие время умерла родами жена Лангансова, молодая прекрасная женщина, которую Наль любил сердечно за милые свойства ее. Он плакал вместе с неутешным супругом; но вдруг, подобно молнии, блеснула в голове его мысль: *искусство мое да сохранит память ее в течение времен!* Обняв Ланганса, сказал он:

— Слезы наши текут и в прахе исчезают; изящные произведения художеств живут вовеки — рука моя, повинуюсь сердцу, изобразит на камне твою любезную; жители отдаленных земель захотят видеть сие изображение и в сравнении с ним будут презирать эрлахский памятник, — Сказал и сделал.

Он представил мать (прекрасная греческая фигура!), воскресающую вместе с младенцем. Камень гробный распался. Она поднимает голову; одною рукою держит сына, а другою хочет отвалить камень и между тем с великим вниманием слушает небесную музыку, пробуждающую мертвых. Сия мысль прекрасна и доказывает пиитический дух художника; работа отвечает ей. Галлер сочинил к памятнику следующую надпись (заставляя говорить воскресающую): «Се трубный глас! он пронизает в могилу. Пробудись, сын мой, сын печали, и сложи с себя тленность! Спеши во сретение твоему искупителю, от которого бежит смерть и время; в вечное благо превращается все страдание». Надпись хороша; но для первого мгновения, в котором представлена воскресающая, слишком плодовита. Лучше, если бы она сказала только: «Трубный глас!.. Пробудись, сын мой! се спаситель!» — Некоторые думают, что художник не искусственно представил распавшийся камень, а в самом деле разломил его, вырезав прежде на нем надпись; но ревностные защитники искусства смеются над сею мыслию. Повыше Галлеровой надписи вырезан стих из св. писания: «Се аз и чадо мое, еже дал ми еси ты». Жаль только, что сей прекрасный монумент поставлен очень дурно! Он совсем скрыт под полом, и чтобы видеть его, то надобно поднять две доски. Об эрлахском пышном памятнике не скажу ни слова: художник не хотел, чтобы об нем говорили. — Нынешний гиндельбанкский проповедник не мог бы подружиться с Налем; в физиогномии его не приметил я ничего пастырского и ничего такого, что бы показывало чувство. Как он учит своих поселян, не знаю. — В Гиндельбанке есть бедный трактир, в котором я едва мог утолить свой голод; отобедав там, возвратился к вечеру в город.

Кажется, я еще не писал к вам о здешнем славном цейггаузе. Там видите вы множество всякого орудия и всех воинских потреб-

ностей; но более внимания заслуживают латы древних бернских героев, славных храбростью и делами своими. Самые большие из них принадлежали основателю Берна герцогу перингенскому. Надобно, чтобы он был гигант — и если не хотел взять приступом неба, то по крайней мере ужас был его предтечею, когда он шел против неприятелей. Не знаю, любезные друзья мои, какой хлад разливается по моим жилам при виде памятников рыцарского времени, когда люди всего более верили руке своей и — провидению; когда число побед бывало числом достоинств человека и когда в храбрости вмещалось понятие всех добродетелей. — Пистолеты Карла Смелого, герцога бургундского, украшенные серебром и слоновою костью, показали мне также примечания достойными; я смотрел на них несколько минут и воображал руку, их некогда державшую.

Здесь нравы не так уже строги, как в Цирихе. Женщины и мужчины сходятся вместе — обыкновенно после обеда, часа в четыре — и первые говорят свободно, шутят и бывают душою общества. Некоторые девицы играют на клавесине, поют и восхищают слушателей. Знакомцы мои два раза водили меня в сии собрания, которые были довольно многочисленны. Но в карты здесь не играют, так же как и в Цирихе. С иностранцами говорят всегда по-французски, и притом гораздо лучше, нежели в других городах Швейцарии; что же принадлежит до здешнего немецкого языка, то он весьма испорчен и неприятен слуху.

Бернский аристократизм почитается самым строжайшим в Швейцарии. Некоторые фамилии присвоили себе всю власть в республике; из них составляется Большой совет и Сенат (из которых первый имеет законодательную, а последний исполнительную власть); из них выбираются судьи, так называемые ландфохты или правители в округах, на которые разделен Бернский кантон; все прочие жители не имеют участия в правлении. Число сих аристократических или господствующих фамилий беспрестанно уменьшается; они могут сообщать свои права другим фамилиям, но это редко бывает.

По вечерам обыкновенно выходил я на террасу и гулял при свете лунном под ветвями каштановых дерев, будучи углублен в приятную задумчивость. Ах, любезные друзья мои! только на горах сердце мое не было сиротою! Там казалось мне, что я к вам ближе.

Завтра поеду в Лозану и простился уже со всеми своими знакомыми, кроме проповедника Штапфера. Сей добрый швейцар полюбил меня и мне полюбился. Всякий день проводил я в его кабинете несколько приятных часов. Все семейство его очень мило. Он запретил мне сказывать, когда я выеду из Берна, и не хочет прощаться со мною. Чувствительный человек!

Здесь расstaюсь с немецким языком, и не без сожаления. Простите, мои друзья! Пакет свой отнесу на почту. Если бы вы с таким удовольствием читали мои письма, с каким я пишу их!

Лозана.

От Берна до Лозаны ехал я садом, и прекраснейшим садом. Деревя вокруг дороги гнулись под сочными, тяжелыми плодами, и златая осень являлась везде в самом блистательнейшем виде. День был воскресный; нарядные поселяне веселились в кругах и пили пенистое вино с восклицанием: *да здравствует Швейцария!*

Проехав городок Муртен, кучер мой остановился и сказал мне:

— Хотите ли видеть остатки наших неприятелей?

— Где?

— Здесь, на правой стороне дороги.

Я выскочил из кареты и увидел за железною решеткою огромную кучу — костей человеческих.

Карл Дерзостный, герцог бургундский, один из сильнейших европейских государей своего времени, бич человечества, ужас соседственных народов, но воин храбрый, вознамерился в 1476 году покорить жителей Гельвеции и гордость независимых смирить железным скипетром тиранства. Двинулось его воинство; разноцветные знамена возвевались, и земля застонала под тяжестью его огнестрельных орудий. Уже полки бургундские во многочисленных рядах расположились на берегах Муртенского озера, и Карл, завистливым оком смотря на тихие долины Гельвеции, именовал их *своими*. В один час¹ разнесся по всей Швейцарии слух о близости врагов, и миролюбивые пастухи, оставив хижины и стада свои, вооружились мгновенно секирами и копьями, соединились и при гласе труб, при гласе любви к отечеству, громко раздавшемся в сердцах их, с высоты холмов устремились на многочисленных неприятелей, подобно шумным рекам, с гор падающим. Громы Карловы загремели; но храбрые непобедимые швейцары сквозь дым и мрак ворвались в ряды его воинства, и громы умолкли, и ряды исчезли под сокрушительною их рукою. Сам герцог в отчаянии бросился в озеро, и сильный конь вынес его на другой берег. Один верный служитель вместе с ним спасся; но Карл, обратив взор на поле сражения и видя погибель всех своих воинов, в испуге бешенства застрелил его из пистолета, воскликнув: «Тебе ли одному оставаться?» — Победители собрали кости мертвых врагов и положили их близ дороги, где лежат они и поныне.

¹ Посредством сигналов.

Я затрепетал, друзья мои, при сем плачевном виде нашей тленности. Швейцары! неужели можете вы веселиться таким печальным *трофеем*? Бургундцы по человечеству были вам братья. Ах! если бы, омочив слезами сии остатки тридцати тысяч несчастных, вы с благословением предали их земле и на месте победы своей соорудили черный монумент, вырезав на нем сии слова: *Здесь швейцары сражались за свое отечество, победили и оплакали свою победу*, — тогда бы я похвалил вас в сердце своем. Сокройте, сокройте сей памятник варварства! Гордясь именем швейцара, не забывайте благороднейшего своего имени — имени человека!

Множество надписей читал я на стенах, которыми обведен сей открытый гроб. Вы знаете одну из них, сочиненную Галлером:

Steh still, Helvetier! hier liegt das kühne Heer,
Vor welchem Lüttich fiel, und Frankreichs Thron erbebte.
Nicht unsrer Ahnen Zahl, nicht künstlichers Gewehr,
Die Eintracht schlug den Feind, die ihren Arm belebte.
Kennt, Brüder, eure Macht: sie liegt in unsrer Treu.
O, würde sie noch heut in jedem Leser neu.¹

Сверх того написаны тут тысячи имен и примечаний. Где не обнаруживается склонность человека к распространению бытия своего или слуха об нем? Для сего открывают новые земли; для сего путешественник пишет имя свое на гробе бургундцев. Многие в память того, что они посещали этот гроб, берут из него кости; я не мог следовать их примеру — вы догадаетесь, для чего. — Впрочем, все кости так высохли, что от них нет никакого дурного запаха.

Далее за Муртею представились мне развалины Авентикума, древнего римского города, — развалины, состоящие в остатке колоннад, стен, водяных труб и проч. Где великолепие сего города, который был некогда первым в Гельвеции? где его жители? Исчезают царства, города и народы — исчезнем и мы, любезные друзья мои!.. где будут стоять гробы наши? — Настала ночь, взошла луна и осветила могилу тех, которые некогда ликовали при ее свете.

Лозана.

Я приехал в Лозану ночью. Город спал, и все молчало, кроме так называемого ночного караульщика, который, ходя по улицам, кричал: «Ударило час, граждане!» Мне хотелось остановиться

¹ Остановись, сын Гельвеции! здесь лежит дерзостное воипство, пред которым пал Литтих и трепетал престол Франции. Не число наших предков, не искуснейшее оружие, но *согласие*, оживлявшее руку их, победило врага. Познайте, братья, силу свою: она состоит в нашей *верности* — ах! да обновится и ныне верность сия в сердцах ваших.

в трактире «Золотого льва»; но на стук мой отвечали там: «*Tout est plein, monsieur, tout est plein!*» (Все занято, государь мой, все занято!) Я постучался в другом трактире, à la Couronne; но и там отвечали мне: «*Tout est plein, monsieur!*» — Вообразите мое положение! Ночью на улице, в неизвестном для меня городе, без пристанища, без знакомых! Ночной караульщик сжалился надо мною и, подошедши к запертым дверям трактира, уверял сонливого ответателя, что «*monsieur est un voyageur de qualité*» (что приехавший господин не из простых путешественников); но нам тем же голосом отвечали: «Все занято; желаю доброй ночи господину путешественнику!»

— *C'est impertinent ça* (это бесстыдно), — сказал мой заступник, — подите за мною в трактир «Оленя», где вас, верно, примут.

Там в самом деле меня приняли и отвели мне изрядную комнату. Добродушный караульщик с улыбкою сердечного удовольствия пожелал мне приятного сна, отказался от двадцати копеек, предложенных ему от меня, — пошел и закричал: «Ударило час, любезные граждане!» Я развернул карманную книжку свою и записал: *такого-то числа в Лозане нашел доброго человека, который бескорыстно услуживает ближним.*

На другой день поутру исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены. Но на всяком возвышенном месте открываются живописные виды. Чистое обширное Женевское озеро; цепь Савойских гор, за ним белеющихся, и рассеянные по берегу его деревни и городки — Морж, Роль, Нион — составляют прелестную разнообразную картину. Друзья мои! когда судьба велит вам быть в Лозане, то взойдите на террасу кафедральной церкви и вспомните, что несколько часов моей жизни протекло тут в удовольствии и тихой радости! Если бы теперь спросили меня: чем нельзя никогда насытиться? то я отвечал бы: хорошими видами. Сколько я видел прекрасных мест! и при всем том смотрю на новые с самым живейшим удовольствием.

У меня было письмо к г. Леваду (натуралисту и автору разных пьес, напечатанных в сочинениях Лозанского ученого общества). Дом и сад его мне очень полюбились; в последнем встречаются глазам латинские, французские и английские надписи, выбранные из разных поэтов. Между прочими нашел я строфу и Аддиссоновой оды, в которой поэт благодарит бога за все дары, приятные им от руки его, — за сердце, чувствительное и способное к наслаждению, — и за друга, верного, любезного друга! Счастлив г. Левад, если в Аддиссоновых стихах находит он собственные свои чувства! — Сия ода напечатана в «Английском зрителе». Некогда

просидел я целую летнюю ночь за переводом ее, и в самую ту минуту, когда написал последние два стиха:

И в самой вечности не можно
Воспеть всей славы твоея!

восходящее солнце осветило меня первыми лучами своими. Это утро было одно из лучших в моей жизни!

Вместе с г. Левадом был я в *Café littéraire*, где можно читать многие французские, английские и немецкие журналы. Я намерен часто посещать этот кофейный дом, пока буду в Лозане. Теперь же, к несчастью, нельзя прогуливаться; почти с самого утра идет пресильный дождь.

Лозана бывает всегда наполнена молодыми англичанами, которые приезжают сюда учиться по-французски и — делать разные глупости и проказы. Иногда и наши любезные соотечественники присоединяются к ним и, вместо того чтобы успевать в науках, успевают в шалостях. По крайней мере я никому бы не советовал посылать детей своих в Лозану, где разве только одному французскому языку можно хорошо выучиться. Все прочие науки преподаются в немецких университетах гораздо лучше, нежели здесь: чему доказательством служит и то, что самые швейцары, желающие посвятить себя учености, ездят в Лейпциг, а особливо в Геттинген. Нигде *способы учения* не доведены до такого совершенства, как ныне в Германии; и кого Платнер, кого Гейне не заставит полюбить науки, тот, конечно, не имеет уже в себе никакой способности. — Молодые чужестранцы живут и учатся здесь в пансионах, платя за то шесть или семь луддоров в месяц: что составит на наши деньги около пятидесяти рублей.

Здесь поселился наш соотечественник, граф Григорий Кириллович Разумовский, человек ученый и великий натуралист. По любви к наукам отказался он от чинов, на которые знатный род его давал ему право, — удалился в такую землю, где Натура столь великолепна и где склонность его находит для себя более пищи, — живет в тишине, трудится над умножением знаний человеческих в царствах Природы и делает честь своему отечеству. Если не ошибаюсь, то он первый из россиян известен в Европе как истинно ученый человек. Сочинения его все на французском языке. — За несколько недель перед сим уехал он в Россию, но с тем, чтобы опять возвратиться в Лозану.

Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Там из черного мрамора сооружен памятник княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозане в объятиях нежного неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувствительна!.. Я благословил память ее. — Белая

мраморная урна стоит на том месте, где погребена герцогиня курляндская, которая была предметом почтения и любви всех здешних жителей. Она любила Натуру и Поэзию; Натура и музы Британии вместе с музами германскими образовали дух и сердце ее.

В пять часов поутру вышел я из Лозаны с весельем в сердце и — с Руссовою «Элоизою» в руках. Вы, конечно, угадаете цель сего путешествия. Так, друзья мои! я хотел видеть собственными глазами те прекрасные места, в которых бессмертный Руссо поселил своих романических любовников. Дорога от Лозаны идет между виноградных садов, обведенных высокою каменною стеною, которая на обеих сторонах была границею моего зрения. Но где только стена перерывается, там видны с левой стороны разнообразные уступы и возвышения горы Юры, на которых представляются глазам или прекраснейшие виноградные сады, или маленькие домики, или башни с развалинами древних замков; а на правой зеленые луга, обсаженные плодovitыми деревьями, и гладкое Женевское озеро с грозными скалами савойского берега. — В девять часов был я уже в Веве (до которого от Лозаны четыре французских мили) и, остановясь под тению каштановых деревьев гульбища, смотрел на каменные утесы Мельери, с которых отчаянный Сен-Прё хотел низвергнуться в озеро и откуда писал он к Юлии следующие строки:

«В ужасных иступлениях и в волнении души моей не могу я быть на одном месте; брожу, с усилием взбираюсь на высоты, устремляюсь на вершины скал; скорыми шагами обхожу все окрестности и вижу во всех предметах тот самый ужас, который царствует в моей внутренности. Нигде уже нет зелени; трава поблекла и пожелтела, деревья стоят без листьев, холодный ветер надувает сугробы, и вся Натура мертва в глазах моих, подобно надежде в моем сердце. — Между скалами сего берега нашел я в уединенном убежище маленькую равнину, откуда виден счастливый город, в котором ты обитаешь. Вообрази, с какою жадностию устремился взор мой к сему любезному месту! В первый день я всячески старался найти глазами дом твой; но от чрезмерной отдаленности все мои усилия оставались тщетными, и я, приметив, что воображение обманывает глаза мои, пошел к священнику и взял у него телескоп, посредством которого увидел жилище твое...

«С того времени целые дни провожу в сем убежище и смотрю на блаженные стены, заключающие в себе источник жизни моей. Невзирая на дурную погоду, прихожу туда поутру и возвращаюсь оттуда ночью. Листья, сухие ветви, мною зажигаемые, и беспреостанное движение защищают меня от чрезвычайного холода. Сие дикое место мне так полюбилось, что я приношу туда бумагу

с чернилицею, и теперь пишу там письмо, на камне, отвалившемся от ближней скалы».

Вы можете иметь понятие о чувствах, произведенных во мне сими предметами, зная, как я люблю Руссо и с каким удовольствием читал с вами его «Элоизу»! Хотя в сем романе много неестественного, много увеличенного — одним словом, много *романического*, — однакож на французском языке никто не описывал любви такими яркими, живыми красками, какими она в «Элоизе» описана — в «Элоизе», без которой не существовал бы и немецкий «Вертер». ¹ — Надобно, чтобы красота здешних мест сделала глубокое впечатление в Руссовой душе; все описания его так живы и притом так верны! Мне казалось, что я нашел глазами и ту равнину (*esplanade*), которая была столь привлекательна для несчастного Сен-Прё. Ах, друзья мои! для чего в самом деле не было Юлии! для чего Руссо не велит искать здесь следов ее! Жестокий! ты описал нам такое прекрасное существо и после говоришь: *его нет!* Вы помните это место в его «Confessions»: «Я скажу всем, имеющим вкус, всем чувствительным: поезжайте в Веве, осмотрите его окрестности, гуляйте по озеру — и вы согласитесь, что сии прекрасные места достойны Юлии, Клеры и Сен-Прё; но не ищите их там». — Кокс, известный английский путешественник, пишет, что Руссо сочинял «Элоизу» живучи в деревне Мельери; но это несправедливо. Господин де Л., о котором вы слышали, знал Руссо и уверял меня, что он писал сей роман в то время, когда жил в Эрмитаже, в трех или четырех милях от Парижа. ²

¹ Основание романа то же, и многие *положения* (*situations*) в «Вертере» взяты из «Элоизы»; но в нем более *Натуры*.

² Тогда я не читал еще продолжения Руссовых «Признаний», или «Confessions», которое вышло в свет в бытность мою в Женеве и в котором описано происхождение всех его сочинений по порядку. Я приведу здесь места, касающиеся до «Элоизы». Руссо, прославясь в Париже своею оперою «*Devin du village*» [«Деревенский колдун». *Ред.*] и другими сочинениями, приехал в Женеву и был принят там отменно ласково; все уверяли его в своей любви, в почтении к его дарованиям, и чувствительный, растроганный Руссо обещал своим согражданам навсегда к ним переселиться и только на короткое время съездить в Париж, чтобы учредить там дела свои. «После сего решения (говорит он) я оставил все важные упражнения, чтобы веселиться с друзьями до времени моего отъезда. Всего более полюбилась мне тогда прогулка с семейством приятеля моего Делюка. В самое прекрасное время наняли мы лодку и в семь дней объехали все озеро. Места на другом конце его впечатлелись в моей памяти, и через несколько лет после того я описал их в «Новой Элоизе». — Господин де Л. сказал мне правду: Руссо точно сочинил свою «Элоизу» в то время, когда жил в Эрмитаже подле Парижа. Вот что говорит он о происхождении своего романа: «Я представлял себе любовь и дружбу (двух идолов моего сердца) в самых восхитительнейших образах; украсил их всеми прелестями нежного пола, всегда мною любимого; воображал себе спх друзей не мужчинами, а женщинами (если такой пример и реже, то по крайней мере он еще любезнее). Я дал им два характера сходные, но не одинакие; два образа пессовершенные, но по моему вкусу; доброта и чувствительность одушевляли их. Одна была черповолосая, другая белоку-

Отдохнув в трактире и напившись чаю, пошел я далее по берегу озера, чтобы видеть главную сцену романа, селение Кларан. Высокие густые деревья скрывают его от нетерпеливых взоров. Подошел и увидел — бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями. Вместо жилища Юлиина, столь прекрасно описанного, представился мне старый замок с башнями; суровая наружность его показывает суровость тех времен, в которые он построен. Многие из тамошних жителей знают «Новую Элоизу» и весьма довольны тем, что великий Руссо прославил их родину, сделав ее сценою своего романа. Работавший поселенин, видя там любопытного пришельца, говорит ему с усмешкою: — Барин, конечно, читал «Новую Элоизу»?

Один старик показывал мне и тот лесок, в котором, по Руссову описанию, Юлия поцеловала в первый раз страстного Сен-Прё и сим магическим прикосновением потрясла в нем всю нервную систему его. — За деревенькою волны озера омывают стены укрепленного замка Шильйона; унылый шум их склоняет душу к меланхолической дремоте. Еще далее, при конце озера (где впадает в него Рона) лежит Вильнёв, маленький городок; но я посмотрел на него издали и возвратился в Веве.

О сем городе скажу вам, что положение его — на берегу прекраснейшего в свете озера, против диких савойских утесов и подле плодоносных гор — очень приятно. Он несравненно лучше Лозаны; улицы ровны и регулярны; есть хорошие дома и прекрасная площадь. Здесь живут почти все дворяне французской

рая; одна рассудительна, другая слаба, но в самой слабости своей любезная и добродетельная. Одна из них имела любовника, которому другая была нежным другом, и еще более, нежели другом; но только без всякого совместничества, без ревности и ссоры: ибо душе моей трудно воображать противные чувства, и притом мне не хотелось помрачить сей картины ничем, унижающим Натуру. Будучи восхищен сими двумя прекрасными образцами, я всячески сближал себя с любовником и другом; однакож представил его молодым и прекрасным, дав ему мои добродетели и пороки. Чтобы поселить моих любовников в пристойной для них стране, я проходил в памяти своей все лучшие места, виденные мною в путешествиях; но не мог найти ни одного совершенно хорошего. Долины Фессалийские могли бы меня удовлетворить, если бы я видел их; но воображение мое, утомленное выдумками, хотело какого-нибудь существующего места, которое могло бы служить ему основанием. Наконец я выбрал берега того озера, вокруг которого сердце мое не переставало носиться, — и проч. С неописанным удовольствием читал я в Женеве сии «Confessions», в которых так живо изображается душа и сердце Руссо. Несколько времени после того воображение мое только им занималось, и даже во сне. Дух его царил надо мною. — Один молодой знакомый мне живописец, прочитав «Confessions», так полюбил Руссо, что несколько раз принимался писать его в разных положениях, хотя (сколько мне известно) не кончил ни одной из сих картин. Я помню, что он между прочим изобразил его целующего фланелевую юбку, присланную ему на жилет от госпожи Денине. Молодому живописцу казалось это очень трогательным. Люди имеют разные глаза и разные чувства!

Швейцарии, или Pays-de-Vaud; за всем тем Веве не кажется многолюдным городом.

В здешний трактир вместе со мною вошли четыре человека в дорожных платьях и вместе со мною потребовали обеда. В несколько минут мы познакомились, и я узнал, что трое из них вестфальские бароны, а четвертый польский князь. Последний возвращается из Франции в свое отечество и заехал в Швейцарию только для того, чтобы взглянуть на Мельери и Кларан. Бароны *по доверенности* сказали мне (когда поляк вышел из комнаты), что они весьма недовольны его товариществом; что он навязался на них в городке Морже и с того времени не дает покою ушам их, беспрестанно бранясь или с кучером, или с гребцами, или с трактирщиками; и что он, по их примечанию, есть великий лжец. Скоро я имел случай увериться в справедливости сказанного ими. Лишь только мы сели за стол, польский князь начал бранить хозяина за кушанье; все было для него дурно, всего мало. Трактирщик напомнил ему, что он не в Варшаве; но поляк не унялся до последнего блюда. Потом вздумал он рассказывать мне о бастильском штурме, на котором будто бы прострелили ему шляпу и кафтан. Я не мог его долго слушать, чувствуя нужду в отдохновении, и ушел в отведенную мне комнату.

Всякий, кто читал примечания Коксова переводчика Рамона, взойдет, конечно, на террасу здешней церкви, чтобы, сидя между гробами под мрачною тению столетних деревьев, проводить глазами заходящее солнце, наслаждаться тишиною вечернею и видеть сгущение ночных теней на романической картине вевейских окрестностей. Я был там и, погружаясь в самого себя, не чувствовал, как черная величественная ночь окунула покровом своим и небо и землю. — Простите.

Лозана.

Вчера возвратился я из Веве и насилу дошел до Лозаны, будучи измучен зноем и жаром.

От сильного волнения в крови провел я ночь беспокойно и видел сны, из которых один показался мне примечания достойным. Мне привиделось, что я в большой зале стою на кафедре и при множестве слушателей говорю речь о темпераментах. Проснувшись, схватил я перо и написал, что осталось у меня в памяти: из чего, к моему удивлению, вышло нечто порядочное. Судите сами — вот сей отрывок:

«*Темперамент* есть основание нравственного существа нашего, а *характер* случайная форма его. Мы родимся с темпераментом, но без характера, который образуется мало-помалу от внешних впечатлений. Характер зависит, конечно, от темперамента, но только отчасти, завися, впрочем, от рода действующих на нас

предметов. Особливая способность принимать впечатления есть темперамент; форма, которую дают сии впечатления нравственному существу, есть характер. Один предмет производит разные действия в людях — от чего? от различности темпераментов или от разного свойства *нравственной массы*, которая есть младенец».

Вы мне поверите, что я не прибавил и не убавил, а написал слова точно так, как сновидение впечатлело их в моей памяти. Кто изъяснит связь идей, во сне нам представляющихся? и каким образом они возбуждаются? Я совсем не думал наяву о темпераментах и характерах: отчего же мечтал об них?

Я завтракал ныне у г. Левада с двумя французскими маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о парижских дамах, сказав, что некоторые из них, видя нагой труп несчастного дю-Фулона, терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: «Как же он был нежен и бел!» И маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!! У меня сердце поворотилось.

Лозанские общества отличаются от бернских, во-первых, тем, что в них всегда играют в карты, а во-вторых, и большею свободою в обращении. Мне кажется, что здешние жители переняли не только язык, но и самые нравы у французов, по крайней мере отчасти, то есть удержав в себе некоторую жесткость и холодность, свойственную швейцарам. Сие смещение для меня противно. Целость, оригинальность! вы во всем драгоценны; вы занимаете, питаете мою душу — всякое подражание мне неприятно.

Я слышал ныне проповедь в кафедральной церкви. Проповедник был распудрен и разряжен; в телодвижениях и в голосе актерствовал до крайности. Все поучение состояло в высокопарном пустословии, а комплимент начальникам и всему красному городу Лозане был заключением. Я посматривал то на проповедника, то на слушателей; вообразил себе нашего П., знам[енского] священника, Лафатера — пожал плечами и вышел вон. Кстати или некстати скажу вам, что из всех церковных риториков, которых мне удалось читать или слышать, нравится мне более — Йорик.

На здешнем загородном гульбище, называемом Mont-Benon, нашел я ныне ввечеру множество людей. Какое смешение наций! Швейцары, французы, англичане, немцы, итальянцы толпились вместе. Я сел на уединенной лавке и дождался захождения солнца, которое, спускаясь к озеру, освещало на стороне Савойи дичь, пустоту, бедность, а на берегу лозанском плодоносные сады, изобилие и богатство; мне казалось, что в ветерке, несущемся с противоположного берега, слышу я вздохи бедных поселян савойских.

Женева, октября 2, 1789.

Вдруг три письма от вас, милые! Если бы вы видели, как я обрадовался! По крайней мере вы живы и здоровы! Благодарю судьбу! Если счастье ваше не совершенно; если...¹ Друзья мои! более ничего не скажу; но я хотел бы отдать вам все свои приятные минуты, чтобы сделать жизнь вашу цепью минут, часов и дней приятных. Когда-нибудь — мы будем счастливы! верно, верно будем!

От Лозаны до Женевы ехал я по берегу озера между виноградных садов и полей, которые, впрочем, не так хорошо обработаны, как в немецкой Швейцарии, и поселяне в Pays-de-Vaud гораздо беднее, нежели в Бернском и Цюрихском кантонах. — Из городков, лежащих на берегу озера, лучше всех полюбился мне Морж.

Вы, конечно, удивитесь, когда скажу вам, что я в Женеве намерен прожить почти всю зиму. Окрестности женевские прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые дома. Образ жизни женевцев свободен и приятен — чего же лучше? Ведь мне надобно пожить на одном месте! Душа моя утомилась от множества любопытных и беспрестанно новых предметов, которые привлекали к себе ее внимание; ей нужно отдохновение — нужен тонкий, сладостный, питательный сон на персях любезной Природы.

Трактирная жизнь моя кончилась. За десять рублей в месяц я нанял себе большую, светлую, изрядно прибранную комнату в доме; завел свой чай и кофе; а обедаю в пансионе, платя за то рубли четыре в неделю. Вы не можете вообразить себе, как приятен мне теперь новый образ жизни и маленькое заведенное мною хозяйство! Вставши рано поутру и надев свой походный сертук, выхожу из города, гуляю по берегу гладкого озера или шумящей Роны, между садов и прекрасных сельских домиков, в которых богатые женевские граждане проводят лето; отдыхаю и пью чай в каком-нибудь трактире, или во Франции, или в Швейцарии, или в Савойе (вы знаете, что Женева лежит на границе сих земель), — еще гуляю, возвращаясь домой, пью с густыми сливками кофе, который варит мне хозяйка моя, мадам Лажье, — читаю книгу или пишу, — в двенадцать часов одеваюсь, в час обедаю; после обеда бываю в кофейных домах, где всегда множество людей и где рассказываются вести; где рассуждают о французских делах, о декретах Национального собрания, о Неккере, о графе Мирабо и проч. В шесть часов иду или в театр, или в собрание — и таким образом кончится вечер.

В рассуждении здешних обществ скажу вам, что женевцы обыкновенно зовут гостей на вечер *пить чай*. В шесть часов сходятся, пьют кофе, чай и едят бисквиты; садятся играть в карты,

¹ Здесь выпущено несколько строк, писанных не для публики.

по большей части в вист, и проигрывают или выигрывают рубли два, три; в десятом часу все расходятся, кроме трех или четырех коротких хозяину приятелей, которые остаются у него ужинать. На сих *вечеринках* собирается человек по шестидесяти; тут видите вы знатных французов, оставивших свое отечество, — немецких принцев, англичан и всего менее женеццев. Обедать или ужинать зовут редко. Г. Кела, один из начальников или синдиков здешней республики, пригласил меня однажды к обеду в загородный дом свой. Стол был очень хорош. Тут познакомился я с гишпанцем, который десять лет жил в Петербурге, отправляя должность советника при гишпанском посольстве, и который по некоторым обстоятельствам должен был оставить свое отечество; зиму проводит он в Лионе, а лето в Швейцарии. — Барон де Лю, Лафатеров приятель, познакомил меня с готскими молодыми принцами, которые учатся здесь *светской науке*, или *приятному обхождению*. Я у них обедал; меньшей гораздо живее и остроумнее большого, наследника высокого готского трона. Вы слышались о бароне Г.: я улыбнулся, вспомнив, что имею честь сидеть подле его будущего повелителя, который может без всякого суда — от чего боже сохрани! — снять с него шляпу... и голову. — Вчера позвал меня ужинать г. Конклер. Я пришел в девять часов, но хозяин совсем еще неготов был принимать гостей и сидел в своем кабинете. Через полчаса вошла хозяйка, и начали собираться гости. Между прочими был тут один глухой барон, над которым женецские дамы весьма забавлялись. Они загадывали ему загадки: барон брался все отгадывать, но, к несчастью, не отгадал ни одной. Например: для чего Генрих IV, враг всякой пышности, имел золотые шпоры? Барон пять раз улыбался, пять раз отвечал, но все невпопад. Наконец вывели его из недоумения, сказав: «Pour piquer son cheval» (чтобы колоть свою лошадь).

— О! я это думал! — закричал барон: — *c'est tout clair!* (Ничто не может быть яснее!)

Еще: что находится *au milieu de Paris* (в середине Парижа)? Барон, который недавно приехал из Парижа, отвечал: *город — люди — камни — грязь*. Над каждым ответом смеялись и наконец объявили, что *au milieu de Paris* находится г.

— Я только лишь хотел это сказать! — закричал барон, и все захохотали.

Хозяйка, которая почитается одною из разумнейших женщин Женевской республики, расспрашивала меня о московских дамах. Вопрос: *хороши ли они?* Ответ: *прекрасны*. Вопрос: *умны ли они?* Ответ: *беспримерно*. Вопрос: *сочиняют ли они стихи?* Ответ: *бесподобные*. Вопрос: *какого роду?* Ответ: *молитвы*.

— *Vous badinez, monsieur!* (Вы шутите!)

— Извините, сударыня; я говорю точную правду.

— Да разве они очень много грешат?

— Нет, сударыня; они молятся о том, чтобы не грешить.

— А! Это другое дело! — Госпожа Конклер подала мне руку, и мы пошли ужинать.

В полночь. Ныне ввечеру чувствовал я в душе своей великую тягость и скуку: каждая мысль, которая приходила ко мне в голову, давила мозг мой; мне неловко было ни стоять, ни ходить. Я пошел в Бастион, здешнее гульбище — лег на углу вала и дал глазам своим волю перебегать от предмета к предмету. Мало-помалу голова моя облегчалась вместе с моим сердцем. Вечер был самый теплый и приятный. На обеих сторонах представились мне горы, окруженные облаками, которые носились выше и ниже их вершин: вид величественный и грозный! Прямо передо мною простиралась большая равнина, усеянная рошицами, деревеньками и уединенными домиками. Все было тихо. От времени до времени — по большой дороге, идущей вдоль равнины, — мчались в колясках молодые англичане, которые, боясь следствия скоплавшихся облаков, погоняли кургузых коней своих, чтобы скорее возвратиться в город. Ветерок, как птичка, прилетел от Юры и шептал мне на ухо — не знаю, что. Тут вдруг ударили в барабан. Боясь, чтобы меня не заперли в Бастионе, я вскочил и вышел оттуда; но не желая расстаться с вечером, пошел на Трель, другое гульбище подле ратуши, и сел на лавке под ореховыми деревьями, где представились мне те же виды, которыми веселился я в Бастионе. Темнота сгущалась; ветер усиливался и шумел ужасно между деревьями; облака неслись быстро, натекли на город, и пошел дождь. Обратив глаза на долину, вдруг увидел я множество огней, которые в темноте представляли романическое зрелище. Мне казалось, что я вижу там замки благодетельных фей, — и все сказки, которые восплаляли младенческое мое воображение и делали меня в ребячестве маленьким Дон-Кихотом, оживились в моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнил я один вечер, сумрачный и бурный, в который, ощутив вдохновение божественных фей, укрался я от своего, впрочем весьма бдительного, дядьки, забрался в ту горницу, где хранились разные оружия, покрытые почтенною ржавчиною, — схватил саблю, которая пришлась мне по руке, и, заткнув ее за кушак тулупа своего, отправился на гумно ¹ искать приключений и противиться силе злых волшебников; но чувствуя в себе на каждом шагу умножение страха, махнул саблею несколько раз по черному воздуху и благополучно возвратился в свою комнату, думая, что подвиг мой был довольно важен. Лета младенчества! кто помышляет об вас без удовольствия? И чем старше мы становимся, тем приятнее вы нам кажетесь.

¹ Я жил тогда в деревне.

Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века?

Я ходил туда пешком с одним молодым немцем. Бывший Вольтеров замок построен на возвышенном месте, в некотором расстоянии от деревни Ферней, откуда идет к нему прекрасная аллея. Перед домом на левой стороне увидели мы маленькую церковь с надписью: *Вольтер богу*.

«Вольтер был один из ревностных почитателей божества (говорит де ла-Гарп в похвальном слове фернейскому мудрецу). «*Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer*» (если бы не существовал бог, то надлежало бы его выдумать) — сей прекрасный стих написан им в старости и показывает его философию».

Человек, вышедший к нам навстречу, не хотел было вести нас в дом, говоря, что господин его, которому известная наследница Вольтерова продала сей замок, не велел никого пускать туда; но мы уверили его в нашей благодарности, и в минуту отворилась нам дверь во святилище, то есть в те комнаты, где жил Вольтер и где все осталось так, как при нем было. Комнатные приборы хороши и довольно богаты. В той горнице, где стоит Вольтерова кровать, было погребено его сердце, которое г-жа Денис увезла с собою в Париж. Остался один черный монумент, на котором написано в середине: «*Son esprit est partout, et son coeur est ici*» (дух его везде, сердце его здесь), а вверху: «*Mes manes sont consolés, puisque mon coeur est au milieu de vous*» (тень моя утешена, ибо сердце мое посреди вас). На стенах висят портреты: первый нашей императрицы (шитый на шелковой материи, с надписью: «*Présenté à mr. Voltaire par l'Auteur*», ¹ — и на сей портрет смотрел я с большим примечанием и с большим удовольствием, нежели на другие); второй покойного прусского короля; третий Лекеня, славного парижского актера; четвертый самого Вольтера и (пятый) маркизы де Шатле, которая была ему другом, и более, нежели другом. Между гравированными изображениями заметил я портрет Невтона, Буало, Мармонтеля, д'Аланберта, Франклина, Гельвеция, Климента XIV, Дидрота и Делиля. Прочие эстампы и картины не важны. — Спальня Вольтерова служила ему и кабинетом, из которого он научал, трогал и смешил Европу. Так, друзья мои! должно признаться, что никто из авторов осьмаго-надесятъ века не действовал так сильно на своих современников, как Вольтер. К чести его можно сказать, что он распространил сию взаимную терпимость в верах, которая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие, которому еще в начале осьмаго-надесятъ века приносились кровавые жертвы в нашей

¹ «Подаренный г. Вольтеру самим автором» (ред.).

Европе. ¹ — Вольтер писал для читателей всякого рода, для ученых и неученых; все понимали его и все пленялись им. Никто лучше его не умел показывать смешного во всех вещах, и никакая философия не могла устоять против Вольтеровой иронии. Публика всегда была на его стороне, потому что он доставлял ей удовольствие смеяться! — Вообще в сочинениях его не найдем мы тех великих идей, которые гений Натуры, так сказать, непосредственно вдыхает в избранных смертных; но сии идеи и понятны бывают только немногим людям, и по тому самому круг действия их весьма ограничен. Всякий любит парением весеннего жаворонка; но чей взор дерзнет за орлом к солнцу? Кто не чувствует красот «Заиры»? но многие ли удивляются «Отеллу»? ²

Положение Фернейского замка так прекрасно, что я позавидовал Вольтеру. Он мог из окон своих видеть *Белую* Савойскую гору, высочайшую в Европе, и прочие снежные громады, вместе с зелеными равнинами, садами и другими приятными предметами. Фернейский сад разведен им самим и показывает его вкус. Всего более полюбилась мне длинная аллея; при входе в нее кажется, что она примыкает к самым горам. — Большой чистый пруд служит зеркалом для высоких деревьев, осеняющих берега его.

Имя Вольтерово твердят все жители Фернея. Там, сев под ветвями каштанового дерева, прочитал я с чувством сие место в ла-Гарповом похвальном слове:

«Подданные, лишенные отца и господина своего, и дети их, наследники его благодеяний, скажут страннику, который совертится с пути своего, чтобы видеть Ферней: *Вот дома, им построенные, — убежище, которое дал он полезным искусствам,* ³ — поля, которые обогатил он плодами. Сие многолюдное и цветущее селение родилось под его смотрением, родилось среди пустыни. *Вот рощи, дороги и тропинки, где мы столь часто его видали. Здесь горестное Каласово семейство окружило своего покровителя; здесь сии несчастные обнимали колени его. Сие дерево посвящено благодарностию, и секира никогда не отделит его от корня. Он сидел под его тению, когда разоренные поселяне пришли требовать его помощи; тут проливал он слезы сожаления и скорбь бедных превратил в радость. В сем месте видели мы его в последний раз...* и внимающий странник, который при чтении «Заиры» не мог удержать слез своих, прольет, может быть, еще приятнейшие в память благотворителя».

Мы обедали в фернейском трактире с двумя молодыми англи-

¹ Но я не могу одобрить Вольтера, когда он от суеверия не отличал истинной христианской религии, которая, по словам одного из его соотечественников, находится к первому в таком же отношении, в каком находится правосудие к ябеде.

² Тогда я так думал!

³ Известно, что Вольтер принял к себе в Ферней многих художников, которые принуждены были оставить Женеву.

чанами и пили очень хорошее французское вино, желая блаженства душе Вольтеровой.

От Женевы до Фернея не более шести верст, и я в семь часов вечера был уже дома.

Некоторые из здешних граждан ввели меня в свои так называемые *серкльи*, которых здесь очень много и в которых женеvцы после обеда пьют кофе и курят табак. Тут не бывает женщин; говорят же более всего о парижских новостях. Здешние богачи поверили Франции миллионы и до сего времени получали с них большие проценты; но теперь боятся, чтобы французы не сказались банкротами: от чего могут разориться в Женеве первые дома. Но тебя, бедный Север, тебя не удостоивает женеvец своего внимания! Тот, кто знает все подробности парижских происшествий, едва ли знает, что у России со Швециею война. Визирь два раза разбит, Белград взят — никто об этом не говорит, никто не радуется. Любезная Германия! в недрах твоих звучат рюмки и стаканы, когда слава протрубит счастливый подвиг сынов твоих; рейнвейн и вино токайское пенятся в кубках; раздаются торжественные песни вдохновенных бардов. Германия! для чего я оставил тебя так скоро?

На сих днях обедал я за городом в сельском домике вместе со многими женеvцами и чужестранными. Обед был самый веселый; все мы сидели в шляпах и пели песни. После стола иные катались в лодке по озеру, другие играли в шары или, сидя на крыльце, спокойно курили свой трубки. — Пробыв там до вечера, пошел я назад в город — и мог ли думать, чтобы на сем пути ожидала меня опасность? Вы, конечно, не угадаете, какая? Я шел задумавшись, наступил на змею и увидел ее только тогда, как она начинала уже обвиваться вокруг ноги моей и подымала вверх голову, чтобы сквозь чулок ужалить меня... Но не бойтесь! я сбросил ее с ноги прежде, нежели она могла влить в нее яд свой. «Злобная тварь! — думал я, смотря, как она ползла от меня по желтому песку: — злобная тварь! жизнь твоя теперь в моих руках; но если Натура терпит тебя в своем царстве, то я не хочу прекращать бедного бытия твоего — пресмыкайся!»

Не помню, писал ли я к вам, чтобы вы адресовали письма свои à la Grande rue, № 17. На сей раз простите!

Женева, ноября 1, 1789.

После письма, пересланного через Лафатера, не получал я от вас ни одной строки. Не совестно ли вам так долго молчать? Вы знаете, что я только посредством вас сообщаюсь с любезным моим отечеством.

Здешняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю французских авторов, и старых и новых, чтобы иметь

полное понятие о французской литературе; бываю на женевских вечеринках и в опере. Строгий любезный Руссо! соотечественники твои не послушались тебя, построили театр и любят его страстно.¹ Здесь играют две дижонские труппы: одна летом и осенью, а другая зимою и весною; первая оперы, а вторая комедии и трагедии. Две или три актрисы, два или три актера играют и поют очень изрядно. Недавно представляли «Атиса», большую оперу, которой музыку сочинял славный Пичини. В композиции есть нечто великое, возвышающее душу. Ария: «Vivre ou mourir» [«Жить или умереть». *Ред.*], которую поют несчастные любовники, гонимые судьбою и ревностью жестокой Цибеллы, прекрасна, несравненна. Из маленьких французских опереток полюбилась мне более всех «Les petits savoyards» («Маленькие савояры»); есть трогательные места, и почти все голоса очень хороши.

В пансионе вместе со мною обедает человек двенадцать. Датский барон, французский маркиз, недавно приехавший из Парижа, и капитан женевского полку играют за столом первые роли. Барон путешествовал в Германии, Франции и Англии, говорит хорошо по-немецки и уверяет всех французов, что он лучше их знает французский язык, хотя не все ему в том верят. По крайней мере он бранится по-французски не хуже площадных парижских рыпарей. Г. барон не терпит никаких противоречий и готов драться всякую минуту; с презрением говорит о женевцах и весьма строго судит бедных здешних актеров. — Маркиз рассказывает, что он приехал в Женеву отдохнуть, и никак не хочет заводить знакомств, находя в уединении несказанное удовольствие. Дает чувствовать, что он автор; хвалит Ж.-Жака и уверяет, что он писал электрическим пером; а Корнель, по его мнению, есть величайший из мужей, когда-либо произведенных Натурою. Вольтер, говорит он, был человек умный, но рассуждал очень худо. Однакож г. маркиз собирается ехать в Ферней, думая, что в Вольтеровом кабинете крылатое вдохновение опустится на его голову. — Женевский капитан, служивший несколько лет королю прусскому, говорит весьма охотно и по временам осмеливается противоречить барону; но всегда принужден бывает *ретироваться*, когда загремят громы из уст баронских. Все пиесы, играемые на здешнем театре, хвалит он одинаким образом. «Эдип», по его словам, «est rempli de sentiment» (исполнен чувства), и опера «Кузнец» «est rempli de sentiment» (исполнена чувства). Простосердечие и невежество его часто заставляют нас смеяться. — Между прочими есть еще один примечания достойный человек, родом женевец, который объездил все четыре части света, присвоил себе право лгать немилосердо и хотел уверить меня, что многие из жителей Патагонии бывают ростом в четыре аршина...

¹ Руссо с великим жаром утверждал, что театр вреден для нравов.

Обонь, 11 часов вечера.

Тавернье, возвратясь из Индии с великим богатством, купил Обонское баронство и хотел здесь провести остаток дней своих. Но страсть к путешествиям снова пробудилась в душе его — будучи осьмидесяти четырех лет от роду, поехал он на край севера и скончал многотрудную жизнь свою в столице нашего государства в 1689 году. Возвратясь в Москву, я постараюсь найти гроб сего примечания достойного человека, который объездил всю Европу и Азию, шесть раз был в Турции, Персии, Индии и все еще не насытился путешествиями. — Отец его торговал географическими картами; сын любил их рассматривать и часто говорил отцу: «Ах, батюшка! как бы хорошо было видеть все те земли, которые изображены здесь на бумаге!» Вот начало его страсти!

Какое различие в судьбе человеческой! Один рождается и умирает в отцовской своей хижине, не зная, что делается за полями его; другой хочет все знать, все видеть — и необозримые океаны не могут ограничить его любопытства.

В человеческой натуре есть две противные склонности: одна влечет сердце наше всегда к *новым* предметам, а другая привязывает нас к *старым*; одну называют *непостоянством*, *любовью к новостям*, а другую *привычкою*. Мы скучаем единообразием и желаем перемен; однакож, расставаясь с тем, к чему душа наша привыкла, чувствуем горечь и сожаление. Счастлив тот, в ком сии две склонности равносильны! но в ком одна другую перевесит, тот будет или вечным бродягою, ветренным, бескокойным, мелким в духе; или холодным, ленивым, нечувствительным. Один, перебегая постоянно от предмета к предмету, не может ни во что углубиться, делается рассеянным и слабеет сердцем; другой, видя и слыша всегда *то же да то же*, грубеет в чувствах и наконец засыпает душою. Таким образом сии две крайности сближаются, потому что и та и другая ослабляет в нас душевные действия. — Читайте Тавернье, Павла Люкаса, Шарденя и прочих славных путешественников, которые почти всю жизнь свою провели в странствиях: найдете ли в них нежное, чувствительное сердце? Тронут ли они душу вашу? — Ах, друзья мои! человек, который десять, двадцать лет может пробыть в *чужих* землях, между *чужими* людьми, не тоскуя о тех, с которыми он родился под одним небом, питался одним воздухом, учился произносить первые звуки, играл в младенчестве на одном поле, вместе плакал и улыбался, — сей человек никогда не будет мне другом!

Простите! Перо выпадает из рук моих, и мягкая постеля манит меня в свои объятия.

Женева, 26 ноября 1789.

Долго я не писал к вам, друзья мои, для того что не мог писать. Около двух недель мучила меня такая жестокая головная боль,

какой я отроду не чувствовал и которая не только не давала мне за перо приняться, но даже и спать мешала. Опершись на стол, просиживал я дни и ночи почти без всякого движения и закрыв глаза. Добродушная хозяйка моя, мадам Лажье, приводила ко мне доктора; но лекарства его не помогали.

Наконец благодетельная Натура сжалилась над бедным страдальцем и сняла с головы моей свинцовую тягость. Вчера я в первый раз вздохнул свободно и первый раз, вышедши на чистый воздух, поднял на небо глаза свои. Мне казалось, что вся природа радовалась со мною, — я плакал, как младенец, и узнал, что болезнь не ожесточила моего сердца — оно не разучилось наслаждаться, — чувствует так же, как и прежде, и любезный образ друзей моих снова сияет в нем во всей своей ясности. Ах, милые! в сию минуту исчезло разделяющее нас пространство — я обнял вас вместе с Натурою, вместе с целою вселенною!

Исчезни воспоминание о прошедшей болезни! Я не хочу быть злопамятен против матери моей, Природы, и забуду все, кроме того, чем она услаждает чашу дней моих!

Женева, декабря 1, 1789.

Ныне минуло мне двадцать три года! В шесть часов утра вышел я на берег Женевского озера и, устремив глаза на голубую воду его, думал о жизни человеческой.

Друзья мои! дайте мне руку, и пусть вихрь времени мчит нас, куда хочет! — Доверенность к провидению — доверенность к той невидимой руке, которая движет и миры и атомы; которая бережет и червя и человека, — должна быть основанием нашего спокойствия.

Этот день хотел бы я провести с вами: но как быть! — Стану хотя в мыслях вами радоваться. И вы, конечно, вспомните ныне своего друга.

Вместе с Беккером намерен я обедать у барона де Лю, а ужинать в трактире «Золотых весов», где у нас будет веселый концерт.

Женева.

Вы, может быть, удивляетесь, друзья мои, что я по сие время ничего не говорил вам о великом Боннете, который живет верстах в четырех от Женевы, в деревне Жанту. Мне сказали, что он весьма нездоров, глух и слеп и никого, кроме ближних родственников, не принимает; почему я не имел надежды видеть сего славного философа и натуралиста. Но третьего дни г. Кела, свойственник его, вызвался сам ехать к нему со мною, уверив меня, что посещение мое не будет ему в тягость. Мы приехали к нему

поутру, но не застали его дома: он прогуливался. Г. Кела велел ему сказать, что один русский путешественник желает быть у него, — и на другой день Боннет прислал звать меня. В назначенное время постучался я у дверей сельского его домика, был введен в кабинет философа, увидел Боннета и удивился. Я думал найти слабого старца, угнетенного бременем лет, — обветшалую скинию, которой временный обитатель, небесный гражданин, утомленный беспокойством телесной жизни, ежедневно собирается лететь обратно в свою отчизну, — одним словом, развалины великого Боннета. Что же нашел? хотя старца, но весьма бодрого, — старца, в глазах которого блистает огонь жизни, — старца, которого голос еще тверд и приятен, — одним словом, Боннета, от которого можно ожидать второй «Палингенезии». ¹ Он встретил меня почти у самых дверей и с ласковым взором подал мне руку свою.

— Вы видите перед собою такого человека, — сказал я, — который с великим удовольствием и с пользою читал ваши сочинения и который любит и почитает вас сердечно.

— Я всегда радуюсь, — отвечал он, — когда слышу, что сочинения мои приносят пользу или удовольствие благородным душам.

Мы сели перед камином, Боннет на больших своих креслах, а я на стуле подле него.

— Подвиньтесь ближе, — сказал он, приставляя к уху длинную медную трубку, чтобы лучше слышать: — чувства мои тупеют.

Я не могу от слова до слова описать вам разговора нашего, который продолжался около трех часов. Довольствуйтесь некоторыми отрывками.

Боннет очаровал меня своим добродушием и ласковым обхождением. Нет в нем ничего гордого, ничего надменного. Он говорил со мною как с равным себе; и всякий комплимент мой принимал с чувствительностию. Душа его столь хороша, столь чиста и неподозрительна, что он все учтивые слова почитает за язык сердца и не сомневается в их искренности. Ах! какая розница между немецким ученым и Боннетом! Первый с гордою улыбкою принимает всякую похвалу, как должную дань, и мало думает о том человеке, который хвалит его; но Боннет за всякую учтивость старается платить учтивостию. Правда, что бой между нами не мог быть равен: я говорил с философом, всему свету известным и всеми превозносимым; а он говорил с молодым, обыкновенным, неизвестным ему человеком.

Боннет позволил мне переводить его сочинения на русский язык.

— С чего же вы думаете начать? — спросил он.

¹ Титул одного из его сочинений.

— С «Созерцания Природы» («Contemplation de la Nature»), — отвечал я, — которое по справедливости может быть названо магазином любопытнейших знаний для человека.

— Никогда не приходило мне на мысль, — сказал он, — чтобы это сочинение было так благосклонно принято публикою и переведено на столько языков. Вы знаете (из предисловия к «Contemplation»), что я хотел бросить его в камин. Но переведя «Палингенезию», вы переведете лучшее и полезнейшее мое сочинение. Ах, государь мой! в нашем веке много неверующих!

Ему неприятно, что на английский и немецкий язык переведено «Созерцание Натуры» без его ведома.

— Когда автор еще жив, — сказал он, — то надлежало бы у него спроситься.

Спалланцаниеву переводу отдает он преимущество пред всеми прочими, а немецким переводчиком, профессором Тициусом, весьма недоволен потому, что сей ученый германец думал поправлять его и собственные свои мнения сообщал за мнения сочинительвы. Я сказал Боннету, что Тициус, несмотря на свою ученость, во многих местах не понимал его. Например начало: «je m'élève à la Raison Eternelle» перевел он: «ich erhebe mich zu der ewigen Vernunft»: грубая ошибка! Вместо Vernunft надлежало бы сказать Ursache; под словом raison разумел автор *причину*, а не *разум*. Боннет пожал плечами, услышав от меня о сей ошибке.

Он любит Лафатера, хвалит его сердце и таланты, но не советует никому учиться у него философии. — Лафатер, будучи недавно в гостях у Боннета, вдруг схватил с него парик и сказал сыну своему, который приехал вместе с ним:

— Смотри, Генрих! где ты увидишь такую голову, там учись мудрости.

Говоря о честолюбии авторском, Боннет сказал:

— Пусть сочинители ищут славы! Трудясь для собственной своей выгоды, они приносят пользу человечеству; ибо премудрый творец неразрывным союзом соединил частное благо с общим.

Жан-Жака называет он великим ритором, слог его музыкаю, а философию — воздушным замком. Будучи усердным патриотом, Боннет не может простить согражданину своему, что он в «Lettres écrites de la Montagne» не пощадил женевского правительства.

— В целой Европе, — говорит Боннет, — не найдете вы такого просвещенного города, как Женева; наши художники, ремесленники, купцы, женщины и девушки имеют свои библиотеки и читают не только романы и стихи, но и философические книги.

И я могу сказать, что женевские парикмахеры твердят наизусть целые тирады из Вольтера и что женевские дамы в доме у господина К. слушают с великим вниманием одного молодого графа, Мартенева друга, когда он изъясняет им тайну творения.

Боннет вызвался словесно или письменно объяснить для меня те места в своих сочинениях, которые покажутся мне темными; но я избавлю его от сего труда.

Почтенный старец проводил меня до крыльца. — Знаете ли, как в просвещенной Женеве обыкновенно зовут его? *Инсектом* — для того, что он писал о насекомых!

Женева, января 23, 1790.

В здешней маленькой республике начинаются несогласия. Странные люди! живут в спокойствии, в довольстве и все еще хотят чего-то. Ныне слышал я пышную проповедь на текст: «Если забуду тебя, о Иерусалим! то да забудет себя рука моя и да прилипнет язык мой к гортани моей, если ты не будешь главным предметом моей радости!»¹ Разумеется, что Иерусалим значил Женеву. Проповедник говорил о любви к отечеству; доказывал, что республика их счастлива со всех сторон; что для соблюдения сего благополучия всем гражданам должно жить в согласии и что на сем общем согласии основывается личная безопасность каждого. В церкви было множество людей, а особливо женщин, хотя ритор обращался всегда к братьям, а не к сестрам. Все вокруг меня вздыхали, все плакали — я сам несказанно был тронут, видя слезы красавиц, матерей и супруг.

Женева, 26 января 1790.

День вчера был очень хорош, и я отправился в Жанту пешком; но скоро небо помрачилось, и сильный дождь принудил меня искать убежища. Я зашел в крестьянский домик, где многочисленное семейство сидело за обедом. Хозяин, узнав причину нечаянного посещения моего, принес мне стул из другой горницы и просил меня отведать картофелей, сваренных его женою. Я отведал, похвалил и положил вилку.

— Что же вы не едите?

— Я иду обедать в Жанту, к г. Боннету.

— К господину Боннету? И так вы с ним знакомы?

— Знаком, хотя очень недавно.

— Какой добрый человек! Все поселяне любят его сердечно, а бедные называют отцом и благодетелем.

— Разве он помогает им?

— Конечно; никто еще не уходил от него с печальным лицом.

— И так он много раздает денег?

— Очень много; и сверх того говорит всегда так ласково, так умно, так хорошо, что у всякого слезы на глазах навертываются и всякому хочется схватить и поцеловать руку его.

¹ По французскому переводу.

— Правда, правда, батюшка, — сказал большой сын моего хозяина.

— Правда, — повторила молодая жена его, взглянув на мужа и на меня.

Дождь перестал, и я пошел, изъявив благодарность мою гостеприимному и добросердечному поселянину. И так женевский мудрец не только по сочинениям, но и по делам своим есть друг человечества!

Я нашел его в саду; но он тотчас повел меня в дом, приметив на кафтане моем следы дождевых капель, — посадил в кабинете своем перед камином и велел мне греть ноги, боясь, чтобы я не простудился. Судите по сему об искусстве его пленять людей! Но душа его родилась с сим искусством — и если, по словам Виландовым, сочинения Боннетовы заставляют читателей любить автора, то милое обхождение его еще увеличивает эту любовь. — Ни с кем не говорю я так смело, так охотно, как с ним. И слова и взоры его ободряют меня. Он все выслушивает до конца, во все входит, на все отвечает. Какой человек!

— Вы решились переводить «Созерцание Природы», — сказал он: — начните же переводить его в глазах автора и на том столе, на котором оно было сочиняемо. Вот книга, бумага, чернилица, перо.

С радостью исполнил я волю его; с некоторым благоговением приблизился к письменному столу великого философа, сел на его кресла, взял перо его — и рука моя не дрожала, хотя он стоял за мною. Я перевел титул — первый параграф — и прочитал вслух.

— Слышу и не понимаю, — сказал любезный Боннет с усмешкою, — но соотечественники ваши будут, конечно, умнее меня. — Эта бумага останется здесь в память нашего знакомства.

Он хотел знать, во сколько времени могу перевести «Contemplation», в какой формат будут печатать эту книгу и сам ли стану читать корректуру? Мне очень приятно было, что великий Боннет входил в такие подробности; но еще приятнее то, что он обещал мне дать новые, и самой французской публике неизвестные примечания к «Созерцанию», которые написаны у него на карточках и в которых сообщает он известия о новых открытиях в науках, дополняет, объясняет, поправляет некоторые неверности, и проч. и проч.

— Я человек, — сказал он, — и потому ошибался; не мог сам делать всех опытов, верил другим наблюдателям и после узнавал их заблуждения. Стараясь о возможном совершенстве моих сочинений, поправляю всякую ошибку, которую нахожу в них.

Он хочет, чтобы я прислал к нему два экземпляра перевода моего: один для его собственной, а другой для женевской публичной библиотеки.

Почтенный старец бережет слабые свои глаза и почти ничего сам не пишет, а все диктует секретарю.

На вопрос, чью философию преподают у нас в Московском университете? отвечал я: Вольфову — отвечал наугад, не зная того верно.

— Вольф есть хороший философ, — сказал Боннет, — но только он слишком любит демонстрацию; я предпочел его методе аналитическую, которая гораздо вернее и безопаснее.

В час мы сошли в залу нижнего этажа, где готов был обед и где ждала нас госпожа Боннет, которая летами моложе своего мужа, но здоровьем гораздо его слабее. Она также обласкала меня; и между тем как Боннет ел суп, хвалила мне *тихонько* доброту его сердца.

— О его разуме, о его знаниях пусть судит публика; но я знаю то, что любовь его, добронравие и нежные попечения составляют мое счастье. Мне кажется, что без него я давно бы лишилась жизни, будучи так слаба и нездорова; видя же его подле себя, терпеливо переношу все припадки, всякую болезнь и вместо роптания изъясляю небу благодарность мою за такого супруга.

— О чем вы говорите? — спросил Боннет, переменяв тарелку.

— О хорошей погоде, — отвечала госпожа Боннет и утерла платком глаза свои.

Я сидел между ими, как между Филемоном и Бавкидою. Обед был очень хорош и так изобилен, как природа, описанная хозяином. — Когда мы пили кофе, пришел тот датчанин, живописец, о котором говорит Боннет в «Contemplation» и который живет у него в доме. Он начал рассказывать о болезни г-жи Соссюр, племянницы Боннетовой, и, говоря по-французски не очень хорошо, на третьем слове остановился и несколько времени не мог сыскать выражения. Почтенный старец сидел, приставя к уху медную трубку, и с величайшим терпением дожидался, пока живописец мог изъясниться. Эта черта для меня характерна и показывает кротость Боннетовой души, которая никого и ничем оскорбить не хочет.

Он вздумал проводить меня до Женевы, призвал кучера и велел ему закладывать карету. Если бы вы видели, какими глазами смотрел на него этот кучер! и каким голосом отвечал ему:

— Слышу, добрый, любезный господин мой, слышу!

Все домашние любят его, как отца.

Жалеть ли о том, что он не имеет детей, которые могли бы развеселить мрачную осень дней его? Но мудрец, дружелюбно беседующий с гением Натуры, — мудрец, почитающий весь род человеческий одним семейством и трудами своими способствующий его просвещению и благополучию, — может быть счастлив и без сего удовольствия.

Г-жа Боннет любит и держит у себя птиц всякого рода: попугаев, чижей, горлиц и проч.

— Не удивляюсь вашему вкусу, — сказал я: — кто не любит того, что описано вашим супругом?

Боннет вслушался и пожал руку мою.

— Однакож знаете ли, — сказал он, — что я часто ссорюсь с моею женою за книги? Вчера, например, был у нас великий спор о «Письмах» дю-Пати: ¹ слог их кажется ей прекрасным, а мне фигурным и принужденным; она находит в них сердечное красноречие, а я — одни антитезы.

Г-жа Боннет смеялась и говорила, что сочинитель «Аналитического опыта» ² не всегда чувствует красоты пиитические. — Они довели меня в своей карете до самых городских ворот.

По сие время здесь нет зимы, и дни бывают так ясны и теплы, как у нас в исходе августа или в начале сентября, хотя во всей Женеве беспрестанно пылает огонь в каминах. Только один раз шел снег и через несколько часов растаял; но все вершины гор им покрыты. Вид странный! Вверху седая зима со всеми своими ужасами, а внизу ясная осень.

На сих днях познакомился я с господином Ульрихом, цюрихским уроженцем, который природно глухих и немых учит говорить, читать и писать. Он живет здесь в доме одного богатого человека, у которого есть немая дочь, девушка лет тринадцати, прекрасная собою. Посредством его искусства и стараний начинает она уже изъясняться и разумеет других. Сперва — доказывая ей, как для всякого слова надобно растворять рот, двигать язык и губы, — научает он ее произношению тонов, а потом знаками изъясняет ей смысл их. Когда другие люди говорят не скоро и произносят известные ей слова, то она по движению губ понимает их. Все это чудно. Сколько есть отвлеченных идей, которых, кажется, никак нельзя изъяснить знаками! Третьего дни был я в гостях у сего Ульриха. При мне говорил он с своею ученицею, и так свободно, как со всяким другим. Она разумела и некоторые из моих слов и отвечала мне довольно хорошо; только в голосе ее есть нечто дикое и неприятное, чего уже никак нельзя поправить. Она пишет чисто и с наблюдением орфографии. Мать ее велит ей записывать, что с нею всякий день случается. Ульрих показывал мне этот журнал, писанный складно, но только слишком отрывисто. Она чрезвычайно любит своего учителя и ласкается к нему более, нежели к отцу и к матери. В журнале ее между прочим заметил я следующее: *Госпожи NN звала меня к себе в гости — я не пошла к ней — она не звала моего учителя.* Ульрих ездил в Париж за тем только, чтобы видѣться с аббатом

¹ «Lettres sur l'Italie» [«Письма об Италии». Ред.].

² «Essai analytique sur l'âme» [«Аналитический опыт о душе». Ред.].

л'Епе, который завел там особое училище для немых. Чему дивиться более: разуму ли учителя или понятию учеников? Конечно, сему последнему; но все вместе заставляет меня удивляться способностям души человеческой.

На сих же днях узнал я и молодого Верна. Вам известны его «Франсиада» и «Voyageur sentimental» [«Сентиментальный путешественник». *Ред.*], в которых много хорошего и трогательного. Он обедает иногда в нашем пансионе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Женева.

Недавно был я на острове св. Петра, где величайший из писателей осьмаго-надесять века укрывался от злобы и предрассудений человеческих, которые, как фурии, гнали его из места в место. День был очень хорош. В несколько часов исходил я весь остров и везде искал следов женеvского гражданина и философа: под ветвями древних буков и каштановых дерев, в прекрасных аллеях мрачного леса, на лугах поблекших и на кремнистых свесах берега. «Здесь, — думал я, — здесь, забыв жестоких и неблагодарных людей... неблагодарных и жестоких! Боже мой! как горестно это чувствовать и писать!.. здесь, забыв все бури мирские, наслаждался он уединением и тихим вечером жизни; здесь отдыхала душа его после великих трудов своих; здесь в тихой, сладостной дремоте покоились его чувства! Где он? Все осталось, как при нем было; но его нет — нет!» Тут послышалось мне, что и лес и луга вздохнули или повторили глубокий вздох моего сердца. Я смотрел вокруг себя — и весь остров показался мне в трауре. Печальный флер зимы лежал на Природе. — Ноги мои устали. Я сел на краю острова. Бильское озеро светлело и покоилось во всем пространстве своем; на берегах его дымились деревни; вдаль видны были городки Биль и Нидау. Воображение мое представило плывущую по зеркальным водам лодку; зефир веял вокруг ее и правил ею вместо кормчего. В лодке лежал старец почтенного вида в азиатской одежде; взоры его, устремленные на небеса, показывали великую душу, глубокомыслие, приятную задумчивость. Это он, он — тот, кого выгнали из Франции, Женеvы, Нёшателя, — как будто бы за то, что небо одарило его отменным разумом; что он был добр, нежен и человеколюбив!

Какими живыми красками описывает Руссо¹ приятную жизнь свою на острове св. Петра — жизнь совершенно бездейственную! Кто никогда не истощал душевных сил своих в ночных раз-

¹ В «Promenades solitaires» [«Уединенные прогулки». *Ред.*].

мышлениях, тот, конечно, не может понять блаженства сего роду — блаженства сей *субботы*, которою наслаждаются одни великие духи при конце земного странствования и которая приготовляет их к новой деятельности, начинающейся за прагом смерти.

Но кратко было успокоение твое! Новый удар перервал его, и сердце великого мужа облилось кровию. «Дайте мне умереть, — говорил он в горести души своей, — дайте мне умереть покойно! Пусть железные замки и тяжелые запоры гремят на дверях моей хижины! Заключите, заключите меня на сем острове, если вы думаете, что дыхание мое для вас ядовито! Но перестаньте гнать несчастного! Лишите меня дневного света и только в ночное время позвольте мне, бедному, вздохнуть на свежем воздухе!» Нет, слабый старец должен проститься с любезным своим островом — и после того говорят, что Руссо был мизантроп! Скажите, кто бы не сделался таким на его месте? Разве тот, кто никогда не любил человечества!

Я сидел в задумчивости и вдруг увидел молодого человека, который, нахлучив себе на глаза круглую шляпу, тихими шагами ко мне приближался; в правой руке была у него книга. Он остановился, взглянул на меня и, сказав: «*Vous pensez à lui!*» (вы об нем думаете), — пошел прочь такими же тихими шагами. Я не успел ему отвечать и хорошенько посмотреть на него; но выговор его и зеленый фрак с золотыми пуговицами уверили меня, что он англичанин.

На острове только один дом, в котором живет управитель с семейством своим; тут жил и Руссо. — Сей остров, принадлежащий Берну, называется ныне по большей части Руссовым.

Я был еще в Ивердоне, Нёшателе и в других городках Швейцарии. В ивердонской публичной библиотеке показывают скелеты, найденные в земле лет за двадцать перед сим близ одной мельницы. Лицами лежали они к востоку; в ногах у них стояли глиняные урны и маленькие блюда с костями разных птиц. Тут же нашли еще несколько серебряных и медных медалей Константина времени. — Во всей Швейцарии видно изобилие и богатство; но как скоро переступишь в Савойскую землю, увидишь бедность, людей в раздранных рубищах, множество нищих, — вообще неопрятность и нечистоту. Народ ленив, земля не обработана, деревни пусты. Многие из поселян оставляют свои жилища, ездят по свету с учеными сурками и забавляют ребят. В Каруше, первом савойском городке, стоит полк; но какие солдаты! какие офицеры! Несчастная земля! Несчастлив и путешественник, который должен в савойских трактирах искать обеда или убежища на время ночи! Надобно закрыть глаза и зажать нос, если хочешь утолить голод; постели так чисты, что я никогда на них не ложился.

Наконец мир и тишина царствуют в Женеве. Перемена, происшедшая за несколько месяцев перед сим в правлении респу-

блики, утверждена союзными державами: Франциею, Кантоном, Берном, Савоиею; и те из граждан, которые прежде были выгнаны из Женевы, могут теперь возвратиться. Недавно выбирали новых синдиков. Все женевцы, собравшиеся в церкви св. Петра, подтверждали сей выбор, кладя руку на библию. Первый судья говорил речь и давал гражданству отчет в делах сменяемых синдиков. Потом новые судьи, держа в руках жезлы правления, присягали и обещались наблюдать пользу республики. Все было тихо и торжественно. Иностранцев впускали по билетам на галерею.

Недавно случился здесь следующий комико-печальный анекдот. Я писал к вам о женевском гульбище sur la Treille, где (а особливо в праздники) собирается множество людей, мужчин и женщин, женевцев и чужестранных. В последнее воскресенье один молодой англичанин — но не тот, которого видел я на острове св. Петра, — к удивлению всех явился там на кургузом коне своем, пустился в галоп по аллее и едва не передал гонимых. Здешний полицейский судья схватил лошадь его за узду и сказал ему, что по Трели ходят, а не ездят.

— А я хочу ехать, — отвечал англичанин.

— Вам не позволят.

— Кто, кто мне не позволит?

— Я, именем закона.

Англичанин высунул язык, дал шпоры своей лошади и поскакал. «Бунт! мятеж!» — закричали женевцы — и через несколько минут явился на Трели отряд здешней гвардии. Вы думаете, может быть, что англичанин скрылся? Никак — он ездил по аллеям, свистал, махал своим хлыстиком, дразнил тех, которых физиономия ему не нравилась, и хотел передалить солдат, когда они окружили его; но дерзкого британца, несмотря на его храброе сопротивление, стащили с лошади и отвели в караульню. Через полчаса прибежала к нему молодая женщина и со слезами бросилась обнимать его. Он начал говорить с нею по-английски и, оборотившись к караульному офицеру, сказал ему:

— Вся ваша республика не стоит слезы ее.

Уверяют, что синдики за такое женевохуление продержали его лишний день под стражею. Вчера он получил свободу и уехал из Женевы...

Женева, 28 февраля 1790.

Не знаю, что думать о вашем молчании, любезнейшие друзья мои! С нетерпением ожидаю почты — она приходит — бегу, спрашиваю — и тихими шагами возвращаюсь домой, повеса голову, смотря в землю и не видя ничего. Все представляю себе — и возможности устрашают меня. Ах! если вас не будет на свете, то связь моя с отечеством перервется — я пойду искать какой-нибудь пу-

стыни во глубине Альпийских гор и там, среди печальных и ужасных предметов Натуры, в вечном унынии проведу жизнь мою.

Но может быть, вы живы и благополучны; может быть, письма ваши как-нибудь пропадают — вот моя надежда, мое утешение! Сумрак и ясность, ненастье и ведро сменяются теперь в душе моей, подобно как в непостоянном апреле. — В самом печальном расположении принялся я за перо; теперь мне лучше.

Через три дни, друзья мои, выеду из Женевы. Главное мое упражнение состоит теперь в том, чтобы рассматривать ландкарту и сочинять план путешествия. Мне хочется пробраться в южную Францию и видеть прекрасные страны Лангедока и Прованса; но как я не думаю пробыть там долго, то вы должны писать ко мне в Париж, под адресом: A messieurs Breguet et Compagnie, Quai des Morfondus, pour remettre à mr. NN. ¹ Если же по отъезде моем получены будут в Женеве от вас письма, то г. Бьенц, любезный знакомец мой, перешлет их ко мне.

Живучи здесь, я часто досадовал на женеvцев и несколько раз хотел описать характер их самыми несветлыми красками; но теперь, на прощаньи, не могу сказать об них ничего худого. Сердце мое помирилось с ними, и я желаю им всякого добра. Пусть цветет маленькая область их под тению Юры и Салева! Да наслаждаются они плодами своего трудолюбия, искусства и промышленности! Да рассуждают спокойно в *серклях* своих о происшествии мира, и пусть дамы их загадывают загадки глухим баронам! Пусть все европейцы с севера и юга приезжают к ним на вечеринки играть в виск по гривне партию и пить чай и кофе! Да будет их республика многие, многие лета прекрасною игрушкою на земном шаре! ²

Горная деревенька в Pays de Gez, марта 4, 1790, в полночь.

Ныне после обеда поехали мы из Женевы в двухместной английской карете, которую нанял я до самого Лиона за четыре луидора с галером, и по гладкой прекрасной дороге приблизились к Юре. Вся грусть моя исчезла; тихое веселье — неописанное, сладкое удовольствие заступило место ее в моем сердце. Никогда еще не путешествовал я так приятно, с такою удобностию. Добрый товарищ, покойная карета, услужливый извозчик, перемена места — мысль о том, что скоро увижу, — все это привело меня в самое счастливейшее расположение, и каждый новый предмет оживлял мою радость. Беккер был так же весел, как и я; кучер наш был так же весел, как и мы. Прекрасный выезд!

¹ Господам Брегэ и К^о, набережная Морфондю, для передачи мосье NN (ред.).

² Это желание не исполнилось!

Там, где гора Юра за несколько тысячелетий перед сим расступилась на своем основании, с таким треском, от которого, может быть, Альпы, Апеннины и Пиренеи задрожали, въехали мы во Францию при страшном северном ветре и были встречены осматривающими, которые с величайшею учтивостию сказали, что им должно видеть наши вещи. Я отдал Беккеру ключ от моего чемодана и пошел в корчму. Там перед камином сидели *монтаньяры*, или *горные жители*. Они взглянули на меня гордо и оборотились опять к огню; но услышав приветствие мое: «*Bonjour, mes amis!*» (Здравствуйте, друзья!), приподняли свои шляпы, раздвинулись и дали мне место подле огня. Важный вид их заставил меня думать, что люди, живущие между скал, на пустых утесах, под шумом ветров, не могут иметь веселого характера; мрачное уныние будет всегда их свойством — ибо душа человека есть зеркало окружающих его предметов.

Эта пограничная корчма есть живой образ бедности. Вместо крыльца служат два дикие камня, один на другой положенные и на которые должно взбираться как на Альпийскую гору; внутри нет ничего, кроме голых стен, превеликого стола и десяти или двенадцати толстых отрубков или чурбанов, называемых стульями; пол кирпичный — но он почти весь выломан. — Через несколько минут пришел Беккер и начал говорить со мною по-немецки. Старик, который сидел за столом и ел хлеб с сыром, протянул уши, улыбнулся и сказал: «*даичь! даичь!*», давая нам разуметь, что он знает, каким языком мы говорим между собою.

— Не удивляйтесь, — продолжал старик: — я служил несколько кампаний в немецкой земле и в Нидерландах, под начальством храброго саксонского маршала. Вы, конечно, слышали о сражении при Фонтенуа: там ранили меня в левую руку. Смотрите — я не могу поднять ее выше этого.

— Почтенный воин! — сказал я, подошедши к нему и взяв его за правую руку: — дозволь мне посмотреть на тебя.

Инвалид усмехнулся.

— Давно ли ты в отставке, добрый старик? — спросил Беккер.

— Тридцать лет, — отвечал он, — много времени! не правда ли, барин? Мой фельдмаршал давно лежит в земле.

— Мы видели гроб его.

— Вы видели гроб его? где?

— В Стразбурге, мой друг.

— В Стразбурге? Это далеко отсюда; я не дойду туда — а мне хотелось бы поклониться его праху. Он был герой, государи мои, — генерал, каких ныне уже нет и быть не может. Солдаты любили в нем отца. Я как теперь смотрю на него: какой взор! какой голос! В день нашей победы его возили на тележке — жестокая болезнь не позволяла ему сесть на лошадь — однакож он повелевал,

ободрял, и мы дрались как львы, как отчаянные. Я забыл рану мою и тогда уже упал на землю, когда вся наша армия в один голос воскликнула победу и когда неприятели бежали от нас, как робкие зайцы. Какой день! какой день!

Старик поднял вверх голову, и более двадцати лет свалилось в одну минуту с плеч его; число морщин на ветхом лице уменьшилось; тусклые глаза стали светлее, и осьмидесятилетний воин с толстою своею кляукою готов был маршировать против всех соединенных армий Европы. Я спросил вина, налил ему рюмку и сказал:

— Здоровье храбрых, заслуженных *ветеранов!*

— И *молодых путешественников!* — примолвил старик с улыбкою и выпил до дна.

Мы узнали от него, что он живет у своего внука в одной из горных деревень, ходил в гости к другому внуку и зашел в корчму отдохнуть. Между тем нам должно было ехать. Я хотел было дать ему *эку*, но побоялся оскорбить благородную гордость старого героя. Он проводил нас до крыльца и кричал осмотрщикам:

— Я надеюсь, государи мои, что вы были учтивы против иностранных господ!

— Конечно! — отвечали они со смехом и пожелали нам счастливого пути, не требуя с нас ни копейки.

Мы долго ехали между распавшейся Юры, которая с обеих сторон дороги возвышалась как гранитная стена, — и на сих страшных утесах над головами нашими по узеньким тропинкам ходили люди, согнувшись под тяжелыми ношами или гоня перед собою навьюченных ослов. Нельзя без ужаса смотреть на них; кажется, что они всякую секунду упасть готовы. — Нас остановили в первой французской крепости, Фор де л'Екюз, которую можно назвать неприступною, потому что со всех сторон ограждают ее неизмеримые пропасти и крутизны. — Сто человек могут защитить эту крепость против десяти тысяч неприятелей. Тамошний гарнизон состоит из 150 инвалидов под командою старого майора, который должен был подписать имя свое на пропуске нашем. Я позабыл сказать вам, что мне дали в Женеве паспорт — следующего содержания:

«Nous, Syndics et Conseil de la Ville et République de Genève, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que Monsieur K. âgé de 24 ans, Gentilhomme Russe, lequel allant voyager en France, afin qu'en son voyage il ne lui soit fait aucun déplaisir, ni moleste. Nous prions, et affectueusement requerons, tous ceux qu'il appartiendra, et auxquels il s'adressera, de lui donner libre et assuré passage dans les lieux de leur obéissance, sans lui faire, ni permettre être fait, aucun trouble ni empêchement, mais lui donner toute l'aide et l'assistance qu'ils desireroient de nous, envers ceux

qui de leur part nous seroient recommandés. Nous offrons de faire le semblable toutes les fois que nous en serons requis. En foi de quoi nous avons donné les Présentes sous notre Sceau et Seing de notre Secrétaire, ce premier Mars Mil sept cent quatrevingt dix.

Par mesdits seigneurs
Syndics et Conseil.

Pucrari. ¹

Итак, если кто-нибудь оскорбит меня во Франции, то я имею право принести жалобу Женевской республике, и она должна за меня вступить! Но не думайте, чтобы *великолепные* синдики из отменной благосклонности дали мне эту грамоту: всякий может получить такой паспорт.

Ночью приехали мы к тому месту, которое называется *la perte du Rhone*, вышли из кареты и хотели спуститься на берег реки; но добросердечный извозчик не пустил нас, уверяя, что один несчастный шаг может стоить нам жизни. Недалеко от дороги светился огонь. Мы нашли там маленький домик и постучались у ворот. Через минуту явились шесть или семь человек, которые, услышав, что нам надобно, взяли фонари и повели или, лучше сказать, понесли нас вниз по каменному утесу. При слабом свете фонарей видели мы везде страшную дичь. Ветер шумел, река шумела — и все вместе составляло нечто весьма оссианское. С обеих сторон ряды огромных камней сжимают Рону, которая течет с ужасною быстротою и с ревом. Наконец сии навислые стены сходятся, и река совершенно скрывается под ними; слышен только шум ее подземного течения. По камням, образующим над нею высокий свод, можно ходить без всякой опасности. В нескольких сажнях оттуда она опять вытекает с клубящеюся пеною, мало-помалу расширяется, стремится уже не так быстро и светлеет между берегов своих. — Тут пробыли мы около сорока минут и возвратились к карете, заплатив гривен шесть нашим провожатым. ²

¹ Мы, синдики и Совет города и Республики Женевы, объявляем всем, кого это касается, что г. К. в возрасте 24 лет, русский дворянин, путешествует по Франции, и мы горячо просим, чтобы ему не причиняли никакой неприятности и грубости, и мы просим всех, к кому он пожелает обратиться, разрешить ему свободный и безопасный проезд в местностях, им подчиненных, не причиняя ему никаких беспокойств и не разрешая никому мешать его путешествию, но оказывать всякого рода помощь и содействие, т. е. то, что они желали бы получить у нас по отношению к тем, которых бы они нам рекомендовали. Мы предлагаем поступать так же всякий раз, как это будет необходимо. В подтверждение сказанного мы выдаем удостоверение с печатью и подписью нашего секретаря, первого марта 1790 года. Подписано вышеуказанными гг. синдиками и Советом. Пюкраря (*ред.*).

² В память этой ночной сцены храню я несколько блестящих камешков, находимых близ того места, где скрывается Рона.

Проехав еще версты четыре, остановились мы ночевать в одной маленькой деревеньке. В трактире отвели нам очень хорошую и чисто прибранную комнату; развели в камине огонь, через час приготовили ужин, состоявший из шести или семи блюд с десертом. Внизу веселились горные жители и пели простые свои песни, которые, соединяясь с шумом ветра, приводили душу мою в уныние. Я вслушивался в мелодии и находил в них нечто сходное с нашими народными песнями, столь для меня трогательными. Пойте, горные друзья мои, пойте и приятностию гармонии улаждайте житейские горести! ибо и вы имеете печали, от которых бедный человек ни за какую горою, ни за какую пропастью укрыться не может. И в вашей дикой стране друг оплакивает друга, любовник любовницу. — Трактирщица рассказала нам следующий анекдот.

Все девушки здешней деревни заглядывались на любезного Жана; все молодые люди засматривались на милую Лизету. Жан с самого младенчества любил одну Лизету, Лизета любила одного Жана. Родители их одобряли сию взаимную нежную склонность, и счастливые любовники надеялись уже скоро соединиться навеки. В один день, гуляя по горам вместе с другими молодыми людьми, пришли они на край ужасной стремнины. Жан схватил Лизету за руку и сказал ей:

— Удалимся! страшно!

— Робкий! — отвечала она с усмешкою: — не стыдно ли тебе бояться? земля тверда под ногами. Я хочу заглянуть туда, — сказала, вырвалась у него из рук, приблизилась к пропасти, и в самую ту минуту камни под ее ногами покатались. Она ахнула — хотела схватиться, но не успела — гора трещала — все валилось — несчастная низверглась в бездну и погибла! — Жан хотел броситься за нею — ноги его подкосились — он упал без чувств на землю. Товарищи его побледнели от ужаса — кричали: «Жан! Жан!», но Жан не откликнулся; толкали его, но он молчал; приложили руку к сердцу — оно не билось — Жан умер! Лизету вытащили из пропасти; черепа не было на голове ее; лицо... Но сердце мое содрогается. — Отец Жанов пошел в монахи. Мать Лизетина умерла с горести.

6 марта 1790.

В пять часов утра выехали мы вчера из горной деревеньки. Страшный ветер грозил беспрестанно опрокинуть нашу карету. Со всех сторон окружали нас пропасти, из которых каждая напоминала мне Лизету и Жана, — пропасти, в которые пельзя смотреть без ужаса. Но я смотрел в них и в этом ужасе находил некоторое неизъяснимое удовольствие, которое надобно приписать особливому расположению души моей. Жерло всякой бездны

обсажено острыми камнями; а во глубине или внизу нередко видна прекрасная мурава, орошаемая каскадами. Дерзкие козы спускаются туда и щиплют зелень. В иных местах, на вершине скал, зарастают травой печальные остатки древних рыцарских замков, бывших в свое время неприступными. Там богиня Меланхолия во мшистой своей мантии сидит безмолвно на развалинах и неподвижными очами смотрит на течение веков, которые один за другим мелькают в вечность, оставляя едва приметную тень на земном шаре. — Такие мысли, такие образы представлялись душе моей — и я по целым часам сидел в задумчивости, не говоря ни слова с моим Беккером.

Дорога в сих диких местах так широка, что две кареты могут свободно разехаться. Надлежало рассекать целые каменные горы, для того чтобы провести ее: подумайте об ужасном труде и миллионах, которых она стоила! Таким образом трудолюбие и политическое просвещение народов торжествует, так сказать, над естеством, и гранитные преграды, как прах, рассыпаются под секирою всемогущего человека, который за безднами и за горами ищет подобных себе нравственных существ, чтобы с гордою улыбкою сказать им: *и я живу на свете!*

Наконец мне душно стало в карете — я ушел пешком далеко, далеко вперед и в лесу встретил четырех молодых женщин, которые все были в зеленых амазонских платьях, в черных шляпах; все белокурые и прекрасные лицом. Я остановился и смотрел на них с удивлением. Они также взглянули на меня, и одна из них сказала с лукавою усмешкою:

— Берегите свою шляпу, государь мой! ветер может унести ее.

Тут я вспомнил, что мне надлежало снять шляпу и поклониться красавицам. Они засмеялись и прошли мимо. — Это были путешествующие англичанки: четверместная карета ехала за ними. Впрочем, нам встречалось не много проезжих.

Вчера ввечеру спустились мы в пространные равнины. Я почувствовал некоторую радость. Долго представлялись глазам моим необозримые цепи высоких гор, и вид плоской земли был для меня нов. Я вспомнил Россию, любезное отечество, и мне казалось, что она уже недалеко. Так лежат поля наши, — думал я, предавшись сему мечтательному чувству, — так лежат поля наши, когда весеннее солнце растопляет снежную одежду их и оживляет озими, надежду текущего года! — Вечер был прекрасный; умолкли горные ветры; приятная теплота разливалась в лучах заходящего светила. Но вдруг пришло мне на мысль, что друзей моих, может быть, нет на свете, — прощайте, все приятные чувства! Я желал возвратиться на горы и слушать шум ветра.

В самых диких местах, в самых беднейших деревеньках находили мы хорошие трактиры, сытный стол и чистую комнату с каминном. За обед обыкновенно брали с нас двоих 70 су (около рубля

двадцати копеек), а за ужин и ночлег 80 или 85 су: что составит на наши деньги рубли полтора. Две вещи отменные заметил я во французских *обержсах*: первое, что в ужине не подают супа, следственно, *on soupe sans soupe*; ¹ второе, что на стол кладут только ложки с вилками, предполагая, что у всякого путешественника есть свой нож. — Нигде не видал я таких мерзостных надписей, как в сих трактирах.

— Для чего вы их не стираете? — спросил я однажды у хозяйки.

— Мне не случилось взглянуть на них, — отвечала она: — кто станет читать такой вздор?

В одном маленьком местечке нашли мы великое стечение народа.

— Что у вас делается? — спросил я.

— Сосед наш Андрей, — отвечала мне молодая женщина, — содержатель трактира под вывескою «Креста», сказал вчера в пьянстве *перед целым светом*, что он плюет на нацию. Все патриоты взволновались и хотели его повесить: однакож наконец умиловались, дали ему проспаться и принудили его ныне публично в церкви, и на коленях, просить прощения у милосердного господя. Жаль мне бедного Андрея!

Лион, 9 марта 1790.

За две мили открылся нам Лион. Рона, которая снова явилась подле дороги, и в обширнейшем течении, вела нас к сему первоклассному французскому городу, отделяя Брес от Дофине, одной из пространнейших французских провинций, которую вдали венчают покрытые снегом горы, отрасли савойских гигантов. — Издали казался Лион не так велик, каков он в самом деле. Пять или шесть башен подымались из темной громады зданий. — Когда мы подъехали ближе, открылась нам набережная Ронская линия, состоящая из великолепных домов в пять и шесть этажей: вид пышный! — У ворот нас остановили. Осмотрщик весьма учтиво спросил, нет ли у нас товаров, и после отрицательного ответа заглянул в каретный ящик, поклонился и отошел прочь, не дотронувшись до наших чемоданов. Мы въехали в набережную улицу — и я вспомнил берег Невы. Длинный деревянный мост перегибается через Рону; а на другой стороне реки рассеяны прекрасные летние домики, окруженные садами. Проехав мимо театра, огромного здания, остановились мы в *Hôtel de Milan*. Четыре человека бросились отвязывать наши чемоданы, и в минуту все было внесено в дом, хотя нам еще не отвели комнаты. Трактирщица встретила нас с такою улыбкою, какой не видал я ни на немецких, ни на швейцарских лицах. К несчастью, все горницы были заняты,

¹ Ужинают без супа (*soupe — ужин; суп*) (*ред.*).

кроме одной, весьма темной. Приветливая хозяйка уверила нас, что на другой день ответит нам прекрасную. Так и быть! сказали мы и оделись на скорую руку, чтобы идти в комедию. Между тем слуга, который прибирал комнату, желая украсить ее в глазах наших, уведомил нас, что в ней недавно жила чернобровая и черноглазая красавица, приехавшая из Константинополя.

В пять часов пришли мы в театр и взяли билет в партер. Ложи, паркет, раек — все было наполнено людьми. Вестрис, первый парижский танцовщик, в последний раз обещал веселить лионскую публику легкостью своих ног. Все шумело вокруг нас и над нами, как улей пчел. Необыкновенная вольность удивила меня. Если в ложе или в паркете какая-нибудь дама вставала с своего места, то из партера кричали в несколько голосов: *sadись! прочь! à bas! à bas!* Вокруг нас было не много порядочных людей, и для того уговорил я Беккера идти в паркет; но нам сказали, что там совсем нет места, и один молодой человек провел нас в ложу третьего этажа, где нашли мы даму и знакомого нашего барона Баельвица, гофмейстера принцев шварцбургских, которые в тот же день приехали в Лион и остановились также в *Hôtel de Milan*. Дама предложила мне место подле себя; но я боялся потеснить ее и вошел в другую маленькую ложу над самую сцену, где никого не было. Занавес поднялся; представляли комедию «*Les Plaideurs*». ¹ Я слышал только половину слов и не столько занимался писею, сколько теми людьми, которые беспрестанно приходили ко мне в ложу и опять уходили. Лишь только опустили занавес, со всех сторон высыпали на сцену актеры и актрисы *в неглиже*, танцовщики и танцовщицы и проч. и проч. Одни обнимались или плясали, другие смеялись, иные кричали: новый спектакль! Вестрис в пастушьем платье прыгал, как резвая коза. Музыка снова заиграла — все театральные герои рассыпались — занавес поднялся — начался балет — Вестрис показался — рукоплескания, как гром, раздались во всех концах театра. Правду сказать, искусство сего танцовщика удивительно. Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям испытателей естества человеческого, которые ищут ее в мозговых фибрах. Какая фигура! какая гибкость! какое равновесие! Никогда не думал я, чтобы танцовщик мог доставить мне столько удовольствия! Таким образом всякое искусство, подходящее к совершенству, приятно душе нашей! — Плеск восхищенных французов заглушал музыку. В положении страстного любовника, которого душа в томных вздохах сливается с душою любовницы, сокрылся Вестрис от глаз зрителей, поцеловал свою пастушку и бросился отдыхать на лавку. Играли еще комедию в один акт, самую пустую. Потом начался новый балет — Вестрис снова показался — и снова

¹ «Сутяги», Расина (ред.).

гремела хвала при каждом движении ног его. Между тем сели подле меня два человека, одетые по-дорожному. Вот разговор:

Один (*оборотясь ко мне*). Подле нас в ложе сидит русский?

Я (*заглянув в другую ложу*). Один немец, другой датчанин, третьего не знаю.

Один. По крайней мере я имею честь говорить с русским?

Я. Я русский.

Другой. Быть не может; вы француз.

Я. Я русский.

Один. О! у вас в России живут весело. Не правда ли?

Я. Очень весело.

Один. Давно ли вы здесь?

Я. Около трех часов.

Один. Откуда вы приехали?

Я. Из Женевы.

Один. А! прекрасный город! Что говорят там о Неккере?

Я. По большей части хвалят его.

Один. Куда вы едете?

Я. В Париж.

Другой. В Париж? Bravo! bravo! Мы сейчас оттуда. Что за город! А, государь мой! какие удовольствия вас там ожидают! удовольствия, о которых здесь, в Лионе, не имеют понятия. Вы, конечно, остановились в Hôtel de Milan? и мы там же. (*Своему товарищу.*) Mon ami, nous partons demain? (Мы завтра поедим?)

Один. Oui.

Другой. Правда, надобны деньги...

Один. Что ты говоришь! Русские все богаты, как Крезы; они без денег в Париж не ездят.

Другой. Как будто я не знаю этого! Правда, можно и с небольшими деньгами жить весело, быть всякий день в театре, на гульбищах.

Один. Пять, шесть тысяч ливров в месяц — по нужде довольно. Ах! я более издерживал!

Другой. Bravo, Westris! bravo!

Один. Прекрасно! C'est dommage, qu'il soit bête. Je le connois très bien. (Жаль, что он превеликая скотина. Я его знаю.) Граф Мирабо имел дело, сказывают...

Другой. С маркизом...

Один. За что?

Другой. Маркиз зацепил его за живое в Национальном собрании. (*Оборотясь ко мне.*) Париж вам без сомнения полюбится. Вы можете проживать, сколько вам угодно. Что принадлежит до моего товарища, то он жил слишком пышно. Надобно признаться, что Лизета тебе дорого стоила.

Один. А! (*Зажмуривается и хрипит.*)

Я. Откуда вы, если смею спросить?

Д р у г о й. Мы из Лангедока, жили долго в Париже и теперь возвращаемся в Монпелье.

О д и н (*просыпаясь*). Bravo, bravo, Вестрис! (*Стучит палкою в декорацию.*) Он первый танцовщик во вселенной. (*Задумывается и вздыхает.*) Умирая, могу сказать, что я наслаждался жизнью; все видел...

Д р у г о й. Все видел и все испытал! Примолви это, мой друг! ха! ха! ха!

О д и н. Mais oui, oui! Правда! — Вы, верно, знаете того русского графа, который нынешнюю зиму провел в Монпелье?

Я. Графа Б.? по слуху.

О д и н. Он у меня обедал в загородном доме. Brave homme! (*Задумывается и храпит.*)

Д р у г о й. Вы, право, хорошо говорите по-французски.

Я. Извините — я говорю очень худо.

О д и н (*просыпаясь*). Прекрасно! очень хорошо!

Я. Вы очень снисходительны.

О д и н. Черный кафтан приличнее всего для чужестранца в Париже.

Д р у г о й. Черный шелковый. — Женщины у вас хороши?

Я. Прекрасны.

О д и н. О! никто не знает женщин так, как я! Мы видали немок, итальянок (*помолчав*) — гишпанок — (*помолчав*) турчанок — (*помолчав*) и прочих и прочих.

Д р у г о й. О! ты с ними очень знаком! ха! ха! ха!

О д и н. Вы приехали водою?

Я. Извините.

О д и н. И так сухим путем! А как называется тот русский город, откуда можно ехать водою в Англию?

Я. Вы говорите, конечно, о Петербурге?

О д и н. Да, да! Жаль только, что у вас холодно. (*Оборотясь к своему приятелю.*) Кучера отмораживают там бороды с усами. — Bravo, bravo, Вестрис!

Между тем вошел к нам в ложу Беккер и начал говорить со мною по-немецки.

О д и н (*оборотясь к Беккеру*). Вы немец?

Б е к к е р. Извините — я из Копенгагена.

О д и н. А! Ваш язык сходен с немецким. Ведь вы говорите: *я мен гер?* А куда вы едете?

Б е к к е р. В Париж — с ним (*указывая на меня*).

О д и н. Bravo! Tant mieux.

Балет кончился — занавес опустился. Паркет, ложи, партер — все в один голос закричали: «Останься здесь, Вестрис, останься здесь!» Крик продолжался несколько минут. Занавес снова поднялся. Вестрис выступил — какой скромный вид! какая кротость во всей наружности! какие поклоны! Шляпу держал он у сердца.

Надлежало зажать уши от громкого плеска. Вестрис остановился. Вдруг все умолкло — можно было слышать работу кузнечика.

В е с т р и с. Только на месяц позволено мне отлучиться из Парижа; месяц проходит, и мне надлежало ныне ехать; но...

Здесь голос его перервался; он поднял глаза вверх, стараясь собрать силы. Страшное рукоплескание! но вдруг опять все умолкло.

В е с т р и с. В знак благодарности за то благоволение, которого вы меня удостоиваете, я буду танцевать еще завтра.

Шумящее *браво* соединилось со всеобщим плеском — и занавес закрылся. Энтузиазм был так велик, что в сию минуту легкие французы могли бы провозгласить Вестриса своим диктатором.

Учтивые господа, с которыми имел я вышеописанный разговор, пожелали мне счастливого пути и обещали сыскать меня в Париже через месяц. Пришедши в свою комнату, сели мы с Беккером перед камином (в котором дубовые дрова весьма ясно горели) и с некоторым родом восхищения разговаривали о французской учтивости.

На другой день отвели нам две небольшие веселые комнаты, окнами на место de Terreaux перед ратушею, где беспрестанно бывает множество людей, кроме множества торговков, продающих яблоки, апельсины, померанцы и разные безделки. Одевшись, пошли мы бродить по городу.

Улицы вообще все узки, кроме двух или трех посредственных. Набережная Соны очень хорошо выстроена. Вода в сей реке так же зелена, как и в Роне, но гораздо мутнее. Беспрестанно кричали нам женщины, которые здесь отправляют должность перевозчиков: «Не хотите ли переехать через реку?» — хотя мостов много и один от другого недалеко. Большая и лучшая часть города лежит между рек. За Соною подымается высокая гора, на вершине которой построены монастыри и несколько домов. Вид с сей горы есть один из прекраснейших. Весь город перед глазами — не маленький городок, но один из величайших в Европе. Снежные Савойские горы (из-за которых в ясную погоду выглядывает трехглавый Мон-Блан, наш женеvский знакомец) с цепию Дофинских простираются в амфитеатре и ограничивают область зрения. Обширные зеленые равнины по ту сторону Роны, принадлежащие к Дофине, — равнины, где уже оперяется весна, отменно милы и видны. Там идет дорога в Лангедок и Прованс, счастливые цветущие страны, где чистый воздух в весенние и летние месяцы бывает налитан ароматами и где теперь благоухают ландыши!..

...В час возвратились мы обедать. Более тридцати человек сидело за столом. Всякий брал, что хотел. Счастлив, перед кем стояли лучшие блюда! Но стол был очень изобилен.

После обеда пошел я с письмом к Маттисону, немецкому стихотворцу, который воспитывает детей одного здешнего банкира.

— Ах! вы говорите по-немецки; вы любите немецкую литературу, немецкое прямотушие! — С этими словами бросился он обнимать меня.

Но я еще более обрадовался его знакомству, нежели он моему; в Германии не могло бы оно быть для меня так приятно, как во Франции, где я не ищу искренности, не ищу симпатического сердца — не ищу для того, что найти не надеюсь. С милою поспешностью выхватил он из бюро свои бумаги и прочел мне три пьесы, им недавно сочиненные. Я слушал его с непритворным удовольствием. Нежная кротость, живые чувства, чистота языка составляют красоту его песней. Он вдруг остановился, взглянул на меня, засмеялся и сказал:

— Не правда ли, что я поспешил представить вам мою Музу? Ах! бедная по сие время не имела никакого знакомства в Лионе!

Я также засмеялся и пожал его руку, уверяя, что Музу его люблю сердечно. — От него пошел в комедию. Играли Руссова «Деревенского колдуна». С живейшим удовольствием слушал я музыку сей прекрасной оперы. Парижские дамы были правы, говоря, что автору ее надлежало быть весьма чувствительну!.. Я воображал его, как он, в бороде и в непричесанном парике, сидел в ложе фонтенеблосского театра во время первого представления оперы своей, укрываясь от взоров восхищенной публики. — В балете снова удивлялись мы искусству Вестрисову. Лишь только занавес начал опускаться, все закричали: «Вестрис! Вестрис!» Занавес опять подняли — утомленный танцовщик выступил при звуке рукоплесканий, с тем же скромным видом, с теми же смиренными ужимками, как и вчера! Казалось, будто он ожидал суда, хотя решительное определение публики гремело во всех концах театра. Шум в секунду утих — Вестрис стоял, как вкопанный, и молчал — голос нетерпения раздался — публика ожидала речи, забыв, что танцовщик не есть ритор, — забвение, простительное французам! В сию минуту Вестрис мог быть освистан. Опять все умолкло. Танцовщик собрался с силами и сказал:

— Messieurs! je suis pénétré de vos bontés — mon devoir m'appelle à Paris. (Милостивые государи! я чувствую вашу благосклонность; должность отзывает меня в Париж.)

Довольно для публики! Рукоплескание и *bravo!* — Вестрис доволен Лионом со всех сторон; искусство его награждено здесь хвалой и деньгами. Я встречался с ним несколько раз на улице. «Вестрис! Вестрис!» — кричали люди, и всякий указывал на него пальцем. Итак, легкость ног есть добродетель почтенная! Что принадлежит до денежной награды, то за всякое представление получал он 520 ливров. Теперь ужинают у него все здешние комедианты (он живет в Hôtel de Milan) и так шумят, что я не надеюсь заснуть.

Ныне поутру Маттисон водил нас к одному ваятелю, который в Италии образовал свой резец по моделям древних художников. Он принял нас учтиво и показывал статуи, весьма искусно выработанные. Живописцу, ваятелю так же нужно живое воображение, как и поэту: лионский художник имеет его. Он делает теперь заказную статую, которую один молодой супруг готовит в подарок супруге своей, счастливой матери любезного младенца, приближающегося к возрасту отрока. Художник представил прекрасного мальчика, спящего кротким сном невинности под надежным щитом Минервы, изображенной по мысли греческих художников с отменным искусством; внизу виден образ Улиссов.

— Ныне мало работаю, — сказал он, — будучи принужден, — здесь он вздохнул, — часто вооружаться и ходить на караул, так, как и все прочие граждане. Вид недоделанных статуй приводит меня в уныние. Ах, государи мои! вы не можете войти в чувства художника, отвлекаемого от работы!

«Ты истинный художник!» — думал я. — Мы пошли в гошпиталь, огромное здание на берегу Роны. В первой зале, куда нас ввели, стояло около двухсот постель в несколько рядов — о! какое зрелище! сердце мое трепетало. На одном лице видел я изнеможение всех сил, томную слабость; на другом яростный приступ смерти, напряженный отпор жизни; на ином победу первой — жизнь удалялась и вылетала на крыльях вздохов. Здесь-то надобно собирать черты для картин страждущего человечества, прибирая тени к теням. Но какое упражнение! кто вынесет весь ужас его! — Между смертью и болезнью попадалось в глаза и томно-радостное выздоровление. Бледные младенцы играли цветами — чувство к красотам Натуры возобновилось в сердцах их! Старец, подымаясь с одра, подымал глаза на небо или обращал их вокруг себя. «И так я еще буду жить!» — говорили радостные глаза его. «Я еще буду наслаждаться жизнью!» — говорили веселые взоры выздоравливающего мужа и юноши. Какая смесь чувств! Как грудь моя могла вмещать их! — Таким образом переходили мы из залы в залу. В каждой заключается особый род болезни: в одной лежат чахотные, в другой изувеченные, в третьей родильницы, и так далее. Везде удивительная чистота, везде свежий воздух. Присмотр за больными также достоин хвалы всякого друга человечества — и где можно расточать ее с живейшим удовольствием? Милосердие! сострадание! святые добродетели! Так называемые *жалостливые сестры*¹ служат в сем доме *плага*, и чувство доброго дела есть их награда. Иные стоят на коленях и молятся; другие обхаживают больных, подают им лекарства, пищу. Некоторые из сих добродетельных монахинь весьма молоды; кротость

¹ Женский монашеский орден.

сияет на их лицах. В середине каждой залы стоит алтарь; тут всякий день служат обедню.

— Вот комната, — сказал нам провожатый, указывая на дверь, — за которую надобно платить в день 12 ливров, с лекарствами, с пищею и услугою; но она пуста.

— А что платят бедные?

— 10 су в день за все и 20, кто хочет иметь постелью с занавесом.

— Что здесь? — спросил я, указывая на маленькую часовню в углу двора.

— Посмотрите, — отвечал вожатый — и четыре гроба, покрытые черным полотном, встретили взор мой.

— Всякий день, — говорил он, — умирает здесь несколько человек. Ныне, слава богу! умерли только четверо. К вечеру их вывезут.

Я с ужасом отворотился от сего мрачного жилища смерти.

— Теперь поведу вас в кухню.

«Кстати!» — думал я, однакож пошел за ним. Там в превеликой зале со многими печами кипели котлы, лежали целые быки и телята.

— И это все в нынешний день будет съедено? — спросил я.

— Тысяча больных, — отвечал он, — ест по крайней мере за пятьсот здоровых. Я не считаю множества лекарей и духовных, которые здесь живут. Вот их столовая.

Мы вошли в большую комнату, загроможденную столами. Час обеда еще не пришел; но некоторые из почтенных духовников наполняли свои желудки мясом и пирогами: они завтракали.

— Все ли? — спросил я, выходя из залы.

— Посмотрите сюда. Здесь за железными решетками содержатся безумные.

Один из сих несчастных сидел на галлерее за маленьким столиком, на котором стояла чернилица. Бумагу и перо держал он в руке, в глубокой задумчивости облокотясь на столик.

— Это философ, — сказал с усмешкою провожатый: — бумага и чернилица ему дороже хлеба.

— А что он пишет?

— Кто знает! какие-нибудь бредни; но начто лишать его такого безвредного удовольствия?

— Правда, правда! — сказал я со вздохом: — начто лишать его безвредного удовольствия!

Мы возвратились к обеду в Hôtel de Milan.

...Ударило шесть часов — театр был наполнен зрителями; я сел в ложе подле двух молодых дам. Представляли новую трагедию, «Карла IX», сочиненную г. Шецье. Слабый король, прави-

мый свою суверенную мать и чернодушным прелатом (который всегда говорит ему именем неба), соглашается пролить кровь своих подданных для того, что они — не католики. Действие ужасно; но не всякий ужас может быть душою драмы. Великая тайна трагедии, которую Шекспир похитил во святых чуждого сердца, пребывает тайною для французских поэтов — и «Карл IX» холоден, как лед. Автор имел в виду новые происшествия, и всякое слово, относящееся к нынешнему состоянию Франции, было сопровождено плеском зрителей. Но отними сии *отношения*, и пьеса показалась бы скучна всякому, даже и французу. На сцене только разговаривают, а не действуют, по обыкновению французских трагиков; речи предлинны и наполнены обветшалыми сентенциями; один актер говорит без умолку, а другие зевают от праздности и скуки. Одна сцена тронула меня — та, где сонм фанатиков упадает на колени и благословляется злым прелатом; где при звуке мечей клянутся они истребить еретиков. Главное действие трагедии повествуется и для того мало трогает зрителя. Добродетельный Колиньи умирает за сценою. На театре остается один несчастный Карл, который в сильной горячке то бросается на землю, то — встает. Он видит (не в самом деле, а только в воображении) умерщвленного Колиньи, так, как Синав видит умерщвленного Трувора; лишается сил, но между тем читает пышную речь стихов в двести.

— C'est terrible! (Это ужасно!), — говорили дамы, подле меня сидевшие.

Маттисон пришел к нам из театра и просидел в моей горнице до двенадцати часов. В камине пылали у нас дубовые дрова, кипели чай и кофе. Маттисон читал мне Виландовы письма, писанные не к нему, а к известной госпоже ла-Рош, сочинительнице «Истории девицы Штернгейм» и других романов, — письма, в которых добрая и нежная душа старого поэта как в чистом зеркале изображается. Ла-Рош любит Маттисона и присылает ему копию своей переписки. — Три часа протекли для нас, как три минуты...

Вы читали «Тристрама» и помните историю нежных любовников; помните Амандуса, который, будучи разлучен с своею Амандою, странствовал по свету, попался в плен морским разбойникам и двадцать лет просидел в подземной темнице, для того что он не хотел изменить своей Аманде и не отвечал любовью на любовь мароккской принцессы; помните Аманду, которая исходила всю Европу, Азию и Африку, босая и с распущенными волосами, спрашивая во всяком городе, у всяких ворот о своем Амандусе и заставляя эхо мрачных лесов, эхо гор кремнистых твердить имя его — «Амандус! Амандус!» — помните, как сии любовники соплились наконец в Лионе, отечественном их городе, увидели друг друга,

обнялись и — упали мертвые... души их на крыльях радости улетели на небо! — помните, что нежный Стерн, приближаясь к тому месту, где, по описанию, надлежало быть их могиле, и чувствуя в сердце своем огонь и пламя, воскликнул: «Нежные, верные тени! давно, давно хотел я пролить сии слезы на вашем гробе; примите их от чувствительного сердца!» — но вы помните и то, что Стерну не на что было пролить слез своих, ибо он не нашел гроба любовников: увы! и я не мог найти его!.. спрашивал — но французы думают ныне о своей революции, а не о памятниках любви и нежности!

Кто, будучи здесь, не вспомнит еще о других, несчастнейших любовниках, которые за двадцать лет перед сим умертвили себя в Лионе?

Итальянец именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приблизился тот счастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их счастья. Молодой итальянец каким-то случаем повредил себе главную пульсовую жилу, от чего произошла неизлечимая болезнь. Отец Терезин, боясь выдать дочь свою за такого человека, который может умереть в самый день брака, решился отказать несчастному Фальдони; но сей отказ еще более воспламенил любовников, и, потеряв надежду соединиться в объятиях законной любви, они положили соединиться в хладных объятиях смерти. Недалеко от Лиона в каштановой роще построен сельский храм, богу милосердия посвященный и рукою греческого искусства украшенный. Туда пришел бледный Фальдони и ожидал Терезы. Скоро явилась она во всем сиянии красоты своей, в белом кисейном платье, которое шито было к свадьбе, и с розовым венком на темнорусых волосах. Любовники упали перед алтарем на колени и — приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга — поцеловались — и сей огненный поцелуй был знаком смерти — выстрел раздался — они упали, обнимая друг друга; и кровь их смешалась на мраморном помосте.

Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одни заставляют меня плакать, другие возмущают дух мой. Если бы Тереза не любила или перестала любить Фальдони; или если бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все счастье, всю прелесть жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства несчастного и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой мелаихоллии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: итак,

им надлежало почитать себя счастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны — чего более? ¹ Истинная любовь может наслаждаться без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ее за отдаленными морями скрывается. Мысль: *меня любят!* должна быть счастьем нежного любовника — и как приятно, как сладко думать ему, что ветерок, который в сию минуту прохладяет жар лица его, веял, может быть, и на прелестях любезной; что птичка, в глазах его под небом парящая, за несколько дней перед тем сидела, может быть, на том дереве, под которым красавица размышляла о своем друге! Одним словом, удовольствия любви бесчисленны; ни тиранство родителей, ни тиранство самого рока не может отнять их у нежного сердца — и кому сии удовольствия неизвестны, тот не называя себя чувствительным! — Фальдони и Тереза! вы служите для меня примером одного иступления, помешательства разума, заблуждения, а не примером истинной любви!

— Смотри! Смотри! — закричал мой Беккер.

Я бросился к окну и увидел, что вокруг ратуши толпился шумящий народ.

— Что это значит? — спросили мы у слуги, который прибирал мою комнату.

— Какое-нибудь новое дурачество, — отвечал он.

Но я любопытен был знать это дурачество и вместе с Беккером пошел на улицу. У пяти или шести человек спрашивали мы о причине шума; но все отвечали нам: «*Qu'en sais-je?* (Почему мне знать?)» Наконец дело объяснилось. Какая-то старушка подралась на улице с каким-то стариком; пономарь вступился за женщину; старик выхватил из кармана пистолет и хотел застрелить пономаря; но люди, шедшие по улице, бросились на него, обезоружили и повели его... *à la lanterne* (на виселицу); отряд национальной гвардии встретился с сею толпою людей, отнял у них старика и привел в ратушу — вот что было причиною волнения. Народ, который сделался во Франции страшнейшим деспотом, требовал, чтобы ему выдали виновного, и кричал: «*À la lanterne!*» Пономарь кричал: «*À la lanterne! à la lanterne!*» Бабы торговли кричали: «*À la lanterne! à la lanterne!*» — Те, которые наиболее шумели и возбуждали других к мятежу, были нищие и празднолюбцы, не хотящие работать с эпохи так называемой французской свободы. — Изрядно одетый незнакомец подошел ко мне и к Беккеру и с дружественным видом сказал нам:

— Около получаса ходит за вами подозрительный человек: будьте осторожны — вы, конечно, иностранцы — *sauvez-vous, messieurs!* спасайтесь!

¹ Кто хочет, рассмеется.

Я посмотрел ему в глаза и уверился, что он хотел только испугать нас; а Беккер, не знаю отчего, покраснел и схватил мою руку; взор его говорил мне: *мы друг друга не оставим!* Но он и я благополучно возвратились в Hôtel de Milan. Народ ввечеру рассеялся, и мы пошли гулять на свободе по берегу Роны.

Мы обедали ныне у господина Т., богатого купца, вместе с некоторыми из здешних ученых; а ввечеру были на гуляньи за городом. И богатые и бедные, и старые и малые толпились на зеленых лугах, поздравляли друг друга с весною и наслаждались теплым вечером. В городе не оставалось, думаю, ни четвертой части жителей, и всякий был в лучшем своем платье. Иные сидели на траве и пили чай; другие ели бисквиты, сладкие пироги и потчевали своих знакомых. Я ходил между тысячами, как в лесу, не зная никого и не будучи никому известен. Однакож, видя вокруг себя радостные лица, веселился в сердце своем. Наконец ушел ото всех людей, сел под зеленым кусточком, увидел фиалку и сорвал ее; но мне показалось, что она не так хорошо пахнет, как наши фиалки, — может быть, оттого, что я не мог отдать сего цветочка любезнейшей из женщин и вернейшему из друзей моих!

Лион ... 1790.

Нет, друзья мои! я не увижу плодоносных стран южной Франции, которыми прельщалось мое воображение!.. Беккер не получил здесь векселя и, оставшись только с шестью луидорами, решил ехать прямо в Париж. Мне надлежало с ним расстаться или пожертвовать для него своим любопытством, своими мечтами, Лангедоком и Провансом.

Несколько минут я сражался с самим собою, сидя в задумчивости перед камином. Любезный датчанин разбирал между тем свой чемодан, в котором лежали некоторые из моих вещей.

— Вот твои книги, — говорил он, — твои письма — твои платки — возьми их! Может быть, мы уже не увидимся.

— Нет, — сказал я, встав со стула и обняв с чувствительностию Беккера, — мы едем вместе!

Гробница нежной Лауры, прославленной Петrarком! Воклюзская пустыня, жилище страстных любовников! ¹ шумный, пенный ключ, утолявший их жажду! я вас не увижу!.. Луга прованские, где тимон с розмарином благоухают! не ступит нога моя на вашу цветущую зелень!.. Нимский храм Дианы, огромный амфитеатр, драгоценные остатки древности! я вас не увижу! ² —

¹ В 12 верстах от Авиньона.

² В Ниме много римских древностей.

Не увижу и тебя, отчизна Пилата Понтийского! ¹ не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, где сей несчастный сидел в заключении; не загляну в ту ужасную пропасть, в которую он бросился из отчаяния! ² — Простите, места, любопытные для чувствительного путешественника!

Не без слез расставались мы с Маттисоном. Он подарил мне на память некоторые из новейших своих сочинений и сказал:

— Где буду впредь, не знаю; но никакой климат не переменит моего сердца — я всегда с удовольствием стану вспоминать о нашем знакомстве — не забудьте Маттисона!

Прочих лионских знакомых оставляю без сожаления.

Завтра в пять часов утра сядем в почтовую лодку и поедем в Шалон. С учтивою хозяйкою мы уже расплатились. Каждый день стоил нам здесь около луидора.

Теперь ночь — Беккер спит — я не могу — сижу за столиком и лечу мыслями в мое отечество — к вам, моим любезным!

Река Сона.

Солнце восходит — туман разделился — лодка наша катится по струистой лазури, освещаемой золотыми лучами, — подле меня сидит один добрый старик из Нима; молодая приятная женщина спит крепким сном, положив голову на плечо его; он одевает красавицу плащом своим, боясь, чтобы она не простудилась, — молодой англичанин в углу лодки играет с своею собакою — другой англичанин с важным видом болтает в реку воду длинною своею тростью и напоминает мне тех духов в «Багват-Гете», ³ которые сим способом целый океан превратили в масло, — высокий немец, стоя подле мачты, курит трубку — Беккер, пожимаясь от утреннего холодного воздуха, разговаривает с кормчим — я пишу карандашом на пергаментном листочке.

На обеих сторонах реки простираются зеленые равнины; изредка видны пригорки и холмики; везде прекрасные деревеньки, каких не находил я ни в Германии, ни в Швейцарии; сады, летние домики богатых купцов, дворянские замки с высокими башнями; везде земля обработана наилучшим образом; везде видно трудолюбие и богатые плоды его.

Я воображаю себе первобытное состояние сих цветущих берегов... Здесь журчала Сона в дичи и мраке; темные леса шумели над ее водами; люди жили как звери, укрываясь в глубоких пещерах или под ветвями столетних дубов, — какое превращение!.. Сколько

¹ Город Вьень.

² Так говорит предание. Сюю башню и сию пропасть показывают близ Вьеня.

³ Индейская книга.

веков потребно было на то, чтобы сгладить с Натуры все признаки начальной дикости!

Но, может быть, друзья мои, может быть, в течение времени сии места опять запустеют и одичают; может быть, через несколько веков (вместо сих прекрасных девушек, которые теперь перед моими глазами сидят на берегу реки и чешут гребнями белых коз своих) явятся здесь хищные звери и заревут, как в пустыне африканской!.. Горестная мысль!

Наблюдайте движения Природы; читайте историю народов; поезжайте в Сирию, в Египет, в Грецию — и скажите, чего ожидать не возможно? Все возвышается или упадает; народы земные подобны цветам весенним; они увядают в свое время — придет странник, который удивлялся некогда красоте их; придет на то место, где цвели они... и печальный мох представится глазам его! — Оссиан! ты живо чувствовал сию плачевную судьбу всего подлунного и для того потрясаяешь мое сердце унылыми своими песнями!

Кто поручится, чтобы вся Франция — сие прекраснейшее в свете государство, прекраснейшее по своему климату, своим произведениям, своим жителям, своим искусствам и художествам, — рано или поздно не уподобилась нынешнему Египту.

Одно утешает меня — то, что с падением народов не упадает весь род человеческий; одни уступают свое место другим — и если запустеет Европа, то в середине Африки или в Канаде процветут новые политические общества, процветут науки, искусства и художества.

Там, где жили Гомеры и Платоны, живут ныне невежды и варвары; но зато в северной Европе существует певец «Мессиады», которому сам Гомер отдал бы лавровый венец свой; зато у подошвы Юры видим Боннета, а в Кенигсберге Канта, перед которыми Платон в рассуждении философии есть младенец.

Более писать негде.

Макоп в Бургонии, полночь.

Путешествие наше очень приятно. День был прекрасный, вечер теплый, солнце тихо и великолепно скатилось с голубого неба, и давно не видал я такой розовой зари, какую видел ныне.

В полдень пристали мы к берегу против одного небольшого местечка. Тут встретили нас пятнадцать или двадцать трактирщиц, из которых каждая звала к себе в гости *любезных путешественников*, уверяя, что у нее прекрасный суп, прекрасные соусы, прекрасный десерт и самое лучшее вино. Я, Б., молодой французский офицер и двое англичан обедали вместе и с великою благодарностию заплатили хозяйке по 30 су, для того что она в самом деле очень хорошо нас угостила. — После обеда гуляли мы по берегу реки, заходили в разные крестьянские домики и видели, что

поселяне живут чисто и опрятно. Офицер, Б. и я говорили с ними о хозяйстве, о земледелии и шутили с молодыми крестьянками, которые умеют еще краснеться. Одно семейство застали мы за обедом: на большом столе, покрытом довольно чистою скатертью, стояла чаша с супом, блюдо шпинату и кринка молока. — Но весьма не полюбились мне деревянные башмаки французских поселян, и я не понимаю, как они не натирают ими ног своих.

Около вечера мы проплыли мимо города Треву, лежащего на правой стороне Соны; более всего известен он по «Mémoires de Trevoux»,¹ антифилософическому иезуитскому журналу, который, подобно черной молниеносной туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д'Аланбертов и грозил поглотить священным огнем все произведения ума человеческого.

В девять часов вышли мы на берег в городе Маконе, ужинали в первом здешнем трактире и пили самое лучшее бургонское вино. Оно густого, темного цвета и совсем не похоже на то, что у нас в России называется бургонским.

Здесь ночуем и в четыре часа поплывем в Шалон, где надеемся быть завтра после обеда.

Фонтенебло, 9 часов утра.

Третьего дня ночью выехали мы из Шалона в легкой коляске вместе с одним парижским купцом, который, взяв с нас двоих 300 ливров, сказал, чтобы мы спрятали до Парижа свои кошельки; он платит прогоны, за обед, за ужин, за чай и кофе. Может быть, останется у него несколько талеров или экю; но зато мы совершенно покойны.

Французская почта не дороже и притом несравненно лучше немецкой. Лошади везде через пять минут готовы; дороги прекрасные; постиллионы не ленивы — города и деревни беспрестанно мелькают в глазах путешественника.

В 30 часов переехали мы 65 французских миль; везде видели приятные места и на каждой станции — были окружены нищими! Товарищ наш француз говорил, что они бедны от праздности и лени своей и потому недостойны сожаления; но я не мог спокойно ни обедать, ни ужинать, видя под окном сии бледные лица, сии раздранные рубища!

Фонтенебло есть маленький городок, окруженный лесами, в которых французские короли издревле забавлялись звериною ловлею. Святой Людовик подписывал на указах: *donné en nos déserts de Fontainebleau* (дано в нашей пустыне Фонтенебло). Тогда не было здесь почти ничего, кроме двух или трех церквей

¹ «Труды Треву» (ред.).

и монастыря; но Франциск I построил в пустыне огромный дворец и украсил его лучшими произведениями итальянского искусства. Я хотел видеть внутренность сего величественного здания и за два эюю видел все достойное примечания: прекрасную церковь, галерею Франциска I с ее славными картинами, королевские и королевины комнаты, также украшенные превосходною живописью, и проч. В одной большой галлерее сего дворца показывают то место, где жестокая Христина в 1659 году страшнейшим образом умертвила своего шталмейстера и любовника маркиза Мональдески. — В маскарадной зале, расписанной живописцем Николо, многие картины стерты, для того что они были слишком соблазнительны для набожных людей. Соваль, адвокат парижского парламента, описывая *любовные похождения королей французских*, говорит, что век Франциска I был самый развращенный и что все произведения тогдашних поэтов и живописцев дышали сладострастием. «Ступай в Фонтенебло! — восклицает благочестивый адвокат, скончавший жизнь свою в 1670 году, — и везде на стенах увидишь ты богов и богинь, мужчин и женщин, которые посрамляют Натуру и утопают в море распутства. Добродетельная супруга Генриха IV истребила многие из сих картин; но чтобы истребить все погибельное, все развратное, надлежит предать пламени весь Фонтенебло». — Некто Сюбле де Ное, будучи губернатором в Фонтенебло, сжег Микель-Анджелову картину, за которую Франциск I заплатил превеликую сумму. Изображалась нагая Леда — и так живо, в таком сладострастном положении, что губернатор не мог видеть ее без соблазна. — Сии анекдоты взял я из Дюлора.

Мы завтракали — постиллион хлопает бичом — простите — простите до Парижа!

Париж, 27 марта 1790.

Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ее, Париж!.. Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий — и терялись в ее густых тенях. Сердце мое билось. «Вот он, — думал я, — вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод, — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, — которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слышал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. я его вижу и буду в нем!» — Ах, друзья мои! сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия! Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытством, —

с таким нетерпением! — Товарищ наш француз, указывая на Париж своею тростью, говорил нам:

— Здесь, на правой стороне, видите вы предместье Мон-Мартр и дю-Танплъ; против нас св. Антония, а на левой стороне за Сеною предместье Ст.-Марсель, Мишель и Жермень. Эта высокая готическая башня есть древняя церковь богоматери; сей новый великолепный храм, которого архитектуре вы, конечно, удивляетесь, есть храм святой Женевиэвы, покровительницы Парижа; там вдали возвышается с блестящим куполом l'Hôtel Royal des Invalides, ¹ одно из огромнейших парижских зданий, где короли и отечество покоят заслуженных и престарелых воинов.

Скоро въехали мы в предместье св. Антония; но что же увидели? Узкие, нечистые, грязные улицы, худые дома и людей в раздранных рубищах. «И это Париж? — думал я, — город, который издали казался столь великолепным?» — Но декорация совершенно переменилась, когда мы выехали на берег Сены; тут представились нам красивые здания, дома в шесть этажей, богатые лавки. Какое многолюдство! какая пестрота! какой шум! Карета скачет за каретою, — беспрестанно кричат: «gare! gare!»,² и народ волнуется, как море.

Сей неописанный шум, сие чудное разнообразие предметов, сие чрезвычайное многолюдство, сия необыкновенная живость в народе привели меня в некоторое изумление. — Мне казалось, что я, как маленькая песчинка, попал в ужасную пучину и кружусь в водном вихре.

Переехав через Сену, в улице Генего остановились мы подле Hôtel Britannique. Там в третьем этаже нашлись для нас две комнаты, светлые и чисто прибранные, за которые должно платить по два лудора в месяц. Хозяйка осыпала нас учтивостями; бегала, суетилась, назначала место для наших кроватей, сундука, чемодана и при всяком слове говорила: «Aimables étrangers — любезные иностранцы, почтенные иностранцы!» Купец, сопутник наш, пожелал нам всевозможных удовольствий в Париже и уехал к себе домой; а мы в полчаса успели отобедать, причесаться, одеться — заперли свои комнаты, вышли на улицу и смешались с толпами народными, которые, как морские волны, вынесли нас к славному Новому мосту, Pont neuf, где стоит прекрасный монумент любезнейшего из королей французских, Генриха IV. Можно ли было пройти мимо его? Нет! ноги мои сами собою остановились; взор мой сам собою устремился на образ героя и несколько минут не мог с него совратиться.

Оставя Беккера у подножия Генриховой статуи, я пошел к г. Брегету, который живет недалеко от Нового мосту на quai des

¹ Королевский дом Инвалидов (ред.).

² Посторонись! посторопись! (Ред.)

Morfondus.¹ Жена его приняла меня перед камином и, услышав мое имя, тотчас вынесла мне письмо — письмо от моих любезных!.. Вообразите радость вашего друга!.. Вы здоровы и благополучны!.. Все беспокойства в одну минуту забылись: я стал весел, как беспечный младенец, — читал десять раз письмо — забыл госпожу Брегет и не говорил с нею ни слова — душа моя в сию минуту занималась одними отдаленными друзьями.

— Кажется, что вы очень обрадовались, — сказала хозяйка: — это приятно видеть.

Тут я опомнился, начал перед нею извиняться, но очень нескладно; хотел рассказывать ей о Женеве, где она родилась, — но не мог и наконец ушел. Беккер увидел меня бегущего; увидел письмо в руке моей; увидел мое лицо — и обрадовался сердечно — потому что он любит меня. Мы обнялись на Новом мосту подле монумента — и мне казалось, что сам медный Генрих, смотря на нас, улыбался. *Pont neuf!* я никогда тебя не забуду!

Сердце мое было довольно и весело — я ходил с Беккером по неизвестному городу из улицы в улицу без проводника, без намерения и без цели — и все, что встречалось глазам нашим, занимало меня приятным образом.

Солнце село; наступила ночь, и фонари засветились на улицах. Мы пришли в Пале-Рояль, огромное здание, которое принадлежит герцогу Орлеанскому и которое называется столицей Парижа.

Вообразите себе великолепный квадратный замок и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, серебро и золото; все произведения Nature и Искусства; все, чем когда-нибудь царская пышность украшалась; все изобретенное роскошью для услаждения жизни!.. И все это, для привлечения глаз, разложено прекраснейшим образом и освещено яркими разноцветными огнями, ослепляющими зрение. — Вообразите себе множество людей, которые толпятся в сих галлерейх и ходят взад и вперед только для того, чтобы смотреть друг на друга! — Тут видите вы и кофейные дома, первые в Париже, где также все людьми наполнено; где читают вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи и проч.

Голова моя закружилась — мы вышли из галлерей и сели отдыхать в каштановой аллее, в *Jardin du Palais Royal*.² Тут царствовали тишина и сумрак. Аркады изливали свет свой на зеленые ветви; но он терялся в их тенях. Из другой аллеи неслись тихие, сладостные звуки нежной музыки; прохладный ветерок шевелил листочки на деревьях. — *Нимфы радости* подходили к нам одна за другою, бросали в нас цветами, вздыхали, смеялись,

¹ Набережная Морфондю (ред.).

² Дворцовый сад (ред.).

звали в свои гроты, обещали тьму удовольствий и скрывались, как призраки лунной ночи.

Все казалось мне очарованием, Калипсиним островом, Арми-
диным замком. Я погрузился в приятную задумчивость, и тысячи
романических мыслей носились в душе моей...

Париж, 2 апреля 1790.

Я в Париже! Эта мысль производит в душе моей какое-то осо-
бливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение... *я в Париже!*
говорю сам себе и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в Поля Ели-
сейские; вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любо-
пытством: на дома, на кареты, на людей. Что было мне известно
по описаниям, вижу теперь собственными глазами — веселюсь и
радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в
свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений.

Пять дней прошли для меня как пять часов: в шуме, во много-
людстве, в спектаклях, в волшебном замке Пале-Рояль. Душа
моя наполнена живыми впечатлениями; но я не могу самому себе
дать в них отчета и не в состоянии сказать вам ничего связного
о Париже. Пусть любопытство мое насыщается; а после будет
время рассуждать, описывать, хвалить, критиковать. — Теперь
замечу одно то, что кажется мне главной чертою в характере Па-
рижа: отменную живость народных движений, удивительную ско-
рость в словах и делах. Система Декартовых вихрей могла родиться
только в голове француза, парижского жителя. Здесь все спешит
куда-то; все, кажется, перегоняют друг друга; ловят, хватают
мысли; угадывают, чего вы хотите, чтоб как можно скорее вас
отправить. Какая страшная противоположность — например,
с важными швейцарами, которые ходят всегда размеренными ша-
гами, слушают вас с величайшим вниманием, приводящим в краску
стыдливого, скромного человека; слушают и тогда, когда вы уже
говорить перестали; соображают ваши слова и отвечают так мед-
ленно, так осторожно, боясь, что они вас не понимают! А париж-
ский житель хочет всегда отгадывать; вы еще не кончили вопроса,
он сказал ответ свой, поклонился и ушел!

Париж, апреля ... 1790.

Принимаясь за перо с тем, чтобы представить вам Париж хотя
не в совершенной картине, но по крайней мере в главных его
чертах, должен ли я начать, как говорили древние, с *лиц Лебв*
и объявить с ученою важностию, что сей город назывался некогда
Лютециею; что имя парижских жителей, Parisii, значит *народ, по-*
кровительствоуемый Изидою, — то есть что оно произошло от гре-
ческого слова *Пара* и *Изис*, хотя NB. Галльские народы не имели

никакого понятия о сей египетской богине и не думали искать ее покровительства? Перевести ли некоторые места из «Записок» Юлия Цезаря (первого из древних авторов, упоминающих о Париже) и «Мизопогона», книги, сочиненной императором Иулианом; места, из которых вы узнаете, что Париж и во время Цезарево был уже столицей Галлии и что император Иулиан умер было в нем от угара? ¹ Окружить ли мне себя творениями Иоанна Готвиля, Вильгельма Коррозета, Клавдия Фошета, Николая Бонфуса, Якова Берля, Маленгра, Совалья, Дона Филибьеня, Коллетета, де-ла-Мара, Брисса, Буассо, Праделя, ле-Мера, Монфокона — ослепить ли глаза ваши ученою пылью сих авторов и показать ли вам ясно, что был Париж в своем начале, когда еще не огромные палаты и храмы созерцались в струях Сены, а маленькие домики, подобные альпийским хижинам; когда еще не гранитные, а деревянные мосты служили ей поясами; когда не Лаис, не Рено пленяли слух людей на берегах ее, а братья Оссиановы дикими своими песнями; когда не Мирабо, не Мори удивляли парижцев своим красноречием, а седовласые друиды, обожатели дубового леса? Итти ли мне вслед Парижу шаг за шагом через пространство мигнувших веков, означая все его изменения, новые виды, успехи в архитектуре, от первого каменного домика до Луврской колоннады? — Я слышу ответ ваш: «Мы прочитаем Сент-Фуа, его «Essais sur Paris», ² и узнаем все то, что ты можешь сказать о древности Парижа; скажи нам только, каков он показался тебе в нынешнем своем виде, и более ничего не требуем». — Итак, оставляя почтенную старину, оставляя все прошедшее, буду говорить об одном настоящем.

Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге. Громады зданий впереди с высокими шпицами и куполами; на правой стороне река Сена с картинными домиками и садами; на левой, за пространною зеленою равниною, гора Мартр, покрытая бесчисленными ветряными мельницами, которые, размахивая своими крыльями, представляют глазам вашим летящую станицу каких-нибудь пернатых великанов, строусов или альпийских орлов. Дорога широкая, ровная, гладка, как стол, и ночью бывает освещена фонарями. Застава есть небольшой домик, который пленяет вас красотой архитектуры

¹ «Я провел зиму в моей любезной Лютеции, — говорит он: — она построена на острове и окружена стенами, которые омываются водами реки, приятными для глаз и вкуса. Зима бывает там обыкновенно не очень холодна; но в мое время морозы были так жестоки, что река покрылась льдом. Жители нагревают свои жилища посредством печей; но я не позволил развести огня в моей горнице, а велел только принести к себе несколько горящих угольев. Пар, который от них распространился по всей комнате, едва было не задушил меня, и я упал без чувства».

² «Очерки Парижа» (ред.).

своей. Через обширный бархатный луг въезжаете в Поля Елисейские, недаром названные сим привлекательным именем: лесок, насаженный самими Ореадами, с маленькими цветущими лужками, с хижинками, в разных местах рассеянными, из которых в одной найдете кофейный дом, в другой лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселые мещанки. Бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют *водевилли*. Вы не имеете времени осмотреть всех красот сего лесочка, сих умильных рощиц, как будто бы без всякого намерения разбросанных на правой и на левой стороне дороги: взор ваш стремится вперед, туда, где на большой осьмиугольной площади возвышается статуя Людовика XV, окруженная белым мраморным балюстрадом. Подойдите к ней и увидите перед собою густые аллеи славного сада Тюльери, примыкающие к великолепному дворцу: вид прекрасный! Вошедши в сад, не знаете, чем любоваться: густотою ли древних аллей или приятностию высоких террас, которые на обеих сторонах простираются во всю длину сада; или красотою бассейнов, цветников, ваз, групп и статуй. Художник ле-Нотр, творец сего, конечно, искуснейшего сада в Европе, ознаменовал каждую его часть печатью ума и вкуса. Здесь гуляет уже не народ, так, как в Полях Елисейских, а так называемые *лучшие люди*, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю. Взойдите на большую террасу; посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы — красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет, — взгляните на все и скажите, каков Париж? Мало, если назовете его первым городом в свете, столицею великолепия и волшебства. Оставайтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите... тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, — зажмите нос и закройте глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или, по крайней мере, цветущих лугов прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты — так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным¹ и самым вонючим городом. Улицы все без исключения

¹ Потому что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже.

узки и темны от огромности домов; славная Сент-Оноре всех длиннее, всех шумнее и всех грязнее. Горе бедным пешеходам, особенно когда идет дождь! Вам надобно или месить грязь на середине улицы, ¹ или вода, льющаяся с кровель через дельфины, не оставит на вас сухой нитки. Карета здесь необходима, ² по крайней мере для нас, иностранцев; а французы умеют чудесным образом ходить по грязи, не грязнясь, мастерски прыгают с камня на камень и прячутся в лавки от скачущих карет. Славный Турнфор, который объездил почти весь свет, возвратился в Париж и был раздавлен фиакром, оттого что он в путешествии своем разучился прыгать серною на улицах: искусство, необходимое для здешних жителей!

Подите городом прямо, в которую сторону вам угодно, и вы очутитесь наконец в тени густых аллей, называемых *Булеварами*; их три: одна для карет, а две для пешеходцев; они идут рядом и образуют магическое кольцо, или самую прекраснейшую опушку вокруг всего Парижа. Тут городские жители собирались некогда играть в шары (*à la boule*) на зеленой траве: от чего и произошло название *буле-вер*, или *булевар*. Сначала на месте аллей был только один вал, который защищал столицу Франции от неприятельских набегов; деревья посажены гораздо после. Одна часть булеваров называется *старыми*, а другая *новыми*; на первых видите предметы вкуса, богатства, пышности; все вымышленное праздностию для занятия праздности — здесь комедия, тут опера; здесь блестящие палаты, тут Гесперидские сады, в которых недостает только золотых яблок; здесь кофейный дом, обвешанный зелеными гирляндами; тут беседка, украшенная цветами и подобная сельскому храму любви; здесь маленький приятный лесочек, в котором гремит музыка, прыгает на веревке резвая нимфа или какой-нибудь *фигляр* забавляет народ своими хитростями; тут показываются вам все редкие произведения животного царства Природы: птицы американские, звери африканские, колибри и строусы, тигры и крокодилы; здесь под каштановым деревом сидит Цирцея, смотрит на вас томными глазами, кладет руку на сердце и, видя, что вы с равнодушием идете мимо, говорит со вздохом: «Нечувствительный! жестокий!» Тут молодой растрепанный *франт* встречается с пожилым нежно напудренным *петиметром*, смотрит на него с усмешкою и подает руку оперной певице; здесь длинный ряд карет, из кото-

¹ Мостовая делается в Париже скатом с обеих сторон улицы: от чего в середине бывает всегда страшная грязь.

² За порядочную наемную карету надобно заплатить в день рубля четыре. Можно ездить и в фиакрах, то есть извозчичьих каретах, которые стоят на каждом перекрестке; правда, что они очень нехороши как снаружи, так и внутри; кучер сидит на козлах в худом камзоле или в ветхой епанче и беспрестанно погоняет двух — не лошадей, а лошадиных скелетов, которые то дернут, то станут — побегут, и опять ни с места. В сем экипаже можно за 24 су проехать город из конца в конец.

рых выглядывают юность и древность, красота и безобразие, ум и глупость в самых живых характерных чертах — и наконец... марширует отряд национальной гвардии. Целый день употребил я на то, чтобы обойти эту шумную часть бульваров.¹

Так называемая *Новая* часть представляет совсем другое зрелище: там деревья сенестее, аллеи красивее, воздух чище, но мало бывает гуляющих; не слышите ни стука каретного, ни топота лошадиного, ни песней, ни музыки; не видите ни английских, ни французских щеголей, ни распудренных голов, ни раздумянных лиц. Здесь в густой тени отдыхает добрый ремесленник с своею женою и дочерью; тут по аллее медленными шагами прохаживается сын его с молодою своею невестою; там поля с хлебом, сельские работы, трудятся земледельцы; словом, все просто, тихо и мирно.

Возвратимся опять в городской шум. Карл V говаривал: «*Lutetia non urbs, sed orbis* (Лютеция, то есть Париж, есть не город, а целый мир)»: что ж бы он сказал теперь, когда Лютеция его вдвое увеличилась своим пространством и вдвое умножилась числом своих обитателей? Вообразите себе 25 000 домов в 4, в 5 этажей, которые сверху донизу наполнены людьми! Вопреки всем географическим календарям, Париж многолюднее и Константинополя и Лондона, вмещаая в себе, по новому исчислению, 1 130 450 жителей, между которыми полагается 150 000 иностранцев и 200 000 слуг. Ступай здесь из конца в конец города: везде множество идущих и едущих, везде шум и гам — на больших и малых улицах: а их в Париже около тысячи! Ночью в 10, в 11 часов все еще живо, все движется и шумит; в первом, во втором часу встречается еще много людей; в третьем и четвертом слышите изредка каретный стук — однакож сии два часа можно назвать самыми тихими в сутках. В пятом показываются на улицах работники, саовяры, поденщики — и мало-помалу весь город снова оживляется.

Теперь хотите ли осмотреть со мною славнейшие здания в Париже? — Нет; оставим это до другого времени; вы устали, я также: надобно переменить материю или — кончить.

Нынешний день обедал я у господина Гло., к которому было у меня письмо из Женевы. Худо не знать обычаев: я пришел в два часа, но в доме совсем еще не думали принимать гостей. Хозяин

¹ Между великолепными домами, к ним примыкающими, заметил я дом известного Бомарше. Сей человек умел не только странною комедиею вскружить голову парижской публике, но и разбогатеть удивительным образом; умел не только изображать живописным пером слабые стороны человеческого сердца, но и пользоваться ими для наполнения кошелька своего; он вместе и остроумный автор, и тонкий светский человек, и хитрый придворный, и расчетливый купец. Теперь имеет Бомарше все средства и способы наслаждаться жизнью. Дом его смотрит любопытные как диковинку богатства и вкуса; один барельеф над воротами стоит 30 или 40 тысяч ливров.

после *утренней прогулки* одевался в своем кабинете, а хозяйка занималась *утренним чтением*. Минут через десять вышла последняя в гостиную комнату, где я сидел один у камина, перевертывая листы в Мармонтелевой «Поэтике», которая лежала на экране. Госпожа Гло. есть ученая дама лет в тридцать, говорит по-английски, итальянски и (подобно госпоже Неккер, у которой собирались некогда д'Аланберты, Дидроты и Мармонтели) любит обходиться с авторами. Мы начали говорить о литературе, и с довольным жаром, потому что госпожа Гло. противоречила всем моим мнениям. Например я сказал, что Расин и Вольтер лучшие французские трагики; но она по благосклонности своей открыла мне, что Шенье — есть бог перед ними. Я думал, что прежде писали во Франции лучше, нежели ныне; но она сказала мне, что в доме у нее собирается около двадцати сочинителей, которые все несравненны. Я хвалил дю-Пати: она уверяла, что его в Париже не читают; что он был хороший адвокат, но худой автор и наблюдатель. Я хвалил драму Рауля: она говорила об ней с презрением. Одним словом, наши несогласия никогда бы не кончились, если бы слуга не растворил дверей и не уведомил г-жу Гло. о приезде гостей. Через несколько минут наполнилась горница маркизами, кавалерами св. Лудовика, адвокатами англичанами; каждый гость подходил к хозяйке с холодным приветствием. После всех явился хозяин и завел разговор о партиях, интригах, декретах Народного собрания и проч. и проч. Французы рассуждали, хвалили, критиковали; а молодые англичане зевали. Я невольным образом пристал к сим последним и сердечно обрадовался, когда нас позвали обедать. Стол был очень хорош; но риторы не умолкали. Между прочими отличал себя один адвокат, который хотел быть министром единственно для того, чтобы в 6 месяцев заплатить все долги Франции, умножить втрое доходы ее, обогатить короля, духовенство, дворянство, купцов, художников, ремесленников... Тут господин Гло. схватил его за руку и с важным видом сказал:

— Довольно, довольно, о великодушный человек!

Я засмеялся — к счастью, не один. Впрочем, адвокат нимало тем не оскорбился и продолжал доказывать пользу своих великих планов, относясь наиболее к Неккерову брату, который обедал вместе с нами и который с величайшим терпением слушал его. Таких говорунгов ныне тьма в Париже, а особливо под аркадами в Пале-Рояль, и надобно иметь очень здоровую голову, чтобы от их красноречия не чувствовать в ней боли. — Подле меня сидел за столом англичанин, человек умный и важный, который, узнав, что я русский, расспрашивал меня о нашем климате, образе жизни и проч. Известный путешественник Кокс ему приятель; он вместе с ним был в Швейцарии и в Германии. — Мы встали из-за стола в пять часов, и хозяин сказал мне, что я всякое воскресенье могу обедать у него вместе с его приятелями.

Еще было у меня письмо к господину Н., старому прованскому дворянину, от брата его *эмигранта* (с которым я познакомился в Женеве в доме госпожи К.). Он почти слеп, глух, насилу ходит и живет в Париже для молодой, нежной, томной, белокурой, миловидной жены своей, которая любит спектакли и проч. «Какая неровная чета! Может ли такое супружество быть счастливым?» — думал я, смотря на господина и госпожу Н., на Вулкана и Венеру, на мертвый октябрь и цветущий май. О Природа! в царстве твоём растут ли подле снегов розы? — Меня приняли с холодной ласкою, так, как здесь обыкновенно чужестранцев принимают; звали обедать, ужинать и проч. Госпожа Н. сказала мне, что ныне в Париже скучно; что она скоро поедет в Швейцарию, поселится на той прекрасной горе близ Нёвшателя, которую Руссо описал магическим пером своим в письме к д'Аланберту, и будет жить там счастливо в объятиях Натуры. Я похвалил ее пиитическое намерение.

Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск сего некогда пышного города. Златая роскошь, которая прежде царствовала в нем, как в своей любезной столице, — златая роскошь, опустив черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздух и скрылась за облаками; остался один бледный луч ее сияния, который едва сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы революции выгнали из Парижа самых богатейших жителей; знатнейшее дворянство удалилось в чужие земли; а те, которые здесь остались, живут по большей части в тесном круге своих друзей и родственников.

— Здесь, — сказал мне аббат Н., идучи со мною по улице St.-Hippolyte и указывая тростью на большие дома, которые стоят ныне пустые, — здесь по воскресеньям у маркизы Д. съезжались самые модные парижские дамы, знатные люди, славнейшие *остроумицы* (*beaux-esprits*); одни играли в карты, другие судили о житейской философии, о нежных чувствах, приятностях, красоте, вкусе — тут по четвергам у графини А. собирались глубокомысленные политики обоего пола, сравнивали Мабли с Ж.-Жаком и сочиняли планы для новой утопии — там по субботам у баронессы Ф. читал М. примечания свои на «Книгу бытия», изъясняя любопытным женщинам свойство древнего хаоса и представляя его в таком ужасном виде, что слушательницы падали в обморок от великого страха. Вы опоздали приехать в Париж; счастливые времена исчезли; приятные ужины кончились; *хорошее общество* (*la bonne compagnie*) рассеялось по всем концам земли. Маркиза Д. уехала в Лондон, графиня А. в Швейцарию, а баронесса Ф. в Рим, чтобы постричься там в монахини. Порядочный человек не знает теперь, куда деваться, что делать и как провести вечер.

Однакож аббат Н. (к которому привез я письмо из Женевы от брата его, графа Н.) признался мне, что французы давно уже разучились веселиться в обществах так, как они во время Людовика XIV веселились, например, в доме известной Марионы де Лорм, графини де-ла-Сюз, Ниноны Ланкло, где Вольтер сочинял первые стихи свои; где Вуатюр, Сент-Эвремон, Саразень, Граммон, Менаж, Пелиссон, Гено блистали остроумием, сыпали аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса.

— Жан Ла, — продолжал мой аббат, — Жан Ла несчастною выдумкою банка погубил и богатство и любезность парижских жителей, превратив наших забавных маркизов в торгашей и ростовщиков; где прежде раздроблялись все тонкости общественного ума, где все сокровища, все оттенки французского языка истощались в приятных шутках, в острых словах, там заговорили... о цене банковых ассигнаций, и дома, в которых собиралось лучшее общество, сделались биржами. Обстоятельства переменились — Жан Ла бежал в Италию — но истинная французская веселость была уже с того времени редким явлением в парижских собраниях. Начались страшные игры; молодые дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и налево и забывали искусство граций, искусство нравиться. Потом вошли в моду попугаи и экономисты, *академические интриги* и энциклопедисты, *каланбуры* и магнетизм, химия и драматургия, метафизика и политика. Красавицы сделались авторами и нашли способ... усыплять самых своих любовников. О спектаклях, опере, балетах говорили мы наконец математическими посылками и числами изъясняли красоты «Новой Элоизы». Все философствовали, важничали, хитрили и вводили в язык новые странные выражения, которых бы Расин и Депрео понять не могли или не захотели, — и я не знаю, к чему бы мы наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над нами гром революции.

Тут мы расстались с аббатом.

Вчера в придворной церкви видел я короля и королеву. Спокойствие, кротость и добродушие изображаются на лице первого, и я уверен, что никакое злое намерение не рождалось в душе его. Есть на свете счастливые характеры, которые по природному чувству не могут не любить и не делать добра: таков сей государь! Он может быть исполучен; может погибнуть в шумящей буре — но правосудная история впишет Людовика XVI в число благодетельных царей, и друг человечества прольет в память его слезу сердечную. — Королева, несмотря на все удары рока, прекрасна и величественна, подобно розе, на которую веют холодные ветры, но которая сохраняет еще цвет и красоту свою. Мария рождена быть королевою. Вид, взор, усмешка — все показывает необыкновенную

душу. Нельзя, чтобы ее сердце не страдало; но она умеет скрывать горесть свою, и на светлых глазах ее не заметно ни одного облачка. Улыбаясь так, как грации улыбаются, перебирала она листочки в своем молитвеннике, взглядывала на короля, на принцессу, дочь свою, и снова бралась за книгу. Елисавета, сестра королевская, молилась с великим усердием и набожностью; мне казалось, что по лицу ее катились слезы. — В церкви было множество народу, так что я от жару и духоты упал бы в обморок, если бы одна дама, приметив мою бледность, не подала мне спирту. Все люди смотрели на короля и королеву, еще более на последнюю; иные вздыхали, утирали глаза свои белыми платками; другие смотрели без всякого чувства и смеялись над бедными монахами, которые пели вечерню. — На короле был фиолетовый кафтан; на королеве, Елисавете и принцессе черные платья, с простым головным убором. — Дофина видел я в Тюльери. Прекрасная, нежная Ланбаль, которой Флориан посвятил сказки свои, вела его за руку. Милый младенец! Ангел красоты и невинности! Как он, в темном своем камзолычке, с голубою лентою через плечо, прыгал и веселился на свежем воздухе! Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шпая; все с радостью окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. Народ любит еще кровь царскую!

Париж, апреля ... 1790.

Говорить ли о французской революции? Вы читаете газеты: следовательно, происшествия вам известны. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных французов, которые славились своею любезностью и пели с восторгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Стразбурга:

Pour un peuple aimable et sensible

Le premier bien est un bon Roi...

Для любезного народа

Счастье добрый государь...

Не думайте однакож, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива. История не кончилась; но по сие время французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона.

С 14 июля все твердят во Франции об аристократах и демократах; хвалят и бранят друг друга сими именами, по большей части

не зная их смысла. Судите о народном невежестве по следующему анекдоту.

В одной деревеньке близ Парижа крестьяне остановили молодого хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал с ними: «Vive la nation! (Да здравствует нация!)» Молодой человек исполнил их волю; махал шляпою и кричал: «Vive la nation!»

— Хорошо! хорошо! — сказали они: — мы довольны. Ты добрый француз; ступай, куда хочешь. Нет, постой: изъясни нам прежде, что такое... нация?

Рассказывают, что маленький дофин, играя с своею белкою, щелкает ее по носу и говорит: «Ты аристократ, великий аристократ, белка!» Любезный младенец, беспрестанно слыша это слово, затвердил его.

Один маркиз, который был некогда осыпан королевскими милостями, играет теперь не последнюю ролю между неприятелями двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами и с холодным видом отвечал им:

— Que faire? j'aime les te-te-troubles! (Что делать? я люблю мяте-те-тежи!) — Маркиз заика.

Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? помнит ли цыкуну и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства.

Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. *Утопия*¹ будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения губельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. предадим, друзья мои, предадим себя во власть провидению: оно, конечно, имеет свой план; в его руке сердца государей — и довольно.

Легкие умы думают, что все легко; мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо. Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сению возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком... Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: «Мы лучше сделаем!»

¹ Или *царство счастья*, сочинение Моруса.

Новые республиканцы с порочными сердцами! разверните Плу-тарха и вы услышите от древнего величайшего добродетельного республиканца Катона, что *безначалие хуже всякой власти!*..

Париж, апреля ...

В четверг, в пятницу и в субботу на страстной неделе бывало здесь славное гулянье в аллеях Булонского лесу; *бывало*: потому что нынешнее, мною виденное, совсем не могло войти в сравнение с прежними, для которых богачи и щеголи нарочно заказывали новые экипажи и где четыре, пять тысяч карет, одна другой лучше, блистательнее, моднее, являлись глазам зрителей. Я ходил туда пешком и видел около тысячи экипажей, но ни одного великолепного. Это гулянье напомнило мне наше московское, 1 мая. Так же карета за каретою, от Елисейских Полей до монастыря Longchamp. Народ стоял в два ряда подле дороги, шумел, кричал и смеялся непристойным образом над гуляющими. Например: «Смотрите! Вот едет торговка из рыбного ряда с своею соседкою, башмачницею! Вот красный нос, самый длинный во всем Париже! Вот молодая кокетка в 70 лет: влюбляйтесь! Вот кавалер св. Лудовика с молодою женою и с рогами! Вот философ, который продает свой ум за две копейки». — Молодые франты прыгали на английских конях, заглядывали в каждую карету и дразнили чернь: «Allons, allons, mes amis! de l'esprit, de l'esprit! Bon; c'est de la vrai gaité parisienne!»¹ Другие бродили пешком с длинными деревянными саблями вместо тростей, pour se confondre avec le peuple.² — Прежде более всего отличались тут славные жрицы Венерины; они выезжали в самых лучших экипажах. Одна молодая актриса разорвала связь свою с графом Д., прекрасным мужчиною. Ее знакомые удивлялись.

— Чему дивиться? — сказала им актриса: — он чудовище, изверг: он не хотел подарить мне новой кареты для булонского гулянья. Я должна была предпочесть ему старого маркиза, который заложил все бриллианты жены своей, чтобы купить мне самую дорогую карету в Париже!

Я прошел в монастырь Longchamp, видел гробницу Изабеллы, сестры Лудовика святого, и две остроумные надписи под мону-ментом отца Фременя и брата Франциска Серафима. Первая:

Fremin, tu fais frémir le sort,
Et ton nom vit malgré la mort.³

¹ Идемте, идемте, друзья! Больше живости! Прекрасно; вот это истинное веселье парижан! (ред.)

² Чтобы смешаться с толпой (ред.).

³ Фремен, ты заставляешь трепетать судьбу, и имя твоё живет вопреки смерти (ред.).

Другая:

Qui la vie a vécu de François Seraphique,
80 ans sur terre, au ciel vit l'angelique. ¹

Париж, апреля 29, 1790.

Ныне целый день просидел я в комнате своей один, с головою болью; но когда стало смеркаться, вышел на Pont neuf ² и, облокотясь на подножие Генриковой статуи, смотрел с великим удовольствием, как тени ночные мешались с умирающим светом дня; как звезды на небе, а фонари на улицах засвечались. С приезде моего в Париж все вечера без исключения проводил я в спектаклях и потому около месяца не видал сумерек. Как они хороши весною, даже и в шумном, немилovidном Париже!

Целый месяц быть всякий день в спектаклях! быть, и не насытиться ни смехом Талии, ни слезами Мельпомены!.. и всякий раз наслаждаться их приятностями с новым чувством!.. Сам дивлюсь; но это правда.

Правда и то, что я не имел прежде достаточного понятия о французских театрах. Теперь скажу, что они доведены, каждый в своем роде, до возможного совершенства и что все части спектакля составляют здесь прекрасную гармонию, которая самым приятнейшим образом действует на сердце зрителя.

В Париже пять главных театров: Большая Опера, так называемый Французский театр (les François), Итальянский (les Italiens), графа Прованского (théâtre de Monsieur) и Variétés — всякий день играют на них, и всякий день (подивитесь французам!) бывают они наполнены людьми, так что в 6 часов вы едва ли где-нибудь найдете место.

Кто был в Париже, говорят французы, и не видал Большой Оперы, подобен тому, кто был в Риме и не видал папы. В самом деле, она есть нечто весьма великолепное, и наиболее по своим блестящим декорациям и прекрасным балетам. Здесь видите вы — то поля Елисейские, где блаженствуют души праведных; где вечная весна зеленеет; где слух ваш пленяется тихими звуками лир; где все любовно, восхитительно, — то мрачный Тартар, где вздохи умирающих волнуют страшный Ахерон; где шум черного Коцита и Стикса заглушается стенанием и плачем бедствия; где волны Флегетона пылают; где Тантал, Иксион и Данаиды вечно страдают и не видят конца своим мучениям; где светлая Лета томным журчанием призывает несчастных к забвению житейских забот и горестей. Здесь видите, как Орфей скитается в черных лесах под-

¹ Тот, кто прожил на земле восемьдесят лет жизнью Франциска Серафима, тот на небе будет жить жизнью ангела (*ред.*).

² Так называемый Новый мост, близ которого я жил.

земного царства; как Фурии терзают Ореста; как Язон сражается с огнем, с пламенем и с чудовищами; как раздраженная Медея, проклиная неблагодарность людей, летит с громом и молнией на вершину Кавказа; как египтяне в печальных хорах оплакивают смерть добродетельного царя своего и как горестная Нефта над великолепным памятником супруга клянется вечно боготворить его в сердце своем; как Ринальдо тает в восторге у ног пламенной Армиды среди бесчисленных красот волшебного искусства, рассеянных в садах ее; как Диана спускается на светлом облаке, целует Эндимиона и блестящими слезами страстную грудь свою орошает; как величественная Калипса истощает все возможные очарования, чтобы пленить юного Телемака; как резвые, милые нимфы — одна другой резвее, одна другой милее — окружают его с арфами и лирами, играют и поют любовь и каждым сладострастным движением говорят ему: «люби! люби!»; как нежный Телемак колеблется, чувствует слабость свою, забывает советы мудрости и... сверженный благодетельною рукою Ментора, летит с высокого каменного берега в шумящее море: летит вместе с душою зрителей.

Все сие так живо, так естественно, что я тысячу раз забывался и принимал искусственное подражание за самую Натуру. Едва можно верить глазам своим, видя быструю перемену декораций. В одно мгновение рай превращается в ад; в одно мгновение проливается моря там, где луга зеленели, где цветы расцветали и где пастухи на свирелях играли; светлое небо покрывается густым мраком, черные тучи несутся на крыльях ревущей бури, и зритель трепещет в душе своей; еще один миг, и мрак исчезает, и тучи скрываются, и бури умолкают, и сердце ваше светлеет вместе с видимыми предметами.

Несмотря на множество здешних искусных танцовщиков, Вестрис сияет между ими, как Сириус между звездами. Все его движения так приятны, так живы, так выразительны, что я всегда смотрю, дивлюсь и не могу сам себе изъяснить удовольствия, которое доставляет мне сей единственный танцовщик; легкость, стройность, гармония, чувство, жизнь — все соединяется вместе, и если можно быть ритором без слов, то Вестрис в своем роде Цицерон. Никакие стихотворцы не опишут того, что блистает в его глазах, что выражает игра его мускулов, когда милая стыдливая пастушка говорит ему нежным взором: «люблю!», когда он, бросаясь к ее сердцу, призывает небо и землю во свидетели своего блаженства. Живописец положит кисть и скажет только: «Вестрис!» — Гардель бесподобен в трагической пантомиме. Какое величество! Герой в каждом взоре, герой в каждом движении! Вестрис питомец милых граций; а Гардель ученик важных муз. — Нивлон есть второй Вестрис. О других танцовщиках скажу только, что они составляют прекрасную группу живописных фигур, пленительную для зренья. — Когда же являются на сцене Терпсихорины нимфы, как

будто бы на крыльях Зефира принесенные, тогда сцена кажется мне весенним лугом, на котором пестреют бесчисленные цветы; взор теряется между разнообразными красотами — но любезная Периньон и прелестная Миллер подобны пышной розе и гордой лилее, которые отличаются от всех других цветов.

Лаис, Шенар, Лене, Руссо — вот первые певцы оперы; и если верить французам, то никогда и никакая земля не производила лучших. Они нравятся мне не только пением, но и самою игрою: два таланта, которые не всегда бывают вместе! Маркези никогда не мог тронуть меня так, как Лаис и Шенар трогают. Пусть смеются над моею простотою и невежеством; но в голосе сего славного итальянского певца нет того, что для меня всего любезнее, — пет души! Вы спросите, что я разумею под сею душою? Не умею изъяснить; однакож чувствую. Ах! какой Маркези может петь так хорошо:

J'ai perdu mon Eurydice:
Rien n'égale mon malheur! ¹

какой итальянский получеловек может петь сию несравненную Глукову арию с таким сердечным выражением, как Руссо, молодой, статный, прекрасный Руссо, достойный Эвридики?

Мальяр есть теперь первая певица. Вы слышали о Сент-Юберти: ее уже нет! Говорят, что она сошла с ума. Любители оперы вспоминают об ней почти со слезами.

Сим декорациям, балетам, певцам совершенно отвечает и оркестр, составленный из лучших музыкантов Парижа. Одним словом, любезные друзья, здесь торжествуют искусства на высочайшей степени совершенства и все вместе производят в зрителе чувство, которое без всякой гиперболы можно назвать восхищением. — Такой спектакль требует, конечно, больших издержек. Несмотря на то, что за вход в ложи и в паркет платят (на наши деньги) рубли по два и по три; несмотря на то, что все сии дорогие места бывают наполнены людьми, опера стоила двору, по счету Неккеру, около трех или четырех миллионов в год.

На так называемом Французском театре играют трагедии, драмы и большие комедии. — Я и теперь не переменяю мнения своего о французской Мельпомене. Она благородна, величественна, прекрасна; но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как муза Шекспирова и некоторых (правда, немногих) немцев. Французские поэты имеют тонкий, нежный вкус и в *искусстве писать* могут служить образцами. Только в рассуждении изобретения, жара и глубокого *чувства Натуры* — простите мне, священ-

¹ Я потерял свою Эвридику: ничто не сравнится с моим горем! (Ред.)

ные тени Корнелей, Расинов и Вольтеров! — должны они уступить преимущество англичанам и немцам. Трагедии их наполнены изящными картинами, в которых весьма искусно подобраны краски к краскам, тени к теням; но я удивляюсь им по большей части с холодным сердцем. Везде смесь естественного с романтическим; везде *mes feux, ma foi*; ¹ везде греки и римляне *à la françoise*, которые тают в любовных восторгах, иногда философствуют, выражают одну мысль разными отборными словами и, теряясь в лабиринте красноречия, забывают действовать. Здешняя публика требует от автора прекрасных стихов, *des vers à retenir*; ² они прославляют пиесу, и для того стихотворцы стараются всячески умножать их число, занимаясь тем более, нежели важностию приключений, нежели новыми, чрезвычайными, но естественными *положениями* (*situations*), и забывая, что характер всего более обнаруживается в сих необыкновенных случаях, от которых и слова заимствуют силу свою. ³

Коротко сказать, творения французской Мельпомены славны — и будут всегда славны — красотою слога и блестящими стихами;

¹ Мой пыл, моя вера (*ред.*).

² Стихи, которые приятно запомнить (*ред.*).

³ Я прошу знатоков французского театра найти мне в Корнеле или в Расине что-нибудь подобное — например, сим Шекспировым стихам в устах старца Леара, изгнанного собственными детьми его, которым отдал он свое царство, свою корону, свое величие, — скитающегося в бурную ночь по лесам и пустыням.

Blow winds... rage, blow!
 You sulph'rous and thought-executing fires,
 Vaunt couriers of oak-cleaving thunder-bolts,
 Singe my white head! And thou allshaking thunder,
 Strike flat the thick rotundity o'th'world;
 Crack nature's mould, all germins spill at once,
 That make ingrateful man!..
 I tax not you, you elements, with unkindness!
 I never gave you kingdom call'd not you children;
 ... Then let fall
 Your horrible pleasure!.. Here I stand, your slave,
 A poor, infirm, weak and despis'd old man!

(Шумите, ветры, свирепствуй, буря! Серные быстрые огни, предтеча разрушительных ударов! лейте пламя на белую главу мою!.. Громы, громы! сокрушите здание мира, сокрушите образ природы и человека, неблагодарного человека!.. Не жалуюсь на вашу свирепость, разъяренные стихии! Я не отдавал вам царства, не именовал вас милыми детьми своими! Итак, свирепствуйте по воле! Разите — се я, раб ваш, бедный, слабый, изнуренный старец, отверженный от человечества!)

Они раздирают душу; они гремят подобно тому грому, который в них описывается, и потрясают сердце читателя. Но что же дает им сию ужасную силу? Чрезвычайное положение царственного изгнанника, живая картина бедственной судьбы его. И кто после того спросит еще: *какой характер, какую душу имел Леар?*

но если трагедия должна глубоко трогать наше сердце или ужасать душу: то соотечественники Вольтеровы не имеют, может быть, ни двух истинных трагедий — и д'Аланберт сказал весьма справедливо, что все их пиесы сочинены более для чтения, нежели для театра.

Когда же они непременно должны быть играны, то по крайней мере надобно для них таких актеров, как ла-Рив, Сен-При, Сен-Фаль, и таких актрис, как Сенваль, Рокур и проч., которые заступили ныне место Барона и ле-Кеня, ла-Куврер и Клерон. Вот декламация! вот *действие!* Благородство в виде, величавость в поступи, ясность, чистота в произношении, и в каждом слове душа; то есть всякая поэтова мысль оттенена, всякая мысль выражена свойственным ей тоном и в гармонии с игрою глаз, с движением руки; везде живопись, везде картины — и если зритель, несмотря на сие утончение искусства, остается холоден, то, конечно, не актеры виноваты.

Ла-Рив царь на сцене. Совершенно греческая фигура и редкий орган! — Сей актер совсем было простился с театром. Рассказывают, что он, не любя молодой актрисы Дегарсенъ (которую можно назвать живым образом слабой томности), старался всячески замешивать ее в игре. Публика с неудовольствием заметила сию непохвальную черту сердца его, и славный ла-Рив был освистан партером; после чего он скрылся и клялся никогда уже не выходить на сцену. Но — где клятва, тут и преступление. Два года бездействия ему наскучили. Привыкший к хвале и рукоплесканиям, без них не мог быть счастлив, сражался сам с собою и наконец, оставив все сомнения, снова явился на сцене в роле Эдипа. Я был сей раз в театре. Ужасное стечение людей! Не говоря о паркете, ложах, партере, — самый оркестр был наполнен зрителями, которым музыканты уступили свои места. В пять часов начался стук и топот нетерпения; в половине шестого поднялся занавес — и все утихло. Первое явление — Эдипа нет — молчание царствовало. Но лишь только Димас сказал: «*Oedipe en ses lieux va paraître*», ¹ страшные рукоплескания загрели, которые продолжались до самой той минуты, как ла-Рив вышел, в великолепной греческой белой одежде, распустив по плочам русые волосы, и гордо-смирненным наклоном головы изъявил публике благодарную свою чувствительность. — В течение всех пяти актов громкая хвала не умолкала. Ла-Рив старался всеми силами заслуживать ее и, как французы говорят, превосходил в искусстве самого себя, не жалея бедной своей груди. Не понимаю, как он мог выдержать до конца трагедии; не понимаю, как и зрители не устали от рукоплескания. В той сцене, где Эдип узнает, что он умертвил отца своего; что он супруг своей матери; узнает и страшным образом проклиная судьбу, я почти

¹ Эдип должен появиться здесь (*ред.*).

оцепенел. Никакая кисть не изобразит того, что свирепствовало на лице ла-Рива в сию минуту: ужас, грызение сердца, отчаяние, гнев, ожесточение и все, все, чего не могу выразить словами. Зрители ахнули, когда он, терзаемый, гонимый Фуриями, бросился со сцены и ударился головою о перистиль так, что все колонны задрожали. Вдали слышны были его стенания. — Публика не насытилась еще Эдипом своим и по окончании пьесы вызвала бедного ла-Рива на сцену. Актриса Рокур, которая представляла Иокасту, держала его за руку; едва мог он сказать два или три слова и готов был упасть на землю — занавес опустился.

Сен-При играет одни роли с ла-Ривом: искусный актер с великими талантами, но не ла-Рив. — Сен-Фаль представляет любовников в трагедиях и драмах: молодой статный человек приятного вида. В Корнелевом «Сиде» торжествует он более, нежели во всех других пьесах. Так надобно играть Родрига, кроме двух или трех сцен, где я не совершенно доволен был игрою сего актера. Например, описывая королю сражение свое с маврами, излишно старался он выразить в голосе своем — сперва тишину ночи, а потом шум битвы, стук мечей и проч. Французы хлопали; но те, которые размышляли о правилах истинной мимики, не могут любить такого неестественного подражания. — Сенваль, первая трагическая актриса, хотя слишком стара и немилостива для роли любовниц, однакож нравится своим искусством и жаром игры. — Рокур есть совершенная Медея, и потому в сей роле она несравненна. Величественная фигура, большие черные глаза, которые между густыми ресницами сияют, как молнии ночью; волосы как вороново крыло; все черты лица правильны, но не милы; красота без нежности; суровость в самой улыбке; голос твердый и пронзительный — одним словом, Медея. И теперь вижу я, как развевается на ней огненная мантия с волшебными знаками и как ужасно сверкает острый кинжал в руках раздраженной полубогини, сверкает вместе с ее взором. Одна Рокур может сказать так разительно сии слова:

Le destin de Medée est d'être criminelle;
Mais son coeur étoit fait pour aimer la vertu. ¹

Славная актриса Конта — славная своею красотою и кокетством более, нежели театральною игрою, — представляет роли любовниц в комедиях и драмах, иногда и в трагедиях. Ей теперь за тридцать лет; но она все еще хороша, и партер наполнен ее обожателями, счастливыми и несчастными. Сказывают, что один молодой граф от любви к ней сошел с ума и заключился в Картезианском монастыре. Никогда не бывает она так прелестна, как в новой

¹ Судьба Медеи быть преступницей; но сердце ее создано для добродетели (ред.).

пиесе «Le Couvent».¹ Черное платье, белое покрывало, вид невинности, чистосердечия... ах, бедный граф! я верю твоему сумасшествию! — Зрители всегда заставляют ее несколько раз повторять арию:

L'attrait que fait chérir ces lieux,
Est le charme de l'innocence.²

Несказанно приятный голос! — Но никто из актеров сего театра не делает мне столько удовольствия, как Моле, единственный, несравненный Моле, играющий по большей части ролю отцов в комедиях. Наш Померанцев кажется учеником его. Я два раза удивлялся ему, в Мольеровом и Фабровом «Мизантропе», и два раза плакал от него в «Монтескье», Мерсьеровой драме. Такой благородный вид, такую улыбку добродушия, человеколюбия, обходительности надлежало иметь автору бессмертной книги о *законах*.³

Я не буду говорить о других комических актерах сего театра: их много. — Но в заключение скажу, что Талия британская и Талия Германии должны уступить преимущество французской. Английские комедии по большей части или скучны, или грубы, неблагопристойны, оскорбительны для всякого нежного вкуса; а немецкие, кроме некоторых посредственных, совсем недостойны внимания.

Так называемый Итальянский театр, но где играют одни французские мелодрамы, есть мой любимый спектакль: я бываю в нем чаще, нежели в других, и всегда с великим удовольствием слушаю музыку французских сочинителей, восхищаюсь игрою славной актрисы Дюгазон и пением Розы Рено, милой девушки лет в двадцать, которую публика до небес превозносит и которая в самом деле есть теперь лучшая певица в Париже.

Мне полюбились две новые мелодрамы, играемые на сем театре: «Рауль синяя борода» и «Петр Великий». Содержание первой взято из старинной сказки и очень, очень театрально. Рауль, богатый дворянин, влюбляется в Розалию, любезную девушку, сестру одного небогатого рыцаря, и предлагает ей руку свою вместе с блестящими подарками. Красавица чувствует некоторую склонность к молодому Вержи, который любит ее страстно: но ах! бедный Вержи не имеет ничего, кроме доброго, нежного сердца, — а доброе и нежное сердце не всегда заменяет в глазах красавиц дары счастья. Богатство Раулево ослепляет Розалию. Она рассматривает подарки... какое великолепие! какой вкус! Болсе всего правится ей прекрасный головной убор, осыпанный бриллиантами; она надевает его,

¹ «Монастырь» (ред.).

² Очарование невинности заставляет любоваться этим местом (ред.).

³ То есть в сей драме Моле представляет благодетельного Монтескье.

подходит к зеркалу... и подает руку гордому Раулю. Бедный Вержи плачет и скрывается. Розалия живет в огромном замке, где все служит ей, как богине, где все льстит ее суетности. Иногда, но очень редко, вылетает вздох из неверной груди; иногда, но очень редко, кажется ей, что с добрым пламенным Вержи была бы она счастливее, нежели с холодным своим супругом. — Скоро Рауль едет — неизвестно куда — и, прощаясь с красавицею, отдает ей ключ от одной запертой комнаты. «Если не хочешь моей погибели, — говорит он: — если не хочешь сама погибнуть, то не будь любопытна». Розалия клянется — в чем иногда не клянутся милые женщины? — клянется и через две минуты... отпирает дверь... Вообразите ужас ее!.. Она видит головы двух прежних Раулевых жен с огненною надписью: *вот доля твоя!* (Раулю было пророчество, что любопытство жены погубит его; для того он испытывал супруг своих и умерщвлял их за сию слабость, надеясь спасти тем собственную жизнь.) — Дюгазон представляет Розалию. Бледная, с распущенными волосами, она бросается на креслы и поет дрожащим голосом:

Ah! quel sort
Le barbare
Me prépare!
C'est la mort!
C'est la mort!¹

В сию минуту является Вержи, в женском платье, под именем Розалииной сестры. Какое свидание! Должно спасти погибающую; но как? Вержи без оружия, среди множества неприятелей. Одно средство остается: уведомить обо всем Розалию брата. Вержи отправляет к нему письмо с конюшим своим. — Между тем Рауль возвращается; он знает все и грозным голосом велит Розалии готовиться к смерти. Ни слезы, ни жалобы не смягчают его — нет избавления! Тщетно любовник смотрит в поле, нетерпеливо ожидая помощи, —

Реки там, вийсь, сверкают;
Солнца ясные лучи
Всю природу озлащают:
Но булатные мечи
Не сияют, не сверкают.

Нет помощи! Не спешат рыцари избавить Розалию! Наконец отчаянный Вержи рассказывает о себе Раулю, что он не женщина; что он любит его супругу и хочет умереть вместе с нею; его ведут

¹ Ах, какую судьбу готовит мне варвар! Это смерть! это смерть! (Ред.)

в темницу. Розалия ожидает смертоносного удара; острый меч блистает над ее головою... по вдруг с шумом отворяются двери; вооруженные рыцари нападают на Рауля и воинов его, побеждают — и Розалия узнает своего брата. Жестокий ее супруг умирает; нежный Вержи падает перед нею на колени... занавес опускается. — Гретри сочинял музыку: она прекрасна.

В мелодраме «Петр Великий» есть очень трогательные сцены; по крайней мере для русского. Действие происходит недалеко от границ России. — Государь с другом своим Лефортом, живучи в маленькой деревеньке на берегу моря, учится корабельному искусству и всякий день с утра до вечера трудится в пристани. Все почитают его обыкновенным работником и называют добрым, смышленным, умным Петром. Молодой видный актер Мишу играет эту роль: мне казалось он живым портретом нашего императора. Может быть, и воображение мое прибавило нечто к сему сходству; но я не хотел чувствовать обмана — хотел им наслаждаться. В той же деревне живет прелестная Катерина, молодая добродетельная вдова, нежно любимая поселянами. Государь, пылкий во всех своих склонностях, скорый во всех движениях сердца, влюбляется в красоту, в милую душу ее и открывает ей страсть свою. Катерина обожает Петра; никогда еще глаза ее не видали такого прекрасного, величественного, любезного человека, и никогда сердце ее столь охотно не следовало за глазами. Она не таит своих чувств и подает ему руку; слезы восторга катятся по белому лицу ее. Государь клянется быть ей нежным *супругом*; слово вылетело из уст его — оно свято. Лефорт, оставшись наедине с монархом, говорит ему: «Бедная крестьянка будет супругою моего императора! Но ты во всех своих делах беспримерен; ты велик духом своим; хочешь возвыситься в отечестве нашем сан человека и презираешь суетную надменность людей; одно душевное благородство достойно уважения в глазах твоих; Катерина благородна душою — и так да будет она супругою моего государя, моего отца и друга!» Второе действие открывается сговором. Столетние старцы, опираясь на плечо внучат своих, приходят к невесте; хладными, слабыми рукамижимают ее руку и с радостными слезами желают ей благополучия. Молодые девушки приносят розовые венки, украшают ими любезную чету и поют свадебные песни. «Добрый Петр! — говорят старцы: — люби всегда милую Катерину и будь другом нашей деревни!» Государь тронут до глубины сердца. «Вот другая блаженная минута в жизни моей! — тихо говорит он Лефорту: — первое насладился я тогда, когда решился в душе своей быть отцом и просветителем миллионов людей и дал в том клятву всевышнему!» — Все садятся вокруг любовников; все веселы и счастливы! Старики знают, что Лефорт имеет приятный голос, и для того просят его спеть какую-нибудь старинную песню; он думает, берет цитру, играет и поет:

Жил был в свете добрый царь,
 Православный государь.
 Все сердца его любили,
 Все отцом и другом чтили.

Любит царь детей своих;
 Хочет он блаженства их:
 Сан и пышность забывает —
 Трон, порфиру оставляет.

Царь, как странник, в путь идет
 И обходит целый свет.
 Посох есть ему — держава,
 Все опасности — забава.

Для чего ж оставил он
 Царский сан и светлый трон?
 Для чего ему скитаться —
 Хладу, зною подвергаться?

Чтоб везде добро собирать,
 Душу, сердце украшать
 Просвещения цветами,
 Трудолюбия плодами.

Для чего ж ему желать
 Душу, сердце украшать
 Просвещения цветами,
 Трудолюбия плодами?

Чтобы мудростью своей
 Озарить умы людей,
 Чад и подданных прославить
 И в *искусстве жить* наставить.

О *великий* государь!
Первый, первый в свете царь! —
 Всю вселенную пройдете,
 Но другого не найдете.

Лефорт забыл конец песни. Добрые крестьяне хвалят ее; только не хотят верить, чтобы в самом деле был на свете такой государь. Катерина более всех тронута; в черных глазах ее блистают слезы. «Нет, — говорит она Лефарту: — нет, ты нас не обманываешь; песня твоя справедлива: иначе ты не мог бы петь ее с таким сердечным жаром!» Вообразите чувствительность государя! — Но скоро

действие переменяется. Приезжает Меньщиков, вызывает императора и рассказывает ему, что в России прошел ложный слух о его смерти; что злоумышленники развевают везде пламя бунта; что ему непременно должно возвратиться как можно скорее в Москву и что верный Преображенский полк ожидает его на границе. Император не страшится мятежников — один величественный светлый взор его может рассеять все тучи на горизонте России, — но он спешит явиться глазам любезной своей гвардии. Нежная Катерина ждет друга, но тщетно; ищет его и не находит. Ей рассказывают, что он уехал. Сердце ее хладеет. «Петр оставил, обманул меня!..» — сии слова умирают на бледных устах ее. Но когда она после жестокого обморока приходит в себя, Петр стоит на коленях перед нею, уже не в платье бедного работника, но в великолепной одежде царской, окруженный вельможами. Катерина не видит ничего, кроме своего милого друга; оживает, восхищается и забывает упреки. Государь открывает ей все. «Я хотел обладать нежным сердцем, — говорит он, — которое любило бы во мне не императора, но человека: вот оно! — (обнимая Катерину) — сердце и рука моя твои; прими же от меня и корону! Не она, но ты будешь украшать ее». — Удивленная Катерина не радуется венцу царскому; она хотела бы жить с любезным Петром своим в бедной хижине; но Петр и на троне мил душе ее. Вельможи упадают перед нею на колени — весь Преображенский полк выходит на сцену — радостные восклицания гремят в воздухе — восклицания: «Да здравствует Петр и Екатерина!» Государь обнимает супругу — занавес опускается. Я отираю слезы свои — и радуюсь, что я русский. Автор пьесы есть г. Бульи. — Жаль только, что французы нарядили государя, Меньщикова и Лефорта в польское платье, а преображенских солдат и офицеров в крестьянские зеленые кафтаны с желтыми кушаками. Зрители вокруг меня говорили, что русские и ныне точно так одеваются; а я, занимаясь драмою, не почел за нужное выводить их из заблуждения.

На театре графа Прованского (théâtre de Monsieur) представляют по большей части итальянские комические оперы, иногда же маленькие французские пьесы. Говорят, что в Италии нет и не бывало подобной труппы: редкие таланты! Гж. Балетти есть первая певица и славна не только своим голосом, красотою, но и беспорочным поведением. Парижская актриса и добродетель: чудная связь! и потому английские лорды со вздохом говорят, что она Феникс. — Из певцов славнейшие Раффанелли, Мандини и Виганони.

Новый театр des Variétés огромнее всех здешних театров: великолепная зала, прекрасные ложи, блестящая авансцена! — Там представляются комедии и драмы иногда очень хорошо, иногда

посредственно. Известный Монвель, один из первых парижских актеров, второй ле-Кень, играет ныне в Variétés. Он стар, не имеет ни голоса, ни фигуры; но все сии недостатки заменяет искусством и живостью игры. Всякое слово его впечатлевается в душу зрителя; глаза его в одну минуту и меркнут и воспламеняются; я боюсь смигнуть с него, когда он выходит на сцену. Ла-Рив, Монвель, Моле — вот три актера, которые, может быть, во всей Европе не найдут себе двух подобных.

Кроме сих главных пяти театров, есть в Париже множество других в Palais Royal, на *булеварях*, и для всякого спектакля находятся особливые зрители. Не говоря уже о богатых людях, которые живут только для удовольствий и рассеяния, самые бедные ремесленники, савояры, разносчики почитают за необходимость быть в театре два или три раза в неделю; плачут, смеются, хлопают, свищут и решат судьбу пьес. В самом деле, между ими есть много знатоков, которые замечают всякую счастливую мысль автора, всякое счастливое выражение актера. *A force de forger on devient forgeron*¹ — и я часто удивлялся верному вкусу здешних партеров, которые по большей части бывают наполнены людьми низкого состояния. Англичанин торжествует в парламенте и на бирже, немец в ученом кабинете, француз в театре.

Только на две недели в году закрываются здесь спектакли, то есть на страстную и святую неделю; но как французам жить и 14 дней без публичных веселий? Тогда всякий вечер в оперном доме бывает духовный концерт, *concert spirituel*, где лучшие виртуозы на разных инструментах показывают свое искусство и где провел я несколько весьма приятных и, можно сказать, сладких часов, слушая Гайденову *Stabat Mater*,² Иомеллиево *Miserere* — и проч. Несколько раз грудь моя орошалась жаркими слезами — я не отирал их — я их не чувствовал. — Небесная музыка! наслаждаясь тобою, возвышаюсь духом и не завидую ангелам. Кто докажет мне, чтобы душа моя, удобная к таким святым, чистым, эфирным радостям, не имела в себе чего-нибудь божественного, нетленного? Сии нежные звуки, веющие, как зефир, на сердце мое, могут ли быть пищею смертного, грубого существа? — Но ничто в этом концерте не трогало меня так сильно, как один прекрасный *дуэт* Лаиса и Руссо. Они пели — оркестр молчал — слушатели едва дышали... несравненно!

Париж, апреля ...

Отчего сердце мое страдает иногда без всякой известной мне причины? Отчего свет помрачается в глазах моих тогда, как лучезарное солнце сияет на небе? Как изъяснить сии жестокие мелан-

¹ Не попортив дела, мастером не будешь (*ред.*).

² Гимн деве Марии (*ред.*).

холические припадки, в которых вся душа моя сжимается и хладеет?.. Неужели сия тоска есть предчувствие отдаленных бедствий? Неужели она есть не что иное, как задаток тех горестей, которыми судьба намерена посетить меня в будущем?..

Часов шесть бродил я по окрестностям Парижа в самом грустном расположении духа; пришел в Булонский лес и увидел перед собою готический замок Мадрит, построенный в 16 веке, окруженный глубокими рвами и темными аркадами. Террасы его заросли высокою травою. Где Франциск I наслаждался всеми приятностями любви и роскоши; ¹ где нежные звуки арф и гитар усыпляли его в объятиях богини сладострастия: там ныне пустота и молчание царствуют... Вокруг меня бегали олени; солнце катилось к западу; ветер шумел в густоте леса. Я хотел видеть внутренность замка... Барельефы крыльца, представляющие разные сцены из «Метаморфоз» Овидиевых, покрылись зеленым мохом; здесь, над пламенным сердцем нежного Пирама, умирающего от любви к Тизбе, развевается хладная полынь; там Время рукою своею изглаживает картину Юнонина мщения, превратившего в пепел злосчастную Семелею... В первой, второй, третьей зале все пусто и мрачно; в четвертой, украшенной резьбою и живописью, услышал я тяжелый вздох... осмотрелся кругом и... представьте себе мое удивление!.. в углу сей огромной залы подле мраморного камина на больших креслах сидела старая женщина лет шестидесяти, бледная, сухая, в раздранном рубище... Она взглянула на меня, кивнула головою и тихим голосом сказала:

— Добрый вечер!..

Несколько минут стоял я неподвижно на одном месте; наконец подошел, начал говорить с нею и узнал, что она нищая, собирает милостыню в Париже, в окрестных деревнях и уже два года живет в пустом замке Мадрит.

— Никто не тревожит тебя здесь? — спросил я.

— Кому тревожить? Один раз пришел сюда надзиратель и увидел меня лежащую на соломе в передней горнице. Я рассказала ему свою историю, историю моей дочери, — он заплакал — дал мне три ливра и велел жить в этой зале, для того что в ней целы окончины; для того что в ней не дует ветер. Добрый человек!

— У тебя есть дочь?

— Была, была; теперь она там, выше замка Мадрита. Ах! мы жили с нею как в раю: жили в низенькой хижине, спокойно и счастливо! Тогда и свет был лучше; тогда и все люди были добрее. Знаешь ли, как у нас в деревне называли ее? Мужчины соловьем, а женщины малиновкой. Она любила петь, сидя под окном или ходя в роце за цветами; все останавливались и слушали. У меня сердце прыгало от радости. Тогда заимодавцы нас не му-

¹ Сей замок построен Франциском I по возвращении его из Гишпани.

чили. Луиза попросит, и всякий готов ждать. Луиза умерла, и меня выгнали из хижины с клюкою и котомкою. Ходи по миру и лей слезы на холодные камни!

— У тебя нет родни?

— Есть; да ныне всякий об себе думает. Кому до меня нужда? Я не люблю скучать собою. Слава богу! нашла пристанище. Знаешь ли, что здесь жилал король Франсуа? я заступила его место. Иногда, по ночам, кажется мне, будто он расхаживает по горницам с своими министрами, генералами и разговаривает о старине.

— И тебе здесь не страшно?

— Страшно? Нет, я уже давно перестала бояться.

— Что же будет с тобою, добрая старушка, когда ты занеможешь, когда ноги твои от старости...

— Что будет? Я умру — меня погребут, и все дело с концом.

Мы замолчали... Я подошел к окну и смотрел на заходящее солнце, которое тихими лучами своими освещало разнообразные картины парижских окрестностей. Боже мой! сколько великолепия в физическом мире (думал я) и сколько бедствия в нравственном! Может ли несчастный, угнетенный бременем бытия своего, отверженный, уединенный среди множества людей хладных и жестоких, — может ли он веселиться твоим великолепием, златое солнце! твою чистою лазурью, светлое небо! вашу красоту, зеленые луга и рощи? Нет, он томится; всегда, везде томится бедный страдалец! Темная ночь, сокрой его! Шумящая буря, унеси его... туда, туда, где добрые не тоскуют; где волны океана, океана вечности, прохлаждают истлевшее сердце!..

Солнце закатилось. Я пожал руку бедной старушки — и возвратился в Париж.

Париж, мая ...

Сейчас получил от вас письмо — и как обрадовался, нет пужды сказывать. Можно ли, что вы не писали ко мне от 14 февраля до 7 апреля? Любезные друзья мои, конечно, не знали, как дорого стоило их молчание бедному русскому путешественнику; иначе, без сомнения, они не заставили бы его мучиться. Извините, если это похоже на выговор; мне, право, было очень грустно. Теперь говорю: *слава богу!* и все забываю.

Вам казалось, что я никогда не выеду из Женевы; а если бы вы знали, как мне наконец стало там скучно! Спросите, для чего же я тотчас не выехал оттуда? Единственно для того, что всякий день ожидал ваших писем, — и время проходило. Мне очень хотелось возобновить свое путешествие с покойным сердцем: чего, однакож, не сделалось.

Правда, любезный А. А., Париж есть город единственный. Нигде, может быть, нельзя найти столько материи для философских

наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить искусства; нигде столько рассеяния и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости... Шумный океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен множество; и пение их так сладостно, усыпительно... Как легко забыться, заснуть! но пробуждение едва ли не всегда горестно — и первый предмет, который явится глазам, будет пустой кошелек.

Однакож не надобно себе воображать, что парижская приятная жизнь очень дорога для всякого; напротив того, здесь можно за небольшие деньги наслаждаться всеми удовольствиями по своему вкусу. Я говорю о *позволенных*, и в строгом смысле позволенных удовольствиях. Если же кто вздумает *коротко* знакомиться с певицами и актрисами или в тех домах, где играют в карты, не отказываться ни от какой партии, тому надобно английское богатство. И домом жить дорого, то есть дороже, нежели у нас в Москве. Но вот как можно весело проводить время и тратить немного денег.

Иметь хорошую комнату в лучшей отели; ¹ поутру читать разные журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное; и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, вряля, который насканет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете; намажет вашу голову провалскими духами и напудрит самою белою легкою пудрою; а там, надев чистый простой фрак, *бродить* по городу, зайти в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейские Поля, к известному писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины, — к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических авторов, обедать у ресторатёра, ² где подадут вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы и расположить время свое до шести, чтобы, осмотрев какую-нибудь церковь, украшенную монументами, или галерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться с первым движением смычка в опере, в комедии, в трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеяться, плакать — и с томною, но приятных чувств исполненною душою отдыхать в Пале-Рояль, в Café de Valois, de Caveau за чашкою *баваруаза*; ³ взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, аллей в саду; вслушиваться иногда

¹ Hôtel есть наемный дом, где вы, кроме комнаты и услуги, ничего не имеете. Кофе и чай приносят вам из ближайшего кофейного дома, а обед из трактира.

² Ресторатёрами называются в Париже лучшие трактирщики, у которых можно обедать. Вам подадут роспись всем блюдам с означением их цены; выбрав что угодно, обедаете на маленьком особливом столике.

³ Ароматический сироп с чаем.

в то, что говорят тамошние глубокие политики; наконец возвратиться в тихую свою комнату, собраться с идеями, написать несколько строк в своем журнале, броситься на мягкую постелью и (чем обыкновенно кончится и день и жизнь) заснуть глубоким сном с приятною мыслию о будущем. — Так я провожу время и доволен...

Париж, мая ...

Бывшая актриса Дервьё, актриса посредственная, но престигица славная, упражняясь лет двадцать в доходном своем искусстве и пажив миллионы, вздумала построить такой дом, который обратил бы на себя внимание Парижа. Чего хотела, то и сделалось. Сей дом смотрят все как диво. Надобно иметь билет, чтобы видеть его. Господин П., мой земляк, доставил мне это удовольствие. Что за комнаты! что за приборы! Живопись, бронза, мрамор, дерево: все блестит, привлекает глаза. Дом не велик; но ум чертил план его, искусство было архитектором, вкус украшал, а богатство выдавало деньги. Тут нет ничего *непрекрасного*; и с прекрасным для глаз везде соединена удобность или ловкость для употребления. Прошедши комнат пять, вошли мы во святилище — в спальню, где живопись изобразила на стенах Геркулеса, стоящего на коленях перед Омфалою; пять или шесть Эротов, едущих верхом на его палице; Армиду, которая смотрится в зеркало, гораздо более восхищаясь своею красотою, нежели обожанием сидящего подле нее Ринальда; Венеру, которая, сняв с себя пояс, подает его... не видно кому, но, верно, хозяйке. Глаза ищут... догадаетесь, чего. Ложе удовольствий, осыпанное неувядаемыми, то есть искусственными, розами без терний, возвышается на нескольких ступенях; тут, без сомнения, всякий Адонис должен преклонять колена свои. Позади спальни в небольшой зале сделан мраморный бассейн для купанья, а вверху хоры для музыкантов, чтобы красавица, слушая гармоническую игру их, могла в такт полоскаться. Из сей комнаты дверь в Гесперидский сад, где все тропинки опущены цветами; где все дерева, осеняя, благоухают. Лужки и лесочки живописные; кажется, будто всякая травка и всякий листок выбраны из тысячи. Дорожки, извиваясь, приводят вас ко мшистой скале, к дикому гроту, где читаете надпись: *Искусство ведет к Nature; она дружески подает ему руку*; а в другом месте: *Здесь я наслаждаюсь задумчивостию*. Молодой англичанин, который был с нами, взглянув на последнюю надпись, сказал: — Grimace, grimace, mademoiselle Dervieux!¹

Хозяйка живет во втором этаже, который мы также осматривали и где комнаты хотя со вкусом прибораны, однакож не имеют очаровательности первого. Я любопытствовал видеть Нимфу; но

¹ Кокетство, кокетство, мадемуазель Дервьё! (Ред.)

ей угодно было играть ролю невидимки. На диване лежал корсет, доказательство ее тонкого стана, чепчик с розовыми лентами и черепаховый гребень. Зеленый тафтяной занавес отделял от нас славную прелестницу; но мы не смели отдернуть его.

Новая Нинон вздумала продавать волшебный свой храм. Один богатый американец из числа ее любимцев покупает его за половину цены, за 600 000 ливров, с тем намерением, как сказывают, чтобы за ужином, который он хочет дать в новокупленном доме, подарить его прежней хозяйке. Взор благодарного удивления должен быть наградою американца.

А К А Д Е М И И

Работать соединенными силами с одним намерением, по лучшему плану, есть предмет всех академий. Выдумка благословенная для пользы наук, искусств и всех людей! Приятная мысль быть участником в достохвальных трудах, соревнование между членами, неразделимость общей славы с личною, взаимное усердное вспоможение окривляют разум человеческий. Надобно отдать справедливость парижским академиям: они были всегда трудолюбивее и полезнее других ученых обществ.

Собственно так называемая *Французская Академия*, учрежденная кардиналом Ришелье для обогащения французского языка, утверждена парламентом и королем. Девиз ее: *Бессмертию!* Жаль, что она обязана бытием своим такому жестокому министру! Жаль, что всякий новый член при вступлении своем должен хвалить его! Жаль, что половина членов состоит из людей едва не безграмотных, для того единственно, что они знатные! Такие академики, нимало не возвышая себя ученым титулом, унижают только Академию. «Всякий знай свое место и дело» — есть мудрое правило, но реже всего исполняется. Правда, что *господа-сорок*, *messieurs les quarantes*,¹ наблюдают в своих заседаниях точное равенство. Прежде все они сидели на стульях; один из знатных членов потребовал для себя кресел: что ж сделали другие? сами сели на кресла. *C'est toujours quelque chose*. Главный плод сего академического дерева есть «Лексикон французского языка», чистый, правильный, строгий, но не полный, так что в первом издании господа члены забыли даже слово *академия!* Например, английский лексикон Джонсонов и немецкий Аделунгов гораздо совершеннее французского. Вольтер более всех чувствовал недостатки его, хотел дополнить, украсить; но смерть помешала.² Академия занималась и критикою,

¹ Их всех 40, не более, не менее.

² Остроумный Ривароль давно обещает новый философический словарь языка всего; но чрезмерная лепость, как сказывают, мешает ему исполнить обещание.

только редко и мало; в угождение своему основателю Ришелье доказывала, что Корнелев «Сид» недостойн славы; но парижские любители театра, на зло ей, тем более хвалили «Сиду». Она могла бы, конечно, быть гораздо полезнее, издавая, например, «Журнал для критики и словесности»: чего бы не произвели соединенные труды лучших писателей? Однакож польза ее несомнительна. Множество хороших пьес написано для славы быть членом Академии или заслужить ее хвалу. Всякий год избирает она два предмета для стихотворства и красноречия, вызывает всех авторов обрабатывать их, в день св. Лудовика торжественно объявляет, кто победитель, чье творение достойно награды, и раздает золотые медали. Спрашивается, для чего ла-Фонтен, Мольер Жан-Батист, Жан-Жак Руссо, Дидрот, Дорат и многие другие достойные писатели не были ее членами? Ответ: где люди, там пристрастие и зависть; иногда славнее не быть, нежели быть академиком. Истинные дарования не остаются без награды: есть публика, есть потомство. Главное дело не *получать*, а *заслуживать*. Не *писатели*, а *маратели* всего более сердятся за то, что им не дают патентов. Французская Академия, боясь, чтобы кто-нибудь из авторов не оскорбил ее гордости и не вздумал отвергнуть предлагаемого ею патента, утвердила законом выбирать в члены единственно тех, которые сами запишутся в кандидаты. Злейший неприятель ее был Пирон. Известна его насмешка: *messieurs les quarantes ont de l'esprit comme quatre*,¹ и забавная эпитафия:

Ci-git Piron; il ne fut rien,
Pas même Académicien.²

Но вот что делает честь Академии: в зале ее между многими изображениями славных авторов стоит Пиронов бюст! Мщенье великодушное!

Академия Наук учреждена Лудовиком XIV, состоит из 70 членов и занимается физикою, астрономиею, математикою, химиею, стараясь *открывать новое* или *доводить до совершенства* известное по девизу: *invenit et perfecit*.³ Каждый год выдает она большой том сочинений своих, полезных для ученого, приятных для любопытного. Они составляют подробнейшую историю наук со времен Лудовика XIV. Иностранцы считают за великую славу быть членами Парижской Академии; число их определено законом: 8, не более. Нигде нет теперь таких астрономов и химиков, как в Париже. Немецкий ученый снимает колпак, говоря о Лаланде и Лавуазье. Первый, забывая все земное, более 40 лет беспрестанно занимается небесным и открыл множество новых звезд.

¹ У «сорока» господ толку на четверых (ред.).

² Здесь покоится Пирон; он был ничем, даже не академиком (ред.).

³ Открыл и совершил (ред.).

Он есть Талес нашего времени, и прекрасную эпитафию греческого мудреца ¹ можно будет вырезать на его гробе:

Когда от старости Талесов взор затмился;
 Когда уже и звезд не мог он различить,
 Мудрец на небо преселился,
 Чтоб к ним поближе быть.

Кроме своей учености, Лаланд любезен, жив, весел, как самый любезнейший молодой француз. Он воспитывает дочь свою также совершенно *для неба*, учит математике, астрономии и в шутку называет Ураниєю; ведет переписку со всеми знаменитыми астрономами Европы и с великим уважением говорит о берлинце Боде. — Лавуазье есть гений химии, обогатил ее бесчисленными открытиями, и, что всего важнее, полезными для жизни, для всех людей. Быв перед революциєю генеральным откупщиком, имеет, конечно, не один миллион; но богатство не прохладяет ревностной любви его к наукам: оно служит ему только средством к размножению их благотворных действий. Химические опыты требуют иногда больших издержек: Лавуазье ничего не жалеет; а сверх того любит делиться с бедными: одною рукою обнимает их, как братьев, а другою кладет им кошелек в карман. Его сравнивают с Гельвеем, который также был генеральным откупщиком, также любил науки и благотворность; но философия последнего не стоит химии первого. Товарищ мой Беккер не может без восхищения говорить о Лавуазье, который дружески обласкал его, слыша, что он ученик берлинского химика Клапрота. Я всегда готов плакать от сердечного удовольствия, видя, как науки соединяют людей, живущих на севере и юге; как они без личного знакомства любят, уважают друг друга. Что ни говорят мизософы, а науки святое дело! — Слава Лавуазьерова пристрастила многих здешних дам к химии, так что года за два перед сим красавицы любили изъяснять нежные движения сердец своих химическими операциями. — Бальи есть также один из знаменитых членов Академии и более всего прославил себя «Историєю древней и новой астрономии». Жаль, что он вдался в революцию и мирную тишину кабинета променял, может быть, на эшафот! ²

Академия Надписей и Словесности учреждена также Людовиком XIV и более ста лет ревностно трудится для обогащения исторической литературы; нравы, обыкновения, монументы древности составляют предмет ее любопытных изысканий. Она по сие время выдала более 40 томов, которые можно назвать золотую миною истории. Вы не знаете, что были египтяне, персы, греки, римляне, если не читали «Записок» Академии; читая их, живете

¹ Смот[ри] Диогена Лаэртца в жизни Талеса.

² Лавуазье и Бальи умерщвлены Робеспьером.

с древними; видите, кажется, все их движения, малейшие подробности домашней жизни в Афинах, в Риме и проч. Девиз Академии есть муза истории, которая в правой руке держит лавровый венок, а левою указывает вдаль на пирамиду с надписью: *ne дает умирать, vetat mori*.

Наименую вам еще Академию Живописи, Ваияния, Архитектуры, которые все помещены в Лувре и все доказывают любовь к наукам Людовика XIV или великого министра его Кольберта.

Париж, мая ...

Нынешний день — угадайте, что я осматривал? Парижские улицы; разумеется, где что-нибудь случилось, было или есть примечания достойное. Забыв взять с собою план Парижа, который бы всего лучше мог быть моим путеводителем, я страшным образом кружил по городу и в скверных фиакрах целый день проездил. В 10 часов утра началось мое путешествие. Кучеру дан был приказ везти меня — к *источнику любви*. Он не читал Сент-Фуа, следственно, не понимал меня, но хотел угадать и не угадывал. Надлежало сказать яснее: «Eh bien, dans la rue de la Truanderie». — «A la bonne heure. Vous autres étrangers, vous ne dites le mot propre qu'à la fin de la phrase!»¹ — Итак, мы отправились в Трюандери. Вот анекдот.

Агнеса Геллебик, прекрасная молодая девушка, дочь главного конюшего при дворе Филиппа Августа, любила и страдала. От Парижа далеко до мыса Левкадского: что же делать? броситься в колодезь на улице Трюандери и концом дней своих прекратить любовную муку. Лет через 300 после того другой случай. Один молодой человек, приведенный в отчаяние жестокостию своей богини, также бросился в этот колодезь, но весьма осторожно и весьма счастливо: не утонул, не зашибся; и красавица, сведав, что ее любовник сидит в воде, прилетела на крыльях Зефира, спустила к нему веревку, вытащила рыцаря, наградила его своею любовью, сердцем и рукою. Желая изъяснить благодарность колодезю, он перестроил его, украсил и готическими буквами написал:

L'amour m'a refait
En 1525 tout-à-fait.
В 1525 году вновь
Меня перестроила Любовь.

Весь Париж узнал о сем происшествии. Молодые люди и девушки начали там сходитьсь при свете луны, петь нежные песни, плясать, уверять друг друга в любви, и колодезь обратился в жертвенник Эротов. Наконец один славный проповедник тогдаш-

¹ Итак, на улицу Трюандери! — Накопец-то. Все вы, иностранцы, говорите нужное слово в конце фразы (*ред.*).

него времени с великим жаром представил родителям возможные следствия таких сходбищ, и набожные люди немедленно засыпали *источник любви*. Показывают место его: тут выпил я стакан сенской воды, остатками оросил землю и сказал: à l'amour! в жертву Венере-Урании!

Нынешняя Павильонная улица называлась прежде именем Дианы, не греческой богини, а прекрасной, милой Дианы дю-Пуатье, которую знаю и люблю по запискам Брантома. Она имела все прелести женские, до самой старости сохранила свежесть красоты своей и владела сердцем Генриха IV. Рост Минервии, гордый вид Юноны, походка величественная, темнорусые волосы, которые до земли доставали; глаза черные огненные; лицо нежное, лилейное, с двумя майскими розами на щеках; грудь Венеры Медицейской и, что еще милее, чувствительное сердце и просвещенный ум: вот ее портрет! Король хотел, чтобы парламенты торжественно признали дочь его законною его дочерью; Диана сказала:

— Имею право на твою руку, я требовала единственно твоего сердца, для того что любила тебя; но никогда не соглашусь, чтобы парламент объявил меня твоею наложницею.

Генрих слушал ее во всем и делал только хорошее. Она любила науки, поэзию и была музою остроумного Маро. Город Лион посвятил ей медаль с надписью: *Omnium victorem vicī*.¹

«Я видел Диану шестидесяти пяти лет, — говорит Брантом, — и не мог надивиться чудесной красоте ее; все прелести сияли еще на лице сей редкой женщины».

Какая из нынешних красавиц не позавидует Диане? Им остается следовать образу ее жизни. Она всякий день вставала в шесть часов, умывалась самою холодною ключевою водою, не знала притираний, никогда не румянилась, часто ездила верхом, ходила, занималась чтением и не терпела праздности. Вот рецепт для сохранения красоты! — Диана погребена в Анете; не имея надежды видеть могилу ее, я бросил цветок на то место, где жила прелестная.

В улице Писателей или кописов (*des Ecrivains*) хотел я видеть дом, где в 14 веке жил Николай Фламель с женою своею Пернелиею и где еще по сие время на большом камне видны их резные изображения, окруженные готическими надписями и гиероглифами. Вы не знаете, кто был Николай Фламель: не правда ли? Он был не что иное, как бедный копис; но вдруг к общему удивлению сделался благотворителем неимущих и начал сыпать деньги на бедных отцов семейства, на вдов и сирот; завел больницы, выстроил несколько церквей. Пошли в городе разные толки: одни говорили, что Фламель нашел клад; другие думали, что он знает тайну философского камня и делает золото; иные подозревали даже, что он водится с духами; а некоторые утверждали, что причину бо-

¹ Я победила победителя всех.

гатства его есть тайная связь с жидами, выгнанными тогда из Франции. Фламель умер, не решив спора. Через несколько лет любопытные вздумали рыть землю в его погребке и нашли множество угольев, разных сосудов, урн с каким-то жестким минеральным веществом. Алхимическое суеверие обрадовалось новому лучу безумной надежды, и многие, желая разбогатеть подобно Фламелью, превратили в дым свое имение. Прошло несколько веков: история его была уже забыта; но Павел Люкас, славный путешественник, славный лжец, возобновил ее следующей сказкою. Будучи в Азии, познакомился он с одним дервишем, который говорил *всеми* языками, казался молодым человеком, а прожил на свете более ста лет. «Сей дервиш, — говорит Люкас, — уверил меня, что Николай Фламель еще жив; что он, боясь сидеть в тюрьме за тайну философского камня, вздумал скрыться; подкупил доктора и приходского священника, чтобы они разгласили о его смерти, а сам ушел из Франции. С того времени, сказал мне дервиш, Николай Фламель и жена его Пернилия ведут философскую жизнь в разных частях света; он сердечный друг мой, и я недавно виделся с ним на берегу Гангеса». — Удивительно не то, что Павел Люкас выдумал роман, а то, что Лудовик XIV посылал такого человека странствовать для обогащения наук историческими сведениями. — Я стоял несколько минут перед домом Фламеля, копал в земле свою трость, но не нашел ничего, кроме каменной совсем не философских.

Я не хотел бы жить в улице Ферронери: какое ужасное воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея — *seul roi de qui le peuple ait gardé la mémoire*,¹ — говорит Вольтер. Герой великодушный, царь благотворительный! ты завоевал не чужое, а свое государство, и единственно для счастья завоеванных! — Слова незабвенные, простые, но сильные: *Я не хочу умереть без того, чтобы всякий крестьянин в королевстве моем не ел курицы по воскресеньям!* и другие, сказанные им гишпанскому министру: *Вы не узнаете Паризиса: мудро ли? Отец семейства был президе в отлучке; теперь он дома и печется о своих детях!* — В бедствиях образовалась душа Генрихова; в собственном несчастье научился он дорожить счастьем других людей и дружбою, которая рождается и торжествует в бурные времена. Он был любим! Некоторые из добрых французов от горести последовали за ним во гроб; между прочими ле-Бик, парижский губернатор. — Кучер мой остановился и кричал:

— Вот улица де-ла-Ферронери!

— Нет, — отвечал я: — ступай далее!

Я боялся выйти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком.

Улица храма, *gue du Temple*, напоминает бедственный жребий славного ордена Тамплиеров, которые в бедности были смиренны,

¹ Единственный король, о котором народ сохранил память (*ред.*).

храбры и великодушны; разбогатов, возгордились и вели жизнь роскошную. Филипп Прекрасный (но только не душою) и папа Климент V по доносу двух злодеев осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение. Варварство, достойное 14 века! Их мучили, терзали, заставляя виниться в ужасных нечеловеческих; например в том, будто они поклонялись деревянному болвану с сегою бородою, отрекались от Христа, дружились с дьяволом, влюблялись в чертовок, играли младенцами, как мячом, то есть бросали их из рук в руки и таким образом умерщвляли. Многие рыцари не могли снести пытки и признавали себя виновными; другие же в страшных муках, на костре, в пламени, восклицали:

— Есть бог! он знает нашу невинность!

Моле, великий магистер ордена, выведен был на эшафот, чтоб всенародно изъявить покаяние, за которое обещали простить его. Один ревностный легат в длинной речи описал все мнимые злодеяния кавалеров храма и заключил словами:

— Вот их начальник! слушайте: он сам откроет вам богомерзкие тайны ордена...

— Открою истину, — сказал несчастный старец, выстунив на край эшафота и потрясая тяжкими своими цепями: — всевышний, милосердный отец человеков! внемли клятве моей, которая да оправдает меня пред твоим небесным судилищем!.. Клянусь, что рыцарство невинно, что орден наш был всегда ревностным исполнителем христианских должностей, правоверным, благотворительным; что одни лютые муки заставили меня сказать противное и что я молю небо простить человеческую слабость мою. Вижу яростную злобу наших гонителей; вижу меч и пламя. Да будет со мною воля божия! Готов все терпеть в наказание за то, что я оклеветал моих братьев, истину и святую веру!

В тот же день сожгли его. Старец, пылая на костре, говорил только о невинности рыцарей и молил спасителя подкрепить его силы. Народ, проливая слезы, бросился в огонь, собрал пепел несчастного и унес его как драгоценную святыню. — Какие времена! какие изверги между людьми! Хищному Филиппу надобно было имяне ордена.

Чем загладить в мыслях страшные воспоминания? Куда теперь ехать? В Иль де Нотр Дам, где во время Карла V перед глазами всех именитых жителей Парижа рыцарь Макер сражался... с другим рыцарем, думаете? Нет, с собакою, которая могла служить примером для рыцарей. Донныне показывают там место сего чудного поединка. Выслушайте историю. Обри Мондидье, гуляя один в лесу недалеко от Парижа, был зарезан и схоронен под деревом. Собака несчастного, которая оставалась дома, побежала ночью искать его, нашла в лесу могилу, узнала, кто погребен тут, и несколько дней не сходила с места. Наконец голод заставил ее возвратиться в Париж. Она пришла к Обриеву другу Ардилье-

ру и жалким воем давала ему чувствовать, что общего друга их нет уже на свете! Ардильер накормил ее, ласкал: но горестная собака не переставала визжать, лизала ему ноги, брала его за кафтан, тащила к дверям. Ардильер решился итти за нею — из улицы в улицу, за город, в лес, к высокому дубу. Тут начала она визжать еще сильнее и рыть лапами землю. Друг Обриев с горестным предчувствием видит могилу; велит слуге своему копать и находит тело несчастного. Через несколько месяцев собака встречается с убийцею, которого все историки называют рыцарем Макером; бросается на него, ¹ лает, грызет, так что с великим трудом могли оттащить ее. В другой, в третий раз то же; собака, всегда смиренная, только против одного человека делается злобным тигром. Люди удивляются, говорят; вспомнили ее привязанность к господину; вспомнили, что Макер в разных случаях оказывал ненависть к покойнику. Другие обстоятельства умножают подозрение. Доходит до короля. Он желает видеть собственными глазами — и видит, что собака, ласкаясь ко всем придворным, с визгом кусает Макера. В тогдашние времена поединок решил судьбу обвиняемых, если доказательства были неясны. Карл назначает день, место; рыцарю дают булаву и пускают собаку. Жестокий бой начинается. Макер заносит руку, хочет разить; но собака увертывается, хватает его за горло — и злодей, падая на землю, признается королю в своем злодеянии. Карл V, желая для потомства сохранить память верной собаки, которая столь чудесно открыла тайное убийство, велел в Бондийском лесу соорудить ей мраморный монумент и вырезать следующую надпись: *Жестокие сердца! стыдитесь: бессловесное животное умеет любить и знает благодарность. А ты, злодей! в минуту преступления бойся самой тени своей!* — И так Карл справедливо назван Мудрым. — Когда история людей, наполненная злодеяниями, выпадет из рук моих, я стану читать историю собак и утешусь!

Отчего в Париже называли одну улицу *Адскою*? Лудовик святой, добрый государь (если бы он только не ездил воевать в Азию и в Африку), подарил ученикам Бруновым ² небольшой домик с садом близ старинного дворца, построенного королем Робертом и давно уже оставленного. Скоро разнесся в Париже слух, что нечистые духи живут в Робертовых палатах, шумят, стучат цепями и воют страшным образом; что одно *зеленое чудовище*, сверху человек, а снизу змея, ходит по комнатам, ночью выбегает на улицу и бросается на людей. Лудовик, слыша такие ужасы, распустил за благо отдать сей дворец картезианцам, с условием, чтобы они выгнали оттуда злых духов. Зеленое чудовище вдруг скрылось,

¹ Спрашивается, как она узнала его? Может быть, имея тонкое обоняние, почувствовала на нем кровь господина своего.

² Бруно основал Картезианский орден.

и добрые монахи жили спокойно в своем огромном доме; но улица и доньше называется *Адскою*.

Я проехал оттуда в улицу Милькёр, где Франциск I жил несколько времени в маленьком домике, чтоб быть соседом прекрасной герцогини д'Этамп, которая владела его нежным сердцем. Он украсил свои комнаты живописью, эмблемами, надписями в честь и славу любви.

«Я видел еще многие из сих девизов, — говорит Соваль, — но помню только один: пламенное сердце, изображенное между *альфы* и *омеги*; что, без сомнения, значило: *оно будет всегда пылать*».

Бани герцогини д'Этамп служат ныне конюшнею. Шляпный мастер варит себе кушанье в спальне Франциска I, а в *кабинете его восторгов* (cabinet de délices) живет сапожник.

Старинный закон не велит во Франции выпускать на улицу свиней. Любопытны ли вы знать причину? В улице Мальтуа вам скажут ее. Там молодой король Филипп, сын Лудовика Толстого, ехал верхом. Вдруг откуда ни взялась свинья и бросилась под ноги лошади его: лошадь споткнулась, Филипп упал и на другой день умер.

Шотландец Ла (Law) прославил улицу Кенкампуа: тут раздавались билеты его банка. Страшное множество людей всегда теснилось вокруг бюро, чтобы менять луидоры на ассигнации. «Тут горбатые торговали своими горбами, то есть позволяли ажиотёрам писать на них, и в несколько дней обогащались. Слуга покупал экипаж господина своего; демон корыстолюбия выгонял философа из ученого кабинета и заставлял его вмешиваться в толпу игроков, чтобы покупать мнимые ассигнации. Сон исчез, осталась простая бумага, и автор сей несчастной системы умер с голоду в Венеции, быв за несколько времени перед тем роскошнейшим человеком в Европе», — Мерсье в «Картине Парижа».

Путешествие мое кончилось улицею Арфы, de la Nagre, где я видел остатки древнего римского здания, известного под именем Palais des Thermes: огромную залу с круглым сводом, вышиною в 40 футов. Историки думают, что это здание древнее времен Иулиановых; по крайней мере Иулиан жил в нем, когда галльские легионы назвали его римским императором. Великолепные сады, бассейны, водоводы, о которых говорят старинные летописи, все стерто и заглажено рукою времени. Тут жили французские цари Кловиова поколения; тут заключены были любезные дочери Карла Великого за их немые слабости; тут при королях второго поколения знатные парижские дамы видались с своими обожателями; тут ныне выкармливают голубей для продажи. Кстати, подумал я: голубь есть Венераина птица.

В этой же улице славился пирожник Миньо, которого воспел Буало в сатире своей:

...Mignot, c'est tout dire, et dans le monde entier
Jamais empoisonneur ne sut mieux son métier...¹

Пирожник рассердился на сатирика, жаловался в суде; но будучи только осмеян судьями, вздумал мстить поэту иным образом: уговорил аббата Коттеня сочинить сатиру на Буало, напечатал ее и разослал с пирогами по всему городу.

ОПЕРНОЕ ЗНАКОМСТВО

Я пришел в оперу с немцем Рейнвальдом.

— Entrez dans cette loge, messieurs!² — В ложе сидели две дамы с кавалером св. Лудовика.

— Останьтесь здесь, государи мои, — сказала нам одна из них: — видите, что у нас нет ничего на головах; в других ложах найдете женщин с превысокими уборами, которые совсем закроют от вас театр.

— Мы вас благодарим, — отвечал я и сел позади ее.

Учтивость ее возбудила мое внимание: я с обеих сторон заглядывал ей в лицо. Между тем товарищ мой начал говорить со мною по-русски: и дамы и кавалер посмотрели на нас, услышав неизвестные звуки. Я имел удовольствие найти в учливой даме белокурую молодую красавицу. Черный цвет платья оттенивал белизну лица; голубая ленточка извивалась в густых светлых ненапудренных волосах; букет роз алел на лилеях груди.

— Хорошо ли вам? — спросила у меня с улыбкою любезная незнакомка.

— Нельзя лучше, сударыня.

Но кавалер, который сидел рядом с нею, беспрестанно повертываясь с стороны в сторону, беспокоил Рейнвальда.

— Я здесь ни за что не останусь, — сказал мой немец: — проклятый француз натрет мне на коленях мозоли, — сказал и ушел. Белокурая незнакомка посмотрела на дверь и на меня.

— Ваш товарищ недоволен нашею ложею?

Я. Ему хочется быть прямо против сцены.

Незнакомка. А вы с нами?

Я. Если позволите.

Незнакомка. Вы очень милы.

Кавалер св. Лудовика. Я только теперь заметил, что у вас на груди розы: вы их любите?

Незнакомка. Как не любить? они служат эмблемою нашего пола.

¹ Миньон, этим все сказано, во всем мире ни один отравитель не понимал лучше своего ремесла (ред.).

² Войдите в эту ложу, господа! (Ред.)

— От них совсем нет запаха, — сказал он, распуская и сжимая свои ноздри.

Я. Извините — я далее, а чувствую.

Н е з н а к о м к а. Вы далее? да что ж вам мешает быть поближе, если розы для вас приятны? Здесь есть место... Вы англичанин?

Я. Если англичане имеют счастье вам нравиться, то мне больно назваться русским.

К а в а л е р. Вы русский? Видите, что я угадал, сударыня! j'ai voyagé dans le nord; je me connois aux accents; je vous l'ai dit dans le moment. ¹

Н е з н а к о м к а. Я, право, думала, что вы англичанин. Je raffole de cette nation. ²

К а в а л е р. Нельзя ошибиться тому, кто, подобно мне, был везде и знает языки. Ведь у вас в России говорят немецким языком?

Я. Русским.

К а в а л е р. Да, русским; все одно.

— Все места заняты, — сказала красавица, взглянув на партер: — тем лучше! я люблю людей.

К а в а л е р. Иначе вы были бы неблагодарны.

«Как досадно! — думал я: — он сорвал у меня с языка это слово».

К а в а л е р. Только по Моисееву закону вам надобно ненавидеть женщин.

Н е з н а к о м к а. Почему же?

К а в а л е р. Любовь за любовь, ненависть за ненависть.

Н е з н а к о м к а (с усмешкою). Я христианка. Однакож это правда: женщины не любят друг друга.

— Для чего же? — спросил я с величайшею невинностью.

К р а с а в и ц а. Для чего?..

Тут она понюхала свои розы, взглянула опять на меня и спросила, давно ли я в Париже? долго ли пробуду?

— Когда розы увянут в саду, меня уже здесь не будет, — отвечал я самым жалким голосом.

К р а с а в и ц а (посмотрев на свой букет). Они у меня цветут и зимою.

Я. Чего не делает искусство, сударыня? Однакож Натура не теряет своих прав: ее цветы милее.

К р а с а в и ц а. Не северному жителю хвалить Природу: она у вас печальна.

Я. Не всегда, сударыня: у нас также есть весна, цветы и прекрасные женщины.

Н е з н а к о м к а. Любезные?

¹ Я бывал на севере, разбираюсь в акцентах, я вам это сразу сказал (ред.).

² Я без ума от этой нации (ред.).

Я. По крайней мере *любимые*.

Незнакомка. Да, я думаю, что у вас лучше умеют любить, нежели нравиться. Во Франции напротив: чувство пылает здесь только в романах.

Я. У нас, сударыня, у нас оно пылает в сердцах.

Кавалер. Чувствительность везде роман. Я путешествовал и знаю.

Красавица. О несносные французы! вы все атеисты в любви. Не мешайте ему говорить. Он нам скажет, как в России обожают женщин...

Кавалер. Роман!

Красавица. Как мужчины нежны, примечательны...

Кавалер (*зевая*). Роман!

Красавица. Как они смотрят женщинам в глаза, не скупая, не *зевая*.

Кавалер (*засмеявшись*). Роман! роман!

Тут весь театр осветился плашками, и зрители захлопали в знак удовольствия. Красавица сказала с улыбкою:

— Мужчины рады свету, а мы боимся его. Посмотрите, например, как вдруг стала бледна молодая дама, которая сидит против нас!..

Кавалер. Оттого, что она, подражая англичанкам, не румянится.

Я. Бледность имеет свою прелесть, и женщины напрасно румянятся.

Красавица обернулась к партеру... ах! она была нарумянена! Я сказал неучтиво, прижался боком к стене и молчал. К счастью, оркестр заиграл, и началась опера. Музыка Глукова «Орфей» восхитила меня так, что я забыл и красавицу; зато вспомнил Жан-Жака, который не любил Глука, но слыша в первый раз «Орфея», пленился, молчал — и когда парижские знатоки при выходе из театра окружили его, спрашивая, какова музыка? запел тихим голосом: *j'ai perdu mon Euridice: rien n'égale mon malheur*¹ — обтер слезы свои и, не сказав более ни слова, ушел. Так великие люди признаются в несправедливости мнений своих!

Занавес опустился. Незнакомка сказала мне:

— Божественная музыка! а вы, кажется, не аплодировали?

Я. Я чувствовал, сударыня.

Незнакомка. Глук милее Пиччини.

Кавалер. Об этом в Париже давно перестали спорить. Один славится гармониею, другой мелодиею; один всегда равно удивителен, другой велик порывами; один никогда не падает, другой встает с земли, чтобы лететь к облакам; в одном более характера, в другом более оттенок. Мы давно согласились.

¹ См. прим. на стр. 450 (*ред.*).

Н е з н а к о м к а. Я не умею делать ученых сравнений; а вы, государь мой?

Я. Согласен с вами, сударыня.

Н е з н а к о м к а. Etes-vous toujours bien, m-r?

Я. Parfaitement bien, madame, auprès de vous.¹

Тут кавалер св. Лудовика сказал ей что-то на ухо. Она засмеялась, посмотрела на часы, встала, подала ему руку и, сказав мне: «Je vous salue, monsieur!»² — ушла вместе с другою дамою. Я изумился... Не дожидаться прекрасного балета «Калипсы и Телемака»! странно!.. Мне стало в ложе просторнее и — скучнее. Я взглядывал на дверь, как будто бы ожидая возвращения прелестной незнакомки. Кто она? благородная, почтенная, или... Какая мысль! Важные парижские дамы не говорят так вольно с незнакомыми; однакож может быть исключение из правила. Воображение мое не преставало заниматься ею во время балета, находя в разных танцовщицах сходство с белокурою незнакомкою. Я пришел домой — и все еще об ней думал.

«История кончилась», вы скажете: а может быть, и нет. Что если я опять где-нибудь встречу с красавицею, в Елисейских Полях, в Булонскому лесу; избавлю ее от разбойников, или вытащу из Сены, или спасу от огня?.. Предвижу вашу усмешку. «Роман! роман!» повторите вы с кавалером св. Лудовика. Боже мой! как люди стали ныне недоверчивы! Это отнимает охоту путешествовать и рассказывать анекдоты. Хорошо; я замолчу.

Париж, мая ...

Солиман Ага, турецкий посланник при дворе Лудовика XIV в 1669 году, первый ввел в употребление кофе. Некто Паскаль, армянин, вздумал завести кофейный дом; новость полюбилась, и Паскаль собрал довольно денег. Он умер, и мода на кофе прошла, так что к его наследникам никто уже не ходил в гости. Через несколько лет Прокоп-сицилианец открыл новый кофейный дом близ Французского театра, украсил его со вкусом и нашел способ заманивать к себе лучших людей в Париже, особливо авторов. Тут сходились Фонтенель, Жан-Батист Руссо, Сорен, Кребийон, Пирон, Вольтер; читали прозу и стихи свои, спорили, шутили, рассказывали новости. Парижане ходили от скуки слушать их. Имя сохранилось донныне; но теперешний Прокопов кофейный дом не имеет уже славы прежнего.

Что может быть счастливее этой выдумки? Вы идете по улице, устали, хотите отдохнуть: вам отворяют дверь в залу, чисто при-

¹ Вы хорошо себя чувствуете, сударь? — Возле вас прекрасно, сударыня (*ред.*).

² До свиданья, сударь! (*Ред.*)

бранную, где за несколько копеек освежитесь лимонадом, мороженым; прочитаете газеты; слушаете сказки, рассуждения; сами говорите и даже кричите, если угодно, не боясь досадить хозяину. Люди небогатые осенью, зимою находят тут приятное убежище от холода, камин, светлый огонь, перед которым могут сидеть как дома, не платя ничего, и еще пользоваться удовольствием общества. *Vive Pascal, vive Procopé! vive Soliman Aga!*¹

Ныне более 600 кофейных домов в Париже (каждый имеет своего корифея, умника, говоруна), но знаменитых считается 10, из которых пять или шесть в Пале-Рояль: *Café de Foi, du Cavot, du Valois, de Chartres*. Первый отменно хорошо прибран; а второй украшен мраморными бюстами музыкальных сочинителей, которые своими операми пленяют слух здешней публики: бюстом Глука, Саккини, Пиччини, Гретри и Филидора. Тут же на мраморном столе написано золотыми буквами: *On ouvrit deux souscriptions sur cette table; la première le 28 Juillet, pour répéter l'expérience d'Annonay; la deuxième le 29 Août, 1783, pour rendre hommage par une médaille à la découverte de mm. de Montgolfier.*² На столе прибит медальон, который изображает обоих братьев Монгольфье. — Жан-Жак Руссо прославил один кофейный дом, *le Café de la Régence*, тем, что всякий день играл там в шашки. Любопытство видеть великого автора привлекало туда столько зрителей, что полицеймейстер должен был приставить к дверям караул. И ныне еще собираются там ревностные жан-жакисты пить кофе в честь Руссовой памяти. Стул, на котором он сживал, хранится как драгоценность. Мне сказывали, что один из почитателей философа давал за него 500 ливров; но хозяин не хотел продать его.

С М Е С Ъ

Я желал видеть, как веселится парижская чернь, и был нынешний день в *генгетах*: так называются загородные трактиры, где по воскресеньям собирается народ обедать за 10 су и пить самое дешевое вино. Не можете представить себе, какой шумный и разнообразный спектакль! Превеликие залы наполнены людьми обоего пола; кричат, пляшут, поют. Я видел двух шестидесятилетних стариков, важно танцующих менуэт с двумя старухами; молодые хлопали в ладоши и кричали: *браво!* Некоторые шатались от действия винных паров, а также хотели танцевать и только что не

¹ Да здравствует Паскаль! Да здравствует Прокоп! Да здравствует Солиман Ага! (*ред.*)

² Были открыты две подписки на этом столе; первая 28 июля, чтобы повторить опыт в Анноне; вторая 29 августа 1783 г., чтобы отметить медалью открытие гг. Монгольфье (*ред.*).

падали; не узнавали дам своих и вместо извинения говорили: «diable! peste!»¹ — C'est l'empire de la grosse gaieté, царство грубого веселья! — Итак, не один русский народ обожает Бахуса! Розница та, что пьяный француз шумит, а не дерется.

У дверей всякой *генгеты* стоят женщины с цветами, берут вас за руку и говорят: «Господин милый, господин прекрасный! я дарю вас букетом роз». Надобно непременно взять подарок, отблагодарить шестью копейками² и еще сказать учтивое слово, un mot de politesse, d'honnêteté. Парижские цветочницы одного разбора с рыбными торговками (les poissons); страшно не понравиться им; они в состоянии заметать вас грязью. Но если вы держите в руке букет цветов, то вам уже не предлагают другого. Однажды на Королевском мосту две цветочницы остановили меня с бароном В. и требовали... поцелуй! Мы смеялись, хотели итти: но жестокие вакханты насильно поцеловали нас в щеку, хохотали во все горло и кричали нам вслед: «Еще, еще один поцелуй!»

Идучи по Дофинскому берегу, увидел я на реке два китайские павильона; узнал, что это бани; сошел вниз, заплатил 24 су и вымылся холодною водою в прекрасном маленьком кабинете. Чистота удивительная. Во всякий кабинет проведена из реки особливая труба, в которой вода течет сквозь песок. Тут же учат плавать; урок стоит 30 су. При мне плавали три человека с отменною легкостью. В Париже есть и теплые бани, в которые часто посылают медики больных своих. Самые лучшие и дорогие называются русскими, bains russes, de vapeurs ou de fumigations, simples et composés.³ Надобно заплатить рубли два, и вас вымоют, вытрут губками, обкурят ароматами, как у нас в Грузинских банях.

Я был в Hôtel-Dieu, главной парижской гошпитали, в которую принимают всякой веры, всякой нации, всякого рода больных и где бывает их иногда до 5000, под надзиранием 8 докторов и ста лекарей. 130 монахинь Августинского ордена служат несчастным и пекутся о соблюдении чистоты; 24 священника беспрестанно исповедывают умирающих или отпевают мертвых. Я видел только две залы и не мог итти далее: мне стало дурно; и до самого вечера стон больных отзывался в моих ушах. Несмотря на хороший при-смотр, из 1000 всегда умирает 250. Как можно заводить такие больницы в городе? Как можно пить воду из Сены, в которую стекает

¹ Чорт! Проклятье! (*Ред.*)

² Une pièce de 6 sous [монета в 6 су. *Ред.*].

³ Русские бани, с паром, простые и с удобствами (*ред.*).

вся нечистота из Hôtel-Dieu? Ужасно вообразить! Счастлив, кто выедет из Парижа здоровый! — Я спешу в театр, чтобы рассеять свою меланхолию и начало лихорадки.

Здесьняя Королевская библиотека есть первая в свете; по крайней мере так сказал мне библиотекарь. Шесть превеликих зал наполнены книгами. Мистические авторы занимают пространство в 200 футов длиною и в 20 вышиною, схоластики 150 футов, юристы 40 сажен, историки вдвое. Поэтов считается 40 000, романистов 6000, путешественников 7000. Все вместе составляет более 200 000 томов, к которым надобно еще прибавить 60 000 рукописных. Порядок редкий. Наименуйте книгу, и через несколько минут она у вас в руках. Мне, как русскому, показывали славянскую библию и «Наказ» императрицы. — Карл V получил в наследство после короля Иоанна 20 книг; любя чтение, умножил их до 900 и был основателем сей библиотеки. Тут же в кабинете древних и новых медалей с великим любопытством рассматривал я два щита славнейших из древних полководцев: Аннибала и Сципиона Африканского.¹ Какими приятными воспоминаниями обязаны мы истории! Мне было 8 или 9 лет от роду, когда я в первый раз читал римскую и, воображая себя маленьким Сципионом, высоко поднимал голову. С того времени люблю его как своего героя. Аннибала я ненавидел в счастливые времена славы его, но в решительный день перед стенами карфагенскими сердце мое едва ли не ему желало победы. Когда все лавры на голове его увяли и засохли; когда он, укрываясь от злобы мстительных римлян, скитался из земли в землю: тогда я был нежным другом хотя несчастного, но великого Аннибала и врагом жестоких республиканцев. — Еще хранятся в библиотеке две стрелы диких американцев, намазанные таким сильным ядом, что если проколешь ими до крови какое-нибудь животное, то оно через несколько минут, оцепенев, умрет. — В зале нижнего этажа стоят два глобуса чрезмерной величины, так что верхняя часть их выходит через отверстие потолка в другой этаж. Они сделаны монахом Коронелли. — Собрание эстампов в библиотеке также достойно примечания.

Здесь много и других общественных и частных библиотек, отворенных в назначенные дни для всякого. Читайте, выписывайте, что вам угодно. Нет в свете другого Парижа ни для ученых, ни для любопытных; все готово — только пользуеться.

Королевская обсерватория, обращенная углами к четырем главным пунктам горизонта, построена без дерева и без железа. В боль-

¹ Доказывается надписью.

шой зале первого этажа проведен меридиан, который идет через всю Францию, на север и на юг, от Колиура до Динкирхена. Там одна комната называется *тайною*, la salle des Secrets, и представляет любопытный феномен. Если вы приложите губы к пиластру и тихонько скажете несколько слов, то человек, стоящий напротив у другого пиластра, слышит их; а люди, которые стоят между вами, ничего не слышат. Монах Киркер писал изъяснение сей механической странности. — Кто хочет сойти в подземельный лабиринт обсерватории, служащий для разных метеорологических опытов, тому надобно непременно взять вожатого и факелы: 360 ступеней ведут вас в эту бездну; темнота страшная; густой, сырой воздух почти останавливает дыхание. Мне рассказывали, что два монаха, сошедши туда вместе с другими любопытными, отстали — хотели догнать товарищей, но факел их угас, — они искали выхода из темных переходов, но тщетно. Через 8 дней нашли их в лабиринте мертвых.

Лудовик XIV построил самый великолепнейший в Европе Инвалидный дом для изувеченных и престарелых воинов, желая доказать им царскую благодарность, и часто бывал у них в гостях без всякой стражи, кроме испытанного усердия своих ветеранов. Печальное зрелище для философа, трогательное для всякого чувствительного! Многие инвалиды не могут ходить; многие не могут даже есть сами: их кормят. Одни молятся перед алтарями; другие сидят под тению густых деревьев, разговаривая о победах, купленных их кровию. Как охотно снимаю шляпу перед седым воином, который носит на себе незагладимые знаки храбрости и печать славы! Война бедственна, но храбрость есть великое свойство души. «Робкий человек может быть добрым: но всякий дурной человек непременно должен быть трусом», — говорит Стернов капитан Трим. — Петр Великий, осматривая парижский Инвалидный дом в то время, как почтенные воины сидели за обедом, налил себе рюмку вина и, сказав: *ваше здоровье, товарищи!* выпил до кашли.

Архитектура и живопись прекрасны.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Париж, мая ...

13 мая, в день вознесенья, ходил я в деревеньку Сюрень, лежащую в двух милях от Парижа на берегу Сены. Мне сказали, что там с великою торжественностию будут короновать розами осьмнадцатилетнюю добродетельную девушку; но какая горечь! нынешний год не было праздника — la fête de la Rosière. Отель-

де-Виль, или городской приказ, не заплатил процентов с капитала, положенного каким-то г. Элиотом для награждения сельской невинности, хотя на это требовалось не более 300 ливров. Приходскому священнику надлежало после вечерни объявить имена трех достойнейших сюренских девушек; деревенские старшины выбирали из них одну, украшали цветами, хвалили ее добродетель, водили по деревне и пели хором:

Без награды добродетель
 Не бывает никогда;
 Ей в подсолнечной свидетель
 Бог и совесть завсегда.
 Люди также примечают,
 Кто похвально жизнь ведет;
 За невинность увенчают
 Девушку в осьмнадцать лет... ¹

Парижские дамы всегда любопытствовали видеть невинность так близко от Парижа, брали участие в веселии сюренских поселян и не стыдились танцевать с ними по-деревенски. — Я обедал в трактире с нарядными земледельцами, которые потчевали меня своим красным вином, уверяя, что сюренский виноград и сюренские нравы славны во всем околотке. Один из них, с гордым видом выправляя свои белые длинные манжеты, сказывал мне, что все три дочери его были увенчаны розами и все три нашли себе достойных женихов.

Давно уже сельская простота не веселила меня столько, как нынешний день, — и наслаждаться ею в 7 верстах от Парижа! Я не мог наговориться с крестьянами и с крестьянками; последние довольно смелы, но не бесстыдны.

— Куда ты идешь с книжкою? — спросил я у миленькой девушки.

— В церковь, — отвечала она: — молиться богу.

— Жаль, что я не вашего закона; а мне хотелось бы молиться подле тебя, красавица!

— Mais le bon Dieu est de toutes les religions, monsieur. (Бог один во всех законах.)

Согласитесь, друзья мои, что такая философия в сельской девушке не совсем обыкновенна. Вообще все сюренские жители казались мне умными и счастливыми, может быть от веселого расположения души моей.

Вечер провел я также очень приятно в деревне Исси, в прекрасных садах герцога Инфантадоса и принцессы Шиме. Тут есть несравненная аллея из древних каштановых деревьев (лучше самой Тюльерийской) и в конце ее превеликий водоем. Вид с террас пре-

¹ Ей непременно надлежало быть осьмнадцати лет.

лестен: замок Мёдон, Бельвю, Булонский лес, неизмеримая равнина, по которой течет Сена; и на краю горизонта Мон-Валерьен.

Вообще парижские окрестности весьма приятны. Везде прекрасные деревеньки, аллеи, сады; везде рассеяны драгоценности искусства; в каждой сельской церкви найдете хорошие картины, замечания достойные монументы, памятники французской истории. С некоторого времени я всякий день бываю за городом и возвращаюсь иногда очень поздно. Теперь же все цветет, и весна нежными оттенками переливается в лето.

Париж, мая ...

Я худо пользуюсь здешними знакомствами и обществом; я скуп на время: мне жаль тратить его в трех или четырех домах, где меня принимают. Холодная учтивость непривлекательна. Госпожа Гло. уверяет, что в доме ее собираются лучшие авторы; но мне не случилось видеть у нее ни одного известного. Говорят отрывками; все личности, жаргон, язык, непонятный для чужестранца; молчишь, зеваешь или скажешь слова два на вопросы: как сильны бывают морозы в Петербурге? сколько месяцев катаются у вас в санях? ездите ли вы на оленях зимою? Это не весело; и хотя стол госпожи Гло. очень вкусен, однакож мне приятнее обедать за деньги у какого-нибудь ресторатёра, смотреть на множество людей, вслушиваться иногда в шумные разговоры или про себя думать, сочинять план для остального дня. Госпожа Н., другая моя знакомка, миловидна и любезна, так что я с удовольствием был у нее раз пять. Мы говорили о Швейцарии, о Руссо, о счастии простой жизни, даже о любви в метафизическом смысле; но вот неудобность: к ней ездит молодой барон Д., и как скоро он в двери, я делаюсь лишним; это немного оскорбительно для моего самолюбия. Барон же хотя и не есть барон немецкий, однакож взгляды его на меня очень грубы. Он садится с ногами на диване подле хозяйки, играет ролю рассеянного или сонливого; плюет на английский ковер; кладет голову на подушку — а как его не выгоняют, то надобно думать, что он имеет право выгонять других из кабинета госпожи Н. Смекнув таким образом, беру шляпу и скрываюсь. Прованская красавица раздумала ехать в Швейцарию и быть жительницею горы Нёвшательской.¹ Барон смеется над такую мыслью и называет ее вдохновением старомодного романизма.

Здесь теперь немного русских: фамилия князя Г., П. и более никого, кроме посланника, секретаря М. и г. У., с которыми вижу нередко. У. небогат, но умел собрать прекрасную библиотеку и множество редких манускриптов на разных языках. У него есть оригинальные письма Генриха IV, Людовика XIII, XIV и XV,

¹ Описанной Жан-Жаком в письме к д'Аланберту.

кардинала Ришелье, английской королевы Елисаветы и проч. Он знаком со всеми здешними библиотекарями и через них достает редкости за безделку, особливо в нынешнее смутное время. В тот день, как народ разграбил бастильский архив, У. купил за луидор целую кипу бумаг, между прочими несколько трогательных писем какого-то несчастного автора к полицеймейстеру и журнал одного из заключенных во время Людовика XIV. Он уверен, что его писал тайный арестант, известный под именем *Железной маски*, о котором Вольтер говорит следующее:

«Через несколько месяцев по смерти кардинала Мазарина случилось происшествие, которое можно назвать беспримерным и которого (что также удивительно) совсем не знали историки. С величайшею тайною послан был на остров святой Маргариты неизвестный арестант, молодой человек, высокий ростом и благородный видом. Он носил маску с железною пружиною, которая не мешала ему есть. Офицер имел повеление убить его, если бы он снял ее. Сей человек содержался на острове до самого того времени, как губернатор пиньерольский Сен-Марс в 1690 году сделан был бастильским начальником и сам перевез его в Бастилию, так же в маске. Министр Лувуа был у него на острове св. Маргариты, говорил с ним стоя и с великим почтением. В Бастилии отвели ему самые лучшие комнаты и ни в чем не отказывали. Всего более любил он тонкое белье и кружева; знал музыку; играл на гитаре, имел самый изобильный стол, и губернатор редко перед ним садился. Старый бастильский доктор никогда не видал его лица. Он был, по словам сего медика, чрезвычайно строен, имел трогательный голос, говорил приятно, никогда не жаловался на заключение и тайл свое имя. — Сей неизвестный умер в 1703 году и погребен ночью в церкви св. Павла. Никто из людей знаменитых в Европе не пропадал во время его заключения; но он, без сомнения, был важный человек. Вот что случилось в первые дни его пребывания на острове святой Маргариты... Сам губернатор носил ему кушанье и, выходя, запирали комнату. Заключенный начертил однажды несколько слов на серебряной тарелке и бросил ее в окно на лодку, стоявшую внизу подле самой башни. Рыбак, хозяин лодки, поднял тарелку и принес губернатору, который с великим беспокойством спросил: видел ли он надпись и не показывал ли кому-нибудь тарелки? «Я только что нашел ее, а сам не умею читать», — отвечал рыбак. Однакож губернатор удержал рыбака, чтобы увериться в истине его слов. Наконец, отпуская, сказал ему: «Поди и благодари бога, что не умеешь читать». Один из достоверных людей, которым сей случай был известен, жив еще и ныне. Шамилар, последний из министров, знал тайну заключенного. Фельдмаршал Фельяд, зять его, сказывал мне, что он на коленях просил тестя своего объявить ему, кто был сей человек, известный только под именем *Железной маски*. Шамилар отвечал, что он клялся хранить

государственную тайну и не может открыть ее. Одним словом, многие из наших современников свидетельствуют истину мною рассказанного, и я не знаю никакого исторического происшествия, которое было бы удивительнее и вернее оного».

В жизни герцога Ришелье, недавно напечатанной, сия любопытная загадка, справедливо или нет, решится. Автор говорит, будто человек с Железною маскою был сын королевы Анны и близнец Лудовика XIV, скрытый от света кардиналом Ришелье, для того чтобы ему не вздумалось когда-нибудь спорить о короне с братом своим. Гипотеза не совсем вероятная! Равно как и то не совсем вероятно, чтобы журнал заключенного, которым земляк мой дорожит до крайности, был в самом деле писан Железною маскою. У него одно доказательство: «Заключенный в разных местах упоминает о шоколаде, который к нему по утрам носили; при Лудовике XIV пили шоколад одни знатные; а как в это время (сколько известно) никто из важных людей, кроме человека с Железною маскою, не содержался в Бастилии, то надобно, чтобы журнал был его!» Впрочем, автор сих дневных записок, Железная маска или другой кто, не говорит ничего примечания достойного; одни жалобы на скуку, на жестокость заключения, в несвязных словах, без орфографии — и все тут.

Париж, мая ...

Шесть дней сряду в 10 часов утра хожу я в улицу св. Якова, в Кармелитский монастырь... «Зачем? — спросите вы: — за тем ли, чтобы рассматривать тамошнюю церковь, древнейшую в Париже и некогда окруженную густым, мрачным лесом, где св. Дионисий в подземной глубине укрывался от врагов своих, то есть врагов христианства, благочестия и добродетели? За тем ли, чтобы решить спор историков, — из которых одни приписывают строение сего храма язычникам, а другие королю Роберту: одни утверждают, что статуя, видимая сверху, на портале, есть образ богини Цереры; а другие уверяют, что она представляет архангела Михаила? Или за тем, чтобы удивляться великолепию алтарей, их бронзе, золоту, барельефам?»... Нет! я хожу в Кармелитский монастырь для того, чтобы видеть милую, трогательную Магдалину живописца Лебрюна, таять сердцем и даже плакать!.. О чудо несравненного искусства! я вижу не холодные краски и не бездушное полотно, но живую ангельскую красоту, в горести, в слезах, которые из небесных голубых глаз ее льются на грудь мою; чувствую теплоту, жар их и вместе с нею плачу. Она узнала суету мира и злополучие страстей! Сердце ее, для света охладившее, пылает пред алтарем всевышнего. Не муки адские ужасают Магдалину; но мысль, что она недостойна любви того, кто любим ею столь ревностно и пламенно: любви отца небесного — чувство нежное,

одним прекрасным душам известное! *Прости меня*, говорит ее сердце. *Прости меня*, говорит ее взор... Ах! не только бог, совершенная благодать, но и самые люди, редко не жестокие, каких бы слабостей не простили такому искреннему, святому раскаянию?.. Никогда я не думал, не воображал, чтобы картина могла быть столь красноречива и трогательна. Чем более смотрю на нее, тем глубже вникаю чувством в ее красоты. Все прелестно в Магдалине: лицо, стан, руки, растрепанные волосы, служащие покровом для лилейной груди; всего же прелестнее глаза, от слез покрасневшие... Я видел много славных произведений живописи: хвалил, удивлялся искусству; но эту картину *желал бы иметь; был бы счастлив с нею*; одним словом, *люблю ее!* Она стояла бы в моем удивленном кабинете, всегда перед моими глазами...

Но открыть ли вам тайную прелесть ее для моего сердца? Лебрюн в виде Магдалины изобразил нежную, прекрасную герцогиню Лавальер, которая в Лудовике XIV любила не царя, а человека и всем ему пожертвовала: своим сердцем, невинностью, спокойствием, светом. Я воображаю тихую лунную ночь, когда гуляя в Версальском парке с своими подругами, милая Лавальер сказала им:

— Вы говорите о придворных красавцах, а забываете первого: нашего любезного короля. Не пышность трона ослепляет глаза мои; нет, и в сельской хижине, в платье бедного пастушка предпочла бы я его всем мужчинам на свете.

Король был в двух шагах от прелестной; скрывался за деревом, слышал ее слова, и сердце ему сказало: «Вот та, которую ты любить должен!» Он не знал ее; на другой день старался говорить со всеми придворными дамами; узнал Лавальер по голосу — и несколько лет, будучи обожаем, сам обожал ее; изменил — и несчастная оставила свет, заключилась в Кармелитском монастыре, истребила в душе все земные склонности, жила 36 лет единственно для добродетели, для неба, под именем Луизы, *сестры милосердия*, ревностно исполняя строгие должности ордена и звания своего.

Париж, мая ...

Я думаю теперь: какое могло бы быть самое любопытнейшее описание Парижа? Исчисление здешних монументов искусства (рассеянных, так сказать, по всем улицам), редких вещей в разных родах, предметов великолепия, вкуса имеет, конечно, свою пену; но десять таких описаний, и самых подробных, отдал бы я за одну краткую *характеристику*, или за *Галерею примечания достойных людей в Париже*, живущих не в огромных палатах, а по большей части на высоких чердаках, в тесном уголке, в неизвестности. Вот обширное поле, на котором можно собрать тысячу любопытных анекдотов! Здесь-то бедность, недостаток в средствах к про-

питанию доводит человека до удивительных хитростей, истощает и разум и воображение! Здесь многие люди, которые всякий день являются на гульбищах, в Пале-Рояль, даже в спектаклях, причесанные волос к волосу, распудренные, с большим кошельком на спине, с длинною шпагою на бедре, в черном кафтане, не имеют копейки верного дохода; а живут, веселятся и, судя по наружному виду, беспечны, как птицы небесные. Средства? они разнообразны, бесчисленны и нигде, кроме Парижа, не известны. Например: человек, изрядно одетый, который сидит в Café de Chartres за чашкою *баваруза*, говорит не умолкая, с видом благородным, приятным, шутит, рассказывает забавные анекдоты — знаете ли, чем живет? продажею *афиш* или всякого рода печатных объявлений, которыми здесь бывають облеплены стены. Ночью, когда город успокоится и люди по домам разбредутся, он ходит собирать свой корм из улицы в улицу, сдирает со стен печатные листы, относит их к пирожникам, имеющим нужду в бумаге, получает за то несколько копеек, ливра два или целый эю, ложится на соломенный тюфяк в каком-нибудь *гренье*¹ и засыпает покойнее многих Крезов. Другой человек, который также всякий день бывает в *публике*, то есть в Тюльери, Пале-Рояль, и которого вы по кафтану сочтете клерком,² есть... откупщик; но прошу угадать, какой? У него на откупе... все булавки, теряемые дамами в итальянском спектакле. Когда занавес опускается и все зрители выходят из залы, он только что является в театр и с дозволения директорского, между тем как гасят свечи, ходит из ложи в ложу подбирать булавки; ни одна не укроется от его мышьих глаз, где бы она ни лежала; и в то мгновение как слуга хочет гасить последнюю свечу, наш откупщик хватает последнюю булавку; говорит: «Слава богу! завтра я не умру с голоду!» — и бежит со своим пакетом к лавочнику. — Я был в Мазариновой библиотеке и смотрел на ряды книг без всяких мыслей. Ко мне подошел седой старик в темном кафтане и сказал:

— Вы желаете видеть примечания достойные книги и манускрипты?

— Желал бы, государь мой!

— Я к вашим услугам.

И старик начал мне показывать редкие издания, древние рукописи, беспрестанно говоря, изъясняя. Я думал, что он библиотекарь: совсем нет; но тридцать лет служит там *живым каталогом* для любителей и читателей книг. Надзиратели Мазариновой коллегии дозволяют старику хозяйствовать в библиотеке и через то промышленять себе хлеб. Дайте ему эю или медную копейку: он возьмет их с равною благодарностию; не скажет: *мало!* не сморщит

¹ То есть чердаке.

² Писарем.

лба; также и за горсть серебряной монеты не поклонится вам ниже обыкновенного. Парижский нищий хочет иметь наружность благородного человека. Он берет подавание без стыда; но за грубое слово вызовет вас на поединок: у него есть шпага!

В *Галлерее примечания достойных людей* занял бы, конечно, не последнее место один здешний стоик, известный под именем *четырнадцати-луковошного* (de quatorze-oignons), истинный Диогенов человек, отказывающий себе во всем, что не есть в строгом смысле необходимо для жизни. Он промыслом *носильщик*;¹ все его имение состоит в большой корзине; днем разносит в ней по комиссии всякую всячину, а ночью спит, как в алькове, на городской площади под колоннадою. Сорок лет не переменил своего камзола; в случае нужды нашивает заплаты и таким образом от времени до времени возобновляет его, как Природа, по мнению медиков, возобновляет в разные периоды человеческое тело. 14 луковиц составляют его дневную пищу. Не думайте, чтобы он жил так по необходимости; нет, бедные просят у него милостыни и получают; другие берут займы — но парижский Диоген никогда не требует назад своих денег, ежедневно вырабатывая 3 и 4 ливра. Он умеет быть благодетелем и другом; говорит мало, но с выразительным лаконизмом. Многие ученые знакомы с ним. Химист Л. спросил у него однажды:

- Счастлив ли ты, добрый человек?
- Думаю, — отвечал наш философ.
- В чем состоят твои удовольствия?
- В работе, отдыхе, в беспечности.
- Прибавь еще: в благодеяниях. Я знаю, что ты делаешь много добра.
- Какого?
- Подаешь милостыню.
- Отдаю лишнее.
- Молишься ли богу?
- Благодарю его.
- За что?
- За себя.
- Ты не боишься смерти?
- Ни жизни, ни смерти.
- Читаешь книги?
- Не имею времени.
- Бывает ли тебе скучно?
- Я никогда не бываю празден.
- Не завидуешь никому?
- Я доволен собою.
- Ты истинный мудрец.

¹ Port-faix.

- Я человек.
- Желая твоей дружбы.
- Все люди друзья мои.
- Есть злые.
- Их не знаю.

К великому моему сожалению, я не видал сего нового Диогена. Он скрылся при начале революции. Иные думают, что его уже нет на свете. Вот доказательство, что в самом низком состоянии может родиться и жить *гений деятельной мудрости*.

Париж, мая ...

Нынешний день видел я две чудесные школы: училище природно-глухих и немых (которым посредством знаков сообщают самые трудные, сложные, метафизические идеи;¹ которые знают совершенно грамматику, разбирают все книги и сами пишут ясным, чистым, правильным слогом) и еще другую, не менее удивительную школу природно-слепых, которые умеют читать, знают музыку, географию, математику. Аббат л'Епе, основатель первого училища, умер; место его заступил аббат Сикар: он с великою ревностию посвящает себя искусству делать получеловеков совершенными людьми, заменяя в них, так сказать, новым органом слух и язык. Молодой швед, бывший вместе со мною у Сикара, написал на бумажке: «Вы, конечно, жалуете о л'Епе», — и подал ее одному из учеников, который тотчас, схватив перо, отвечал: «Без сомнения; он наш благодетель, разбудил в нас ум, дал нам мысли и другого учителя, подобного ему в искусстве и в ревности быть нашим просветителем, другом, вторым отцом». Многие из немых страстно любят чтение, так, что для сохранения их глаз надобно отнимать у них книги. С удивительною скоростью говорят они знаками между собою, выражая самые отвлеченные идеи; кажется, будто не могут нарадоваться своею новою способностью.

В другой школе, заведенной господином Гюа, слепые учатся арифметике, чтению, музыке и географии посредством *выпуклых* (en relief) знаков, букв, нот и ландкарт, разбираемых ими по осязанию. Ученик, шупая ряды литер и нот, перед ним лежащих, читает, поет; прикоснувшись рукою к ландкарте, говорит: «Здесь Париж, тут Москва; здесь Отагити, тут Филиппинские острова». Швед тихонько перевернул карту; слепой, дотронувшись до нее, сказал: «Опа лежит вверх ногами», и снова оборотил ее. Как у зрячих судят глаза о состоянии предметов, их взаимных отношениях, так у слепых осязание, удивительно тонкое, верно *соглашенное* с памятью и воображением. Например: если я, зажмурив глаза, ошупаю несколько предметов, то мне очень трудно будет вообра-

¹ См. третью часть «Писем русского путешественника».

зять из взаимное между собою отношение, от непривычки судить о вещах по осязанию; напротив того, слепые воображают по осязанию так же быстро, как мы по глазам. Надзиратель хотел сделать нам полное удовольствие и велел слепым ученикам своим петь гимн, сочиненный для них Обером. Прекрасные голоса! трогательная мелодия! милые слова! Мы заплакали. Надзиратель увидел слезы наши и велел ученикам повторить гимн. Вот перевод его:

Владыка мира и судьбины!
 Дай видеть нам луч солнца твоего
 Хотя на час, на миг единый,
 И новой тьмой для нас покрой его:
 Лишь только б мы узрели
 Благотворителей своих
 И милый образ их
 Навек в сердцах запечатлели.

Париж, июня ...

Госпожа Гло. сказала мне:

— Послезавтра будет у нас чтение. Аббат Д. привезет мысли о любви, сочинение сестры его, маркизы Л. C'est plein de profondeur, à ce qu'on dit.¹ Автор также будет у меня, но только *инкогнито*. Если хотите узнать остроумие и глубокомыслие здешних дам, то приходите.

Как не прийти? Я пожертвовал спектаклем и в 8 часов явился. Хозяйка сидела на вольтеровских креслах; вокруг ее пять или шесть кавалеров вели шумный разговор; на софе два аббата занимали свою любезностью трех дам; по углам комнаты было еще рассеяно несколько групп, так что общество состояло из 25 или 30 человек. В 9 часов хозяйка вызвала аббата Д. на сцену. Все окружили софу. Чтец вынул из кармана розовую тетрадку, сказал что-то забавное и начал... Жаль, что я не могу от слова до слова пересказать вам мысли автора! Однакож можете судить о достоинствах и тоне сочинения по следующим отрывкам, которые остались у меня в памяти:

«Любовь есть кризис, решительная минута жизни, с трепетом ожидаемая сердцем. Занавес поднимается... *Он! она!* восклицает сердце и теряет личность бытия своего. Тайнственный рок бросает жребий в урну: ты блажен! ты погиб!»

«Все можно описать в мире, все, кроме страстной, героической любви; она есть символ неба, который на земле не изъясняется. Перед нею исчезает всякое величие. Цесарь малодушен, Регул слаб... в сравнении с истинным любовником, который выше действия стихий, вне сферы мирских желаний, где обыкновенные

¹ Это полно глубины, как говорят (*ред.*).

души, как пылинки в вихре, носятся и вертятся. Дерзко назвать его полубогом — мы не язычники — но он не человек. Зороастр изображает бога в пламени; пламя добродетельной, героической любви достойнее всего окружать трон всевышнего».

«Монтань говорит: *друг мне мил для того, что он — он; я мил ему для того, что я — я*. Монтань говорит о любовниках — или слова его не имеют смысла».

«Прелести никогда не бывают основанием страсти; она рождается внезапно от соосязания двух нежных душ в одном взоре, в одном слове; она есть не что иное, как симпатия, соединение двух половин, которые в разлуке томилась».

«Только один раз сгорают вещи; только один раз любит сердце».

«В жизни чувствительных бывают три эпохи: *озидание, забвение, воспоминание*. Забвением называю *восторг любви*, который не может быть продолжителен, для того что мы не боги и земля не Олимп. Любовь оставляет по себе милое *воспоминание*, которое уже не есть *любовь*; но мы, кажется, все еще любим человека, для того что некогда обожали его. Нам приятно то место, где что-нибудь приятное с нами случилось».

«Человек, любящий славу, знатность, богатство, подобен тому, кто за неимением «Новой Элоизы» читает роман девицы Скюдери; за пеймением, говорю, или по дурному вкусу. На диком паросском мраморе нарастает иногда довольно приятная зелень; но можно ли сравнять ее с видом того мрамора, который представляет Фидиасову Венеру? Вот его истинное *определение* (*destination*), подобно как определение сердца есть *любовь*».

«Один великий музыкант сказал, что блаженство небесной жизни должно состоять в *гармонии*; нежные души уверены, что оно будет состоять в *любви*».

«Я не знаю, есть ли атеисты; но знаю, что любовники не могут быть атеистами. Взор с милого предмета невольно обращается на небо. Кто любил, тот понимает меня».

Слушатели при всякой фразе говорили: *bravo! c'est beau, c'est ingénieux, sublime*; ¹ а я думал: «Хорошо, изрядно, высокопарно, темно и совсем не женский язык!» Глаза мои искали автора. Черноволосая дама лет в 30 сидела всех далее от аббата, не слушала, развертывала книги, ноты на клавесине: нетрудно было угадать в ней сочинительницу. Хозяйка сказала:

— Я не знаю автора, а хотела бы поцеловать его! — сказала и с великою нежностью обняла маркизу Ж.

Все захопали. Через минуту поставили два стола; три дамы и пять кавалеров сели играть в карты; а другие, сидя и стоя, слушали аббата Д., который с великою строгостью судил главных французских авторов.

¹ Это прекрасно, это умно, возвышенно (*ред.*).

— Вольтер, — говорил он, — писал единственно для своего времени, искуснее всех других пользовался настоящим расположением умов; но достоинство его с переменою обстоятельств необходимо должно теряться. Будучи жаден к минутной славе, он боялся отделиться разумом от современников, боялся далеко опередить их, чтобы не сделаться темным, невразумительным; хотел за каждую строку *немедленного* награждения и для того искал единственно лучшего выражения, лучшего оборота для идей обыкновенных; брал из чужих магазинов, работал *начисто*, не занимаясь изобретением, не думая о собрании новых материалов. Он был совершенный эпикуреец в уме, не мыслил о потомстве, не верил бессмертию славы; не сажал кедров, а сеял одни цветы, из которых уже многие завяли в глазах наших, — а мы еще современники Вольтеровы! Что же будет через сто лет? Насмешки его над разными суеверными мнениями, над разными философскими системами могут ли производить сильное действие тогда, когда мнения и системы переменятся?

— А его трагедии? — сказал я.

— Они в *совершенстве* уступают Расиновым, — отвечал аббат: — в слоге их нет чистоты, плавности, сладкого красноречия творца «Федры» и «Андромахи»; но много смелых идей, которые теперь уже не кажутся смелыми; много так называемой философии, которая не принадлежит к существу драмы, а нравится партеру; много вкуса, а мало истинной чувствительности.

— Как! в «Заире» мало чувствительности?

— Да, я берусь доказать, что в «Заире» нет ни одной нежной мысли, которой бы не нашлось в самом обыкновенном романе. Достоинство Вольтерово состоит в одном выражении; но никогда не найдете в нем жарких излиятий чувства, сильных стремлений сердца, *de grands, de beaux élans de sensibilité*,¹ как, например, в «Федре».

— Итак, Расин великий трагик, по вашему мнению?

— Великий писатель, стихотворец, а не трагик. Нежная душа его никогда не могла принять в себя трагического ужаса. Он писал драматические элегии, а не трагедии; но в них много чувства, слог несравненный, красноречие живое, от полноты сердца; его можно назвать *совершенным*, и до конца вселенной самую лучшую похвалю французских стихов будет: *они похожи на Расиновы!* Но имея дар *цветить* нежное чувство, совсем не имел он таланта изображать *ужасное* или *героическое*. Расин не представил на сцене ни одного сильного характера; в трагедиях его слышим великие имена, а не видим ни одного великого человека, как, например, в Корнеле.

— Итак, вы отдаете венец Корнелю?

¹ Больших, прекрасных порывов чувств (*ред.*).

— Он достоин был родиться римлянином, изображал великое, как *свое собственное*; герои его — подлинные герои; но сильный слог его часто слабеет, унижается, оскорбляет вкус; а нежности Корнелевы почти всегда несносны.

— Что ж вы скажете о Кребильоне?

— То, что он ужаснее всех наших трагиков. Как Вольтер нравится, Расин пленяет, Корнель возвеличивает душу: так Кребильон пугает воображение; но варварский слог его недостоин Мельпомены и нашего времени. Корнель не имел для себя образцов в слоге, но часто служит сам образцом: Кребильон же имел дерзость после Расина писать грубыми, дикими стихами и доказал, что у него не было ни слуха, ни чувства для красот стихотворства. Иногда проскакивают в его трагедиях хорошие стихи, но как будто бы не нарочно; без его ведома и согласия.

«Какой страшный Аристарх! — думал я: — хорошо, что у нас в России нет таких грозных критиков».

Мы сели ужинать в 11 часов. Все говорили, но в памяти у меня ничего не осталось. Французские разговоры можно назвать беглым огнем: так быстро летят слова одно за другим, и внимание едва успевает следовать за ними.

Париж, июня ...

Я получил от госпожи Н. следующую записку: «Сестра моя, графиня Д., которую вы у меня видели, желает иметь подробное сведение о вашем отечестве. Нынешние обстоятельства Франции таковы, что всякий из нас должен готовить себе убежище где-нибудь в другой земле. Прошу отвечать на прилагаемые вопросы: чем меня обяжете». Я развернул большой лист, на котором под вопросами оставлено было место для ответов. Вот нечто для примера — рассмейтесь!

В о п р о с. Можно ли человеку с нежным здоровьем сносить жестокость вашего климата?

О т в е т. В России терпят от холода менее, нежели в Провансе. В теплых комнатах, в теплых шубах мы смеемся над трескучим морозом. В декабре, в январе, когда во Франции небо мрачно и дождь льется рекою, красавицы наши при ярком свете солнца катаются в санях по снежным бриллиантам, и розы цветут на их лилейных щеках. Ни в какое время года россиянки не бывают столь прелестны, как зимою; действие холода свежит их лица, и всякая, входя с надворья в комнату, кажется Флорою.

В о п р о с. Какое время в году бывает у вас приятно?

О т в е т. Все четыре; но нигде весна не имеет столько прелестей, как в России. Белая одежда зимы наконец утомляет зрение; душа желает перемены, и звонкий голос жаворонка раздается на высоте воздушной. Сердца трепещут от удовольствия.

Солнце быстрым действием лучей своих растопляет снежные холмы; вода шумит с гор, и поселянин, как мореплаватель при конце океана, радостно восклицает: *земля!* Реки рвут на себе ледяные оковы, пышно выливаются из берегов, и самый маленький ручеек кажется величественным сыном моря. Бледные луга, упитанные благотворною влагою, пушатся свежою травкою и красятся лазоревыми цветами. Березовые рощи зеленеют; за ними и дремучие леса, при громком гимне веселых птичек, одеваются листьями, и зефир всюду разносит благоухание ароматной черемухи. В ваших климатах весна наступает медленно, едва приметным образом: у нас мгновенно слетает с неба, и глаз не успевает следовать за ее быстрыми действиями. Ваша Природа кажется изнуренною, слабою: наша имеет всю пламенную живость юности; едва пробуждаясь от зимнего сна, является во всем блеске красоты своей; и что у вас зреет несколько недель, то у нас в несколько дней доходит до возможного растительного совершенства. Луга ваши желтеют в середине лета: у нас зелены до самой зимы. В ясные осенние дни мы наслаждаемся Природою, как другом, с которым нам должно расстаться на долгое время, — и тем живее бывает наше удовольствие. Наступает зима — и сельский житель спешит в городе пользоваться обществом.

В о п р о с. Какие приятности имеет ваша общественная жизнь?

О т в е т. Все те, которыми вы наслаждаетесь: спектакли, балы, ужины, карты и любезность вашего пола.

В о п р о с. Любят ли иностранцев в России? хорошо ли их принимают?

О т в е т. Гостеприимство есть добродетель русских. Мы же благодарны иностранцам за просвещение, за множество умных идей и приятных чувств, которые были неизвестны предкам нашим до связи с другими европейскими землями. Осыпая гостей ласками, мы любим им доказывать, что ученики едва ли уступают учителям в искусстве жить и с людьми обходиться.

В о п р о с. Уважаете ли вы женщин?

О т в е т. У нас женщина на троне. Слава и любовь, лавр и роза есть девиз наших рыцарей.

Угадайте, какой вопрос теперь следует?.. *Много ли дичи в России?* — «спрашивает муж мой (прибавляет графиня), страстный охотник стрелять».

Я отвечал так, что провинциальный граф должен закричать: *ружьей! лошадей! в Россию!*

Одним словом, если и муж и жена теперь не прискачут к вам в Москву, то не моя вина!

Париж, июня ...

Наконец я решился отказаться на несколько времени от спектаклей, чтобы осмотреть любопытные парижские окрестности. С чего начать? Без всякого сомнения, с Версаля.

В 9 часов утра наш посольский священник, г. К., русский артист с великим талантом, и я пришли на берег Сены; сели на галют и поплыли мимо Елисейских Полей, Булонского леса, многих прелестных загородных домов и садов. На левой стороне возвышается замок Мёдон с великолепною своею террасою (длиною во 150 сажень) и с густым парком. Он принадлежал откупщику Сервиеню, министру Лувуа, Лудовику XIV и дофину, который умер там оспою в 1711 году. В местечке Мёдон жил некогда Франциск Рабле, автор романов «Гаргантюа и Пантагрюэль», наполненных остроумными замыслами, гадкими описаниями, темными аллегориями и нелепостию. Шестой-надесять век удивлялся его знаниям, уму, шутовству. Быв несколько времени худым монахом, Рабле сделался хорошим доктором, выпросил у папы *отпускную* и прославил Монпельерский университет своими лекциями; ¹ ездил в Рим пошутить над туфлем своего благодетеля, взял на себя должность приходского священника в Мёдоне, усердно врачевал тело и душу своей паствы и писал романы, в которых простосердечный Лафонтен находил более ума, нежели в философских трактатах, и которые, без всякого сомнения, подали Стерню мысль сочинить «Тристрама Шанди». Рабле жил и умер шутя. За несколько минут до смерти своей сказал он: «Занавес опускается, комедия вся. Je vais chercher un grand peut-être». ² Духовная его состояла в следующих словах: *ничего не имею; много должен; остальное бедным.* — В деревеньке Севр, известной в целом свете по своей фарфоровой фабрике (с которою ни саксонская, ни берлинская не может сравняться в чистоте и в живописи), мы позавтракали в кофейном доме и отправились в Версалию пешком; видели на обеих сторонах дороги прекрасные дома, сады, трактиры и нечувствительно вошли в версальские аллеи, *avenues de Versailles*, где открылся нам дворец...

Лудовик XIV хотел сделать чудо; велел — и среди пустыни, дикой, песчаной, явились Темпейские долины и дворец, которому в Европе нет подобного великолепием.

Три двойные аллеи, одна из Парижа, другая из Со, третья из Сен-Клу, сходятся на площади, называемой *Place d'armes*, где возвышаются два огромные здания. Радуйтесь, если вы любите лошадей: это конюшни. Впереди прекрасная железная решетка; а по концам две группы, которые изображают победы Франции над Гишпаниею и немецкою империею. Новая пристройка с левой стороны, для королевской гвардии, имеет вид палаток: хорошо само по себе, но разрушает общую симметрию. За

¹ Так, что по сие время в память ему на всякого повопринимаемого доктора в Монпелье надевают Раблеву мантию, которая передко напоминает басню *осла во львиной коже*.

² Я отправляюсь искать великое «может быть» (*ред.*).

площадью передний двор (avant-cour), или двор министров; у ворот стоят две группы, представляющие Изобилие и Мир, два главные предмета дел министерских. Прежде всего пошли мы в придворную церковь, о которой Вольтер упоминает в описании храма Вкуса:

Il n'a rien des défauts pompeux
De la chapelle de Versaille,
Ce colifichet fastueux
Qui du peuple éblouit les yeux,
Et dont le connoisseur se raille. ¹

Однакож многие знатоки не так думают и, вопреки фернейскому насмешнику, находят здание достойным похвалы как в гармонии целого, так и в частных украшениях. В церкви служили обедню, но никого не было, кроме монахов. Резная работа и живопись прекрасны; везде богатство, рассыпанное с блеском и со вкусом. Между многими хорошими картинами заметил я Жуветову, на которой изображен св. Лудовик, герой и христианин; победив неверных в Египте, он печется о раненых и служит им. На одном из алтарей показывают как великую драгоценность распятие из слоновой кости вышиною в 4 фута: дар Августа II, короля польского. Из церкви прошли мы в *Геркулесову залу*, которая огромна своим пространством и великолепна своим украшением. Тут возвышаются 20 мраморных коринфических пилястров с жарко вызолоченными капителями и базами; но главная красота залы есть плафон, расписанный на полотне масляными красками живописцем Лемуаном и представляющий Геркулесово *боготворение* (апофеозу): самая величайшая картина в свете! Расположение, фигуры, выразительность служат доказательством Лемуанова гения. Самые лучшие живописцы ему удивляются. Тут же стоят две славные Веронезовы картины: «Спаситель» и «Ревекка». Первая была собственностью сервитских монахов в Венеции, которые ни за что не хотели продать ее Лудовику XIV; но сенат, узнав желание короля, отнял у монахов картину и подарил ему. Даже и рамы достойны того, чтобы посмотреть на них несколько минут: прекрасная резьба! — Залы *Изобилия*, *Венерина*, *Дианина*, *Марсова* также всего более достойны внимания по своим живописным плафонам. Во второй заметил я древнюю статую земледельца и диктатора Цинцинната; в третьей бюст Лудовика XIV; а в четвертой удивлялись мы Лебрюневой «Дариевой фамилии», признанной всеми знатоками за лучшую из картин его. Он писал ее в Фонтенебло; король всякий день ходил смотреть

¹ У него нет ничего из пышных недостатков капеллы Версаля, этой парадной безделушки, которая ослепляет глаза народа и над которой смеются знатоки (*ред.*).

его работу и восхищался ею — что имело влияние на кисть художника. Рассказывают, что один итальянский прелат не мог от зависти видеть этой картины и всегда, будучи во дворце, проходил мимо ее зажмурив глаза. Подле Лебрюновой стоит Веронезова картина «Странники», на которой живописец изобразил все свое семейство. В *Меркуриевой зале* были прежде две Рафаэлевые картины: «Архангел Михаил» и «Святая фамилия»; но их, к нашему сожалению, зачем-то сняли. Тут с любопытством рассматривали мы часы, сделанные в начале нынешнего века Мораном, который, подобно нашему Кульбину, никогда не бывал часовщиком. Всякий час два петуха поют, махая крыльями; в ту же секунду выходят из маленькой дверцы две бронзовые фигуры с тимпаном, по которому два амура бьют всякую четверть стальным молоточком; в середине декорации является статуя Лудовика XIV, а сверху на облаке спускается богиня побед и держит корону над его головою; внутри играет музыка — и наконец вдруг все исчезает. — В *Тронной* под великолепным балдахинном стоит престол.

— Вот первый трон в свете! — сказал человек, который водил нас по дворцу: — *был*, разумею; но если бог не оставил французов, то солнце Лудовика XIV опять воссияет здесь во всей лучезарности!

Через *залу войны*, Salon de la Guerre, где кисть Лебрюнева везде изобразила победы Франции, вошли мы в галерею, которая недаром названа большою: она длиною в 37 сажен, вышиною 38. Против окон сделаны зеркальные аркады, в которых самым прелестным образом изображается сад, зелень, игра воды. На плафоне представлена Лебрюнем в 27 аллегорических картинах история Лудовика в первые семь лет его царствования. Четыре мраморные колонны с осмью пиластрами окружают вход с обеих сторон галереи; между пиластрами на мраморных подножиях стоят древние статуи: Бахус, Венера (найденная в городе Арле), Весталка и муза Урания; а в середине в четырех нишах Германик, изваянный славным афинским художником Алькаменом; две Венеры и Диана. — В *зале мира* живопись представляет Францию, сидящую на лазоревом шаре; Слава венчает ее; Амуры и Мир соединяют голубей. На другой картине Лудовик подает масличную ветвь Европе. — Из *мирной залы* вход в королевины комнаты... Я вспомнил 4 октября, ту ужасную ночь, в которую прекрасная Мария, слыша у дверей своих грозный крик парижских варваров и стук оружия, спешила не одетая, с распущенными волосами, укрыться в объятиях супруга от злобы тигров... Не скоро мог я обратить глаза на украшение и живопись комнат. Тут все картины представляют славу и торжество женщин. Клеопатра подле Антония, готового броситься к ногам ее; царица Родопа смотрит на пирамиду, сооруженную красоте ее; бессмерт-

ная Сафо играет на лире; Аспазия говорит с афинскими мудрецами; Пенелопа распускает ковер; невинные девы приносят Юпитеру жертву на горе Иде — и славнейшие царицы древности. — В королевских внутренних комнатах заметили мы Рафаэлева Иоанна, несколько Веронезовых, Бассановых картин, портреты Катерины Валуа, Марии Медицис, Франциска I (Рубенсовой, Вандиковой, Тициановой кисти), два древние бюста, Сципиона Африканского (бронзовый, с серебряными глазами) и Александра Великого, порфиновый; большие астрономические часы, которые бьют секунды, показывают месяц, число, день недели, действие холода и тепла на металлы и круговращение планет с такою верностию, что во сто лет не могут сделать ни малейшей розницы с астрономическими таблицами. Лудовик XIV спал на высокой постеле, с которой он видел сквозь прямую аллею весь Париж перед собою. В маленьких комнатах подле королевского кабинета хранятся драгоценные гравированные древние и новые камни; между ими всего любопытнее так называемая *печать Микеля Анджели*, на которой изображено собирание винограда. — Осмотрев театр, достойный называться королевским, пошли мы искать обеда.

Версалия без двора как тело без души; осиротела, уныла. Где прежде всякую минуту стучали кареты, теснился народ, там ныне едва встретится человек: мертвая тишина и скука! Всякий житель казался мне печальным. В самом лучшем трактире заставили нас два часа ждать обеда. Хозяйка в оправдание свое говорила:

— Что делать? Худые времена, государи мои! несчастные времена! Все терпят: и вы потерпите!

Утолив с нуждою голод свой, торопились мы видеть сады и парк, которые в окружности составляют верст пятьдесят.

Ничто не может сравниться с великолепным видом дворца из саду; фасада его, вместе с флигелями, простирается на 300 сажен. Тут рассеяны все красоты, все богатства архитектуры и ваения. Никто из царей земных, ни самый роскошный Соломон не имел такого жилища. Надобно видеть: описать невозможно. Исчислять колонны, статуи, вазы, трофеи не есть описывать. Огромность, совершенная гармония частей, действие целого: вот чего и самому живописцу нельзя изобразить кистию!

Пойдем в сады, творение Ленотра, которого смелый гений везде сажал на трон гордое Искусство, а смиренную Натуру, как бедную невольницу, повергал к ногам его.

К великолепию пари осуждены;
Мы требуем от них огромности блестящей,
Во изумление паш разум приводящей;
Как солнцем, ею быть хотим ослеплены.

Итак, не ищите природы в садах версальских; но здесь на всяком шагу искусство пленяет взоры; здесь царство кристальных вод, богини Скульптуры и Флоры. Партеры, цветники, пруды, фонтаны, бассейны, лесочки и между ими бесчисленное множество статуй, групп, ваз, одна другой лучше, не привлекают, а развлекают внимание, так что вы не знаете, на что смотреть. Вот точно действие, которое хотели произвести великий царь и великий художник! Последний, без сомнения, не думал, чтобы любопытные зрители разбирали всякую красоту в особенности: сколько времени надобно для такого дела? Мало и года! Нет, он воображал, что зритель, окинув глазами часть несметных богатств и воскликнув в первую минуту: *великолепно!* умолкнет от изумления и не посмеет более хвалить. Я то и сделал; в чувстве моего ничтожества передвигал ноги, переносил взоры от предмета к предмету, находил все совершенным и смиренно удивлялся. Лудовик XIV с Ленотром запечатали мне воображение, которое не может тут ничего придумать, ничего представить иначе. К славе художника вспомнил я Тассово описание Армидиных садов: как оно бедно в сравнении с версальским! Там эстамп, здесь картина! А сколько раз было сказано, что художество не угоняется за поэзией? в изображении *сердца для сердца*, конечно; но во всем *картинном для глаз* поэт — ученик артиста и должен трепетать, когда художник берет в руки его сочинение.

В 1775 году версальский сад претерпел страшное опустошение: безжалостная секира подрубила все густые высокие деревья, для того (говорят) что они начинали стариться и походили не на лесочки, а на лес. Стихотворец в таких случаях не принимает никаких извинений, и Делиль в гармонических стихах изъявляет свое негодование:

O Versailles, ô regrets, ô bosquets ravissans,
 Chef-d'oeuvre d'un grand Roi, de Lenotre et du tems!
 La hache est à vos pieds, et votre heur est venuel¹

«Исчезли, — продолжает он, — исчезли ветвистые старцы, которых величественные главы осеняли священную главу царя великого! Увы! где прекрасные рощи, в которых веселились Грации?.. Амур! Амур! где прелестные сени, в которых нежно томилась гордая Монтеспан и где милая чувствительная Лавальер не нарочно открыла тайну своего сердца счастливому любовнику?

¹ Версаль, столь гордая высокими лесами,

О чудо славного царя, Ленотра, лет!

Топор в твоих лесах, последний час их бьет!

(«Сады или искусство украшать сельские виды». Соч. Делиля. Перевел А. Восйков. СПб., 1816) (ред.).

Все исчезло, и пернатые Орфеи, уstraшенные стуком разрушения, с горестию лежат из мирной обители, где столько лет *в присутствии царей* пели они любовь свою! Боги, которыми ваятельное художество населило сии тенистые храмы; боги, вдруг лишенные зеленого покрова, тоскуют, и самая Венера в первый раз устыдилась наготы своей!.. Растите, осеняйтесь, юные деревья; возвратите нам птичек!»...

Юные деревья послушались стихотворца, разрослись, осенились — Венера не стыдится уже наготы своей — птички возвратились из горестной ссылки и снова поют любовь; но, ах! не *в присутствии царей!* Никто не слушает теперь их песен, кроме некоторых любопытных иностранцев, приходящих иногда видеть сад версальский!

Одно название статуй, которыми украшаются партеры, фонтаны, лесочки, аллеи, заняло бы несколько страниц; тут собраны лучшие произведения тридцати лучших ваятелей. Упомяну только о древнем колоссальном Юпитере славного греческого художника Мирона, сделанном из паросского мрамора. Марк-Антоний нашел его в Самосе; Август поставил в Капитолии; Германик, Траян, Марк-Аврелий приносили ему жертвы. Маргарита, герцогиня Комаринская, подарила его министру Карла V Гранвелю, который украсил им безансонский сад свой. Наконец, по воле Людовика XIV, самосский колоссальный Юпитер шагнул в Версалию. Я поклонился в нем не богу, а великой древности и смотрел на него с особенным удовольствием. Время и странствия лишили его ног; художник Друильи приделал их; но мне казалось, что древний Зевс нетвердо стоит на новых ногах.

В большом зверинце в красивых павильонах за железными решетками видел я множество зверей: львов, тигров, барсов и (что всего любопытнее) славного риноцера, или носорога. Он менее слона, но гораздо более всех других животных. Страшно смотреть на него и в клетке: каково же встретиться с ним в пустыне африканской? Впрочем, звери имеют причину не любить нас. Чего мы с ними не делаем? Маленькая двуногая тварь садится верхом на огромного слона, стучит ему молотом в голову и правит им, как овечкою; величественного льва, как суслика, запирает в клетку; оковав яростного тигра, дразнит его палкою и смеется над его злобою; берет за рог носорога и ведет из Эфиопии в Версалию. Многих животных называют хитрыми; но что их хитрость против нашей?

Людовик XIV хотя чрезмерно любил пышность, однакож иногда скучал ею и в таком случае из огромного дворца переселялся на несколько дней в Трианон, небольшой увеселительный дом, построенный в версальском парке, в один этаж, украшенный живописью, убранный со вкусом и довольно просто. Перед домом цветники, бассейны, мраморные группы.

Но мы спешили видеть *маленький Трианон*, о котором говорит Делиль:

Semblable à son auguste et jeune Deité,
Trianon joint la grâce avec la majesté.¹

Приятные лесочки с английскими цветниками окружают уединенный домик, Любезностию посвященный Любезности и тихим удовольствиям избранного общества. Тут не королева, а только прекрасная Мария как милая хозяйка угощала друзей своих; тут в низенькой галлерее, закрываемой от глаз густою зеленью, бывали самые приятнейшие ужины, концерты, пляски граций. Софы и креслы обиты собственною работою Марии-Антуанеты; розы, ею вышитые, казались мне прелестнее всех роз Натуры. Сад Трианона есть совершенство садов английских; нигде нет холодной симметрии; везде приятный беспорядок, милая простота и красоты сельские. Везде свободно играют воды, и цветущие берега их ждут, кажется, пастушки. Прелестный островок является взору: там, в дикой густоте леска, возвышается храм Любви; там искусный резец Бушардонов изобразил Амура во всей его любезности. Нежный бог ласковым взором своим приветствует входящих; в чертах лица его не видно опасной хитрости, коварного лукавства. Художник представил любовь невинную и счастливую. — Иду далее; вижу маленькие холмики, обработанные поля, луга, стада, хижинки, дикий грот. После величественных, утомительных предметов искусства нахожу Природу; снова нахожу самого себя, свое сердце и воображение; дышу легко, свободно; наслаждаюсь тихим вечером; радуюсь заходящим солнцем... Мне хотелось бы остановить, удержать его на лазурном своде, чтобы долее быть в прелестном Трианоне. Ночь наступает... Простите, места любезные! — Возвращаюсь в Париж, бросаюсь на постелью и говорю самому себе: «Я не видал ничего великолепнее Версальского дворца с парком и милее Трианона с его сельскими красотою».

Париж, июня ...

Я был нынешний день у Вальяна, славного африканского путешественника; не застал хозяина дома, однакож видел его кабинет и познакомился с хозяйкою, приятною женщиною и до крайности говорливою. Вальян хотел с мыса Доброй Надежды пробраться через пустыни африканские до самого Египта: глубокие реки, неизмеримые песчаные степи, где вся природа мертва и бездушна, заставили его возвратиться назад; но он во внутренности Африки был далее других путешественников. Весь Париж читает

¹ Похожий на свое царственное и юное божество, Трианон соединяет изящество с величием (*ред.*).

теперь описание его романического странствия, в котором автор изображает себя маленьким Тезеем, сражается с чудовищами и стреляет слонов, как зайцев. Парижские дамы говорят: «Il est vaillant, ce monsieur de Vaillant!»¹. Желая быть вторым Руссо, он ужасным образом бранит просвещение, хвалит диких, находит в Кафрии милую для своего сердца, привлекательную Нерину; гоняется за нею, как Аполлон за Дафною, прячет ее передник, когда она в реке купается; не может нарадоваться невинностью смуглой красавицы; клянется самому себе не употреблять ее во зло и хранит клятву. Вальян вывез из Африки несколько звериных кож, пернатых чучел, готтентотских орудий и материю для двух больших томов. Слог его чист, выразителен, иногда живописен; и госпожа Вальян с гордым видом объявила мне, что в последние 15 лет французская литература произвела только две книги для бессмертия: «Анахарсиса» и путешествие мужа ее.

— Оно прекрасно, — сказал я: — но читая его, удивляюсь, как можно оставить милое семейство, отечество, все приятные удобства европейской жизни и скитаться за океаном по неизвестным степям, чтобы вернее других описать какую-нибудь птицу. Теперь, видя вас, еще более удивляюсь.

— Видя меня?

— Иметь такую любезную супругу, и добровольно с нею расстаться!

— Государь мой! любопытство имеет своих мучеников. Мы, женщины, созданы для неподвижности, а вы все калмыки — любите скитаться, искать бог знает чего и не думать о нашем беспокойстве.

Я старался уверить госпожу Вальян, что у нас в России мужья гораздо нежнее, не любят расставаться с милыми женами и твердят пословицу: *Дон, Дон, а лучше всего дом!* — Она дозволила мне прийти к ней в другой раз, чтобы познакомиться с ее мужем, который опять собирается ехать в Африку!

Деревня Отэль, июня ...

Я пришел сюда для того, чтобы видеть дом, в котором Буало писал сатиры свои, веселился с друзьями и где Мольер спас жизнь всех лучших французских писателей тогдашнего времени. Помните ли этот забавный анекдот? Хозяин, Расин, Лафонтен, Шапель, Мольер ужинали, пили, смеялись и наконец вздумали *гераклитствовать*, омакивать житейские горести, проклинать судьбу, находя, по словам одного греческого софиста, что первое счастье есть... не родиться, а второе умереть как можно скорее. Буало, не теряя времени, предложил друзьям своим броситься в реку. Сена была недалеко, и дети Аполлоновы, разгоряченные

¹ Он храбр, этот мосье Вайан! (Vailland — храбрый) (ред.).

вином, вскочили, хотели бежать, лететь в объятия смерти. Один благоразумный Мольер не встал с места и сказал им:

— Друзья! намерение ваше похвально; но теперь ночь: никто не увидит героического конца поэтов. Дождемся Феба, отца нашего; и тогда весь Париж будет свидетелем славной смерти детей его!

Такая счастливая мысль всем полюбилась, и Шапель, наливая рюмку, говорил:

— Правда, правда; утопимся завтра, а теперь дождем оставшее вино!

По смерти стихотворца Буало жил в его доме придворный медик Жандрон. Вольтер, будучи у него в гостях, написал карандашом на стене:

C'est ici le vrai Parnasse
Des vrais enfants d'Apollon:
Sous le nom de Boileau, ces lieux virent Horace,
Esculape y paroît sous celui de Gendron.¹

Теперь этот дом принадлежит господину... забыл имя.

Деревенка Отель славилась некогда хорошим вином своим; но слава ее прошла: нынешнее отельское вино никуда не годится. Я не мог выпить рюмки. — Смеркается; спешу в город.

Сен-Дени.

Вселенная любовь иль страх,
Цари! Что вы по смерти?.. прах!

То есть я был в аббатстве св. Дионисия, на кладбище французских царей, которые все в глубокий тишине лежат друг подле друга: колено Мероуево, Карлово, Капетово, Валуа и Бурбонское. Я напрасно искал гробницы Ярославовой дочери, прекрасной Анны, супруги Генриха I, которая по смерти его вышла за графа Креки и скончала дни свои в Жанлисском монастыре, ею основанном; другие же историки думают, что она возвратилась в Россию. Как бы то ни было, но ее кенотафа нет подле монумента Генриха I. Вообразите чувство юной россиянки, которая, оставляя свою милую отчизну и семейство, едет в чужую дальнюю землю, как в темный лес, не зная там никого, не разумея языка, — чтоб быть супругою неизвестного ей человека!.. Следственно, и тогда приносились горестные жертвы политике! Анна должна была переменить закон во время самых жарких раздоров Восточной

¹ Это здесь истинный Парнас.

Истинные дети Аполлона!

Под именем Буало эти места знали Горация, Эскулап является здесь под именем Жандрон (*ред.*).

и Западной церкви: что очень удивительно. Генрих I заслуживал быть ее супругом; он славился мужеством и другими царскими достоинствами. Любовь заключила второй брачный союз ее; но Анна недолго наслаждалась счастьем любви: граф Креки был убит на поединке одним британским рыцарем...

Париж, июня ...

Я был в Марли; видел чертог солнца ¹ и 12 павильонов, изображающих 12 знаков Зодиака; видел Олимп, долины Темпейские, сады Альциновы; одним словом, вторую Версалию, с некоторыми особливими оттенками. Вместо подробного описания вот вам худой перевод Делилевых прекрасных стихов, в которых он прославляет Марли:

Там все велико, все прелестно,
Искусство славно и чудесно;
Там истинный Армидин сад
Или великого героя
Достойный мирный вертоград,
Где он в объятиях покоя
Еще желает *побездять*
Натуру смелыми трудами
И каждый шаг свой означать
Могуществом и чудесами,
Едва понятными уму.
Стихии творческой Природы
Подвластны кажутся ему;
В его руках земля и воды.
Там храмы в рощах Ореад
Под кровом зелени блистают;
Там бронзы дышат, говорят.
Там реки ток свой пресекают
И, вверх стремяся, упадают
Жемчужным, радужным дождем,
Лучами солнца озлащенным;
Потом извилистым путем,
Древами темно осененным,
Едва журчат среди лугов.
Там в тихой мрачности лесов
Везде встречаются Сильваны.
Подруги скромные Дианы.

¹ Солнце, как известно, было девизом Лудовика XIV. Королевский павильон, построенный среди двенадцати других, называется *солнечным*.

Там каждый мрамор — бог, лосочек всякий — храм.¹
 Герой, известный всем странам,
 На лаврах славы отдыхая
 И будто весь Олимп сзывая
 К себе на велепный пир,
 С богами торжествует мир.

Надобно быть механиком, чтобы понять чудесность марлийской водяной машины: ее горизонтальные и вертикальные движения, действие насосов и проч. Дело состоит в том, что она берет воду из реки Сены, поднимает ее вверх, вливает в трубы, проведенные в Марли и в Трианон. Изобретатель сей машины не знал грамоте...

Как обогащены искусством все места вокруг Парижа! Часто хожу на гору Валериянскую и там, сидя подле уединенной часовни, смотрю на великолепные окрестности великолепного города.

Я не забыл Эрмитажа, сельского дома госпожи д'Эпине, в котором жил Руссо и где сочинена «Новая Элоиза»; где автор читал ее своей простодушной Терезе, которая, не умея счесть до ста, умела чувствовать красоты бессмертного романа и плакать. Дом маленький, на пригорке; вокруг сельские равнины.

Был и в Монморанси, где написан «Эмиль»; был и в Пасси, где жил Франклин; был и в Бельвю, достойном своего имени;² и в Сен-Клу, где бьет славнейший искусственный каскад в Европе; был я и в разных других городках, деревеньках, замках, почему-нибудь достойных любопытства.

Париж, июня ...

Наемный слуга мой Бидер, который (за 24 су в день) всюду меня провожает, *зная* (по словам его) *Париж, как свой чердак*, давно уже приступал ко мне, чтобы я шел смотреть *царскую кладовую*, *Garde-meuble du Roi*.

— Стыдно, государь мой, стыдно! Быть 3 месяца в Париже и не видеть еще самой любопытнейшей вещи! Что вы здесь делаете? бегаєте по улицам, по театрам, по лесам, вокруг города! Вот вам шляпа, трость; надобно непременно итти в кладовую.

Я надел шляпу, взял трость и пошел на место Людовика XV в *Garde-meuble*, большое здание с колоннами.

В самом деле, я видел там множество редких вещей, серебра и золота, драгоценных камней, ваз и всякого роду оружия. Любопытнее всего: 1) круглый серебряный щит около трех футов в диаметре, найденный в Роне близ Лиона, представляющий (*en bas-*

¹ Я удержал в этом слове стрех моту срышала.

² *Бельвю* значат прекрасный вид.

relief) сражение конницы и подаренный, как думают, гишпанским народом Сципиону Африканскому; 2) стальные латы Франциска I с резною работою по рисунку Юлия Романа, такие легкие, что их можно поднять одною рукою (он в них сражался при Павии, где французы *все потеряли, кроме чести*; tout est perdu hormis l'honneur, писал Франциск к матери, будучи в плену у неприятеля со всеми своими генералами); 3) латы Генриха II (в которых он был смертельно ранен на турнире графом Монгомерри) и Людовика XIV, подарок Венецианской республики; 4) два меча Генриха IV; 5) две пушки с серебряными лафетами, присланные сиамским царем Людовику XIV в доказательство, что у него есть артиллерия; ¹ 6) длинное вызолоченное копьё папы Павла V, который он хотел заколоть Венецианскую республику; 7) золотая корзинка, осыпанная бриллиантами и рубинами; 8) *золотая церковная утварь* кардинала Ришелье, также осыпанная драгоценными камнями; 9) богатое седло, подаренное султаном Людовику XV, — и, наконец, шелковые картинные обои, за которые Франциск I заплатил около 100 000 талеров фламандским художникам и на которых вытканы сражения Сципионовы, *деяния апостольские* и басни Песиши, по рисунку Юлия Романа и Рафаэля. Тут же хранятся и лучшие произведения гобелинской фабрики, заведенной в Париже Кольбертом: работа удивительная правильности рисунка, блеском красок, нежными оттенками шелков, так что ткань не уступает в ней живописи. — Слуга мой Бидер беспрестанно говорил: «Eh bien, monsieur, eh bien, qu'en dites-vous?» ²

Теперь скажу вам несколько слов о Бидере. Он родом немец, но забыл свой природный язык, живет со мною в одной отели, только на чердаке; беден, как Ир, а честен, как Сократ; покупает мне все дешево и бранит меня, если где-нибудь заплачу лишнее. Однажды, всходя на лестницу, я выронил завернутые в бумажку пять луидоров: он шел за мною, поднял их и принес ко мне.

— Ты самый честный слуга, Бидер! ³ — говорю ему.

— Il faut bien que je le sois, monsieur, pour ne pas dementir mon nom, ⁴ — отвечает мой немец.

Не помню, за что я сказал ему грубость. Бидер отступил два шага назад...

— Monsieur, de choses pareilles ne se disent point en bon françois. Je suis trop sensible pour le souffrir. ⁵

¹ Ему сказали, что Людовик не считает его опасным своим неприятелем, полагая, что у него нет пушек.

² Ну как, сударь, ну как, что вы об этом скажете? (Ред.)

³ Бидер по-немецки значит *добрый* или *честный*.

⁴ Мне следует им быть, сударь, чтобы оправдать свое имя (ред.).

⁵ Сударь, подобные вещи нетерпимы в хорошем французском языке. Я слишком чувствителен, чтобы это снести (ред.).

Я рассмеялся.

— Riez, monsieur: je rirai avec vous; mais point de grossieretés, je vous en prie! ¹

Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист газет:

— Читайте!

Я взял и прочитал следующее: «Сего мая 28 дня, в 5 часов утра, в улице Сен-Мери застрелился слуга господина N. Прибежали на выстрел, отворили дверь... несчастный плавал в крови своей; подле него лежал пистолет; на стене было написано: quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est un opprobre, et la mort un devoir; ² а на дверях: aujourd'hui mon tour, demain le tien. ³ Между разбросанными по столу бумагами нашлись стихи, разные философические мысли и завещание. Из первых видно, что сей молодой человек знал наизусть опасные произведения новых философов; вместо утешения извлекал из каждой мысли яд для души своей, не образованной воспитанием для чтения таких книг, и сделался жертвою мечтательных умствований. Он ненавидел свое низкое состояние и в самом деле был выше его как разумом, так и нежным чувством; целые ночи просиживал за книгами и покупал свечи на свои деньги, думая, что строгая честность не позволяла ему тратить на то господских. В завещании говорит, что он *сын любви*, и весьма трогательно описывает нежность *второй матери* своей, добродушной кормилицы; отказывает ей 130 ливров, отечеству (en don patriotique) 100, бедным 48, заключенным в темнице за долги 48, луидор тем, которые возьмут на себя труд продать земле прах его, и три луидора другу своему, слуге немцу, живущему в Британской отели. Комисар нашел в его ларчике более 400 ливров».

— Три луидора отказаны мне, — сказал чувствительный Бидер: — он был с ребячества другом моим и редким молодым человеком; вместо того чтобы шататься по трактирам, ходил всякий день на несколько часов в *кабинет чтения* и всякое воскресенье в театр. Нередко со слезами говаривал мне: «Генрих! будем благодарны сердцем! заслужим собственное свое почтение!» Ах! я не могу пересказать вам всех речей его: Жак говаривал, как самая умная книга; а я, бедняк, не умею сказать двух красивых слов. С некоторого времени он стал задумчив, ходил повеся голову и любил рассуждать со мною о смерти. Дней шесть мы не видались: вчера узнал я, что Жак наскучил жить и что в свете не стало одного доброго человека.

¹ Смейтесь, сударь: я буду смеяться с вами; но не нужно грубостей, я вас прошу! (ред.)

² Когда человек ничто и живет без надежды, жизнь — это позор, а смерть есть долг (ред.).

³ Сегодня мой черед, а завтра твой (ред.).

Бидер плакал, как ребенок. Я сам был сердечно тронут. Бедный Жак!.. Гибельные следствия полуфилософии! Drink deep or taste not, пей много или не пей ни капли, — сказал англичанин Поэ. Эпиктет был слугою, но не убил себя.

Эрменонвиль.

Верст 30 от Парижа до Эрменонвиля: там Руссо, жертва страстей, чувствительности, пылкого воображения, злобы людей и своей подозрительности, заключил бурный день жизни тихим, ясным вечером; там последнее дело его было — благодеяние, последнее слово — хвала Природе; там в мирной сени высоких дерев, дружбою насажденных, покоится прах его... Туда спешат добрые странники, видеть места, освященные невидимым присутствием гения, — ходить по тропинкам, на которых след Руссо-вой ноги изображался, — дышать тем воздухом, которым некогда он дышал, — и нежною слезою меланхолии оросить его гробницу.

Эрменонвиль был прежде затемняем дремучим лесом, окружен болотами, глубокими и бесплодными песками; одним словом, был дикою пустынею. Но человек, богатый и деньгами и вкусом, купил его, отделал — и дикая лесная пустыня обратилась в прелестный английский сад, в живописные ландшафты, в Пуссеневу картину.

Древний замок остался в прежнем своем готическом виде. В нем жила некогда *милая Габриель*, и Генрих IV наслаждался ее любовью: воспоминание, которое украшает его лучше самых великолепных перистилей! Маленькие домики примыкают к нему с обеих сторон; светлые воды струятся вокруг его, образуя множество приятных островков. Здесь раскиданы лесочки; там зеленеют долины; тут гроты, шумные каскады; везде природа в своем разнообразии — и вы читаете надпись:

Ищи в других местах искусства красоты:
Здесь вид богатыя Природы
Есть образ счастливой свободы
И милой сердцу простоты.

Прежде всего поведу вас к двум густым деревьям, которые сплелись ветвями и на которых рукою Жан-Жака вырезаны слова: *любовь все соединяет*. Руссо любил отдыхать под их сению на дерновом канапе, им самим сделанном. Тут рассеяны знаки пастушеской жизни; на ветвях висят свирели, посохи, венки, и на диком монументе изображены имена сельских певцов: Теокрита, Виргилия, Томсона.

На высоком пригорке видите храм — *новой Философии*, который своею архитектурою напоминает развалины Сибиллина храма

в Тиволи. Он недостроен; материалы готовы, но предрассудки мешают совершить здание. На колоннах вырезаны имена главных архитекторов с означением того, что каждый из них обрабатывал по своему таланту. Например:

J. J. Rousseau — Naturam (Природу).
 Montesquieu — Justitiam (Правосудие).
 W. Penn — Humanitatem (Человечество).
 Voltaire — Ridiculum (смешное).
 Descartes — nil in rebus inane (нет в вещах пустого).
 Newton — lucem (свет).

Внутри написано, что сей недостроенный храм посвящен Монтаню; над входом: *познавай причину вещей*; а на столпе: *кто довершит?* Многие писали ответ на колоннах. Одни думают, что несовершенный ум человеческий не может произвести ничего совершенного; другие надеются, что *разум в школе веков возмужает*, победит все затруднения, dokonчит свое дело и воцарит истину на земном шаре.

Вид, который открывается с вершины пригорка, веселит глаза и душу. Кристальные воды, нежная зелень лугов, густая зелень леса представляют разнообразную игру теней и света.

Уныло журчащий ручеек ведет вас мимо диких гротов к алтарю *задумчивости*. Далее в лесу находите мшистый камень с надписью: *здесь погребены кости несчастных, убитых во времена суеверия, когда брат восставал на брата, гражданин на гражданина за несогласное мнение о религии*. — На дверях маленькой хижины, которая должна быть жилищем отшельника, видите надпись:

Здесь поклоняюсь творцу
 Природы дивный и нашему отцу.

Перейдите чрез большую дорогу, и невольный ужас овладеет вашим сердцем: мрачные сосны, печальные кедры, дикие скалы, глубокий песок являют вам картину сибирской пустыни. Но вы скоро примиритесь с нею... На хижине, покрытой сосновыми ветвями, написано: *царю хорошо в своем дворце, а леснику в своем шалаше; всякий у себя господин*; а на древнем густом вязе:

Под сению его я с милой изъяснился;
 Под сению его узнал, что я любим!

Следственно, и в дикой пустыне можно быть счастливым! — Во внутренности каменного теса найдете грот Жан-Жака Руссо с надписью: *Жан-Жак бессмертен*. Тут между многими девизами и титулом всех его сочинений вырезано прекрасное изречение женеvского гражданина: *тот единственно может быть свободен, кому для исполнения воли своей не надобно приставлять к своим*

*рукам чужих.*¹ — Идете далее, и дикость вокруг вас мало-помалу исчезает; зеленая мурава, скалы, покрытые можжевельником, шумящие водопады напоминают вам Швейцарию, Мельери и Кларан; вы ищите глазами Юлиина имени и видите его — на камнях и деревьях.

Светлая река течет по лугу мимо виноградных садов, сельских домиков; на другой стороне ее возвышается готическая башня *прекрасной Габриели*, и маленькая лодочка готова перевезти вас. На дверях башни читаете:

Здесь было царство Габриели;
Ей надлежало дань платить.
Французы истари умели
Сердцами красоту дарить.

Архитектура наружности, крыльцо, внутренние комнаты напоминают вам те времена, когда люди не умели со вкусом ни строить, ни украшать своих домов, но умели обожать славу и красавиц. Здесь, думаете вы, здесь король-рыцарь после военного грома наслаждался тишиною и сердцем своим в объятиях милой Габриели; здесь сочинил он нежную песню свою:

Charmante Gabrielle,
Percé de mille dards,
Quand la gloire m'appelle,
Je vole au champ de Mars.
Cruelle dépariée!
Malheureux jour!
C'est trop peu d'une vie
Pour tant d'amour.²

И куда ни взглянете в комнатах, везде читаете: *charmante Gabrielle!* Автор Седен сочинил *здесь* на голос этой песни другую, такого содержания:

Здесь Габриели страстной
Взор нежность изъявлял;
Здесь бог войны ужасной
В цепях любви вздыхал.
Француз в восторг приходит
От имени ея;
Оно на мысль приводит
Нам доброго царя.

¹ Короче: «кто не имеет нужды в чужих руках»; но не так живописно.

² Вероятно, что последние два стиха не Генриховы. Музыка сей старинной песни очень приятна. [Прелестная Габриель, пронзенный тысячею стрел, я лечу на поле Марса, когда слава меня призывает. Жестокая разлука! Несчастный день! Слишком мало одной жизни для такой любви. *Ред.*]

С снежными чувствами выходите из башни и вступаете в прекрасный лесок, посвященный музам и спокойствию. Тут стремится ручей, подобный воклюзскому, где, по уверению итальянского Тибулла, *травы, цветы, зефиры, птицы и Петрарка о любви говорили*. Тут в прохладном гроте написано:

Являйте, зеркальные воды,
 Всегда любезный вид Природы
 И образ милой красоты!
 С зефирами играйте
 И мне вспоминайте
 Петрарковы мечты!

От всех эрменонвильских домиков, живописно рассеянных по лугу, отличается тот, который строен был для Жан-Жака, но достроен уже по смерти его: самый сельский и милый! Подле садик, огород; лужок, орошаемый ручейком; густые деревья; мостик, примкнутый к двум большим вязам, и маленький жертвенник с надписью:

• A l'amitié, le baume de la vie.
 Дружбе, бальзаму жизни.

Под сению одного дерева стоит канане с надписью:

Жан-Жак любил здесь отдыхать,
 Смотреть на зелень дерна,
 Бросать для птичек зерна
 И с нашими детьми играть.

Руссо переехал в Эрменонвиль 20 мая 1778, а умер 2 июля; следственно, недолго наслаждался он здешним тихим и приятным уединением; успел только ласковостию, обходительностию снискать любовь эрменонвильских жителей, которые по сие время не могут без слез говорить об нем. Свет, литература, слава, все ему наскучило; одна Природа сохранила до конца милые права свои на его сердце и чувствительность. В Эрменонвиле рука Жан-Жакова не бралась за перо, а только подавала милостыню бедным. Лучшее его удовольствие состояло в прогулках, в дружеских разговорах с земледельцами и в невинных играх с детьми. За день до смерти своей он ходил еще собирать травы; 2 июля в 7 часов утра вдруг почувствовал слабость и дурноту; велел своей Терезе растворить окно, взглянул на луг, сказал: «*Comme la Nature est belle*» — и закрыл глаза навеки... Человек редкий, автор единственный; пылкий в страстях и в слоге, убедительный в самых заблуждениях, любезный в самых слабостях! младенец сердцем до старости! мизантроп, любви исполненный! несчастный по своему характеру между людьми и завидно счастливый по своей душев-

ной нежности в объятиях Натуры, в присутствии невидимого божества, в чувстве его благодати и красот творения!.. Прах его хранится на маленьком прекрасном островке, *île des peupliers*, осененном высокими тополями. Надобно переехать на лодке — и Харон говорит вам о Жан-Жаке; рассказывает, что эрменонвильский цирюльник купил гробь его и не хотел продать ее за 100 экю; что жена мельникова никому не дает садиться на том стуле, на котором Руссо у мельницы сиживал, смотря на пенистую воду; что школьный мастер хранит два пера его; что Руссо ходил всегда задумавшись, неровными шагами, но всякому кланялся с ласковым видом. Вам хочется и слушать перевозчика, и читать надписи на берегу, и видеть скорее гроб Ж.-Жаков...

Среди журчащих вод, под сению священной
Ты видишь гроб Руссо, наставника людей;
Но памятник его нетленный
Есть чувство нежных душ и счастье детей.¹

Всякая могила есть для меня какое-то святилище; всякий безмолвный прах говорит мне:

И я был жив, как ты;
И ты умрешь, как я.

Сколь же красноречив пепел такого автора, который сильно действовал на ваше сердце; которому вы обязаны многими из любезнейших своих идей; которого душа отчасти перелилась в вашу? Монумент его имеет вид древнего жертвенника; с одной стороны написано: *ici repose l'homme de la Nature et de la vérité, здесь покоится человек истины и Природы*; а на другой стороне изображены играющие дети с матерью, которая держит в руке том «Эмиля»; наверху девиз Жан-Жаков: *vitam impendere vero, жить для истины*. На свинцовом гробе вырезано: *hic jacent ossa J. J. Rousseau, здесь лежат кости Руссо*.

Что Руссо в жизни своей имел злых врагов, не мудрено; но можно ли без омерзения слышать, что некоторые хотели ругаться и над бесчувственным прахом его, вырезывали на гробе непристойные, бесстыдные надписи, бросали грязь на монумент и ломали его, так что хозяин, маркиз Жирарден, должен был приставить караул к острову!

Зато Руссо имел и жарких, ревностных почитателей более, нежели кто-нибудь из новых авторов. Ревность некоторых доходила до безумия. Рассказывают, что один молодой француз, восхищенный творениями Жан-Жака, вздумал проповедовать его учение в Азии и сочинил на арабском языке катехизис, который начинается так: *Что есть правда? Бог. Кто ложный пророк*

¹ Перевод одной из надписей.

его? Магомет. Кто истинный? Руссо. Французский консул видел его в Бассоре в 1780 году и никак не мог доказать ему, что он сумасшедший. Скромный Руссо, конечно, не хотел таких учеников. Думаю, что и нынешние французские ораторы не одолжили бы его своими пышными хвалами: чувствительный, добродушный Жан-Жак объявил бы себя первым врагом революции.

Говорили, что Тереза, жена его, вышла замуж за слугу маркиза Жирардена: это неправда. Она гордится именем Руссовой супруги и живет одна в маленькой деревеньке Плесси-Бельвиль.

Кто, опершись рукою на монумент незабвенного Жан-Жака, видел заходящее солнце и думал о бессмертии: тот наслаждался немалым удовольствием в жизни.

Шантильи.

Dans sa pompe élégante admirez Chantilly,
De Héros en Héros, d'âge en âge embelli.¹

Не ожидайте от меня пышного описания: я видел Шантильи в дурное время, в дурном расположении и в страхе, чтобы не уехала без меня почтовая карета. Мысль, что хозяин его скитается ныне по чужим землям как бедный изгнанник, также туманила для глаз моих предметы. Что вам сказать? Я видел великолепные палаты, прекрасные статуи, физические кабинеты, подземельные ходы с высокими сводами, редкие оранжереи, огромные конюшни, большой парк, красивые террасы, *остров Любви*, приятный английский сад, хижину, украшенную как царский дворец, чудесную игру вод и наконец латы *Орлеанской девственницы*. Я вспомнил то великолепное, беспримечное зрелище, которым принц Конде веселил здесь нашего северного графа. Ночь превратилась в день; от бесчисленных огней казалось, что леса и воды горели; искры сыпались от каскадов; музыка гремела, и охотники при восклицаниях народа неслись вихрем за быстрыми оленями. Так и восточные государи не забавляли гостей своих.

Шантильи окружен густым лесом. Тут на большой равнине, где сходятся 12 бесконечных аллей, великий Конде, герой и друг просвещения, давал праздники Людовику XIV и всему двору его.

Сей лес напоминает печальную смерть мрачного романиста Прево. Он гулял в нем и упал без чувства; его подняли как мертвого, вздумали анатомить, и безрассудный лекарь воткнул ему нож в сердце — пронзительный крик раздался — Прево был еще жив — лекарь зарезал его.

¹ Любуйтесь Шантильи в его элегантно пышности, все более украшаемым героем за героем, из поколения к поколению (*ред.*).

Я списал в Шантильи прекрасную Грувелеву надпись к Амуру, представленному без покрова, без оружия и без крыльев. Как умею, переведу ее:

Одною нежностью богат,
 Как Правда сердцем обнаружен,
 Как Непорочность безоружен,
 Как Постоянство некрылат,
 Он был в Астреин век. Уже мы не находим
 Его нигде; но жизнь в искании проводим.

Париж, июня ... 1790.

Скажу вам нечто о парижском Народном Собрании, о котором так много пишут теперь в газетах. В первый раз пришел я туда после обеда; не знал места, хотел войти в большие двери вместе с членами, был остановлен часовым, которого никакие просьбы смягчить не могли, и готовился уже с досадою воротиться домой; но вдруг явился человек в темном кафтане, собою очень некрасивый; взял меня за руку и, сказав: «Allons, monsieur, allons!»¹ — ввел в залу. Я окинул глазами все предметы Большая галлерея, стол для президента и еще два для секретарей по сторонам; напротив кафедра; кругом лавки, одна другой выше;верху ложи для зрителей. Заседание еще не открылось. Вокруг меня было множество людей, по большей части неопрятно одетых — с растрепанными волосами, в сертуках. Шумели, смеялись около часа. Зрители хлопали в ладоши, изъявляя нетерпение. Наконец тот самый человек, который ввел меня,² подошел к президентскому столу, взял колокольчик, зазвонил — и все, закричав: «По местам! по местам!», разбежались и сели. Один я остался среди залы — подумал, что мне делать, и сел на ближней лавке; но через минуту подошел ко мне церемонийстер в черном кафтане и сказал: «Вы не можете быть здесь!» Я встал и перешел на другое место. Между тем один из членов, г. Андре, читал на кафедре предложение Военной комиссии. Его слушали со вниманием; я также, но недолго, потому что проклятый черный кафтан опять подлетел ко мне и сказал:

— Государь мой! вы, конечно, не знаете, что в этой зале могут быть только одни члены.

— Куда же мне деваться, г[осударь] м[ой]?

— Подите в ложи.

— А если там нет места?

— Подите домой или куда вам угодно.

¹ Идемте, сударь, идемте (*ред.*).

² Это был Рабб-Сент-Этьен.

Я ушел; но в другой раз высидел в ложе пять или шесть часов и видел одно из самых бурных заседаний. Депутаты духовенства предлагали, чтобы католическую религию признать единственною или главною во Франции. Мирабо оспоривал, говорил с жаром и сказал:

— Я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медичис стрелял в протестантов!

Аббат Мори вскочил с места и закричал:

— Вздор! ты отсюда не видишь его!

Члены и зрители захохотали во все горло. Такие непристойности бывают весьма часто. Вообще в заседаниях нет ни малой торжественности, никакого величия; но многие риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор.

На другой день после споров о католической религии явились в лавках бумажные табакерки à l'abbé Maugu; отворите крышку, выскочит аббат. Таковы французы: на всякий случай у них готсва выдумка. — Расскажу вам другой анекдот в сем роде. В тот самый день, как Собрание определило выдать ассигнации, я был в театре. Играли старую оперу «Башмачника», которому во втором акте надлежало петь известный *водевиль*. Вместо того он запел новые стихи в похвалу короля и Народного Собрания с припевом:

L'argent caché ressortira
Par le moyen des assignats. ¹

Зрители были вне себя от удовольствия и заставили актера десять раз повторить: l'argent caché ressortira. Им казалось, что перед ними лежат уже кучи золота!

Париж, июня ... 1790.

Вы помните, что Йорик сказал министру Б. о характере французов: «они слишком *важны!*» Министр удивился; но разговор вдруг перервался, и забавный Йорик не изъяснил нам своей мысли. Кажется, об афинском народе было сказано, что он важными делами шутил, как безделками, а безделки считал важными делами: то же самое можно сказать о французах, которые не обижаются сходством с афинским народом. Вспомните жаркие, но смешные споры о древней и новой литературе, которыми версальский двор и весь Париж занимался; вспомните историю глукистов, пиччинистов, месмеристов и согласитесь, что в некотором смысле Йорик мог утверждать свой парадокс. Но французы имеют характер, вопреки его старым шиллингам, qui à force d'être polis, n'ont plus

¹ Скрытые деньги проявятся благодаря ассигнациям (*ред.*).

d'empreinte ¹ — имеют даже более других народов. Я говорил об этом с госпожою Н. и после выразил мысли свои в письме к ней. Вот перевод:

«Скажу: *огонь, воздух* — и характер французов описан. Я не знаю народа умнее, пламеннее и ветренее вашего. Кажется, будто он *выдуман*, или для него *выдуманно общезнание*: столь мила его обходительность и столь удивительны его тонкие соображения в искусстве жить с людьми! Сие искусство кажется в нем любезною природою. Никто, кроме его, не умеет приласкать человека одним видом, одною вежливою улыбкою. Напрасно англичанин или немец захотел бы учиться ей перед зеркалом: на лице их она чужая, принужденная. Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве; но после России нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто забывается, что он не между своими. Говорят, что здесь трудно найти искреннего, верного друга... Ах! друзья везде редки; и чужеземцу ли искать их, тому, кто, подобно комете, *являясь исчезает*? Дружба есть потребность жизни; всякий хочет для нее предмета надежного. Но все, чего по справедливости могу требовать от чужих людей, француз предлагает мне с ласкою, с *букетом цветов*. Ветренность, непостоянство, которые составляют порок его характера, соединяются в нем с любезными свойствами души, *происходящими* ² некоторым образом от сего самого порока. Француз непостоянен — и незлопамятен; удивление, похвала может скоро ему наскучить: ненависть также. По ветренности оставляет он доброе, избирает вредное: зато сам первый смеется над своею ошибкою — и даже плачет, если надобно. Веселая безрассудность есть милая подруга жизни его. Как англичанин радуется открытию нового острова, так француз радуется остроумному слову. Чувствителен до крайности, страстно влюбляется в истину, в славу, в великие предприятия; но любовники непостоянны! Минуты его жара, исступления, ненависти могут иметь страшные следствия: чему примером служит революция. Жаль, если эта ужасная политическая перемена должна переменить и характер народа, столь веселого, остроумного, любезного!»

Это писано для дамы, и для французенки, которая ахнула бы от ужаса и закричала: *северный варвар!* если бы я сказал ей, что французы не остроумнее, не любезнее других.

Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностию! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной; смотрел на твое

¹ Слова Йориковы, сказанные им в другом месте [которые, в силу того что полируются, не имеют отпечатка. *Ред.*].

² Qui tiennent à ce même défaut.

волнение с тихою душою, как миршйй пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни якобинцы, ни аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слышал споры, и не спорил; ходил в великолепные храмы твои наслаждаться глазами и слухом: там, где светозарный бог искусств сияет в лучах ума и талантов; там, где гений славы величественно покоится на лаврах! Я не умел описать всех приятных впечатлений свсих, не умел всем пользоваться, но выехал из тебя не с пустою душою: в ней остались идеи и воспоминания! Может быть, когда-нибудь еще увижу тебя и сравню прежнее с настоящим; может быть, порадуюсь тогда большею зрелостию своего духа или вздохну о потерянной живости чувства. С каким удовольствием взошел бы я еще на гору Валерианскую, откуда взор мой летал по твоим живописным окрестностям! С каким удовольствием, сидя во мраке Булонского леса, снова развернул бы перед собою свиток истории, ¹ чтобы найти в ней предсказание будущего! Может быть, тогда все темное для меня изъяснится; может быть, тогда еще более полюблю человечество; или, закрыв летописи, перестану заниматься его судьбою...

Прости, любезный Париж! прости, любезный В.! Мы родились с тобою не в одной земле, но с одинаким сердцем; увиделись и три месяца не расставались. Сколько приятных вечеров провел я в твоей Сен-Жерменской отели, читая привлекательные мечты единомыслица и соученика твоего Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свете, или судя новую комедию, нами вместе виденную! Не забуду наших приятных обедов за городом, наших ночных прогулок, наших рыцарских приключений и всегда буду хранить нежное, дружеское письмо твое, которое тихонько написал ты в моей комнате за час до нашей разлуки. Я любил всех моих земляков в Париже; но единственно с тобою и с Б. мне грустно было расставаться. К утешению своему думаю, что мы в твоём или моём отечестве можем еще увидеться, в другом состоянии души, может быть, и с другим образом мыслей, но равно знакомы и дружны! ²

¹ В Булонском лесу читал я Маблюеву «Историю французского правления».

² Через 10 лет после нашей разлуки, не имея во все это время никакого об нем известия, вдруг получаю от него письмо из Петербурга, куда он прислан с важною комиссиею от двора своего, — письмо дружеское и любезное. Мне приятно напечатать здесь некоторые его строки: «Je vous supplie, mon cher ami, de me répondre le plutôt possible, pour que je sache que vous vous portez bien et que je peux toujours me compter parmi vos amis. Vous n'avez pas d'idée, combien le souvenir de notre séjour de Paris a de charmes pour moi. Tout a changé depuis; mais l'amitié, que je vous ai vouée alors, est toujours la même. Je me flatte aussi, que vous ne m'avez pas entièrement oublié. J'aime à croire que nous nous entendons toujours à demi-mot [Я вас умоляю, мой дорогой друг, ответить мне как можно скорее, чтобы мне знать, что вы хорошо себя чувствуете и что я все еще могу считать себя в числе ваших друзей. Вы себе не представляете, как много прелести имеет для меня воспоминание о нашем

А вы, отечественные друзья мои, не назовете меня неверным за то, что я в чужой земле нашел человека, с которым сердце мое было как дома. Это знакомство считаю благодеянием судьбы в странническом сиротстве моем. Как ни приятно, как ни весело всякий день видеть прекрасное, слышать умное и любопытное; но людям некоторого роду надобны подобные им люди, или сердцу их будет грустно.

Наконец скажу вам, что, выключая мои обыкновенные меланхолические минуты, я не знал в Париже ничего, кроме удовольствий. Провести так около четырех месяцев есть, по словам одного английского доктора, выманить у скупой волшебницы судьбы очень богатый подарок. Почти все мои земляки провожали меня, и Б., и барон В. Мы обнялись несколько раз, прежде нежели я сел в дилижанс. Теперь мы ночуем, отъехав верст 30 от Парижа. Душа моя так занята прошедшим, что воображение мое еще ни разу не заглянуло в будущее; еду в Англию, а об ней еще не думаю.

Го-Бюиссон, в 4 часа пополудни.

В Иль-де-Франсе плоды уже зрелы — в Пикардии зелены — в окрестностях Булони все еще цветет и благоухает. Перемена климата чувствительна на каждой миле — и воображение, что я удаляюсь беспрестанно от благословенных стран юга, горестно для души моей. Натура видимо беднеет к северу.

Теперь сижу один под каштановым деревом шагах в двадцати от почтового двора, — смотрю через луга и поля на синее море и на город Кале, окруженный болотами и песками.

Странное чувство! Мне кажется, будто я приехал на край света, — там необозримое море — конец земли — Природа холодеет, умирает — и слезы мои льются ручьями.

Все тихо, все печально; почтовый двор стоит уединенно; вокруг его чистое поле. Товарищи мои сидят на траве подле нашей кареты, не говоря между собою ни слова; постиллионы впрягают лошадей; ветер воет, и листья уныло шумят над головой моей.

Кто видит мои слезы? кто берет участие в моей горести? кому изъясню чувства мои? Я один... один! — Друзья! где взор ваш? где рука ваша? где ваше сердце? Кто утешит печального?

О милые узы отечества, родства и дружбы! я вас чувствую, несмотря на отдаление, — чувствую и лобызаю с нежностью!..

пребывании в Париже. Все изменилось с тех пор, но дружба, которую я питал к вам тогда, остается прежней. Я льшу себя надеждой, что вы меня не совсем забыли. Хочу верить, что мы всегда пойдем друг друга с полуслова. *Ред.]* и проч. — Он женился на молодой любезной женщине, которая известна в Германии по уму и талантам своим. Она написала роман, который долго считался творением славного Гете: потому что скромная муза не хотела наименовать себя.

Дикий, преселенный из мрачных канадских лесов в великолепный город Европы, на сцену всех блестящих искусств, видит богатство и пышность — видит и пленяется; но через минуту очарование исчезает — хлад остается в его сердце, и он желает возвратиться в бедные шалаши лесов канадских, где грудь его согревалась питательными лучами любви и дружбы.

Товарищи мои садятся в карету — через час будем в Кале.

Кале, в час пополудни.

Нас привезли в трактир почтового двора. — Я тотчас пошел к Дессеню (которого дом есть самый лучший в городе); остановился перед его воротами, украшенными белым павильоном, и смотрел направо и налево.

— Что вам надобно, государь мой? — спросил у меня молодой офицер в синем мундире.

— Комната, в которой жил Лаврентий Стерн,¹ — отвечал я.

— И где в первый раз ел он французский суп? — сказал офицер.

— Соус с цыплятами, — отвечал я.

— Где хвалил он кровь Бурбонов?

— Где жар человеколюбия покрыл лицо его нежным румянцем.

— Где самый тяжелый из металлов казался ему легче пуха?²

— Где приходил к нему отец Лорензо с кротостию святого мужа.

— И где он не дал ему ни копейки?

— Но где хотел он заплатить двадцать фунтов стерлингов тому адвокату, который бы взялся и мог оправдать Йорика в глазах Йориковых.

— Государь мой! эта комната во втором этаже, прямо над вами. Тут живет ныне старая англичанка с своею дочерью.

Я взглянул на окно и увидел горшок с розами. Подле него стояла молодая женщина и держала в руках книгу — верно «Sentimental Journey».

— Благодарю вас, государь мой! — сказал я словоохотному французу: — но если позволите, то я спросил бы еще...

— Где тот каретный сарай, — перервал офицер, — в котором Йорик познакомился с милою сестрою графа Л.?

— Где он помирился с отцом Лорензом и... с своею совестью.

— Где Йорик отдал ему черепаховую свою табакерку и взял на обмен роговую?

¹ См. «Sentimental Journey», Стерново путешествие. Оно переведено на русский и напечатано.

² Все сие памятно тому, кто хотя один раз читал Стерново или Йориково «Путешествие»; но можно ли читать его только один раз?

— Но которая была ему дорожке золотой и бриллиантовой.

— Этот сарай в 50 шагах отсюда, через улицу; но он заперт, а ключ у господина Дессеня, который теперь... у вечерни.

Офицер засмеялся, — поклонился и ушел.

— Господин Дессень в театре, — сказал мне другой человек мимоходом.

— Господин Дессень на карауле, — сказал третий: — его недавно пожаловали в капралы гвардии.

«О Йорик! — думал я, — о Йорик! как все переменялось ныне во Франции! Дессень капралом! Дессень в мундире! Дессень на карауле! Grand Dieu!» — Смерклось, и я возвратился в свой трактир.

Что вам сказать о Кале? Город невелик, но чрезвычайно многолюден — и англичане составляют по крайней мере шестую часть жителей. Дома невысокие — в два этажа; а роскошь видна только в одних трактирах. Впрочем, все кажется мне здесь печальным и бедным. Воздух напитан сыростью и тонкою морскою солью, которая неприятным образом щекотит нервы обоняния. Ни для чего в свете не хотел бы я жить здесь долго!

За ужином ели мы прекрасную рыбу и свежих морских раков, отменно вкусных. Тут сидело человек 40; между прочими семь или восемь англичан, которые только что переехали через канал и намерены странствовать по всей Европе. С ними был один итальянец, великий говорун и великий трус; худым английским и французским языком рассказывал он о многих опасностях, угрожавших ему и товарищам его на море. Англичане смеялись и называли его Улиссом, который пугает царя Альциноя повествованием о страшных небылицах.¹ Между тем они беспрестанно кричали трактирщику: «Вина! вина! самого лучшего! du meilleur! du meilleur!» — и розовое шампанское лилось из урны своей не в рюмки, а в стаканы. Оно так хорошо адело в стекле, так хорошо пенилось, что и умеренный друг ваш, не спрашивая о цене, велел подать себе бутылку — du meilleur! du meilleur! Прекрасное вино! Немец с длинным носом, сидевший подле меня, доказывал убедительным образом, что оно и цветом и вкусом похоже на божественный нектар, который излился из рогов святой козы Амальтеи.²

— Мы давно слышали, — сказал один из англичан, — что немцы ученый народ: теперь верю этому. *Vraiment, monsieur, vous êtes savant comme tous les diables!*³

Германец улыбался и был сердечно доволен заслуженною похвалою.

Я пришел в свою комнату, бросился на постелю и заснул; но через несколько минут разбудил меня шум веселых англичан,

¹ См. «Одиссею».

² Так говорит мифология.

³ Действительно, сударь, вы умны, как дьявол (тысяча чертей) (ред.).

которые в другой горнице кричали, топали, стучали и проч. и проч. С полчаса я терпел; наконец кликнул слугу и послал его напомнить британцам, что они не одни в трактире и что соседи их, может быть, хотят тишины и спокойствия. Сказав несколько раз: *год-дем*, они замолчали. — Рука не пишет более — простите!

Кале, 10 часов утра.

Узнав, что пакетбот наш не отвалит от берега прежде одиннадцати часов, я пошел бродить, куда глаза глядят, — очутился за городом, близ кладбища, обсаженного высокими деревьями, и вспомнил могилу отца Лоренза, где Йориковы слезы лились на мягкий дерн, — где в одной руке держал он табакерку добродушного монаха, а другою рвал зеленую траву. «Патер Лорензо! друг Йорик! — думал я, облокотившись на один мшистый камень, — где вы, не знаю; но желаю некогда быть с вами вместе!»

У ног моих синелись цветочки; я сорвал два и спрятал в записную книжку свою. Вы их увидите некогда, — если волны морские не поглотят меня вместе с ними! — Простите!

Пакетбот.

Мы уже три часа на море; ветер пресильный; многие пассажиры больны. Берег французский скрылся от глаз наших. — Английский показывается в отдалении.

Вместе с нами сели на пакетбот молодой лорд и две англичанки, жена и сестра его; они возвращаются из Италии. Лорд важен, но учтив — леди и мисс любезны. С каким нетерпением приближаются они к отечеству, к родственникам и друзьям своим после шестилетней разлуки! С какою радостью говорят о тех удовольствиях, которые ожидают их в Лондоне! — Ах! я завидовал им от всего сердца! Они приметили мою чувствительность и для того, может быть, обошлись со мною ласковее, нежели с другими пассажирами. Через два часа леди занемогла морскою болезнью — лорд также — их отвели в каюту. Мисс осталась на палубе; но скоро и она побледнела. Ветер сорвал с нее шляпу, развевал ее русые длинные волосы. Я принес ей стакан холодной воды; но ничто не помогло! Бедная англичанка, смотря на меня умильными и томными глазами, говорила: «*Je suis mal, très mal; ma poitrine se déchire — Dieu! je crois mourir!* (Мне дурно, очень дурно; грудь моя раздирается — я умираю!)» — Наконец и ее должно было вести в каюту к прочим больным женщинам. Она подала мне свою руку, холодную, слабую и дрожащую; грудь ее видимо подымалась и опускалась; слезы катились градом по бледному лицу — я почти нес ее на руках! Какая мучительная болезнь! Видя везде страдающих; видя многие неприятные явления, которые бывают

всегдашним следствием морских припадков, я сам едва было не упал в обморок; оставил свою больную, возвратился на палубу и мало-помалу отдохнул на свежем воздухе.

Подле меня сидят теперь два немца — кажется, ремесленники, которые, думая, что их никто не разумеет, свободно разговаривают между собою.

— Что-то мы увидим в Англии! — сказал один: — французы нам теперь известны; в них не много пути.

— Думаю, — отвечал другой, — что и Англия нам не очень полюбится. Где лучше нашей любезной Германии! Где лучше берегов Рейна!

— Где лучше Вейндорфа! — сказал первый с улыбкою: — там живет Анюта.

— Правда, — отвечал другой со вздохом: — там живет Анюта. Недалеко оттуда живет и Лиза, — примолвил он с улыбкою.

— Ах! недалеко! — отвечал первый с таким же вздохом.

— Еще шесть или семь месяцев, — сказал один, взяв товарища своего за руку...

— Еще шесть или семь месяцев, — повторил другой, — и мы в Германии!

— И мы на берегу Рейна!

— И мы в Вейндорфе!

— Там, где живет Анюта!

— Там, где живет Лиза!

— Дай бог! дай бог! — сказали они в один голос и крепко, крепко пожали руку один у другого.

Уже открывается Дувр и высокие башни, в которых ночью зажигают огонь для безопасности плователей. Нигде не видно зелени; везде песчаные холмы, песчаные равнины. Мы близко к берегу; но еще буря может унести нас далеко в необозримую морскую — еще опасность не миновалась — еще корабль наш может удариться о подводные граниты и погрузиться в шумящей бездне! Тогда... adieu!

Дувр.

Берег! берег! Мы в Дувре, и я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть, конечно, одно из первых государств Европы. — Здесь все другое: другие дома, другие улицы, другие люди, другая пища — одним словом, мне кажется, что я переехал в другую часть света.

Англия есть кирпичное царство: и в городе и в деревнях все дома из кирпичей, покрыты черепицею и некрашенные. Везде видите дым земляных угольев; везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен; улицы широки и отменно чисты;

езде *тротуары*, или камнем высланные дорожки для пеших — и на каждом шагу — в таком маленьком городке, как Дувр, — встречается вам красавица в черной шляпке, с кроткою, нежною улыбкою, с посошком в белой руке.

Так, друзья мои! Англию можно назвать землею красоты — и путешественник, который не пленится милovidными англичанками; который — особливо приехав из Франции, где очень мало красавиц, — может смотреть равнодушно на их прелести, должен иметь каменное сердце. Часа два ходил я здесь по улицам единственно для того, чтобы любоваться дуврскими женщинами, и скажу всякому живописцу: «Если ты не был в Англии, то кисть твоя никогда совершенной красоты не изображала!» — Англичанок нельзя уподобить розам; нет, они почти все бледны — но сия бледность показывает сердечную чувствительность и делается новою приятностию на их лицах. Поэт называет их лилиями, на которых от розовых облаков неба мелькают алые оттенки. Кажется, будто всяким томным взором своим говорят они: *я умею любить нежно!* — Милые, милые англичанки! — Но вы опасны для слабого сердца, опаснее нимф Калипсиных, и ваш остров есть остров волшебства, очарования. Горе бедному страннику! Равнодушно взглянет он с берега на пылающий корабль свой и снова устремит огненные глаза на какую-нибудь Эвхарису.¹ Ах! какой Ментор низвергнет его в волны морские!

Между тем не думайте, чтобы друг ваш, приехав в опасную Англию, где Купидон во все стороны пускает тысячами стрелы свои, лишился всей твердости, ослабел и растаял в томных чувствах. Нет, друзья мои! я имел еще столько сил, чтобы взойти на превысокую гору и видеть там древний замок, колодезь в 360 футов глубиною и медную пушку длиною в три сажени, которая называется карманным пистолетом королевы Елисаветы.

Я сел отдыхать на вершине горы, и великолепнейший вид представился глазам моим. С одной стороны вся Кентская провинция с городами и деревнями, рощами и полями; а с другой бесконечное море, в которое погружалось солнце и где пестрели разноцветные флаги; где белелись парусы и миллионы пенистых валов.

Английский лорд, любезная жена и милая сестра его, вышедши на берег, с нежностью обняли друг друга.

— Берег моего отечества! — сказал лорд, — я благословляю тебя!

Они дали мне свой лондонский адрес и поехали в наемной карете.

¹ Известно, что Телемак, влюбленный в Калипсину нимфу Эвхарису, не тужил о сгоревшем корабле своем.

Когда я пришел в трактир, где мы остановились ночевать, то в первой комнате окружили меня семь или восемь человек, весьма худо одетых, которые грубым голосом требовали денег. Один говорил:

— Дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку, когда ты сходил с пакетбота.

Другой:

— Дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю.

Третий:

— Дай мне два шиллинга за то, что я донес до трактира чемодан твой.

Четвертый, пятый, шестой — все требовали, все объявляли права свои на мой кошелек; но я, бросив на землю два шиллинга, ушел от них. Судите, любят ли здесь деньги и дешево ли ценят англичане труд свой?

Еще другая черта. Все наши сундуки и вещи принесли с пакетбота в таможеню.

— У меня нет ничего запрещенного, — сказал я осматривающим: — и если вы поверите моему честному слову и не будете разбивать моего чемодана, то я с благодарностию заплачу несколько шиллингов.

— Нет, государь мой! — отвечали мне, — нам должно все видеть.

Я отпер и показал им старые свои книги, бумаги, белье, фраки.

— Теперь, — сказали они, — вы должны заплатить полкроны.

— За что же? — спросил я: — разве вы были снисходительны или нашли у меня что-нибудь запрещенное?

— Нет; но без этого не получите своего чемодана.

Я пожал плечами и заплатил три шиллинга. — И так английские таможенные приставы умеют строго исполнять свою должность и притом... наживаться!

Мне хотелось видеть английскую кухню. Какая чистота! На полу нет ни пятнышка; кастрюли, блюда, чашки — все бело, все светло, все в удивительном порядке. Каменные уголья пылают на большом очаге и розовым огнем своим прельщают зрение. Хозяйка улыбнулась очень приятно, когда я сказал ей:

— Вид французской кухни нередко отнимает аппетит; вид вашей кухни производит его.

Ужин наш состоял из жареной говядины, земляных яблок, пудинга и сыру. Я хотел спросить вина, но вспомнил, что в Англии нет виноградных садов, и спросил портеру. Бутылка самого худого шампанского или бургонского стоит здесь более четырех рублей. Простите! Теперь полночь.

Лондон.

В шесть часов утра если мы в четвероместную карету и поскакали на прекрасных лошадях по лондонской дороге, ровной и гладкой.

Какие места! какая земля! Везде богатые, темнозеленые и гучные луга, где пасутся многочисленные стада, блестящие своею перловою и серебряною волною; везде прекрасные деревеньки с кирпичными домиками, покрытыми светлою черепицею; везде видите вы маленьких красавиц (в чистых белых корсетах, с распущенными кудрями, с открытою снежною грудью), которые держат в руках корзинки и продают цветы; везде замки богатых лордов, окруженные рощами и зеркальными прудами; везде встречается вам множество карет, колясок, верховых; множество хорошо одетых людей, которые едут из Лондона и в Лондон или из деревень и сельских домиков выезжают прогуливаться на большую дорогу; везде трактиры, и у всякого трактира стоят оседланые лошади и кабриолеты — одним словом, дорога от Дувра до Лондона подобна большой улице многолюдного города.

Что ежели бы я прямо из России приехал в Англию, не видав ни эльбских, ни рейнских, ни сенских берегов; не быв ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции? — Думаю, что картина Англии еще более поразила б мои чувства; она была бы для меня новее.

Какое многолюдство! какая деятельность! и притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой.

На каждых четырех верстах переменяли мы лошадей; но несмотря на то, постиллионы или кучера, coachmen, останавливаются раза три пить в трактирах — и никто не смей им сказать ни слова!

В Кантербури, главном городе Кентской провинции, пили мы чай, в первый раз по-английски, то есть крепкий и густой, почти без сливок, и с маслом, намазанным на ломтики белого хлеба; в Рочестере обедали, также по-английски, то есть не ели ничего, кроме говядины и сыра. Я спросил салату; но мне подали вялую траву, облитую уксусом: англичане не любят никакой зелени. *Рост-биф*, *биф-стекс*¹ есть их обыкновенная пища. Оттого густеет в них кровь; оттого делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и нередко самоубийцами. К сей физической причине их *сплина*² можно прибавить еще две другие: вечный туман от моря и вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над городами и деревнями.

¹ Жареная и битая говядина.

² То есть меланхолии.

Мы проезжали мимо одного огромного замка, построенного на высоком месте, откуда можно видеть несколько городов, множество деревень, рек, море и проч.

— Как счастлив должен быть хозяин этого дому! — сказала наша сопутница, пожилая француженка.

— Нет, — отвечал молодой кентский дворянин, ехавший с нами в карете: — блестящая наружность и прекрасные виды не делают человека благополучным. Я знаю историю хозяина; она горестна.

Англичанин рассказал нам следующее.

— Лорд О. был молод, хорош, богат; но с самого младенчества носил на лице своем печать меланхолии — и казалось, что жизнь, подобно свинцовому бремени, тяготила душу и сердце его. Двадцати пяти лет женился он на знатной и любезной девице, оставил Лондон, приехал в нашу провинцию, в этот огромный замок, построенный и украшенный отцом его, и, несмотря на все ласки, на все нежности милой супруги, предался более, нежели когда-нибудь, мрачной задумчивости и меланхолии. Бедная леди, живучи с ним, страдала и томилась, *semblable à ces flambeaux, à ces lugubres feux, qui brûlent près des morts sans échauffer leur cendre.*¹ — В один бурный вечер он взял ее за руку, привел в густоту парка и сказал:

« — Я мучил тебя; сердце мое, мертвое для всех радостей, не чувствует цены твоей: мне должно умереть — прости!

«В самую сию минуту несчастный лорд прострелил себе голову и упал мертвый к ногам оцепеневшей жены своей. — Уже два года покоится в земле прах его. Чувствительная вдова клялась не выезжать из замка и всякий день проливает слезы на гробе супруга, который был неизъяснимым феноменом в нравственном мире».

Товарищи мои начали рассуждать о сем происшествии; я молчал.

Верст за пять увидели мы Лондон в густом тумане. Купол церкви св. Павла гигантски превышал все другие здания. Близ него — так казалось издали — подымался сквозь дым и мглу тонкий высокий столп, монумент, сооруженный в память пожара, который некогда превратил в пепел большую часть города. Через несколько минут открылось потом и Вестминстерское аббатство, древнее готическое здание, вместе с другими церквями и башнями, вместе с зелеными густыми парками, зверинцами и рощами, окружающими Лондон. — Надобно было спускаться с горы: я вышел из кареты — и, смотря на величественный город, на его окрестности и на большую дорогу, забыл все. Если бы товарищи не хватились меня, то я остался бы один на горе и пошел бы в Лондон пешком.

¹ Схожая с теми факелами, с теми мрачными огнями, которые горят подле мертвецов, не согревал их останков (*ред.*).

На правой стороне между зеленых берегов сверкала Темза, где возвышались бесчисленные корабельные мачты, подобно лесу, опаленному молниями. Вот первая пристань в свете, средоточие всемирной торговли!

Мы въехали в Лондон.

Лондон, июль ... 1790.

Париж и Лондон, два первые города в Европе, были двумя Фаросами моего путешествия, когда я сочинял план его. Наконец вижу и Лондон.

Если великолепие состоит в огромных зданиях, которые, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон совсем не великолепен. Проехав двадцать или тридцать лучших улиц, я не видал ни одних величественных палат, ни одного огромного domu. Но длинные, широкие, гладко вымощенные улицы; большими камнями устланные дороги для пешех; двери домов, сделанные из красного дерева, натертые воском и блестящие, как зеркало; непрерывный ряд фонарей на обеих сторонах; красивые площади (squares), где представляются вам или статуи, или другие исторические монументы; под домами богатые лавки, где сквозь стеклянные двери с улицы видите множество всякого рода товаров; редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых и какое-то общее благоустройство во всех предметах — образуют картину неописанной приятности, и вы сто раз повторяете: *Лондон прекрасен!* Какая розница с Парижем! Там огромность и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят Здоровье и Довольствие с благородным и спокойным видом — лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия; там распудренный, разряженный человек тащится в сверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко — везде светлый простор, несмотря на многолюдство.

Я не знал, где мне приклонить свою голову в обширном Лондоне, но ехал спокойно, весело; смотрел и ничего не думал. Обыкновенное следствие путешествия и переездов из земли в землю! Человек привыкает к неизвестности, страшной для домоседов. *Здесь есть люди: я найду себе место, найду знакомство и приятности* — вот чувство, которое делает его беззаботным гражданином вселенной!

Наконец карета наша остановилась; товарищи мои выпрыгнули и скрылись. Тут вспомнил я, что и мне надлежало итти куда-нибудь с своим чемоданом — куда же? Однажды, всходя в парижской отели своей на лестницу, поднял я карточку, на которой

было написано: *Г. Ромели в Лондоне, на улице Пель-Мель, в 208 номере, имеет комнаты для иностранцев.* Карточка сохранилась в моей записной книжке, и друг ваш отправился к г. Ромели. Вспомните анекдот, что один француз, умирая, велел позвать к себе *обыкновенного* духовника своего; но посланный возвратился с ответом, что духовника его уже лет двадцать нет на свете. Со мною случилось подобное. Г. Ромели скончался за 15 лет до моего приезда в Лондон!.. Надлежало искать другого пристанища: мне отвели уголок в одном французском трактире.

— Комната невелика, — сказал хозяин, — и занята молодым эмигрантом; но он добрый человек и согласится разделить ее с вами.

Товарища моего не было дома; в горнице не нашел я ничего, кроме постели, гитары, карт и... a black pair of silk breeches.¹ В ту же минуту явился английский парикмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвою, намазал голову салом и напудрил мукою... я уже не в Париже, где кисть искусного веселого Ролета² подобно зефиру навевала на мою голову белейший ароматный иней! На мои жалобы: «Ты меня режешь, помада твоя пахнет салом, из пудры твоей хорошо только печь сухари», англичанин отвечал с сердцем: «I dont understand you, sir! (Я вас не разумею!)» И большой человек не есть ли ребенок? Безделица веселит, безделица огорчает его: толстый лондонский парикмахер грубостью своею, как облаком, затмил мою душу. Надевая на себя парижский фрак, я вздохнул о Париже и вышел из дому в задумчивости, которая, однакож, в минуту рассеялась видом прекраснейшей иллюминации... Едва только закатилось солнце, а все фонари на улицах были уже засвечены; их здесь тысячи, один подле другого, и куда ни взглянешь, везде перспектива огней, которые вдали кажутся вам огненною непрерывною нитью, протянутою в воздухе. Я ничего подобного не видывал и не дивлюсь ошибке одного немецкого принца, который, въехав в Лондон ночью и видя яркое освещение улиц, подумал, что город иллюминирован для его приезда. Английская нация любит свет и дает правительству миллионы, чтобы заменять естественное солнце искусственным. Разительное доказательство народного богатства! Французское министерство давало пенсии на *лунный свет*;³ гордый британец смеется, звучит в кармане гинеями и велит Питту зажигать фонари засветло.

Я люблю большие города и многолюдство, в котором человек может быть уединеннее, нежели в самом малом обществе; люблю

¹ С которыми отправился Йорик во Францию, как известно [пара черных шелковых папталон. *Ред.*].

² Имя моего парижского парикмахера.

³ В лунные ночи Париж не освещался; из остатков суммы, определенной на освещение города, давались пенсioны.

смотреть на тысячи незнакомых лиц, которые, подобно китайским теням, мелькают передо мною, оставляя в первах легкие, едва приметные впечатления; люблю теряться душою в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе, — думать, что я средоточие нравственного мира, предмет всех его движений, или пылинки, которая с мириадами других атомов обращается в вихре предопределенных случаев. Философия моя укрепляется, так сказать, видом людской суетности; напротив того, будучи один с собою, часто ловлю свои мысли на мирских ничтожностях. Свет нравственный, подобно небесным телам, имеет две силы: одною влечет сердце наше к себе, а другою отталкивает его: первую живее чувствую в уединении, другую между людей, — но не всякий обязан иметь мои чувства.

Я умствую: извините. Таково действие английского климата. Здесь родились Невтон, Локк и Гоббес!

Надобно смотреть, надобно описывать. — Ошибаюсь или нет; но мне кажется, что первый взгляд на город дает нам лучшее, живейшее об нем понятие, нежели долговременное пребывание, в котором, занимаясь частями, теряем *чувство целого*. Свежее любопытство ловит главные, отличительные знаки места и людей: то, что собственно называется характером и что при долгом, *потворительном* рассматривании затемняется в душе наблюдателя. Таким образом, если бы я, прожив в Лондоне года два, уехал и захотел себе представить его в картине, то мне надлежало бы оживить в памяти своей сильные впечатления нынешнего дня.

Кто скажет вам: *шумный Лондон!* тот, будьте уверены, никогда не видал его. *Многолюден*, правда; но тих удивительным образом, не только в сравнении с Парижем, но даже и с Москвою. Кажется, будто здесь люди или со сна не разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности и спешат отдохнуть. Если бы от времени до времени стук карет не потрясал нерв вашего слуха, то вы, ходя по здешним улицам, могли бы вообразить, что у вас залегли уши. Я входил в разные кофейные дома: двадцать, тридцать человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют красное португальское вино; и хорошо, если в 10 минут услышите два слова — какие же? «Your health, gentleman! (Ваше здоровье!)». Мудрено ли, что англичане славятся глубокомыслием в философии? они имеют время думать. Мудрено ли, что ораторы их в парламенте, заговорив, не умеют кончить? им наскучило молчать дома и в публике.

Спокойствие моих ушей давало полную свободу глазам моим заниматься наружностью предметов, особливо лицами. Женщины и в Лондоне очень хороши, одеваются просто и мило; все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманных грациями. Они ходят как летают; за июню два лакея с трудом успевают бежать. Маленькие ножки, выставляясь из-под кисейной юбки, едва касаются до камней *тротуара*; на белом корсете развевается ост-

индская *шалль*; и на шалль из-под шляпки падают светлые локоны. Англичанки по большей части белокуры; но самые лучшие из них темноволосые. Так мне показалось; а я, право, смотрел на них с большим вниманием! Взглядывал и на англичан, которых лица можно разделить на три рода: на угрюмые, добродушные и зверские. Клянусь вам, что нигде не случилось мне видеть столько последних, как здесь. Я уверился, что Гогард писал с Натуры. Правда, что такие гнусные физиогномии встречаются только в низкой черни лондонского народа; но столь многообразны, живы и разительны, что десяти Лафатеров не достало бы для описания всех дурных качеств, ими изображаемых. Франтов видел я здесь гораздо более, нежели в Париже. Шляпа сахарною головою, густо насаленные волосы и виски до самых плеч, толстый галстук, в котором погребена вся нижняя часть лица, разинутый рот, обе руки в карманах и самая непристойная походка: вот их общие приметы! Не думаю, чтобы из тысячи подобных людей вышел один хороший член парламента. Борк, Фокс, Шеридан, Питт в молодости своей, верно, не бегали по улицам разинямы.

Скажите, друзья мои, нашему П., обожателю англичан, чтоб он тотчас заказал себе дюжину *синих* фраков: это любимый цвет их. Из 50 человек, которые встретятся вам на лондонской улице, по крайней мере двадцать увидите в синих кафтанах. Таким важным замечанием могу кончить письмо свое: остальные наблюдения поберегу для следующих. Скажу только, что я с великим трудом нашел свою *таверну*. Лондонские улицы все одна на другую похожи; надобно было спрашивать, а я дурно выговаривал имя своей и не прежде одиннадцати часов возвратился к любезному моему... чемодану.

Лондон, июля ... 1790.

Я не видал еще никого в Лондоне; не успел взять денег у банкира, но успел слышать в Вестминстерском аббатстве Генделеву ораторию «Мессию», отдав за вход последнюю гинею свою. В оркестре было 900 музыкантов. Пели славная в Европе Мара, синьора Кантелло, Стораче, известный певец Паккиеротти, Норрис и проч. Инструментальною музыкою управлял г. Крамер. Вообразите действие 600 инструментов и 300 голосов, наилучшим образом согласенных, — в огромной зале, при бесчисленном множестве слушателей, наблюдающих глубокое молчание! Какая величественная гармония! какие трогательные арии! гремящие хоры! быстрые перемены чувств! После священного ужаса, вселяемого арией: *Who shall stand when he appears,*¹ — вы в восторге от хора: *Arise, shine, for thy light is come.*² Печаль, грусть

¹ Кто устоит пред лицом его, и проч.

² Восстань и сияй, ибо явился свет твой.

обнимает сердце, когда Мара поет о Христе: He was a man of sorrows, and acquainted with grief.¹ Так называемые *семи-хоры*, вопросами и ответами, производят удивительное действие. Один: Who is the king of glory? Другой: The Lord, strong and mighty. — Who is the king of glory? The Lord of Hosts.² После чего *семи-хор* повторяется всем хором. Я плакал от восхищения, когда Мара пела арию: I know that my Redeemer lives — и дуэт с Паккиеротти: O Death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?³ Я слышал музыку Перголезиеву, Иомеллиеву, Гайденову, но не бывал ничем столько растроган, как Генделевым «Мессиею». И печально и радостно, и великолепно и чувствительно!

Оратория разделяется на три части; после каждой музыканты отдыхали, а слушатели, пользуясь тем временем, завтракали. Я был в ложе с одним купеческим семейством. Меня посадили на лучшем месте и кормили пирогами, но нимало не думали заниматься разговором. Лишь только король с фамилиею вошел в ложу свою, один из моих товарищей ударил меня по плечу и сказал:

— Вот наш добрый Джордж с добрыми детьми своими! Я нарочно наклонюсь, чтобы вы могли лучше видеть их.

Это мне очень полюбилось, и полюбилось бы еще более, если бы он не так сильно ударил меня по плечу. — Вот другой случай; к нам вошла женщина с *афишами* и втерла мне в руки листочек, для того чтобы взять с меня 6 пенсов. Старший из фамилии выдернул его у меня с сердцем, бросил женщине, говоря:

— Ему не надобно; ты хочешь отнять у него деньги; это стыдно. Он иностранец и не умеет отговориться.

«Хорошо, — подумал я: — но для чего ты, господин британец, вырвал листок с такою грубостию? для чего задел меня им по носу?»

Между тем я с приятным любопытством рассматривал королевскую фамилию. У всех добродушные лица, и более немецкие, нежели английские. Вид у короля самый здоровый; никаких следов прежней его болезни в нем не приметно. Дочери похожи на мать: совсем не красавицы, но довольно милостивы. Принц Валлисский хороший мужчина; только слишком толст.

Тут видел я всю лучшую лондонскую публику. Но всех более занимал меня молодой человек в сереньком фраке, видом весьма обыкновенный, но умом своим редкий; человек, который в летах цветущей молодости живет единственно честолюбием, имея целию пользу своего отечества; родителя славного сын достойный, уважаемый всеми истинными патриотами, — одним словом, Виль-

¹ Он испытал горесть, узнал печаль.

² Кто царь славы? Господь небесных вопиств.

³ Жив, жив спаситель мой!.. О смерть! где твое жало? Могила! где победа твоя?

гельм Питт! У него самое английское, спокойное и даже немного флегматическое лицо, на котором, однакож, изображается благородная важность и глубокомыслие. Он с великим вниманием слушал музыку — говорил с теми, которые сидели подле него, — но более казался задумчивым. В наружности его нет ничего особенного, приятного. — Слышав Генделя и увидев Питта, не жалею своей глупости.

Эта оратория дается каждый год, в память сочинителю и в знак признательности английского народа к великим его талантам. Гендель жил и умер в Лондоне.

Из Вестминстерского аббатства прошел я в славный Сент-Джемский парк — несколько изрядных липовых аллей, обширный луг, где ходят коровы, и более ничего!

Лондон, июль ... 1790.

С помощью моих любезных земляков нашел я в Оксфордской улице, близ Cavendish Square, прекрасные три комнаты за полгинею в неделю; они составляют весь второй этаж дома, в котором живут две сестры хозяйки, служанка Дженни, ваш друг — и более никого. «Один мужчина с тремя женщинами! как страшно или весело!» Нимало. Хозяйки мои украшены нравственными добродетелями и седыми волосами; а служанка успела уже рассказать мне тайную историю своего сердца: немец ремесленник пленился ею и скоро будет счастливым ее супругом. В 8 часов утра приносит она мне чай с сухарями и разговаривает со мною о Фильдинговых и Ричардсоновых романах. Вкус у нее странный: например, Ловелас кажется ей несравненно любезнее Грандиссона. Обожая Клементину, Дженни смеется над девицею Байрон, а Клариссу называет умною дурую. Таковы лондонские служанки!

В каждом городе самая примечательнейшая вещь есть для меня самый город. Я уже исходил Лондон вдоль и поперек. Он ужасно длинен, но в иных местах очень узок; в окружности же составляет верст пятьдесят. Распространяясь беспрестанно, он скоро поглотит все окрестные деревни, которые исчезнут в нем, как реки в океане. *Вестминстер* и *Сити* составляют две главные части его: в первом живут по большей части свободные и достаточные люди, а в последнем купцы, работники, матрозы: тут река с великолепными своими мостами, тут биржа; улицы теснее, и везде множество народу. Тут не видите уже той приятной чистоты, которая на каждом шагу пленяет глаза в Вестминстере. Темза, величественная и прекрасная, совсем не служит к украшению города, не имея хорошей набережной (как, например, Нева в Петербурге или Рона в Лионе) и будучи с обеих сторон застроена скверными домами, где укрываются самые бедные жители Лондона. Только в одном месте сделана на берегу терраса (называемая *Адельфи*),

и, к несчастью, в таком, где совсем не видно реки под множеством лодок, нагруженных земляными угольями. Но и в этой неопрятной части города находите везде богатые лавки и магазины, наполненные всякого рода товарами, индейскими и американскими сокровищами, которых запасено тут на несколько лет для всей Европы. Такая роскошь не возмущает, а радует сердце, представляя вам разительный образ человеческой смелости, нравственного сближения народов и общественного просвещения! Пусть гордый богач, окруженный произведениями всех земель, думает, что услаждение его чувств есть главный предмет торговли! Она, питая бесчисленное множество людей, питает деятельность в мире, переносит из одной части его в другую полезные изобретения ума человеческого, новые идеи, новые средства утешаться жизнью.

Нет города столь приятного для пешеходцев, как Лондон: везде подле домов сделаны для них широкие *троттуары*, которые по-русски можно назвать *намостами*; их всякое утро моют служанки (каждая перед своим домом), так что и в грязь и в пыль у вас ноги чисты. Одно только не нравится мне в этом *намосте*; а именно то, что беспрестанно видишь у ног отверстия, которые ночью закрываются, а днем не всегда; и если вы хотя мало задумаетесь, то можете попасть в них, как в западню. Всякое отверстие служит окном для кухни или для какой-нибудь таверны; или тут сыпают земляные уголья; или тут маленькая лестница для схода вниз. Надобно знать, что все лондонские дома строятся с подземельною частью, в которой бывает обыкновенно кухня, погреб и еще какие-нибудь очень несветлые горницы для слуг, служанок, бедных людей. В Париже нищета взбирается под облака, на чердак; а здесь опускается в землю. Можно сказать, что в Париже носят бедных на головах, а здесь топчут ногами.

Домы лондонские все малы, узки, кирпичные, небеленые (для того чтобы вечная копоть от угольев была на них менее приметна) и представляют скучное, печальное единообразие; но внутренность мила: все просто, чисто и похоже на сельское. Крыльцо и комнаты устланы прекрасными коврами; везде светлое красное дерево; нигде не увидишь пылинки; нет больших зал, но все уютно и покойно. Всех входящих к хозяину или к хозяйке вводят в горницу нижнего этажа, которая называется *parlour*; одни родные или друзья могут войти во внутренние комнаты. — Ворот здесь нет: из домов на улицу делаются большие двери, которые всегда бывают заперты. Кто придет, должен стучаться медною скобою в медный замок: слуга один раз, гость два, хозяин три раза. Для карет и лошадей есть особливые конюшенные дворы; при домах же бывают самые маленькие дворики, устланные дерном; иногда и садик, но редко, потому что места в городе чрезвычайно дороги. Их по большей части отдают здесь на выстройку: возьми место, построй дом, живи в нем 15 или 20 лет и после отдай все тому, чья земля.

Что если бы Лондон при таких широких улицах, при таком множестве красивых лавок был выстроен как Париж? Воображение не могло бы представить ничего великолепнее.

Не скоро привыкаешь к здешнему образу жизни, к здешним поздним обедам, которые можно почти назвать ужинами. Вообразите, что за стол садятся в 7 часов! Хорошо тому, кто спит до одиннадцати; но каково мне, привыкшему вставать в восемь? Брожу по улицам; люблюсь, как на вечной ярмонке, разложенными в лавках товарами; смотрю на смешные карикатуры, выставляемые на дверях в *эстампных кабинетах*, и дивлюсь охоте англичан. Как француз на всякий случай напишет песенку, так англичанин на все выдумает карикатуру. Например, теперь лондонский кабинет ссорится с мадридским за Нутка-Соунд. Что ж представляет карикатура? Министры обоих дворов стоят по горло в воде и дерутся в кулачки; у гишпанского кровь бьет уже фонтаном из носу. — Захожу завтракать в пирожные лавки, где прекрасная ветчина, свежее масло, славные пироги и конфеты; где все так чисто, так прибрано, что любо взглянуть. Правда, что такие завтраки не дешевы, и меньше двух рублей не заплатишь, если аппетит хорош. Обедаю иногда в кофейных домах, где за кусок говядины, пудинга и сыру берут также рубли два. Зато велика учтивость: слуга отворяет вам дверь, и миловидная хозяйка спрашивает ласково, что прикажете? — Но всего чаще обедаю у нашего посла, г. С. Р. В., человека умного, достойного, ласкового, который живет совершенно по-английски, любит англичан и любим ими. Всегда нахожу у него человек пять или шесть, по большей части иностранных министров. Обхождение графа приятно и ласково без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо русскую историю, литературу и читал мне наизусть лучшие места из од Ломоносова. Такой посол не уронит своего двора; зато Питт и Гренвиль очень уважают его. Я заметил, что здешние министерские конференции бывают без всяких чинов. В назначенный час министр к министру идет пешком, в фраке. Хозяин, как сказывают, принимает в сертуке; подают чай — высылают слугу — и, сидя на диване, решат важное политическое дело. Здесь нужен ум, а не пышность. Наш граф носит всегда синий фрак и маленький кошелек, который отличает его от всех лондонских жителей: потому что здесь никто кошельков не носит. На лето нанимает он прекрасный сельский дом в Ричмонде (верстах в 10 от Лондона), где я также у него был и ночевал.

Вчерашний день пригласил меня обедать богатый англичанин Бакстер, консул, в загородный дом свой близ Гайд-парка. В ожидании шести часов я гулял в парке и видел множество англичанок верхом. Как они скачут! Приятно смотреть на их смелость и ловкость; за каждую беретор. День был хорош: но вдруг пошел дождь. Все мои амазонки спешили и под тению древних дубов

искали убежища. Я осмелился с одною из них заговорить по-французски. Она осмотрела меня с головы до ног; сказала два раза oui, два раза non — и более ничего. Все хорошо воспитанные англичане знают французский язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю английский. Какая розница с нами! У нас всякий, кто умеет только сказать: comment vous portez-vous? ¹ — без всякой нужды коверкает французский язык, чтобы с русским не говорить по-русски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право, не хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражений для своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши *остроумицы*, которые хотят быть французскими авторами. Бедные! они счастливы тем, что француз скажет об них: pour un étranger, monsieur n'écrit pas mal! ²

Извините, друзья мои, что я так разгорячился и забыл, что меня Бакстер ждет к обеду — совершенно английскому, кроме французского супа. Ростбиф, *потаты*, ³ пудинги и рюмка за рюмкой кларету, мадеры! Мужчины пьют, женщины говорят между собою потихоньку и скоро оставляют нас одних; снимают скатерть, кладут на стол какие-то пестрые салфетки и ставят множество бутылок; снова пить — *тосты*, здоровья! Всякий предлагает свое; я сказал: *вечный мир и цветущая торговля!* Англичане мои сильно хлопнули рукою по столу и выпили до дна. В 9 часов мы встали, все розовые; пошли к дамам пить чай, и наконец всякий отправился домой. Это, говорят, весело! По крайней мере не мне. Не для того ли пьют англичане, что у них вино дорого? они любят хвастаться своим богатством. Или холодная кровь их имеет нужду в разгорячении?

Лондон, июль ... 1790.

Нынешний день провел я как Говард — осматривал темницы — хвалил попечительность английского правления, сожалел о людях и гнушался людьми.

Лучше, если бы совсем не было нужды в тюрьмах; но когда бедный человек все еще проказит и безумствует, то английские должно назвать благодеянием человечества, и французская пословица: il n'y a point de belles prisons ⁴ — здесь отчасти несправедлива.

¹ Как вы поживаете? (*Ред.*)

² Для иностранца господин пишет не плохо! (*Ред.*)

³ Земляные яблоки.

⁴ То есть: «нет на свете хороших темниц».

Я хотел видеть прежде лондонское судилище, Justice-Hall, где каждые 6 недель собираются так называемые *присяжные*, Jury, и судьи для решения уголовных дел. Здесь, друзья мои, отдайте пальму английским законодателям, которые умели жестокое правосудие смягчить человеколюбием, не забыли ничего для спасения невинности и не боялись излишних предосторожностей. Расскажу вам порядок следствий.

Так называемый *мирный судья* есть в Англии первый разбира- тель всех доносов; он призывает к себе обвиняемого, дает очную ставку и возвращает ему свободу, если донос оказывается неосно- вательным; в противном же случае обяывает его явиться в суд или, когда преступление важно, отсылает в темницу. Потом дру- гой судья, именуемый шерифом, избирает от 12 до 24 присяжных (всякого состояния людей, известных по своему доброму поведению), которые снова должны рассмотреть обстоятельства доноса; и если 12 из них не признают доказательств вероятными, то обвиняе- мый выпускается; а если признают, то начинается формальное дело — таким образом.

В день решительного заседания преступник является в суде, выслушивает на себя донос и на вопрос: «как хочет быть судим?» отвечает: «по совести и закону моего отечества». Шериф избирает тогда других присяжных, ровно 12, и судимый имеет право уни- тожить их выбор, доказывая, что они почему-нибудь могут быть пристрастны; и даже без всяких причин может отвергнуть по за- кону 20 человек. Когда же присяжные выбраны, тогда, дав клятву быть верными совести, садятся на свои кресла и вместе с судьями выслушивают дело в присутствии многочисленных зрителей. Доносчик обвиняет, судимый оправдывается сам или через своего адвоката; представляют свидетелей — и наконец, по разобрании всех обстоятельств, один из судей снова предлагает их в ясном сокращении. Присяжные идут в другую комнату, запираются и судят единственно по гласу совести; закон не велит им ни пить, ни есть, пока они на что-нибудь единодушно не согласятся. Вышедши оттуда, говорят только одно слово: *виноват* или *невиноват*, и дело решено без всякой апелляции. Если скажут: *виноват*, то судья прибирают только закон на вину, держась его точного смысла и не входя ни в какие произвольные изъяснения, так что в Англии не будет наказано и самое важное преступление, если закон именно не определяет его. Следственно, здесь нет человека, от которого зависела бы жизнь другого! Не только осудить, но даже и судить нельзя никого без согласия 12 знаменитых граждан. Зато англичане и хвалятся своими уголовными законами более, нежели чем-нибудь, называя установление присяжных священным и божественным. Рассказывают много удивительных случаев, в которых темное чувство истины спасало невинных вопреки всем вероятностям. Например: недавно один ремесленник был судим

в убийстве; разные улики обвиняли его; 11 присяжных согласились произнести решительное слово: *виноват!* двенадцатый не хотел. Товарищи требовали от него причин.

— Не знаю, — отвечал он: — но вид этого человека говорит моему сердцу в его пользу; и я скорее умру с голода, нежели обвиню.

Прошел целый день в споре; и наконец присяжные, изнуренные усталостью, решились оправдать судимого. Через несколько дней нашелся другой убийца: ремесленник был невинен.

Из городского судилища сделан подземельный ход в Невгат, ту славную темницу, которой имя прежде всего узнал я из английских романов. Здание большое и красивое снаружи. На дворе со всех сторон окружили нас заключенные, по большей части важные преступники, и требовали подающей. Зная опытом, что и на лондонских улицах беспрепятственно должно смотреть на часы и держать в руке кошелек, я тотчас схватился за свои карманы среди избалованных воров и разбойников; но тюремщик, поняв мое движение, сказал с видом негодования:

— Государь мой! рассыпьте вокруг себя гинеи; их здесь не троют: таков заведенный мною порядок.

— Для чего же не сделают вас лондонским полицеймейстером? — спросил я; и в доказательство, что верю ему, спрятал обе руки в жилет, бросив колодникам несколько шиллингов.

Мы переходили из коридора в коридор: везде чистота, везде свежий воздух, заражаемый только ядовитым дыханием преступников. Тюремщик, вводя нас в разные комнаты, говорил:

— Здесь сидит *господин* убийца, здесь *господин* вор, здесь *госпожа* фальшивая монетчица.

Не можете вообразить, какие гнусные лица представлялись глазам моим! Порок и злодейство страшно безобразят людей! Признаю, что я сжав сердце ходил за надзирателем и несколько раз спрашивал: *все ли?* Но он хвастался перед нами обширностью своего владения и множеством ему подвластных. В одной комнате заключен молодой человек. Дверь отворилась: он сидел на стуле и писал; приподнял голову и с ласковым видом нам поклонился. Приятное и томное лицо его казалось чуждым злодеянию. Тем более я содрогнулся, когда тюремщик сказал нам, что он хотел умертвить госпожу свою и — любовницу. Она не считала за преступление изменить молодому камердинеру своему; а камердинер в минуту иступления выхватил кинжал и ранил ее в руку. Желаю знать решение присяжных.

В Невгате заключаются не только преступники, но и бедные должники: они разделены с первыми одною стеною. Такое соседство ужасно! И добрый человек может разориться: каково же дышать одним воздухом с злодеями и видеть перед своими окнами

казнь их? ¹ С некоторого времени правительство посылает осужденных в Ботани-Бейскую колонию: отчего Невгат называют ее преддверием; но не чудно ли вам покажется, что некоторые лучше хотят быть с *честью повешены* в Англии, нежели плыть так далеко? «Мы любим свое отечество, — говорят они, — и не терпим дурного общества».

Я читал в Архенгольце описание Кингс-Бенча, ² или темницы для неплатящих должников, — описание, которое может прельстить воображение читателей. Он говорит о приятном местоположении, о садах, о залах, великолепно украшенных, о балах, концертах и весельях всякого рода. Одним словом, сей известный англоман описывает тюрьму едва ли не такими живыми красками, какими Тасс изобразил волшебное жилище Армиды. Сказать вам правду, я не нашел сходства в оригинале Кингс-Бенча с портретом живописца Архенгольца. Вообразите большое место, обнесенное высокою стеною; несколько маленьких домиков, бедно прибранных; множество людей неопрятно одетых, из которых одни ходят в задумчивости по маленькой площади, другие играют в карты или, читая газеты, зевают: вот Кингс-Бенч! Я не видал ничего похожего на сад; но то правда, что есть лавки, в которых покупают и продают заключенные; есть и кофейные дома, которых содержатели сами за долги содержатся в Кингс-Бенче, — это довольно странно! Портные, сапожники и самые нимфы Венерины, там сидящие, отправляют свое ремесло. Но между ими нет ни одной замужней женщины. По английским законам в рассуждении долгов всегда муж за жену отвечает; она дает на себя обязательства, а он, бедняк, или платит, или идет в тюрьму. Последнее спасение для девицы или вдовы, которая не может удовлетворить своих заимодавцев, есть в Англии замужство.

После Кингс-Бенча хотел я видеть заключенных другого рода — пришел к огромному замку, к большим воротам — и глаза мои при входе остановились на двух статуях, которые весьма живо представляют *безумие печальное и свирепое*. «Это Бедлам!» скажете вы и не ошибетесь. Надлежало сыскать надзирателя, который из учтивости сам пошел с нами. Предлинные галереи разделены железною решеткою: на одной стороне женщины, на другой мужчины. В коридоре окружили нас первые, рассматривали с великим вниманием, начинали говорить между собою сперва тихо, потом громче и громче и наконец так закричали, что надобно было зажать уши. Одна брала меня за руку, другая за пучок, третья хотела сдуть пудру с головы моей — и не было конца их ласкам. Между тем некоторые сидели в глубокой задумчивости.

¹ Злодеев казнят перед самым Невгатом.

² Выгода сидеть в Кингс-Бенче, а не в другой тюрьме, покупается деньгами; кто не может ничего дать, того отправляют в Невгат.

— Это сумасшедшие от любви, — сказал надзиратель: — они всегда смирны и молчаливы.

Итак, нежнейшая страсть человеческого сердца и в самом безумии занимает еще *всю душу! сон для внешних предметов* все еще продолжается!.. Я подошел к одной молодой бледной женщине и смотрел на нее. Нам рассказали ее историю. Она француженка, ушла от своих родителей с любовником, молодым англичанином, приехала в Лондон и скоро лишилась своего друга: он умер горячкою. Разум ее после жестокой болезни повредился. Я начинал говорить с нею: она кланялась и не отвечала ни слова. Другая женщина лет в 40 сидела на полу и смотрела в землю: несчастная думает, что она приговорена к смерти и будет сожжена на костре; ничто не может ее разуверить — и когда день пройдет, она говорит: «Завтра, завтра сожгут меня!» Какое ужасное состояние! — Многие из мужчин заставили нас смеяться. Иной воображает себя пушкою и беспрестанно палит ртом своим; другой ревет медведем и ходит на четвереньках. Бешеные сидят особливо; иные прикованы к стене. Один из них беспрестанно смеется и зовет к себе людей, говоря: «Я счастлив! подите ко мне; я вдохну в вас блаженство!» Но кто подойдет, того укусит. — Порядок в доме, чистота, услуга и присмотр за несчастными достойны удивления. Между комнатами сделаны бани, теплые и холодные, которыми медики лечат их. Многие выздоравливают; и при выпуске каждый получает безденежно нужные лекарства для укрепления души и тела. — Надзиратель провел нас в сад, где гуляли самые смиренные из безумных. Один читал газеты: я заглянул в них и сказал: — Это старые.

Безумный улыбнулся очень умно, приподнял свою шляпу и вежливым тоном отвечал мне:

— Государь мой! мы живем в другом свете; что у вас старо, то у нас еще ново!

В Бедламе кончил жизнь свою английский трагик Ли. Может быть, вы не знаете об нем следующего забавного анекдота. Один приятель посетил его в доме сумасшедших. Ли чрезвычайно ему обрадовался, говорил очень умно и привел его на высокую террасу; задумался и сказал:

— Мой друг! хочешь ли быть вместе со мною бессмертным? Бросимся с этой террасы: там внизу, на острых камнях, ожидает нас славная смерть!

Приятель увидел опасность, но отвечал ему равнодушно:

— Ничего не мудрено броситься сверху; гораздо славнее сойти вниз и оттуда вспрыгнуть на террасу.

— Правда, правда! — закричал стихотворец и побежал с лестницы; а приятель между тем убрался домой.

Бедламу обязан я некоторыми мыслями и предлагаю их на ваше рассмотрение. Не правда ли, друзья мои, что в наше время

гораздо более сумасшедших, нежели когда-нибудь? отчего же? от сильнейшего действия страстей, как мне кажется. Не говорю о физических причинах безумия, действующих гораздо реже нравственных. Например: когда бывало столько самоубийств от любви, как ныне? Мужчина стреляется, а нежная, кроткая женщина сходит с ума. Древние не знали романов; рыцари средних веков были честны в любви, но шумная и воинственная жизнь их не давала ей чрезмерно усилиться в сердце. Напротив того, в нашем образе жизни, покойной, роскошной, утонченной, — в свете, где желание нравиться есть первое и последнее чувство молодых и старых; на театре, который можно назвать *театром любви*; в книгах, усеянных, так сказать, ее цветами, — все, все наполняет душу горячим веществом для огня любовного. Девушка двенадцати лет, побывав несколько раз в спектакле, начинает уже задумываться; женщина в 45 лет все еще томится нежностью: та и другая любит *воображением*; одна угадывает, другая вспоминает, — но я, право, не удивлюсь теперь, если покажут мне десяти- или шестидесятилетнюю Сафу! Мужчины тоже; и пусть скажут нам, в какое другое время бывало столько молодых и старых Селадонов и Альцибиадов, сколько их видим ныне? — Возьмем в пример и славолубие: утверждаю, что оно в нынешний век еще сильнее действует, нежели прежде. Я люблю верить всем великим делам древних героев; положим, что Кодры и Деции давали убивать себя и что Курции бросались в пропасть: но фанатизм религии, конечно, более славолубия участвовал в их героизме.¹ Тогда же войны были *народные*; всякий дрался за *свои* Афины, за *свой* Рим. Ныне совсем другое; ныне француз или гишпанец служит волонтером в русской армии единственно из чести; дерется храбро и умирает: вот славолубие!

Душа, слишком чувствительная к удовольствиям страстей, чувствует сильно и неприятности их: рай и ад для нее в соседстве; за восторгом следует или отчаяние, или меланхолия, которые столь часто отворяют дверь... в дом сумасшедших.

Лондон, июля ... 1790.

Здесь терпим всякий образ веры; и есть ли в Европе хотя одна христианская секта, которой бы в Англии не было? Пуритане или кальвинисты, методисты или набожные, пресвитериане, социане, унитане, квакеры, геррингаторы; одним словом, чего хочешь, того просишь. Все же те, которые не принадлежат к главной, или епископской, церкви, называются диссентерами. Мне хочется видеть служение каждой секты — и нынешний день началось мое пилигримство с квакеров. В 12 часов я пришел к ним в церковь:

¹ О рыцарстве средних веков можно сказать то же.

голые стены, лавки и кафедра. Все одеты просто; женщины не только без румян и пудры, но даже и ленточки ни на одной не увидите; мужчины в темных кафтанах без пуговиц и складок. Всякий войдет с постным лицом, ни на кого не взглянет, никому не поклонится, сядет на место и углубится в размышление. Вы знаете, что у них нет ни священников, ни учителей и в церкви проповедуют единственно те, которые вдруг почувствуют в себе действие св. духа. Тогда вдохновенный стремится на кафедру, говорит от полноты сердца, а другие слушают с благоговением. Я крайне любопытствовал видеть такое явление и смотрел на все лица, чтобы схватить, так сказать, первые черты вдохновения. Проходит час, другой: царствует глубокое молчание, которое изредка прерывается... кашлем. Все физиогномии покойны, никто не кривляется; многие засыпают — и друг ваш с ними. Просыпаюсь — смотрю на часы: три — а все еще никто не говорит. Дожидаюсь, снова зеваю, снова засыпаю — наконец вижу пять часов, лишаюсь терпения и ухожу ни с чем! — Господа квакеры! вперед вы меня не заманите!

БИРЖА И КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО

Англичанин царствует в парламенте и на бирже; в первом дает он законы самому себе, а на второй целому торговому миру.

Лондонская биржа есть огромное четвероугольное здание с высокою башнею (на которой вместо флюгера видите изображение сверчка ¹⁾, с колоннадами, портиками и с величественными аркадами над входом. Вошедши во внутренность, прежде всего встречаете глазами статую Карла II на высоком мраморном подножии и читаете в надписи самую грубую лесть и ложь: *отцу отечества, лучшему из королей, утехе рода человеческого*, и проч. Кругом везде амуры, не без смысла тут поставленные: известно, что Карл II любил любить. Стоя на этом месте, куда ни взглянете, видите галерею, где под аркадами собираются купцы, всякий день в 11 часов, и, ходя взад и вперед, делают свои дела до трех. Тут человек человеку даром не скажет слова, даром не пожмет руки. Когда говорят, то идет торг; когда схватятся руками, то дело решено, и кораблю плыть в Новый Йорк или за мыс Доброй Надежды. Людей множество, но тихо; кругом жужжат, а не слышно громкого слова. На стенах прибиты известия о кораблях, пришедших или отходящих; можете плыть, куда только вздумаете: в Малабар, в Китай, в Нутка-Соунд, в Архангельск. Капитан всегда на бирже; уговоритесь — и бог с вами! — Тут славный Лойдов кофейный дом, где собираются лондонские страховщики и куда стекаются новости из всех земель и частей света; тут лежит боль-

¹ Сверчок был гербом архитектора биржи.

шая книга, в которую они вписываются для любопытных и которая служит магазином для здешних журналистов. — Подле биржи множество кофейных домов, где купцы завтракают и пьют. Господин С. ввел меня в один из них — представьте же мое удивление: все люди заговорили со мною по-русски! Мне казалось, что я движением какого-нибудь волшебного прутика перенесен в мое отечество. Открылось, что в этом доме собираются купцы, торгующие с Россиею; все они жилали в Петербурге, знают язык наш и по-своему приласкали меня.

Нынешний же день был я в Королевском обществе. Г. Пар., член его, ввел меня в это славное ученое собрание. С нами пришел еще молодой шведский барон Сил., человек умный и приятный. Входя в залу собрания, он взял меня за руку и сказал с улыбкою:

— Здесь мы друзья, государь мой; ¹ храм наук есть храм мира. Я засмеялся, и мы обнялись по-братски; а г. Пар. закричал: — Bravo! bravo!

Между тем англичане, которые никогда не обнимаются, смотрели на нас с удивлением: им странно казалось, что два человека пришли в ученое собрание целоваться!.. Профаны! вы не разумели нашей мистики; вы не знали, что мы подали хороший пример воюющим державам и что по тайной симпатии действий они скоро ему последуют!

В большой зале увидели мы большой стол, покрытый книгами и бумагами; за столом на бархатных креслах сидел президент, г. Банкс, в шляпе; перед ним лежал золотой скипетр, в знак того, что просвещенный ум есть царь земли. Секретари читали переписку, по большей части с французскими учеными. Г. Банкс всякий раз снимал шляпу и говорил:

— Изъявим такому-то господину благодарность нашу за его подарок!

Он сказывал свое мнение о книгах, но с великою скромностию. — Читали еще другие бумаги, из которых я не разумел половины. Через два часа собрание кончилось, и г. Пар. подвел меня к президенту, который дурно произносит, но хорошо говорит по-французски. Он человек тихий и для англичанина довольно приветливый.

Лондон, июля ... 1790.

Хотя Лондон не имеет столько примечания достойных вещей, как Париж, однакож есть что видеть, и всякий день употребляю несколько часов на осматривание зданий, общественных заведений, кабинетов; например, нынешний день видел у г. Толе (Towley)

¹ Тогда была у нас война со Швециею.

редкое собрание антиков, египетские статуи, древние барельефы, между которыми живет хозяин, как скупец между сундуками.

Англия, богатая философами и всякого рода авторами, но бедная художниками, произвела наконец несколько хороших живописцев, которых лучшие исторические картины собраны в так называемой Шекспировой галлерее. Г. Бойдель вздумал, а художники и публика оказали всю возможную патриотическую ревность для произведения в действо счастливой идеи изобразить лучшие сцены из драм бессмертного поэта как для славы его, так и для славы английского искусства. Охотники сыпали деньгами для ободрения талантов, и более двадцати живописцев неутомимо трудятся над обогащением галлерей, в которой был я несколько раз с великим удовольствием. Зная твердо Шекспира, почти не имею нужды справляться с описанием и, смотря на картины, угадываю содержание. Всего более нравится мне работа Фисли, старинного Лафатерова друга; ¹ он выбирает из Шекспира самое фантастическое или *мечтательное* и с удивительною силою, с удивительным богатством воображения дает *вещественность воздушным его творениям, дает им имя и место, а local habitation and a name*, как сказал один англичанин. Если бы воскрес мечтатель-поэт, как бы обнял он мечтателя-живописца! Картины Гамильтоновы, Ангелики Кауфман, Вестовы также очень хороши и выразительны. — Тут же видел я рисунки всех картин Орфордова собрания, купленного нашею императрицею.

Здесьняя церковь св. Павла почти столько же славна, как римская св. Петра, и есть, конечно, вторая в свете по наружному своему великолепию; вы видали рисунки той и другой: есть сходство, но много и различия. Избавлю себя и вас от подробностей; не хочу говорить о *стиле*, о бесчисленных колоннах, фронтонах, статуях апостолов, королевы Анны, Великобритании с копьем, Франции с короною, Ирландии с арфюю, Америки с луком; и даже не скажу ни слова о величественном куполе. Все это превозносится и знатоками и невеждами. Я заметил для себя одну прекрасную аллегорю; на фронте портика изображен феникс, вылетающий из пламени, с латинскою надписью: *воскресаю!* — что имеет отношение к возобновлению этой церкви, разрушенной пожаром. Окружающий ее балюстрад считается первым в свете. Жаль, что она сжата со всех сторон зданиями и не имеет большой площади, на которой огромность ее показалась бы несравненно

¹ В молодости своей оба они влюбились в одну девицу: Лафатер пожертвовал ему своею любовью. Фисли, уехав в Италию и посвятив себя искусству, перестал отвечать на письма своего друга; но Лафатер всегда говорил об нем с чувством и с жаром.

разительнее! Жаль также, что лондонский вечный дым не пощадил великолепного храма и закоптил его снизу до самого золотого шара, служащего ему короною!

...На месте св. Павла было некогда славное капище Дианы; во втором веке оно превратилось в христианскую церковь, которая через 400 лет была снова украшена и посвящена апостолу Павлу; пять раз горела и не прежде, как в 1711 году, явилась в теперешнем своем виде. Она стоила 12 миллионов рублей.

Лондонская крепость, Tower, построена на Темзе в одиннадцатом веке Вильгельмом Завоевателем, была прежде дворцом английских королей, их убежищем в народных возмущениях, наконец государственною темницею; а теперь в ней монетный двор, арсенал, царская кладовая и — звери!

Я недавно читал Юма, и память моя тотчас представила мне ряд несчастных принцев, которые в этой крепости были заключены и убиты. Английская история богата злодействами; можно смело сказать, что по числу жителей в Англии более, нежели во всех других землях, погибло людей от внутренних мятежей. Здесь католики умерщвляли реформатов, реформаты католиков, роялисты республиканцев, республиканцы роялистов; здесь была не одна французская революция. Сколько добродетельных патриотов, министров, любимцев королевских положило свою голову на эшафоте! Какое остервенение в сердцах! какое иступление умов! Книга выпадает из рук. Кто полюбит англичан, читая их историю? Какие парламенты! Римский сенат во время Калигулы был не хуже их. Прочитав жизнь Кромвеля, вижу, что он возвышением своим обязан был не великой душе, а коварству своему и фанатизму тогдашнего времени. Речи, говоренные им в парламенте, наполнены удивительным безумием. Он нарочно путается в словах, чтобы не сказать ничего: какая ничтожная хитрость! Великий человек не прибегает к таким малым средствам; он говорит дело или молчит. Сколь бессмысленно все говоренное и писанное Кромвелем, столь умны и глубокомысленны сочинения секретаря его Мильтона, который по восшествии на престол Карла II спасся от эшафота своею поэмою, славою и всеобщим уважением.

Дворец Вильгельма Завоевателя еще цел и называется *белою башнею*, white tower: здание безобразное и варварское! Другие короли к нему пристроивали, окружив его стенами и рвами.

Прежде всего показали нам в крепости диких зверей (забаву королей английских со времени Генриха I), а потом большую залу, где хранятся трофеи первого победоносного флота Англии, разбившего славную гишпанскую *армаду*. Я с великим любопытством рассматривал флаги и всякого рода оружие; думал о Филиппе, о Елисавете; воображал смиренную гордость первого

и скромное величие последней; воображал ту минуту, когда герцог Сидония упал на колени перед своим монархом, говоря: «Флот твой погиб!», и когда Филипп, с милостию простирая к нему руку, отвечал: «Да будет воля божия!» — Я воображал всеобщую ревность лондонских граждан и солдат Елисаветиных, когда она в виде Любви и Красоты, как богиня, явилась между ими, говоря: «Друзья! не оставьте меня и отечества!», и когда все они единодушно отвечали: «Умрем за тебя и спасем отечество!»... Заметьте, что не только гишпанская армада, но почти все огромные вооружения древних и новых времен оканчивались стыдом и ничтожностью. Бог слабым помогает! Там горсть греков торжествует над бесчисленными персами; тут голландские рыбаки или швейцарские пастухи истребляют лучшие армии; здесь Венеция или прусский Фридрих противится всей Европе и заключает славный мир.

Оттуда пошли мы в большой арсенал... прекрасный и грозный вид! Стены, колонны, пиластры, все составлено из оружия, которое ослепляет глаза своим блеском. Одно слово — и 100 000 человек будут здесь вооружены в несколько минут. — Внизу под малым арсеналом в длинной галлерее стоит *королевская артиллерия* между столбами, на которых висят знамена, в разные времена отнятые англичанами у неприятелей. Тут же видите вы изображение знаменитейших английских королей и героев: каждый сидит на лошади, в *своих* латах и с мечом *своим*. Я долго смотрел на храброго *Черного принца*.

В царской кладовой показывали нам венец Эдуарда Исповедника, осыпанный множеством драгоценных камней; золотую державу с фиолетовым аметистом, которому цены не полагают; скипетр, так называемые *мечи милосердия, духовного и временного правосудия*, носимые перед английскими королями в обряде коронования, — серебряные купели для царской фамилии и пребогатый *государственный венец*, надеваемый королем для присутствия в парламенте и украшенный большим изумрудом, рубином и жемчугом.

Тут же показывают и топор, которым отрубили голову Анне Грей!!

Наконец ввели нас в монетную, где делают золотые и серебряные деньги; но это английская *Тайная*, и вам говорят: «Сюда не ходите, сюда не глядите; туда вас не пустят!» — Мы видели кучу гиней; но г. надзиратель не постыдился взять с нас несколько шиллингов!

Сент-Джемский дворец есть, может быть, самый беднейший в Европе. Смотря на него, пышный человек не захочет быть английским монархом. Внутри также нет ничего царского. Тут король обыкновенно показывается чужестранным министрам и публике; а живет в королевском дворце, Buckinghamhouse, где

комнаты убраны со вкусом, отчасти работою самой королевы, и где всего любопытнее славные Рафаэлевые картины, или рисунки; их всего 12: 7 у королевы английской, два у короля французского, два у сардинского, а двенадцатый у одного англичанина, который, заняв для покупки сего драгоценного рисунка большую сумму денег, отдал его в залог и получил назад испорченный. На них изображены разные чудеса из нового завета; фигуры все в человеческий рост. Художники считают их образцом правильности и смелости. — Я видел торжественное собрание во дворце; однакож не входил в парадную залу, будучи в простом фраке.

Уайт-гал (White-hall) был прежде дворцом английских королей — сгорел, и теперь существуют только его остатки, между которыми достойна примечания большая зала, расписанная сверху Рубенсом. В сем здании показывают закладенное окно, из которого несчастный Карл сведен был на эшафот. Там, где он лишился жизни, стоит мраморное изображение Иакова II; подняв руку, он указывает пальцем на место казни отца его.¹

Адмиральтейство есть также одно из лучших зданий в Лондоне. Тут заседают пять главных морских комиссаров; они рассылают приказы к начальникам портов и к адмиралам; все выборы флотских чиновников от них зависят.

Палаты лорда-мэра и банк стоят примечательного взгляда; самый огромный дом в Лондоне есть так называемый *Соммерсет-гаус* на Темзе, который еще не достроен и похож на целый город. Тут соединены все городские приказы, комиссии, бюро; тут живут казначеи, секретари и проч. Архитектура очень хороша и величественна. — Еще заметны дома Бетфордов, Честерфильдов, Девонширского герцога, принца Валлисского (который дает, впрочем, дурную идею о вкусе хозяина или архитектора); другие все малы и ничтожны.

Описания свои заключаю я примечанием насчет английского любопытства. Что ни пойдете вы здесь осматривать: церковь ли св. Павла, Шекспирову ли галерею или дом какой, везде находите множество людей, особливо женщин. Немудрено: в Лондоне обедают поздно; и кто не имеет дела, тому надобно выдумывать, чем занять себя до шести часов.

Лондон, июля ... 1790.

Трое русских, М., Д. и я, в 11 часов утра сошли с берега Темзы, сели на ботик и поплыли в Гринич. День прекрасный — мы спокойны и веселы — плывем под величественными арками мо-

¹ Я видел и статую Карла I, любопытную по следующему анекдоту. После его бедственной кончины она была снята и куплена медником, который продал бесчисленное множество шандалов, уверяя, что они вылиты из металла статуи; но в самом деле он спрятал ее и подарил Карлу II при его восшествии на престол — за что был награжден весьма щедро.

стов, мимо бесчисленных кораблей, стоящих на обеих сторонах в несколько рядов: одни с распущенными флагами приходят и втираются в тесную линию; другие с поднятыми парусами готовы лететь на край мира. Мы смотрим, любуемся, рассуждаем — и хвалим прекрасную выдумку денег, которые столько чудес производят в свете и столько выгод доставляют в жизни. Кусок золота — нет, еще лучше: клочок бумажки, присланный из Москвы в Лондон, как волшебный талисман дает мне власть над людьми и вещами: захочу, имею — скажу, сделано. Все, кажется, ожидает моих повелений. Вздумал ехать в Гринич — стукнул в руке беленькими кружками — и гордые англичане исполняют мою волю, пенят веслами Темзу и доставляют мне удовольствие видеть разнообразные картины человеческого трудолюбия и Природы. — Разговор наш еще не кончился, а ботик у берега.

Первый предмет, который явился глазам нашим, был самый предмет нашего путешествия и любопытства: Гриничская госпиталь, где признательная Англия осыпает цветами старость своих мореходцев, орудие величества и силы ее. Немногие пари живут так великолепно, как английские престарелые матрозы. Огромное здание состоит из двух замков, спереди разделенных красивою площадью, а назади соединяемых колоннадами и губернаторским домом, за которым начинается большой парк. Седые старцы, опершись на балюстрад террасы, видят корабли, на всех парусах летящие по Темзе: что может быть для них приятнее? сколько воспоминаний для каждого? Так и они в свое время рассекали волны с Ансоном, с Куком! — С другой стороны, плывущие на кораблях матрозы смотрят на Гринич и думают: «Там готово пристанище для нашей старости! Отечество благодарно; оно призрит и успокоит нас, когда мы в его служении истощим силы свои!»

Все внутренние украшения дома имеют отношение к мореплаванию: у дверей глобусы, в куполе залы компас; здесь Эвр летит с востока и гонит с неба звезду утреннюю; тут Австер, окруженный тучами и молниями, льет воду; Зефир бросает цветы на землю; Борей, размахивая драконовыми крыльями, сыплет снег и град. Там английский корабль, украшенный трофеями, и главнейшие реки Британии, отягченные сокровищами; там изображения славнейших астрономов, которые своими открытиями способствовали успехам навигации. — Имена патриотов, давших деньги Вильгельму III на заведение госпитали, вырезаны на стене золотыми буквами. Тут же представлен и сей любезный англичанам король, попирающий ногами самовластие и тиранство. Между многими другими, по большей части аллегорическими, картинами читаете надписи: *Anglorum spes magna—salus publica—securitas publica.*¹

¹ Великая надежда англов — общественное благо, общественная безопасность (*ред.*).

Каждый из нас должен был заплатить около рубля за свое любопытство; не больно давать деньги в пользу такого славного заведения. У всякого матроза, служащего на королевских и купеческих кораблях, вычитают из жалованья 6 пенсов в месяц на содержание госпиталя; зато всякий матроз может быть там принят, если докажет, что он не в состоянии продолжать службы, или был ранен в сражении, или способствовал отнять у неприятеля корабль. Теперь их 2000 в Гриниче, и каждый получает в неделю 7 белых хлебов, 3 фунта говядины, 2 ф. баранины, $1\frac{1}{2}$ ф. сыру, столько же масла, гороху и шиллинг на табак.

Я папомню вам слово, сказанное в Лондоне Петром Великим Вильгельму III и достойное нашего монарха. Король спросил, что ему более всего полюбилось в Англии? Петр I отвечал:

— То, что госпиталь заслуженных матрозов похожа здесь на дворец, а дворец вашего величества похож на госпиталь.

В Англии много хорошего; а всего лучше общественные заведения, которые доказывают благодетельную мудрость правления. *Salus publica* есть подлинно девиз его. Англичане должны любить свое отечество.

Гринич сам по себе есть красивый городок; там родилась Елисавета. — Мы отобедали в кофейном доме, погуляли в парке, сели в лодку, поплыли, в 10 часов вечера вышли на берег и очутились в каком-то волшебном месте!..

Вообразите бесконечные аллеи, целые леса, ярко освещенные огнями; галереи, колоннады, павильоны, альковы, украшенные живописью и бюстами великих людей; среди густой зелени триумфальные пылающие арки, под которыми гремит оркестр; везде множество людей; везде столы для пиршества, убранные цветами и зеленью. Ослепленные глаза мои ищут мрака; я вхожу в узкую крытую аллею, и мне говорят: «Вот гульбище друидов!»¹ Иду далес; вижу при свете луны и отдаленных огней пустыню и рассеянные холмики, представляющие римский стан; тут растут кипарисы и кедры. На одном пригорке сидит Мильтон — мраморный — и слушает музыку; далес — обелиск, китайский сад; наконец нет уже дороги... Возвращаюсь к оркестру.

Если вы догадливы, то узнали, что я описываю вам славный английский Воксал, которому напрасно хотят подражать в других землях. Вот прекрасное вечернее гульбище, достойное умного и богатого народа!

Оркестр играет по большей части любимые народные песни; поют актеры и актрисы лондонских театров; а слушатели в знак удовольствия часто бросают им деньги.

Вдруг зазвонили в колокольчик, и все бросились к одному месту; я побежал вместе с другими, не зная, куда и зачем. Вдруг

¹ Имя аллеи.

поднялся занавес, и мы увидели написанное огненными словами: *Take care of your pockets!* (Берегите карманы!) (потому что лондонские воры, которых довольно бывает и в Воксале, пользуются этою минутою). В то же время открылась прозрачная картина, представляющая сельскую сцену. «Хорошо! — думал я: — но не стоит того, чтобы бежать без памяти и давить людей».

Лондонский Воксал соединяет все состояния: тут бывают и знатные люди и лакеи, и лучшие дамы и публичные женщины. Одни кажутся актерами, другие зрителями. — Я обходил все галлерей и осмотрел все картины, написанные по большей части из Шекспировых драм или из новейшей английской истории. Большая ротонда, где в ненастное время бывает музыка, убрана сверху до полу зеркалами; куда ни взглянешь, видишь себя в десяти живых портретах.

Часу в двенадцатом начались ужины в павильонах, и в песочке заиграли на рогах. Я отроду не видывал такого множества людей, сидящих за столами, — что имеет вид какого-то великолепного праздника. Мы сами выбрали себе павильон; велели подать цыпленка, анчоусов, сыру, масла, бутылку кларету и заплатили рублей шесть.

Воксал в двух милях от Лондона и летом бывает отворен всякий вечер; за вход платится копеек сорок. — Я на рассвете возвратился домой, будучи весьма доволен целым днем.

ВЫБОР В ПАРЛАМЕНТ

Через каждые семь лет парламент возобновляется. Ныне, по моему счастью, надлежало быть выборам; я видел их.

Вестминстер избирает двух членов. Министры желали лорда Гуда, а противники их Фокса; более не было кандидатов. Накануне избрания угощались безденежно в двух тавернах те вестминстерские жители, которые имеют голос: в одной потчевали министры, а в другой приятели Фоксовы. Я хотел видеть этот праздник: вошел в таверну и должен был выпить стакан вина за Фоксово здоровье. На сей раз англичане довольно шумели... «*Fox for ever!* Да здравствует Фокс! наш добрый, умный Фокс, лисица именем,¹ лев сердцем, патриот, друг вестминстерского народа!» — Тут были всякого рода люди: и лорды и ремесленники. Кто имеет свой уголок в Вестминстере, тот имеет и голос.

На другой день рано поутру отправился я с земляками своими на Ковенгарденскую площадь, уже наполненную народом, так что мы с трудом нашли себе место подле галлерей, которая на это время делается из досок и в которой избиратели записывают свои голоса. Самых кандидатов еще не было; но друзья их работали,

¹ Фокс значит лисица.

Говорили речи, махали шляпами и кричали: «Hood for ever! Fox for ever!»¹ Тут люди в голубых лентах дружески пожимали руку у сапожников. — Вдруг явился человек лет пятидесяти, неопрятно одетый, видом неважный, снял шляпу и показал, что хочет говорить. Все умолкло.

— Сограждане! — сказал он, понюхав несколько раз табак, которым засыпан был весь длинный камзол его: — сограждане! истинная английская свобода у нас давно уже не в моде; но я человек старинный и люблю отечество по-старинному. Вам говорят, что нынешний день есть торжество гражданских прав ваших; но пользуетесь ли вы ими, когда вам предлагают из двух кандидатов выбрать двух членов? Они уже выбраны! Министры с противниками согласились и над вами шутят. (Тут он еще несколько раз понюхал табак, а народ говорил: «Это правда, над нами шутят».) Сограждане! для поддержания ваших прав, драгоценных моему сердцу, я сам себя предлагаю в кандидаты. Знаю, что меня не выберут; но по крайней мере вы будете выбирать. Я Горн Тук: вы обо мне слышали и знаете, что министерство меня не жалует.

— Bravo! — закричали многие: — мы подадим за тебя голоса!

В ту же минуту подошел к нему седой старик на клюках, и все вокруг меня произнесли имя его: Вилькес! Вилькес! Вам, друзья мои, известна история этого человека, который несколько лет играл знаменитую роль в Англии, был страшным врагом министерства, самого парламента, идолом народа; думал только о личных своих выгодах и хотел быть ужасным единственно для того, чтобы получить доходное место; получил его, обогатился и сошел с шумного театра. Он сказал Горну:

— Мой друг! этою дрожащею рукою напишу я имя твое в книге и умру спокойнее, если ты будешь членом парламента.

Горн обнял его с холодным видом и начал нюхать табак.

Горн Тук был во время американской войны проповедником в Брендсфорде, писал в газетах против двора, сидел за то в тюрьме, не унялся и поныне еще ставит себе за честь быть врагом министров. Он говорит сильно, пишет еще сильнее, и многие считают его автором славных «Юнисвых писем».

Раздался голос: «Дайте место кандидатам!» Мы увидели процессию... Напереды знамена с изображением Гудова и Фоксова имени и с надписью: *за отечество, народ, конституцию*. За ними шли друзья кандидатов с разноцветными кокардами на шляпах; за ними сами кандидаты: Фокс, толстый, маленький, черноволосый, с густыми бровями, с румяным лицом, человек лет в 45, в синем фраке, — и Гуд, высокий, худой, лет пятидесяти, в адмиральском зеленом мундире. Они стали на доски, усталые коврами, и каждый говорил народу приветствие. Начался выбор.

¹ Да здравствует Гуд! Да здравствует Фокс! (Ред.)

Избиратели входили в галерею и записывали голоса свои: что продолжалось несколько часов. Между тем мальчик лет тринадцати взлез на галерею и кричал над головою кандидатов: «Здравствуй, Фокс! провались сквозь землю, Гуд!», а через минуту: «Здравствуй, Гуд! провались сквозь землю, Фокс!» Никто не унимал шалуна, а кандидаты даже и не взглянули на него.

Наконец объявили имена новых членов: Гуда и Фокса. За Горна Тука было только 200 голосов; но он вместе с избранными говорил благодарную речь народу и сказал:

— Я никак не думал, чтобы в Вестминстере нашлось 200 патриотов; теперь вижу и радуюсь такому числу.

Тут Фокса посадили на кресла, украшенные лаврами, и в триумфе понесли домой; знамена развевались над его головою, музыка гремела, и тысячи голосов восклицали: «Fox for ever! Виват! ура!» Фокс уже в пятый раз избирается от Вестминстера: итак, немудрено, что он сидел на торжественных креслах очень покойно и свободно, то улыбался, то хмурил густые черные брови свои. — И Гуда хотели нести; но он просил увольнения, и один из друзей его сказал:

— Адмирал наш любит триумфы только на море!

Теперь, друзья мои, опишу вам другого рода происшествие. Сюда недавно приехал курьером из П. господин NN, человек немолодой, который, не жалея толстого брюха своего, скачет из земли в землю, чтобы остальными от прогной червонцами кормить жену и детей своих. Итак, вы не осудите его, что он скуп и, приехав в Лондон, не хотел сшить себе фрака, а ходил по улицам в коротеньком синем мундире, в длинном красном камзоле и в черном бархатном картузе; но здешний народ не вы — мальчики бегали за ним и кричали: «Смотрите, какая чучела!» Мы приступили к нему, чтобы он оделся по-людски, и наконец убедили. Господин NN сделал себе модный фрак, купил прекрасную шляпу и дал нам слово обновить их в день выборов. Мы зашли к нему, чтобы идти вместе на площадь, и ахнули от удивления: он надел сверх кафтана синюю толстую епанчу, а на шляпу какой-то футляр из клеенки, боясь дождя! Мы сорвали с него то и другое; уверили, что небо чисто, — и пошли. Несчастный! Солнце долго сияло, но часу в пятом, когда уже мы возвращались домой, небо затуманилось, ударил дождь, и наш NN бросился под зонтик пирожной лавки, ругая нас немилосердо. Мы остановились и через минуту были окружены множеством людей. Вдруг видим, что приятель наш с кем-то разговаривает очень весело, смеется, рассказывает — и вдруг, оцепенев, бледнеет от ужаса... Что такое?.. у него украли из кармана деньги, которые он беспрестанно держал рукою; но заговорившись с незнакомцем, оратор наш хотел сделать какой-то выразительный жест, вынул из кармана руку и через две секунды не нашел уже в нем кошелька. Подивитесь искусству здешних

воров! Мы советовали бедному NN не брать денег: он не послушался.

Нигде так явно не терпимы вору, как в Лондоне; здесь имеют они свои клубы, свои таверны и разделяются на разные классы: на пехоту и конницу (*footpad, highwayman*), на домовых и карманных (*housebreaker, pickpocket*). Англичане боятся строгой полиции и лучше хотят быть обкрадены, нежели видеть везде караулы, пикеты и жить в городе, как в лагере. Зато они берут осторожность; не возят и не носят с собою много денег и редко ходят по ночам, особливо же за городом. Мы, русские, вздумали однажды в 11 часов ночи ехать в Воксал. Что же? выезжая из города, увидели, что у нас за каретою сидят человек пять с ужасными рожами; мы остановились, согнавши их, но, следуя совету благоразумия, воротились назад. Негодяи могли бы в поле догнать нас и ограбить. В другой раз я и Д. испугали самих воров. Мы гуляли пешком близ Ричмонда, запоздали, сбились с дороги и очутились в пустом месте на берегу Темзы, в бурную ночь, часу в первом; идем и видим под деревом сидящих двух человек. Добрым людям мудрено было в такое время сидеть в поле и на дожде. Что же делать? Спаслись дерзостью, *рауег d'audace*, как говорят французы, — смелым бог владеет, — прямо к ним, скорым шагом! Они вскочили и дали нам дорогу. — В Англии никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор; надобно поймав его на деле и представить свидетелей; иначе вам же беда, если приведете его без неоспоримых законных доказательств.

Т Е А Т Р

Летом бывает здесь только один Гемеркетский театр, на котором, однакож, играют все лучшие ковенгарденские и друриленские актеры.¹ Зрителей всегда множество: и в ложах и в партере; народ бывает в галлерейх. В первый раз видел я Шекспирова «Гамлета» — и лучше, если бы не видал! Актеры говорят, а не играют; одеты дурно, декорации бедные. Гамлет был в черном французском кафтане, с толстым пучком и в голубой ленте; королева в робронде, а король в гишпанской епанче. Лакеи в ливрее приносят на сцену декорацию, одну ставят, другую берут на плеча, тащат — и это делается во время представления! Какая розница с парижскими театрами! Я сердился на актеров не за себя, а за Шекспира и дивился зрителям, которые сидели покойно и с великим вниманием слушали; изредка даже хлопали. Угадайте, какая сцена живее всех действовала на публику? та, где копают могилу для Офелии и где работники, играя словами, говорят, что первый

¹ Два главные лондонские театра.

дворянин был Адам, the first that ever bore arms, ¹ и тому подобное. Одна Офелия занимала меня: прекрасная актриса, ² прекрасно одетая и трогательная в сценах безумия; она напомнила мне Дюгазон в «Нине»; и поет очень приятно. — Я видел еще оперу «Инкле и Ярико» (которую играли не очень хорошо, но гораздо лучше «Гамлета») и еще три комедии или *буфонады*, в которых зрители очень смеялись. — Говорят, что у англичан есть Мельпомена: госпожа Сиддонс, редкая трагическая актриса; но ее теперь нет в Лондоне. Гораздо более нашел я удовольствия в здешней итальянской опере. Играли «Андромаху». Маркези и Мара пели; музыка прекрасная. Дни два отзывался в ушах моих трогательный дуэт:

Quando mai, astri tiranni,
Avran fine i nostri affanni?
Quando paghi mai sarete
Della vostra crudeleta? ³

В театре я купил эту оперу, поднесенную принцу Валлисскому при следующем английском письме, которое перевожу для вас редкую вещь:

«Странно покажется, что я осмеливаюсь поднести итальянскую оперу вашему королевскому высочеству. Хотя Юпитер принимал в жертву быков, но никто не смел дарить его мухами. Принц, столь искусный, как ваше высочество, во всех отвлеченных науках и самой изящнейшей литературе, не может дорожить оперною безделкою. Восхитительные прелести музыки, рассыпанные в сей опере, *озлащают* некоторым образом сей малый труд; но я имею нечто важнейшее для моего оправдания. Славный понтифекс, Леон X, не презрел поднесенной ему книги о *поваренном искусстве*, и мы читаем в Вал. Максиме, что персидский монарх принял в дар старый кафтан с таким снисхождением, что наградил дателя Самосским островом. Первый был самый остроумнейший из владык земных, а второй сильнейший: два качества, которые чудесно соединяются в вашем высочестве. Лучезарное светило не отказывает в улыбке своей ни червячку, ни былинке; а высокая благодетельность вашего сердца не имеет другого примера. — Вашего высочества покорнейший слуга К. Ф. Бадини».

После такого письма я хотел бы лично узнать господина Бадини.

¹ Первый, кто когда-либо носил оружие (*ред.*).

² Виллингтон, если не ошибаюсь.

³ Когда же светила — тираны,
Когда же наступит конец нашим мученьям?
Когда же вы удовлетворитесь
Вашей собственной жестокостью? (*Ред.*)

Лондон, июля ... 1790.

Я хотел итти за город, в прекрасную деревеньку Гамстет; хотел взойти на холм Примроз, где благоухает скошенное сено; хотел оттуда посмотреть на Лондон, возвратиться к ночи в город и ехать в Воксал... но нигде не был, и не жалею. День не пропал: сердце мое было тронуто!

Подле самого Cavendish Square встретился мне старый слепой нищий, которого вела... собачка, привязанная на снурке. Собачка остановилась, начала ко мне ласкаться, лизать ноги мои; нищий сказал томным голосом:

— Добрый господин! сжался над бедным и слепым! My dear sir, I am poor and blind!

Я отдал ему шиллинг. Он поклонился, тронул снурок, и собачка побежала. Я пошел за ними. Собачка вела его серединою *тротуара*, как можно далее от края и всех отверстий, чтобы слепой старик не упал; часто останавливалась, ласкала людей (но не всех, а по выбору: она казалась физиогномистом!), и почти всякий давал нищему. Мы прошли две улицы. Собачка остановилась подле женщины, не молодой, но миловидной и очень бедно одетой, которая против одного дому сидела на стуле, играла на лютне и пела жалобным голосом. Прекрасный мальчик, также бедно одетый, держал в руках несколько печатных листочков, стоял прислонившись к стене и умильно смотрел на поющую. Увидев старика, он подбежал к нему и сказал:

— Добрый Томас! здоров ли ты?

— Слава богу! а мать твоя?.. Как она хорошо поет! послушаю.

Сын начал ласкать собачку; а мать, поговорив с стариком, снова заиграла и запела... Я долго слушал и положил ей на колени несколько пенсов. Мальчик взглянул на меня благодарными глазами и подал мне печатный листок. Это был гимн, который пела мать его. Вместо того чтобы итти за город, я возвратился домой и перевел гимн. Вот он:

Господь есть бедных покровитель
И всех печальных утешитель;
Всевышний зрит, что нужно нам,
И двум тоскующим сердцам
Пошлет в свой час отраду.
Отдаст ли нас он в жертву гладу?
Забудет ли отец детей?
Прохожий сжалится над нами
(Есть сердце у людей!),
А мы молитвой и слезами
Заплатим долг ему.

В словах нет ничего отменного; но если бы вы, друзья мои, слышали, как бедная женщина пела, то не удивились бы, что я переводил их — со слезами.

РАНЕЛА

Нынешнюю ночь карета служила мне спальнею! — В 8 часов отправились мы, русские, в Ранела пешком; не шли, а бежали, боясь опоздать; устали до смерти, потому что от моей улицы до Ранела, конечно, не менее пяти верст, и в десятом часу вошли в большую круглую залу, прекрасно освещенную, где гремела музыка. Тут в летние вечера собирается хорошее лондонское общество, чтобы слушать музыку и гулять. В ротонде сделаны в два ряда ложи, где женщины и мужчины садятся отдыхать, пить чай и смотреть на множество людей, которые вертятся в зале. Мы взглянули на собрание, на украшения залы, на высокий оркестр и пошли в сад, где горел фейерверк; но любуясь им, чуть было не подвергнулись судьбе Семелиной: искры осыпали нас с головы до ног. — Возвратясь в ротонду, я сел в ложе подле одного старика, который насвистывал разные песни, как Стернов дядя Тоби, но, впрочем, не мешал мне молчать и смотреть на публику. Может быть, действие свеч обманывало глаза мои: только мне казалось, что я никогда еще не видывал вместе столько красавиц и красавцев, как в Ранела; а вы согласитесь, что такое зрелище очень занимательно. К несчастью, у меня страшно болела голова, и я во втором часу, оставив товарищей своих веселиться, пошел искать кареты; с трудом нашел, сел, велел везти себя в Оксфордскую улицу и заснул. Просыпаюсь у своего дому — вижу день — смотрю на часы: пять... итак, я три часа ехал! Кучер сказал, что мы около двух стояли на одном месте и что никак нельзя было проехать за множеством карет.

Лондон, июля ... 1790.

Нынешнее утро видел я в славном Британском музее множество древностей египетских, этрусских, римских, жертвенных орудий, американских идолов и проч. Мне показывали одну египетскую глиняную ноздреватую чашу, которая имеет удивительное свойство: если налить ее водою и вложить в который-нибудь из ее наружных поров салатное семя, то оно распустится и через несколько дней произведет траву. Я с любопытством рассматривал еще *лакриматории*, или маленькие глиняные и стеклянные сосуды, в которые римляне плакали на погребениях; но всего любопытнее был для меня оригинал Магны Харты, или славный договор англичан с их королем Иоанном, заключенный в 13 веке и служащий основанием их конституции. Спросите у англичанина, в чем состоят

ее главные выгоды? Он скажет: *я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме законов.* Разогните же Магну Харту: в ней король утвердил клятвенно сии права для англичан — и в какое время? когда все другие европейские народы были еще погружены в мрачное варварство.

Из музеума прошел я в дом Ост-Индской компании и видел с удивлением огромные магазины ее. Общество частных людей имеет в совершенном подданстве богатейшие обширные страны мира, целые (можно сказать) государства; избирает губернаторов и других начальников; содержит там армию, воюет и заключает мир с державами! Это беспремерно в свете. Президент и 24 директора управляют делами. Компания продает свои товары всегда с публичного торгу — и хотя снабжает ими всю Европу; хотя выручает за них миллионы, однакож расходы ее так велики, что она очень много должна. Следственно, ей более славы, нежели прибыли; но согласитесь, что английский богатый купец не может завидовать никакому состоянию людей в Европе!

СЕМЕЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Берега Темзы прекрасны; их можно назвать цветниками — и, вопреки английским туманам, здесь царствует Флора. Как милы сельские домики, оплетенные розами снизу до самой кровли¹ или густо осененные деревьями, так что ни один яркий луч солнца не может в них проникнуть!

Но картина добрых нравов и семейственного счастья всего более восхищает меня в деревнях английских, в которых живут теперь многие достаточные лондонские граждане, делаясь на лето поселянами. Всякое воскресенье хожу в какую-нибудь загородную церковь слушать нравственную, ясную проповедь во вкусе Йориковых и смотреть на спокойные лица отцов и супругов, которые все усердно молятся всевышнему и просят, кажется, единственно о сохранении того, что уже имеют. В церквях сделаны ложи — и каждая занимается особливим ссмейством. Матери окружены детьми — и я нигде не видывал таких прекрасных малюток, как здесь: совершенно *кровь с молоком*, как говорят русские: одушевленные цветочки, любезные зефиру; все маленькие Эмили, все маленькие Софии. Из церкви каждая семья идет в свой садик, который разгоряченному воображению кажется по крайней мере уголком Мильтонова эдема; но, к счастью, тут нет змея-искусителя: миловидная хозяйка гуляет рука в руку с мужем своим, а не с прелестником, не с *чичисбеем*... одним словом, здесь редкий холостой человек не вздохнет, видя красоту и счастье детей, скромность

¹ Вид прекрасный. Ветви с цветами, нарочно поднятые вверх, переплетаются и достают до кровли низеньких домиков.

и благопрание женщин. Так, друзья мои, здесь женщины скромны и благоправны, следственно, мужья счастливы; здесь супруги живут для себя, а не для света. Я говорю о среднем состоянии людей; впрочем, и самые английские лорды и самые английские герцоги не знают того всегдашнего рассеяния, которое можно назвать стихиею нашего так называемого *хорошего общества*. Здесь бал или концерт есть важное происшествие: об нем пишут в газетах. У нас правило: *вечно быть в гостях или принимать гостей*. Англичанин говорит: *я хочу быть счастливым дома и только изредка иметь свидетелей моему счастью*. Какие же следствия? Светские дамы, будучи всегда на сцене, привыкают думать единственно о театральных добродетелях. Со вкусом одеться, хорошо войти, приятно взглянуть есть важное достоинство для женщины, которая живет в гостях, а дома только спит или сидит за туалетом. Ныне большой ужин, завтра бал: красавица танцует до пяти часов утра; и на другой день до того ли ей, чтобы заниматься своими нравственными должностями? Напротив того, англичанка, воспитываемая для домашней жизни, приобретает качества доброй супруги и матери, украшая душу свою теми склонностями и навыками, которые предохраняют нас от скуки в уединении и делают одного человека сокровищем для другого. Войдите здесь поутру в дом: хозяйка всегда за рукодельем, за книгою, за клавесином, или рисует, или пишет, или учит детей, в приятном ожидании той минуты, когда муж, отпразднвав свои дела, возвратится с биржи, выдет из кабинета и скажет: «Теперь я твой! теперь я ваш!» Пусть назовут меня чем кому угодно; но признаюсь, что я без какой-то внутренней досады не могу видеть молодых супругов в свете и говорю мысленно: «Несчастные! что вы здесь делаете? Разве дома, среди вашего семейства, в объятиях любви и дружбы, вам не сто раз приятнее, нежели в этом пусто-блестящем кругу, где не только добрые свойства сердца, но и самый ум едва ли не без дела; где знание какой-то приличности составляет всю науку; где *быть не странным* есть верх искусства для мужчины и где две, три женщины бывают для того, чтобы удивлялись красоте их, а все прочие... бог знает, для чего; где с большими издержками и хлопотами люди проводят несколько часов в утомительной игре ложного веселья? Если у вас нет детей, мне остается только жалеть, что вы не умеете наслаждаться друг другом и не знаете, как мило проводить целые дни с любезным человеком, деля с ним дело и безделье, в полной душевной свободе, в мирном расположении сердца. А если вы родители, то пренебрегаете одну из святейших обязанностей человечества. В самую ту минуту, когда ты, беспечная мать, прыгаешь в контрдансе, маленькая дочь твоя падает, может быть, из рук неосторожной кормилицы, чтобы на всю жизнь сделаться уродом, или семилетний сын, оставленный с наемным учителем и слугами, видит какой-нибудь дурной пример,

который сеет в его сердце порок и несчастье. Сидя за клавишном среди блестящего общества, ты, красавица, хочешь нравиться и поешь, как малиновка; но малиновка не оставляет птенцов своих! Одна попечительная мать имеет право жаловаться на судьбу, если нехороши дети ее; а та, которая светские удовольствия предпочитает семейственным, не может назваться попечительною».

И каким опасностям подвержена в свете добродетель молодой женщины? Скажите, не виновна ли она перед своим мужем, как скоро хочет нравиться другим? Что же иное может питать склонность ее к светским обществам? Слабости имеют свою постепенность, и переливы едва приметны. Сперва молодая супруга хочет только заслужить общее внимание или красотою, или любезностию, чтобы *оправдать выбор ее мужа*, как думает; а там родится в ней желание нравиться какому-нибудь *знатоку* более, нежели другому; а там — надобно хитрить, заманивать, подавать надежду; а там... не увидишь, как и сердце вмешается в планы самолюбия; а там — бедный муж! бедные дети!

Всего же несчастнее она сама. Хорошо, если бы до конца можно было жить в упоении страстей; но есть время, в которое все оставляет женщину, кроме ее добродетели; в которое одна благодарная любовь супруга и детей может рассеять грусть ее о потерянной красоте и многих приятностях жизни, увядающих вместе с цветом наружных прелестей. Что если оскорбленный муж убегает тогда ее взоров; если дурно воспитанные дети, не обязанные ей ничем, кроме несчастной жизни и пороков своих, всякий час растрavляют раны сердца ее знаками холодности, целюбви, самого презрения?.. Обратится ли к свету? Но там время переломило ее скипетр, угодники исчезли — зефир опахала ее не приманивает уже сильфов — и разве подобная ей несчастная кокетка сядет подле нее, чтобы излить желчь свою на умы и на сердца людей.

Говорю о женщинах для того, что сердцу моему приятнее заниматься ими; но главная вина, без всякого сомнения, на стороне мужчин, которые не умеют пользоваться своими правами для взаимного счастья и лучше хотят быть строптивыми рабами, нежели умными, вежливыми и любезными властелинами нежного пола, созданного прельщать, следственно, не властвовать, потому что сила не имеет нужды в прельщении. Часто должно жалеть о *муже*, но о *мужьях* никогда. Мягкое женское сердце принимает всегда образ нашего; и если бы мы вообще любили добродетель, то милые красавицы из кокетства сделались бы добродетельными.

Я всегда думал, что дальнейшие успехи просвещения должны более привязать людей к домашней жизни. Не пустота ли душевная увлекает нас в рассеяние? Первое дело истинной философии есть обратить человека к неизменным удовольствиям *Натуры*. Когда голова и сердце заняты дома приятным образом; когда в руке

книга, подле милая жена, вокруг прекрасные дети, захочется ли ехать на бал или на большой ужин?

Мысль моя не та, чтобы супруги должны были всю жизнь провести с глазу на глаз. Гименей не есть ни тюремщик, ни отшельник, и мы рождены для общества; но согласитесь, что в светских собраниях всего менее наслаждаются обществом. Там нет места ни рассуждениям, ни рассказам, ни изливаниям чувства; всякий должен сказать слово мимоходом и увернуться в сторону, чтобы пустить другого на сцену; все беспокоит, чтобы не проговориться и не обличить своего невежества в *хорошем тоне*. Одним словом, это вечная дурная комедия, называемая *принуждением* без связи, а всего более без интереса. — Но приятностию общества наслаждаемся мы в коротком обхождении с друзьями и сердечными приятелями, которых первый взор открывает душу; которые приходят к нам меняться мыслями и наблюдениями, шутить в веселом расположении, грустить в печальном. Выбор таких людей зависит от ума супругов; и не всего ли ближе искать их между теми, которых сама Натура предлагает нам в друзья, то есть между родственниками? О милые союзы родства! вы бываете твердейшею опорой добрых нравов — и если я в чем-нибудь завидую нашим предкам, то, конечно, в привязанности их к своим ближним.

Вольтер в конце своего остроумного и безобразного романа ¹ говорит: «Друзья! пойдем работать в саду!» — слова, которые часто отзываются в душе моей после утомительного размышления о тайне рока и счастья. Можно еще примолвить: «Пойдем любить своих домашних, родственников и друзей; а прочее оставим на произвол судьбы!»

Не смотря на лондонскую огромную церковь св. Павла; не глядя на Темзу, через которую великолепные мосты перегибаются и на которой пестреют флаги всех народов; не удивляясь богатству магазинов Ост-Индской компании и даже не в собрании здешнего Ученого королевского общества говорю я: *англичане просвещены!* нет; но видя, как они умеют наслаждаться семейственным счастьем, твержу сто раз: *англичане просвещены!*

ЛИТЕРАТУРА

Литература англичан, подобно их характеру, имеет много *особенности* и в разных частях превосходна. Здесь отечество *живописной поэзии* (Poésie descriptive): французы и немцы переняли сей род у англичан, которые умеют замечать самые мелкие черты в Природе. По сие время ничто еще не может сравниться с Томсоновыми «Временами года»; их можно назвать зеркалом Натуры.

¹ «Кандида».

Сен-Ламбер лучше нравится французам; но он в своей поэме кажется мне парижским щеголем, который, выехав в загородный дом, смотрит из окна на сельские картины и описывает их в хороших стихах; а Томсона сравню с каким-нибудь швейцарским или шотландским охотником, который с ружьем в руке всю жизнь бродит по лесам и дебрям, отдыхает иногда на холме или на скале, смотрит вокруг себя, и что ему полюбится, что Природа вдохнет в его душу, то изображает карандашом на бумаге. Сен-Ламбер кажется приятным гостем Натуры, а Томсон ее родным и домашним. — В английских поэтах есть еще какое-то *простодушие*, не совсем древнее, но сходное с гомеровским; есть меланхолия, которая изливается более из сердца, нежели из воображения; есть какая-то странная, но приятная мечтательность, которая, подобно английскому саду, представляет вам тысячу неожиданных вещей. — Самым же лучшим цветком британской поэзии считается Мильтоново описание Адама и Евы и Драйденова ода на музыку. Любопытно знать то, что поэма Мильтонова, в которой столь много прекрасного и великого, сто лет продавалась, но едва была известна в Англии. Первый Аддисон поднял ее на высокий пьедесталь и сказал: «Удивляйтесь!»

В драматической поэзии англичане не имеют ничего превосходного, кроме творений одного автора; но этот автор есть Шекспир, и англичане богаты!

Легко смеяться над ним не только с Вольтеровым, но и с самым обыкновенным умом; кто же не чувствует великих красот его, с тем — я не хочу и спорить! Забавные Шекспировы критики похожи на дерзких мальчиков, которые окружают на улице странно одетого человека и кричат: «Какой смешной! какой чудак!»

Всякий автор ознаменован печатью своего века. Шекспир хотел нравиться современникам, знал их вкус и угождал ему; что казалось тогда остроумием, то ныне скучно и противно: следствие успехов разума и вкуса, на которые и самый великий гений *не может взять мер своих*. Но всякий истинный талант, платя дань веку, творит и для вечности; современные красоты исчезают, а общие, основанные на сердце человеческом и на природе вещей, сохраняют силу свою как в Гомере, так и в Шекспире. Величие, истина характеров, занимательность приключений, *откровение* человеческого сердца и великие мысли, рассеянные в драмах британского гения, будут всегда их магиею для людей с чувством. Я не знаю другого поэта, который имел бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое воображение; и вы найдете все роды поэзии в Шекспировых сочинениях. Он есть любимый сын богини Фантазии, которая отдала ему волшебный жезл свой; а он, гуляя в диких садах воображения, на каждом шагу творит чудеса!

Еще повторяю: у англичан один Шекспир! Все их новейшие трагики только что *хотят* быть сильными, а в самом деле слабы духом. В них есть шекспировский *бомбаст*, а нет Шекспирова гения. В изображении страстей всегда почти заходят они за предел истины и Натуры, может быть оттого, что обыкновенное, то есть истинное, мало трогает сонные и флегматические сердца британцев: им надобны ужасы и громы, резанье и погребения, исступление и бешенство. Нежная черта души не была бы здесь примечена; тихие звуки сердца без всякого действия исчезли бы в лондонском партере. — Славная Аддисонова трагедия хороша там, где Катон говорит и действует; но любовные сцены несносны. Нынешние любимые драмы англичан: «Grecian Daughter», «Fair penitent», «Jean Shore»¹ и проч., трогают более содержанием и картинами, нежели чувством и силою авторского таланта. — Комедии их держатся запутанными интригами и карикатурами; в них мало истинного остроумия, а много *буффонства*; здесь Талия не смеется, а хохочет.

Примечания достойно то, что одна земля произвела и лучших романистов и лучших историков. Ричардсон и Фильдинг выучили французов и немцев писать романы как *историю жизни*, а Робертсон, Юм, Гиббон влияли в историю привлекательность любопытнейшего романа умным расположением действий, живописью приключений и характеров, мыслями и слогом. После Фукидита и Тацита ничто не может сравниться с историческим триумвиратом Британии.²

Новейшая английская литература совсем недостойна внимания: теперь пишут здесь только самые посредственные романы, а стихотворца нет ни одного хорошего. Йонг, гроза счастливых и утешитель несчастных, и Стерн, оригинальный живописец чувствительности, заключили фалангу бессмертных британских авторов.

А я заключу это письмо двумя, тремя словами об английском языке. Он всех на свете легче и проще, совсем почти не имеет грамматики, и кто знает частицы *of* и *to*, знает склонения; кто знает *will* и *shall*, знает спряжения; все неправильные глаголы можно затвердить в один день. Но вы, читая как азбуку Робертсона и Фильдинга, даже Томсона и Шекспира, будете с англичанами немы и глухи; то есть ни они вас, ни вы их не поймете. Так труден английский выговор и столь мудрено узнать слухом то слово, которое вы знаете глазами! Я все понимаю, что мне напишут, а в разговоре должен угадывать. Кажется, что у англичан рты связаны или на отверстие их положена министерством большая пошлина: они чуть, чуть разводят зубы, свистят, намекают,

¹ «Дочь Греции», «Прекрасный кающийся грешник», «Джен Шор» (ред.).

² То есть с Робертсоном, Юмом и Гиббоном.

а не говорят. Вообще английский язык груб, неприятен для слуха, но богат и обработан во всех родах для письма — богат *краденным* или (чтоб не оскорбить британской гордости) *отнятым* у других. Все ученые и по большей части нравственные слова взяты из французского или из латинского, а коренные глаголы из немецкого. Римляне, саксонцы, датчане истребили и британский народ и язык их; говорят, что в Валлисе есть некоторые его остатки. Пестрота английского языка не мешает ему быть сильным и выразительным; а смелость стихотворцев удивительна; но гармонии и того, что в риторике называется *числом*, совсем нет. Слова отрывистые, фразы короткие, и ни малого разнообразия в периодах! Мера стихов всегда одинакая: ямбы в 4 или в 5 стоп с мужеским окончанием. — Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет как гордая, величественная река — шумит, гремит — и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!

Лондон, августа ... 1790.

В 8 часов вечера я позвонил в своем маленьком кабинете, и вместо моей Дженни (которая, сказать правду, не очень красива собою) вошла ко мне прелестная девушка лет семнадцати. Я удивился и смотрел на нее в молчании. Она спрашивала: «что угодно господину?», краснелась, присядала, глядела в землю и наконец изъяснила мне, что Дженни, пользуясь воскресеньем, гуляет за городом, а она взялась на несколько часов заступить ее место в доме. Я хотел знать имя красавицы? — София. — Ее состояние? — Служанка в пансионе. — Ее забавы, удовольствия в жизни? — Работа, милость госпожи, хорошая книжка. — Ее надежды? — Накопить несколько гиней и возвратиться в Кентское графство к старику отцу, который живет в большой нужде. — София принесла мне чай, налила, по усильной просьбе моей сама выпила чашку, но никак не хотела сесть и при всяком слове краснелась, хотя я остерегался нескромности в разговоре с нею. Впрочем, к моему удивлению, английские фразы сами собою мне представлялись, и если бы я всякий день мог говорить с прелестною Софиею, то через месяц заговорил бы как — оратор парламента! С чувством скажу вам, друзья мои, что англичанки и в самом низком состоянии чрезвычайно любезны своею кротостию.

В нынешнее воскресенье поговорю о воскресеньи. Оно здесь свято и торжественно; самый бедный поденщик перестает работать; купец запирает лавку, биржа пустует, спектакли затворяются, музыка молчит. Все идет к обедне; люди, привязанные своими упражнениями и делами к городу, разъезжаются по деревням;

народ толпится на гульбищах, и бедный по возможности наряжается. Что у французов *генгеты*, то здесь *thea-gardens*, или сады, где народ пьет чай и пунш, ест сыр и масло. Тут-то во всей славе являются горничные девушки в длинных платьях, в шляпках, с веерами; тут ищут они себе женихов и счастья; видятся с своими знакомыми, угощают друг друга и набираются всякого рода анекдотами, замечаниями на целую неделю. Тут, кроме слуг и служанок, гуляют ремесленники, сидельцы, аптекарские ученики—одним словом, такие люди, которые имеют уже некоторый вкус в жизни и знают, что такое хороший воздух, приятный сельский вид и проч. Тут соблюдается тишина и благопристойность; тут вы любите англичан.

Но если хотите, чтобы у вас помутилось на душе, то загляните ввечеру в подземельные таверны или в *питейные дома*, где веселится подлая лондонская чернь! — Такова судьба гражданских обществ! хорошо сверху, в середине, а вниз не заглядывай. Дрожжи и в самом лучшем вине бывают столь же противны вкусу, как и в самом худом.

Дурное напоминает дурное: скажу вам еще, что на лондонских улицах ввечеру видел я более ужасов разврата, нежели и в самом Париже. Оставляя другое (о чем можно только говорить, а не писать), вообразите, что между несчастными жертвами распутства здесь много двенадцатилетних девушек! вообразите, что есть мергеры, к которым изверги-матери приводят дочерей на смотр и торгуются!

Я начал письмо свое невинностию, а кончил предметом омерзения! — Любезная София! прости меня.

ВЕСТМИНСТЕР

Славная Вестминстерская зала (*Westminsterhall*) построена еще в одиннадцатом веке, как некоторые историки утверждают. Она считается самую огромнейшею в Европе, и свод ее держится сам собою, без столбов. В ней торжествуется коронация английских монархов; в ней бывают и чрезвычайные заседания Верхнего парламента, когда он судит государственного пэра. Таким образом случилось мне видеть там суд Гастингса, *Hasting's trial*, который уже 10 лет продолжается и который был для меня любопытен. Достав билет через нашего посла, я занял место в верхней галлерее среди множества зрителей. Мы долго ждали. Наконец явился Фокс, в черном французском кафтане, с кипюю бумаг; а за ним Борк, художавый старик в очках, также в черном кафтане и с бумагами. Вы знаете, что Нижний парламент именем народа обвиняет Гастингса, бывшего губернатора Ост-Индии, в разных преступлениях и выбрал адвокатами Борка, Фокса и Шеридана, чтобы доказывать вины его в судилище лордов. Отворились боль-

шие двери — и судьи, члены Верхнего парламента, вошли тихо и торжественно друг за другом в своих мантиях, а духовные, то есть епископы, в высоких шапках и сели по местам. Фокс стал напротив лорда канцлера и начал говорить речь, которая продолжалась целые... четыре часа! Он исчислял все доказательства Гастингсова корыстолюбия, все его незаконные дела, оскорбительные для чести, для имени английского народа; говорил сильно, иногда с жаром и отдыхал единственно тогда, когда надлежало представить улики в подлиннике. В таком случае Борк заступал место его и читал бумаги; а ритор садился на стул, утираясь белым платком, и через 5 минут снова начинал говорить. Я не столько жалел Фоксовой груди, сколько бедных лордов — слушать, по крайней мере сидеть столько времени на одном месте, без движения, с важностию, с видом внимания! Фокс требовал от них не бездельки, а жизни Гастингсовой, называя его вором, злодеем, чудовищем — и в присутствии его самого. Гастингс, старик лет за шестьдесят, седой, худенький, в голубом французском кафтане, сидел на креслах подле самого ратора, который над его головою требовал его головы! Но умный старик казался совершенно покойным, равнодушным; даже худо слушал, посматривая то на судей, то на своих двух адвокатов, которые с великою прилежностью записывали обвинения, сидя подле клиента. Он уверен, что его оправдают; но виноват ли он подлинно? — спросите вы. Против человечества — виноват; против Англии — нет. Гастингс не злодей в сердце своем; но зная тайную политику английского министерства, зная выгоды Ост-Индской компании, жертвовал, может быть, собственными благородными чувствами тому предмету, для которого послали его в Индию; тиранствовал, чтобы утвердить там власть англичан, и, стараясь умножать доходы компании, умножил, может быть, и свои — за что, однакож, министры не предадут его в жертву парламентским говорунам. Англичанин человеколюбив у себя; а в Америке, в Африке и в Азии едва не зверь; по крайней мере с людьми обходится там, как с зверями; накопит денег, возвратится домой и кричит: «Не тронь меня; я человек!» Торжество английского правосудия состоит единственно в том, что Гастингса бранят, разоряют именем закона; риторы истощают свое красноречие, занимают публику, журналистов; лорды зевают, дремлют на больших креслах; всякий делает свое дело — и довольно! Что принадлежит до Фоксова таланта, то я назову его скорее *складною говорливостию*, нежели красноречием; слова текут рекою, но нет сильных ораторских движений; много разительной логики, только много и лишнего. В Шеридане более пиитического жара, но менее логической силы, как говорят критики; а славный Борк уже стареется. — Наконец Фокс кончил, поклонился и сошел с кафедры. Один из Гастингсовых адвокатов сказал царям:

*

— Милорды! Генерал NN не успел представить вам отзыва в пользу нашего клиента; уехал в свое отечество, в Швейцарию, для поправления здоровья; но он скоро возвратится.

Тут Борк выступил вперед и примолвил с важным видом:

— Милорды! пожелаем господину генералу счастливого пути и лучшего здоровья!

Все лорды, все зрители засмеялись; встали — и пошли домой.

Подле Вестминстерской залы, в остатках огромного дворца, который сгорел ¹ при Генрихе VIII, собирается обыкновенно Верхний и Нижний парламент. В заседаниях первого не бывает никого, кроме членов; я мог видеть только залу собрания, украшенную богатыми обоями, на которых изображено разбитие гишпанской армады. В конце залы возвышается королевский трон, а подле два места для старших принцев крови; за тронном сидят молодые лорды, которые не имеют еще голоса; на правой стороне епископы, против короля пэры, герцоги и проч. Замечания достойно то, что канцлер и оратор сидят на *шерстяных шарах*: древнее и, как уверяют, символическое обыкновение! Шар означает важность торговли (не знаю, почему), а шерсть суконные английские фабрики, требующие внимания лордов.

Зала Нижнего парламента соединяется с первой длинным коридором; она убрана деревом. Тут для зрителей сделаны галлереи. Кафедры нет. Президент, называемый оратором, сидит на возвышенном месте между двух клерков, или секретарей, за столом, на котором лежит золотой скипетр; они трое должны быть всегда в шпанских париках и в мантиях; все прочие в обыкновенных кафтанах, в шляпах сидят на лавках, из которых одна другой выше. Кто хочет говорить, встает и, снимая шляпу, обращает речь свою к президенту, то есть к оратору, который, подобно дядьке, унимает их, если они заговорят не дело, и кричит: «to order! (в порядок!)» Члены могут всячески бранить друг друга, только не именуя, а, например, так: «почтенный господин, который говорил передо мною, есть глупец», — и проч. Министрам часто достается; они иногда отбраниваются, иногда отмалчиваются; а когда пойдет дело на голоса, большинство всегда на их стороне. Кто говорит хорошо, того слушают; в противном случае кашляют, стучат ногами, шумят; а при всяком важном слове кричат: «hearken! (слушайте!)» Заседание открывается в 3 часа пополудни молитвою и продолжается иногда до двух полночь. Розница между парижским Народным Собранием и английским парламентом есть та,

¹ Едва ли в каком-нибудь городе было столько пожаров, как в Лондоне.

что первое шумнее; впрочем, и парламентские собрания довольно беспорядочны. Члены беспрестанно встают; поклонись оратору, как школьному магистру, бегают вон, едят и проч. — Их числом 558; налицо же не бывает никогда и трехсот. Едва ли 50 человек говорят когда-нибудь; все прочие немые; иные, может быть, и глухи — но дела идут своим порядком, и хорошо. Умные министры правят; умная публика смотрит и судит. Член может говорить в парламенте все, что ему угодно; по закону он не дает ответа.

Лондон, сентябрь ... 1790.

Было время, когда я, почти не видав англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшею для сердца моего землею. С каким восторгом, будучи пансионером профессора Ш., читал я во время американской войны донесения торжествующих британских адмиралов! Родней, Гоу не сходили у меня с языка; я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих. Мне казалось, что быть храбрым есть... быть англичанином — великодушным тоже — чувствительным тоже; истинным человеком тоже. Романы, если не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения. Теперь вижу англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их — но похвала моя так холодна, как они сами.

Во-первых, я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата, сырого, мрачного, печального. Знаю, что и в Сибири можно быть счастливым, когда сердце довольно и радостно; но веселый климат делает нас веселее, а в грусти и в меланхолии здесь скорее, нежели где-нибудь, захочется застрелиться. Рощи, парки, луга, сады: все это прекрасно в Англии; но все это покрыто туманами, мраком и дымом земляных угольев. Редко, редко проглянет солнце, и то ненадолго; а без него худо жить на свете. «Кланяйся от меня солнцу, — писал некто отсюда к своему приятелю в Неаполь: — я уже давно не виделся с ним». Английская зима не так холодна, как наша; зато у нас зимою бывают красные дни, которые здесь и летом редки. Как же англичанину не смотреть сентябрем?

Во-вторых — холодный характер их мне совсем не нравится. «Это вулкан, покрытый льдом», — сказал мне, рассмеявшись, один французский эмигрант. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах; любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений, которые потрясают электрически всю нашу физическую систему. Говорят, что он глубокомысленнее других:

не для того ли, что кажется глубокомысленным? не потому ли, что густая кровь движется в нем медленнее и дает ему вид задумчивого, часто без всяких мыслей? Пример Бакона, Невтона, Локка, Гоббеса ничего не доказывает. Гении рождаются во всех землях; вселенная отечество их — и можно ли по справедливости сказать, чтобы (например) Локк был глубокомысленнее Декарта и Лейбница?

Но что англичане просвещены и рассудительны, соглашаюсь: здесь ремесленники читают Юмову «Историю», служанка «Йориковы проповеди» и «Кларису»; здесь лавочник рассуждает основательно о торговых выгодах своего отечества и земледелец говорит вам о Шеридановом красноречии; здесь газеты и журналы у всех в руках, не только в городе, но и в маленьких деревеньках.

Фильдинг утверждает, что ни на каком языке нельзя выразить смысла английского слова *humour*, означающего и *веселость*, и *шутливость*, и *замысловатость*; из чего заключает, что его нация преимущественно имеет сии свойства. Замысловатость англичан видна разве только в их карикатурах, шутливость в народных глупых театральных *фарсах*, а веселости ни в чем не вижу — даже на самые смешные карикатуры смотрят они с преважным видом! а когда смеются, то смех их походит на истерический. Нет, нет, гордые цари морей, столь же мрачные, как туманы, которые носятся над стихиею славы вашей! оставьте недругам вашим, французам, всякую игривость ума. Будьте рассудительны, если вам угодно; но позвольте мне думать, что вы не имеете тонкости, приятности разума и того живого слияния мыслей, которое производит общественную любезность. Вы рассудительны — и скучны!.. Сохрани меня бог, чтобы я то же сказал об англичанках! Они милы своею красотою и чувствительностию, которая столь выразительно изображается в их глазах: довольно для их совершенства и счастья супругов! о чем я уже писал к вам; а теперь судим только мужчин.

Англичане любят благодетельствовать, любят удивлять своим великодушием и всегда помогут несчастному, как скоро уверены, что он не притворяется несчастным. В противном случае скорее дадут ему умереть с голода, нежели помогут, боясь обмана, оскорбительного для их самолюбия. Ж., наш земляк, который живет здесь лет восемь, зимою ездил из Лондона во Фландрию и на возвратном пути должен был остановиться в Кале. Сильный холодный ветер окружил гавань множеством льду, и пакетботы никак не могли выйти из нее. Ж. издержал все свои деньги, грустил и не знал, что делать. Трактиры были наполнены путешественниками, которые, в ожидании благоприятного времени для переезда через канал, веселились без памяти, пили, пели и танцевали. Земляк наш с пустым кошельком и с печальным сердцем не мог участвовать

в их весельи. В одной комнате с ним жили богатый англичанин и молодой парижский купец. Он открыл им причину своей грусти. Что сделал богатый англичанин? дивился его безрассудности и, повторив несколько раз: «как можно на всякий случай не брать с собою лишних денег?», вышел вон. Что сделал молодой француз? высыпал на стол свои луидоры и сказал:

— Возьмите, сколько вам надобно; будьте только веселее.

— Государь мой! вы меня не знаете.

— Все одно; я рад услужить вам; в Лондоне мы увидимся.

Ж. взял с благодарностью луидоров 10 или 15 и хотел дать ему свой лондонский адрес. Француз не принял его, говоря:

— Ваше дело сыскать меня на бирже. Я пять лет купец, а 24 года человек.

Англичанин поступил так грубо не от скупости, но от страха быть обманутым.

Замечено, что они в чужих землях гораздо щедрее на благодеяния, нежели в своей, думая, что в Англии, где всякого рода трудолюбие по достоинству награждается, хороший человек не может быть в нищете; из чего вышло у них правило: *кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли* — правило ужасное! Здесь бедность делается пороком! Она терпит и должна таиться! Ах! если хотите еще более угнести того, кто угнетен нищетою, пошлите его в Англию: здесь среди предметов богатства, цветущего изобилия и кучами рассыпанных гиней узнает он муку Тантала!.. И какое ложное правило! Разве стечение бед не может и самого трудолюбивого довести до сумы? Например болезнь...

Англичане честны; у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы... Позавидуем им! Их слово, приязнь, знакомство надежны: действие, может быть, их общего *духа торговли*, которая приучает людей уважать и хранить доверенность со всеми ее оттенками. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и частных отношениях между собою. Все придумано, все разочтено, и последнее следствие есть... личная выгода. Заметьте, что холодные люди вообще бывают великие эгоисты. В них действует более ум; нежели сердце; ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу. Делать добро, не зная для чего, есть дело нашего бедного *безрассудного* сердца. Например г. Пар., мой здешний знакомец, всякое утро в 11 часов является ко мне и спрашивает: «Куда хотите идти? что видеть? с кем познакомиться? я к вашим услугам». Отец его, будучи консулом в Архипелаге, женился на гречанке, которая воспитала сына своего в нашем исповедании. Г. Пар. считает за должность быть покровителем русских и по возможности делать им услуги. Имея привычку бродить всякое утро пешком, он находит во мне товарища, который иногда смешит его своими простосердечными вопросами и замечаниями и который, расста-

ваясь с ним, всякий раз искренно говорит ему *спасибо!* Англичане всегда готовы одолжить вас таким образом.

Они горды — и всего более гордятся своею конституциею. Я читал здесь Делольма с великим вниманием. Законы хороши; но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы. Например английский министр, наблюдая только некоторые формы, или законные обыкновения, может делать все, что ему угодно: сыплет деньгами, обещает места, и члены парламента готовы служить ему. Малочисленные его противники спорят, кричат, и более ничего. Но важно то, что министр всегда должен быть отменно умным человеком, для сильного, ясного и скорого ответа на все возражения противников; еще важнее то, что ему опасно во зло употреблять власть свою. Англичане просвещены, знают наизусть свои истинные выгоды, и если бы какой-нибудь Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лишился большинства голосов в парламенте, как волшебник своего талисмана. Итак, не конституция, а просвещение англичан есть истинный их палладиум. Всякие гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле. Недаром сказал Солон: *мое учреждение есть самое лучшее, но только для Афин.* Впрочем, всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно.

Вы слышали о грубости здешнего народа в рассуждении иностранцев: с некоторого времени она помягчилась, и учтивое имя french-dog (французская собака), которым лондонская чернь жаловала всех не англичан, вышло уже из моды. Мне случилось ехать в карете с одним поселянином, который, узнав, что я иностранец, с важным видом сказал:

— Хорошо быть англичанином, но еще лучше быть добрым человеком. Француз, немец — мне все одно; кто честен, тот брат мой.

Мне крайне полюбилося такое рассуждение; я тотчас записал его в дорожной своей книжке. Однакож не все здешние поселяне так рассуждают: это был, конечно, вольнодумец между ими! Вообще английский народ считает нас, чужеземцев, какими-то несовершенными, жалкими людьми. «Не тронь его, — говорят здесь на улице: — это иностранец», — что значит: «это бедный человек или младенец».

Кто думает, что счастье состоит в богатстве и в избытке вещей, тому надобно показать многих здешних Крезов, осыпанных средствами наслаждаться, теряющих вкус ко всем наслаждениям и задолго до смерти умирающих душою. Вот английский *сплин!* Эту нравственную болезнь можно назвать и русским именем: *скукою*, известною во всех землях, но здесь более, нежели где-нибудь, от климата, тяжелой пищи, излишнего покоя, близкого

к усыплению. Человек странное существо! в заботах и беспокойстве жалуется; все имеет, беспечен и — зевает. Богатый англичанин от скуки путешествует, от скуки делается охотником, от скуки мотает, от скуки женится, от скуки стреляется. Они бывают несчастливы от счастья! Я говорю о здешних *праздных* богачах, которых деды нажились в Индии; а *деятельные*, управляя всемирною торговлею и вымышляя новые способы играть мнимыми нуждами людей, не знают *сплина*.

Не от *сплина* ли происходят и многочисленные английские странности, которые в другом месте назвались бы безумием, а здесь называются только своенравием или *whim?* Человек, не находя уже вкуса в истинных приятностях жизни, выдумывает ложные, и когда не может прельстить людей своим счастьем, хочет по крайней мере удивить их чем-нибудь необыкновенным. Я мог бы выписать из английских газет и журналов множество странных анекдотов; например, как один богатый человек построил себе домик на высокой горе в Шотландии и живет там с своею собакою; как другой, ненавидя, по его словам, землю, поселился на воде; как третий, по антипатии к свету, выходит из дому только ночью, а днем спит или сидит в темной комнате при свече; как четвертый, отказывая себе все, кроме самого необходимого, в начале каждой весны дает деревенским соседям своим великолепный праздник, который стоит ему почти всего годового дохода. Британцы хвалятся тем, что могут досыта дурачиться, не давая никому отчета в своих фантазиях. Уступим им это преимущество, друзья мои, и скажем себе в утешение: «Если в Англии позволено *дурачиться*, у нас не запрещено *умничать*; а последнее нередко бывает смешнее первого».

Но эта неограниченная свобода жить как хочешь, делать что хочешь во всех случаях, не противных благу других людей, производит в Англии множество *особенных* характеров и богатую жатву для романистов. Другие европейские земли похожи на регулярные сады, в которых видите ровные деревья, прямые дорожки и все единообразное; англичане же в нравственном смысле растут как дикие дубы по воле судьбы и хотя все одного рода, но все различны; и Фильдинг у оставалось не выдумывать характеры для своих романов, а только примечать и описывать.

Наконец — если бы одним словом надлежало означить народное свойство англичан — я назвал бы их угрюмыми, так, как французов¹ легкомысленными, итальянцев коварными. Видеть Англию очень приятно; обычаи народа, успехи просвещения и всех искусств достойны примечания и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствий общежития есть искать цветов на песчаной

¹ Не помню, кто в шутку сказал мне: «Англичане слишком влажны, итальянцы слишком сухи, а французы только сочны».

долине — в чем согласны со мною все иностранцы, с которыми удалось мне познакомиться в Лондоне и говорить о том. Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из нее без сожаления.

Море.

Я не сдержал слова, любезнейшие друзья мои! оставляю Англию — и жалею! Таково мое сердце: ему трудно расставаться со всем, что его хотя несколько занимало.

Итак, друг ваш уже на море! возвращается в милое отечество, к своим любезным! скорее, нежели думал! Отчего же? Скажу вам правду. Кошелек мой ежедневно истощался; становился легче, легче; звучал слабее, слабее; наконец рука моя ощупала в нем только две гинеи... Мне оставалось бежать на биржу, скорее, скорее; уговориться с молодым капитаном Виллиамсом, взлезть по веревкам на корабль его и, сняв шляпу, учтиво откланяться с палубы Лондону. — Меня провожал русский парикмахер Федор, который здесь живет семь или восемь лет, женился на миловидной англичанке, написал над своею лавкою: Fedor Ooshakof, салит голову лондонским щеголям и доволен, как царь. Он был в России экономическим крестьянином и служит всем русским с великим усердием.

Капитан ввел меня в каюту, очень изрядно прибранную; указал мне постелю, сделанную как гроб, и в утешение объявил, что одна прекрасная девица, которая плыла с ним из Нового Йорка, умерла на ней горячкою. «Неребей брошен, — думал я: — посмотрим, будет ли эта постеля и моим гробом!» — Страшный дождь не позволил мне дышать чистым воздухом на палубе; я лег спать с одною гинеею в кармане (потому что другую отдал парикмахеру) и поручил судьбу свою волнам и ветрам!

Сильный шум и стук разбудил меня: мы снимались с якоря. Я вышел на палубу... солнце только что показалось на горизонте. Через минуту корабль тронулся, зашумел и на всех парусах пустился сквозь ряды других стоящих на Темзе кораблей. Народ, матрозы желали капитану счастливого пути и маханием шляп как будто бы давали нам благополучный ветер. Я смотрел на прекрасные берега Темзы, которые, казалось, плыли мимо нас с лугами, парками и домами своими, — скоро вышли мы в открытое море, где корабль наш зашумел величественнее. Солнце скрылось. Я радовался и веселился необозримостию пенистых волн, свистом бури и дерзостию человеческою. Берега Англии темнели...

Но у меня самого в глазах темнеет; голова кружится...

Здравствуйте, друзья мои! я ожил!.. Как мучительна, ужасна морская болезнь! Кажется, что душа хочет выпрыгнуть из груди;

слезы льются градом, тоска несносная... а капитан заставлял меня есть, уверяя, что это лучшее лекарство! Не зная, что делать, я сто раз ложился на постелью, сто раз садился на палубе, где морская пена окропляла меня. Не подумайте, что это риторическая фигура; нет, волны были в самом деле так велики, что иногда переливались через корабль. Одна из них чуть было не сшибла меня в то глубокое отверстие корабля, где лежат острые якоря. Болезнь моя продолжалась три дни. Вдруг засыпаю крешким сном — открываю глаза, не чувствую никакой тоски — едва верю себе — встаю, одеваюсь. Входит капитан с печальным видом и говорит:

— Ветер утих; нет ни малейшего венния; корабль ни с места: страшная тишина!

Я выбежал на палубу: прекрасное зрелище! море стояло, как неподвижное стекло, великолепно освещаемое солнцем; парусы висели без действия; корабль не шевелился; матрозы сидели, повеся голову. Все были печальны, кроме меня; я веселился, как ребенок, и здоровьем своим и картиною морской почти невероятной тишины. Вообразите бесконечное гладкое пространство вод и бесконечное, во все стороны, отражение лучей яркого света!.. Вот зеркало, достойное бога Феба! — Казалось, что в мире не было ничего, кроме воды, неба, солнца и корабля нашего. Через час нашли легкие облака; повеял ветерок, море заструилось, и парусы вспорхнули.

Нам встретились норвежские рыбаки. Капитан махнул им рукою — и через две минуты вся палуба покрылась у нас рыбою. Не можете представить, как я обрадовался, не ев три дни и крайне не любя соленого мяса и гороховых пудингов, которыми английские мореходцы потчуют своих пассажиров! Норвежцы, большие пьяницы, хотели сверх денег рому; пили его как воду и в знак ласки хлопали нас по плечам. — В сию минуту приносят нам два блюда рыбы. Вы знаете, что такое хороший обед для голодного!..

Опять страшный ветер, но попутный. Я здоров совершенно, бодр и весел. Мысль, что всякую минуту приближаюсь к отечеству, живит и радует мое сердце. Слушаю шум моря; смотрю, как быстрый корабль наш черною своею грудью рассекает волны; читаю Оссиана и перевожу его «Картона». ¹ Нынешняя ночь была самая бурная. Капитан не спал, боясь опасных скал Норвегии. Я вместе с ним сидел у руля, дрожал от холодного ветра, но любовался седыми облаками, сквозь которые проглядывала луна, прекрасно разливая свет свой на миллионы волн. Какой праздник для моего воображения, наполненного Оссианом! Мне хотелось увидеть норвежские дикие берега на левой стороне; но

¹ Самый этот перевод был напечатан после в «Московском журнале».

взор мой терялся во мраке. Вдруг слышим вдали пушечный выстрел, другой, третий.

— Что это? — спрашиваю у капитана.

— Может быть, какой-нибудь несчастный корабль погибает, — отвечал он: — здешнее море ужасно для плователей.

Бедные! кто поможет им во мраке? Может быть, страшный ветер сорвал их мачты; может быть, нашли они на мель; может быть, вода заливает уже корабль их!.. Мы слышали еще два выстрела и, кроме шума волн, уже ничего не слышали... Капитан наш сам боялся сбиться с верного пути и беспрестанно при свете фонаря смотрел на компас. — Все наши матрозы спали, кроме одного караульного. Когда хотя мало переменится ветер, караульный закричит; в минуту все выбегут, бросятся к мачтам, и другие парусы веют. Корабль наш очень велик; но матрозов только 9 человек. — Я лег спать в три часа, и сильное качание корабля в первый раз показалось мне роскошью. Так качают детей в колыбели!

Море.

Мария В. родилась в Лондоне. Отец ее был один из самых ревностных противников министерства — возненавидел Англию и, продав свое имение, переселился в Новый Йорк. Мария, жертва его политического упрямства, оставила в Лондоне свое сердце и счастье: у нее был тайный любовник и жених, молодой добродетельный человек. Пять лет жила она в Америке — лишилась отца, искренно оплакала смерть его и спешила возвратиться в отечество, будучи уверена в постоянстве своего друга. Опасности моря не устрашали ее; она села на корабль, одна с своею любовью и с милою надеждою, — но в самый первый день плавания занемогла жестокою болезнью. Капитан советовал ей возвратиться.

— Нет, — говорила Мария: — я хочу умереть или быть в Англии; каждый день для меня дорог.

Болезнь усилилась и повредила ее рассудок. Ей казалось, что она сидит уже подле жениха своего и рассказывает ему о горестях прошедшей разлуки.

— Теперь я счастлива, — говорила Мария в беспамятстве: — теперь могу спокойно умереть в твоих объятиях.

Но друг ее был далеко, и Мария скончалась на руках служанки своей. Вообразите, что несчастную бросили в море! вообразите, что я сплю на ее постеле!..

— Так и меня бросите в море, — говорю капитану, — если умру на корабле вашем?

— Что делать! — отвечает он, пожимая плечами.

Это ужасно! Земля, земля! приготовь в тихих недрах своих укромное местечко для моего праха! Довольно, что мы и живые

по волнам носимся; а то быть еще и по смерти игралищем бурной стихии!..

Нынешний день море в самом деле едва не поглотило нас. Корабельный мастер выпил стакана четыре водки; не заметил флага, поставленного на мели для предостережения мореплавателей, — и капитан увидел беду в самую ту минуту, когда мы были уже в нескольких сажнях от подводных камней; побледнел, закричал — матрозы бросились на мачты — парусы упали, и корабль пошел в другую сторону. Чудное проворство! С англичанами весело и умереть на море! Это подлинно их стихия. — Мастеру досталось от капитана. Он хотел его бить; хотел перекинуть его через борт. Пьяница залился горькими слезами и сказал:

— Капитан! я виноват; утопи меня, но не бей. Англичанину смерть легче бесчестья.

Между тем, друзья мои, я в восемь дней удивительным образом привык к Нептунову царству и рад плыть, куда угодно. — Буря не утихает; корабль беспрестанно идет боком, и на палубе нельзя ступить шагу без того, чтобы не держаться за веревки. В каюте все вещи (посуда, сундуки) прибиты гвоздями; но часто от сильных порывов гвозди вылетают, и делается страшный стук. — Я уже различаю флаги всех наций; и как скоро встретится нам корабль, кричу в трубу: «From whence you come?»¹ Это забавляет меня.

Вчера ночевали мы перед самым Копенгагеном. Как мне хотелось в город! Жестокий капитан не дал лодки.

Кронштадт.

Берег! отечество! благословляю вас! Я в России и через несколько дней буду с вами, друзья мои!.. Всех останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по-русски и слышать русских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштадта; но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостиницею нищих; но мне в нем весело!

С каким удовольствием перебираю свои сокровища: записки, счета, книги, камешки, сухие травки и ветки, напоминающие мне или сокрытие Роны, la perte du Rhone, или могилу отца Лоренза, или густую иву, под которою англичанин Поп сочинял лучшие стихи свои! Согласитесь, что все на свете Крезы бедны передо мною!

Перечитываю теперь некоторые из своих писем: вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцев! Оно через 20 лет (если столько проживу на свете) будет для меня еще приятно — пусть

¹ Откуда вы идете? (Ред.)

для меня одного! Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?.. Почему знать? может быть, и другие найдут нечто приятное в моих *эскизах*; может быть, и другие... но это их, а не мое дело.

А вы, любезные, скорее, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться *китайскими тенями* моего воображения, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями!



А. И. КЛУШИН

1763 – 1804



А. И. КЛУШИН

Александр Иванович Клушин происходил из орловских дворян. В юности он служил в канцелярии орловского наместника кн. Н. В. Репнина, бывал в его доме, пользовался библиотекой и смог пополнить пробелы своего скудного начального образования.

После кратковременной военной службы, оставленный в 1790 г. в чине подпоручика, Клушин переезжает в Петербург и завязывает знакомства в литературном и театральном мире. Особенно близко сходитя он с И. А. Крыловым, принимая участие в его литературных предприятиях и разделяя его демократические взгляды.

Клушин был соратником Крылова в издании журнала «Зритель». Видимому, журнал этот должен был иметь единое литературное оформление. Оба автора предлагают читателю свои зарисовки, разделив их по времени суток. «День тихий и ясный» — начинает Клушин серию «Портретов», напечатанных в первой части «Зрителя». Следующими главами являются «Вечер» и «Утро» Клушина, «Ночи» Крылова. Круговорот суток закончен. Авторы развернули галерею отрицательных типов, выхваченных ими из повседневных наблюдений.

Подобно Крылову, Клушин не остается равнодушным к судьбе крепостного крестьянства. Выразительными штрихами он очерчивает портреты жестоких и неосвещенных помещиков, мучителей подвластного им народа. Таков, например, Расточиллов, который «за две своры гончих собак отдал с величайшим хладнокровием пять семей крестьян», а триста крестьян, оторвав от земледелия, сделал актерами и музыкантами. Имевшие Ветрогона, «нажитое трудами праотцев, сдается селениями во французские и английские магазины». Помещик Преглуп заставляет своих крестьян обливаться слезами и кровью. Такие же и еще более острые выпады против крепостничества мы находим и в журнальных статьях Крылова, причем оба автора иногда совпадают в изображении деталей сатирических сцен и портретов.

Вместе со многими передовыми авторами эпохи Клушин протестует против роскоши, дарящей в быту крепостников-дворян. Он видит, что непомерные траты помещиков приводят в упадок благосостояние страны, что нивы пустеют, люди разоряются. Он видит пагубные следствия роскоши и влияние ее на упадок нравственности. «Кто уверит меня, — пишет Клушин, — что лишенный способов к инакому своему содержанию не дерзнет на оскорбление законов, на невинность, на добродетель? Единжды стоит сделать шаг ко преступлению, дабы презреть преграды к дальнейшему шествованию по стезе

пороков... Подобно быстрому стремлению реки, прорывающей оплоты, мгновенно преодолевает он все препятствия, крутится и все разрушает... Преступление со злодеяниями смежно и часто неразлучно» («Зритель», стр. 126).

Действительно, в наиболее сильных и значительных местах своих очерков Клушин по тону и стилю обличений — но только по ним — приближается к Радищеву. Знакомство его с «Путешествием из Петербурга в Москву» представляется несомненным фактом, причем книга эта оказала заметное влияние на стиль Клушина. Наиболее смелые выступления его в «Зрителе» напоминают высокий пафос радищевской речи и ее славянизированные формы. Таково, например, упоминание о жестокосердом тиране, который «предприимает отнять чуждые венцы, украсить ими чело свое, на котором напечатлены кровью преступления его».

Радищев в главе «Крестьцы» начертал образ идеального отца, воспитавшего своих сыновей настоящими патриотами и всесторонне развитыми людьми. Клушин рисует противоположную картину, изображая отвратительную фигуру обжоры и сластолюбца, который проедает свое состояние и не дает образования детям, трогательно умоляющим его взять учителей, ибо они хотят «служить государю и отечеству».

Но в то время как суровые обвинения Радищева направлены против главнейших социальных бедствий эпохи, против социальной несправедливости, нападки Клушина метят лишь в пороки дворянского общества, бьют по мотовству, роскоши, картежной игре и, имея иногда внешнее сходство с мыслями Радищева, не достигают их глубины и разоблачительной силы, оставаясь в гораздо более скромных пределах. Перед решительной постановкой проблемы общественного переустройства Клушин теряется и отступает. В начале очерка «Утро» он задается вопросом, для чего «один имеет больше, нежели надобно, другой едва ли насущный кусок хлеба», но отказывается искать серьезный ответ на него, заявляя: «приищем все сии действия слепому случаю», а далее развивает мысль о том, что «провидение для каждого состояния особые предназначило сведения и способности».

Литературно-эстетические взгляды Клушина эклектичны в самой своей основе, и он не стремится уничтожить этот недостаток или, вернее, не замечает его. Очерки Клушина в «Зрителе» напоминают по тону иногда прозу Радищева, в стихах он выступает подражателем Державина, в повести «Несчастный М—в» заметны веяния сентиментализма, в драматургии он более всего классицист. Переходное время 90-х годов, ломка мировоззрения дворянского классицизма, утверждение преромантических и романтических течений сказались на творчестве Клушина с показательной наглядностью. Не имея достаточно окрепшего самостоятельного голоса, он вторит новым напевам, не заботясь особенно о том, на каком же следует остановиться. Во всяком случае было бы неосторожно безоговорочно представлять себе Клушина смелым борцом и писателем радищевского направления: он был далек от последовательной критики крепостничества и в своей гражданской жизни и в своей литературной практике. Это наблюдение можно подтвердить на различных примерах творчества Клушина.

В журнале «Санктпетербургский Меркурий» (1793 г.) Клушин напечатал свою повесть «Несчастный М—в», в отдельном издании впоследствии озаглавленную «Вертеровы чувствования или несчастный М—в, оригинальный анекдот» (СПБ., 1802 г.). Клушин создает сентиментальное произведение, построенное на теме социального конфликта. М—в (Маслов), бедный, незнатный человек, попавший в богатый дом на должность домашнего учителя, полюбит свою ученицу Софью. Отец, узнавший об этой любви, отказывает ему, и М—в, окончательно сраженный холодным письмом Софьи, написанным ею под диктовку отца, кончает самоубийством, оставляя подробный дневник — запись своих переживаний в последние часы. Софья остается безутешной, отец ее раскаивается в своей жестокости.

Юноша М—в не принадлежит к числу «гениальных» натур, богато одаренных способностью мыслить и чувствовать, он не является одним из тех «бурных гениев», которых любили, с легкой руки Гете, изображать немецкие авторы. Герой повести Клушина гибнет в результате борьбы разума и страстей в их традиционном для дворянского классицизма понимании. В повести Клушина заметно отчетливое противопоставление разума страстям, и как результат победы страстей происходит гибель человека, поддавшегося их губительной силе. Мысль эта высказывается Клушиным не раз: «Сердце, лишенное спокойствия, потрясается; разум становится рабом страстей»; «Беги, несчастный, — разум говорил ему: — беги отсель! и взоры ее и ее дуновение для тебя разительны».

При всем том повесть Клушина, возникшая под впечатлением успеха «Бедной Лизы», привлекла читателей трогательностью сюжета, попыткой психологизации образа, манерой изображения природы, сложными переживаниями героя. «Западный ветер завывал, ударяя со страшным стремлением в стены дома, дождь сильный, подобный стремлению морских волн, разливался, беспрестанная молния мелькала, громовые удары один другого преследовали со страшным треском: казалось, настал час всеобщего разрушения, — казалось, вся природа с мучительным стоном желает исчезнуть вместе с несчастным М—м»... Так изображается состояние природы в момент размышлений М—ва о самоубийстве.

Клушин в 1793 г. испрашивает отпуск за границу, но досажает только до Ревеля, где женится и затем поселяется в Орле. Лишь в 1798 г. он выезжает в Петербург, добывает места цензора при русском театре, а вскоре становится инспектором русской труппы. Клушин исправно служит, продвигает на сцену свои пьесы «Услужливый», «Рассудительный дурак или англичанин» и др. Линия поведения его в эти годы далеко не принципиальна. Он пишет оды знатым лицам, чем вызывает недовольство Крылова, и окончательно расхотится с ним.

Несчастный М—в

Повесть

NN М—в, воспитанный в училище, был один из тех отличных людей, которых природа производит с отменными качествами. В цветущей юности оказал он превосходные успехи в науках. С познанием языков иностранных почерпал он сведения в математике, метафизике и философии. Он не был жалкий схоластик; педант еще менее. Красоты неподражаемые древних и новейших писателей были для него открыты: черпая их без пресыщения, очищал он вкус, образовал разум и сердце. Между современников своих был он горящее светило. Пламенный, парящий его разум не ослабевал в своем полете. Сотоварищи его, уважая великие его дарования, не осмеливались следовать за ним, — они только удивлялись ему.

Мало сего для очертания несчастного М—ва: при отличных сведениях он имел такую наружность, которая при первом взоре делает сильное впечатление над сердцем, а в продолжение времени заставляет себе удивляться. Хороший рост, стройный стан, приятный орган голоса, взор открытый и пронизательный, большие светлоголубые глаза, розовый румянец на щеках — его физическое дарования; чувствительное и нежное сердце, кроткий нрав — душевные его свойства. Он любил музыку и даже был ею страстен. Темное адажио, одушевленное вкусом, нередко извлекало блестящие перлы из глаз его. Нежный стихотворец во вкусе Сафо; привязанный к театру, будучи хорошим актером;¹ любим и уважаем учеными; обласкан знаменитыми людьми; не возносится своими дарованиями. Сердце его вкушало спокойствие, свойственное душе непорочной.

Но увя, сие спокойствие, сие душевное благо, которым мы гордимся, не что иное, как счастливый миг! возрастают страсти и уносят его на крыльях вихря. Сердце, довольное собою, начинает сокрушаться под бременем горестей, для которых оно сотворено. —

¹ У приятелей несчастного и теперь есть многие стихи его; хотя они и не напечатаны.

Сия истины скоро увидим мы в несчастном, чувствительном, пылком М—в!

В училище назначено быть спектаклю: М—в избирает «Дидону» и играет роль Ярба, — роль, которую называл он пламенной, наполненною страстей, прекрасно писанною и которою знающий актер может сделать знаменитым имя свое и искусство.¹ Делает шаг на театр: раздаются рукоплескания; сыграл — удивление было всеобщее. Партер, наполненный знаменитыми зрителями, просит его войти к ним; входит — нежный слух его, кроме похвал, ничего не внемлет. Не гордится он подобно низким комедиантам: чувствует токмо душевное удовольствие, что умел понравиться. Видит прекрасную знатной фамилии девицу, слышит лестное ее приветствие:

— Ах, как вы хорошо играли! вы мне очень понравились!

Сия откровенность, сия слова, подобно тихому источнику, с журчаньем льющемуся и обворожающему слух, раздались во внутренности М—ва. Он кланяется, обращает на нее пламенные глаза, желает благодарить — и в первый раз в жизни ничего сказать не может. Сердце его вострепело, как древесный лист, от нежного дуновения ветерка содрогающийся; невольный и потаенный вздох вылетел из внутренности души его. — Несчастный! он не предвидел пагубных следствий первого впечатления.

— Вы мне очень понравились! — повторил он у себя в комнате. Желал толковать сии слова тысячью различными образами; обращал в свою пользу; часто улыбался, но уже начинал задумываться. Вздохи следовали за каждым его словом. Не понимая ни самого себя, ни лестного приветствия, повторял он его более и, наконец, говорил беспрестанно. — Гибельно первое впечатление!

Развертывает книгу, ему встречаются слова Цезаря: *я пришел, увидел, победил*. Прибавляет карандашом шуточный стих: *я пришел, увидел — полюбил*. Вздохнул, улыбнулся, начал играть на скрипке адажио из Гейдена. Чувствительное сердце его затрепало, как невинная горлица, увязшая в расставленные сети. Ему нужен покой: Морфей бережно осыпал его маковыми цветами. — Благотворное божество! ты одно успокаиваешь смертных среди жесточайшего их мучения. Ты оставляешь нас — и гидра горестей раздирает слабое существо наше. Ужасно пробуждение несчастному!

¹ «Дидона», траг[едия] в 5 действиях, в стихах, соч[ипение] знаменитого нашего драматического стихотворца Як[ова] Бор[исовича] Княжнина. Кто не согласится, что сия трагедия есть лучшее театральное произведение на нашем языке, произведение, которое бы и французскому театру сделало честь? Наша словесность лишилась сего мужа, сего редкого поэта. Он мертв, — а мертвым льстить не можно; он мертв, — но смерть потребляет только человека. Кровяные челюсти ее слабы проглотить его дарования, его славу. Похвала по смерти есть самое лестное воздаяние талантам. Оно беспристрастно, не управляемое лестию.

Ночь провел он беспокойно. Пламенное его воображение наполнялось мечтаниями. Розовая заря разливается по горизонту; величественное светило возносит гордое чело свое, шествуя медленно по лазуревой стезе; мрак исчез в природе; но в душе М—ва возродился. Он проснулся — проснулся, чтобы вкушать горестную отраву любви, разливающуюся по его жилам.

Несколько дней провел он в желании видеть обожаемый предмет; взглянуть на него — и одним взором оживить томящееся сердце свое. Таково пылкое сложение! одно мгновение возбуждает в нем страсти; одна искра рождает пламень, для погашения коего нужны годы.

Но кого желал видеть несчастный? Кто сей бог его, его идол, похитивший спокойствие кроткой, непорочной души его? Не знает — и сие-то более возбуждает в нем уныние. Но надеется быть счастливым.

Вскоре после сего директор училища призывает к себе М—ва и уговаривает его заступить место учителя российского языка и рисования у знатной девицы; хотя она довольно была выучена, но гордый, честолюбивый и надменный отец ее предпринял науки далее. Дочь его восхищались: он желал, чтобы удивлялись ей; а для сего-то и назначил в наставники М—ва. Сей редкий человек соглашается и на другой день едет с своим начальником в загородный дом С.—Л.—, где ему учить должно было.

Настала минута, в которую должно было несчастному сражаться с самим собою, с своею чувствительностью. Приезжают в дом С.—Л.—: гордый дух сего человека в первый раз в жизни смиряется пред достоинствами.

— Я просил вашего начальника сделать нас друзьями, — говорит он М—ву. — Вы обяжете меня, ежели исполните волю мою, доверша науки дочери моей, которые тогда только увенчаются успехами, когда вы примете на себя должность ее учителя.

М—в благодарит за учтивость и налагает на себя лестное имя наставника молодой неизвестной ему девицы.

— Я вам представлю ее: Софьюшка!

Неизвестный трепет разлился во внутренности М—ва. Входит ангел красоты, похитивший уже его спокойствие; взирает на нее М—в — и зрение его очаровывается.

— Я тебя, друг мой, представлю твоему учителю.

М—в еще взглянул на нее, вспомнил сделанное ему в театре приветствие — содрогнулся.

— Вы меня обяжете, если сделаете мне честь, будете учить меня.

— Мои уроки, сударыня, — голос его исчез, — мои уроки, — договорило сердце, — будут уроками вас боготворить. «Беги, несчастный, — разум говорил ему: — беги отсель! и взоры ее и ее дуновение для тебя заразительны». Сердце противилось: оно одерживает победу, — и несчастье неизбежно.

Затруднение было еще не разрешено, согласится ли М—в остаться в загородном доме С.—Л.—, отдаленном от города, дабы уроки были вседневные.

— Захотите ли вы у меня пробыть до отъезду моего отсель?

— Вы, верно, останетесь, — говорит откровенная, невинная Софья.

Надлежало ли спрашивать? Ему бы стоило жизни и подумать удалиться от предмета, им обожаемого.

— Мы вам отведем комнаты в саду, в китайском домике, самые философские, в которых жила Софьюшка.

— Мне там, сударь, было очень весело.

В тот же день все было исполнено.

За столом был общий разговор, разговор, в котором, однакоже, коснулись искусства М—ва. Софья, обожаемая несчастным, повторила слова:

— Вы мне очень понравились!

М—в благодарит; но голос, рождающийся в сердце, исчезает в устах его. Где девалась твоя бодрость духа? Где твое спокойствие? — Исчезла при едином взоре, как тихий ветерок, теряющийся в былях; как миг в бездне времен.

М—в в тех комнатах, где жила Софья.

— Так, счастье мое совершенно! сии комнаты вмещали в себе Софью, и теперь наполняются они ее присутствием. Каждый предмет, каждая черта, представляющаяся глазам моим, — сие зеркало, сие канапе наслаждались взорами ее, — стало все священно! будем прикасаться ко всему с благоговением, — и тень ее и место пребывания ее должны быть почтенны...

Заблуждайся, несчастный! боготвори идола, похитившего твое спокойствие, сердце, душу, — слезы будут твоею пищею, отчаяние — разрушением твоего блаженства, твоего существования.

Настало время, в котором должно было преподать первый урок Софье: сколько принуждения надлежало иметь несчастному! — дух его стеснен; уста запечатлевались — как! и единый взор предмета любимого столь сильное делает пад чувствами влияние! — Присутствие отца было для М—ва ужасно; но он ободрился.

М—в начал с грамматики: Софья учила ее по-французски, и он намерен был пройти с нею русскую только для того, чтобы она тверже осталась в памяти. Изъясняет имена, отец оставляет их. Дошло до глаголов.

— Глаголы неопределенного времени, — говорит он трепещущим голосом, — суть следующие: желать, видеть, ненавидеть, любить.

Ученица повторяет:

— Любить, — и останавливается. — Но как вместо неопределенного сказать в настоящем?

М—в отвечает робко, не смея посмотреть на нее:

— Люблю — люблю-с — к сему присоединяются местоимения единственного и множественного числа, например: я — единственного; вас — множественного. Первое — именительного падежа, второе — родительного.

Софья слушает, поглядывая на него.

— Но ежели вы хотите, чтоб из всего вместе вышел полный смысл, то должны сказать: я вас люблю.

Софья повторяет:

— Я вас люблю-с.

Розовый румянец украшает нежные щеки ее. М—в трепещет.

— Так тут полный смысл? — спросила Софья, устремля взоры свои на цветки ковра, который был под ногами ее.

— Полный; сударыня, — отвечает учитель, чертя карандашом несвязные фигуры.

— Не довольно ли сегодня? — говорит отец, войдя к ним.

— Чтобы прилежание ученицы не было в тягость учителю — конечно-с, — и урок кончился.

Софья встала, бросила скрытый взор на М—ва и пошла в свои комнаты.

— Есть ли надежда, что ваша ученица будет иметь дар понимать ваши уроки?

— Ее разум, ее прилежание — доказательства неоспоримые.

— Вы учтивы, я знаю; но я бы желал, чтобы вы были со мною откровенны.

— Я вам этим обязан.

— Я от вас не скрою цели моего намерения: мне хочется, чтобы дочь моя была более учена, нежели другие, ей подобные; я хочу, чтоб при почтении, которым обязаны ее породе, почитали ее разум, ее сведения. Не довольно быть почитаемым, надо стоять почтения.

— Я с вами согласен, сударь.

— Мое намерение выдать ее замуж за столь же знатного, богатого и чиновного человека, каков ее отец.

— Вы ей этим обязаны, — и затрепетал М—в. Но сие не могло быть замечным. Взаимная учтивость кончила их разговор, и они до стола расстались.

Софья почувствовала, еще будучи в театре, род особого почтения к М—ву: она никогда не думала его увидеть; но чтобы он был ее учителем, и воображать не могла. Частое с ним свидание; уроки, которые она проходила с ним; сведения и разум, которые в нем всечасно открывала, не могли не умножить к нему ее привязанности. Два или три вздоха, вылетевшие из ее нежного, чувствительного сердца, уверили ее, что она его более, нежели почитает. Это были вздохи невольные и томные, сопутствующие любви, — любви нежной и пылкой; это была искра в пещле: надобно быть легкому ветерку, чтобы возродить пламень.

Последние слова отца Софьи, сказанные М—ву: «Я хочу ее выдать за чиновного человека», сильны были к возбуждению горести в несчастном. Чувствительность его не позволила рассуждать ему далее. Пламенная слеза любви, как капля серебристых вод, блеснула на лице его; сердце затрепетало; сильный и жестокий вздох потряс всю внутренность его.

Отдаление от предмета любимого, обожаемого есть единое средство погашать пламень любви, разливающийся по изгибам сердца, — средство, рожденное разумом, философией. Быть беспрестанно с тем, кому душа наша нечувствительно предается, значит возрождать силу любви; готовить себя к величайшим страданиям. Сердце, лишенное спокойствия, потрясается; разум становится рабом страстей. Софья и М—в виделись всечасно, предавались один другому. Желание быть беспрестанно вместе, говорить, иногда вздохнуть взаимно было душою их. Они погружались нечувствительно в бездну любви, не понимая ее. — Любовь, бог ли ты или идол, правящий нами? Стрелы твои ужасны; раны неисцелимы.

Самый отец Софьи требовал от нее, чтобы она чаще занималась рассуждениями с М—вым. Он полагал, что это средство самое легчайшее — способ научить ее говорить с некоторою основательностью, благоразумием, легкостию и красноречием. Жестокий! ты яд вливал в стесняющуюся душу несчастного.

Уединение всегда было бесценною пищею М—ву: но когда основание его спокойствия потряслося; когда душа его вкушала жесточайшие мучения, следующие за любовью; когда сердце его беспрестанно воспалялось, как рождающаяся вечерняя заря: сие уединение сделалось для него священным. Комнаты его были осеняемы кедровыми деревьями; в некотором отдалении струились воды; безмолвие царствовало на зеленых берегах их; некая пасмурная дикость дерев возрождала уныние. Посреди кедров сделана была дерновая скамейка, унизанная цветами; роскошная флора щедрою рукою разметала повсюду розы и лилии. Здесь-то всегда был М—в. Уныл, нередко орошал слезами цветы, украшающие место его уединения. Обращая взоры на окружающие себя предметы, он воспевал потерю своей вольности. Юнг и Попе от него отброшены. «Вертер» и «Новая Элоиза» лежали на томившейся груди его. Вот стихи, сочиненные им в сем положении:

Спокойства томного под сенью
 Струя серебристых вод блестят:
 В них солнечны лучи горят,
 Кедровою прикрыты тенью.
 Любезной розы на листьях
 Зофиры бережно резвятся.
 То прочь летят, то к ней стремятся
 На легких, тоненьких крылах.

Коснутся к розе — жизнь вкушают;
 Вспорхнут от ней — и умирают.

Подуй, восточный ветерок!
 И крылья твои пушисты
 Развеют капли вод серебристы;
 Росой унижат бережок.
 Подули грозные бореи —
 И нежны розы и лилеи,
 Чело уныло преклоня,
 Под их ударами стена,
 Дух краткой жизни испускают.

Бореи силы напрягают —
 И, с ревом подхватя песок,
 Мешают чистый с ним поток.
 В берега ударили, завывли,
 Спокойны воды возмутили,
 Влекут их, гонят за собой —
 Так страсти сердце возмущают,
 Колеблют, движут, погрязают, —
 Так утекает наш покой.

Давно ль на лоне я покоя
 Во струны лиры ударял,
 Творца вселенной воспевал?
 Предстала взорам нежна Клоя:
 Хотел в струну ударить я;
 Но голос томный раздавался:
 Тогда ж исчез, когда рождался;
 Исчезла с ним — душа моя.

Ты, сердце! будешь мой учитель
 Мое уныние бряцать;
 К жаленью душу преклонять,
 Кто ныне мук моих зиждатель.
 Слеза на струну упадет,
 Унылый звук произведет.
 Он, с сердцем съединясь, застонет,
 Коснется слуха — сердце тронет
 И поколеблет Клою грудь.
 Она мне скажет: — счастлив будь!

Слезы оросили розовые щеки его. Бумажка и карандаш приметно выпали из рук его.

— Боже мой! Боже мой! Что я делаю! — и умолк мгновенно.

Прекрасная Софья не видала с самого утра М—ва. Увы! ей скучно, несносно без учителя — без учителя, которого уроки занимали место уже в сердце ее. Ожидает его к себе; обращает поминутно взоры свои на его комнаты; замечает малейшее движе-

ние в саду и все не видит М—ва. Сердце ее то замирает, то чувствует сильный трепет. Выходит в сад, кажется, спрашивает у каждого предмета: «Не был ли он здесь?» Душа ее готова превратиться в легонький ветерок и полететь туда, где ее учитель. Идет, трепещет и вдруг — в том самом месте близ дерновой скамейки, — близ любезного ее учителя. Мещет робкие взоры; видит лицо его, орошенное слезами, произносит трепещущим голосом:

— Вы — здесь?

М—в вскакивает, расстроен, смущен — его стихи — они уже в руках Софьи. Мгновенно, неприметно, кладет их в карман свой.

Софья предлагает ему пройти по саду; он подает руку ей, и начинают прогулку.

— Вы очень печальны.

— Ах! это правда.

— Может ли знать ученица, что причиною?

— Без сомнения, сударыня.

— Скажите же мне, скажите; вы знаете, что я принимаю участие.

— С некоторого времени, сударыня, — я не знаю — сердце человеческое — оно слабо сопротивляться ударам; оно — может быть, предвещания, предрассудок, — и не мог договорить.

— Вы очень смущены! Но не имеете ль причины быть кем-нибудь недовольны?

— Ах нет, сударыня!

— Не имеете ль каких-нибудь тайных чувствований, которые обнажить боитесь?

— Божусь — что — нет.

— Надобно более надеяться.

— Надеяться? Ничего нет обманчивее надежды.

— Однакож иногда надобно быть уверену. — Софья почувствовала, что много высказала, и начала другой разговор: — Время прекрасное! не правда ли?

М—в, смущенный оборотом слов, говорит:

— Время? О! конечно, сударыня. Однакоже эта тучка обещает дождь.

— Я боюсь грома, прощайте до стола, — и нечаянно, как будто ненарочно, подала ему руку.

Он с трепетом коснулся к ней, поцеловал ее, она его в щеку — и огонь разлился по лицу его.

Софья удаляется на крыльях мгновения. Ничего не чувствует, не слышит; оглядывается назад, обращается вперед. Ей крайняя нужда! надобно прочитать бумажку. Читает — не верит начертанию, улыбаются, задумывается; слезы удовольствия навертываются на черных глазах... Чувствования М—ва суть чувствования ее; его душа — без нее Софья умирает; существо ее превращается в ничтожество. Он любит Клою? — но кто она? Подходит нечаянно

к зеркалу, смотрится в него: нежная улыбка истолковывает, кто Клоя. Он любит, он должен быть любим, — и покраснелась. Стихи, как нечто драгоценное, прячет, запирает за замки, и в первый раз в жизни решилась скрыть нечто от отца своего.

М—в поспешает в свои комнаты; обращает робкие взоры на Софью, которая уходила, смотрит — Софья мелькнула в последний раз, душа его исчезает.

— Она принимает участие в моем состоянии? Она жалеет о моем унынии? Она желает знать причину? Нет, нет, никогда не изреку. Никогда не изреку, что я ее обожаю. Будем поклоняться ей; боготворить — и Софья не узнает сего вечно. Кто прямо любит, тот молчит. Скромность — подруга любви священной.

— Но каких следствий ожидать должен я от необузданной любви моей? Ее знатность, богатство, гордость отца — все, все против меня. Может быть, самые ее чувствования — несчастный!

— Но сии уста осмелились коснуться к руке ее; на сей щеке возжен пламенный поцелуй, начертанный розовыми ее устами, — я счастлив; я любим — остановись! слабое творение! Горделивое животное! может быть, сие не что иное, как сострадание, сожаление об участи; чувствительность благородной и возвышенной души? — Безумно и помышлять, что я любим.

Их уроки продолжались: М—в трепещет, преподавая их, Софья выучивала, помышляя более всего о нем. Нечаянно, нехотя, неприметно встречаются они глазами; безмолвие их утешает, они очаровываются взаимно. Смотрят друг на друга, краснеют, понимают более, нежели самые изъяснения. Любовь — она наполняет их сердца; они не могут быть один без другого; они умирают, когда не видятся.

Возвышенная душа не может быть счастлива, ежели она не разделяет с другими своего блаженства; влюбленный недоволен своею участию, буде сам только знает, что он любим. Он хочет, чтобы предмет, обожаемый им, был почтен и другими; чтобы, ежели можно, весь свет одинаково с ним мыслил, восхищался им, боготворил его, — но сие желание, сия нескромность бывает часто пагубна. Блажен обожающий в тишине души! он наслаждается вздохами, не понимая их, и счастье свое от самого себя скрывает. Любви свойственно, однакоже, и тщеславие. Божественная Софья беспрестанно говорила о своем любезном учителе старой женщине, которая всегда была с нею, говорила с некоторым об нем пристрастием. Женщина отвечает:

— Эй, сударыня! Чтобы учитель ваш не научил вас любить себя слишком мало, — вы мне беспрестанно об нем говорить изволите. — И решилась тихим образом сказать о сем отцу ее. Нежная Софья! маленькая твоя нескромность будет для тебя губительна.

Отец выслушивает старую женщину: черты лица его перемешаются. То улыбка неудовольствия появляется на лице его; то

недоверчивость к словам ее. Честолюбие и гордость не позволяют ему и подумать.

— Как! Моя Софья? Нет, она никогда не унижится. Некоторая привязанность к учителю? Мы должны снисходить к человеку, который кроме достоинств ничего не имеет. — Против воли, однакоже, начинает замечать и малейшие ласки дочери с ее учителем.

Между тем доходит до отца Софьи известие из города, что одна знатная девица, влюбленная в человека посредственного состояния, невзирая на его недостаток, на увещания, на самые угрозы родителей, решилась вручить себя в руки обожаемого ею предмета. Уходит с ним, венчается. Все те, до которых дошла сия весть, считали их преступниками. Жестокие судьи! жертвы, вами порицаемые, суть блаженны. В чем же их преступление? Разве в том, что они любят друг друга.

За столом отец Софьи пересказывает сие происшествие М—ву и требует его мнения. Он отвечает:

— Что сделала сия чета порочного? Любимы взаимно, имея целью своею блаженство, тогда они будут преступники, когда уменьшат привязанность один к другому.

— Конечно так, — прервала Софья.

Отец ее улыбнулся.

— Наружное счастье, соединенное с блеском тщеславия, отрада для чувствительных сердец. Должно искать блаженства внутрь нас самих. Мало, ежели мы будем думать, надобно, чтобы мы в самом деле были счастливы: а сие-то и не может казаться глазам целого света. Умеющие наслаждаться блаженством скромны; умеющие любить смеются гонению рока. На персях нежности они все презирают, кроме любви.

— Я с вами согласна, — говорит ученица его.

— Прекрасная Софьюшка! — сказал отец ее, продолжая улыбаться. — Мне очень приятно, что ты одного мнения с своим учителем. Это столько же делает чести ученице, сколько и ему.

М—в поклонился, Софья взглянула на него и в минуту взоры свои устремила на розу, которая была на груди ее. Щеки ее покрылись румянцем, подобным розе, — разговор кончился.

Настал день рождения М—ва: коликих попечений и коликих радостей стоил он Софье! Ей хочется сделать подарок любезному учителю: она не знает, что подарить; не знает, как это сделать; не смеет без воли отца своего. Идет к нему: ноги ее подгибаются; шаги ее медленны; кажется, все пред нею трепещет. Сердце ее томно; с нуждою произносит язык ее:

— Батюшка!

— Что, мой друг Софьюшка?

Сегодня день рождения учителя, ученица должна сделать подарок. Какой прикажете?

— Часы, он будет знать лучше время, в которое заниматься с Софьюшкой.

Во весь сей разговор взоры его желают проникнуть во внутренность сердца дочери; Софья старается, дабы не изменить себе.

— Какие часы?

— Сама выбери, какие вздумаешь.

— Я подарю, которые получше.

— Конечно, Софьюшка! — взяв ее за руку и не спуская глаз с нее: — Ты много занимаешься учителем!

— Я его очень почитаю, вам известно, с каким прилежанием он меня учит.

— Но сие почтение не превосходит ли границы?

— Ах, нет! я знаю мою должность, знаю, чем вам обязана.

— Успокойся, душенька, успокойся. Поди, сделай ему подарок.

Она поцеловала руку. Ах, для чего влюбленные не имеют крыльев! Софья мгновенно бы вспорхнула — и была близ милого своего учителя.

Она знает свою должность! — но спокойно ли сердце ее? Ко-лико мучительно душе великой питать гидру подозрения. — Ежели Софья любит, сжели М—в соблазнитель, они должны, они будут жертвою раздраженному сердцу. Несчастен оскорбивший меня! — смирим гордый дух; обратим внимание на их поведение, пресечем, истребим, ежели возродилось; угасим искры, пока не распространился пламень; изобретем способ сколь легкий, неприметный и столь же опасный для влюбленных — он все откроет.

Софья уже с учителем: с какою нежностью вручает она ему подарок свой; с какою радостью исполняет она волю сердца своего. Сколько говорит поздравлений! сколько желает счастья, здоровья! Розовые уста ее не затворяются; язык не устает говорить с ним, черные глаза не насытятся взорами; душа не насладится блаженством своим; легкие вздохи, как зефир, один по другому вылетают из груди ее.

Божественная Софья! Ангел непорочности! любовь ослепляет тебя. Ты не знаешь, не чувствуешь, какие мучения поразят тебя. Слезы трепещут на веждах моих, сердце кровию окропляется, когда вообразу следствия любви твоей.

М—в восхищен подарком прекрасной ученицы. Воображает все ласки ее, исчитывает слова ее, каждому дает лестный толк для влюбленного сердца своего. Он имел причину — Софья любила его, любила нежно, пламенно. Он заметил уже сие, недоверенность, однако, уже обладала им. — Сомнение есть жребий влюбленных.

Хочет завести часы: видит портрет Софьи, владычицы души его. Чтоб изобразить его восхищение, надобно быть на его месте;

надобно любить столь нежно, сколь он; чувствовать, как чувствовало сердце его.

Прекрасная Софья с намерением подарила ему часы с своим портретом; подарила так, что и отец ее того не знает. Любовь! ты одна научаешь нас нежности, изобретаешь способы нравиться, чувствовать, сгорать и — умирать в восхищении.

— Софья! — вскричал М—в в изумлении, — ты много делаешь для несчастного; но я заплачу тебе. Образ твой начертан был в сердце моем, взоры мои повсюду его видели, разум воображал. Портрет твой вечно, за двери гроба последует за мною. С сего мгновения буду поклоняться ему, прикасаться с благоговением к руке твоей. Взоры мои встретятся с твоими, сердце вострепещет пред ними — и ты все это живо почувствуешь. Эхо разнесется повсюду, наполнит все места, коснется слуха твоего — ты узнаешь, ты поверишь. Я буду поклоняться тебе? — Что я изрек! Как! жертвы, свойственные божеству, воздавать смертной? Осмелиться сравнить ее? Осмелиться раздражать? Страшное заблуждение. Но почему? Человек с чувствительною, непорочною душою, с кротким, невинным сердцем — не есть ли изображение божества? — Нравственные черты его не есть ли истинные черты предвечного? — Нет! не заблуждение, — должность, необходимость; нет, тут нет преступления.

М—в и действительно часто становился на колени пред портретом Софьи, с благоговением касался к руке, лобызал ее и нередко орошал слезами, — влюбленный подобен дитяти: он не знает, что делает и для чего делает, он слепо повинуется только чувствованиям своим и заблуждению.

Скоро наступит мгновение, в которое все исчезнет для чувствительных сердец. Отчаяние заступит место нежности, ужасная горесть заменит взаимное их восхищение. Сколь жестоко судьба играет нами!

Я возвестил уже намерение отца Софьи проникнуть в самые сокровенные чувствования влюбленных: он просит М—ва списать портрет с его ученицы. В чем откажет он для Софьи? Ни в чем, никогда. — Сколь слаб, сколь недалковиден человек, очарованный любовью. Софья восхищалась, что кисть любезного изобразит ее; М—в вне себя, что будет всматриваться в красоту Софьи; и по чертам, переменяющимся под красками, будет судить о чертах нравственных. Увидит, почувствует, сколь далеко он в сердце ее; узнает — и гибель неизбежна!

Софья, одетая в белое простое платье, с розою на груди, с лиловым бантиком на темнорусых волосах, развевающихся от дуновения вефира, которые он перебирал бережно, с арфою в руках, садится в кресла. Вообразите Эрату в шестнадцать лет, которой улыбка восхищает взоры, очаровывает сердца, — это будет Софья!

М—в берет в руки кисть: трепетание ее изображает трепетание сердца его. Отец смотрит любопытными глазами; живописец, научаемый любовью, делает очертание лица. — Для одного дня этого довольно.

Настал другой день: кисть М—ва изображает прелести Софьи — Апелл! Рафаэль! Вы слабы сравниться с М—м. Вы одушевляли труды свои искусством, моим живописцем правит сердце — сама любовь. — Отец Софьи оставляет их. Я помещаю разговор двух сих любовников.

М—в

Выберите один предмет и не спускайте с глаз его.

Софья (*смотря на него*)

Ни на минуту.

М—в (*заметья это*) .

Тем более будет верности.

Софья (*улыбаясь*)

А это всего лучше. (*Посмотря на портрет*) Вы мне льстите.

М—в (*с чувством*)

Моя кисть изображает то, что глаза видят, что чувствует сердце.

Софья (*нежно*)

Тем менее ошибетесь.

М—в (*всматриваясь в глаза ее, рисует, останавливается*)

Глаза ваши самая трудная черта для изображения. Небесный огонь, которым они наполнены, искры, летящие из них, подобны искрам солнечным — они сожигают.

Софья (*закрасневшись, с нежностью*)

Менее смотрите.

М—в (*живо*)

Расцветающий румянец на щеках, подобный рождающейся розе...

Софья (*живо*)

Менее уподоблений, менее...

М—в (*живо*)

Священная улыбка, на которой царствуют грации; которая животворяет взоры; разгоняет нахмуренность...

С о ф ь я (*в сторону*)

Сердце мое в ужасном движении!

М—в (*в сторону*)

Душа моя исторгается из самой себя!

М—в останавливается. Ему должно изобразить самое восхитительное — грудь Софьи. Он обращает все внимание: взоры его устремились и на секунду не оставляют сего предмета. На двух возвышенных полукружиях видит он восходящие розы; стебли их преклонились на лоно лилей; взоры его исчитывают самые жилки, небесно-голубым цветом покрытые. Сердце говорит ему: «Здесь душа твоя!» М—в в ужасном положении. Взоры его все стремительно поглощают. Он бы желал коснуться и умереть на сем очаровательном месте. Софья замечает движение души его; цвет лица ее перемениется; дуновение утихает, волнение по грудям ее разливается. Она боится — сама не знает чего; чувствует то, чего никогда не чувствовала. М—в берется за кисть, не в состоянии сказать ни слова.

С о ф ь я (*в смятении*)

Докончите без меня-с.

М—в (*пылко*)

Без вас? Всякое воображение будет слабо, недостаточно.

С о ф ь я (*желала бы встать, но не может*)

Ежели нельзя, то — поскорее.

М—в (*скоро и пылко*)

Тут много будет потеряно, тут не будет этой души, этого животворного огня, сей нежности, которая очаровывает зрение.

Софья чувствует, что огонь разлился по лицу ее, хочет обмахнуть себя платком, возносит руку, М—в к ней касается устами.

С о ф ь я

Боже мой! кончите, кончите. (*В сторону*) Что со мною делается?

М—в хочет протянуть черту, дабы возвысить грудь Софьи, которая мгновенно воздымалась и опадала, кисть вылетает из рук его. Страх, робость — все исчезает. Он падает на колени.

— Нет, не могу, не должен продолжать более. Рука моя мне изменяет, сердце вылетает из меня, дух мой стеснен. Нет, не могу более молчать — я преступник! я боготворю тебя!

С о ф ь я *(в страшном движении)*

Боже мой! встаньте — я вас прошу, встаньте.

М—в *(скоро)*

Ваше слово или умертвит меня, или возвратит потерянное мною спокойствие.

С о ф ь я *(расстроено)*

Встаньте! — я...

М—в *(в испуге)*

Договори, Софья! Бог души моей!

С о ф ь я *(запинаясь)*

Я вас — люблю — нет, не верьте, думайте, что вы хотите, обманывайтесь...

М—в *(скоро)*

Первое впечатление, которое произвели взоры твои в моем сердце, огонь любви, мучение, отчаяние — все раздирало душу мою — ежели я несчастлив — я мертв!

С о ф ь я *(не выдержав)*

Живите! — я люблю, буду любить, жить для тебя только. Эта рука, сердце никому принадлежать не будут.

М—в в восхищении целует руку; уста Софьи коснулись к устам его; все забвенно! все для них исчезает!

— Наконец открыл я тайну, сердце мое раздирающую, — вскричал раздраженный отец, который подслушивал весь их разговор из другой комнаты. — Трещи, недостойная дочь и жестокий соблазнитель ее.

Софья вне себя упала пред ним на колени; отец оттолкнул ее. Она поверглась в обморок. М—в не мог сказать ни слова.

— Мои обиды ничем загладиться не могут, как кровию преступника, — говорит он М—ву, — но ты, ты слабая жертва, недостойная мщения. Не снидет дух мой до подлости, низко шпаге моей омыться кровию твоею. Удались мгновенно отсюда, но трещи! я всюду тебя преследую. Трещи! ежели ты слово кому произнесешь.

Слезы полились из очей М—ва: взирает на Софью, но ему запрещают. С радостью пожертвовал бы он жизнью за спокойствие ее — ему не внемлют. Его мгновенно изгоняют из дому. — Два часа, и он уже в городе.

Софья приходит в себя, чтобы чувствовать еще жесточайшее мучение. Отдалена от отца, в уединенной комнате, в которую никто, кроме старой женщины, не входит; участь М—ва, неизвестность, что с ним сделалось, потрясают сердце ее. Ангел невинности! слезы суть твоя пища.

Оставим М—ва; Софья на некоторое время займет нас. Шесть дней протекли разлуки ее с несчастным. Сколь много переменилась она! Блестящий огонь, которым были наполнены глаза ее, исчезал, как вечерняя заря при лунном свете, животворная улыбка ее уже подобна весне умирающей, мрачная задумчивость рассеялась по лицу ее. Коль сердце стесненно, взоры мертвы! — Отец приходит к ней.

В первый раз в жизни присутствие его сделалось несносным для Софьи. Сердце говорило ей: «Вот мучитель твой!»

— Софьюшка, друг мой, ты страдаешь.

Она вздохнула, и слезы жестокого сокрушения покатались по лицу ее. Каждая капля, казалось, укоряла непереклонного отца ее.

— Забудь твоего соблазнителя, истреби пагубную страсть. Ты знаешь, что я люблю тебя более всего на свете, ты знаешь, что я всем для тебя пожертвовал. Слезы мои — доказательство моего о тебе соболезнования.

— Батюшка! Батюшка! менее плачьте, будьте более ко мне милосерды.

— Любовь ослепляет тебя! рассуди благоразумно и увидишь, что М—в не может быть твоим мужем. Он беден, бесчиновен, незнатен; ты богата, знатна, прекрасна. Соединение ваше может обесславить тебя; сделать пятно неистребимое для моей фамилии; оно для тебя несчастье. Ты не можешь вкушать с ним истинного блаженства.

— Сколь сильны доказательства предрассудка! и сколь слабы для души благородной!

— Поверь, Софьюшка, что любовь в сравнении с веком жизни есть мгновение: мгновение исчезнет, любовь угаснет. Может ли он любить тебя, любить нежно, постоянно?

— Батюшка! слову его верю я более, нежели клятвам целого мира, — и улыбка, соединенная с доверенностью, блеснула на розовых устах ее, живость взоров подтвердила ее надежду.

— Он ветрен, непостоянен, друг мой; любовь его есть искра: рождается и мгновенно исчезает, сведения его ограничены, разум обыкновенный, сердце развращенное.

— Вы прежде не то об нем говорили.

— Он мне не таким казался.

— Ах! как бы я желала, чтобы вы об нем столь же хорошо думали, как прежде! Вы бы увидели, что сердце его нежно, чувствительно; нрав кроткий и тихий, что любовь его ко мне неограниченна, ежели бы увидели, что происходит в моем сердце при одном слове об нем, при одном воображении...

— Довольно! Так нет надежды к истреблению любви твоей? — спросил он, возвыся голос.

Софья затрепетала.

— Я прерву ее! ты почувствуешь, ты будешь сожалеть.

Софья хотела броситься на колени: раздраженный отец оттолкнул ее.

— Я много снисходил! — хлопнул дверью и ушел; Софья осталась вне себя.

М—в, разлученный с Софьей, отторженный от предмета обожаемого, лишенный надежды даже и видеть ее, погружается в бездну уныния. Мрачная задумчивость распростерла крылья по лицу его. Две недели, как он расстался с Софьей и расстался с целым светом. Он удаляется от бесед, они ему несносны; чувствует, что и он в тягость им. Веселый нрав, острота разума, которым он прежде оживотворял общества своих приятелей, увяли. Он беспрестанно помышлял о Софье, стонал в уединении, трепетал и помыслить изменить своей скромности, боготворил в тишине души. Глубокая меланхолия притупляла его чувствования, — он переродился совершенно.

«Вертер» и портрет Софьи не выходили из рук его. Чтение первого увеличивало движение души его и делало несносными его несчастья; последний впечатлевал в сердце черты его любезной, и соединенными силами восставали противу твердости его, которая давно уже поколебалась.

— Вертер, — вскричал он, — ты понес с собою во гроб лепточку Шарлоты; портрет Софьи драгоценнее для меня. Когда существо мое превратится в ничтожество, когда душа моя обратится к своему началу, он будет со мною — в моем сердце. Время все истребит! миры разрушатся; величественные светила падут; неизмеримый океан иссохнет; — любовь моя к Софье продолжительнее самой вечности.

Новое поражение увеличивает горечь М—ва: он имел сестру, которую любил более всего на свете, жертвовал всем для нее, жил для нее, она занемогла и умерла в течение трех дней. Нежный брат, друг ее, проливал слезы, желал стократно воздать жертву смерти собою, чтобы только воскресить сестру, все тщетно! все ополчалось против М—ва! Он сам сделался слабее и несколько дней не мог выходить из комнаты. Смертный! колико мужества, твердости души потребно тебе, чтоб переносить удары судьбы.

В сем-то положении М—в получает письмо от Софьи; читает его, трепещет, дыхание стесняется в груди его; исступление начертано на его глазах; бледность покрыла лицо его; слезы навернулись и остановились на щеках его. Я помещаю письмо сие:

«Время вывести вас из заблуждения: я почитала ваш разум, дарования, ваши способности, но сие почтение не простиралось до любви. Я видела вашу страсть и поставила должностно снисходить к вам из сожаления. Вы не можете обвинять меня в моем равнодушии: чтоб любить, надобно чувствовать. Для сих чувствований я молода. Может быть, я бы и не простила себе, ежели бы вы заняли место в сердце моем. Различие состояний, породы никогда не позволяли мне забыть себя, чтобы более помнить, кто вы. Будьте спокойны. Вам никто столько добра не желает, как
ваша ученица».

М—в читал сие письмо беспрестанно; жал себе руки, воздыхал, плакал. — Как! Сии черты изображают сердце Софьи? — Она могла? — Горькая улыбка на лице высказала чувствования души его.

Кто бы мог ожидать столь ужасной жестокости от невинной, тихой, кроткой Софьи, которая нежно любила М—ва? Все обвиняет ее, но она невинна. Гордый отец решился довести ее до крайности. Он противоположил любви ее страшную жестокость. Не в состоянии поколебать ее ни лаской, ни угрозами, решился употребить пагубное насилие. Заставляет Софью писать к М—ву, требует, чтобы она изъяснила слова его, как собственное свое чувствование, она не может сделать сего, проливает слезы. Одна капля должна бы была подвигнуть к сожалению неприступнейшее сердце, отец не поколебался. С яростию берет он ее руку, водит ею по бумаге, оканчивает письмо и посылает его к М—ву.

— Ежели не тебя, — говорит он с крайним исступлением, — то соблазнителя твоего принужу забыть тебя.

Софья, лишенная дыхания, упадает.

Стечение столь горестных обстоятельств истребило и малейшую часть спокойствия и твердости М—ва. В нем не виден уже более человек с рассуждением, два дня после письма Софьи, которые провел он удаляясь от сна, не вкушая даже нужной для подкрепления здоровья пищи, сделали его столь слабым и отчаянным, что он подобен был преступнику, угрызаемому совестью. Он не велел даже никого впускать к себе. Старый слуга, который любил его как нежного отца, входит к нему. М—в смотрит на него стремительно и ничего сказать не может.

С л у г а

Вы очень печальны! два дня уже ничего не кушали. Не прикажете ль стол накрывать? Вы ничего говорить не изволите.

М—в берет его за руку, хочет что-то сказать, но язык ему изменяет.

С л у г а

Перестаньте сокрушаться, сударь, — вы жалеете о сестрице?

М—в (*скрытно*)

О сестрице?

С л у г а

Смерть ее есть воля божья. Мы все от него зависим. Положитесь на его милосердие. Он отнял и наградить вас может.

М—в (*пылко*)

Потеря невозвратима; награда всякая слаба; сердце обманутое, раздираемое мучениями, не должно надеяться. Надежда увеличивает горести.

С л у г а

Успокойтесь, сударь.

М—в (*чувствительно*)

Успокоюсь, друг мой, вечно успокоюсь, — договорил он шопотом. — Оставь меня.

С л у г а

Мне вас оставить? В таком отчаянном положении? Когда всякая минута новые рождает вам мучения? — Ни на минуту. Я постараюсь говорить с вами, рассеять задумчивость.

М—в (*с горькою улыбкою*)

Ты надеешься? Ты не успеешь! — Мои мучения, моя горесть — они необыкновенны. Слабо будет всякое убеждение! придет час — все кончится, — и слезы навернулись на глазах его.

С л у г а (*став на колени*)

Скажите, скажите мне, сударь: не сделали ли вы какого-нибудь преступления? Не нужно ли жизни дряхлого старца для замены вашего спокойствия? Возьмите, вот она! Что мне в ней, когда страждет мой любезный, честный господин, — возьмите!

М—в (*поднимая его стремительно*)

Встань, великая душа! встань! Я не преступник, злодеяния чужды мне. Я слабый, несчастный, сожаления токмо достойный.

С л у г а (со слезами)

Разделите вашу горесть со мною; будьте вы веселы, я поплачу за вас; я за вас почувствую. Вы еще молоды, уныние свойственно старости.

М—в (со слезами)

Нежный, достойный дружества моего, почтенный старец, не исторгай из меня сердца. Твоя чувствительность терзает внутренность мою. — Увы! можно иногда сострадать ближнему, но почерпнуть в себя самого страдания невозможно. Оставь меня — я буду — буду весел — даю слово тебе, клянусь твоею добродетельною душою, что буду спокойнее.

С л у г а (целуя его руку)

Боже, услыши молитву мою! — Я до тех пор не перестану просить его со слезами, пока он не возвратит вам спокойствия, — и пошел в свою комнату, взглянул на господина своего, и слезы покатались по лицу его, подобному бледному полотну.

Вся внутренность М—ва потряслась, он не мог удержаться от слез; не мог не восчувствовать почтения к слуге своему. Успокоился и потом начал:

— Из всех зол человек избирает меньшее; сего требует благоразумие. Погружаться в страданиях, которые суть бесчисленны, желать терзаться самопроизвольно — сумасшествие! Неужели недостанет столько твердости, чтобы? — Одно мгновение — и кончено. Существо мое содрогается; биение сердца подобно непрестанному биению пульса; душа моя исторгается из самой себя. — Все вопиет: удержи гибельное стремление! очарованный прелестями, погружающийся в бездне страстей, ты не знаешь, чем обязан самому себе?..

Глаза его налились кровию — вскакивает с кресел, осматривается во все стороны, идет к своему комоду — шаги его робки — трепещет. Стремительно отпирает комод и сокровенно вынимает пистолет. Глубокое молчание его окружает, он начинает дрожащим голосом:

— Орудие, изобретенное тартаром! — существом, превосходящим злостию самый ад; человеком изобретенное для истребления себе подобных, самого себя — в тебе все мое спасение.

Пистолет заряжен: уже несчастный готов положить порох на полку, — дважды насыщает его — и не может сего сделать. Ненависть к самому себе умножается — свирепым голосом он произносит:

— Все против меня, но ничто не удержит.

Усиливается — сердце затрепетало, тяжелые вздохи в груди остановились. Он падает без памяти на пол, голова его облокотилась на креслы — таким образом провел он целую ночь.

Пагубная мысль самоубийства вкоренилась глубоко в сердце сего пылкого любовника. Одна минута нужна к совершению жестокого предприятия, — он ни к чему не внимал. Несчастный! я проливаю слезы о тебе, чувствительное сердце содрогается. О, если бы я мог отвратить удар, — с какою бы восхитительною радостью я это сделал.

Солнце еще не вступило в утренний путь, еще не освещало золотыми лучами миров, М—в проснулся. Лицо его было подобно бледной тени, исходящей из густых паров, огненные глаза подобны двум звездам, во мраке тут едва мелькающим. Содрогается — мечет повсюду рассеянные взоры — время было ужасное, возбуждающее отчаяние: западный ветер завывал, ударяя со страшным стремлением в стены дома, дождь сильный, подобный стремлению морских волн, разливался, беспрестанная молния мелькала, громовые удары один другого преследовали со страшным треском: казалось, настал час всеобщего разрушения, — казалось, вся природа с мучительным стоном желает исчезнуть вместе с несчастным М—м.

Он подходит к окну, смотрит и говорит:

— Какое величественное зрелище! Все мне способствует. Сии бурные порывы стихии, сие всеобщее потрясение природы — живое изображение бурных порывов страстей моих, потрясения внутренности моей. Что медлишь? Для несчастного одно мгновение вмещает веки мучений — предел положен.

Садится в креслы, берет в руки перо и начинает письмо к Софье. Я предлагаю его отрывками, каково оно было.

Июля 12 в 6 часов пополуночи.

Я получил, я читал, как нареку? Я читал адское твоё начертание. Софья! ты желаешь — и я мертв; ты требуешь, чтобы я был спокоен, и успокоюсь — вечно успокоюсь.

Как! твоё перо начертало; твои уста изрекли; твоё сердце вещает, что я не был любым тобою? Ты льстила мне из снисхождения? Ты? — Жестокая! — что сделал тебе несчастный, который боготворил тебя, восхищался тобой; который видел в тебе ангела, дышал тобою, тобою чувствовал; предузнавал, чего желали глаза твои, с благоговением исполнял, что говорили уста твои, — который себя почитал за то только, что познавал цену тебе, что тебе поклонялся?

Так ты только сожалела обо мне? — Не раздирай чувствительного сердца, не умерщвляй меня стократно. Несчастен, злополучен достойный сожаления — смерть его прибежище, его спасение.

Я предпринял, я решился — ничто меня не удержит. Прежде, нежели ты почувствуешь, помыслишь, я мертв. — Все имеют

цель, я нет; — все питаются надеждой, лучи ее меня не освещают; — все наслаждаются, наслаждаются чем-нибудь — для меня все отравя, горесть неизмеримая, мучения невообразимые.

Софья не для меня живет? — и я для нее? — Не стану влачить презрительную жизнь! лучше совсем не быть, нежели быть ничем.

Ты не любила? — для чего же лъстила ты нежному, чувствительному, пылкому сердцу моему? — Для чего разлила яд в душе моей? Для чего питала надежду во мне, сию гидру, увлекающую нас за собою, поражающую нас? Для чего взоры твои обещали мне? Для чего ты желала быть со мною, требовала, чтобы я с тобою был? Для того, чтобы погрузить меня в бездну мучения, любви, отчаяния; — для того, чтобы неприметным, медлительным, томным ядом напоить внутренность мою; расторгнуть существо мое. — Увы! взоры твои вмещают нечто божественное, сердце — адское. — Несчастный! — что я изрек?

Как сильны, как могущественны, священны для меня были слова твои! — ты мне сказала, что я тебе понравился, — и блаженство мое было ни с чем несравненно; я коснулся к руке твоей — и сердце мое, моя душа, мое существование для меня исчезли — они уже твои были; ты изрекла: *люблю!* — и я в пламень превратился.

Вспомни то мгновение — оно было для меня и адское и самое восхитительное; вспомни, когда я уже предан был и любви и тебе совершенно — впечатление сие было еще первое в жизни моей, — когда я чувствовал мучения невообразимые, когда все существо для меня исчезло, когда разум предвещал мне будущее; когда я предчувствовал, что со мною случится нечто необыкновенное, неестественное, я хотел бежать тех мест, где было твое присутствие, где тень твоя была для меня опасна, — я хотел — решился — ты предвидела, изрекла только два слова: останьтесь, останьтесь для меня! — я упал пред тобою, предприятие мое разрушилось, робкое безмолвие высказало мое повинование. На черных огненных глазах твоих навернулись слезы. — Сколь драгоценны они мне казались! — сие мгновение было для меня небесным.

Ты никогда не могла забыть различия состояний? — Софья! — верь мне, как другу, я буду им по протечении всех веков, — верь мне, что состояние не возвышает нас! — душа, разум, добродетель, они одни только почтенны; их только не поглощает ни время, ни вечность, — и самые всеносцы суть те же человеки.

Я презрен тобою! — стало, я это заслужил, так я и накажу себя — кто презрен, тому возвращает право на почтение единая смерть. Не вострепешу пред нею! но ты — ты будешь сожалеть о сем; угрызения за тобою последуют, проклятие изрекут на твои прелести, которые столь заразительны, — проклятие! — на Со-

фью? — Боже! отпусти мне — важно ли бытие мое? — Не нужную никому проливаю я кровь. Софья! кровь сия струится, укоряет тебя; дух мой излетает из меня, я не могу докончить. О, если бы ты знала, что я чувствую при произнесении единого слова: самоубийство.

13, пополудни в 4 часу.

Софья, божественная Софья! после жесточайшего мучения, горящих, огненных слез, — после ужасного волнения души моей я несколько успокоился. Строки в первом письме моем тебя оскорбили? Прости мне, бога ради, прости несчастному. Я не знаю, что я делаю, — сердце мое подобно сердцу преступника, влекомого на казнь. Я достоин, достоин еще сожаления. — Ах, если бы ты меня увидела! как я переменялся! — яд в сердце — смерть на челе моем.

С каким ужасом отвращал я прежде кровавые взоры от грозной смерти! вчера еще — еще вчера содрогался, воображая об ней, но воображение мое оледенело, ужас исчез. Без робости, без трепета, без малейшего уныния стремлюсь сегодня в хладные ее объятия.

11 часов.

Я кладу порох на полку хладнокровно; вдруг любезная твоя собачка, которую сердце твое мне подарило, вскакивает на канаве. Бросается ко мне, визжит, лижет руки мои, прыгает на колени, дергает лапками своими меня за руку. Я должен был успокоить ее: она твоя. Положил пистолет на стол, обласкал ее, прижал к сердцу, нежно прижал, и сел с нею на канаве. Чувствует ли она, что принимает от меня последние ласкания?

14, пять часов утра.

Я еще стал спокойнее, божественная Софья. Изопьем чашу смерти! — меня обвинять станут в самоубийстве! Ах! надобно проникнуть в мое сердце; надобно то чувствовать, что я чувствую, надобно мною быть, чтобы судить о моем поступке, но трепещет ли тот обвинений, кто презирает самую смерть?

Солнце чуть восходит на горизонт — в последний раз я его вижу, в последний раз наслаждаюсь зрением сего величественного светила. — Оно взойдет завтра; — я этого не почувствую, — и еще взойдет; но ветры уже и прах мой развеют. Слезинка упала и покатилась к сердцу моему.

Портрет твой снидет со мною во гроб — на что похищать его у несчастного? Ты мне его подарила: да будет он мне воспоминанием и за вратами смерти, что я боготворил тебя.

Софья! я воздал уже благодарение предвечному за все его ко мне милости и предаю себя в его волю — помолись и ты обо мне.

Сейчас взглянул я на свечу — она догорает — догорает и свеча жизни моей!

С сим словом он взялся за пистолет, вознес, направил — удар сделал в самое сердце; несчастный упал. Выстрел разбудил его человека: он вошел к нему, увидел его окровавленного, не произнес ни слова и повергся на грудь его бесчувствен. — Живущие в том доме вбежали в его комнату, народ стекался.

М—в храпел, — он еще жив был, но рана неисцелима. Приподнял голову с страшным напряжением, увидел себя окруженного зрителями, — взглянул, — слезы, смешанные с кровию, струились по бледным его ланитам, — пожал руку своему слуге, который возле него лежал, произнес томным и умирающим голосом:

— Простите! Софья! — и с сим словом испустил последнее дыхание жизни.

Весть сия, как порывистый вихрь, донеслась до ушей отца Софьи.

— Он застрелился? — Бога ради! Бога ради! не сказывайте Софье! — скачет в карете и, не более как в час, в квартире несчастного.

Он уже лежал на канаве — холодная смерть на челе, розовая кровь разливалась вокруг него. Грудь его была обнажена, раны еще не затянуло, — видит сие отец Софьи; бросается перед ним на колени, кричит страшным голосом:

— Я твой убийца, я твой мучитель! — целует руки его, орошает лицо его слезами, становится безмолвен.

— Несчастный, что ты сделал? Для чего не помедлил ты еще двух часов вознести адское орудие? — Софья, дочь моя, она была бы твоею. Гордость! исчадие тартара! я проклинаю тебя, я вечно терзаться буду, вечно проливать слезы.

Скрытно приказывает провезти тело несчастного к себе в деревню, трепещет, чтобы не узнала Софья, но ее нежное, чувствительное сердце предвещало — не знает отчего, но проливает слезы. До нее доходит слух о смерти.

— Жестокие! пустите меня к нему, дайте мне с уст его всосать в себя смерть или оживотворить его пламенным дыханием. Пустите! — с сим словом лишается чувств — жизнь ее в опасности.

Тело предано погребению близ самого того дома, где жил несчастный, отец Софьи и сия невинная, божественная душа не могли быть при погребении. Все об нем проливали слезы. Кладбище обсажено было липами, на могиле воздвигнута мавзолея, на ней золотыми литерами вырезана эпитафия, сочиненная самим покойным, найденная в его бумагах, — я ее здесь помещаю.

Э П И Т А Ф И Я

Чувствительное, непорочное сердце! пролей слезы сожаления о несчастном влюбленном самоубийце; снизойди к слабостям его, как человек, прости его преступление. Обрати нежный взор к предвечному, помолись об нем — брегись любви! — брегись сего тирана чувств наших! стрелы его ужасны, раны неисцелимы, терзания ни с чем несравненны.

Слуга М—ва не принял отпускной.

— На что мне она? — вопрошает старец. — Я служил при жизни ему, буду служить и по смерти — проведу остаток дней у сей гробницы, где положен прах нежного, чувствительного господина, почтеннейшего из людей.

Отец Софьи проливал по самую смерть слезы о несчастном. Софья, непорочная Софья, вечно не согласилась никому отдать руки своей. Ее упражнения состояли только в том, чтобы всякий день посещать гробницу обожаемого любовника. Все те, которые знали М—ва, сожалели о нем, все проливали слезы, проливаю и я — и сии минуты есть усладительнейшие в жизни моей.



Н.И. СТРАХОВ

1760-е – 1810-е годы



Н. И. СТРАХОВ

Николай Иванович Страхов обладал незаурядным литературным дарованием и острым сатирическим пером, книги его пользовались большой популярностью в 90-е годы XVIII века. Сатира Страхова затрагивала насущные и разнообразные темы общественного быта, бичевала главное зло русской действительности — крепостное право, и положительное ее значение несомненно.

Биографических сведений о Страхове сохранилось немного. Неизвестны даже даты его рождения и смерти. В 1780-е годы Страхов принимал участие в издательских предприятиях Н. И. Новикова, перевел и напечатал несколько книг. В 1790 г. Страхов начал издавать свой журнал «Сатирический вестник», выпустил шесть частей, в 1791 г. вышли седьмая и восьмая части, в 1792 г. — девятая и последняя.

Одновременно с «Вестником» Страхов в 1791 г. издал «Карманную книжку для приезжающих на зиму в Москву» (часть I, в 1795 г. вышли II и III части) и «Переписку Моды». Все эти книги принадлежат к числу «зачитанных» и давно уже являются библиографической редкостью. В 1793 г. вышел «Плач Моды о изгнании модных и дорогих товаров», в 1795 г. был перевздан «Сатирический вестник». Издания произведений Страхова являются единственными фактами его биографии этой поры. Затем он надолго отходит от литературной деятельности, занятый своими служебными делами, и только освободившись от них в 10-х годах XIX века снова выпускает несколько книг уже совсем иного рода. В них преобладают жалобы, сетования на судьбу, брюзжание по поводу новых времен, воспоминания о безвозвратно прошедшей юности. Общественно-литературного значения поздние книги Страхова «Рассматриватель жизни и нравов» (1810 г.) и «Мои петербургские сумерки» (1811 г.) не имеют.

Первые же издания Страхова имеют боевой критический дух. В «Сатирическом вестнике» Страхов выступает в качестве строгого и неумолимого обвинителя дворянского общества. Он не находит в нем ни единой светлой черты: грубость нравов, пустота и развратность так называемой светской жизни, безумная погоня за модой, стоящая тяжелых мучений десяткам тысяч крепостных крестьян, презрение к науке, увлечение блестящей внешностью быта — весь круг дворянских интересов и забот подвергает сатирик внимательному разбору и суровому осуждению. Ни разу не пытается он сбавить резкость тона, смягчить упрек, нигде не позволяет себе польстить Екатерине II или ее влиятельным фаворитам. Им руководит стремление «научить юношество любить истину в собственном ее виде».

«Какая всюду пустота! — таким восклицанием начинается «Карманная книжка». — Уже богатства Цереры свезены с полей в скирды, поставленные окрест сельбищ. Стук цепами, стук, предвозвещающий труды, чредящие избытие человеков, несносен для ваших благородных ушей... Септбрь и октябрь суть те месяцы, в которые истинно благовоспитанные люди не могут жить в деревне. Не дерзайте опровергать сего важнейшего обычая совершенно благородных людей!.. Кидайте сколько можно скорей ваши деревни и скачите на почтовых из ваших поместий. Подлые ваши попечения о молотьбе хлеба возложите на ваших старост».

Описав переезд семьи в Москву, сатирик посвящает следующие главы закулкам парядов, карет и саней, а затем дает советы по модному воспитанию, которое следует доверить иностранцу — «мусье». Страхов обрушивает свои стрелы против «познающих бродячих» наставников, бывших слуг и камерди-перов, обманщиков, бежавших из Франции по случаю полицейского преследования и нашедших приют в России. Он иронически советует дворянам нанимать учителя «послушнее, повялее, поучтивсе, повеселсе, снисходительней к детям и подешевле».

Шутливый тон автора не может, однако, скрыть его тревоги за судьбу тех, чьими трудами создается это видимое благополучие дворянского света, не может сдержатъ прорывающееся негодование. Помещики не желают видеть в крестьянах людей; для них крепостные — только машины, вырабатывающие средства на беспечальную жизнь. «Странные уставы, произведенные свойством века нашего, нашими нравами и нашими обычаями! — восклицает сатирик. — Кто не ужаснется, видя, что состоянием в благом целой жизни располагалось с таким безвниманием, равнодушием, жестокостью и небрежением».

Страхов не ставит вопроса об уничтожении крепостного права — в XVIII веке на такую высоту смог подняться лишь А. Н. Радищев, — но уродливости и жестокости крепостнической эксплуатации находят в нем сурового обличителя. Он полон сочувствия к угнетенным крестьянам, и вместе с тем его тревожат пагубные последствия рабовладельческой системы для всего государства.

Одним из важнейших общественных пороков Страхов считает бессмысленную погоню за модой, увлечение щегольством, расточительность и мотовство русского дворянства. В своих обличениях моды и подражания французам Страхов продолжает сатирическую линию, на русской почве представленную — в числе важнейших — именами Кантемира, Новикова, Фонвизина, Крылова. Статистические таблицы показывают, что значительная доля доходов дворянства тратилась на предметы роскоши и моды; воспоминания и мемуары современников рисуют потрясающие картины безумного расточительства, всеобщего увлечения привилегированных классов «демоном моды», захватившим не только столицу, но и глухую провинцию.

Для Страхова было очевидно, что такой образ жизни дворянства пагубно отражается на экономике страны, разоряет крестьянство. Он звал помещиков к разумному хозяйствованию в их усадьбах, предостерегая от увлечения расточительной жизнью городского общества. Но при этом Страхов был далек

от идеализации сельской жизни, широко развернутой в сочинениях представителей дворянского сентиментализма. Страхов хорошо знает деревню и не надеется найти там сцен из пастушеских идиллий.

В письме из К. уезда («Сатирический вестник», ч. III, стр. 27) Страхов иронически отмечает, что литературные описания «приятностей» сельской жизни далеки от действительности. «Порок повстречается с нами при первой версте, а добродетели также не найдешь уже близ стогов сенных». Хлебопашец и пастух, «только восхищающие нас в романах и бессмертных творениях г. Геснера, сделались нравами своими подобны городским блинникам, извозчикам и торгашам». Златые времена исчезли бесследно, и приходится нередко видеть, что «сельская нынешняя Дафна достойные приемлет побои за какие-либо свои хитротворства; а деревенский Миртил, сделавши невинную привычку лазить с рукою в чужие карманы, часто спину свою подвергает палке».

По тону и горькой иронии эти строки напоминают, а вернее предвосхищают разоблачение примиренчества дворянской сентиментально-идиллической литературы, выполненное Крыловым в «Кайбе» (1792). Вместе с Крыловым Страхов высмеивает приспособление сентиментализма к вкусам и целям дворянской интеллигенции.

В литературной манере Страхова заметно стремление передать особенности речи своих героев, снабдить их образной манерой мышления и изложения, дать языковые характеристики. Отвергнутые щеголихами старинные уборы обращаются к Моде в следующих выражениях: «Занеже вестимо бе, яко ты велемочию своим попра и одоле властвовавший пад ны обычай» и т. д. В свою очередь Мода отвечает им на «французско-нижегородском» жаргоне: «Ваши бономи и семплисите заставили меня так смеяться, что я едва от того не лопнула. Фуй! Фуй! Как вы меня уморили! Сюр мон онер, вы, видно, презабавные твари...» Страхов использует профессиональную терминологию, дает образчики светского жаргона щеголих, чем очень оживляет свое повествование.

Одним из любимых литературных приемов Страхова является пародия. Он пародирует «Ведомости»—газету со всеми ее отделами; дает извлечение из «Модной энциклопедии», руководство, как сочинять, вовсе не учась, разного рода творения; помещает сатирические объявления о продаже чести, совести и о покупке ума, о поисках богатых невест и женихов, о продаже модных товаров. В этом смысле он продолжает линию «Трутня», так блестяще пачатую объявлением о «молодом российском поросенке» и «рецептом для г. Безрассуда». Часто в журнале Страхова печатаются корреспонденции из различных городов и уездов, зашифрованных начальными буквами их названий. В них автор достигает порой серьезного художественно-публицистического воздействия на читателя. По сравнению с ровной, отделанной прозой Карамзина язык сатирика грубее, однообразнее; однако и темы его иные, требовавшие гражданского пафоса, иронии и суровых обличений; временами он говорит языком оратора, убедительным и точным. Заметки публицистического характера иногда сменяются бытовым очерком, написанным верной и легкой рукой.

Изображая картины богатства и нищеты, довольства и угнетения, сатирик все время помнит о тяжком труде крепостных крестьян и указывает на него своим читателям.

Сатирические издания Страхова представляют бесспорный исторический и художественный интерес. Гуманистические взгляды автора, обличение жестокостей крепостного права, беспощадное разоблачение неизлечимых пороков дворянского общества позволяют считать Страхова продолжателем лучших традиций передовой сатирической журналистики 1769—1772 гг. и союзником молодого Крылова.

**Сатирический вестник,
удобоспособствующий разглаживать
наморщенное чело старичков, забавлять
и купно научать молодых барынь, девушек,
щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и
прочего состояния людей,**

**писанный побывалого года, неизвестного меслца, несведомого числа,
незнаемым Сочинителем**

*Иа Б..... уезда.
Неизвестного меслца от 94 дня.*

На сих днях наконец прибыл сюда из чужих краев сын богатого нашего помещика г. Безмозглова. Молодой Безмозглов во время путешествия и учения своего в чужих краях великие, как слух посится, приобрел познания, из числа коих наиглавнейшее состоит в том, чтоб не узнавать своих знакомых и почитать себя всех умнее. При нем находится ученый гофмейстер, нанятый за великую сумму денег, с тем чтоб он рассказывал и говорил за молодого г. Безмозглова о том что он в чужих краях видел и чему научился, также чтоб все умные свои слова и рассуждения объявлял за слова и рассуждения г. Безмозглова; притом вдобавок извинял бы молчаливость его пред прочими тем глубокомыслием, которое произведено в нем великою его ученостию и долгим пребыванием в Англии. Да и подлинно молодой г. Безмозглов есть редкого ума человек, что самое можно видеть из нескольких проектов или предложений, сочиненных им по случаю как нынешних военных, так и прочих обстоятельств. Сии важные предложения его состоят в следующем:

1. Учредить бомбы такой величины, чтоб во внутренность оных сажать можно было по несколько человек, целыми тысячами пущать таковые бомбы в город; и когда оные туда влетят и разорвутся, то посаженные люди, выскочив, совершенно и свободно могут город взять и покорить.

2. По поводу того, что в военные времена случается упадать солдатам в толь глубокие рвы, что вылезть из оных никоим обра-

зом не возможно бывает, предлагает г. Безмозглов ввести между военными в обычай завивать длинные и крутые косы, так что, упавши в ров, можно бы было сию косу продеть сквозь ног, а потом, ухватя оную спереди обеими руками, вдруг дернуть что есть силы и помощью сего выкинуть и выбросить самого себя из рва.

3. Для скорости же в причесывании волос военных людей предлагает г. Безмозглов сделать такой величины сальное бревно, как Иван Великий или Сухарева башня, так чтоб под оное уставиться мог и вдруг вымазать себе тупеи целый полк. — Также упоминает он о толь большой пудреной кисти, от которой единого маху напудрен быть может вдруг целый полк.

4. В рассуждении же опасностей, наносимых сражениями, предлагает г. Безмозглов выдумать такие ружья для сражения с неприятелем, которые бы, простираясь в длину на несколько верст, чрез сие самое могли наносить неприятелям крайний вред, а самим бы доставляли способы не только избегать смерти, но даже и всякой опасности.

Г. Безмозглов не удовольствовался толь важнейшими открытиями для отечества своего: он распространил и снабдил сочинения свои гораздо превосходнейшими предложениями и примечаниями.

5. Предложил он также о заведении особенного роду удобной почты. Сия мысль его состоит в том, чтоб сделать такую превысокую гору, которая бы место от места покатае простиралась. Таким образом устроенная гора от Москвы до Санктпетербурга и таковая ж оттуда до Москвы могли бы служить средством доставлять наискорейшим образом письма; ибо стоит только великое лукошко, наполненное множеством оных писем, пустить с сей горы из Москвы, то оное докатится чрез несколько часов в Петербург, или оттуда в Москву.

6. Далее делает он описание о почте на голубях и бумажных змеях. О сей последней упоминает он, что можно письма как принимать, так и отправлять оные по анемометру, или ветропоказателю, то есть в которое наместничество ветер, в то бы и писать письма со впускенным на воздух почтовым змеем. На сии змеи можно бы, прилагает он, сажать почтальона, который, увидя себя над каким-нибудь городом, мог бы находящуюся с ним предолгую веревку опустить и по оной с бумажным змеем и письмами притянут быть в желаемый город.

7. В рассуждении бумажных змеев поступает он к дальнейшим выдумкам, а именно: в облегчение трудов, употребляемых на выдергивание больших деревьев, приглашает он любопытных опробовать выдергивать оные помощью больших змеев. Стоило бы таковых пятьдесят или более привязать крепко к дереву, и когда бы змеи поднялись от ветра все вдруг на воздух, то могли бы так силь-

по потянуть, что мгновенно выдернули бы самое превеличайшее дерево.

Итак, сими-то выдумками и предложениями намерен себя прославить молодой г. Безмозглов; да и надлежит уповать, что подлинно по новости оных сделается он известным. Ко всему тому ученейший сей человек, исключая многих путешествий, учиненных им по всей Европе, знает столь много географию собственного своего государства, что положительно уверяет, будто Россия несколько более графства Гогенлоге, что Сибирь есть город Костромского наместничества, а Камчатка большое село в Кашинском уезде, что торг лесом производится из степных мест, соболей ловят близ Москвы, а икру и рыбу получаем мы из Украйны. Он уверяет, что верста составляет 500 сажен, а 500 сажен составляют версту и что от Москвы до Петербурга подлинно столько же верст, сколько от Петербурга до Москвы. Словом, если бы время и место позволяло, то можно бы написать о сем редком человеке гораздо толстейшие томы, нежели сколько в себе содержит пространный Белев «Исторический словарь». — Таковы-то есть редкие плоды путешествий, чинимых многим иждивением людьми, во всем подобными г. Безмозглову.

*Из 3..... уезда.
Неизвестного месяца от 98 дня.*

Пронесшийся слух, будто бы в столице дамы оставляют накладки фидейные, а мужчины манжеты фидейные, повергнув многих здешнего уезда госпож и девиц в великое уныние. Известная г-жа Нерассудова, барышня престарелых уже лет, наипаче всех от сей новости предалась сокрушению. Сия госпожа девица, от своеобычности своей и худого воспитания не могли в молодости своей вступить в брак, долгом сочла окружить себя невольными девственницами. Она собрала в свой дом до 50 девок, которые денно и ночью упражняются только в любимых ею фидеях. Сии 50 Лукреций день от дня стареются и, будучи незамужны, время от времени увядают. Лишены будучи способов ко вступлению в брачные обязательства, они вместо того, чтоб в продолжение жизни своей иметь случаи делать излияния на благо правительства и человечества, ничего иного в весь свой век обществу и свету не производят, как только несколько десятков аршин филе. Мода есть их тиран, а филе, для которых барышня их полагает быть созданными, изнуряет их век и занимает место брачных уз. Разные решетки, цветочки, узоры составляют все цели жизни их. Сии животные, имеющие в действии одни только иссохлые свои пальчики, изнуряют жизнь свою и пресекают оную фидеями, для коих употребляемая игла есть мечом, который рушит пустую, в бытности погребенную и ничем незначающуюся их жизнь.

Сему подобных губительных домов в уезде нашем находится великое число. В дворянских домах родители определяют дочерям своим по несколько таковых девок филейниц, отдают оных несчастных им в приданое, и девица, по следствию своеобычности или худого воспитания не могла долго выйти замуж, предопределяет сих готовить ей приданое, из филе состоящее, в сем тщетном труде проводить весь век и невольно сотовариществовать ей в девстве. — Странные уставы, произведенные свойством века нашего, нашими нравами и нашими обычаями! Кто не ужаснется, видя, что состоянием и благом целой жизни располагают с толиким безвниманием, равнодушием, жестокостию и небрежением? Кто может поверить, чтоб суетность и пустота светской и общественной жизни до толь высочайшего степени возмogli загладить чувствования человеколюбия, что решились претворить подобных себе в те простые махины, которые предопределяются для удовлетворения прихотей и самых ребячеств, от коих, однакож, между тем простирается та непрерывная цепь горестей, которая составляет безотрадность, мрачность и бесполезность века нескольких людей?

*Из Я..... уезда.
Неизвестного месяца от 116 дня.*

У известного нашего дворянина г. Псолюбова очумела вся псовая охота и не более как в неделю без остатка переколела. Невозможно объяснить со всею приличною живостию тоя печали, которая постигла душу г. Псолюбова. Трудно также описать радость тех несчастных и разоренных мужиков, на счет коих изобилия и гладу содержаны были сии резвобегающие твари. По примеру многих дворян г. Псолюбов употреблял на содержание охоты своей не только ежегодные доходы свои, но за недостатком оных столь много распродал крестьян, что чрез то самое малолетных лишил отцов, у жен отнял мужей, а у одряхлевших помощников их и пропитателей. Исключая сего вреда, великое число крестьян исхищены им были от плуга своего для исполнения праздно и пустой должности псарей. Притом он так любил покойную свою охоту, что в голодные годы желал лучше видеть умирающими от недостатка хлеба крестьян своих, нежели околевающими собак его. Сия любовь ко псам столь много занимала его душу, что в оной не оставалось любви к подобному себе. Жена, дети, родственники и друзья находились в забвении, памятуемы же были одни только собаки. Словом, все цели и благополучие жизни своей поставлял он в псах; а с кончиною оных полагал и самого себя умершим. Сказывают однакож, что по прошествии отчаяния своего твердо положил он не заводить впредь собак, дабы по случаю нового их переколения не предаться столь же великой печали, каковою в недавне удручены были дни его. Все бедные крестьяне его вну-

тренно и сердечно желают, дабы утвердился он в сих мыслях своих; от сего они надеются, что сердце его обратится к свойственной оному любви несчастных сочеловеков и что изобилие, добрый порядок и малое, но часто похищаемое благополучие беспышной их жизни паки водворится в горестию исполненные жилища их. — Благомыслящие дворяне и начальники семейств не менее также радуются о истреблении охоты г. Псолюбова; ибо он доселе не довольствовался тем, что поскользновенному к слабостям юношеству представлял собою худой пример, но даже многих молодых наших дворян разными способами пристрастил к сей охоте, толико вредной, разорительной и притом редко соответствующей благоразумной цели, для которой она принята между благомыслящих обществ людей. Желательно, чтоб те молодые люди, которые имели прежде в г. Псолюбове одобрителя своего, последовали его примеру, оставя таковые праздные упражнения; а те, кои равноподобно ему содержат великие стаи собак, число оных соделали бы соответствующим цели, для которой принято упражнение сие, или бы лучше совсем истребили такую склонность, которая вместо того, что должна была служить приятною заманкою к движению, поспешствующему здравью, бодрости и веселию нрава, по злоупотреблению своему сделалась, напротив того, такую страстию, которая занимает целую жизнь, расточает целые имения, разоряет бедных крестьян и доставляет в нас целым уездам и обществам юнош худой и раслительный пример добрых нравов. Притом колик удивительно и жалко видеть таких людей, которые для доставления себе минутных зрелищ на зайца и бегущих за ним собак в сих упражнениях провели всю жизнь, прожили все имение, разорили всех крестьян и не иное что оставили в наследие бедным и беспомощным своим детям, как один только хорошо устроенный собачий двор, но опущенное жилище; хороших псарей, но разоренных крестьян; многие своры собак, но и многие тысячи долгу! — Таковых-то людей подлинно многим есть чем помянуть и детям их и потомству!

*Из города М.....
Неизвестного месяца от 146 дня.*

Некто из разумнейших граждан наших сделал исчисление, что на 5000 жителей дворян число перукумахеров, поваров, камердинеров, слуг и служанок простирается здесь более, нежели до 100 000 человек. Таковое множество людей отъяты частью от состояния хлебопашцев и от других полезнейших званий. Все важные должности их в том единственно состоят, дабы наполнять передние, трудиться для желудка сластолюбцев, созидать каждодневно волосы вертопрахов и ездить назади за идолопоклонниками счастию и рассеянию. Тщеславные, а если по справедливости

сказать, мало рассудительные дворяне, собирая около себя толкое множество праздных людей, питают и одевают их богато на счет глада и наготы несчастных и грабимых ими земледельцев. Таковые толпы слуг опустошают села и деревни, отъемлют изобилие у хлебопашцев, лишают их собою таких нужных помощников трудов, для возвращения коих родители проливали пот, лишались сна и утех, но в возмездие при дряхлости и слезах видят их только что исхищенными алчными руками тщеславия, роскоши и прихотей. От сего же самого государство и целые гражданские общества лишаются таких людей, коих ремесло состоит в обработке той земли, произведения которой питают их, поддерживают их деятельность, споспешествуют их изобилию, спокойствию, порядку, тишине и целому благосостоянию. В благомыслящих обществах, в государствах, славившихся благополучием, целою добродетелей, совершенствами дарований в преименитые времена благонравия и умеренности, прихоти не были должностью тысячи людей, а леность, роскошь и тщеславие не изрывали насажденных корней благополучия и устройства народов.

*Из М..... уезда,
Неизвестного месяца от 225 дня.*

Чинокуп был богатый купец, который денно и ночью старался, чтоб сидельцы его меряли сукно сколько можно исправнее, то есть у каждого аршина обмеривали бы несколько вершков. Копейку по копейке клавиши в сундук, напоследок накопил он сто тысяч рублей. Он купил дом, деревню и земли, но сим не удовольствовался, а оставалось у него что-то еще задуманное. Прошлого года поехал он в какой-то город, куда отправился для сыскания места и почтенный наш дворянин г. Добролюб. Чинокуп, приехавши туда, каждую неделю четыре раза тучное свое тело таскал чрез три этажа, снискивал дружбу всех швейцаров и на свой счет каждый день кормил бисквитами Прелестина попугая. Чинокуп сюда напоследок приехал. Сидя против камина и никуда не выходя, вдруг получил то самое место и чин, о котором г. Добролюб старался два года. Он сделал себе герб и ливрею; а чтоб быть более похожим на дворянина, присовокупил к своему прозванию прозвание своей жены, которая по его счастью умерла и доставила ему чрез то самое способ солгать, что она была в роде своем последняя. Он теперь желает вступить в свойство с каким-либо знатным господином. Для сего самого сколько можно старается привыкнуть к своему мундиру и переделает вислюхость свою в искусное обхождение. Он учится свирепый свой взгляд переменить в приятные взоры и желает найти способ пристойно прятать куда-либо руки свои, с которыми он не знает, что делать, ибо привык оные держать за спиною или, каждый палец растопырца, просовывать в каждый

ряд камзольных пуговиц. Однакож, нанявши некоторого щеголя учить его обхождению и отучать от того, чтоб не ходить принужденно и дрожа не говорить трепещущим голосом, не кланяться поученически, не садиться по-деревенски и не выставлять вперед ноги, весьма скоро приобрел великие в том успехи. Ныне, находясь в собрании, может он с приятностию произносить да и нет, с искусством выставлять брабантские свои манжеты, передвигать при свече пальцами, унизанными до самых ногтей бриллиантовыми перстнями, вынимать двою или трой часы нередко в самое то время, когда четверы стенных и столовых прозвонят, потчевать табаком из разных табакерок и не препятствовать провожать себя до передней, для того чтоб усмотрена была богатая и щегольская его карета. — Таковы суть великие достоинства купца, а ныне господина Чинокупа, и можно ли сомневаться, чтоб он получил даром, то есть за свои достоинства?

*Из города П.....
Неизвестного месяца от 278 дня.*

В прежние времена простой и скромный вид, благопристойные поступки и благонравие были верными средствами к уважению и предпочтительному всюду приему; но ныне мода сему прошла. Ныне в употреблении притворный, гордый и дерзкий вид, всякие украшения, бриллианты и великий расход. Вдобавок к усовершенствованию сих модных и блистательных означений надобно, чтоб человек плавал и утопал весь в долгах, брал бы всеми руками и довел бы сто семейств до соломенной постели: таков есть человек нынешнего века; таков есть человек, сыскиваемый и любимый всеми; человек, который едва может вырываться из усердных и дружеских объятий и который возмущает мозг целой сотни первой степени прелестниц и вертопрашек. Были времена, в которые одни достоинства уважались и в которые по глупости имели благоразумную недоверчивость к своим дарованиям; в которые по дурачеству нескорю сводили знакомства и нескорю или и никогда оных не оканчивали. Но ныне исчезла таковая дикость нравов: ныне знают приятнее и лучше вести жизнь. Желание совершенно разбирать свойство и доброту людей почтается уже глупостию; да и какая подлинно в том нужда, когда уже видимо, что человек чиновен, богат и хорошо одет, а притом, и сам о нас не спрашивая, сводит с нами не только знакомство, но и короткую дружбу? — Здесь потребно только иметь хорошую наружность, быть всегда в готовности нагибаться и уклоняться пред женским полом, знать самые свежие и нововыданные придворные, столичные, городские, загородные, сельские, деревенские и вообще всякие новости. Здесь важнейшею наукою признано произносить слова насчет ближнего сколько можно острее, ругать затейливо,

браниться тонко, ссорить искусно. — Для прочего роду разговоров требуется только говорить кое-как о зрелищах, так и сяк о сочинениях; однакож при похвале и порицании тех и других принято за правило принимать важный и удостоверительный вид. Впрочем, видя толь по моде устроенного человека, нимало не осмелятся здесь беспокоить сведением о его имени. Вообще не смеют здесь казаться основательными, поелику ветреность есть главнейшее достоинство. — Здесь человеку без имени и без всяких достоинств стоит только стыд откинуть на сторону и, усыпя честь, дожидаться терпеливо счастья. Сверх чаяния вдруг она чьсть с торжеством и блистанием восстает по ниспадении своем. Таковой-то новый счастливец из человека, пагивавшегося пред последним приворотником и швейцаром, является мужем, имеющим уже важную поступь: всюду уже начнут растрояться пред ним двери, и хозяин дому едва не до последней ступени провожать его будет. За тщетное почитают здесь памятовать о всех подлых делах сего нового богача и счастливца. Шатавшийся по дачам и деревушкам напоследок наживает тысячи душ; а от прежних поклонов уставшая его шея едва успевает уже обертываться на поклоняющихся ему. — Итак, честь вырастает здесь подобно волосам, которые чем более дерут и остригают, тем длиннее оные становятся. — В таком-то положении находятся ныне нравы и состояния! — Сие есть хотя и краткое, но точное изображение нашего города.

*Из К.... уезда.
Неизвестного месяца от 289 дня.*

Несмотря на все философов и стихотворцев пылкие и воображением исполненные описания сельской жизни, не должно, однакож, представлять, чтоб в наш превратный век коль скоро только на версту удалимся из пыльного, поджаренного и надушенного воздуха столиц, можем уже обрести в деревенских жителях свежий вид невинности и древней простоты. Порок повстречается с нами при первой версте, а добродетели также не найдешь уже близ стогов сенных. Хлебопашец, разрезавающий бразды плугом своим, и самый стрегущий стадо пастух, все сии люди, толико восхищающие нас в романах и бессмертных творениях г. Геснера, сделались нравами своими подобны городским блинникам, извозчикам и торгашам. Молочница с своим кувшином, которую изобразил кавалер Грандисон в опере своей «Двух охотников», здесь не столь невинна; ее подруги суть с блюдечками ягод, орехов и пряников при дорогах стоящие продавицы; знакомцы же ее бывают не кто иные, как в красных шапках подлипалы. Мало можно найти хотя некоторое подобие нравов златых времен, и мы нередко видим, что сельская нынешняя Дафна достойные при-

емлет побой за какие-либо свои хитротворства; а деревенский Миртил, сделавши невинную привычку лазить с рукою в чужие карманы, часто спину свою подвергает палке.

С другой стороны, многие дворяне, вместо того чтоб вести сельскую жизнь сообразно простоте оной и уставам природы; вместо того чтоб покоиться здесь от утруждающих и скучных обычаев и обрядов городских, более оным здесь последуют и заводят между собою такие, которые и самым бы гибким и притворным городским жителям показаться могли совершенно тягостными. Так называемые визиты с необычайною строгостию здесь наблюдаются: родство, старинное знакомство и всякие обязанности прерваться могут навсегда, если упрямство должных визитом не скоро окончится. Междувремя же сих взаимных непосещений проходит в выведывании разных вестей о том доме, в ложных заключениях, а нередко даже в самом поношении, смехе и ругательстве. Толика неосновательность рождается от гордости; ибо как в здешнем уезде, так и во многих других находятся дома, исстари или в недавне получившие над прочими преимущество и сохраняющие оное яко некое неоспоримое уже право. Раболепство соседей и низкость дворян так называемой мелкой сошки наипаче укореняют в таковых первостатейных дворянах ложное сие заблуждение о превосходстве. Сии-то дворяне все в состоянии предпринять, если им хотя и равные не уплатят визита. О других нечего и говорить; ибо прочие обязаны каждодневно съезжаться к ним, так, как бы к каким светлейшим и владетельным дворам. — Впрочем, всякая роскошь, пиршества и забавы столичных городов слепо здесь приемлются; разные перемены мод точь-в-точь здесь наблюдаются и сколько можно более подражают здесь пышной жизни большого света. Барыни и барышни те же самые, которые зимою вертятся в клубах, редутах и маскарадах, распространяют свои законы на жительниц сельского горизонта. Сии антиподы столиц перенимают от них все с ног до головы. Игра здесь, равно как и в столице, похищает главную часть времени; танцование бывает также главнейшим упражнением собравшихся. Всякий мужчина и всякая женщина перенимает по-городскому мыслить и говорить, есть и пить, одеваться и обходиться, прогуливаться, ездить и спать. Впрочем, разные рассказы, сплетни, вести, лжи, выдумки и толки составляют разговоры всего околodka. Иногда дворяне целыми кучами взад и вперед ездят для ругания, объяснения, оправдания, сводов или обличения в налганном на них. Таковое словесное сражение и осада злоречия занимает иногда целый уезд, сплетает и переплетает всех дворян и все дома, так что от шума, беспечности и ругательств правый и неправый ускакивает из уезда один в сторону, другой в другую. — Всякий отличный в уезде дом один другого старается перецеголять расходами и расточением. Иной хвалится великим и беспрестанным к себе

приездом, другой своею охотою, третий бесприбыльною винною поставкою, четвертый разоряющими его строениями и заводами. Штат таких дворян и состояние составляющих оный заключаются в следующем:

1. Учитель французского языка нанимается в год не менее как от 250 до 1000 рублей; выбирается он большею частию наудачу, содержать же его у себя почитают необходимым не для воспитания детей, но для того, что мода и обычай требуют, дабы безотменно дворянину, который имеет от 500 душ до 1000 и далее, а притом у которого дом на 10 или более саженьях, держать у себя в штате учителя.

2. Бедный дворянин. Оного всюду с собою возят; должность же его состоит в том, чтоб он во всем потакал и полыгал бы по господине, отправлял бы ремесло совершенного шута, для скуки умел бы играть в вист и шашки, раскуривал и подавал бы трубку и выходил бы сказывать о подвезении к крыльцу кареты.

3. Поп. Поступают с ним вопреки должного уважения; проносят сие имя всегда с кислым видом и стараются преклонять его к поступкам, которые всегда кончатся смехом насчет его.

4. Управитель. Оного должность состоит в беспрестанном упражнении в драке и разорении крестьян.

5. Секретарь. Вся его должность состоит в написании во весь год шести или семи писем, в писании способов делать новые наливки и в беспрестанном списывании песен для барышень своих; он также ведет расход и заодно с управителем приписывает число денег.

6. Дядька за детьми. Оного все попечение полагается в том только, чтоб от ушибу не вскакивали на лбах их рога.

7. Садовник. Вся его должность состоит в том, чтоб ходить в зеленом камзоле и иметь кривой садовый ножик и ножницы, самые лучшие плоды продавать на сторону, а цветов большие пучки отдавать за чарку вина.

8. Конюший, смотритель над всеми конюхами, лошадьми и повозками, будучи в городе, имеет сношение с годовым кузнецом, каретниками и коновалами: делится со всеми с ними пополам.

9. Повар заодно крадет с управителем, берет много у управителя масла и, топя оное на сковородах, сгорелое продает на рынке купно с остающимися от сала выгарками.

10. Разные слуги, из коих одни должны век свой сидеть в передней, причесывать, ездить на запятках, смотреть за винами и разносить оные, резать кушанье, иные же держать на своем отчете карты, столы и мел; некоторые переносить вести, провожать, сажать, бегать, кричать; самые же несчастные, с обритою головою и в шахматном платье, отправляют вечно ролю шутов и дураков, и в сем страдательном и презрительном предопределении приучают

их также быть каменными к ежедневным и от всех изобильно получаемым побоям.

11. Разные приказчики, бурмистры, старосты, земские и выборные. Должность их состоит в том, чтоб заодно с управителем обманывать господина и беспрестанно писать о неурожае хлеба, и отдании в рекруты тех крестьян, которые или навлекли на себя гнев их, или по бедности не в силах их дарить.

В прочем дворяне располагают времена года таким образом:

С сентября отъезжать в столицу с детьми, а особливо со взрослыми дочерьми, где, по их мнению, как можно более должно тратить денег и жить до мая пышнее, дабы чрез то самим повеселиться, а в доме своем учинить великое сборище женихов; относительно сему же намерению почитают они за неотменное записывать дочерей своих в клуб и возить их по всем зрелищам и собраниям.

В мае отправляться в деревню, принимать визиты целый месяц, в конце июня и до половины июля платить визиты. Остальное время июля и половину августа паки заниматься приемом новых гостей, приезжающих для распрощания.

Остаток августа помышлять о сборке в столицу, и от трех до четырех дней сего месяца употребляется на всю экономию, которая у них в том токмо состоит, чтоб некоторых пересечь, сменить старост, выдать замуж девок, выбрать для продажи годных в рекруты и собрать запас, оброк и деньги.

Такова есть истинная картина нравов сельских и образа жизни и понятий немалого числа господ дворян.

*Из Г..... уезда.
Неизвестного месяца от 410 дня.*

На сих днях к г. Достойнову по известности о знаниях его и упражнении в чтении книг приходил некоторой деревни староста, слезно прося его, чтоб он по своему великодушию принял труд разобрать и растолковать некоторый нелепый приказ, полученный им от его господина. Поелику помещик, который писал приказ сей, находится в числе самых записных и первостатейных щеголей в столице, то мы и почли за достойное сообщить оный слово в слово и также присовокупить при сем и ответ, который написан уже был сему старосте приходским пономарем, но по великодушию и снисхождению г. Достойнова переменен, и в замену оного отдан старосте совершенно исправный. Сия бериберда г. петиметра означает, сколь велико прилепление щеголей к французскому языку и сколь много уверены они, что толико модный язык должен неотменно быть известен самым даже мужикам. Приказ сей к старосте был такого содержания:

Старосте нашему Потапу.

Ты самый человек вилень, в тебе нет никакого ко мне респе, никакого не имеешь ты ко мне зель, и с твоими расположениями я никакого не получаю с деревни ревеню. Я не люблю много бадине; опасайся самого жестокого пюнисион. Впрочем, по получении сего исполнить тебе а-ла-гат: 1) рассадить сад по данному мною плану, солидно ан линь друа; 2) к моему приезду чтоб дом был ашеве и все бы сделано было в нем comodно; 3) к моему же приезду чтоб пригнать из Ванькова все бет-а-корн.

Ответ, писанный приходским пономарем наподобие перевода и по одной догадке о французских словах и сходственности оных с российскими:

Государю и отцу нашему.

Приказ ваш, государь, с Сидором Михайловым в вотчину получен. Подлинно, государь, хотя я и самый пень, только никакого не имею по словам же вашим к вам зла. Ревеню, государь, в присылке к вам не имеется ради той причины, что оный здесь как ни сеян, да только не родится. Овинов, государь, кажется, пред вашим господским домом не много; а если вы изволите более прочих опасаться Симионова овина, то оный будет снесен. Три ваши приказа исполнены будут в лац. Сад рассажу, чтоб все было видно, и деревья будут один да два. Дом по вашему приказу кругом обсею, и все сделается в нем, что вам, государю, угодно. Когда дошло и до вашей милости о том, что Сидорка и Патрекейка на-чертили в Ванькове, то оттуда к вашему приезду будут пригнаны все бедокуры.



И. А. КРЫЛОВ

1769 - 1844



И. А. КРЫЛОВ

Годы, последовавшие за крестьянской войной под водительством Пугачева, характеризуются усилением дворянской реакции, давлением цензуры на русскую литературу и распространением в значительной части дворянского общества реакционного учения масонов. Императрица Екатерина II, испуганная возмущением крестьян, оставила свои лицемерные попытки заигрывания с общественностью и откровенно враждебно смотрела на деятельность журналистов. Издательские предприятия Н. И. Новикова принимают религиозно-наставительный характер, и ничего похожего на былые выступления «Трутня» и «Живописца» не встречается в его журналах 1780-х годов, заполненных морально-дидактическими наставлениями. Однако продолжающиеся переиздания журналов («Смесь» в 1771 г., «Живописца» в 1773, 1775, 1781 и 1793 гг., «Адской почты» в 1788 г.) показывают, что интерес читателей к затронутым темам не ослабел, что книги эти попрежнему читались. Сатирические высказывания и выпады встречаются в некоторых журналах 1780-х годов, но только в конце десятилетия сатира в России громко заявляет о своем существовании в творчестве Крылова, а вслед за ним и Стрехова.

Иван Андреевич Крылов, всенародно известный как баснописец, прошел большой творческий путь, прежде чем сосредоточил всю силу своего гения на басне. Юношей он выступил на драматургическом поприще, написал несколько пьес, не увидевших в свое время света, привился за борьбу с театральной администрацией, но не добился успеха. А молодому Крылову было что сказать зрителю. Он на своем жизненном опыте познал социальные уродства крепостнической действительности и возненавидел ее. Мальчиком пришедший в судейскую канцелярию, Крылов вполне ознакомился с бюрократическим аппаратом Российской империи и знал цену взяточникам-судьям и продажным секретарям. Истинный патриот, он возмущался увлечением иностранными модами, царившим в дворянском кругу, видел, как губят русских молодых людей невежественные и корыстные чужеземцы в роли воспитателей дворянских недорослей и резко выступил против низкопоклонства перед Европой. Крылов разоблачил плутни английских купцов, поднял завесу над тем, что творилось во французских модных лавках, представил портреты воров и картежников, находивших приют в дворянских семьях только потому, что они «прибыли из-за границы».

После кратковременного участия в журналах «Лекарство от скуки и забот» (1787 г.) и «Утренние часы» (1787—1788 гг.), где были помещены его первые басни, Крылов самостоятельно принимается за издание своего журнала «Почта духов» в 1789 г.

Эти годы характеризуются заметным подъемом русской общественной мысли. Именно теперь бессмертный мыслитель-революционер Радищев приступает к осуществлению давно задуманных замыслов, заканчивает и печатает свои революционные книги, занимает ведущую роль в «Обществе друзей словесных наук» — дружеском объединении прогрессивно настроенных молодых людей в Петербурге. Фонвизин, отстраненный от участия в литературе по указанию императрицы, которая не простила писателю его смелых выступлений, пробует вновь обратиться к читателю с журналом «Дружественных людей или Стародум» (1788 г.), но его попытки пресечены царской цензурой. Однако материалы, заготовленные писателем для журнала, медленно становятся известными в рукописи.

Крылову удалось получить разрешение на журнал, и он принялся за работу. Чрезвычайно резкий сатирический тон издания, глубина и острота мысли, общий антиправительственный характер журнала, а также некоторая общность литературной манеры заставили некоторых исследователей предположить возможность участия в «Почте духов» А. И. Радищева. Последующие изыскания не подтвердили этой догадки, но сами совпадения знаменательны. Они говорят об идейной близости Крылова и Радищева в 90-е годы XVIII века, что является фактом первостепенной историко-литературной важности.

«Почта духов» не похожа на журнал в общепринятом смысле этого слова. Издание представляет собой сборник очерков, объединенных формой переписки волшебника Маликульмулька с несколькими сальфами, гномами, ондинами — воздушными, водяными и подземными существами, которые обитают среди людей и наблюдают за их жизнью. Многочисленные пороки и язвы общественного уклада фантастические корреспонденты Маликульмулька описывают в четких реалистических тонах. В целом «Почта духов» опирается на лучшие традиции русской сатирической журналистики и развивает их, переходя к большому художественным обобщениям.

Крылов с демократических позиций обличает разнообразные явления, характерные для крепостнического и бюрократического государства. Он разоблачает представителей власти, вельмож, чиновников, судей, протестует против засилья иностранцев и галломании. Крылов нападает на крепостное право и его уродства; с глубоким чувством возмущения говоря о несчастной участи рабов, он ясно заявляет о своих демократических убеждениях. Создавая сатиру «на лица», он направляет ее против фактов, характерных для социально-политической действительности тогдашней России. В XI письме «Почты духов» рассказана — при помощи легко раскрываемой игры слов — трагедия художника Т. И. Скородумова, который не получил признания своего таланта у дворянских меценатов и предался пьянству. В письме XXV дан сатирический портрет вельможи, с явным намеком на вельможу Безбородко; злые намеки на фаворитизм содержатся и в VI письме. Не раз во взглядах на обязанности правителя, на состояние управления страной, на истинное благородство Крылов сближался с Радищевым. В письме XXVI гном Буристон наблюдает с возмущением, как шестерки лошадей везут знатных «мумий», в то время как «несколько бедных людей» надрываются под непосильной тяжестью. Здесь изображена приемная вельможи, много раз уже бывшая предметом

сатиры в России (Державин); но Крылов находит новые характерные подробности. Вельможа охотно принимает «толсто свернутые» письма, остальные отдает секретарям. Безногий инвалид — предшественник описанного в «Мертвых душах» капитана Копейкина — уже четыре года ходит к «его превосходительству» и горько иронизирует: «со временем, к его славе и к чести моего отечества, умру в этой прихожей с голоду». Много раз затронут сатирой суд; находим здесь и мотив будущей крыловской басни «Вельможа» — об умных секретарях у глупых судей (письмо XXI).

Сатира Крылова не щадит и царей. В письме XX развита тема о несчастиях от государей, прозванных «великими»: «Львы и тигры менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и их министры».

Одно из главных мест в журнале Крылова занимает сатира на «чравы» дворянского общества, а также непосредственно связанное с этой темой обличение антипатриотической французомании, рабского подражания иноземным модам, высмеивание щегольства, модничания и пороков иностранного воспитания.

Вопрос о моде, о ее причудах и влияниях был для XVIII века наполнен общественно-экономическим содержанием. Он был тесно связан с темой рабского подражания иноземным образцам и пренебрежением к национальной культуре. Именно так его рассматривает и Крылов. Кроме того, для него ясен серьезный вред, приносимый всей стране, и в первую очередь крепостному крестьянству, баснословными тратами дворянства на предметы роскоши.

Механика этого процесса разорения вскрыта в XVII письме «Почты духов». «Его сиятельство г. Припрыжкин» в погоне за модой стремится закупить множество разных дорогих заграничных изделий. Для этого он отдает приказ собрать со своих крестьян 80 тысяч рублей. «Мужички, получа такое строгое повеление и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города, где обыкновенно более можно выработать денег; вместо сохи и бороны берут они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками или разносчиками; днем работают, а по ночам, чтоб лучше собрать свой оброк, взыскивают его с прохожих. Город, вместо того чтоб получать от них хлеб, должен бывает сам их кормить и, сверх того, еще платить им деньги. От таких-то гостей становятся все дорого. Мужики и стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы на господах, а господа опять принимаются за своих крестьян. К концу года крестьяне возвращаются в свои жилища с деньгами, отдают 80 000 рублей господину, а на достальные 40 000 рублей посылают в город купить себе хлеба, которого им становится мало до будущего года. Итак, города терпят недостаток, деревни голод, граждане дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах...»

Рассказывая о том, как кули муки превращаются в модные безделки, дух Зор замечает, что французы надоумили наконец господ «не один только хлеб превращать в модные товары». «Последя сему премудрому наставлению, молодой помещик мало-помалу убавляет у себя хлебопашцев, променивает их на модные товары или превращает в волосочесов и портных, от которых надеется доставать больше денег. Итак, лучшие люди отнимаются с полей, на коих

оставляются только старые и малолетние, меняются на разные безделки, а достальные, вместо того чтоб доставать хлеб из земли своими руками, за каретами и в передних у своих господ ждут спокойно, пока их накормят» (письмо ХХХІХ).

Журнал «Почта духов» выходил ежемесячно в течение 1789 г. и не собрал большого числа подписчиков — всего их было 80. В конце концов Крылову, вероятно, дали понять, что чересчур резкий и злой тон его критики не угоден правительству. Этим можно объяснить появление в последних номерах наряду с разоблачительными статьями более или менее смягченных по тону рассуждений. Но, видимо, этого было уже недостаточно. По окончании года Крылов не возобновил более журнала, прервав его на последнем месяце и не доведя до конца начатых повествований.

В следующие за изданием «Почты духов» два года Крылов почти не печатается. За это время окрепли его дружеские связи с знаменитым актером И. А. Дмитриевским, возникла дружба с А. И. Клушиным и родилась мысль открыть свою собственную типографию, печатать и выпускать журнал. К ним присоединился актер и литератор П. А. Плавильщиков, и товарищи на деловых началах, сложившись деньгами, открыли свое предприятие. С февраля 1792 г. стал выходить новый ежемесячный журнал «Зритель».

«Почта духов» была журналом только по названию. Это сборник сатирических очерков, разделенных на месячные выпуски. В «Зрителе» есть статьи, втихи, проза, рецензии; к участию привлечено несколько авторов: А. Бухарский, Г. Хованский, В. Воронин и др. Но львиная доля материала принадлежит Крылову, Клушину и Плавильщикову. Программным выступлением группы были статьи Плавильщикова «Нечто о врожденном свойстве души российских», посвященные доказательству творческой мощи русского народа. Плавильщиков ставит вопрос о том, чему и как можно учиться у иностранцев? «В этом вся важность, — говорит он. — Петр Великий занял у иностранцев строй воинский, но сообразовал его со свойством воинов своих... Петр Великий занял строения кораблей, но учредил флот по своему благорассмотрению и оттого превзошел своих учителей. Итак, напрасно отрицают, что будто у россиян нет творческого духа... Напрасно отрицают у нас свойство, которого ни один народ не имеет: оно состоит в неистощимой способности все понимать... Понимать же — значит проникать мыслями во внутренность дела, доходить до основания и ясно постигнуть умом его существо: в таком случае человек сам бывает творец и может превзойти своего учителя». Плавильщиков прославляет проявление творческого духа русских людей из народа, называя имена Ломоносова, Кулибина и других, и горячо защищает самостоятельность национальной русской культуры.

Крылов напечатал в «Зрителе» несколько значительных и принципиальных произведений: «Ночи», «К аяб», «Похвальная речь в память моему дедушке», «Речь, говоренная повесой в собрании дураков» и др. Сатирический талант его развернулся с полной силой. Антикрепостническим пафосом проникнуты здесь многие страницы. Картина воспитания дворянского сына Звениголова, во всех деталях типичная для эпохи («Похвальная речь в память моему дедушке»), написана с предельной резкостью, с благородным гневом и сатири-

ческой злостью. «Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставлял его примером в одной охоте; нет, это было одно из последних его дарований, — говорит Крылов о результатах «воспитания» Звенигорова, — кроме сего имел он тысячу других приличных и необходимых нашему брату дворянину: он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолудимов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год два три с пользой; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост... искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он собрать с своих крестьян».

В «Мыслях философа по моде» Крылов набрасывает портрет шеголя, дает кодекс поведения «молодого благородного человека», в котором первым правилом является следующее: «С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин и, следовательно, что ты родился только поесть тот хлеб, который посеют твои крестьяне, — словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коего не обгрызают крыльев, и что деды твои только для того думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать». В таком направлении воспитывают дворянскую молодежь иноземные учителя французы, «которые, кончив на галерах (то есть на каторге. — А. З.) свой курс философии, приехали к вам образовывать наши нравы».

Помещенный Крыловым в «Зрителе» «Каиб» назван в подзаголовке «восточной повестью». Но это вряд ли могло кого-нибудь обмануть. Экзотический колорит, перенесение действия на Восток было обычным приемом авторов, желавших замаскировать свои высказывания об отечественных делах. Все произведение является острой сатирой на русскую крепостническую действительность, и прежде всего на самодержавие.

В «Каибе» Крылов нападает не на отдельные недостатки режима: речь идет о борьбе со всей системой феодально-дворянской монархии с демократических позиций. Однако своей положительной программы Крылов не имеет. Бунтарский протест его, принимавший порой исключительно смелые формы, не подводил еще Крылова к осознанию революционных путей борьбы, которыми уже шел Радищев.

Крылов едко высмеял в «Каибе» идиллические представления дворянских сентименталистов о жизни народа. Сцена встречи Каиба с пастухом, «запачканным творением, загорелым от солнца, заметанным грязью», пародирует представление Карамзина о быте пастухов, изложенное в письме из Мейсена. При виде любезной карамзинский пастух «чувствует электрическое потрясение в сердце» и бежит навстречу. Крылов же говорит о пастушке, которая «поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников». Крылов протестует против замалчивания в литературе противоречий действительности.

Литературную манеру Карамзина группа «Зрителя» высмеивает в рецептах от бессонницы, написанных Клушиным. Произведения, наполненные восклицаниями: «О инструмент моей печали!», «О магнитная сила моих удовольствий!» — уверял Клушин, — «могут навсегда остановить кровь читателя». Сочинитель «Российской Памелы» П. Ю. Львов под именем Мишва-

туркина и Антирихардсона становится излюбленной мишенью нападок Крылова в «Почте духов» и в «Зрителе».

Полемика с «Зрителем» задевала Карамзина, хотя последний старался не показывать этого. Подчеркнуто пренебрежительные отзывы о Клушине в переписке с Дмитриевым не могут скрыть того факта, что Карамзин с тревогой следил за ростом популярности «Зрителя» и подсчитывал число симпатизирующих ему литераторов.

В «Зрителе» Крылов печатает «Ночи», начало незаконченного романа. Произведение это, тесно связанное с традициями русской сатирической журналистики, в то же время знаменует поиски Крыловым новой художественной формы. Завязка «Ночей», объяснение появления повести, аналогична завязке «Почты духов». И там и здесь автор становится секретарем волшебных, мифологических существ и выполняет их поручения. Но с первых же строк Крылов разворачивает типичную для преромантизма тему ночи, дававшую большой простор для моралистических рассуждений и лирических спен. На смену схематическому сатирическому портрету новиковских изданий приходит попытка создать психологическую повесть, насыщенную конкретным бытовым материалом. Темой ее является картина упадка нравов, разоблачение испорченности дворянского общества. Петиметр Вертушкин, родной брат шеголя Припрыжкина из «Почты духов», является и здесь одним из героев. Но уже иными чертами наделен Крыловым образ Маши, горничной девушки, под видом француженки из модной лавки влюбляющей в себя богатых кавалеров. Маша молода и красива, пролагая дорогу в жизни, она жертвует добродетелью. Историю падения молодой золотошвейки рисует Крылов также в VII письме «Почты духов»; таким образом подобная биография представляется ему типичной для современного состояния общества.

В прозе своей Крылов часто прибегает к пародии. Особенно охотно он пародирует строй похвальных или поминальных речей, удобно позволявших дать многостороннюю характеристику объекта сатиры, нарисовать сатирический портрет. Сохраняя основные стилевые признаки жанра, высокую торжественность, витийство, риторические приемы, Крылов наполняет их новым содержанием, иронически выдвывая недостатки за непревзойденные достоинства и превращая свои похвалы в разоблачительные филиппики. Так построены «Похвальная речь в память моему дедушке», «Речь, говоренная повесой в собрании дураков», «Мысли философа по моде» («Зритель»), «Похвальное слово Ермалафиду» («Санктпетербургский Меркурий»). В «Кайбе» Крылов пародирует жанр сентиментальной идиллии, несколько позже в «Подщипе» — высокую классическую трагедию.

Реалистическая сатира прозаических зарисовок Крылова являлась превосходной школой его басенного творчества. Многие персонажи басен угадываются уже в сатирических портретах «Почты духов» и «Зрителя», неизмеримо обогащенные красками художественного реализма, которым овладел писатель в пору расцвета своего таланта. Басни Крылова народны в широчайшем смысле этого слова, и путь к ним был проложен писателем через его журнальную прозу и драматургию.

Почта духов,

или

ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами

ВСТУПЛЕНИЕ

Стужа, дождь и ветер, соединясь, самый лучший день из всей осени делали самым несносным для пешеходцев и скучным для разъезжающих в великолепных экипажах. Грязь покрывала все мостовые; по грязи, которая своим цветом, не так, как парижская догадливым французам, не приносила новой дани нам от Европы, а делала только муку щеголям, у которых, как будто в насмешку парижским и лондонским модам, ветер вырывал из рук *парасоли*, портил прическу голов и давал волю дождю мочить их кафтаны и модные пуговицы. Все торопились добраться до домов, и многие бранили себя, что, понадеясь на календарь, вышли в хороших нарядах.

В такое-то прекрасное время возвращался я от его превосходительства господина Пустолоба, к которому осьмой месяц кожу по одному моему делу и который мне во сто пятнадцатый раз очень учтиво сказал, чтоб я пожаловал к нему завтра. Лестное приказание из уст вельможи, если оно говорится не во сто пятнадцатый раз! Что до меня, то я, возвращаясь от него, бранил сквозь зубы его, все дела на свете, самого себя и проклятое *завтра*, для которого всякий день я должен был переходить пешком добрую итальянскую милю.

Ненастье умножалось, я был беден, а потому имел мало знакомых и перепутый; но, к счастью, увидел старый развалившийся деревянный дом, в котором (почитай его пустым) не думал никого обеспокоить своим посещением; и подлинно, это были пустые хоромы, где я нашел убежище от дождя; но не нашел его от беспокойных моих мыслей.

«Как! — говорил я сам в себе, — есть такие люди, которые имеют богатый доход, великолепный дом, роскошный стол за то только, что всякий день несколькими моим братьям беднякам учтиво

говорят: *придите завтра*, думая им этим делать великое одолжение. О! что до меня, то я клянусь, что в последнее имел честь быть в прихожей его превосходительства. Пусть легковверные просители из всех улиц сходятся или съезжаются на дрожках, в каретах, пешком и на костылях слушать его учтивые *пожалуйте завтра*, а я скорее соглашусь умереть с голоду в своем шалаше, нежели замерзнуть в его прихожей. Лучше иметь дело с чертями или с колдунами, нежели с бестолковыми...»

— Конечно, — сказал мне некто, — если ты обещаешься мне усердно служить, то увидишь, что колдуны и черти не столь вероломны, как о них думают, и что по крайней мере ни от которого из них ты не услышишь по одному делу сто пятнадцать раз *завтра*.

Я оборотился назад, чтоб увидеть, от кого был сей голос; но в какой пришел ужас, увидя старика с седею бородою, большого роста, в некотором роде шапки конической фигуры, в платье, усеянном звездами, в поясе, на котором изображены были двенадцать знаков Зодиака. В руках он имел трость, которая была очень хорошо свита, по подобию наших модных соломенных тросточек, из трех ветвей: из черной, красной и зеленой; на шее, как щеголеватая красавица, имел он повешенный несколько заржавелый железный медалион на цепочке того же металла, который, однакож, ценил он дороже всех европейских медалионов вместе. По всему этому наряду нетрудно было мне догадаться, что это волшебник; а испужаться еще легче, для того что я с природы труслив и с младенчества боюсь чертей, колдунов, пьяных подьячих, злых вельмож и проч., и проч., и проч.

— Милостивый государь! — сказал я ему, весь в страхе, — я вас благодарю за предложение, но...

— Я вижу, — перервал он, — что я тебе кажусь несколько непригож и что ты меня боишься.

— Признаюсь, сударь, — отвечал я ему, — что я, в первый раз видя ваш мундир, не могу удержаться от страха; конечно, вы иностранный, а может быть, и житель того света.

— Я Маликульмульк, — отвечал он, — и ремеслом волшебник; имя мое известно во всех трех частях света: в воздухе, в воде и в земле; у меня в них есть довольно пространные владения, и если ты примешь на себя название моего секретаря, то я отвезу тебя в свой увеселительный дом, находящийся в Харибде, и оттуда пройдем мы богатою подземною галлереею в великолепные мои палаты, стоящие под горою Этною.

— Государь мой! — отвечал я, — это не лучший способ склонять в свою службу людей, с тем чтоб их изжарить или утопить; правда, у нас иногда секретарей морят с голоду, но по крайней мере принимают их всегда с хорошими обещаниями...

— Не опасайся, мой друг, — отвечал Маликульмульк, — ты увидишь, что в моих домах так же весело и спокойно, как в самых богатых ваших чертогах, и ничуть не жарко, так что один из ваших философов, тому уже несколько веков назад, вступил в мою службу управителем дома под Этною. Я думаю, вы все того мнения, что он сгорел; а вместо того ему там так показалось прохладно, что он выбросил назад оттуда свои туфли и ныне живет у меня очень спокойно; смотрит за моим домом и за библиотекою, которую я уже девять тысяч лет собираю. Он делает критические замечания на всех древних и новых философов, на все секты и на все науки, которые, может быть, скоро выдут в свет. Итак, ты видишь, что если бы было ему жарко, то бы он, конечно, не принялся за такую беспокойную работу, от которой можно вспотеть и в самой Гренландии. Я тебе обещаю не меньше выгодное содержание и дам тебе свободу жить, где ты ни пожелаешь.

С сим уговором согласился я вступить в службу почтенного Маликульмулька и, не хотя переменять жилища, выбрал к тому сей город.

— Если бы, — сказал я ему, — был у вас также и здесь какой-нибудь увеселительный дом, то бы я с охотою согласился в нем вам служить. Пожалуйте, господин Маликульмульк, — продолжал я, — купите себе здесь какой-нибудь дом, только, прошу вас, на истинные, а не на волшебные деньги, для того что здесь профессоров этой науки очень не любят и часто секут розгами или сажают в бешеный дом, да и мне, новому вашему секретарю, от того не безопасно, ибо здесь живут люди, а не волшебники, и им очень немудрено сделать ошибку и высесть одного вместо другого.

— Не опасайся, — сказал мне волшебник, — мы будем веселиться и не будем подвержены никакой опасности; я имею здесь несколько увеселительных домов в самом городе, и тот, в котором мы теперь, из самых лучших.

— Как! — вскричал я с удивлением, — вы шутите: я не знаю, как для вас, а для меня дом с провалившеюся кровлею, с развалившимися печами, с худыми полами и с выбитыми окнами в ненастное время ничуть не кажется увеселительным: этот дом годен только на дрова, в нем не согласится жить и сторож академической библиотеки.

— Ты иного будешь мнения о моем богатстве, — сказал Маликульмульк, — когда увидишь сей дом хорошими глазами.

Тогда он полою своей епанчи потер мои глаза. В какое ж после сего пришел я удивление, увидя себя в великолепнейших чертогах! Золото и серебро блистали повсюду; картины, резьба, зеркала придавали великолепный вид сим комнатам, которые за минуту пред тем казались мне пустыми сараями; словом,

пышность сего дома могла поравняться с пышностью первейших дворцов в Европе.

— Вот что я тебе дарю, — сказал мне милостивый Маликульмульк.

Я благодарил его так, как мог, и обещал исполнять ненарушимо его повеления.

— Позволь, мой благодетель! — вскричал я, — чтоб в сию же минуту позвал я к себе обедать некоторых из богатых и гордых моих знакомцев, которые ставили великим одолжением, когда удостоивали меня своею беседою, скучною для меня так же, как для них скучны философические книги или, лучше сказать, как для сонного судьи приказ.

— Я тебе никогда не советую этого делать, — отвечал волшебник, — для них комнаты сии ничуть не переменили своего вида и покажутся такими же, какими они доселе тебе казались; с помощью только моей епанчи, над которою я трудился три тысячи лет, могли бы они видеть их такими, каковы они есть, но я не хочу всему городу насильно протирать глаза: оставь, друг мой, думать людей, что ты беден, и наслаждайся своим богатством.

— Ах! я вижу, что оно мечтательное, — вскричал я с неудовольствием.

— Нет, — отвечал он, — все, что ты видишь, очень истинно; *перипатетизм* один может заставить почитать несчастием самое блаженство. Почему ты предпочитаешь те комнаты, которые искусством людей сделаны в несколько лет, тем, которые я делаю в одну минуту? Если я властию моею могу этот дом привести в прежний свой вид, то время не может ли разрушить так же очарование самых лучших художников и превратить обработанные ими вещи в первобытное состояние, которое будет небольшая кучка земли? Правда, люди все будут думать, что ты не богат, но с первейшими богачами не то ли же случается? Они и сами иногда почитают себя бедными, а философы почитают их нищими, и эти люди умнее тех, которые им приписывают название богачей; все богатство Креза не могло уверить Солона, что Крез был богат; а Солона бы и ныне не посадили в бешеный дом, хотя бы, может быть, и заставили его быть помолчаливее. Итак, ты видишь, что истинное состояние человека не по тому называется богатым или бедным, как другие о нем думают, но по тому, как он сам почитает.

— Так поэтому, — отвечал я, — должен я питаться пустою мыслию, что я богат, между тем как, может быть, стою здесь по колени в грязи в пустых покоях и мерзну от стужи и от ветров.

— Чувствуешь ли ты это? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я.

— Так поэтому, — продолжал он, — ты глупо сделаешь, когда это будешь воображать, а как ты боишься бедности, то вот тебе

деньги, — сказал он, выдвигая большой из стола ящик с самыми полновесными червонцами.

— О, теперь-то я богат, — говорил я с восхищением, принимая деньги.

— Да знаешь ли, что они такое? — говорил он: — это изрезанные кружками бумажные обои.

— Господин волшебник! — сказал я с сердцем, — не эту ли негодную монетою даешь ты своим секретарям жалованье? Я сойду с ума прежде, нежели соглашусь принять твои бумажные вырезки за наличное золото.

— Не опасайся, — отвечал он, — я с тобою только пошутил: я ненавижу обманов и не буду тебе платить обоями вместо денег; в этом доме тебе в них и нужды не будет, старайся только реже из него выходить, ибо как скоро ты выдешь на улицу, то очарование в глазах твоих исчезнет.

После сего нам собрали на стол; мы очень хорошо обедали, и я, по привычке спать после обеда, лег на самую мягкую постель, какую бы и самая богатая духовная особа не погнушалась, а Маликульмульк пошел в свой пребогатый кабинет, который за час казался мне разломанным курятником.

Прежде нежели заснул, делал я тысячу разных рассуждений, остаться ли мне в новом моем звании, которого еще не знал должности, и быть ли довольну мнимым своим богатством? «Что, — думал я сам в себе, — если я ел только черствые корки гнилого хлеба тогда, когда казалось мне, что утолял свой голод вкуснейшими пищаами, и почитал Маликульмулькова повара искуснее всякого француза? И что если в самую сию минуту лежу я на голых и на мокрых досках, между тем как воображаю, что лежу на мягких пуховиках, которые бы могли сделать честь кровати и богатейших восточных государей? Не смешно ли будет, когда за это буду я отправлять тяжелую секретарскую должность? Но надобно и в том признаться, что я совершенно доволен. Пусть люди будут меня почитать бедным, что мне до того за нужда! Довольно, если я для себя кажусь богатым. Правда, всякий станет такому мнению смеяться: но смешно ли бы было, когда бы меня посадили в великолепную тюрьму и называли бы меня свободным, но не позволяли бы мне выходить из комнаты ни на три шага, а между тем весь бы свет думал, что я счастливейший смертный, — был ли бы я от того вподлинну счастлив? Нет, конечно; поэтому и ныне я не буду беден от того, когда меня почитать таким будут». Итак, я решил остаться в сем доме; а сверх того, название секретаря льстило меня новыми доходами, ибо я слышал, что оно очень прибыльно и что все секретари истинно богаты, не выключая из того числа и секретарей академий.

Итак, выспавшись спокойно, не так, как секретарь, который еще исполняет сие звание и от времени до времени боится, чтоб

не быть ему повешену, но так, как секретарь, который, насладясь уже выгодами одного, вышел в отставку, пользуется плодами плутовства, не страшится более виселицы и спит спокойно, не вспоминая о своих челобитчиках. Выспавшись, говорю я, таким образом, встал я с моей пышной постели (а может быть, и с голых досок), вошел в кабинет Маликульмулька исполнять его повеления, и он мне в коротких словах объявил мою должность.

— Я, — говорил он, — своими знаниями приобрел нескольких друзей, которые живут в разных частях света близ моих владений, а как поместья мои отсюда очень не близки, то я утешаюсь тем, что, не видя их, получаю от них письма и сам отвечаю им на опые; но как мне уж тринадцать тысяч лет и, следовательно, в таких пожилых годах иногда склонен я к лени, то ты должен будешь писать то, что я тебе буду сказывать, и читать мне их письма. Я позволяю тебе списывать и для себя те, которые более тебе понравятся; прочее ж время все в твоём распоряжении.

— Почтенный Маликульмульк! — говорил я ему, — когда вы позволяете мне списывать ваши письма, то позвольте их также издавать в свет и тем уверить моих соотчицей, что я имел честь быть вашим секретарем, которые без сего доказательства почтут сию историю сказкою, как обыкновенно привыкли называть невероятные дела; а может быть, меня посадят в дом сумасшедших.

Сверх того говорил я ему, что, служа у него в секретарском чине, я ничем иным не буду пользоваться, кроме своего жалованья, для того что у него ни подрядов, ни откупов, ни поставок никаких нет, и мне будет стыдно сказать, что я, быв секретарем у такого знатного человека, ничем не поживился, между тем как некоторые секретари самых последних мест с помощью хорошей экономии, получая по 450 рублей в год жалованья, проживают ежегодно по 12 000 рублей и строят себе очень порядочные каменные дома. Господин ворожея говорил мне, что он здесь расположен жить *инкогнито*, однакож я ему доказал, что лучше быть славным, нежели неведомым, — и говорил ему, что сам Цицерон радовался, когда некто из стихотворцев зачал описывать его дела; что Сенека говорил, что он не для чего другого учился философии, как только для того, чтоб люди это знали, и что сам господин Эмпедокл, управитель его увеселительного дома, изволил соскочнуть к нему для того, чтобы быть славным.

Маликульмульк смеялся сим мнениям и, наконец, для меня склонился, чтоб его и приятелей его письма были издаваемы в свет. Я было намерен был попросить у него на то и денег, но опасался, чтоб он мне не дал изрезанных обоев вместо червонцев; а я столько люблю всех своих земляков, особливо же типографщиков, что никогда не намерен обмануть их столь бесстыдным образом. Итак, решился лучше деньги на расход типографий для



И. А. КРЫЛОВ

издания сих писем занять от читателей, нежели выпустить такие деньги, за которые бы я, как не имеющий никакого законного права, ни власти выдавать фальшивых денег и как секретарь Маликульмульков, должен был отвечать, между тем как он спокойно бы по воздуху, по воде или по земле уехал в свои владения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПИСЬМО I

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Вот первое письмо, любезный и премудрый Маликульмульк, которое я к тебе пишу после нашей разлуки. Я было хотел тебя поздравить с новым годом, но не знаю, которому ты веришь календарю: Юлианскому ли или древнему Римскому; а может быть, ты и того мнения, что год со всякого нового дня начинается. Я бы желал уверить тебя о моем к тебе дружестве, но мы с тобою столько знакомы, что можем оставить для других такие учтивости, которыми ныне почти все письма наполняются; итак, лучше скажу тебе новость и какая ужасная перемена делается в аде!

Вчераш минул срок полугодовому отсутствию Прозерпинину. Плутон с нетерпеливостью ожидал ее возвращения; вдруг предстала перед него одна тень, одетая в скороходское платье, и докладывала, что Прозерпина прибыть изволила. Минуту спустя богиня сама входит в нынешнем французском платье, в шляпке с перьями и в прекрасных башмачках, которых тоненькие каблучки придавали ей вершка три росту. Бедный Плутон оледенел, увидя ее в сем наряде; мы сами несколько оторопели; некоторые из нас говорили очень тихо: «Конечно, она сошла с ума», а другие кричали во все горло: «Богиня еще прекраснее!» Но все с нетерпеливостью ожидали, чем все это кончится.

— Здравствуй, мой ангел! — сказала, подошед к своему мужу, Прозерпина и присела перед ним два раза. — Признайся, — продолжала она, — что я не без пользы возвратилась к тебе с того света! Каково тебе кажется это платье, эта чёска, эта шляпка, эти высокенькие башмачки? Знаешь ли, что все это последней моды и взято из французских лавок?

— Друг мой! — говорил, почти всхлипывая, бедный Плутон, — что тебе сделалось?.. здорова ли ты?.. Ах! я ведь говорил, что частая перемена воздуха может повредить мозговую перепонку. Любезная Прозерпина! опомнись, что ты! Ах, зачем ты ездила на тот проклятый свет! Я предчувствовал...

— Как зачем? — перехватила речь его Прозерпина, — знаешь ли ты, что я там в нынешнюю поездку выучилась петь и танцевать: посмотри, как чисто делаю я *аглинские пи* в контрдансе.

В минуту подхватила она близ ее стоящего Сократа и принудила его пропрыгать с собою *аглинские прогулки*. Диоген хохотал во все горло и говорил, что это прекрасная пара, а Плутон бешился и не знал, что делать; он шепнул тихонько Цицерону, не может ли он уговорить жену его отстать от таких дурачеств. Цицерон подошел к ней со всею важностию, достойною римского оратора и сенатора.

— А! здравствуй, дедушка, — сказала она ему, — послушай, мне есть до тебя маленькая просьба, и мне ужасно хочется, чтоб ты ее исполнил: напиши, пожалуй, похвальную речь французским торговкам; ты не поверишь, как я и они будем тебя благодарить, твои *филиппические речи* стоили тебе головы, а за эту речь, о которой красоте я уверена, подарю я тебя последней моды *фраком и аглинским гарнитуром* пряжек. Признайся, что это очень щедрая плата.

— Богиня! — сказал Цицерон, — могу ли я верить своим глазам, чтоб ты, будучи бессмертна, пленилась дурачествами существ, которые едва живыми назваться могут?

— О! ты скучишь своими нравоучениями, жизнь моя, — отвечала Прозерпина, — оставь их. Знаешь ли, что ты был бы нестерпим в нынешнем свете и разве одними твоими острыми словами мог бы сыскать благосклонность у женщин, которые ныне решат судьбу ученых людей.

— Богиня, — говорил Цицерон, — сия вредная язва не заразила ли и мое любезное отечество? Ах! я бы лучше желал еще шесть раз быть из него изгнан и двадцать раз быть удушен по приказанию новых Антониев, нежели видеть такую странную перемену.

— Ты не поверишь, — отвечала Прозерпина, — в каком совершенстве ныне Италия! Правда, ты не найдешь там ни одного Катона, ни Юлия, ни Брута, ни древнего Тарквиния; но если б ты знал, как там хорошо сочиняют оперы *буффю*, то бы ты сделался театральным *буффюном*. Жизнь моя! — продолжала она, оборотясь к Плутону, который смотрел на нее, вытараща глаза, — сделай милость, заведи здесь оперный театр; я на себя беру выписать актеров, музыкантов и хороших капельмейстеров.

— Богиня! — вскричал с сердцем Плутон, — ты, наконец, досаждаешь мне своими вздорными предложениями и сама не знаешь, что хочешь делать.

— Выбрить тебе бороду, радость моя, — отвечала с нежностью Прозерпина, — и нарядить тебя во французский кафтан. Ах! ты не поверишь, как прекрасны нынешние мужчины с выбритыми бородами; я видела своими глазами целые города, наполнен-

ные Нарциссами и Адонисами; и уверена, что ты с выбритой боро-
дою так же прекрасен будешь, как Ганимед; прибавь же к тому
французский кафтан, тупей *алакроше*, модные пряжки и щеголь-
скую французскую шпагу. О! мужчины так стали хитры, что
умели сделать прелестными в глазах женщин и шпаги свои. Ты
не увидишь более тех старинных саблиш, которые весом тянули
столько же, сколько те, которые их носили, но увидишь малень-
кие прекрасные шпажки, которые, ничуть не ужасая, делают
только украшение и включены в число *галантерейных* вещей.
Да, в число *галантерейных* вещей! Лучшие шпаги и лучшие
тросточки продаются в аглишских магазинах.

Представь, мудрый Маликульмульк, каково было для нас
видеть такое сумасбродство! Радамант, Эак и Минос жались как
можно более, желая сохранить судейскую важность и чтоб не
треснуть от смеха; сам Плутон половину плакал и половину
смеялся; однакож ничем не мог уговорить Прозерпины, чтоб
скинула она свое *фуро*, а особливо чтоб испортила прическу своей
головы.

— Как! — говорила она, — я буду ходить с растрепанными
волосами в такое время, когда последняя театральная девка имеет
у себя французского парикмахера! Нет, если ты хочешь, чтоб
я осталась здесь, то неотменно выпиши мне парикмахера, портного
и купца с *галантерейными* вещами, а без того я в сию же минуту
еду в Париж.

Плутон морщился, сердился, смеялся, но наконец должен был
согласиться на ее требование.

Кого же быты думал выбрали доставить таких надобных людей?..
Меня, ученый Маликульмульк! Поздравь меня с должностию
модного поверенного Прозерпины. Я скоро еду набирать лучших
искусников. Весь ад теперь в смятении от этой перемены, и я
скоро, может быть, уведомя тебя, чем это кончится.

ПИСЬМО II

От сальва Дальновидца к волшебнику Маликульмульку

Два дни тому назад, мудрый и ученый Маликульмульк, как
поутру очень рано пролетал я чрез Париж, где, рано взлетев на
самый верх одной колокольни, сел я там на несколько времени
для отдохновения, ибо я тогда чрезвычайно устал, облетев, менее
нежели в двенадцать часов, около пятисот миль, и притом еще
должен был столько же пролететь до того места, куда предпринял
я свое путешествие. Сидя наверху сей колокольни, обозревал
я обширное пространство всего города, и тогда пришла мне в го-
лову та же мысль, которая заставила некогда Ксеркса про-
ливать слезы.

— Когда я помышляю, — говорил сей монарх, осматривая свои войска, — сколь кратка жизнь человеческая, тогда прихожу в крайнее смущение от соболезнования и не могу от слез воздержаться, что из сих многих миллионов людей, стоящих теперь пред моими глазами, чрез сто лет ни одного в живых не останется.

«Ежели бы все люди, — говорил я сам в себе, — обитавшие в сем городе, помышляли о своей плачевной участи и о конце своей жизни, которого вскоре ожидать они должны, то, без всякого сомнения, скоро вышли бы они из своего заблуждения и оставили бы все суетные свои попечения, которыми непрестанно себя занимают. К чему служат все труды, приемлемые сими несчастными? Вместо того чтоб наслаждаться немногими минутами их жизни, над коими они суть совершенные властители, они изнуряют себя великими трудами, потеют и мучатся для приобретения благополучия в такое время, которого никогда они не увидят и кое совсем не для них предоставлено. Они тогда престают существовать на сем свете, когда думают начинать только наслаждаться исполнением своих предприятий».

Алчные и корыстолюбивые купцы, которые день и ночь обременяют себя труднейшими заботами о своей торговле и которые здоровьем своим и покоем жертвуют ненасытному желанию собрать богатое имение, умрут прежде, нежели удовольствуют свое желание, а чрез то более будут чувствовать скорбь и сокрушение, что во всю жизнь свою бесполезно трудились; если же и случатся между ими таковые, которые прежде своей смерти удовлетворят свою алчность, то и для тех то время, в которое будут они наслаждаться сими сокровищами, приобретенными с толикими трудами и беспокойством, покажется столь коротко, что ни к чему более не послужит, как к приумножению их мучений, возбуждая в них большее сожаление о лишении богатого своего имущества, коим столь маловременно они наслаждались.

Человек, который видит себя лежащего на одре смертном, тем более несчастлив, что с изнурением своего здоровья приобрел богатство и что не во всю жизнь свою находился в бедности; ибо, оставляя сей свет, чем менее в нем теряет, тем меньше о нем сокрушается. Лудовик XIV, умирая, лишался с жизнью государства. Герцог теряет менее, нежели государь; купец бедный теряет меньше, нежели богатый. Бедность есть такая вещь, которая всего способнее может произвести философов. Человек, обладающий богатым имением, редко захочет преподавать другим нравственные наставления. Сенека быть может один, а Эпиктетов найдется две тысячи.

Ежели бы люди, мудрый и ученый Маликульмульк, устремляли некоторое внимание на бедность и на низкость своего состояния, то постарались бы отвратить полезнейшими своими размышлениями те бедствия, которым подвергла их судьбина. Вместо

того что поступками своими унижают они свое состояние, которое учинилось уже совсем презренным, подражали бы они столько, сколько было бы им возможно, мудрым сильфам, кои единственно стараются только о том, чтоб исполнять и любить добродетель, и ожидают без страха и суетного желанья того, что небо для них определило. Слабые человеки, будучи весьма отдалены от того, чтоб во всем поступать с благоразумием, все равно трудятся о учинении себя несчастнейшими. Кажется, что они со утешением умножают свои бедствия, кои по собственному их злоупотреблению присоединены к человеческой природе и коих горесть единые токмо философы услаждать умеют. Без сомнения ты, мудрый Маликульмульк, много раз рассматривал те несчастья, которым подвержен весь род человеческий, но не знаю, заметил ли ты когда, что все люди, в каком бы состоянии ни были (выключая из того числа немногих только любомудров), суть равно несчастны в глазах истинного философа. Начнем сие исследование с государя.

Таковой государь, который, будучи окружен блистательным двором своим, единственно предается без всякой умеренности различным забавам, оставляя своим министрам все попечение о своем государстве, может ли быть счастлив? Равным образом и тот, который для удовольствования непомерного своего честолюбия разоряет свое государство и приводит в крайнюю погибель своих подданных, не может назваться благополучным. Таковые государи, предающиеся страстям своим, сами чувствуют, сколько поступки их противны истинной чести, целомудрию и человеколюбию; ибо такова есть участь всех людей, поработенных своим порокам: что бы они ни делали, однакож не могут толико быть ослеплены, чтоб иногда тлеющая искра их совести не представляла им от времени до времени страшной истины. Некто из ученых мужей справедливо сказал, что «совесть может быть закрыта завесою, потому что она не бог, но что она никак не может совсем истребиться, потому что происходит от самого бога». Преступник, сколько бы ни старался и сколько бы ни прибежал ко всем способам, могущим совершенно успокоить его смущение, однакож никогда до того не достигнет, ибо внутренние угрызения совести, подобно тем хищным птицам, которые по баснословию терзали грудь Промефееву, непрестанно сыскивают свою пищу, и сердце, терзаемое ими, во всякое время претерпевает несноснейшие мучения. Великие и малые люди равно бывают подвержены внутреннему угрызению своей совести, коль скоро сделаются преступниками.

В каком бы состоянии человек ни был и какое бы лицо ни представлял, но ничто не может его избавить от терзания возмущенной его совести: «Повсюду, где нет истинной добродетели, порок обитает, а с ним купно и внутренние угрызения, всегда за ним

последующие». Тщетно порочный государь мыслит под защитою своего самодержавства успокоить страх свой, который посреди величества его, славы и беспечности повсюду за ним следует и непрестанно его мучит и терзает до самого того времени, когда лишится он жизни, а вместе с оною и пышных своих забав, смешанных со многими скорбями и мучениями. Мудрый философ может ли почесть благополучною столь беспокойную и бедственную участь?

От государя обратимся к придворному. Какое его состояние? Он есть невольник, носящий на себе золотые оковы! Под пышною наружностью суетного величия он сокрывает тягостные попечения и несноснейшие скорби. Сколько таких придворных, которые в жизни своей не проводят почти ни одного дня, не будучи терзаемы честолюбием, желанием приумножить свое могущество и страхом лишиться милости своего государя? Можно ли таковую жизнь почесть счастливою, в которой надлежит быть непрестанно в мучительном беспокойстве и в недоверчивости ко всем тем, с коими имеешь обхождение, льстить своим неприятелям, не иметь ни одного истинного друга и во всем поступать по своенравию и по прихотям другого человека? Наконец после столь мучительной и беспокойной жизни постигает смерть, которая стремительно разрушает все принятые меры, делает бесполезными все усиленные старания и оставляет единое токмо прискорбие, что в толиком злоупотреблении препровождаемы были краткие дни его жизни, которую прожил он, будучи всегда невольником, когда мог бы наслаждаться спокойною свободою. Нужно ли было родиться на свет единственно для того, чтоб играть столь мучительную роль в своей жизни, которая кончится столь скоропостижно?

Здесь духовные особы не могут почесться ни благополучнее, ниже спокойнее светских! Они приносят к подножию жертвенника терзающее их честолюбие. Они непрестанно помышляют о приумножении своего богатства. Скупость есть порок, свойственный большей части французских духовных. Надменный прелат всегда бывает смутен, печален и задумчив, но что б такое могло возмущать его блаженство? Он хочет быть архиепископом! Когда поступает он в сие достоинство, то и тогда кажется столько же печалец, ибо желает кардинальства; потом получает кардинальскую шапку, но беспокойства его не уменьшаются, потому что думает быть папою. Наконец, не избавившись от сердечного сокращения, он умирает с сожалением, что не мог удовлетворить всех своих желаний. Сто тысяч ливров годового дохода и пышные титулы *преимущества* и *высокомочия* не могли учинить его благополучным, и со всем его богатством он был беднее крестьянина, живущего при умеренности спокойным и довольным в своей хижине.

Деревенский священник ропщет непрестанно на свою судьбину и жалуется, что ему жить нечем. Чрез несколько времени получает он богатый приход, оставляет деревню и переселяется в город.

Ужели он сим удовольствован? Нет! он хочет быть настоятелем; потом получает и сие достоинство, однакож желание его еще не удовольствовано, ибо чем более он возвышается и чем больше доход его возрастает, тем больше алчность его приемлет новые силы. Ежели бы он, подобно тому кардиналу, достиг до ближайшей степени к папскому достоинству, то и тогда не был бы доволен; если бы поступил он и еще далее, хотя бы сделали его папою, то и в то время доходы его казались бы ему умеренными.

Вот сколь велико человеческое ослепление, мудрый и ученый Маликульмульк! Они бросаются непрестанно от одного состояния к другому и во всех сих различных переменах не менее суть несчастны. Поелику ищут они своего удовольствия в вещах суетных, скоропреходящих и неосновательных, а потому вместо истинного блаженства ничего другого не находят, кроме непостоянства, скуки, зависти, преступления и внутреннего угрызения, которое повсюду за ними последует.

Истинное и ни с чем не сравненное блаженство состоит в любви к добродетели и в собственном спокойствии своего духа. Кто твердо уверен в сей истине, для соблюдения которой во всем поступает по мудрым и нужным правилам, тот совершенно благополучен и проводит жизнь без смущения и беспокойства; не страшится смерти и ее не желает; но ожидает спокойно всего того, что небо ему предопределит с его жизнью, ведая, что когда она кончится на здешнем свете, тогда наступит другая, чистейшая и светлейшая, и что сия будущая совершенно блаженная жизнь будет наградою за мудрое поведение на сем свете.

Люди должны бы были непрестанно помышлять о двух вещах: во-первых, о краткости здешней жизни, а во-вторых, о бесконечном продолжении будущей. Тогда не предались бы они безумным помышлениям, причиняющим им несносные мучения, тогда сказали бы они сами себе: «Как! для приобретения вечного блаженства предоставлено нам трудиться несколько только минут, а мы расточаем сии счастливые минуты в суетных желаниях и в предприятых, которые тогда же исчезают, когда исполняются! Будем лучше помышлять о доставлении себе вечного жилища и не будем напрасно терять сих минут, от употребления коих зависит наше бесконечное блаженство».

ПИСЬМО III

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

Пожалей о мне, любезный Маликульмульк, пожалей о своем бедном Буристоне, узная его несчастье; несчастье, которое едва ли с кем-нибудь из моей братьи когда случалось. Но почто удручать тебя моими пустыми жалобами? Они могут в мыслях легко-

верного увеличить мою беду; но в мыслях премудрого человека останутся одним пустым звоном. Итак, приступлю к делу и буду требовать твоей помощи; ибо не утешение, но помощь нужна несчастным.

Наш общий знакомец Зор писал к тебе о сумасшествии Прозерпины, но он еще не о всем тебя уведомил. Богиня вскоре после того вздумала переменить вид своего двора. Между тем как Зор полетел в свет набирать разных модных искусников, она новоприбывшему в ад французскому портному велела на скорую руку обмундировать семь греческих мудрецов и славнейших в древности женщин, как то Семирамиду, Клеопатру, Лукрецию и прочих. Она еще более хотела: она неотменно желала, чтоб они завели между собою любовные интриги и чтоб, не выключая и важного Солона, все сделались волокитами. Тысячу раз она смеялась над стыдливою Лукрециею и над Виргиниею, что они дичились в новых нарядах и не давали рук своим обожателям; она отдала их под смотрение доброй Клеопатре, которая обещала сделать из них таких придворных вертопрашек, которым бы и лучшие европейские дворы завидовали.

Школа началась балом, богиня сама открыла его с Плутоном, и потом Лукреция с Сократом танцевали менуэт: говорят, будто он уже за нею и машет. Радамант, Минос и Эак, которые также приглашены были на сей праздник, потеряли всю свою важность, коль скоро увидели тут Александра Великого, Цесаря, Помпея, Брута, Катона и Фемистокла с римскими весталками, прыгающих *галопида*, который искусные музыканты играли *аллегро престо*. Бедные наши судьи, забыв придворную благопристойность, надрывались от смеха, и как им никогда не случалось так долго смеяться, то этот смех превеликою кончился бедою: Минос получил колику, толстый Радамант получил одышку, а у бедного Эака лопнул пузырь, и они, кое-как дошедши до своих постелей, сказались больными. И таким образом заседание адских судей перервалось, и некому было отправлять суд над ежечасно прибывающими сюда тенями.

На другой день послали Ипнократа их освидетельствовать, который донес, что у двух из них лопнули мозговые перепонки, а у третьего разорвалась в ушах барабанная кожица; следственно, двое сошли с ума, а третий оглох и не может выслушивать оправданий. Плутон взбесился, услышав сию ведомость, и чрезвычайно бранил свою жену, обвиняя ее в сем несчастии. Прозерпина извинялась, как могла, и старалась доказывать, что сия судьи, несмотря на их повреждение, были еще годны для исправления своих должностей и что она, путешествуя по свету, никогда не видывала, чтобы отставляли судей, у которых повреждены мозговые перепонки или у которых лопнули в ушах тамбурные кожицы, но упрямый Плутон, не слушая сих оправданий, решил посадить

на место старых новых судей. В сем намерении призвал он меня и велел мне как можно скорее лететь в свет и сыскать трех честных и беспристрастных судей, у которых бы мозг был в хорошем положении и которые бы притом не были глухи. Представь, любезный Маликульмульк, как я остолбенел, услыша такое поручение!

— Ваше адское величество, — сказал я Плутону, — дарования мои так слабы, а должность, налагаемая вами на меня, так трудна, что я не надеюсь отыскать вами желаемых редкостей; итак, осмеливаюсь просить у вас увольнения от толь тяжкого труда и поручения оногo такому духу, который более меня имеет дарований.

Но я только терял слова, и старик мой был неумолим; он доказывал, что ему неотменно нужно, чтобы продолжалось заседание, и для того надобны три честные человека, искусные в законах и без всякого корыстолюбия.

Вот какая поручена мне должность, любезный Маликульмульк, не несчастливый ли я бес? Где сыщу я три такие чуда? Я б лучше согласился быть Танталом или Иксионом, нежели искать такие редкости; однакож с богами шутить дурно: надобно повиноваться, и я намерился чрез три часа отправиться на землю; а между тем хотел посоветоваться с некоторыми тенями, которые у нас славны мудростию; но заприметь, любезный Маликульмульк, как пример начальников развращает подчиненных! Я уже не нашел здесь ни одной тени, которая бы не старалась подражать Прозерпине и не занималась бы модами и чёскою. Я подошел к Гераклиду, думая, что сей печальный философ может мне подать наставление, но и тот у нас не без дела. Прозерпина по частому его плаканью заключила, что он может быть очень хорошим трагическим актером, и потому я нашел его занятого учением какой-то плаксивой роли из новых трагедий. «Ах! — подумал я сам в себе, — сколько на земле в нынешние веки умирает таких людей, которым нужен бы был один слабый пример их владетеля, чтобы сделаться Цицеронами, Катонами и Демосфенами и которые вместо того проводили всю жизнь свою в вымышлении новых нарядов и над чёскою своих волос!» Я перебирал в уме многих древних государей и видел, что Вергилии, Горации, Вароны, Расины, Боалы и Молиеры бывали по большей части только тогда, когда жили Титы и Лудовики XIV или когда они не боялись рассердить тем, что они умны, того, кто может у них отнять умы вместе с головами. Наконец рассуждения мои кончились тем, что мне надобно было отправиться в свет, не получа ни от кого никакого совета, о чем я очень печалился, как вдруг увидел пред собою Диогена и Демокрита, которые хохотали во все горло.

— Скоро ли ты отправляешься, — спросил меня Демокрит, — искать нам честных судей?

— Ах! — отвечал я, — в сей же час, но не знаю, каким образом окончится моя поездка, только думаю, что мне вечно в ад не возвращаться.

— Не отчаивайся, — сказал Диоген: — ты очень уже худо думаешь о свете; я, напротив того, от всех новоприбывающих сюда судей слышу, что там ныне в судах все честные люди и что несколько уже тому назад веков, как бездельники и крючкотворцы выгнаны из приказов. Я советовал бы тебе лететь на север, там, может быть, найдешь ты надобное тебе число таких судей...

— Я верю, — сказал Демокрит, — что ныне правосудие не с молотка продается, — и захохотал во все горло.

— Ах! — отвечал я печально, — и я верю тебе, Диоген, но скажи мне, отчего это, что с того света большая часть судей приходит к нам в богатых кафтанах, а тени челобитчиков являются сюда нагие; а часто и те самые из них, которые выиграли свой иск, приходят в одних рубашках!

— Любезный друг, — отвечал Диоген, — ты уже знаешь от Прозерпины, что значит слово *мода*; итак, может быть, ныне на земле такая мода, чтоб челобитчики ходили полунагие, а судьи в богатых платьях: вить надобно же чем-нибудь различать состояния...

— Так, так, — перехватил Демокрит, — видно, что это самая полезная мода, для того что она уже давно в употреблении.

— Оставьте ваши шутки, — сказал я им, — и скажите мне лучше, каким образом могу я отыскать такие редкости; вы были на земле и можете меня просветить в сем случае.

— С охотою, — сказал Диоген, — во-первых, старайся сыскать такие приказные места, которые слынут нажиточными, и в них ищи судей, которые бы были бедны и имели бы богатых челобитчиков: это первый знак, что судья некорыстолюбив. Потом, как скоро ты увидишь, что его подьячие не пьяны, то это значит, что он умеет ими управлять. И, наконец, ежели ты увидишь, что у него случится дело знатного богача с невинным бедняком и простолюдином, и если богач проиграет свое дело, то я даю тебе совет, не мешкая ни минуты, звать его сюда.

Демокрит ни в одном слове не спорил с словами Диогена, но только говорил, что это найти очень трудно, однакож желал мне всякого счастья и, смеясь дурачествам Прозерпины и чудному предприятию Плутона, удалился от меня с Диогеном к Прозерпинину уборному столику.

Вот, любезный Маликульмульк, мои обстоятельства. Признайся, не в жалком ли я положении: право, я боюсь, чтоб не расстаться навсегда с адом; итак, прошу твоего совета и, надеясь на твой разум, ожидаю от тебя сей помощи.

ПИСЬМО VI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульк

Вчерашнего дня, любезный Маликульмульк, вылетел я из своего жилища на свет для набрания надобных людей и для закупки уборов, о которых при самом моем отправлении из ада препоручено мне было. Имея множество денег, при которых, как сказывают, нет ничего в свете невозможного, ты подумаешь, что я в одну минуту мог исполнить желание Прозерпины, но как ты удивисься, когда узнаешь, что ничего нет труднее таких препоручений.

Вылетев на поверхность земли, устремился я прямо к средоточию роскоши, то есть к большому великолепному и многолюдному городу Европы. Жители оного могут по справедливости почитаться ныне поравнявшимися с самими теми, которые в сей части света издавна почитаются образцами новых изобретений и кои стараются весьма искусно выводить истинную добродетель. Их-то философии обязан ныне свет многими так называющимися *людьми без предрассуждения*, которые за кусок золота в состоянии продать своих друзей, родню или и все свое отечество для того только, чтоб посредством оного показаться в хороших нарядах и великолепных колесницах. По таковым подлинникам можно судить и о сколках, не уступающих образцам своим в свойственной им доброте, и наверное угадать, что я, сыскав столь честные селения, не почел за нужное лететь далее, а избрал сей город лавкою своих покупок.

Чтоб знать вкус в нарядах, надобно непременно хорошее знакомство, а чтоб иметь оное, нужны деньги, почитающиеся всеобщим ключом, которым ныне заводятся большие часы света. Следуя сему правилу, я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятности и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса, а при столь выгодной наружности не позабыл я представить себя в богатом кафтане, в котором, может быть, почли бы меня за какого-нибудь ученого, если б не был он весь в золоте. Не успел я показаться в сем виде в одном из тех трактиров, в которых приезжие находят себе пристанище, как премножество молодых людей кричали мне свои приветствия, и каждый из них предлагал мне тысячу услуг. Петиметр обещавал меня познакомить с своим портным и парикмахером, пьяница хотел вести в такой трактир, в котором продаются лучшие вина, а картежник шептал мне на ухо, чтобы итти с ним обыгрывать его знакомого шерпную, но я проницанием своим узнал, что он такими услугами разорил уже не одну дюжину безумцев.

Все вообще спрашивали меня, кто я таков? откудава приехал? и какая моя надобность?

— Милостивый государь! — сказал мне один из них, находившийся с растрепанными волосами, который был уже вполъяна и допивал шестую порцию пуншу, — не тяжба ли какая причина вашего сюда приезда? Если так, то я охотно предлагаю вам свои услуги: дядя мой знатный человек, и он за удовольствие себе почтет склонить судей на вашу сторону, были б только худы обстоятельства вашего дела! Вам стоит токмо уступить дядюшке половину иска, и я вас уверяю, что спорная земля ваша. Вы можете узнать от других, что в 15 лет по вступлении его в свою должность он тысячу дел поворотил на такую сторону, на какую ему захотелось; впрочем, если вам нужда, то я уверяю вас своим и дядюшкиным честным словом, что он за весьма сходную цену согласится уморить в тюрьме ваших соперников.

Я благодарил сего доброго человека и признавался ему, что мне нет нужды в его услугах; это его несколько рассердило, и он в молчании принялся допивать шестую свою порцию пуншу.

Я не успел еще отблагодарить сего услужливого человека, как вошел в комнату с опухлыми глазами, с расстегнутым камзолом и с обкусанными губами молодой человек и спросил чашку шоколаду; я бы почел его за какого-нибудь питомца муз, если бы поданная ему в долг чашка шоколаду не опровергла сего мнения, ибо мне известно от теней, переселяющихся в ад, что в свете все ученые весьма малую имеют доверенность. Я сел подле его в намерении свести с ним знакомство, и подлинно мы недолго были с ним в молчании; он первый начал разговор следующим образом:

— По моему мнению, государь мой, нет никакой науки труднее той, которая учит, как жить в свете! Чорт меня возьми! — вскричал он, — если не сущее дурачество делают те, которые предписывают тому правила.

— Это правда, государь мой! — отвечал я, — ибо правила могут быть неизменными в одной только математике, но в повсечасно переменяющихся случаях их соблюсти неудобно, и правила касательно до общежития так же способны предписать, как удобно шить кафтаны по одной мерке на весь город; однакож со всем тем должно в жизни предполагать главнейшие начала, которым следуя, можно принаравливать оные к случающимся обстоятельствам. Например, если кто положит себе правилом быть тем довольну, что имеет, и сносит великодушно случающиеся несчастья, почитая их неизбежными в сей жизни, тот...

— Эх, государь мой! — перехватил он речь мою, — это то же, как бы кто сказал, что немудрено познать систему света, нужно только выучить математику и физику! Слово *выучить математику* произносится очень легко, но в нем замыкается тысяча препятствий, и его не так-то удобно можно исполнить. Многие философы говорили, что надобно быть всем довольну, признавая, что в сем общем положении много заключается, но на самом деле

не легко оное исполнить, я сам по себе это знаю; взяв от отца 1000 рублей на год, я приезжаю сюда в намерении не желать ничего более, и подлинно я думаю так несколько месяцев, но наконец нахожу знакомцев, которые твердят мне беспрестанно, что я беден, что граф Беспутов имеет в десять раз лучшее содержание, нежели я, и все это заслужил только тем, что родился от знатного отца; что молодой Бесчетнов имеет лучших лошадей в городе и прекрасную любовницу, а сделал важного для отечества только то, что посредством своих денег надел на себя военный мундир довольно порядочной степени и умножил тем число титулярных служивых. После сего говорят мне, чтоб состояние свое поправил картами, и доказывают ясно, что ничего нет легче, как выиграть 10 000 рублей в один вечер. Я этому верю, беру карты, меня вводят в один дом, где указывают мне собрание сих счастливых, из которых большая половина сидели в отчаянии, без кафтанов и без камзолов; это меня несколько утратило, но приятели мои принимаются за убедительные свои доказательства и говорят, что когда двое играют, то неотменно должно, чтоб один из них проиграл, а другой выиграл. Сии самые полунагие служат доказательством, что есть счастливы, которые у них все выиграли, после чего я сажусь и проигрываю свой годовой доход, потом на 3000 даю векселей. Теперь скажите, могу ли я быть довольным моими обстоятельствами? Однакож, сударь, — продолжал он, — если вам угодно и когда есть у вас деньги, то вы можете сделать и свое и мое счастье: пойдете только в тот дом, где пополам, конечно, мы отыграем у сих счастливых, чего они меня лишили, а может быть, что и во сто раз более у них у самих выиграем.

Он бы еще далее продолжал свою речь, если бы не вошел тогда один его знакомец, который нечто шепнул ему на ухо, и мой несчастливый картежник бросился стремглав из комнаты, сказав нам, что он идет вновь спорить со счастьем. Лишь только он вышел, то его друг, который на несколько времени оставался с нами, зачал говорить с другими своими знакомцами, и я слышал, как они сговаривались обыграть того молодого человека, за которым тот же час вышли. Вот, ученый Маликульмульк, малая картина людей. Ныне весь свет играет в карты, и всегда двое продают третьего. Я писал о сем к Диогену и заключил, что можно судить по картам и о политике, но он отвечал мне, что в его время не играли в карты и не знали политики, и потому просит от меня другого сравнения; но оставим это и возвратимся к моей повести. Лишь только вышла толпа соединенных сих картежников, то вошел в комнату пребогато одетый человек. «Вот, — думал я сам в себе, — тот, кого мне надобно, от него неотменно получу я сведение о модах». Ветродум, так он назывался, зачинал говорить о тысяче разных предметов и ни об одном не оканчивал; он садился для того, чтобы сделать из себя хорошую фигуру, и с намерением

пил, чтобы иметь случай делать приятные ужимки. Между сотнею сделанных им мне вопросов был для меня самый пужный: «зачем я приехал в город?» На что я отвечал ему, сколько мог учтиво, сказав, что я богатый дворянин и приехал в сей город затем, чтоб по просьбе моих родственников вывезть им модных уборов и...

— О! что до этого принадлежит, — вскричал он, — то вы ничего лучше не сделаете, как если адресуетесь ко мне. Я вас в два часа коротко познакомлю с моей тетушкой, которая уже тридцать лет учится науке нравиться и почитается здесь во всем городе первую щеголихою. Вы, кроме ее, не получите ни от кого подробнее наставления о нарядах. Да, это женщина такая, которая делает честь своему полу и живет прямо щегольски: днем спит, ночное время проводит в забавах; туалет ее занимает 4 часа; обеденный и вечерний стол 5; 9 часов она провождает во сне, а прочее время употребляет для своих веселостей; словом, это *беспримерная женщина*, и мы завтра у нее обедаем.

После сего он, схватив мою руку, потряс оную и скрылся от меня, как молния, сказав, чтоб я на другой день дожидался его в том же месте. Итак, любезный Маликульмульк, я остаюсь в нетерпеливости сделать сие знакомство и в первом письме подробнее уведомлю тебя о сей *беспримерной женщине* и о сем молодом ветренике, которые, может быть, будут служить образцами для всего ада.

Я повстречал своего брата Буристона, он очень невесело ходит и не надеется, чтоб мог скоро исполнить приказания Плутонovy, так, как и я Прозерпинины.

ПИСЬМО XI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

На сих днях, любезный Маликульмульк, я был с моим сотоварищем у одного богатого купца, который праздновал свои именины; ты, может быть, удивишься, что столь знатный, в своем роде, человек, каков мой приятель, удостоил своим посещением торговца, но это удивление уменьшится, когда ты узнаешь, что он должен имениннику по векселям шестьдесят тысяч рублей и для того часто пляшет по его дудке.

Здесьние заимодатели, имеющие знатных должников, имеют по большей части то одно утешение, что пользуются вольностью напиваться иногда с ними допьяна и вместо платежа денег получают от них учтивые поклоны и уверения о непременном их покровительстве.

Именинник, как видно, был великий хлебосол; он имел у себя за столом немало гостей, между коими занимали первое место

один вельможа, человека три позолоченных придворных и несколько начальников сего города, да из числа известных мне по своим именам, о которых я нарочно наведалься, чтоб мог тебе обстоятельнее пересказать о любопытном их разговоре, были г. Припрыжкин, Рубакин, драгунский капитан, Тихокрадов, судья, и художник Трудолобов; я, как ты можешь себе представить, был также не из последних и сидел подле хозяйского сына, мальчика прелюбезного, лет четырнадцати, который был доброю надеждою и утешением в старости своего отца.

Стол был великолепен, и Плутарез (так назывался именинник) кормил всех очень обильно; веселие в обществе нашем умножилось с приумножением вина; разговоры были о разных предметах, и попеременно говорили о политике, о коммерции, о разных родах плутовства и о прочем. — Вельможа, одетый с ног до головы во французский глаzet и убранный по последней парижской моде, защищал пользы отечества и выхвалял любовь к оному; судья ставил честь выше всего на свете; купец хвалил некорыстолюбие, но все вообще согласны были в том, что законы очень строго наказывают плутов и что надобно уменьшить их жестокость. Вельможа обещал подать голос, чтобы уничтожить вечные и смертные наказания, исполняемые за грабительство и за плутовства для их искоренения, за что многие из гостей, а более всего судья Тихокрадов и наш хозяин Плутарез очень его благодарили, и хотя сей вельможа, как я слышал, ежедневно делает новые обещания, однакож старых никогда не исполняет, но гости не менее были и тем довольны, что остались в надежде, для которой нередко просители посещают прихожие знатных особ.

Но как в столь большом собрании разговоры не могли быть одного содержания, то, наконец, речь зашла о хозяйском сыне.

— У тебя прелюбезный дитя, — сказал Рубакин Плутарезу, — и он может со временем быть тебе утешением, но записан ли он где и который ему год?

— Тринадцатый, ваше высокоблагородие, — отвечал хозяин.

— Неправда, — сказал Рубакин, — ему точно четырнадцатый, и я очень помню, что он родился тогда, когда ты был еще у нас маркитантом, в чем и сама покойница твоя жена была бы со мной согласна.

— Сомневаюсь, — отвечал хозяин, — моя жена, не тем будь помянута, была превеликая спорщица.

— Разве с тобою, — сказал Рубакин, — но что касается до нас, то я уверяю тебя, что ни один наш офицер не скажет, чтоб она с кем-нибудь из них споривала; и мы во всем столько были ею довольны, что когда ты от нас поехал, то вообще все более жалели об ней, нежели о тебе; итак, спорщицей назвать ее ты не можешь. Я думаю, что ты и сам помнишь, как любили ее в полку и что она не одною ротою ворочала. Правду сказать, если б ты не сделал

дурачества и не уехал тогда от нас, то я бы голову свою дал тебе порукою, что твой Вася (имя хозяйского сына) о сю пору был бы уже адъютантом. Ведь ты помнишь, как полковник наш жаловал покойницу твою Борисовну и как ты по милости ее был им покровительствован, так что ты без всякого опасения месяца по два срядю довольствовал весь полк протухлою и негодною пищею, а все с рук сходило; и можно сказать, что это не житье тебе было, а масленица: ты сам, думаю, признаешься, что тогда ты густо понабил свой карман.

— То правда, ваше высокоблагородие, однакож вы уже весьма много возвеличили мою покойницу, приписывая ей такую в полку власть; иной из этого и невесть что подумает: ведь злых людей в свете много, — мало ли что и в полку тогда об ней говорили, а оттого и полковница и наши офицерши ее терпеть не могли, но все поистине понапрасну: виновата ли она была, что всегда, когда ни случалось ей хаживать к ним на поклон, заставляла дома одних только их мужей, а они случались или у обедни, или где и в другом месте, но как, бывало, к кому ни взойдет, то хотя жены и дома нет, так муж без того уже не выпустит, чтобы чем-нибудь не попотчевать, потому что она, покойница, и сама была гостеприимна...

— Мудрено ли, братец, — сказал толстый судья, — что твоя жена была в такой силе; я сам человек женатый и могу не менее похвалиться своею женою, которая, несмотря на то, что я был еще копиистом, но и тогда имела уже множество челобитчиков и давала часто решения на важные дела, которые едва вверяли мне набело переписывать; а вся сила состояла в том, что она хорошо стряпала кушанья для нашего судьи и по наслышке знала несколько законов, почему казалась весьма знающею; и в ней столько наш судья был уверен, что по ее словам, как по Уложению, вершил челобитчиковы дела; в чем, право, не всякой и знатной женщины послушуют.

— Morbleu! — сказала сидевшая подле меня кукла в золотом кафтане, — и эта мелочь хочет ровнять своих жен с знатыми господами. J'engage! Клянусь, что если б захотел я в отмщение употребить силу моей тетушки, то бы завтра же улетели к чорту этот маркитант, судья с своею женой и со всею своею челядью. Можно ль только иметь терпение слушать такие *импертинансы!* И как сметь сравнивать силу подлых своих жен с силами почтенных дам, которых могущество доказаться может тысячей счастливых, которые по их милости делают фигуру в большом свете и которые прежде того ничего в оном не значили. Я, сударь! я сам, — сказал он, оборотясь ко мне, — есть неоспоримое доказательство силы своей тетушки. Представьте, нет еще года, как я сюда приехал из деревни. Быв благородным и молодым человеком, вы можете угадать, что я за нужное почел, чтоб пользоваться порядоч-

ным экипажем, достать себе чин, не вступая в службу, которая сопряжена со многими трудностями, предоставленными для бедных токмо дворян. Но как вам покажется? Не прошло еще и десяти месяцев по моему приезде, а я начал уже повелевать четверкою лошадей, не имея никакого понятия о службе, кроме того, что она не может быть для меня приятна, потому что моему дяде, служившему капитаном, на прошедшем сражении прострелена голова, и он лишился жизни, с которою я нисколько не имею желанья так скоро расстаться.

— Но скажи мне, — спрашивал один из придворных хозяина, — для чего оставляешь ты сына твоего в праздности? Он уже в таких летах, что может вступить в службу или по крайней мере считаться в оной.

— Милостивый государь, — отвечал Плутарез: — это правда, что Вася уже на возрасте, и я не намерен, всеконечно, оставлять его без дела, но я еще не избрал род службы, в которую бы его определить.

— Друг мой, — сказал придворный: — оставь это на мое попечение, ты можешь быть уверен о моей к тебе благосклонности, имев явное доказательство, что из дружбы к тебе я не совещусь занимать у тебя деньги и быть должным оными, а потому не можешь сомневаться о моем участии, какое приемлю я в счастии твоего сына. Дело состоит только в том, чтоб ты дал двадцать тысяч в мои руки, которые употреблю я в его пользу: помещу имя его в список отборного военного корпуса; сделаю его дворянином и потом пристрою его ко двору; словом, я поставлю его на такой ноге, чтоб он со временем мог поравняться с лучшими, делающими фигуру в большом свете. Сколь же такое состояние блистательно, ты сам оное знаешь, и надобно только иметь глаза, чтоб видеть нас во всем нашем великолелии, на усовершение которого портные, бриллиантчики, галантерейщики и многие другие художники истощают все знание и искусство, чтобы тем показать цену наших достоинств и дарований... Богатые одежды, сшитые по последнему вкусу, прическа волос, пристойная сановитости, важность и уклончивость, соразмерные времени, месту и случаю; возвышение и понижение голоса в произношении говоримых слов; выступка, ужимки, телодвижения и обороты отличают нас в наших заслугах и составляют нашу службу. Грамоты предков наших явно всем доказывают, что кровь, протекающая в наших жилах, издавна преисполнена была усердием к пользе своего отечества, а наши ливреи и экипажи неложно доказывают о важности наших чинов в государстве. Какое же состояние может быть завиднее и спокойнее нашего? Правда, что философы почитают нас мучениками, однакож то несправедливо, а зато и мы считаем их безумцами, пустою тенью услаждающими горестную и бедную свою жизнь. Итак, друг любезный, что тебе стоит

двадцать тысяч? Не суцая ли это безделка в сравнении с тем счастьем твоего сына, которое я сильнейшим своим предательством обещаваю ему доставить, а знакомые мои, танцмейстер, актер, портной и парикмахер, чрез короткое время пособят мне сделать из твоего сына блистательную особу в большом свете.

— Как, сударь, — вскричал Рубакин, — вы называете блистательным то состояние в большом свете, в котором люди за свои достоинства обязаны некоторым искусникам? Но из вашего мнения можно действительно доказать, что те самые искусники несравненно должны быть знатнее тех своих кукол, которых они украшая дают цену их достоинствам и... но что об этом много говорить! Нет, любезный Плутарез, если ты хочешь, чтоб сын твой был полезнее своему отечеству, то я советую тебе записать его в военную службу. Вообрази себе, какое это прекрасное состояние, которое, можно по справедливости сказать, есть первейшее в свете, потому что не подвержено никаким строгостям, ниже каким опасностям, сопряженным с придворною жизнью. Военному человеку нет ничего непопозволенного: он пьет для того, чтоб быть храбрым; переменяет любовниц, чтобы не быть ничьим пленником; играет для того, чтобы привыкнуть к непостоянству счастья, толь сродному на войне; обманывает, чтобы приучить свой дух к военным хитростям; а притом и участь его ему совершенно известна, ибо состоит только в двух словах: чтоб убивать своего неприятели или быть самому от оного убиту. Где он бьет, то там нет для него ничего священного, потому что он должен заставлять себя бояться; если же его бьют, то ему стоит оборотить спину и иметь хорошую лошадь; словом, военному человеку нужен больше лоб, нежели мозг, а иногда больше нужны ноги, нежели руки, и я состарился уже в службе, но всегда был того мнения, что солдату не годится умничать. Итак, ты ничего умнее не сделаешь, как если запишешь своего сына в наш полк; ты же человек богатый, почему можешь сделать ему хорошее счастье: деньги только нужны, а прочее я беру на себя и уверяю тебя, что твой сын сам будет тем доволен.

— Государь мой, — сказал, улыбаясь, Тихокрадов: — вы с таким жаром говорите о своем звании, что слушатели могут подумать, будто статское состояние и в подметки вашему не годится, хотя, не распложая пустых слов, я могу коротко сказать, что, служа в сем состоянии, обязан я оному знатным доходом, состоящим из десяти тысяч; вступая же в оное, не имел я ни полушки; итак, сие одно довольно могло бы доказать, что перо гораздо полезнее, нежели шпага, но я не люблю жарких споров, а держусь лучше основательных доказательств. Я не отрицаю выгод военного человека, но знаете ли, что статское состояние есть соборище лучших выгод из всех других состояний?

— Как! — вскричал Рубакин, — вы подъячих сравниваете с воинами? Но можете ли вы в том успеть? Одно это, когда мы возьмем какую крепость, сколько приносит нам славы и сколько потом чувствуем удовольствия, обогащая себя всем, что только на глаза наши тогда ни попадетя. Кто другой может иметь такую волю, чтоб без малейшего нарушения права присвоивать себе вещи, никогда ему не принадлежавшие?

— Пойдите, пойдите, — перервал с скоростию Тихокрадов, — дайте мне докончить: вы тогда сами увидите, правду ли я сказал. Статский человек столько же казаться может блистателен, сколько и придворный: он так же может приобретать себе дарования пособиями тех самых искусников, которые своим искусством составляют достоинства большей части придворных, чему многие из наших судей могут быть явным доказательством, а иные столько же в том себя отличили, что лучше знают, как одеться по последней моде и сообразно годовому времени, нежели отправлять понадлежащему свою должность и вершить судебные дела. Статский человек столько же может иметь тогда славы, сколько и военный, когда он, сообразив все последствия и проникнув в существо дела, разрушит все хитросплетения гнусных лжей, покрывавших мраком целый век или и более истину, которой определением своим доставит принадлежащую ей справедливость.

«Что ж принадлежит до обогащения его, то он имеет еще то преимущество, что, не отлучаясь за несколько сот или тысяч верст и не подвергая себя столь видимой опасности, какой подвергается воин, может ежедневно обогащать себя и присвоивать вещи с собственного согласия их хозяев, которые за немалое еще удовольствие себе поставляют служить оными и почитают за отменную к ним благосклонность, если от них оные принимаешь. Сверх того статский человек может производить торг своими решениями точно так же, как и купец, с той токмо разницею, что один продает свои товары по известным ценам на аршины или на фунты, а другой изморяет продажное правосудие собственным своим размером и продает его, сообразуясь со стечением обстоятельств и случая, смотря притом на количество приращения своего богатства. Если вы против сего скажете, что все это не позволено законами, то по крайней мере должны в том признаться, что в свете введенные обыкновения столь же сильны, как и самые законы; сказанные же мною выгоды статского человека издавна между людьми вошли в обычай, и ныне они столько же употребительны и извинительны, сколько простительно придворному не платить своих долгов, а купцу иметь окороченный аршин и неверные весы, или сколько сему последнему позволительно, обогатив себя чужими деньгами и надавав в приятельские руки пустых на себя векселей, избавиться тем от платежа истинных своих доходов. Итак, видишь ли, друг мой, — продолжал он, оборотясь к хозяину, — что

я не солгал, и ты весьма несправедливо сделаешь, если предпочтешь какое-нибудь состояние статскому, в котором он может быть столько же знатен и блистателен, сколько и придворный; столько же обогащать себя всем, что ни увидит, сколько и воин, и с такою же способностью торговать, как и купец. Не отлагай же долее, отдай его в мой приказ и будь уверен, что я выведу его в люди. Не думай, чтоб я это обещал из одной только учтивости: нет, мне ничего не стоит доставить ему чин, чему явным доказательством мой дворецкий, которого за усердную его ко мне службу сделал я секретарем. Итак, когда я дворецкому доставил такое счастье, то будь уверен, что тебе, как моему другу, могу более услужить; нужно только потерять тебе несколько тысяч при его производстве, так и дело с концом; но поверь мне, что сын твой со временем, когда будет на судейском стуле, издержки сии возвратит тебе всотеро».

— Что до меня касается, — сказал Трудолюбов, — то я, вместо того чтобы защищать выгоды своего звания в моем отечестве, при первом же случае постараюсь из одного удалиться и возвратиться в Англию, где знают лучше цену моего художества и где за оное получал я во сто раз больше, нежели здесь, хотя я никакой не примечаю разности в моем искусстве, а сие меня столько опечалило, что, не размышляя нимало, предался я пьянству; знаю, что разумному человеку сие непростительно, но что уже делать, когда о том я скоро думав сделался теперь совершенным пьяницею: известно, что скорость не одному мне, но многим причинила пагубу. Итак, любезный Плутарез, если ты хочешь сына своего сделать счастливым каким-нибудь художеством, то или пошли его для работы в чужие края, или не вели ему ни за что приниматься, потому что здешние жители своих художников и их работу ни за что почитают, а уважают одно привозимое из-за моря. Я могу сказать, что мое искусство всегда почиталось из первых, и в Англии от одного многие обогащаются; я сам со временем, может быть, был бы из первых там богачей, если б не принужден был сюда выехать.

— Нет! милостивые государи, — сказал хозяин, — я свое состояние всем прочим предпочитаю и оставляю навсегда в нем своего сына. Правда, хотя я и не дворянин, но деньги все мне заменяют.

Я увидел, любезный Маликульмульк, что он говорит правду, ибо, процветая в избытке, живет он как маленький царек. Придворные, ученые и художники ежедневно ищут в нем благоприятства: первые просят у него в прозе в долг денег, вторые ищут награждения за подносимые стихи, а третьи ожидают, чтоб он употребил их к своим услугам; итак, придворным дает он по щеславию, ученым по великодушию, хотя, впрочем, никогда не читает их стихов, а третьим, льстя пустою надеждою, отказывает, сохраняя тем домашнюю свою экономию.

ПИСЬМО XII

От гнома Буристана к волшебнику Маликульмульк

И надежды нет, любезный Маликульмульк, чтобы я мог скоро возвратиться в ад. Сколько здесь ни обширны фабрики правосудия, но почти на всех обрабатывается оное довольно дурно. Одно только несколько меня утешает, что мне есть из чего выбирать; ибо на всякие 30 000 жителей наверное находится 20 тысяч судей; но если ты меня спросишь, найдется ли в сих 20 тысячах хотя 2 десятка мудрецов или, лучше сказать, хотя 1 добродетельный и знающий судья, то я для решения сего вопроса покорно попрошу у тебя дать мне 500 лет сроку. Впрочем, ты из маленького случая, о коем я тебя здесь уведомяю и которому я сам был очевидным свидетелем, увидишь, правду ли я думаю.

Последуя предписанию Диогену, вылетев на землю, вошел я в одну из славнейших лавок Фемисы; увенчанные перьями головы судей, с которых уже давно сошли волосы, делали рост их величественным, и хотя толстые их туловища не предвещали судейской заботливости, но впалые глаза, казалось, были у всех притуплены на чтении законов. Судейская зала, правда, хотя не соломою, а шелком и золотом была украшена, однакож со всем тем пол, забрызганный чернилами, доказывал их трудолюбие; над дверьми на восковой, но сделанной под мрамор доске — Фемиса держала следующую надпись:

Хранящий истины уставы,
Законы ты мой внемли:
Не продавай своей расправы,
Не будь здесь пьян и не дремли.

Я едва мог разобрать сию надпись, для того что судьи очень жарко топят залу и восковая доска сделалась так гладка, что почти ни одного слова не было порядочно видно; со всем тем мне это подавало очень хорошую надежду, как вдруг вошел в залу толстый купец, который тянул за собою бедного человека.

— Рассудите меня с этим негодяем, — кричал сей брюхан: — он украл у меня из кармана платок, но ваше правосудие, конечно, не допустит, чтоб было в самом городе такое нам утеснение от сих наглецов, и я требую, — продолжал он, — чтоб его осудили вы по всей строгости законов.

Судьи, нимало не медля, приговорили бедняка сего повесить, и толпа народа нетерпеливо дожидала уже сего позорища.

— Почтенное собрание, — сказал тогда судьям бедняк, — ваша воля ничем не может быть оспорима; но неужели правосудие сначала наказывает преступника, а потом уже рассматривает существо его дела? Нет! ваше звание обнадеживает меня, что вы, конечно, благоволите, чтоб я оправдался...

— Чтоб ты оправдался, — сказал один из них, смотря на солнце, — да знаешь ли ты, что уже теперь полдень и что тебя скорее можно повесить, нежели выслушать твои оправдания, которые у всех преступников бесчисленны.

— Пойдите, — сказал бедняк, — одна минута терпения не нанесет вреда вашему желудку и спасет несчастного от строгого наказания. Признаюсь, я украл платок, но скажите, когда вы, не желая вытерпеть двух минут голоду, хотите похитить у отечества, может быть, полезного ему гражданина, то мог ли я, три дни быв без пищи, не украсть, наконец, сего платка, потеря которого ничего не стоит сему богачу. Знайте, что я никогда не имел сей склонности, родясь с способностями к живописи, которые подкрепи наукою и усовершенствовав в чужих краях, возвратился я назад с успехом, надеясь иметь безбедное пропитание в своем отечестве.

«Мои картины хотя всеми были здесь одобрены, но порочили их тем, что они не были Аппеллесовы, Рубенсовы и Рафаэловы или по меньшей мере не были иностранной работы, и для того никто не хотел их иметь в своих галлерейх. Это меня лишило бодрости, предало унынию и повергло в отчаяние и нищету, так что я, не имея никакой надежды поправить свое состояние, имея престарелых родителей и малолетних сестер на своем содержании, на которое при нынешних обстоятельствах и дороговизне истощив все, что имел, и сам, наконец, умирая с голоду, принужден был сделать сие преступление. Итак, рассмотрите теперь, я ли виновен, что по необходимости прибегнул к пороку, или вы, гнушающиеся художествами ваших соотечественников? Я ли, который старался в своем отечестве поравнять вкус живописи со вкусом других народов, или вы, платящие мне за то неблагодарностию? Наконец я ли, который собою подкреплял надежду своих художников иметь со временем в нашем отечестве Мишель-Анжелев, или вы, которые своим нерадением и презрением погашаете в них весь жар к трудам и усовершению их дарований?»

Судьи признавались, что он изрядно говорил и мог бы по красноречию быть хорошим стряпчим, но как они не знали ни Мишель-Анжелев, ни Рафаэлев и не понимали о живописи, то из всех его слов заметили только то, что он признался в краже, за которую закон наказывал виселицею, вследствие чего и не хотели отменить своего приговора; некоторые только из сожаления хотели, чтобы вместо виселицы отрубить ему голову, а другие, боясь петли и топора, приговаривали засечь его до смерти розгами. Я между тем удивлялся строгости судей и признавал сам в себе, что хотя они не совсем были правы, однакож порок всегда наказываться должен и ничем не может быть извиняем.

«Вот, — думал я, — наконец те судьи, из которых, может быть, я выберу надобное число Плутому».

В сие время, когда они еще спорили, какую помилостивее положить ему казнь, отворилися двери залы, и вошел богато убранный господин; все судьи перед ним встали, приветствовали его своими поклонами и просили его сесть. Бедняк, думая, конечно, что это был их начальник, бросился перед ним на колени и просил о своем избавлении.

— Что стоит прощение сего бедняка? — спросил с гордостью богач.

— Милостивый государь, — сказал один из них, — если бы этот живописец был в состоянии заплатить 200 небольших листов здешнего золота, то бы не был наказан; но он очень беден, и для того мы приговорили было его к виселице, однакож некоторые из нас, по мягкосердечию своему, присуждают отрубить ему голову, а другие засечь розгами; и вот уже полчаса, как о том у нас происходит спор, какую смертью его наказать, но еще ни на чем не решились.

— Вот двести листов, — сказал богач, подавая оные, — отпустите его и примитесь лучше за мое дело. А ты, друг мой, — сказал он живописцу, — подожди меня: мне нужен человек твоего искусства размалевать паркет в моей прихожей.

Живописца выпустили, и сей редкий искусник, который бы мог сделать честь своему отечеству, дожидался своего избавителя, чтоб итти за ним рисовать холст для обтирания ног пьяных служителей, а судьи, чтобы скорее приняться за дело сего господина, не медля нимало, приговорили к виселице еще десять бедняков, которых некогда им было тогда выслушать. Определение о том заключили они в следующих словах: «Хотя сущность их дел нам неизвестна, но в предосторожность, чтобы другие не надеялись на оправдание, повелеваем всех их перевешать, а рассмотрение сих дел отлагаем до предбудущего заседания».

— Кто это такой, — спросил я у одного из стоящих близ меня, — который столь щедро выкупил живописца и перед которым судьбы так благоволеют?

— Это один преступник, — отвечал он мне на ухо, — который судится в некотором похищении и грабительстве, и вот уже лет двадцать, как это дело тянется.

— Как, — спросил я, — и его по сих пор не повесили! Разве он похитил меньше, нежели золотник меди?

— Нет! — отвечал он, — на него донесено, что он покрал из государственной казны несколько миллионов в золоте и серебре и разграбил целую врученную ему область.

— Пропащий же он человек, — сказал я, — его, конечно, уже замучают жесточайшими казнями.

— Напротив того, — отвечал он, — он уже оправдался перед правосудием, и это ему стоит одного миллиона, а чтоб оправдаться в глазах народа, то он делает такие выкупы, каким освобожден

живописец, и возносит на содержание сирот немалые суммы денег и через то в мыслях некоторых людей почитается честным, сострадательным и правым человеком; из доносчиков его большая половина перемерли в тюрьме, а оставшие завтра утоплены будут в море, если только не успеют они подкупить своих надзирателей и скрыться побегом; но я вижу, — продолжал он, — что вы недавно приехали на наш остров; поживите-тко у нас подоле, так и увидите всего поболе.

— Но и сего для меня довольно, — сказал я. — Мне удивительно, как можете вы жить в такой земле, где чуть было не засекли розгами бедняка, не евшего трое суток, за то, что вытащил он у богатого купца платок; где прежде вешают подобных ему, нежели рассматривают их дела, и где преступникам, обворовавшим государственную казну на несколько миллионов и разграбившим целую область, судьи кланяются чуть не в землю.

— Друг мой, — сказал мне мой новый знакомец: — это не так удивительно, как ты думаешь; в том только вся сила состоит, что прежде, нежели хвататься за какое ремесло, надобно оное рассмотреть со всех сторон. Сей живописец хватился за воровство, но с самой бесчестной и низкой стороны. Если бы он, например, вступил с каким-нибудь купцом в товарищество, хотя бы то было со мною, то бы ты увидел, что под моим богатым предводительством мы могли бы обманывать тех, кого нельзя грабить, и грабить тех, кого нет нужды обманывать, а со всем тем остались бы у всех островских жителей в почтении; но чтоб было для тебя сие понятнее, то расскажу тебе повесть сих жителей, которую слышал я от своего деда, а ему рассказывала об ней покойница его бабушка. Пристрастие к плутовству есть природное свойство здешних жителей, и мои земляки уже давно им промышляют. Встарину оно было во всей своей силе; но как просвещение начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разные имена, первостатейные сделались *старшинами* и *законниками*, другие *купцами*, а третьи *ремесленниками* и *поселянами*; но, переменя звания, жители не переменили своих склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало над ними, как по сей перемене, так что, наконец, претворилось оное в совершенный грабеж, которому, однакож, даны самые честные виды; одно только старое воровство запрещено, а впрочем, кто чем более крадет, тем он почтеннее; опасно лишь тому, кто в сем хранит умеренность: украденное яблоко может стоить головы, а миллионы золота принесут уважение.

— Так поэтому, — сказал я, — никто не может иметь никаких собственных своих выгод, потому что вы друг у друга только что перекрадываете?

— Нет, — отвечал он, — мастеровые имеют некоторые только способы к плутовству, купцы вдесятеро того больше, а законники

и старшины употребляют все средства и способы к своему обогащению, и для того все купцы и мастеровые стараются у нас, разбогачен, купить себе между судьями скамейку; от чего произошло, что ныне у нас с лишком во сто раз больше судей, нежели было прежде.

Представь, любезный Маликульмульк, каково было мое удивление, услышав о столь развращенных нравах сих островитян. Я было не медля хотел уже отправиться на север, по совету Диогену; но любопытство, а паче некоторый луч надежды, что между таковым множеством судей, может быть, сыщу я трех знающих и добросовестных, удержали меня несколько на сем острове. Расставшись с моим знакомцем, лишь только успел я выйти на улицу, как встретившийся со мной рассерженный человек, державший в руках своих бумагу, просил меня просмотреть, какова его челобитная, которую подавал он на нововышедшую в свет сатиру.

— Государь мой, — отвечал я ему, — я не знаю ни сатиры, ни вашего дела.

— О сударь! — сказал он, — это дело требует непременно отмщения. Сатира эта написана на рогоносца, а жена моя точно доказывает, что это на меня.

После чего подал он мне свою челобитную, с которой копию, как любопытную вещь, к тебе посылаю.

Судей собрание почтено,
 Вземли пиита жалкий глас
 И рассуди ты непременно
 С сатириком негодным нас;
 Он смел настроить дерзку лиру
 И выпустить во свет сатиру,
 Где он, рогатого браня,
 Назвал глупцом его безбожно,
 Жена ж моя твердит неложно,
 Что это пасквиль на меня.
 Второе, он сказал нахально,
 Что всем рогатым чести нет,
 Хотя признаться непохвально,
 Но это точно мой портрет.
 А третье, тот его рогатый,
 Лишь красть чужое тароватый,
 Не может сам писать стихов,
 А вам весь город это скажет,
 И всякий стих мой те докажет,
 Что я и был и есть таков.
 Прошу ж покорно, накажите
 За пасквиль моего врага

И впредь указом запретите
 Писать сатиры на рога.

Может быть, любезный Маликульмульк, после уведомя я тебя, чем эта странная тяжба кончится.

ПИСЬМО XVII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Извини меня, любезный Маликульмульк, что я давно к тебе не писал; это не оттого, чтоб мне было нечего писать; но я столько занят делами и окружен столь многими предметами, что, не зная, за что приняться, впал в нерешимость и долго бы в ней пробыл, если бы мой молодой Припрыжкин не подал мне причины к размышлению, которое выбило у меня на время из головы все другие предметы.

— Поздравь меня, любезный друг, — сказал мне Припрыжкин, — с исполнением трех главнейших моих желаний.

— Как! — вскричал я, — неужли ты оставил свет! собрал хорошую библиотеку! и нажил себе искренних друзей!

— Вот какой вздор! — отвечал он, — я никогда этого не желал, как только один раз в жизни, когда недавно проигрался и был без денег; о, тогда я был великий философ! Но, любезный друг! ты знаешь нынешний свет и нашу мягкую философию, которую и у лучшего нашего философа один рубль испортить в состоянии. Нет, у меня есть другие, гораздо основательнейшие желания, которые небу было угодно исполнить. Поздравь меня, любезный друг, — продолжал он, меня обнимая, — с тем, что я сыскал цуг лучших аглинских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту; а что еще более, так мне обещали прислать чрез несколько дней маленького прекрасного мопса; вот желания, которые давно уже занимали мое сердце! Представь, не благополучный ли я человек, когда буду видеть вокруг себя столько любезных вещей! Я умру от восхищения! — Прекрасный мопс! — Невеста! — Цуг лошадей! — Танцовщица! — О! я только между ими стану разделять свое сердце! Я принужу их, чтоб они все равно меня любили... и если не за других, то, конечно, за собачку парирую тебе всем, что она будет меня любить, как родного своего брата.

Такое прекрасное начало в первый раз заставило меня узнать, каким образом здесь женятся, и я захотел получше разведать, что значит здешняя женитьба.

— Поздравляю тебя, любезный друг, — сказал я ему, — с исполнением твоего желания, а более всего с невестою; я уверен, что ты не ошибся в твоём выборе.

— Конечно, — сказал он, — лошади самые лучшие аглинские!

— Я о твоей невесте говорю, — продолжал я, — не правда ли, что она разумна?

— Уж конечно; говорят, что лучше ее со вкусом никто не одевается.

— Без сомнения, она добродетельна?

— В том я верю ее матери, которая говорит, что дочка ни в чем от нее не отстала; а эта барыня может служить примером в добродетели... Она вечно или перебирает свои четки на молитве, или бьет ими своих девок; а достальное время проводит в набожных разговорах наедине с своим учителем богословия.

— Я думаю, что она прекрасна?

— О! что до этого, то я никому, кроме своих глаз, не поверю; но я еще не успел ее видеть.

— Как! — сказал я, — ты женишься и не знаешь своей невесты?.. Да чем же она тебе так нравится?

— Тридцатью тысячами дохода, — отвечал он мне с восхищением: — неужели ты думаешь, что это шутка? Если мне танцовщица будет стоит и двадцать тысяч, то все еще у жены останется десять, к которым приложу мой доход, мы можем с нею жить, делая честь нашему роду. Что же ты смотришь на меня, вытараща глаза? О! как можно в тебе узнать уездного дворянина! Я вижу, что тебе в диковинку такие свадьбы, а это оттого, что ты еще не знаешь модного общезнания; будь же свидетелем моей женитьбы и приучайся к правилам света.

После сего подхватил он меня в свою карету, и мы поехали с ним в ряды для закупки к свадьбе ему уборов.

Купцы наперекор просили нас в свои лавки и кричали, что у них есть самые дорогие товары; некоторые, правда, говорили, что у них есть лучшие, но у таких простяков, как я заметил, покупали очень мало.

— Друг мой, — сказал я одному из сих купцов, — скажи мне, неужели здесь товары не потому выбираются, что они лучше, а потому, что дороже? То правда, что лучшие должны быть дороже; но я примечая, что это у вас редко вместе встречается.

— Государь мой! — отвечал мне купец, — будьте уверены, что я имею все должное почтение к таким господам, как вы и его сиятельство г. Припрыжкин, и я бы думал обидеть его милость, если бы показывал ему лучшие товары, а не те, которые дороже; да и он, конечно, сочтя меня за невежу, пошел бы искать товаров в другие лавки. Были, правда, здесь варварские времена, когда у нас спрашивали лучшего, но просвещение переменяло такие грубые нравы, и мы ныне нередко берем за серебро обыкновенную цену, то есть по 24 копейки и менее за золотник; а за такой же золотник стали платят нам по 120 рублей. За шелк берем мы самую умеренную цену, а за связку соломы недавно брали по 400 и по 500 рублей; но, по несчастю, наши барыни недолго пользовались

приятною вольностию платить за солому дорогую цену, и мы принуждены были поровнять ее ценою не более, как с лучшей золотою парчою. Мы были бы в отчаянии, если бы дорогая цена стала не утешила нас в умеренной прибыли от соломы. Вот, сударь, — продолжал он, показывая мне, — стальной агглинский эфес, который стоит 110 рублей.

— Я тебе сию минуту плачу за него деньги, — сказал я, — но скажи мне, чего он в самой вещи стоит?

— Я боюсь, — говорил купец, — что он из самой лучшей агглинской стали; железа тут не более, как на 9 коп. Работа агличанам, может быть, стоит не больше полфунта стерлингов или два крона, что на здешние деньги сделает 2 рубля 20 копеек.¹ 52 рубля 80 коп. мы даем им прибыли; а достальные 55 рублей я имею честь брать с своих просвещенных земляков.

— Этого бесчеловечнее ничего быть не может! — вскричал я.

— Не угодно ли, сударь! — говорил купец, — посмотреть еще агглинских стальных цепочек, жепских поясных и шляпных пряжек и шляпных петель; будьте уверены, что я уступлю вам за самую сходную цену.

— Что стоит эта цепочка? — спрашивал я, указывая на одну, подлинно изрядно сделанную.

— Последнее слово 230 рублей, — отвечивал купец. — Я не говорю о настоящей ее цене, — продолжал он, — она я вам известна; но я уверен, что это не помешает вам купить так хорошо выработанную вещь.

Чтобы сдержать мое слово, я заплатил ему за три золотника стали 230 рублей.

— Но скажи мне, — говорил я купцу, — неужели это не делает вреда государству и какую может приносить ему пользу?

— Польза очень не мала, сударь, — отвечал купец: — во-первых, нас почитают богатыми потому, что мы за безделицы платим дорого; вкус наш в великой славе потому, что такие прекрасные вещи нигде так не расходятся, как здесь; наши знатные господа, бывши одеты с ног до головы в такие драгоценности, подают великое мнение иностранным о своей знаменитости... Вот, сударь, пользы от дорогих товаров... Правда, есть также и вред, но он почти неприметен, и об нем не для чего думать. Эта безделица, сударь, вся состоит только в том, что наши мужики иногда умирают с голоду и в городах всему необходимому великая дороговизна.

¹ Деньги той земли привел я в здешние российские, чтобы их названием не открыть такой странной земли; а я за дог почитаю умалчивать о народе, которого гном Зор в письме своем описывает; да и не верю, чтобы мог где быть такой безрассудный, который бы за сталь платил в 60 раз дороже золота. Впрочем, уверяю читателя, что в сравнении денег ни одною полушкою не ошибся. *Примечание издателя.*

— Ты шутишь, — сказал я, — неужели такие безделицы, каковы аглинские стальные цепочки, пряжки, пуговицы, петли, или такие мелочи, каковы французские соломенные шляпки, блаженной памяти соломенные накладки и прочие подобные сим вздоры, могут принести такой вред государству? Пожалуй, мне это растолкуй.

— А вот, сударь, — продолжал купец, — между тем как ваш приятель покупает у моего сидельца нужные для него товары, я вам в коротких словах об этом расскажу. Например, его сиятельство г. Припрыжкин вздумал жениться; ему неотменно надобно к свадьбе множество таких мелочей; деньги на них он должен брать с своих 4000 душ крестьян; в одну минуту посылает он приказ собрать с них к будущему году 80 000 рублей. Мужички, получа такое строгое повеление и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города, где обыкновенно более можно заработать денег; вместо сохи и бороны берут они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками или разносчиками; днем работают, а по ночам, чтоб лучше собрать свой оброк, взыскивают его с прохожих. Город, вместо того чтоб получать от них хлеб, должен бывает сам их кормить и, сверх того, еще платить им деньги. От таких-то гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы на господах, а господа опять принимают за своих крестьян. К концу года крестьяне возвращаются в свои жилища с деньгами, отдают 80 000 рублей господину, а на достальные 10 000 рублей посылают в город купить себе хлеба, которого им становится мало до будущего года. Итак, города терпят недостаток, деревни голод, граждане дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах и празднует несколько дней великолепно свадьбу с своею почтенною невестою, которая, с своей стороны, щегольством такую же приносит пользу государству.

Между тем г. Припрыжкин кончил торг с сидельцем моего красная и, отсчитав ему 6000 рублей за такие прекрасные товары, радовался, что заплатил дороже всех за свою покупку. Надобно думать, что и невеста не менее делала приуготовлений.

На другой день после сего у невесты в доме был бал, где было такое же собрание, о котором я тебя раз уведомлял, с тою только разностию, что тут были без масок и не платили денег. Невеста и жених, в первый раз увидевшись, через десять минут сделались так коротки, как будто были уже десять лет обвенчаны. Ему позволяли некоторые вольности жениха, но я приметил, что не один он пользовался таким правом. Неотказа (так называлась молодая невеста) была так благосклонна ко всем мужчинам, что казалось, будто она за всех за них выходит замуж. С своей стороны, и Припрыжкин ей не уступал; он всякую женщину почитал

своею невестою, и всякая женщина была так к нему снисходительна, что почитала его своим женихом или еще и более. Я приметил между прочим, что мать невестина, женщина набожная, очень долго разговаривала у окна с будущим своим зятем с весьма важным видом. «Вот женщина умная, — сказал я сам в себе: — она, конечно, дает ему наставление в добродетели и в будущем хозяйстве». Но ты узнаешь скоро, любезный Маликульмульк, что я имел причины пенять себе в безвременно сделанной похвале сей старушке.

Прохаживаясь по залу, вздумалось мне хорошенько расспросить про здешнюю женитьбу, и для того зачал я разговор с одним, повидимому, постоянным и скромным гостем. Слова наши были наперед о мелочных вещах, как то о погоде (здесь очень часто начинаются преважные разговоры вопросом: какая на дворе погода? или: который бы, вы думали, час?); наконец я довел разговор до женитьбы.

— Признаюсь, сударь, — говорил я ему, — что я очень радуюсь счастью моего приятеля Припрыжкина: женитьба есть такое утешение в жизни, что она отъемлет у человека половину горестей в оной. Как весело разделять время с прекрасною и добродетельною женою, которой правы во всем согласны с мужниными! Хорошал женщина — любезный товарищ в уединении, и наставления разумной красавицы скорее исправить могут, нежели десять скучных поучений какого-нибудь грубого старика; а основательному, но не гибкому разуму мужчины не худо иметь себе в общежитии советником проницательный женский разум; и самые упреки из уст любимой женщины кажутся приятны.

— Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть? — спросил меня незнакомый. — Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах; по вашему вопросу мне кажется, что они еще не лишились своей невинности, видно, что письма о развращении их нравов, полученные мною, несправедливы.

— Государь мой! — отвечал я, — очень бы я рад удовольствовать ваше любопытство, но признаюсь, что я не был столь далеко отсюда, а приехал прямо из одной здешней провинции для покупки модных уборов моим родственницам; однакож, чтобы впредь не быть мне смешным такими вопросами, прошу вас, пожалуйста, расскажите мне, каким образом здесь почитается женитьба?

— Очень просто, — отвечал он мне, — и это в коротких словах рассказать вам можно. У нас с женою так же поступают, как с платьем... Приходят в ветошный ряд, выбирают то, которое побогаче, платят за него деньги и относят домой; тогда-то уже увидят, что платье или не в пору, или дурно сшито, и, усмотря свою ошибку, вешают его в гардероб, на место его выбирают другое и на него никогда уже не взглядывают, а только пишут его в реестре

своём, хотя нередко камердинеры и знакомые им пользуются... Вот история женитьбы, с малою, однакож, разницею. Тот, кто хочет жениться, проводывает о невестах; к нему приходят и ска- зывают, что такая-то девушка приносит за собою в приданое 10 000 рубл. доходу; часто, не любопытствуя далее, он посылает к ее отцу сказать, что он такого-то чина и стольких-то душ владе- тель, хочет на ней жениться. С обеих сторон справляются с вели- ким прилежанием в истине сих уведомлений и потом начинают свадьбу; если же после, как то часто случается, ни жена, ни муж друг другу не понравятся, то всякий утешает себя, как может, и делают добровольно уговоры, чтоб не вступаться в некоторые безделицы, которые прежде сего мужей и жен краснеться застав- ляли. И таким образом муж, не сходясь с своею женою несколько лет, может надеяться быть не последним в своей фамилии, а жена имеет удовольствие приписывать своему мужу все домашние дела, которыми часто вертят комнатный служитель и человека четыре посторонних.

«Дети, которые приписываются такому прекрасному супру- жеству, воспитываются с равною с обеих сторон прилежностью. Муж, не почитая это за свое дело, думает, что и того довольно с его стороны сделано, когда они носят его имя, а жена, видя, как мало думает о них тот, кто причиною их рождения, сама ста- рается перещеголять его в нерадении; и такие-то прекрасные от- расли готовятся со временем занимать какие-нибудь важные места в государстве!»

Лишь только окончил он свою речь, как Припрыжкин, подо- шедши, отвел меня к стороне...

— Доволен ли ты, любезный друг, своею будущею тещею? — спросил я его.

— Можно ли спрашивать меня об этом! — сказал он: — когда ты видишь, в каком я смущении; представь, что эта старая хрычовка в меня влюблена! и как видно, что старушка жалуется скорые решения, то по ее словам я очень ясно заключаю, что мне не выдать ее дочери за собою до того времени, покуда...

— О чем же ты думаешь? — вскричал я: — оставь эту старую фурию; неужели ты хочешь быть до такой степени развращен?

— Вот какое дурачество! — сказал Припрыжкин, — чтоб я по- жертвовал тридцатью тысячами доходу для такой мелочи; будь уверен, что я не столь своенравен, и если я теперь в досаде, то это не оттого, чтоб я старался презирать мою дорогую тещу.

— Что ж! разве ты страшишься, чтоб не узнали люди о таком преступлении?

— Вздор! что кому за нужда до чужих дел!

— Или не хочешь, чтоб твоя невеста сведала о сей измене?

— Совсем не то: хотя невесту свою вижу я и в первый раз, но как у многих моих приятелей видал я ее портреты, которые

без всякого прекословия переходили из рук в руки и доставались многим, то из того заключаю, что и подлинник не упрямее своих списков, итак, поэтому не думаю, чтоб она на меня слишком осердилась за непостоянство.

— Что же тебя так беспокоит?

— То, — отвечал с досадою молодой Припрыжкин, — что я сего вечера дал слово быть у моей прекрасной танцовщицы, а если эта старая хрычовка не отвяжется от меня с своими любовными изъяснениями, то я лишусь приятного удовольствия увидеться с театральной нимфою, а принужден буду проводить скучные часы с гадкою старухою.

По счастью господина Припрыжкина, сей день кончился без дальних для него хлопот с будущею его тещею, потому что к вечеру нашел он отговорку, чтоб уехать для свидания с своею танцовщицею, и мы с ним вместе поехали; меня завез он в тот дом, где я живу, а сам поскакал к своей сирене.

Прости, любезный Маликульмульк, я скоро тебя уведомя, чем кончится такая знатная свадьба, которую Припрыжкин торжествует на счет своих 4000 душ.

ПИСЬМО XXIII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Свадьба моего дорогого Припрыжкина кончилась; он отделился от своего отца, сделался самовластным господином шестидесяти тысяч рублей дохода и носит имя мужа первой во всем городе красавицы. «Счастливое состояние! — скажет кто-нибудь, — иметь богатство и прекрасную жену!» Я и сам признаюсь, что трудно удержаться, чтоб этого не подумать, видя сию молодую чету; но ты увидишь, любезный Маликульмульк, можно ли это сказать, зная их жизнь.

Свадьба сия продолжалась с таким же великолепием, с каким началась. Как имя невесты и жениха всегда имеет нечто привлекательное и они более других обращают на себя взоры людей, то молодая Неотказа ничего не упустила в нарядах и ужимках, что б могло пленить свидетелей ее свадьбы; равным образом и Припрыжкин не менее старался о женщинах, и они оба столь были заняты наукою нравиться, что им едва оставалось время взглянуть друг на друга. Со всем тем казалось, что они чрезмерно восхищены своим счастьем и ничего более не желают, как той минуты, которая кончит их свадьбу. Минута подлинно блаженная! если невеста и жених в первый еще раз одну чувствуют и ею начинается новый человеческий век; но в нынешнем свете и в здешней земле, любезный Маликульмульк, редким девушкам брак кажется новостью: они по большей части такие философки, что во всем находят

скучное повторение; и если бывает некоторым из них мило супружество, то, конечно, не новостью, а разве свободою, которую оно с собой приносит.

Между тем как все гости утопали в веселостях, музыка гремела, вины заставляли многих шататься около буфетов, а другие помогали своей непорядочною скачкою расстраивать веселые танцы молодых госпож и господчиков; и между тем, когда казалось, что всякий принимал участие в благополучии новобрачных, хотя у многих карты и вино выбили из памяти и жениха и невесту, я заметил, что она ушла в свою комнату с одной из молодых своих знакомок.

Желая узнать невестино мнение о сем супружестве и заключая, что в таких уединенных разговорах не может быть ничего пустого, скрылся я из гостиной комнаты и, сделавшись невидимым, вошел в уборную молодой Неотказы. Я застал ее с той же незнакомкою, с кою она ушла от гостей, и они обе хохотали, как безумные.

— Признайся, любезная Бесстыда, — говорила своей подруге Неотказы, — что изо всех мужчин моего женишка трудно сыскать глупее! Вообрази себе, какое счастье иметь мужем такого фалю, которого в день можно по сту раз обманывать.

— Признаюсь, — отвечала Бесстыда, — что я завидую твоему счастью, а мне так сватают какого-то уroda, которого я терпеть не могу; одно только то, что он умен, делает мне его несносным. Подумай, жизнь моя, сносен ли такой муж женщине нынешнего света: я умру с досады, если батюшка и матушка не переменят своего слова.

— Да, я советую тебе, как можно, отвязаться от такого женишка, — сказала Неотказы, — я не один раз слыхала мнение о замужестве моей матушки (ты ведь знаешь, что старушка моя не дура): она говорит, что если муж и жена умны, то в доме никогда не бывает доброму согласию, для того что никто из них слепым быть не захочет; а когда оба они глупы, то должно ожидать скорого разорения их дому; но чтобы составлять счастливые семейства, надобно неотменно или дурака женишь на умнице, или умному братъ дуру: тогда-то одна половина может веселиться, а другая, разиня рот, будет ожидать повелений или довольствоваться мнимой властью, между тем как ее за нос водят... Итак, по сему правилу, любезная Бесстыда, без хвастовства сказать, ты видишь, что нам с тобою умные мужья не под пару.

— Сему-то правилу и я бы желала следовать, — сказала Бесстыда, — но, к несчастю, мои старики совсем не такого мнения о супружестве, как твоя матушка, и я думаю, что они бы меня давно уморили своей строгостию, если бы добрая моя мадам не помогала мне их обманывать столько, сколько мне угодно, и я признаюсь, — продолжала она, — что с тех пор, как французы взяли под свое покровительство наше юношество, оно чувствует

немалое облегчение в скучной неволе, и всякая наша девушка под присмотром искусной француженки в пятнадцать лет становится хитрее своей матушки, с тою притом разницею, что, насмехаясь всем скучным предрассуждениям своих бабушек, не запинается она совестию на всяком шагу своих тайных приключений. Я сама, будучи постановлена на такой ноге моею надзирательницею, с терпеливостию сносила скучные годы моего девичества; но с того времени, как она от нас отошла, почувствовала я всю строгость родительского присмотра и с великою нетерпеливостию жду какого бы то ни было жениха, надеясь, что супружество по крайней мере облегчит мою неволю.

— Не думаешь ли ты, — перехватила Неотказа, — что мне более твоего оказывают потворства? О, как же ты мало знаешь мою матушку! Я думаю, что во всем свете нет строже этой хрычовки; вообрази себе, что она в день не отпускала меня от себя более, как на два часа, и то только тогда, когда уходила сама в особую комнату с молодым Лицемеровым читать молитвы. Признаться надобно, что я не теряла из сих двух часов ни одного без удовольствия; но со всем тем тайные веселия мне уже наскучили, и ты не поверишь, жизнь моя, какую надобно всегда иметь осторожность от матери: дочери гораздо легче обмануть самого строгого отца, нежели мать, которая сама проходила всю школу света и, помня старину, знает, какие хитрости употребляются для обманов. Если ж она не препятствует своей дочери в некоторых забавах, то это, конечно, не оттого, чтоб не знала к тому способов, но или ленится, или не имеет времени, протверживая очень часто сама веселые зады любовной азбуки.

— Ха, ха, ха! как ты злоречива, — говорила со смехом Бесстыда, — ты не щадишь и своей матушки!

— Вот какое дурачество! щадить мать! — отвечала Неотказа, — эти старушки думают, что они только одни могут пользоваться всеми веселостями и выгодами нашего пола, а дочери их рождены сидеть в конурках, поститься вместо их и молить за их грехи. О! нет, я всегда вела себя на такой ноге, что мне не только за чужие, но и за свои согрешения умаливать очень мало оставалось времени, да и вперед с таким болванчиком, каков мой будущий муж, не надеюсь я много минут иметь для набожности. Глупый муж, любезная Бесстыда, в нынешнем свете для набожной женщины служит немалым поводом к соблазну. Надобно быть слепою, если не рассмотреть, что мой Припрыжкин глупее всех своих знакомых; что ж касается до его лица, то каков бы хорош жених невесте ни казался, но неделю спустя после свадьбы на верное всякий мужчина в глазах ее будет казаться приятнее мужа. Трудно не видеть, что все мужичины не для чего иного ищут дружества мужа, как желая покорооче свести знакомство с женою; они делают ей тысячу услуг, которые принимает он за знак ува-

жения к нему; они за нею машут, а он тем гордится; они почти при нем открывают ей свою страсть, а он, почитая ее второю Лукрециею, восхищается их неудачей и ее мнимою верностию. Надеясь на ее сердце, он спокойно ее оставляет и делает ей многие измены, почитая одних только женщин обязанными в постоянстве; одним словом, он во всем ей верит, почитает ее слепою в рассуждении своих поступков и допускает своих друзей стараться развращать ее в ее мнимою непоколебимости. Надобно, говорю я, жизнь моя! не иметь глаз, чтоб не видать всего этого, и надобно иметь каменное сердце, чтобы сим не пользоваться. Да полно, я на себя не буду пенять в сем случае: я уже давно расположилась, каким образом жить в свете, и мне нужен был только такой простячок, который бы назывался моим мужем и отнюдь не вмешивался бы в мои дела. Судьба услышала мою молитву, и любезный мой Припрыжкин, право, кажется, может быть мужем всякой умной женщине. Изво всех его поступков ни один не показывает в нем умного человека. Кажется, он более занят своими пряжками, нежели мною и нашею свадьбою; а это мне подает добрую надежду, что он чаще будет смотреть за своею каретою, нежели за своею женою.

После сего продолжали они с язвительнейшими ругательствами и насмешками описывать всякую черту бедного Припрыжкина. Молодая Неотказа выдумывала планы своему хозяйству; назначала из мужнина гусара, малого рослого и довольно пригожего, сделать главного правителя домашних своих дел, а из мужа дворецкого; и я имел причину думать, что бедному Припрыжкину не только не удастся с танцовщицею поделиться жениными доходами, но едва ль и своими собственными всеми пользоваться ему позволят.

Они бы еще долее продолжали свои рассуждения, если бы не вскочил в комнату молодой господчик, одного покроя с г. Припрыжкиным: тупей его наполнил новым благоуханием всю комнату, блестящие пуговицы умножили в ней свет, и казалось, что сама Арахна трудилась над его манжетами.

— Жестокая! — сказал он Неотказе, — так ты мне изменяешь, и мой *риваль* предпочтен мне, в то время когда я уже совсем разорился на щегольство, единственно для того, чтобы тебе нравиться.

— Перестань дурачиться, любезный Промот! — сказала Неотказа: — ты подымеешь в моей голове *vapёры* своими восклицаниями... Ты, право, сам не знаешь своих выгод, когда жалеешь о том, что я выхожу за Припрыжкина.

— Нет, неверная, — отвечал с досадою ее любовник: — мне уже не жаль тебя; но жаль своих трех тысяч душ крестьян, которые *продепансировал* я на то, чтоб тебе угождать, надеясь загладить некогда сей убыток твоим приданым. Познай, бесчеловеч-

ная, — продолжал он с трагическим восклицанием, показывая ей правую руку, усеянную перстнями: — познай, что на этих пальцах сидит мое село Остатково; на ногах ношу я две деревни, Безжитову и Грабленную; в этих дорогих часах ты видишь любимое мое село Частодавано; карета моя и четверня лошадей напоминают мне прекрасную мою мызу Пустышку; словом, я не могу теперь взглянуть ни на один мой кафтан и ни на одну мою ливрею, которые бы не приводили мне на память заложенного села, или деревни, или нескольких душ проданных в рекруты дворовых. А всему этому ты причиною, и ты за всю мою любовь платишь мне неверностию; но какою еще неверностию, жестокая! Я бы тебе позволил тысячу раз мне изменять, но только бы не выходить за другого.

— Ах! как же ты скучен, — отвечала Неотказа, — ты пришел меня уморить своими выговорами. (Заметь, любезный Маликульмульк, что подруга ее давно уже вышла.) Скажи, пожалуй, какие находишь ты выгоды в нашем супружестве? Подумай, можно ли мне одним моим приданым содержать пышно и себя и мужа; не гораздо ли лучше, если я награжу твой убыток из Припрыжкиного имения. Ты дурачишься, жизнь моя! если не хочешь пользоваться его доходами, имея столько разума, что можешь не с одним мужем делиться. Оставь, пожалуй, свой томный вид и подумай лучше, как бы поскорей после нашей свадьбы познакомиться с моим мужем; он, право, человек неопасный, и мы можем с тобою так же быть счастливы, как были прежде; беда только вся в том, что я не буду твоею женою, но это не так-то жалко: ведь жена не всякая приносит с собою чины мужу, а мне мой муж приносит верную выгоду называться графинею.

— Итак, ты мне не изменяешь! — вскричал с радостию Промот: — ты меня любишь! Когда так, то, пожалуй, выходи за Припрыжкина; после этого объявления никакой муж мне не страшен... Любезная Неотказа! теперь я познаю, что ты редкая женщина в постоянстве.

— Конечно, — отвечала Неотказа, — будь уверен, жизнь моя! что мужа я всегда иметь намерена; но тот, кто мне мил, никогда не будет моим мужем. Если б я и овдовела, то ты не прежде можешь назвать меня неверною, как разве тогда, когда предложу я тебе мою руку: это будет ясный знак, что мне уже не ты, но одно твое имя нужно. — После сего уверения она доказывала всеми способами к нему свою любовь и старалась, как могла, его утешить.

«Бедные мужчины! — думал я сам в себе. — Вот та власть, которая, по вашему мнению, дана вам природою над женщинами, и вот верность, которую вы имеете право от них требовать! Продолжайте думать, что женщины не для чего иного выходят за вас замуж, как для того, что вами страстны и желают спокойствия

под вашими законами. Продолжайте думать, что им необходимо надобны мужья, чтоб предводительствовать их слабым умом и утешать в них худые склонности; и что они в вас ищут приятных друзей, нежных отцов и верных любовников. Продолжайте наслаждаться столь лестною мечтою, а между тем рабствуйте им, нимало не примечая своих оков. Думайте, что вы их господа, и будьте их игрушкой. Говорите, что их жизнь и счастье от вас зависит, но в то же самое время просите от них робким взором своего счастья, а иногда и самой жизни.

«Не показывает ли вам сей пример, что они не для чего иного ищут носить ваши имена, как желая употребить оное во зло, чтоб избавиться от строгости родителей, которые сами часто думают, что исполнили со всею святостию свой долг, если дочь их до замужества была честною девушкою, и никогда не заботятся о том, чтоб была она честною женою; а молодые женщины, сделавшись свободными, последуют в верности примеру своих мужей, которые едва не первые ли бывают развратителями их добродетели, и я не знаю, почему мужчины не почитают себя столько же обязанными в верности, сколько требуют того от женщин. Кажется, всякий муж своими поступками говорит своей жене: «Ты не столь пылкого сложения, как я; твой разум основательнее моего; ты не так легковерна и скоро; сердце твое не так нежно, и чувства твои не столь склонны к утехам; а для того-то ты должна подавать мне пример в верности и извинять тысячу измен, которые я тебе делаю, слабостию и легкомыслием моего пола и приписывать то свойственной всякому мужчине ветрености». Вот что думают и говорят мужчины; но едва ль не женщины имеют право это сказать».

Я еще продолжал мои рассуждения, как вдруг вошла в комнату мать Неотказы и очень была недовольна гостем, которого застала у своей дочери. Он не замедлил выйти и оставил бедную Неотказу с своею матерью. Я опасался, чтоб не последовало какого жалостного явления; но дело все прошло очень тихо. Горбура только побранила свою дочь и дала ей свои матерьиные советы в рассуждении ее поведения.

— Не стыдно ли тебе, — говорила она ей, — что в твои лета ты так глупа, как ребенок, и накануне своей свадьбы делаешь такие дурачества, которые могут и тебя и мать твою ввести в великие хлопоты? Такое ли давала я тебе наставление? Не говорила ли я тебе, что ты до замужества должна быть ангелом, а после того будь хоть дьяволом, если захочешь: тогда уже ничто тебе не грозит век засидеться в девках; к счастью, что твой жених теперь, танцуя, давно позабыл о тебе, что ты ушла из комнаты; ну, если бы он, приметя это, вздумал подозревать, пошел бы сюда за тобою и нашел бы тебя с товарищем, который и лучшему мужу может подать подозрение; посуди, что б из этого вышло? Ты была

бы оставлена; свадьба бы ваша разорвалась, и нам всем нанесло бы это стыд и бесчестие. Любезная Неотказушка! я люблю тебя; но, воля твоя, до замужества не дам тебе шалить. Покуда ты в девках, то я за тебя отвечаю; вышедши замуж, делай себе, что хочешь, тогда уже никто меня не может упрекнуть в твоём поведении, и каково бы оно ни было, мужчины все тебя извинят, а из женщин одни только твои соперницы поносить тебя станут. Мы сами бывали молоды; но встарину всегда более расчёту держались: тогда девушку до её замужества редкие видали, и всякая из них не выезжала из двора иначе, как разве показать свою набожность. Впрочем, мы сживали дома по десяти месяцев, в которые бог знает, что с нами дельвалось; однакож со всем тем ко всякой из нас сватывалось множество женихов: столько-то мы казались добродетельными; а в нынешнем свете так, право, и самая честная женщина кажется подозрительной.

«Я было тебя совсем по старине воспитывала и радовалась, что слышала о тебе многие похвалы, которые не давала тебе опровергать твою ветреностию, и хотя ты, может быть, не всегда была их достойна, но самолюбие мое, извиняя слабость нашего пола, довольствовалось и тем, что публика была о тебе хорошего мнения, которое чуть было ты ныне не истребила своей неосторожностью. Воздержись, любезная Неотказа! тебе ещё восемнадцать лет; подумай хорошенько, что ты завтра будешь самовластною госпожою и можешь наградить те скучные семь лет, в которые, может быть, чувствительно тебе было мое надзирание, тридцатью годами и более веселой жизни».

Неотказа, поблагодаря свою добренькую матушку за такие спасительные советы, обещала ей вечно быть добродетельною, и обещала то с таким жаром, который и меня уверил, что она двадцать восемь часов не переменит своего слова. После сего они вышли из комнаты к гостям, которые едва приметили их приход, равно как и выход.

Лишь только окончились свадебные обряды, как Неотказа, воспитанная в экономии, вздумала принять в свое правление дом. Припрыжкин, почитая в ней простую женщину, которая займет у него место ключницы, был ей рад, как кладу; но она так, как исправный казначей, умела пользоваться своим местом, и я увидел, что он очень ошибся в двадцати тысячах, которые обещал танцовщице. Из экономии всякая истраченная им полушка исправно ставится на счет, и бедный Припрыжкин очень дурно получает свои доходы. Неотказа ласковыми своими с ним поступками и своим против его притворством довела его до того, что он ей не смеет и заикнуться о больших деньгах и нередко очень негодует на её экономию, между тем как она не только свои, но и его доходы делит пополам с Промотом, который вкрался к Припрыжкину в совершенную дружбу.

— Ну, любезный друг! — сказал я ему недавно, — доволен ли ты теперь своею женитьбою?

— Нет, чорт меня возьми, — отвечал Припрыжкин: — я нимало ею не доволен; я думал получить в жене молодую женщину нынешнего света, которая бы с удовольствием мне помогала проживать имение, но судьба наказала меня самую скучною половиною. Моя жена воспитана в предрассуждении женщин; она за грех ставит издержать лишнюю копейку; по ее мнению, самое святое дело есть то, чтоб избегать роскоши, быть верною и усердною к своему мужу и беречь, чтобы и он ей был верен; а это заставляет ее часто удерживать меня дома, ибо с красотою моею, как она говорит, в нынешнее время очень опасно показываться в обществах, когда женщины ищут всех способов соблазнять мужчин; итак, в ее угодность я нередко просиживаю по целому дню дома, между тем как она объезжает богадельни и больных своих знакомых; часто усердие доводит ее до такого восторга, что она приезжает домой вся в поту и с помутившимися глазами; я, право, боюсь, чтоб возле ее и я не сделался набожным. Впрочем, я ею доволен и по крайней мере надеюсь, что мой лоб избавлен от общей участи почти всех мужей нынешнего века.

Вот что говорит Припрыжкин о своей жене, любезный Маликульмульк, но ты можешь отгадать, верю ли я его словам и набожности его любезной супруги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПИСЬМО XXVI

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

Третьего дни, любезный Маликульмульк, перелетел я в ближний остров из старого, в котором был прежде. Нетерпеливость удовольствовать странное желание Плутона принудила меня сделать немалый скачок; но я думаю, что и еще триста таких скачков не наведут меня на желаемую находку.

Со всем тем не совершенно отчаяваясь, на сих днях утром прохаживался я по одной из знатнейших улиц здешнего города и вдруг увидел перед собою великолепный дом, у коего было многочисленное собрание народа, желающего туда войти. Множество изуродованных стариков старались перегнать здоровых, и хромые, припрыгивая на своих костылях, завидовали безруким, которые их выпереживали. Между тем полдюжины сильных лошадей привезли небольшой ящик, в котором, как показалось мне, положена была человеческая фигура из разных цветов мрамора.

— Боже мой! — сказал я моему хозяину (он делал мне честь,

проживаясь со мною), — или ваши лошади очень слабы, или жители здешнего острова безрасчетны, что впрягают шесть таких сильных тварей под одну каменную статую, в которой весу не более двадцати пяти пуд.

— О какой статуе изволите вы говорить? — спросил у меня хозяин: — здесь не вижу я никакой статуи, — продолжал он, — а этот табуи лошадей привез сухощавого человека в два аршина и два вершка ростом, в коем весу не более сорока шести или осьми фунтов.

После сего еще другие табуны лошадей, подвозя таких же чудных творений, пылили своим топотом глаза нескольким бедным людям, кои тащили на себе превеличайший камень к строению какого-то публичного здания.

— Государь мой! — сказал я моему хозяину: — пожалуйста, растолкуйте мне это странное обыкновение: для чего здесь множество лошадей возят на себе одного человека, который, как я вижу, сам очень изрядно ходит; а, напротив того, тяжелый камень тащат столько людей, сколько числом и лошадей поднять его едва в силах? И не лучше ли бы было, чтобы, отпрягнувши от этих ящиков хотя по несколько бесполезно припряженных лошадей, употребить их на вспоможение этим беднякам везти камень?

— Я не знаю, сударь, — отвечал хозяин, — почему здесь десять человек тянут часто ста по два пуд и почему шесть лошадей тащат машину с руками и с ногами в шестьдесят фунтов; но то знаю, что всякий из сих надутых тварей почтет себе величайшим оскорблением, если отпрячь хотя одну лошадь от его ящика, и что многие из здешних жителей мучатся по пятидесяти лет и более только для того, чтобы нажить шестерку лошадей, которая бы таскала их истощившуюся мумию.

— Но какая выгода сих господ, — спрашивал я, — перед теми, коих возит одна пара?

— Та, — отвечал он, — что они нередко, пользуясь своей шестерней, сминают их на дороге; а притом и все пешеходцы отдают всякой шестерне всевозможное уважение и уступают скорее дорогу для того, что она одна, проезжая мимо их, может вдруг десятерых забрызгать грязью с ног до головы. Посмотрите, как все прохожие у этого дома теснятся и мнут друг друга, чтобы не быть задавленным прискакивающими ежеминутно табунами.

— Вижу, — отвечал я: — но скажите мне, какое здесь собрание и что это за дом?.. Не храм ли?

— Нет.

— Не театр ли?

— Нет.

— Так не аукционная ли комната?

— И то нет, — отвечал мне хозяин: — а все это вместе. Храмом можно назвать этот дом потому, что всякое утро бывает в нем

поклонение живому, но глухому и слепому идолу; театром потому, что здесь нет ни одного лица, которое бы то говорило, что думало, не выключая и самого сего божества; а аукционную комнату потому, что тут продаются с молотка публичные достоинства. Итак, некоторые из сего народа, бродящего в комнатах и на крыльце, приехали сюда для того, чтобы сделать поклонение сему идолу и потом надуться гордостью, если он хотя нечаянно на них взглянет; другие затем, чтобы с улыбкою уверить его о своей дружбе тогда, когда стараются они ископать для него тысячу погубелей; а третьи прискакали с поспешностью, чтобы набивкою цены перехватывать друг у друга публичные места, которые его секретарь и старшая любовница продают с молотка во внутренних своих комнатах. Теперь вы видите, — продолжал он, — что это дом знатного барина; а правда ли то, что я вам говорил, то если вы туда войдете, вся эта толпа будет вам служить очевидным свидетелем.

— Но когда можно туда войти? — спросил я.

— Вы еще и теперь успеете, — отвечал он, — на дворе очень рано, сюда только что начали съезжаться, вот еще восемнадцать скотов притащили трех бесполезных человек. Ступайте скорее, если вы любопытны: там сегодня прекрасное собрание.

И я, не медля нимало, продрался в покои.

Многочисленное общество здоровых и изуродованных бедняков наполняли переднюю комнату; бледные их лица и изодранные платья показывали, сколь нужна была им помощь; вольность и веселие были изгнаны из сих печальных стен; многие женщины плакали, рассказывая о своих несчастиях близстоящим, но редкие им сострадали, а всякий занимался более своими собственными злополучиями. Отягченные усталостию и летами старики облакачивались своими седыми головами о холодные стены и в дремоте забывали и о вельможе и о своих бедствиях, доколе больные несчастливцы не разрушали слабого их забвения своим оханьем. Некоторые женщины приводили туда своих младенцев, конечно для того, чтобы более возбудить о себе сожаление в вельможе. Бедные матери, чтобы утешить своих детей, которые просились домой, давали им куски черствого и засохлого хлеба, и множество голодных просителей с печальною завистию смотрели на ребенка, который, может быть, доедал последний кусок в своем доме. Словом, прихожая сего барина походила более на больницу убогого дома, нежели на комнату знатного господина; и в самых темницах, любезный Маликульмульк, едва ли можно найти более бедности и уныния.

— Не ошибкою ли я сюда вошел? — спрашивал я близ меня стоящего старика: — Мне сказали, что это комнаты его превосходительства ***.

— Точно, сударь, — отвечал старик, — это его прихожая или, лучше сказать, проходная, ибо он только через нее проходит

к своей великолепной карете, не успевая и взглянуть на множество бедных просителей, которых обманчивая надежда не замедливает опять приводить в его дом.

— Как, — вскричал я, — и его окаменелое сердце не трогается воплем сих несчастных женщин, сих стариков и изуродованных просителей! Он имеет жестокость не внимать их стонам!

— Внимать, сударь! — говорил печально старик: — они ими утешаются: множество просителей составляет великолепие вельмож, и они наперерыв стараются накопливать их большее число, поманивая иногда пустыми обещаниями. Я сам, государь мой, я сам поседел на этой скамейке; целых 20 лет я был зрителем и действующим лицом сего плачевного театра; однакож еще и ныне ничуть не надеюсь скорого решения моего дела, которого со всем тем оставить мне никак не можно. Я вижу, — продолжал он, — что вы еще новы в здешнем месте.

— Это правда, — отвечал я, — и я бы просил вас удовольствоваться в некоторых вопросах мое любопытство... Скажите мне, что это за бумаги, которые друг другу показывают многие находящиеся в сей комнате.

— Это бумаги, — говорил старик, — называемые просительными письмами; просители стараются как можно чище и красноречивее их написать: они самыми живыми красками доказывают в них свою бедность или несчастья, которые иногда столь ясно описаны, что могли бы иметь успех и у самого жестокосердого вельможи.

— Они, конечно, смягчают, — спросил я, — сих бояр?

— Нимало, — отвечал старик, — знатные имеют предосторожность не заглядывать в сии письма, и потому-то красноречие самого лучшего писателя остается без действия.

В сие время услышал я позади себя оханье одного безногого, который сидел в углу комнаты, и я осмелился спросить у него о причине столь великой его горести.

— Я вздыхаю, сударь, о том, — отвечал он мне, — что у меня оторвали ногу, а не голову: я бы вечно не знал, что такое есть прихожая знатных. Года с четыре назад, — продолжал он, — некоторый знатный господин предложил мне вступить в военную службу. Он описал мне самыми разительными словами, какую могу я сделать пользу своим землякам, сделавшись хорошим воином; сердце мое наполнилось тогда жаркою любовью к отечеству, и я, оставя торговлю, посвятил себя войне. Имея отважный дух, всячески старался я оказывать себя во всех сражениях, куда пушечное ядро не наказало моего безумного бешенства: оно унесло мою ногу, а с нею вместе и покровительство моего начальника, которому пужны были любимцы с обеими ногами. Мне, однакож, сказано, что я могу иметь пропитание от отечества, которому жертвовал собою. Наконец я уволен от службы, нажив в оной три-

дцать ран и деревянную ногу. С таким-то прекрасным доказательством моей храбрости явился я к сему вельможе. Он очень учтиво меня принял и обещал мне выходить порядочное пропитание; с такою радостною надеждою таскаюсь я к нему уже четыре года на моей деревяшке; но он иногда изволит меня увещавать, чтоб я пообождал до случая, выхвывая передо мною самыми отборными словами терпение... Я верю, что его похвала прекрасна и красноречива; но верю также и тому, что и со временем, к его славе и к чести моего отечества, умру в этой прихожей с голоду...

Едва dokonчил он свою повесть, как голосов в шесть закричали: «вот он! вот он!», и все зачали обступать какого-то толстого человека, который с довольною гордостью отвечал на низкие поклоны заслуженных стариков, которые гнулись перед ним до пояса... Я проридрался, как мог, сквозь просителей и не успел еще продраться, как они опять закричали: «он ушел!»

— Кто это был, — спрашивал я у них: — не сам ли его превосходительство?

— Нет, — отвечал мне какой-то осиплый голос: — это его комнатный служитель, которого мы просили, чтобы он доложил об нас его превосходительству, но нам сказали, что он сам скоро выдет и что велено уже подавать карету.

Тогда многие зачали вновь перечитывать и готовить свои письма, а я между тем пошел далее и, прошед комнаты через две, увидел совсем другое зрелище.

Я вошел в комнату, которая вся наполнена была чиновными и богатыми, которые с гордостью смотрели друг на друга. Там богатый откупщик стоял нерадиво у окошка и выслушивал повесть у чиновного; надутый гордостью судья зевал в креслах, между тем как перед ним молодой офицер рассказывал о своих двадцати победах: как он переколотил своею рукою с 700 человек неприятелей и выломил городские ворота, не получа ни одной раны, за что, будучи одобрен свидетельством своего дядюшки и под покровительством своей бабушки, приехал просить богатого награждения. В другом месте стихотворец, надув щеки, читал с важностию ничего не значащие свои бредни, которые украсил он именем его превосходительства, прописывая, что он, не имея в виду никакой корысти, подносит ему свои труды как покровителю наук, который никогда не оставляет дарования без награждения; или, лучше сказать, он начинал свое письмо хвалою своему некорыстолюбию, а оканчивал тем, что просил за свою книгу хорошей платы.

Сей последний сделал мне честь своими учтивостями и, подошед ко мне, показывал свое приношение. Это была книга о златом веке; я прочел в ней несколько строк, в которых автор, браня изо всей силы нынешние времена, выхвалял те годы, которые были за 30 000 лет до нашего времени.

— Я сомневаюсь, — сказал я ему, — понравится ли ваша книга его превосходительству: вы в ней хвалите такой век, в котором не было ни бедных, ни богатых; ни знатных, ни просителей, — и поднесите ее знатному вельможе.

— О, это ничего, сударь! — отвечал мне автор: — наши вельможи держат у себя в библиотеках самые прекрасные нравоучения и самые острые критики; но со всем тем никогда не жалуются на авторов, для того что их не читают. Здешнему вельможе можно, не опасаясь нимало, поднести на него самого три тома сатир, за которые иногда из тщеславия заплатит он деньги и отдаст своему библиотекарю.

— Как! — спросил я, — кто ж у вас читает Платоновы сочинения «О должностях», «Наставление политикам», «О состоянии земледельцев» и «О звании вельмож»?

— Купцы и мещане, — отвечал автор, — а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шутливые басни.

— Так поэтому, — сказал я, — вы бы лучше сделали, если б поднесли ему какую-нибудь книгу такого содержания.

— О! как вы мало знаете свет! — вскричал автор: — поверьте мне, сколько бы ни веселила его такая детская книга, но он заплатил бы за нее одним презрением, и сколько бы, напротив того, ни скучна была книга под правоучительным названием, но я, конечно, бы был изрядно за нее заплачен: наши вельможи совсем не таковы в свете, каковы в своих кабинетах; в публике часто они бранят то, что у себя жалуют, и часто наружно хвалят то, что внутренно ненавидят, спросите у всякого вельможи, каковы для него кажутся *Юстисовы рассуждения* и *Примечания Ришелье*? Он вам побожится всем, чем хотите, что он ничего вечно не читывал основательнее и умнее сих сочинений; но если вздумаете вы спросить о содержании этих книг, то редкого вельможу не приведет таким вопросом в смущение. Вот, — продолжал он, — каковы у нас многие вельможи. Со всем тем все почитают их счастливыми, и мелкочиновные всячески ищут быть на их месте, которое получа не один раз в сутки проклинаяют; что до меня, то я лучше хочу доставать от них за подносимые мною книжки деньги, нежели, быв на их месте, платить за то, на что никогда взглянуть мне не удастся.

— Но скажите мне, знаете ли вы сего вельможу коротко? — спрашивал я моего оратора: — признаюсь вам, что я нахожу великую разницу в вашем письме с тем, что видел собственными моими глазами: вы выхваляете его добродетель, а я в его прихожей приметил несколько человек, которые в двадцать лет не испросили еще от него ни одной милости; вы превозносите его снисхождение, а он ничьих просьб не слушает, почитая уже и то важным, когда мимо своих просителей пробежит к своей карете; да и сего часто не делает, а выезжает со двора совсем с другого подъезда.

— О сударь, — вскричал сочинитель, — конечно вы очень мало обращались между людьми, когда не знаете, что это правило подносительных писем: в них почти всегда одними словами выхваляется тот, кому подносится книга, хотя подноситель не только его подробно, но и имя его мало знает: оттого-то вельможи с самого начала своей знатности, читая в письмах, сколь они добродетельны, думают о себе, что и в самом деле публика о них так заключает, и не стараются подтверждать своими делами то, что мы пишем в письмах.

— Но если каким-нибудь случаем не удастся вам получить от них награждение, — спрашивал я, — что вы тогда делаете?

— Мы пишем на них сатиры, — отвечал он, — и хотя они их не читают, но мы делаем так, как маленькие ребятки, которые по привычке плюют на тот столб, о который ушиблись, и думают, что тем ему довольно отместили; мы...

Вдруг отворилась дверь, и все расступились на две стороны, чтоб дать дорогу.

Вельможа, убранный великолепно, вышел из своего кабинета с веселым видом. Он очень учтиво кланялся на все стороны; со многими улыбался, а иным шептал на ухо, и они почитали себя счастливыми. После того принимал он письма со уверением, что через два дни все их рассмотрит; но я уже имел причину тому не верить.

Я приметил, что многие просительные письма были довольно толсто свернуты, и такие принимались с большею благосклонностью, а наполненные одним красноречием отдавались секретарям. Между тем продрался мой сочинитель и с нижайшими поклонами поднес ему свою книгу.

— Будьте уверены, — сказал ему вельможа, — что дарования ваши не останутся забыты: я не премину награждать вас при первом случае; я уже знаю, что книга ваша прекрасна. Возьмите, — сказал он одному из своих приближенных, — и отнесите ее ко мне в кабинет; я надеюсь заняться ею через несколько дней.

Приближенный взял ее у него из рук и отдал ее секретарю, который, как я приметил, вошел в кабинет, бросил ее под стол, наполненный старыми бумагами. Между тем вельможа продолжал степенно шествовать к прихожей, кланяясь на обе стороны всем и ни на кого не смотря; он делал внимательное лицо ко многим словесным просьбам, из которых, однакож, ни одного слова не выслушивал, а был занят, как я приметил, совсем другими рассуждениями. При приближении ж к дверям пустился он, как молния, чрез прихожую, закутавшись в свой плащ и не внимая тысяче голосов относящих к нему просьбы несчастных, и едва успел сказать им всем, чтобы побывали они *завтра*, как, севши в карету, пропал из вида и оставил в отчаянии бедных просителей.

— Что до меня, — сказал толстый судья, — то я всего вернее надеюсь получить обещанное место: красноречие золота никогда не обманет. Пусть бедные стонут, что их не выслушивают; но мы, у которых кошельки плотны, мы, право, не имеем причины жаловаться на вельмож: правда, что мы дорого им платим, но наши челобитчики после заплатят нам то с выгодою, что мы отдаем вельможе за то, чтобы высасывать из кошельков у просителей.

— И я, — сказал молодой повеса, который хвалился, что побил 700 человек, — не меньше вашего надеюсь получить награждение: бабушка моя родня комнатной девушке его любовницы; а предстательство сей нимфы дороже всяких свидетельств; если бы я, и совсем не показываясь к сражению, вклепал на себя, что перебил три тысячи человек, то и тогда бы мне поверили и наградили бы мою храбрость; пускай трудятся бедняки, не имеющие предстательств; нашу братью нередко более награждают за храбрый язык, нежели их за храбрые дела.

Вот, любезный Маликульмульк, какого я нашел вельможу: говорят, что здесь есть много из них добродетельных; но и один порочный делает пятно правительству, лишая счастья многих достойнейших себя людей.

ПИСЬМО XLVI

От тома Зора к волшебнику Маликульмульку

Чем более живу я между людьми, тем более истребляется в моих мыслях то понятие, которое я имел о них, видя тебя, любезный Маликульмульк, и некоторых подобных тебе мудрецов, и тем больше кажется мне, будто я окружен бесчисленным множеством кукол, которых самая малая причина заставляет прыгать, кричать, плакать и смеяться. Знатная барыня заплачет, и в ту ж минуту все лица вокруг ее сморщатся; большой барин улыбнется, и вдруг собранные вокруг его машинки на красных каблучках начинают хотать во все горло. Никто не делает ничего по своей воле, но все как будто на пружинах, коими движут такие же машины, называемые — *светская благопристойность, щекотливая честь, обряды и моды*. Тебя, может быть, удивляет слово *честь*, против которой я вооружаюсь; но знай, что это не та честь, которую разумели древние, и я не знаю, почему сию пружину называют ныне честью. Древняя повелевала быть обходительну, а нынешняя подымает у всех своих машин вверх носы. Первая заставляла прощать обиды, а вторая за нечаянно выговоренное слово повелевает у своего много неприятеля обрезать уши или убить его до смерти. Ты увидишь сам, справедливо ли мое на нее вооружение, когда я расскажу тебе поступок, к коему принудила сия пружина некоторых кукол, ко-

торые не делают ни одного движения без посторонних действующих ими причин, но со всем тем называют себя свободными.

Недавно зашел я к одному из моих знакомых, с коим можно проводить многие часы не теряя времени. Я застал его зевающего над новышедшею в свет книгою, и потому он не досадовал, что я прервал скучное для него чтение.

— Конечно, эта книга достойна хулы, любезный друг! — сказал я ему, — когда ты над нею зеваешь.

— Нет, — отвечал он, — это одна из таких книг, которые и ценить стыдно: десять модных повес расхвалили мне ее как творение отличнейшего автора, и я, зная цену их похвал, взял себе эти трагедии только для того, чтобы их читать от бессонницы, и теперь, желая поскорее заснуть, за них принялся.

— Да почему ж эта книга столько нравится, — говорил я, — тем повесам, которые тебе ее расхвалили?

— Потому, — отвечал мне мой знакомец, — что в ней есть новости, небывалые на нашем театре: например, в ней отпевают государя при его глазах тогда, когда он прогуливается спокойно между своими отпевальщиками, и потом, чего также нигде не видно, он, желая скрыться от своих неприятелей, не выбрал в городе ни одного дома, в котором мог бы жить тайно, и поселился на кладбище, где всегда множество бывает набожных прихожих, посещающих гробницы своих сродников: это так же умно сделано, как если бы кто, желая спрятать поскритнее деньги, не выбрал ничего безопаснее, как положить их на большой улице. Тут есть и еще новость, что пронырливый и хитрый злодей, который во всех своих делах старается себя скрывать и казаться справедливым, схватывается браниться с восьмилетним ребенком, который вместо того, чтоб оробеть от его крика, делает перед ним скоропостижные правоучительные вирши, а злодей отвечает ему также скоропостижными эпиграммами, wybranными из лучших французских писателей.

— Да скажи мне, — спрашивал я его, — разве нет у вас правил, которым следуя, можно бы было избавиться всех таких погрешностей?

— У нас, — отвечал мне неугомонный критик, — авторы следуют общему правилу, и тот, кто желает сделать какое творение, должен только дать ему имя; достальное же все, как несносное рабство, выкинуто из употребления.

— Я ничего не пойму из этого.

— О! я вам растолкую яснее: например автор, который имел терпение набрать из разных мест большую тетрадь стихов, думает, что он уже исполнил все правила, если поставил над сим собранием стихов в красной строке: *Трагедия*, и потом разделил на пять разных долей, которые назвал действиями. Таким образом нередко поступает и сей автор, не заботясь о том, кстати ли он назвал кучу

стихов, разговоров и определений трагедиею и подлинно ли она кончится там, где он конец выставить изволил. Оттого-то и другие наши авторы наудачу разрезают свои стихи между действиями и нередко ошибкою ставят конец страницами тридцатью позже, нежели ему быть надобно. Случается иногда и то, что там, где должно поставить конец, ставят начало, и таким образом часто публика имеет удовольствие видеть, что драмы выставляют перед нею задом наперед; но я вам все это растолкую в моих примечаниях на здешний театр, где между прочим поместил я и то, что перерезать себе глотку за товарищество без всякой нужды не есть трагическое действие и что никто не станет плакать о том, если муж, запрятавшись в гробницу, станет стращать свою жену, как маленьких ребят страшат букою, и она, испугавшись мнимого мертвеца, упадет в обморок, между тем как наперсница ее, слыша тот же голос, с драгунскою твердостью перенесет нечаянную вылазку покойника из гробницы; и где также мне хочется доказать, что переводчик и сочинитель не есть одно; и что очень дурно переведенное сочинение назвать своим: в таком случае на всяком европейском языке могли бы быть сочинители «Илиады», «Энеиды» и «Телемака», ко вреду истинных их авторов.

Рассерженный мой замечатель продолжал бы долее свои рассуждения, если б нечаянный шум, сделавшийся в ближней комнате, не привлек к себе нашего внимания.

Едва поразил он наш слух, как вбежала к нам в комнату молодая растрепанная женщина.

— Государи мои! — кричала сия красавица, — сжальтесь над моим состоянием и воспрепятствуйте, чтоб не произошло в комнатах моих кровопролития: двое бешеных господ дошли до такой крайности, что в состоянии перерезать друг другу горло; выведите их хотя на улицу, чтобы избавить только меня из такой негодной истории. Боже мой! — продолжала она, — слышите ли вы этот шум! Конечно, они уже дерутся; дай небо, чтобы они хотя волосной схваткой были довольны и чтобы расчет их на одних только зубах кончился.

При сих словах мы немедленно туда бросились, а миролюбивая красавица, бегучи за нами, упрашивала нас, чтобы мы вывели их только из ее комнаты и оставили бы на волю их бешенству. Кого бы, ты думал, увидел я в ее комнате? г. Припрыжкина и старинного моего знакомого по кофейному дому Ветродума, который, ежели ты вспомнишь, обещал меня сводить к своей любезной тетушке для познания различных парижских модных дурачеств, которых ее туалет может назваться истинным барометром.

— Знаешь ли ты, — кричал Припрыжкин, не примечая нас, так же как и его товарищ, — знаешь ли ты, мой мелкий господчик, что она принадлежит одному мне по всем денежным правам волокитного рыцарства? Знаешь ли ты, что я имею честь разоряться для

этой богини и что целый город разумеет ее моей фавориткою, а ты смел войти в ее комнаты, в которых всякая доска, всякий стул и всякое зеркало стоят мне наличных денег или хороших векселей и в которые каждый мой приход опустошает в моих деревнях по крайней мере два или три крестьянских дома?

— Тыфу, к чорту! — вскричал Ветродум, — ты наказывал мне такие права, которые и всякого юриста приведут в тупик; однакож знай, мой господин! что у нас, военных людей, совсем другие законы: у нас позволительно с соперниками воевать и брать крепости приступом, деньгами и хитростию: и тот только остается правым, кто в силах чем завладеть; а как у меня теперь денег нет, для того что я еще под опекою, приступом же брать мне не хотелось тебя беспокоить, а притом боялся я, чтоб нашим сражением не наделать вреда здешней крепости, которая я не хочу чтоб ты-нибудь претерпела, то для того и решился я засесть в ней закрытым образом и пользоваться ею до тех пор, пока мне вздумается, ожидая спокойно твоего отступления, или когда я получу деньги, тогда открыть свою батарею, которая не думаю чтоб уступила твоей в изобилии зарядов. Вот, приятель мой! какое мое право; я опять напоминаю тебе, что в войне право хитрого и право сильного равно уважаются, но когда уже дьявольским, видно, к тебе благоволением сделалась открыта засадная моя батарея, то знай, что я до последнего своего или твоего зуба не уступлю места сражения.

— Перестаньте, государи мои! — вскричал мой хозяин, — вы заводите здесь такой шум и крик, что перетревожили всех честных людей в доме.

— Это точная правда, — сказал я, — постыдитесь сделать из себя историю: воля ваша, мы не дадим вам шуметь, и если вы не перестанете из уважения к вашей красавице, то перестаньте хотя из уважения к полиции, которая, конечно, не преминет вмешаться в ваше дело и наделает вам много стыда, хлопот и убытков.

— Bravo! — вскричал Припрыжкин, — bravo, приятель! ты уже ныне проповедуешь! Тыфу, к чорту! только надобно тебе быть архи-Цицероном, чтоб утишить мой гнев на этого повесу.

— Как! я повеса? — вскричал Ветродум: — Ah! ты, закулисный бродяга! можешь ли ты сказать это благородному человеку, который за оскорбление своей чести может с тобою очень исправно разделаться шпагою, палкою и кулаками?

— O! мой любезный, — сказал Припрыжкин, — когда дело дойдет до драки, то я докажу тебе, что и я никакому негодюю спины не подставлю; увидим, кто из нас трус! Жаль только, что я теперь во фраке; а то в сию же минуту отмстил бы тебе за обещание моей особы и моего достоинства твоим к моей Кларине посещением; но завтра! завтра в шесть часов поутру, если ты честный человек, то приезжай в улицу Мотожилову и спроси собственный дом Припрыжкина, где найдешь меня и мою шпагу к твоим услугам;

а поле сражения можешь ты выбрать, где тебе угодно. Увидим, голый мой господчик! как хорошо расплачиваешься ты за постоянное без ведома хозяина... Ба! черт меня возьми, — вскричал он, схватя его за руку, — вот мой перстень, который подарил я этой негодяйке; да вот и пряжки, которые выпросила она у меня своему брату! Прекрасно, господин голяк! прекрасно! продолжай жить на счет честных людей, если тебе удастся, а ты, моя красавица!.. Ба! вот хорошо! эта плутовка, для соблюдения доброго порядка, изволит лежать в обмороке. Ей! ей! не худо выдуманно! обманщица театральная! она знает мою слабость: вот то самое положение, которым в первый раз она меня пленила! Она была моим божеством! да и теперь, посмотрите, посмотрите, как она прекрасна! право, надобно ей помочь. Ну, господин подлипала! прощай, завтра мы с тобою увидимся!

— Прощай, — сказал Ветродум, — завтра расквитаюсь с тобою за перстень и за все, если мне удастся: после этого ты, может быть, будешь учтивее с людьми, которые, не нарушая правил благопристойности, живут на твой счет. На твои же деньги, — продолжал он с насмешкою, — запасусь я сегодня добрым булатом и завтра буду иметь честь попотчевать тебя твоим собственным добром... Но что я вижу! — вскричал он, проходя мимо меня: — старинный мой приятель! каким образом ты здесь? Не вкладчиком ли ты в здешнюю обитель?

— Нет, — отвечал я, — я пришел вас разнять и укротить, ежели можно, вашу ссору.

— Bravo! вот прямо духовное намерение! очень хорошо! прекрасно! Завтра мы с ним пощекочем немного друг друга шпагами; а послезавтра можешь ты быть у нас посредником в нашем перемирии.

После сего он, как стрела, вылетел из комнаты и оставил меня удивляться в введенному между людьми дурачеству не иначе заглаживать свое оскорбление, как резать другого или дать себя зарезать. Но возвратимся к нашей повести.

— Господа мирители! — сказал Припрыжкин: — я прошу вас со мною здесь отужинать: это последний стол, который даю я в этих комнатах моим приятелям: с нынешнего дня не будет здесь нога моя... Но посмотрите, как прелестна эта плутовка в обмороке! Однакож я ее более не люблю: желал бы я только знать, сыщется ли хотя один смертный, который бы усерднее меня захотел для нее разоряться... Негодяйка! за все это она не щадит моего доброго имени в городе и хочет, чтоб меня называли содержателем, может быть, целой толпы ее обожателей, из коих я ни одного сроду в глаза не видывал. Посмотрим, как она без меня будет жить! Но мне хочется сделать ей последнюю ичаянность. — После сего снял он с руки своей бриллиантовый перстень и надел на ее руку, а часы свои, вынув, заткнул ей за пояс. — Я добродушен, —

сказал он, — и в самой размолвке хочу с ней расстаться как щедрый человек.

Потом постарались мы подать ей помощь, и она не имела трудности ожить, не быв ни минуту мертвою.

— Ах! любезный Припрыжкин! — сказала она томным голосом, открывая глаза: — так я никогда уже с тобою не увижусь! Ты ушел, о небо! Нас могли с тобою поссорить, когда я перед тобою так невинна, как трехлетний младенец! — и, выговоря сие, закрыла платком свои глаза.

«Вот, — подумал я сам в себе, — искусная актриса!»

— Как! ты невинна, — сказал Припрыжкин, — или думаешь ты, моя голубка, что доказательства твоей измены несправедливы?

— Верю, что ты мог ими ослепиться; но со всем тем совесть моя меня не укоряет: сердце мое укоряет меня только в том, что я не умела сохранить твоей к себе доверенности.

— Посмотрим, посмотрим, плутовка! — сказал он, взяв ее за руку, — чем ты можешь оправдаться! Ну, например, этот повеса Ветродум к какой стати запрятался за занавес твоей постели? какая невинная причина заставила тебя отдать ему мой перстень и пряжки? и которая из семи добродетелей побудила тебя держать его у себя тайно три дни, о чем я недавно проведал?

— Неблагодарный! — сказала театральная Лукреция, — самое то, что ты считаешь знаком моей неверности, есть опыт жаркой моей к тебе любви: знай, что этот Ветродум хотел с тобою драться за то, что ты отбиваешь от него всех женщин, за коими он машет; я, приметя, что он в меня влюблен, захотела польстить ему надеждою, пока не пройдет в нем охота драться, и для того старалась продержатъ его у себя три дни, после коих он так много потерял своей бодрости, что и куренка бы не тронул; но я уверяю тебя, что он был здесь в таком же воздержании, как в монастыре; что же до пряжек и перстня касается, то, имея нужду в деньгах и не желая тебя беспокоить (ибо клянусь тебе, что люблю тебя не из корысти), продала я ему эти мелочи. Наконец недолго мне оправдаться в последнем поступке: он зашел ко мне сегодня, желая убедить мою суровость, и лишь только сел, как ты пришел: признаюсь, что, зная твой ревнивый нрав, я не хотела, чтобы вы встретились, и для того спрятала его за занавес. Вот все мои преступления, будь теперь сам моим судьею.

— Божусь, — вскричал Припрыжкин, — что эта плутовка в самом деле невинна: помиримся же, моя милая! Признаюсь, что я сам перед тобою виноват, как собака. То правда, что я ревнив; но это оттого, что люблю тебя очень много; однакож уверяю тебя, что если ты меня простишь, то с сего времени моя ревность не нанесет тебе никакого беспокойства.

После сего они помирились, и мы расстались с великим велием. Припрыжкин просил меня на другой день к себе, чтоб

я был посредником в их поединке; я дал ему слово, надеясь, что, может быть, удержу его от этого дурачества, и распрощался с ним, удивляясь потачливости его к своей театральной Лаисе, которая, как кажется, наблюдает твердо правила театра и ко всякому бывает равно чувствительна, кто с нею играет любовные роли.

ПИСЬМО XLVIII

Эмпедоклу от волшебника Маликульмульки

Из всех доказательств, предлагаемых древними мудрецами, ни одного нет яснее и правдоподобнее того, которое предложил один ученый муж, что *большая часть людей злобны и развращены*.

Развратность нынешнего века людей, любезный Эмпедокл, столь приметна, что она разве только быть может неизвестна в пустынях или в самых отдаленнейших скитах; но человек, живущий в свете, против воли своей познает их пороки. И самые те, которые, будучи удалены от их сообщества, не могут видеть их злобы, не престают ощущать ее действий, которые часто достигают и до самых уединеннейших кабинетов. Нравоучение, предлагаемое людям, не что иное есть, как поощрение к исполнению их должностей: какая была бы в нем нужда, ежели бы люди не были подвержены ежеминутному искушению нарушать правила чести и благопристойности? Вся история дел человеческих от самого начала света наполнена злодеяниями, изменами, похищениями, войнами и смертоубийствами.

Но нравоучительные правила должны состоять не в пышных и высокопарных выражениях, а чтоб в коротких словах изъяснена была самая истина. Люди часто впадают в пороки и заблуждения не оттого, чтоб не знали главнейших правил, по которым должны они располагать свои поступки, но оттого, что они их позабывают; а для сего-то и надлежало бы поставлять в число благотворителей рода человеческого того, кто главнейшие правила добродетельных поступков предлагает в коротких выражениях, дабы оные глубже впечатлевались в памяти.

Находящиеся в середине течения своей жизни сколь ни кажутся удивленными, что в такое позднее время предостерегают их от пороков; но, по претерпении многих несчастий и по изнурении своего здоровья, сами они, наконец, признаются, что сия предосторожность была для них весьма нужна и что они могли бы избавиться от всех бедствий, ежели бы заранее следовали благоразумным советам, им предлагаемым. В нынешнем веке, любезный Эмпедокл, много есть таких людей, которые впадают в превеликие несчастия или приходят в совершенное разорение, не зная или пренебрегая тем правилом, которое предложено мною в начале сего письма.

Не проходит почти ни одного дня, чтоб не встретился в нынешнем свете какой-нибудь молодой человек, гордящийся полученным им богатым наследством, который, будучи не испытан в светском обращении, гоняется за утехами и за чинами. Он вступает в свет, не быв никому подвластен и не познав еще ни обмана, ни злобы людей, с которыми имеет обхождение; он всех искренно любит, будучи уверен, что и ему тем же отвечают: каждое сделанное ему приветствие доставляет ему новое знакомство, в котором думает он найти совершенную дружбу.

Также от времени до времени являются многие красоты, которые, привыкши непрестанно слышать себе похвалы, думают, что сердце человеческое не может чувствовать никакой другой страсти, кроме любви. Они тотчас бывают окружены бесчисленным множеством обожателей, которым во всем верят, потому что они им говорят только то, что им приятно слушать. Если же кто посмотрит на них влюбленными глазами и произнесет несколько вздохов, тот уже покажется им пришедшим в совершенное отчаяние.

Итак, по справедливости, тот должен быть почтен полезнейшим наставником, кто сим новым Венерам, не имеющим нималого испытания в свете, часто будет твердить, что *большая часть людей злобны и развращены*, и кто всегда им будет припоминать, что богатство и красота есть такая добыча, за которою ныне весь свет гоняется, и что между всеми теми, которые им льстят, может быть, нет ни одного, который бы не старался, их обманув и обольстя, у одних похитить честь, а у других все имение, которым обогатя себя, разделить его с другими подобными себе обманщиками.

Добродетель, представляемая здравому рассудку и основательному воображению, толикие имеет прелести, столь достойна уважения и подкрепляется столь сильными доводами, что каждый неиспытанный человек должен удивляться, как могут быть в свете бесчестные люди, и потому все те, коим не известно еще могущество страстей и корыстолюбия и кои никогда еще не испытали ни коварного обольщения, ни гнусных примеров поврежденных нравов, ни того, с какою легкостью люди обращаются от одного злодеяния к другому, ниже того, сколь много способствуют к их развращению соблазнительные разговоры, обыкновенно думают находить искренность во всех сердцах и откровенность на всех языках.

Совсем невозможно, чтоб люди, состарившиеся в свете, не жаловались на несправедливость, вероломство и обманы, которые они от других претерпели; но молодые люди обыкновенно таковые их жалобы почитают пустыми роптаниями, старым людям свойственными; и для того, невзирая на все делаемые им наставления, смело впадают, с ослепленною доверенностью, в обманчивые сети нынешнего развращенного света, не предвидя опасностей, в которые сами себя ввергают.

Легковерие есть обыкновенная погрешность неиспытанных молодых людей; а потому и нужно бы было почасту им твердить, что вступать в свет без всякой осторожности, в надежде найти в нем справедливость и чистосердечие, есть равно как бы пускаться в море без карты и без компаса, в надежде иметь всегда благоприятный ветер и найти у всякого берега, куда ни пристанешь, спокойную пристань.

Если захотеть исчислять все различные причины, побуждающие людей к несправедливости и злодеяниям, то должно прежде рассмотреть все желания, которые ими обладают и кои всегда одерживают верх над добродетелью. Есть множество людей, у коих золото управляет всеми поступками и кои ничего не делают иначе, как в надежде приобрести более, каким бы то способом ни было. Таковых сребролюбцев должно почесть из всех порочных людей гнуснейшими; ибо они, невзирая на то, что ими все гнушаются, не престают обогащать себя разорением других, похищая у них последнее имущество без всякого сожаления.

Другие, еще сих злобнее, провождают всю жизнь свою, делая вред другому; ибо они не могут спокойно взирать ни на чье благополучие и питают ненависть ко всем тем, кто их богаче и честнее.

Многие есть и такие, которые хотя не столько погружены в пороки, однакож совсем не способны иметь дружбу или какую-нибудь искренность с кем бы то ни было.

Итак, вот сколь великие предостоят опасности, любезный Эмпейдокл, от сообщения с людьми нынешнего века, от коих не иначе можно избавиться, как соблюдая величайшую осторожность; и тот, кто всегда будет помнить сказанное мною в начале сего письма спасительное правило, без сомнения, научится заранее не верить никаким блистательным наружностям, которые мечтательным своим блеском ослепляют глаза молодым неиспытанным людям; и не допустит себя до того, чтоб, наконец, собственным своим опытом познать все бедствия, каковые случаются с теми, кои, не зная сего правила, без всякой осторожности впадают в сети, расставляемые пред ними человеческою хитростию и коварством.



Каиб

Восточная повесть

Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную.

— Слава твоя, — говорил ему некто из его стихотворцев, — слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило.

Каибу нравились хорошие сравнения; и за это, пожаловав его в евнухи, сделал смотрителем над своею сералью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы; дворец его, говорит историк, был обнесен тысячею яшмовых столбов, коих капители были изумрудные, коринфского ордена, а тумбы из чистого литого золота; дворец сей был сделан из черного мрамора, и стены его были столь гладко выложены, что лучшие щеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорции новейшей итальянской архитектуры, немного более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были бы прошибить их своим лбом. Крыша была из листового серебра, но столь чисто отработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит, когда всю сию тревогу производило одно ее сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк.

Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто туда ни входил: простолюдимов ослепляло золото, жемчуг и камня, коих было более, нежели орфографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство, блистающее во всех украшениях дворца: там разведали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей «Беседующего гражданина», переплетенных вместе; там блистала резьба, отделанная с такою чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений; многие комнаты украшены были живописью, обманывающею зрение, и надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пушал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать

их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки; и по-длинно, не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету.

В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них. В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такою приятностию, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко, по слабости человеческой, выдумки обезьян выдавали за свои, от чего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в тридцати шести томах в лист издала тамошняя академия. Там, на великолепных пьедесталах, блистали Каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам.

Внутренние комнаты его убраны коврами столь редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибы, приезжали играть на них шемелой и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов. Зеркала его хотя были по двенадцати аршин длиною, из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею: зеркала сии имели дар показывать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть. Старик видел себя в них молодым красавцем, изветшалая кокетка — пятнадцатилетнюю девушку, урод — пригожим, а разгильдяй — ловким. Со всем тем Каиб никогда в их не смотрелся, а держал для одних своих придворных, и то для того, чтоб забавляться, видя, как отвратительнейшие лица перед сими зеркалами спорят о своей красоте и заводят ссоры, которыми Каиб любовался. Тысячи попугаев говорили в его клетках скоропостижные вирши; многие из сих попугаев были красноречивее тогдашних академиков, хотя академия Каибова почиталась первою в свете потому, что ни в какой академии не было такого богатого набора плешивых голов, как у него, и все они бегло читали по толкам, а иногда очень четко писали к приятелям письма. Со всем тем многие уступали в красноречии попугаям, из коих многих Каиб, любя ученость, сделал членами академии только за то, что они умели выговаривать чистенько то, что выдумал другой. Что ж до избытка, то Каибов двор превосходил оным все восточные дворы, и последний ложкою Каибов ел вкуснее, нежели у Гомера цари. Календарь Каибова двора был составлен из одних праздников, и будни были там реже, нежели именины Касьянов.

Сераль его был наполнен первыми красавицами в свете, из коих не было ни одной старше семнадцати лет. Сколь фабрики ни

стараясь ныне доходить до совершенства в составлении румян, но лучшие румяны показались бы дикими в сравнении с природным румянцем последней из его султанш. Девушки его не портили своих прелестей излишними жеманствами; они не падали в обморок от пауков и тараканов, для того чтобы разметаться приятным для глаз образом. Когда находила на них задумчивость, столь обыкновенная семнадцатилетнему женскому возрасту, то не принимали они чистительного, чтобы иметь лучший цвет лица. Великолепные его конюшни наполнены были редкими лошадьми, которые были статнее наших щегольков и послушнее первых его визирей. Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин. Сами боги, говорят, с удовольствием напивались в его погребках допьяна и предпочитали вина его нектару, который опостылел им с тех пор, как стихотворцы начали разливать его своим героям так же небрежно, как бабы льют коровам помои.

Весь свет, взирая на Каиба, почитал его счастливым; типографщики наживались, издавая претолстые книги о его блаженстве. Когда стихотворцы тогдашнего времени хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однакож, и на то несмотря, описания их божеских пиров часто пахли гнилою соломою, на которой они сочинены. Весь свет кричал, что Каиб счастлив, и один только Каиб знал, что это неправда; но он никому этого не говорил, боясь, чтобы не сочли его неблагодарным противу благоденний судьбы, чего он всегда остерегался. Он часто в своих стихотворцах читал описания своего счастья и смеялся пустому их воображению; или иногда завидовал, для чего не был он так же слеп, как они, чтоб видеть себя только со счастливой стороны. Как бы то ни было, а Каиб не столько был счастлив, сколько о нем кричали; в сердце его оставалась какая-то пустота, которую не могли дополнить окружающие его предметы. Придворные господчики, женщины, обезьяны, попугаи — ничто его не увеселяло: на все это с высокого своего престола смотрел он позевывая; иногда улыбался на скачки обезьян или на кривлянья придворных, но в сих улыбках видно было более сожаления, нежели удовольствия.

Весь двор примечал, что он был задумчив, но никто не мог выдумать, чем бы его позабавить; и обер-шут его двора, который был шутоватее всех итальянских опер вместе, с отчаянием видел, что высочайший его владетель уже два месяца не давал ему щелчков по носу; все это заметили и заключили, что он уже не в такой большой силе у двора, как был за два месяца, когда, к досаде своих завистников, всякий день получал он пинков по двадцати в зад, по столько же щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости.

Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал, а что всего чуднее, то это и самому ему было неизвестно. Он чувствовал, что ему чего-то недостает, но не мог познать, в чем этот недостаток; ему казалось, что он один во всей вселенной, или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолженных, которые не могли его разуместь, ни помочь его скуке.

Сперва подумал он, что сему причиною любовные желания, и бросился искать счастья в серале; но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы; правда, всякая из них хотела, чтоб на нее брошен был султанский платок, но часто более для того, чтобы тем досадить своей совестнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравиться было смешано во всех сердцах с желанием корысти или с честолюбием; он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть, и в месяц сераль так ему паскучил, что он перестал в него заглядывать и заключил, что не с этой стороны должен искать счастья.

Каиб вздумал потом, что скорее всего разгонит грусть свою новыми победами; повелел — и вдруг армия, многочисленнее древней, Ксерксовой, и не уступающая в храбрости грекам, умершим при Термопилах, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась, — открылось поле славы для героев и для стихотворцев; сочинители мелкого разбору зачали заговлять пирамиды од, надеясь при первом случае сбить их за хорошую цену. Многие жены поседелых героев заранее любовались перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упадать в обморок, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей; купцы возвысили цену на черные материи; сочинители эпитафий сделали неприступны.

Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками, привели его в восхищение; третью новость о победе слушал он равнодушно; наконец начал уже зевать, слушая такие новости, и решил дать свету отдых. Войска возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшилась, и он не без зависти взирал, что полунагие стихотворцы его более ощущали удовольствия, описывая его изобилие, нежели он, его вкушая.

В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуке, ворочался Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью. Она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увернуться от подарка своему судье; но напрасно заговаривает он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних, хотя бы заговорил он с ним о Эмпедокловых туфлях, взятокбратель и от них искусно склонит речь на

то, что ему надобны деньги. То же происходило и у мыши с котом: стараясь его обманывать, металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам... и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при сем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели стремглав, не поднять содому, не скликать весь свет, ежели можно, и, наконец, чтобы потом не упасть раза два, три в обморок? Но Каиб был неустрашим: он не боялся мышей, пауков, тараканов и с радостью бедную мышку принял под свое покровительство; притом же начитался, ибо он любил учености, и «Тысячу одну ночь» всю знал наизусть; он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шехеразада — сей неподражаемый историк его предков — свидетельствует; а Каиб верил сказкам более, нежели Алкорану, для того что они обманывали несравненно приятнее.

Дело и подлинно кончилось чудом: менее, нежели в минуту, гонимая мышь превратилась в прекрасную женщину. Какой вздор! — скажет любезный мой читатель, но прошу не удивляться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты.

— Каиб, — сказала ему превращенная женщина, — ты спас мне жизнь; должно, чтоб я усладила твою: благодеяние рождает благодарность. Прси от меня, чего ты хочешь, и я в минуту исполню твое желание, хотя бы оно целило на богатства всего света.

— Великодушная фея! — вскричал удивленный Каиб, — не имею я нужды в сокровищах; они столь велики, что сколь визири меня ни обворовывают, но ущерб в них так же мало приметен, как ущерб в Эзоповой реке, которую хотели выпить жадные собаки; и я надеюсь, что мои собаки так же перелопачуются прежде, нежели вылакают море моих сокровищ; из сего можешь ты заключить, нужно ль мне желать их более? Сколь ни бесценною великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить честного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, нимало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах; природа меня не обидела, и мой взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви, — столько-то одарен я способностью нравиться! Впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своим Адонисом; и хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы; но стихотворцы мои хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее Пекина и великолепнее древнего Рима. Итак, ты видишь, что мне ни в чем нет не-

достатка. Со всем тем я зеваю и по этому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает, но что это такое, того ученые из моих подданных отгадать не могут.

— Каиб, — сказала ему волшебница, — желание твое исполнится: я знаю, что нужно к твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне (при сем подала она ему перстень). Завтра поутру начни свой труд; но берегись его оставить. Как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством. Прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь; как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совету, то вот тебе целый том од одного из бесприютных строителей храмов славы: едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамяство; в сие-то время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь! — повторила волшебница и вмиг исчезла.

Каиб, отворотясь к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела; он даже, — подивись, прекрасный и любопытный пол! — он даже не посмотрел, что написано на перстне.

На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова:

«Ступай немедля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит. Тот, в котором увидишь ты сие противоречие, один может излечить тебя от твоей зевоты».

— Вот довольно огромная для перстня надпись! — скажет критик. — Может ли она уместиться на перстне? Это невероятность!

Очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам; впрочем, вообрази, милостивый государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась, и критика исчезнет.

— Но где же взять такую руку, которой бы впору был этот перстень? — спросят меня опять.

О! кто знает Голиафа и Атланта, тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков.

— Милостивейший государь! — сказал Каибу шут, увидя сию надпись, — перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей.

— Почему ты это думаешь? — спрашивал его Каиб.

— Повелитель правоверных! — продолжал шут, — тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством: не явное ли это желание унижить мой сан и силу? Как будто бы моя священная должность — смешить ваше величество — ничего не значила!

— Не опасайся, — отвечал калиф, — изо всех моих визирей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет; итак, мои милости к тебе непоколебимы.

— Еще слово, государь, — вскричал шут, пелуя его полу: — время, пожирающее все, может и меня лишить моих способностей служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость; опасаясь, чтоб враги мои тогда не восторжествовали, предпринял я заранее оставить двор.

— Пустое, пустое! — вскричал Каиб, — разве не можешь ты при моем дворе сыскать дела? Выучись к тому времени ползать черепахою.

Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каиб, не сказав истинного происшествия своего перстня, зачал в самом деле заниматься своим предприятием.

На другой день Каиб созвал свой диван, чтобы подумать обстоятельнее о своем важном предприятии. Надобно приметить, что Каиб ничего не начинал без согласия своего дивана; но как он был миролюбив, то для избежания споров начинал так свои речи:

— Господа! я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию ж минуту получит он пятьсот ударов воловьею жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос.

Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям такую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись их премудрости. И для того-то хотя иногда терпел он визирей с крепкою головою, но не мог терпеть тех, у коих крепки были подошвы.

— Такие люди, — говаривал он, — всегда думают, что они умнее других, и они для меня не годятся. Мне надобны визири, у которых бы разум без согласия их пяток ничего не начинал.

Теперь, любезный читатель, можем мы продолжать нашу повесть.

Каиб представил, что ему нужно выехать из города тайно месяцев на восемь или более; что от этого зависит его спокойствие, а следовательно, благополучие целого государства; что в сие время не может он управлять никакими делами; что более всего нужно скрыть его путешествие от народа и, следовательно, не останавливать никаких дел; что, наконец, во всем этом полагается он на их суждение.

Диван разделился на две стороны; одни говорили из учтивости, что каиф нужен государству и что оно не может обойтись без его высокой особы так долгое время, другие говорили, из учтивости же, что он может исполнить свое предприятие и что государство ничего не потеряет, если он отлучится на несколько месяцев. Каиб дал им волю спорить и между тем занимался будущим своим путешествием. Наконец, наскуча шумом, сказал:

— Господа! я так хочу.

Визири первого мнения, вспомня, что у них есть пятки, согласились с визирями последнего мнения. Путешествие было определено.

— Друзья мои! — сказал калиф, — я признателен к вашей сговорчивости; и хотя ни у какого калифа люди за слово *так* не получают столь большого жалованья, как у меня; хотя никакой султан не содержит такого числа полезных государству людей при важной должности выговаривать чисто *так*; но вы столь усердно исполняете свое почтенное звание, что я охотнее издерживаю деньги на вас, нежели на лучших арабских лошадей и китайских кукол. Из сего вы можете заключить, как приятно мне всегда видеть у двора своего разумных людей, коих премудрые советы полезны государству столько же, сколько скотные дворы полезны хлебопашеству.

Чувствительные визири были тронуты до слез такою похвалою, а Каиб, улыбаясь, продолжал:

— Итак, когда вы согласны, то ничто уже не остановит моего путешествия; но мне еще нужен благоразумный ваш совет: я уже сказал, что отъезд мой должно скрыть от народа и что нужно не оставлять государственных дел; а к сему-то я еще никаких способов не выдумал; и если б не надеялся на ваше остроумие, то бы отчаялся согласить эти две вещи. Итак, любезные визири, присоветуйте мне, кто из вас как думает? Тому же, кто лучшее подаст мнение в сих важных обстоятельствах, обещаю я подарить полное собрание арабских сказок в богатом сафьянном переплете и перевод Конфуция, писанный в лист, на такой твердой бумаге, из которой можно сделать прекрасные летучие змеи.

Визири все видали перевод Конфуция, были охотники спускать змеи и не менее любили арабские сказки. Богатое обещание щедрого Каиба воспламенило их воображение, и они все пошли на голоса.

Первый был Дурсан, человек больших достоинств: главное из них было то, что борода его доставала до колен и важностию походила на бунчук. Калиф сам хотя не имел большой бороды, но он знал, что такие осанистые бороды придают важность дивану, и потому-то возвышал Дурсана по мере, как вырастала его борода; а когда, наконец, достала она до пояса, тогда допустил он его в свой диван. Дурсан, с своей стороны, не был беспечен: видя, что судьба назначила его служить отечеству бороною, ходил он за нею более, нежели садовник за огурцами, и до последнего волоска держал на счету. Впрочем, делал он много важных услуг отечеству: когда бывал при дворе праздник, тогда наряжался он пышнее всех женщин, и когда у калифа случалась бессонница, тогда сказывал он ему сказки. Сей-то знаменитый муж начал таким образом:

— Великий обладатель океана, самовластный повелитель известных и неизвестных земель и законный наследник всех монархий, какие только будут открыты! Для такой мелкой словесной твари, как я, велико уже и то снисхождение, что ты попускаешь

ей думать; но с чем могу сравнить мое блаженство, когда ты, великий монарх, позволяешь мне объяснить пред тобою мысли мои и, что еще более, требуешь моего совета! Но солнце может ли от земли заимствовать свет? Нет, великий обладатель правоверных! Подобно я не рожден ни думать, ни говорить пред тобою, ниже знать, что ты думаешь! Голова твоя так же непостижима, как священный наш Коран; а голова моя пред тобою то же, что подушка, на которой я сижу; оба мы счастливы твоею щедростью, и лизать прах ног твоих есть священнейшая и важнейшая моя должность, коею наградил ты слабые мои способности. Велико уже и то мое счастье, когда употребляешь ты меня вместо морской трубы, чтобы объявлять мною рабам свои повеления.

— Это все правда, любезный Дурсан, — отвечал калиф, — я радуюсь, видя, что ты помнишь свои права... Но иногда философ видит перед собою пылинку, которую пренебрегает; потом, всматриваясь, познает, что пылинка эта движется; наконец, разбирая далее, узнает в ней тварь чувствующую и находит, что сколь ни мало это насекомое, но оно может приносить ему пользу. Мы, калифы, обязаны вам, людям, такую же справедливостию. Часто, смотря на вас, пресмыкающихся, сомневаемся мы, можете ли вы думать; но рассматривая далее, находим, что и вы иногда удобны рассуждать; и хотя неоспоримо, что мозг ваш не может быть такой же доброты, как мозг потомков великого Магомета, избираемых управлять вселенною, со всем тем и ваши рассуждения можно иногда употреблять с пользою: и они бывают довольно изрядны, а особливо в сравнении с рассуждениями черни, так что под нашим смотрением действительно можно позволять вам мыслить. Итак, любезные визири, скажите мне ваши мнения. Не опасайтесь, если и глупо вздумаете: я знаю, что вы люди; природа не создала вас калифами.

После такой скромной речи Каиб обратился к Дурсану, чтобы его дослушать.

— Когда обладатель земли повелевает мне объявить мои мнения, — говорил Дурсан, — то, волю его ставя своим законом, скажу устами, что чувствую сердцем. Итак, государь, нет больших препятств ни скрыть путешествия твоего от народа, ни продолжать государственных дел. Для первого нужно немедленно выдать повеление, чтобы подданные твои падали ниц на землю, когда мимо их будешь проезжать, и под опасением смертной казни страшились бы на тебя взирать. Если повелитель правоверных дозволит, то я беру на себя сочинить сие повеление, в котором докажу ясно, как непрестительно дерзновение знать в лицо обладателя подлунного света и сколь велико оскорбление священной его особы, если черты ее впечатлеваются на грязном мозгу простолюдина; сколь, напротив того, спасительно валяться на земле, уткнувшись носом в грязь, когда проезжает мимо великий повели-

тель морей и суши. Потом, государь, дабы приучить к сему твоих подданных, можешь ты сделать несколько выездов по городу, и стоит только повесить первую дюжину любопытных, чтобы достальному числу верных рабов твоих отбить охоту подымать взоры до священного чела твоего. После сего можешь ты спокойно ехать. Мы же, одевши пышно куклу, будем привязывать ее к твоей верховой лошади и возить всякий день по городу, возвещая народу, что это ты сам... Все упадут ниц; и тот будет великий чародей, кто затылком узнает разницу между куклою и твоею священной особою. Сие можем мы продолжать до твоего возвращения. Если же к кукле сей приделать такие величественные усы, какими ты удивляешь вселенную и превосходишь всех монархов, то тайна будет еще непостижимее. Что ж до правления дел, то можешь ты до возвращения своего поручить их тому, кому более всего доверяешь; и не излишнее бы было, если б выбор твой в таком важном случае пал на человека достойного, с почтенною бороδοю, коея длина была бы мерою его глубокомыслия и опытности. Ибо, великий государь, непокорнейшие сердца смотрят на длинную бороду как на хороший аттестат, данный природою. Такой человек пусть именем твоим производит дела и дает повеления, коих вся добрая слава упадет на тебя, и никто из народа не приметит твоего отсутствия.

После сего Дурсан замолчал и начал разглаживать длинную свою бороду.

— У тебя довольно пылкое воображение, — сказал калиф, — и если б я был более горд, то бы употребил твои советы; но, любезный Дурсан, мне не нравится, чтобы мои народы валялись по грязи во время моих выездов. Мне приятнее, когда подданные мои продаются друг сквозь друга меня смотреть и после спорят, из какого вещества я создан; мне очень мило слышать, как одни говорят, что я весь вылит из серебра, другие, что я скован из золота; что я за тысячу миль вижу блоху так же свободно, как будто бы сидела она у меня на носу, и что я один в день столько же могу съесть, сколько целая армия в неделю, не опасаясь ни малого отягощения в желудке. Такие прекрасные рассуждения и заключения меня забавляют, и мне жаль отнять у народа свободу меня смотреть, когда он с таким успехом в меня вглядывается и смешит меня иногда до слез своими догадками. Нет, нет, выдумайте другое средство; а это столь сурово, что я по любви своей к моим музульманам никогда его не употреблю.

Тогда Ослашид, первый по Дурсане, разгладил на обе стороны свои усы, растворил рот и начал... Но, любезный читатель, позволь мне познакомить тебя и с этим визирем. Речь сильнее действует, если оратор нам известен.

Ослашид еще за триста лет до своего рождения предназначен был играть не последнее лицо в диване, ибо он был из потомков Магомета, и белая чалма, которую надели на него при рождении,

давала ему право на большие степени и почести. Правда, что голова его не знает, как она попала в белую чалму, дающую право на такие выгоды, а душа его не знает, как она попала в голову, имеющую право на белую чалму; но Ослашид был верный музульманин: он, не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться и сохранял теплую веру, что судьба имела свои расчеты надеть на него белую чалму и произвести на свет обладателем великих сокровищ. Не вмешиваясь в виды ее, он ставил правилом проживать свои сокровища, как истинный музульманин. Ослашид имел у себя прекрасный сераль, множество евнухов, еще более невольников-христиан, которых прилежно секал за то, что они не принимают его закона и не могут понять того, чего он сам никогда не понимал. Он дивился, как люди могут не верить, что в обыкновенный рукав можно запрятать луну, которая в диаметре имеет не более 473 немецких миль, и говорил, что для верного музульманина очень легко вообразить, как в одну ночь лезя проехать более, нежели сколько пушечное ядро может, со всею своею скоростью, пролететь в 500 000 лет, и иметь еще довольно досугу понаделать на все исторические замечания. Словом, Ослашид верил всему с удивительною способностью, и это было первое его достоинство у двора, которое заставляло в нем терпеть множество других недостатков. Сей-то достойный визирь начал так свою речь:

— Истинный потомок великого пророка, блистательный калиф, снисходящий по прямой линии от просветителя вселенной Магомета, ибо я несомненно верю, что, начиная от его жен, жены всех предков твоих были столь же верны, каковыми обещаются нам райские гурии, и что твое родословное дерево не покривлено ни одною женою твоих предшественников; и потому-то право твое повелевать нами столь же священо, как право самого Магомета, для рабства коему создан весь мир. Повелитель правоверных, имеющий власть связывать и разрешать руки и мысли, власть неоспоримую, которая, с помощью благословения пророка, поддерживается 500 000 вооруженных музульман, почитающих счастьем перерезать горло тому, кто вздумает отымать у тебя право их перевешать; обладатель самовластный великого быка, на рогах которого взоткнуты твои пространные владения, — великий калиф! удостой выслушать мнения последнего из твоих рабов! Сколь ни премудр совет Дурсана, но, мне кажется, нет нужды заводить таких больших обрядов с народом, а особливо когда человеколюбие твое призняет их суровыми. Всего лучше, великий калиф, выехать тебе в путь сколь можно великолепно; но при самом въезде за ворота объявить своим подданным, что ты, любя свою столицу, никуда не намерен от нее отлучаться. И тогда хотя весь город будет видеть, что ты удаляешься, но рабы твои, конечно, поверят тебе более, нежели своим глазам, и будут твердо уверены, что ты здесь, тогда как будешь ты осчастливливать своим присутствием другую поло-

вину земного шара. Притом же, отъезжая, можешь им сказать, что ты всякую неделю один раз будешь проезжаться по городу, и назначить день, в который после мы можем водить по улицам под уздцы верховую твою лошадь. Хотя тебя на ней не будет, но рабы твои согласятся скорее поверить, что они все вдруг ослепли, нежели подумать, что ты не сам, высочайшею своею особою, сидишь на лошади, которую почтут они счастливейшею из всех чувствующих тварей, для того что она носит на себе величайшего в свете калифа. Что же до дел, то также можешь ты сказать, что все дела, которые решатся в такое-то время, будут непосредственно рассматриваемы и решены тобою. Словом, можешь ты заключить, что всякий тот преступник, кто в сие время осмелится, поверя пяти своим чувствам, усумниться в твоих словах. Такая речь, величайший калиф, произведет чудеса, и выезд твой для всего государства останется тайною.

— Способ изрядно выдуманный, — отвечал калиф, — но он хорош для моих только музульман, а над иностранцами не думаю, чтоб произвел подобное действие, и, что еще досаднее, могут разгласить, что я калиф над слепыми народами, а это мало принесет мне чести. Нет, друзья мои, я хочу, чтобы подданные мои верили иногда своим глазам, или мне должно со временем терпеть величайший труд сказывать всякому, что он видит и что чувствует. Выдумайте какое-нибудь другое средство: я столько люблю моих подданных, что мне жаль сделать вдруг беспольными несколько миллионов глаз. Итак, любезный Дурсан и почтенный Ослашид, вы не получите от меня арабских сказок в сафьянном переплете и не будете иметь удовольствия спускать змеев из Конфуциева перевода. Посмотрим, любезный Грабилей, будет ли счастливее твоя выдумка.

Грабилей не имел ни долгой бороды, ни счастья родиться в белой чалме; он был сын чеботаря, который в свое время обувал со вкусом целый город. Грабилей, прискуча видеть с младенчества трудную работу отца, задумал блистать в свете совсем иною славою и искал способов, как бы со временем разувать тот народ, который отец его обувал с таким успехом. Для сего-то вступил он в приказную службу. Грабилей был умен; он тотчас понял систему своего звания и начал драть с одних, дабы передавать другим. С таким прекрасным правилом недолго засиделся в нижних званиях и тотчас сделан кадием. На сем-то месте почел он нужным развернуть все свои способности и пользоваться всею уловчивостию, коею природа его одарила. Он тотчас понял трудную науку обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки. Знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс, умел кстати зажмуриваться на своей судейской подушке; но что всего важнее, знал

кстати обирать и кстати одаривать. С такими-то блестящими дарованиями пролагал он себе путь к дивану и недолго медлил на сем пути. Калиф уважал способности... Грабилей стал одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных и освященных важным преимуществом получать удавку из рук самого султана. Грабилей так начал речь свою:

— Законный наследник всех имений, неоспоримый владетель сердец и помышлений, повелитель стихий и причина всех бывших и впредь будущих благ человеческого рода! Прости, что я осмеливаюсь шевелить языком моим в присутствии священной твоей особы. Я бы никогда не дерзал при тебе и мыслить, если б не было сие во исполнение верховной твоей воли, которая управляет всеми моими чувствами и делами, подобно как солнечное движение управляет движением тени. Мне кажется, самый лучший способ для удержания в тайне путешествия есть тот, чтоб сделать запрещение говорить, каким бы то образом ни было, о твоей высокой особе и даже выговаривать священное твое имя, под опасением лишения живота и имений. Издав такое повеление, можешь ты спокойно отправиться в свой путь; и хотя некоторое число рабов твоих будет догадываться, что тебя здесь нет, но, в силу запрещения говорить о тебе, они не возмогут никому сообщить своих догадок, ниже простирают вопросами свое любопытство далее. Известно, что молчание есть единственный способ хранения тайностей; так не самое ли лучшее средство — наложить его на языки болтливых рассказчиков и выспрашивателей, которых двумя или тремя примерными наказаниями можно уверить, что язык им дан только для того, чтобы с помощью его было легче глотать пищу.

Калиф не был доволен и сим мнением: он сам, любя говорить, знал, как тяжело честному человеку хотя на два часа лишиться этого прекрасного упражнения; притом же хотя и мог он надеяться унять мужчин, но где, думал он, взять столько силы, чтобы унять говорить женщин? Калиф был премудр: он знал, что выдать закон на удержание говорливости женщин есть то же, что выдать закон для удержания прилива и отлива морского. Он требовал также совета у достальных визирей, наполняющих диван, но их не слушал, не ожидая от них ничего доброго. Калиф был расчетист: обыкновенно одного мудреца сажал между десяти дураков; умных людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар; и часто говаривал, что ему для сохранения доброго порядка дураки по крайней мере столько ж нужны, как и умные люди. Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен.

Все они пошли на голоса: приметить должно, что они охотнее всего расточали свои советы, хотя часто могли видеть, что оные ни на что не надобны; но чем глупее голова, тем щедрее на советы. Наконец калиф вышел из дивана, распустя своих визирей, не быв

доволен ни одним голосом, удалился во внутренние свои чертоги и надеялся в уединении найти то, чего не мог сыскать в многолюдстве.

Первый предмет, встретившийся его глазам у него в комнате, была книга, данная ему волшебницею. Хотя Каиб никогда не советовался с книгами, потому что они по большей части писаны не калифами, но вспомня, что этой книге приписано важное свойство — усыплять, взял он ее в руки в надежде увидеть во сне добрую свою покровительницу. Калиф развернул — видит оду визирю, недавно повешенному им за взятки... Добродетели его были воспеты с таким восторгом, что калиф зачал уже опасаться, не святого ли он повесил. Это привлекло его к важному рассуждению: сколь должно великому калифу быть осторожну в награждениях и в наказаниях...

— Фея, — ворчал он тихонько, — фея, конечно, ошибкою дала мне эту книгу: она обещала мне с нею приятный сон, а книга эта, напротив того, подает мне причину к важным рассуждениям, приличным моему сану и полезным моему народу...

Но калиф не примечал, что он уже дремал, выговаривая последние слова... и действительно, в одну минуту погрузился он в глубокий сон и позабыл награждения, наказания, повешенного визиря, стихотворца и свою книгу, которую из рук выпустил к себе на колени.

Едва заснул калиф, едва увесистое собрание тяжелых стихов, обременявших за минуту руки его, сползло с коленей на богатый ковер, как покровительствующая фея явилась ему во сне. Она была прелестна, как... как то, что тебе всего милее, любезный читатель... Скупой, ты можешь ее сравнить с твоим рублем; если ты автор, то вообрази, что она была так прекрасна, как твои стихи; или вообрази, что она прекрасна, как твоя любовница, — если ты читаешь это накануне своей свадьбы; если же на другой день, то признаюсь, что сравнение мое куда не годится.

— Каиб, — сказала она калифу, — я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа и от самых визирей твоих. Проснувшись, ступай из дворца твоего, не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие способности, что она до возвращения твоего заменит с успехом твое место. Так некогда Аполлон на Троянской брани подменил Энея подделанною под его вид статуею; и между тем как Эней отдыхал дома, то статуя храбро сражалась с греками; хотя Гомер ничего не говорит, но я знаю точно, что тогда многие славные дела ее приписаны самому Энею, чему он, по сговорчивости своей, никогда не противоречил. То же точно намерена я с тобою сделать. Иди и старайся только исполнить волю оракула; достальное я беру на себя. Поверь: ни одна душа не узнает, как изрядно подменю я тебя статуею из слоновой кости, которая в твое отсутствие наделает много славных дел; все они умножат в народе к тебе благодарность. Прости, калиф, ступай немедля, сложи

с себя на время всю пышность, приличную твоему сану, и ты увидишь то, чего бы никогда не видал ни в какую зрительную трубку с высокого твоего престола, а наконец найдешь награждение, обещанное тебе оракулом.

Фея исчезла.

Как бедный стихотворец, увидя во сне, что сочинения его вдруг разошлись четырьмя тиснениями и что он осыпан золотом, просыпается и хотя не видит вокруг себя ничего, кроме огромных своих рукописей и разломанных стульев и стола, но, полагаясь на сновидение, наполняется надеждою, засвечает свечу и, не сходя с постели, гоняется за Пегасом по белой бумаге, которую покрывает следами своей скорости, так Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более, нежели наяву, и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег... Сколь ни верил он волшебствам, но знал очень, что есть много таких случаев, где и самое сильное чародейство наличных денег заменить не может; потом оставляет великолепный свой дворец и начинает поиск, предписанный ему оракулом.

Это было ночью; погода была довольно худа; дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все дома; молния, как будто на смех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колени в грязи и отовсюду окружен лужами, как Англия океаном; гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири. Желая укрыться от негодной погоды, искал он при свете молнии какой-нибудь хижины; скоро, проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволения осушить платье.

Калиф подходит к хижине, отворяет дверь, видит большую комнату; в одном углу стоит кровать, в другом стул, который, опираясь о стену щитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках; на полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги; немудрено калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого рода; хотя прежде сияние его сана не позволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай... Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе: на кровати лежала сухощавая особа; с великою важностию рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызенным половиною пером в руке определяла судьбу целого света.

— Милостивый государь, — начал Каиб, — я лишь пришел в сей город и никого в нем не знаю, позволите ли вы страннику пользоваться гостеприимством?

— Очень рад дорогому гостю! и если, не обижая вас, можно сделать заключение по скромному вашему платью, то позвольте спросить, не ученый ли вы?

— Да, это правда, что я читаю книги.

— Читаете?.. По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы их пишете. Но тем лучше. Я написал теперь оду Ослашиду и хотел бы знать ваше мнение.

— А! вы пишете оды?

— Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльное. Недавно написал я оду одному вельможе; он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить; но как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого я написал оду другому визирю; этот был не менее доволен, обещал меня наградить и, верно, бы не обманул, но его на третий день повесили за взятки.

— Как, вы писали оду и недавно повешенному визирю? Я ее читал...

— Признайтесь, что она недурна. Теперь я пишу оду Ослашиду, неприятелю повешенного визира. Можно сказать, что она мне труда стоит: в этом добром человеке нет ни ума, ни добродетели; такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же, не хвастаясь, скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег; доказательство — мне хуже платят за оды, нежели за битые стекла, которые иногда покупают у меня разносчики. Со всем тем я не оставлю лирического стихотворства.

— Мне удивительна способность ваша хвалить тех, в коих, по вашему ж признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам.

— О! это ничего, поверьте, что это безделица: мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было. Ода — как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен; но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал; что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно; и нет визира, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы.

— Но если свет знает, что ваше описание ложно, что герои ваши — пустые пузыри, надутые вами?

— Что же до того нужды? Аристотель негде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны, — и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды пре-

вратились в пасквили; итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних.

— Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, воспланенные добродетелями и совершенствами своих героев.

— Как вы ошибались: они восплаются одним воображением и выбирают первого, кто попадется, как художник выбирает кусок мрамору; чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид.

— Ах! — сказал, вздохнувши, калиф, — как же мало люди должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют!

— Вольно им дурачиться, — отвечал стихотворец, — если бы они приписывали похвалы не своим достоинствам, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли, я вам скажу на этот случай короткую баснь, которую скоро намерен переложить в стихи? Славный живописец, пленясь новою мыслью, вздумал написать Венеру, натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение; картина была драгоценна и со временем стала украшением чертогов славнейшего императора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумало, что оно причиною всех восторгов, примечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. «Ты напрасно гордишься, полотно, — сказал он, — если б не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлело, быв употреблено на отирку посуды». Стихотворцы то же делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю Гомера, то, признаюсь, вместо того, чтобы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю как на людей, которых великий этот муж сделал вячными ослиами своей славы; итак, не ясно ли видно... но вы дремлете, вам нужен покой! Не хотите ли чего поужинать?

— Охотно бы; признаюсь, что я очень проголодался.

— Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами: мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере на чем вы охотнее спите: на тюфяках или на пуховике?

— На пуховиках, — сказал, вздохнувши, калиф.

— Ложитесь же на эти кипы печатных бумаг, — отвечал стихотворец, указывая в угол, — ложитесь на них; если они и не так мягки, как пуховики, по крайней мере толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее, нежели калиф наш на лучших своих пуховиках.

Каиб лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать.

На другой день рано Каиб собрался в путь.

— Вы, конечно, хотите странствовать? — спрашивал его стихотворец.

— Это правда. И хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие, но мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза.

— Вы ничего нового не увидите. Где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки; где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету; в городах увидите равнодушные к несчастью ближнего, в деревнях сострадание и гостеприимство, ибо сельский житель, подражая природе, учится у нее быть податливым, а городской житель, гоняясь за счастьем, учится у него быть слепым и несправедливым.

После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь.

Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостью посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал:

— Если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком.

Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел расянное по полю стадо.

— Великий Магомет! — вскричал он, — я нашел то, чего давно искал! — и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастья передние знатных; и действительно, пройдя несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заматанное грязью. Калиф было усумнился, человек ли это; но по босым ногам и по бороде скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден.

— Скажи, мой друг, — спрашивал его калиф, — где здесь счастливый пастух этого стада?

— Это я, — отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать.

— Ты пастух! — вскричал с удивлением Каиб. — О! ты должен прекрасно играть на свирели.

— Может быть; но голодный не охотник я до песен.

— По крайней мере у тебя есть пастушка; любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?

— Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников.

— Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?

— О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас.

— Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям, — сказал калиф. — Фея! слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною. Но такую гадкую холстину, — продолжал он, смотря на пастуха, — такую негодную холстину разрисовать так пышно... Это, право, безбожно! О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных музульман.

И калиф пошел далее.

Некогда под вечер шел он по большой дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдали. Это его смущало.

— Волшебница шутит надо мною, — говорил он сам себе, — она, кажется, хочет, чтоб я, подобно календеру, состарился на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастья, обещанного мне феею; а что еще досаднее, то сегодня едва ль не в поле должен я ночевать. Я верю, конечно, что пророк любит своего потомка; но сказать правду: медведю из лесу до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба.

Такие мысли возмущали Каиба: владетель морей и суши не на шутку боялся быть заеден голодным волком.

В самое то время занимался он такими заманчивыми рассуждениями, встретился ему крестьянин.

— Друг мой, далеко ли до города? — спросил у него калиф.

— Часов восемь; к утру можешь ты там быть.

— Но нет ли где переночевать, не попадется ли мне на пути деревня?

— Ни двора; а если хочешь, то, прошед немного, можешь свернуть по тропинке вправо и лесом через старое кладбище пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег.

Прошед немного, и действительно Каиб увидел вправо тропинку, проложенную в лес; он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каибу некогда было любопытствовать: страх и приближающаяся ночь понуждали его итти далее; как вдруг, прошед площадку, увидел он, что тропинка разделилась надвое.

— Боже мой! — вскричал Каиб, — по которой должен я итти? Ну, если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле, без всякого защищения от зверей; но если я ворочусь — а до города еще восемь часов!.. это ужасно! Нет, — продолжал он, окидывая глазами кладбище, — нет, я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь, — и тогда ж, увидя высокий надгробный камень, решил он выбрать

его своим почлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова:

«Кто бы ты ни был, не приближайся; зриай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой, и познай, что я... (имя так изгладилося временем, что Каиб никак не мог разобрать)... победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли: оружием моим покорил я множество народов, одержал 729 побед и не имел сражения, на коем бы побито было менее 15 000 неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и непоколебимое наследие, сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня».

— Какая прекрасная надпись! — сказал Каиб и вскарабкался с великим трудом на камень. — Здесь точно безопасно, — ворчал он тихонько, — камень этот и высок и непрístupен для зверей... только желал бы я очень знать, чья эта гробница. Это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней! Как же после этого можно полагаться на историю, ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понадевавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, не внесены в историю только для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок! О! я, конечно, выберу для моего надгробия камень потверже и ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина.

Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру; в минуту отправил он по-походному ужин.

— Как мало нужно для человека! — сказал калиф, — на день два фунта хлеба и три аршина земли на постелю при жизни и по смерти! Я бы желал знать, отчего за четыре месяца перед сим вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот для меня очень просторен? И слово «*мое!*», на которое право стоило мне, может быть, 300 000 добрых музальман, — слово это теперь меня не восхищает! О гордость, сколь ужасно тебе воздаяние! при жизни тебя ненавидят, по смерти презирают или забывают. Ах! может быть, и я со временем буду служить постелею какому-нибудь страннику, который, не посмотрев на гордую мою надгробную надпись, спокойно выпитися на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса.

Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается и изпод него выходит величественная тень некоего древнего героя.

Рост его возвышался дотоле, докол в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледно лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда при закате своем опускается оно в густые туманы и, изме-

нясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противостоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблущаяся вода, отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его из числа тех знаменитых особ, которые называются победителями народов и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее.

— Каиб! — сказало ему видение, — ты зришь пред собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива: я победил весь свет; ничто не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, кто мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколе не буду я причиною хотя одного доброго дела. 20 000 лет уже гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотоль возбуждал я себе последователей, столько же вредных свету, как был вреден ему я сам. Память моя погибла; но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствиям, угнетавшим после того землю, был причиною я, дав первый пример любочестия. Наконец небо избрало тебя быть моим избавителем: ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим ночлегом. Высокий камень мой спас тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычею в сем диком лесу, — и вот первая польза, которая в 20 000 лет от меня произошла.

«Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления; сердце твое удобно ими пользоваться, а сии размышления в толь великом калифе, каков ты, будут причиною счастья миллионов людей, — вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего правосудия: в сей день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтоб я принес тебе благодарность; позволило оно, чтобы я тебе подтвердил истину надписи, запрета только сказывать свое имя, осужденное к вечному забвению на лице земли; позволило оно также сказать тебе, что ты близок от вещи, для которой путешествуешь; счастье тебя ожидает. Но, калиф, да не развратит нега его твое сердце — не забывай никогда того, что ты видел теперь. Помни, что любочестие наказывается чрезмерным унижением; помни, что право твоей власти состоит только в том, чтобы делать людей счастливыми, — сие право дают тебе небеса; право же удручать несчастьями похищаешь ты у ада».

Изрекши сие, изменяться стала тень и исчезать, подобно тускнеет серебристое облако, когда луна от него удаляется, и, развеваемое по лазуревому небу, становится невидимо взорам смертных.

Наутро калиф проснулся рано и, дивясь странному сновидению своему, продолжал свой путь по одной из двух тропинок. Три часа шел он дремучим лесом и наконец вышел на прекрасный луг, через который лежала дорога к маленькой хижине. Каиб любовался местоположением и, осматривая окрестности, удивлялся природе, как вдруг, оборотясь направо, увидел прекрасную четырнадцатилетнюю девушку. Она с великою прилежностью искала чего-то в траве; прекрасные глаза ее орошены были слезами — знак, сколь дорого она ценила потерянную вещь. Каиб подошел к ней; она его не примечала; он не спускал с нее глаз: всякая черта, всякое движение, всякий шаг ее воспаляли в нем кровь. Каиб обладал многими женщинами, он чувствовал иногда сильные желания, но теперь в первый раз узнал, что такое любовь.

— Иностранец, — сказала ему красавица, увидя его, — не находил ли ты здесь портрета? Ах! если он у тебя, так возврати Роксане то, что ей дороже жизни.

— Нет, прекрасная Роксана, — отвечал калиф, — судьба не хотела наградить меня счастьем быть тебе полезным...

Калиф бы далее продолжал свои учтивости, но прекрасная его незнакомка, не выслушав и сих, отошла от него искать портрета. Калиф, не говоря ни слова более, сам стал шарить в траве. Надобно было посмотреть тогда величайшего калифа, который, почти ползая, искал в траве, может быть, какой-нибудь игрушки, чтобы угодить четырнадцатилетнему ребенку. Он был так счастлив, что в минуту нашел потерю.

— Роксана! Роксана! портрет! — кричал он, показывая ей издали портрет.

Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. Радость, торопливость и нетерпение сделали то, что она запуталась в траве и упала бы, если б не поддерживал ее Каиб. Какое приятное бремя чувствовал он, когда грудь Роксаны коснулась его груди! Какой жар разлился по всем его жилам, когда невинная Роксана, удерживаясь от падения, обхватила его своими руками, а он, своими поддерживая легкий и тонкий стан ее, чувствовал сильный трепет ее сердца.

— Возьми, прекрасная Роксана, сей портрет, — говорил ей Каиб, — и вспоминай иногда сей день, который возвратил тебе драгоценную потерю, а меня навсегда лишил вольности.

Роксана ничего не говорила, но прелестный румянец, украсивший ее лицо, изъянял более, нежели бы она могла сказать.

— Незнакомец, — сказала она Каибу, — посети нашу хижину и дозвожь, чтоб я отцу моему показала того, кто возвратил мне потерянный мною портрет моей матери.

Они вошли в дом, и Каиб увидел почтенного старца, читающего книгу. Роксана рассказала ему приключение, и старик не знал, как отблагодарить Каиба. Его просили остаться у них на день, —

можно догадаться, что он не отказал; этого мало: чтобы пробыть долее, он притворился больным и имел удовольствие видеть, сколь Роксана о нем сожалела и как старалась оказывать ему угождения... Может ли любовь долго скрываться? Оба они узнали, что они любимы взаимно; старик усмотрел их страсть: множество на этот случай наскзал он прекрасных нравоучений, но чувствовал, сколь они бесплодны; и сам Каиб, который с восхищением видал, как прекрасная Роксана чувствительна была ко нравоучениям и как нежное сердце ее уважало добродетель, — сам Каиб не хотел бы, чтобы теперь слушала она нравоучения противу любви. Старик, любя дочь свою и пленясь добросердечием, скромностию и благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство.

Роксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее — желанию скитаться.

— Ах! Гасан, — сказала она ему некогда, — если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины ни для великолепнейших чертогов в свете... Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего.

— Что я слышу? — вскричал калиф, — ты ненавидишь Каиба!

— Да, да, я его ненавижу столько же, сколько тебя люблю, Гасан! Он причину наших несчастий; отец мой был кадием в одном богатом городе; он исполнял со всею честностию свое звание; некогда, судя родню одного царедворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего. Обвиненный искал мщениа; он имел при дворе знатную родню; отец мой был оклеветан; повелено отнять у него имение, разорить до основания дом его и лишить жизни. Он успел убежать, подхватя меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастья, умерла в третий месяц после нашего сюда переселения, а мы остались, чтобы докончить здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света.

— Оракул, ты исполнился! — вскричал калиф. — Роксана, ты меня ненавидишь!..

— Что с тобою сделалось, Гасан? — прервала смущенная Роксана, — не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты мне дороже моей жизни. Ах! во всем свете я ненавижу одного только Каиба.

— Каиба! Каиба! Ты его любишь, Роксана, и возводишь своею любовью на вышний степенъ блаженства!

— Дорогой мой Гасан сошел с ума! — говорила тихонько Роксана, — надобно уведомить батюшку.

Она бросилась к своему отцу.

— Батюшка! батюшка! — кричала она, — помогите! бедный наш Гасан помешался в уме, — и слезы навертывались на ее

глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно: Гасан их скрылся, оставя их хижину.

Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна.

— Небо! — говорил старик, — доколе не престанешь ты гнать меня? Происками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастью, уже городскую пышность воспоминал равнодушно, сельское состояние начинало пленять меня, как вдруг судьба посылает ко мне странника; он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моею дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушение.

Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту, въезжающую в их пустынь.

— Мы погибли! — вскричал отец, — убежище наше узно! Спасемся, любезная дочь!..

Роксана упала в обморок. Старик лучше хотел погибнуть, нежели ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу.

— О небо! не сон ли это? — вопиет старик, — верить ли глазам моим? Мне возвращается честь моя, дается достоинство визиря; меня требуют ко двору!

Между тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым, но воспоминание о Гасане отравляло ее радость; без него и в самом блаженстве видела она одно несчастье.

Они собрались в путь, приехали в столицу. Повеление дано представить отца и дочь калифу во внутренних комнатах. Их вводят. Они падают на колени; Роксана не смеет возвести глаз на монарха, и он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить.

— Почтенный старец! — сказал он важным голосом, — прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я против тебя: погрешил против самой добродетели. Но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость, надеюсь, что ты простишь меня. Но ты, Роксана, — продолжал он нежным голосом, — ты простишь ли меня и будет ли ненавидимый Каиб столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан?

Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана. Роксана не могла ни слова выговорить: страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе фея.

— Каиб! — сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему, — вот то, чего недоставало к твоему счастью; вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои до-

бродетели. Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии, — и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости! — При сем слове взяла она у него очарованное собрание од и исчезла.

Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их сумасшедшими и стали бы на них указывать пальцами.



Ночи

Час било полночь... Природа уснула... Городской шум утих... И люди, кажется, перестали дурачиться или по крайней мере решились до утренней зари дурачиться тихомолком. А я, казалось мне, что я один не спал, и окружающее меня глубокое молчание подавало мне случай к размышлениям.

Сия темнота, — так начал я свое размышление, — кажется, нарочно для того есть в природе, чтобы упижать гордость человеческую и помрачать мнимые дарования и прелести, которые блистали во время прошедшего дня. Человек!.. Хочешь ли ты видеть себя, свою ничтожность? Дай зайти солнцу и человеку снять с себя посторонние украшения, которые не принадлежат ему и которые одно его детское честолюбие себе присвоило.

Где теперь тот пышный вельможа, который за несколько перед сим часов заставлял мир думать, что в руках его находится спасение всех восьми планет и с их спутниками; который сам делал вид, что от его только мановения зависит переставить созвездие Скорпиона на место созвездия Тельца, и с которым встречаясь подлые его льстецы с набожностью глотали пыль, воздымаемую позлащенными колесами его кареты... Где он?.. Его превосходительство, валяясь в пышных пуховиках, изволит заниматься хорошими сновидениями; между тем как секретарь его готовит ему к завтраму политические рассуждения, которые, конечно, выдаст он за свои; ибо сей господин уже привык думать секретарскою головою, которая есть его душа, а вельможа сей — ее тело; итак, он основательно может сказать во извинение бесперывного своего сна: дух бодр, но плоть немощна, то есть: секретарь рожден обдумывать, а я подписывать спросонья его мысли.

Где та больщающая красавица, за которою гонялись стада волков; которой розовые уста приманивали к себе тысячи поцелуев, а нежная грудь вливала томные желания в юные сердца и даже самых грубых философов заставляла желать рождения нового Праксителя и Фидия; которой томные глаза всяким взором означали, что сердце тает в ней от удовольствия; коея тонкий, легкий стан и прекрасная ножка заставляли стихотворцев думать, что или Венера будет иметь скоро четыре грации, или одна из

них лишится своего места, дабы уступить его сей красавице... Где она?.. Она спит, и все ее прелести раскладены на уборном столике: прекрасные зубы ее лежат в порядке близ зеркала; голова ее так чиста, как репа, а волосы, которым удивлялись, висят, осторожно накинутые на зеркало; нежный румянец ее и пленяющая белизна стоят приготовленные к утру в баночках; между тем как она походит на брошенную в постель мумию. Грудь ее присохла к костям, а подставная покоится в сохранности вместе с корсетом. Где же все прелести, которые заставляли о ней кричать? Где те приятности, те достоинства? Магниты, привлекающие к ней сердца молодых воздыхателей?.. О! они и теперь налицо раскладены в кошельках и в записных книгах на ее уборном столике.

Не подумай, однакож, любезный читатель, что госпожа эта скудна разумом. Если бы и случилось кому покрасть ее прелести, то осталось у ней еще одно очарование, против которого никакое нынешнего света сердце не устоит: красноречие — вот ее сильнейшее оружие; она превосходит им сочинителя «Новой Элоизы». Письма к ее любовникам очень убедительны; хотя, правда, все они на один образец; ибо начинаются так: «Объявителю сего платит Государственный заемный банк и проч.». Воскресни, Руссо! подобно Магометову отцу, на один только час и увидь свою победительницу, а если ты столь отважен, что вздумаешь спорить с нею в преимуществе красноречия, то выставим на одну доску письма твоей Элоизы и моей; и я ручаюсь, что последние станут торжествовать и что за них ухватятся все, не выключая академиков и самого тебя.

Где тот щеголеватый господчик, обвешанный золотыми цепочками, униженный бриллиантовыми перстнями, который, целый день катаясь по городу в щегольской карете, кажется, имел усердное желание всех пешеходцев душить пылью и старался поспеть вдруг в тридцать мест, не быв нигде надобен. Еще не прошло пяти часов, как в кружку щеголих божился он, что изрубил всю Турцию, с великим жаром уверял, что он с такою же проворностью перерубливает людей, как тростник, и сожалел, для чего не заведут у нас войны со слонами, где бы мог он пощеголять своею саблею; без устали исчислял он свои победы и тысячами поминал своих убитых. Надобно отдать справедливость сему молодому храбрецу, что он самую отважную ложь занюхивал иногда табаком, но не краснел никогда. Где же он?.. Где резвый язык его, которым мог он переговорить, если дозволят употребить такое смелое и сумнительное сравнение, самую проворную говорунью, и где блистающая его пышность? Он спит в мягких пуховиках; подле его лежит аттестат, данный ему его дядюшкою о храбрости его, оказанной такого-то числа, а подле аттестата развернута записная его книжка, в которой видно ясно, как день, что

того числа за сто верст от сражения находился он для любовного приключения, ибо молодой этот человек любит порядок и ведет всем своим делам верную записку. Читатель, вспомни, что он был днем, сравни язык его с его постелью, и ты увидишь, что он лжет, как храбрый человек, а нежится, как женщина. Где же его богатство, которое, как сказывают, нажил он на счет побежденных им неприятелей? О, что до этого, то к утру же портной, сапожник и другие ремесленники собираются засвидетельствовать в магистрате, с какою неустрашимостью подписывал он векселя, которых ни в двести лет оплатить не будет в состоянии, а наемный кучер его с щегольской каретою и лошадьми, коими пускал он городу пыль в глаза, этот удалой кучер, говорю я, дожидаясь с нетерпением утра, хочет оказать ему последнюю услугу и отвезти его в магистратскую тюрьму.

О благотворная ночь! — продолжал я свои восклицания, — чем не обязан тебе человек, который умеет тобою пользоваться? Ты, прохладящая его природу, успокаиваешь и возрождаешь ее; ты, обнажая смертного, которого гордость принуждает почитать себя превыше человеков, напоминаешь ему, что и он такое же слабое творение, каковых миллионы, им презираемы, и что он отличен от других людей единою своею гордостью. Ты каждым своим пришествием к нам напоминаешь нам вечность, быв сама изображение оной; подобно как сон, приносимый тобою, есть изображение смерти. Так всякое возвращение твое к смертным есть наставление им, и от них только зависит оным пользоваться.

Гордый городской житель! если тебе случится быть ночью на великолепнейшей площади, окинь взором вокруг себя; сравни, если ты можешь, между собою пышные здания твоих сограждан и покажи мне, когда смеешь, различие между убогим шалашом и огромными чертогами гордости.

Где пышные те здания, за несколько перед сим часов удивлявшие мимохожих и наружностью коих гордилось целое государство?.. Наступила ночь — и сравнила их с шалашами убогих. Смертный! вот изображение твоих дел; вот изображение того, каким образом вечность сравнивает честолюбивые твои подвиги с ничтожеством! Обратимся к прошедшим векам и мы увидим, что вечная ночь сравнила гордые и пышные монархии с убогими их соседствами так, как ночь сравнивает великолепные здания с низкими хижинами. Едва помнят места, где стояли великолепные города; подобно как, проходя ночью городом, с трудом можно означить место, где есть богатое здание.

Что же есть достойного человека? Что может он произвести не подверженное разрушению веков? Его слово, его мысли — вот одно творение, дающее цену человеку и избавляющее его от совершенного разрушения; вот одно произведение, которое борется с веками, преоборает их ядовитость, торжествует над ними и

всегда пребывает столь же ново и сильно, как и в ту минуту, когда рождено оно человеком. Сильнейшие монархии пали, исчезли с ними полки мнимых героев, идолов народа; все разрушается: владения и племена исчезают; на что ни обратим взоры, все скорыми шагами течет к своему ничтожеству; но Орфей и Гомер цветут, и глас их столь же пленяющ и чувствителен, как и в ту минуту, когда он ими произносился. Сколь превосходна и отменна живая слава их от мертвой славы мнимых героев: последний умирает для всего света; и двух веков довольно, дабы изгладить следы его пребывания и смешать их с баснею; но первый по смерти живет, и слово его, подобно бессмертному духу, имеет дар, не разделяясь, во многих местах пребывать в одно время. Единый мудрец, торжествуя над смертию, похищает право говорить с позднейшим своим потомством.

Тебе, о ноцѣ! бывает часто должен он произведением своих мыслей; и когда одеешь ты небеса мрачным покровом и усыпишь природу, он тогда ввергает тебе размышления свои. Не видя вокруг себя ничего, кроме рассеянного мрака, приводящего слабоумному сон, а мудрецу размышления, делает он суд над человечеством: кажется, что он один остался тогда во вселенной и что гордость и насильствие не дерзают налагать оковы на его мысли, которые только тогда нравоучительны без подозрения, когда следуют они своему собственному стремлению, не управляемые ни страхом, ни пресмыкающеюся лестию; иначе нравоучитель есть скопец, проповедующий дество, коего скованные насильством чувства не подражание, но посмеяние себе производят.

Но когда ты, мрачная спутница размышлений — ночь, бываешь свидетельницею, что не корыстолюбие и лесть заставляют его рождать славу героев, но добродетель и премудрость их, тогда нравоучение его, извлекаемое из великих дел их, чисто и свободно; тогда возбуждает он сердца удивляться себе и подражать добродетели воспетых им героев; тогда...

Вдруг отворилось окно в моей комнате, и женщина лет под сотню, сидевшая на серебряной рогатой луне, спустилась по воздуху ко мне в комнату. Я тотчас узнал, что это Ночь, для того что раза три видел ее на театре в «Амфитрионе», комедии Мольера, где она точно так же спускается; с тою притом разницею, что там ее с небес спускают на веревках, которые часто видны и заставляют нередко меня трепетать, чтоб госпожа богиня не раскроила себе череп и не убила бы до смерти. Что до той Ночи, которая посетила меня, то машинист ее, кажется, был исправнее театрального.

Я лежал в постеле; и как я не привык принимать столь знатных гостей в таком беспорядочном положении, то посещение сей госпожи очень меня встревожило.

— Конечно, милостивая государыня, — сказал я ей в страхе, — какой-нибудь новый Юпитер просил вас, чтобы продолжить здесь

ваше присутствие для его забав, и вы, может быть, ищите Меркурия, чтобы через него отпрапортовать богу громов, что время ему убираться на Олимп, если не хочет он, чтобы какой-нибудь Амфитрион переломал ему руки и ноги и подвергнул бы его опасности пролежать месяца три в публичной больнице.

— Нет, — отвечала она мне, — для нынешних Алькмен не нужны такие чудеса; падобно отдать справедливость, что и Амфитрионы ныне гораздо сговорчивее против старых веков, ибо Юпитер для них прибегает чаще к помощи Плутуса, нежели ко мне.

«Итак, ты видишь, что я к тебе совсем не для того пришла, но мне есть надобность другого рода, которую хочу я на тебя возложить. Выслушай меня.

«Недавно Момус давал богам вечеринку, и хотя я редко бываю в больших собраниях, но случилось так, что на этой пирушке сошла я с Фебом. Мы разговаривали с ним очень долго о нашем жребии и должностях. Разговор зашел и о людях, около которых мы столь давно с ним вертимся. Между тем приметъ, что полные чаши с вином без устатку обносились около гостей.

«— Признаться надобно, любезная Ночь, — сказал он, допивая двенадцатую бутылку нектару, — твоя должность мне жалка, и я дивлюсь, для чего не просишься ты у богов в отставку; а особливо в твои почтенные лета совсем неприлично таскаться по свету только для того, чтобы видеть сонные или зевающие народы.

«— Милостивый государь, — отвечала я ему очень учтиво, — я нимало не думаю пенять на свою судьбу и очень довольна своим состоянием; а потому-то и ваше сожаление очень не у места. Правда, мои лета не детские, но я не много старше Венеры, и все это не доказывает, чтобы я была бесполезна; да если бы и в самом деле во мне пользы никакой не было, то моя порода одна дает мне право иметь алтари и собирать жертвы. Мало ли у нас есть богов-тунеядцев, которые не заслуживают ни фунта телятины, а пользуются такими жертвами, что могут жить богаче всякого, между тем как они делают народу более зла, нежели добра. Наш хозяин сам хотя не иное что, как шут на Олимпе, но он за свое ремесло получает более доходу, нежели все академии вместе. Скажи мне: какую пользу приносит Бахус? Весь Олимп думает, что он не тратит время, которое проходит только в том, что он или пьет, или сочиняет негодные песенки, бывши столь же дурной писатель, как и политик, хотя то и другое ремесло почитает он рожденным для его головы: он один выдумал способ с зевоты собирать доход; и я думаю, что ему даром не пройдет, когда Морфей узнает, что пьяный Бахус своими песенками перебивает у него должность и усыпляет слушателей без его ведома.

«Посмотрим теперь на Меркурия, достоин ли он таких больших доходов и такого прекрасного дома, который выстроил он на счет своих плутней. Ему поручены кушцы, а он сам зачал входить

в подряды: вспомни, давно ли Юпитер изломал об него всю кадуцею за то, что он зачал с подрядчиков собирать взятки. Из всех его званий наблюдает он с лучшею исправностию звание бога воров; и можно отдать справедливость, что он у них первый по своему достоинству. Итак, видишь ли ты, господин Феб, что немного найдется богов, которые бы получали жертвы по справедливости.

«Музы твои очень умные девушки, но и они померли бы с голоду, если бы Каллиопа не поддерживала их, взяв на подряд лучшие города, куда ставит она оды на именины и на похороны: да и этот торг начинает у нее плохо клеиться, для того что примечают в ее творениях все старое; а человеческое самолюбие ни к чему так не жадно, как к новым похвалам. Мельпомена твоя как ни жалко плачет, но во всю нынешнюю зиму она на башмаки себе не выплакала, и от ее трагедий плачут одни типографщики. Твоя Талия, правда, смешит народ и за это собирает изрядный доходишко; но желание добывать деньги заставляет ее доходить до подлости, и она час от часу более отваживается от себя честных людей и вместо того, чтобы быть полезным и веселым учителем нравов, старается своими шутками понравиться пьяному народу, с которого не думаю однакож, чтоб собрала она себе на порядочное пропитание. Что до других твоих муз, то есть надежда, что они скоро превратят Парнас в богадельню, а слух уже носится, что Клио твоя без памяти и без языка.

«Итак, ты видишь, сколько найдется богов, которые пользуются доходами по своему достоинству. Что до моей должности, господин Феб, то я не знаю, почему бы она казалась достойною сожаления...»

«— О, о! — сказал Марс, вслушавшись в наш разговор и вынимая табакерку, — твоя должность не только не унижительна, как говорит Феб, напротив, она презавидна: сколько раз доставляла ты мужьям украшение, которого нет способов прицепить им в присутствии этого светлого подзорщика; сколько раз, очень кстати, наносила ты сон строгим матерям, тогда как прелестные их дочки употребляли в пользу света свою бессонницу; сколько раз унижала ты гордость несправедливых судей, пособляя обкрадывать их Меркуриевым чадам, тогда как первые думали, что они одни красть имеют преимущество...»

«— Какие мелочи, — вскричал Феб, — против моих подвигов! я освещаю знатнейшие дела природы и человеков и даю им настоящую цену; в моем присутствии освещаются славнейшие сражения; с моею помощью созидаются пышные здания; я бываю свидетелем великолепнейших обрядов: словом, для меня всякий день целый свет играет комедию, над которою ты, Ночь, только что опускаешь занавес...»

«— Пустое! — сказал, подошед, Бахус, и дотягивая двадцать четвертую бутылку шампанского, — пустое, господин Феб! Правда,

что при тебе свет играет комедию, но развязка ее бывает почью. Самых лучших явлений редко случалось мне при тебе видеть: ты освещаешь пышность, гордость; твои лучи питают самолюбие красавицы, щеголя и надменного вельможи; но сердце более чувствует и голова более рассуждает ночью... Спроси у самих людей, и тебе признаются, что они более ищут счастливых ночей, нежели счастливых дней.

«— Надобно отдать справедливость Ночи, — сказала с презрительною улыбкою Юнона, — что она очень полезная богиня для неверных мужей и для непостоянных жен...

«Тут Юпитер засвистал песенку из новой оперы, а Венера, улыбаясь, поглядывала на Марса.

«— Что до меня, — вскричал Геркулес, — то я бы желал, чтобы Ночи лучше на свете не было: она только служит помехою славнейшим делам и помогает трусам укрываться от своих неприятелей. Сколько раз бывал я свидетелем, что эта богиня разводила величайшие брани в самом их жару и когда толпы великих душ сходились из-за нескольких тысяч стадий, чтобы иметь сладкое удовольствие или зарезать, или быть зарезанными; когда неустрашимые умы, обожая славу, не имели предрассуждения бить неприятелей своего отечества, но, почитая целый свет своим отечеством, дрались везде, где только есть случай перевести род человеческого; и со славою вместились во все ссоры, где их не спрашивают; когда целые народы...»

— Короче молвить, что вы хотите сказать? — спрашивал я у моей разговорившейся без устатку старушки. — И сверх того, — продолжал я, — чем касается до меня спор ваших богов? Неужели вы думаете, что я земский вашего Олимпа и должен решить все ваши раздоры, которые никогда не кончатся? А если вы из одного пристрастия говорить пересказываете мне все ваши приключения, то признаюсь, что мне теперь не время вас слушать. Мы с приятелем подрядились поставить к завтраму оду, и на мою часть досталось сделать пятьдесят две строфы похвал; и хотя надежда, что мне заплатят наличными, придает крылья моему воображению и я списал из разных од три строфы, но все еще остается выписать сорок девять, а я еще и писателей не выбрал, с которых бы можно было собрать такой большой оброк.

Ты видишь, любезный читатель, что я хотел только отделаться от этой гостьи, которая мешала моему уединению, и для того ничего не выдумал вероятнее этой лжи.

— Безумный смертный! — вскричала богиня. — Если бы ты не был мне нужен, то бы научила я тебя знать, каково помешать женщине; но помни мои наставления: женский язык останавливать и строить плотину во время разлития реки — это две вещи, которые более опасны, нежели возможны. Не думай однакож,

чтоб повесть моя о Момусовой вечеринке не касалась до тебя: она есть первая причина, которой одолжен ты моим посещением. Но я хочу ее тебе досказать.

«Едва Юнона и Геркулес пристали к Фебовой стороне и поддерживали его первенство передо мною, то передались на его сторону множество и других богов. Первая была Церера, которая зла на меня за то, что многие поселяне, оставляя ее нивы, стали, под покровительство моим, собирать с проезжих оброк, а потом переселялись совсем в города и там, воруя сперва в присутствии моем, наконец, под названием откупщиков и подрядчиков, стали безопасно уже воровать и диком, не помышляя ни о серпе, ни о жниве. Потом передалась Минерва, которая подозревает, будто я служу немалою подпорою сутолпищ игроков, которые, гоняясь за счастьем без кафтанов, умеют столь блестящим сделать свое состояние, что множество молодых фабрикантов и художников, оставя ее фабрики, взялись за легкий способ перекрадывать друг у друга деньги посредством карт и этим упражнением подрывают ее лучшие рукоделия и, разоряя себя, становятся своею праздностию в тягость целому обществу. Потом следовали и другие боги; так что, наконец, не знали, кому из нас с Фебом дать преимущество!

«Тогда хозяин наш Момус встал и, поклонясь очень учтиво богам богов, подал свое мнение.

«— Милостивые государи, — начал он, — я имею счастье быть богом дурачества; и мне шар земной принадлежит более, нежели всякому другому богу: Венера имеет свое время, Марс свое; но человек рождается и умирает моим рабом; и надобно отдать справедливость, что я люблю заниматься этими размышляющими куколками, которые в том только почти и упражняются, чтоб ставить трофеи моему величию. Но несмотря на то, что я не отступаю от людей ни на минуту, и донныне еще не знаю, когда люди усерднее мне служат, днем или ночью; и потому-то не решаю, кого мне из вас предпочесть. Но послушайте моего мнения, как решить ваш спор: согласитесь, ты, Феб, и ты, госпожа Ночь, вести записку людских дел, всякий по своей части, хотя один год; и когда окажется, что при ком-нибудь из вас люди менее дурачатся, тот пусть останется виноватым; а победителю я обещаю венок из ослиных ушей, вылитых из чистого золота. Не подумайте, чтоб этот подарок был мало важен: с обладанием золотых ослиных ушей совокуплено удачное волокитство, счастье в искании милости и способ казаться разумным, не имея ни на полушку разума.

«Все боги одобрили мнение Момуса; а как я не хотела преколовить хозяину, то и согласилась на его предложение; имея в самой мысли намерение таким подарком подрадеть Фебу, решилась я вести записку ночных приключений. Признаюсь: хочется мне его видеть с таким же прекрасным убором, какой некогда

подрадел он Мидасу; и намерение мое только все в том, чтобы он выиграл в этой тяжбе.

«Несколько раз проходя мимо здешних мест, видела я часто, что у тебя горит свеча, и заключила, что или ты мучим сочинителями, или сам собираешься мучить публику; и действительно заметила я, что ты пишешь, а мне такой-то человек и нужен, который бы имел великий дух одним присестом исчерчивать дести по две бумаги, не имея малодушия страшиться ругательств и зевоты неугомонных читателей.

«С сей ночи должен ты выходить в десятом часу, возвращаться домой в пятом пополуночи и записывать все то, что во время твоего выхода увидишь и услышишь; или бойся моего мщения: я женщина, и ты можешь быть уверен, что искусство отмщать мне небезызвестно. Слушай же, выбирай любое: если согласишься исполнить мое приказание, то я отдаю тебе во владение звезду Сириус; и хотя будешь ты от нее удален на миллионы земных поперечников, но я уверяю тебя, что жители ее, а твои подданные будут почитать и признавать тебя своим владетелем».

— Как! — вскричал я с восхищением, — так я сам там буду?..

— Нет, — отвечала моя гостья, — тебя там не будет, но я пошлю туда твою перчатку, которая будет так же свято почитаться, как ты сам, и все важные дела знатнейшие вельможи будут подписывать, надев ее на руку. Словом, ни одного дела не сделается, которое не было бы от твоего имени.

— Я вижу, милостивая государыня, — сказал я, — что вы хорошего мнения о нашем писательском ремесле и думаете, что произведения нашего воображения можно так же и отплачивать наградою по воображению. Но, признаюсь, я не столько прельщен мечтательным миром, чтоб пленяться обладанием Сириуса и чтоб, между тем как моя перчатка будет делать там великие дела, самому бы мне нравилось умирать здесь с голоду. И если всем моим товарищам писателям раздадут такие знатные королевства на воздухе, то для содержания наших величеств должно будет со временем выстроить пространную богадельню.

— Дерзкий человек! — вскричала богиня, — не смей смеяться над дарами богов и моли лучше их, чтоб жители Сириуса обожали твое имя (при сем взяла она мою перчатку) и чтоб вельможи как можно реже надевали эту перчатку для своей корысти и ко злоупотреблению. Если же ты заупрямишься вести записку ночных приключений нынешнего года, то вместо звезды Сириуса дам я тебе злую жену, которая у тебя в доме так же будет сильна, как твоя перчатка в Сириусе, и которая..

— Не продождайте! — вскричал я, — исполню вашу волю и всеми силами постараюсь заслужить награждение, которое приятно мне только тем, что избавляет меня от такого страшного наказания. Но как великому обладателю Сириуса надобно что-

нибудь есть и как он от своих подданных, смотря по качеству вельмож, которые будут пользоваться его перчаткою, кроме усердных похвал, ничего не получит, а моральная пища очень худо варится в физическом желудке, то позвольте мне хотя открыть обществу ночные мои приключения и возратить ему за наличные деньги то, что от него займу я украдкою.

— Печатай все, что увидишь, — отвечала она, — но берегись личности. Если, например, увидишь ты парнасского нищего, который, схватя вместо ножа свою оду, нападает с нею на первого денежного мимохожего и пересчитывает наугад достоинства того, кто едва по имени только ему известен; если увидишь ты, что он потеет над продажными похвалами и хочет переупрямить целый свет, навязываясь ему на шею со своими одами, в которых, наперекор здравому рассудку и истине, отводит он непременные кварталы добродетелям там, куда они заглянуть боятся, и ставит престол разуму в такой голове, в которой свищет сквозной ветер, то запиши это и скажи свое мнение; но не называй имени продажного писаки, а оставь для него на несколько букв порожнего места; и когда твой герой усовестится лгать, то пусть при первом покаянии подпишет под твоим описанием свое имя, с обещанием не гнуть вперед в дугу природу, рассудок и истину.

«Когда увидишь ты, что нежная красавица делает счастье милого себе человека и вступает с ним в супружество, не осмеливаясь подозревать, чтоб любовь его к ней исчезла, и когда узнаешь, что новобрачный сей философ за прежнее свое щегольское поведение осужден судьбою играть у молодой и прекрасной жены своей мучительское для него лицо Тантала, тогда вздохни о нем, пожалей о подобных ему молодых людях, которые женятся только для того, чтобы вводить во искушение непостоянства самых скромных красавиц. Но не называй его по имени, и пусть, позабывшись, первый он улыбнется, читая описание себя, между тем как прекрасная жена его вздохнет украдкою о том, что ее замужество построило ей замки на воздухе и что она от своих подруг почитается обладательницею такого блаженства, которого сладость известна ей по одному воображению. Вот мои правила: пиши так, чтобы всякий улыбался, читая твои описания, иные бы краснели; но чтобы на тебя не сердился никто».

— Милостивая государыня, — отвечал я, — сатира есть камень, которым бросают в кучу безумных: а вы знаете, что, брося камень в многочисленную толпу дураков, нельзя остеречься, чтоб в кого не попасть; итак, если кто осердится...

— Если кто осердится, то ты виноват; должно, чтобы никто не сердился, и сие-то есть искусство сатиры. Взгляни, например, на Антирихардсона: он в своем романе сердится на весь свет, а на него никто; он вместо досады возбуждает приятную зевоту... и самый щекотливый читатель заснет прежде, нежели успеет на

него рассердиться. Посмотри на мнимого нашего Детуша: он с театра сильною рукою нападает на зрителей; но как в его комедиях нет ни одного человеческого подобия, то ни один слушатель не принимает его сатиры на свой счет; и когда автор бранит Петербург, то часто думают, что он ссорится с Пекином. Природа дала ему ключ, как ладить с публикой; дело все в том, что его никто не понимает; а кого не понимаешь, на того грех и сердиться.

«Возьми в пример Баснобредова: он пишет целый век, бранит всех; но его никто не читает, сколько ни делал он объявлений о своих новостях; сколько ни печатал он своих сочинений, но никто не оскорбился его сатирую; ибо он успел первым своим сочинением столь обеспечить публику, что она никогда уже не любопытствует видеть и читать его новостей; итак, он может смело ругать весь свет, прежде нежели какая-нибудь живая душа о том догадается. Я помню, что он написал некогда прелезную и пренасмешливую комедию; признаюсь, я ожидала, что он не минует с кем-нибудь ссоры; но дело кончилось самым лучшим образом. Книгопродавец продал его комедию в овощной ряд с весу; все издание в короткое время расхватили по листам. Автор удовольствовал свой сатирический дух и при всем том в мыслях общества остался скромным писателем; хотя стоит только заглянуть в корзинку у первого разносчика, чтоб видеть, как ядовита его сатира.

«Пользуйся такими хорошими примерами: брани, если уже то необходимо для твоей желчи; но брани так, чтобы тебя никто не читал; и ты будешь в великом согласии с публикою. Прости, помни слова мои... и в сию минуту начни твою должность... два часа полночь: будь только прилежен, и ты не потеряешь время».

И в ту минуту она исчезла, а я, зевнувши раза два, три, встал с постели, ворча сквозь зубы, оделся на скорую руку, накинул на себя епанчу и пошел слоняться по улицам, дабы записывать истину, которая всегда доставляет главный доход ругательствами.

Вот, любезный читатель, в чем хочу я сделать тебе доверенность. Днем ты можешь спокойно сам замечать, что тебе встретится, а что делается ночью, о том я тебе буду тихомолком рассказывать, и после мы посмотрим: Ночи или Фебу принадлежит завидный на Олимпе венок из золотых ослиных ушей.

НОЧЬ I

Едва прошел я несколько шагов, как заметил карету и близ нее двух молодых человек, которые вынимали из нее веревочную лестницу. С великою осторожностью подошли они к одному богатому дому, кашлянули раза три, и с верхнего жилья спустилась к ним тоненькая веревочка, к которой прикрепили они свою

лестницу... и оную в минуту зачали встягивать наверх... Как я начитался довольно таких любовных новостей в романах, то и не почел это происшествие достойным примечания; а пожелав приятного сна мужьям и матерям, продолжал путь свой далее... и, миновав карету, пробирался подле стенки; как вдруг услышал у ворот того дома двух женщин, очень тихо разговаривающих.

— Ах, мадам Плутанвиль, — говорила одна другой, — они уже привязывают лестницу... мы едва не опоздали; хорошо мы вздумали, что оставили вверху Плутану, а то бы некому и лестницы было принять... Но признаюсь вам, что я робею от этого приключения, когда воображаю, что мне надобно будет слезать в теперешнюю темноту к моему любезному Ветрогону с такой вышины, то сердце у меня замирает.

«Вот странная прихоть! — сказал я сам себе: — всходить в третье жилье и лезть оттолк по веревочной лестнице к своему любовнику, тогда как она сама стоит от его кареты в десяти шагах. Надобно думать, что эта девушка жалуется околичности... но удовольствую свое любопытство и рассмотрю, что значит это странное происшествие...»

В сих мыслях возвратился я к карете, надеясь вывести что-нибудь от кучера, который один там остался. Едва услышал он близ себя шорох, происходящий от меня, как вступил со мною в разговор.

— Иван! не ко мне ли ты? — спрашивал он меня.

— К тебе, — отвечал я.

— Что делает барин?

— Барин еще должен дрогнуть с час на морозе: лестница коротка, и он приказал тебе бежать домой, принести другую веревочную лестницу и несколько веревок, чем бы можно было привязать ее к первой, а мне велел посмотреть за каретой.

— Чорт возьми все любовные приключения! — ворчал кучер, слезая с козел. — Этого мало, что я с час дрог для негодной француженки, которую бы променял я теперь за полный стакан вина; надобно еще, чтобы я околесил версты три!..

— Ты прав, — отвечал я, — но как же быть: надобно делать, что велят; а чтобы тебе не так скучно было, то вот, возьми этот рубль: ты можешь за него на дороге отогреться; мы еще успеем.

— О! когда так, — сказал с радости кучер, — то с таким хорошим товарищем готов я обегать весь Петербург, лишь бы было мне чем во всяком кабаке учредить станцию.

После того бросился он от меня, и в пяти шагах не было уже его видно за темнотою.

«Начало прекрасно! — рассуждал я сам в себе. — Одного уже нет; и если успею я так же проворно отправить и последних, то немудрено мне будет дать случай сбыться пословице: «орлы

дерутся, а молодцам перья». Может быть, еще удастся мне сделать доброе дело и спасти честь этой девушки, зашедшей, что легко станется, невинно в сети, расставленные ей плутовством француженки и богатством господчика, который с помощью набитого кошелька, как Язон с помощью Медеи, похищает это новое руно».

— Опомнись, — вещал мне рассудок, — с каким намерением выпшел ты из дому? Ты хочешь нападать на порок; а едва отошел пять шагов, как сам делаешь шалости.

— Кричи, что хочешь, господин рассудок, — отвечало сердце, — а у меня есть своя маленькая философия, которая, право, не уступит твоей. Твой барометр измеряет сухая математика; но мой барометр не менее справедлив в своих переменах...

— Прекрасно, любезное сердце, прекрасно! и если твоя философия не столь глубока, то по крайней мере она заманчива и приятна... и я отныне с пользою буду наблюдать, когда опускается и поднимается твой барометр...

— Что это за чудный барометр? — спросишь ты, любезная читательница.

— Это, сударыня... но ты краснеешь... нежная грудь твоя трепещет и напрасно старается удержать томный вздох... Ах! если б не было тут твоей бабушки или тетушки, то бы, потупя глаза и со скромною стыдливостию, давно бы сказала ты, что это... любовь...

— Любовь!.. к незнакомой женщине, которую никогда не видывал ты в глаза?..

— О! если вы не верите, сударыня, то загляните только в романы: вы найдете там тьму страстных любовников, которые не видывали в глаза друг друга; загляните в элегии: вы найдете, что поэты прежалко воспевают любовь свою к красавицам, которых случалось им видеть разве во сне, и пишут пристрастные письма к несравненным прелестям, которые родятся в их чернильницах и умирают в книжной лавке на полках. Итак, вы видите, что ничего нет легче, как влюбиться в совершенства такой особы, которой на свете не было. Что до меня, то один голос моей незнакомки разлил по моим жилам электрический огонь; а воображение приятности ночного приключения довершило дурачество мое сделаться героем такого романа, в котором должен бы я был играть эпизодическое лицо мужа. Правда, совесть меня упрекнула, что я срываю с вилки у ближнего кусок, совсем мне не принадлежащий; но кто в сем свете работает на себя?

Крестьянин потеет и трудится целые годы, чтобы выплатить колесо богатой кареты или пуговицу с кафтана своего господина Промотова, которых он никогда не увидит. Судья высасывает у челобитчика набитый кошелек для того, чтобы жена его нарядила в обновку капитана Хватова, молодого его соседа. Неустрашимый офицер Храброн дерется для того, чтобы щеголеватого

его товарища Юлу, племянника его сиятельства Дурындина, называли храбрецом. Толстый Безмозгов платит богато прекрасной своей Неотказе, не воображая, что его щедростию пользуются человека четыре молодых подлипал, не включая в то число Неотказина волосочёса, кучера и егеря. — Вот сколько примеров собралось у меня тогда на оправдание моего поступка; итак, для чего же мне не пользоваться тем блюдом, которое не для меня готовится?.. На свете сем все, как повара, суетятся и готовят кушанье для других; между тем как сами хватают с таких блюд, которые нечаянно попадают к ним под нос. В таких-то размышлениях подкрадывался я к ночному похитителю. Ударило час, и я услышал у него со слугою следующий разговор:

И в а н. Еще час бьет, сударь, и нам по условию остается ждать битых полчаса...

Б а р и н. Ах, если б ты знал, Иван, как мне время длинно кажется!..

И в а н. Верно не так, как мне, сударь... признаюсь, я очень неохотно вдаюсь в такое приключение, от которого кроме худа ничего нам ждать нельзя.

Б а р и н. Если избегать худа, то ни в одно приключение нельзя вдаваться. Что до меня, то я всегда на мои предприятия смотрю с одной доброй стороны. Теперь, например, я одним тем занят, как моя милая Жанета пылка, влюблена, прелестна, невинна...

И в а н. О красоте я ни слова, сударь: в любви, как в кушаньи: иной любит кислое, иной соленое, и трудно уверить, что лучше. Но что до невинности, то я соглашусь скорее искать смыслу в Антирихардсоновых романах и остроты в комедиях мнимого Дегуша, нежели искать невинности во французской лавке... где...

Б а р и н. О! да ты еще и в учености вмешиваешься... Но послушай, у меня страшная охота бить разумных людей; итак, не советую тебе никогда при мне влетаться в рассуждения, для того что это совсем не ваше дело.

И в а н. Почему ж, сударь?

Б а р и н. Почему... почему?.. У меня есть на это хотя тонкие, но гибкие доказательства...

И в а н. А! а! понимаю: вы говорите про палки... и признаюсь, что убедительнее Руссо доказываете мне вредность наук... Оставим же этот разговор: я не охотник до ученых споров... и станем лучше говорить о том, что к нам ближе. Скажите, например, к чему вам вздумалось вести любовь свою такими околичностями и обижать честную мадам Плутанвиль, похищая у ней украдкою такой товар, которым эти честные мадамы расторговываются более, нежели модными шляпками?

Б а р и н. Какое дурацкое сравнение! неужли ты думаешь, что и моя прелестная Жанета, так же как и ее подруги французенки,

не отличает своих прелестей от продажных лент и булавок?.. Грубо ошибаешься, друг мой! Если бы ты знал, как за нею прилежно волочились Промет и Голосум...

И в а н. Станется... Я и всегда был уверен, что против безденежных волокит нет добродетельнее женщины, как ваша Жанета и ее подруги. Если бы не почла она вас богатым, то поверьте, что никогда не поколебали бы вы ее целомудрия...

Б а р и н. Не должно, мой друг, так грубо рассуждать о женской добродетели...

И в а н. О! добродетель женщины по моде так же тверда, как стекло, которое никакою острою бритвою, кроме алмаза, не разрежешь... Да скажите мне: куда вы намерены девать вашу Елену, не имея ни полушки денег? Разве хотите вы уморить ее с голоду и дать случай писателям к новому роману?

Б а р и н. Лишь бы удалось мне увести любезную Жанету, и мы с нею докажем, наперекор всему свету, что и во французских модных лавках есть предобродетельные женщины...

И в а н. Сомневаюсь, сударь: ныне не такой век, чтоб чудесам верили. Но скажите, не совестно ли вам изменять прелестной вашей Вергушкиной, которая теперь одна поддерживает ваш блеск на счет любезного своего супруга...

Б а р и н. Куда как худо толкуешь ты любовь! По твоему мнению, она должна быть так же тверда и постоянна, как старинное супружество, чтобы наскучить в две недели. Пустое, мой друг! Любовь как смородина, которую как бы ты ни жаловал, но она в шесть минут набьет тебе такую оскомину, что ввек на нее не взглянешь, если не возьмешь предосторожности употреблять ее реже. Измена и неверность, мой друг, есть ключ к сохранению модной любви, и для того-то я знаю много супружеств, которые продолжают в добром согласии только для того, что супруги не скучают друг другу безотвязною верностью. Но я слышу, что вверх кашлянули... приготовимся принять Жанету.

Услыша это, отошел я от них и ожидал, чем кончится приключение. Сперва мне пришло в мысль самому сесть на козлы и отвезти к себе Анжелику. Но как я не надеялся управиться с лошадьми, то едва было не отказался от моего предприятия, если б нечаянная встреча не подала мне помочь. Я увидел, что шагах в пяти от меня бродит человек, который не отходил от того места и, кажется, хотел быть свидетелем происходящего приключения.

— Друг мой, — сказал я ему, — не занят ли ты чем и можешь ли оказать мне услугу, за которую тебе дано будет на водку?

— Охотно, сударь, — отвечал он, — я сторож этого дома и хожу по очереди около него; но это такая должность, за которою еще десять могу я отправить. Что вам угодно?..

— Мой барин сговорился уйти с одной девушкой...

— Не из этой ли французской лавки?

— Точно так.

— Не Жанетою ли ее зовут?

— Ты угадал...

— А барина твоего Вертушкиным?

— Правда... Да ты почему все это знаешь?

— О! я часто видал, как они перебрасывали друг другу письма, и уже ожидал, что из этого выльется что-нибудь доброе.

— Эта мысль требует еще подтверждения, — отвечал я. — Но выслушай же мою просьбу. Жанета скоро спустится к нам, а кучер наш ушел, и, верно, в кабак; барин про это узнал и грозит уже наградить его палочным увещанием. Так не хочешь ли ты, когда я тебя через минуту позову, сесть на его место, не говоря ни слова, и отвезти нас к *** мосту в дом ***?

— Охотно, боярин. Я очень люблю править лошаадьми и рад случаю вам подслужиться...

В ту минуту подошел к нему один человек.

— Ну, Сидорыч, — сказал он моему новому знакомцу, — долго ли нам дрогнуть? Мои товарищи; восемь человек, все от морозу зубы повыколотили, и нам бы теперь не худо руки погреть...

— Подите домой, братцы, — отвечал дворник, — вы мне более не надобны...

— Как не надобны? Разве не станут в нынешнюю ночь...

— Ну, слышите ль, вы мне не нужны, — прервал дворник с досадою, — дело без вас обойдется...

— А кто же заплатит нам за то, что мы всю ночь стерегли?

— Приходите завтра ко мне: я заплачу вам так точно, как будто б вы все сделали. Поди же и скажи товарищам, чтоб они разошлись, а Семену скажи, чтоб он с лошаадьми поехал домой... понимаешь ли?..

— Понимаю, — отвечал другой и скрылся от нас...

— Что это значит? — спрашивал я со смятением дворника, — к чему собраны были у тебя все эти люди?

— Это ничего, боярин, — отвечал он. — Мы узнали, что в нынешнюю ночь соседские лакеи собрались ограбить моего хозяина, и для того-то запаслись мы маленькою засадою, чтоб сделать добрый отпор и переломать им руки и ноги; но как теперь уже время, назначенное для этого посещения, прошло и они, видно, узнали, что здесь взяты предосторожности, и для того отменили свой поход, то я распустил своих товарищей.

— Но к чему же этот человек с лошаадьми? — спрашивал я его.

— О! он был приготовлен, чтоб в случае нужды гнаться верхом за этими буйнами; но дело все кончилось благополучно, и опасаться нечего. Да и правду сказать, лучше мне трястись за деньги на козлах, нежели даром дрогнуть у ворот на улице и стеречь, чтоб не обокрали моего барина, к которому к самому

надобно бы было приставить караул и смотреть за ним, чтоб он не грабил бедных челобитчиков, на счет которых выстроены эти палаты.

— Стой же, мой друг, и дожидайся меня! — сказал я ему, — а я пойду, и когда время придет, то тебя позову.

Потом от него возвратился я к моим похитителям, расположившись в мыслях, как должно случиться делу.

Я подходил, когда уже невинная Агнеса спускалась. Кстати бы здесь было поместить все восхищения любовников, но они и в комедиях мне наскучили, и я чрезвычайно обрадовался, когда в некоторой новой комедии увидел, что автор двух любовников обвенчал, не дав им ни слова сказать друг другу о любви. Что до меня, то и расслушать мне у моих любовников ничего было не можно, ибо все дела происходили тихомолком.

Уже наша чета приближалась к карете, когда заметили, что нет кучера.

— Бездельник этот, верно, где-нибудь пьянствует, — говорил сквозь зубы волокита.

— Бога ради, говорите тише, сударь, — шептала красавица, — если услышат вверху этот шум и мадам Плутанвиль догадается о моем побеге, то я погибла: у нас честь очень строго хранится... Подите лучше за вашим человеком и постарайтесь поскорее его отыскать, а я останусь у кареты и подожду вас здесь.

«Вот неробкая героиня! — подумал я сам в себе, — кажется, эта девушка уже давно привыкла к ночным приключениям».

Едва отошел он от своей Анжелики, как я бросился к подготовленному дворнику.

— Ступай, мой друг, — сказал я, — не надобно терять времени, садись на козлы, притворись пьяным и скажи только, что ты отогревался в ближнем трактире, а между тем вези нас, куда я уже тебе сказал.

— Поверь, барин, что я дело кончу так проворно, как ты не думаешь, — отвечал он и после того бросился на козлы, а я подкрадывался за ним, притворяясь, как будто потерял дорогу.

— Любезная Жанета, здесь ли ты? — спрашивал я.

— Здесь, — отвечали мне тихоно, — кучер твой пришел; но, кажется, он пьян: я не расслушала, что он пробормотал... с тобой ли твой человек?

— Его нет, любезная Жанета, для того что я строго запретил ему возвращаться без кучера, а он долго его проищет, так лучше поедем одни; он и без нас умеет домой воротиться... — и я тотчас отворил дверцы, посадил красавицу, вскочил за нею в карету, затворил за собою дверцы и велел кучеру скакать домой, не заботясь о том, охотно ли к себе возвратится мой несчастливый со-
вместник пешком и без любовницы, которую уже почитал он верною в своих руках.

Едва ударили по лошадям, как моя скромница зачала хохотать во все горло; голос ее показался мне знакомым.

— Чему ты так хохочешь, душа моя? — спрашивал я ее.

— О! это ужасно смешно, — кричала она, — когда я воображаю, как рассердится старая моя мадам Плутанвиль, не нашед меня в моей комнате. Скажи мне, мой ангел, не щегольски ли мы ее провели?..

— Боже мой! это ты, Маша? — вскричал я.

— Ах! Мироброд,¹ негодный!.. каким странным случаем? Я не знаю, радоваться ли я должна или сердиться за нашу нечаянную встречу? Какой дьявол занес тебя в эту карету, когда, не видясь с тобою года три, я менее всего тебя тут ожидала...

— Каким образом встретила ты мне, когда и в ум не приходило, чтоб моя милая Маша составляла свиту французской уборщицы?..

— Каким образом превратился ты в похитителя?..

— Как переродилась ты из русской горничной девушки во французенку, не имея понятия о французском языке?

— О! мои приключения не чудны. Вскоре после того, как мы с вами расстались, барышня моя ушла с одним молодым офицером, чему много помогла французенка, ее учительница, которая подговорила также ее увезти из дому много бриллиантов и денег. Я, как проворная девушка, тотчас смекнула намерение французенки и ни денег, ни алмазов не выпускала из своих рук, так что французская плутовка, наконец, открылась мне, русской, в своих намерениях, для которых она и барышню мою подговорила к побегу; и мы оставили влюбленную эту чету без денег и без вещей на попечение судьбы, питаться одною взаимною страстью, и уехали в здешний город, где моя учительница завела французскую модную лавку на счет моей барышни; а как ей нельзя от меня отвязаться, не опасаясь от меня мщения, то я по необходимости сделалась первою ее подругою, и мы с ней торговали пополам очень удачно, пока не влюбилась я в молодого Вертушкина и хотела пожертвовать ему моим счастьем и...

— Плутовка! — вскричал я, захохотав, — я был свидетелем всего вашего ночного приключения; и когда еще, возвращаясь домой с твоей французенкой, говорила ты с ней у ворот, то я все слышал и заключил справедливо, что ты влюблена, да только не в Вертушкина, а в его деньги.

— Ты демон, а не человек, — отвечала моя красавица, — от тебя ни в чем утаиться нельзя, и я вижу, что тебе во всем

¹ Г. читатель может здесь видеть, что герой этой повести — Мироброд и издатель ее — Крылов суть два разные лица; но последний будет всегда доволен, если публике понравится первый. *Примечание типографщика.*

признаться надобно... Повеса! — продолжала она, — выслушай все и ты увидишь, что я доныне от тебя никакой тайны не имею.

«Если бы модные торговки жили одними уборами, то бы не вывозили так много денег в чужие края; но главный торг их состоит в том, чтоб украшать не одних женщин, но часто и мужей оных, которые иногда, не подозревая, отпускают своих жен в модные лавки себе за головным убором. Притом же эти честные француженки нередко доставляют случай молодым девушкам видаться со своими любовниками и за это берут порядочную пошлину. Этого не довольно: они держат у себя в лавке много молодых учениц, с тем чтоб приманивать волокит, и мнимую строгостию и препятствиями своим девушкам увеличивают желания воздыхателей, а когда увидят, что надобная минута наступила и кошелек любовника туг, тогда из-под руки дают своим девушкам согласие на побег; и таким образом вдруг получают и деньги и остаются с добрым именем; ибо таких похищений не смеют приписывать на их счет, видя, что они сами более всего за то шумят и жалуются».

— Прекрасная выдумка! — сказал я. — Итак, моя любезная Маша...

— Твоя любезная Маша, — вскричала она, захохотав, — под покровительством модной уборщицы теперь имеет честь в восьмой раз представлять невинность...

— Я любопытен видеть, искусная ль ты актриса, Маша. Но карета остановилась, войдем ко мне, и будь уверена, что твоя невинность здесь в такой же безопасности, как и во французской лавке.

Дверцы каретные отворились, и едва успел я выскочить, как ударили по лошадям, закричали:

— К Обухову мосту! —

и кареты стало не слышно. Любезная моя Маша с ее невинностью и уже конченное почти приключение — все исчезло, как приятный сон, и я очутился в руках мощного повесы, который, сказав мне, что от моего молчания зависит моя жизнь, толкнул меня на двор и запер за собою ворота.

Тут мягкая и нежная рука схватила мою руку, и женский голос сказал мне, чтоб я более всего стерегся сделать шуму.

— Барыня уже вас ожидает, сударь, — говорила мне моя предводительница. — Ах! если б вы знали, в каком она смущении...

— Я и сам в неменьшем беспокойстве, — отвечал я тихонько и дрожа от страха.

— Бога ради, — продолжала она, — постарайтесь ее утешить... Но не правда ли, что мы щегольски вас увезли и умели в пору разорвать вашу любовь с этою негодною беглянкою, про которую я уже все развела? Но оставим этот разговор: вы,

конечно, простите моей барыне то, чему одна любовь ее к вам причиною... или она умрет с печали, бедная!.. Но теперь более всего опасайтесь кашлянуть и говорить громко; если барин проснется, то мы все попадемся в такие хлопоты, из которых трудно будет нам выдраться, и вы можете легко потерять ребра четыре.

После такого утешительного предуведомления вела она меня через долгие сени, не говоря ни слова, и мы прошли тихомолком большой ряд комнат, а наконец остановились в восьмой или девятой.

— Останьтесь в этой уборной, — сказала она мне, — барыня тотчас к вам выдет; впрочем, бояться вам нечего: уборная эта вам, верно, знакома.

При сих словах пожалала она мне руку, дала горячий поцелуй и оставила одного размышлять о странности моих приключений.

«Где я?.. Каким образом сюда попался?.. Зачем с такою скоростью умчали мою невинную Машу?.. Кто все это шутил?.. И как выйду я из дому, не смея сделать ни шага и не зная расположения комнат, коих прошел такое множество?..» — Вот сколько вопросов задавал я сам себе, и смущенный мой рассудок ни на один из них не был в силах сделать ответа.

Правда, я ждал к себе женщины, и приключение могло кончиться для меня не слишком бедственно; но страх, что всякую минуту я могу быть узан и побит, делал меня почти неспособным ощущать предстоящее благополучие... Тогда-то вспомнил я некстати нанятого мною кучера и его товарищей, которых распустил он, как ухватился за случай взмоститься на козлы, — словом, у меня родились тысячи догадок, из которых одна другой была хуже...

— Если все это приключение, — прошептал я, вздохнувши, — кончится на моих боках, то надобно отдать мне справедливость, что я самым искусным образом придрался к случаю быть побитым.

Когда таким образом, оставленный один в темной комнате, размышлял я, который бок выгоднее подставить неприятелю, если появится каменный град, то услышал, что дверь тихонько отворилась и женщина, легкая как самый зефир, приближалась ко мне осторожными шагами.

— Милый и неверный Вертушкин, — говорила она тихонько, схватя меня за руку, — изменник! ты, который и самую свою ветреностию умеешь к себе привязать, смотри, какой опасности я для тебя подвергаюсь, и когда ж! — в самую ту минуту, когда ты мне изменяешь, я тебе жертвую своим спокойствием... и именем. Хочу говорить с тобою с тем, чтобы, разбрана тебя, расстаться с тобою навсегда, и чтобы обезоружить опасные твои глаза, нарочно приготавливаю явление это в темноте; уже я думала, что ты безо-

ружен, но ах! — лишь только коснулась до тебя, как чувствую, что приятное мление объемлет все мои члены. Ноги мои подгибаются... я дрожу... любезный повеса! Ах! я чувствую, что в твоей воле, не говоря ни слова, получить от меня прощение...

При сих словах она своими мягкими и нежными руками сжимала крепко мои руки; я чувствовал, что слабое трепетание отнимало все ее силы; она оперлась на меня и, конечно, не сдержала бы себя на ногах, если б я не поддержал ее, обхватя тонкий и стройный стан ее моими руками; сердце ее билось изо всей силы, и мое отвечало ему подобным трепетанием; пламенная грудь ее, то опускаясь, то воздымаясь до моих уст, изображала смущенное состояние ее души, — мое воображение довершало начертывать совершенства сей женщины, коея прелестями восхищался я по одному осязанию. Я не знаю, каким образом то сделалось, горячие уста наши сплелись и, кажется, друг у друга занимали дыханье; оно перерывалось беспорядочными вздохами. Мы уже дышали друг другом, но все еще, казалось, нечто нас разделяло; сердца наши, отвечая друг другу согласным трепетанием, составляли одно сердце, которое разливало по нашим жилам один огонь и одинакие чувствования.

— Постой, что хочешь ты начать? — сказала мне смущенная моя незнакомка.

Никогда любопытство женщины не было более некстати, как в сей раз.

— Ах, сударыня! — шептал я ей тихонько: — разве не знаете вы мою страстную любовь...

— Повеса! — отвечала она мне, — ты все так же запрямчив и ветрен: или позабыл ты, что в соседней комнате спит мой муж, которому может легко показаться подозрительным наше свидание, и хотя при всей своей молодости и пригожестве он менее пятидесятилетнего старика вправе жаловаться на неверность жены, со всем тем с удовольствием выбросит за окно того, кто вздумает быть его Созиею. Яснее тебе сказать: муж мой из числа тех причудливых зайк, которые, на муку своим слушателям, хотя по три часа заикаются над всяким словом, но со всем тем сердятся, если кто вздумает за них изъясниться. Итак, ты должен меня оставить, и пусть будет это служить наказанием за твою ко мне измену.

— Сударыня! неужли вы так мстительны?

— О, конечно! Или ты думаешь, что твое дурачество должно остаться без наказания? Поверь, что нет: я решилась до завтрашней ночи на тебя сердиться. Итак, если ты хочешь сделать со мною мир, то будь завтра в маскараде в белой домине, в полной черной маске и в перчатках того же цвету; и когда увидишь там в таком же приборе мужчину, то подходи смело к нему — это буду я; а чтоб избавиться от всякой опасности, то мы поедем к тебе ужинать и заключим там торжественный мир.

— Но ваш муж?

— О, мой муж так много занят в свете, что он и за тем не смотрит, что сам делает: так ты можешь поверить, что ему некогда заниматься трудною обязанностию — присматривать за верностью жены. Прости, милый ветреник, мне некогда с тобою более говорить: я боюсь, чтоб муж мой не проснулся. Я уже сказала, что он не будет столь умен, чтоб жаловаться на себя. Но всю вину возложит на нас и подвергнет меня опасности видеть тебя изувеченного. Прости!

С сим словом оставила она на устах моих горячий поцелуй, и я уже не слышал ее боле. В ту минуту подошла ко мне моя прежняя проводница.

— Довольны ли вы, сударь, вечером? — сказала она мне.

— Не совсем, — отвечал я, — прелестная твоя госпожа все еще на меня сердится.

— О, так, конечно, вы перед нею виноваты!..

— Как, после такого долгого свидания!..

— Ах! я по всему вижу, что и мне еще рано перестать на вас сердиться. Подите же и будьте готовы хотя завтра исполнить, что вам приказано. Желаю только вам лучших успехов для будущего вечера, нежели какими сегодня можете вы похвалиться.

Я слышал, что плутовка смеялась тихонько при сих словах, и после того проводила меня прежнею дорогою за ворота, пожелав мне сонливого дня и потом веселой ночи.

Сколько мыслей, сколько рассуждений и догадок зачало тесниться в моей голове! На всяком шагу встречалось что-нибудь новое моему воображению.

«Кто эта женщина? — спрашивал я сам себя: — кто эта несчастная, которая, как кажется, вышла за одну живопись, и кто этот презренный муж, который, вместо того чтобы принести своей жене новое пылкое сердце и хорошие нравы, растерял свои чувства на приманчивые прелести, прибыточные своею нежностью одним аптекам, и который вступил в супружество тогда, когда уже он умер для супружества?»

В таких-то важных рассуждениях пробирался я домой и подслащивал их распоряжениями, как бы лучше завтра кончить свое намерение, или, лучше сказать, я бранил дурачества других и собирался, если можно, умножить их глупости нелым ноликом. Таков человек, любезный читатель: нередко у того бутылка с вином в кармане, кто проповедует трезвость. Наконец дошел я домой. Заря уже начинала заниматься, и я едва доплелся до постели, то, утомленный моими размышлениями и приключениями, предался сну, занимаясь воображаемыми прелестями милой моей незнакомки.

Любезные мои собратия, подольные жители Парнаса! Вы, которые в своих сочинениях прицепляетесь ко всякому случаю

видеть сон, — сонливые подлипалы муз, — уже вы ожидаете от меня какого-нибудь свидения, и признаюсь, что случай для этого не худ: зря, любовь, страх, надежда, женщина — все это вместе могло бы составить нечто изрядное; но подивитесь моей скромности: в этот раз ничего не видал я во сне.

НОЧЬ II

Одиннадцать часов пополудни ударило, и я уже был в маскараде. Какое это поле для сатирика, который прицепляется ко всякому случаю побранить людей! Гораций, Ювенал и ты, Боало, я бы желал воскресить вас на два часа и дать вам билет в наш маскарад: какое бы это было прекрасное блюдо для вашего острого пера! Там бы увидели вы верченую шеголиху, привлекающую за собою толпу волокит; вы бы увидели, как выставляет она свою тоненькую ножку, подбеленные ручки; как возбуждает во всех любопытство узнать ее и не смеет снять свою маску, для того что она лучше ее лица. В другом месте попался бы вам искусный плут, который под приятною личиною, надеясь не быть узнан, несет карты — сей ножик разбойников высокого света, и хочет погубить бедного простачка, виноватого перед ним только тем, что он, по легковерию своему, почитает его честным человеком. Тут бы попался вам в ямском кафтане счастливый шут, и вы бы увидели, как он своими кривляньями старается веселить целый маскарад, чтобы только заслужить улыбку какой-нибудь важной дамы. Вы бы, может быть, подумали, что это обезьяна в ямском кафтане: совсем нет, это — повелевающий четверкою почтенный Низкосерд, счастливый только тем, что он часто надевает кафтан ниже своего состояния, а сердце имеет ниже кафтана. Вы бы увидели, как Антидетуш, наряжаясь ребенком, с гордою скромностию носит под пазухою азбуку, и, может быть, посоветовали бы ему с нею познакомиться поболее, прежде нежели он опять примется за любимую свою работу раздирать зевотою рты у своих благоклонных слушателей. Одним словом, вы бы множество нашли там придинок побранить прекрасно шалости людей и, не прибавя им ума, прибавили бы, конечно, себе славы. Что до меня, то мне некогда было цепить посторонние дурачества: я бегал по всему маскараду, чтобы сыскать мою прелестную незнакомку в белой домине с черными перчатками, и лишался уже надежды, не находя ее нигде, как вдруг маска, одетая дьяволом, взяла меня за руку.

— Bravo! любезный Мироброд, bravo! — вскричала она, — уже ты щипе записался в большой свет, уже шатаешься по маскарадам — прекрасно! О! я, несмотря на твои нравоучения, всегда думал, что в тебе прок будет...

— Тихе, государь мой, — отвечал я с сердцем, — вы позабыли правило благопристойности маскарадной и называете громко меня по имени...

— Тьфу, к чорту, да это уже и любовным приключением пахнет. Ну, ну, в добрый час, успехов вам желаю. Правда, что ты меня принял холодно; это, право, бессовестно не узнавать старых своих знакомых, признаюсь, что я сам виноват: я немножко курнул и совсем не так начал с тобою разговор. Ведь ты, верно, не узнал меня?

— Вы это точно так же угадали, как мое имя.

— О! что до твоего имени, то я не угадал его, а видел, как ты у буфета выпил украдкою стакан лимонаду, и тотчас узнал тебя, старинного моего приятеля.

— Очень рад свиданию, прошу только не мучить долее мое любопытство и сказать...

— Кто я, не правда ли? Признайся, что в дьяволах ты пикогда бы не узнал твоего Тратосила...

— Тратосил! — вскричал я, — это ты?.. Давно ль ты здесь, в городе? Признаюсь, что я желал бы многое с тобою переговорить, но теперь, как ты угадал, я занят любовным приключением, и ты сделаешь крайнее одолжение, когда приедешь ко мне.

И я тогда же рассказал ему, куда ко мне приехать.

— Будь уверен; — говорил он, — что ты скорее меня у себя увидишь, нежели думаешь. Но теперь я тебе не мешаю: ночь всю пропылю за зорливие твоей красавицы. Согласись, любезный друг, что ничего нет приятнее...

— Я на все соглашаюсь, — отвечал я, увидя вдали надобную мне маску, — только с тем условием, чтобы ты меня теперь извинил и оставил бы одного.

— Боже мой! неужели ты думаешь, что я тебя не понимаю? Оставайся с покоем (маска давала мне знак рукою), нельзя ли только слова два, три...

— Никак нельзя, прощай!

— Прощай, любезный Мироброд!.. Э, стой! я позабыл тебе сказать новость: ведь у меня ныне есть прекрасная аглинская карета...

— О, что мне нужды, безотвязчивый человек...

— Да знаешь ли, как я ее достал?

— За деньги.

— Это правда, а деньги-то почему?

— Потому что ты сделан судьбою.

— А судьбою-то я отчего?

— Оттого, что ты женился... Негодный человек! да отвяжешься ли ты?

— Ха, ха, ха! так ты все знаешь; так прости ж...

И я, уже ни слова не отвечая, бросился от него к своей домине, предавая проклятию всех досадчиков в свете.

— Ах, сударыня!

— Говорите как можно тише, — прервала моя незнакомка, крича мне странным голосом: — я боюсь, чтоб нас не узнали. Мне сказали, — продолжала она, наклонясь, мне на ухо, — что муж мой будет здесь, переодетый так странно, что его нельзя узнать. Я не понимаю, что это за намерение, только оно для нас не совсем безопасно; но мы хорошо сделаем, если скорей отсель выедем.

— Да чего ж вам бояться? — отвечал я, — разве муж ваш знает, в каком вы платье?

— О! конечно, нет; это бы было дурачество с моей стороны; но со всем тем у наших мужей в таких обстоятельствах нос бывает иногда очень некстати чуток...

— Продолжай, любезный друг, продолжай, — говорил мне кто-то на ухо, — желаю тебе веселых часов.

Я оборотился посмотреть, что это, и увидел моего докучливого дьявола вполпына, который не отставал от меня. Вообразите мое бешенство! Я хотел уже с ним браниться, как он перервал речь мою в самом начале.

— Не беспокойся, — говорил он, — я тебе не хочу мешать. Ах! уже лет пять, как я стал так скромн, что никому не мешаю в любовных делах, и мое сердце...

— Если оно у тебя хорошо, так ты должен меня оставить...

— Признайся, что это грубо, — отвечал он, — но влюбленному я все спускаю. Прости ж, мы скоро увидимся. Мне очень хочется узнать, счастливо ль ты кончишь свое приключение?

После сего он скрылся от меня в толпу масок, и я его не видал более.

— Если все дьяволы так умеют мучить, — сказал я с досадою, — то надобно признаться, что ад ужасен!

— Поедем отсель, любезный Вертушкин! — говорила незнакомка, — за нами, может быть, присматривают, и мы очень хорошо сделаем, если убежим от глаз любовных дозорщиков.

— Я вашего мнения.

Мы тотчас оставили маскарад, и я, посадя ее в свою карету, велел скакать ко мне домой.

«Теперь-то уже ничто не помешает мне владеть моею Еленою», — думал я сам в себе.

Увы! любезный читатель, ты увидишь, захотела ли судьба оправдать это радостное восклицание.

В нетерпеливости подъезжаю и к дому.

— Разве ты уже переменил свою квартиру? — спрашивала меня моя любезная незнакомка.

— Вы это все тотчас узнаете, — отвечал я и в ту минуту вхожу с нею в комнату. Мы скидаем наши маски; нам подают свечи, и... небо! Кого бы, думаете вы, увидел я в моей комнате? — Того

самого дьявола, который не давал мне отдыха во весь маскарад; он спал без маски, сидя в комнате у меня на канapé. Я оборотился к моей незнакомке и еще более смутился, увидя ее положение: она взирала с ужасом то на меня, то на злого нашего духа; глаза ее помутнились; она начала бледнеть; я уже хотел кричать помощи, как она сказала тихонько, трепеща:

— Ах, сударь! я вижу, что я обманута, и прощаю вам все; только ради бога не кричите: это мой муж! О небо! как я обманута!

И бедная красавица, конечно, упала бы в обморок, если бы случился близко ее стул; в самую ту минуту проснулся наш злой дух, который, кажется, заклят был адом не давать нам покоя.

— Ба, да ты уже дома, любезный Мироброд! Признайся, что я сдержал свое слово и не замедлил обрадовать тебя своим посещением. Только этот маскарад и вино дьявольски вскружили мне голову! Ну, скажи же мне, как кончил ты свое приключение? Ба! да что я вижу! — продолжал он, протирая глаза: — это кто с тобою?

Обманна (*весело*). Капитан Хватов к вашим услугам, который, в армии получа письмо, что сестра его вышла замуж за г. Тратосила, приехал сюда ее видеть.

Тратосил. Чорт меня возьми, если сегодняшний вечер для меня не самый счастливейший. Да знаете ли вы его в лицо?

Обманна. Совсем нет; и для того-то (*указывая на меня*) я просил наперед моего приятеля, чтоб он со мною к нему поехал.

Тратосил. Это я, любезный Хватов, это я, твой зять! Только, чорт меня возьми, ты так похож на твою сестру, что я бы в состоянии был наделать великих дурачеств, если бы, к чести вашего и нашего дома, не знал, что это вторая Лукреция.

После того они зачали крепко обниматься и строить друг другу тысячи приветствий.

— О женщины! — говорил я тихонько, — чье перо в состоянии хотя слабо списывать все те обманы, которые пылкое воображение вам изобретает в минуту?

Но станем продолжать наш разговор.

Тратосил. Итак, скажи ж, мой любезный Хватов, надолго ль ты здесь?

Обманна. Я отпущен на двадцать на девять дней, и уже срок моему отпуску так близок, что мне должно через день неотменно выехать. Я хотел только увидеть вас и мою сестру, ибо мне из деревни писали, что вы поехали сюда в город, и для того я прямо из армии пустился сюда.

Тратосил. О! мы еще с тобою успеем в это время опорожнить бутылку дюжины две, три шампанского. И, чорт меня возьми, нам надобно крепко познакомиться: я думаю, что мы рождены друг для друга!

Обмана. О! я того же мнения, и для того-то вы позволите мне обходиться с собою без чинов.

Тратосил. Да, да, без чинов! Поедем же к тебе на квартиру, и если у вас есть хоть бутылка чего выпить, то мы так плотно познакомимся, что вечно останемся друзьями.

Я. Перестань, любезный Тратосил, ты видишь, что он ослабел: ему нужен покой.

Обмана. Это правда, я очень много ходил. *(Мне, тихо.)* Ради неба, скажите своей карете, чтоб она со мною ехала. *(И я в ту же минуту исполнил ее волю.)*

Тратосил *(мне, взяв Обману за руку)*. Ну, так поедем же к нему, любезный друг, уложим его в постелю, спросим пуншу и просидим у него всю ночь: нам не меньше от того будет весело...

Я. Разве не можешь ты в другое время?..

Тратосил. Нет, я так рад, что не хочу ни минуты тратить, а притом же я таков, что меня иногда в год не заманишь. Итак, надобно ловить меня в ту минуту, когда расположен я где быть, если не хочешь упустить меня года на два.

Обмана. Но теперь, любезный друг, я так плотно утомлен маскарадом, что не в силах вас угостить. Этот проклятый маскарад!..

Тратосил. О, этот маскарад — бич на молодых людей, и для того-то жена моя никогда их не любит. Посмотрел бы я, как бы ее кто вздумал заманить в маскарад! Она прочтет столько нравоучений, наскажет столько от печатного... О! твоя сестрица — настоящий проповедник!.. Только знаешь ли ты, как она на тебя похожа... Если б мы не ждали тебя сюда и если б не рассказывала она мне часто, что ты на нее похож, то бы, ей-ей, наделал я таких шалостей... Но что же, мы едем?

Обмана *(улыбаясь)*. Ко мне, право, нельзя.

Тратосил. Понимаю, ты, верно, здесь зажил семьянином, но я, право, не строг; а впрочем, когда нельзя к тебе, так пойдем ко мне.

Обмана *(особо)*. Новое несчастье! Как, в эту пору! Нет, я не хочу встревожить безмерною радостью нечаянно мою сестру.

Тратосил. Ничего, ничего! Это предобродетельная женщина: ее десять таких шалунов, как мы, не беспокоят, и она их целую беседу, право, философски вытерпит.

Обмана. О, я никогда не соглашусь!

Я. Оставь его; разве нельзя это отложить до завтра?

Тратосил. Ни под каким видом: или он ко мне, или я к нему ехать непременно должен.

Обмана. Ну, так поедем же к тебе, только с тем условием, чтоб до завтра не говорить обо мне ни слова сестрице.

Тратосил. О, охотно, только ты ночуй у меня.

Обмана. Да ты точно меня не обманешь?

Т р а т о с и л. Божусь, что нет; и для уверения я лягу с тобою перед спальною в одной комнате; мы и будить ее не станем.

О б м а н а. Это прекрасно вздумано!

Т р а т о с и л. О, когда дело пошло на хитрости, то я подлинно дьявол. А поутру, когда она будет меня бранить, что я вздумал ее оставить, то, чтоб утишить ее гнев, я ей тебя представлю.

О б м а н а. Это божественно! Поедем же. А я так устал, что, я думаю, камнем упаду в постелю, и желал бы уже теперь быть у тебя. Да как далеко отсель до вашего дома?

Т р а т о с и л. На самой П... площади... Что ты вздыхаешь?.. в доме...

О б м а н а. Ах! любезный друг, подле самого этого дома у меня заведена любовная интрига...

Т р а т о с и л. Очень кстати теперь о любви. Поедем скорее ко мне...

И в минуту они сели в карету Тратосила и, пожелав мне доброй ночи, уехали домой.

Вообрази, любезный читатель, мое бешенство: кажется, судьба нарочно для того подсунула мне под нос любовное приключение, чтобы после надо мною подшутить. При всей своей досаде я очень желал знать, как выпутается из этих хлопот моя прелестная незнакомка. Тысячи беспокойных мыслей мучили меня; в первый раз постеля моя показалась мне пустынею.

— Таковы-то все мои предприятия! — вскричал я с досадою, — нет ни одного дела, которое бы кончилось так, как я им располагаю. На что же мне жить более?

При сих отчаянных словах вознамерился я умереть, а чтобы сделать это спокойнее, то я разделся, надел колпак, лег в постелю, взял вместо ножка Одохватову оду и только что наставил ее на глаза, как зрение мое померкло, руки опустились, ноги протянулись, — и я захрапел в одну минуту.



Похвальная речь
в память моему дедушке,
говоренная его другом в присутствии его приятелей
за чашею пуншу

Любезные слушатели!

В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день, с неустрашимостию гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадейю прямо по-братски. Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один пережил другого, а мир между тем потерял лучшего дворянина и статнейшую лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более восхвалить? Оба они не уступали друг другу в достоинствах; оба были равно полезны обществу; оба вели равную жизнь и, наконец, умерли одинаково славною смертью.

Со всем тем дружество мое к покойнику склоняет меня на его сторону и обязывает прославить память его, ибо хотя многие говорят, что сердце его было, так сказать, стойлом его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что после нее покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не должно ли возвеличить память его, как память дворянина, который служит примером всему нашему окольному дворянству?

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставлял его примером в одной охоте; нет, это было одно из последних его дарований, кроме сего имел он тысячу других приличных и необходимых нашему брату дворянину: он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолудимов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои! часто бывало, когда

приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью; глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чухотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях; искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры. Но я примечаю, что восторг мой отвлекает меня от порядку, который я себе назначил. Обратимся же к началу жизни нашего героя: сим средством не потеряем мы ни одной черты из его похвальных дел, коим многие из вас, любезные слушатели, подражают с великим успехом; начнем его происхождением.

Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение: это первое его достоинство. Пусть кричат ученые, что вельможка и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдимов, и что никакими выгодами не отличает нашего брата дворянина: это знак ее лености и нерачения. Так, государи мои! и если бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что тогда как самому последнему червяку уделяет она выгоды, свойственные его состоянию, когда самое мелкое насекомое получает от нее свой цвет и свои способности, когда, смотря на всех животных, кажется нам, что она неисчерпаема в разновидности и в изобретении, тогда, к стыду ее и к сожалению нашему, не выдумала она ничего, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одного пальца в знак нашего преимущества перед крестьянином. Неужли же она более печется о бабочках, нежели о дворянах? И мы должны привешивать шпагу, с которою бы, кажется, надлежало нам родиться. Но как бы то ни было, благодаря нашей догадке мы нашли средство поправлять ее недостатки и избавились от опасности быть признанными за животных одного роду с крестьянами.

Иметь предка разумного, добродетельного и принесшего пользу отечеству — вот что делает дворянина, вот что отличает его от черни и от простого народа, которого предки не были ни разумны, ни добродетельны и не приносили пользы отечеству. Чем древнее

и далее от нас сей предок, тем блистательнее наше благородство, а сим-то и отличается герой, которому державу я соплетать достойные похвалы, ибо более трехсот лет прошло, как в роде его появился добродетельный и разумный человек, который наделал столь много прекрасных дел, что в поколениях его не были уже более нужные такие явления, и оно до нынешнего времени пробавлялось без умных и добродетельных людей, не теряя нимало своего достоинства. Наконец появился наш герой Звениголов; он еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения, и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице.

— В этом ребенке будет путь, — сказал некогда, восхищаясь, его отец, — он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать; можно отгадать, что он благородной крови.

И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с какою благородною осанкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного дня, чтобы маленький наш герой кого-нибудь не оцарапал. На пятом еще году своего возраста приметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перещарапать, когда ему будет угодно.

Премудрый его родитель тотчас смекнул, что сыну его нужен товарищ; хотя и много было в околотке бедных дворян, но он не хотел себя унижить до того, чтобы его единородный сын разделял с ними время, а холопского сына дать ему в товарищи казалось еще неспоснее. Иной бы не знал, что делать, но родитель нашего героя тотчас помог такому горю и дал сыну своему в товарищи прекрасную болонскую собачку. Вот, может быть, первая причина, отчего герой наш во всю свою жизнь любил более собак, нежели людей, и с первыми провождал время веселее, нежели с последними. Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вцепился ему в уши, но Задорка (так звали маленькую собачку) доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком много на свою силу: она укусила его за руку до крови. Герой наш остолбенел, увидя в первый раз такой суровый ответ на обыкновенные свои обхождения: это был первый щипок, за который его наказали. Сколь сердце в нем ни кипело, со всем тем боялся отвратить сразиться с Задоркою и бросился к отцу своему жаловаться на смертельную обиду, причиненную ему новым его товарищем.

— Друг мой! — сказал беспримерный его родитель: — разве мало вокруг тебя холопей, кого тебе щипать? На что было трогать тебе Задорку? Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обращаться, если не хочешь быть укушен. Она глупа; ее нельзя унять и принудить терпеть, не разевая рта, как разумную тварь.

Такое наставление сильно тронуло сердце молодого героя и не выходило у него из памяти. Возрастая, часто занимался он глу-

бокими рассуждениями, к коим подавало оно ему повод; изыскивал способы бить домашних своих животных, не подвергаясь опасности, и сделать их столь же безмолвными, как своих крестьян, по крайней мере искал причин, отчего первые имеют дерзости более огрызаться, нежели последние, и заключил, что его крестьяне ниже его дворовых животных.

Чадолубивый отец, приметя, что дитя его начинает думать, заключил, что время начать его воспитание, и сам посадил его за грамоту. В пять месяцев ученик сделался сильнее учителя и с ним взапуски складывал гражданскую печать. Такие успехи устроили его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнюю страницу букваря кончил его курс словесных наук.

— Этой грамоты для тебя полно, — говорил он ему, — стыдись знать более: ты у меня будешь барин знатный, так непристойно тебе читать книги.

Герой наш пользовался таким прекрасным рассуждением и привык все книги любить, как моровую язву. Ни одна книга не имела до него доступа. Я не включаю тут рассуждения Руссо о вредности наук; вот одно творение, которое списало его благосклонность по своей привлекательной надписи. Правда, он и его не читал, но никогда не спускал с своего камина.

— Прочти только это, — говаривал он, когда кто вздумает хвалить перед ним науки, — прочти это и ты будешь каяться, что в тебе более ума, нежели в моей пгедой лошади! О, Руссо — великий человек! — продолжал он и после этого принимался с подобострастием считать листы в его сочинении. Это было величайшее его снисхождение к учености, которое оказывал он только одному сочинителю «Новой Элоизы».

Время, наконец, наступило записывать его в службу, и редкий родитель его, отпуская, дал сыну своему последнее наставление.

— Помни, любезный сын, — говорил он ему, — что у тебя две тысячи душ, помни, что ты старинный дворянин и остался один в своем роде. Итак, береги себя, не подражай бедным людям, которые, не имея куска хлеба, принуждены на службу тратить здоровье. Служи так, чтобы не быть разжаловану, а о достальном не пекись. Пусть бедные ищут чинов, а нашу братью, богатых, чины сами должны искать. Будь только порядочного поведения, то есть не выходи из передней знатных, более всего берегись досадить женщине, сколь бы низкого состояния она тебе ни казалась: наружное состояние женщины бывает сходно с молодым деревом, которое сколь ни кажется слабо и презренно, но часто корень его глубоко под землею сплетен с корнем великого дуба, который может задавить тебя своею тяжестью. Короче, вот тебе в двух словах мое завещание: я не требую, чтобы ты возвратился заслужен-

ным, но чиновным, — и после сего наградил он его своим родительским благословением и двумя тысячами рублей на дорогу. Спустя же три дни после его отъезду кончил свою знаменитую жизнь.

Сколь ни жаден был наш герой пользоваться наставлениями, со всем тем благородная его душа неохотно приняла сии последние, или, лучше сказать, он из них одобрил половину, то есть, последняя отцу своему, не хотел он служить, но не хотел также состариться в передних. Эти два правила поссорили его с двумя его дядюшками, со службою и сделали философом; суеты большого света скоро ему наскучили; он видел, что куда он ни приходил, то или он зевал, или над ним зевали, и взял миролюбивое намерение расстаться со светом, видя по всему, что они друг другу не падобны.

Редкое великодушие, неподражаемая скромность — сии два любезные качества видны в нем были с самого приезда его в столицу. Честолюбивый на его месте, имея столь знатную родню, как он, не отстал бы от больших обществ и искал бы въезду в первые дома, но герой наш просиживал целые ночи в трактирах. Он убегал пышности и часто под вечерок из толпы завидливых игроков возвращался домой смиренно без кафтана. Он не был злопамятен и очень спокойно обедал там, где накануне били его за ужином! терпелив был до крайности. Я сам, государи мои, был свидетелем, с какою умильною кротостию принимал он побои от своих приятелей и после с ними вместе запивал свое горе. Иной бы честолюбивый на его месте, повторяю я, был соблазнен примерами большого света и увлечен его суетами, но он равнодушно слушал вести, что такой-то его сверстник пожалован, что тому дано место, другому награждение. Всем этим не тронута была великая его душа, и он, зевая, стоически слушал такие новости.

— Может быть, половину этих чиновников мне же кормить достанется, — говаривал он, — полно и того, что у меня есть две тысячи душ: это такой чин, с которым в моем околотке везде дадут мне первое место.

— Все суета сует, — так заключал он обыкновенно свои рассуждения и после того, оставаясь кругом дюжиною бутылок портеру, садился метать банк.

По сему можете вы заключить, милостивые государи, что общества его были хотя не пышные, но весьма веселые. Правда, замешивались иногда в них люди чиновные, но обыкновенно первые две дюжины бутылок восставляли во всей беседе совершенное равенство и дружество. Но это не было скучное дружество, заведенное лет на пять: нет, это было вольное и благородное дружество — такое, что часто, не конча еще взаимных о нем уверений, вцеплялись друг другу в виски, но без всякой злобы и нередко для одного препровождения времени.

Вот, государи мои, образ городской его жизни: он, не гоняясь за счастьем, искал одних удовольствий; он не ездил по этикету зевать в большие дома, но любя вольность, часто в своих дружеских беседах засыпал под столом; он не занимался тем, чтоб когда-нибудь привлечь на себя внимание всего света: ему довольно было и того, что имя его знали наизусть во всех трактирах и кофейных домах. Он никогда не намеревался быть политиком, но не для того, чтоб недоставало ему ума: нет, государи мои, он был слишком умен и нередко даже был за это бит от своих приятелей за картами, где более всего щеголял он остроумием. Но как ум гоним в целом свете, то очень скоро наскучил он быть умным и зачал играть в карты с философскою простотою и с благородною доверенностию; друзья его, вместо того чтобы удивляться сим любезным качествам, в два месяца очистили все его имение и оставили нашего философа полунагим, несмотря на то, что северный климат совсем не удобен к цинической философии.

Всякий бы другой изнемог духом в таких стесненных обстоятельствах; всякий бы пришел в отчаяние, но он не поколебался нимало и, сидя дома, с крайним умилением сердца ожидал, как заимодавцы поведут его в тюрьму. Как Юлий, не бежал он от своего несчастья и даже не выходил за ворота, хотя тогдашними темными вечерами мог он прогуливаться по улице в одном камзоле и туфлях, не нарушая городской благопристойности. Он не искал даже помочь своему несчастью. «Что будет, то будет», — говорил он, зевая неустрашимо. И судьба наградила его к ней доверенность. Тогда как казалось, что он оставлен от всего света; когда все ворота были для него заперты, выключая ворот городской тюрьмы; когда в кухне его, как в Риме, не осталось ни тени древней славы и, что всего бедственнее, когда последнюю бутылку портеру у него разбила испостившаяся кошка, искав с таким же усердием черствой корки, с каким Колумб искал новой земли; когда, говоря я, все сии несчастья собрались вокруг него, тогда родной его дядя, славный своею экономиею, которую храня, двадцать лет уже он не ужинал, вздумал, наконец, и не обедать, оставя в наследство герою нашему пять тысяч душ и сто тысяч денег.

Может быть, подумаете вы, что это сделало его надменным? Нимало! В тот же день пошел он к знакомому винному погребщику, напился с ним вместе и очень смиренно провел у него ночь на голом кирпичном полу.

Но уже страсти в нем начали угасать, и он, пользуясь прошедшими своими несчастьями, не захотел более ни в которой масти искать счастья, получил чин, пошел в отставку и намерился удалиться в свои деревни, дабы украсить собою наш уезд; имея же к шумным прощаньям отвращение, уехал из города, не уведомив ни одного своего заимодавца. Может быть, по скромности его нравился ему также французский обычай уходить не простясь, ибо

свидетельствуют достовернейшие маркеры, что, когда только мог, уходил он по-французски из трактиров, сколь ни убедительно они ему за то пеняли.

Наконец удалился он от городского шума и вступил в новое поприще для испытания своих дарований, и вы, государи мои, сами были свидетели, как сильно умел он ими блистать.

Едва появился он здесь, как объявил открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово. Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели полсотни лошадей и вдвое более того собак. Но герой наш, умея к стати и к месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам, а чтобы вернее их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое состояние, что им нечем было засеивать поля. С каким внутренним удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми, как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в них искать одной только голодной смерти.

— Скажи, — спрашивал у него некто, — не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом, желая выжить из него тараканов?

— Молчи только, — отвечал наш герой, — я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок и изобилие.

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан своих, желая уронить вредную для них власть Помпея. Александр прошел с мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется, для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять этим дома. Но все эти намерения и труды не входят в сравнение с подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на первом или на втором году своего предприятия.

Вот, государи мои, подвиги героя, которые... Но что я вижу! Любезные мои слушатели заснули с умилением, почтенные головы их лежат, как прекрасные бухарские дыни, вокруг пуншевой чаши. Торжествуй, покойный мой друг! Твои друзья, любя тебя, наследовали твои нравы. Так точно некогда засыпал ты на своих веселых вечеринках с половиною окунутым в ендову носом. Увернись, если можешь, на одну минуту от Плутона, взгляни из-под пола на твоих друзей, потом расскажи торжественно адским жителям, какое приятное действие произвела похвала твоей памяти, и пусть покосятся на тебя завидливые наши писатели, которые думают, что они одни выправили от Аполлона привилегию усыплять здешний свет своими творениями.



Мысли философа по моде,

или

способ казаться разумным, не имея ни капли разума

Любезные собратия! — так начинает мой философ, — уважая вашу благородную ревность казаться разумными в большом свете и в то же время сохранять наследственное прилежание к невежеству, предприял я быть вам полезным и преподавать способ, лестный для нынешнего воспитания, способ завидный — казаться разумным, не имея ни капли разума.

Намерение такое удивит угрюмых читателей и философов. Может быть, и вы сами почтете его странным, уважая старинную поговорку: «ученье свет, а неученье тьма». Но кто учен, друзья мои? И когда сам Сократ сказал, что он ничего не знает, то не лучше ли спокойно пользоваться нам наследственным правом на это признание, нежели доставать его с такими хлопотами, каких стоило оно покойнику афинскому мудрецу; а когда уже быть разумным невозможно, то должно прибегнуть к утешительному способу — казаться разумным. Поставим себе в пример женщин, станем учиться у них: у них нет науки быть пригожею, но пригожею казаться — вот одно искусство, над которым многие лет по семидесяти трудятся, и часто с успехом.

Науки ныне в таком же малом уважении, как здоровье. Быть дородною, иметь природный румянец на щеках — пристойно одной крестьянке; но благородная женщина должна стараться убежать такого недостатка: сухощавость, бледность, томность — вот ее достоинства. В нынешнем просвещенном веке вкус во всем доходит до совершенства, и женщина большого света сравнена с голландским сыром, который тогда только хорош, когда он попорчен... То же можно заключить и о нашей учености: прямая ученость прилична низким людям. Учение, к удовольствию модных господчиков, уравнено с другими ремеслами, и здесь Невтон и Эйлер, конечно, менее уважаемы, нежели Брейтегам и Гек; но искусство притворяться учеными — вот одно достоинство, приличное благородному человеку и которое делает его милым в глазах общества! Самые женщины, открытые неприятельницы книг, любят слушать

его рассуждения, для того что оные не унижают их самолюбия. Женщине очень приятно видеть, когда мужчина лет под сорок рассуждает так забавно, как пятнадцатилетняя девушка, и такую прекрасно уловкою скрадывает у себя лет двадцать. Скажите мне, друзья мои, не первая ли должность мужчины нравиться женщине? Но что же для ее разборчивого и расчетистого вкуса может быть приятнее молодого мужчины с разметанным разумом, который бы, не утверждаясь ни на чем, старался о всем говорить, который бы своими рассуждениями о важных делах был так же забавен и основателен, как маленькая девушка за куклами?

И не ужасно ли, когда молодой благородный человек вздумает от чистого сердца прилепиться к наукам и представлять особу столетнего старика? Один вид такого невежи жить в большом свете заставит зевать самую учтивую женщину. Но вы, друзья мои, не должны опасаться, чтоб к вам относилась эта укоризна: обожая моду, вы не выступаете из ее правил; вы с искусством убегаете наук и с похвальным усердием храните, как талисман щеголих, наследственное невежество; вы не знаете, что такое есть мыслить, и можете служить первым доказательством, что человеку большого света не нужно иметь ни сердца, ни ума и что тот уже довольно одарен от природы, кто имеет проворный язык и может не уставая говорить по десяти часов сряду. Вы, наконец, столь искусно умеете играть лицо маленьких ребяток, что из вас стариков по одним седым волосам узнать можно; вы часто умираете прежде, нежели догадываетесь, что вы живете и зачем вы на свет родились.

Пусть смеются над вами; пусть пишут на вас сатиры, сказки, песни, эпиграммы: вы все это сносит с стоическим терпением, или, лучше сказать, вы ничего этого не видите и доказываете только тем, что ваши сатирики, желая вас переменить, оставляют вам поле сражения... Так точно старый осел, привыкший к понуканиям и к брани своего хозяина, с терпением слушает его восклицания и ругательства... зная, что это один пустой звук, и продолжает свой путь попрежнему тихим шагом, оставляя хозяина в надежде, что он когда-нибудь его уговорит. Вот пример, которому вы последуете, — и справедливо делаете, друзья мои! Оставьте сатириков кричать и будьте уверены, что, нападавая на вас, не вашей пользы, но своей славы они ищут, и вы только служите им богатым оселком, около которого острят они свой разум. Не думает ли свет, чтобы Боало перестал браниться, когда бы Прадон и Котин его исправились? Поверьте, что нет: он бы сыскал кого-нибудь еще глупее для своих насмешек. Сказать ли вам более: перестаньте только дурачиться, вздумайте быть рассудительны, если только это можно, — и сатирики первые огорчатся такою переменою. Вы у них отнимете любимую их пищу, и многие из них помрут

с отчаяния, что глупее, смешнее и забавнее вас никого побранить не същут. Но посудим философски: достойны ли вы даже и насмешек их и во многом ли они перед вами преимущество имеют?

Говорят строгие нравоучители, что первая и труднейшая должность человека есть победить свои страсти. Но вы, вы не имеете страстей, которые бы были для вас опасны, или, лучше сказать, вы совсем бесстрастны и поступаете так же равнодушно, как прекрасные куклы, показываемые в народных игрищах; и которые приписывают вам волю и страсти так же обманываются, как мужики, которые, увидя разные движения кукол, думают, что оные делают все кривлянья по своему хотению. Поутру, едва проснетесь, комнатные служители обертывают вас и поднимают с постели, после того волосочёс вертит вашу голову, потом возят вас по городу, сажая за стол и к вечеру опять укладывают в постелью: доказывает ли все это, чтобы в вас были хотя малые порывы страстей?

Тогда как важных ваших противников занимают желания, которые почти выше человека; когда они ищут таинства природы, стараются даже проникнуть в связи миров; когда измеряют, сколько далеко отселе до солнца, как будто бы желая вычислить, как дорог им станет туда проезд; когда занимаются топографиею луны; когда они устремляются еще в важнейшие рассуждения и силятся продолжать далее свой путь, несмотря на то, что перед ними открыта его бесконечность, — вы тогда спокойно занимаетесь игрушками; вас утешают зайчики, кареты, собаки, кафтаны, женщины, нередко случаются у вас и драки; но и дети ведь дерутся за свои безделки: ваши ссоры не важнее их, и потому-то вы не более их виноваты.

Вы не занимаетесь тем, далеко ли отселе до Сириуса, и довольны, если кучер ваш знает, близко ли от вас первый хороший трактир или клоб; вы не думаете, солнце или земля скорее вертятся, — довольно для вас и того труда, что вы вертитесь с ними вместе, — и это важнейшая работа, которая в жизни вас занимает...

Но, завлеченный восторгом вас хвалить, любезные собратия, я не примечаю, сколь много отдалился я от моего виду, и позабываю, что обширностью моего письма я подвергаю себя опасности не быть никогда вами прочтенным. Приступим же поскорее к самому делу.

Теперь уже ясно, сколь велики ваши выгоды, которых первая важность состоит в том, чтоб блистать остроумием. Щеголь, который не умеет притворяться разумным, не может играть блистательного лица в большом свете, а к сему-то и нужны некоторые правила, приведенные в порядок... Вот предмет моего труда! Я посвящаю его вам, друзья мои, и буду доволен, если один из тех

французов, которые готовят вас в свет и учат трудной науке ничего не думать, — если один из тех французов, говорю я, прочти мои правила, скажет, что они согласны с образцом, по коему он воспитывал благородное наше юношество.

1

С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин и, следовательно, что ты родился только поесть тот хлеб, который посеют твои крестьяне, — словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коего не обгрызают крыльев, и что деды твои только для того думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать.

2

Приготовя себя таким прекрасным началом, из коего следуют все другие правила, делающие блестящим человека в большом свете, должен ты отвергнуть некоторые предрассуждения, мешающие иногда блистать остроумием молодому человеку, и для того привыкай заранее шутить над тем, что для предков наших было священо. Ничто так не блистательно, как молодой человек, когда он шутит над важными вещами, не понимая их; при всей мелкости своего ума он тогда так мил, как болонская собачка, которая бросается на драгунского рослого капитана и хочет его разорвать, между тем как он равнодушно курит трубку, не занимаясь ее гневом. Как мила и забавна смелость этой собачонки, так точно забавна смелость вашего ума, когда огрызается он на вещи, перед коими он менее, нежели болонская собачка перед драгунским капитаном,

3

Должно быть забавным в обществе, уметь убивать время и делить его весело; а к сему нужна только одна наука — играть в карты: она заменяет в большом свете все другие науки. Бойся не играть в карты: ничего нет глупее молодого человека, который, не зная карт, лишен способа кстати проиграть деньги барину или его любовнице... Карты суть душа наших собраний: без них четыре человека, съехавшись, по несчастию, вместе, не знали бы, что делать; и справедливо должно сомневаться, бывали ли, полно, до выдумки карт какие-нибудь собрания.

Французские учителя многие очень хорошо делают, что питомцев своих учат играть в карты, и я бы не советовал родителям принимать для своих детей никакого учителя, если он не знает игор, которые в употреблении. Молодой достаточный человек, вступая в свет, может спокойно забыть свои науки, имея деньги и дядюшек: он уже имеет право на невежество и на счастье, но карты ему необходимы: без них он в лучших домах будет мертвецом, и на него станут указывать пальцами, как на выходца с того свету!.. «Вообразите, — скажут женщины, — он невежа до такой степени, что не может сделать партию в виск!»

4

Будь насмешлив, сколь можно: молодой человек, умеющий осмеять и подшутить, ищется, как клад, в лучшие общества; злословец не может быть дурак: вот определение модного света! Старайся его заслужить, и ты будешь взыскан; но не будь низок и не шути над тем, что в самом деле достойно осмеяния: это знак слабого воображения, если молодой человек смеется над смешными только людьми или вещами; остроумник нынешнего века должен бегать такого недостатка и острить свой язык насчет важных и почтенных людей. Никакой нет славы смеяться над Антирихардсоном и над мнимым Детушем: это значит бить лежачих; и без тебя весь свет знает, что они гадкие писатели, но если ты будешь смеяться над Ломоносовым или, увидя на театре, станешь бранить славную Ле-Саж и Делпи, то подашь тем знак о превосходстве твоего вкуса, который и столь великими талантами не мог быть удовольствован.

5

Отбери несколько авторов наудачу, затверди их имена, вздумай, что один из них пленил тебя своими красотами, так, как Дон-Кихот вздумал, что его пленила Дульцинея, которой он и в глаза не видывал; таким образом пожаловав одного какого-нибудь автора (тем больше тебе чести, если он иностранный) в свои любимцы, брани других и занимайся им одним, приписывай тем погрешности, которых в них нет, и придавай ему прелести, коих в нем не бывало. Ничего нет милее, как видеть двух молодых щеголей, когда спорят они за своих авторов, не читав их, и мне часто случалось быть свидетелем, как Руссовы эпитагмы над Юнговыми «Ночами» одерживали победу, которая всегда оставалась на той стороне, у чьего защитника здоровее горло.

Маленькие дети ныне очень искусно учатся передражничать своих родителей, и если им не мешают в таком приятном упражнении, то можно со временем ожидать, что из такого ребенка делается презабавный для света повеса; такие дети бывают обыкновенно неустрашимого духу, и на пятнадцатом году они уже в состоянии колотить своих отцов или выталкивать их со двора.

6

Умей говорить не думая; думать прилично ученому, а учение не пристало щеголю, и ты должен остерегаться, чтоб не сказать чего умного. Молодой человек, который говорит умно, очень глуп в большом свете; а ты должен быть забавен: большая часть женщин любит попугаев; хочешь ли и ты теми же самыми женщинами так же быть любим, старайся говорить, как попугай, и ты прослышешь остряком; выучи поутру несколько чужих острых слов и умей их сказать кстати... Твой разум, как женщина, должен быть прибран за уборным столиком: вот ключ к доброй славе. Умей поутру выкрадывать, что надобно тебе говорить днем, и половина города не приметит, что ты невежа.

Есть и другой способ говорить забавно без ума, буде только язык твой гибок и проворен, как трещотка; но это трудная наука, которой только у женщин учиться можно. Старайся подражать им, старайся, чтоб в словах твоих ни связи, ни смысла не было, чтоб разговор твой переменял в минуту по пяти предметов, чтоб брань, похвала, смех, сожаление, простой рассказ — все бы это, смешанное почти вместе, пролетало мимо ушей, которые тебя слушают, и, наконец, чтоб ты, как барабан, оставлял по себе один приятный шум в ушах, не оставляя никакого смысла. Молодой человек с такими дарованиями нужен в модном обществе, как литавр в оркестре, который один ничего не значит, но где должно сделать шум, там без него обойтись не можно.

7

Остерегайся быть скромн, или ты заставишь думать, что тебе нечего сказывать, а это великий недостаток. Молодой щеголь нынешнего века должен быть то же, что морская труба: принимая в один конец слова, выдавать их тотчас в другой; и чем кто смешнее умеет пересказывать, тем более приписывают ему ума. Не заботься, если от таких пересказов родятся ссоры, драки и бедствия: тем более чести пересказчику, чем более и блистательнее действие произведет его пересказ. Легко станется, что ты и бит будешь, но это есть лавры, составляющие лучшее украшение

пересказчиков: чем сильнее тебя побьют, тем яснее доказательство, что память и воображение твои обширны; и чем болсе тебя бранят, тем виднее, что ты привлекаешь к себе внимание. Многие франты совсем забыты от света, не имея дарования переносить вести; а это жалкая участь щеголя, если о нем помнят одни его заимодавцы.

Вот, любезные мои собратия, маленький опыт правил, столь необходимых тому, кто хочет с успехом блистать в модном свете! Пользуйтесь ими; я знаю, что многие французы будут завидовать, для чего другие написали то, чему они словесно учили; но я не самолюбив и охотно признаюсь, что эти прекрасные правила не моей выдумки и что мы обязаны оными тем снисходительным французам, которые, копчив на галерах свой курс философии, приехали к нам образовать наши нравы.



ПРИМЕЧАНИЯ



А. Н. Радищев

ДНЕВНИК ОДНОЙ НЕДЕЛИ

Год написания неизвестен, но, несомненно, это одно из первых сочинений Радищева, написанных после возвращения из Лейпцига. Примерно его можно датировать 1773 г. Обычно в качестве основания для датировки «Дневника» используют упоминаемый в главе «Понедельник» факт посещения героем театра, где играли буржуазную трагедию в 5-ти действиях «Беверлей» французского драматурга Сорена. В то же время известно, что «Беверлей» в переводе Дмитриевского был игран в Петербурге впервые 11 мая 1773 г. Пьеса имела успех у публики, чем и объясняется упоминание ее Радищевым. К сожалению, именно этим формальным основанием обычно и ограничивались. Идейное содержание «Дневника» не подвергалось анализу. Отсюда глубокое заблуждение некоторых исследователей, которые рассматривают это произведение как автобиографический документ и на этом основании совершенно произвольно относят его к 90-м годам, толкуя «Дневник» как запись психологического состояния автора после суда и приговора. Ошибочность и несостоятельность этого утверждения очевидны. «Дневник» — художественное произведение и никакого отношения к реальной биографии Радищева не имеет. Он резко отличен от всех остальных произведений Радищева, отличен прежде всего отсутствием политической темы. Несомненно, что он написан до идейного перелома, происшедшего под влиянием классовой борьбы в России, и в особенности крестьянской войны 1773—1775 гг., после которой тема политическая, тема «мщения», тема восстания будет у Радищева ведущей. Значит, «Дневник» написан до восстания Пугачева, то есть в первой половине 1773 г. Должна быть отмечена характерная особенность: Радищев не напечатал своего «Дневника» ни в 80-х годах, ни после ссылки, очевидно потому, что после крестьянской войны «Дневник» идейно его не удовлетворял. Впервые «Дневник» был опубликован в собрании сочинений Радищева, предпринятом его сыновьями (т. VI, 1811).

ПИСЬМО К ДРУГУ, ЖИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ В ТОВОЛЬСКЕ

Написано на второй день после открытия памятника Петру I (7 августа 1782 г.). Напечатано в собственной типографии Радищева весной 1790 г. После ареста Радищева «Письмо» было присоединено к делу. Екатерина, прочтя его, записала: «Сие сочинение такожде господина Радищева, и видно из подчеркнутых мест, что давно мысль его готовилась по взятому пути,

а французская революция его решила себя определить в России первым подвизателем».

Поставить памятник Петру I задумала Елизавета, осуществлена была эта идея при Екатерине. По рекомендации Дидро выбор пал на парижского скульптора Фальконе. Скульптор прибыл в Россию в 1766 г., к 1777 г. были закончены работы по отливке памятника. В изготовлении памятника принимали участие русские мастера. Литейщик Хайлов, наблюдавший за отливкой, совершил героический поступок: когда во время заливки меди металл прорвал форму и полился вон, Фальконе, в ужасе и отчаянии бросив все, убежал из мастерской. Оставшийся Хайлов отважно заделал брешь в форме и спас памятник.

Стр. 28. *...где сооружался сокровенно чрез 15ть лет...* — В 1767 г. было приступлено к работам на площади, в 1768 г. выстроено «сооружение к месту монумента Петра Великого» (см. объявление об этом в «Прибавлениях к «С.-Петербургским ведомостям» 1768 г.).

Стр. 30. *Статуя представляет мощного всадника...* — Радищев официально истолкованию образа Петра, созданного скульптором, противопоставляет свое. В 1768 г. гипсовая модель памятника была выставлена на всеобщее обозрение. Екатерина повелела напечатать в газетах правительственное толкование аллегорического образа, созданного Фальконе. Вот эти «свойства монумента»: «Чтоб узнать свойства статуи, делаемой пыле г-ном Фальконеютом, ведать надлежит, что император Петр Великий изображен стремящийся быстрым бегом на крутую гору, составляющую основание, и простерший правую руку к своему народу. Камешною сею горою, не имеющею иного украшения, как только естественный свой вид, знаменуются трудности, попощенные Петром I; скаканием бегуна — скорое течение дел его. Десница отечественная не требует изъяснений» («С.-Петербургские ведомости», 18 июля 1768 г. Прибавления).

— *...стремящемся на гору крутую...* — Статуя Петра водружена на гранитном камне, доставленном из Лахты по указанию нашедшего его крестьянина Степана Вишнякова. Огромный камень необходимо было доставить в центр города. Русский кузнец придумал оригинальный и дешевый способ перевозки камня на медных шарах, которые катились по деревянным желобам.

— *Надпись сделана на камне самая простая: Петру Первому, Екатерина Вторая, Лета 1782го.* — На пьедестале памятника была сделана надпись по-латыни: «Petro primo Catharina secunda», сочиненная А. П. Сумароковым.

Стр. 31. *И так вопреки женеvскому гражданину...* — то есть Руссо. Резко критикуя в этот период «женевского гражданина», Радищев возражает и против неверной, ошибочной оценки Петра, сделанной им в его сочинении «Об общественном договоре». Руссо не только не понял исторической роли Петра, но и без знаний действительной истории России, русского народа, верный своим умозрительным политическим теориям, заявлял, что русские — «варварский народ», что «он не созрел для гражданского порядка» и т. д. Русско-му революционеру были глубоко чужды эти воззрения «гражданина Женеvы».

«Письмо другу» — произведение, замечательное по своей глубокой оценке Петра (преобразователь России и жестокий самодержец, истребивший «последние признаки дикой вольности своего отечества»), оказало, несомненно, огромное влияние на Пушкина. Тема Петра, важнейшая для поэта, решалась им под углом зрения радищевской оценки, данной в «Письме». С наибольшей яркостью это радищевское понимание Петра, радищевское утверждение враждебности самодержавия человеку и народу проявилось в «Медном Всаднике».

ЖИТИЕ Ф. В. УШАКОВА

Книга была впервые напечатана анонимно в 1789 г. «в императорской типографии» под названием «Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений». Посвящена она лейпцигскому товарищу Радищева А. М. Кутузову. К 80-м годам Радищев совершенно разошелся со своим бывшим другом, который отошел от активной общественной деятельности и, став масоном, увлекся мистицизмом и алхимическими опытами. В 1811 г. напечатана была вторично в V части его собрания сочинений. В 1869 г. «Житие Ф. В. Ушакова» вновь было перепечатано в сборнике П. Бартелева «Осьмнадцатый век, кн. 2-я». Следовательно, оно было доступно довольно широким читательским кругам.

Стр. 33. *...определила послать в Лейпцигский университет двенадцать юношей...* — 20 сентября 1766 г. повелено было выдать паспорт для поездки в Лейпциг 12 дворянам: Челищеву Петру (20 лет), Рубановскому Андрею (18 лет), Янову Сергею (17 лет), Кутузову Алексею (17 лет), Радищеву Александру (17 лет), Римскому-Корсакову (15 лет), князю Песвижскому и Трубецкому, Зиновьеву (двоюродный брат графа Орлова), братьям Федору и Михаилу Ушаковым, Насакину. Первые шесть были взяты из Пажеского корпуса. Римский-Корсаков скончался в пути. Позднее в Лейпциг прибыли два брата Алсуфьевы, Козодавлев, Волков, граф Матюшкин и Мельгушов.

Стр. 37 *...Гельвецийо о сем мнение егическо подтверждается.* — Речь идет о рассуждении Гельвеция в его книге «Об уме» в главе «О стремлении всех людей к деспотизму, о средствах достижения этого и об опасности от деспотизма для государства».

Стр. 47. *...одним из наших учителей...* — Видман, позднее жил в Петербурге, видимо продолжал знакомство с Радищевым, так как в 1790 г. ему в числе других была послана Радищевым книга «Путешествие из Петербурга в Москву».

Стр. 51. *Если бы смерть... и оную победить законно.* — Радищев говорит об английской революции XVII века, о суде над королем Карлом I и казни его по приговору суда в 1649 г. Приглашенный на трон «посторонний» — голландский штатгальтер Вильгельм Оранский.

Стр. 55. *...потеряем возлюбленной супруги...* — в 1783 г. у Радищева умерла жена Анна Васильевна, урожденная Рубановская.

Вторая часть «Жития Ушакова» состоит из собственно ушаковских сочинений. Желая сохранить память о талантливом рано умершем русском философе, Радищев из переданных ему Ушаковым бумаг выбрал три самостоятельных работы, перевел их и напечатал. Все три сочинения: «О праве наказания и о смертной казни», «О любви» и «Письмы о первой книге Гельведеиева сочинения «О разуме» написаны в Лейпциге в процессе самостоятельных занятий. Ушаков умер 7 июня 1770 г., прибыл же в Лейпциг в самом конце 1766 г.; следовательно, произведения можно датировать годами 1767—1770. Печать времени целиком сохранилась на них. Радищев многократно подчеркивает в самом «Житии», что воззрениям Ушакова свойственна была отвлеченность, метафизичность. Види главную заслугу Ушакова в том, что он отважно начал критический пересмотр идей французского Просвещения, Радищев печатает его сочинения, ничего не меняя в них. Собственно же радищевские взгляды в момент написания «Жития» коренным образом отличаются от ушаковских. Исследователи, отождествляющие воззрения, изложенные в сочинениях Ушакова, с радищевскими, делают глубокую ошибку. Все три статьи Ушакова могут нам дать лишь представление о юношеских взглядах Радищева лейпцигского периода, когда Ушаков был учителем и «вождем». Окончив же «русский университет», Радищев в 80-е годы в основах своего мировоззрения резко и принципиально отличен от Ушакова. Он глубже и последовательнее критикует Руссо за его буржуазный индивидуализм, за его антиобщественные теории, он решительно порывает с метафизичностью и отвлеченностью мировоззрения Руссо. Наконец, он выступает с теорией народной революции как единственного пути ликвидации крепостничества и самодержавия, требует истребления «дворянского племени» и возведения царя на плаху; Ушаков же еще питает надежды на просвещенного государя, выступает против мщения врагам, против казни вообще и т. д.

Стр. 60. ...*последователей системы беспристрастной свободы*... — Речь идет о представителях крайне идеалистического учения о полной независимости человеческой воли от каких бы то ни было причин. Ушаков, критикуя в своей работе буржуазную теорию индивидуализма, обрушивается здесь и на сторонников «свободы воли», «своего хотения», метко называя их «единственниками».

Стр. 61. *Человек рождается ни добр, ни зол*. — Вся эта часть ушаковского «размышления» посвящена критике центрального тезиса антиобщественных философских воззрений Руссо, особенно подробно изложенных в его романе «Эмиль или о воспитании». Подробнее об этом см. во вступительной статье.

— ...*добродетелию я называю навык действий, полезных общественному благу*. — Это ушаковское учение о добродетели как активной общественной деятельности, направленной на благо отечества и «страждущего человечества», прямо противостоит индивидуалистическому пониманию добродетели, развитому у Руссо. В романе «Эмиль» мы читаем: «Что же такое добродетельный человек? Это тот, кто умеет побеждать свои влечения; так как в таком случае он следует своему разуму, своей совести, он испол-

плет свой долг; он держит себя в порядке и ни за что не отступит от него. До сих пор ты был свободен только по видимости; ты обладал лишь непрочной свободой раба, которому ничего не приказывают. Теперь будь свободен на деле; учись быть господином самому себе; повелевай своему сердцу, Эмпуль! И ты будешь добродетельным» («Эмпуль», СПб., 1913, стр. 451).

Стр. 63. ...по мнению г. Руссо... — Ушаков ссылается на авторитет Руссо, изложившего в своей книге «Общественный договор» учение о возможности демократического правления лишь в малых государствах. Ушаков, как видим из этого отрывка, согласен в данном случае с Руссо. Радищев в 80-е годы пересмотрел это учение и отверг его.

Стр. 64. ...царствование императрицы Елисаветы Петровны... — Ушаков говорит здесь о декларативном обещании русской императрицы не применять смертной казни. Обещание не было выполнено. По ее приказам жестоко подавлялись многочисленные крестьянские мятежи.

Стр. 66. Я не могу сравнить с сими великими людьми сих злодеев... — В данном отрывке со всей силой проявляется метафизичность воззрений Ушакова, о которых писал Радищев («Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику... Итак, Федор Васильевич мысли свои обращал более к умственным предметам»). Абстрактно рассуждая о необходимости отмены казни, Ушаков осуждает тех, кто казнил короля («обагривших руки свои в крови царей своих»). Радищев, печатая это сочинение Ушакова, был далек от ушаковских заблуждений. Именно в это время в оде «Вольность» он одобрил казнь английского короля, призывал русских крестьян к революции, «царям грозится плахою», по замечанию Екатерины.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

22 июля 1789 г. Радищев получил разрешение от председателя управы благочиния петербургского обер-полицеймейстера Никиты Рыльева печатать свою книгу под названием «Путешествие из Петербурга в Москву». Приобретя тем же летом у московского книгоиздателя Шнора типографский станок, Радищев устроил типографию у себя в доме на Грязной улице (ныне улица Марата). Как показал Радищев на следствии, ему помогал в издании книги в качестве наборщика сослуживец по таможне Богомолов. «Тискапа же она с помощью собственных людей». Корректуру держал сам автор. Печатать книгу начали в январе 1790 г., закончили в начале мая. Тогда же были переданы для продажи первые 25 экземпляров купцу Зотову, торговавшему книгами в Гостином дворе по Суконой линии в лавках №№ 15 и 16. «Путешествие» шло хорошо. Через несколько дней данные экземпляры были распроданы. Больше книг Зотову Радищев не давал, разослав лишь своим знакомым 7 экземпляров. Всего же было отпечатано 640—650 экземпляров. Таким образом, по словам Радищева, только 32 книги попали в руки читателей, остальные после ареста Зотова были сожжены Радищевым. Зотов же показал на следствии, что Радищев дал ему не 25, а 50 книг. Кроме того, на следствии же выяснилось, что несколько экземпляров «пропали» из

квартиры Радищева. Следовательно, можно предположить, что от 32 до 70 экземпляров «Путешествия» могло сохраниться.

Сразу же после ареста Радищева по приговору Уголовной палаты начали отбираться проданные книги. В течение XIX века передавались из рук в руки около двух десятков печатных экземпляров «Путешествия». В настоящее время известны 17 экземпляров первого издания. Кроме того, в 90-е годы начали появляться рукописные списки «Путешествия». Несмотря на ограниченное количество сохранившихся книг, «Путешествие» было известной книгой, и прежде всего в литературной среде. Ее читали все передовые деятели, писатели и неоднократно пытались переиздать, напечатать из нее отрывки.

Так, в 1805 г. Мартынов, близкий к «Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств», в своем журнале «Северный вестник» сумел напечатать анонимно важнейшую в идейном отношении главу «Путешествия» — «Клиш». В 1816 г. Сопиков, отражая интерес радикальных дворянских кругов к Радищеву, попытался напечатать в своем произведении «Опыт российской библиографии» «Посвящение Кутузову», но по требованию цензуры радищевский текст был снят, и книга Сопикова вышла с чистой стравидцей. В 1822 г. декабрист Бестужев подготовил сочинение по русской словесности и, зная о запрещении упоминать имя Радищева, ничего не сказал о нем. Пушкин потребовал пропаганды деятельности Радищева, заявив: «кого же мы будем помшть». Сам Пушкин отлично знал Радищева, знал его сочинения, изданные сыновьями в 1805—1811 гг., знал «Путешествие»; больше того, имел собственный экземпляр книги. В 1833 г. Пушкин пишет свое «Путешествие из Москвы в Петербург», произведение, органически включавшее в себя текст радищевской книги, рассчитанное на читателей, знавших «пагубную книгу». Не добившись возможности напечатать радищевское сочинение в России, русская революционная общественность в лице Герцена издает «Путешествие» в 1853 г. в Лондоне. «Путешествию» было предпослано предисловие Искандера (Герцена).

В течение второй половины XIX века предпринимались неоднократные попытки издать «Путешествие» хотя бы в ограниченном количестве экземпляров. В 1868 г. появилось издание «Путешествия», предпринятое купцом Шигиным. Оно было настолько искажено, что даже цензура разрешила его на выпуск, увидя исключенными из него все важнейшие главы и высказывания Радищева. В 1876 г. в Лейпциге в издании Каспаровича в составе XVII тома «Международной библиотеки» было напечатано «Путешествие» с издания Герцена и с его предисловием. В 1888 г. Суворин издал «Путешествие» в России в количестве 100 экземпляров. Разрешение было дано только ввиду ничтожности тиража. В 1889 г. таким же незначительным тиражом «Путешествие» вышло в составе V тома издания А. Е. Бурцева «Дополнительное описание библиографически редких, художественно замечательных книг и драгоценных рукописей».

Революция 1905 г. сняла запрет с мятежной книги Радищева. В том же году вышло полное издание «Путешествия» под редакцией Н. П. Павлова-Сильванского и П. Е. Щеголева. С тех пор «Путешествие» издавалось многократно в составе собрания сочинений Радищева и отдельно.

Из многочисленных рукописных списков (зарегистрировано несколько более 30) особую ценность представлял список, принадлежавший М. Н. Апучину, затем перешедший в чьи-то другие руки. Об этом списке мы знаем по описанию Д. Н. Апучина («Судьба первого издания Путешествия Радищева», М., 1918); главная особенность списка — двойное заглавие книги: «Проникающий гражданин, или Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву».

Время написания «Путешествия» — 1784—1789 гг. Важно помнить при этом, что значительная часть книги была дописана после получения рукописи из цензуры, то есть после 22 июля 1789 г. Заново написаны «Посвящение Кутузову», глава «Подберезье». В ряде глав вставлены новые эпизоды: в «Спасской Полести» — рассказ об устрицах; в «Новгороде» — встреча с Карпом Дементычем; в «Зайцове» — письмо о свадьбе Дурындипа. Глава «Черная Грязь» коренным образом переделана.

Стр. 79. Эпиграф — Стих из поэмы Василия Тредиаковского «Тилемахида», изданной в 1766 г., Радищев использует для обозначения главной темы своего обличения — самодержавия. Дело в том, что в поэме Тредиаковского Тилемак, сходя в подземный тартар, видит там «царей увенчанных, употреблявших во зло свое на престоле могущество». Наказанные за свои злодеяния цари, по словам Тредиаковского, были «гнуснейши и страшилищны». Из числа других особо отвратительным выглядел тот царь, которого увидел Тилемак «напоследок»: «Чудище обло (то есть толстое), озорно (то есть большое), огромно, с тризвонной (то есть имеющее три пасти) и лапй (то есть лающее)». Радищев несколько меняет стих Тредиаковского. Заслуживает быть отмеченным желание автора «Путешествия» подчеркнуть в поэме Тредиаковского именно этот выпад против царей-деспотов, желание в своей политической борьбе против русского самодержавия опереться на национальные традиции.

Стр. 92. *А о Соловье разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей* — то есть русских историков. Радищев читал о происхождении прозвища «соловей», в частности, у Татищева. Характерен вывод, делаемый Радищевым из показаний летописцев, что «красноречия ради» называли соловьем: «из сего видно, что красноречье и тогда было почитаемо и народные собрания во употреблении».

— *Государев наместник* — должность, введенная по «Учреждению для управления губерний» (1775 г.). Во главе каждой губернии стоял губернатор и его помощник вице-губернатор. На две-три губернии назначался наместник, долженствовавший представлять особу государя и осуществлять верховную власть — предавать суду виновных в злоупотреблениях, миловать и т. д. Власть наместника была огромной. Среди наместников, хозяйничавших по своему усмотрению и произволу, первое место занимал Г. Потемкин, фаворит Екатерины (он был наместником Астраханской, Азовской и Новороссийской губерний).

Стр. 93. *...промен берешь...* — незаконный сбор, в данном случае речь идет о расчете ассигнаций на серебро.

Стр. 97—104. Сон путешественника — злая и беспощадная сатира на екатерининское правление, обличающая ее любовь к лести, ее окровочительство

своим фаворитам, и прежде всего Потемкину, грабившим и разорявшим Россию. По приблизительным подсчетам Екатерина раздала им почти 100 миллионов денег, или, по курсу XX века, около полумиллиарда. Екатерина, читая эту главу, с великим негодованием записала на полях: «страница покрыта бранью и ругательством, и злостным толкованием». Эта глава, по мнению императрицы, «довольно доказывает намерение, для чего вся книга написана».

Стр. 105—108. Глава «Подберезье». — Содержит решительное выступление Радищева против масонства. В образе семинариста Радищев изображает русских масонов. В 80-е годы в масонстве все сильнее пачали сказываться реакционные мистические увлечения, стали популяризоваться алхимические опыты и различные сочинения, которые Радищев называет «бредомствованиями». Особый вред масонства, по мысли Радищева, состоял еще в том, что оно, быстро распространяясь, увлекало юношество, вводило его от активной общественной деятельности. Молодой семинарист — «мартинист», то есть последователь учения мистика Сен-Мартена. Среди этой части масонов было модно сочинение мистика и духовидца Сведенборга, которого читал семинарист. Давая отрывок из сочинений семинариста, Радищев резко критикует его «бредомствования», показывая всю реакционность, вздорность и пелость проповедуемых масонами учений.

Стр. 106. ...уже есть повеление о учреждении новых университетов... — К 1787 г. был сочинен «План университетов и гимназий, в разных местах империи заводимых». Предполагалось открыть три университета — в Пскове, Чернигове и Пензе. Путешественник, находящийся на первом этапе своего испытания и верящий в обещание властей, зная об этом плане, успокаивает семинариста, говоря, что скоро его желание исполнится. К 1790 г. Радищеву было отлично известно, что о данном проекте забыли и никто не собирався его исполнять. Таким образом упоминание об этом было выпадом против лживых обещаний русской императрицы.

Стр. 109—113. Глава «Новгород». — Написана Радищевым в результате глубокого изучения русской истории, знакомства с сочинениями русских историков, летописями и т. д.

Стр. 118. *Повенечные* — вид незаконной повинности, которую некоторые помещики взимали со своих крестьян за право жениться.

Стр. 119. *Исправник* — председатель «нижнего земского суда», пачальник уездной полиции; должность введена в 1775 г.

— *Торговая казнь* — публичные наказания, производившиеся на городских площадях, или торгах, исполнителем был палач, который сек приговоренных кнутом, производил клеймение, вырывал ноздри.

Стр. 121. *Однодворцы* — так называлась привилегированная часть государственных крестьян, наделявшихся землей в количествах, позволявших селиться одним двором. По своему имущественному и правовому положению они составляли промежуточную прослойку между крепостными и привилегированными классами.

Стр. 123. *Летний сад* — сад в Петербурге на берегу Невы, основанный Петром I. *Баба* — богатый парк царского родственника Д. Нарышкина

на взморье, по дороге в Петергоф, где по воскресеньям устранивались большие гулянья; называли сад: «Ба! ба!»

Стр. 142. ...*чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому.* — Воспитательные дома были открыты в России в 1764 г. в Москве и в 1779 г. в Петербурге для приема незаконнорожденных детей. Радищев, говоря о нравах столичного дворянства, ссылается на реальные факты распустыи и развращенности, обусловившие открытие воспитательных домов для приема внебрачных детей.

Стр. 144. *Но крестьянин в законе мертв...* — Указом Екатерины от 1767 г. крестьянам под угрозой ссылки на каторгу в Перчинск запрещалось жаловаться на своих помещиков. Тем самым дворяне становились полновластными и бесконтрольными хозяевами жизни и имущества своих крепостных. Революционный характер следующего за этой фразой радищевского восклицания отлично поняла Екатерина, написавшая на полях следующее замечание: «в конце той странице слова: «нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет». Суть примечания достойны и суще возмутительны».

Стр. 146. ...*выпросит в почетные девицы...* — то есть добьется придворного звания фрейлины.

— ...*едущую четвернею...* — В сословном дворянском государстве «выезд» определялся в соответствии с знатностью и местом того или иного лица в государстве. Люди первых классов по табелю о рангах могли запрягать в экипажи шестерку или четверку лошадей. Только четверка полагалась шестому — восьмому классу. Следующие чины ездили на иаре, а чиновные бедные дворяне и люди «подлого звания» могли ездить только на одной лошади.

Стр. 150. ...*сыны славы, мы, имнем и делами словуты...* — В XVIII веке имела хождение лженаучная теория о происхождении названия славян от слова «слава». Екатерина усиленно популяризировала эту точку зрения. В частности, об этом она писала в своем сочинении «Записки касательно российской истории», напечатанном в журнале «Собеседник любителей российского слова» (1783—1784 гг.). Радищев, пародируя екатерининское словоупотребление. Издательский характер написанного радищевского манифеста отлично понимала Екатерина, как поняла и действительные намерения его автора. Она писала: «В насмехательном виде говорится о блаженстве и дается чувствовать, что онаго нету; сие служит предисловием к тому, что сочинитель намерен говорить о крестьянах и их неволе и о войск, кои в неволи же по причине строя и стройности», «клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства; сочинитель не любит слов твшина и помехи».

Стр. 154. ...*применю к шарам...* — то есть к воздушным шарам. В 1783 г. братья Монгольфьери, а в 1785 г. Блانشар совершили пробные полеты на воздушном шаре.

Стр. 158. *Расправа* — суд для крестьян.

Стр. 164. *Типографии у нас всем иметь дозволено...* — В 1783 г. Екатерина издала указ о приравнении типографий к фабрикам, благодаря чему

открылась возможность заводить их всякому желающему. Разрешение же на печатание книг давала управа благочиния — полиция.

Стр. 165. *Святая инквизиция* — судебно-полицейская организация католической церкви в Испании, известная своими беспримерными по жестокости преследованиями всех, кто осмеливался отходить от догматов католицизма. Возникнув в XIII веке, была уничтожена только в 1809 г. За время деятельности инквизиции было по ее приказам сожжено 32 тысячи человек.

Стр. 166. *Се правила Наказа о новом уложении*. — Радищев издевательски ссылается на «Наказ» Екатерины, превратив толкуя его демонстративно лживые обещания. Смелость Радищева проявлялась еще и в том, что он посмел сослаться в 1790 г. на «Наказ», который был уже давно запрещен самой Екатериной.

— *Отступники откровенной религии* — то есть раскольники, не признававшие официальной православной церкви.

Стр. 166. *...заклеплется удручение...* — то есть когда угнетение будет устранено.

Стр. 178. *...мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно... Лафает был исполнителем сего приговора. О Францию! ты еще хощаешь блиа Бастильских пропастей.* — Резкое выступление Радищева против правых деятелей французской революции, предавших интересы народа, вставших на путь удущения революции. В данном случае Радищев подразумевает реальный факт: 22 января 1790 г. по решению Национального собрания была предпринята попытка ареста Марата за его обличение антинародной политики буржуазного правительства, в частности за его критику президента Национального собрания Бальи и начальника национальной гвардии Лафайета. Энгельс высоко оценил эти политические выступления Марата. Он писал, что Марат «совлек покрывало с тогдашних кумиров — Лафайета, Бальи и других, разоблачив в них уже готовых изменников революции» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. VI, стр. 8—9). Радищев, узнав о решении Национального собрания арестовать Марата за его литературно-политическую деятельность, выступил с защитой подлиного «друга народа» и революционера, подвергнувшегося гонениям со стороны предателей и изменников революции.

Стр. 180. *Франкфуртская баталия* — сражение при деревне Куперсдорф (4 км. от Франкфурта), происшедшее в 1759 г. во время Семилетней войны между русскими войсками и армией прусского короля Фридриха, закончившееся поражением пруссаков.

Стр. 181. *Великие отчинники* — то есть дворяне, владеющие большими имениями (вотчинами).

Стр. 182—191. Глава «Тверь». — В Твери путешественник встречает автора первого революционного произведения в России, оды «Вольность», то есть Радищева. «Новомодный стихотворец» читает свою оду «Вольность», где изложена была впервые теория народной революции. Сюжет «Путешествия», подчинявший себе весь вводимый материал, не позволял вносить оду целиком. В композиционном строении «Путешествия» значение имела именно встреча с автором, с живым человеком, который излагает свои революционные убежде-

ния. Подтверждая свою правоту поэтическим словом, он увеличивал воздействие революционных идей.

Речь «новомодного стихотворца» начинается с рассуждения о русском стихосложении. Вопрос о стихе для Радищева — это вопрос о судьбах русской литературы. Создавая революционные произведения, выдвигая перед русскими писателями новую задачу — подчинить литературу делу освобождения народа, делу революции, он прочно опирается на русскую традицию. Говоря о поэзии, он ссылается на сделанное Ломоносовым и Тредиаковским. До Тредиаковского и Ломоносова в русской поэзии было утверждено силлабическое стихосложение. Вывезенное из Польши, оно было навязано русской литературе, вопреки строю и духу русского языка. Дело в том, что силлабический стих исторически возник и существует поныне в языках со строго фиксированным ударением (так, например, во французском, где ударение на последнем слоге, или польском, где ударение на предпоследнем слоге, и т. д.), поэтому он организовал не на принципе чередования ударений, а на закреплении определенного числа слогов в строке, связанных с рифмой. Русский язык отличается свободой ударения. Навязанный ему силлабический размер (или, как пишет Радищев, «польское одяние наших стихов») тем самым обеднял русский стих, так как, не используя всех богатств языка, всех его возможностей, был ему чужд. Заслуга Тредиаковского (выступил в 1735 г. с книгой «Краткий и новый способ к сложению стихов российских») и особенно Ломоносова (в 1739 г. написавшего «Письмо о правилах российского стихотворства») определена тем, что они освободили русское стихосложение от чуждого ему силлабического размера, создали тонический стих, основанный на чередовании ударений. Радищев ценит преобразование этих поэтов за то, что они положили в основание русской поэзии прочную национальную базу. Будучи революционером не только в политике, но и в эстетике, Радищев требует от писателей новаторства. Исторически же дело сложилось так, что, утвердив тоническое стихосложение, Ломоносов канонизировал лишь один размер — ямб. Сила поэтической практики Ломоносова была такова, что он «надел на последователей своих узду великого примера», и все последующие поэты писали чаще всего ямбом. Вот почему Радищев приветствует опыт Тредиаковского, издавшего в 1766 г. «Тилемахиду», где, отступив от ямба, он пишет русским гекзаметром (шестистопный дактиль с хорейским окончанием без рифмы), но в то же время отмечает, что наличие слабых стихов у Тредиаковского помешало утверждению нового размера, и эта попытка не заставила русских поэтов отказаться от прочно усвоенного ямба;

Эта радищевская позиция в области поэзии, как и его личное поэтическое новаторство были высоко оценены Пушкиным. Именно по поводу этой главы Пушкин в своем незаконченном произведении «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Радищев, будучи нововодителем в душе, силится переменить и русское стихосложение. Его изучение «Тилемахиды» замечательно. Он первый у нас писал древними лирическими размерами. Стихи его лучше его прозы. Прочитайте его «Осмынадцатое столетие», Сафические строфы, басню, или, вернее, элегию «Журавли» — все это имеет достоинство». Далее Пушкин поддерживает и его требование использовать и развивать белый, безрифмен-

ный стих: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую».

Стр. 183. ...в *Наказе о сочинении нового уложения*... — В 38 параграфе «Наказа» сказано: «Вольность есть право все делать, что законы дозволяют». Ссылка на екатерининский «Наказ» была «дерзновенной» прежде всего потому, что Радищев слишком вольно его толковал.

Стр. 191. *Отдача в рекруты*. — До военной реформы 1870 г. русская армия пополнялась не через всеобщую воинскую повинность, а путем рекрутских наборов. Солдат брали только из податных сословий, главным образом из крестьян. Дворяне освобождались от этой повинности. Купцам предоставлялось право откупа от службы. В месяцы рекрутских наборов правительство требовало, чтобы с установленного им числа взрослых мужчин был поставлен один человек. Уходивший на службу становился солдатом на всю жизнь. Рекрутские наборы сопровождались злоупотреблениями. Не крепостные крестьяне (государственные, экономические) вместо себя выставляли крепостных, покупая их за огромную цену у помещиков, которые наживали на спекуляциях большие деньги.

Стр. 192. *Экономические селения*. — До 1764 г. монастыри владели крепостными крестьянами и деревнями. Указом Екатерины эти деревни и крестьяне перешли в казну и стали подчиняться «Коллегии экономии духовных именей», — отсюда и название их экономические.

Стр. 200. ...что ему ни А..., ни О... во всю жизнь свою сказать не удастся... — Радищев цитирует рукописное сатирическое сочинение Фонвизина «Придворная грамматика» (см. это сочинение на стр. 519 первого тома).

БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА

Принадлежность этого сочинения Радищеву устанавливается на основании «Записок» Сергея Алексеевича Тучкова (СПБ., 1906). Тучков, будучи молодым офицером, в конце 80-х годов состоял членом «Общества друзей словесных наук». В своих «Записках» он рассказал об участии Радищева в этом «Обществе» и о чтении этого произведения: «Некто г. Радищев, член общества нашего, написал одно небольшое сочинение под названием «Беседа о том, что есть сын отечества, или истинный патриот» и хотел поместить в нашем журнале. Члены хотя одобрили оное, но не надеялись, чтоб цензура пропустила сочинение, писанное с такою вольностью духа. Г. Радищев взял на себя отвезти все издание того месяца к цензору и успел в том, что сочинение его вместе с другим было позволено для напечатания» (стр. 63).

Впервые на это свидетельство Тучкова обратил внимание П. Е. Щеголев. В журнале «Общества друзей словесных наук» — «Беседующий гражданин» за декабрь месяц 1789 г. была найдена указанная Тучковым статья Радищева. В 1908 г. Щеголев переиздал эту статью из журнала и включил в свою работу «Из истории журнальной деятельности А. Н. Радищева» («Минувшие годы», 1908, № 12). О связи этого произведения с манифестами Пугачева см. по вступительной статье «А. Н. Радищев».

Н. М. Карамзин

БЕДНАЯ ЛИЗА

Впервые напечатано в «Московском журнале» Карамзина в 1792 г. Как и следующие произведения Карамзина, в настоящем сборнике печатается по тексту последнего прижизненного издания сочинений Карамзина 1820 г.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ И ХОЛОДНЫЙ

Впервые напечатано в журнале «Вестник Европы», 1803 г., кн. XIX.

ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ

Впервые напечатано в первой части альманаха «Аглая» в 1794 г.

СПЕРРА-МОРЕНА

Впервые напечатано во второй части альманаха «Аглая» в 1795 г.

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Впервые печатались в «Московском журнале» Карамзина 1791 и 1792 гг. и в альманахе «Аглая» 1794 и 1795 гг. Затем вошли в собрания сочинений Карамзина, при жизни автора выходявшие в 1802, 1814—1815 и 1820 гг. В настоящем сборнике воспроизводятся по тексту последнего из указанных изданий с некоторыми сокращениями.

Карамзин выехал из Москвы 17 мая 1789 г. Он предполагал ехать из Петербурга морем до Данцига или Штеттина, но в силу затруднений с паспортом отправился сухим путем на Нарву, Дерпт, Ригу, Митаву, Кенигсберг, Данциг, Берлин. Отсюда Карамзин проехал в Дрезден, Лейпциг, Веймар, далее посетил Франкфурт-на-Майне, Дармштадт, Майнц, Страсбург и прибыл в Швейцарию. Он побывал в Базеле, Цюрихе, Берне, сделал несколько экскурсий по горам и остановился в Жеве, где провел около четырех месяцев. Из Жевы Карамзин проехал в Лион, собираясь осмотреть южную Францию, но переменял свое намерение и отправился в Париж, где прожил с конца марта по июнь 1790 г. Оттуда он проследовал в Лондон, провел в этом городе около трех месяцев и в сентябре того же года морем вернулся в Петербург.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Т в е р ь, 18 мая 1789

Стр. 275. *Расстался я с вами, милые, расстался!* — Карамзин обращается в письмах к своим московским друзьям Алексею Александровичу и Настасье Ивановне Плещеевым. Сестра ее, Елизавета Ивановна, стала впоследствии

женою Карамзина. Во время путешествия Карамзин почти не вел переписку с оставшимися в России друзьями, но избрал эту форму как наиболее удобную для изложения виденного им за границей.

Стр. 275. *Милый Петр*. — Александр Андреевич Петров, студент Московского университета, член масонского кружка Н. И. Новикова, участник журнала «Детское чтение» (1785—1789 гг.), в котором работал вместе с Карамзиным, что и повело к дружбе между ними. Памяти Петрова посвящено произведение Карамзина «Цветок на гроб моего Агатоны».

С.-Петербург, 26 мая 1789

Стр. 277. *...взял подорожную...* — удостоверение для проезда, предоставлявшее право на получение почтовых лошадей.

Рига, 31 мая 1789

Стр. 277. *...ехать из Петербурга на перекладных...* — При езде на перекладных на почтовых станциях приходилось менять лошадей и экипажи, перекладывая багаж путешественников, откуда и произошло название.

Кенигсберг, июня 19, 1789

Стр. 281. *Вчера же после обеда был я у славного Канта...* — Карамзин одной из целей своего путешествия поставил знакомство с выдающимися деятелями науки и литературы за границей. Кант был первым иноземным ученым, к которому направился Карамзин, покинув пределы России. Он знал сочинения Канта по своим московским занятиям и был вполне подготовлен к беседе с философом. См. указатель имен.

Мариенбург, 21 июня, ночью

Стр. 283. *Мы говорили о турецкой и шведской войне...* — Россия вела в 1787—1791 гг. войну с Турцией (вторую при Екатерине II) и одновременно в 1788—1790 гг. войну со Швецией. В турецкой войне особенно прославился Суворов, одержавший над турками победы при Фокшанах, Рымнике (1789 г.). В 1790 г. приступом была взята крепость Измаил.

— *Миролюбивое мое сердце оскорбилось*. — Карамзин с большой неприязнью относился к немецкой военщине и рисовал ее представителей резкими и верными чертами. Он отметил взгляд на войну как на «экзерцицию» — упражнение для прусского войска, взгляд, стоивший жизни многим тысячам немцев. Кичливый прусский милитаризм удалось сломить только Советской Армии в боях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Д а н ц и г, 22 и ю н я 1789

Стр. 286. ...когда граф Миних штурмовал город. — В 1733—1735 гг. Россия участвовала в войне за польский престол, поддерживая Августа III против Станислава Лещинского, ставленника шведского короля Карла XII. Осажденный в Данциге войсками Миниха, Лещинский бежал из города морским путем.

Ш т а р г а р д, 26 и ю н я

Стр. 288. ...статуею Фридриха-Вильгельма. — Положительная оценка Фридриха I (1713—1740) характерна для монархических настроений Карамзина. На самом деле именно Фридрих I способствовал превращению Пруссии в «разбойничье государство» и создавал армию. Сын его Фридрих II (1740—1786) только продолжил политику отца, усилив ее завоевательные тенденции, насадив в армии палочную дисциплину и доведя до предела эксплуатацию крестьянства.

— *Русский казак!* — *закричал трактирщик...* — В 1759 г. русские войска панесли Фридриху II жесточайшее поражение при Кунерсдорфе, а в 1760 г. заняли Берлин. Этот разгром остался в памяти населения, и Карамзин через тридцать лет мог убедиться в страхе и уважении, внушенном пруссакам русским оружием.

Б е р л и н, 30 и ю н я 1789

Стр. 290. *Брат Рамзей* — прозвище Карамзина в «Дружеском обществе», образованное по созвучию с именем одного английского писателя.

Стр. 291. ...это был не наш А. — Этим инициалом обозначен Алексей Михайлович Кутузов, товарищ А. Н. Радицева по Пажескому корпусу и Лейпцигскому университету, один из виднейших деятелей масонства в России. Карамзин был знаком с Кутузовым через Н. И. Новикова и рассчитывал встретить его в Берлине, где Кутузов находился в 1789 г., выполняя поручения московских масонов. Однако встреча эта не состоялась ввиду отъезда Кутузова.

Стр. 293. ...когда я шел к Д. — инициал этот не раскрыт.

Стр. 294. *Теперь все готовится к встрече штатгальтерши...* — Сестра прусского короля, посетившая в 1789 г. Берлин, была замужем за штатгальтером (правителем) Голландии Вильгельмом V, державшимся у власти защитой прусского оружия.

Стр. 294—295. *Я нашел в зверинце длинную аллею...* — Письмо Кутузова, приводимое Карамзиным, имеет типичный для масонов мистико-символический характер. Сам Карамзин не был склонен к таким рассуждениям.

И ю л я 2

Стр. 295. *Представляли драму: «Ненависть к людям и раскаяние», сочиненную господином Коцебу...* — Август Коцебу (1751—1819) — немецкий писатель-реакционер, автор многочисленных сентиментальных пьес, Он вел

борьбу с либеральными течениями в Германии и служил впоследствии агентом Священного Союза. Завзятый реакционер Коцебу был убит студентом Зандом. Этот факт отмечен Пушкиным в стихотворениях «Кинжал» и «На Стурдзу».

И ю л я 5

Стр. 299. *Ныне был я у старика Рамлера...* — Карамзин явно польстил Рамлеру, сказавши, что его сочинения «почитаются у нас классическими». Этот высокопарный и подражательный поэт не имел никакого успеха у русского читателя.

Стр. 300. *Швейцарский Теокрыт* — так Карамзин называет поэта Геснера, подобно древнегреческому поэту Теокрыту (около 280 г. до н. э.) писавшего идиллии.

— *Славный Экгоф* — известный немецкий актер и режиссер (1720—1778).

Стр. 301. *Автор пишет в Шекспировом духе.* — Карамзин находит, что Шиллер похож на Шекспира, что показывает недостаточное понимание им творчества немецкого писателя.

З а д в е м и л и о т Д р е з д е н а , 10 и ю л я 1789

Стр. 304. *«Тристрам Шанди»* — произведение английского писателя Лоуренса Стерна, изданное в 1760—1767 гг.

Стр. 305. *...гогардскими карикатурами.* — Гогарт (1697—1764) — английский художник, автор сатирических рисунков и карикатур, изображавших быт и нравы английского общества.

М е й с е н , и ю л я 13

Стр. 309. *Как ясно было небо...* — Карамзин в сентиментально-идиллических красках изображает быт немецких «поселян», не всматриваясь в их действительное состояние, не замечая бедности и нищеты. Непосредственно против данного высказывания Карамзина направлена характеристика пастьишней жизни, приведенная Крыловым в «Кайбе».

Стр. 310. *Непосредственно о Мендельзоновом «Федоне»...* — Моисей Мендельсон (1723—1811) — немецкий философ-идеалист. Его трактат «Федон» (1764 г.) был популярен в среде русских масонов. Переведенный на русский язык А. М. Кутузовым, он печатался в журнале «Утренний свет» («Федон или разговоры о бессмертии души», 1777 г., ч. 1). Студент опровергает Мендельсона с точки зрения Канта. Радищев в своем трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» (1792 г.) критикует с позиций материализма мистику и идеалистические взгляды масонов, в том числе и Кутузова, и в конечном счете показывает несостоятельность доводов в пользу бессмертия души.

И ю л я 15

В Лейпциге Карамзин познакомился с профессорами университета. Это учебное заведение было поставлено далеко не блестяще. В обучении господствовали методы средневековой схоластики, студентов всячески оберегали от знакомства с просветительной литературой, шедшей из Франции. Профессора прививали молодежи идеалистическое мировоззрение, требовали от нее верности властям и религии. Платнер, читавший курс философии и физиологии, был заурядным эклектиком, пытавшимся соединить взгляды Канта и Лейбница, и эту мешанину преподносил с кафедры.

Д. И. Фонвизин, посетивший Лейпциг в 1777 г., так записал свои впечатления: «Я нашел сей город наполненным учеными людьми. Иные из них почитают главным своим и человеческим достоинством то, что умеют говорить по-латыни... другие, вознесясь мысленно на небеса, не смыслят ничего, что делается на земле; иные весьма твердо знают артифициальную логику, имея крайний недостаток в натуральной; словом, — Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума» (письмо гр. П. И. Панину от 22 ноября 1777 г.).

Стр. 315. *В Вендлеровом саду видел я Геллертов монумент...* — Геллерт (1715—1769), преподававший в Лейпцигском университете курс словесных наук, был автором многих сочинений по вопросам морали. Он писал также басни, духовные песни, оды, пьесы для театра и письма. Геллерт распространял религиозное мировоззрение, нравственные проповеди его основывались на церковных догматах. Гете, учившийся в Лейпциге одновременно с Радищевым, вспоминает, что Геллерт часто «спрашивал своим плаксивым голоском, опустив голову, — прилежно ли мы посещаем церковь, кто наш духовник, приобщались ли мы святых таин. Если мы плохо выдерживали этот экзамен, — он отпускал нас с печальными вздохами» (Собр. соч., 1935, т. IX, стр. 306). Сентиментально-слезливый тон писаний Геллерта приходился по душе молодому Карамзину, чем и вызваны его сочувственные отзывы об этом христианском моралисте.

И ю л я 16, в 2 часа пополудни

Стр. 319. *Он помнит К., Р. и других русских, которые здесь учились.* — Под этими инициалами подразумеваются А. М. Кутузов и А. Н. Радищев.

Слова Платнера «все они были моими учениками» не имеют права на расширительное толкование. Геллерт и Платнер с их стремлением решать общественные вопросы в плане религиозной морали, с их расплывчатой либеральностью и эклектизмом были глубоко чужды Радищеву.

— *Они очень удивились, слыша от меня, что десять песней «Мессиады» переведены на русский язык.* — «Мессиада» — поэма немецкого поэта Клопштока (1724—1803) — была переведена на русский язык А. М. Кутузовым. Две части, составляющие половину немецкого подлинника, были изданы в Москве в 1785—1787 гг. Разговор за ужином хорошо характеризует немецкую ученую корпорацию, с кичливым презрением относившуюся к рус-

скому языку и совершенно не осведомленную о состоянии русской литературы. Карамзин, рассказывая об успехах нашей словесности, называет две эпические поэмы М. М. Хераскова «Россиада» (1779 г.) и «Владимир возрожденный» (1785 г.), явившиеся принципиально важными произведениями русского классицизма.

И ю л я 19

Стр. 322. ...*два письма от А...* — от А. М. Кутузова; поручения от масонской организации требовали разъездов Кутузова по Европе.

— ...*известный обманщик Шрепфер...* — Авантюрист и шарлатан Шрепфер долгое время в Европе был заметной фигурой «духовидца» и на обмане доверчивых людей строил свои корыстные расчеты.

В е й м а р, и ю л я 20

Посещение Веймара входило непременно пунктом в план путешествия Карамзина, задуманный в Москве. Веймарскому герцогу Карлу-Августу удалось собрать при своем убогом провинциальном дворе выдающихся представителей немецкой литературы — Гете, Гердера, Виланда, сделавших вскоре город притягательным местом для путешественников. Карамзину из этих трех имен ближе всего был Виланд. Гете его интересовал меньше, хотя с сочинениями автора «Вертера» он был уже знаком.

Слава Веймара как литературной столицы Германии, «немецких Афин», была сильно преувеличена, и Карамзин понял это, отметив, что «кроме герцогского дворца не найдешь здесь ни одного огромного дома» и что все спешенные им писатели находятся «во дворце».

21 и ю л я

Упоминаемый в разговоре Карамзина с Виландом Ш. — граф Андрей Петрович Шувалов (1727—1789); большую часть жизни проводил за границей, дружил с Вольтером и редактировал письма, которые писала к нему Екатерина II, потому что императрица справедливо не доверяла своей французской орфографии и своему слогу.

В е й м а р, и ю л я 22

Стр. 333. *Наши Л.* — Рейнгольд Ленц (1751—1792), немецкий поэт, участник движения «бури и натиска», переселился в Россию и был близок к московским масонам, в среде которых с ним познакомился и Карамзин. Ленц был дружен с Гете и в 1776 г. несколько месяцев провел в Веймаре, откуда затем был изгнан по приказу герцога Карла-Августа в связи с каким-то поступком, касавшимся Гете.

Ф р а н к ф у р т, 29 и ю л я

Стр. 338. *Ифландовы драмы.* — Ифланд (1759—1814) — актер и драматург, автор сентиментальных пьес, проповедовавших буржуазную мораль. На русский язык в 1802 г. была переведена его пьеса «Охотники» и в 1812 г. —

«Комета», но ожидавшегося Карамзиным успеха драматургия Ифланда в России не имела.

Стр. 339. ...если бы у Калигулы не был испорчен желудок... — Калигула — римский император (37—41 гг. н. э.), известный своей жестокостью и безумными выходками.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стразбург, августа 6

Стр. 345. *Веде в Эльзасе заметно волнение.* — До приезда во Францию Карамзин не упоминает о буржуазной революции, хотя сведения о событиях у него несомненно были. 14 июля была взята парижская крепость — тюрьма Бастилия, что послужило сигналом для народных движений в провинции. Франция была охвачена народными восстаниями. Карамзин был свидетелем восстания в Эльзасе. Терминология его: «бунт», «пьяные бунтовщики» — показывает враждебное отношение к революции, сохранившееся Карамзиным до конца. Францию он называет «горестной».

Стр. 346. ...славное произведение резца Пигалева. — Пигаль (1714—1785) — французский скульптор. Свойственный ему патриотизм и стремление к непосредственности восприятия оказались чуждыми Карамзину, между тем как именно эти черты творчества Пигалья высоко ценились Дидро и другими идеологами французской буржуазии.

Стр. 347. *Взять абшид* — уволиться со службы, выйти в отставку.

Базель

Стр. 349. ...*Монументы Эразма...* — Эразм Роттердамский (1467—1536) — нидерландский гуманист, автор «Похвального слова глупости» — острой сатиры, направленной против католического духовенства во главе с римским папою и бичевавшей пороки современного общества. Разумеется, благонамеренное остроумие Виланда, упоминаемого здесь Карамзиным, никак не может быть сравниваемо с резкой, хоть и грубоватой иногда сатирой Эразма. Но ведь и авторов разделяют более чем два столетия!

В карете дорогою

Стр. 349. *Счастливые швейцарцы* — швейцарцы. Письмо это чрезвычайно ярко характеризует настроения Карамзина, прельщенного «прелестями Натуры» в пе пожелавшего увидеть тяжелой и бедной жизни швейцарских крестьян.

Цюрих

Стр. 350. *С отменным удовольствием подъезжал я к Цюриху* — то есть к Цюриху. Далее Карамзин перечисляет немецких литераторов, живших в Цюрихе и посещавших город и его окрестности.

Стр. 351. ...*нетрудно было узнать* — Лафатера. — Лафатер (1741—1804) — немецкий писатель, автор лженаучной «физиогномики», учения,

согласно которому по лицу человека можно распознать его душевные качества. Карамзин из Москвы переписывался с Лафатером и по приезде в Цюрих поспешил направиться к нему.

Стр. 352. *...очень похож на С. И. Г.* — на Сергея Ивановича Гамалея (1794—1822), московского знакомого Карамзина, масона.

— *...рассказывал им о свидании своем с Неккером.* — Неккер (1732—1802), женеvский банкир, при Людовике XVI был генеральным контролером Франции (министром финансов). Попытки Неккера уменьшить расширение государственных средств повлекли за собой его отставку, подписанную королем по требованию дворян и духовенства. Но в 1788 г. король вынужден был вернуть Неккера, имея в виду созыв Генеральных штатов, от которых надеялся получить согласие на новый заем и новые налоги. Неккер, популярный в среде буржуазии, не перешел на сторону короля, за что 10 июля 1789 г. был вновь оставлен от должности генерального контролера. Отставка Неккера вызвала возмущение буржуазии и явилась одной из причин, ускоривших восстание 12 июля, закончившееся взятием Бастилии.

11 августа, в 10 часов вечера

Стр. 354. *Вильгельм Телль* — легендарный герой швейцарского народа. Убийство Теллем наместника германского императора повлекло за собой, по легенде, народное восстание, в результате которого была свергнута власть Габсбургов и образован свободный Швейцарский союз (конец XIII — начало XIV века).

— *Анна Грей* — была провозглашена английской королевой в обход законных наследников. Против нее было поднято восстание. Грей свергли с престола и казнили в 1554 г.

Эглизану, августа 14

Стр. 356. *...пошли мы с Б. из Цуриха.* — Б. — Беккер, датчанин, временный спутник Карамзина в путешествии по Швейцарии и Франции (см. письмо из Базеля, стр. 348).

Ц и р и х

Стр. 360. *Однакож я принял Лафатерово предложение...* — По возвращении в Россию Карамзин не предпринимал попыток издавать Лафатера. В его время вышла в русском переводе только одна книжка Лафатера «Нравоучительные наставления слугам, с присовокуплением добрых советов о воспитании детей, и средства к преуспеянию в добре» (СПБ., 1799), выбранная из десятков томов сочинений Лафатера.

Стр. 362. *...такого благочестия, как в Цурихе.* — Ханжеско-мещанский характер нравов цюрихской буржуазии отмечен Карамзиным достаточно выразительно.

Стр. 364. *Каков вам кажется сей ответ, друзья мои?* — Уважение к Лафатеру, воспитанное в Карамзине масонским кружком, не мешает ему

критически относиться к прославленному «физиогномисту». Так, он вовсе не надеется «сведать от Лафатера цель бытия нашего», понимает, что вопросы, задаваемые им, помогают Лафатеру составлять новую книгу, почему он и уделяет время русскому путешественнику. Карамзин критикует и проповеди Лафатера, находя в них «одни восклицания, одну декламацию».

Стр. 366. *В Цюрихском кантоне считается около 180 000 жителей, а в городе около 10 000...* — Из этих 190 000 только 2000 человек имеют права гражданства — таково «равноправие» в буржуазно-аристократической республике, отмечаемое Карамзинным.

Ц и р и х, 26 августа

Стр. 367. *...под его диктатурою* — то есть под диктовку.

Л о з а н а

Стр. 390. *...с Руссовою «Элоиза» в руках.* — Действие романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» (1761 г.) разворачивается в окрестностях Лозанны.

Стр. 391. *Кокс... пишет...* — Книга английского путешественника Вильямса Кокса «Опыт нынешнего естественного, гражданского и политического состояния Швейцарии или письма Вильгельма Кокса» была издана в Москве в 1791 г., перевод Василия Раевского с французского перевода Ромона, о котором ниже упоминает Карамзин.

Стр. 393. *...взглянуть на Мельери и Кларан* — селения, описанные в «Новой Элоизе».

Л о з а н а

Стр. 394. *...нравится мне более — Йорик* — герой «Сентиментального путешествия» Стерна (1768 г.).

Ж е н е в а, октябрь 2, 1789

Стр. 398. *...приятную должность быть в Ферне...* — Замок Ферне, расположенный на франко-швейцарской границе, был приобретен Вольтером в 1757 г., и в нем он провел последние двадцать лет своей жизни.

Стр. 400. *...авели меня в... серкли...* — Серкль (с франц.) — дружеский кружок.

Ж е н е в а

Стр. 403. *...ничего не говорил вам о великом Боннете...* — Шарль Бонне (1720—1793) — швейцарский естествоиспытатель и религиозно настроенный философ, доказывавший совместимость разума и божественного откровения. Бонне был не чужд стихийно-материалистическим воззрениям на мир, но соединял их с лейбницевской метафизикой.

Стр. 404. *...какая розница между немецким ученым и Боннетом!* — Карамзин остался недоволен немецкими профессорами и с неприязнью заметил, что они принимают «всякую похвалу, как должную дань».

Стр. 404. *Боннет позволил мне переводить его сочинения...* — Карамзин не воспользовался этим разрешением. Перевод «Созерцания природы» был выполнен Ив. Виноградовым (с французского языка). Он выпустил его в 4 частях в 1792—1796 гг.

Женева, 26 января 1790

Стр. 408. *...между ими, как между Филемоном и Бавкидою.* — Дрепне-греческий миф рассказывает об этих дружных супругах, что они радушно приняли Зевса и Гермеса, не находивших себе приюта у других людей. За это хижина Филемона была превращена в храм. Супруги впоследствии кончили жизнь одновременно и были превращены в деревья.

Стр. 409. *...спор о «Письмах» дю-Пати...* — Этот автор издал в 1787 г. свои «Письма об Италии».

— Сочинитель «Аналитического опыта» — Бонна.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Женева

Стр. 410. *Недавно был я на острове св. Петра...* — В 1765 г. Руссо, подвергшийся преследованиям за «Эмиля» (1762 г.) и антицерковную книгу «Письма с горы» (1764 г.), укрылся в Швейцарии на острове Сен-Пьер в долине Бильского (Бьенского) озера. Свое пребывание на острове он описал впоследствии в «Мечтаниях одинокого любителя прогулок». Швейцарские власти приказали Руссо покинуть его убежище, и он через Страсбург и Париж в январе 1766 г. прибыл в Лондон. Из Англии он вернулся во Францию в 1767 г.

Стр. 411. *...как скоро переступишь в Савойскую землю, увидишь бедность...* — Итальянская область Савойя в 1720 г. вошла в состав Сардинского королевства. В 1780-е годы в царствование Виктора-Амедея IV финансово-экономическое состояние Савойи было чрезвычайно тяжелым вследствие непопулярных расходов на содержание двора, армии и духовенства. Безудержные поборы властей ввергли население в нищету.

— *Наконец мир и тишина царствуют в Женеве.* — В результате французской буржуазной революции господство аристократов в Женеве было уничтожено, и власть перешла к революционным комитетам.

Стр. 412. *Недавно случился здесь следующий комико-печальный анекдот.* — Безобразное поведение англичанина, презиравшего швейцарцев в качестве представителя «высшей породы», вызывает осуждение Карамзина. Его неблагоприятное представление об англичанах резко усиливается после поездки в Лондон.

Париж, апреля ... 1790

Стр. 438. *Окружить ли мне себя творениями Иоанна Готвиля, Вильгельма Коррозета и т. д.* — Карамзин перечисляет французских историков, в большинстве XVII века. Дело здесь только в перечне имен, потому что Ка-

рамзин не смел нужды пользоваться для своей цели их трудами, а свои сведения о Париже получил из позднейших работ (Дюлор, Сенфуа и др.).

Стр. 443. *Париж ныне не то, что он был.* — Карамзин воспринимает революционные события с точки зрения консервативного дворянина и отрицательно относится ко всему происходящему.

Стр. 444. *Вчера в придворной церкви видел я короля и королеву.* — Монархические симпатии Карамзина заставляют его видеть в Людовике XVI «благодетельного царя» и приписывать свои взгляды парижскому населению, — наперекор действительным чувствам народа, ненавидевшего короля.

Стр. 445. *Дофина видел я в Тюльери.* — Тюльери — дворец в Париже, окруженный парком. Дофин — старший сын короля. *Ламбаль* — придворная дама королевы. *Флориан* (1755—1794) — французский писатель.

П а р и ж, а п р е л я ... 1790

Стр. 445. *Говорить ли о французской революции?* — Это письмо, содержащее развернутую оценку революционных событий, было включено в текст писем лишь при позднейшей их публикации в 1801 г. В тексте «Московского журнала», «Аглаи» и в издании «Писем» 1797 г. оно отсутствовало. Повидимому, письмо и было написано не ранее 1801 г., выражая, таким образом, точку зрения Карамзина этого времени. Обобщенный характер оценок Карамзина, его прогнозы развития революции, данные в письме («каждый бунтовщик готовит себе эшафот» и др.), трудно объяснимые для 1790 г., становятся вовсе неудивительными, если представить их написанными в 1801 г., когда революция закончилась.

Карамзин, разумеется, не сочувствовал революции. Но в 90-х годах он и не считал ее «отверстым гробом». Грандиозный размах событий, неожиданность и новизна их произвели на Карамзина огромное впечатление и, возможно, в какой-то мере захватили его. Свидетельством этого является следующий факт. В 1797 г. во французском журнале, издававшемся в Гамбурге, Карамзин напечатал отрывок из «Писем русского путешественника», в котором он отзывался о революции как об одном из значительнейших событий всемирной истории: «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества... Начинается новая эпоха. Я вижу это, а Руссо это предвидел».

На русском языке Карамзин, естественно, не мог публиковать подобных определений по цензурным и политическим соображениям. Позднее же Карамзин, напуганный казнью короля и террором, резко изменил свое отношение к революции и в 1801 г. дал ей целиком враждебную оценку.

П а р и ж, а п р е л я 29, 1790

Это письмо, посвященное парижским театрам, дает яркую и живую картину их, написанную пером тонкого ценителя, и является ценным документом для характеристики взглядов Карамзина и материалом для истории театра. Французский театр был важным оружием в руках буржуазии, борющейся

с феодально-монархическим режимом, и испытывал на себе воздействие развивающейся революции.

Стр. 448. *Кто был в Париже... и не видал Большой Оперы...* — Оперный театр, представлявший собою королевскую академию музыки, основанную в 1670 г., был старейшим и наиболее привилегированным театром Парижа до революции, и в нем дольше сохранялись академические традиции, чем в других театральных предприятиях, после 1789 г. Карамзин высоко ценит великолепие оперных постановок и мастерство актеров. Ниже он перечисляет оперные сюжеты, которые трактовали почти исключительно мифологические темы, и дает характеристики артистов.

Стр. 450. *На так называемом Французском театре...* — Французский театр, или Французская комедия, открытый в 1680 г., находился под властью королевского двора и являлся одним из придворных учреждений. На сцене его ставился классический репертуар, и буржуазная драма туда почти не проникала. Театр этот стоял на крайнем правом фланге французского искусства в предреволюционные годы, труппа его замкнулась в кастовой, цеховой ограниченности и враждебно встретила революционные события. Феодально-дворянская ориентация театра повела к его закрытию якобинским правительством в 1793 г.

Карамзин верно передает сущность театра классицизма, указывая на красоту слога пьес, заботящую авторов, и на отсутствие действия в них. Драматургов интересовали не характеры, а положения, и «чувствительный» зритель мог только «удивляться» этой пьесе «с холодным сердцем», несмотря на большое мастерство актеров, характеризуемых ниже Карамзиным.

Стр. 454. *Так называемый Итальянский театр...* — Итальянская комедия была создана из труппы итальянских актеров, выступавших вместе с Мольером, и в 1680 г. получила здание Бургундского отеля. В репертуаре театра ко времени знакомства с ним Карамзина преобладали комические оперы («мелодрамы», как их называет Карамзин) — пьесы драматического или комедийного содержания со вставными музыкальными и вокальными номерами. Комическая опера в половине XVIII века имела буржуазное содержание и критиковала феодальное общество, но ко времени революции утратила свое четкое идеологическое лицо, представлявшее молодую буржуазию, и спектакли ее не противоречили настроениям дворянского зрителя.

Стр. 456. *В мелодраме «Петр Великий»...* — Комическая опера Бульи «Петр Великий» была поставлена Итальянским театром в 1790 г. и означала попытку монархической пропаганды возвеличить Людовика XVI через идеализацию Петра I, «демократического» царя, каким он был изображен на сцене. Карамзин, испытавший прилив патриотических чувств во время спектакля «Петр Великий», не увидел политической тенденциозности пьесы, вызвавшей ее постановку в 1790 г.

Стр. 458. *На театре графа Прованского...* — Этот «Театр господина брата короля» незадолго до революции начал соперничать с Итальянской комедией. В стенах его собиралась избранная буржуазно-аристократическая публика, смотревшая на сцене итальянскую труппу. В репертуаре театра были итальянские оперы, комические оперы, комедии и миниатюры с пением и танцами.

Стр. 458. *Новый театр des Variétés* — театр «Веселое варьете» — был открыт в 1779 г. в большом отлично отделанном зале Пале-Рояля и до революции оформился как буржуазный театр, с соответствующим репертуаром. В первые годы революции он играл весьма заметную роль в театральной жизни Парижа. В 1791 г. был преобразован во второй Французский театр, а затем получил известность под именем Театра республики.

П а р и ж, м а я ...

Стр. 461. *Правда, любовный А. А.*... — Алексей Александрович Плещеев.

П а р и ж, м а я ...

Стр. 463. ...*Армиду, которая смотрится в зеркало*... — История Армиды и Ринальдо, героев поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1581 г.), была излюбленным сюжетом оперы и живописи.

Ч А С Т Ъ Ч Е Т В Е Р Т А Я

П а р и ж, м а я ...

Стр. 483. ...*тайный арестант, известный под именем Железной маски*... — Тайна этого заключенного Людовиком XIV человека не раскрыта до настоящего времени. Различные предположения одинаково гадательны.

П а р и ж, и ю н я ...

Стр. 490. ...*с великою строгостию судил главных французских авторов*. — Суждения аббата Д. развивают распространенные среди современников мнения об особенностях произведений Вольтера, Расина, Корнеля и Кребильона.

Ш а н т и л ь и

Стр. 512. ...*принц Конде веселил здесь нашего северного графа*. — Под именем графа Северного в 1781—1782 гг. совершал заграничное путешествие наследник русского престола Павел Петрович.

К а л е, в ч а с п о п о л у н о ч и

Карамзин просит показать ему в гостинице Дессеня комнаты, описанные Л. Стерном в его книге «Сентиментальное путешествие» (1768 г.).

Д у в р

Первые впечатления Карамзина о земле, «которую в ребячестве своем любил я с таким жаром», значительно изменятся при ближайшем ознакомлении со страной. Требования шиллинга, встреченные им при высадке, убедили Карамзина в ошибочности его прежних представлений об Англии.

Л о н д о н, и ю л я ... 1790

Стр. 526. ...были двумя Фаросами моего путешествия... — Фарос — остров близ Александрии, известный своим маяком.

Л о н д о н, и ю л я ... 1790

Стр. 529. ...но успел слышать... Генделеву ораторию... — Гендель (1685—1759) — немецкий музыкант, с 1710 г. до смерти живший в Англии, где он упрочил свою славу композитора и исполнителя. Оратории Генделя, написанные на библейские сюжеты, были лучшим плодом его многолетнего творчества и получили в Англии широкое признание. Прослушанная Карамзиным оратория «Мессия» была создана Генделем в 1742 г.

Стр. 530. *Но всех более занимал меня молодой человек в сереньком фраке...* — Министр Вильям Питт Младший (1759—1806), член партии тори, был сыном Вильяма Питта Старшего (1708—1778), английского политического деятеля, защищавшего интересы торгового капитала. Питт Младший был непримиримым врагом французской буржуазной революции и жестокой рукой подавил революционное движение в Ирландии.

Л о н д о н, и ю л я ... 1790

Стр. 533. *Но всего чаще обедаю у нашего посла, г. С. Р. В.* — графа Семена Романовича Воронцова (1744—1832), занимавшего пост русского посла в Англии с 1785 по 1806 г.

Л о н д о н, с е н т я б р я ... 1790

Стр. 565. ...будучи пансионером профессора Ш. — профессора Шадена; с 1756 г. до смерти в 1797 г. был ректором над дворянской и разночинской гимназиями при Московском университете. В его пансионе учился молодой Карамзин.

А. И. Клушин

НЕСЧАСТНЫЙ М—В

Повесть Клушина «Несчастный М—в» была первоначально напечатана в журнале «Санктпетербургский Меркурий» за 1793 г. и в настоящем издании воспроизводится по этому тексту. В 1802 г. повесть вышла отдельным изданием под заголовком «Вертеровы чувствования или несчастный М., оригинальный анекдот». В основе ее лежит судьба некоего Маслова, лишившего себя жизни в обстоятельствах, сходных с изображенными Гете в повести «Страдания молодого Вертера».

Н. И. Страхов**САТИРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК**

Извлечения из шести частей журнала «Сатирический вестник» печатаются по тексту первого издания 1790 г.

И. А. Крылов**ПОЧТА ДУХОВ**

Журнал «Почта духов» издавался И. А. Крыловым в Петербурге в течение января — августа 1789 г. За этот срок вышло восемь выпусков (книжек) журнала, включивших в себя 48 писем. Издание осталось незаконченным, как следует думать, в связи с усилением цензурного нажима, предпринятого в 1789 г. правительством. Текст печатается по полному собранию сочинений И. А. Крылова под редакцией Демьяна Бедного (т. I, М., 1945), где он воспроизведен по тексту первого издания «Почты духов» 1789 г.

В с т у п л е н и е

Стр. 633. ...*один из ваших философов... вступил в мою службу управителем дома под Этною.* — Греческий философ V века до нашей эры Эмпедокл, по преданию, бросился в кратер вулкана Этна, желая внушить современникам мысль о том, что его взяли боги на небо. Поток лавы вынес на поверхность земли медные сацдалии Эмпедокла и таким образом обнаружил загадку его исчезновения.

Стр. 634. *Перипатетизм* — учение греческого философа Аристотеля. Здесь обозначает вообще скептическое отношение к вещам.

П и с ь м о I

Стр. 638. *Контрданс* — танец.

— *Аелинские прогулки* — модный в XVIII веке танец.

— *Филиппические речи* — резко обличительные речи (от названия речей против царя Филиппа Македонского, произнесенных древнегреческим оратором Демосфеном).

— *Опера буффо* — жанр комической оперы.

Стр. 639. *Тупей алакроше* — вид прически, взбитый хохол волос.

— *Фуру* — узкое дамское платье, считавшееся одно время модным.

П и с ь м о II

Сильф Дальновид в этом письме сообщает Маликульмульку свои соображения о тщете человеческих стремлений, приходя к выводу, что все охваченные суетой люди «суть равно несчастны в глазах истинного философа».

Эта мысль иллюстрируется примерами государя, придворных и «духовных особ», чьи корыстолюбивые помыслы заставляют их удаляться от «истинного блаженства». Замечания Крылова носят критический характер и звучат смело в части, касающейся «неспокойной и бедственной участи» государя.

Стр. 640. Имена *Сенеки* и *Эпиктета* противопоставлены потому, что первый был знатен и богат, а второй беден; оба они развивали учение стоиков.

П и с ь м о III

Этим и последующими письмами гнома Буристонa, отправленного на землю искать честных судей, Крылов вводит в журнал тему разоблачения судейских порядков в России.

Стр. 644. *Галопад* — танец.

— *Аллегро престо* — музыкальный термин, обозначающий быстрый темп игры.

П и с ь м о VI

Стр. 647. ...*к большому великолепному и многолюдному городу Европы*. — Гном Зор прилетел в Петербург; жители этого города в подражании модам не уступают парижанам, которые «издавна почитаются образцами новых изобретений».

— ...*цветущая молодость, прилтности и красота в нынешнее время... при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса*... — Крылов намекает на фаворитов императрицы Екатерины II, которым она щедрой рукой раздавала деньги, чины, имена и крепостных крестьян.

Стр. 649. *Ныне весь свет играет в карты*... — Азартные карточные игры в дворянском кругу были излюбленным занятием. Зачастую игроки разорились, проигрывали родовые поместья, огромные состояния. Административные меры, принимавшиеся правительством, не прекращали распространения игры, наносившей серьезный ущерб крепостному хозяйству.

П и с ь м о XII

В истории бедняка, укравшего платок у богатого купца, нетрудно видеть продолжение темы судьбы художников дворянско-крепостнической России, намеченной в предыдущем, XI письме. Крылов не обинуясь указывает, что в дворянском кругу, убежденном в превосходстве всего зарубежного над русским, нет места лучшим произведениям искусства, если они «не были иностранной работы». Мысль эта, характерная для его журнальных выступлений, впоследствии с новой остротой будет подчеркиваться в баснях.

Стр. 661. ...*рассерженный человек, державший в руках своих бумагу*... — Здесь, повидимому, Крылов имеет в виду драматурга Я. Б. Княжнина. Известно, что намеки и прямые выпады против Княжнина неоднократно

встречаются в произведениях Крылова. Несомненно, острота конфликта основана на неприемлемости для демократа и патриота Крылова творческого лица Княжнина, убежденного сторонника классицизма. Однако нападки Крылова имеют и явственный личный оттенок. Обстоятельства возникновения этой неприязни, ввиду недостаточности наших сведений, гадательны. В комедии «Проказники» (1787 или 1788 г.) Крылов изобразил Княжнина в образе Рифмокрада, а его жену, дочь писателя А. П. Сумарокова, вывел на сцену под именем Тараторы. Вследствие оскорбительной резкости сценического памфлета Крылова он не был допущен к постановке дирекцией театров.

П и с ь м о XXVI

Письмо гнома Буристона посвящено теме «вельможа» и сходствует с рядом современных произведений, например с одой Г. Р. Державина «Вельможа».

Стр. 676. ...множество лошадей возят на себе одного человека... — Количество лошадей, запрягаемых в экипаж, регламентировалось законом и зависело от степени важности сдущей особы. Шестерку лошадей могли запрягать только высокопоставленные лица.

Стр. 680. *Платоновы сочинения «О должностях».* — Крылов имеет в виду сочинения Платона «Законы», «Политика» и «Государство».

— *Юстиевы рассуждения.* — Юсти был видным немецким юристом XVIII века, оставившим ряд трудов в области государственного права и политической экономии.

— *Примечания Ришелье.* — Повидимому, имеется в виду «политическое завещание» Ришелье королю Франции Людовику XIII.

П и с ь м о XLVI

Стр. 683. *Я застал его зевающего над нововышедшею в свет книгою...* — Ниже Крылов критикует трагедию Я. Б. Княжнина «Владисав», вышедшую вторым изданием в 1789 г.

КАИВ

Как и другие произведения И. А. Крылова, помещенные в настоящем издании, печатается по тексту полного собрания сочинений И. А. Крылова под редакцией Демьяна Бедного (т. I, М., 1945). Впервые напечатано в журнале «Зритель» 1792 г.

Стр. 691. ...толще всех четырех частей «Беседующего гражданина»... — Журнал «Беседующий гражданин» издавался в 1789 г. в Петербурге «Обществом друзей словесных наук» и имел религиозно-наставительный характер, неприемлемый для Крылова. Изменение характера этого издания, связанное

с участием в работах «Общества» А. Н. Радищева, видимо, не ощущалось Крыловым, потому что нападки на «Беседующего гражданина» встречаются в его произведениях не раз.

Стр. 692. *Шемела* — святочная игра, бег на корточках, с пением песен о шемеле — метле.

— *Бегло читали по толкам* — по складам.

— *Именины Касьянов* — по церковному календарю тезоименитство Касьяна приходилось на 29 февраля, то есть праздновалось раз в четыре года.

Стр. 695. *Алкоран (Коран)* — священная книга магометан.

— *Ущерб в Эвоповой реке* — имеется в виду басня Эзопа о собаках, захотевших осушить текущую реку.

Стр. 697. *На другой день Каиб созвал свой диван...* — Характеристика отдельных вельмож и совета в целом носит резко сатирический смысл и направлена Крыловым против современных ему правительственных кругов.

Стр. 708. *Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостью посмотреть сельских жителей.* — Крылов высмеивает идиллические описания сельской жизни в дворянской поэзии, как раньше, в эпизоде встречи Каибка со стихотворцем, нападал на подхалимство официальных поэтов. Рассказ о пастухе и пастушке полемически направлен против Карамзина, в письме «русского путешественника» из Мейсена поместившего слащавое описание пастушеской жизни.

НОЧИ

Незаконченная или прерванная печатанием повесть Крылова «Ночи» впервые была опубликована в журнале «Зритель» 1792 г.

Стр. 717. *Сочинитель «Новой Элоизы»* — Ж.-Ж. Руссо.

Стр. 718. *Его слово, его мысли — вот одно творение, дающее цену человеку...* — Идея бессмертия слова писателя, развиваемая Крыловым, близка к положениям Радищева, считавшего речь «начальным способствователем усовершенствования рода человеческого» и утверждавшего бессмертность человеческой мысли, направленной к общему благу.

Стр. 720. *...чтобы какой-нибудь Амфитрион переломал ему руки и ноги...* — Крылов имеет в виду миф об Алкмене, жене Амфитриона, которую повелитель богов и людей Зевс сделал своей возлюбленной, явившись к ней в образе ее супруга.

Стр. 722. *Тут Юпитер засосал песенку из новой оперы, а Венера, улыбаясь, поглядывала на Марса.* — В разговорах богов заключены намеки на их супружескую неверность. Юпитер часто изменял Юноне, жена Вулкана была возлюбленной Марса.

Стр. 725. *Взгляни, например, на Антирихардсона* — под этим именем Крылов подразумевал сентиментального писателя П. Ю. Львова (1770—1825).

Стр. 726. *Посмотри на мнимого нашего Детуша* — так называли драматурга В. И. Лукина (1737—1794), переводившего комедии Детуша.

— *Возьми в пример Баснобредова* — вероятно, это собирательное имя для обозначения бездарных баснописцев и поэтов.

Стр. 729. *...убедительнее Руссо доказываете мне вредность наук* — имеется в виду диссертация Руссо «Способствовало ли развитие наук и искусств улучшению нравов» (1750 г.).

Стр. 736. *...выбросит за окно того, кто вздумает быть его Созиею*. — Созия, герой комедий Менапдра и Мольера «Амфитрион», подменяет собою мужа, чтобы воспользоваться благосклонностью его жены.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ В ПАМЯТЬ МОЕМУ ДЕДУШКЕ

Напечатана в «Зрителе» 1792 г. В форме панегирической речи Крылов дает злоую и острую характеристику помещика-крепостника, раскрывая историю его воспитания и разоблачая методы хозяйствования в родовом имении. Эта «похвальная речь» представляет собой один из наиболее резких выпадов против дворянства в литературе XVIII века.

МЫСЛИ ФИЛОСОФА ПО МОДЕ

Напечатано в «Зрителе» 1792 г.

Стр. 752. *Брейтегам и Гек* — модные фабриканты.

Стр. 753. *...когда бы Прадон и Котин его исправились?* — Эти французские литераторы были врагами Буало и выступали против него в печати.

Стр. 756. *...станешь бранить славную Ле-Саж и Делли...* — Крылов называет имена театральных знаменитостей XVIII века.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

- Абелард* (Абеляр Пьер, 1079—1142) — средневековый французский схоласт, основоположник философского течения так называемого концептуализма. Радищев имеет в виду сожжение книги Абеяра по приказанию римского папы — т. II, стр. 171.
- Август* (Гай Юлий Цезарь Октавиан, 63—14 до н. э.) — первый римский император — т. II, стр. 51, 169, 170, 190.
- Агрикола* (Гней Юлий, 40—93 н. э.) — римский полководец — т. II, стр. 57.
- Аддисон* Джозеф (1672—1719) — английский писатель-публицист, издатель нравоучительных журналов, автор трагедии «Катон» — т. II, стр. 115, 388, 559, 560.
- Александр Македонский* (356—323 до н. э.) — македонский царь — т. I, стр. 67; т. II, стр. 50, 66, 219, 250, 252, 497, 644, 750.
- Александр VI* (Родриго Ланцуоли Борджиа, 1442—1503) — римский папа — т. II, стр. 175, 176.
- Алексей Михайлович* (1629—1676) — второй царь из дома Романовых — т. II, стр. 140.
- Аннибал* — см. Ганнибал.
- Антоний Марк* (83—31 до н. э.) — римский полководец, перешедший на сторону египетской царицы Клеопатры — т. I, стр. 21; т. II, стр. 496, 499, 638.
- Апеллес* (IV в. до н. э.) — живописец древности, автор портретов Александра Македонского и его полководцев — т. I, стр. 409.
- Арий* (III в. н. э.) — александрийский священник, зачинатель ереси ариан, отрицавших христианское учение о троичности божества — т. II, стр. 171.
- Аристарх* — древнегреческий грамматик и критик, живший в Александрии около 170 г. до н. э. Имя его стало нарицательным для обозначения строгого и недоброжелательного критика — т. II, стр. 492.
- Аристид* (540—467 до н. э.) — древнегреческий полководец и государственный деятель Афин — т. II, стр. 50.
- Аристотель* (384—322 до н. э.) — древнегреческий ученый и философ — т. II, стр. 106, 219.
- Архимед* (287—212 до н. э.) — древнегреческий ученый-математик — т. II, стр. 52.

¹ В «Указатель» вошли наиболее значительные имена, представляющие литературный, исторический и общекультурный интерес.

- Бэкон Веруламский* (Бэкон, 1561—1626) — английский философ-материалист — т. II, стр. 215, 566.
- Бальи Жан Сильвен* (1736—1793) — астроном и буржуазный политический деятель, автор «Истории астрономии», президент первого французского Национального собрания 1789 г. и мэр Парижа — т. II, стр. 462.
- Бартеlemi Жап-Жак* (1716—1795) — французский писатель, автор популярного романа «Путешествие Анахарсиса» (1788) — т. II, стр. 315.
- Барятинский И. С.* (1738—1814) — русский посол в Париже с 1773 по 1784 г. — т. I, стр. 507, 516.
- Бирон Ш.* — французский политический деятель, принимал участие в заговоре против Генриха IV, казнен в 1602 г. — т. II, стр. 66.
- Блекстон* (1723—1790) — английский юрист, автор «Истолкований английских законов» — т. II, стр. 106.
- Боало* — см. Буало.
- Бова* — герой популярной в народе сказочной повести XVII—XVIII вв. — т. II, стр. 92.
- Бодмер Иоганн-Яков* (1698—1783) — немецкий писатель и критик, издатель газеты «Разговоры живописцев», руководитель кружка литераторов в Цюрихе — т. II, стр. 350, 365.
- Боннет* (Бонне Шарль, 1720—1793) — французский естествоиспытатель и философ — т. II, стр. 281, 313, 331, 403—409, 432.
- Браге Тихо* (1546—1601) — датский астроном — т. II, стр. 284.
- Бриссон* (1723—1806) — французский естествоиспытатель — т. I, стр. 509.
- Брут Марк Юний* (79—42 до н. э.) — вдохновитель заговора против Юлия Цезаря, римский ростовщик, представитель римской знати. В XVIII веке Брут воспринимался как республиканец — т. II, стр. 61, 184, 638, 644.
- Буало* Денрео Николай (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма — т. I, стр. 126, 397; т. II, стр. 398, 444, 472, 473, 501, 502, 645, 738.
- Бурк* (Берк Эдмодд, 1730—1797) — английский политический деятель, парламентский оратор — т. II, стр. 211.
- Бюффон Жорж-Луи-Леклерк* (1707—1788) — французский естествоиспытатель, в своей многоотомной «Естественной истории» развивал материалистическую идею единства и связи явлений природы — т. II, стр. 254.
- Вандик* (Вап-Дейк Антонис, 1599—1641) — фламандский живописец — т. II, стр. 497.
- Вейсе Христиан-Феликс* (1726—1804) — немецкий поэт, автор многочисленных произведений для детей и юношества — т. II, стр. 300, 315, 316, 320, 321.
- Векерлин Вильгельм-Людвиг* (1739—1792) — консервативный немецкий журналист, издатель журнала «Серое чудовище» — т. II, стр. 178.

- Вернет* (Вернэ Клод-Жозеф, 1714—1789) — французский живописец-маринист. Известно предание о том, что Вернэ приказал привязать себя к мачте корабля во время бури, желая лучше наблюдать волнуящееся море — т. II, стр. 86.
- Веронезе* Паоло (Кальяри, 1528—1588) — итальянский художник — т. II, стр. 495—497.
- Вестрис* Мария-Огюст (1760—1842) — танцовщик, артист парижской Большой оперы — т. II, стр. 420—424, 449.
- Виланд* (1733—1813) — немецкий писатель, с 1772 г. до смерти жил в Веймаре — т. II, стр. 325—332, 337, 349, 351, 407, 427.
- Виргилий* (Публий Вергилий Марон, 70—19 до н. э.) — римский поэт, автор эпической поэмы «Энеида» — т. I, стр. 309; т. II, стр. 105, 182, 183, 199, 210, 343, 507.
- Волков* Ф. Г. (1729—1763) — создатель русского театра и актер — т. I, стр. 574.
- Вольтер* Франсуа-Мари Аруэ (1694—1778) — французский писатель, один из вождей буржуазного Просвещения XVIII века — т. I, стр. 329, 432, 476—478, 507—509, 511, 514, 515, 574, 580; т. II, стр. 107, 182, 183, 297, 298, 329, 349, 352, 398—401, 405, 433, 442, 444, 451, 452, 464, 469, 476, 491, 492, 495, 502, 508, 558, 559.
- Вольф* Христиан (1693—1754) — немецкий ученый и философ-идеалист — т. I, стр. 57; т. II, стр. 208, 408.
- Гайдн* Иосиф (1732—1809) — немецкий композитор — т. II, стр. 459, 530, 581.
- Галилей* (1564—1642) — итальянский астроном и математик, развивал учение Коперника о вращении земли вокруг солнца. Галилея жестоко преследовала католическая церковь и инквизиция — т. II, стр. 284.
- Галлер* Альбрехт (1708—1777) — немецкий врач, ученый-анатом и поэт — т. II, стр. 372, 384, 387.
- Ганнибал* (247—183 до н. э.) — карфагенский полководец — т. II, стр. 479, 750.
- Гастингс* Уоррен (1732—1818) — первый английский генерал-губернатор Индии — т. II, стр. 562, 563.
- Геллерт* Х.-С. (1715—1769) — немецкий поэт и баснописец, профессор Лейпцигского университета — т. II, стр. 52, 315, 316.
- Гельвеций* Клод-Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист — т. II, стр. 37, 54, 57, 62, 70, 398, 466.
- Гендель* Георг-Фридрих (1685—1759) — немецкий композитор — т. II, стр. 529—531.
- Генрих IV* (1553—1610) — французский король, ловкий политик и беспринципный дипломат — т. II, стр. 30, 66, 396, 434—436, 482, 505, 507.
- Гердер* Иоганн-Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель и философ-идеалист, друг Гете — т. II, стр. 164, 325—327, 329, 330, 332.

- Геро* — жрица богини Афродиты в Сесте, во Фракии, на берегу Геллеспонта. По рассказу древнегреческого поэта Музея, она бросилась с башни в море, когда увидела у берега групп своего возлюбленного Леандра; последний жил на другом берегу Геллеспонта, в Абидосе, и каждую ночь переплывал пролив, чтобы встретиться с Геро, которая зажигала для него путеводный фонарь. В одну ненастную ночь буря загасила фонарь Геро, и Леандр погиб в волнах — т. II, стр. 141.
- Геснер* Соломон (1730—1788) — второстепенный немецкий поэт и художник, автор стихотворных идиллий — т. II, стр. 299, 300, 350, 362, 365, 367, 368, 618.
- Гете* Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, писатель и ученый — т. II, стр. 295, 325—327, 332, 333, 351, 517.
- Глюк* (Глюк Кристоф, 1714—1787) — немецкий композитор — т. II, стр. 450, 475, 477.
- Гоббс* Фома (1588—1679) — английский философ-материалист — т. II, стр. 528, 566.
- Гогарт* Вильям (1697—1764) — английский художник-гравер; его злые карикатуры на английское общество имели огромный успех у современников — т. II, стр. 117, 529.
- Гольдсмит* Оливер (1728—1774) — английский писатель — т. II, стр. 321.
- Гомер* — древнегреческий поэт, участвовавший в создании «Илиады» и «Одиссеи» — т. I, стр. 309; т. II, стр. 182, 183, 327, 351, 432, 559, 704, 707, 719.
- Гораций* Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт — т. I, стр. 302; т. II, стр. 105, 210, 263, 299, 502, 645, 738.
- Гримм* Мельхиор (1723—1807) — литератор, главным произведением Гримма была «Литературная корреспонденция» — письма о политических, философских, научных и литературных новинках — т. II, стр. 50.
- Гроций* Гуго (1583—1645) — голландский юрист, социолог, теоретик международного права — т. II, стр. 106.
- Гудон* (1741—1828) — французский скульптор — т. I, стр. 517.
- Даламбер* Жан (1717—1783) — французский философ-материалист и математик, просветитель, принимавший ближайшее участие в «Энциклопедии» Дидро — т. I, стр. 483, 484, 518; т. II, стр. 57, 297, 398, 433, 442, 443, 452.
- Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ и математик — т. II, стр. 52, 171, 437, 508, 566.
- Делиль* Жак (1738—1813) — французский поэт и переводчик — т. II, стр. 398, 498, 500, 503.
- Демокрит* (460—370 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, разработавший систему атомического материализма — т. I, стр. 373; т. II, стр. 645, 646.
- Демосфен* (383—322 до н. э.) — афинский оратор, патриот — т. I, стр. 553; т. II, стр. 211—213, 645.

- Детюш* Филипп-Нерико (1680—1754) — французский драматург — т. II, стр. 729, 738, 756.
- Дидро* Дени (1713—1784) — вождь французского буржуазного Просвещения, философ-материалист, писатель, редактор «Энциклопедии»; в 1773 г. Дидро около года провел в Петербурге — т. I, стр. 483; т. II, стр. 398, 442, 465.
- Диоген* из Сипона (414—323 до н. э.) — греческий философ — т. I, стр. 57; т. II, стр. 487, 488, 638, 645, 646, 649.
- Дмитревский* И. А. (1734—1821) — русский актер и литературный деятель — т. I, стр. 574; т. II, стр. 321.
- Драйден* Джон (1631—1700) — английский поэт и драматург — т. II, стр. 559.
- Едессон* — см. Аддисон.
- Екатерина II* (1729—1796) — русская императрица — т. I, стр. 209, 212, 215, 541, 542, 553; т. II, стр. 29, 30, 33.
- Елагин* И. П. (1725—1794) — екатерининский чиновник, директор театра с 1766 по 1779 г., видный масон — т. I, стр. 553.
- Елизавета Петровна* (1709—1761) — русская императрица, дочь Петра I — т. II, стр. 64, 212, 320.
- Зороастр* (Заратустра, VII в. до н. э.) — основатель религии древних мидийцев и бактрийцев, затем персов времен Архименидов и Сассанидов — т. II, стр. 114, 490.
- Иван Васильевич* (1440—1505) — великий князь Московский — т. II, стр. 109, 110.
- Иомелли* Николай (1714—1774) — итальянский композитор — т. II, стр. 459, 530.
- Калигула* Гай Цезарь (I в. н. э.) — римский император; жестокость и развращенность были отличительными чертами его характера — т. II, стр. 50, 62, 339, 543.
- Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ-идеалист и агностик — т. II, стр. 281, 315, 331, 432.
- Кантемир* А. Д. (1709—1744) — русский писатель и дипломат — т. I, стр. 123.
- Карл Великий* (742—814) — сын Пипина Короткого, король франков — т. II, стр. 30, 311, 472.
- Карл V* (1337—1380) — король Франции — т. II, стр. 343, 441, 470, 471, 479, 499.
- Карл IX* (1550—1574) — король Франции — т. II, стр. 426, 427.
- Карл XII* (1682—1718) — шведский король, был разгромлен русскими войсками под Полтавой в 1709 г. — т. II, стр. 31.

- Картуш* Луи-Доминик (1693—1721) — известный разбойник, в шайке которого, грабившей в Париже и его окрестностях, было много дворян и знатных дам — т. II, стр. 50.
- Катилина* Луций Сергий (109—62 до н. э.) — глава военного заговора, направленного против римского сената — т. II, стр. 50, 51.
- Катон* Марк Порций, пазываемый Младшим или Утическим (95—45 до н. э.) — непреклонный сторонник римской рабовладельческой республики; Катон заколол себя мечом, когда узнал о победе Цезаря над республиканским войском под Тапсом и Утикой в 46 г. В XVIII веке Катона считали идеальным республиканцем — т. I, стр. 520; т. II, стр. 66, 136, 252, 447, 560, 638, 644, 645.
- Кеплер* Иоганн (1571—1630) — немецкий астроном; открытые им три закона движения планет вокруг солнца легли в основу теоретической астрономии. Учебник астрономии, изданный Кеплером, был внесен в список книг, запрещенных римским папой — т. II, стр. 172.
- Клапрот* Мартин-Георх (1743—1817) — немецкий химик и минеролог — т. II, стр. 348, 466.
- Клеопатра* (I в. до н. э.) — египетская царица — т. II, стр. 496, 644.
- Клопшток* Фридрих-Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, автор «Мессиады» — т. II, стр. 319, 326, 350, 362, 366.
- Князевский* Я. В. (1742—1791) — русский писатель — т. II, стр. 581.
- Колумб* Христофор (1446—1506) — известный мореход, итальянец по происхождению — т. II, стр. 172, 749.
- Константин* (Гай Флавий Валерий, 273—337 н. э.) — римский император; миланским эдиктом 313 г. провозгласил веротерпимость и признал равноправие христианства с государственными языческими культами — т. II, стр. 30, 171.
- Конфуций* (Кун-фу Цзы, 551—479 до н. э.) — китайский философ-идеалист, основатель государственной религии старого Китая — т. II, стр. 114.
- Коперник* Николай (1473—1543) — создатель гелиоцентрической системы мира. Книга Коперника «Об обращениях небесных кругов» была сожжена по приказу католической церкви в 1616 г. — т. II, стр. 172, 284.
- Корнель* Пьер (1606—1684) — французский драматург, создатель национальной французской классической трагедии — т. I, стр. 484; т. II, стр. 401, 451, 453, 465, 491, 492.
- Коцебу* (1761—1819) — немецкий реакционный писатель и публицист — т. II, стр. 295.
- Кребильон* (1674—1762) — французский драматург — т. II, стр. 476, 492.
- Креза* (VI в. до н. э.) — царь Лидии, известный своим несметным богатством — т. I, стр. 451; т. II, стр. 486, 568, 573, 634.
- Кремуций Корд* (конец I в. до н. э. — нач. I в. н. э.) — римский историк, убежденный республиканец — т. II, стр. 170.
- Кромвель* Оливер (1599—1658) — лорд-протектор Англии, диктатор эпохи английской буржуазной революции — т. II, стр. 189, 543.

- Кулибин* И. П. (1735—1818) — русский изобретатель и механик — т. II, стр. 496.
- Курций Квинт* (I в. н. э.) — древнеримский историк-ритор — т. II, стр. 51.
- Курций* Марк — легендарный римский юноша, о котором Тит Ливий и Дион Кассий рассказывают следующее предание: на римском форуме в 362 г. до н. э. появилась бездонная трещина, и, по предсказанию оракула, Риму грозили величайшие бедствия, если пропасть не будет заполнена лучшим благом города. Со словами: «Нет лучшего блага в Риме, чем оружие и храбрость», Курций в полном вооружении на коне бросился в пропасть, и она сомкнулась — т. II, стр. 435.
- Лабиний Тит* (I в. н. э.) — римский оратор и историк, страстный защитник римской республики — т. II, стр. 470.
- Лаватер* — см. Лафатер.
- Лавуазье* (1743—1794) — французский химик — т. II, стр. 465, 466.
- Лаланд* (1732—1807) — французский астроном — т. II, стр. 465, 466.
- Лафайет* (1757—1834) — политический деятель французской буржуазной революции. В 1789 г. предложил проект «Декларации прав человека и гражданина»; после взятия Бастилии командовал национальной гвардией, но скоро перешел на сторону контрреволюции — т. II, стр. 478, 462.
- Лафатер* Иоганн-Каспар (1741—1801) — немецкий писатель. В XVIII веке Лафатер пользовался большой популярностью как автор «Физиогномических фрагментов» (1772—1778), книги, в которой собраны портретные характеристики. Он пытался судить о духовном облике человека по чертам лица, утверждая, что гениальность Гете явствует из формы его носа. Книга Лафатера при всей занимательности лишена научного значения, и Радищев справедливо называл ее «бессущественной» — т. II, стр. 411, 250, 282, 310, 347, 351—357, 359—361, 363—368, 370, 394, 396, 400, 405, 529, 542.
- Лафонтен* Жан (1621—1695) — французский поэт — т. II, стр. 250, 321, 465, 494, 501.
- Лебрюн* Шарль (1619—1690) — французский придворный художник — т. II, стр. 484, 485, 495, 496.
- Лейбниц* Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — философ-идеалист, математик — т. II, стр. 281, 315, 317, 566.
- Лекень* (1729—1778) — французский артист — т. I, стр. 482, 508, 512, 514; т. II, стр. 452, 459.
- Лекуверр* Адриенна (1692—1730) — французская трагическая актриса — т. II, стр. 452.
- Ленотр* Андре (1613—1700) — французский архитектор, устроитель версальского парка — т. II, стр. 439, 497, 498.
- Лессинг* Готхольд-Эфраим (1729—1781) — немецкий критик, писатель и деятель Просвещения — т. II, стр. 295, 299.
- Лефорт* Ф. Я. (1656—1699) — сподвижник Петра I — т. II, стр. 456, 457.

- Ливий Тит* (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк — т. II, стр. 105, 169.
- Ликург* — легендарный спартаанский законодатель; предполагают, что он жил в IX веке до н. э.; ему приписывали учреждение всего политического и экономического строя рабовладельческой Спарты, хотя на самом деле он произвел только передел имущества. В конце XVIII века Ликурга считали величайшим государственным деятелем — т. II, стр. 109.
- Локк Джон* (1632—1704) — английский философ-материалист — т. II, стр. 528, 566.
- Ломоносов М. В.* (1711—1765) — великий сын русского народа, гениальный ученый, поэт — т. I, стр. 553, 573; т. II, стр. 182, 205—215.
- Лукреция* — легендарная римлянка, о которой Тит Ливий рассказывает следующее предание: когда Лукрецию обесчестил сын цари Тарквиния Гордого Секст, она заставила своего отца и мужа поклясться в том, что они отомстят преступнику, а сама заколола себя на их глазах. Следствием этого происшествия будто бы было падение царской власти в Риме — т. I, стр. 401.
- Людовик XIV* (1638—1715) — французский король; его царствование было временем наивысшего расцвета французского абсолютизма и дворянского самовластия и имело губительные последствия для Франции — т. I, стр. 468, 494; т. II, стр. 30, 50, 345, 444, 465—467, 469, 476, 480, 482—485, 494—499, 503, 505, 512, 640, 645.
- Людовик XV* (1710—1774) — французский король — т. II, стр. 346, 439, 482, 504, 505.
- Людовик XVI* (1754—1793) — французский король; был казнен по приговору революционного правительства — т. I, стр. 469; т. II, стр. 444.
- Лютер Мартин* (1483—1546) — немецкий церковный реформатор — т. II, стр. 107, 171, 176, 294, 335, 336, 343.
- Мабли* (Габриель де Бонпо, 1709—1785) — французский утопический коммунист, писатель-моралист — т. II, стр. 443, 516.
- Магеллан Фернандо* (ок. 1480—1521) — испанский мореплаватель — т. I, стр. 516.
- Магомет* (571—632 н. э.) — основатель магометанской религии — т. II, стр. 108, 163, 512, 701, 709, 717.
- Марий Гай* (156—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель, стремившийся стать диктатором в Риме — т. II, стр. 190.
- Мария-Антуанетта* (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI — т. II, стр. 444, 496, 500.
- Мария-Терезия* (1717—1780) — австрийская императрица; Радищев имеет в виду жесточайший цензурный режим, введенный Марией-Терезией в Австрии — т. II, стр. 179.
- Марк Аврелий* (Антонин Марк Аний Вер, 121—180 н. э.) — римский император — т. I, стр. 480; т. II, стр. 50, 114.

- Мармонтель* (1733—1799) — французский писатель, рассказы которого Карамзин переведил для издания Н. И. Новикова — т. I, стр. 480, 516; т. II, стр. 398, 442.
- Маро* Клеман (1495—1544) — французский поэт-гуманист эпохи Возрождения — т. II, стр. 468.
- Марциал* (40—102 н. э.) — римский поэт, эпиграмматист — т. II, стр. 299.
- Маттисон* Фридрих (1761—1831) — немецкий поэт сентиментального направления, известный элегическими стихотворениями с описанием картин природы — т. II, стр. 423, 425, 427, 431.
- Медицис Козма* (Козимо Медичи, 1389—1464) — флорентийский банкир, положивший начало тирании дома Медичи во Флоренции — т. II, стр. 30.
- Мендельзон* (Мендельсон Мозес, 1729—1786) — немецкий философ-идеалист — т. II, стр. 281, 310, 317.
- Мерсье* (1740—1814) — французский писатель — т. II, стр. 454, 472.
- Меценат* Гай Пальций (74 до н. э. — 8 н. э.) — римский государственный деятель. Своими заботами о судьбе поэтов Вергилия и Горация Меценат снискал славу покровителя искусств, и имя его стало нарицательным — т. II, стр. 51.
- Микель-Анджело* Буонаротти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт — т. II, стр. 434, 497, 658.
- Мильтон* (1608—1674) — английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1670) — т. II, стр. 182, 183, 543, 555, 559.
- Миних* Бурхард-Христофор (1683—1767) — фельдмаршал русской армии, одержал несколько побед над турками в Крыму в 1736—1739 гг.; взял крепости Хотин и Очаков — т. II, стр. 180, 286.
- Мирабо* (Рикети Гоноре-Габриель, 1749—1791) — деятель французской буржуазной революции; убежденный монархист, Мирабо вскоре изменил буржуазной революции. Радищев упоминает его как выдающегося оратора — т. II, стр. 211, 438, 462, 514.
- Моисей* — легендарный пророк и законодатель еврейского народа — т. I, стр. 304, 362; т. II, стр. 88, 114, 163.
- Мольер Жан-Батист* (1622—1673) — французский драматург — т. I, стр. 313, 322, 504; т. II, стр. 454, 465, 501, 502, 719.
- Монгольфье* братья: Жозеф (1740—1810), Жак-Этьенн (1745—1799) — французские изобретатели — т. II, стр. 477.
- Мономах Владимир* (1053—1125) — великий князь Киевский — т. II, стр. 82.
- Монтань* (Монтень, 1533—1592) — французский писатель — т. II, стр. 251, 357, 490.
- Монтескье* (Шарль-Луи де Секонда, 1689—1755) — видный представитель французского буржуазного Просвещения, вдохновитель политической теории энциклопедистов — т. II, стр. 57, 106, 454, 508.
- Мори* (1746—1817) — французский политический и духовный оратор — т. I, стр. 514; т. II, стр. 438, 462, 514.
- Музеус* Иоганн-Карл (1735—1787) — немецкий писатель, учитель гимназии в Веймаре, осмеявший Лафатера в своей книге «Физиогномические путешествия» (1778—1779) — т. II, стр. 327.

Ньютон — см. Ньютон.

Неккер Жак (1732—1804) — французский политический деятель — т. II, стр. 347, 352, 442.

Нерон (Клавдий Германик, 37—68 н. э.) — римский император — т. I, стр. 493; т. II, стр. 50, 51, 62.

Несторий (V в. н. э. — основатель ереси, отрицавшей христианский догмат о божественности богородицы — т. II, стр. 171.

Никон (1605—1681) — патриарх московский — т. II, стр. 140.

Ньютон Исаак (1642—1728) — английский математик, физик и астроном — т. I, стр. 57; т. II, стр. 352, 398, 508, 528, 566, 752.

Овидий (48 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт, автор «Метаморфоз», изгнанный императором Августом из Рима на берега Черного моря и умерший в изгнании — т. II, стр. 460.

Омир — см. Гомер.

Оссиан — герой кельтских преданий, ирландский король III века н. э.; предания об Оссиане были обработаны Макферсоном в 1760 г. — т. II, стр. 321, 438, 571.

Панин Н. И. (1718—1783) — министр иностранных дел России, глава дворянских либералов — т. I, стр. 577.

Панин П. И. (1721—1789) — брат предыдущего, генерал — т. I, стр. 506.

Петр I Алексеевич (1672—1725) — первый русский император — т. II, стр. 28—31, 83, 214, 250, 454, 456, 458, 480, 547.

Петрарка (1304—1374) — итальянский поэт — т. II, стр. 430.

Пиндар (522—448 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик — т. I, стр. 309; т. II, стр. 212.

Пирон (1689—1773) — французский поэт, литературный противник Вольтера — т. II, стр. 355, 476.

Питт Вильям (1708—1778) — английский государственный деятель — т. II, стр. 211, 529, 531, 533.

Пифагор (ок. 571—497 до н. э.) — древнегреческий философ и математик — т. II, стр. 284.

Пиччини (1728—1800) — итальянский композитор — т. II, стр. 404, 475, 477.

Платнер Эрнест (1744—1818) — немецкий врач и философ — т. II, стр. 315, 319, 389.

Платон (430—348 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист — т. II, стр. 214, 432.

Платон (Левшин, 1737—1812) — митрополит московский; писатели XVIII века отмечают выдающиеся красноречие, которым отличались проповеди Платона — т. I, стр. 553; т. II, стр. 214.

Плутарх (46—120 н. э.) — греческий писатель-моралист, в XVIII веке его считали республиканцем — т. I, стр. 132.

- Полоцкий Симеон* (Петровский-Ситнианович, 1629—1680) — русский поэт и драматург. Радищев имеет в виду стихотворное переложение псалтыри — «Рифмотворную псалтырь», напечатанную Полоцким в 1680 г. — т. II, стр. 210.
- Помпей* (I в. до н. э.) — римский полководец; вместе с Цезарем и Крассом участник триумвирата (60 г. до н. э.) — т. II, стр. 644, 750.
- Поп Александр* (Попе, 1688—1744) — английский поэт — т. II, стр. 507, 573, 585.
- Поповский Н. П.* (1730—1760) — поэт, профессор Московского университета, ученик Ломоносова — т. I, стр. 553, 582.
- Пракситель* (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор — т. II, стр. 716.
- Преве* Аргуан-Франсуа (1697—1763) — французский писатель — т. II, стр. 512.
- Прокопович* Феофан (1680—1736) — сподвижник Петра I, политический деятель и писатель — т. I, стр. 553.
- Рабле* Франсуа (1494—1553) — французский писатель-гуманист — т. II, стр. 494.
- Рагин Степан Тимофеевич* (ум. в 1671 г.) — вождь крестьянской войны 1667—1671 гг., прославленный в народных песнях — т. II, стр. 50.
- Рамлер* (1725—1798) — немецкий поэт, переводчик греческих и латинских авторов, прозванный «немецким Горацием» — т. II, стр. 299, 300.
- Расин Жан-Батист* (1639—1699) — французский драматург — т. I, стр. 425, 432, 484; т. II, стр. 183, 420, 442, 444, 451, 491, 492, 501, 645.
- Рафаэль Санти* (1483—1520) — итальянский живописец — т. I, стр. 568; т. II, стр. 496, 497, 505, 545, 658.
- Ричардсон* Самюэль (1689—1761) — английский писатель — т. II, стр. 531, 560, 729, 756.
- Ришелье* (1585—1642) — кардинал, французский государственный деятель — т. II, стр. 464, 465, 483, 484, 505, 680.
- Робеспьер* Максимилиан-Мари-Исидор (1758—1794) — деятель французской буржуазной революции — т. II, стр. 466.
- Рубенс* Петер-Пауль (1577—1640) — фламандский художник — т. II, стр. 497, 545, 658.
- Руссо Жан-Жак* (1712—1778) — французский писатель и философ, представитель демократического крыла французского Просвещения — т. I, стр. 329, 506, 511, 517, 518, 565; т. II, стр. 63, 304, 375, 390—392, 401, 405, 410, 411, 424, 443, 465, 475, 477, 482, 504, 504, 507, 508, 510—512, 717, 729, 747.
- Сафо* (род. ок. 600 до н. э.) — греческая поэтесса — т. II, стр. 497, 539.
- Светоний* Гай Гранквилл (75—160 н. э.) — римский историк — т. II, стр. 169.
- Семирамида* — легендарная царица Вавилонии, ее исторический прообраз — вавилонская царица Шамурамбат, жившая в IX веке до н. э. — т. II, стр. 644.

- Сенека* Луций Анней (54 до н. э. — 39 н. э.) — римский писатель, автор руководства по риторике и сочинения по римской истории — т. II, стр. 170, 636, 640.
- Сервант* (Сервантес, 1547—1616) — испанский писатель — т. II, стр. 51.
- Скаррон* Поль (1610—1660) — французский писатель — т. I, стр. 127.
- Скюдери* Мадлен (1607—1701) — французская писательница — т. II, стр. 490.
- Сократ* (469—399 до н. э.) — греческий философ-идеалист — т. II, стр. 32, 114, 134, 169, 281, 300, 505, 638, 644, 752.
- Соломон* (10 в. до н. э.) — царь объединенного царства Израиля и Иудеи — т. II, стр. 497.
- Солон* (VI в. до н. э.) — афинский законодатель, преобразовавший государственное устройство Афин в 594 г. до н. э. — т. II, стр. 109, 568, 634, 644.
- Спиноза* Барух (1632—1677) — голландский философ-материалист — т. I, стр. 581.
- Стерн* Лоуренс (1713—1768) — английский писатель — т. II, стр. 332, 366, 428, 494, 518, 554, 560.
- Страфффорд* Томас Вентворт (1593—1641) — английский политический деятель, близкий королю Карлу I. Радищев имеет в виду факт временного упразднения цензуры в Англии, имевший место после казни Страфффорда, когда была уничтожена Звездная палата — наиболее реакционная часть английского парламента — т. II, стр. 177.
- Строганов* А. С. (1734—1811) — член иностранной коллегии; покровительствовал наукам и искусствам — т. I, стр. 507, 516, 578.
- Сулла* Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — диктатор в древнем Риме — т. II, стр. 190.
- Сумароков* А. П. (1718—1777) — русский поэт и драматург, вождь дворянского классицизма — т. I, стр. 425, 503, 516, 578; т. II, стр. 182, 213.
- Тарквиний Гордый* (VI в. до н. э.) — легендарный римский царь — т. II, стр. 638.
- Тассо* Торквато (1544—1595) — итальянский поэт — т. II, стр. 183, 498.
- Тацит* Корнелий (55—120 н. э.) — римский писатель и историк — т. II, стр. 57, 105, 170, 214, 560.
- Тиберий* Клавдий Нерон (44—37 н. э.) — римский император — т. II, стр. 170.
- Тит* Флавий Веспасиан (41—81 н. э.) — римский император — т. II, стр. 50.
- Тициан* Вечеллио да Кадоре (ок. 1477—1576) — итальянский живописец — т. II, стр. 497.
- Тома* Антуан-Леопор (1732—1785) — французский ученый, поэт, писатель, директор парижской Академии наук — т. I, стр. 516.
- Томсон* Джеймс (1700—1748) — английский поэт — т. II, стр. 355, 362, 507, 558—560.
- Тредиаковский* В. К. (1703—1769) — русский поэт и ученый — т. II, стр. 182.

- Фальконет* (Фальконэ Этьен-Морис, 1716—1791) — французский скульптор, много лет работал в России над памятником Петру I («Медный Всадник») — т. II, стр. 28.
- Федор Алексеевич* (1661—1682) — московский царь — т. II, стр. 82.
- Фемистокл* (514—449 до н. э.) — афинский полководец и политический деятель эпохи греко-персидских войн — т. II, стр. 644.
- Фидий* (490—432 до н. э.) — древнегреческий скульптор — т. II, стр. 343, 344, 490, 716.
- Фильдинг* Генри (1707—1754) — английский романист, крупнейший представитель буржуазного реализма XVIII века — т. II, стр. 531, 560, 566.
- Флориан* Жан-Пьер-Кларис (1755—1794) — французский писатель — т. II, стр. 445.
- Фонтенель* (Ле Бовье Бернар, 1657—1757) — французский писатель, представитель прециозной литературы — т. I, стр. 420; т. II, стр. 476.
- Франклин* Вениамин (1706—1790) — прогрессивный американский политический деятель, просветитель, писатель и ученый — т. I, стр. 471, 473, 516; т. II, стр. 214, 317, 398, 504.
- Франциск I* (1494—1547) — французский король, основатель первого университета и типографии — т. II, стр. 434, 460, 472, 497, 505.
- Фридрих II* (1712—1786) — прусский король; был одним из главных вдохновителей прусского милитаризма — т. II, стр. 30, 107, 178, 294, 297, 544.
- Фукидид* (ок. 460 — ок. 396 до н. э.) — греческий историк — т. II, стр. 560.
- Херасков* М. М. (1733—1807) — русский писатель и общественный деятель, видный представитель дворянского классицизма — т. II, стр. 182.
- Цезарь Юлий* (100—44 до н. э.) — римский полководец, пожизненный диктатор Рима, убитый сенаторами-республиканцами во главе с Брутом и Кассием — т. II, стр. 50, 135, 438, 489, 644.
- Цинциннат* Луций Квинций (V в. до н. э.) — римский политический деятель — т. II, стр. 495.
- Цицерон* Марк Тулий (106—43 до н. э.) — римский политический деятель, писатель и философ — т. I, стр. 489, 553; т. II, стр. 51, 170, 211—213, 636, 638, 645, 685.
- Шаден* И. М. — профессор Московского университета, содержатель частного пансиона, в котором воспитывался Карамзин — т. I, стр. 574.
- Шеенденберг* Эммануил (1688—1772) — шведский поэт, в молодости математик и астроном, под старость реакционный мистик-«духовидец» — т. II, стр. 107.
- Шекспир* Вильям (1564—1616) — гениальный английский драматург — т. II, стр. 182, 183, 296, 301, 333, 427, 450, 542, 545, 548, 551, 559, 560.

- Шемьяк** Дмитрий Юрьевич (1420—1453) — галицкий князь, последний удельный князь, виновник так называемой Шемьякиной смуты, когда был ослеплен великий князь Московский Вас. Вас. Темный. Шемьяк боролся против прогрессивной политики московских князей, объединявших русские земли в единое национальное государство — т. II, стр. 50.
- Шенье** Андре (1762—1794) — французский поэт и публицист — т. II, стр. 426, 442.
- Шеридан** Ричард (1751—1816) — английский драматург и политический деятель — т. II, стр. 529, 562, 563, 566.
- Шиллер** Иоганн-Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт и драматург — т. II, стр. 295, 300, 338, 516.
- Шумский** А. Я. — талантливый комический актер первого русского театра, созданного в 1756 г., исполнитель женских ролей, в частности роли Еремеевны в «Недоросле» Фонвизина — т. I, стр. 573.
- Эвклид** (315—255 до н. э.) — древнегреческий математик — т. II, стр. 250.
- Эврипид** (480—407 до н. э.) — афинский трагик — т. II, стр. 308.
- Эйлер** Леонард (1707—1783) — крупнейший математик, член русской Академии наук — т. II, стр. 752.
- Экгоф** Ганс-Конрад (1720—1778) — немецкий актер — т. II, стр. 300.
- Эпиктет** (I—II вв. н. э.) — римский философ-идеалист — т. II, стр. 640.
- Эразм** Роттердамский (1467—1536) — немецкий ученый-гуманист — т. II, стр. 349.
- Ювенал** Децим Юний (ок. 60—140 н. э.) — римский поэт-сатирик — т. I, стр. 302.
- Юм** Давид (1711—1776) — английский философ и историк — т. II, стр. 281, 543, 560, 566.
- Юстиниан** (Флавий Петр Савватий, 483—565 н. э.) — император восточной Римской империи. Известен созданием Кодекса законов — т. II, стр. 171.

ОБЪЯСНЕНИЕ УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Адамант — алмаз, бриллиант.

Алкать — чувствовать голод.

Амо — куда, где.

Аредовы веки — долгая жизнь.

Аркибузировать — расстрелять.

Асалоп — салоп, шуба.

Афеист — атеист.

Аще — еще.

Баталия — сражение, битва.

Белец — готовящийся к пострижению в монахи.

Бесстопная речь — проза.

Бишоф — напиток, приготовленный из вина и апельсинов.

Благогласие — музыкальная гармония.

Благой — добрый, хороший.

Блуждение — заблуждение.

Бо — ибо.

Болван — статуя, истукан, чурбан.

Бразда — борозда.

Бразды — удила, узда.

Брашно — пища, еда.

Буде — если.

Будущему ему — когда он был.

Буер — здесь: одномачтовое парусное судно.

Бунчук — копский хвост на древке, знак власти в старой Турции.

Варяют — очевидно, от старорусского «варяти» — упреждать, предвещать, предостерегать.

Велеречие — красноречие.

Вельми — очень.

Вертеп — пещера.

Верющее письмо — доверенность, аккредитив.

Веси (от глагола ведать) — знай.

Вещавшу старцу — когда старец говорил.

Взалкавший — взалкавший, стремящийся к чему-нибудь.

Воздатель — руководить.

Волчец — сорная трава.

Воньмут им — будут слушать их.

Воскраие — край.

Восхищать, восхитить — похитить, увести.

Времяточие — эпоха, период времени.

Всток — восток.

Вьжлица — гончая собака.

Вья — шея.

Гербовник — книга, представляющая собой собрание изображений дворянских гербов.

Глагол — слово.

Горè — вверху, наверх.

Государево кружало — царский кабак.

Гудок — народный музыкальный инструмент о трех струнах, вроде простейшей скрипки.

Даждь — дай.

Дебри — густой лес, овраг.

Дееписатель — историк.

Деньга — старинная монета стоимостью в $1\frac{1}{2}$ копейки.

Десная — правая (рука).

Десница — правая рука.

Диван — совет вельмож у восточных царей.

Днесь — сегодня.

Довлеет — следует, должно.

Долбня — молот; в Новгороде долбней назывался деревянный молот, которым били преступника по голове на мосту через Волхов, а труп бросали в реку.

Дондеже — до тех пор пока.

Досязать — достигать.

Драбант — солдат.

Егда — когда.

Едущу мне — когда я ехал.

Еже — которое.

Епанча — плащ.

Есте — второе лицо множественного числа от глагола «быть».

Естество — природа.

Ефимок — русская серебряная монета в первой половине XVIII века.

Жадать — жаждать, желать, стремиться к чему-нибудь.

Жалобница — жалоба, прошение.

Железы — оковы, цепи.

Живот — жизнь.

Жилье — этаж в доме; *в три жилья* — дом в три этажа.

Заклепанный — закованный.

Зане — потому что, ибо.

Зело — очень.

Зеница — глаз.

Извет — извещение, объявление, проявление.

Империял — золотая монета, равнявшаяся 10 серебряным рублям.

Имут — имеют.

Иступила слеза — выступила, показалась слеза.

Исторгаться — выходить.

Итти пред нее — пойти к ней.

Ифика — этика.

Кадуцей — жезл Меркурия в виде палочки с крыльями, обвитой двумя змеями. Символизировал мир и торговлю.

Календер — мусульманский нищенствующий монах (дервиш).

Каморфер (камарфер) — придворный чин.

Капище — языческий храм.

Кармазиновый — темнокрасный, малиновый.

Клас — колос.

Ключимый — заключенный.

Копоткий — медлительный.

Кормило — руль.

Кофишенк — служитель.

Крайчий, кравчий — человек, по должности прислуживающий за столом.

Крин — лилия.

Крылос — клирос, место для певчих в церкви.

Крыющийся — скрывающийся.

Крючок сивухи — чарка водки.

Ланита — щека.

Ласкательство — лесть.

Лепота — красота.

Лествица — лестница.

Лобное место — помост (на площади).

Лъзя — можно.

Любимцы Плутovy — богачи. В греческой мифологии Плутон — бог богатства.

Любомудрие — философия.

Любомщение — мстительность.

Любочестие — честолюбие.

Мантilet — накидка.

Маханье — ухаживанье.

Махаться — на жаргоне дворянских модников XVIII века значило ухаживать.

Мерзительный — внушающий отвращение.

Мета — цель, предел.

Младенцам вам суцим — когда вы были младенцами.

Мне спящу — когда я спал.

Мраз — мороз.

Муфтий — у мусульман юрист-богослов.

Несть — нет.

Неуповательно — едва ли, сомнительно.

Ниже — ни.

Обесстудел — потерял стыд.

Обещаваться — обязываться, обещать.

Обретать — находить.

Обряцешь — найдешь.

Объять — объять, охватить.

Обыдут (от глагола обыти) — обойдут, обманут, обольстят.

Одесную — справа.

Одоньы — скирды.

Опричь — кроме.

Орать — пахать.

Отжену — отгоню.

Отишие — затишье, тишина.

Отриновен — отделен, отрешен, удален от чего-нибудь.

Оттоманы — турки.

Ошую — слева.

Паки — опять.

Парасоль — зонтик.

Патент — здесь: свидетельство о присвоении звания.

Паче — более.

Перси — грудь.

Петиметр — модный щеголь.

Поборник — защитник.

Погрызнуться — погрузиться.

Поженет — уничтожит, будет мучить.

Позорище — зрелище.

Позорищное стихотворение — драматическая поэзия.

Покосный ветер — попутный.

Полдень — юг.

Полакый — низкопоклонный, угодливый.

Понеже — поскольку.

- Поносный* — постыдный, позорный.
Поприще — мера пространства, место состязаний, сфера деятельности.
Порода — происхождение (знатное).
Претить — угрожать, запрещать.
Преипетная комедия — здесь в смысле: удачная.
Призирать — призывать, взять под покровительство.
Приличать — уличать.
Прилучиться — случиться.
Применить к чему-нибудь — сравнить с чем-нибудь.
Присно — всегда.
Присный — присутствующий, всегдашний.
Притоманно — непременно.
Прозябать — произрастать.
Произречение — речь.
Противный случай — несчастный, враждебный случай.
- Радеть* — заботиться.
Рамо, рамена — плечо, плечи.
Рачение — усердие, старание, забота.
Рдеть — быть красным, краснеть.
Рейтар — всадник, кавалерист.
Речение — слово.
Ристалище — место состязания.
Ритор — оратор.
Родшая — мать.
Родшие — родители.
Розыск — следствие, пытка.
Роспуски — телега.
- Свейский* — шведский.
Светило — источник света.
Семо и овамо — туда и сюда, во все стороны.
Серкль — дружеский кружок.
Сице — так.
Скаредность — гадость, гнусность.
Склаваж — драгоценный убор.
Склады — слоги.
Склепанный — скованный, закованный.
Скосырь — щеголь, наглец.
Слово — речь, язык.
Словутый — знаменитый.
Соборный — соединенный, народный.
Соглядать — видеть, наблюдать.
Содей — сделай.
Соитие — стечение, совпадение.
Стезя — путь, тропинка.

Стопы несу — иду.

Струг — столярный инструмент, рубанок.

Стяг говяжий — коровья туша.

Суеубый — удвоенный, двойной, вдвое больший.

Суций в животе — живой.

Тать — вор.

Твердь — опора, укрепление.

Термин — срок, окончание.

Титло — титул.

Тля — гление, разложение, прах.

Толико — как, столько.

Томный — печальный, скучный, мучительный.

Тоцета — худоба.

Тук — жир.

Тщатися — стараться, стремиться.

Убо — ибо, так как, поэтому.

Уподроблю — изложу, расскажу подробно.

Утцетить — сделать тщетным, напрасным.

Фамилия — семья.

Хвилий — хилый, слабый.

Хлябь — бездна, пропасть.

Цесария — старинное название Австрии.

Чадо — дитя.

Чесатель (волос) — парикмахер.

Чикчеры — длинные гусарские брюки в обтяжку.

Чиносостояние — сословие.

Чрезъестественный — сверхъестественный.

Чресла — поясница.

Шественник — идущий.

Штап — штаб-офицер (майор, подполковник, полковник).

Шуйца — левая рука.

Яко — как.

Ям — почтовая станция.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

А. Н. РАДИЩЕВ (1749—1802)

А. Н. Радищев. <i>Статья Г. П. Макогоненко</i>	5
Дневник одной недели	23
Письмо к другу, жительствовавшему в Тобольске по долгу звания своего	28
Житие Федора Васильевича Ушакова	32
Путешествие из Петербурга в Москву	79
Беседа о том, что есть сын отечества	216

Н. М. КАРАМЗИН (1766—1826)

Н. М. Карамзин. <i>Статья А. В. Западова</i>	225
Бедная Лиза	237
Чувствительный и холодный	250
Остров Борнгольм	261
Сьерра-Морена	271
Письма русского путешественника	275

А. И. КЛУШИН (1763—1804)

А. И. Клушин. <i>Статья А. В. Западова</i>	577
Несчастный М—в	580

Н. И. СТРАХОВ (1760-е—1810-е годы)

Н. И. Страхов. <i>Статья А. В. Западова</i>	607
Сатирический вестник	614

И. А. КРЫЛОВ (1769—1844)

И. А. Крылов. <i>Статья А. В. Западова</i>	625
Почта духов	631
Кайб	691

Ночи	716
Похвальная речь в память моему дедушке	744
Мысли философа по моде	752
Примечания	761
Именной указатель	792
Объяснение устаревших слов	806

*Редакторы И. П. Лапцкий
и Р. С. Софронова*

*Художник С. В. Андриевич
Технический редактор
Л. А. Чалова*

Корректор М. А. Михайлова

Подписано к печати 13/IX
1950 г. М-22552. Тираж 30000
экз. Бумага $60 \times 92\frac{1}{16}$ =
25,44 бумажных листов —
50,87 + 3 вкладыши печатн. лист.
Учетно-издат. листов 58,85.
Заказ № 629.

2-я типография «Печатный
Двор» им. А. М. Горького
Главполиграфиздата при
Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.

О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>	<i>По чьей вине допущены опечатки</i>
13	11 сверху	абсолютизма	абсолютизма	По вине издательства
53	17 сверху	ко стяжению	ко стяжанию	" "
776	9 снизу	(1723—1811)	(1729—1786)	" "

Русская проза XVIII века, т. II.

